

В. В. Розанов



Природа и история

Handwritten notes in cursive script, including the name 'В. В. Розанов' and other illegible text.

1905
17
1888





0906/1/46

В. В. Розанов

Природа и история

Природа и история

Статьи и очерки 1904–1905 гг.



В. В. Розанов

Собрание
сочинений

В. В. Розанов

Природа и история

Статьи и очерки
1904–1905 гг.

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
Издательство «Республика»
Санкт-Петербург
Издательство «Росток»
2008

УДК 1
ББК 87.3
Р64

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Российская академия наук
Институт научной информации
по общественным наукам

Составление и подготовка текста
А. Н. Николюкина, П. П. Апрышко, О. В. Быстровой

Комментарии *О. В. Быстровой*

Проверка библиографии *В. Г. Сукача*

Указатель имен *В. П. Гарнина*

Розанов В. В.

Р64

Собрание сочинений. Природа и история (Статьи и очерки 1904–1905 гг.) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина; Сост. А. Н. Николюкина, П. П. Апрышко, О. В. Быстровой. – М.: Республика; СПб.: Росток, 2008. – 766 с.

ISBN 978-5-94668-058-5

В настоящем томе Собрания сочинений В. В. Розанова впервые после 100-летнего забвения публикуется одна из важнейших его книг, в которой рассматриваются вопросы философии, истории и культуры. В него включены также статьи и очерки писателя 1904–1905 гг., впервые собранные здесь из газет и журналов, ставших практически недоступными для читателей. Розанов дает живую характеристику событий этих трагических лет российской истории. Большое внимание уделено проблемам государственности, образования, церкви, семьи и пола.

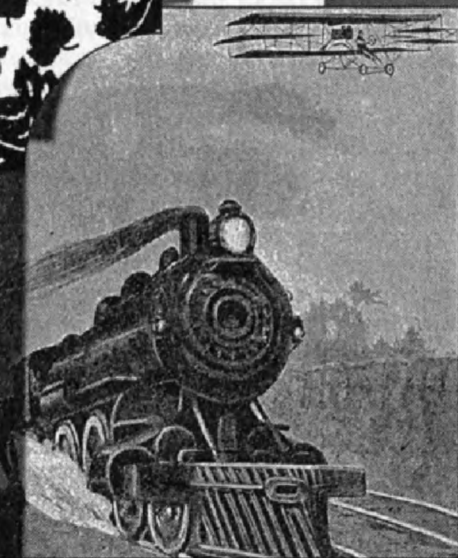
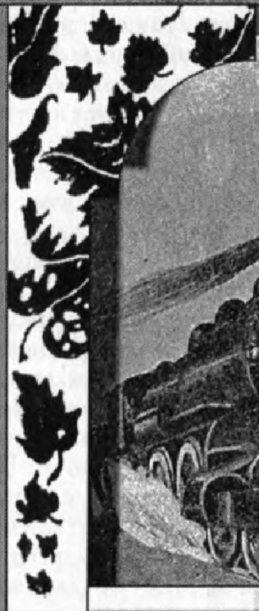
Для всех, кто интересуется русской литературой, философией и культурой

ББК 87.3



ISBN 978-5-94668-058-5

© А. Н. Николюкин Составление, 2008
© Издательство «Республика», 2008
© Издательство «Росток», 2008



Природа и история

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Я только что провел несколько часов, рассортировывая обратно ту стриженую лапшу, которая остается от «оригинала», когда он возвращается автору обратно из рук типографского наборщика, творца книги. Кой-где сердце мое сжалось, увидя синие огромные, редакторские, кресты над дорогими когда-то страницами*. Но я верю и хочу верить, что являюсь не просто в «критическом» издании, но в «критическом и улучшенном». Я много и сильно увлекался в своей литературной деятельности. В особенности прежде, в консервативный период моего развития, я имел свободу печатать решительно все, что – порой минутно и пламенно – увлекало мое воображение и мысль. Нужна была критическая, *читательская* работа над написанным. Говорят, какой-то автор сказал, что он не хочет иметь толпы читателей, но хочет иметь *интимного* читателя. Кто же этого не желает; но я имел радость *видеть, ощущать* около себя таких читателей. Что значит «интимный читатель»? Такой, который слышит *музыку души* автора, а не только слышит его слова; и, имея этот ключ от его произведений, достаточно властно умеет и хочет поправлять его.

Мне думается, сочинения мои все-таки «смотрят вперед». Не могу не вспомнить, что они никогда не производили впечатления на Н. Н. Страхова. «Боже, как вы хорошо пишете: такая точность языка и мысли»; или: «какая чистота стремлений и чувств». И я смеялся, конечно радостно, слишком компетентной похвале. Но если были люди *не* близнецы (несросшиеся, дисгармоничные), то – этот почивший дед нашего критического, философского и публицистического сознания, и я. Общение со Страховым доставляло мне величайшее наслаждение. Вот старый седой дуб, корни которого, ноги которого так хочется омыть; но, омыв, бежать в неизвестную даль... Все, чув-

* Говорилось не о статьях этого сборника, а о всей сумме печатных статей, переданных мною редактору первого издания, глубокоуважаемому моему другу П. П. Перцову, который из них сделал выбор матерьяла для четырех сборников: «Сумерки просвещения», «Литературные очерки» «Религия и культура» и «Природа и история». Заглавия сборников принадлежат ему же, и вообще, за крайним утомлением, я не принимал ни советом, ни даже взглядом участия в этом первом издании избранных трудов моих. Когда оригиналы всех четырех сборников были возвращены мне, синие кресты во многих местах и дали мне впечатление, выразившееся в этом предисловии. *Прим. 1902 г.*

ствующие «музыку души» моей, суть внуки того деда (по возрасту, по поколению). Итак, я думаю, что как писатель я – «крайне современен», и это может дать утешение тем читателям, которые, случайно купив книгу, пожалуют о трате на нее.

Говорят, литература есть «талант». Толстой определил ее как «внимание». Но теперь, когда я убираю листки своих «орега omnia»*, я думаю прежде всего, что литература есть бесконечный труд и упорная, несколько фанатичная настойчивость. В самом деле, такую *гибель бумаги* я ни за какую плату не переписал бы; написать это, т. е. *составить* (скомпилировать), – ужасно, но я еще всю ее *сочинил*. Откуда у человека, скорей изнеженного и вообще сибарита (ничего не могу делать без желания), эта бездна труда? Бог велел и указал. Почему, будучи решительно ленивым, я не уставал только писать, как в годы, когда сидел за книгой «О понимании», так и потом, «среди газет и журналов»? Теперь жизнь моя течет спокойно и счастливо, но, когда я писал «О понимании», я был лично измученный человек. И вот перейдешь к главе «О существовании». «Есть *несуществование* или его *нет*»? Помню, над этим вопросом я как бы сломал свой ум; это был истинно восхитительный для меня вопрос (он, в сущности, неразрешим). В скорби, в унынии я брал перо, душа расправлялась, высыхали внутренние слезы, а строки бегут, бегут... «Да нет, *несуществования* – нет, есть *только* существование, ибо если бы *несуществование* – было, то уже тем одним, что оно *есть*, оно *заключало бы в себе существование*, и, следовательно, было бы *существованием*»... Поэзия! молодые дни!

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.

Мы любим мысли свои, как друзей, и, если *умирают* друзья, умирают и *мысли*.

В конце концов, всякий писатель есть могила умершего. Может быть, от этого многие писатели делаются угрюмы под старость. «Как мало живет во мне, но сколько умерло!..» Есть, однако, благоухание и у могил, есть смысл около могил! Под старость вырабатывается какая-то жестокая опытность. Просматривая листки свои, я думал над многими: «Боже, я мог это написать, я мог этому верить». И разочарование

За жар души, растроченный в пустыне,

есть непременно удел старого или стареющего писателя. Много этих разочарований и в моем сердце. К счастью, они не очаровали, кажется, и моего издателя. Он не взял в сборники свои несколько статей из прежде мною напечатанных, которые относились бы сюда по теме. *Sit iis terra levis***.

* Полное собрание сочинений (*лат.*).

** Да будет земля им легка! (*лат.*).

И все-таки хочется завтра писать, послезавтра писать. – «Папа, да о чем ты все думаешь?» – знакомый вопрос, и милый. – «Я, милая, думаю о той сказке, которую рассказываю». Так, между детскими играми и отдаленными историческими заботами, текут мои дни, – и не знаю, в чем больше свежести. Карамзин когда-то спрашивал: «Кто истинно счастливый человек?» – Истинно счастливый есть тот человек, которому Бог уделил вечно трудиться, но над тем трудиться, что он и любит, и во что верит.

Вспомним о тех, кто не имеет и отдаленно этого счастья: а это – *все* люди, почти все...

Том этот наполнен почти исключительно философией, и так или иначе, он весь или вытекает, или идет параллельно главам и страницам книги «О понимании». Если бы какое-нибудь внимание к этой книге показало мне, что есть возможность в России трудиться и жить для философии, – вероятно, я никогда не стал бы публицистом. Созерцательность, самопогруженность, экстаз к вопросу о «несуществовании» есть, кажется, первичная материя моей души. «И сотворил Бог человека и вдунул в лицо его... душу бессмертную». Моею «бессмертной душой», «вдунутою Богом», были, в сущности, всегда совершенно *теоретические* вопросы: «како мир?», «како Бог?», «како жизнь?». Гораздо позже, и, в сущности, всегда под конкретным раздражением, являлось движение: «*не так* в мире», «*не так* (мыслим) о Боге», «*не так* устроено в жизни». Эта книга почти исключительно отвечает на вопросы: «как». Первые три, ранее изданные, большей частью полны волнением: «не так».

Vale*, читатель. И дай Бог, чтобы ты испытал за чтением этих страниц хоть долю той отрады и истинного счастья, какие я испытал, когда писал их.

СПб., 1900 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Второе издание значительно отличается от первого. Именно, выпущена статья «Заметки об истории», – так как эти заметки представляют *отрывки* из большой статьи, которая предполагается к полному изданию во 2-м томе «Прир. и истории». Взамен этой статья «Книга особенно замечательной судьбы» восстановлена по рукописи без тех больших пропусков, какие были сделаны в ней при первом издании его редактором П. П. Перцовым. Последнему приношу в этом сердечное извинение. Редактор какого-нибудь автора не может не иметь в виду главным образом его читателей; автор сам в себе обыкновенно захочет сохранить цельность своего литературного выражения. Все остальные статьи сборника «Пр. и ист.» имели и в первом издании тот вид, который они имели первоначально, и я не нахожу причин к их перемене. Они были написаны в ту пору, 1889 г. и след., когда позитивизм и неразмышляющее естествознание имели в обществе нашем безусловное преобладание. В наступившие затем годы важнейшею переменою в философии

* Прошай (*лат.*).

было: упадок внимания к Шопенгауэру и чрезвычайно быстро выросшее значение Нитцше. Западные философы действуют на нас не столько как книга, сколько наподобие какой-то органической прививки. До того действие это бурно, распространено, неоспоримо, пока оно длится, а когда срок действия прошел, наступает совершенный покой русского духовного организма в отношении пережитых идей. Но, нам думается, через эти откладывающиеся на дно души русской впечатления – подымается и крепнет душа русская. Укажем на следующий пример. Мы сейчас переживаем «прививку Нитцше». Но люди, как бы беснующиеся от Нитцше, сохраняют ледяную трезвость суждения в отношении всех (кроме Нитцше) объектов, полную способность научных методов изучения, полное и глубокое признание хотя бы того же естествознания. Таким образом, «прививка естествознания», совершившаяся в 50–80–90-е годы, стала нерастрчиваемым богатством русской души. Шопенгауэр и Нитцше, по всему вероятно, с такою же твердостью придадут русской душе свои специфические элементы. Таким образом, Россия в XIX веке переживала не пустые и в особенности не преходящие увлечения; она как бы переходила из (мирового) пансиона в пансион, забывая, правда, пройденное в каждом, но лишь второстепенное и ненужное, а все существенное в себе удерживая, – не как сумму знаний, но как душевный опыт. В смысле зрелости, солидности, какой-то ранней и à priori 'ной опытности серьезные молодые люди конца XIX века и начала XX так же превосходят «трезвенников» 60-х годов, как, напр., Карамзин превосходил Пушкин или Козлова и Подолинского – Лермонтов и Гоголь. И этого нельзя объяснить иначе, как отложившимися на дне души слоями исторического развития. Не человек вырос, Россия выросла.

Самую яркую философскую фигуру за XIX век у нас был Вл. Соловьев, с попытками самостоятельных взлетов. Гнездо родимой земли уже не держало его; однако полета сколько-нибудь правильного и цельного, сильного и далекого у него не вышло. Он более шумел крыльями, чем двигался. Изображение в «Федре» Платона души человеческой, у которой является зуд на том месте, где должны появиться крылья, и даже что-то появляется, и она уже делает попытки лететь, но обратно падает в бессилии назад, хорошо очерчивает натуру и историческую роль Соловьева. Его предсмертные слова, сказанные проф. С. Трубецкому о наступившем «конце всемирной истории», о том, что остается теперь «идей не больше, чем в эпоху Троянской войны», – выразили только ощущение глубокого конца личной биографии. Можно сказать, что он умер – потому что лично ему нечем было жить. Его стихотворное приветствие германского императора, двигавшего войска в Китай, как нового Барбаруссы, собравшегося будто бы в крестовый поход, представляет собою такую наивность, дальше которой можно только умереть, дабы не сделать худшей и даже просто от стыда за сделанную. Вообще к концу жизни он более и более терял чувство действительности, сознание того, что вокруг него делается. Таланты его были велики и разнообразны. Он был весь вообще замечателен как личность. Фигура его не перестанет изучаться и много

лет спустя. Но у него не было твердости в поступи и вообще, при обилии в натуре его благородных металлов, не было укрепляющего их все железа.

Одну оговорку я считаю нужным здесь сделать. В годы 1889 и след. торжество матерьялизма и естествознания мне казалось как бы «гибелью Бога и душ», или, с моих точек зрения вечности этих существ, – «возмущением против Бога и собственной души» человека. Эта воображаемая «битва гигантов» не воображается мне таковою более. Самую материю я не считаю более как бы потерянную Богом вещью, безыдеальною, грубою, худою. Это как «Вий». Она только не может поднять век; но под веками она все видит. Внутри себя она *смотрит*. Знаменитая аксиома матерьялистов «Нет вещества без силы, и нет силы без вещества» меня не смущает и не возмущает более. Материализм не более грешен, чем идеализм; идеализм не выше и не святее матерьялизма. В знаменитой борьбе между собою за смысл мира они как бы делали усилия выткнуть миру один глаз; и только спорили о том, который. Зачем, однако, миру быть циклопом. Существа его *и* духовны *и* матерьяльны. Нет *атома* без *протяжения*, а уже протяжение заключает в себе *меру* и, след., может быть предметом *счета* (человеческого); так. обр., протяженное (атом) есть счисляемое и, след., духовное, имеющее *духовную в себе сторону*. И т. д.

ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОРГАНИЗМОВ

«Дарвинизм. Критическое исследование
Н. Я. Данилевского». Том II (одна посмертная глава).
С портретом и указателями ко всему сочинению.
С.-Петербург, 1889 г.

Второй том критического исследования Н. Я. Данилевского должен был содержать разбор учения Ч. Дарвина о происхождении человека. Смерть неожиданно прервала работу автора, и теперь являющаяся глава есть единственное, что он успел приготовить для этого второго тома. Она посвящена разбору учения об экспрессии, которая во многих случаях является общею у человека и животных и указывает, по мнению Дарвина, на происхождение первого от какой-то формы вторых. В свое время глава эта была напечатана на страницах «Русского Вестника» (1887 г., май), и потому мы не будем ничего говорить о ней. В настоящем издании она сопровождается обширным введением, написанным Н. Н. Страховым, и несколькими указателями. Введение относится не к изданной теперь главе, но ко всему критическому исследованию Н. Я. Данилевского и может служить руководящею нитью при изучении этого обширного труда; указатели предназначены облегчать всевозможные справки в нем.

I

Высокий интерес, который связан с теориею Дарвина и ее критикою, обусловливается тем, что она явилась косвенным разрешением вопроса, в течение длинного ряда веков тревожившего человеческое сознание, – вопроса о причинности и целесообразности. В философских школах древней Греции и в средневековых университетах, среди последователей картезианизма и между учениками Кювье, – всякий раз, когда поднимался этот вопрос, человеческая мысль глубоко волновалась, и люди разделялись на враждующие стороны. Лежит ли в основе миростроения и мироразвития один какой-нибудь из двух называемых принципов, или, по недостаточности каждого из них в отдельности, они должны быть признаны оба – вот сомнение,

разрешение которого, всякий чувствовал, должно не только повлиять на весь круг наук, но и определить судьбу многих глубоких верований человека, на которых – сознательно или бессознательно – до сих пор всегда покоилась его жизнь. В разгадке этого вопроса содержится не только указание, как единственно может человек понимать природу и объяснить ее явления, но и ответ на то, следует ли ему видеть в себе самом и в своей мысли факт одиночный в мироздании, без аналогий, без каких-либо связей с ним, более интимных и глубоких, нежели какие существуют между зрителем и наблюдаемым предметом.

Правда, сам Дарвин ничего не говорил об этом вопросе; но едва появилась его теория – все почувствовали, что она служит именно ответом на него. Как натуралист, он взял свою задачу гораздо уже, но и вместе – с самой трудной ее стороны. Ничего не говоря о мироздании и строго воздерживаясь от философских соображений, он объяснил одну часть в нем и выполнил это с помощью простых и ясных приемов, установившихся в естествознании. Он подметил некоторые процессы, имеющие место в природе, создал некоторые предположения, не имеющие в себе ничего невероятного, и искусно дополнил первые вторыми – дал объяснение происхождению и устройству органического мира, исключаяющее целесообразность. И так как органический мир яснее, чем все другое в природе, обнаруживал в своем строении и развитии присутствие целесообразности, то, раз показана была мнимость этой последней в нем, не оставалось никаких причин удерживать ее, в качестве объясняющего принципа, и для остальных частей космоса.

Здесь мы должны остановиться на некоторых особенностях учения, созданного Дарвином. Несомненно, устранив целесообразность как объясняющее начало, он не назвал, однако, своего объяснения и причинным. И чем внимательнее последователи и антагонисты этой теории вдумывались в ее смысл, тем более затруднялись они в определении ее значения: одни не видели в ней причинного объяснения; другие утверждали, что она носит причинный характер и что только объясняющие причины должны быть отнесены в глубь времен. Ясно, что и для тех, и для других причинный характер объяснения не был отчетлив, твердо убедителен. И вот наряду с двумя единственными объяснениями, которые возможно было бы ожидать для всякого происхождения и устройства, очень упорно называется третье – объяснение через *случайное*.

В теории Дарвина есть одна особенная странность, которая и породила это недоразумение, но она почему-то никем не почувствована с достаточною живостью и яркостью. Будучи (по задаче своей) теорией *происхождения* органических форм, она в действительности говорит только об их *сохранении*; или точнее и строже: о *не* сохранении форм, за исчезновением которых остались те, которые наблюдаются. Все процессы, указанные им в природе, имеют лишь это последнее значение, но лишены какой бы то ни было созидающей, производящей силы. Наследственность передает потом-

ству изменения, возникшие у предков; размножение организмов в геометрической прогрессии и вытекающая отсюда борьба за существование, уничтожая не измененные благоприятно особи, способствует сохранению тех, которые изменены благоприятно. И здесь и там *изменения рассматриваются, как уже данное*; а то, что объясняется теорией, есть лишь процесс сохранения. И это необыкновенно странно для учения, которое и само себя понимает, и принимается другими, как учение о происхождении, о генезисе, – о том, в чем есть движение и вариирование: способ возникновения изменения, а не их сохранения, есть основная задача, разрешение которой мы ожидали бы от подобного учения. Естественный или искусственный подбор, даже если он действует вечно, только присоединяет, «суммирует», по выражению Дарвина, одну новую черту в организме с другою, уже ранее возникшею. *Но и то, что он присоединяет, и то, к чему присоединяет, возникло помимо его и ранее, чем он начал свое действие.* Он же не создает ни одной новой черты в организме; к тому, что есть в природе, не присоединяет даже иоты. Таким образом, в теории этой являются странным образом смешанными понятие возникновения, появления, и понятие сохранения, не исчезания только. Отсюда вытекает то, что ее причинный характер так неясен. Никакое возникновение не может происходить иначе, чем которым-нибудь из этих двух способов: причинным или целесообразным; но разрушение или сохранение возникшего может быть результатом случайности, и вот почему это последнее понятие – столь несовместимое с представлением возникающего, образующегося – так упорно прилагается к дарвинизму, и действительно совмещается с ним, как теорию и не имеющую объяснить какое-либо происхождение.

Здесь мы дадим, кстати, определение *случайного* – понятия, от которого не в силах ни освободиться наука, так как оно, очевидно, имеет место в жизни природы и человека, ни как-нибудь овладеть им, признать его, потому что оно, по-видимому, ускользает от определения причинности – совершения по основаниям, чему все должно быть подчинено. Есть масса явлений, относительно которых все живо чувствуют, что они не находятся к окружающему в отношении толчка и движения, причины и следствия: что тут замешано что-то иное, чему и принадлежит все их значение, – и их отделили в особую область, которой дали имя случайного. В действительности *явление, которое мы называем случайным, есть синтез двух простых, из которых каждое причинно, но не в том ряду, в котором причинно другое, и оба не согласованы ни в чем третьем.* Таким образом, случайное относится к положению, а не к существованию, – и не к элементам предмета или явления, но к их синтезу, который в возможности, потенциально, всегда существовал, и только поэтому получил реальные формы, когда эти элементы соприкоснулись. Так, смерть человека от падения обломка скалы, под которую он шел (типичный пример случайного), есть сложение двух простых явлений: 1) того, что он шел в данном месте, 2) того, что в это время сюда упал обломок скалы; и оба эти явления в отдельности

причинны, но только каждое в особом ряду, для которого не существует другого ряда, ни какого-либо звена его. И самый синтез их – смерть человека происшедшим способом – всегда существовал, но лишь в сфере неопределенной возможности (в ряду других бесчисленных способов умирания) и теперь выделился из нее, стал действительностью, как выделяется звук от удара двух цепей, в которых (явно) его не было и в которых (в возможности) он был. Таким образом, случайное не нарушает причинности; но только эта последняя проявляется здесь особым характерным способом: факт случайный есть тот, который происходит как бы не от своей причины, а от того, что есть следствие в ином причинном ряду – с этим фактом, однако, не согласованном (что было бы целесообразностью). Он порождается пересечением двух или более процессов независимого происхождения; впадением звена одного процесса в ряд звеньев другого, что на момент разрывает их и производит третье явление (случайное), которое в целости своей не содержалось ни в котором из встретившихся процессов (видимая беспричинность случайного), но *как часть, ожидающая лишь дополнения остальных частей до целого*, содержалось в каждом процессе порознь (действительная причина случайного). В сфере скрыто предустановленного, что мы называем потенциальностью, находят свое примирение и объяснение случайное и причинное.

Это определение случайного охватывает, как кажется, все явления, которым мы могли бы дать это имя. И под него подходит также естественный подбор, как синтез нескольких процессов независимого происхождения, между собою не согласованных. И в самом деле, вот его факторы: 1) индивидуальные изменения, появляющиеся в особях случайно и во всевозможных направлениях, 2) условия внешнего существования, которые могли бы более согласоваться с одними из появляющихся изменений, нежели с другими, которые также появляются, 3) геометрическая прогрессия размножения, 4) недостаточность средств существования для всех особей, сколько бы их ни произошло, и 5) случайное спаривание особей, благоприятно измененных, с особями, получившими такие же изменения (теперь или в далеком потомстве). Все эти пять факторов случайны по отношению друг к другу, их отношение чисто внешнее, ни который из них не содержит в себе остальных и сам в них не содержится. Но из них два: индивидуальные изменения и спаривание одинаково измененных индивидуумов – случайны не только в отношении к остальным факторам, но и каждый внутри себя, во всяком отдельном звене своем. И в самом деле: каждое изменение случайно (по Дарвину), так как оно не находится ни в каком отношении к предыдущим изменениям, от них нисколько не зависит, и не подчинено вместе с тем какому-либо закону. Здесь случайное достигает той степени своей – той высоты, где она теряет всякое отношение к причинному, и мы отказываемся допустить, чтобы она имела место в природе. Второй фактор – спариванье – случайно также в каждом своем элементе порознь, но лишь в строгом и ограниченном смысле того определения, которое мы дали выше для случайного: в отдельности каждое

спаривание обусловливается не цепью предыдущих спариваний, а (случайно) встречей особей, которые одинаково изменены. И, между тем, эти два фактора суть самые важные в естественном подборе: им одним принадлежит охраняющее значение в природе, прочие же все объясняют только, как погибло, почему не сохранилось то, что и не наблюдается, чего нет в формах органического мира (уничтожение неблагоприятно измененных особей в борьбе за существование).

Построив теорию естественного подбора, Дарвин описал только то, что происходит на поверхности природы, – различные комбинации уже возникшего; но он не объяснил самого возникновения, не заглянул внутрь природы – туда, где совершаются ее глубокие и скрытые процессы. Этот недостаток теории: то, что, имея объяснить, как *происходит*, она объясняет лишь, как *сохраняется*, – есть основной в ней, за которым мы не хотим даже рассматривать остальных недостатков. В сущности все, о чем идет спор между дарвинистами и их противниками, т. е. нивелирующее влияние скрещивания или возможность подбора и при нем – все это вовсе не касается органических новообразований. Спор идет только о том, что делается с первоначальным индивидуальным изменением: он *не переступает за границу этого вопроса и не может этого сделать*, потому что лишь одно это изменение, его дальнейшая судьба, раз оно случайно возникло, составляет весь предмет теории – то, о чем она написана. Пусть говорят, что существование этих индивидуальных изменений общеизвестно, что они бывают всевозможного характера; это несколько не делает их понятными для нас, а их разнообразие не свидетельствует об их беспорядочности, об отсутствии какого-либо закона при их возникании. Именно эти изменения, открытие порядка в их появлении и исследование причин последнего – и есть задача науки о происхождении органического мира; и то, что мы окружены ими, что мы все знаем, что они есть, – говорит только о том, что мы живем в море органической жизни, не замечая его, как не замечаем воздуха, которым дышим, и не хотим понять, что это и есть самое интересное и самое нужное, что нам предстоит исследовать.

II

И здесь, раз вопрос идет о *возникновении*, об органических *новообразованиях*, тотчас выступает возможность и необходимость говорить о причинности и целесообразности.

Причинность и целесообразность суть два различных способа соединения звеньев, которые слагают из себя процесс, совершение; то, что варьирует в природе, в последующие времена не остается тем же, чем было в предыдущие. Присутствие одного или другого способа налагает известные определенные черты на самый процесс, и, наблюдая их – мы можем открыть его. Как и повсюду в науке, здесь приобретает определенный

смысл и становится возможным для разрешения задача: по данному наблюдаемому определить скрытое, что с ним связано некоторым определенным способом.

Таким образом, зависимость формы процесса и того, что возникает по его окончании, от способа соединения звеньев, из которых слагается он – есть первое, что предстоит разрешить в вопросе о причинном или целесообразном происхождении и устройстве органического мира.

Различие между причинностью и целесообразностью состоит в различном отношении наблюдаемого изменения к тому, что служит для него основанием. Всякий раз, когда это основание или предшествует ему во времени, или с ним одновременно – мы называем самое изменение причинным; напротив, если это основание лежит в том, что следует за изменением во времени – мы называем изменение целесообразным. Так, движение, вызванное толчком, или колебание различной цены продукта в зависимости от спроса и предложения есть изменение причинное; построение же здания или установление каких-нибудь политических отношений есть изменение целесообразное, так как здесь ожидаемое в будущем есть основание, по которому совершается и с чем соотнобразуется то, что происходит. Ясно, что, так как предшествование, одновременность и последование исчерпывают возможные отношения между собою звеньев во всяком процессе, то никакого иного характера, кроме причинного или целесообразного, между ними не может существовать. Они исчерпывают собою сферу вариирования в природе, не оставляя места в ней для чего-либо третьего.

Эта невозможность третьего допускает при частных исследованиях природы замену прямого и положительного доказательства (где оно почему-либо неудобно) – косвенным и отрицательным: всякий раз, когда достаточно обнаружено, что данный процесс не есть причинный, – с равною достаточностью обнаружено, что он целесообразен, и наоборот.

Теперь установим важнейшие соотношения, которые существуют между звеньями всякого процесса, совершающегося по способу механически действующей причинности. Эти соотношения вытекают из самых понятий «причины» и «действия», – и из условия, что первая здесь или предшествует второму, или с ним одновременна. Вследствие того, что очевидность этих соотношений очень близка к аксиоматичности, строгое доказательство их очень трудно и сложно. Мы поэтому опустим здесь эти доказательства, не отказываясь, однако, представить их, если б это потребовалось. Но, по очевидности нижеприводимых положений, требования доказать их едва ли можно ожидать. И в механике такие понятия, как инертность, не доказываются, но лишь разъясняются. При механически действующей причинности:

1. То, в чем изменение, и то, откуда оно, всегда раздельны. Этот первый и основной принцип устанавливает двойственность во всяком механическом процессе, отрицает единство существа, в котором он мог бы быть замкнут. Каким бы внутренним ни представлялось для нас явление (например, в органах растения или животного) – всякий раз, когда мы называем его

причинным, мы ничего другого и не говорим о нем, как только то, что оно вызвано основанием, которое лежит вне его, что оно произведено или предшествующим, или окружающим. Представление раздельности причиняющего и того, чему что-либо причиняется, неотделимо от представления механизма; оно тождественно с ним, есть его определение. При этом, когда основание предшествует изменению – оно отделено от него временем, когда одновременно с ним – отделено пространством, не совмещается с ним.

Это первое положение о механически действующей причинности, которое мы назвали бы принципом раздельности изменяющего от изменяемого, влечет за собою некоторые следствия, которые могут считаться только его модификациями; они следующие:

1) *Причинение в механически совершающемся процессе всегда бывает наружное*; отсутствие чего-либо внутреннего есть постоянный и необходимый признак всякого механического процесса в его целом. *Causalitas non subjectiva, non intima**.

2) *Изменяемое по механически причинному способу всегда бездейтельно по отношению к этому изменению, которое в нем возникает*. Это – известное начало инертности, которое признается в механике первоначальным требованием для вещества и логически распространяется на все, о чем мы утверждаем, что оно подчинено только механизму. Если с неопределенного вещества, рассматриваемого в механике, мы перенесем понятие инертности на отдельные существа, то можем разуметь под нею их безразличие к тому, чем стать.

Заметим, что принцип инертности не есть первоначальный для вещества, как это устанавливается в механике: он вытекает как следствие из наружности всякого механического причинения, которое в свою очередь опирается на раздельность в нем изменяющего от изменяемого. Однако принцип этот необыкновенно важен. Он кладет грань, откуда расходятся два великие порядка природы: один, в котором господствует безжизненное подчинение – это мертвая природа, и другой, в котором господствует вечная деятельность – царство жизненного напряжения.

Нельзя обойти молчанием, что из принципа инертности прямо вытекает требование, что сила, как причина изменения, имеет наружное положение по отношению к веществу, что она не есть его свойство, нисколько не истекает из него, но, напротив, облакает его собою и движет; по крайней мере это так по отношению ко всякой силе, действующей по способу механической причинности. Представление, что сила есть свойство вещества, как кажется, не имеет другого основания, кроме так часто повторяемой мысли, что «нет силы без вещества». Но это основание таково, что на него нечего опереть: не все то, что неизменно сопутствует другому, что от него неотделимо, есть поэтому и его свойство. Вогнутость неотделима от выпуклости и, однако, равнозначуща ей и противоположна по направлению. Постоянно

* Причинность не личностна и не сокровенна (лат.).

сопутствующее друг другу, тотчас исчезающее с исчезновением другого – не всегда относится даже к одному порядку явлений: чувство грусти, выраженное в нарисованном образе и волнующее нас, неотделимо от черт и красок, которыми нарисован образ, и, однако, не имеет с ними ничего общего. Заметим еще, что сила всемирного тяготения или действует не так, как это представлял Ньютон, или, если его представление было справедливо, – она не есть сила механическая. Единственный способ представления ее, совместный с механизмом, есть тот, который придуман был в начале нынешнего столетия женевским ученым Лесажем. И действительно, очень простое соображение может убедить, что причина взаимного тяготения тел друг к другу не может лежать в самых телах, как их свойство, но вне их, снаружи, как нечто облегающее их и давящее на них. И в самом деле, если мы согласимся на первое, то спрашивается: как проявится это свойство в частице вещества, если она одна? и если очевидно, что в ней не может быть тяготения, потому что ей не к чему тяготеть, то как можем мы думать, что то, чего не находится ни в какой частице, взятой отдельно, находится в каждой из них, когда они собраны вместе?

Второй принцип механически действующей причинности основывается на одном из указанных выше следствий и может быть выражен так:

II. *Механическое причинение всегда происходит по способу прикосновения.* Это начало вытекает из наружности всякого механического причинения – что, в свою очередь, опирается на то, что основание в этой причинности всегда лежит вне следствия, или ему предшествуя во времени, или с ним не совмещаясь в пространстве. Так как прикосновение может быть лишь между тем, что имеет в пространстве место, и притом занимает его так, что имеет границы начала и окончания (через которые и происходит соприкосновение), то понятно становится, почему сферою механизма всегда считалась только область грубого вещества: оно одно замещает собою пространство и разграничивает его своими частями.

Повсюду, где наука выходила из сферы вещества и пыталась сохранить механически-причинный способ объяснения (например, в психологии, этике, политике, истории), ее указание по этому самому терюли ясность и определенность. Мы можем заметить только, что рассматриваемый способ объяснения в этих сферах духовной и исторической жизни должен выразиться тем, что причины каждого изучаемого факта должны быть относимы или к фактам предшествующим в той же духовной или исторической жизни, или к окружающим влияниям; в последнем же анализе – только к последним. Ибо и каждый предшествующий факт в свою очередь должен разложиться на часть, произведенную еще ранее окружающими условиями и т. д., до тех пор, пока в начале не окажется дух человеческий как *tabula rasa*, как чистая способность воспринимать влияния, и окружающая природа как источник этих влияний. Об этих последних следует сказать, что они бывают трех родов: как понуждение к большей или меньшей степени труда, как способствование к той или иной форме труда и как впечатление. Два первые рода

влияний обуславливают собою внешнюю и материальную сторону жизни, ее способ; третий род – духовную, определяя ее характер и содержание. Кроме отсутствия ясности и определенности, в этих объяснениях следует отметить еще одну сторону, и притом самую важную: они никогда не бывают объяснениями достаточными.

Из принципа прикосновения вытекают следующие положения:

1. *Изменение, возникающее по началам механической причинности, всегда есть перемещение.* Это потому, что занимающее место в пространстве и имеющее границы в нем может действовать на что-либо внешнее для себя не иначе, как перемещаясь; причем границы его стремятся занять место, занятое границами внешнего. И так как совместность их невозможна, иначе одно из них стало бы внутренним для другого, что противоречит постоянной раздельности в механизме изменяющего от изменяемого, – то и происходит перемещение внешнего. Отсюда вытекает определение сферы механизма.

2. *Сфера механизма есть движение, его количество и направление.* Это потому, что перемена места и есть движение, которое может быть рассматриваемо лишь в двух отношениях: количества и направления. Масса движущегося и скорость движения, что также рассматривается в механике, суть только элементы, на которые разлагается при дальнейшем анализе количество движения.

3. *Изменение в механическом процессе всегда возникает в направлении обратном положению, занимаемому причиной, которая его вызвала.* Это положение представляется нам самым важным из всех, которые вытекают из рассматриваемого начала. Оно раскрывает истинное отношение, которое существует между каждым двумя смежными звеньями механического процесса, определяя его как отталкивание. Таким образом, механические причины всего суть причины вымещения, выхода из прежнего положения (и, насколько им обусловлено, – состояния); их действие не простирается далее настоящего, которое они разрушают. Реальность и ограниченность присущи им в высшей степени: их каждое действие становится фактом, но этот факт может иметь место только здесь и теперь. Никакое влияние на отдаленное или будущее, согласование того и другого с настоящим – недоступно для них. Единственное, что предопределяют собою они, – это то, что наблюдаемая реальность (предмет их воздействия) не сохранится более и что имеющее возникнуть на ее месте – будет уже иное, с нею не сходное. Далее этих отрицательных представлений, которые оставляют место для безграничного множества положительных, мы не можем пойти, наблюдая механические причины. Быть может, им же – механическим причинам – будет принадлежать и определение положительного образа того, что заместит разрушаемое настоящее; но эти причины будут уже вне всякой зависимости от теперь и здесь действующих, являясь по отношению к ним в высшей степени побочными и случайными.

III. В механической причинности следствие или не варьирует, или, варьируя, рассеивается по мере удаления от причины, его вызвавшей. Если начало отталкивания определяет внутреннюю связь между отдельными звеньями всякого механического процесса, – то начало, к которому мы переходим теперь, определяет форму этого процесса в его целом. Основывается оно на необходимости тождества между содержимым причины и содержимым следствия. Мы не будем здесь приводить полного доказательства, почему это тождество никаким образом не может быть нарушено, и ограничимся лишь замечанием, что всякое подобное нарушение было бы или абсолютным исчезновением некоторой реальности, или возникновением реальности же из ничего. Причина и ее следствие есть одно, но различно размещенное и в последующие времена с иным соотносящееся, нежели с чем соотносилось прежде, – откуда и возникает кажущееся несходство между ними. Хорошим пояснением этой истины может служить простейший вид механизма – движение: оно ни во что не преобразуется, кроме движения же, и если иногда переходит в явления, по-видимому не имеющие ничего общего с перемещением (теплота, свет и проч.), то более глубокое изучение этих явлений обнаружило во всех них присутствие движения же, но только происходящего в иной среде (например, в эфире) и по иному способу.

Если этот общий закон мы применим к двум видам механической причинности – сосуществованиям и преемствам, то и получим начало, только что сформулированное выше. И в самом деле, там, где следствие одновременно со своим основанием, оно не варьирует, ему чужд процесс – потому что оно не может ни отойти от своего основания во времени, ни воспринять в себя какого-либо различия сравнительно с ним: последнее возникало бы из ничего. Характерным примером такой одновременной и неподвижной зависимости может служить рыночная цена продукта, которая остается тою же, не варьирует, пока не варьирует соотношение между спросом и предложением; или неподвижное стояние приподнятого груза на одной чашке весов, пока на другую ее чашку давит наша рука. Чтобы точнее определить важный здесь термин «не варьирует» – заметим, что он обозначает отсутствие количественного изменения в следствии сравнительно с причиной, что, отрицая в нем всякое умаление, он отрицает и всякое возрастание в нем, и притом не только действительное, но хотя бы и кажущееся.

Так происходит в сосуществованиях. В преемствах следует различать два случая: один, когда к созданному следствию не привходит на всем протяжении бесконечного времени никакого воздействия новых причин, и другой, когда оно подвергается такому воздействующему влиянию. Первый случай возможен в отвлечении и, быть может, имеет место в обращении небесных светил. Его пример – движение тела, получившего удар, которое без привходящих воздействий становится бесконечным и равномерным. Собственно, причина бесконечности здесь лежит в том, что первое следствие (перемещение тела на расстояние, равное тому, которое было пройдено ударившим телом) без привходящей причины не может стать ничем иным, как

только своим повторением, то есть – по закону тождества между причиной и следствием – движением таким же по величине и скорости и так же направленным; а это последнее может перейти опять только в движение, и т. д. до бесконечности. Этот первый случай являет то же отношение следствия к причине, какое мы наблюдаем в существованиях: следствие и здесь не варьирует, оно вытягивается в процесс, все звенья которого тождественны между собою, и ряд их бесконечен. Отметим, что и здесь наряду с отсутствием умаления отсутствует и какое-либо возрастание.

Второй случай обнимает собою все в природе – ему подчинена она если не в целом своем, то в том, что заключено в ее недрах; что не она, но в ней. Рассмотрим и здесь соотношение между причиной и следствием.

Первое следствие повторяет собою причину, – но пусть уже во второй момент своего существования оно встречает привходящее воздействие новой причины, от первой независимой. Оно тотчас разделяется: противодействуя (по закону механики) второй причине, оно часть себя отдает на это противодействие. Пусть, далее, оставшаяся часть подвергается новому воздействию третьей привходящей причины: на противодействие ей следствие опять отдает часть себя и, следовательно, продолжает существовать уже как часть части. Закон тождества между причиной и следствием при этом не нарушается: первая сохраняется, но только разделенною, и одна часть ее существует в одном месте пространства, другая – в другом. Наконец, когда в бесконечном времени число воспринимаемых первою причиной (собственно уже ее частями) воздействий становится безграничным, безграничным становится и число частиц, на которые она разделяется: в текущем времени она рассеивается; нисколько не умаляясь в действительности, она становится ненаблюдаемою более, неисследимою. Это и производит то, что мы обозначаем словом «исчезновение»: оно относится к полному наблюдению, к сфере созерцаемого.

Так как этот последний случай имеет очень обширное место в природе и характерен для соотношения между причиной и следствием, то и самое начало, его включающее, мы назовем началом рассеяния. Оно опережает, что механическая причина, никогда не возрастающая в последующие модификациях, обыкновенно умалется в них через рассеяние. Всякое возрастание, усложнение в строении и расширении в содержании, безусловно чуждо механической причинности, никаким образом необъяснимо из нее.

Никогда сами не возрастающая, причины могут, однако, если что-либо направляет их действие к одному центру, произвести возрастание в том, что ими создается. Как на пример подобного явления можно указать на возрастание сталактитов и сталагмитов в пещерах, верхние покровы которых содержат воду и известь. Можно заметить о всех подобных случаях, что 1) возрастание в одном месте здесь совершается насчет рассеяния во всех окружающих местах (вода просачивающаяся и уносимая известь в сталактитовых пещерах) и 2) возрастающее приобретает в последующие времена различия

количественные, но никогда – качественные; оно однородно, – ему чуждо строение, если этого строения уже не было в расположении причин.

IV. *Механически причинный процесс есть всегда неопределенный*: начало ограничения, принудительных форм или непереступаемых пределов – чуждо ему.

Это свойство механических процессов обуславливается направлением в них следствия, которое обратно положению причины. Связанные отношением отталкивания, звенья каждого такого процесса имеют определенность в прошедшем, которое уже было, которое есть факт или явление, эти – определенные, а не какие-нибудь вообще; но они не имеют определенности в будущем – ее нет для того, что имеет наступить. Каждое последующее звено здесь определено (предыдущими звеньями) только для первого момента своего существования, но уже не определено для второго – когда воздействие ни с чем предыдущим не согласованной новой причины может изменить его вне всякого соотношения с тем, чем оно было ранее. По закону тождества между содержимым причины и содержимым следствия и согласно принципу, что в механизме изменяемое бездейтельно по отношению к изменению, которое в нем возникает, – каждое явление в механически причинном процессе, которое является последним, или должно вечно оставаться тождественным себе, или изменяться, но лишь от входящих причин. И так как действие этих последних не предопределено в ряде причин, предшествующих рассматриваемому последнему явлению; ни этот ряд никаким образом не содержится в них; ни они все – друг в друге, так как независимы одна от другой, – то ясно, что вообще нигде не предопределено, чем станет в последующие времена данное наблюдаемое явление.

Это по отношению ко всякому механическому процессу, к каждому отдельному явлению в нем и ко всякой отдельной вещи, которая им создается. Но в механизме есть еще и иная неопределенность – именно в соотношении между созидающим и создаваемым. Какой бы механический процесс мы ни наблюдали, сравнивая его повторения в разные времена и в разных местах, мы найдем, что создаваемое им не является необходимо одно – будет ли то вещь или состояние, заканчивающее явление; напротив, смотря по тому, с чем процесс соотносится, что его окружает и с ним встречается, он производит различное, сам оставаясь, однако, тем же. Так, движение производит и движение же, и теплоту, и звук; оно и ускоряет движение другого тела, и замедляет или останавливает (встречного). И наоборот, вещь или явление, которое создается данным наблюдаемым процессом, создается не необходимо им одним, но и многими другими процессами, с ним не сходными. Так, теплота, вызванная ударом движущегося тела, в иных местах вызывается и трением, и гниением, и лучом солнца; или жидкость – и разрежением твердого, и сгущением парообразного. Таким образом, в механической причинности нет определенного соотношения между вещами (в обширном смыс-

ле) и процессами; в ней каждое существует для многого и через многое, но не для одного и не через одно.

С началом неопределенности аналогичен последний принцип, который мы желаем указать в механически действующей причинности. Этот принцип можно формулировать следующим образом:

V. Ничто в механически-причинном процессе не есть преимущественно перед другим частью, и ничто же не есть – преимущественно целое. Понятие целого – что уже замкнуто в себе, закончено; что, отсутствуя, делало бы неполным существование остального, – чуждо всякому механизму и всему, что возникает через него. Нет в нем достаточно великого, и нет настолько малого – о чем мы не могли бы сказать, что оно целое. В нем все продолжается, все частично и дробно, ничто и никогда не получает завершения и окончания. И это также происходит от направления следствия, которое обратно положению причины: в каждом следствии, которое мы наблюдаем как последнее в механическом процессе, он собственно уже закончен, – и если в действительности он бесконечно продолжается, то и самое продолжение, и все качественные различия наступающих вариаций находятся вне всякого отношения к ряду причин, лежащих в этом именно процессе, последнее звено которого мы рассматриваем. Таким образом, отсутствие цельности в механическом процессе (и в том, что создается им) прямо вытекает из отсутствия цельности в нем; его вечная частичность – из всегдашней неопределенности.

Из этого начала вытекают следующие положения:

1) На какой бы стадии совершения мы ни прервали механический процесс, – то, чем он заканчивается в этой стадии (будет ли то вещь или явление), не имеет *планомерного строения*.

2) Сколько бы мы ни взяли звеньев в механическом процессе, их преемство не сложится в *последовательное развитие*.

Здесь под планомерностью строения мы разумеем так согласованное расположение частей, что наблюдение некоторых из них уже открывает существование остальных, как дополнения и завершения ясно неполного и незавершенного. Эта согласованность, являясь строением в пространстве, во времени является последовательностью: как там одновременно существующие части, лишь дополняя друг друга, возрастают до целости, – так здесь преемственные явления соотносятся таким образом друг с другом, что каждое, завершая что-либо в предыдущем, все еще имеет в себе некоторый недостаток, который пополнится в последующем – пока последнее явление, в котором завершится процесс, не представит собою связанное и замкнутое соединение всех черт, которые порознь и недоконченные наблюдались уже в предыдущих звеньях процесса, умаляясь с каждым приближением к его началу.

3) *Механически причинный процесс может быть всегда прерван и всячески изменен, но никогда – разрушен.* Он может быть прерван – если напряжение последнего изменения, которое возникает в нем, встретит сопро-

тивление равного напряжения, исходящее или из какого-нибудь другого независимого процесса, или из сознательной воли, например, человека. Он может быть всячески изменен – смотря по тому, что будет придано к его последнему звену. Но и прекращаясь, он не разрушается – потому что все, что в нем уже совершилось, останется тем же; а чем стать ему в будущем (к этому одному и относится прекращение или изменение) – это не было predeterminedо в нем. Понятие разрушимости неотделимо от представления целостности, потому что только к этому последнему и относится. И то, что есть всегда только часть, но и вместе – всегда целое, – ничего в себе не утрачивает, что бы мы от него ни отняли; равно как ничего не приобретает, что бы мы к нему ни присоединили.

4) В механически причинном процессе и в том, что создается им, *все равнозначаще: понятия главного и второстепенного, существенного и незначащего – чужды ему.* Это опять потому, что в нем нет целостности – смотря по отношению к которой мы и различаем во всем главное от второстепенного: что необходимее для достижения целостности, что более приближает к ней – существеннее того, без чего, хотя бы и с трудом, но может быть достигнута эта целостность, или что не так приближает к ней, к завершению и окончанию.

Вот если и не все, то главные черты механической причинности – те, по которым мы распознаем безжизненные явления и процессы, мертвую природу. Почти каждая из этих черт, если глубже вдуматься в нее, представится нам необыкновенно характерною, чрезвычайно значущею. Отсутствие какого-либо внутреннего принципа для изменения, бездеятельность к себе и безразличие к внешнему, бессвязность – вот эти черты бездушной и холодной природы, которая вся – внешность, в которой есть одно стремление – к вечному покою, к сохранению тождества с прошедшим. Но из этих черт самую существенною нам представляется одна, которая, по-видимому, не столь выделяется, менее бросается в глаза: это – отсутствие предела, грани, принудительной формы. Может быть найдено нечто третье, в чем примиряются причинность и целесообразность, где они соединяются; но разделение между ними начинается именно с понятия предела. По одну сторону его остается царство беспредельного, неограниченного, могущего всем стать, но ничем по необходимости, – это и есть царство механической причинности; по другую сторону лежит мир вещей и явлений, подчиненных началу предела – это мир живых форм, вечного стремления осуществить то или иное, – и то, что живит эти формы, что устремляет эти процессы, есть именно предел, или как осуществленный уже – и тогда он только сохраняет, или как ищущий осуществления – и тогда он движет и направляет. Понятие *предела, грани* есть, быть может, самое великое понятие, которое наука и философия могут приложить к объяснению природы – потому что он сам, этот предел, есть то, что делает ее тем, что она есть, – есть ее сущность. Снимите это понятие с природы – и она обратится в хаос; вложите в хаос это понятие – и он превратится в космос, как в гармонию, как в красоту, как в разумность.

Если же мы захотим отдать себе отчет в том, что такое это понятие предела, – мы увидим, что оно есть самый существенный элемент второго начала, которое после причинности господствует над всем движущимся и варьирующим – начала целесообразности. К рассмотрению этой последней мы и обратимся теперь.

III

Несомненные образцы целесообразности даны нам в целесообразной деятельности самого человека. Однако, выводя свои положения о ней, мы не будем только делать обобщения наблюдаемого; путь такого исследования всего более чужд нам. Напротив, мы будем выводить эти положения из самого понятия о том, что такое цель и средство, замысел и осуществление – что одинаково присуще целесообразности, где бы и когда она ни происходила. Это не правила антропоморфической целесообразности – это правила всякой целесообразности, находящие свое осуществление также и в человеческой.

Прежде всего определим состав целесообразного процесса. В отличие от причинности, которая всегда двучленна (причина – следствие), целесообразность имеет строение более сложное; ее образуют: *цель*, *средство* (элемент, могущий иметь в свою очередь весьма сложное строение), *идея цели* и *разум* как творческий источник неопределенного числа целесообразных процессов. Два последние элемента целесообразности суть чисто идеальные, и они не могут быть открыты ни для кого, кроме самого субъекта, из которого исходит целесообразный процесс; напротив, два первые элемента могут быть и материальны. Собственно из них и состоит целесообразный процесс, насколько он открывается для внешнего наблюдения: последнее, сколько бы ни анализировало этот процесс, никогда не найдет в нем ничего, кроме отдельных звеньев и последнего между ними, на котором процесс закончился. И, только всматриваясь в способ соединения этих звеньев и в их черты, когда они взяты в различные моменты процесса, наконец, изучая их все в соотношении с последним звеном, – внешнее наблюдение может открыть, что процесс исследуемый не есть причинный, но целесообразный.

Дадим определение трех остальных членов целесообразного процесса: идея цели есть образ или понятие чего-либо, что может быть осуществимо и что творческим источником ее – разумом признается достойным осуществления (например, образ статуи или понятие о форме государственного устройства). Таким образом, по времени идея цели предшествует всему целесообразному процессу, и собственно она и есть движущее и направляющее начало в нем. И только потому, что она не одной природы с процессом (идеальное – вещественное) и что она тождественна по соотношению частей, по строению своему, с целью, а эта последняя уже одной природы

с процессом и соединена с звеньями его непрерывающимся соприкосновением, – мы говорим, что основание целесообразного процесса лежит в цели. Далее, эта последняя есть осуществленная идея цели – то есть образ или понятие, получившее объективное положение по отношению к творческому источнику через соединение с тем, что способно его выразить (статуя, государство). Наконец, средства – это совокупность всех звеньев целесообразного процесса, подготовляющих последнее, и заканчивающее звено – цель.

Заметим, что в цели осуществленной значуще есть форма строения – как соотношение между частями, как их расположение и связь. Потому что в этом одном она тождественна с идеею цели, которая через целесообразный процесс и ищет своего выражения. Поэтому и связь между целью и промежуточными звеньями целесообразного процесса есть также связь по строению, соотношению частей.

Всякому целесообразному процессу присущи следующие черты:

1. *Согласованные нарастания.* Первая фаза целесообразного процесса (или того, в чем он возникает) есть всегда или однородное простое, или сложное, но вне соотношения с наступающим сложением; поэтому всякий раз, когда это чуждое строение имеет место в первоначальном материале, некоторая доля целесообразной энергии затрачивается на то, чтобы преодолеть его, изгладить. Последняя фаза процесса (цель) будет иметь строение, тождественное с тем, которое представляет собою идея цели. Все промежуточные фазы, как имеющие осуществить это строение, будут представлять собою: 1) некоторое строение же – иначе они не соотносились бы с целью, не были бы средством для нее и, следовательно, не входили бы фазами в целесообразный процесс; 2) в строении этом будет некоторый недостаток сравнительно с строением цели, потому что без такого недостатка данная фаза была бы уже целью, и процесс не продолжался бы; 3) в нем (строении) не будет ничего вне соотношения с строением цели: каждая его черта или сохранившись войдет в сложение цели, или преобразившись создаст необходимое в этой же цели. Итак, *по строению своему цель всегда есть самое сложное сравнительно с остальными фазами процесса.* Что касается до последних, то в них недостающее в сравнении с строением цели всегда будет убывать по мере приближения к этой последней, т. е. сложность будет нарастающею во времени.

Эти нарастания будут все согласованными, и цель есть то, что согласует их. Потому что, сравнительно с отдельными фазами процесса, цель не только более сложна по строению, но она, кроме того, есть целое, в котором все черты этого сложения сомкнуты. И естественно, что эти черты не только не появляются в предыдущих фазах разом, но что и каждая из них в отдельности есть вначале черта еще недостающая; так что процесс усложнения нужно представлять не только как последовательное появление черт сложения, но и как возрастание каждой из них в отдельности до той степени, когда бы она могла быть соединена с остальными. Это соотношение разрозненного

и недостающего, что в последующие времена стремится возрасти до цельности и сомкнутости, мы и называем согласованностью: потому что в этом процессе каждое появившееся или согласуется с ранее возникшим, дополняя его, или согласуется с собою только еще возникающее, дополняясь им. Это и придает как бы мысль всему процессу; и она действительно есть в нем, приводя в соответствие все его звенья и каждую черту во всяком из них: существуя одновременно и не в одном месте, они, однако, как бы чувствуют одна другую и гармонируют друг другу через пространство и время, без чего-либо промежуточного, без всякого соприкосновения. Но это потому, что в цели есть это соприкосновение (между ними), что она одна и в ней они одновременно.

2. *Определенность* есть вторая особенность всякого целесообразного процесса. Она основывается на том, что черты каждой фазы в нем находятся в соотношении с чертами последней, которая одна и всегда определена. И так как это соотношение выражается в недостатке (сравнительно с строем цели), то, следовательно, этот недостаток есть недостаток *до* определенного. Целесообразный процесс, который движется между конечной фазой и этой наблюдаемой, есть, таким образом, переход от определенного к определенному по линии их соединения, то есть определенный же. И сверх того, так как цель тождественна по строению с идеей цели и эта последняя предшествует по времени всему целесообразному процессу, то он является в одно и то же время и предустановленным.

3. *Необходимость и принудительность*, которая замечается в смене фаз целесообразного процесса, обуславливается особым соотношением между целью и средствами: вторые заимствуют все свое значение от первой и вне соотношения с нею – не имеют силы к существованию. И так как то, что обуславливает это существование их, лежит еще в будущем, что дает им силу быть – лишь *станет*, и именно *через них*, то всю энергию бытия своего они обращены к этому будущему. Существовая лишь настолько, насколько (другое) станет, они все обращены к нему; прошедшее для них незначуще, есть некоторое как бы страдание, есть то беспокойное в каждом звене целесообразного процесса, которое утихает лишь с приближением к цели, к источнику их жизни, к оправданию их бытия, которое ранее было неоправданным. Поэтому в каждом отдельном звене можно наблюдать, что энергия жизни его вся примыкает к последующему и отходит от предыдущего, что и становится почти механической причиной возникновения за ним другого звена, – и так до конца, до цели, все с возрастающею полнотою форм, все с увеличивающеюся твердостью бытия.

Конечно, нельзя отвергать, что в некотором особом смысле цель в полном своем составе присутствует уже в каждом звене целесообразного процесса; но только в существовании ее здесь есть недостаток: она становится через звенья, она в них предшествует – но лишь как *тень, по которой они взбираются до оттеняющего*. И, однако, звенья имеют полноту существования, то есть избыток его, – в сравнении с существованием цели, ко-

торая есть их причина. Это можно объяснить только тем, что в каждом целесообразном процессе происходит как бы преобразование и взаимное замещение двух явлений, которые относятся к совершенно различным порядкам бытия. Цель, по-видимому, и при неполноте своего существования потому дает силу для полного существования средствам, что она неизмеримо превосходит их в своем достоинстве, в полноте форм и красоте жизни; так что избыток в совершенстве здесь как бы возмещает недостаток в реальности – выполняет то, что в обычном порядке природы могло бы принадлежать только последней. И по мере того, как звенья приближаются к цели и существование последней возрастает до полноты, уменьшается до исчезновения различие в достоинстве между ею и ими.

4. Во всяком случае, из указанного отношения между целью и средствами вытекает *разрушаемость* всякого целесообразного процесса. Каждый раз, когда цель почему-либо становится неосуществима, когда или она закрывается или из процесса выпадает необходимое звено – весь ряд звеньев, который уже был осуществлен, рассыпается: потому что нет основания более для их существования; нет причины, которая ранее им давала силу бытия. Прервать их соотношение с целью – значит погасить в них силу жизни. И если они удерживают после этого перерыва на некоторое время прежнюю форму и иногда прежнее расположение, то лишь по инерции (трупно), вследствие отсутствия привходящей причины. Но раз появится эта причина – они пассивно подчинятся ее влиянию, бездеятельные ко всякому новому изменению, безразличные к тому, чем стать.

Вот особенности целесообразного процесса – и они все противоположны тем, которые мы отметили ранее для причинности. Сравнивая их между собою, мы найдем, что некоторым особенностям причинности нет соответствующих в целесообразности. И они действительно не указаны нами, потому что являются уже не общими для всех целесообразных процессов, но различными в каждом из двух видов, на которые эти процессы распадаются.

IV

Господствующий член целесообразного процесса, который как идея предшествует ему во времени (идея цели), может или *заключаться внутри его*, или иметь по отношению к нему *наружное положение*. В первом случае целесообразность будет внутренней, во втором внешней. Как на пример этой последней можно указать на всю деятельность человека, которая совершается по целям, им произвольно выбранным; как на пример первой – можно указать на деятельность его, которая бессознательна и произвольна (это деятельность всегда не причинная). Так, построение здания или установление формы государственной жизни в среде данного народа есть внешняя целесообразность – потому что замысел здания и идея политической формы имеют внешнее положение по отношению к процессам построения

здания и преобразования государства, равно и к материалу, который варьирует в этих процессах (дерево, люди), и к конечной форме, которая ему придает (здание, государство). Напротив, зарождение и постепенный рост самого замысла или идеи есть процесс внутренней целесообразности, потому что причина изменения первого и второй лежит внутри их самих: в правильности возникшего; в его способности (при осуществлении) выразить известное чувство или мысль; и в том, что это выражение станет полным и совершенным, если путем внутреннего развития возникший замысел или идея, которые вначале всегда просты, превратятся в сложное представление или в сложную систему понятий.

Различие между этими двумя видами целесообразного процесса заключается в способе возникновения каждого последующего звена и в степени участия при этом причинности.

Во внешней целесообразности идея цели, отделенная от среды, в которой она осуществляется, *не может привести эту последнюю в соответствие с собою иначе, как через причинность*. Поэтому каждое последующее звено здесь возникает по строго механическим основаниям, и эти последние имеют значение производящее, созидающее. Так, в построении здания каждое поднятие груза (камня, доски) обуславливается механическим давлением снизу, всякое перемещение материала – причиною, имеющею положение обратное с направлением перемещения. Целесообразность привходит здесь лишь как направление, в котором соединяются и примыкают одно к другому последовательные звенья, то есть, перенося это на причины, – в планомерном расположении и последовательном возникновении этих последних, что уже не лежит в них самих. Это привходящее направление, которое *согласует звенья процесса*, и есть единственный признак, по которому может быть узнана в нем целесообразность. Что касается до способа возникновения каждого звена, то он заключается всегда в сложении, соединении ранее разъединенного; и это также потому, что здесь идея цели отделена от среды своего осуществления: эта среда имеет вообще размещение и строение, не соответствующее тому, которое она должна принять для осуществления идеи цели, и поэтому каждая часть ее хотя иногда предварительно и отделяется от другой, но перед моментом, в который становится уже частью цели, всегда и только соединяется с какою-нибудь третьей. Таким образом, по существу своему и по виду, внешняя целесообразность всегда представляется как процесс построения: идея цели строится через материал ей чуждый, действуя на него посредством механических причин, которым она придает соответствующую с собою планомерность и нужную последовательность.

Во внутренней целесообразности идея цели, заключенная в среде своего осуществления, *не действует* на него *через посредство механических причин*. Последних и нет здесь, потому что (как было показано выше) они всегда имеют наружное положение по отношению к тому, на что могут

действовать. Но, распадаясь при своем развитии, идея цели производит распадение и среды, ее заключающей. Это распадение есть постоянный и единственный способ, посредством которого идея, имеющая первоначально всегда простое и общее выражение, переходит к полноте своего содержания – через ряд посредствующих идей, причем конкретность последних возрастает по мере того, как увеличивается их число и разнообразие, и, следовательно, сложность первоначальной идеи, которая их выделила из себя* и продолжает содержать в себе. Таким образом, в противоположность внешней целесообразности, при внутренней каждое последующее звено процесса возникает через распадение предыдущего, и, следовательно, единство звена при двойственности его строения может быть сохранено не далее второй фазы процесса: в дальнейшем его ходе звено только усложняется, распадаясь, но – он сам, превращаясь в систему процессов, из которых каждый движется самостоятельно, лишь согласуясь с остальными, так как идея цели остается постоянно одна для всех. Идея (цели), осуществляясь, раскрывается в систему низших идей, – причем из каждой предыдущей выделяется несколько последующих, ей в точности равных, но лишь отчетливее выражающих то, что в ней было выражено общее и неопределенно. И по существу своему, и по наружному виду, который он представляет для внешнего наблюдения, это есть процесс самораскрытия. Соответственно господствующему значению, которое имеет в нем для всякого возникающего изменения идея цели, значение механической причинности является здесь слабым. Но оно все-таки есть: ничего не производя, эта причинность многое здесь обуславливает. Имея наружное положение по отношению к процессу, она иногда задерживает возникновение последующего звена или стесняет и искажает ту форму, которую оно приняло бы, если бы не было стеснено. Причем если это стесняющее влияние производится на звено, необходимое для достижения цели, то по общему закону всякой целесообразности – процесс разрушается.

Вот виды генезиса, которые исчерпывают собою возможные соотношения между его звеньями и, следовательно, обнимают собою всю природу. Не следует думать, что в живой действительности процессы совершаются в той чистоте и отдельности, как мы их представили здесь для отчетливости. Но, смешиваясь, переплетаясь и перерывая друг друга, они даже в частях своих

* Этот процесс всего удобнее было бы назвать процессом самораскрытия идеи. Объяснить его ход и причину для того, кто никогда не испытывал в себе формирования идей – их первоначально смутное и бедное зарождение, затем постепенное уяснение и рост, вытесняющий из сознания все посторонние мысли и нередко подавляющий самые естественные чувства, наконец превращение в сложную систему переплетающихся понятий, – объяснить все это, повторяем, для человека, чуждого идейному развитию, – очень трудно. Напротив, для того, кто испытал в себе формирование идей, достаточно намекнуть на это, чтобы объяснить, в чем дело, – что за процесс раскрытия, о котором говорим мы.

представляют для нас черты достаточно ясные, чтобы мы могли распознать их природу. Всякий раз, когда мы имеем хотя бы несколько звеньев от процесса, ни о завершении, ни о начале которого ничего не знаем, всматриваясь в строение их и взаимное отношение, – мы можем с точностью определить, какого характера причины, их вызвавшие и движущие.

V

Теперь мы можем возвратиться к предмету, частное рассмотрение которого так надолго оставили для этих общих рассуждений. Органический мир, следы которого сохранены для нас в пластах земли и строение которого, в его целом, изучается в систематике, предоставляет для нас достаточно много звеньев, чтобы мы могли определить природу того процесса, через который произошел он. Начавшись с *простейших форм* – с органической клеточки, чуждой какого-либо строения, он в течение тысячелетий *возрос до сложности*, которую мы в нем наблюдаем теперь. В течение этого долгого времени он *никогда не упрощался*, его сложность была всегда нарастающею. Как ни велик и ни многообразен он, мы нигде *не наблюдаем* в его формах *несоответствий* – ничего, что взаимно препятствовало бы одно другому или хотя находилось бы вне всякого отношения к прочему. Его вариирование во времени всегда только поступательное, оно все разлагается на моменты приготовления и завершения: нет ничего, что, начавшись, не оканчивалось бы; что, уже полуразвившись, возвращалось бы к прежнему состоянию. И в то время, как он переходил от форм к формам, – единственное, что могло бы действовать на него, как внешняя причинность, – окружающая природа – оставалось все тем же, т. е. в нем мы имеем варирующее, кругом которого было постоянное. Ни законы химических соединений, ни природа физических явлений, ни самая борьба за существование не изменялись с тех пор, как существует земля. Изменения температуры земного шара и распределения суши и воды было единственное, что произошло в прошедшем, но второе не могло создать никаких новообразований в органических формах, а первое не могло произвести в них усложнения. Но допустим, что в причинах, которые извне и механически давили на органический мир, в отдаленные времена происходили перемещения, которые остались скрыты от нас: они могли произвести только перемещения же, то есть беспорядочную смену одних форм другими. Но чтобы породить планомерно устроенное (органический мир допускает классификацию себя) и последовательно усложнявшееся – они сами должны были быть планомерно же устроены и последовательно усложняться. Но тогда процесс возникновения органического мира, при строго причинном образовании всякой формы его, был бы в целом произведением внешней целесообразности: он был бы процессом построения.

Таким образом, нет способа мысли, который мог бы удержать причинное объяснение для устройства и происхождения органического мира. Самое согласие на эту причинность приводит к признанию одного вида целесообразно-

сти же. Но это не тот вид ее, по которому происходят наблюдаемые явления органического развития. Мы никогда не видим, чтобы возникающие формы слагались, построялись через внешнее *соединение* образующих черт. Напротив, *деление* прежде бывшего – вот постоянный способ возникновения здесь нового. Вспомним первую стадию эмбриологического процесса: в замкнутой клетке с однородным содержанием вдруг появляется продольное деление, и она распадается на две клетки. Во всей природе есть только один способ, которым может произойти это простое явление: способ действия внутренней целесообразности. И что происходит в этом первом явлении, где зарождается органическая жизнь, то повторяется на всех ступенях ее развития, одинаково в растительном и животном царстве: органические новообразования никогда не слагаются из частей своих – они всегда развиваются через распадение простейшего на более сложное. То есть *внутренняя целесообразность движет и направляет органический мир в каждой его части и во всем его целом.*

1889 г.

ТЕОРИЯ ЧАРЛЬЗА ДАРВИНА, ОБЪЯСНЯЕМАЯ ИЗ ЛИЧНОСТИ ЕЕ АВТОРА

Чарльз Дарвин принадлежит к числу немногих в истории умов, которые печать своего мышления успели наложить на целую эпоху. Он не только сообщил новое и неожиданное движение наукам, которым специально посвятил себя, но методом этих наук, им открытым, заразил и другие отдаленнейшие отрасли знания, которых никогда не касался прямо – историю, этику, эстетику. При всем упорстве сопротивления некоторых светил науки, как Агассис, как Бэр, как Кёлликер, его теории быстро восторжествовали во всем образованном мире, как бы не замечая, не чувствуя этого противодействия, обходя и заливая в своих триумфах всякие протесты. Что это был за человек, возбуждивший вокруг себя такое огромное движение? Как рос он, как развивался? Каковы были истинные размеры его способностей, широта влечений? Все эти вопросы были небезынтересны для цивилизованного мира; можно было ожидать, что они будут ему самому предложены. И они, действительно, были ему предложены, и он дал на них ответ в кратких автобиографических заметках, недавно появившихся и на русском языке («Сочинения Ч. Дарвина», т. III, вып. 3. Автобиография. Издание д-ра философии М. Филиппова. СПб. 1896 г.).

I

В образованной и состоятельной английской семье Чарльз Дарвин рос живым, подвижным мальчиком, но без излишней впечатлительности. Уже на девятом году потеряв мать, он, однако, «ничего не мог припомнить о ней, исключая ее смертного ложа, черного бархатного платья и затейливо сде-

ланного рабочего столика». В тот же год он поступил в школу, и память его приурочивает к этому же времени начало привязанности к собиранию коллекций, из которой вытекла позднее его любовь к естественным наукам. «Я пытался, – пишет он, – узнавать названия растений и собирать всякого рода вещи: раковины, печати, марки, монеты, минералы. Страсть к коллекционированию, делающая человека систематиком-натуралистом, знатоком редкостей или, наконец, скрягой, была во мне очень сильна и явно была врожденною». Даже в воспоминании, относящемся к более позднему возрасту, он пишет, что собирал минералы без всякой серьезной мысли: «Все, о чем я заботился – это приобрести минерал с новым названием, и едва ли пытался их классифицировать» (стр. 6). Любопытен, хоть и миниатюрен, один факт, одна простая шутка, сообщаемая им из этой поры своего детства: однажды своему товарищу в играх, Лейтону, известному впоследствии ботанику, он объявил открытие, что если поливать первоцвет и *Polyanthus* различными жидкостями, то листья и стебель их также будут различно окрашены. Это была выдумка: он не делал ни опытов, не получал результатов. Это было игривое движение души – однако замечательно предварившее, в направлении своего движения, все будущие его серьезные работы: случай априорного предрасположения, на который если бы он оглянулся в себе, он более пове-рил бы, что есть или может быть аналогичная предрасположенность и в целой природе. Замечательно, однако, что, записав его в старости, он как бы вовсе не заметил его, передав только как факт, как любопытный раритет в коллекции жизненных случаев.

Пробыв один год в элементарной школе, он поступил в частное училище д-ра Ботлера и провел в нем семь лет: возраст нашего гимназического учения. «Для моего умственного развития, – рассказывает он, – едва ли что-либо могло быть хуже, нежели училище д-ра Ботлера, так как это была строго классическая школа, где больше ничему не обучали (т. е. сверх древних языков и математики), исключая разве еще скудных сведений по географии и истории древнего мира. Как воспитательное средство, школа для меня представляла лишь пустое место. Во всю свою жизнь я был замечательно неспособен овладеть вполне каким-либо языком», – т. е. организмом языка, как некоторым живым целым. В английских классических школах, между прочим, ученики упражняются в сочинении стихов, – глубоко архаический остаток, но он приучает к гибкости языка и мысли, к подвижности, изобретательности в слове и, также, напрягает воображение. Вообще дети и добровольно этим охотно занимаются, но замечательно, что Дарвин не только питал к этому занятию отвращение, но и совершенно ничего не мог сделать с задаваемыми темами. Едва он нашел выход из затруднения: «У меня было много друзей, мы вместе собрали хорошую коллекцию старинных стихотворений, и, кое-как склеивая разные стихи, иногда с помощью других мальчиков, мне удавалось достичь чего-нибудь». Пример еще априорного предрасположения преодолевать встреченную трудность, которое мы позже встретим в его объяснениях. В остальном учение шло успешно:

Дарвин был прилежен, и, имея хорошие способности, особенно память, он не только не отставал в своих уроках, но и успевал готовить их за день вперед. «Я выучивал 40–50 строк Вергилия или Гомера, пока был на утренней молитве в часовне». Вообще он «добросовестно работал над классиками и никогда не прибегал, как часто делали другие, к подстрочникам». Так проходили годы его отрочества и первой юности – лучшие годы всякой человеческой жизни. Он, однако, не оставлял или предполагал, что не может оставить хорошего впечатления: «Когда я вышел из школы, – пишет он несколько угрюмо, – я был по возрасту не слишком велик и не слишком мал, и думаю, что все мои учителя, да и мой отец считали меня очень дюжинным мальчиком, скорее даже несколько ниже обыкновенного умственного уровня».

Итак, эти ученические годы были тем, о чем сказал и Пушкин, применительно к своей, по способностям, по плодам гениальной эпохе:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь.

Для Пушкина, как и для Дарвина, осталась здесь незамеченною одна великая, благодатная, охраняющая черта: незанятость, непоглощенность души извне навязываемыми, в определенном порядке, впечатлениями. И, между тем, дети, собранные в такую школу, учились; они были окружены книгами и учителями; они собрались сюда для образования, без всякой другой нужды и заботы; атмосфера духовная, атмосфера умственного возбуждения, однако без всякой принудительности, навязчивости или, по крайней мере, оставляющая широкий досуг. Байрон или Пушкин в этой школе зрели свободно для версификации; Дарвин зрел для своей особенной – великой в истории, если не перед истиной – задачи. «Ты ни о чем не думаешь, – вскричал однажды на него отец, – как только об охоте, о собаках и о ловле крыс; ты будешь позором и для себя, и для своей семьи». Он не догадывался, что именно в этих шалостях, в этом баловстве зрел будущий Дарвин, как зрел и Пушкин, серьезно зрел, когда он

Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал.

II

Страсть к собиранию коллекций, связанная с пребыванием на воздухе, в лесу, в поле, действительно скоро осложнилась у Ч. Дарвина страстью к охоте. Когда он был у Ботлера, он дни целые просиживал над удочкою, следя терпеливо за поплавком; с летами в нем воспреобладала страсть к ружью. «Не думаю, – пишет он, – чтобы кто-либо выказал столько рвения к самому свая-

щенному делу, сколько я обнаружил при стрельбе птиц. Как отлично я помню день, когда убил первого бекаса; мое возбуждение было так сильно, что я с величайшим трудом мог перезарядить ружье – до того у меня дрожали руки». Он стал отличным стрелком. Уже гораздо позднее, в Кембридже, в свободные часы учебных месяцев, он упражнялся в меткости стрельбы, туша пистонами зажженную свечу, которую просил товарища махать. «Что за удивительное дело, – заметил тUTOR, – мистер Дарвин, кажется, по целым часам занимается тем, что хлопает в своей комнате бичом».

На 17-м году он перешел от Ботлера в Эдинбургский университет, где старший брат его оканчивал медицинское образование; по-видимому, у отца его было намерение и второго сына сделать доктором. Но учение и здесь хотя текло без всяких заметных прорех, однако, как и в «строгой классической школе», в Шрусбери, было безжизненно, не было вну гренно напряжено, без «огонька» в учащемся и, кажется, в самих учителях. «Преподавание происходило исключительно по лекциям, – вспоминает он, – которые были невыносимо скучны, исключая лекций Гопа по химии; но, по-моему, лекции, по сравнению с чтением, не представляют никаких преимуществ, отличаясь многими невыгодными сторонами. Лекции д-ра Донкана о *Materia medica** в 8 часов утра зимою – это нечто, о чем страшно вспомнить. Д-р Монро читал об анатомии человека; его лекции были так же вялы, как и он сам, и самый предмет был для меня противен». Понимая, в старости, важность анатомических знаний для своих последующих трудов, он с большою досадою отмечает, что его своевременно не принудили работать над рассечением трупов. Этот пробел остался непоправимым, как и его неумение рисовать, «моя неспособность к рисованью» – отмечает он. И в самом деле, во время экспедиции на корабле «Бигль» он накопил «ворох манускриптов, но по недостатку анатомических у меня сведений и неспособности к рисунку – он оказался в научном отношении бесполезным». На второй год ему пришлось слушать лекции Джемсона по геологии и зоологии, «но, – записывает он, – они были невероятно вялы; единственный эффект, произведенный ими на меня, состоял в том, что я решился никогда в жизни не читать ни одной книги по геологии и ни за что не изучать этой науки».

Таким образом, по всем этим кратким отметкам мы видим, что естествознание собственно как наука, как методическое изучение, было у него на втором плане. И тем обильнее, уже с первых детских лет, в нем разрасталось – если можно так выразиться – естествознание «глаз», «созерцания», «непосредственного», но внешнего наблюдения природы. Так, в десятилетнем возрасте, когда он был лишь на год старше тех лет, в которые ничего не мог запомнить о матери, он точно записывает: «Поехав на три недели в Плас Эдварс, на морском берегу в Уэльсе, я был заинтересован и удивлен, увидев одно крупное, черное с красным, полужесткокрылое насекомое, нескольких мотыльков (*Zygena*) и одного жука (*Cicindela*), не встречающихся

* Предмет медицины (*лат.*).

в Шроншире». – «Я почти задался, – поясняет он, – целью собирать всех насекомых, каких только мог найти мертвыми, потому что, посоветовавшись с сестрой, пришел к заключению, что нехорошо убивать насекомых ради составления коллекций». В то же время он стал наблюдать над нравами птиц. «Это доставляло мне, – пишет он, – большое удовольствие, и я стал даже составлять по этому предмету заметки». Он был, судя по окружающим эту заметку воспоминаниям, еще совершенный ребенок в это время: очевидно, здесь пробивался никем пока не замеченный талант. Однако в 1826 году, т. е. только 17 лет, он уже делает первое хоть и миниатюрное, но новое открытие: «Открытие состояло в том, что так называемые яйца у *Flustra* обладают способностью произвольного движения помощью ресничек и что они на самом деле личинки»; скоро к этому он прибавил и еще наблюдение, ускользавшее ранее от всех, – «что маленькие шаровидные тела, о которых предполагали, что это незрелое состояние *Fucus lorens*, на самом деле не что иное, как яичные оболочки червеобразной *Pontobdella muricata*». В нем зрел наблюдатель, натуралист.

В этот же 1826 год он совершил первое свое путешествие-экскурсию. «Пешком, с двумя товарищами, имея ранцы на спинах, мы прошли по Северному Уэльсу. Большую часть дней мы шли, – рассказывает он, – по тридцати английских миль, включая день восхождения на Сноудон. Я также совершил с сестрой поездку в Сев. Уэльс; слуга вез наши платья в седельных вьюках. Обе осени были посвящены охоте, главным образом у мистера Оуэна и у моего дяди Джоссии, в Мэр. Мое рвение было так велико, что я бывало ставил мои охотничьи сапоги наготове у изголовья, когда ложился спать, чтобы не потерять и полминуты на одеванье их утром. В одном случае я достиг отдаленной части поместья Мэр, 20 августа, охотясь за глухарями, и только тогда заметил, где я. Затем я целый день, вместе с лесничим, с трудом пробирался сквозь густой вереск и чашу молодых сосен». В нем, в эти годы университетской жизни, пробуждалось нечто вроде стыда к своему любимому занятию: «Я старался убедить себя, что охота – почти умственное занятие, так как она требует столько искусства для того, чтобы судить, где найти больше дичи и как лучше всего спустить собак». Предостережение отца имело все видимости сбыться.

III

«Казалось в эти годы, – припоминает Дарвин, – что жизнь праздного спортсмена-охотника всего более соответствует моим склонностям». Отец, видя, что никакого доктора из него не выйдет, предложил ему сделаться священником. Так же без отвращения и без страсти, как он готов был стать доктором, он был готов стать священником. «Я просил несколько времени подумать, – пишет он, – так как из того немногого, что слышал или мыслил по этому вопросу, я чувствовал для себя щекошливым объявить, что верую во

все догматы англиканской церкви: хотя в другом отношении я охотно склонялся к мысли стать сельским священником. Поэтому я прочел с величайшим вниманием книгу Персона о Символе веры и несколько других книг по божественным предметам, и так как тогда не имел ни малейшего сомнения насчет строгой и буквальной истины каждого слова в Библии, то скоро убедил себя в том, что наши догматы веры должны быть всецело приняты».

Для занятия предполагаемой должности нужно было ему получить училищную степень, и для этого, в 1828 г., он отправился в Кэмбриджский университет. Оказалось, однако, что за два года он забыл все из классиков и даже забыл некоторые греческие буквы. Принуждены были взять ему репетитора. О годах нового университетского учения он пишет: «В течение трех лет, проведенных в Кэмбридже, я тратил время по-пустому – во всем, что касается университетских занятий. Я пытался взяться за математику, и даже взял для этого частного учителя, – но подвигался очень медленно. Эти занятия были мне противны, главным образом по моей неспособности понять какой-нибудь смысл элементарных действий алгебры. Спустя годы, я очень жалел, что не принудил себя подвинуться хотя бы настолько, чтобы понять что-либо в руководящих началах математики, так как я замечал, что обладающие этою отраслью знания обладают как бы лишним органом чувства; не думаю, однако, чтобы и при усилиях я достиг чего-либо выше очень низкой ступени. Относительно классиков я не делал ничего, исключая посещения немногих обязательных лекций, и посещения мои были почти номинальны». На третий год, однако, он начал работать серьезнее – для получения степени бакалавра; между прочим, нужно было пройти «Свидетельства христианства» Палея и его же «Нравственную философию». «Это было, – пишет Дарвин, – сделано основательно, и я уверен, что мог бы написать на память все «Свидетельства» совершенно правильно, но, конечно, не ясным словом Палея. Логика этого сочинения и, могу прибавить, его «Естественного богословия» доставляли мне столько же удовольствия, как и Эвклид». Ни геологии, которую читал в Кэмбридже знаменитый Сэджвик, ни ботаники, которую читал талантливый Генслоу, он не стал изучать; Сэджвика даже не слушал; но там бывали экскурсии. «Эти экскурсии, – записывает Дарвин, – были восхитительны».

IV

Так шло его воспитание до 1831 г., когда он кончил курс университета, готовый назавтра стать священником. Ему было 22 года. Печать чего-то светлого и спокойного, *непрерывно* спокойного, лежит на всем его детстве и юности; ничего выдающегося, никакого потрясения, никакого бурного кризиса, ни даже сильной любви (о «шалостях» молодости он передает в одном месте воспоминаний). Самые легкие, априорные предрасположения в занятиях и способах умозаключения; заметное преобладание внешних способностей над внутренними; любовь к ландшафту, к природе, к движению (охота); совершенное

отсутствие субъективизма; отсутствие влечения заглядывать внутрь предметов. Вероятно, в связи с этим, в нем было замечательное отсутствие музыкальных способностей: «Я до того был лишен музыкального слуха, – пишет он, – что не мог никогда заметить диссонанса, выдержать такт или правильно промурлыкать мелодию», – что вызывало над ним даже шутки товарищей, забавлявшихся тем, что он не может узнать одной и той же мелодии, если играть ее несколько скорее или несколько медленнее. Он уже прочел к этому времени, «среди разных книг», исторические, т. е. представляющие занимательность факта, драмы Шекспира, «Времена года» Томсона и только что появившиеся тогда поэмы Вальтер-Скотта и Байрона; они ему нравились, но не волновали его. Позднее любовь к поэзии в нем вовсе угасла. Уже отмечена была его нелюбовь к рассечению трупов; но – едва ли не в связи с отсутствием субъективизма – у него и вообще не было интереса к внутренней стороне предметов и явлений, так сказать к анализу их содержания. «Все, о чем я заботился, собирая минералы – это о том, чтобы приобрести минерал с новым названием, и едва ли пытался их классифицировать», – записывает он. Но вот перед ним луг, холмы, лес – и он жадно бросался в них и разглядывал все, что здесь попадалось; умел искать, имел талант находить, подмечать: страстный охотник неуловимо переходил в точного натуралиста, глаз которого не только не делал ошибок, но и подмечал то, что ранее от всех ускользало. В высшей степени – внешняя природа, в высшей степени – талант ко всему внешнему.

Он или не проходил вовсе, или проходил невнимательно основные естественные науки: анатомию, геологию; эмбриологии и гистологии в это время еще не существовало иначе как в зачатках; не знал фундамента естествознания – математики, иначе как в элементах. Что касается так называемого «общего образования», то, припоминая встречу свою, в 1827 году, с Мэкинтошем, он отмечает несколько неделикатно к себе: «Я понимал столько же, сколько свинья, в вопросах истории, политики, нравственной философии, о которых он говорил». Но все искупалось, ввиду задач, ему предстоявших, неиссякаемой любовью к факту, неутомимой жаждой природы, ясным здравомысленным осуждением (любовь к Эвклиду). Одновременно с тем, как он изучал «Свидетельства христианства» Палея, любящая их логикой, – он так передает о своих главных занятиях, почти с юношескою свежестью воспоминания, хотя оно было записано в старости:

«Но ни одно занятие в Кэмбридже не выполнялось мною так ревностно и не доставляло мне столько удовольствия, как собирание жуков. Это была простая страсть к коллекционированию, потому что я не анатомировал их и редко сравнивал их внешние признаки с опубликованными уже описаниями, но добывал их с названиями, получив их как угодно. Дам здесь доказательство моего усердия: однажды, оборвав немного старой коры, я увидел двух редких жуков и схватил их в руки, затем, я увидел третий новый вид, которого ни за что не хотел потерять: тогда я схватил того, который был в правой руке, в рот. Увы! Он выбросил немного необычайно едкой жидкости, которая обожгла мне язык, так что я был вынужден выплюнуть жука и поте-

рял как его, так и третьего. Я очень удачно собирал коллекции и придумал два новых метода: заставлял работника зимою соскабливать мох со старых деревьев и класть в большой мешок, а также собирать мусор на дне барж, в которых возят камыш из болот, и таким образом добыл несколько очень редких видов. Ни один поэт не испытывал большего восхищения, читая свою первую напечатанную поэму, чем испытывал я, увидя в издании Стефенса, «Иллюстрация британских насекомых», магические слова: «Пойман Ч. Дарвином, эсквайром» (стр. 18).

Следует здесь еще отметить одну черту – черту необыкновенного нравственного здоровья во всех условиях, среди которых рос Дарвин, и особенно в людях, с которыми он сталкивался (характеры Фиц-Роя, дяди Джоссии, да и многих других). Правда, никакого особенного углубления мы в них не наблюдаем, но и никакого искажения, извращения. Полная противоположность тому, что мы находим в условиях и в среде воспитания, напр., Вольтера или Руссо. Здоровый ландшафт кругом – и люди здоровые и свежие почти как этот ландшафт.

Если дар внешнего созерцания был преобладающею чертою в умственных способностях Дарвина, то в его нравственном складе нас поражает – пассивность. Он всем готов стать, но ничем – с горячностью. Мы уже видели, как он одинаково бесстрастно колебался между профессиею медика и деятельностью священника, с равным интересом изучал Эвклида и Палея, добросовестно, «без подстрочников», работал над классиками. Любопытно, что путешествие на корабле «Бигль», продолжавшееся пять лет и сделавшее его собственно тем Дарвином, какого мы знаем, было для него случайностью: он не искал ни этой, ни вообще какой-нибудь экспедиции. Предложение капитана Фиц-Роя «уступить часть своей каюты любому молодому человеку, который согласится бесплатно поехать с ним в качестве натуралиста» – смутило мысли завтрашнего священника и вместе любителя коллекций. Но отец возразил – и в тот же вечер Дарвин написал отказ. Однако вмешался добрый его дядя Джоссия: «Во время охоты он послал за мною, предложив мне повезти меня в Шрусбери и поговорить с моим отцом, так как он находил, что с моей стороны будет умно принять предложение». Без всякого труда отец согласился, «и вот, – замечает сам Дарвин, – от такого-то пустого обстоятельства зависело важнейшее событие всей моей жизни, определившее мою дальнейшую судьбу». Замечательно и многозначительно, однако, медленное, неуловимое почти сложение этой судьбы, вне всяких предвидений и определенных целей в ее носителе. Дарвин, уже старик, говорит: «Оглядываясь назад, я теперь могу вспомнить, каким образом моя любовь к науке постепенно стала одерживать верх над всякою иною страстью: в первые два года путешествия моя старинная страсть к охоте удерживалась почти во всей силе, и я сам стрелял всех птиц и животных для своей коллекции, но постепенно я все более и более, а под конец и совсем, передал свое ружье слуге, так как стрельба мешала моей работе, главным образом геологическому исследованию страны. Я убедился, хотя бессознательно и незаметно, что удовольствие наблюдения и

рассуждения – гораздо более высокого сорта, нежели то, которое доставляется ловкостью и спортом всякого рода». Границы, проведенной между охотником и натуралистом, между натуралистом и мыслителем, не только мы не видим, но она потеряна, неощутима и в сознании его самого.

Если его воспоминания, сухие и внешние какие-то, мы сравним с обрывками воспоминаний о себе, например, Декарта или Бэкона, мы будем поражены отсутствием в нем всякой вообще игры внутренних сил, всяких порывов творчества, неясных, смутных и вместе неодолимых влечений. Грез мысли он так же не знал, как не знал и грез любви. «Моя способность следить за продолжительным и чисто отвлеченным ходом мысли – очень ограничена», – записывает он в одном месте. В самом конце автобиографии он делает общий, синтетический очерк своего душевного склада, как он установился во вторую половину жизни его. «До 30-летнего возраста или несколько далее того, поэзия разного рода, вроде сочинений Мильтона, Грэя, Байрона, Водсворта, Кольриджа и Шелли – доставляла мне большое удовольствие, а также доставляли его картины и музыка. Но теперь, вот уже много лет, как я не могу вынести чтения ни одной строчки стихов. Попробовал недавно читать Шекспира и нашел его до того невыносимо скучным, что меня стошнило. Я также почти утратил вкус к картинам и к музыке. Музыка обыкновенно заставляет меня думать слишком энергично о том, над чем я работал, вместо того, чтобы доставить мне удовольствие. Я сохраняю некоторый вкус к прекрасным ландшафтам, но они не причиняют мне изысканного наслаждения. С другой стороны, повести или произведения воображения, хотя и не очень высокого сорта, в течение многих лет были для меня чудесным облегчением и наслаждением, и я часто благословляю всех беллетристов. Изумительное количество было прочитано мне вслух, и мне нравятся все, если они сносны и если не оканчиваются несчастливо, против чего следовало бы издать закон. По моему вкусу, повесть может считаться первоклассной лишь при том условии, чтобы в ней была какая-нибудь личность, которую можно полюбить от всей души, – и если это хорошенькая женщина, то всего лучше». В высшей степени травоядное чувство... к человеку, к поэзии. Мы выше привели уже его собственный способ сочинять стихи (в школе).

Неуловимо для него самого, скрыто от всего цивилизованного мира – черты его духа и судьбы, все, отразились на его теории. Он в ней не мир обрисовал, еще менее – объяснил его; он в ней себя выразил.

V

Дарвинизм есть внешнее объяснение природы, есть взгляд, снаружи брошенный на живой мир и скользящий по его поверхности. Широкий, но не проникающий гений натуралиста в высшей степени сказался в нем. Все факторы, образующие формы этого мира – найдены не скальпелем, усмотрены не под микроскопом, но найдены в лесу, в поле, подмечены в нравах животных и в обстоятель-

ствах, если можно так выразиться, их быта: этот лес, эти деревья – дают окраску им; здесь ищут они пищу и, не находя ее достаточно – борются за существование. Формы (органические) не рождаются изнутри, но делаются снаружи – почти так, как творец теории делал «поэзию», склеивая разные стихи старых авторов. Природа дает обилие всевозможных новых изменений, но наружные факторы отбрасывают ненужное в них и оставляют жить, закрепляют существование только за «полезным». Так лепится великая органическая поэма через «подбор» случайных признаков, и если в ней более мысли или красоты, чем в подававшихся д-ру Ботлеру стихах, – этого не чувствовал их автор. Нет в этой лепке форм живого участия самой природы; она не есть субъективное, самозозидающееся «я»: нет в ней вообще субъективного, внутреннего – вот коренная мысль дарвинизма и главная черта Дарвина. Как он – природа инертно готова стать всем; но чем становится – это определяет среда, определяет случай, как дядя Джоссия некогда определил в сущности весь дарвинизм и роль его в новом просвещении. Только внешние стимулы есть; нет вовсе внутренних предрасположений, нет ничего априорного в природе, нет гения в ней – и только обыкновенная способность всем сделаться, как у него – обыкновенная способность всему научиться. Развивается орган – это вследствие приспособления к условиям среды*; индивидуум изменяется – это давит на него среда; одно атрофируется в особях того же вида, опадает, другое пышно расцветает: это – случайные видоизменения, медленно суммирующиеся в борьбе за существование. Момент медленности, постепенности, сложения неуловимо малого – что было случайно и малоценно, а выросло в большое и важное, – есть отличительный в теории дарвинизма, неистребимый в Дарвине, неутомимом коллекционере, который так медленно и постепенно, «без всяких резких переходов», стал первым светилом своего времени и сам спрашивал и не находил ответа: «Когда я таким стал?» Никакого плана – у него и в ней; никакой цели, никакого преднамерения у творца теории и – в природе, им созерцаемой. В его бесстрастном темпераменте ни разу не зародилось даже каприза, нетерпеливо ищущего выразиться; и, сколько он ни слушал глухую душу свою лоно природы – он там не открыл никаких горячих, живых токов. Широким, необычайно широким взглядом окинул он мир, но было именно в этом взгляде что-то скользящее, созерцающее: дивный взгляд охотника и тот странный недостаток уха, который насчитывал две разных мелодии там, где была одна, но разного темпа. Единства мелодий мира он не уловил; бедный рифмач – он не уловил его поэзии, любитель Палея – он вовсе не понял его религии. Послушаем, что говорит он:

«Жирафа обрывает все низко растущие ветви деревьев; остаются только высоко растущие: все жирафы вытягивают к ним шеи; но некоторые все-таки не дотягиваются и вымирают – «переживают» только с шею, более удлиненную».

Это изумительно ясно и кратко. Это – что-то из Эвклида, из первых его теорем: равенство треугольников, и то понимаемое при условии, если они не

* Мысль, собственно принадлежащая Ламарку, но зачисляется нередко в состав дарвинизма при нескольких компактном и общем его представлении.

очень уродливо нарисованы. Но мы знаем, как затруднялся Дарвин, когда пытался проникнуть дальше их. «Никогда, никогда я не мог предположить, – говорил уже старцем Агассис, – чтобы подобные умозаключения могли получить торжество в науке». Агассис был палеонтолог, т. е. занимался разъяснением органических остатков, находимых в земной коре; Кёлликер был гистолог – он изучал тончайшие строения тканей; Бэр основал эмбриологию – науку о зарождении и развитии организмов. Все они смотрели на природу изнутри ее форм, ее процессов; там они с несомненностью видели проявление ее субъективных, зиждательных законов: в несколько дней и иногда часов построяется, по удивительному плану, животный организм, и они спрашивали, имели тенденцию спросить, не так ли, не аналогично ли в тысячелетиях и мир был построен? Но эти тайны Дарвин хотя и знал, конечно, – но он узнал их позже, когда уже были образованы его собственные, лесные и полевые, взгляды; а главное, он не увидел их своим чудесным глазом: он узнал их книжно, как чужие, навязываемые знания – и это всегда его утомляло еще со времен, когда он слушал о *Materia medica* Донкана, и никогда книга в нем не вызывала живых размышлений.

Между тем, простота и краткость новой схемы восторжествовала и заразила мир: историкам и моралистам, этикам и социологам она была не менее понятна, как и натуралистам. Все в ней нашли метод мысли, путь исканий и открытий, способ становиться учеными и мыслителями. Это было впервые в истории, когда метод растлил ученый мир, растлил самый ум человеческий, не требуя от него усилий усвоения и приложения, понятный младенцу, как и старику; как несомненно растлил бы человеческий ум тот, кто вдруг показал бы в высокой степени правдоподобно, что для объяснения планетных движений, для познания механики и физики излишни конические сечения, анализ и дифференциалы, а совершенно достаточно знание свойств элементарных фигур, чертимых при помощи линейки и циркуля.

КРАСОТА В ПРИРОДЕ И ЕЕ СМЫСЛ

В одной из книжек «Вопросов Философии и Психологии» за 1894 г. останавливает на себе внимание рассуждение нашего известного философа и публициста г. Вл. Соловьева – «Красота в природе». Трудность предмета, которому посвящено оно, невольно заставляет прислушиваться к каждой мысли о нем; а когда мы знаем, что эти мысли принадлежат человеку испытанных способностей, наше внимание удваивается. И в самом деле, объяснить – почему звездное небо нравится нам более, нежели оно же в полдень, при ярком сиянии солнца*¹; отчего мы любимся радугой или наслаждаемся

* На звездное небо мы можем *смотреть* долго, *не отрываясь*, и при этом вовсе не рассматривая на нем созвездий; днем на небо мы можем только *взглянуть*, *полюбоваться* им, *восхититься*, вообще пережить момент наслаждения, но не наслаждение дльщесся.

пением соловья, – это не только важно ввиду ежедневно испытываемых нами подобных ощущений и тесной связи их с поэтическим и художественным творчеством, но и труднее, быть может, нежели разрешение какого бы то ни было другого вопроса в науке. Здесь мы соприкасаемся с темной и обширную область чувств, которые так неуловимы в своем зарождении и переливах, что иногда даже простая попытка закрепить их словом, передать другому в описании – представляется нам грубою и несовершенною; и тем менее ожидаем мы удачи, тем более опасаемся грубости, когда видим желание определить их сущность и причину. Вот почему нисколько не удивительно, что здесь резче, нежели где-нибудь, выразилось чрезмерное неравенство нашего (мы говорим о русских) эстетического и умственного развития. В то время как ощущения эти, в течение долгих столетий испытываемые нашим народом, нашли в темных недрах его и в более развитых его представителях поэтические способы выражения, и иногда в несравненно высокой форме, – ни разу не нашлось среди него достаточно сильной мысли, которая задумалась бы над этими ощущениями, анализировала их и попыталась объяснить.

Вот почему со всем недостающим, что есть в подобной попытке, мы готовы примириться, если в том, что она дает положительного, есть хотя какой-нибудь объясняющий свет. И это двойное ощущение – удовлетворенности и сознания недостатка – испытывается невольно при чтении только что называемой статьи. Почти повсюду автор ее не только открывает подступы к решению неизмеримо трудной задачи, но и восходя на них – бросает светлые мысли на все ее отдельные стороны. Некоторое единство в нескончаемо разнообразных проявлениях красоты, скрытая сущность того, что именно выражается в ней, – все это указывается им, определяется порой с удивительным искусством, и, прочтя ее, всякий получает хоть какую-нибудь возможность думать о том, о чем он раньше совсем и ничего не мог думать. Но этой положительной стороне сопутствует постоянно один недостаток, и он едва ли будет когда-нибудь совершенно возмещен в эстетике: мы говорим об особом характере доказательств, сопровождающих ее положительные указания, который всегда оставляет возможность не принимать последние. И в самом деле, едва ли еще когда-нибудь будет открыта для науки область явлений, где основательные утверждения будут так же трудны, как в отношении явлений красоты, и где возражения были бы так легки. Обычные приемы доказательств, употребительные в других науках, почти не приложимы здесь; и вся убедительность утверждений основывается на *аналогиях, на уподоблениях*, – на том, что мысль утверждающего *без внутренних противоречий*, не изменяя самой себе и своей исходной точке, находит возможным касаться разнообразных сфер прекрасного. Если, при этом, она не встречает непреодолимого противоречия в самых фактах; если, переходя от мира образов к миру звуков и от человеческого творчества – к окружающей природе, она нигде не обрывается, – мы уже внутренне сочувствуем ей, как бы ни были шатки и смутны ее основы; мы уже сомневаемся – не

близка ли она в самом деле к истине, которой предстоит, быть может, остаться здесь окутанною вечным сумраком. Правдоподобность догадок о том, чего мы не можем и, однако же, хотим знать – вот истинное определение научной достоверности эстетических рассуждений как теперь, так, вероятно, и в далеком будущем.

Можно сожалеть как о недостатке строгости к себе о том, что г. Вл. Соловьев не оговорил точно этой степени достоверности высказываемых им соображений. Любя истину, мы не только должны стремиться к ней, но и твердо знать, когда ее не достигаем; и в последнем случае бережно должны предостерегать каждого, кто мог бы принять нас за обладающих ею. Как ни готовы мы сочувствовать его мыслям о том, что все проявления красоты в физической, безжизненной природе зависят от проникновения грубой, косной материи световым эфиром, как первую реализацией идеи, – мы, конечно, не должны забывать, что это только слова, сложившиеся в некоторое понятие, но не истина, опирающаяся на какие-нибудь доводы. Но, повторяем, доказывать что-либо в этой непроницаемо темной области науки так трудно, а опровергать так легко, что едва ли может у кого-нибудь пробудиться желание избрать для себя второе, возложив на других первое. В общем, все соображения г. Вл. Соловьева о красоте в механически устроенной, внешней природе если и не обоснованы, то так внутренне связаны, что они совершенно имеют ту слабую степень убедительности, которая одна только достижима здесь.

Но этого нельзя сказать о второй половине его статьи, где он занимается разбором явлений красоты в органической природе. Ошибки, в которые он впадает здесь, так грубы, что их можно было бы принять за простую небрежность языка, если бы и помимо его статьи они не повторялись слишком часто, постоянно и всегда в одной и той же форме. Здесь, очевидно, скрывается не небрежность в слове, но небрежность в мысли, совершенно правильно выраженной словом.

Ошибка эта, всецело перенесенная г. Вл. Соловьевым в свою статью из естественно-научных произведений, и в особенности из трудов Ч. Дарвина, касается вопроса о том, как *произошли прекрасные формы в царстве животных и растений, каким образом они ощущаются первыми и что именно это ощущение вызывает собою?* Дарвин, повторяя в применении к рассматриваемой области свой обычный прием мысли, утверждал, что красота *чувствуется животными, дает преимущество прекраснейшим из них в борьбе за существование и этим путем медленно нарастает и постоянно укрепляется.* В этом изгибе мышления, в этой новой связи понятий, порознь всегда известных, в сущности, скрыт весь дарвинизм; в нем английский ученый дал *метод* объяснения природы; он *создал как бы новый силлогизм*, под формулу которого стали подводиться всевозможные явления животной, растительной и даже человеческой жизни. И нельзя не заметить, что как бы ни сузилась со временем применимость этой формулы, как бы много областей действительности ни оказались изъятыми из ее приложе-

ния, хотя бы изъята была даже вся органическая природа, – однако в абстрактном своем виде, и прилагаемая хотя бы только к мельчайшим деталям, эта формула сохранится навсегда. «Полезное *охраняет*, поэтому *сохраняется* само и, суммируясь в веках, является как новая черта органического сложения, как прежде не бывший орган» – это так просто, так, наконец, это правдоподобно (по крайней мере – до последнего умозаключения), так действительно, что, в применении к органам ли или чему другому, человек – ранее, нежели прибегнет к другим более сложным приемам мысли, – всегда повторит за Дарвином этот простейший. В данной рассматриваемой области, в области явлений красоты, г. Вл. Соловьев находит удобным повторить этот именно круг мысли, – и здесь-то, почти повторяя Ч. Дарвина, он и впадает в те ошибки, о которых мы упомянули как об очень грубых и хотели бы их поправить.

I

«Жизнь животного, – говорит г. Вл. Соловьев, – определяется двумя главными интересами: поддерживать себя посредством питания и увековечивать свой вид посредством размножения. Эта последняя цель, разумеется, не существует в сознании самого животного, а достигается природою косвенно чрез возбуждение полового влечения в разнополых особях. Но космический художник пользуется этим половым влечением не только для увековечения, но и для украшения данных животных форм. Особи активного пола, самцы – преследуют самку и вступают из-за нее в борьбу друг с другом; и вот оказывается, по словам Дарвина, что способность различным образом *прельщать* самку (курсив принадлежит автору) имеет в различных случаях большее значение, нежели способность побеждать других самцов в открытом бою».

Здесь указывается пока, что красота, даваемая животным природою, употребляется ими как некоторое средство для достижения известных целей – что они *ощущают* ее и *пользуются* ею. В примере слизняков и некоторых других низших животных, который затем приводит г. Вл. Соловьев, у него как будто скользит уже мысль, что эта красота не только ощущается животными и они пользуются ею, но что до известной степени, иногда по крайней мере, они и *создают* ее или *ушливают* в тех же внешних целях: «Если улитки пленяют друг друга своими аллюрами, то другие, более зрячие моллюски еще легче могут оказывать подобное действие красотою своих раковин». Здесь привлекательность движений, очевидно *произвольно* и *преднамеренно* совершаемых, уравнивается, как средство привлечения самок, с красотою цвета, и не отличается, что последний не может быть создан произвольно и преднамеренно существами, которым он присущ. Слова, заканчивающие приводимый пример, также мало могут рассеять это недоразумение: «Дело яснее, – говорит он, – у ракообразных и пауков; здесь самцы некоторых видов приобретают во время половой зрелости яркую и разнообразную окраску, какой не имели прежде и которая отсутствует у самок».

Так как этот признак появляется, когда он нужен, и исчезает, когда перестает быть нужным, то у читателя естественно может возникнуть мысль, что он создается, и именно в интересах достижения некоторой внешней цели (привлечения самок). Следующий пример еще более может укрепить в читателе эту мысль: «Фриц Мюллер пишет Дарвину из южной Бразилии, что он часто присутствовал при музыкальной *состязании* между двумя или тремя самцами цикады, имевшими особенно звонкий голос и сидевшими на значительном расстоянии друг от друга. Как только один кончал свою песню, так сейчас же начинал другой, и таким образом они все время чередовались между собою. Так как здесь, – справедливо замечает Дарвин, – обнаруживается столько соперничества между самцами, то весьма вероятно, что самки не только распознают их по издаваемым ими звукам, но что оне, подобно птичьим самкам, *прельщаются* или возбуждаются тем из самцов, который обладает *самым привлекательным голосом*». И далее: «У насекомых, принадлежащих к отряду Neuroptera, замечается не только особенное украшение крыльев у самцов перед спариваньем, но наблюдается у разных видов предпочтение того или другого цвета... У некоторых видов жуков самцы отличаются огромными и весьма изменчивыми и причудливыми рогами, которые, как доказывает Дарвин, несомненно имеют характер украшения для прельщения самок)... «У многих видов бабочек замечается, что верхняя поверхность крыльев (в противоположность нижней), которую *порхающий самец показывает самке во время ухаживания*, раскрашена и разрисована с таким причудливым изяществом, которое не оставляет никакого сомнения в преобладании здесь чисто эстетического фактора».

Во всех этих примерах, которые приведены, но не объяснены и даже не разграничены, ясно высказывается мысль о некотором участии живых существ в создании тех прекрасных форм, которых они являются носителями. Силою какого-то внутреннего напряжения они как будто или вызывают эту красоту, или усиливают ее, – и делают это, чтобы привлечь к себе особей другого пола. В примере цикад, соперничающих музыкальностью и силой издаваемых ими звуков, – это ясно; но и другие факты выражения красоты в природе поставлены в ряд с этим примером, и их отличие от него не оговорено ни одним словом. В приводимых далее примерах видно, что автор и действительно приравнивает (по произвольности выражения) «яркую и разнообразную окраску» некоторых пауков и ракообразных во время половой зрелости – к звукам, которые издают тропические цикады:

«*Неравнодушны*, – говорит он, – к красоте и рыбы. *Этим только объясняется, что у многих видов этого класса самцы* (вообще более красивые, чем самки) *развивают во время спаривания особую красоту цветов и форм*». Здесь прямо выражено, что окраска наружных покровов производится преднамеренно живыми существами для достижения внешней цели – привлечения самок. В следующих примерах к этой произвольности присоединяются и черты как бы некоторой кокетливости: «Самцы тритонов *пленают* своих подруг *красивыми гребнями*, а у лягушек только самцы же, и *лишь во время*

ухаживанья, дают свои концерты... В одном роде ящериц (Sitana) горло самцов снабжено большим, ярко окрашенным (во время спариванья) кожным придатком, который *они распускают, как веер, перед самками...* Птицы почти все *основывают свои брачные успехи на обнаруживании того или другого эстетического свойства*, причем замечается, что блестящая окраска и способность к благозвучному пению обыкновенно не совпадает, но слабость одного из этих преимуществ возмещается развитием другого. Всего любопытнее у птиц то, что они *явно сознательно относятся к своей красоте и тщеславятся ею не только перед самками, но и перед посторонними наблюдателями*. Сам Дарвин нередко видел, что *павлин щеголял* своим убором не только перед курами, но и перед свиньями. Все естествоиспытатели, внимательно наблюдавшие птиц как на свободе, так и в неволе, единогласно утверждают, что *самцы находят удовольствие в том, чтобы выставлять напоказ свою красоту*» (курсив везде принадлежит нам).

Этим исчерпываются приводимые г. Вл. Соловьевым примеры, которые он заимствовал из книги Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой подбор» и в объяснении смысла которых он не расходится с английским ученым. Как общий итог всех своих мыслей о красоте органических форм он произносит, в самом конце своей статьи, следующее суждение: «В мире животных общая космическая цель («воплощение реальной идеи, то есть света и жизни, в различных формах природной красоты»), как сказано у него ранее) достигается *при их собственном участии и содействии*, чрез возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. *Природа не устрояет и не украшает животных как внешний материал, а заставляет их самих устроить и украшать себя*» (курсив принадлежит нам). Человек, объясняет он далее, только тем, создавая прекрасное в искусствах, отличается от животного, что, тогда как последнее не сознает высших космических целей воплощения красоты, — он их сознает и к ним стремится осмысленно и свободно.

II

Вот мысли, которые нельзя не признать величайшим заблуждением. Красота признается не только существующею объективно для человека, разлитою в природе и ощущаемою человеком лишь наряду с другими живыми существами, но утверждается, кроме того, что она возникает и погасает по мере надобности для тех существ, которые являются ее носителями, что она создается их преднамеренными усилиями. Природа не только прекрасна, утверждает автор разбираемой статьи, но она также еще и кокетлива. Именно это последнее утверждение и представляется нам грубой ошибкой.

С тех пор как естественные науки утратили свою связь с философией и представители их не изошряют более свою мысль на ее тонких и гибких понятиях, сила объясняющего суждения замечательным образом понизилась в естественно-научных произведениях. Можно удивляться только, как,

смотря на природу, явления которой так иногда ясно говорят о своем внутреннем смысле, ученые совершенно не замечают этого смысла и говорят о ней слова грубые и темные. Природа силится им сказать о себе, но не может и говорит только немым языком своих явлений; а они не понимают этого языка и, видя только ее мучительные усилия, описывают их вид и форму, не предчувствуя совершенно того, что за ними скрывается. Когда же берутся объяснить их, то начинают говорить что-то искусственное и придуманное, что не только не отвечает скрытому смыслу явлений, но и точной форме их, простому внешнему виду.

Приведенные выше факты и мысль, которою они связаны, могут служить одним из самых поразительных примеров подобного несоответствия между действительностью и теорией. Все эти факты уже заключают в себе две черты, которые совершенно роняют достоинство объяснений, придуманных для этих фактов.

И в самом деле, все прекрасные формы и цвета, только что описанные, суть формы и цвета *видовые*, а не *индивидуальные*, – и, как таковые, они не могут ни в каком случае служить к выгоде одной особи перед другими особями, с которыми она борется за обладание самкой, потому что борется она не с особями другого вида, которые могут быть менее украшены и побеждены, но всегда и только с особями своего же вида, которые все украшены одинаково и поэтому не могут быть побеждены. Только *индивидуальное* отличие может быть выгодно для особи, только исключительная и частная красота могла бы дать ей какое-нибудь преимущество над всеми остальными в деле привлечения к себе самок. Как можем мы думать, что красота крыльев бабочки-самца служит *для* прельщения самок, «которым он их показывает, порхая во время ухаживанья», если совершенно такие же крылья показывает и всякий другой порхающий самец? Или, как «неравнодушных к красоте рыб-самок самцы могут прельщать ярким окрашиванием своим во время спариванья», если они все окрашиваются одинаковым образом? Совершенно ясно, что прельщение самок не играет здесь никакой роли, что красота форм и цветов в органической природе не есть средство для этого.

Если, далее, мы обратим внимание на то, которому из двух полов природы бывают красивые формы и цвета, то еще более убедимся в несправедливости приводимых объяснений. Не самки, но именно самцы являются украшенными в природе, *и они же ищут и выбирают самок*, которые остаются при этом пассивными. Если бы красивые формы и цвета служили средством для привлечения одним полом особей другого пола, то они, конечно, должны бы находиться на том из них, который является пассивным при спаривании. Тогда активно ищущий пол, привлекаемый красотой (она и здесь должна бы быть индивидуальной) одних особей сравнительно с другими, оплодотворял бы их преимущественно перед прочими, за ними утверждал бы потомство и тем укреплял бы в природе их прекрасные формы. Но в действительности происходит явление совершенно обратное: выбираемые являются неукрашенными, а избирающие красивы, хотя это им и не нужно.

Если бы самцы, в красоте форм своего пола, сидели неподвижно и ожидали самок или если бы, окружая самку, они прельщали ее и заставляли приблизиться к себе – тогда преимущество их в красоте было бы понятно. Напротив, оно совершенно непонятно, когда именно самки выжидают неподвижно приближения самцов*, и, во всяком случае, при приближении нескольких из них, отдаются ближайшему, а не более красивому – чего, впрочем, и нет, потому что они все одинаковы.

Эти два соображения так просты и вместе так убедительны, их сила так одинаково применима ко всей области органических форм, что мы не считаем необходимым развивать их далее или прибавлять к ним что-нибудь новое. Но, раз данное объяснение красоты в природе неправильно, является потребность найти другое, которое ближе подходило бы к истине, лучше отвечало бы фактам.

III

Некоторые особенности, встречаемые постоянно в явлениях органической красоты и указанные самим Дарвином и другими натуралистами, могут пролить свет на загадочный источник, откуда она возникает и развивается.

Если в растительном и животном царствах красота является не у тех, кому она могла бы быть нужна (особи женского пола), и не в той форме, в какой единственно могла бы быть полезною (индивидуализированная), и это подтверждается всеми сделанными наблюдениями, – то в них же, в этих наблюдениях, открывается и то, что она повсюду и неизменно является там, где *жизненная энергия повышается в своем напряжении*. Прекрасное в органической природе не есть средство для чего-либо, и в сознании его нет ни произвола, ни какой-либо искусственности: оно есть произвольное и естественное выражение жизненной энергии, особенная форма, в которую, наряду с бесчисленными другими формами, эта энергия преобразовывается. В существовании каждой особи и в жизни целого органического мира мы одинаково наблюдаем, как повышения или понижения ее сопровождаются расцветом или померканием и внешней красоты, в чем бы она ни выражалась – в цветах, звуках или линиях очертания. Но чтобы сделать яснее факт этого постоянного сопутствования, мы должны точнее определить, что именно разумеем под жизненной энергией.

Вся совокупность растительных и животных форм, покрывающих теперь землю и наполнивших некогда ее пласты, признается рядом звеньев одного великого и сложного процесса, который носит название *органического*. Эти звенья, единичные *особи* органического мира, являются разведенными друг от друга и местом, и временем своего индивидуального существования; но есть один акт, через который они все соприкасаются меж-

* Г-н Вл. Соловьев сам выше говорит – «особи *активного пола*, самцы, преследуют самку» и пр.

ду собою и в силу которого именно мы и признаем их лишь *звеньями* целого, а не совершенно изолированными друг от друга существами, подобными, напр., минералам: это – акт рождения. В течение всей своей жизни одиноко растущая или прихотливо движущаяся особь является уединенною от всех других, свободною от их влияния и с ними не связанною; но в один миг своего существования, первый и самый важный – когда рождается, она примыкает непосредственно к морю органической жизни, разлитой по земле и уже продолжающейся тысячелетия; и в краткие же мгновения своего последующего существования – когда рождает, она соединяется с тою жизнью, которая останется на земле после того, как она сама сделается горстью праха. Таким образом, в акте рождения соединен весь органический мир, так разъединенный во всем остальном своем существовании, которое всегда индивидуально. Через него особь примыкает к целому, и в нем же принимает она на себя все неизгладимые черты своего сложения, как физического, так равно и духовного. Неощутимым образом через этот акт целое накидывает на появляющееся единичное существо сеть как бы пределов, из которых оно никогда не выйдет, в которых все совершит, всего будет желать и всего достигнет. Таким образом органическая жизнь, не прерванная на расстоянии тысячелетий и связанная на всей земле, как бы пульсирует в индивидуальном существовании, и судьба каждой особи, от рождения и до смерти, есть только единичное биение этой великой жизни, удар ее, воспринятый и переданный, – необходимое, хотя и пропадающее мгновение в потоке вечности. Как, по какой форме происходит это пульсирование? Или, что то же, по какому типу совершается развитие органической жизни на земле?

Ответ на это может быть найден путем определения скрытого центра, откуда происходит самое биение органической жизни. Положение этого центра может быть выведено из наблюдения над самыми общими и постоянными фактами, в которых выражается существование органического мира от первого появления его на земле до его теперешнего состояния. Но чтобы смысл этих фактов, их указующее значение было вполне ясно, нужно сказать предварительно несколько слов о зависимости вообще всякого явления от его близости к первоначальной причине, служащей общим источником ряда фактов, в котором данное наблюдаемое явление есть одно звено.

IV

Всякий раз, когда какая-либо причина производит ряд подобных явлений, сила ее действия умалется по мере того, как они дальше и дальше от нее отходят; и, наоборот, возрастает по мере того, как они к ней приближаются. А с тем вместе и каждое единичное явление, которое несет в себе миг этого действия и им существует, бывает выражено тем ярче и полнее – оно тем больше заключает в себе бытия, в чем бы последнее ни проявилось, – чем ближе, в ряду однорядных явлений, стоит к их общему источнику. Так, движе-

ние камня, подброшенного вверх, бывает наиболее быстро в момент отделения его от подбросившей руки; и, наоборот, когда он падает, его движение наиболее быстро в момент прикосновения к земле, которая его притянула. Рука и земля, в обоих случаях, являются общим источником бесчисленного ряда неуловимо малых перемещений камня, сливающихся в линию его полета; и из этих перемещений ни одно по своим качествам (быстроте) не похоже на другое, но каждое ближайшее к своей причине энергичнее, нежели более удаленное от нее. Равным образом, если мы возьмем сферу, столь несхожую с механическими явлениями и так, по-видимому, от них удаленную, как жизнь психическая и историческая, мы увидим нечто аналогичное и в ней. Осуществление замысла каково-нибудь – еще тускло, недейтельно, пока он обдумывается только, когда манящий человека предмет далек; оно напряженнее в моменты, когда уже осуществляется и, наконец, обращается в страсть, в порыв, когда предмет обладания уже находится перед глазами или вещь исполняемая – почти готова. Великие завоеватели именно тогда уже, когда почти ничто не мешало ни величию их, ни всякому кажущемуся счастью, против этого «почти» устремлялись всегда так стремительно, что иногда гибли от необдуманности и быстроты движения (Персия – против Греции, Наполеон – против России; с иным исходом – Тамерлан против ненужной и даже неизвестной ему Восточной Европы). В этих и подобных фактах, число которых каждый без труда может увеличить, присматриваясь к окружающему, мы наблюдаем, что всякий раз, когда одна и та же причина порождает ряд звеньев – те из них, которые к ней ближе, исполнены бывают сильнее напряжения.

V

Если, руководимые этою мыслью, мы обратимся к органическому миру и захотим спросить себя: в чем именно здесь должна выразиться энергия явлений, которая для движения выражается в быстроте его, для света – в яркости, для желания – в его возрастающей нетерпеливости и пр., – то, вникая в главное, к чему направляется органическая жизнь, что в ней творится, мы должны будем ответить следующее: при равенстве прочих условий, *количество жизненной энергии, заключенной в каждом организме, тем более* (в нем сравнительно с другими организмами), *чем развитее его органическое сложение*, т. е. чем многочисленнее и разнообразнее его функции и чем отчетливее и исключительнее каждая из них. Пусть причина, движущая органическую жизнь и заставляющая ее трансформироваться из одной формы в другую, остается вечно неизвестною; все-таки несомненным будет, что *напряжение* этой силы тогда больше, когда она производит сложное, чем когда она создает простое, – хотя бы уже потому, что сложное состоит из простого, которое в нем удвоено, утроено и т. д.

Таким образом, 1) *сложность организации* и 2) *обилие своеобразных* (одна на другую не похожих) *функций*, в ней совершающихся, может служить

несомненным критериумом степени напряжения жизненной энергии на всех ступенях растительного и животного мира. Руководимые показаниями этого критериума, мы уже без труда можем определить, в каком направлении энергия жизни увеличивается и, следовательно, где находится скрытый центр ее бияния.

Самый общий и постоянный факт, наблюдаемый в развитии органического мира от момента его появления на земле и до настоящего времени, заключается в том, что сложность организации отдельных особей, его составляющих собою, была все возрастающею во времени и никогда – убывающею. Вечное усложнение в строении, увеличение числа функций и ускорение каждой функции порознь – это и есть элементы, которые мы соединяем в одно целое, обозначая их общим именем *развития*. Простая протоплазма, эта живая слизь, без какой-либо организации и с одним общим свойством всего живого – раздражимостью*, была первою основой органического мира. Эта бесформенная и почти косная масса была носителем жизни, которая здесь едва мерцала, едва была различима. Актом рождения, без какого-либо перерыва в темной глубине веков, с этою протоплазмой соединен органический мир, теперь покрывающий землю – этот трепет жизни, эта красота мироздания, это чудное разнообразие форм, цветов и звуков, наполняющих землю и оглушающих ее шумом вечной радости. Будем ли мы отрицать, что энергия жизни в нем

*После долгих и тщетных попыток найти: *что есть безусловно общего во всех живых существах и безусловно постоянного в них, пока они живы*, – ученые остановились, наконец, на мысли, что это есть *раздражимость*. Кембриджский профессор Глиссон (в XVII в.) первый указал на нее как на общее свойство всех живых тканей и видел в ней истинную причину жизни; последующие ученые все более находили, что разнообразные формы органической жизни *суть действительно* только модификация этого первичного свойства. Понятны, поэтому, попытки их дать строгое определение этого важного явления; однако они и до сих пор не остановились ни на чем общем. Нам думается, что правильнее всего явление раздражимости можно определить так: оно есть *свойство отвечать на действие внешнего агента большим или меньшим, нежели сколько содержит в себе это действие, рассматриваемое как причина*. Таким образом, раздражимость есть первое нарушение основного закона механики, что *действие равно противодействию*, или обратно: *противодействие равно действию*, – и выводит весь ряд существ, обладающих ею, из-под законов механической природы и образует из них особый мир живых и органических существ. Внутренняя причина, лежащая в воспринимающем действии существе, которая удлиняет или задерживает это противодействие, может совершить это потому только, что она не есть причина механически действующая. Некоторый излишек в движении против законов механики создается при этом, или, напротив, производится некоторый недостаток. Эта способность – поглощать в себя движение или производить из себя его – есть глубочайшая черта органической природы. В этой органической природе есть некоторая скрытая глубь, куда уходят и откуда возникают явления без того, чтобы вы видели их последствия или причины. Потому-то и правильно думают, что там, где начинается органическая природа, начинается господство совершенно особенных законов и сил, нежели какое мы знаем во внешнем, окружающем нас мире. Не удивительно, что эти законы и силы до сих пор совершенно не разгаданы.

теперь не больше, чем она была в той первой протоплазме, что она нисколько во времени не возросла? Нужно закрыть глаза на землю, чтобы сказать это; нужно преднамеренно отвернуться от природы, чтобы не слышать ее голоса и в этой глухоте и слепоте сохранить *свою* мысль и избежать вывода, который уже теперь ясен.

И в самом деле, если энергия органической жизни является возрастающей во времени, и это выражается в общем и постоянном факте возрастания сложности органического строения, то это не может зависеть ни от чего другого, кроме как от того только, что она приближается к своей причине, а не удаляется от нее. То есть что скрытый центр, откуда пульсирует в течение тысячелетий органическая жизнь, лежит не позади органических явлений и они не исходят из него, не отталкиваются им, но – впереди их и они стремятся к нему, восходят.

VI

Всякий раз, когда источник какого-нибудь действия лежит позади этого действия (в пространстве или времени) – мы усваиваем ему имя *причины*: таков толчок по отношению к движению; напротив, когда источник действия лежит впереди или после его – мы называем его *целью*: такова улучшенная форма чего-либо по отношению к процессу улучшения, через который оно проходит. Процессы, которые исходят от своих причин, всегда суть процессы только количественные; и с одной же количественной стороны могут быть познаваемы предметы, которые являются результатами их (масса, объем, фигура, положение и т. п.). Напротив, процессы, которые восходят к своим целям, суть также и качественные: качество есть новая сторона здесь, которая зависит от большего или меньшего соответствия целесообразно устроенных предметов или целесообразно совершающихся явлений с конечной целью, к которой они восходят, ради которой они устроены или совершаются.

Таким образом, не причина, скрытая в глуби времен, есть движущее начало всего органического процесса; но – цель, лежащая в будущем и нам еще неизвестная, которая устрояет этот мир и переводит его от формы к форме с помощью причин, механических в отдельности, но в целом планомерно расположенных. Подобно тому, как и воля человека, целесообразно устрояющая государство или возводящая здание, опирается на законы природы или души человеческой и действует с помощью их механически.

VII

Жизненное напряжение, о котором мы сказали ранее, что оно есть источник красоты в органической природе, раскрывается, таким образом, перед нами как сила скрытой целесообразности, не дающей органическим формам остановиться, пока цель всего органического процесса еще не достигнута; и она

же мешает этим формам слиться в ряд тождественных, не отличимых друг от друга существ, пока ни в одной органической особи цель не достигнута, – и это есть истинная причина ее стремления рождать. Если бы дети совершенно походили на своих родителей – самого акта рождения не было бы в органической природе; возможное различие того, что будет порождено, есть настоящая причина всякого зарождения, какое когда-либо было. Потому что без этого различия не было бы приближения органических форм к своему источнику, а оно, это приближение, и есть источник жизненной энергии, которая сообщается особи в момент ее зачатия и дает ей силу повторить его. Особь есть только мимолетное звено в процессе вечного достижения; и она живет и дает другим существам жизнь лишь настолько, насколько достигает. Индивидуальные различия, которые мы находим во всех особях данного вида, есть результат их усилий переступить через границы своего вида – далее; и, насколько они уже бессильны сделать это сами, потому что связаны родительскою формой, которую несколько разрушили, и не в силах разрушить более, – они стремятся достигнуть этого, по крайней мере, в потомстве. В этих усилиях, в этих вечных всплесках жизненной волны к своему неподвижному источнику, не все достигают своей цели: многие уклоняются в сторону или под влиянием внешних физических деятелей, или потому, что самое усилие было судорожно и неправильно; большинство не переходит обыкновенного уровня поднятия и, обессиленное – падает назад; но некоторые поднимаются высоко – и появляется то, что принято называть «крупными самопроизвольными изменениями организмов»: первая ступень в образовании нового вида. Явление смерти, как индивидуальной, так и видовой, равным образом явление уродливости – эти всеобщие и исключительные особенности органической природы – находят здесь свое объяснение. Смерть есть угасание жизненной энергии, происходящее оттого, что она не доходит в особь или вид из вечного источника, к которому они стремились некогда приблизиться – и тогда жили, и соотношение с которым теперь почему-либо в них прервано. Бессилие стать к этому источнику ближе есть причина смерти, как самое приближение – причина жизни. В общем же причиной того и другого служит бессилие или, наоборот, способность производить из себя различное. Всякий раз, когда в акте рождения уже передана особью своему потомству способность к дальнейшему достижению цели, и она ничего более не может сделать, как только повторить себя – она выпадает из органического процесса, как его ненужное звено, и умирает. Здесь лежит объяснение и явления старости – этого бледного и косного существования, где жизнь уже не поднимается более, где остаток ее, слишком недостаточный, чтобы передаться, медленно растрачивается на поддержание в неподвижном состоянии прежней организации; и когда растрачивается на это весь он – организм разрушается. Отсюда же объясняется и то, что этого явления старости, иногда продолжительного в высших организованных существах, полных жизненной энергии, нет в низших, со слабою энергией, которой едва хватает на то, чтобы передаться потомству в несколько увеличенном

виде: поэтому многие из них умирают, как только родят. Так происходит индивидуальная смерть. Вид же или род умирает потому и тогда, когда он или породил уже высшую, чем сам, органическую форму, или когда он уклонился с пути этого порождения лучшего. В первом случае он связан с ныне живущими видами и родами непрерывающимся рядом промежуточных форм; во втором случае он является вымершим без потомства, как бы отделившеюся от органического мира ветвью, которая угасла, ничего не произведя. И там и здесь органическая форма вымерла потому, что утратила силу рождения, сделавшись способною только повторять себя, но не производить что-либо новое, ближайшее к вечно достигаемому источнику всей органической жизни.

Отсюда соотносительность жизни и смерти в органической природе: невозможность породить первую, не приняв в себя второй. Всякое созидание *иного* есть разрушение *себя*, и это в каждой частице организма, во всем в нем как особи, и в целом органическом мире. Это оттого, что невозможно достигнуть чего-либо, не став тотчас же ненужным более настолько и в том именно, насколько и в чем достигнуто.

VIII

Теперь, установив эту общую точку зрения на органическую природу и ее развитие, обратимся к более частному рассмотрению одного явления в ней – *красоты*. Мы увидим, что оно замечательным образом объясняется из этого взгляда, а он, взамен, получает в этом явлении фактическое подтверждение.

Мы сказали ранее, что красота есть особая форма, в которую преобразуется органическая энергия, что она есть только проявление последней, в котором нет ни произвольности, ни чего-либо преднамеренного или искусственного. И в самом деле, все ее повышения совпадают с повышениями органической энергии, как мы объяснили их выше.

Незначительная на низших ступенях органического развития, красота возрастает по мере того, как это развитие подвигается во времени, и формы из более простых переходят в более сложные, т. е. становятся носителями высшего жизненного напряжения, большего количества органической энергии. Факт все более и более яркого проступания красоты есть столь же общий и постоянный в органическом мире, как и факт усложнения этого последнего в каждой отдельной особи и в целом строении своем (богатство органов в организме, богатство видовых, родовых и прочих форм в органическом мире). При этом замечательно, что красота, возрастая, не только становится более яркою через какой-нибудь один способ выражения, но она ищет и новых способов выразиться, потому что один становится уже недостаточен: к красоте *очертания* присоединяется красота *цвета*; в самом цвете появляется очертание, и он становится *узором* (крылья бабочек, напр.);

наконец, появляется звук, сперва внешний, производимый трением одной части тела о другую (насекомые), а потом внутренний – голос; им обладают только животные с очень уже высокою сложностью организации. Эта многоформенность выражений красоты, развивающаяся параллельно с многоформенностью жизненных функций (дыхание, кровообращение, пищеварение), служит, как и она, показателем повышенной органической энергии.

Три общие типа, к которым искусно сводит г. Вл. Соловьев все отдельные проявления безобразия в органическом мире*, через это сводятся к одному. Всякий раз, когда в органическом процессе, целесообразно развивающемся, мы встречаем или *остановку*, или *возвращение* к прежнему, или *раннее и недостаточное осуществление* того, что лишь в будущем может быть осуществлено в своих нормальных пределах, мы чувствуем присутствие в нем неправильного, болезненное уклонение его энергии в сторону, – и некоторое темное и неприятное ощущение овладевает нами. Сами являясь носителями органической энергии, и притом на высшей ступени ее осуществления, мы непреодолимо и безошибочно чувствуем все не так направленное в развитии этой энергии и, повинувшись чему-то безотчетному, *отвращаемся* при созерцании его. Смотри на природу как на вечно завершающееся, мы радуемся, созерцая, как формы ее бегут вверх, мысленно поднимаемся за ними и любим их тогда, наслаждаемся ими; если же они бессильно опускаются вниз, что-то враждебное против них поднимается в нас, мы оставляем их и ненавидим, не находя в себе сил даже к состраданию. Сострадание отсутствует здесь, быть может, потому, что в отвратительном мы всегда и верно угадываем присутствие чего-то смертного, относимся к нему как к временному в высшей степени; напротив, все прекрасное исполнено залогов жизни, и мы не ошибаемся, когда называем его (по соотношению с достигаемому) вечным.

IX

Возрастая, как и сложность организации во времени, красота в каждой отдельной особи бывает не постоянно выражена с одною и тою же силой и яркостью. Две главные функции находим мы во всяком организме: питание, через которое он поддерживает себя, и размножение, через которое продолжает себя в потомстве. К общему органическому процессу имеет отношение только вторая функция; через акт рождения, как мы заметили выше, проходит та скрытая нить, которая связует особь с целым органическим миром, делает ее не изолированным существом, но звеном в длинном ряде все развивающихся форм. Через этот именно акт особь, бессильно стремив-

* «Преобладание матерьяльной животности, возвращение к бесформенности, предварение высшей формы» (напр., организация лягушки и обезьяны по отношению к организации человека).

шаяся подняться над родительской формой, передает стремление и способность подняться выше ее – своему порождению. Ясно, что в этом именно акте происходит поднятие органической энергии, и с ним же совпадает высшее проявление красоты в природе: в примерах, приведенных выше, повсюду отмечено, что красота форм, цветов и звуков возрастает ко времени спаривания, продолжается все время, пока оно длится, и тотчас блекнет, когда оно проходит. И Ч. Дарвин, и г. Вл. Соловьев объясняют это тем, что она появляется в то время как средство прельщения; но если мы могли бы еще подумать это об одних выражениях красоты (например, о пении птиц), то ни в каком случае не можем допустить этого относительно других (окрашивание раковин и рыб, вырастание различных придатков, благоухание цветов и пр.). Поэтому, правильнее всего и там, где мы могли бы заподозрить преднамеренность, видеть не что-либо произвольно создаваемое в видах достижения временной цели, но также невольное и своеобразное выражение поднявшегося жизненного напряжения. И человек поет – и это прекрасно, и влечет к нему; но он поет не для того, *чтобы* привлечь к себе, а потому, что ему *хочется* петь, что у него пробудилась к этому способность и влечение. Так и прекрасные формы, цвета и звуки в животном мире суть простые выражения органической энергии: они суть следствия ее поднятия, а не средство для чего-либо. Но что эти внешние выражения скрытой энергии привлекают особой другого пола, это слишком понятно: и в них в то же время происходит поднятие жизненной энергии, и ясно, что она поднимается навстречу энергии другого пола. Акт спаривания есть момент, когда эти энергии сливаются. Как было бы ошибочно думать, что человек и лицом, и вообще физически в среднем возрасте становится прекраснее, чем в старости, только потому, что желает этого, что в это время нужна ему красота, – так ошибочно думать, что и прекрасное в органической природе возрастает потому только, что оно нужно. Ни произвольности, ни чего-либо искусственного – здесь нет.

Х

Мужской пол вообще нужно считать главным носителем органической энергии: насколько последняя не только сохраняется, но и нарастает во времени, она содержится именно в нем. Он есть деятельный и зиждущий элемент в органическом мире; и в человеке, в котором, как в высшем звене органического мира, все явления этого мира крупнее и ярче выражены, это можно видеть особенно ясно: мужчина сделал историю, женщина же всегда оставалась только его помощницею. Не только всякий исторически значительный замысел, новая идея или высокое и своеобразное чувство всегда зарождалось в мужчине, и женщина только приникала к этому, любила это и того, кто его создал; но если мы будем сравнивать и внешний, физический облик мужчины и женщины, мы без труда заме-

тим, как разнообразен он у первого и как однообразен у другой. Женщины гораздо сходнее между собою, нежели мужчины; в них гораздо меньше индивидуальности; а уже выше было сказано, что индивидуальные черты суть именно то, в чем сказывается стремление органической энергии, живущей в данном виде, переступить его границы (разрушить родительскую форму). Таким образом, не только в духовной сфере нарастающее всегда исходило из мужчины, но и в физических чертах это нарастающее во времени также является только в нем или в нем главным образом. Отсюда – автономность в мужчине, некоторая отделенность его, которому – расти только вперед; и связность женщины, ее слитность с мужчиною, и любовь – как высшая красота ее в истории и совершенное удовлетворение. Все особенности мужского характера, его духовной личности и его роли в истории, объясняются из одного: из того, что он есть носитель целей своего рода; и все особенности женщины, над которыми столько задумывались: ее незначущая роль в истории и особенные светлые и высокие черты ее души – все это вытекает из того, что она не носит в себе никаких, автономно ей принадлежащих, целей. Ее вечная и единственная цель – *стать усвоенною, послужить, сделаться орудием* обнаружения того, о чем она имеет только смутное представление и более ясного не ищет; потому что единственное понятие, ей необходимое во всей ясности, есть то, что она *служит, способствует* чему-то.

По этой же причине – если мы вновь возвратимся к органическому миру – особи мужского пола являются в нем деятельными в момент спаривания, а особи женского пола – пассивными: именно первые ищут продолжить свой род, в них именно органическая энергия, вечно стремящаяся разрушить родительскую форму в детской, ищет быть переданною потомству. И они же, как это замечают все натуралисты, в момент спаривания приобретают особенно прекрасные формы; самки же остаются таковыми, какими были, или изменяются очень мало. Красота очертаний, цветов и звуков, о которой мы утверждаем, что она есть преображенная органическая энергия, нарастает у того именно пола, который есть носитель нарастающего в этой энергии.

Таким образом, в мире животном и растительном красота форм, цветов, звуков, нарастая:

1) *по мере возрастания сложности организации,*

2) *к моменту спаривания,*

3) *у пола, деятельно спаривающегося,* – одинаково является там, где пульс биения органической жизни повышается, где *tonus* пульсации особенно напряжен. Мы объясняем – где эта пульсация восходит, где жизненная волна всплескивается к некоторому высшему своему завершению, подобно океаническим водам, которые немного, но постоянно поднимаются навстречу тянущему их к себе небесному светилу. Только это тяготение органического мира построено не по законам пространства, но по законам времени.

Взгляд на источник красоты в органическом мире, изложенный нами, совпадает, таким образом, со всеми фактами ее частных проявлений; тогда как Дарвиново объяснение во всех же частностях с этими фактами расходится. Прекрасное в живой природе есть отблеск радости об этой носимой в ней жизни, как отвратительное в ней есть содрогание от приближающейся смерти. Самую же жизнь мы рассматриваем как достижение органическими формами, эту одушевленную материей, вечного источника своего, который, оставаясь в бесконечной дали, некогда затеплил искру этого особенного существования на холодной земле, и чем далее проходило время – она все разгоралась на ней, вбирая в себя безжизненные элементы, которые лежали вокруг, и преобразая их в формы все более живые и все более прекрасные по мере того, как великий источник жизни становился ближе. Вот почему так напрасно ищут *начала* органической жизни: оно не в прошлом, а в будущем, оно наступит, и его нужно ожидать, а там, где его ищут обыкновенно, – лежит только его конец. Он теряется в безжизненной неорганической природе; и где, в каком месте, в какое время она впервые и незаметно шевельнулась под действием безгранично далекого луча, на нее павшего, шевельнулась как никогда раньше и по совершенно особенным законам, связь с которыми никогда уже не утратила потом – этого напрасно искать.

Проявление красоты в органической природе отмечено одною особенностью, которая удобно может послужить переходом к рассмотрению прекрасного в самом человеке. Именно – замечено, что раз она выражена в чем-нибудь одном, она уже не выражается в другом: так, птицы с красивым оперением не обладают даром пения, а имеющие этот дар – дурно окрашены: явление, совершенно необъяснимое, с точки зрения Дарвина, и понятное при том взгляде на красоту, какой мы установили выше. И в самом деле, если всякая красота является потому, что она *нужна, полезна* для своего обладателя, то почему одному виду красоты не прибавляться к другому, почему с улучшением оперения не возрастать и звонкости голоса? Если переживать своих соперников должны особи, наилучше приспособленные к привлечению самок, то их особенно должны переживать те, у которых к одному виду красоты начинает присоединяться и другой. Таким образом, многоформенность прекрасного в одном индивидууме должна бы встречаться особенно часто. И, между тем, мы ее не находим. Напротив, – мы переходим к своему объяснению – раз органическая энергия нашла себе выражение в чем-либо, если она вылилась в одну определенную форму красоты, – ее не останется уже для создания еще и другой формы, потому что на каждой ступени органического мира, во всяком отдельном виде животного или растения, эта энергия находится в постоянном, определенном количестве; и она может возрасти только на следующей его ступени, в дальнейшей фазе его развития.

Мы повсюду говорили о красоте организмов, тогда как следовало бы говорить только об их *красивости*. Есть что-то бездушно, как бы неживое в этой красоте – по крайней мере с точки зрения человека, который так высоко стоит над органическим миром, так безмерно богат жизнью сравнительно с ним. Фигура, очертания, оттенок краски, переливы голоса – все это так бедно, так грубо механично в сравнении с тем неуловимым, что, созерцая свой собственный мир, человек привык соединять с понятием «красоты». Только по снисхождению он может прилагать это высокое слово к окружающей его природе, которая стоит ниже его; с правом же может говорить так о себе одном только. Во всем мироздании он один истинно прекрасен – и в образе лица своего, и особенно в образах того, что создает.

Есть одно основание, и оно именно заключается в способах проявления красоты, которое побуждает нас думать, что органический процесс уже получил свое завершение в человеке; и что скрытая целесообразность, двигавшая развитие столько тысячелетий, направлялась к созданию *его* внешних черт и *его* духа. И в том смысле, в каком можно достигнутую цель называть причиной своих средств, хотя они существуют и ранее ее, – можно и человека считать истинною причиной всей органической природы; *он* создал ее, и создал именно безусловностью некоторой красоты, в нем скрытой, но пока лишь мерцающей сквозь темную оболочку его тела и всего грубого, что с нею связано.

Уже раньше нами замечено было, что в исследовании этой трудной и загадочной области доказательства в обычном смысле не приложимы, и все, чего мы можем достигнуть здесь – это хотя слабого рассеяния сумрака, который окутывает эту область, с помощью разных аналогий и сближений. Строго воздерживаясь придавать им настоящую доказательную силу, мы укажем здесь на некоторые из этих аналогий, подтверждающие мысль о завершенности органического мира, только что высказанную нами.

Что в красоте обнаруживается органическая энергия – это оправдывается всеми фактами, удостоверяющими нас, что повышения первой всегда совпадают с повышениями второй. С не меньшей твердостью мы можем думать, что сама органическая энергия есть не иное что, как сила целесообразности, движущей различие органических форм: ибо во времени эта энергия является нарастающею, а нарастание присуще только целесообразным процессам. Наконец – и соображения, и наблюдение фактов показывают, что формы проявления красоты не неопределенно разнообразны, но что они связаны между собою, и связь эта обнаруживается в том, что всякий раз, когда данное количество энергии выражено уже в одном виде красоты, оно не ищет выразиться еще в другом; то есть, этот последний (другой вид красоты) не проявляется, отсутствует.

Теперь, держа в мысли эти объяснения, обратимся к рассмотрению фактов, представляемых красотою человека.

ХП

Как известно, род человеческий распадается на несколько рас, из которых четыре цветных и одна белая. Между первыми одна – монгольская – очень близко подходит к белой расе; она едва может быть названа цветною, тогда как остальные три имеют цвет резко выраженный (американская, негрская и малайская).

Было предметом многих соображений взаимное отношение этих рас; различие их настолько резко, что являлся даже вопрос об единстве человеческого рода, высказывалась мысль о независимом происхождении отдельных рас. Не видели промежуточного, соединительного звена между ними и не могли представить способа, каким одна раса могла бы произойти от другой.

Но этих промежуточных звеньев напрасно искали и в пластах земли для органических форм. Их не нашли; и никаким оправданием для этого не может служить довод, что искали еще недостаточно, и в будущем может быть найдено то, что не отыскано до сих пор. Потому что если промежуточные формы суть те, которые еще не доросли до видовой или уже переросли ее (для образования нового вида), и все это движение совершалось *без каких-либо резких переходов*, путем только *медленного накопления индивидуальных отличий*, то ясно, что *переходных* между видами *форм должно быть неизмеримо более, нежели чистых видовых форм*. Последние суть только моменты в развитии органического мира; первые же представляют собою обычную, постоянную форму его существования. Время, в которое *образуется* вид, продолжительнее, нежели то время, в котором он *пребывает* неподвижно; а следовательно, и нарождаемых им особей в переходном состоянии более, чем нарождаемых в чистом, и первые должны бы находиться повсюду и часто, а вторые лишь иногда и в редких местах. Их численное отношение можно сравнить с отношением суточных колебаний магнитной стрелки к ее вековым возмущениям, которые образуются через медленное нарастание неправильностей в первых; или еще – это отношение можно сравнить с положением часовой стрелки, которая только 24 раза в сутки совпадает с крупными, большими делениями круга (показывает *часы*) и все остальное время, целые тысячи моментов, находится *вне их в промежуточных, соединяющих точках*. И так же редки и удивительны должны бы быть чистые, *не промежуточные формы*, находимые в земле, как вообще редки и удивляют нас случаи, когда, войдя в комнату и видя на стене циферблат часов – мы замечаем, что стрелки их, минутная и часовая, точно указывают *целый* исполнившийся, в эту минуту отбиваемый молоточком механизма, час.

Поэтому если переходных форм нигде не находится, то это может происходить только оттого, что их вовсе никогда и не было. И в самом деле, кроме этого предполагаемого способа возникновения органических форм путем сложения незаметных индивидуальных изменений, которые полезны особи в

ее борьбе за существование с другими себе подобными (теория Дарвина), – есть еще другой способ, и он наблюдался уже в исторические времена. Под воздействием сил, природа которых еще не разгадана, иногда появляется у какой-нибудь особи известного определенного вида потомство с новым признаком, настолько крупным и резко выраженным, что, руководствуясь обычными приемами классификации, мы должны принять его за новый вид или за новую разновидность*. И, однажды возникнув, этот признак передается дальнейшему потомству, удерживается в нем как постоянное видовое отличие, а не как индивидуальное, которое всегда то появляется, то исчезает. Таким образом, виды не *происходят* медленно: это – предположение, которое не оправдано ни одним фактом; они *рождаются*, и это – уже факт, который нуждается только в объясняющей теории.

Не иной какой-нибудь способ должны мы предполагать и для происхождения человеческих рас – хотя бы уже по тому одному, что он всегда останется только предположением, этот же имеет под собою факты. Мы можем с большою вероятностью думать, что от одной первоначальной расы произошли все остальные; или, точнее, что предки каждой высшей расы были порождены когда-нибудь в среде низшей расы. И действительно, если за отличительную черту рас принимать, как это установлено, цвет кожи, то мы увидим, что отношения этого цвета у отдельных рас могут быть рассматриваемы, как отношения степеней: так, напр., красный и желтый цвет рас американской и монгольской есть лишь ступени перехода темного цвета в белый.

Которую из всех рас, в таком случае, нужно принимать за первоначальную? Многие соображения заставляют думать, что таковою была *темная* раса, населяющая и теперь внутреннюю часть материка Австралии. Ее считают за переходную ступень от негров к малайцам (отсюда их название «негритосы», впрочем не единственное), но правильнее считать их за исходную точку образования и первых, и вторых. Грязный цвет кожи их представляет что-то колеблющееся между черным цветом негров и коричневым малайцев. Из всех человеческих рас они стоят на самой низшей ступени развития – не знают не только религии и государства, хотя бы на первоначальной ступени общины, поселка, но не знают даже и постоянного жили-

*В книге Н. Я. Данилевского: «Дарвинизм, критическое исследование». СПб., 1885 г., т. 1, стр. 374–449 – собраны тщательно все факты образования новых растительных и животных пород этим путем. Самый резкий, но вовсе не единственный пример этого образования представляет собою *однолистная* земляника, *Fragaria toparophylla*, которая родилась *непосредственно от* обыкновенной *трехлистной* и продолжала затем воспроизводиться *из семян* первой, то есть изменение коснулось основной, воспроизводящей функции организма. Дюшен, который первый наблюдал это любопытное явление в 1761 г., в живых словах описывает свое изумление: «Как смотреть на нее? – спросил я себя при виде новой формы так хорошо известного растения. – Вид ли это? Но тогда ведь происходят новые виды! Разновидность ли это только? Сколько же тогда в *других родах* разновидностей, которые *принимают за виды?*» (стр. 407).

ща, равно как мало нуждаются в огне для приготовления себе пищи. Несмотря на все усилия миссионеров, они не оказывают никакой способности к принятию христианства, равно как и к усвоению вообще каких-либо начатков цивилизации. Любопытно в высшей степени, что место географического распространения их – Австралия есть одинаково и место нахождения самых архаических форм растений и животных. Путешествующий по лесам и лугам Австралии видит вокруг себя как бы воскресший мир некогда живых существ, который он знал лишь по палеонтологическим коллекциям и о котором ничто уже более не напоминает в окружающей действительности других материков. Нет полного сходства между ними, но есть близость, которой мы напрасно стали бы искать где-нибудь в другом месте на земном шаре. К сожалению, о происхождении материков мы ничего достоверного не знаем, но мы можем догадываться, что есть скрытые законы и силы, которые вызвали их из-под океана, и что это совершилось не без строгого, определенного порядка в возникновении их. На это указывает строгая, во всем выдержанная аналогия во внешних очертаниях и внутреннем строении всех материковых масс южного полушария и всех – северного, при различии до противоположности между собою первых и вторых*. С этим порядком возникновения

* Суша земного шара состоит из трех больших масс: 1) Американского материка, 2) Австралийско-Азийского материка и 3) Африканского материка. В первом вся масса земли сосредоточена или как бы сформирована в два члена – северный и южный (Северная Америка и Южная), которые развиты приблизительно одинаково, то есть почти одинаковой величины; их расположение, как бы координирующая их ось, тянется с С. З. С. на Ю. В. Ю.; соединены они между собою лишь очень узкою лентой земли (Панамский перешеек). Южный член имеет вид несколько вытянутого по меридиану треугольника, с выпуклою восточною окраиною и вдавленною западною стороною; на его северной стороне (восточнее соединяющего перешейка) мы наблюдаем зачаточное образование залива, почти единственного у его берегов. Северный член той же материковой массы представляет собою как бы фигуру распускающегося цветка: он расширяется, поднимаясь к северу, и расчленяется (полуострова); масса гор, при этом, сосредоточена к С. З. от перешейка, ближе к нему, нежели к северному краю, но в общем имеет центральное положение в противоположность краевому, какое имеют горы южного члена. Замечательно, что все эти особенности повторяются в Австралийско-Азийской массе суши (включая в нее Европу – только ушедшую вдаль и очень развитую С. З. оконечность Азии); но только в ней чрезвычайно не развит южный член (Австралия) и чрезвычайно же развит северный (Азия и Европа): то же здесь направление с Ю. В. Ю. на С. З. С., та же лента полуостровов (Индо-Китай и Малакка) и островов (Зондские), представляющих разорванный мост, некогда соединявший оба члена; та же фигура треугольника, выпуклого к востоку, вдавленного с запада – у южного члена (Австралии с Тасманиею), и даже тот же, но чрезвычайно развитый, залив на северном берегу (Карпентария). В северном члене – та же фигура раскрывающейся чашечки цветка, с бесконечно раздавшимся северным краем и суживающейся в воронку южной частью, с расположением главных горных масс к С. З. от разрушенного перешейка (Гималаи и Тибет), ближе к южному краю, чем к северному. Перейдя к третьей массе – Африке, мы видим, что в ней выражен собственно южный член какой-то материковой массы, но ему недостает северного; и, судя по тому, что в Америке оба члена почти одинаковы, а в

материков, вероятно, связаны как-нибудь и формы организмов, их населяющих. Во всяком случае, как ни темна для нас причина факта, самый факт – архаичность флоры и фауны материка Австралии – остается несомненным. И этому соответствует то, что и человеческая раса, здесь обитающая, стоит на низшей ступени развития сравнительно со всеми другими человеческими племенами. И если за общую форму, через которую проходит жизнь человечества, принять совершенствование, приближение к лучшему с течением времени, то и австралийскую расу, как ее флору и фауну, мы должны принять за наиболее древнюю из всех.

XIII

Дальнейшие аналогии все подтверждают эту гипотезу, но, чтобы сделать понятными их, мы должны остановиться несколько на одном глубоком и очень общем законе природы, происхождение и способ действия которого до сих пор не разгаданы, но который был признан человеком уже в древности: мы говорим о законе *полярности*. В пифагорейской школе впервые высказано было мнение о том, что все части Космоса разлагаются на противоположности; и это же соединение противоположностей и распадение всякого единства опять на противоположности составляло сущность учения Гераклита, мыслями которого была так заинтересована новейшая философия, в лице особенно Гегеля и некоторых его учеников. Диалектический метод этого германского мыслителя есть также не что иное, как теория развития логического понятия, и с ним всего мирового процесса, посредством чередующихся между собою утверждений и отрицаний, соединений и разложений. Мы только напоминаем эти учения, и делаем это для того, чтобы дальнейшие указания наши не показались чем-либо новым и произвольным. Доверяясь только простому и строгому наблюдению и оставляя в стороне все сомнительное, мы не можем не заметить, что, по крайней мере, *некоторая часть* природы как будто действительно подчинена этому великому закону. Так, если мы будем рассматривать строение организмов, мы увидим, что симметрия их зависит от того, что мно-

Австралийско-Азийской массе развит северный член и не развит южный, мы имеем все основания предполагать, что, по некоторому закону космического равновесия, Африка есть чрезвычайно развитый южный член, около которого северный член малый, неразвитый – исчез. Этот исчезнувший, недостающий материк есть древняя *Атлантида*, лежавшая к западу от Гибралтарского пролива, память о которой хранилась еще во времена Платона и след которой сохраняется и до сих пор в группах Канарских и Азорских островов. По крайней мере, один взгляд на Африку убеждает нас в полной аналогии ее фигуры с фигурой Австралии и Ю. Америки: выпуклость на востоке (Абиссиния – м. Гвардафуй) и выемка на западе (Гвинейский залив), выемка между заливами Габеш и Сидра на севере, краевое расположение гор. Едва ли одной случайности, без действия какого-либо скрытого закона, можно приписать эту выдержанную симметричность, аналогию, параллелизм в формах и расположении материков.

гие важнейшие органы их двойственны и противоположны (напр., два легких, две почки, два полушария головного мозга, далее – конечности и органы высших чувств: зрения, слуха и обоняния – двойные); и если в других органах двойственность и противоположность не бросается так резко в глаза, то лишь потому, что она закрыта, замаскирована, или своеобразно выражена. Но мы ограничиваемся указанием только грубого и общеизвестного и не будем отвлекаться рассмотрением более тонких черт органического сложения. В исторической жизни народов, которая служит как бы другим полюсом по отношению к организации животного тела, так неизмеримо отходя от нее и все-таки, в конце концов, имея ее своею исходною точкой, мы также можем наблюдать это развитие противоположностей: с противоположными характерами являются в ней великие расы (напр., монгольская и кавказская), и в каждой расе противоположными являются отдельные моменты ее духовного развития (напр., античная цивилизация и христианская, или в последней – Средние века и Новое время; так же: эпикуреизм и стоицизм, материализм и идеализм, методы умозрительные и опытные и пр.).

Этих кратких указаний будет достаточно, чтобы объяснить нашу мысль: некоторая часть явлений природы, развиваясь в потоке времени, разлагается на части не просто различные между собою, но противоположные. В этом процессе собственно непонятным является только первый момент: выделение первой особенности; потому что, раз она выделилась, выделение ей противоположного становится уже необходимым: оно одно остается в том существе или явлении, которое послужило исходным моментом начинающихся развиваться противоположностей и в котором они все содержались уже от начала, но только в неразделенном, связанном состоянии, смешиваясь между собою и через это взаимно ограничиваясь. Подобно тому как если бы в каком-нибудь объеме пространства, занимаемом разреженной материею, эта последняя собралась в одном месте и сжалась до абсолютной плотности, то другие части взятого объема пространства стали бы абсолютно пустыми, и даже в самом процессе этого собирания материи каждый момент уплотнения сопровождался бы, как своим необходимым следствием, моментом разрежения в другом месте; уплотнение же и разрежение суть явления противоположные. Можно предполагать, что все подобные процессы начинаются в природе оттого, что в ней все, каждая часть, стремится к самоутверждению, к полноте и твердости бытия своего, и потому силится освободиться от связывающей близости другого, очиститься от всего постороннего и, следовательно, уединиться; а через это уединяется в себе и другое.

XIV

Если мы допустим возможность действия этого закона в развитии человеческих рас, то появление каждой из них с отличительными особенностями своими станет для нас понятно. Мы обращаемся опять к исходной расе – австралийской. Грязный цвет ее кожи, не совершенно черной и не совер-

шенно белой, раз должно было совершиться в ней развитие – должен был, по закону полярности, разложиться на совершенно черный и на совершенно белый; то есть образование негритянской и кавказской рас содержалось в возможности уже в австралийской; подобно тому как плотное и пустое содержится в возможности во всякой степени сгущения или разделения. Из этих двух противоположных рас большая одаренность в духовном отношении должна была стать уделом белой, черная же не могла обладать высокими способностями, и это потому, что если одухотворенность есть то, что поднимает человечество над всем органическим миром, то она должна появиться там, где грубые черты органического мира становятся наиболее бледными, где они стираются и исчезают. Эта грубая, внешняя черта органического мира есть именно его окрашенность, в которой так механично, так несовершенно выражается его краснота. И если в человечестве эта краснота должна была перейти когда-нибудь в настоящую красоту, если она должна была одухотвориться, то для этого прежде всего ей необходимо было удалиться от грубо механических знаков в выражении себя: исчезновение какого-либо определенного цвета должно было предшествовать проявлению одухотворенности в человечестве. Но высшая ступень развития всегда достигается с большим трудом, нежели низшая, и вот почему негритянская, или черная, раса выделилась из австралийской без каких-либо промежуточных ступеней, соединительных звеньев, тогда как образованию кавказской расы предшествовало образование малайской, американской и монгольской: через них только, как предварительные ступени, медленно, путем нескольких внутренних усилий австралийская раса поднялась до белой. Но в высшей степени замечательно, что уже первая ступень на пути к образованию белой расы как бы предвещает в себе ее высшие способности, и даже с такою отличительною особенностью, которая ярко указывает на ее переходный характер, определяет ее именно как ступень к какому-то поднятию. И в самом деле, негритянская раса хотя гораздо способнее австралийской, но имеет в этой способности своей, в этой относительной даровитости, нечто замкнутое, неподвижное: видно, что какой-то процесс развития, ее вызвавший, в ней закончился, заключился, замкнулся. Черный цвет этой расы есть и действительно уже полус, который не может быть переступлен далее, и, следовательно, от негритянской расы никогда не произойдут еще какие-либо новые народы, сколько-нибудь от нее отличные*; она может размножаться внутри себя, и этим увеличиваться, расширяться, но не может ни во что перейти, измениться – ей чуждо развитие, как пределу. Поэтому – если негры и способны, то так, как они и всегда были способны; отсутствие *развития и какого-либо внутреннего стремления к нему* есть отличительная черта их, – и

*Едва ли нужно оговаривать, что мулаты, происшедшие от смешения негров с белыми в Америке, вовсе не составляют какой-нибудь ступени в развитии первых. Это – смешение, внешнее соединение двух самостоятельных элементов, но не внутреннее развитие одного из них в какую-либо высшую форму: последняя должна быть порождена путем скрытого органического усилия в пределах одной расы.

этим объясняется, почему, зная уже ремесла и заведя торговлю, живя обширными племенами, ведущими между собою войны, они, однако, нигде не замкнулись в правильное, организованное государство и нигде не начали истории. Они могут становиться лучше, когда их делают таковыми другие народы; они принимают воздействия, налагаемые извне; но внутренне остаются при этом пассивными. Так, в Западной Африке и в Центральной Америке они приняли государственную жизнь, в которую их устроили европейцы, но приняв ее — остаются в ней неподвижно, не улучшают ее, вообще не изменяют и даже не ухудшают, что все-таки, хотя отрицательно, свидетельствовало бы о внутренней жизни этой расы, о способности ее к самоизменению и, следовательно, к истории. Напротив, малайская раса, в коричневом цвете которой впервые проступает стремление к белому, хотя также не образовала у себя государств, но выказывает гораздо более внутренней жизненности, деятельного отношения к внешним развивающим влияниям. Самое отсутствие государственной жизни у малайского племени легко объясняется тем, что, будучи рассеяно на островах Великого и Индийского океанов, оно имело менее внешних причин к начатию этой жизни; потому что племенные столкновения из-за обладания землей и происходящие отсюда войны есть самая частая причина возникновения государств, как некоторой организации племени, при которой оно становится сильнее и может одержать победу в борьбе с соседним народом. Но и помимо отсутствия этих внешних причин, если бы даже при благоприятных обстоятельствах у малайцев не появилось государственной жизни, — это было бы слишком помягну ввиду близости их к австралийской расе, на пути развития которой в белую они составляют только первую ступень. Но что они являются только ступенью, что в них процесс какого-то развития не замыкается, это видно из того, как много в их психическом складе внутреннего напряжения, как они только ожидают внешнего воздействия, чтобы нарушить свое неподвижное состояние и выступить на путь самоизменения. При одинаковости исходного первоначального состояния, это и является в них отличительною чертою при сравнении с неграми. Они гораздо более, нежели эти последние, восприимчивы к христианству, и замечательно, что усваивают не внешнюю только сторону его, но и внутреннюю, духовную: становятся кроткими и человеколюбивыми под его воздействием и даже выделяют уже из собственной своей среды пасторов и миссионеров. Также и к обучению они высказывают живую склонность и способности, равно как и в усвоении других элементов цивилизации являются не пассивными, но деятельными: так, они не только дозволяют торговать у себя европейцам, не только отвечают на их спрос или предложение, но, раз поняв, что такое торговля, они поняли и что дает она, повезли в далекие страны свои произведения и поехали за чужими сами. Вторую ступенью в развитии австралийской расы нужно признать американскую: в красном цвете ее кожи мы видим исчезнувшими остатки темного, который находим еще в коричневом цвете малайцев; напротив, светлый отлив кожи кавказских народов в нем проступает яснее. Соответственно этому и духовное развитие американской расы

поднимается еще на высшую ступень сравнительно с духовными способностями малайского племени: она уже образовала два государства, Мексику и Перу, которые были разрушены в XVI в. испанцами. В высшей степени замечательно, что филологические исследования наречий, на которых говорят краснокожие Северной Америки, обнаруживают все признаки вырождения, а не развития; откуда можно заключить, что и самые племена эти находятся в периоде упадка, разложения. Они суть единственные из американской расы, которые, будучи многочисленны и широко расселены, вместе с тем не имеют государственной жизни и вообще сколько-нибудь высокой цивилизации; об этой последней мы можем думать, на основании исследований их языка, что она *была* некогда в Северной Америке и потом погибла. Во всяком случае, и внешние физические черты, и духовные способности, выразившиеся в создании государственной жизни, хотя и в высшей степени своеобразной и слабой, указывают на положение американской расы между малайскою и монгольскойю.

XV

В таком случае, нужно думать, что не из Азии Америка была заселена, но из Америки – Азия, и древнейшие племена этой последней обитают в северо-восточном ее углу. Где-то около Берингова моря произошло то внутреннее органическое напряжение в недрах американской расы, которым были порождены предки нынешней монгольской. В желтом цвете этой последней почти исчезли всякие следы первоначального темного цвета; их не видно уже совершенно, и с тем вместе желтый цвет есть промежуточный между красным и белым. Если от физических черт мы обратимся к духовным, мы и здесь увидим, что монголы по времени своего происхождения должны предшествовать кавказской расе. В лице китайцев и японцев они имеют уже историю, хотя не столь разнообразную, богатую и глубокую, как можно было бы ожидать, принимая во внимание ее чрезвычайную продолжительность. Есть что-то неподвижное в этой истории; ей недостает богатой внутренней жизненности, нет энергии и свободы в ее явлениях; она так же несовершенна, бледна и механична в сравнении с историей народов кавказского племени, как бледна и несовершенна китайская живопись, если сравнить ее с итальянскою или фламандскою. Эта же бедность и безжизненность видна и во всех сферах китайского творчества. Их религия есть странная смесь мудрости, практичности, нравственных правил и космогонических представлений, в которой мы напрасно искали бы каких-нибудь порывов религиозного энтузиазма, живых тревог совести или высшего просветления. В ней, как и в науке, и в литературе китайцев, мы можем многому удивляться, но ничему восторгаться. Как будто внутренний духовный огонь никогда не загорался в этой расе, и нет ничего в ней или в ее созданиях, что могло бы взволновать нас, растрогать, неудержимо повлечь к себе или очаровать собою. Мы смот-

рим на этот странный народ и его странные создания как на какой-то удивительный автомат, происхождения которого не знаем и который превосходит своим совершенством все другие, нам известные, но, как и они, остается для нас чем-то совершенно чуждым и посторонним; какая-то непереступаемая грань отделяет наш внутренний мир от тех скрытых пружин, которые его движут и направляют и которые так не похожи на то, что движет нас. Наш слух может заинтересоваться китайской музыкой, наше зрение – их живописью и произведениями их ремесел, наконец, даже ум – их учреждениями и понятиями; но дальше этого внешнего любопытства мы не можем идти: у нас нет способности перейти границу, отделяющую их душу от нашей. Ни одного звука нет у этого народа, ни одной линии он не создал, ни одного слова не высказал – которые проникли бы в самую глубину нашей души, тронули бы сокровенные ее стороны и заставили их звучать ответным звуком себе. И подобно тому как самый искусный механизм беден сравнительно с самым простым живым существом, так и китайская цивилизация, несмотря на то что даже образованные классы европейских народов могут многому научиться из нее, многое заимствовать с пользой – в сущности скудна в сравнении даже с тем, чем духовно живут простые, необразованные классы наши. Простой напев нашего крестьянина заключает в себе гораздо более поэзии, нежели вся вычурная китайская литература; горячая, хотя бы и бессвязная молитва какого-нибудь юродивого – более носит в себе чистой религиозности, нежели все книги Конфуция. Эти примеры всего лучше могут объяснить, чего именно недостает монгольской расе: истинной и глубокой человечности, всей той красоты, игривости, свободы, которую запечатлена раса белая.

XVI

Мы находим в ней, однако, одну черту, которая совершенно отсутствует во всех ранее возникших расах и, впервые появляясь здесь, становится уже постоянно затем в кавказской расе. Именно, закон полярности, который ранее действием своим создавал только отдельные расы и, выделив каждую из них, уже не действовал внутри ее и не разлагал ее жизнь или историю на противоположности – впервые обнаруживает свое действие внутри монгольской расы. Негритянская, малайская и американская расы суть отдельные и совершенно цельные члены человечества, внутри которых мы не находим другой разновидности, кроме той, которая обусловлена широтой географического расселения их (например, отдельные государства Мексико и Перу) или особым влиянием той или иной местности (совершенная дикость одних, некоторая развитость других). Отсюда – единство в их жизни, общность явлений, которые мы наблюдаем в ней, отсутствие какого-либо разнообразия в быте или какой-нибудь индивидуальности в характерах, отсюда же – отсутствие у них истории как появления различий во времени. Окружающая природа, вечно та же в каждой отдельной стране, наложила на них печать

свою, и, не имея внутренних стимулов развития, они тысячелетия несут на себе эту печать. Эта черта общности и постоянства впервые нарушается в монгольской расе. Однородная по происхождению, без каких-либо внешних отличительных особенностей на всем протяжении своего географического распределения, она является в истории с характером не только не постоянным всегда и повсюду, но, напротив, с диаметрально противоположным. Если Китай и Японию*, относящиеся между собою как неодинаковые фазы одинакового развития, как две ступени одной и той же лестницы, мы выделим из монгольской расы и соединим в одну группу, то увидим, что в пределах этой расы остается еще ряд народностей, также сходных между собою и потому сливающихся в одну группу, но уже настолько различную по своим психическим особенностям и исторической роли от китайцев и японцев, что всякая попытка соединить их в одно, обобщить в один тип – была бы напрасна. Историческая роль этой второй группы монгольских народов соединена с именами Чингис-Хана, Тимура и других многих подобных, но меньших, о делах которых не нужно напоминать, хотя они и не оставили после себя следов. Их называли «народами-разрушителями», и история до сих пор стоит перед их странною, загадочною деятельностью, бессильная произнести в объяснение ее хотя бы одно слово. В некоторые моменты исторической жизни – не их, потому что они не имеют истории, но других народов – эти племена поднимались без всяких видимых причин или, по крайней мере, без таких причин, которые по своей значительности хотя сколько-нибудь отвечали бы значительности своих следствий; и, поднявшись, проходили разрушительным ураганом по жизни других народов и, точно выполнив какое-то назначение, снова упали в прежнее ничтожество и безвестность, – до другого поднятия, всегда столь же беспричинного, столь же губительного для других народов и столь же бесплодного, ненужного для них самих. Если бы в поднятиях этих была какая-нибудь последовательность, если бы им присуще было какое-нибудь развитие или хоть простая периодичность, они все-таки представляли бы собою нечто положительное, они слагались бы в историю, хотя и историю разрушения. Правда, подобной последовательности не вынесли бы другие народы, и история всех их возможна только потому, что одна половина монгольского племени не имеет истории, ее жизнь не образует собою развития. Но – и в этом лежит глубочайшая выдержанность психического склада рассматриваемых племен – все, что походило бы на какую-нибудь закономерность или правильность, отсутствует в их исторической деятельности. Они вполне отрицательны, потому что нет ничего утвердительного и постоянного в самой их отрицательности. Даже

* Все сказанное ниже об Японии как будто опровергается последними успехами Японии в делах мира и брани; но эти успехи еще так новы, так мало длительны, а главное, так мало текут из оригинальных, расовых данных японского племени и обусловлены только успешностью технических заимствований, что, до времени по крайней мере, их можно обходить молчанием.

и разрушения они не созидают; они только время от времени производят его, строгие и последовательные только в одном – в полной хаотичности явлений своей жизни.

Мы сказали, что внешних причин для их характерной и странной деятельности нет и никакого объяснения их исторической роли не существует. А между тем, если мы обратимся к закону полярности, мы увидим, что эта деятельность их и роль принудительно обусловлены уже в характере их соплеменников – другой, южной половины монгольской расы. Сравнивая деятельность этих племен с деятельностью других народов, например кавказской расы, мы найдем в той и другой только различие, но не найдем противоположности. Разрушение входит составною частью в жизнь всех народов, и каждый из них растет и развивается, только разрушая или тесня жизнь других народов. Но только это явление в их истории не изолировано и не очищено, оно смешано с другими разнообразными явлениями, частью просто различными, частью противоположными, и поэтому умеряется ими или закрывается, делается незаметным. Только один есть народ в истории, который не просто отличен от этих племен-разрушителей, но противоположен им по своему психическому складу и по всему смыслу своей истории: это – китайцы и японцы, первая великая ветвь монгольской расы. И в самом деле, как первые племена получили название «разрушителей», так эти народы должны бы быть названы «созидателями» – созидателями по преимуществу и в большой степени и чистоте, нежели народы какой-либо другой расы, в том числе и кавказской. Их трудолюбие так велико, что, как ни превосходили их европейцы во всех других отношениях, в этом одном они могут служить для них недостижимым образцом, и их миролюбие столь исключительно, что даже для защиты себя, своего вечного и неустанного труда, они не могли придумать ничего другого, как только отгородиться «Великою стеной» от народов, которые могли помешать им. Если мы всмотримся глубже в самый характер их труда, мы найдем в нем поразительное соответствие с характером разрушения у северных монголов: как там под жадной разрушить не скрывается ничего – никакой особенной ненависти или вражды к разрушаемому, ни даже – простого знания его; так здесь под зидующею деятельностью не лежит никакого сложного и глубокого внутреннего мира, который бы неудержимо искал выразиться в чем-либо внешнем. Отсюда – отсутствие жизненности во всем их творчестве: литература без поэзии, живопись без красоты, самая наука – без мудрости и пылкости. Как будто и рисовать они начали потому, что, найдя красящие вещества, нашли для них и способ употребления и с тем вместе – новую форму труда, к которой сейчас же прильнули, хотя и не понимали, куда она ведет, что достигнуто ею у других народов; и создали литературные произведения потому, что из всех способов употребления человеческого слова – нашли и этот новый: не только рассказывать о действительном, но и о том, чего нет, но что могло бы быть действительным; и, наконец, начали заниматься наукой потому, что их органы чувств требовали большего упражне-

ния, нежели какое могли им доставить простые и непосредственные отношения к окружающему. Вот почему, как уже давно замечено, сделав многие изобретения, какие сделаны и европейцами, они не извлекли из них всех тех результатов, какие извлекли последние. Найдя их случайно, как можно думать, они увидели в них только новую сферу труда – возможность бесконечных повторений, но они не вдумывались в них и не искали еще чего-нибудь за ними скрытого, в них прямо не выраженного. Здесь же лежит объяснение и их поразительной замкнутости, которая всегда так удивляла европейцев: лишенные глубокого внутреннего содержания, они никогда не знали этого тревожного состояния, этих мук искания, которые заставляли европейцев переходить из страны в страну, от народа к народу, никогда и ничем не удовлетворяясь, с вечным отвращением к прежнему и вечною жаждой нового. Они были спокойны, всегда удовлетворены, потому что были всегда заняты. В своем труде они ничего не искали, кроме труда, и потому – ничего не нашли, или, даже и найдя что-нибудь случайно, – не замечали найденного, равнодушно проходили мимо*. Что-нибудь похожее на далекий замысел никогда не руководило их действиями; они не знали ни увлечений, ни разочарований, ни истинной радости, ни другого страдания, кроме простой боли. Отсюда – тот характер практичности и рассудочности, который с удивлением замечали в китайцах все проникательные наблюдатели. Погруженные в труд, за которым не скрывалось никакого содержания, они никогда не отвлекались от него; прошедшего и будущего как бы не существует для них, они не несут из первого никакого *задатка* и ничего не осуществляют нового во втором. Они всецело погружены в действительность и потому именно так хорошо все видят в ней, что им некуда больше смотреть. Все их достоинства, которым иногда столько завидуют, вытекают из одного глубокого, странного недостатка их природы: из ее внешности и формальности, из отсутствия содержания в их душе. Они не задумают ничего безумного, не рванутся к гибельному, не станут возводить Вавилонской башни, чтобы достать до неба; но это оттого, что и самого неба для них нет.

Отсюда вытекает то, что их деятельность, будучи столь рациональна в частностях, в целом носит на себе черты бессмысленного. Все в отдельности, что ни делают они, правильно и может быть названо хорошим; но эти отдельные дела их не составляют из себя ничего общего, о чем мы также могли бы сказать, что и оно правильно и хорошо. Никакая общая мысль не соединяет и не объединяет явления их жизни, никакому высшему плану не подчинены они. Их жизнь и история распадается на множество подробностей и за каждую из них лежит своя причина, свой частный повод, находящийся вне всякого соотношения со всякими другими поводами к каждой

* Известно, что очень многие европейские открытия (как пороха) были сделаны ранес китайцами, но не повели у них к тем огромным последствиям, к каким повели Европу, – застыв, как и все у них, в первой изобретенной фазе.

другой подробности. И это-то именно и делает китайскую цивилизацию, при всем любопытстве, которое возбуждает она своею внешностью, в сущности безынтересною. Она в высшей степени своеобразна, но это своеобразие заключается в том, что, будучи столь громадна, она лишена всякой связующей идеи. И если, на минуту забыв о ней, мы снова перенесемся к их северным соседям, мы поймем их жизнь и их душевный склад как противоположность китайского, как его отрицание. Из всех народов, обитающих на земле, только вторая ветвь монгольского племени представляет из себя настоящих кочевников, подобных которым мы не встречаем ни в Северной и Южной Америке, ни во внутренней Африке, хотя они более благоприятны для этого образа жизни, нежели северная и центральная Азия. Покой и однообразие невыносимы для этих народов, как для китайцев невыносимы разнообразие и беспокойство. Как эти последние в своей жизни и в своей деятельности подчинены инстинкту созидания, так те подчинены инстинкту разрушения – столь же темному, столь же лишенному какой-либо руководящей мысли. Только в действии закона полярности, так могущественно выразившегося в противоположности психического склада этих двух великих племен, на которые распалась обширная монгольская раса, можно найти объяснение той неудержимости, с которою одно из них производило свои разрушения. Иначе каким образом понять, что, вопреки всем нуждам, отвращаясь от всего, чем дорожит человек обычно, – от покоя, от мирной жизни, от удовлетворения всех потребностей, они переходили через знойные пустыни и высокие горы, гибли на пути и в битвах, и все это без другой цели, без другого удовлетворения, кроме как видеть позади себя пирамиды из человеческих голов, видеть растерзанную жизнь людей, которых они ранее не знали и не видели. Не потребность в общепринятом значении служила для этого мотивом и не какие-либо внешние причины, какие мы привыкли отыскивать для человеческих действий. Здесь действовали силы и законы иные и высшего происхождения, понять природу и происхождение которых нам, вероятно, никогда не суждено, но наблюдать за внешним проявлением которых мы можем.

XVII

То, к чему последовательно поднимались расы, что яснее и яснее мерцает в чертах или физической и духовной природы, наконец получает свое осуществление в кавказской расе: в ней является наконец человек во всей полноте своих сил и в совершенной красоте. Замечательно, что хотя по численности своей она неизмеримо уступает численности остальных рас человеческого рода, однако всякий раз, когда мы начинаем говорить о человечестве и пытаемся определить свойства человеческой природы, – мы говорим собственно о белой расе и определяем *ее* свойства. И это не потому только, что мы сами принадлежим к ней: прием определения какого-либо существа через

отвлечение общих свойств у *наибольшего* количества его представителей – столь прост и так уже вошел в наши умственные привычки, что мы, несомненно, сумели бы применить его и здесь. Но даже и попытки поступить так при изучении природы человеческой никогда не было сделано; знающие и невежественные, осторожные и легкомысленные – даже ошибкой или случайно никогда не нарушили молчаливого соглашения: понимать человека так, как он выразился в кавказской расе. Хотя и молчаливо, но допускается, что скорее есть погрешности, отступления от нормы во всех других необозримых массах человечества, нежели что они есть и в белой расе, и что для выделения их нужно сравнить ее с прочими и очистить от уклонений путем мысленного отсечения всего лишнего, что окажется при этом сравнении, и путем восполнения всего недостающего. Все особенное и частное, что отличает кавказскую расу от других, не только не исключается из общего понятия «человек», но, напротив, составляет самое существенное в этом понятии; тогда как общее у нее с другими расами оставляется большею частью в стороне, как незначущее. В основе всех этих странностей метода, кажущихся неправильностей умозаключения – лежит одно глубокое, хотя и невысказанное, убеждение: что человек белой расы есть норма и предел, который ни с чем другим не может быть сравниваем и через это другое оцениваем, но, напротив, сам служит мерилом и оценкой для другого, как бы этого другого ни было много. И действительно, во всех других расах человек есть достигаемое и только в кавказской – достигнутое уже. Мы находим в нем все, что и в представителях других рас, и еще нечто излишнее, но притом такое, что можем открыть при внимательном исследовании и в других низших племенах, но только в зачаточном, неразвитом состоянии. И, как определение линии или круга, содержащееся в геометрии, мы никогда не станем изменять и приравнивать к смутным и сбивчивым описаниям несовершенных линий и кругов, наблюдаемых в действительности, так точно не станем мы и не хотим изменять понятие о человеке, основанное на знании белой расы, применительно к тем понятиям о нем, какие могли бы извлечь из наблюдения над остальными расами, обитающими землю.

Одухотворенность, высокое просветление природы человека каким-то внутренним содержанием – вот самое общее и точное определение особенности, которая отличает кавказскую расу от других. В противоположность монгольской расе, в которой существенное и основное есть *деятельность* и за нею не скрывается никакого сложного и глубокого содержания, в кавказской расе основным является именно содержание, внутренняя духовная жизнь; что же касается деятельности, то она служит здесь только невольным обнаружением этого содержания, то есть является вторичным уже, вызванным и обусловленным. Как ни разнообразна и ни обильна деятельность арийцев и семитов, этих двух главных ветвей, на которые распадается кавказская раса, – она нисколько не исчерпывает богатств внутренней жизни их, и отсюда-то в этой расе вечное томление духа, о котором так прекрасно говорит уже древний Экклезиаст и еще не перестают говорить

самые новые поэты: вечное стремление к чему-то и всегдашнее неудовлетворение тем, что найдено. В искусствах, в науках и философии, в формах политической жизни – всем том, что было создано этою расой в ее долгом историческом существовании, мы открываем эту общую черту: перевес духа над деятельностью, и отсюда – переход от одной деятельности к другой. Здесь лежит объяснение многоформности их искусств: что-то невыражающееся сливается высказать в них ариец, и поэтому-то переходил он от линий архитектуры к тени и краскам живописи, от звуков музыки к музыкальной речи в лирике и эпосе – то беря все это изолированно, то соединяя вместе, как это мы видим в драме и опере. Отсюда вытекает то, что в науках и философии он так безгранично далеко переступил за пределы непосредственно открытого ему, – в противоположность всем другим народам, которые ничего не искали за этими пределами. Он жадно осмотрел всю землю и пылливо перечитал все, что было написано его предками, теперь уже погибшими племенами. Не довольствуясь этим, он вскрыл глубину земли и извлек из недр океана все, что там могло скрыться от его глаз; не удовольствовался вещами и явлениями, как они даны ему в ощущении, и, разложив первые, – открыл их элементы, а наблюдая вторые и размышляя о них – открыл силы и законы, о которых ничего не говорили ему чувства. Наконец, все еще думая, что за известным ему скрывается что-то неизвестное, он придумал способ посредством удивительных инструментов почти безгранично удлинить свое зрение и безгранично же уточнить его, приблизить к себе все далекое и сделать большим все малое. Здесь же, в вечно тревожном и вечно чего-то ищущем духе кавказской расы, лежит объяснение и его политических судеб, этой неустанной жажды что-то постронть, создать, и создав – вечно разрушить его, чтобы начать строить снова, иначе и по другим планам.

XVIII

Если от рассмотрения природы человека, каковою она является в высшем своем выражении – кавказской расе, мы возвратились бы опять к органическому процессу, через который, варьируя и совершенствуясь, все поднимались органические формы, – мы увидели бы, что человек есть грань и предел, где заканчивается этот процесс. Любопытно, что именно исследование явления красоты с несомненною силой убеждает нас в этом, – и та форма, которую принимает она в человеке, проливает истинный свет на природу самой органической энергии, лежащей внутри организмов и управляющей их трансформациями.

Во всех *цветных* расах человеческого рода мы находим то же отсутствие настоящей красоты и ту же простую красоту, какую находим в растениях и животных. И здесь, и там она выражается в грубых физических очертаниях и в окрашенности, причем ни первые, ни последняя не служат средством только для выражения чего-то иного и высшего, но нравятся

сами по себе – откуда татуирование тела у диких, желание придать своей окраске еще и разнообразие. Напротив, у белой расы, которую справедливее было бы назвать бесцветной, эти грубые и внешние способы выражения красивого как бы меркнут и исчезают, и впервые проступает красота в своей истинной природе. Именно для того, чтобы возможно было проявиться ей, необходимо было предварительное исчезновение окраски, и вот почему вообще духовное совершенствование в человеческих расах так замечательно совпадает с изменением цвета их, с его постепенным исчезновением.

Если мы захотим дать себе отчет, в чем именно состоит это преобразование простой красоты в красоту, то должны будем ответить, что оно заключается в проникновении духовного мира сквозь грубые черты физической природы; и в таком преобразении этой последней, что она становится способною передавать, видоизменяясь, видоизменения первого. И в самом деле, лицо человека какой-нибудь цветной расы никогда не бывает истинно прекрасно, потому что оно никогда не бывает *выразительно*. Все тонкие переливы чувств, тихая радость или бесконечная грусть, одушевление какою-нибудь мыслью или спокойная созерцательность – все это, так легко выражающееся на бесцветном лице человека кавказской расы, совершенно скрывается под неподвижными чертами коричневого, черного или желтого лица.

В способе действия на нас красивого и прекрасного заключается та разница, что тогда как первое действует исключительно на наши чувства, зрение или слух, второе действует через них на нашу *душу*. От этого первым мы только любимся – то есть испытываем наслаждение чисто внешнее; второе же созерцаем: это наслаждение внутреннее. И только потому, что красивое и прекрасное соединены между собою незаметными переходами, так что невозможно даже отметить момента, где второе уже начинает зарождаться в первом, – мы считаем их различными фазами в развитии одного и того же явления. Но низшая, неразвитая фаза каждого явления находит для себя всегда объяснение в высшей и развитой. Поэтому в природе красоты, каковою она является в человеке, мы должны искать разгадки красивого, которое находим в органическом мире.

Возбуждаемое внешними чертами какого-нибудь образа и входящее в нас через внешние же чувства ощущения красоты есть самое глубокое и внутреннее из всего, что человек переживает в себе. Это можно видеть из того, что всякое созерцание прекрасного образа мы силимся продлить, хотя его внешние черты уже давно и хорошо известны нам, – он как бы завлакивает от нас все окружающее, постороннее, прерывает наше общение с ним и погружает в какую-то *забывчивость*. Забывшись, мы перестаем, наконец, видеть и его внешние, грубые черты; они сливаются, смешиваются и тускнеют перед нами; созерцание все углубляется, ощущение красоты нарастает, и мы испытываем странное слияние своей души с самою сущностью того предмета, о внешних чертах которого забыли. И в самих себе мы

не можем указать ничего частного, особенного, что служило бы восприимником чувства красоты, – как об усваиваемых мыслях можем сказать, что их воспринимает ум, о горестном или радующем – что его воспринимает чувство или о страсти – что она входит элементом в нашу волю. Чувство прекрасного *общее* всех этих факторов, из которых слагается психическая жизнь; оно относится к *целой* душе; и мы думаем даже, мы решаемся утверждать, боясь ошибиться не в сущности утверждения, но только в умении выразить его, – что красота есть самая природа души. Внутреннейшее, что есть в человеке, воспринимает прекрасное; и внутреннейшее, что есть в каком-либо другом существе, выражается в прекрасных чертах его образа.

Но ранее было указано, что все повышения красивого в органическом мире совпадают с повышениями в нем органической энергии – той скрытой силы, которая живет в каждом существе лишь как в моменте своего воплощения, и потому именно превращает его в высшие и высшие формы. Эта сила, как было также указано, не имеет ничего общего с механическими силами природы и обнаруживает в способе своего действия черты целесообразности. Но целесообразное всегда есть продукт психического. Вот почему органическую жизнь, в темной глубине времен некогда впервые шевельнувшуюся на земле, затем все развивавшуюся и теперь разлитую во всем безгранично сложном царстве растений и животных, – мы должны рассматривать как проявление в веществе психической жизни. Полное же осуществление ее мы находим в природе человека – и дух его есть узел, завершение и источник всей органической природы. Он есть осуществление, а она – только осуществляющее, создающее его в грубом, материальном смысле, но, в сущности, созданная им, как средство создается своею целью, каждая ступень улучшения – конечным замыслом улучшенного.

Этим изъясняется глубокое и особенное действие красоты на душу человека: подобное возбуждается только подобным, и как в красоте выражается сокровеннейший нерв жизни, так на сокровеннейший же центр человеческого существа она и действует. Здесь происходит слияние того, что разграничено физическими преградами, но что, обитая в разных существах, в сущности есть одно, – как эта цифра 2 и та *другая*, в ином месте написанная 2, есть в сущности *одно* и то же число «два». И здесь, нам думается, лежит разгадка того явления, почему взаимное влечение двух полов – двух разделенных половин одного человеческого существа, которое мы называем любовью, сопровождается всегда ощущением красоты и ее действительным повышением: эти два факта не безразличны друг к другу, они тесно связаны, потому что выражают две стороны одного явления; любовь есть действительно сродство душ, доходящее до слияния их в одну, что физически и выражается в рождении обоими нового и одного одушевленного существа; а то, что предшествует этому слиянию, есть ощущение одною душою близости другой, то есть красоты другого подобного существа. Потому что, как уже замечено было, красота и есть душа всего живого.

Весьма замечательно, что трансформисты, признающие превращение одной органической формы в другую, и, следовательно, происхождение человека от какого-то другого вида животного, никогда не высказывают мысли, что и человек со временем перейдет еще в иную какую-нибудь высшую форму; хотя такой взгляд был бы в высшей степени естественен и последователен в теории трансформизма. Какой-то темный инстинкт мешает человеку смотреть и на себя как на одно из *промежуточных* звеньев в органическом процессе, хотя именно таковым является всякий зоологический вид, а homo sapiens составляет только один из них. Тревога за равновесие и целостность солнечной системы, забота об охлаждении солнца и с ним – за охлаждение земли, все это мы находим в ученой литературе, хотя эти угрожающие факты если и вероятны, то не ранее как по истечении многих миллионов лет. Но никогда не являлось тревоги, что человек, который может погибнуть вместе со своею планетой, ранее этого времени превратится в какое-нибудь новое и высшее существо, относящееся к нему так, как он относится к семейству четвероруких обезьян. Что человек есть *граница, предел* в органическом процессе – это инстинктивно чувствуется всем человечеством.

Это инстинктивное сознание действительно оправдывается многими наблюдениями и аналогиями. Если движущее начало в органическом процессе есть органическая энергия, доселе устремлявшая формы все к высшим и высшим очертаниям, то в природе человека мы видим, что не только эти очертания достигают предела совершенства, но что органическая энергия и переливается за них, являясь в чистом и несвязанном виде как *психическая жизнь*. Уже самое появление ее в этом виде заставляет а priori думать, что, в вечных усилиях своих поднимать и улучшать организацию живого типа, она встретила, создав человека, какую-то непреодолимую преграду. И действительно, многие любопытные изыскания обнаружили, что в устройстве его тела разрешены в предельной форме механические задачи совмещения силы, легкости и подвижности; так что всякое умаление чего-либо или увеличение, т. е. кажущееся усовершенствование какой-нибудь части, немедленно повлекло бы за собою ухудшение целого, нарушение в нем гармонии и равновесия. В этой предельности разрешенной механической задачи органическая энергия и встретила препятствие, которого она не может преодолеть: изменить организацию человека нельзя иначе, как только ухудшив ее, – что противно природе органической энергии, которая только улучшает. Отсюда понятно возникновение именно в человеке психической жизни, лишь просвечивающей в других живых существах на степени формирующего начала их организации. Там она не отделена от этой последней, не высвобождена из нее, потому что в возможности улучшения она имеет сферу и объект для своего действия.

Но и явившись в своем чистом и несвязном виде, органическая энергия и здесь сохраняет основные черты свои, вытекающие из природы ее как

начала целесообразного. И в психической жизни человека, как ранее в мире животных и растений, она является силою неудержимо зияющею и вечно устрояющею. Но так как в *самом* человеке нет уже ничего, что могло бы быть достроенным или улучшенным, то есть в нем нет предмета для ее деятельности, то она ищет и находит эти объекты вне его. Отсюда творчество человека в истории – устройство им внешних для себя вещей, создание сложных и великих организмов государства, науки и искусства.

XX

Глубже всмотревшись в это историческое творчество, мы откроем в нем замечательное соотношение с творчеством органическим, с новой стороны доказывающее, что в человеке заканчивается органический процесс и что, если суждено когда-нибудь умереть на земле жизни, она умрет с ним и в нем.

И в самом деле, между органическим творчеством и между психическим, как оно выразилось в истории, существует то замечательное соотношение, что всякий раз, когда первое не ослабевает – второе отсутствует, а когда появляется второе – ослабевает первое. И при этом умаление одного из этих видов творчества при возрастании другого совершается в столь строгой соразмерности, что невозможно отрицать общности и единства их происхождения. Эту общность мы и находим в органической энергии, которая, преобразуясь в психическую, ослабевает в собственных определениях; напротив, ни во что не переходя – сохраняется в прежнем виде, как энергия органического созидания.

Вследствие предельной формы человеческой организации, в ней органическая энергия, сохраняя свои прежние черты, может проявиться только в акте рождения – в воспроизведении ряда поколений, в которых она продолжает существовать после смерти их общего прародителя. Поэтому соотношение, о котором мы говорим, может быть прослежено на судьбе отдельных родов*, из которых слагается каждая народность, – на их генезисе в связи с историческою деятельностью. Каждый род (*gens*) есть как бы отделившаяся, в лице своего прародителя, ветвь человеческого рода, несущая в себе некоторую определенную долю органической энергии, причем эта последняя, будучи неодинаковою в различных родах, в каждом из них, отдельно взятом, присутствует как постоянное количество. Эту энергию живет род физически, и ее же проявляет он в своей исторической деятельности.

Рано исчезающие роды, и притом без проявления себя в истории, должны быть рассматриваемы как заключающие в себе от начала незначительное количество органической энергии, которое и растратилось, преобразо-

*Мы разумеем *род* в том определенном и замкнутом значении, как он выразился (всего полнее и чище) у римлян в патрициях, у греков – в эвпатридах и менее чисто и полно у всех исторических народов.

вавшись в ту слабую степень психической деятельности, которая обнаруживается каждым человеком в своей частной или семейной жизни. Мы не будем говорить об этих родах, так как, за отсутствием в них исторической деятельности, здесь не может быть обнаружено то соотношение, в которое входит эта деятельность вторым членом. Заметим только, что есть целые народности, представляющие аналогию с этими родами: имена их сохранены в истории, но они рано исчезли, придя в соприкосновение с другими народами, с которыми слились без какого-либо резко выраженного сопротивления. Полабские славяне и, отчасти, все обширное кельтическое племя в Европе могут служить лучшим примером подобных слабых народностей. В отличие от народов, совершенно не принимавших участия в истории (как, напр., финские племена), их можно назвать *полуисторическими*. Общая черта их заключается в том, что они замешиваются в движение всемирной истории чисто механически, внешним и случайным образом, но не составляют в этом движении никакого органического звена. Их отсутствие из нее, их выпадение, ни в чем не нарушило бы хода и смысла исторического развития: в нем не доставало бы только какого-нибудь побочного эпизода, или некоторые необходимые его звенья имели бы иную форму, иначе возникли бы, развились или окончились. До некоторой степени участие их во всемирной истории можно сравнить с ветром, который, замешавшись в древесную листву, шумит в ней и движет ее, но к росту этого дерева и внутренней жизни самих листьев не имеет никакого отношения, в очень редких случаях прерывает его и никогда не бывает ему нужен.

Что касается до строго исторических народов, судьба которых в точности известна, то на них мы можем проследить указанное выше соотношение, и в этом именно соотношении лежит истинное объяснение большинства явлений их жизни. По крайней мере, всё общее и важное в этой жизни – ее вековые, массовые черты, для которых так много и всегда напрасно историки искали каких-нибудь объясняющих начал или законов, разгадывается при свете этого соотношения.

XXI

Есть два типа исторического движения, и к одному из них сводится прошедшая жизнь каждого единичного народа. Один тип, обнимающий собою жизнь меньшинства исторических народов (таковы, например, китайцы, армяне, отчасти евреи), заключает в себе ту главную особенность, что в нем *есть только передвижение частей, но нет движения целого*, – вследствие чего явления, им обнимаемые, не слагают из себя никакого процесса, в котором последующее исходило бы из предыдущего, раскрывая смысл его. Жизнь народов, совершающаяся по этому типу, по причине указанной особенности представляется неподвижною, несмотря на постоянное движение, которое в ней происходит, на быструю смену явлений, на обилие лиц и событий.

Движение это можно сравнить с движением воды в водопаде: ни одна частица ее и ни на один момент не остается в покое, и, однако, в целом своем водопад представляется неподвижным; века проносятся над ним, а он сохраняет все тот же вид. Подобную же неподвижность при вечном движении представляла бы несущаяся вперед точка, которая, однажды получив толчок и потом не встречая никакого сопротивления и не испытывая действия никакой отклоняющей силы, продолжала бы нестись в безграничное пространство, не ускоряя и не замедляя своего полета. Если мы спросим себя, отчего же происходит этот особенный и странный покой – что есть тут такого, что сообщает подвижному черты неподвижного, – то должны будем ответить следующее: к изменению, однажды возникшему и продолжающемуся, здесь не привходит никакого нового изменения, а с тем вместе не привходит и никаких различий, которые могли бы сделать последующее не похожим на прежнее. У народа, жизнь которого замкнута в этот тип генезиса, происходят войны, заключаются договоры, сменяются династии, наконец, он является то свободным, то поработанным, сам владеет или над ним владеют, – и, однако, во всем этом нет ничего, что заставило бы задуматься над собою историка или что могло бы внушить ему какую-нибудь общую идею. Все эти события – только частности, между собою не связанные; и для каждого из них достаточно указать отдельную причину, его породившую, чтоб оно было вполне ясным и понятным. При сильном соседе такой народ поработывается, при слабом – он господствует, без каких-либо внутренних причин для первого или второго. Он счастлив при добром и благоразумном государе и бедствует при злом, – и все это лежит вне всякой возможности предвидения.

Постоянство в существовании, неумирающая жизнь есть общая внешняя черта подобных народов. Однажды появившись в истории и ничего не принося в нее, они остаются затем в ней неопределенно долгое время, то являясь участниками в ходе ее событий, но лишь внешним, до известной степени пассивным образом, то погружаясь в покой исключительно внутренней жизни. Черты некоторой дряхлости (Китай, Армения), может быть, и есть в них; но, появившись очень рано, эти черты затем несколько не увеличиваются, и смерть не наступает для них. Эту незначительную дряхлость мы можем отнести, как к своей причине, к тому напряжению в них органической энергии и переходу ее в психическую деятельность, которое потребно было на первоначальное сложение их в нацию и государство, – что представляет собою все-таки историю, изменение в изменении, а не простое чередование событий. Но, затем, оставшаяся часть органической энергии, и в самом начале не очень значительной, уже передавалась у них без изменения, от поколения в поколение, ни во что не преобразуясь. Ее сохранение и есть истинная причина их долговечности в истории; а то, что, сохраняясь, она не преобразовывалась в психическую деятельность, есть причина их неподвижности. В них нет духовного творчества, и потому в жизни их не происходит нарастания в явлениях, которое сложило бы их в цельный, развивающийся процесс. Вой-

ны или мирные договоры, даже законодательства, какие у них есть – все это суть частные события в жизни их государей. Имея предметом своей деятельности жизнь целого народа или государства, эти последние только тогда проявили бы какое-нибудь психическое творчество, если бы в замысле их или в делах обнаружались какие-нибудь особенные и новые черты в сравнении с тем, что совершалось ранее. И как отсутствует творчество в ежедневной деятельности каждого частного человека, так отсутствует оно и здесь – в событиях народной или государственной жизни, производимых обычно деятельностью государей. Они не затрагивают внутреннего недр их существа: они происходят только на его поверхности. Заметим, что та незначительная психическая жизнь, которая проявляется и в частной деятельности, но не имеет здесь никакого подобия с глубиной и обилием жизни в моменты творчества, не сокращает исторического существования этих народов, потому что является таким же отражением органической энергии, как мы наблюдаем и в зачатках психической деятельности у животных, – но только отражением неизмеримо более ярким, так как и органическая энергия в человеке неизмеримо возросла.

XXII

Второй тип исторического движения есть *развитие*, и через него проходит жизнь большинства исторических народов. Судьба Греции может служить классическим примером этого второго типа генезиса, как Китай служит классическим примером первого типа. Его общему отличительной чертой служит то, что в нем есть *движение целого*, – и в него именно входит, как частность в общее, движение частей. Поэтому исторические явления, замкнутые в этот тип (войны, договоры, законодательства и пр.), имеют в себе каждое нечто частное, особенное, и все – нечто общее, связующее их в одно. Если мы анализируем эту общую часть, то увидим, что во времени она является нарастающей и усложняющейся, и это-то именно нарастание и усложнение и сообщает всему типу генезиса, о котором мы говорим, его отличительные, характерные черты. По ним мы можем назвать его *процессом раскрывающимся*, так как он весь слагается из фаз, из которых каждая последующая, являясь возросшею сравнительно с предыдущей, яснее раскрывает в себе то содержание, которое уже заключалось в ней, но лишь в смутном и неопределенном виде. Поэтому-то и в жизни народов, проходящей в форме этого процесса, каждое явление получает свой смысл и освещение не столько в предшествовавших или одновременных с ним обстоятельствах, сколько в том, что за ним последовало, во что перешло оно.

Вследствие того, что этот тип генезиса заключает в себе движение целого, а не частей только, – в нем не одни части и оканчиваются, не единичные только явления завершаются и прекращаются, но он весь оканчивается в своем целом. Это есть общая и постоянная черта народов, история кото-

рых слагается по его типу, что они суть народы постоянно возрастающие в красоте и силе своей духовной жизни и затем умирающие. Как жизнь в истинном смысле жизнь одним им присуща в истории, так и смерть есть их необходимый удел.

Рассмотрим и у этих народов соотношение между тратой органической энергии и между психическим творчеством. Если историческая жизнь племен, замкнутая в первый тип генезиса, обнаруживает только в самом общем виде это соотношение – как отсутствие траты энергии и с ним вечное продолжение рода при отсутствии духовного творчества, – то здесь, у народов, замкнутых в раскрывающийся генезис, мы можем наблюдать все частности, все вариации этого соотношения, и в них-то именно, являясь никогда не нарушенным, оно получает свое полное подтверждение и оправдание.

Но прежде, нежели перейти к этим частностям, скажем несколько слов в пояснение общей формы раскрывающегося процесса. Она строго вытекает из того, что в нем происходит преобразование органической энергии в высшую форму – в одухотворенность, потому что это преобразование может совершиться только по законам целесообразности. Как уже определено было выше, органическая энергия есть сила скрытой целесообразности, которая возрастает в своем напряжении по мере того, как подвигается во времени, подходит к завершению своему – к цели. Откуда, пока сферой ее действия была организованная материя – являлось усовершенствование этой организации, появление все высших и высших растительных и животных форм; а с переходом этой энергии в иной и высший вид закон движения ее не изменяется, и отсюда-то именно вытекает форма *раскрывающегося* процесса, в которую слагается историческая жизнь духовно-творческих народов. Во всем, что создается ими, будет ли то политическая форма, наука и философия или искусство – все последующее является более прекрасным и более мощным, нежели предыдущее, жизненность и красота созданий возрастает, как возрастает и сложность организации в растительном и животном мире, варьирующем в формах этого же раскрывающегося процесса. Самый ход событий в истории этих народов в высшей степени проникнут обычными чертами целесообразности: двигаясь медленно и будучи незначительными при начале, они все нарастают в размерах по мере того, как чередуются; самое развитие их ускоряется, и наконец, перед моментом завершения судеб народа, они приобретают поразительное величие и красоту и вместе – ужасающую быстроту в своем ходе, почти какую-то торопливость. Так, история греческого народа, продолжавшаяся приблизительно половину тысячелетия, в одном веке (V до Р. Х.), предшествовавшем ее падению, вмещает и греко-персидские войны, и век Перикла, и Пелопонезскую войну; вспомним также уторопленный ход римской истории от конца 2-й Пунической войны до Августа: с небольшим в одном столетии здесь включено столько событий, и притом неизмеримо значительных, сколько их не заключено во всех предшествующих веках достоверной истории Рима.

Здесь и там мы одинаково наблюдаем, что события как бы какою-то беспорядочно толпой торопятся вперед, в них есть жадность бытия и движения, – мы поясняем: жадность достигнуть и выразить цель свою, т. е. свой смысл, красоту, ранним отблеском которой они все жили, силою которой порождены были и длились во времени.

XXIII

Теперь переходим к частностям в жизни как названных двух, так и подобных народов. Не в полном составе своем живут они историческою жизнью, обнаруживая в ней психическое творчество: *масса* народная, и именно весь сельский люд и большая часть городского, всегда является в истории только служебным матерьялом, только пассивным орудием выполнения целей, которые зарождаются в мысли и страстях немногих отдельных людей или групп их. Эти последние образуют собою *исторические роды* (*gens*), и что бы ни служило основой их возвышения – древность происхождения, сводящаяся к древности первого важного деяния какого-нибудь предка, или богатство, или даровитость – во всяком случае, эти роды, однажды возвысившись, очень долго удерживают свое положение, и с их деятельностью неизменно связывается история целого народа. Эта историческая деятельность, каков бы ни был ее характер, на что бы ни была она направлена, всегда связана с бóльшим напряжением духовных сил, нежели какого требует простая частная жизнь; и, следовательно, если соотношение, которое мы выясняем, правильно – она более истощает органическую энергию рода. И действительно, у всех исторически известных наций мы наблюдаем, что *исторические роды угасают в них гораздо ранее, нежели неисторические*, – и это внешним образом выражается в том, что подобные нации продолжают еще долго существовать как этнографический материал после того, как собственно история их уже закончилась. Хорошим примером этого могут служить греки, которые существуют две тысячи лет как этнографический материал, не произведя за это время ни одной гениальной личности, хотя прошедшее их родины и стоит перед ними как великий руководящий пример и образец; а ранее, в течение немногих сот лет своей истории и без всякого руководящего примера, они выдвинули из себя на всех разнообразных поприщах политической, умственной и художественной жизни великие дарования. Яркость и красота созданного этими даровитыми личностями, очевидно, истощила энергию нескольких исторических родов, и они угасли, а остальные роды продолжают до сих пор существовать, потому что они ничего выдающегося не создали и не совершили. Органическая энергия в них сохраняется, потому что она ни во что не переходит; а там, преобразовавшись в психическое творчество, она исчезла.

Заметим, что в каждом роде, будет ли он исторический или нет, органическая энергия есть количество постоянное – однажды (в акте рождения от

предка) установившееся, и поэтому она распределена в нем таким образом, что всякое нарастание ее в одной личности сопровождается умалением во всех других. То есть, раз в психическом творчестве или в исторической деятельности она истощается, преобразуясь, – ее остается уже очень немного в исторических родах перед моментом их угасания. Это мы и наблюдаем в них действительно: последние предшественники исторических родов являются собою такие черты психической малоспособности, которые ставят их настолько же ниже обыкновенного уровня людей, насколько их предки стояли выше этого уровня; и как те возвышали свой народ и вели его за собою по историческому пути, так эти пятнают собою историю, некогда возвеличенную их родоначальниками, и вносят в нее своею деятельностью хаос и разрушение. Не силой характера своего вносят они его, но именно малоспособностью психическою, которая проявляется в сфере умственной – бессмыслием, в сфере чувства – отсутствием всякого живого порыва, в сфере воли – бесхарактерностью. Неудача сопутствует всякому их замыслу, нелепо задуманному или же нелепо выполняемому; и они невольно сходят с исторической сцены, отдаваясь исключительно частной жизни, как требующей менее сил; но и в ней, обладая еще высоким положением и часто богатством, они производят только низкое или преступное. Черты нравственного идиотизма проступают в образе их жизни – в том, чего они желают или чем удовлетворяются; и, не нося в себе никакой задержки и только опасаясь карающего закона, они втайне развертывают свои извращенные и потухающие страсти без какой-либо жалости к людям, без какого-либо укора совести. С тем вместе робость и безволие постоянно сопутствуют им, и кто имеет в себе силу душевную – может без опасения гнести их всяческим унижением. Ненавидя и боясь, они все ниже и ниже склоняются перед сильным и, несмотря на величайшее тщеславие, переносят даже смешное. И, однако, в силу этого же тщеславия, они все еще пытаются выйти из сферы частной жизни: политическая для них невозможна – она требует энергии в самый момент действия, сейчас же, на что они не могут решиться; и вот они отдаются занятиям наукой, искусством и литературой – и вносят в них разложение и смерть, как и во все, к чему прикасаются, – сами едва ходящие мертвецы. Место поэзии занимает холодная риторика и протiwоестественное словоизвятие; наука становится бессмысленным собиранием незначительных фактов и ненужных сведений; наконец, живопись, скульптура и архитектура становятся вычурными и смешными. Отсутствие чего-либо простого, ясного и доброго есть общая и постоянная черта этого творчества. Не понимая сущности явления, которое перед ними совершается, оставшиеся истинные поэты думают остановить его неудержимый рост – и возникает новый род литературы, сатира – самый бесплодный и ненужный изо всех. Ее приветствуют все; от нее ожидают, что она что-то поправит в непоправимом; улучшит, когда можно было бы только пересоздать; но, как само собою разумеется, все эти ожидания бывают напрасны. Поношенные читатели ее, как и во всем другом, стараются и в ней превзой-

ти всех других. Понимая во всем только внешнее, они придумывают самые необыкновенные пороки и выказывают отвращение к ним в самых длинных словах. Каждое из них чрезвычайно сильно, и они утешаются, что превзошли свои образцы и стяжали уже бессмертие; а поздний читатель их, удивляясь странному сочетанию необыкновенных выражений, с любопытством всматривается в большой ум и больное сердце, в которых могло все это зародиться.

Римское общество времен империи (и в частности, сословие сенаторов) может пояснить все сказанное. Едва ли нужно говорить, что в появлении подобного общества лежит роковая необходимость для всякого исторического народа, и он так же должен готовиться к нему, как всякий живущий человек, а не искусственный автомат, должен готовиться к старости и смерти. Оно составляет великое бремя для народа, обыкновенно еще здорового в это время в своих глубоких недрах; но как некогда он принимал от его предков все великое и благодетельное, так теперь должен перенести с мудрым терпением все нелепое и дурное. Стеснение по возможности их свободы, уничтожение чего-либо привилегированного в их положении, чем обычно пользуются еще они по наследию, — есть только необходимая мера самосохранения от них, и она должна быть принята; но, затем, они должны быть окружены вниманием, заботой и состраданием, не погому, чтобы заслужили все это — сами они ничего уже не могут заслужить, но только из уважения и благодарности к памяти их предков. В соотношении, которое разбираем мы, раскрывается великий смысл и глубокая справедливость аристократических форм общества: кто принимает доброе — должен принять и злое, и кто отдает все народу, даже жизнь и счастье своего рода — должен надеяться со временем и получить что-нибудь, хотя бы простое милосердие, к своему бедствию.

XXIV

Моменты временного понижения духовной жизни и окончательного падения исторических наций также находят свое объяснение в этом соотношении. Уже давно замечено, что за каждым великим усилием и высоким подвигом, который совершает какой-либо народ в своей истории, следует более или менее продолжительный период упадка его духовных и политических сил. Поразительный пример этого представляет Италия после Возрождения наук и искусств и Германия после эпохи Реформации: на всем протяжении этих стран в течение длинного ряда лет не выходит из недр народа не только ни одного великого дарования; но, следя за наукой, за характером общества, за церковью и политикой, мы с удивлением видим повсюду такую посредственность ума и слабость характеров, какой не находим у тех же народов в самые незначущие, средние эпохи их жизни. То же можно сказать об Испании после века Филиппа II и Сервантеса, когда она стояла во главе великого

движения католицизма против реформации и героически боролась с мусульманским Югом и Востоком; это же наблюдаем мы и в России в три последние четверти XVIII века, следовавшие за эпохой преобразования ее Петром Великим и его сподвижниками. Историки долго и всегда напрасно отыскивали причины для этих временных падений, и не находили ничего другого в объяснение, кроме сетований на деспотизм государей или на упадок образования, дурное состояние школ и испорченность нравов; но, конечно, это только те же проявления упадка, для которого ищется объяснение, – это есть для всех очевидное следствие, а не искомая его причина. В распределении органической энергии, которая, сосредоточиваясь в одном пункте, ослабевает во всех ближайших, лежит истинная причина этих исторических явлений. Великое усилие в сфере политики, религиозных идей или искусства настолько истощает силы нации, или, что то же, родов, ее составляющих собою, что в течение ряда десятилетий ее едва хватает на повторение поколений, в которых психическая жизнь тускла, просвечивает сквозь организацию менее, нежели как она светит в обыкновенном нормальном человеке. И только когда проходит достаточное время отдыха, снова и без всякой видимой причины начинается для нации духовное пробуждение. Так называемый «период бурных стремлений» в протестантской Германии есть, кажется, самый типичный и, может быть, самый прекрасный пример подобного пробуждения; у нас мы наблюдаем его в радостном оживлении общества и литературы в начале царствования Александра I. Насколько незначущи при этом бывают внешние причины, это можно видеть из того, что духовное творчество нашего общества все возрастало, несмотря на гнет его при Аракчееве, а в царствование Николая I стало классическим по красоте и достоинству своих созданий.

Психическое творчество человека также относится к органической энергии, которою физически живет он, как цвет и плод дерева относятся к его древесине и росту. Несмотря на полное несходство одного и другого во внешних чертах, по взаимной им обусловленности мы заключаем, что они суть двоякое выражение чего-то одного. И дерево, как человек, принесет плод, ослабевает на время; и для него наступает зимний сон, во время которого оно перестает расти. И замечательно, что чем обильнее было цветение, тем сильнее бывает наступающая слабость. Опытные садовники, зная это соотношение, обрывают завязывающийся цвет растения ранее, чем он распустится и принесет плод. Этим они сохраняют растению его силы и удлиняют жизнь его. Но в истории, как и в безыскусственной природе, все развивается свободно, подчиненное только великим законам своим. Однако это не мешает нам наблюдать над нею и, открывая эти законы, вдумываться в их глубокий смысл.

Есть даже растения, которые цветут только однажды и, принеся плод, умирают. Этот пример удобен для того, чтобы, снова возвратившись к истории, сказать еще несколько пояснительных слов об умирании исторических народов. Если всякий подъем в народе психического творчества вызыва-

ет упадок его сил на более или менее продолжительное время, то ряд этих подъемов (как в новой европейской истории) или постепенное и непрерывно возрастающее творчество, разрешающееся наконец множеством самых чудных созданий, появляющихся почти одновременно (как в античной истории), совершенно истощает его силы и производит его окончательное угасание. Только масса простого народа, которая, ежедневно физически трудясь, не имела никакой возможности преобразовать свою органическую энергию в психическую, остается жизненною и продолжает существовать как этнографический материал; исторические же роды, то есть совокупность высших классов, едва продолжают влачить свое существование. Они уменьшаются даже количественно, потому что рождения численно уже не покрывают умираний. Гордые и замкнутые еще более, чем прежде, эти классы раскрываются и, хотя с отвращением, принимают в себя частицы простого, жизненного народа (Спарта, Афины, Рим); из них именно происходят в это время все замечательные люди (напр., лучшие римские императоры, римские полководцы времен переселения народов и пр.). Но появление этих выдающихся личностей становится все более и более редким, потому что частицы простого народа, допускаемые в себя высшими классами, никогда не бывают значительны. Между тем слабость и малоспособность этих классов все возрастает. Лежа на народе как бремя, они только разлагают те слои его, которые непосредственно с ними соприкасаются, но уже не могут оказать ему ни в чем помощи, не в состоянии повести его ни к чему трудному, как бы оно ни было необходимо. С ними и через них народ и государство становятся беззащитными среди окружающих, свежих племен и, в конце концов, поглощаются ими; подобно тому, как великие остатки какого-нибудь жилища, в котором лежит только труп того, кто некогда соорудил его, жил в нем и защищал его, – растаскиваются на потребности свои случайными пришельцами. Зрелище такого постепенного поглощения представляет собою Рим времен падения Западной империи: покоривший некогда все народы, он был растоптан по частям дикими племенами германцев, даже имен предводителей которых мы большею частью не знаем.

XXV

Здесь же лежит объяснение гения. В отличие от всех других людей, которые являются промежуточными в истории, только продолжают в ней или готовят, он является в ней, всегда и один, *заканчивающим*. Длинный процесс какого-нибудь развития, в каждом звене которого мы открываем что-нибудь ясно недостающее, около которого трудились бесчисленные умы разной силы, – вдруг замыкается созданием, перед которым мы останавливаемся, удивленные; и полнота внутренняя, гармония частей, отсутствие чего-либо недостающего есть главное, что поражает нас в нем. Это придает подобному созданию *предельность*: созерцая его, мы чувствуем, что за границы

его совершенства нельзя переступить, и, пытаясь повторить его в своем творчестве или подражать ему, – создаем только уродливое. Видя это, мы называем его идеалом, как вечно достигаемым и никогда не достижимым. Ощущение странной тоски есть, кажется, главное и самое общее, что мы испытываем, созерцая его: оно влечет нас в какую-то область, темную и загадочную, о которой мы раньше ничего не думали, и вдруг чувствуем в ней, в ее странной и обаятельной глубине, что-то самое близкое и родное, от чего мы только уклонились, забывшись, но куда нам нужно непременно идти, оставив все нужное, чем раньше жили. Гениальное создание, к какой бы сфере оно ни относилось, есть как бы луч, скользящий по земле из иных и высших миров; и люди тянутся к нему, потому что и самая природа их – то, что есть в ней сокровенного и глубокого, неясного для них самих, – также из высших и иных миров, сродство с которыми они вдруг познают через созерцание подобного создания.

Уже давно замечено, что в характере гения лежит нечто особенное, что делает его непохожим на всех остальных людей. И действительно, среди них, лишь продолжающих историю, он, заканчивающий ее, стоит одиноко; и нет ничего, что могло бы разрушить положенную в самом строе души преграду, которая отделяет его от тех, с кем он живет, которые его окружают, любят или ненавидят, но никогда не могут понять. Чаще всего он сам не понимает, что отделяет его от них. Тщетно силится он переступить эту невидимую преграду, тянется ко всем радостям жизни, которые так хорошо понимает, которые так любит и которых вкусить ему никогда не дано. Нет никакой в нем недоверчивости, и, видя души людей, как прозрачные, он хочет ввести их и в свою душу, но здесь впервые чувствует, что какое-то взаимное несоответствие психического строя препятствует этому. По мере того, как проходит время, эта жажда человеческой близости становится неутолимее, желание примкнуть к чужой жизни – страстнее; он срывает с себя все, что людям могло бы показаться в нем странным или враждебным, глубоко хоронит всякое отличие в себе и хочет войти к ним как равный или даже как низший. Напрасные усилия: своим проницающим взглядом он ясно видит, что даже жалкого и смешного (каким они всегда любят ближнего, за что прощают ему все глупое и даже злое) *его* они не любят; и смех, который он внушает им собою, не есть смех примиряющий и сближающий, но враждебный и отталкивающий.

Эта глубокая отъединенность от людей, быть может, становится, до некоторой степени, побуждением к творчеству. Видя напрасность всякого усилия стать дорогим для них при жизни, он хоть в воображении своем хочет пережить это счастье, хотя в далеких будущих временах; когда скроется его ненавистный для них образ и сменятся поколения их потомков, он начнет жить в уме тех потомков своею мыслью или в их сердце – теми чувствами, которые при жизни никогда не были разделены. Пусть они будут костью не от его кости и плотью не от его плоти, но эта чужая плоть и кость примет в себя его душу – он убьет в них то, что есть в них чужого,

и поселит свое, чему не мог найти места при своей жизни. И в то время, как могилы их отцов будут забыты ими, он сам, забытый этими отцами, привлечет к своей могиле, хотя в поздние времена, их потомков; и они понесут на нее все свои тревоги и радости, все мучительные вопросы своей мысли и сокровенные надежды своего сердца. И оставят все, что завещали им отцы их, чем жили те отцы и что копили для своего потомства; и пойдут туда, куда они не хотели вести их – за звуком его имени, благословляя его память, осуществляя то именно, чего он так сильно и так напрасно желал при жизни.

Эта особенная и странная жажда жизни после смерти – если не руководит гением в его творчестве, то, по крайней мере, сопутствует этому творчеству; и в ней есть много темного и загадочного: как будто какое-то отращивание совершенной души к несовершенным, и отсюда желание погасить в них жизнь – содержится в этом чувстве, почти преступном. Совершенная мысль гения, завещанная им в трудах его, в самом зародыше убивает тысячи мыслей в миллионах чужих душ, вырывает еще не взросшую жатву и вместо всего разнообразия, какое она представила бы собою, разрастается великим, но одиноким деревом. Во всяком случае, вместе с совершенством, которое вносит гений в духовный мир людей, он вносит в него и некоторый уклон к единству; вместе с радостным и близким, что несет его труд людям, он несет в себе и нечто губительное. И в ту особенную тоску, которую испытывают люди, созерцая гениальное создание, – быть может, не малою долей входит тоска по своей жизни, по тому невзросшему миру темных мыслей и желаний, которые никогда более не пробудятся, обожженные знойным лучом совершенного создания.

Чувство отъединенности своей от людей, сознание невозможности прикоснуться к простым и тихим радостям земли и это преступное желание погубить еще не родившуюся жизнь входит только частью, и притом не главной, в то особенное и сумрачное настроение, которое уже в древности было отмечено как постоянная черта гения. Из-за ощущения несоответствия своего со всем живущим, встает мало-помалу иное ощущение в нем, в котором содержится разгадка всего странного и непонятного, что от начала он чувствует в себе: это – ощущение близости смерти, гораздо более ясное, чем у других людей, и наступающее гораздо ранее, чем придет физическая смерть. Жалкое и напрасное усилие от нее уклониться порождает в нем эту странную жажду жизни после смерти, в душе хотя бы иных людей, но непременно здесь, на земле; и ее же холодное веяние и желание всякого живого существа убежать от нее поселяет то враждебное между ним и другими людьми, чего не могут они объяснить себе и что он не в силах преодолеть. Все закрыто от него на земле, все от него отделено на ней; и только вечное небо сияет над ним, с ним одним не порвана его связь и соотношение. Он видит его тем ярче и тем отчетливее, чем глубже смертный сумрак, обволакивающий его со всех сторон, кроме одной, и закрывающий от него все земное. Закрывая усталые глаза на землю, покорившись особенностям своей природы, он как

бы в некотором видении открывает их в небо; и те высокие истины, которые открываются ему там, высшую и просветленную красоту – все это он сводит на землю, едва пересиливая себя, чтобы через внешний образ или в звуке слов сделать понятным и восприимлемым для людей то, что он созерцал без слов и без образов.

XXVI

И в самом деле, если для других людей земная смерть наступает лишь в относительном, условном смысле, то для гения она наступает в значении абсолютном и совершенном. Являясь промежуточным звеном в истории, каждый человек несет в себе жизнь, принятую от другого, и, умирая, передает ее своему преемнику; один гений только принимает, но уже никому не передает жизнь: она угасает в нем – для вечной жизни в его созданиях. Во всяком случае, из сферы человеческого существа он уходит, теряет свою связь с его образом. Как человек есть грань органического процесса, где он заканчивается, не продолжаясь далее; так гений есть грань и предел человечества, в лице которого оно (частично) погухает. Таким образом, в то время как для всякого иного существа смерть есть только индивидуальное умирание, только падание отдельной волны в воды океана, который сам остается, – для гения смерть есть родовое, и даже более – органическое умирание: в нем не волна всплеснувшая упадает, а пересыхает сам великий океан. Отсюда понятно то особенное чувство, которое он несет в себе, и особенное и странное ощущение, которое испытывают все, кому случится соприкоснуться с ним. Его внутренний мир не похож на внутренний мир других людей, и судьба его иная, чем их; есть действительно несоответствие в их психическом строе.

Внешним образом это выражается в том, что в гении заканчивается род, его породивший, вся энергия которого без остатка преобразуется в его психическое творчество. Если мы возьмем важнейшие сферы исторического созидания и выделим всех великих людей, трудом которых они воздвиглись, то заметим, что ни в одном из этих людей не было нарушено раскрываемое нами соотношение между силой индивидуального творчества (духовного) и слабостью родового (физического). Именно, всякий раз, когда творчество было безусловно гениально – безусловно пресекался в творящем род его (*gens*); а когда оно было близко к гениальному – род продолжался, но или только в лице женского потомства, то есть не несущего в себе энергии дальнейшего органического созидания, или если и в мужском, то в чрезвычайно хилом, малоспособном физически и духовно, редко достигающем полных лет и обыкновенно угасающем в первом же колене. В политической истории этим объясняется, почему за всеми великими царствованиями следуют или междоусобия (в случае совершенного прекращения династии в лице великого государя), или чрезвычайное замешательство,

ухудшение и даже остановка всех дел (в случае продолжения династии в лице малоспособных преемников великого государя). Достаточно указать на судьбу Греции после Александра Великого, Рима – после Цезаря, средней Европы – после Карла Великого, России – после Иоанна IV и Петра I, чтобы объяснить мысль, которую мы высказываем и для полного подтверждения которой нужны бы обстоятельные исторические исследования, здесь неуместные. Но мысль эта находит еще более подтверждения, если от политического творчества мы обратимся к чисто духовному: Фидий, Рафаэль и Бетховен в сфере искусства, Платон и Аристотель, Декарт и Бэкон, Спиноза, Лейбниц и Кант в сфере чистой мысли, Коперник, Кеплер и Ньютон в сфере точного знания и почти все великие поэты – оправдывают в высшей степени это соотношение, в размерах дарования своего и отсутствия или слабости потомства представляя все оттенки, все переливающиеся степени этого соотношения. Нельзя указать в истории ни на один род, который выдержал бы появление двух гениальных в себе личностей; если он заканчивается высокими дарованиями и их несколько – они только талантливы (семья Бахов в музыке); гений же истинный всегда и совершенно истощает в себе силы своего рода, и они должны быть значительны и ранее нисколько не растрачены в исторической деятельности, чтобы он был действительно велик. Этим объясняется, почему в момент высшего расцвета национальной жизни, когда появляется столько гениального в ней, на историческую сцену вдруг выступают *новые* роды, ничем особенным ранее не проявившие себя, хотя бы высокие по общественному положению (напр., Кай Гракх, Сулла и Цезарь в Риме), и они совершенно затмевают собою старые *деятельные* роды (род Фабиев в Риме): эти последние в долгом историческом труде уже настолько истощили свою энергию, что хотя и теперь еще продолжают выделять из себя даровитые личности, но уже не могут, как прежде, вести вперед историю. Ее ведут в этот последний момент и заканчивают гении, в духовных силах которых сосредоточена нерастратченная энергия дотоле неизвестных родов, и она растрачивается в них одновременно и вся, потому что и роды эти, произведя гениальную личность, угасают с нею или вокруг нее, лишь недалеко отойдя от нее во времени.

Есть много мелочных, но любопытных черт и в физической организации, и в частной, внутренней жизни каждого гениального человека, которые все подтверждают только что высказанный взгляд на него. Подобно тому, как в органической природе натуралисты замечают, что жизненная энергия, уже выразившаяся в одной форме красоты, не выражается ни в какой другой ее форме, вследствие чего, например, красота оперения у птиц не совпадает со звучностью голоса; так и в чертах гения, красотой созданий которого мы любимся, мы видим часто померкнувшей обыкновенную физическую красоту. И если, пораженные этим явлением, мы глубже будем всматриваться в черты его лица, мы откроем в них не только отсутствие красивого, но часто и присутствие чего-то отвратительного, отталкивающего (напр., лицо Декарта или еще Канта). Тусклый, чаще всего неподвиж-

ный взгляд, неприятное сложение рта, наконец, как замечают многие, нарушение самой симметрии в строении лица (неполное подобие правой и левой стороны его) – все это вскрывает перед нами самую глубь гения, в котором органический строй человеческого тела уже пошатнулся, ослабел центр его и не сдерживает более в гармонии соответствующих друг другу частей... Все полно смерти и разрушения.

XXVII

Если, вчитываясь в биографии великих людей, мы обратим внимание на возраст, в котором возникли их великие создания, мы с новой стороны увидим подтверждение всего сказанного. Несомненно, что самое выполнение этих созданий и техника творчества есть нечто второстепенное и незначущее сравнительно с самым замыслом их; и в этом отношении представляет величайшую важность точное определение времени, когда возник этот последний по отношению к каждому единичному произведению. Насколько мы имеем в точных биографических данных подобные определения, они относят возникновение всех великих замыслов, исполнение которых видела история, ко времени *первой молодости* гениальных людей; позднее 30 лет едва ли была создана хоть одна великая идея, задуман политический план или вспыхнул образ художественного создания. С этого времени обыкновенно наступает уже исполнение замысла – то, что мы назвали выше техникой творчества. Гёте и Ньютон, глубина созданий которых, казалось бы, безусловно исключает всякое представление о молодости, в действительности именно в этом возрасте задумали – первый своего «Фауста», а второй – все свои великие теории, и между ними теорию всемирного тяготения; великие же открытия его в математике (теория флюксий, бином и др.) все сделаны были приблизительно на 23-м и 24-м годах жизни. В этом же, приблизительно, возрасте Декарт открыл аналитическую геометрию и принципы новой философии; Бэкон задумал «*Novum Organon*»; немного старше этих лет Рафаэль и Моцарт сошли в могилу, создав ряд творений, которые впервые шевельнулись в них, в неясном образе, без сомнения в годы почти еще отрочества. Как будто какое-то глубокое и скрытое колебание происходит в организации гениального человека в возрасте, когда обыкновенно наступает для человека время физической (половой) зрелости; станет ли он, в ряду других людей, только продолжателем своего рода или создаст чудные произведения в сфере мысли, искусства или политики – все это определяется в этот момент, все остается скрытым до времени, пока не наступит разрешение указанного колебания. Что обуславливает это решение в одну или другую сторону – мы даже и догадываться не можем. Но вот оно совершается; вся органическая энергия, именно теперь достигшая полного внутреннего напряжения и уже готовая бы передаться в том же виде потомству, вместо этого через какой-то неисследимый акт преоб-

разуется в психическую; и, в одно время, и потухает в нем род, и зарождаются чудные замыслы будущих творений.

Есть только одна черта, которая отличает гениальное создание от всех других, не гениальных, того же рода: оно полно жизни, оно неугасимо живет среди людей, сковывая их мысль своею мыслью, поработая их чувства в нем разлитым чувством, покоряя их волю, если относится к сфере политики, нравственности или права. Никогда даже не пытались определить, откуда истекает эта особенная жизненность всего гениального. Но после всего изложенного выше это должно быть ясно: оно несет в себе жизнь бесчисленного ряда людских поколений, которые не произойдут больше, которые угасли, не появившись – для вечной жизни в объективированном создании. Тот, в ком произошло это странное, глубокое и таинственное явление, имя кого не сойдет более с уст людей, сам стоит среди них, погруженный в себя, с потухающим взглядом, – и они называют его «гением».

XXVIII

Если бы мы захотели дать себе отчет, что между гениальными созданиями человека есть самое вековечное и наиболее достойное, то, после некоторого колебания, без сомнения, назвали бы сферу религиозного и нравственного. Если другими созданиями гения человек наслаждается и, наслаждаясь, тоскует по каком-то и далеком и близком мире, который ему, однако, не открывается в них, – то, встретив религиозное или нравственное, он вдруг перестает искать иных и закрытых миров, о которых он почему-то знает; начинает любить это религиозное и сливается с ним так тесно своею душой, что всегда почти предпочитает расстаться со своею жизнью, нежели расстаться с ним. Преобразуется ли при этом душа его, или именно оно, это религиозное, и становится самою душой в нем – об этом мы не можем судить; но только история свидетельствует нам всем своим содержанием, что хотя ни в какой религии не говорится ни о чем осязаемом и грубо известном, хотя никому она не обещает никаких благ, и особенно – благ земных, также осязаемых и уже, несомненно, известных – однако целые народы поднимались на защиту того, что в этой сфере они считали истинным, и погибали без какого бы то ни было сожаления о том, что гибнут. Напротив, их лица светились радостью, они благословляли свою смерть за такое дело и умирали с надеждою на какую-то иную и вечную жизнь. В религии то, что наступает для человека за гробом, и есть именно самое значущее и важное; земная же жизнь человека есть только ничтожный обрывок целого, не имеющий вне отношения к нему никакой важности. Равно и все, что он создает в этой жизни гениального или вульгарного, чему хочет и пытается придать значение абсолютного – религию рассматривается как второстепенное и временное; а главное – она учит – там, за гробом, куда не унесет человек созданий своего гения, куда он уйдет *один*, оставив по сю сторону все, что его так радовало или забавляло при жизни.

И удивительно, что все эти учения о том, о чем никакое внешнее чувство и никакой предмет не говорят человеку, он принимает с совершенною твердостью и повсеместно. Соберите перед несколькими простыми людьми, вечно жившими только грубым опытом, тесным знанием окружающего, толпу ученых, и если они станут им говорить о том, что земля есть шар, который они объехали кругом, сперва как бы спустившись вниз и потом поднявшись вверх, – слушающие найдут это маловероятным и не поверят, найдут противоречие с этим в своем ежедневном опыте и отвергнут как *чудесное и невозможное*. Но вот перед эту же толпу людей приходит человек, почти столь же простой, как они сами, и начинает говорить им о том, что, когда человек умрет и все видят его труп, он, в сущности, не умирает, но только переходит в иную жизнь, радостную и вечную; и та же толпа, которая на уверения ученых упорно и тупо молчала, услышав эти совершенно необыкновенные слова, радостно и твердо говорит: «Да, это так, это будет», хотя совершенно не знает, как это будет, и почему, и где эта удивительная жизнь за гробом. Какое странное различие в восприятии истин равно маловероятных, равно неизвестных из окружающего, и где причина этого различия – подумано ли об этом достаточно?

Итак, мы должны признать существование в человеке некоторого темного инстинкта, где хранятся его религиозные влечения или идеи и который до времени остается как бы безжизненным, но пробуждается навстречу идеям и влечениям, идущим извне. У одних людей этот инстинкт находится как бы в скованном состоянии и его содержание скудно, у других же он полон жизненности и обилен по содержанию: но по чрезвычайной его распространенности в роде человеческом – мы должны думать, что совершенно нет людей, у которых бы он отсутствовал, хотя и есть между ними вполне отвергающие религию. Как у слепорожденных и глухих мы находим органы зрения и слуха, но только недоразвитые и от этого одного не действующие, – так и у людей, искренно и правдиво говорящих, что они не чувствуют в себе ничего религиозного, объективно мы должны признать существование этого общего человечеству инстинкта, но лишь в состоянии зачаточном, болезненно недоразвившемся, который потому и не действует.

Его проявление в истории образует то, что мы называем религиями, но, конечно, рассеянные черты религиозного проникают всю жизнь человека, сопутствуют словам его и поступкам, когда они и не имеют прямого отношения к религии. Каждое доброе чувство к ближнему, радость на чужое счастье, высказывание правды, когда оно почему-либо трудно – все светлое и, мы готовы сказать, истинно жизненное на земле есть религиозное; все то, что успокаивает нашу душу и исполняет ее чувством счастья, совершенного и вечного удовлетворения, – таково лишь в силу религиозной природы своей.

Но это – только черты религиозного, то есть отделившиеся части чего то, что существует и как целое. Природа человеческой души, ее существование за гробом и отношение там к чему-то высшему и безусловному, с чем она

имеет какое-то сродство, неошутимую связь – вот что составляет это целое, рассеянные черты которого мы так любим в своей жизни. Любопытно наблюдать, как неодинаково у различных народов, населяющих землю, выражаются эти главные, составные части всякой религии. По мере того, как мы спускаемся к низшим и низшим расам человечества, мы видим у них религиозные представления все более грубыми или недостаточными, суживающимися и затемненными. Как будто то, через что проходит в человеческую душу религиозный свет, становится все меньше по мере того, как мы отходим назад в историю или спускаемся вниз по ступеням развития человеческого рода; и увеличению этого света повсюду сопутствует возрастание совершенства человеческой природы, как духовной, так и физической. Но окончательно этот свет нигде не угасает, и, можно сказать, где он начинается – там начинается человек.

XXIX

На различие в религиях, которое породило столько неправильных отношений к себе, мы должны смотреть как на степени, как на несовершенные усилия слабой природы человека правильно отнестись к тому, к чему истинное отношение существует одно. Их содержимое – то, к чему стремятся все религии, чего они все ищут, – есть одно для всех людей, и одинаково они чувствуют это, но по различию своей духовной организации, по неодинаковому уровню своих способностей не умеют придать единство и общность выражению своего чувства. Но так как правдивость, глубочайшая серьезность есть общая черта всякого отношения к религии, то каждое племя человеческое, вместо того чтобы притворно поклоняться совершенным способом, которого оно не понимает – у себя наедине и скрываясь от взоров остальных людей, поклоняется горестно и несовершенно, но правдиво и серьезно тому же высшему, чему поклоняются и все люди; поклоняется в жалкой и неумелой форме. Тайное и глубокое сознание несовершенства своего поклонения, вероятно, присуще всем низшим религиям, и от этого именно они тщательно скрывают от других народов точное знание себя, окутываются мраком и таинственностью. Если бы кто-нибудь, приобретя это точное знание о религиозных представлениях какого-нибудь племени, сказал людям, принадлежащим к нему: «Только-то вы понимаете о том существе, которому поклоняетесь, – вот *все*, что я у вас узнал о нем», – они, без сомнения, резко отвергнули бы *полноту* его сведений, со стыдом и трепетом, но и с ненавистью к спрашивающему, который их мучит за малоспособность, – и в ней они не виновны. В этом отрицании и высказалось бы признание несовершенства своего поклонения, а в этом стыде и трепете – чувство беспомощности своей подняться к высшему и лучшему.

Некоторое подобие этих различий мы можем найти в других сферах человеческого творчества: все люди имеют некоторые геометрические пред-

ставления (например, что тела природы, кроме длины, ширины и высоты, не имеют еще никакого четвертого измерения), но не умеют сколько-нибудь правильно выразить их; другие, уже наученные несколько, умеют выражать, хотя и не в строго научной форме, ошибаясь и путая, свои геометрические понятия, более сложные, чем те, которые знакомы всем людям; по мере возрастания годов учения и в меру способностей учащихся – эти знания, их точность и обширность возрастают; но и те, которые, отличаясь даже гениальными способностями, всю долгую жизнь свою посвящали изучению математики – знают, что многое в ней остается скрытым от них. Итак, область действительных истин о пространстве и его формах неизмеримо обширнее того, что усвоено и, может быть, что усвоимо человеком. Так и в сфере религии полнота истины скрыта от человека, и даже части этой истины, одни данные в удел ему, он выражает менее совершенно и более совершенно, по мере даров природы, которыми наделен. Быть может, еще ближе подойдет уподобление, взятое из сферы чувства: за то, что близко и дорого дикарю, что ему родное – он, как и высокоразвитый человек, отдает свою жизнь; но выразить свое чувство к нему он не может иначе, кроме как в нескольких бедных словах, простых и неукрашенных, порою бессвязных. Прислушайтесь же к тому, что говорит об этом самом дорогом существе высокоодаренный человек: он окружает его поэзией – то рассказывает о нем вымыслы, то поет его в песне, то мудро рассуждает о его значении. Однако чувство обоих, в силе своей и достоинстве, остается одно.

Поэтому сознание своей ограниченности должно быть присуще каждому религиозному человеку; и вместе – чувство сострадания ко всему, что не может воспринять религиозного, даже и в той несовершенной форме, в какой оно стало уже доступно ему. Полный примирения взгляд на все религии, радость религиозному чувству в другом, в какой бы неумелой форме оно ни выражалось, при совершенно твердой уверенности, что истинная форма такого выражения есть только одна – все это должно стать естественным последствием такого живого отношения к религии и глубокого сознания человеческой слабости.

XXX

Важнейшее различие между религией и между другими сферами человеческого творчества заключается в неодинаковом отношении их к своему объекту. Возьмем ли мы искусство, государство, науку, – в каждый момент своего существования, в каждом единичном своем проявлении, они лишь слабо сознают свое отношение к общим и неподвижным объектам, в них выражаемым: к *красоте* в самой себе, к *благу* в самом себе, к *истине* в самой себе. Главное, значущее в них, есть они сами: *данное* учреждение или закон, *данное* познание того или иного предмета, *эта* статуя, *эта* картина. Напротив, каждая религия и во всякий момент своего существования быва-

ет полна сознания своего объекта – того Вечного Существа, к которому она относится; и каждый отдельный акт в ней, каждый предмет или явление в ее сфере постоянно обращены бывают к этому объекту, вне связи с ним не имеют вовсе никакого значения. Таким образом, центр, связующий и объединяющий все порознь создания в известной области, слаб повсюду, кроме религии, и каждая такая область является перед нами как мир отдельных и самостоятельных предметов, но только сходных между собою, например скульптура – как ряд скульптурных произведений, наука – как совокупность исследованных фактов и также все прочее подобное. В религии же этот связующий и объединяющий центр могущественно господствует над всеми отдельными ее проявлениями, и о всякой религии мы скажем, что она есть поклонение Богу, совершающееся так-то, но никогда не скажем, указывая на группу предметов (ритуал) или фактов (история), что они суть религия.

Таким образом, в то время, как о других сферах творчества мы еще можем думать, что в них дух человеческий хочет выразить только богатство *своего* содержания, – о религии мы должны сказать, что в ней дух человеческий *своего* ничего не имеет – он только ищет, стремится. В ней мы открываем, наконец, объект, к которому направляется психическая деятельность человека, здесь именно наиболее напряженная, самая прекрасная, вековечная. Самый характер этой деятельности здесь настолько изменяется, что нам странно назвать ее «творчеством», как мы называем ее всюду: действие объекта становится так сильно и настолько ясно, что мы называем ее «восприятием».

Но здесь мы достигли границы как предмета, который исследуем, так равно и самого исследования. Вечное солнце, скрытый центр жизни, под далеким лучом которого некогда впервые шевельнулось вещество особенно и своеобразно и затем потянулось к нему куда-то, с каждым шагом приближения становясь все оживленнее и прекраснее – этот центр нам открывается, наконец, в религии как объект ее. Без какого-либо перерыва, следя за рядом восходящих существ, развивающихся одно из другого, мы, наконец, достигли грани его – человека, на котором цепь органического восхождения прерывается; но, достигнув этой грани, органическая энергия не останавливается, а, преобразовавшись в психическую, является в человеке как сила по-прежнему движущая и устрояющая, но уже не его самого, а его создания. Следя и здесь за восхождением, которое продолжается, как и прежде, но только с иными внешними чертами и в иной сфере, мы отмечаем как предварительную ступень его – образование человеческих рас, и затем в последней и предельной из них – кавказской, находим историю. В этом новом и своеобразном явлении природы процесс восходящего творчества выражен особенно ярко и резко, и в нем появляется черта, которая впервые бросает свет на общий смысл всего восхождения, на его вероятный конечный исход: каждое поднятие по ее ступеням, всякий акт психического творчества сообразно мере своей сопровождается ослаблением организации, из которой он исходит; человечество тает, восходя куда-то и по мере того, как восходит. Находя

различия в силе и красоте творчества, мы отыскиваем высшую грань его, непереступаемый предел – в гениальном; и, присматриваясь к нему внимательнее, видим, что в нем завершается история и оканчивается человек: первая не восходит более и физические черты второго расшатываются и гаснут. Сравнивая различные сферы, где проявляется гений, с целью отыскать высшую между ними и в ней снова открыть нить восхождения, мы останавливаемся на религиозном, как высшем на земле и драгоценнейшем для человека. Более чем где-нибудь, достигнув этой сферы, человек обнаруживает беспокойство, силится освободиться от чего-то тягостного, сбросить с себя что-то, и лишь настолько, насколько не успевает в этом, остается еще неудовлетворенным. Чувство окончательной удовлетворенности есть самое замечательное и совершенно исключительное, что приносит с собою человеку религия, и этот факт полон самого глубокого смысла. Великий Гёте, счастливый и спокойный, каким мы привыкли считать его, сказал однажды, что если собрать все минуты его жизни, когда он был счастлив, то их едва наберется несколько часов. Какое грустное сознание, какая глубокая тайна всей жизни человека высказана в этих немногих словах: как беден и жалок, как слеп представится нам этот прозорливец-гений, если мы сравним его с каким-нибудь убогим странником без имени, который, кажется, должен бы вечно проклинать судьбу свою и вместо этого показывает нам веселое лицо свое, говорит, что у него есть что-то, вследствие чего он никогда не может быть несчастлив.

Нам остается сказать только несколько слов, чтобы закончить мысль свою. Если в других областях творчества только созидание, но не восприятие созданного вызывает в большей или меньшей степени угасание физической организации человека, то в сфере религии не только созидание, но и всякое очень сильное восприятие созданного сопровождается подобным угасанием. И здесь лежит объяснение *аскетизма* – этой особенности религиозной жизни, которая такую глубокою и резкою чертой отмечает всякое повышение религиозного чувства и так странна для всякого внешнего наблюдателя, так необычайна в истории. Аскетизм, налагаемый на себя человеком, есть лишь смутное предчувствие глубочайшей тайны, заложенной в существо его, только предварение вечной и необходимой судьбы его на земле. Достигнув своей цели, процесс достижения прекращается; когда она появляется – средства становятся более не нужны и рассыпаются: таков общий закон всякой целесообразности, и он не нарушается в человеке, как и нигде в мироздании.

На этот исход человеческого развития мы не должны смотреть с грустью, но радостно и с надеждой: природа целесообразности такова, что в ней последующее никогда не бывает ниже сравнительно с предыдущим, и цель всегда лучше, нежели какое-либо из средств. Вот почему всякое сожаление о разрушении последних есть только ошибка чувства, не руководимого мыслью. Нечто подобное тому глубокому явлению, которое совершается в природе, когда органическая энергия преобразуется в психичес-

кую, совершается, без сомнения, и в момент окончательного угасания физической организации человека. В чем заключается это явление и какая иная и высшая форма существования, нежели психическое, наступает для человека за этим угасанием – об этом мы ничего не можем знать; но все аналогии в природе заставляют предполагать ее, и об ней говорит религия как о чем-то светлом и радостном.

Скажем еще несколько слов об отношении объекта религии к объектам других сфер творчества. Истина в самой себе, которую ищет человек в знании; красота в самой себе, которую он выражает в искусствах; добро в самом себе, частицу которого неполно и несовершенно осуществляет в государстве, – все это при сколько-нибудь внимательном анализе обнаруживает себя как свойство чего-то, а не как самостоятельное существо. И здесь, нам думается, лежит объяснение слабой связи этих сфер творчества со своими объектами, которые все суть только *признаки*. Если мы станем искать, что же связует в себе эти признаки, что является существом безусловно истинным, безусловно благим и высшим, нежели всякая красота, – то мы найдем, что, по общему сознанию всего человечества, оно есть то самое, на что указывает ему религия. Таким образом, объект этой последней является, в своих вечных и безусловных атрибутах, объектом и всех иных сфер творчества человека в истории, и что бы последний ни совершал, к чему бы он ни стремился, зная или не зная, он всегда, в сущности, стремится к одному. Религия поэтому есть объединяющий центр человеческой жизни, и она остается таковою даже и тогда, когда ее имя не произносится. Можно идти к предмету и не видя его; и все те, которые восставали когда-нибудь в истории против религии, насколько при этом искали истины – приближались к ней. Но эта смесь истинного и ложного есть всегда свидетельство ограниченности человека: те, которые были наиболее свободны от этой ограниченности, в какой бы сфере они ни трудились, – всегда чувствовали этот общий центр их; от этого величайшие художники были религиозными (Рафаэль, Мурильо); высшие произведения зодчества суть храмы (Парфенон, готические кафедралы); и те, которые были наиболее мудры из людей и раскрыли для человечества самые глубокие тайны мироздания, в какое бы время и среди какого народа они ни жили – всегда были религиознее своего времени и своего народа (Аристотель, Ньютон, Фарадэй). И можно вообще сомневаться, были в истории хотя один человек, который при несомненном величии духовных даров своих, и в особенности при величии мысли, – в то же время был бы не религиозен.

Мы коснулись внутренней стороны процессов природы, руководимые одним явлением в ней, самым глубоким и таинственным – явлением красоты. При этом мы обошли молчанием проявления ее в холодной, безжизненной природе – самой темной в мироздании, наиболее далекой от человека и всего менее для него постижимой со своей внутренней стороны.

Было бы несогласно с требованием осторожности, если бы, оканчивая это исследование, мы снова не оговорили той степени достоверности, которую обладает оно; эта степень крайне недостаточна – она гораздо ниже той, какая всегда почти может быть соблюдена при исследовании внешней стороны природы. Но в той среде, где вращалось наше исследование, и не остается ничего другого сделать, как только, введя свою мысль внутрь изучаемого предмета и продолжая свободной и правильно раскрывать ее – смотреть: точно ли отвечают формам этой раскрывшейся мысли внешние наблюдаемые формы самого предмета. В случае их соответствия, есть высокая вероятность думать, что мысль, избранная нами для объяснения предмета, действительно выражает его скрытую, внутреннюю природу.

Эту степень вероятия, оглядываясь на пройденный путь, мы можем признать за мыслью, положенною нами в основу объяснения двух великих сфер природы – органического мира и человеческой истории. Сила целесообразности, являющаяся в первом как органическая энергия, зиждущая, устрояющая и совершенствующая его в частях и в целом, – во втором является как психическая деятельность, которая, нарастая во времени (в силу целесообразной природы своей), становится творчеством. Таким образом, две объясняемые сферы природы, запечатленные одинаковою чертой – присущим им *развитием*, являются носителями одного и того же начала, но которое проявляется в каждой из них в различной форме. Глубокая соотносительность между органическою энергией и психическим творчеством, которую мы проследили фактически на явлении красоты в природе и во всех важнейших, всеобщих явлениях истории, заставила нас признать это единство; а нарастание во времени этого общего для органического мира и для истории начала, в связи с законом возрастания энергии всякого явления по мере приближения его к своему источнику, побудило нас признать это начало за целесообразность.

Идея целесообразности, таким образом, позволяет нам хоть как-нибудь понимать природу в целом; и в этом мы видим ее преимущество перед идеей механической причинности, которая остается как теория – в одной стороне, а природа как целое – в другой, без какого-либо соответствия, взаимно бесполезные друг для друга. Только внешнюю и детальную сторону отдельных явлений механическая теория объясняет правильно и просто, и насколько наука состоит в объяснении их – она может пользоваться ею. Но всякий раз, когда от анализа она восходит к синтезу, когда она хочет возвыситься до понимания всей красоты, устроенности и (в особенности) развития природы, она не может ничего иного сделать, как, оставляя механизм в значении *пособия* при объяснении, сделать *центральным* в этом объяснении – понятие целесообразности. Причинность *участвует* в устройстве мироздания, но *устрояет* его – целесообразность, всегда при помощи причин как *посредствующего*, – и хоть *необходимого*, но *служебного*.

Кто приступает к изучению природы без каких-либо других целей, кроме как понять ее, не может уклоняться от этого принципа, столь удобного для понимания. Но исключительность этой цели столь редка, что мы не можем

не признать стремления к ней одной – чем-то действительно трудным для человека. И, между тем, это трудное есть единственное условие *внутренней* свободы науки, то есть одинаковой готовности ее воспользоваться всяким объяснением, которое удобно. Трудно человеку поклоняться одной истине, и он вечно ищет еще каких-то иных богов, даже когда, по-видимому, враждует с ними.

ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ

Пределом тела, сверх его физической границы, служит еще и то все, до чего идет его движение и действие.

Аристотель. Метафизика, V, 17.

Со времен Ньютона и до нашего времени в той части нескольких соприкасающихся между собою наук, которую можно было бы, выделив, назвать философией природы, вопрос о так называемом *действии на расстоянии* не перестает занимать самые выдающиеся умы. Несомненен факт, что в движении небесных светил скорость и направление каждого порознь определяются отношением его к ближайшим и, однако, чрезвычайно удаленным от него светилам; и необъяснимым представляется, каким образом те удаленные тела действуют на это, им так покорное, ими без уз связанное*. Истина, столь очевидная для Средних веков: *corpus non nisi ubi est agit*** – кажется истинною и для нас, и, стоя между нею и очевидным фактом, мы бессильны сочетать их в уме своем.

I

«Тело действует только там, где оно *есть*» (где оно находится). Однако где оно *есть*? где его *точные границы*? Как непроизошедшего, как самостоятельно сущего, как в *этот* момент и *здесь* рассматриваемого – границы тела суть геометрическая фигура, образуемая его поверхностью. Внутри этих границ

* Вот одно из новейших выражений необъяснимости этого явления: «Представив атом, действующий на расстоянии, мы задаемся вопросом: как объяснить это действие и природу или свойство того, что так действует? Задача эта не поддается никаким усилиям. Всякий исследователь, пытающийся это сделать, утомленный и неудовлетворенный, возвращался к простому факту действия на расстоянии. Его непостижимость доказывалась целым рядом попыток, начиная с давно забытых объяснений картезианцев после ньютоновской эпохи вплоть до новейших теорий. Очевидно, что эти неудачи зависят не от неискусства исследователей. Все пытающиеся решать эту и подобные конечные задачи, если они не находились под влиянием самообмана, должны были отказаться от решения. Постоянно «удаётся» и в действительности никогда не удастся *привести* действие на расстоянии к *удовлетворяющим нас представлениям*». Дю-Буа-Реймон. «Границы познания в области точных наук».

** тело только там, где есть движение (*лат.*).

тело не действует, потому что там есть только оно само; и как его неподвижность, так и всякое изменение его мы назовем только его *состоянием*. Медь кипит, или она же лежит в виде куска перед нами – это одинаково не есть ее действие на что-нибудь, но лишь собственные ее состояния. Итак, всякое действие, какое мы можем представить себе, всегда совершается *вне* геометрических границ тела; и в приведенном примере кипящей меди, если мы усмотрим некоторое действие внутри, это будет внешнее действие друг на друга быстро движущихся атомов – наружное по отношению к каждому из них, вне чертежа его границ совершающееся, и внутреннее только для их массы, которую одну мы различаем; – как в скоплении звезд различаем только туманную массу, если мы не умеем, если лишены средств разглядеть составляющие ее тела.

Итак, *corpus ibi agit, ubi non est** – есть истина, отвечающая действительной природе вещей. Тело никогда не действует иначе, как *вне* себя, – это вытекает одинаково как из его сущности, так и из возможного для нас его представления. Где же, однако, граница этого действия? Чтобы ответить на это, мы должны обратиться к рассмотрению, не имеет ли оно, как некоторое бытие, еще второй для себя границы, кроме указанной.

Оно *произошло* – и это определяет его вторую границу; оно есть *часть* – и, следовательно, существует *целое*, существует совокупность других частей, которые ощутимо или неощутимо, соотносясь с нашими органами или не соотносясь, группируются около этой части – образуют сферу, внутри которой находится данное, наблюдаемое бытие. Совокупность этих *других* частей, к которым принадлежит данная часть и теперь еще, как им равная, с ними однозначущая (по крайней мере, в отношении к тому, когда-то слитному, что на них разложилось) – и образует вторую границу тела, и вместе единственную, которую мы наблюдаем как место проявления его сил. Сила есть только физическое соотношение: всегда соотношение одной части с другою по связи их в некотором третьем, что в отношении к ним есть или некогда было целым. Земля или Меркурий потому стягиваются между собою и оба тяготеют к солнцу, что были частями этого солнца, – точнее, вместе с ним и всеми остальными планетами составляли массу, потом распавшуюся на солнечный мир. И если мы возьмем что-нибудь разнородное, несоизмеримое, невыразимое в одних терминах, что ни в каком случае и никогда не было слито, – мы не найдем и силы, действующей между этим разнородным. В природе она всегда есть след *распада*, или, пожалуй, развития – есть свет не видимый только, но остающийся вечно там, где совершился этот распад; целое выделило из себя части, но не исчезло с этим выделением, а продолжает существовать в них и их *соотношении*. В наблюдениях над продуктами распада малых тел, нам в этом отношении ясно и окончательно известных, сказанное

* тело (материя) действует там, где его нет (*лат*).

находит себе замечательное подтверждение. Кислород и водород, насильственно расторгнутые электрическим током, идущим по проволокам вольтова столба, опущенным в воду, собственно природою соединяются вновь в воду, как только устранены все препятствующие этому условия. Но нет силы соединяющей между телами, которые не были предварительно разединены, и, следовательно, именно это разединение, или еще первое – *целостность* их в третьем*, мы должны признать за источник и самого их соединения. Тот факт, что соединяющиеся тела в этом третьем, новом, теряют свои характерные признаки**, что в отношении друг к другу они являются с качествами противоположными***, – все это побуждает нас видеть в каждом из них порознь как бы некоторую *недостаточность*, *частичность*, от чего-то *оторванность*, восполняемую через соединение, ранее которого тела уже как бы предчувствуют друг друга, предугадывают, различают от таких других тел, по отношению к которым в них нет никакого лишения****, недостатка. Химически *простые тела всегда суть дроби*, и хотя они складывают из себя единицу, – однако не их, а единицу следует признать первым производящим, а их только от нее производными. Самое средство химическое действует на расстояниях столь же малых, как приблизительно те, в каких они находились в соединяющем их целом (физическое тело): с увеличением этих расстояний они перестают

* «Кроме двойного и вообще многократного избирательного сродства стали различать взаимное сродство (affinité réciproque), когда два вещества А и В к третьему веществу С представляют почти равное сродство и когда, смотря по условиям, может происходить или вытеснение тела А, или вытеснение В. *Предрасполагающим сродством* (affinité disposante) называли такого рода сродства, когда некоторое вещество производит химическое действие вследствие сродства к новому и имеющему образоваться при реакции веществу В, но которого еще нет в сфере действия вещества А при начале взаимодействия». Профессор Н. Меншуткин. «Очерк развития химических воззрений». СПб., 1888 г., стр. 90. То есть отсутствующее, имеющее возникнуть, *возможное* тело влияет на реальный факт как *действительное*.

** В отличие от смесей и составов, химические соединения не сохраняют в себе вида и свойств соединившихся веществ, как бы поглощают их в себе и на их место становятся новым телом. Так, например, капля воды не имеет ничего сходного с водородом и кислородом, которые в ней исчезли, передав ей только *вес* свой и *ничего еще другого*.

*** «Впервые Бургаве указал, что не столько сходные тела, сколько *вещества*, так сказать, *противоположных качеств проявляют химическое сродство друг к другу и наичаще соединяются*, что химическое сродство обуславливается не степенью сходственности двух веществ, но *степенью их различия*. С того времени такое представление о силе химического сродства является общепринятым». Меншуткин. «Оч. разв. химич. воззрений», стр. 89. При этом в самом соединении нередко наблюдается уничтожение противоположных качеств соединяющихся тел, как то имеет место, когда основания и кислоты образуют соли. Там же, стр. 88.

**** Элементы не соединяются между собою безразлично во всяких количествах, но в некоторых определенных пропорциях, *то есть они соединяются именно не как вещества, но только как части некоторых физических тел*.

различать друг друга, «избирать», стремиться к соединению. Таким образом, какую бы начальную космическую эпоху мы ни взяли, пусть это будет даже эпоха хаотического рассеянного вещества, мы можем в ней представлять, напр., водяные пары на степени произвольного разрежения, но ни в каком случае – частицы водорода и кислорода, летающие друг возле друга без слияния или одни – собранные в одних пространствах, другие – в других, чтобы потом смешаться и образовать воду. Вода *первое* их в порядке образования, и это потому, что быть ее *дробями* есть для них норма, есть естественное состояние устойчивости; и полно неустойчивости, ненормальности, противоестественности быть чем-то самостоятельным, в разъединении.

Предположение, что *меньшее* всегда *первое* *большого*, *простое* – *сложного*, есть, кажется, единственное, которое удерживает нас от принятия этой истины, и, однако, ряд фактов, нам лучше всего известных, должен бы побудить нас отказаться от этого предположения*; ведь и кровь или дыхательные пути**, суть меньшее и простейшее сравнительно с целым организмом, составляют собою лишь части его, и, однако, именно организм есть по отношению к ним первое, а они в нем явились потом, как и все прочие выделившиеся части. В зачатке, в оплодотворенном*** яйце уже содержится организм; точнее, зачаток: яйцо есть уже организм, части которого находятся в слитном, неразличимом для нас состоянии; но вот проходит время, природа совершает свои усилия, – и части, органы возникают, становятся видимы. Также лишь при наступлении усилий необычайных и новых (электрический ток) происходит распадение молекулы воды на атом кислорода и атом водорода, так между собою не сходные, не сходные и с молекулою воды; и, очевидно, в ней не сложенные и не приложенные друг к другу, но еще не бывшие вовсе и потом выделяющиеся, когда она почему-либо утрачивает свою цельность.

И чтобы до конца исчерпать взятый пример, добавим, что в организме вещество и форма действуют друг на друга, повинувшись генетической своей связи, *без всякого прикосновения, на расстоянии*: биение сердца, отноше-

* Источник его, кажется, лежит единственно в сосредоточении внимания нашего по преимуществу на *делаемых, изготавливаемых* нами предметах, которые мы *составляем*, и естественно берем для этого *сперва* простое и *потом* так или иначе соединяем его с другим подобным же простым: так, напр., ткань делаем из нитей, напиток изготавливаем – смешав воду с разными веществами. Однако в природе, по крайней мере так же часто, генетические процессы идут в обратном порядке.

** Не следует думать, что только в живом, органическом мире явления могут идти в этом порядке; вот еще пример: выпуклая и вогнутая стороны кривого стекла не были когда-нибудь самостоятельны и не образовали его, сложившись, как более по отношению к ним позднее; напротив, стекло, хотя во времени образования не ранее их, однако в порядке этого образования – *первое*. Как существо, *оно* именно возникло, а с ним – эти его стороны, как его простые качества.

*** И даже неоплодотворенном, как на это указывают факты партеногенезиса (бесполого рождения, как, напр., у пчел).

ние кровеносных путей к дыхательным, отношение к ним всем мускулов и нервной ткани – полно связи, служит одно другому, восполняет действие друг друга, исправляет ошибки далекого* – *потому что есть некоторое целое, в котором они связуются.*

II

Связуются целым и мировые тела, или все – космосом, или некоторые – системой, к которой они принадлежат; и они суть «простые» – суть «элементы», разорванные один от другого и след этой разорванности несущие в себе. Землю не падающую на солнце мы можем представить только как брошенную по касательной к ее орбите, подобно как атом водорода можем представить оторгнутым от атома кислорода – лишь на конце проволоки с бегущим по ней током: в обоих случаях в некоторых особенных условиях, стесняющих норму, ограничивающих закон, изъемлющих природу из положения естественного.

«Действие на расстоянии» поэтому не только понятно, но оно и необходимо, так как самое понятие «части» уже включает в себя понятие удаления, разединенности. И если, как замечают ученые разных сфер точного ведения, все наполняющие природу силы суть действующие на расстоянии – если она связана по всем швам своего сцепления, то почему всеобъемлющий факт этого сцепления им не признать источником происхождения самых сил? Ведь этот источник, во всяком случае, должен быть также общ и целен, как и весь космос, который эти силы собою проникают. И если всякая сила есть или удаляющее (так называемые отталкивательные силы), или сближающее, – то что же может служить этим источником, кроме генетического единства всех атомов мира? И этому отвечает то наблюдение, что для своего распространения *сила всемирного тяготения, например, не берет никакого времени***: ведь она, истекая из цельности космоса, уже *предшествует всякому факту*, который мог бы ее обнаружить, – все вновь возникшее и не может возникнуть иначе, как в сфере ее действия, и тотчас начинает повиноваться ее закону. Ее реальность первоначальнее реальности планеты, кометы, метеора и всего, что, от них отторгаясь, или удаляется,

* См., например, в высшей степени любопытные наблюдения проф. Мечникова над действиями в организме фагоцитов (белые тельца, плавающие среди красных кровяных шариков в крови): зараза, поранение, болезнь какого-нибудь одного органа заставляет их тотчас устремляться отовсюду, из самых отдаленных частей тела к угрожаемому месту и защищать от губительного действия агента близлежащие органы. См. его «Лекции о сравнительной патологии воспаления, читанные в 1891 г. в Пастеровском институте». СПб. 1892 г.

** Лапласом было указано, что если бы тяготение нуждалось в каком-нибудь времени для своего распространения, будь это распространение даже в несколько миллионов раз быстрее скорости света, оно было бы уже наблюденно и отмечено астрономами в фактах передвижения небесных тел.

преодолевая сцепление, или падает обратно к центру*, этому сцеплению повинуюсь. Что тяжесть лежит, как в своем источнике, не в массе притягивающихся тел; что она существует вне этих тел, занимая наружное положение, – это явствует из того, что нет тяжелого тела или атома, который был бы *один*, что *тяжесть всегда между двумя телами или атомами*. Если ее нет в *одном* и так же порознь не было и во *втором*, то нет и в *двух*, когда они сгоят друг перед другом, – нет иначе, как если мы предположим, что не в них, но между ними она была уже всегда, ожидая лишь их появления – появления всякой *части*, пылинки, атома, который, подчинившись ей, мог бы обнаружить тем самым разомкнутость своего бытия и цельность мира.

III

Ни на чем не основанное представление, рисующее нам элемент как первое, рисует и атом как центр *истекающих* из него сил: истечение нам представляется как единственная возможная форма отношения между силою и веществом, а это последнее – как единственный субъект, носитель силы. Но вот, положим, беспредельное, нигде не кончающееся пространство заключает в себе одну, первую, не знающую другой пылинку: ведь она есть «источник сил», их вечный «носитель», ей они не переставая присущи, как, напр., и прямой никогда не перестает быть присуща наибольшая краткость между двумя точками, хотя бы она и была так мала, как возможно, была бы «первою» в величине своей. И если, несомненно, этот первый атом не тянется еще ни к чему и ничего не тянет к себе, если он еще не «центр сил», не несет их в себе, то с какого момента и почему и какую причину они в нем возникнут?! Как бы и когда и почему ни возникли, ясно, однако, что уже не природою его, не бытием, не как первое в нем, ему вечно присущее. И несясь в вихре других, вновь появившихся атомов, о каждом из которых мы можем повторить то же рассуждение, он ни своею, ни их природою несется, но чем-то независимым порознь от всякого, ни из кого не истекающим и, однако, все их объемлющим. *Сила – вне вещества*; мы утверждаем, она – *след его цельности, единства*; эта цельность, единство и есть их истинный субъект, вечный источник, никогда не перестающий действовать на свои части – единичные вещественные тела. И идеальная природа этой цельности, ее осмысленность как нельзя более отвечает самому качеству силы, которая также имеет в себе некоторый смысл, и его так трудно связать с фактом массы, с представлением только протяжения, материи, которая наполняет, вымещает собою, мешает другому, и как-то непонятно, чтобы еще и взаимодействовала, и притом по закону разумно выразимому (в математических формулах).

* Замечательно, что сила тяжести на земле и бесспорно во всех телах проявляется «так, как если бы вся масса их была сосредоточена в одной точке центра» При объяснении, какое мы делаем, это само собою разумеется.

IV

Мы возвращаемся вновь к теме «расстояния, на котором действует тело». Даже сосредоточив свое внимание на первой, тесной границе его, мы не можем огвергнуть, что там присутствует другое тело, с ним «на расстоянии» взаимодействующее, но в смысле особенном и также с особыми последствиями. Присутствие реально, как полнота и избыток, оно вымещает собою, не допускает другое стать там, где пребывает само. Присутствуя как недостаток, как пустота или некоторое лишение, оно производит действие, противоположное вымещению – тяготение, сближение. Все силы, нами наблюдаемые в природе, сверх механических (толчок, давление и пр.), указывают своим характером именно на этот или подобный источник своего происхождения.

Совершенно ошибочно мы думаем, что сила есть только *там* и только *такая*, какую мы можем отнести, как к ее источнику, к данному куску вещества, материи, вообще бытия, которое пред нами лежит и действует на наши чувства: она может быть присуща этому веществу, но вытекать не из того, что в нем есть и на нас действует, но из того, *чего в нем нет более*. Оно чего-либо *лишилось* и это лишение чувствует, как и вся природа чувствует его: человек как *утрату*, животное как *боль*, растение как орган, который *нужно восстановить или возместить* в дальнейшем росте. И что в человеке вызывает сознательную идею, в животном – порывистое движение, в растении – приток соков, и во всем вообще соответствующее его природе *усилие* поправить, вознаградить, изладить потерю, то и в безжизненном веществе вызывает действия, отвечающие своей размеренностью и механичностью его глухому и темному существу. Минус, как и плюс, действует в величинах, которые также не сознают, не чувствуют, не знают о себе; и вообще в целом космосе *отрицательное действительно, как и положительное, и действует* на части положительного, к которым относится. В массах, в телах, в предметах это отрицательное значит только *отнятое*, указывает на лишение: оно и есть источник действий, всегда по направлению и природе своей обратных смыслу этого лишения: – его восполняющих. Земля вечно падает на Солнце, и удерживается от этого лишь центробежною силою; но это потому, что она не чужда Солнцу, есть часть его, и Солнце эту потерянную свою часть чувствует, как и все сохраненные, всю массу лежащего в нем вещества, – но с значением обратным. И все в природе, как связанное генетическим единством, чувствует друг друга, но в разных сферах своими разными способами (законы природы), отвечающими разным способам своего первичного разделения.

V

Мы не будем вдаваться в исследование более трудной задачи: каким образом, если в природе первоначальное есть полнота, и вернуть ее к полноте же стремится каждая почти сила, произошли эти бесчисленные лишения, разрывы, силою которых она стала космосом, то есть «красотою», в замене

прежней безобразной слитности? Заметим только, что, быть может, причина здесь кроется именно в том, что человек уже нашел бессознательно, назвав созерцаемый им мир не бытием, не разнообразием, но именно «красотою»*. В нем мы должны признать устрояющее начало, и именно устрояющее по законам лучшего, прекраснейшего. Ведь никто не различает и руки, водящей в слитно-однообразной массе зародышевого яйца частицу за частицей, – и даже при высших средствах анализа мы едва можем следить за крупнейшими в нем перемещениями, теряя, впрочем, и их из виду в важнейшие моменты и в важнейших пунктах**. Мы знаем только, что, когда пришло время, на месте однообразия является расчлененный организм, бедное сменяется богатым, зачаток жизни превращается в полную жизнь. Никогда и никто не определил, почему и какою силой расстояния между планетами, их скорости и массы распределены и соразмерены так именно, что вполне уравниваются взаимно: мы наблюдаем только самую соразмерность, знаем равновесие, и, прибавив к этому знанию удивление, больше ничего не можем.

О ЧУДЕСНОМ В МИРЕ

Случай исцеления г. Доробца от сикозиса*** – исцеления, происшедшего внезапно и без посредства какого-либо лечащего агента – был признан и им самим, и массами «профанов» чудесным. Поэтому «объяснения» этого случая, сделанные в Московском обществе невропатологов профессором местного университета г. Кожевниковым, были приняты среди читающих и размышляющих людей как некоторая попытка, и неуместная и неудачная, на вмешательство научных приемов исследования в область фактов, науке явно не подлежащих; сам же профессор, сделавший эту попытку, был обвиняем, косвенно в печати и прямо устно, в явном неуважении к религии, к области которой, как несомненное и засвидетельствованное чудо, относится этот факт. И слишком понятно, что подобное неуважение (если бы оно имело действительно место) должно было вызвать величайшее возмущение в обществе, которое не могло и не должно было относиться спокойно к подобному трактованию его самых интимных и чистых чувств.

Ничего, однако, похожего на подобное трактование не было сделано проф. Кожевниковым, одним из осторожнейших в своих заключениях умов, какие трудятся на почве науки. Имя этого ученого, гораздо менее популярное, чем имена проф. Кареева, Трачевского, Ковалевского, Исаева и многих других «светил» русской науки, – несмотря на свою скромность и совершенную неизвестность в «общей прессе», не только авторитетно, но и ав-

* Кошрёω (откуда «космос») – украшаю.

** «Наблюдая дробление желтка, мы в каждой стадии этого процесса ясно видим цель, для которой оно совершается, и не видим даже намека на средства или орудия, помощью которых оно производится» (К. Бэр).

*** Имевший место в Москве в 1896 г.

торитетно справедливо в некоторой частной, специальной прессе, из пределов которой г. Кожевников никогда не выходил и не хотел выйти. Мы можем представить себе, как проф. Кареев «объяснил» бы, что «с окончательным торжеством индуктивного метода в науке» чудо «элиминировано» из природы; или как г. Трачевский доказывал бы, что «исцеления» не было, наконец, даже не было сикоза, нет и не было вовсе самого г. Доробца, а есть «Московские Ведомости» и «Гражданин», которым потребовался этот случай, и он был создан, как создается все, в чем есть «потребность времени, хотя бы и такого печального, как наше...». Ничего подобного, зная сколько-нибудь проф. Кожевникова и его труды, нельзя было от него ожидать, и он действительно ничего подобного не говорил и не хотел сказать.

Как осторожный в заключениях, как не только созерцающий, но и размышляющий ум, он знал хорошо, что, за исключением лишь очень тесной группы фактов, и всякое вообще излечение, которое показалось бы для «профанов» простым и обыкновенным, при глубоком анализе открывает в себе сторону чудесного в той самой мере и в том самом смысле, какой тысячи неразмывляющих людей соединяют со случаем исцеления г. Доробца. И в его мысли, как в мысли религиозных людей, святое и чудесное не исключено из природы, но только в то время, как, по мнению простых верующих людей, оно временно и местно появляется, ему, напротив, известно, что оно разлито в природе всюду и остается в ней постоянно. Более всякого другого медики знакомы с этою стороною Космоса. Конечно, видя, как проглотивший кусок фосфора и затем немедленно выпивший рвотного – остается жив, они не удивляются, потому что это есть факт, ясный во всем объеме, расчленяемый без остатка на свои составные моменты, между которыми нет ни одного темного: но уже хина, действующая при перемежающейся лихорадке, или бром, успокаивающий нервную систему, – заключают в себе, в основаниях своего действия, бездну неясного. И, анализируя это неясное, до конца отвечая на правильно поставляемые о нем вопросы, мы доходим до пункта, где не умеем сказать ничего еще, кроме как: «*Это – чудо!*» Ибо тот факт, что соки дерева, растущего в Боливии, и только этого одного дерева на целой земле, вырабатывают в древесине его некоторое особенное вещество, не действующее ни на то, ни на другое, ни на третье или четвертое, а только специфически на жизнь одного микроорганизма, появляющегося, однако, не на этом дереве, не в какой-нибудь другой породе того же семейства растений, ни даже вообще в растительном мире, а в селезенке человека, куда при естественных условиях нет никакого доступа для этого вещества и к этому веществу нет вовсе доступа тем микробам: все это так же чудесно, так же маловероятно, так же похоже на фантазию или грезу сновидения и, однако, так же действительно, как и случай исцеления г. Доробца. Бром отлагался в клетках морских водорослей гораздо ранее, чем появились нервные расстройства у человека; он отлагался ранее не только времени, когда настал «наш нервный век», но и времени, когда человек научился считать века и, быть может, даже прежде, чем он появился на земле. И вот, раньше чем появился

второй член некоторой специфической системы взаимодействия, когорою медик пользуется у постели больного («бром при нервных расстройствах»), уже первый член ее существовал с своею удивительною особенностью, имеющею отношение к тому, чего не появилось пока, не появилось нигде на земле, нет вовсе в природе. Разве это – не чудо? не чудо в полном и святом смысле – так же, как то, которое совершилось такого-то числа и месяца, с таким-то человеком «в храме Христа Спасителя», но чудо уже в Его нерукотворном храме, где «земля – подножие и небо – престол»? Digitalis* действует на сердце, только на одно сердце; и сердце ничему еще так не отвечает в своем функционировании, как соку этой мелкой травки – отвечает чутко и могущественно: вот то, что названо было бы в древние времена «волшебством», что есть волшебство с точки зрения и строгой науки, растерянно стоящей перед этим явлением, – и что мы называем волею Божией в природе, где эта воля связывает без уз, разделяет без резца и вообще творит, что ей нужно, проходя в молчании мимо наших вопросов: «Почему? Зачем?» Понятно для нас и в природе «естественно» только такое соотношение, где есть смежность между соотносящимся и где оба члена соотношения лежат в одном порядке бытия; понятно, поэтому, действие химического реактива на химическую же сторону биологических процессов, действие физического агента на физику нашего тела. Но все приведенные факты, где природа нам раскрывается как бы поставленную на страже жизни человека, – жизни, упadaющей в себе самой и восстанавливаемой силами этой природы, – эти факты далеко переступают все средства научного объяснения, все постижимые способы взаимоотношения вещей, и в них мир обнаруживается перед нами как тайна, чудо и святость. Мы не можем здесь удержаться, чтобы не заглянуть несколько в смысл этой тайны: если есть *одно* целящее для человека в природе, должно быть – и *всякое*; круг внешних средств должен быть замкнут в некоторую полноту, следуя за полнотою возможных ущербов в жизни человека. Иначе план этой стороны Космоса был бы не закончен; мысль, в ней положенная, – оборвана, и тайна была бы без внутреннего в себе основания.

Мы уклонились в сторону слишком далеких обобщений. Сок из семян *cannabis indica*** , принятый внутрь, производит у принявшего растяжение идей пространства и времени; и вообще испытывавшие действие этого сока рассказывают об удивительнейших видениях, сопровождающих поступление его в кровь. Почему это не вполне чудесно? Почему *cannabis indica* – не просто корм, как всякая другая трава, но с одним странным, не повторяющимся ни в чем еще в природе *отношением к способности* у человека *представления*? *Cannabis indica* росла бы, если бы вовсе и не появлялся человек на земле: для чего тогда были бы удивительные ее свойства? кому бы они служили? Скажем более: тот непооявившийся, несуществующий (допустим,

* наперстянка (лат.).

** конопля (лат.).

что человек не создан, («не доразвился из обезьяны») обладатель способности представления, с которой соотношение у сока этого растения уже есть – кто он? Что это за представление, чьи эти идеи пространства и времени, которые удлинять способен сок этого растения, раз уже оно растет, живо, есть? Вот чудо, совершенное чудо, о каком только способен говорить наш язык и которое написано в природе, и все его читают, несколько ему не удивляясь. Природа есть великое, живое, святое Páv; уже греки считали его «богом»; мы же отступили от них в сторону готтентотов и кафров, говоря, что она есть только набор физических тел, есть некоторая связка химических процессов – ряд фетишей, из коих каждому мы поклоняемся, вовсе не замечая, что не в них, но между ними и над ними витает бесплотная мысль.

Раз cannabis indica соотносится с мыслью человека, повторим за медиками – «соотносится с его нервной тканью», как-то особенно ее возбуждая, и между тем она существует и возникла вне всякой сколько-нибудь понятной и исследуемой связи с этой тканью, – есть, значит, нечто, в чем оба эти факта связуются, есть некоторая идеальная система, которой членами служат эти реальные и столь удаленные одно от другого явления. Подобно тому, как и корабль, плывущий в Бостон, если на нем есть компас, ландкарты, паруса, руль, – не иначе приплывет в этот именно город, как если есть и ум, связующий в себе эти ландкарты, руль, показания компаса и ту отдаленную точку, где лежит этот город. *Есть мысль, держащая вселенную*; к ней, собственно, имеет каждая вещь *прямое* свое отношение; и лишь через нее, в которой содержится и всякая иная вещь, она с этой иною вещью соотносится. Отсюда «телепатия» (связность на расстоянии) явлений природы; эти предустановленности, эти соотношения разбросанного в мироздании. В темных инстинктах своих, зная это – человек тянется к природе, болея – ищет в ней помощи; или же он обращается с молитвою к Посредствующему, когда бессилён сам отыскать эту помощь. В том и другом случае источник – один; самое обращение к нему – собственно одно; и медик, подающий больному лекарство, если бы он до глубины понимал то, что делает, – подал бы его с тою же молитвою благодарности, с какою г. Доробец на другой день вошел в храм его вчерашнего исцеления.

Поэтому и проф. Кожевников вовсе не исключает в своем объяснении ни чудесного, ни святого в случае, который возбудил столько смутных о себе толков. Он не отверг грубо и поверхностно, как это мог бы сделать менее его углубленный в науку человек, что, за немногими и незначущими исключениями, вся природа распадается на две категории: область чуда пребывающего, постоянного, которым мы пользуемся всегда и всюду, как пользуемся для питья источниками нас окружающих вод; и область чуда наступающего и оканчивающегося, которое ниспадает к нам, как для жаждущего в пустыне ниспадает дождь. Нет никакого в существе их, происхождения, качествах – различия; но только первое наука уже отметила как некоторые «единообразия» вселенной, второе ей еще предстоит внести в

свои регистры. Их разница – если мы возвратимся к развитой выше аналогии – не большая, чем какая существует между путями постоянного следования кораблей и между путями неопределенного странствования некоторых из них: оба равно совершаются под компасом, при ландкарте, в уме ведущего, но к одному взгляд наш, посторонних до времени зрителей, привлек, и мы без любопытства забываем о нем, за другим же следим и историю его «рассказываем».

ЧТО ИНОГДА ЗНАЧИТ «НАУЧНО ОБЪЯСНИТЬ» ЯВЛЕНИЕ?

I

По поводу известного рассказа гр. Л. Н. Толстого «Хозяин и работник», в котором одно из главных лиц умирает и другое близко к тому, чтобы умереть, в медицинском журнале «Врач» появилось следующее описание «механизма смерти», объясняющее, как думает редакция научного журнала, особенности последних минут существования человека на земле:

«До окончательной своей остановки нервная деятельность испытывает период возбуждения. И вот это-то кратковременное возбуждение придает радостную, счастливую окраску потухающему существованию. Об этом могли бы свидетельствовать обмиравшие или утопленники, возвращаемые к жизни. Несчастный, очутившийся на дне реки, впад в глубокий обморок, ощущает во всем теле какое-то особенно приятное чувство. Мозг его приобретает необыкновенную свежесть. В памяти в один миг развертывается, как панорама, вся прошлая жизнь, воскресая с изумительной точностью и подробностью, в целой цепи событий, фактов, чувств, даже полузабытых и совсем забытых. Такого же рода возбуждение бывает и при медленно развивающейся асфиксии. Больной, долго страдавший, перед смертью вдруг ощущает неизъяснимое блаженство. В теле его такая легкость, точно оно из одного воздуха. Отсюда, заметим, так часто в художественном изображении смерти попадаются выражения: *он унесся, он улетел ввысь*».

Нам уже давно хотелось на каком-нибудь частном примере показать, до какой степени, с упадком духа пылливости, в науке за ее истекающий период утратилось самое понимание того, что значит научно объяснить какое-нибудь явление, и как море слов, факты отмеченные, но никем не наблюдавшиеся, заключения не только не связанные, но и не связуемые ни с чем из ранее сказанного, наполняя страницы книг, журналов, повторяясь в «рефератах», речах, лекциях – разносятся всюду как наука, как наука принимаются всеми, хотя ее и тени в них нет. И нам показалось, что приведенная заметка в медицинском органе, по краткости своей, по общеизвестности фактов, в ней «объясняемых», и, наконец, по своей типичности, дает удобный для этого случай.

«Нервная деятельность испытывает возбуждение»... – и мы ожидали бы показания инструментов, отметок термометра или электромагнитных приборов, которые бы эту повышенную деятельность удостоверили. Без этого как иначе читать нам эти строки, как на простой перевод на медицинский язык того, что всеми наблюдается, никем не было объяснено и что объяснить предлежит именно науке – «радостную окраску потухающего существования»? Ведь «потухать» – именно значит понижаться в напряжении, угасать, терять свет в себе, и каким образом это значит в то же время «испытывать возбуждение»? Не ясно ли, что, если в то время как тело начинает «потухать» – на лице выступает «счастливая окраска», – тот, *кто* умирает и *кто* окрашивается в этот миг – не одно существо, но два и даже противоположные, в эту минуту расторгающие свою насильственную связь; причем одно из них миг расторжения выражает «радостную, счастливую окраской», а другое, им отторгнутое – становится погасшим. Улыбка на лице умирающего – это тень крыл души улетающей, павшая на лицо умершего, – вот выражение, на образы которого мы не имеем права и имеем все основания на его мысль. «Несчастный» (с медицинской точки зрения), впав в «обморок» – однако «ощущает»; и так как, кроме обморока, ничего еще нового не произошло к нему, именно его он ощущает как «приятное чувство». И хоть обморок констатируется обычно самими медиками как потеря памяти и чувств – в течение его «мозг приобретает необыкновенную свежесть». Мы снова тут ожидали бы опытов, наблюдений, показания инструментов, потому что ни одним словом не оговаривается здесь, что это – только предположение. Мы имеем здесь факт, научно сообщаемый, и уже из него текут следствия, которые нам могли бы сообщить случайно избегнувшие смерти: «В памяти в один миг развертывается, как панорама, вся прошлая жизнь, воскресая с изумительной точностью и подробностью, в целой цепи событий, фактов, чувств, даже полузабытых и совсем забытых». Мы это знаем: этот факт удивительный нам передан утопавшими, возвращенными к жизни; и удивление и любопытство, с которым мы всматриваемся в этот факт, гасится в нас утверждением, не опирающимся на опыт и не могущим на него опереться: «необыкновенную свежесть мозга». Ибо ведь кроме воды, льющейся в ноздри, в уши, в рот, нет нового факта в утопающем сравнительно с нами, и между тем вовсе неизвестно, чтобы обилие воды в дыхательных, ушных и пищеводных путях непременно сопровождалось чувством свежести во внутренних областях черепа. Разве что вода бывает очень холодная, – но тонут не всегда осенью. «Такого же рода возбуждение бывает и при медленно развивающейся асфиксии. Больной, долго страдавший, перед смертью вдруг ощущает неизъяснимое блаженство». Конечно, это все – «неизъяснимо», но именно в *ходе* своем, в *причинах* возникновения, а не только в качестве превосходной степени в себе самом понятного явления, как это говорит читателю научный журнал. Пульс, вместо того, чтобы биться со скоростью 120 ударов в минуту, бьется все реже, падает до 30–15–8–3 ударов. Кровь остано-

ливается в жилах, холодеет, а в силу ее увеличивающегося давления на стенки сосудов вода – как составная ее часть – просачивается через них (холодный пот): почему это все «блаженство»? Уж если *что-нибудь*, то скорее – боль. «В теле его такая легкость, точно оно из воздуха» – но ведь наблюдатели же говорят, хоть, конечно, и ошибаются, что тело умершего и умирающего именно тяжелее, чем живого, и почему оно становится легко только для слабейших сил больного? И какой умирающий сказал, что именно «это больное тело» – ему легко, а не что *он* чувствует легкость, хотя его *тело* и больно? Здесь мы вновь видим два разделяющиеся друг от друга существа, и не странно ли соединять их в картине, рисуемой научною рукой, когда мы не имеем для этого никакого основания? Но вот «научное объяснение» уже готово и даже бросает свет на художество, – впрочем, не на него только, но и на утверждения религии: «отсюда», т. е. из всего, что мы выше привели и разобрали, «так часто в художественном изображении смерти попадают выражения: *он унесся, он улетел ввысь*»...

Там, «в выси» – ведь только зодиакальный свет и нет «Творца неба и земли», как и здесь, на одре умершего, обставленном склянками, микстурами, термометрами, и за час, и за день до трагического момента не было ничего, кроме починявшейся машины. Но винты не выдержали, ремни лопнули – и как живые, так и сам умерший свидетельствует, что деньги напрасно уплачивались уходящему стыдливо эскулапу.

II

И так пишется истина. «Луна делается в Гамбурге», – говорит одно действующее лицо у Гоголя; но в Гамбурге делается более, чем только луна: в нем делается истина и определяется заблуждение, и для этого, с тех пор как «позитивизм» и «естественные науки» распространили свой метод на все области человеческой любознательности, так же мало требуется строгости ума и кропотливых опытов, как мало нужно было сообразительности для изготовления луны. Мы привели миниатюрный факт, но ведь капля морской воды имеет тот самый вкус и цвет и даже удельный вес, как и миллиарды кубических сажен ее, умещающихся в бассейне моря. Это «научное» объяснение не *ad hoc* придумано здесь, не приведено как исключение, как странность в научных объяснениях, и, следовательно, мы можем рассматривать его как образец и норму. И что же? где *знание* здесь, превышающее знание обыкновенных людей? Взято то самое, что мы все знаем, и обок с этим приставлены слова: «свежесть мозга», «возбуждение нервной деятельности», и так как это все-таки понятно и не чуждо языку обыкновенных людей, приставлена «асфиксия» – что уже окончательно должно закрепить авторитет научного объяснения. Но я беру эту «асфиксию», «нервное возбуждение» и «свежесть мозга» и бросаю под стол, куда я бросаю всякий ненужный хлам, ибо ведь это – только хлам, «луна, сделанная в Гамбурге», и однако... тише, тише, это – «наука».

III

Новый деспот, и слабый, и сильный, когда же ты выпустишь из своих когтей истину? Когда же, вместо того чтобы принудительно заставлять людей идти к себе в Гамбург смотреть «единственную в мире луну», ты их допустишь вновь смотреть на ту, которая, по их слабому воспоминанию, иногда виднеется на небесах. Исполняя около природы роль уборщиков ее нечистот, копаясь в мертвом, гнилом, обнюхывая и ощупывая его разными инструментами и иногда, как в данном случае, вовсе ничем не нащупывая, – вы дерзаете уверять: «Мы развинтили мир по всем его швам и нигде не нашли в нем ни Творца, ни того, что вы зовете жизнью и духом». Кто дал вам право простирать свой язык дальше, чем на слова: «Это скверно пахнет», «это вонюче, как я»? И как кухмистеры только природы, вы смеете становиться ее философами, разрешать вопросы о вложенном в нее смысле, о ее глубочайшем содержании, которое для вас естественно исчерпывается чистотой горшка, в котором варятся ваши снадобья, и тяжестью корыта, из которого вам предлежит выплеснуть помои? Вас это оскорбляет? Вам это кажется недостаточным? Вам кажется, именно на корыто похож и Млечный путь, и там, вероятно, плещутся свои помои, и мы их только не видим, потому что оно обращено к нам дном? И целый мир, со своими огнями, то вспыхивающими, то меркнушими (переменные звезды), с человеком их созерцающим, с его страхом перед этими огнями, страхом за душу свою бедную, которая так хочет знать и не может – вам все это представляется похожим на затопленную плиту, перед которой сидит собака и не понимает, что значит это, что она топится? Вы ей это объясняете; вы указываете на горшки свои и на отверстия в плите; проводите руками через эти отверстия и через это внушаете, что все делается для этих горшков; подводите любознательного пса к ящику с дровами и, показав полено, объясняете, что такие же положены и в печь; и, указав на циферблат стальных часов, отмечаете место, где была стрелка утром и, следовательно, сколько времени топится плита. Пес может быть доволен; он доволен в особенности, когда вы, найдя его понятливым, бросаете ему кусок говядины; вы этот кусок бросаете и человеку (практические приложения), – но он, забыв о вашем куске, выталкивает вас вон и предпочитает лучше ничего не понимать о мире, нежели понимать это...

IV

Можно было бы, детально разобрав *швы* новой науки, указать, как ее точные сведения всюду связаны недостаточною мыслью; как – в то время как за природою наблюдал верный глаз – над фактами, этим глазом отмеченными, работала зыбкая, колеблющаяся, совершенно недостаточная мысль. Довольно указать на неразличение всюду в новой науке *условий способствующих* от *причин производящих* (особенно в биологических науках), на совершенную

темноту ее ко всем формам существования, кроме реального, где вещь уже *осуществлена, проявлена* и, как таковая, может быть измерена, описана, взвешена – чтобы убедиться, что не природу, но лишь момент ее изучает она, и, между тем, это изучение и сама принимает, и другим передает как познание целостной природы. Мы говорим именно о «реальном» познании; мы говорим о реторгах, колбах и еще тысяче точных приборов, которые, если б могли, краснели бы за грубость мысли, которая их поворачивает, присматривается, прислушивается к их показаниям и так явно не понимает то, что они усиливаются ей сказать. Наука давно вступила в *вербальный* период – где море слов, передвигаемых с места на место, для всякого готовых, всякому доступных, поглощает всякий живой факт, какой вам случилось бы открыть и на него указать миру, поглощает и всякую живую мысль вашу, нисколько не изменяясь в себе самой, оставаясь также невозмутимо спокойною на своей поверхности, между тем как на дне ее похоронены лучшие надежды, горечь сознания и даже груды ценной *нерассмотренной* действительности. Нужен новый исполин, как Бэкон, нужно новое самозаключение человека в себя, к какому был способен Декарт, – чтобы начать новое познание в стороне от этого грубого и поверхностного, – от этой второй схоластики, которая еще более удалилась от *реального* и еще *равнодушной* к истине, чем та прежняя в эпохи ее крайнего развития. Нужно читать «истории», нужно присматриваться к «объяснениям» литературных явлений, и, наконец, довольно знать общеустановившиеся воззрения нового человека на мир, чтобы понять, до какой степени действительность во всем, что есть в ней ценного и значущего, ускользнула давно из этих груд о ней нагроможденных слов, которые, однако, будучи произносимы с достаточною серьезностью, принимаются робким и не уверенным в себе человечеством за что-то более истинное и точное, нежели идущие из темноты времен воззрения его на мир и на себя. Но, в сущности, эти воззрения более глубоки и истинны; они – безотчетны только, не доказаны; они – плод более инстинктов ума, нежели его отчетливой работы. И, однако, как в природе мы не знаем вовсе инстинктов, которые без цели были бы даны и ничему реальному в окружающих обстоятельствах не отвечали бы, так и эти умственные инстинкты человека не для обмана были даны ему и необманно говорят ему о мире. Наука, если б она велась вперед умами более тонкими и возвышенными, пользовалась бы указаниями этих инстинктов в той совершенно темной области, куда она вступает; не полагаясь на них – к ним присматривалась бы; и это было бы не только более мудро, но и более *свободно*, нежели, как теперь, ее твердая решимость где бы ни бродить, только бы не туда идти, куда эти инстинкты указывают.

Мы сожалеем почти, что вдалились в эти общие соображения по поводу факта столь узкого значения, как случайная журнальная заметка; мы не отрицаем, что здесь, в этих условиях, эти соображения неуместны; но едва ли кто отвергнет, что вообще они не только уместны, но и необходимы.

ФИЛОСОФСКИЕ ВЛИЯНИЯ В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

I

Случается иногда слышать, что нам уже нечему учиться у древних, что единственное, к чему мы обязаны перед ними и перед их мыслью, есть уважение. Напротив, мы всегда думали, что в силе и отчетливости мышления они не превзойдены новыми народами и что поэтому всякий, кто ищет философской истины, должен обращаться к ним не с меньшим вниманием, чем с каким он обращается к произведениям новых мыслителей. По крайней мере, многое, о чем смутно и неполно продолжают еще писать и в наше время, было с удивительною ясностью расследовано уже греками. Сюда принадлежит, наприм., *теория процесса* как ряда преемственных и связанных изменений. Мы все еще бессильны подняться над движущимися атомами, наш грубый и неповоротливый ум все еще видит в мире только силу и вещество, движущее и движимое, — между тем как греческий гений с несравненною ясностью понял недостаточность этого объяснения и давно отличил в *процессе* такие элементы, которых мы и до сих пор продолжаем не замечать. Вот почему с изучением древней греческой мысли мы связываем отнюдь не исторический только интерес. Этот последний, мы думаем, никогда не может быть достаточно силен, чтобы сделать это изучение действительно внимательным и полным. Напротив, мы соединяем с этим изучением самый живой интерес, соединяем надежды приблизиться к истине, которою еще не обладаем. Мы должны обращаться к греческой философии более, чем к какой-нибудь другой великой философии, не только с тем, чтобы узнать, о чем и как думали две тысячи лет тому назад, но для того, чтобы узнать, как должны думать мы сами и сейчас.

Как бы то ни было, интерес к греческой философии никогда до сих пор не являлся господствующим у нас и никогда не был распространен. Ее изучению всегда предавались только единичные умы, и она не заинтересовывала всего общества. Предметом изучения служил у нас в особенности Платон и, в гораздо меньшей степени, Аристотель. Это различие в отношении к двум главным философским умам Греции следует объяснить, как нам кажется, тем, что Платон привлекал к себе известною возвышенностью своих умозрений и их близостью к тем истинам, которые составляют содержание христианской религии. Сюда следует присоединить еще и чрезвычайную красоту формы, в которую он умел облекать свои философские рассуждения и к которой более, нежели наше время, были чутки прежние поколения нашего общества. По крайней мере, старые наши переводчики Платона ничего не говорят о преимуществах его философии перед философиею Аристотеля в смысле большей близости к истине, и поэтому мы можем думать, что не эта близость к истине руководила ими при выборе предмета изучения. Что же касается до философии Аристотеля, то, имея исклю-

чительно объясняющий характер, она не привлекала к себе умы прежнего времени – частью, вероятно, вследствие скрытого недоверия к способности отвлеченной мысли объяснить что-либо действительное, частью вследствие вообще слабого у нас интереса к подобному объяснению. Все это станет яснее, когда мы скажем далее о различных типах философских систем. Поэтому те сочинения Аристотеля, которые посвящены теоретическим знаниям, почти не изучались; изучались же и переводились наименее значительные его произведения, именно те, которые, по его собственному разделению, относятся к знаниям практическим – цель которых не объяснять природу, но руководить человека в его деятельности. Сюда в особенности относится его сочинение о поэтике. Как это ясно из самого названия этого произведения, оно изучалось не из интереса к философии, а из интереса к литературе, к искусству созидания в области слова и к изучению созданного. Этот интерес естественно вытекает из того чрезвычайного оживления, с которым наша поэзия, в течение не более одного столетия, и возникла, и развилась до своих настоящих размеров. Несколько позднее и отчасти уже в наше время предметом изучения стали политические и нравственные сочинения Аристотеля.

Наконец, что касается до того, что интерес к греческой философии никогда не был распространен в нашем обществе, то это, как нам кажется, происходит от двух причин: во-первых, от трудности греческой философии и, во-вторых, от своеобразного способа изложения у древних, который так не схож с манерою литературного изложения у нас. Трудность греческой философии для понимания естественно вытекает из того, что она дошла до нас главным образом в своих последних, заканчивающих произведениях (Платон и Аристотель), которые явились последним плодом продолжительных и напряженных усилий греческого гения разрешить для себя основные вопросы бытия и знания. Для нас исчез, или почти исчез, весь длинный ряд предшествовавших попыток разрешить эти вопросы, – и мы, не подготовленные изучением их, не воспитанные и не изошренные этим изучением, принуждены непосредственно входить в чрезвычайно сложный и тонкий мир мысли Платона и Аристотеля. Это еще возможно для единичных умов, но невозможно для массы общества, которая должна пережить что-либо подобное в своем собственном умственном развитии, должна проработать ряд философских мировоззрений вместе с выдающимися умами в своей среде, чтобы стать способною к восприятию высокоразвитых мировоззрений какого-либо чуждого народа. Этого необходимого условия всегда недоставало у нас, и этим, без сомнения, объясняется то, что едва ли не все идеи греческой философии, принадлежащие к числу общеизвестных, восприняты у нас не в своем истинном смысле, но в ином и гораздо более легком для понимания. Таково, например, понятие о Платоновых *идеях* как о чем-то неизменяющемся и неподвижном, что существеннейшим образом противоречит учению Платона, как оно изложено в «Софисте» и отчасти «Пармениде».

II

Господствующее положение в нашей науке и литературе всегда занимала философия германская, и интерес к ней был распространен и в массе общества. Характеристические черты ее влияния были следующие. Во-первых, ее идеи распространялись преимущественно с кафедры. Далее, изучение ее было чрезвычайно жизненно в том смысле, что оно не замыкалось в самом себе, не оставалось без последствий, но косвенно оказывало сильнейшее влияние и вне сферы собственно философских изучений; оно направляло научные занятия и определяло их характер, напр. в области истории, теории литературы и вообще искусства и даже в сфере наук о природе. Наконец, она с чрезвычайною силою влияла на литературу и общество, отражаясь, напр., в идеях обеих наших больших партий – славянофилов и западников. Ее влияние, кроме внутренних достоинств, следует объяснить нашею близостью с Германией и постоянством общения с ней, особенно через посылку наших ученых в ее университеты. По крайней мере, известно, что вне своего отечества германская философия распространилась ранее всего у нас и у нас же, по всему вероятию, наиболее тщательно изучалась. У нас она нередко всецело становилась мировоззрением людей и определяла все их жизненные взгляды и отношения, тогда как в других странах она, если и входила в убеждения людей, то всегда лишь в ряду многих других ей чуждых идей и была скорее известна только, нежели влиятельна (Тэн, Ренан). Наконец, что влияние германской философии во многом объясняется близостью и постоянством наших сношений с Германией, можно видеть и из того, какие именно философские системы ее у нас господствовали: изучались почти исключительно те системы, которые в данный текущий момент являлись господствующими в Германии. Так, ни Лейбниц, ни даже Кант не изучались с такою тщательностью, как Фихте, Шеллинг и Гегель, и из трех последних первым двум далеко не уделялось столько внимания, сколько третьему, без сомнения потому, что в самой Германии их философия чрезвычайно быстро сменилась философией этого последнего*. Замечательно, что ни одно сочинение Шеллинга не переведено на русский язык. Вообще, в самый разгар изучения германских мыслителей они почти совершенно не переводились на русский язык. Переводы стали появляться только с начала шестидесятых годов, и это, быть может, не без косвенного влияния начавшегося в это время совершенно иного философского течения. Здесь, вероятно, сказалось жела-

* Мы опускаем здесь влияние Вольфа и его школы, потому что оно не простиралось на литературу и общество и ограничивалось почти исключительно учебными заведениями, преимущественно средними. Вольф своею тщательною, хотя и не глубокою, обработкою всех частей философии в ряде ученых трудов представил богатый запас сведений, из которых долгое время черпали материал все наши составители учебных руководств по философии и ее отдельным частям, особенно по логике. Но ни сам Вольф не был глубоким философом, ни переделки его сочинений не могут назваться в строгом смысле изучением философии.

ние защитить идеалистическую философию, выдвинув ее не в переработке, а в ее неизменном виде.

Влияние германской философии развивалось одновременно с изучением древней и благоприятствовало ему, хотя это изучение являлось подчиненным по отношению к изучению философии германской и как бы вытекало из него. Мы уже говорили, что жизненного значения идеи греческой философии никогда не имели в нашем обществе и в нашей литературе, т. е. они никогда не получали руководящего влияния и объясняющего значения в области других наук или в сфере практической жизни. Изучение произведений древней философии всегда было только предметом специальных занятий немногих ученых, и в этом оно резко отличалось от изучения германских философов (или вообще новых), которое всегда было жизненно, всегда велось с целью научиться, с надеждою достигнуть истинного знания.

III

С 60-х годов появляются два новых течения в развитии философских изучений в нашей литературе и в обществе: одно служит выражением английской классической философии, другое – выражением позитивной; оба одинаково враждебные прежним направлениям и хотя различные, но сочувственно относящиеся друг к другу.

Есть два способа относиться к научным трудностям: первый состоит в том, чтобы бороться с ними, в борьбе изошрять свои силы и наконец преодолевать их; второй способ состоит в том, чтобы обходить их. История специальных наук и философии одинаково представляет примеры как одного, так и другого отношения; однако к чести человеческого ума следует заметить, что уклонения от решения трудных вопросов являлись несравненно реже, нежели настойчивые попытки разрешить их. Есть некоторые немногие вопросы науки, самое возникновение которых было неправильно и обусловливалось неясностью, неразработанностью той или другой области знания. Таковы знаменитые задачи в геометрии и в механике: найти квадратуру круга и вечное движение. Можно сказать, что общему характеристикою этих вопросов служит некоторая как бы исключительность их, отсутствие общего значения для науки, которое могло бы приобрести их разрешение. Они лежат в стороне от цельного движения науки, и их нерешенность ни в чем не препятствует этому движению, нисколько не задерживает его. Это вопросы скорее любопытные, нежели важные. Заметим, однако, что, несмотря на их неважность, ум человеческий и от них отказался только тогда, когда была строго и отчетливо доказана невозможность их разрешения. Кроме этих немногих и исключительных трудностей, признанных неразрешимыми, есть другие и гораздо более многочисленные трудности, которые часто в течение ряда веков не поддавались усилиям человеческого ума, и история их разрешения – то, что следовало за этим разреше-

нием, – чрезвычайно поучительна. Разрабатывая какую-нибудь область науки и уже исчерпав ее содержание, ум человеческий обыкновенно находил, что в то время, как все другое в ней ясно и не возбуждает никаких недоумений, есть немногие вопросы, которые решить было не только неизмеримо труднее, нежели все остальные, но которые и после всех усилий еще заключают в себе некоторую неясность: в решении их как будто есть какая-то недоконченность, в них самых – какая-то темнота и запутанность. И всякий раз, неустанно размышляя о них, человеческая мысль приходила к открытию новой и высшей области науки, самого существования и возможности которой никто не подозревал дотолде. К этой высшей области именно и принадлежали казавшиеся столь трудными прежде вопросы – в ней они получали ясное и простое разрешение. Исследовав эту новую область, человек и в ней находил некоторые особенные трудности, решение которых вводило его в другую и еще более высокую сферу знания, и т. д., до нашего времени. Все эти особенные и трудные вопросы науки представляли собою как бы нити, только один конец которых находился в исследуемой области, другой же скрывался в той, которую еще предстояло открыть. В истории они всегда служили и ариаднину нитью, которая все дальше и дальше уводила человеческий ум в лабиринт знания, и основным стимулом, который никогда не давал ему успокоиться, во всякий момент времени являясь перед ним тем, что, с одной стороны, уже было хорошо известно, с другой же стороны, было еще совершенно темно. Пользуясь совершенным светом или пребывая среди совершенной темноты, человек, быть может, не двигался бы вперед; ему нужен некоторый полумрак, и вечные усилия рассеять его составляют то, что мы называем историей науки и философии. Как на особенно известные примеры подобного открытия новых сфер знания через изучение особенно трудных вопросов в прежних сферах можно указать на открытие аналитической геометрии Декартом и дифференциального исчисления Лейбницом.

К числу подобного рода затруднений, без сомнения, относятся и вопросы философии, стремящейся изучить элементы всякого бытия и знания. Думать, что в течение ряда веков все ее усилия были совершенно бесплодны, может решиться или тот, кто не знаком с тем, что приобретено этими усилиями, или тот, кто, в силу самого устройства своего ума, не может понять и оценить эти приобретения. Что теория знания ничего не приобрела в трудах Канта, что все жизненные процессы нисколько не стали яснее после Лейбница, – утверждать это возможно лишь при отсутствии истинного и глубокого интереса к этой теории и к этим процессам, и при вытекающем отсюда поверхностном изучении названных философов. *Отсутствие живой любознательности есть исключительный и единственный источник всякого отрицания философии,* – и такое отрицание всегда являлось результатом или временного, или местного понижения психического уровня, ослабления умственной силы. Оно может внушать тревогу за данные условия исторической жизни и за тех, кто живет в них, но оно не может и не

должно внушать никаких опасений за самую философию. Если до сих пор у всех народов она развивалась в высшие моменты их духовной жизни, если ей предавались самые могущественные умы человечества, если она завершала всякую историю, а не являлась в начале ее, во время всеобщей грубости, то и мы, на основании двухтысячелетнего опыта, должны скорее усомниться в чрезвычайном превосходстве своих умственных сил, нежели думать, что в наше время история совершается как-то совершенно наоборот сравнительно с тем, как она повсюду и всегда шла до сих пор.

Но и, далее, признание неразрешимым не одного какого-нибудь вопроса, и притом имеющего частное значение, а всей совокупности вопросов, из интереса к которым возникла философия, – это также противоречит всему, что мы знаем об истории наук. Эта неразрешимость была бы таким же странным и необычайным явлением, как если бы геометрия была возможна в некоторых побочных своих ветвях, но невозможна была бы в своем целом, наприм. в ней существовала бы и разрабатывалась теория пределов или учение о конических сечениях, но не было бы возможности что-нибудь сделать в стереометрии или в тригонометрии. И мы думаем, что на усилия ограничить философию индуктивной логикой и опытной психологией следует смотреть не иначе, как мы смотрели бы теперь на мнение ученых времени упадка греко-римской цивилизации и зарождения христианской, которые стали бы утверждать, что, наприм., геометрия закончена Эвклидом, так как позднейшие попытки Архимеда и Аполлония ввести в область ее изучения конические сечения остались совершенно безуспешными: совершенная непонятность их сочинений с ясностью доказывает-де, что эта наука навсегда должна ограничиться изучением фигур, чертимых с помощью циркуля и линейки.

Каждое сочинение, каковы бы ни были его внешние черты, сопровождается или не сопровождается оно эрудицией, – научно лишь настолько, насколько оно доказательно; поэтому, что касается до трудов специально философских, то их научность обуславливается единственно силою суждения. И вот именно здесь – в этом центральном нерве всякой науки и всякой философии, замечается в текущей литературе какая-то тревожная расстроенность, что в особенности и побудило нас выше приписать отрицание философии простому понижению психического уровня в переживаемый нами момент исторической жизни. Эта расстроенность силы суждения проявляется в двух чертах: в неспособности сознать силу чуждой аргументации и в неспособности почувствовать слабость собственной*. Каждый, кто внимательно стал бы

* По временам эта неспособность к суждению достигает поразительной степени: нам случилось прочесть в одном из журналов ряд публичных лекций, читанных в Петербурге, предметом которых служили явления зависимости физиологических функций от воли человека (напр., произвольное ускорение своего кровообращения, к которому способны некоторые индивидуумы). Вообще все лекции отличались чрезвычайным интересом сообщаемых фактов, но каково же было наше изумление, когда в конце последней мы прочли заключительный вывод, что все эти факты с очевидностью показывают зависимость психических явлений от коркового вещества мозга

присматриваться к научным трудам нашего времени, в большинстве их заметил бы этот странный недостаток: обыкновенно всякого рода мысли в них высказываются и иногда развиваются, но почти никогда не обосновываются, и это до такой степени стало обычно, что уже почти не замечается. Если доказательства иногда и приводятся, то они имеют такую форму, что в них скорее можно видеть остаток литературной манеры прежнего времени, нежели живую логическую потребность пишущего: так мало в них осторожности, так торопливо и небрежно они делаются. Идеи высказываются и принимаются просто на основании большей или меньшей склонности к ним, которая обуславливается всем психическим строем и общим характером ранее воспринятых впечатлений и случайно усвоенных знаний. Древние сказали бы, что это «мнения, а не знания»; применяясь к понятиям нашего времени, мы скажем, что тут нет никакой доли науки. Так и знаменитое положение об исключительно опытном происхождении всех знаний, высказанное английскою философию, в применении к самой основе индукции – закону всеобщей связи причины со следствием – может быть выражено так: «Все знания, приобретенные путем индукции через простое перечисление, не обладают полною достоверностью; знание закона всеобщей связи причины со следствием приобретено путем индукции через простое перечисление (бесчисленные и частью бессознательные наблюдения над окружающею действительностью); однако этот закон отличается полною достоверностью и, в качестве основы индуктивной теории, есть источник достоверности всяких других знаний». Здесь различие в степени достоверности двух знаний, добытых (по предположению) одним и тем же путем, является первым примером беспричинного факта; и то, что он не возбуждает внимания и любопытства целой философской школы настоящего времени, свидетельствует о том отсутствии в ней любознательности, о котором мы говорили выше.

Из английских философов Д. С. Милль пользуется едва ли не наибольшим уважением и любовью в нашем обществе, и притом в его наиболее развитой и благородной части. Причина этого лежит в том, что вместе с некоторыми другими философскими писателями Нового времени – Литтре, Ланге, а у нас Кавелиным – он образует очень характерную группу мыслителей, к которой так идут прекрасные слова: «*Video meliora proboque, deteriora sequor*»*. В великом историческом процессе, через который проходит духовная жизнь Европы, они были избраны выразителями одного переходящего, но необходимого момента. Бессознательно и неволью для себя они выполняли эту миссию, но они несли ее как бремя. Проповедь того, что они считали истиною, не приносила им радости, и они чувствовали что-то почти враждебное к тем, кто за ними следовал. Окруженные европейскою славою, они лишены были того простого и светлого чувства, которое жило в самых убогих проповедниках противоположных идей, часто преследуемых и гонимых. На всей их деятельности лежит печать какого-то грустного

* «Доброе вижу и сочувствую ему, но влекусь к иному» (лат.).

стоицизма, и он исходил не из внешней борьбы, которая для них была легка и успешна: они являлись стойками не в отношении к окружающему обществу, но в отношении к той роли, выполнить которую им было суждено историею. Кто умеет чувствовать помимо прямого и точного смысла слов тот дух и то настроение, с которым писатель произносит их, тот увидит в их сочинениях первые симптомы того чувства, которое в последние годы с такою силою охватило европейские общества и обусловило принятие и распространение философии Шоенгауэра и Гартмана. Неустанные борцы против спиритуализма во всех формах его, они ни к чему не влеклись с такою силою, как именно к нему, ни к чему не прислушивались с таким вниманием, ни над чем не задумывались так часто; и то, что в течение своей жизни они так тщательно хоронили в себе, то они выразили под конец ее, не будучи в силах долее сдерживаться*.

Кроме названных писателей и более, нежели все они, читался у нас Герберт Спенсер; но он уже относится к совершенно иному течению философской мысли. Если Д. С. Милль служит только соединительным звеном между английскою классическою философию и позитивною, то Спенсер является уже представителем позитивизма, к влиянию которого на нашу литературу мы и переходим.

IV

Позитивное направление философии, в противоположность всем ранее указанным, очень слабо выражено в наших университетах и академиях, но чрезвычайно сильно в литературе и в обществе. Оно почти не проводится *ex cathedra***, а если и проводится, то большею частью не с кафедры философии; но ему посвящено множество отдельных трудов и статей в периодических изданиях, и что интерес к этим трудам был очень жив – на это указывает то, что и вся остальная наша литература в ее целом полна была веяний этого направления. С 60-х годов оно почти безраздельно господствовало в нашей литературе и жизни и только в последние годы наполовину вытеснено другими влияниями. Заметим, что по своей жизненности, по влиянию на весь склад убеждений – нравственных, религиозных и политических – оно походит на влияние германской философии в 40-х годах.

* Литтре бросает позитивную философию для своего исторического словаря и считает его лучшим и самым долговечным своим трудом; Д. С. Милль пишет под конец жизни трактат о религии; Ланге почти каждую главу своей «Истории материализма» начинает с полемики против идеализма, а кончает отрицанием материализма; юрисг Кавелин кончает тем, что личное нравственное совершенствование ставит выше общественно-политических улучшений (в «Задачах этики») и признает недостаточность утилитаризма. Чрезвычайно характерно также различие в его отношениях к проф. Сеченову и к Самарину.

** с кафедры (*лат.*).

Мы сказали, что влияние позитивной философии уже наполовину вытеснено теперь; можно прибавить, что она вообще есть явление отживающее. Она ни в ком не вызывает более энтузиазма, и ее основные положения уже не распространяются, но только защищаются – верный симптом всякого упадка в сфере духовной жизни. Даже те, которые принимают на себя ее защиту, делают это вяло, без какого-либо напряжения сил, и, можно думать, из этих защитников многие готовы равнодушно променять ее на всякую другую философию. В большинстве случаев, по самому характеру их писаний можно узнать в них философских индифферентистов, которые держатся позитивизма не потому, чтобы он был им дорог, но вследствие простой косности, для которой неприятна всякая умственная работа и необходимо связанное с нею всякое изменение враз сложившихся убеждениях. Однако если не в среде писателей, то в массе общества еще находятся люди, искренно и глубоко убежденные в истинности этого учения.

Роковым для позитивной философии может быть вопрос: что именно она дает человеческому знанию, чего не дано помимо нее? Она отрицает философию, и она бесполезна для наук. И в самом деле, если смысл и цель ее заключается в том, чтобы показать бесплодность всякого умозрения, сосредоточить умственные силы людей исключительно на положительном знании, то она могла бы иметь значение лишь тогда, когда цель эта была бы достигнута. Но люди продолжают заниматься философией после появления позитивизма так же, как и до него. Значит, он не содержит в себе доводов, одинаково убедительных для всех. Явление странное: каждое открытие, каждое положение в сфере точного знания – в математике, в физике, в химии признается тотчас же всеми людьми, не отвергается приверженцами ни одной философии; отчего же утверждения позитивизма принимаются не всеми? Быть может, восставая против философии, он сам есть только философия? Это подозрение оправдывается не одною историею его распространения, но и историею его возникновения. Он не только распространяется совершенно так же, как распространялась и всякая другая философия – принимается одними и отвергается другими, чего никогда не бывает с точными науками, с «положительным знанием»; но и кроме того, если всякая истина, как в нем утверждается, должна быть результатом опыта и наблюдения, то можно спросить: на каких опытах и наблюдениях возведено здание самой позитивной философии? Очевидно, что это есть теоретическое построение, как и всякая другая философская система: О. Конт вовсе не был экспериментатором, а мыслителем, – и кто станет отрицать это? Но если так, то положительная философия содержит в себе и предсказание своей ближайшей судьбы; ее значение «взвешено и смерено» в ней самой. И в самом деле, она утверждает, что все философские построения преходящи, и потому не истинны. В отличие от точных знаний, они временно властвуют над человеческими умами и сменяются одни другими, чего не может быть с истинною доказанною, точною. Следовательно, как философское построение и она должна погибнуть в будущем, а с нею и все содержа-

ние ее, весь смысл, все положения и требования. Но все в сфере знания, что исчезнет в будущем, не есть уже теперь истина. Итак, признание позитивизма ведет к его отрицанию, и это с безусловною необходимостью: если он есть лишь требование, то он лишен силы заставить признать себя, и потому бесплоден; если он есть теоретическое построение, то почему оно истинно, когда все другие ложны? Если он есть ограничение и обоснование знания опытом и наблюдением, то зачем он на первых же шагах изменил себе, не призвав опыт и наблюдение к постройке самого себя?

Но, являясь так безнадежно запутанным с философской точки зрения, позитивизм и для точных наук остается также бесплодным, и в этом именно лежит его главный недостаток сравнительно с другими системами философии. На философию в ее историческом развитии следует смотреть именно как на *системы мыслимости* того, о чем или не может быть никакого точного знания, или о чем оно еще не явилось пока. Отсюда именно и вытекает ее глубокая жизненность в целом, несмотря на все умирания отдельных систем, и здесь же лежит объяснение того факта, что, не будучи сама точным знанием, она всегда стояла во главе наук, двигала, одушевляла и направляла их; наконец, в этом же следует искать объяснения и третьей особенности ее сравнительно с точным знанием, именно ее универсального значения в умственной жизни народов – того, что в каждый момент своего развития она являлась центральным фокусом, в котором сосредоточивались все духовные интересы, все искания и все надежды данного поколения людей. И в самом деле, есть многое, о чем человек не может иметь точного знания, но от мысли о чем (в какой бы то ни было ее форме) он не может отказаться. Мир в своем целом похож на сложный механизм, который лежит перед человеком, но к которому он не может приблизиться. Он видит некоторые части этого механизма, но ничего не знает о других, и особенно внутренних, частях; не знает также и того, откуда он взялся и для чего существует. Спрашивается, может ли он воздержаться от всякой мысли об этих невидимых частях, этом неизвестном возникновении и неизвестной цели? Мы думаем – не иначе, как перестав быть человеком. Животное смотрит на такие механизмы безо всякого желания узнать то, что скрывается за видимыми их частями; но человек – ребенок, дикарь, философ – всегда что-нибудь думает о нем. Здесь проявляется вечное стремление всякого знания перейти в понимание, и оно вытекает из самого устройства психической природы человека, почему одинаково присуще и тому, кто посвятил всю свою жизнь науке, и тому, кто не знает самого слова «наука». Об этом-то неизвестном человек может образовать или ряд мыслей, которые не будут противоречить ни тому, что он замечает в видимых частях механизма, ни друг другу: это – *философия*; или он может вообще что-нибудь думать, представлять себе то или другое, нисколько не связывая эти представления ни между собою, ни с тем, что он видит: это – *мнения* обыкновенных людей, чуждых философии и науки; наконец, он может будто бы совершенно ничего не думать: это – *позитивизм*. Но содержится ли в последнем какое-нибудь средство подавить в чело-

веке эту потребность переходить от знания к пониманию? Нет, он есть лишь совет или требование удерживаться от ее удовлетворения. Приверженцы этой странной философии утверждают, что сумели достигнуть такой воздержанности, но мы им не верим, потому что продолжаем видеть в них людей. Показателем их тайных мыслей служит их неодинаковое отношение к тем, кто так или иначе высказывает свои взгляды на это неизвестное. Кто ничего не утверждает, тот ничего и не отрицает; и кто никак не думает о чем-либо, тот одинаково относится ко всяким мыслям о нем. Сохраняют ли позитивисты это абсолютное спокойствие, абсолютную одинаковость в своем отношении ко всем мирозерцаниям, каков бы ни был их характер? Нет, они не делают этого – они с жаром отрицают одно и равнодушнее смотрят на другое, напр. равнодушнее смотрят на рационалистическую философию, нежели на теософию; значит, они думают что-то о неизвестном, но только не высказывают ни другим, ни даже друг другу своих мыслей. Из них каждый в отдельности есть в душе философ, но их философия по необходимости плоха, потому что они чуждаются общения, не высказываются и взаимно не проверяют своей философии. Она плоха и потому также, что образована почти бессознательно, что она – не плод тщательного обдумывания, но уродливый результат полуглушенной потребности, которой не дано правильного удовлетворения. Весь смысл позитивизма сводится к этому: лучше плохо думать, чем хорошо, мысли бывают истиннее, когда они не развиты и не согласованы друг с другом, мышление правильнее, когда оно бессвязно, – «credo, quia absurdum est»*, как сказал еще Тертуллиан полторы тысячи лет назад. Философия, напротив, принимает это непознаваемое и стремится дать удовлетворение этой потребности. С искусством и силою, какие только доступны человеческому уму, она построит систему мысли, в которую могут быть внесены поправки или которая будет даже заменена другою, но однородною по цели и по существу. В действительности все философии чрезвычайно близки между собою, родственны. Как треугольник и квадрат одинаково суть геометрические фигуры и существование одного несколько не исключает истинности существования другого, так и предшествующие философии не упраздняются, но лишь дополняются последующими. В действительности – это одно царство человеческой мысли, в котором можно кое-что поправить или удалить, но в котором ничто не разрушено и не разрушимо целиком. Те или иные люди охотнее живут умом в одних сооружениях этого царства, нежели в других, но это не уничтожает их истинности. Народы не обманывались в течение веков, входя в это царство мысли и преклоняясь перед ним; напротив, ими руководил верный инстинкт. Если оно и не окончательная истина, как всякое единичное знание в точных науках, то это – величайшее приближение к истине, и притом обнимающее собою не частные предметы и явления, но самую вселенную, в которой лежат все они.

* верую, потому что абсурдно (*лат.*).

Кроме сфер, навсегда закрытых для ясного и точного знания, есть другие, куда оно еще не успело проникнуть. Это – области, в которые предстоит вступить точным наукам, но куда они не могут вступить, если будут идти наудачу, не руководясь никаким планом, никакою мыслью. Этот план, эта руководящая мысль может быть дана точным наукам опять только философией. Как в системе мыслимости или, точнее, как в ряде таких систем, в ней уже исчерпаны все способы отношения человеческого ума к неизвестному. В каждый момент своего развития, каждый раз, когда она стоит перед неразрешенною задачею, точная наука повторяет в себе то положение, в котором всегда стояла философия: то же непознаваемое лежит перед нею; и в философии, в длинном ряде попыток проникнуть в неизвестное, она может выбирать тот способ, который ей кажется наиболее пригодным. Отсюда – великое методическое значение умозрительной философии. Она есть неистощимый арсенал, откуда всякая наука может брать нужное для нее оружие. Каждое открытие, которое предстоит сделать, всякое ожидаемое объяснение не может быть ничем иным, как только некоторою комбинациею человеческой мысли, отличною от тех, которые уже существуют: мысль должна совершить некоторое движение, чтобы выйти из того расположения идей и представлений, которое в ней есть, и принять другое, искомое. Этот переход должен быть совершен по какому-нибудь пути, и указание этих путей содержится в философии, которая ходила всеми путями. Не «Аналитики» Аристотеля и не дополнение, сделанное к ним Бэконом, но философия во всем ее целом есть великий двигатель всякой науки. Историки философии замечают, что ни Аристотель не руководился правилами силлогизации в построении своей философии, ни ученые правилами индукции в своих открытиях и что вообще знание логики не дает средства двигать науку вперед. Но из общего хода человеческого развития мы знаем, что великим успехам в области точных наук всегда предшествовало великое развитие теоретического мышления: эпохе александрийских ученых – развитие греческой философии, эпохе зарождения новой науки в XVI–XVII вв. – великое напряжение мысли в схоластической философии. Вовсе не в «Новом Органоне» Бэкона следует искать начала новой европейской науки, так как из истории ее с точностью известно, что его или не знали, или на него не обращали внимания творцы точных наук – механики, физики, астрономии и других: ее истинный корень лежит в схоластической философии – в том историческом воспитании и изощрении, которое получила в ней предварительно человеческая мысль. Этим объясняется, почему народы новейшей формации, и между ними мы сами, наш народ, – ничего, или почти ничего не можем сделать в науках, хотя творения Бэкона открыты перед нами. Это потому, что наша мысль исторически не воспитана, и именно в философии. Замечательно, что сам Бэкон не только ничего не сделал в науках, но даже не понимал открытий, сделанных его современниками, напрогив.

Декарт и Лейбниц – творцы новой умозрительной философии – дали великое движение и гонимым наукам: один – открытием аналитической геометрии, другой – изобретением дифференциального исчисления. Но и, кроме того, они с величайшей проницательностью трудились над выяснением всех первых и основных начал физико-механических наук, которые с таким трудом возникали в их время, и дальновидность одного из них простиралась так далеко, что современный нам физик сказал о своей науке: «Будучи ньютоновской по содержанию, она является картезианской в своих стремлениях»*.

Все сказанное относится к методам как общим путям всякого исследования. Но для успешности последнего необходимы еще некоторые *предваряющие представления* о неизвестном, без которых невозможно приступить к самому исследованию его. Они обуславливают собою частные приемы изучения, его исходную точку и подробности. Нельзя ничего изучать, не имея совершенно никакого представления об изучаемом, потому что с чего тогда начать его? И на какой вопрос оно должно ответить? Эти представления, которые невольно и непременно составляет всякий натуралист, приступая к опытам и наблюдениям, – в наиболее совершенной форме и, следовательно, наиболее могущие облегчить изучение, содержатся также в философии. Будучи цельным мирозерцанием, она может дать созерцание и того частного, что предстоит исследовать, потому что частное всегда отражает в себе целое, имеет нечто аналогичное в своем строении и в своей сущности с этим целым, никогда не может быть чем-либо совершенно разнородным с ним. Целое же в философии если и не познано окончательно, то обдуманно с такою тщательностью, которая дает возможно большее приближение к знанию: философия не есть сама истина, но то, истиннее чего ничего нет. И притом целое в ней обдуманно не только в форме общего представления; в ней содержится также выяснение и основных категорий, на которые оно распадается. Таковы, наприм., начала причинности и целесообразности. Что бы ни изучала точная наука, она всюду встретится с проявлением которого-нибудь из этих начал, и ясно, что понимание их может облегчить объяснение единичных явлений природы.

В этом-то методическом отношении позитивная философия бессильна, и это составляет главный недостаток ее – тот, вследствие которого, ничего не внося собственно в философию, она является бесполезною и для наук. Что в ней не содержится никакого нового открытия или объяснения природы, это общеизвестно; но в ней не содержится и никакого указания, которое могло бы способствовать таким открытиям, никакого объясняющего принципа для явлений и предметов. Умозрительные построения она отвергает, а метод опытного исследования, который хотя и не помогает открытиям, но

* «Философия Декарта. Рассуждение о методе». Перевод и объяснения проф. Лубимова. СПб. 1886. Предисловие.

по крайней мере объясняет, как они совершились, был установлен Бэконом и усовершенствован Ньютоном, Гершелем и Д. С. Миллем; О. Конт и его школа ничего не сделали в этом отношении. Далее, будучи сама теоретическим построением, и притом по своей трудности не могущим стать в уровень с другими системами философии, она ничего не может дать как образец и как пример. Что касается до предваряющих представлений, то, не будучи цельным мирозерцанием, она не может дать и их; эти представления, по ее указанию, должны быть лишь результатом точного исследования, которое, однако, как мы заметили, не может и начаться без них. Но что в особенности важно – это то, что в ней не изучаются категории мироздания, и потому она не может даже способствовать объяснению ни одного явления. Единственная категория, на которую она указывает лишь как на объясняющую явления природы, есть категория причинности. Но она уже ранее была разработана Декартом, а также отчасти (в другом смысле) английскою классическою философиею.

Единственная отличительная особенность позитивной философии заключается в известной иерархии, которую она устанавливает между науками, и эта иерархия есть именно то, что ни в каком случае не полезно, а может быть, даже и вредно для них. Ее основная мысль состоит в том, что человеческое знание должно восходить от простейшего к более сложному. Эта мысль высказана уже Декартом в его «Рассуждении о методе», и она справедлива и плодотворна именно лишь настолько, насколько установлена им: т. е. *при изучении однородного*, одни части которого более просты, а другие более сложны, мы должны начинать с первого, как, наприм., в алгебре решению уравнений квадратных и со многими неизвестными должно, конечно, предшествовать решению уравнений с одним неизвестным и первой степени. Но О. Конт распространил это на все сферы познаваемого, соединил их в одну непрерывную, будто бы лишь усложняющуюся цепь бытия, а ряд наук, познающих это бытие, установил таким образом, что он начинается с математики и завершается социологией.

Это может иметь лишь два смысла: во-первых, тот, что для успешности изысканий в последующей науке нужно пользоваться тем, что уже добыто в науке предыдущей, *как истинною*; и во-вторых тот, что к более сложной науке приложимы *методы* простейшей. При том и другом смысле цепь бытия необходимо предполагается однородною – иначе очевидно, что ни методы, ни истины предыдущей науки не приложимы к последующей. Но если допустить первый смысл установленной О. Контом иерархии, то самая разработка сложных наук должна представиться совершенно невозможною, потому что к более сложной науке, очевидно, приложимы не начальные истины науки предыдущей, но истины завершающие – иначе был бы ряд наук, а не иерархия, в которой основание последующей науки покоится на вершине предыдущей. Так именно и понимается

это отношение наук, что можно видеть, наприм., из слов, сказанных на съезде германских натуралистов одним физиологом (если не ошибаемся, Гельмгольцем): «Организм и его явления есть только *необыкновенно трудная* механическая задача». Но уже относительно простейшей науки – математики известно, что достижение ее вершин столь трудно и в этих вершинах она становится столь сложною, что ученые, работающие в одной ее области, не знают и не в силах следить за тем, что совершается в других областях; а между тем совершенно неизвестно, какая именно из завершающих областей предыдущей науки может стать пригодною для разработки последующей, и, следовательно, они должны быть в равной мере изучаемы все. Ясно, что тот, кто захотел бы разработке более сложной науки предпосылать усвоение содержания всех простейших, вечно кончал бы только началом, т. е. он постоянно только усвоял бы и никогда не разрабатывал, вечно учился бы и никогда не научал. Таким образом, при этом понимании иерархии наук никакой прогресс в последних невозможен.

Если же принять второй смысл, то требование О. Конта, будучи во всяком случае бесполезно, в одном случае может быть вредно. И в самом деле, сказать, что психология, наприм., должна разрабатываться при помощи физиологии и ее методов, – это значит не оказать услуги ни физиологии, ни психологии. Первой оказана была бы услуга лишь тогда, когда мысль О. Конта сопровождалась бы указанием какого-нибудь средства ускорить разработку физиологии нервной системы, которое могло бы проникнуть в те тонкие и глубокие области органических отправлениях, где они переходят в психические. Но такого средства О. Контом не указано, а без него эта наука продолжает развиваться и теперь так же, как она развивалась и до него, как если бы его философии никогда не появлялось. Что касается до психологии, то требование позитивной философии в отношении к ней сводится к тому, чтобы были оставлены особые приемы изучения, существующие в этой науке, т. е. что психологи должны примкнуть к физиологам. Это, конечно, должно увеличить число последних, но и то лишь неискусными и непривычными рабочими, – но что может произойти от этого для самой науки? Если психологические явления действительно сводимы к физиологическим, то естественным своим развитием, независимо от указаний О. Конта, она дойдет и до объяснения последних; но возможно и другое предположение. Однородность явлений психических и физиологических или, возвращаясь к общей мысли О. Конта, непрерывность ряда всех существ и явлений природы, различие их лишь большею или меньшею сложностью – это есть вопрос, который, конечно, разрешится только с завершением науки. Но что, если этой непрерывности не существует, и мироздание распадается на категории, несводимые одна к другой? Что, если явления и предметы, изучаемые простейшею наукою, окажутся лишь побочною опорой для явлений и предметов, изучаемых более слож-

ною наукою, отнюдь не захватывающею их *сущности*? Тогда указания О. Конта уже не останутся только бесполезными, как в первом случае, но явятся величайшим тормозом для развития науки, какой только когда-нибудь появлялся в истории; а все успехи наук, столь быстрые и вызывающие всеобщую радость, окажутся хотя и действительно «увеличением количества человеческих знаний», но, однако, знаний лишь мнимой важности, только закрывающих собою истинный предмет и истинные задачи каждой науки. В этом случае физики, решающие «необыкновенно трудную задачу организации и жизни», или физиологи, работающие над вопросами психологии, будут походить на того, кто, желая уразуметь сущность осадного искусства, стал бы изучать цвет, в который выкрашены башни осаждаемой крепости, форму камней, из которых сложены ее стены, и состав почвы, на которой она стоит. Результаты такого изучения в одном смысле были бы очень успешны, потому что давали бы все новые и новые сведения, но в другом смысле они были бы и совершенно бесполезны. До сих пор, по крайней мере, все великие успехи физиологии по отношению к явлениям психической жизни носят именно этот двусмысленный характер*.

V

То влияние, которым теперь наполовину вытеснена позитивная философия, принадлежит системе Шопенгауэра и Гартмана. Начало этого вытеснения у нас следует отнести ко времени появления рассуждения Вл. Соловьева: «Кризис западной философии; против позитивизма» (Москва, 1874), которое вызвало большое движение в нашей литературе. Всякий, кто помнит то время, вероятно, согласится с нами, что смелое и открытое нападение молодого ученого на деспотически царившую систему показалось для многих каким-то освобождением и облегчением. Интерес к философии, который всегда был присущ нашему обществу, но был подавлен дотоле позитивизмом, снова почувствовал свою свободу, свое право на жизнь; поняли и приверженцы позитивизма, что их авторитет поколеблен и влияние, которым они так долго и безраздельно пользовались в нашей литературе и жизни, ускользает от них. Более, нежели кому другому, Вл. Соловьеву следует приписать эту честь возрождения философских учений и интересов в нашем обществе. Но, как и всегда, к сожалению, это возрождение не пошло самостоятельным путем, но только отразило в себе то движение, которое началось в то время в западноевропейской литературе: именно пессимистическая философия, получившая тогда широкое распространение в Европе, получила господство и у нас.

* Мысль эта (особенно в применении к физиологии) с замечательною тонкостью выяснена *Н. Н. Страховым* в «Основных понятиях психологии и физиологии» СПб. 1886.

Уже самый характер распространения пессимистической философии осуждает ее, как таковую, и заключает в себе верные признаки того, что ее господство не будет продолжительно. То, что обусловило ее принятие, было не объективная истинность ее, но соответствие с тем особенным настроением, которое в последние годы охватило европейские общества, не в разуме, но в чувстве лежит источник ее господства. Как противовес узкому самодовольству позитивизма и его самоуверенности, она может быть даже плодотворна. Скажем более: если бы она не спустилась так быстро в слишком низменные слои чигающего общества и не получила там особую и неприятную окраску, она могла бы возбудить большие ожидания, хотя все-таки не в собственно философском отношении. Стрдание есть то, что очищает человеческую душу и углубляет ее, и оно необходимо во все времена, в наше же более, нежели в какое-либо другое; но это очищающее и углубляющее значение имеет страдание очень сильное и истинное. Оно есть именно то, что обрывает речь и заставляет человека уходить в себя; здесь, в своем внутреннем мире, он не живет более для других, и здесь же раскрываются его силы и пробуждается истинное и глубокое понимание религиозной и нравственной жизни. Но с этим углублением и просветлением человеческого духа не имеет ничего общего с голь распространенный геперь пессимизм, который более всякой другой философии шумлив и суетен. Мы, впрочем, должны оговориться, что этот упрек почти должен быть снят с Шопенгауэра* и отнесен всецело к Гартману. Во всяком случае тот недостаток, который присущ позитивной философии, повторяется и в пессимистической: она не способствует лучшему пониманию природы и жизни, а только набрасывает на них покров, вытканый в субъективном духе и здесь получивший окраску сомнительного достоинства. То, что есть истинно ценного в ней, – это различие нескольких видов причинности, и оно должно остаться неприкосновенным в философии. Важны также объяснения некоторых явлений художественного и религиозного творчества, впрочем, только одного определенного типа.

VI

Истинная задача философии состоит в том, чтобы дать человеку правильное понимание действительности. Поэтому с наукою у нее одна цель, и только приближаются они к этой цели с двух противоположных сторон,

* Хотя неприятно действуют его вечные жалобы на то, что в университагах и в обществе его философия не принимается, и в значительной степени вытекающая отсюда ненависть к идеализму Фихте, Шеллинга и Гегеля, который господствовал в его время в Германии. Здесь, думается нам, уже сказалась жажда шумливого успеха, который теперь с таким избытком окружает и, конечно, более всего губит его философию

но, приближаясь, – они необходимо сближаются. Бесплодна та философия, которая не идет навстречу науке, и едва ли нужна человеку (не говорим о практических потребностях) та наука, которая не стремится приблизиться к философии. Сознание единства их цели, общности интересов есть необходимое условие для правильного развития умственной жизни всякого народа; но для этого необходимо также и сознание того, что есть различного в приемах, с помощью которых они трудятся над одною и тою же задачей.

Если вдуматься глубже в смысл того, что дает наука, то можно заметить, что она дает только *описания*. Всякий раз, когда она думает, что объясняет предмет или явление, она, в сущности, только обставляет прежнее описание еще другими описаниями, которые или касаются чего-нибудь такого, что ранее не было замечено в изучаемом, или его отношения во времени и в пространстве к другим предметам и явлениям. Как бы далеко ни шел ее анализ, он только дробит на мельчайшие и мельчайшие элементы действительность и, таким образом, все глубже и глубже проникает в нее своим описанием. Но и последние мельчайшие элементы, открываемые анализом, всегда лежат к науке своею наружною стороною. Проникнуть за эту сторону она не в силах – и именно потому, что она есть описание. Никогда и ни в чем наука не знала и не знает внутреннего содержания явлений.

Таким образом, задача ее состоит в том, чтобы во всех направлениях (и в том числе в направлении глубины) распространять *знание действительного*, знание точное, определенное и истинное. Задача же философии состоит в том, чтобы *объяснять* это *узнанное*, давать понимание его. Наука теснее и теснее примыкает к оболочке природы, исследуя все изгибы ее; философия стремится к этой же оболочке, навстречу науке, но лишь изнутри содержимого. Она объясняет науке, почему эта оболочка имеет то или другое устройство, тот или иной изгиб, – потому что она рассматривает самое содержимое, которое движениями своими формирует ее.

Наука касается внешнего, а философия внутреннего оттого, что орудием первой являются органы чувств, которые всегда обращены к наружному, а орудием второй является мысль. Последняя так же не может коснуться внешнего, как органы чувства – внутреннего. Наука поэтому есть знание опытное и наблюдательное, философия – умозрительное; думать, что между ними есть антагонизм, – значит думать, что или философия должна объяснить не истинно существующее, или что наука должна чуждаться истинного объяснения.

Объяснение не только целой природы, но каждого единичного предмета и каждого единичного явления есть и может быть только метафизическое. Возьмем самое простое явление – падение тела. Не замечаем ли мы, как это явление, по мере того как в него вдумывался человек, раскрывало все больше и больше свое содержание, становясь все интереснее и загадочнее. Сперва оно было единичным явлением, не возбуждавшим ничего

внимания; Галилей подметил его закон, т. е. дал описание, распространяющееся не на одно, но на все падающие тела, и притом определяющее форму линий, которые описываются различным образом падающими телами; Ньютон открыл, что это падение есть только частный случай всемирного тяготения, т. е. простое, по-видимому, явление, выражаемое словами «тело падает», разложил на два – силу и вещество и дал описание их взаимодействия. Но тотчас, как только дано было это исчерпывающее описание, в науке поднялись споры о том, есть ли сила тяготения только свойство вещества, или она имеет наружное по отношению к нему положение, может ли она действовать через расстояние и проч. Смысл этих споров, в которых принимали участие Ньютон, Лейбниц, Гюйгенс и почти все выдающиеся умы XVIII в., очевидно, состоял в том, чтобы дать метафизическое объяснение явлению, отнюдь не понятому, но лишь описанному Ньютоном.

Возьмем еще пример, полнее объясняющий указанное отношение между наукою и философией. Ряд наук, изучающих органическую природу, как бы далеко ни простирались их успехи, только дальше и дальше прикидает описанием во все многообразие органических форм и процессов. Достаточно назвать имена зоологии и ботаники, анатомии и гистологии, палеонтологии и эмбриологии, чтобы понять, что все эти науки суть не более, как в различных направлениях движущиеся описания, и смысл именно описания имеют самые, по-видимому, удивительные открытия, которые совершены в этих науках в наше время, наприм. открытие атавизма, перемежаемости органических форм, партеногенезиса. И всякое дальнейшее развитие этих наук будет только увеличивать наше удивление перед природой, раскрывающей свои глубочайшие изгибы перед нашими взорами, но не будет нимало способствовать пониманию ее. Это понимание может быть дано только метафизикою, и именно теми двумя ветвями ее, которые изучают причинность и целесообразность. Всякое происходящее изменение есть или проявление первой, или проявление второй.

Внесем в органический мир понятие причинности (механически действующей) как его внутреннее содержание и станем развивать это понятие; по прошествии некоторого времени мы заметим, что раскрытые тезисы этого понятия не совпадают с теми формами, которые присущи органическому миру и его процессам, – частью не укладываются в них, частью не наполняют, и вообще не соответствуют им. Как на пример такого несоответствия укажем на следующее: в причинном процессе производимое равно производящему, потому что всякий избыток в нем явился бы беспричинным возникновением. Производимое явление есть или сама причина, но только дробящаяся, или соединение нескольких причин в одно: так, всякое данное совершившееся движение может распасться на много незначительных движений (наприм., в случае удара и теплоты, им развиваемой), или, напротив, – многие незначительные движения могут сложиться в одно большое. Таким образом, возрастание последующего в сравнении с предыдущим чуждо при-

чинности – есть то, к чему бессильна она. Вторая особенность причинного процесса состоит в том, что ему чужда определенность, и притом как в нем самом (процессе), так и в результате его (вещь): всякое внешнее влияние может изменить его, в слабой или в сильной степени – безразлично, и от этого он не прервется; т. е. он пассивен в отношении к внешнему действию, а с тем вместе и результат его – вещь, его заканчивающая, может явиться такою или иною.

Обе эти особенности отсутствуют в органическом мире: в своем целом, как совокупность некоторых форм и процессов, органический мир в последующие времена все возрастает, переходя и в том и в другом отношении от простого к более сложному; в исходной точке процесса он является движущейся клеточкою, на конце его – двумя царствами органических существ. И далее, процесс этот – определенный: внешние условия лишь незаметно отклоняют его, и всякий раз, когда их действие становится очень сильно, он прерывается – явление совершенно неизвестное в области причинности, где ни малейшая часть движения не пропадает, но лишь соединяется с другою, *сохраняясь* в ней. Кроме того, самые результаты органических процессов имеют также определенную форму: эмбриологический процесс, наприм., в каждой стадии своей образует одну определенную черту, и в своем целом образует строго определенную форму рождающегося организма. Итак, удалим из органического мира понятие причинности, как не соответствующее ему, и заменим его понятием целесообразности. Если мы станем раскрывать это понятие, как раскрывали прежде понятие причинности, то увидим удивительное соответствие его форм с формами органического мира: каждая особенность этого понятия, каждый росток его стремится к какой-нибудь особенности органического мира, наполняет ее, как содержимое свою форму, и, достигнув своего окончательного развития, замыкается, не разрывая ее, – не нуждаясь ни в чем, кроме того, что уже есть в органическом мире. И чем далее в своем целом будет раскрываться это понятие, тем плотнее оно прикинется к его внешней оболочке, наполнит все изгибы ее: к той самой оболочке, к которой уже прикинула наука, но прикинула только с другой стороны, наружной. Так, в частности, что касается до определенности органических форм и процессов и до их возрастания в последующие времена, то все это (необъяснимое с точки зрения причинности) является естественным и необходимым выражением всякого целесообразного процесса, где бы и в чем он ни происходил. Так как цель осуществляется только в последнем моменте этого процесса, то только один этот момент, сравнительно со всеми предыдущими, и является вполне развитым – таким, к которому потом уже ничего не прибавится; на пути же к этой замыкающей форме процесс распадается на ряд стадий, из которых каждая последующая будет сложнее предыдущей, и именно, сверх всех черт осуществляемой цели, уже выраженных в ней, будет принимать еще какую-нибудь новую черту формирующегося существа. И как как это существо уже предопределено заранее, то и всякое движение в процессе может быть только определенным, потому что стремится к осуществлению опреде-

ленной черты. Весь же процесс явится распадением простого и однородного на своеобразные и целесообразные части (органы). Это – то, что принято называть дифференцированием, и если целая школа биологов, произнеся это слово, все еще не видит в органическом мире целесообразности, то это показывает, что из-за ослепления предвзятою теориею люди могут не понимать даже собственных слов, которые для них являются как бы иностранною речью: потому что дифференцирование есть целесообразность: распадение общего понятия, в котором выражена цель, на понятия более частного значения и, наконец, на представления, которые все содержатся в нем, но только в скрытом состоянии. Дифференцируется государство, целесообразно создаваемое человеком, – но не дифференцируются ни волны в океане, ни песок, носимый ветром в пустыне.

Изю всех философских систем две, нам думается, могут наиболее способствовать пониманию природы как наиболее богатые метафизическими понятиями – системы Аристотеля и Лейбница; и то обстоятельство, что из всех философов эти два до сих пор менее всего сосредоточивали на себе внимание нашей литературы и нашего общества, объясняется тем, что до сих пор мы более питали чувство общего уважения к философии, нежели вникали в смысл ее. Мы стояли перед храмом, но не входили в него. От этого нас более привлекали внешние черты философских систем с их красотою и гармониею, нежели гибкость ее внутренних понятий.

СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ

Н. Страхов. Философские очерки.
С.-Петербург. 1895 г.

I

Сборник философских очерков, изданных г. Страховым в нынешнем году, завершает собою длинный ряд книг, содержащих наиболее обработанное изю всего, что было им написано от дней нашего «возрождения», в первые годы царствования императора Александра II, и до предшествующего года, когда мы потеряли его сына. На протяжении двух царствований и почти полувека знамя, которое нес этот писатель, оставалось то же; и в то время как даже такие упорные борцы, как покойный Достоевский, иногда поддавались в сторону противоположных знамен, – автор, на книге которого мы останавливаем внимание читателей, ни одним жестом, никаким движением и ни в какое время не выразил намерения в чем-либо отделиться от того, с чем он ранее был слит, или с чем-нибудь сблизиться, от чего он был когда-нибудь отделен. Совершенная неизменяемость его духовного образа и неподатливость литературного положения есть его отличительная особенность.

Почти единственным исключением из этого* является его отношение к Дарвину. Подобно тому, как самый важный труд этого английского ученого «*Origine of species*»** был переведен на русский язык С. А. Рачинским, некогда профессором ботаники в Московском университете и теперь смиренным учителем Татевской школы, инициатором церковного направления в народном обучении, – так провозвестником этой теории в нашей литературе, быть может первым и, во всяком случае, очень ранним, был г. Страхов, впоследствии наиболее упорный и влиятельный борец против нее***. Можно подумать, что в первый момент ее появления г. Страхов был увлечен великими ее обещаниями и подкуплен обильным фактическим материалом, на какой она опиралась. Позднее, и очень скоро, ее логические недочеты яснее выступили, и, ничего в фактах Дарвина не отвергая, со многими его предположениями соглашаясь, он, как и другие серьезные критики, отверг, однако, его теорию в целом, как объяснение недостаточное относительно своего предмета (органический мир), как объяснение неверное в применении даже к отдельным важнейшим чертам органической жизни. Вместе с монументальным трудом Данилевского статьи г. Страхова наиболее имели влияния на установление истинных взглядов на эту теорию в нашем обществе, и как прежде трудно было встретить человека, который при ее изложении или упоминании высказывал бы какую-нибудь оговорку, так теперь трудно встретить человека, который бы этой оговорки не делал.

За этим небольшим исключением, мы находим взгляды г. Страхова не изменившимися на протяжении почти полувека, и если статьи свои, написанные 20–30 лет назад, он издает теперь, то потому, что они ничего не утратили в его глазах в своей истинности; но общество, которое было неблагоприятно настроено для принятия его идей в момент их появления, изменилось до неузнаваемости, и в лице «детей» своих, в 80–90-е гг., с живым вниманием приветствует писателя, которого не хотело знать в лице «отцов», в 60–70-е годы.

Таким образом, заметный, если не замечательный успех, выпавший на долю писателя, которого мы указываем читателям, есть следствие смены мировоззрений, переживаемой нашим обществом и, кажется, обществом целой Европы. Мы указали на дарвинизм как падающее воззрение на природу органическую; но и позитивизм как воззрение на строй человеческих знаний, на задачи человеческого ума, и попытки Бокля объяснить историю вли-

* См. его «О методе естественных наук и значении их в общем образовании» СПб., 1865, стр. 187 и след. Отзыв, здесь высказанный об дарвинизме, свидетельствует, с каким живым интересом встретил г. Страхов появление теорий английского ученого, и если впоследствии отношение его к ним изменилось – это совершилось по тому только, что возникшего энтузиазма не могло поддержать последующее размышление.

** «Происхождение видов» (англ.).

*** Г. Рачинский не высказывал печатно своего позднейшего взгляда на дарвинизм, но не будет нескромным, если мы здесь сообщим, что из устных бесед его мы имели случай узнать, что он также не разделяет более теории Дарвина.

яния внешней природы и свести ее сущность на прогресс знаний – или похоронены безвозвратно (как последняя), или почти похоронены (как позитивизм с его разветвлениями). Нет к ним более внимания; нет чуткого прислушивания к тому, что еще говорится в пределах этих теорий или в их направлении; и это важнее, нежели то, что они не имеют авторитетных защитников и продолжателей. Угасла самая надежда что-либо существенное узнать из этих теорий или что-нибудь драгоценное приобрести через них, угасла эта надежда в тысячах незаметных умов – вовсе не писателей только, не ученых кафедры, но самого общества. И вот отчего, если бы явилась даже талантливая попытка поднять снова эти учения, она, мы в этом убеждены, не имела бы теперь никакого успеха.

И между тем творения, напр., Кеплера или Ньютона – живут; даже в зыбкой философии – Платон и Аристотель продолжают изучаться; Декарт переводится и комментируется даже специалистами-физиками; Кантова теория познания служит направляющей основой при производстве опытов (Гельмгольц); Вико, Гердер, Гизо уважаются не менее теперь, чем когда они создавали свои исторические объяснения. Все это были люди *объективно-го* знания. Так или иначе веря, на то или иное надеясь в скрытой глубине сердца, эти умы не допускали своих надежд, своей веры до вмешательства в объяснения мира. Дело познания *потом* может совпасть с моею верой; *теперь, пока* я познаю, оно к ней не направляется мною, но идет к *своим* целям, *своим* методом, *ему* свойственными путями. Вот почему классификация причинных основ мира, какую мы находим у Аристотеля, с интересом рассматривается и нами; механические требования картезианства обязательны и для теперешнего физика; Вико помогает и новым ученым при разборе исторических памятников.

Этой объективности вовсе не было у основателей теорий, при падении которых мы присутствуем, и вот откуда – их недолговечность. Теории эти не были продуктами *искания*, в своем содержании они не суть *знания* о мире, но – концепции (идеи) мира, его *представления*, вытекшие из настроения истории в момент их появления. Ог. Конт признавался, что он никогда не читал Канта, т. е. он не *искал* ранее, чем нашел. *Где, как* строить мировоззрение – это было уже ранее самого построения определено моментом веры, в которой никогда не колебался французский мыслитель. На *месте*, этою верой определенном, в *стиле*, этою верою продиктованном, он воздвиг философское здание, построил систему понятий, утверждений, отрицаний, в которой его *вера*, субъективная и никогда не высказанная, жила наиболее привольно, наименее связано, – где никакому ее движению, ни одному самому смелому предположению не встречалось преград. Что за дело до того, что она была пуста от всех обычно понимаемых элементов веры: религии и всего, что из нее вытекает или к ней подготавливает сердце? Она была *вера* по законам своего образования, по способу возникновения, наконец – по слепому невниманию к возражениям, какие могли бы быть против нее представлены. Это была вера не о

потуг горонних вещах, как всякая – и эта вера истинному знанию не может мешать*; но – о вещах *этого* мира, о характере их сложения, происхождения, конечного назначения; и с силою истинного суеверия, обычного пред-

* Нам всегда казалось, что вера в законных своих пределах, то есть касаясь потусторонних вещей, не только не связывает прогресс науки, но вследствие одной, редко замечаемой ее особенности, даже ему способствует. Мы позволим себе повторить здесь мысли об этом, высказанные несколько лет назад: «*Отчетливость* мышления, строго отделяя известное от неизвестного, повсюду выделяет грань между ними; и так как известное обыкновенно находит свое объяснение и для себя опору в неизвестном, то отсюда вытекает постоянное стремление ума все глубже и глубже спускаться в область неизвестного. Заметим, что это постоянное сознание грани между известным и неизвестным есть условие, без которого невозможно развитие науки, -- а между тем оно встречается не часто. Обыкновенно не сознают отчетливо этой границы, и неизвестное считается уже известным; это совершенно убивает науку, потому что убивает источник ее -- стремление узнать неизвестное: нет интереса исследовать то, что кажется уже известным. Вот почему верующая религия со своею нетерпимостью и преследованиями гораздо менее повредила развитию науки, чем *верующий скептицизм*. Первая не скрывала, что есть многое необычное, что остается неизвестным для человека. Поэтому эпохи ее господства отмечены в истории великою пылкостью духа и плодотворными открытиями. Вся греческая философия выросла и развилась в глубоко религиозное время: Ксенофан, Емпедокл, Парменид, Анаксагор, Сократ и ученики его -- все они жили в эпоху, чуждую распущенности религиозного чувства, и потому-то именно во всей жизни и каждом слове их чувствуется такая удивительная любознательность, и любовь их к трудно доставшейся истине была так велика, что некоторые из них ради нее решились оставить отечество, а другие приняли смерть. Также и в Европе эпоха высшего развития религиозного чувства отмечена великими системами схоластической философии -- Альберта Великого, Дунс-Скота, Рожера Бэкона и многих других; а полное одушевления реформационное обновление церкви тотчас же за собою вызвало основание новой философии и почти всех наук, какие существовали теперь: Декарт участвовал в 30-летней войне, ему современником был Бэкон, а учениками первого были Гейлинке, Малбранш, а второго -- Локк и Ньютон, все одинаково проникнутые высокой религиозностью. Напротив, то, что мы назвали *верующим скептицизмом*, -- эта уверенность, что в не изведанных еще областях бытия нет ничего отличного от того, что есть в изведенном, всегда порождала умственный индифферентизм, при котором невозможно плодотворное изыскание в науке. Так, все эпохи религиозного упадка были вместе и эпохами умственного падения. Когда пала греческая религия, с нею и философия выродилась в бесплодную александрийскую ученость; когда с Возрождением временно пал католицизм, пала и схоластическая философия, а новая, замечательно, не зародилась, она, как сказано уже, появилась только после Реформации. Это сопутствование двух фактов -- сильной религиозности и духа научного изыскания, продолжавшееся в течение всей истории человечества, заставляет предполагать между ними причинную связь, и мы ее находим в постоянстве сознания при религиозности *грань*, отделяющей известное от неизвестного. Оно, это сознание, лежащее следствием в религии и причинною в науке, делает то, что наименее религиозные народы и эпохи суть вместе и наименее способные в науке, и обратно -- наиболее религиозные обнаруживают наибольшее творчество в ней» (<Розанов В. В.> О понимании. опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания М., 1886, стр. 696 и след.).

рассудка она связывала прогресс ума, делала невозможным какой-либо успех ведения. Так, известно, что область астрономии Конт хотел ограничить исследованием солнечной системы, за пределами которой, по его настойчивому предположению, не было ничего, кроме ее же повторений. Достаточно указать на изучаемое теперь движение самой солнечной системы в междувзвездных пространствах, чтобы оценить, как могла бы отозваться на науке его попытка не допускать направляться телескоп за границы нами обитаемого мира.

Таким образом, долговечность этих воззрений, не опиравшихся на объективные данные, могла быть продолжительна лишь в меру достоинства заложенной в них веры. Есть виды веры более долговечные, чем наилучшие философские концепции, и почти так же прочные, как простые реальные знания (самые прочные из приобретений ума). Такова вера в бессмертие души, в Бога, в загробное существование. Очень мало есть объективных данных, которые поддерживали бы эту веру; очень трудны философские соображения, на которые она могла бы опереться. Но в самом существе этой веры есть столько достоинства, что, и не поддерживаемая ничем, иногда погребенная под градом насмешек, скептицизма, опровержений, — она вновь и вновь с неухватимой силой возрождается в человеке. Как вы ни сгибайте дерево, направление его роста останется вертикальным; мы не знаем — почему это; не догадываемся — для чего; мы даже догадываемся, что, сгелясь по земле, — оно с большим удобством переносило бы свою тяжесть; и, однако, вопреки всем данным, наперекор догадкам, обманывая ожидания, — его ствол есть вертикаль или стремится стать таковою. Человек верит в некоторые истины; и, без сомнения, есть реальное для этой веры основание, но только оно скрыто от него, — как и дерево, поднимаясь к солнцу, ничего не знает об астрономическом значении этого светила.

Без сомнения, именно ничего реального, хотя бы и скрытого, не было под верою, которая была общим родником концепций, о которых мы упомянули. Они были продуктом частного и местного духовного настроения, какое переживала Европа от 48-го года до 80-х годов, и с его ослаблением — падают. Чтобы на какой-нибудь детали показать, как мало жизнеспособности было в них, мы остановим внимание читателей на двух воззрениях на историю, высказанных Боклем и которые в свое время казались чем-то аксиоматичным.

Это — воззрение, во-первых, что человек в своей истории управляется внешними обстоятельствами, в частности — физическою природою; и, во-вторых, что прогрессирующая часть этой истории сводится к накопленному знанию.

Вот — Италия; и как перед нашими глазами лежит она, так ее видел и Бокль, и еще бездну читал о ней, о чем сообщил в списке трудов, несколько глосивно приложенном в начале его книги. Под тем же вечно синим небом, на той же суглиняковой почве, в виду тех же Аппенин, извергающего Везувия, далекой Этны, на берегах тех же маленьких речек и великолепных

заливов рос и «железный» Рим, и дышащая негой, красотой, бессилием эпоха Возрождения; что замечательно особенно – это то, что, «возрождаясь», она имела даже для себя прототипом «железный Рим», пыталась, усиливалась, гася в себе всякую оригинальность, повторить его в языке, манерах, всем прочем: перестать быть в себе и воссоздать его. Ради точности воспроизведения, в лице некоторых даровитейших людей, как Лоренцо Валла, она даже возвратилась к язычеству. Но вот что поразительно: в результате этих усилий обзличиться, умереть в себе – получилась оригинальнейшая во всемирной истории эпоха, с глубоким самостоятельным значением. А главное – эта эпоха вопреки своему язычеству, латыни своих поэтов и прозаиков, республиканским попыткам (Коло ди Риензи), гораздо менее напоминала собою воспроизводимый образец, нежели как напоминала его далекая, под угрюмым севером выросшая Москва, едва умевшая прочесть самое слово «Roma» и, вероятно, произносившая его с каким-нибудь славянским акцентом: та же религиозность и та же внешность в религиозном, то же «собрание земель», то же преобладание нужды над удовольствием, заботы над отдыхом, обычая над личной инициативой; то же молчание уст при безустанной работе рук. Небо Москвы и Рима, небо Италии за 400 лет до Р. Х. и ее же небо в 1400–1500 гг. после Р. Х. – мы это видим, это кричит нам, что человек не продукт природы, что природа на историю его имеет минимальное, исчезающее сравнительно с другими условиями, влияние. И этого не видел Бокль, когда угрюмо тупо писал свои рубрики: «влияние климата», «влияние почвы», «влияние общего вида страны» и подтверждал мысли, очевидно нелепые, бесконечными выписками из книг, которыми обложил себя.

Христианский мир – и дохристианский: как мало *знаний новых* принес Спаситель, и тех Он не доказал, только умер за них или за что-то, – что об этом справляться, если это не были знания! Что замечательно, Бокль сам в пространнейшей выписке доказывает, что в Евангелии не содержится никаких более новых утверждений, чем какие ранее высказывали уже Сенека, Цицерон, Сократ и другие. Он это пишет все; писал чернилами, как и я теперь, и, вероятно, что-нибудь думал в это время. Мир христианский и дохристианский – ничего общего! Полная противоположность, совершенное перерождение в учреждениях, наклонностях умственных, порывах нравственных! И в точке этого великого разделения – никакого нового знания, никакой реальной истины, расширявшей горизонт человеческого ведения. Как это ярко, как это многозначительно, как многомысленно – для нас; но луч света, снопы сияния солнечного напрасно били в помутневшую ретину историка Англии, и он видел перед собою не мир, не жизнь, не историю, но только тупые книжные построения своего заламаншского учителя (Конта).

Вот факты; они яркие, они несомненны. И несомненно же и ясно, почему, едва умерло поколение людей, частным и местным продуктом настроения которого явились эти учения, – они потеряли какую-нибудь значительность. Повторяем – они не опровергнуты; нет и не было нужды в их пространном опровержении. Чтобы подорвать Аристотеля – нужно было, чтобы родился

Декарт; но Бокль – он был уже стар, он был уже архаичен во времена Аристотеля, с точки зрения его четырех видов причинности; он был опровергнут гораздо ранее, чем взялся за перо, и только не был сам внимателен к тем опровержениям, которые были высказаны против его теорий высокими и точными умами, ранее его размышлявшими об истории человечества.

II

Мы сказали, что все господствующие воззрения, царившие в умственной жизни Европы от 48-го до 80-х годов, были продуктами веры. Можно объяснить это и до известной степени оправдать, сказав, что эти десятилетия были временем глубокого и освежающего сна для целой Европы, в который она впала после чрезмерных напряжений мысли, какие пережила от Канта и до Гегеля, от революции 89–93 гг. прошлого века и до социальных порывов 48-го года. Дарвинизм в сфере объяснений органической природы, позитивизм в сфере логической и механизм в понимании целой вселенной – эта была временная и великолепная нелепость, которой отдалась Европа, чтобы не утратить своей мысли соображениями более тонкими, размышлениями менее поверхностными; это был необходимый отдых ее Александрийского периода после чрезмерных напряжений творческого и оригинального ее гения. Замечательно, что в то время, как в области философской устанавливалось простое сочетание «точных наук», параллельно с этим в отдельных отраслях науки разрасталась бесконечная и бесцельная эрудиция, без всякой почти мысли в себе, без одушевления, без порыва, без цели и, в сущности, – без основания. Таких прекрасных идей, какими обязана Европа в области филологии братьям Гриммам, Вильг. Гумбольдту; таких монументальных трудов, как сравнительная грамматика индоевропейских языков Боппа; такого прозрения в мир искусства, какое дали Винкельман и Лессинг, – мы и тени более не находим в поздние десятилетия нашего века. Компильция вытесняет собою мысль; книга царит над идеей; печатный станок работает тем живее, чем слабее и неподвижнее становится человеческий дух. Все учатся, но уже ничего не производят; учатся обильно и почти ничего не извлекают из своего учения. Мы говорим, мы повторяем – это был великолепный сон; и теперь, когда он, видимо, оканчивается всюду, мы должны быть почти благодарны судьбе, что никаким ярким, упорным, гениальным противодействием он не был в свое время прерываем. Бог хранил человека; он хранил его философские силы в то время, как сам человек, в неведении, так горько оплакивал себя, свою судьбу, глубь философской ночи, из которой, казалось ему в малодушии, уже не будет пробуждения.

Эти напрасные сетования разбросаны всюду и у прекрасного писателя, книга которого невольно пробудила в нас все эти мысли. Он был современником наступления глубокого сна; он делал, и безуспешно, усилия, чтобы этому засыпанию помешать; скука, зевота, вялая насмешка служили ему

естественным ответом. И когда, наконец, компиляция и бессвязность окончательно овладели наукой и философией; когда тысячелетний исполин бесцельно передвигал пальцами рук и ног и произносил отрывочные слова, ничему действительному не отвечавшие, – удивление, горечь, наконец, раздражение овладели нашим автором. Он искусственно понизил свой голос; он упростил свою речь до детского понимания; специалист-ученый, он принял облик писателя для юношества, чтобы как-нибудь, каким-нибудь способом сделать усвоимыми для людей своего времени те понятия, которые они так странно и вдруг забыли. Отсюда, из этого исторического положения, вытек весь характер трудов Г. Страхова, его манера, его темы. Он не создает нового, он припоминает только старое. Он стал *критиком* не только в области литературной, но и в области научной и философской, – всюду указывая на забытые «вечные истины», пытаясь всюду завязать в живой узел с действительностью так сгранно, так беспричинно, так безосновательно оборванные традиции прежнего. В поэзии он возвращает наше внимание к Пушкину – высочайшему образцу художества и всякой красоты, в критике – к приемам толкования Ап. Григорьева, в морфологии – к идеям Каспара Вольфа и Бэра, в философии – к принципам Декарта и диалектическому движению категорий Гегеля. Он разъясняет этих писателей; он разрабатывает всюду элементы наук – те «основные понятия», на фундаменте которых позднее трудолюбие, опыт, наблюдение возвели более удивительные на взгляд, нежели трудные здания современных знаний. Трудность именно там – позади этих поздних надстроек, – в правильной установке вопросов, на которые наука должна бы отвечать, в определении правильного метода, которым могли бы быть найдены ответы на эти вопросы. Отсюда с критическим характером работ нашего автора соединяется методический: он поправляет или отвергает возникающие на глазах его теории именно в методе, и гораздо менее – в результатах. Дарвин и великое множество современных натуралистов, не *построив* те или иные теории, – ошиблись; они ошиблись, *упустив из виду* вопросы, которые вытекали из предложенной ими себе задачи. Наконец, натуралисты – ошиблись, смешав в чертах органического мира прибавочные (физико-химические) с первоначальными, собственно органическими чертами – каковы *развитие, размножение, разделение на полы, уродство* как отступление от нормы, *классифицируемость* и пр., – и успехи физико-химические в области физиологии принимая за успех самой физиологии, в действительности забытой, оставленной в тени в ее собственных задачах*. Как это ни удивительно, мы в этом забвении снова находим шаг назад даже от Аристотеля: уже он во всяком порядке явлений искал его τὸ τί ἦν εἶναι – то, что именно его делает таким, ни с чем не схожим, ни с чем не сливаемым порядком, – и научал различать это от вторичных черт, которые, в нем повторяясь,

* Мы хотим сказать, что такие учения, как о механике кровообращения, как об окислении тканей и крови, как о химической стороне питания, – не составляют никакой части собственно физиологии, а являются к ней добавочными необходимыми главами.

принадлежат как главное другим порядкам и их собою характеризуют. Внешний, неживой мир есть собственная сфера физико-химических сил; и если они и повторяются в организмах – так же странно было бы под углом их рассматривать организмы, как грозу, бурю, дуновение ветра, вращение земли около оси – было бы странно рассматривать под углом зрения органическим только потому, что грозу испытывает человек, что буря раздражается над лесом и зеленеющим полем и, наконец, что на вертящейся земле обитает весь органический мир. Мы сводим заблуждения наук к простым, понятным истинам; и поздний потомок наш будет удивлен, каким образом эти понятные истины, нарушая которые ум человеческий должен бы стыдливо затаиваться, – в век странный, в годы неповторимые не только нарушались, но нарушались с торжеством, с упоением успехами, с высокомерным пренебрежением к годам, когда эти истины помнились, к людям, которые об этих истинах напоминали.

III

Мы снова возвращаемся к писателю, который, не сознавая значения исторического момента, в который он родился, так неудачно, так напрасно пытался помешать установлению и торжеству некоторых теорий, – так, к счастью, прибавим, не помешал им установиться. Отсюда чувство скорби и легкого раздражения, которое проникает все его труды, отсутствие доверия к ходу истории, полунегодование, полупрезрение к тому, что люди зовут прогрессом; объединяя это, скажем – ропот на Промысл Божий. Конечно, в этом он был неправ; конечно, история в изъясных своих и просветлениях, в падениях и высоком торжестве, в рывках, низинах, прогалинах, шумящем боре есть чудо творения Божия, перед которым мы можем трепетать, дивиться, уразумевать, и никогда – негодовать, высказывать ропот, еще менее – им пренебрегать. В сущности, она есть то же, что жизнь организма, который тоже болеет, имеет несовершенства, стареется, умирает, и, однако, пока в нем длится жизнь – мы считаем святотатственным к нему прикоснуться и эту жизнь в нем погасить или в чем-нибудь резко нарушить его законы. В организме есть, мы сказали, своя химия и физика, но не она составляет его сущность; в истории есть также физика наших дел, химия наших замыслов, но не в них ее смысл; этот смысл – в великом, странном, не постигаемом нами сочетании этих дел и замыслов, из которого выходит всякий раз не то, что человек ожидал, к чему стремился, на что надеялся. Быть вечно удивленным в своей истории – это, по-видимому, навсегда останется его уделом на земле.

Зрителем одного из таких исторических удивлений сделался на склоне лет писатель, которого мы разбираем. Без всяких видимых причин, без резкого будящего колокола, без сильного толчка, и только по истечении лет, достаточных для отдыха, полувековой сон наук и философии оканчивается. От сердца, в котором загорелась снова вера, кровь гонится к периферии великого дремлющего организма, наполняет анемичный мозг; и без спора, без противодей-

ствия, без борьбы и страдания, призраки, владевшие им, отлетают прочь. Где эти умственные сумерки? где эта верующая логика? где детская метафизика, говорящая «нет» о том, что не испытано, об областях, куда не заглянул никто? Где это знание о неизвестном, предвидение о непредвидимом, и все «позитивные» сны, которыми грезило человечество и от которых, повторяем, без причин, – всюду теперь пробуждается. Они забыты – те сны; они передаются еще и им не верят; немощные спутники еще на них настаивают, и их никто не хочет слушать. Мир со своими тайнами, природа со своей неисчерпаемой глубиной снова стоит перед человеческой любознательностью. Как, в самом деле, чуден он, как священна она! Молиться, познавать – это в самом деле одно и то же, потому что и так, и этак мы прикасаемся к Богу.

Но мы все отвлекаемся от писателя, который пробудил в нас невольно эти мысли. По крайней мере, излагая их, мы объясняем его особенную судьбу в нашей литературе, его начинающийся успех после долговременного невнимания. Нам хочется, однако, показать хоть как-нибудь, хоть на каком-нибудь примере, привлекательность книги, которая ожидает внимания читателя. Вот, почти без выбора, одна в ней мысль, и мы думаем – она в высшей степени способна пояснить то, что мы назвали в природе ее глубиной, ее священным смыслом:

«...Человек есть зритель мира. Самая удивительная загадка заключается не в том, что мир существует, а в том, что у него есть зритель. Как бы чудесен ни казался нам мир, как бы поразительны ни были для нас его порядок, стройность, красота, могущество, разнообразие, – наиболее чудесное и наиболее поразительное явление состоит в том, что мы можем это видеть и этому удивляться. Великолепен свет солнца; «эти могучие лучи дышат вечностью», – говорит один поэт. Но этот свет получает свое великолепие от нас; сам себя он не видит и ничего не знает о своем великолепии. Картина мира сама себя не видит и сама для себя не существует; но есть зритель, который видит эту картину, для которого она существует и который сам для себя существует. Вот самое большое чудо мира.

Если мы скажем, что человек сам породил этот мир, что его мысль создала эту видимость, внесла в нее свет, красоту, порядок, то это может показаться странным; но не будет ли казаться еще более странным, если мы скажем, что мир породил человека, что мысль человеческая есть произведение природы и что, следовательно, слепая картина породила из себя зрителя, для того чтобы он ее видел и ею любовался?

Во всяком случае, только здесь, только в этой точке мы прикасаемся к истинной загадке бытия и мышления. Что бы ни существовало и как бы ни существовало, бытие должно быть таково, чтобы возможно было мышление. И обратно – нельзя ничего понять, если мы не понимаем мышления»*.

* <Страхов Н. Н.>. Философские очерки. СПб., 1895. Статья «Главная черта мышления», стр. 119–120.

Не правда ли, как это просто и вместе как значительно? Читатель чувствует, что это – слова не занимающегося философией, но философа. Мы хотим сказать, что этот тон и это отношение к миру доступны тому только, для кого мышление не есть профессия, нужда, развлечение, но потребность, вытекающая из первичного сложения духа. Такой человек в эпохи раннего развития истории становится поэтом, позднего – философом. Ибо тот и другой имеют в основе некоторое удивление к миру, отражающееся в первом как безотчетный восторг и во-втором – как возвышенное мышление.

В днях лучших, которые не могут не настать для философии после пробуждения, о котором мы упомянули выше, не забудется имя писателя, книгу которого мы хотели и так мало сумели разобрать. Правда, он не изобрел ничего нового в мышлении, не соединил своего имени с каким-нибудь сильным и оригинальным движением мысли. Но еще может быть вопросом: разве не оригинально в век, который истощался в изобретениях нелепого, сохранить полную трезвость ума и обладание своими чувствами, не принять никакого участия в общей вакханалии? В годы, когда всякий засыпал для прошлого и историю мира начинал с минуты ему грезившегося сна, не оригинально разве, как бы уединившись на момент от истории, похоронить свое *я* под высоким культом к забытому и действительному?

1895 г.

ДВЕ ФИЛОСОФИИ

(Критическая заметка)

Федор Шперк. Диалектика бытия. Аргументы и выводы моей философии. С.-Петербург. 1897. *Его же*. О страхе смерти и принципе жизни. СПб., 1895. *Его же*. Мысль и рефлексия. Афоризмы. СПб., 1895. *Его же*. Книга о духе моем. Поэма. СПб., 1896.

Мы, русские, имеем две формы выражения философских интересов: учебно-официальную; это – «философия» наших университетских и духовно-академических кафедр; и мы имеем как бы философское сектанство: темные, бродящие философские искания, которые, оригинально возникнув около середины прошлого века, продолжают до настоящих минут. В обеих формах своих «философия» наша движется без всякого взаимодействия; они почти не знают друг друга; явно друг друга игнорируют.

Первая «философия» не только подтверждает содержанием своим, но и усиливается поддержать идею, что у нас «все от варяг быша, еже бысть». Не только народного чего-нибудь, или чего-нибудь идущего из живого обще-

ства, нет в ней; но всякий труд, в котором это народное или вообще живое оказалось бы, тем самым очутился бы вне этого философствования исключительно «по долгу службы». Она имеет декорум науки и не имеет души ее; т. е. она не имеет порыва и, словом, того, что в одних интересных физиологических лекциях, несколько лет назад прочитанных в Петербурге, было названо «жизненным порохом»: взрывчатого, биологического начала. Книжки, какие появляются в этом отделе, не имеют, так сказать, лица в себе, а только заглавие. Они не автобиографичны и не биографичны; могли бы быть написаны «Семеновым», как и «Петровым». Они всегда представляют *работу*, появляющуюся в удовлетворение нужды кафедры и даже гораздо чаще – только для укрепления служебного положения написавшего ее профессора. Они есть свидетельства о его знаниях, но нисколько не есть выражение его образа мыслей.

Несчастье книг второго порядка, «сектантских», составляет отсутствие научного декорума и, иногда, привычной для читателя, а может быть и действительно нужной, регулярности изложения. Однако мы должны вспомнить, что знаменитое сочинение Бэкона «*Instauratio magna*» («Великое восстановление», т. е. наук) представляет невыразимый хаос изложения, бегучесть, порывистость во все стороны, отсутствие спокойствия и плана; и в главной части своей – *Novum Organon*, это «*Instauratio*» переходит прямо в афоризмы. Вообще, существо рождается непохожим на то, каким оно бывает в старости. Теперешняя форма западной науки, т. е. приемы и система изложения, есть форма старости; и оттого новые труды так не походят на бурно-неустроенные труды Бэкона и также, прибавим, Декарта или Лейбница. Как много философем последнего изложено просто в частных письмах; другие представляют что-то вроде «памятных записок», составленных по просьбе частных людей. В мощный период рождения наука (и философия) чуждалась улицы и площади, не искала для себя театра; и вот отчего даже по форме мы видим ее неприбранной, в старом колпаке и грязном фартуке, полуодетой и иногда почти раздетой.

У нас философия пошла, как мы заметили, двумя путями: одна, заимствовав форму старости, не рождает в ней содержания. Ее отличительная особенность заключается в том, что она вербальна, а не реальна. Т. е. она не движется вовсе около *naturam rerum*, исследует не самую природу вещей, трудится не над темами философии; но, около этих тем или по поводу этих тем, собирает и классифицирует крохи древнего и нового мышления. Напротив, вторая ветвь нашей философии, не имея научного декорума и часто плана, в высшей степени полна того, что мы называли выше «жизненным порохом»: этой взрывчатости, самогорения, порыва мысли, – и всегда около действительности, около *naturam rerum*. Мы решаемся сказать, что она, не будучи нисколько «из варяг», однако близко подошла к «варяжской» науке в ее существе, в «дыхании жизни», в ее, так сказать, вечном мотиве; и только не отвечает текущим и, может быть,

минутным, а во всяком случае внешним приемам изложения, плана, «декорума». В психологической части она действительно интересуется «коготком», который «увяз» и заставляет «всю птичку пропасть»; в логической – она в самом деле пытается запутанности человеческой мысли; в метафизической – пытается тайны бытия, «семя бытия», как говорит интересный философ, заглавие маленьких книжек которого мы выписали. Эта афористическая и неустроенная философия тесно связана с нашей литературой; тогда как регулярная связана исключительно с учебными нуждами, с задачами преподавания старинной педагогической дисциплины, которая и на Западе больше терпит теперь, нежели растет, и по примеру Запада пассивно введена у нас. И, нам думается, насколько именно литература, а не школа и все школярное, есть деятельно просвещающая сила в нашей стране, – русская «философия», насколько она *есть, есть* не в магистерских и докторских философских диссертациях, этом невольном литературном приложении к устному университетскому экзамену, но вот в таких и подобных этим маленьких, бесформенных, но полных «взрывчатости», книжках.

Очень небольшая часть трудов г. Шперка представляет стихотворения; все остальное – проза. То и другое – философично. Автор прибегает к стихотворной форме или, точнее, к ритмически текущей прозе и поэтическим образам там, где мысль его переходит в чувство, где стремление к истине или тому, что кажется ему истиною, превращается в любовь к ней, в волнение, в восторженное ей поклонение. И тогда он начинает петь, а не говорить. Это вытекает несколько из самых тем его. Он – *краевой* мыслитель, бродит по *краям* ведения, а не посередке их, где топчутся люди. Поэтическая форма у него понятна, естественна, и только может нравиться по прихотливой свободе своей.

Печальная сторона г. Шперка, печальная для него как мыслителя, состоит в том, что он не умеет развивать мысли. В нем как будто недостает силы *ращения*, выращивания; но сила *рождения*, и могучая сила, в нем положительно есть. Вы начинаете его понимать ясно и раздельно только там, где мысль его совпадает уже с вашей, бродит около того же. Тогда вы поражаетесь его пронизывающим вниманием к миру и многим таинственным догадкам, до которых он дошел или к которым близок. Вы с любопытством перебираете афоризм за афоризмом; вы видите, что он глубоко заинтересован тайнами бытия, человеческою психологией, особым характером и судьбою великих исторических племен. И места, которые в его книгах стали вам понятны, становятся вам дороги; а, наконец, дорог и сам писатель, этот, очевидно, уединенный и глубоко в себя погружившийся мыслитель, который «возлюбил истину паче всякой красоты мира».

Большая и главная часть его трудов, между прочим, последняя брошюра, представляет чистую диалектику понятий, алгебру природы, если можно так выразиться. Она вращается в элементарнейших понятиях, поэтому

именно неопределимых, почти не передаваемых и крайне трудных для усвоения. Это – абстрактные знаки усложнения человеческих понятий; вывод из понятия *бытия* – понятия *тождества*, из *тождества* – *единства*, из *единства* – *множества* и т. д. – все то, что со времен Платонова «Парменида» и до диалектики Гегеля составляло душу логической обработки наших отношений к Космосу. Очевидно, в собственных воззрениях автора здесь – центр его философствования. Но и вне диалектики как моралист и историк, как наблюдатель он дает чрезвычайно много любопытного, оставаясь, однако, везде крайне абстрактным, обобщающим умом.

Ясно, что тайна организма, тайна бытия органического есть для него узел, из которого он хотел бы разгадать в одну сторону – законы механические и в другую – законы психические и исторические. Но эту узловую тайну, если позволительно так выразиться, он рассматривает в свете мистическом и религиозном, какой, конечно, и присущ ей более всего. Отсюда – мистический свет, который разливается у него на всю природу. Повторяем, среди его прекрасных афоризмов истинный любитель философии будет чувствовать величайшее удовольствие, нигде не видя фольги и мишуры, так часто набивающей философские книги, многого в них не понимая*, но что понимая – там находя ценные жемчужины.

Все его рассуждения, – напр., о роли семитических, романо-германских и славянских народов в истории, – чутки, глубокомысленны и нам кажутся истинными. Таковы же его рассуждения о чувстве *стыда* у человека или о чувстве космической у него *виновности* при некоторых, – казалось бы неважных, пороках. Сжатость изложения чрезвычайно затрудняет понимание и этих мест в его брошюрах-трактатах. Его мышление и язык вообще имеют в себе что-то стихийное; т. е. и силу стихии. Ее свежесть, ее первобытную значительность, – но, однако, какую-то *безвидную*. Иногда хочется сравнить его с непролившеюся тучею, которая проходит у вас над головою; и так же верно будет, если сравнить его с первичным туманом, который подымается из-под ног от Матери-Земли. Из этого тумана низин образуются со временем легкие золотистые облачка в небе. Вот способности-то формировать их и недостает у Шперка: еще солнце не взошло, горячий луч не брызнул; наш автор – весь «в рождении», в «начале», в «исходе»...

* Два наших философа, Н. Н. Страхов и Вл. С. Соловьёв, оба познакомившиеся и полюбившие этого молодого, только что вышедшего (до окончания курса) из университета человека, оба мне говорили, что не только многого, но и *ничего* не понимают в его брошюрах, изложении. Интересен устно высказанный мне Шперком мотив оставления университета (кажется, по переходе на IV курс): «Я не мог в живую свою думу принимать мертвого содержания лекций».

КНИГА ОСОБЕННО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ

Habent sua fata libelli...*

I

Неутомимый г. Павленков, издав *opera omnia* – «*quae supersunt*»** Шелгунова, Скабичевского, необозримое множество «биографий великих людей» и серии книг по всем мало знакомым ему и потому чрезвычайно для него занимательным наукам, выпустил еще одно издание: «Историю цивилизации в Англии», сочиненную Генрихом Томасом Боклем. Без какой-либо иронии и, напротив, не без величайшего удивления и почтения, мы рассмотрели на зеленоватой обложке этой книги большого формата вереницы его издательских трудов. Это – деятельность, достойная Новикова; это лучший пример того, насколько частная предприимчивость, движимая любовью к предмету, мощнее и зорче деятельности официально-государственной, которая повинуетя лишь обязанности. И в самом деле, если собрать все, что было издано нашим министерством народного просвещения для образования и направления «к добру и правде» русского юношества, и сравнить *его* усилия и *плоды* этих усилий с тем, что сделал *один* г. Павленков, при средствах самых скудных, для введения мысли и чувств нашего общества в русло *ему* желаемое, – мы убедимся без труда, что он единолично стоит целого министерства; что наше маленькое, подрастающее общество учится, думает, занимается, уважает и ненавидит скорее «по-Павленкову» и уже никак не «по министерству народного просвещения». Г-н Павленков заслужил венка; и, повторяем без какой-либо иронии, мы этот венок ему, эту в своем роде монтионовскую премию за добродетель – воздаем.

Если не ошибаемся, г. Павленков, – кажется, гвардейский офицер в отставке***, – сам ничему или приблизительно ничему в свое время не был выучен; но ведь и Новиков учился на медные деньги. Если бы кто-нибудь заметил, что Новиков был при этом чрезвычайно умен, а г. Павленков, видимо, ограничен, мы ответили бы, что и это не имеет никакого умаляющего значения для г. Павленкова, ибо только лишний раз доказывает, до чего собственно незначительна роль «ума» в истории и все принадлежит в ней героине гораздо более возвышенной и прекрасной. Сколько есть мудрых профессоров на кафедрах; сколько самых остроумных писателей, великих сердецеведцев, прозорливых политиков трудится в журналистике; как просве-

* Имеют свою судьбу книги (*лат.*).

** все написанное, даже в избытке (*лат.*).

*** См. при первом издании сочинений Писарева – судебный процесс г. Павленкова, обвиненного в нарушении цензурных правил, и там при первых формальных вопросах – его ответ о летах, звании и положении своем. Мы, впрочем, ссылаемся на память, и за десятки истекших лет она могла нам изменить.

шен г. Мартенс, необъятен и неутомим г. Кареев; не упоминаем о меньших... Но вот, среди всех этих блистающих умом и эрудицией людей, скромный отставной офицер становится свой жертвенник; он говорит, что из всего, что создала всемирная культура, из всех этих Платонов, Вергилиев, Рафаэлей, Декартов, Лейбницев – ему нравится более всех г. Шелгунов; что между критиками, от Свида и Фотия до С.-Бева и Брандеса, он не находит такого остроумного, как г. Скабичевский; что г. Михайловский значительно превосходит самого Прудона и несколько узкого Конта. Вокруг раздаётся смех, негодование, – он этого не слышит; он сыплет и сыплет благоволия на жертвенник, и дым от его огня, свет от его любящего сердца совершенно затмевает обозленных и тщеславных Мартенсов, Пыпиных, Кареевых et tutti quanti. И они, совершенно ясно видя, что г. Павленков ничего не понимает в том, что он делает, уже начинают, хоть и с ужасающей злобой, говорить: «Господин Павленков», «Почтенный г. Павленков», – надеясь и жаждая в тайне души, чтобы и их он как-нибудь захватил в сферу своего внимания; но г. Павленков никого из них не замечает.

Да, – конечно, почтенный г. Павленков:

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой...

Он имел одно виденье,
Непостижное уму...
И глубоко впечатление
В сердце врезалось ему.

С той поры, сгорев душою...

.....
.....

Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
А. М. Д. своею кровью
Начертал он на щите.

.....
.....
.....

Lumen coeli, sancta Rosa!
Восклицал он, дик и рьян,
И как гром его угроза
Поражала...

«Велика Диана Ефесская», – и богатство природы человеческой поистине неисчерпаемо: благородная черта одного века переносится в другой, казалось бы совершенно ему противоположный и неспособный вовсе при-

нять что-нибудь из эпохи давно разрушенной и даже забытой. Тип испанского гидальго повторился в грубом типографском мастеровом, на холодном севере, полуобразованном Востоке, в ограниченном отставном гвардейском офицере, который проклял меч и возлюбил книги, казалось бы – в торгаше. В иную, нежели та умершая, эпоху, в век совершенно противоположной веры, новый гидальго «сложил в сердце своем», что, пока он не умер, так называемые «60-е годы» нашей истории не умрут в нашем обществе. Пусть политика идет своим путем, изменяется законодательство, меняются нравы, и все идут поклониться иным богам, – «смиранный» и «простой» рыцарь-типограф выбрасывает на книжный рынок том за томом, автора за автором из тех полуумерших лет; он, наконец, окружает себя писателями, почти подростками, давая им заработок и воспитывая в них направление; и, таким образом, один, почти один создает «вторую молодость» для идей, казалось бы навсегда похороненных, для страстей уже совершенно погасавших... Конечно, он заслуживает мантионовской премии. И даже сталкивая его с исторического пути, – если б нам могла прийти эта фантазия или если бы мы имели к этому силу, – мы предварительно глубоко и благоговейно поклонились бы ему, как лучшему, как одному из лучших сыновей своей земли и своего века.

II

«История цивилизации в Англии» Бокля, перевод А. И. Буйницкого; в 2-х томах, с портретом автора и вступительной статьей Е. Соловьёва, – есть одна из последних, выкинутых им на рынок книг. – «Мне редко, – писал известный путешественник по России в 60-е годы, Уоллес, – приходилось раскрывать в России номер журнала и даже газеты без того, чтобы не встретить имени Бокля; образованная русская молодежь зачитывается «Историей цивилизации» и на многие мысли, в этой книге высказанные, смотрит, как на некоторое новое Откровение». И от других, туземных уже писателей, мы знаем, и, наконец, помним из собственных личных воспоминаний, что, в самом деле, успехи этой книги в 60–70-е годы в нашем обществе имели что-то свехлитературное: это была какая-то новая реформа, – еще Петр, покоряющий капризу своему «варварскую Россию», еще Омар, завоевывающий Сирию и Египет для только что принесенного на землю ислама. Нельзя было не читать ее; нельзя было наряду с нею или приблизительно с таким же почтением читать другие книги; решительно, грозное: «Если в них написано то же – они не нужны, если другое – они вредны», – этот приговор Омара над Александрийскою библиотекой рвался из уст тысяч маленьких Омаров того времени, не выпускавших из рук нового аль-Корана и говоривших из него обширными текстами.

Может быть, иллюзия превосходных качеств этой книги так и сохранилась бы навек, если бы сама книга, никем более и уже давно не читаемая, замерла в неподвижной своей славе, подобно тем ископаемым насекомым, которых мы иногда находим замурованными в геологических пластах земли,

и удивляемся, как могли быть сохранены в целости столь хрупкие формы. Но г. Павленков извлек ее на свежий воздух и захотел сделать из нее практическое употребление; подобно древней Медее, в окостенелые жилы своего почти уже умирающего поколения он задумал влить кровь молодого козленка, – когда-то бывшего молодым. Он пригласил, для помощи в операции, г. Евг. Соловьёва – писателя, если не по летам, то по языку и составу идей, отроческого возраста. И вот этот отрок, в предисловии к изданной книге, рассказал вслух всех 20 000 ее читателей*, кто был «герой его времени» и как написал он знаменитую книгу... Подражая Ла-Брюйеру и другим, он сос гавил и поместил перед «Историей цивилизации в Англии» статью: «Генри Томас Бокль: характеристика», перепечатав в ней, почти без пропусков, автобиографические данные, оставленные о себе некогда знаменитым мужем и которые, он был уверен, произведут на всех то же неизгладимое и волнующее впечатление, каковое, очевидно, он испытал сам, читая их.

«Я родился, – записал о себе Бокль, – в Ли, графстве Кент, 24 ноября 1824 года. Мой отец был купцом. Звали его Томасом Генри Боклем, и он происходил из рода, один из членов которого пользовался большою известностью как лондонский лорд-мэр, в царствование Елизаветы».

Как припомнит читатель, кроме монументальной «Истории цивилизации», у Бокля есть маленький и недоконченный «Очерк царствования королевы Елизаветы». Мы можем теперь догадываться, что представление о «лорд-мэре» Лондона, когорый в то же время был его «предком», с воспоминания о чем он начинает свою автобиографию, сделало это царствование, гораздо менее значительное, чем две смежные с ним эпохи, любимейшим для него во всей истории Англии. Мы отмечаем эту маленькую слабость его самолюбия, имея в виду демократическую его пренебрежительность к чужим родовым и фамильным воспоминаниям.

«Отец мой умер в 1840 г. Моя мать в девичестве носила фамилию Миддельгон. В детстве я обладал слабым здоровьем, и мои родители, по совету одного доктора, м-ра Биркбека, решились не давать мне обычного образования, опасаясь вызвать им переутомление мозга».

Ниже мы увидим, что Бокль обладал удивительною природною памятью, и, следовательно, угомление в нем вызывало не запоминание фактического содержания уроков, но их остальная часть, т. е. только рассуждение, размышление; и если мы примем во внимание, что шло еще элементарное учение, мы без труда догадаемся, что испугавшие доктора симптомы, связанные с чрезвычайным умственным усилием, затрачиваемым на усвоение этих элементов, всякому легко дающихся, – связаны были исключительно с слабоумием ребенка, о чем, конечно, ему никогда прямо не было сказано.

* В газетах, год назад, публиковалось: «Вышла и продается девятнадцатая тысяча «Ист. цив. в Ан.» – Бокля», и пр.

«Благодаря этому, я не пошел по пути школьной науки и никогда не посещал колледжа. Когда мне исполнилось 18 лет, мой отец умер, оставив мне независимое состояние. До этого времени я читал очень мало, преимущественно Шекспира, арабские сказки и «Путешествие Пилигрима», – книги, постоянно приводившие меня в восторг. В возрасте от 18 до 20 лет я задумал, – разумеется, в смутной форме, – план моего сочинения и принялся разрабатывать его»...

Таким образом, вот эмбрион, из которого вырос удивительный план «История цивилизации». «Восторгавшийся» детскими «сказками» слабоумный мальчик, для которого доктор нашел опасным продолжать первоначальное ученье, – оставшись по смерти отца на свободе и с состоянием, задумал ни для чего не нужное ему время убить на переработку науки, которой ему известно было в то время только имя; но ему больше нечего было делать, равно без практической и теоретической подготовки к чему-нибудь.

«Я стал, – пишет он, – работать по 9 или 10 часов ежедневно. Метод моих занятий был таков: утром я изучал естественные науки, после завтрака – языки, в которых был круглым невеждой, вечером – историю, юриспруденцию и всемирную литературу. Я никогда не писал ни для газет, ни для журналов, твердо решившись посвятить свою жизнь более крупному труду».

То, что ему казалось серьезно «методом», было обычное школьное чередование уроков, с тою же несвязанностью между собою чередующихся часов по предметам внимания, и вообще со всеми недостатками школьного учения, в которых он не нашел ничего поправить, хотя и мог бы это сделать при его свободе и обеспеченности. Список наук, которые он таким «методом» не столько проходил, сколько просто читал по книгам, – вероятно, был им узнан из слухов об университетских чтениях или где-нибудь попался в книге. С тем вместе уже в эти 18–20 лет в нем, еще только начинающем учиться, уже пробуждается чванливость, внешняя занятость собой. «Я никогда не писал для журналов», – оговаривается он, забыв или не зная, что для них, без ущерба своему достоинству, писали Маколэй, Бэнтам и Д. С. Милль.

Приведя эти строки, г. Евг. Соловьёв растерянно и удивленно пишет:

«Простота и скромность, которыми дышат эти строки, не могут, однако, удовлетворить нашей любознательности. Нам бы хотелось знать, например: *каким путем грандиозный план «История цивилизации» зародился в голове 18-летнего юноши, не знакомого ни с одним из иностранных языков и не читавшего ничего систематически? К сожалению, этот вопрос должен остаться без ответа*: обстоятельнейшие биографы Бокля обходят его молчанием, и пред нами голый факт во всей своей загадочности». «Как бы то ни было, – рассказывает и комментирует он далее, – сочинение задумано, и дальнейшая жизнь Бокля оказывается вытянутою в одну линию. Преследуя свою цель, он занимается 9 или 10 часов ежедневно, не желая даже слушать предо-

стережений со стороны своего слабого здоровья; он отказывается от соблазнов честолюбия, не желая выступать перед публикой ни с единою строчкой; целые годы и даже десятки лет он проводит в стенах своей библиотеки, которую составляет сам, *изо дня в день обходя букинистов*. Ничто не нарушает его однообразной, постоянно повторяющей себя жизни. Материальные затруднения неизвестны, твердая воля, преобразившаяся в *трогательную преданность поставленной себе огромной задаче*, легко справляется с искушениями юности (их не было, см. ниже); *работа увлекает все больше*, здоровье скрипит, но не отказывается пока служить. А рядом с этим горячая честолюбивая голова рисует привлекательную картину, *как он в одном сочинении нарисует полную картину «Истории всемирной цивилизации»* (таков был первоначальный план) *и предоставит жизнь человечества в свете обширной и мощной идеи*.

Так пишет восточный энтузиаст свой критико-биографический акафист, далекий от подозрения его истинного значения; главное, он не переиначивает фактов, не утаивает их.

Однажды встретившись с Ч. Дарвином, Бокль рассказал ему метод своего приготовления своего труда, и Дарвин отметил это в своей «Автобиографии» (СПб., 1896 г., стр. 35).

«Я очень был доволен, – пишет он, – узнав от Бокля, встреченного мною однажды в Генслэй, у Уэрдвидов, способ его собирания фактического материала. Он сказал мне, *что покупал все книги, которые прочел*, и составлял *к каждой полный указатель фактов*, если они, по его мнению, *могли оказаться для него пригодными*. По его словам, он всегда мог вспомнить, в какой книге прочел что-либо, так как обладал удивительной памятью. Я спросил его, *каким же образом он мог сразу судить, какие именно факты ему пригодятся?* Он ответил, что *не знает и что им руководит род инстинкта*. Привычка составлять указатели привела к тому, что он был в состоянии привести, по всем вопросам, чудовищное количество цитат, которые можно найти в его «Истории цивилизации».

Интересно взаимное впечатление, с которым, поговорив, разошлись эти два авгура нового просвещения. «Его книгу, – пишет Дарвин, – я считал очень интересною и прочел два раза; сомневаюсь, однако, стоят ли чего-нибудь его обобщения», и далее лично о нем: «Бокль любил много говорить; я слушал его, едва проронив слово, да и не мог бы заговорить, *потому что он продолжал без передышки*». Только когда начала петь, – читатель помнит, что это было в гостях, – знаменитая г-жа Фаррет, Дарвин прервал собеседника и, извинившись, вышел в другую комнату. Оставшись один, Бокль обернулся к стоявшему вблизи приятелю и сказал: «Ну, книги Дарвина лучше, чем его разговор». Слова эти случайно услышал брат знаменитого натуралиста, и, таким образом, они попали в его «Автобиографию».

По предварительной подготовке, состоявшей почти в ее отсутствии, и также по самому способу занятий, из Бокля складывался собственно любитель-букинист, осведомленный о колоссальном множестве книг, случайно накопленных и содержание которых он без разбора суммировал в вереницах так называемых index'ов *regum*. Он инстинктом предугадывал, да, наконец, и ясно знал, что всякий факт в истории есть факт, и если (как он задумал) писать «Историю всемирной цивилизации», то все им внесенные в index'ы факты разместятся где-нибудь и когда-нибудь в томах этого труда, как и кирпич разобранного здания войдет весь в его стены, если их вновь начать обратно складывать. Здесь заключается мысль и основание ответа, какой от него услышал – и удивился ему – Дарвин. По безразличию его ко всяким книгам и отсутствию руководящей мысли при их чтении, он был начетчик-торговец, – и стал бы им действительно, если бы был беден и вынужден был искать работы. Но огромный досуг всей жизни, перед ним лежавшей, и, вероятно, глубокое одиночество, по крайней мере в течение первых лет «занятий» (в связи с чем находится и то, что он «не хотел» ничего писать для газет и журналов), – наконец, его ужасающая необразованность, при врожденном слабоумии, – все это в сложности своей дало почву, на которой зародилось и окрепло представление, что в index'ах *regum* его уже заключается некоторая мысль, что это уже есть начало чего-то, какого-то духовного труда, умственного созидания; что это есть борозды и линии фундамента, намекающие на очерк такой грандиозной – это-то он видел – постройки, самая мысль которой никогда и никому ранее его не приходила на ум. Мы не должны забывать, что он собирал факты из *всей* истории, у *всех* народов и из *всех* эпох: именно эти регистры, бесплотно собранные, и были зерном, откуда вырос чудовищный его план...

«Чтобы проникнуть в жизнь Бокля, – пишет удивленный комментатор его кратких автобиографических заметок, – чтобы в нее проникнуть, мы должны перенестись мысленно в обстановку его громадного рабочего кабинета, *с окном наверху, с бесконечными полками книг, всегда аккуратно стоящих на своем месте, заботливо переплетенных рукой самого хозяина и любовно охраняемых от пыли.* Утром ли или вечером, мы всегда застанем здесь Бокля. Он выходит только на прогулку и лишь изредка, чтобы навестить своих немногочисленных друзей. Кабинет устроен так, что шум лондонских улиц не долетает до него; груды *аккуратно сложенных газет* говорят, что историк интересуется современностью; однако отчеты о театрах, концертах, выставках остаются непрочитанными. *Бокль не интересуется изящными искусствами, он не умеет отличить Бетховена от Моцарта, никогда не посещает спектаклей, не находит наслаждения ни в картинах, ни в статуях.* Только наука пользуется его вниманием и любовью, и ей отдает он все свои силы. Он изучает», – т. е., поправим мы, читает по книгам – анатомию, физиологию, ботанику, физику, химию, право; он не

видит конца и даже не ставит предела своим занятиям, он хочет быть первым историком нового типа и понимает, что такой историк должен *знать все*. Читая и перечитывая груды книг, он убеждается, что его излюбленная история *не вышла еще из своего хаотического состояния*, что это не более, как *беспорядочный лепет ребенка*. Он *изумляется невежеству своих предшественников*, из которых один, говоря словами его, ничего не знает по части политической экономики, другой - права, третий - церковных дел и развития убеждений, четвертый пренебрегает теорией статистики или естественными науками, хотя все это вопросы существенные, обнимающие все важнейшие обстоятельства, действующие на темперамент и характер рода человеческого».

Предположение, что историки в самом деле не знали и не изучали всех этих наук, образовалось у Бокля вследствие того, что он не проходил ни средней, ни высшей школы, и не знал вовсе, что все названные науки входят в их курс, а любознательные люди пополняют потом этот курс чтением. Но он не встречал цитат из книг экономических, анатомических, статистических, напр., у Гизо или Маколя, и отсюда умозаключил, «что они и не могли бы» сделать этих цитат, если бы даже захотели, что они «вовсе не были ознакомлены» с этими науками.

«Все это, - поучительно продолжает его русский биограф, - историк обязан знать; и Бокль работает. Доктора находят, что он переутомляет себя», - т. е., поправим мы, переутомляет свой врожденно несильный мозг. - «Он отказывается *от любимой шахматной игры, от чтения романов*, лишь бы иметь возможность посвящать своей будущей книге 9-10 часов ежедневно*. Параллельно», - т. е. по системе задавания себе уроков, - «им изучаются история, естествознание, 19 языков; параллельно же идет и другая подготовительная работа: Бокль *учится писать*. Книга плохо или недоступно написанная имеет, в его глазах, лишь половину цены: он хочет», - т. е. ему хочется, - «чтобы его речь проникла в массы, и больше всего он боится, что ее заметят лишь в кружке ученых. С этою целью он выучивает наизусть целые страницы из Борка и Питта и переписывает по несколько раз

* Это вовсе немного. Знаменитый математик Буняковский рассказывал о себе, что со времени юной возмужалости и до глубокой старости он работал по 14 часов в сутки; и из жизни других очень даровитых людей мы знаем, что они занимаются все время своего бодрствования, вовсе никогда не отдыхают, и не испытывают переутомления, - понимая, и радостно понимая смысл своей работы. Известно, что Аристотель, откидываясь на спинку кресла для минутного отдыха, держал шар над мегаллическим тазом; едва дремота касалась его, как шар падал и пробуждал его к новым умственным и, очевидно, никогда его не утомлявшим усилиям. Но, собственно, без учителя Бокль *задавал сам себе уроки* и не понимал вовсе мысли своего труда, смысла своего трудолюбия иначе, как в неясной и общей форме, что из него должно выйти что-то огромное, какая-то реформа науки. Отсюда мозговое, и, вероятнее всего, только нервное, истощение.

уже законченные им главы. Выступить перед публикой во всоружии точного знания, заковать свои *выводы* в броню сотен *примечаний* и вместе с тем не остаться непонятым массой, этим лучшим судьей, во суждении самого Бокля, во всем, что касается практических выводов и применения мыслей к жизни, – такова была грандиозная утопия, на которую он употребил 20 лет».

Судя по портрету Бокля, он представлял из себя массивную фигуру, но, в тех же биографических сведениях, приводимых г. Е. Соловьёвым, указывается, что он был маленького роста; итак, он был только одутловат, с нависшим, широко раздавшимся подбородком, и лбом без всяких изгибов и линий; почти самое характерное в его фигуре – положение головы и выражение глаз; в глазах нет устремления, тихая задумчивость; видно, что он постоянно о чем-то размышляет, что-то соображает или отдыхает после соображения; вообще же пренебрегает взглянуть на мир; брови короткие и небольшие; на губах почти улыбка и во всяком случае самодовольство; есть нескрываемая ирония в сложении губ, как-то беспредметно, неопределенно отнесенная ко всему внешнему, а priori уже ирония, и есть в этом сложении что-то невыразимо упорное: ясно, что его нельзя было в чем-нибудь переубедить, как бы продолжительны и очевидны ни были ваши доводы. Отзвываясь о Дарвине: «Я более ожидал от него, судя по его книгам» – как бы звучит с этих губ. Но самое характерное, я сказал – в положении его головы: она как-то царственно покоится, сев в туловище, почти без посредства короткой шеи; видно, что он бережет ее, лелеет, и не столько имеет ее у себя, сколько носит ее на себе, как некоторый трон, как седалище важной и даже единственной мысли. В общем – выражение того покоя и тихого, внутреннего счастья, которое редко достается в удел смертным. Около него чувствовался Олимп; и мы не удивляемся – да простит читатель, что мы все возвращаемся к мимолетному, но характерному воспоминанию Дарвина, – что он «без передышки» стоял и говорил перед ним; что он не заметил вовсе, что Дарвин ничего не говорил; а когда знаменитый натуралист, судя по важности говорящего, невольно счел долгом поблагодарить его и отошел – высказал о нем классическое и вовсе ни на чем, ни на одном дарвиновском слове, не основанное суждение.

Физиология есть мать психологии и, по крайней мере, ее непереступаемое условие; это в особенности относится к физиологии рождения нашего, которое накидывает на нашу последующую деятельность сеть пределов, из которых мы не умеем и обыкновенно не пытаемся выйти. В возрасте родителей Бокля была чрезвычайная разница, «крупная разница в возрасте отца и матери» (стр. VII), замечает он, не подозревая важности сообщения. В тех же заметках он говорит, что его мать надолго пережила отца, и мы можем, без особой опасности ошибиться, умозаключить, что «Томас Генри Бокль», отец автора, женился уже в глубокой старости, и «Генри Томас Бокль», сам автор, был плодом последних усилий его любви, усилий, естественно, хилых. Да простит читатель наши слова: мы расследуем научный факт, притом имевший огромные исторические последствия, и как Апостол «ради необходимости

спасения» говорит, хоть и оговариваясь, о «недопустимом» в обычной человеческой речи, – так и мы, чтобы со дна действительности достать нужный факт, не остановимся перед необычными словами. Вялый акт coitus'а в высшей степени отразился на физиологической и психической структуре историка: на его слабом здоровье, вызывавшем постоянный испуг докторов, посоветовавших вовсе даже прекратить учебу; на чрезвычайном развитии обильной лимфы, при слабости артериального движения, что сказалось одутловатостью тела и лица, и, вероятно, хоть это и не оговорено у г. Евг. Соловьёва, он был бледен и желт и предрасположен к нагноениям. Сумма этих данных, в зависимости от факта, указанного в биографии Бокля, – грубо, но до научности пронизательно отмечается в просторечии нашим словом «поскрёбьш», указывающим, что natura creatrix* уже собственно не творит здесь, но собирает, «соскребаёт» следы прежнего творения, последние остатки в себе живой материи: и производит от этого существо, которое, правда, имеет силу родиться, но бытие которого, по недостатку внутренних играющих сил, только еле держится, продолжается и, в сущности, лишь медленно замирает**.

«Но неужели же, – спрашивает пронизательно г. Е. Соловьёв, – за весь этот долгий промежуток жизни Бокль не знал ничего романтического, не любил женщины, не страдал и не радовался? Чтение может наполнить часы, бездну часов, но не *бездну человеческих чувств и вожелдений*. Сохранившиеся до нас отрывки из дневника Бокля и его обширная переписка дают нам ответ на поставленный вопрос. На первых порах», – мы отметим, что только на первых, – «следы романтических увлечений несомненны. Бокль влюбляется в одну кузину, потом в другую***; дерется даже на дуэли со своим счастливым соперником (женщины, значит, *ничего* к нему не испытывали, не имели к его крови *органического тяготения*), и *страстно мечтает о поездке в Дамаск, рисующей его воображению во всем блеске ярких красок* «Тысячи и одной ночи» (в возрасте, см. выше, 18–20 лет). Но скоро это внешне-романтическое исчезает. Любовь и нежность, преданность и даже самоотвержение, страстные мечты и даже муки бессонных ночей, повторяющихся все чаще, сосредоточиваются возле одного центра – будущей «Истории цивилизации». Только неизменная привязанность и дружба к матери освещает ровным светом эту замкнутую трудовую жизнь, эту сосредоточенную кропотливую работу».

* природа создающая (*лат.*).

** Замечательно, – см. ниже – что около 41 года Бокль умирает без ясно определяемой и называемой болезни, угасает; т. е. в нем было жизненных, органических сил на $\frac{1}{3}$ менее, чем у нормального человека; с этим показателем совпадают и все другие данные его биографии, особенно противоестественно хилые попытки любви, о которой см. сейчас ниже.

*** Замечательно влечение, в *обоих* случаях, к родственной крови, с грозющим вырождением, т. е. уже теперь, в самый момент влечения, это было *симптомом* органического, родового вырождения.

Таким образом, по словам биографа, план удивительной книги, которую мы ниже будем разбирать, зародился в непосредственной близости с усилиями полюбить, – которые были напрасны, потому что он никому не нравился, и с разгоряченными мечтами о местностях, в которых Аладин, обладатель чудесной лампы, испытал столько опасных и всегда занимательных приключений. Это был возраст, когда он не мог привести в исполнение намерение свое лично видеть эти места, – что он сделал позднее; и одновременно, когда ему пришлось утешиться в «тихой» любви к матери. Мы можем прозреть, насколько не настаивая на своей мысли, что и оскорбление от неудачной любви самолюбью, и представление необозримых, как бы нигде не кончающихся пустынь Аравии повлияли на образование плана его книги, которая должна была быть совершенно удивительна и нова для мира, и так же, как пустыни Аладина, нигде и никогда, в сущности, не кончалась, не держа в себе ясных границ.

«Характер Бокля, – продолжает биограф, – был хорошо приспособлен к подвигу, возложенному им на себя. Бокль обладал горячею головой и холодною кровью. Первая создала проект, вторая позволила осуществить, хотя и одну только, часть его. Несмотря на всю грандиозность предпринятого, Бокль не растерялся в необозримом материале, не отступил ни на шаг в сторону от задуманного: не его вина, что он умер, едва дожив до 40 лет, – возраста, заметим, когда Декарт, Ньютон и Бэкон совершили уже все свои открытия, – не успев, выражаясь метафорически, переписать набело своего черныка. Лично он верил, что это возможно; верили и все, знавшие его. На самом деле, он удивительно умел работать «ohne Hast, ohne Rast»*, т. е. без торопливости и без остановки; он не скучал однообразием дела, не утомлялся его прямолинейностью. В нем не было и следа дилетантизма. Те, кто думает, что он только «перелистывал» естественные науки, сильно ошибаются**. Он доводит свою серьезность в отношении к делу до того, что изучает специальные медицинские работы. Говоря, что он знает 19 языков, он несколько не преувеличивал факта, и действительно знал их настолько, насколько это нужно было для его работы, т. е. понимая без словаря иностранные книги. В большем он не чувствовал необходимости и считал бесполезным тратить время на усовершенствование, напр., в произношении. Он экономно распоряжался своим временем и дорожил каждою минутой. Его мысль работала неустанно и отдыхала лишь при перемене предметов изучения. Он ненавидел пустые светские беседы и, посещая знакомых, всегда говорил о том, что его

* «без спешки» (нем.).

** Что, однако, можно иное думать об огромном множестве медицинских, им прочитанных, книг, к коим он приступил, никогда не рассекав трупа, не обращавшись с микроскопом и, наконец, не посещая, т. е. не наблюдая, больных. Это могло быть только полупонимающим чтением, – и в лучшем, точнее худшем случае, это было заучиванием книг наизусть.

интересовало. В его *небольшом теле, облеченном обыкновенно в старомодный стюртук толстого сукна, во всей его прозаической фигуре* скрывался фанатик, но фанатик дисциплинированный, не способный ни на один необдуманный шаг, исполненный, если хотите, благоразумия во всех своих отношениях ко внешнему миру».

«Это благоразумие жизни, одинаково характерное для Бокля, как для Дарвина или Спенсера, – особенно поражает русского человека... Читая дневник и переписку Бокля, вы готовы даже воскликнуть подчас не без досады: «Это на самом деле купеческий сын». Бокль аккуратен до педантизма: его дневник – это приходо-расходная книга его занятий и жизни. Он не скрывает своей любви к комфорту, привязан к хорошим сигарам, сердится, когда неумело заваривают чай или подают к столу пережаренные тартинки, дает своим друзьям подробные наставления, как выгоднее помещать деньги, хвалит экономию... Все равно, как в Колумбе рядом и мирно существовали и гениальный прозорливец, увидевший через океан Америку, и превосходный капитан корабля, входивший в каждую мелочь обихода, пачкавшийся в дефте и грошевых расчетах, – так и Бокль, несмотря на всю творческую экзальтацию, к которой был способен, – никогда, по собственным словам, не вынимал из кармана шиллинга, не обдумав предварительно, может ли он истратить его и на что; и это несмотря на крупное состояние. Лирический беспорядок и распущенность он презирал и в жизни, и в научной работе. Он хозяйственно распорядился своими деньгами, временем, своими занятиями; без этого мы имели бы не «Историю цивилизации» – эту художественно-стройную и строго выдержанную работу, а, быть может, несколько талантливых статей, словом, не большое сражение, данное тайнам истории, а десяток-другой блестящих партизанских стычек, обыкновенно безрезультатных».

Впечатление, производимое на других Боклем, так же важно, как и он сам; или, точнее, это впечатление есть единственное основание интереса, который мы к нему питаем: вот почему колорит биографии его, написанной русским энтузиастом, так же многозначителен, как и приводимые им факты.

«В одном, – продолжает он, – не знал Бокль благоразумия и сдержанности: в наложенных им на себя занятиях; но он все повторял слова Писания: *уго Мое благо и время Мое легко*. Здесь-то, в противоречии между слабым здоровьем и умственно безустанною работой, им насильственно налагаемой на себя, и скрывается драма существования Бокля. Сознание этой драмы проходит красною нитью через всю его переписку, хотя он как нельзя более сдержан насчет интимной своей жизни и лишь в немногих, обыкновенно грустных словах касается ее. После целых страниц, посвященных какому-нибудь отвлеченному вопросу или характеристике тех книг, которые необходимо нужно прочесть, после длинных цитат из Конта или Милля, мы нет-нет наталкиваемся на фразу: «Мое здоровье слабо», или: «Мне посоветовали оставить шахматную игру, так как она сильно утомляет меня», или: «Доктор нашел у меня следы переутомления» и т. д. Но беречь себя, под-

чиниться строгому режиму, примириться с полной необходимостью бездеятельностью Бокль не хотел и не мог. Для него это значило бы отказаться от самого себя и утратить всякую цель в жизни. Неутомимая жажда познания (т. е., поправим, сознание долга «читать»), любовательность, не знающая насыщения, таилась под его благородным и сдержанным. Он должен был читать, думать, писать и говорить ежеминутно. Он как монах постоянно перебирал *свои* четки и шептал *свои* молитвы, читал *свое* писание и клал *свои* поклоны. Он соглашался лишь на незначительные уступки, и то с болью в сердце. Болезнь одолевала: «История цивилизации человечества» свелась мало-помалу на «Историю цивилизации Европы», потом – Англии, наконец – ко Введению, и того удалось написать лишь два тома из предполагаемых пятнадцати. Много мук пришлось вынести спокойному, благоразумному Боклю, когда он чувствовал на себе давление железного кольца необходимости, – the ferreous rings of necessity. Позволил себе привести небольшой отрывок из его письма к мисс (а все-таки «мисс») Грей от 1856 года. «Упасть среди дороги, – писал Бокль за три года до выхода в свет первого тома своей Истории, – исчезнуть, не оставив по себе следа (вот мучительная его тоска и источник задаваемых себе уроков), не довершив того, что представлялось мне великим и необходимым, – такова перспектива, которая начинает представляться мне, пронизывая меня холодом и ужасом. Быть может, я мечтал о слишком многом, но порой я ощущаю в себе столько силы понимания (замечательно!), такое могущество над царством мысли (sic), что меня нельзя винить за неумеренность моих стремлений».

Мисс Грей в этом, вероятно, ничего не поняла, но плакала, и почти плачет биограф. «Развив немного это настроение, – замечает он грустно и глубокомысленно, – мы услышим монолог Гамлета, произнесенный в скромной и важной обстановке ученого»...

Трагический конец приближался:

«Прошло три года; пересиливая сам себя и напрягая до последней степени и так уже напряженные нервы, Бокль закончил наконец первый том своего труда. Рукопись, старательно переписанная рукой самого автора*, была готова к печати. Никто не хотел рисковать, выпуская в свет произведение совершенно неизвестного писателя. К счастью, Бокль был настолько богат, что расход в несколько тысяч рублей не остановил его, и он взял на себя издержки издания – и не раскаялся. Успех книги даже в денежном отношении был велик. Не было ни одного журнала или газеты, которые не дали бы своего отзыва, если не всегда лестного, то все же поощрительного. Особенно смущала рецензентов громадность задуманной работы, и они не совсем деликатно предсказывали Боклю, что он никогда не закончит начатого, тревожа этим уже гноившуюся рану. Бокль старался под-

* Это – замечательная и глубоко типичная в Бокле черта; он вечно «перебелист» свои мысли; он любит самый процесс «писания своих слов».

бадривать себя. «Они, – говорил он, – не знают, сколько материала у меня наготовлено... 15–20 лет жизни, вот все, что нужно мне. Неужели я не проживу 15–20 лет?». Скептики, однако, оказались правы. Энергии, взвинченной успехом, достало еще на один том и несколько журнальных статей о Милле, о женском вопросе, о веротерпимости, – и она иссякла. Это ежедневное, ежеминутное иссякновение было настолько очевидно, что Бокль уже не обманывал себя. Слава поэтому радовала его только наполовину, к тому же она возлагала на него такие обязательства, которые он мог исполнять только с трудом. Посещения почитателей, сразу возросшая до невероятных размеров корреспонденция, уклады самолюбиво со стороны критики, публичные речи, которые он теперь стал произносить, – все это утомляло его. Он боролся, впрочем, до конца. Когда приговором какого-то судьи Кольриджа в Корнваллесе некто полусумасшедший рабочий Паули за свои якобы еретические взгляды был приговорен к полугодовому аресту, – Бокль почувствовал себя оскорбленным в самом священном своем убеждении и в резком памфлете, напоминающем памфлеты Мильтона или «Письма с горы» Руссо, выступил в защиту веротерпимости. Но дни его были уже сочтены. Все возрастающая слабость заставила его предпринять путешествие»...

Несмотря на обширную корреспонденцию, «которую он принужден был теперь поддерживать», и на произносимые публично речи, сладкая мечта детства увидеть место походов знаменитого Аладина и его чудесной лампы одна выговорилась ясно в последнюю минуту его жизненного заката. Он выбрал для путешествия Восток, и именно Дамаск, за воротами которого начинается таинственная, фантастическая пустыня, – и «здесь», рассказывает биограф, «разыгрался эпилог драмы его жизни». Последние часы не столько его жизни, как его существования, описаны одним его спутником, г. Гибсоном: «Мы поехали более покойною, хотя и не менее интересною дорогой в Дамаск. Когда при выходе из горного ущелья восточного склона Антиливана пред нами открылась великолепная картина знаменитой долины, Бокль воскликнул: «Для этого стоило бы перенести более страданий и усталости!». Увы, он не знал, какую ценой придется ему заплатить за это удовольствие. «Излишняя усталость, – странная это была усталость: ни чахотки, ни рака, ни болезни сердца у Бокля не было, – снова вызвала у него припадок диареи. Доктор, сопровождавший его, прописал прием опиума. Как ни мал был прием этот, Бокль по слабости своего организма впал в беспамятство и пролежал с четверть часа. Грустно и тяжело было слышать, как в его бреду между несвязными словами слышались восклицания: «*Книга моя! Книга! Я никогда не кончу моей книги!*» – «*My book, my book! I will never accomplish it*»... «Дни его, – замечает наш биограф, – были уже сочтены. Он умер 26 мая 1862 г., 41 года от роду, и был погребен в Дамаске – городе, который ему так хотелось увидеть еще в детстве... Небольшая кучка англичан проводила его тело до могилы, куда оно и было опущено под горячими прямыми лучами сирийского солнца»...

Кажется, до Дамаска он все-таки не доехал; был привезен туда только его труп.

Так умер несчастный мальчик, никем не остановленный в странной, засушающей и бесплодной мечте, которую образовал у себя в возрасте 14–15 (см. выше) лет и всей суетности и фантастичности которой никогда не мог понять, потому что никогда не жил жизнью зрелого, созревшего человека, и ничему, в сущности, не был научен. То, что г. Соловьеву представляется рассудительностью и экономностью его, было именно размеренностью каждого шага, расчетом каждого действия детей, назавтра собирающихся тайно бежать в саванны Америки: он «нес» идею, он нес великую «идею 15-томного Введения», и, конечно, не мог истратить лишнего шиллинга, ибо он мог потребоваться на издание чудовищного труда. Он курил хорошие сигары, какие, без сомнения, курил министр Гизо – тоже историк, но меньшего, чем он, значения – о котором он слышал, но книги его пренебрежительно оставлял в стороне, прочитав одну и не поняв*. Он не мог не произносить публичных речей, когда их произносили Фокс и Питт, и особенно философичный Борк; не мог не поддерживать обширнейшей корреспонденции, потому что теперь взоры всего мира начинали устремляться на него, и жемчужина, так долго таившаяся и зревшая в библиотеке-кабинете с двойным светом, как бы при его павших стенах открылась для любования и изумления народов, для «населения» всех стран, «этого лучшего судьи», замечает он снисходительно и робко, «во всем, что касается (далее смутно, по связи с книгой его) практических выводов и применения мыслей к жизни». – «Книга, моя книга! Я никогда не кончу моей книги!» – «My book, my book! I will never accomplish it»... – какой страшный трагизм для того, кто мог понять это восклицание. Он похоронил себя в этой печальной книге, как иногда, сорвав цветок, мы его кладем среди ее страниц и засушиваем, забыв потом через день, через неделю. Что-то безжалостное к себе, к лицу своему, есть в нем; или, быть может, это безжалостное к лицу его было в его судьбе: он именно *забыл* себя в книге, как мечтательная девушка забывает в альбоме, полученном от любимого человека, случайно сорванный на ходу, в волнении, лепесток ненужного ей и для нее неинтересного растения. Жива, растет, увеличивается, растягивается на целую печатную милю, на «пятнадцать томов одного Введения» только эта ученая, отвратительная, облезлая, старчески-беззубая Шехеразада, но которая по совершенной беспамятливости не может ни остановиться, ни поставить точки, ни вспомнить, что она говорила вчера и следовало бы говорить завтра, и отнимает у нас вечер за вечером, за оконченной главой начиная непременно новую главу. Из-под этой груды мусора, из-под этой ужасной, одновременно как-то и мертвой и таинственно живой, сосущей, одолевающей, овладевающей ведьмы мы едва слышим, – хоть заглушенный, но слышим – крик задушевного мальчика, – детский крик о милой, поэтической Аравии и юном Аладине, который с лампой своею вырывает какие-то необыкновенные со-

* См. ниже наше исследование.

кровища из земли, несомненно более реальные, чем переворот в науке, совершенный или имеющий совершиться от чудной, им выдуманной, книги. Этот крик – предсмертное желание Бокля поехать и взглянуть на Дамаск – есть единственная серьезная, потому что единственно живая строка его печальной жизни; жизни, правдоподобию которой мы никогда не поверили бы, если бы она не была засвидетельствована его собственными словами и, наконец, не была просто всемирно известным, удостоверенным фактом.

Природный и исключительный букинист, Бокль в такой мере не любил живой жизни, что однажды, решившись оставить Англию, чтобы взглянуть на другие страны, цивилизацию которых он собирался объяснить, он не мог преодолеть отвращения к непосредственному их созерцанию и, как пишет его биограф, «не расставался с книгой ни в гостиницах, в которых останавливался, ни в почтовой карете» (Евг. Сол., стр. 11), в которой он не столько сам ехал, сколько везли его. У него не было никакой любви, никакого интереса к факту в его внутреннем содержании; никакого интереса и любви к самому предмету задуманного труда, человеку; и даже едва ли он догадывался, едва ли выпукло представлял себе, что этим предметом служит человек: ему скорее казалось и он действительно писал «о книгах в истории человечества», о книгах в эпоху шотландской реформации, французского абсолютизма, испанской инквизиции, но не о человеке реформирующемся, человеке-абсолютисте, человеке-инквизиторе. Проезжая по городам континентальной Европы, он закрывался от них читаемой книгой; что тут же на улице, по которой везут его, на площади перед окном его гостиницы странным образом совершается действительная история, что тут играют все элементы ее и что, не понимая этих элементов, ничего нельзя понять и в больших циклах истории – этого ему никогда не приходило на ум. Его представление об истории было именно представлением о ней как о некоторой напечатанной по предмету истории книге; скорее всего – это было представление некоторого обширного и неудовлетворительного «по истории» учебника: крестовые походы вырисовывались как глава о крестовых походах, обдумывалась ли революция – это обдумывалась глава «о ближайших причинах французской революции»; стояла ли в воображении реформация – это перелистывались мысленно 20–30 страничек о ней, с мыслью написать дополнительных 200–300 или 2000–3000 стр. Все главы прототипического учебника стояли в порядке, не перемешивались, не перевивались между собой; и ему естественно было думать, что эта шумливая улица, на которой не было надписано никакого исторического заголовка, не стояло: «Глава VII. Демократия в Европе», – ему казалось, что она и не входит ни в какую главу истории, так что он напрасно отнял бы у труда своего несколько драгоценных часов, если бы вышел, и посмотрел, и прислушался, чем и как шумит она. Для 15-томного распространения каждой из этих глав, «собственною рукой с любовью переписанных», конечно, нужно было читать и читать, читать торопливо и гораздо более, чем по 10 часов в сутки; и только особенным, чисто блаженным ощущением при держании в руках книги, – можно

объяснить, что, покупая, он, при богатстве, еще и своеручно переищетал их. Но совершенно ясно, что, как бы ни обещал его труд раздвинуться в согни, даже тысячи томов (15 томов составляли одно «Введение»), – в них не было и не обещало быть ни одной крупницы *нового*, ни одной черты факга, *вновь* подмеченной, – им самим, Боклем, подмеченной: ибо не факты, не памятни-ки истории, не летописи, язык и прочее, почему прозорливцы разгадывают ее факты, было им положено в основание труда, но этим основанием и, так сказать, самой фактурой сочинения сделались бесчисленные книги, им скупаемые у неустанно посещаемых букинистов. «Вне их, – замечает его восторженный, но не понимающий биограф (стр. XIII), – Бокль был как рыба на берегу: нравственных коллизий ему лично не пришлось разрешать ни разу; его темперамент всегда удерживал его от всего, что ведет за собой угрызения и муки совести; жить для него значило читать и думать о читанном: how lovely a thing is a good book – *какая чудная вещь хорошая книга!* – восклицает он постоянно в своих письмах».

Неудержимая, огромная мечтательность лежит в основе его характера и судьбы; он знал, он не мог не знать, и не узнать очень рано, – хотя бы из прочитываемых ежедневно и «откладываемых аккуратнo в сторону» газет, – что книга, что напечатанная в типографии книга почти так же наполняет, насыщает атмосферу каждого дня в XIX веке, как в эпоху «Божьего мира», в XI–XIV столетия, все дни недели, кроме пятницы, субботы и воскресенья, были наполнены в целой Европе неумолчным лязгом оружия, сечением мечей о латы. Ему осталось непонятным и, по необразованности, он не мог догадаться, что в фундаменте этого колоссального книжного кругооборота, этого крутящегося вихря печатных строк, есть лишь очень немного, лишь несколько десятков точек *реального, действительного* значения: несколько десятков загоревшихся таинственным огнем голов, которые, неудержимо поглощая факты, столь же неудержимо воссоздавали из себя освещающие их идеи. Декарт или Бэкон, эти истинные Сивиллы нового знания, аналогичные им в древности Платон и Аристотель, но, повторяем, во всей истории лишь несколько десятков голов – они как бы от лица и имени всего человечества, движимые темною силой, продвинувшись далеко вперед, слушают небесные тайны, внимают чудной «музыке сфер», чтобы что-нибудь в ней разгадать, какую-нибудь о ней мысль сложить; и, опустившись, небрежно, невнимательно, уже никак не «переписывая начисто», передают эту мысль земле. Замечательно, что все великого творчества сочинения как-то не убраны, хаотичны, иногда не кончены, оборваны... Этот инстинкт *знания*, инстинкт *разгадки* мира, с гораздо более темными основаниями и гораздо труднейший по осуществлению, чем борьба народов, войны, распри и всяческое вообще соперничество человека с человеком, не так породил из себя, как возбудил вокруг себя огромный вихрь движения, который со времен печального изобретения Гуттенберга решительно обволок землю и насытил всю атмосферу истории. Инстинкт *факта*, инстинкт *события*, *делания*, самой

жизни, этот главный инстинкт истории, родник нового и нового в ней рождения, которое единственно и значуще для человека, — засорился, замутился, заволокся этою темною фотосферой книг, где всякая крупинка истины имеет тысячу стеклянных для себя отображений, и среди них мы не имеем более средств найти ее самое в первоначальном и неискаженном ее образе.

Во всяком случае, не имея никакой идеи о науке, ни об истине, ни об истинно нужной и новой книге, Бокль был увлечен представлением книги в ее внешних чертах, и это скорее переплетное, нежели даже книжное, чувство, этот мелькающий и манящий образ тысяч корешков с золотящимися надписями на них, повлиял на его бедное воображение, на воображение худосочного и обеспеченного мальчика, оставшегося на руках необразованной матери и которому доктора предупредительно, но слишком обще и неопределенно говорили, чтобы он перестал учиться. В новой и неизмеримо более жалкой форме, в форме неизмеримо более грустной, ибо она соединена была с лишением свежего воздуха и общения людей, — он воплотил в себе *паладина* эпохи, раба слепого и покорного по отношению к господствующему вихрю времени; и, как без компаса, без знания географии, без мысли о предлагающих морях, мальчик XIII века пускался «освобождать от турок Иерусалим», этот мальчик, едва поучившись в элементарной школе, пустился в дебри писания книги, совершенно фантастической и смешной, о цивилизации сперва человечества, потом — «только Европы», наконец — «одной Англии»; и так как книга была безбрежна, как Средиземное море или как Триестский залив, — это было все равно для сил и знания 12-летнего пилигрима Средних веков — он, наконец, остановился на мысли написать только «Введение в 15 томах», но и из него успел издать только первые два.

Мы уже заметили, — и на этом настаивает его биограф, — что сильно развитое библиотечное чувство было единственное, какое он имел, т. е. что он не знал вовсе, в себе не пережил, не наблюдал в окружающих и не пытался — об этом нет следов в переписке и биографии — восстановить в воображении своем по «пыли хартий» ни одного из тех чувств, влечений, представлений, которые, взволновав человечество, вызвали великий факт его истории. Самый предмет, таким образом, о котором он писал, действительный человек и действительный с ним факт, не был ему известен иначе, как по имени; ему были известны имена: «религия», «секта», «политика», «абсолютизм королевский» и «фанатизм республиканский», но даже для того, чтобы иметь или составить о них какое-нибудь представление, ему, при недостатке живых впечатлений, по крайней мере следовало бы вынуть из библиотеки папку с портретами пап, полководцев, королей — и хоть в них всмотреться; но, к несчастью, он так пренебрегал отдельным человеческим лицом, так упорно в книге своей провел это пренебрежение, что, без сомнения, никогда не догадался даже этого сделать. Он никогда не поехал на сходку квакеров, на митинг рабочих; никогда не видел ни одного двора, хотя много

написал о «ничтожестве придворных интриг». Но все это для него, одутловатого маленького джентльмена «в старомодном поношенном сюртуке» с *idée fixe*, в которую он был погружен, оставалось тем, о чем можно было бы повторить с поэтом наших дней:

Это – на льду олеандры,
Это – обложка романсов без слов...

Т. е. «злые придворные интриги», «невежественные споры» сектаторов – на что он гневался или чему сочувствовал, чему хотел сочувствовать в книге своей и на что намерен был излить желчь, – были в действительности не те самые интриги, какие велись, и не те самые споры, которые фактически происходили, но лишь игра их, книжная игра в пустом стекле его воображения, нечто вроде тех фата-моргана, о которых он любил читать в занимательных путешествиях по Аравии. Об этой игре собственного его воображения, а не о действительности, ему вовсе неизвестной, написана его книга. Ему однажды предложено было поехать во Францию, но он только чванливо заметил, имея в виду сидевшего там Наполеона III: «Мне было бы слишком обидно смотреть на унижение французов». Он не подумал, что и французам *больно* сидеть под Наполеоном; он думал только, что этому Наполеону он косвенно оказал бы внимание, если бы, переплыв Па-де-Кале, ступил на почву Франции и «посмотрел на нее». И он не «посмотрел» на нее, а с тем вместе и не увидел того, что по задачам его труда ему в высшей степени важно было бы увидеть. И никогда потом, как и ни разу прежде, он не видал *лица* человеческого, мятушегося, восхищенного, взволнованного, негодующего, угнетенного – того прекрасного и мучительного лица, историю которого в самомалейших подробностях мы так любим.

IV

Если, обратившись к труду Бокля, мы всмотримся в знаменитый «Перечень книг, послуживших автору к написанию его сочинения», эту безмолвную интродукцию к его исторической поэме, так изумившую Европу обилием перечитанного материала и положившую первый камень в высокий и непрочном здании его славы, – мы увидим не без удивления, что он вовсе не знал элементарных и вместе классических произведений по истории. Так, имя Нибура отсутствует в списке; есть Нибур, но это не автор знаменитых исследований классической древности, а путешественник по Востоку, автор «Description de l'Arabie»*. Amsterdam, 1774, t. 4–to, где впервые даны были европейской публике снимки клинообразных надписей, тогда еще не разобранных и историей или содержанием которых, впрочем, Бокль не занимался. Замечательно вообще, что *памятники, летописи* – все, по чему мы открываем психологию данной местности, страны, эпохи, – вовсе отсутствуют среди

* «Описания Аравии» (англ.).

прочитанного им материала, и последний составили исключительно старопечатные, но не очень старые, скорее «прежние», «вышедшие из употребления» книги. Но вот, мы разбираемся среди них и у историка, естественно, ищем имени историка, который впервые научил Европу разбирать памятники и понимать историю. Если бы на минуту нам показалось, что труды Нибура не упомянуты, как слишком общеизвестные и, вероятно, настольные у Бокля, мы разубедились бы в этом, с удивлением встретив, среди «источников», Прескотта: «History of Ferdinand and Isabella», «History of the Conquest of Mexico» и «History of the Conquest of Peru»* – книги, столь любимые и обильно читаемые в юношеском и отроческом возрасте, и привлекательная, манящая «награда за прилежание и внимание» достойнейшим из них. Нет Гумбольдта, т. е. Вильгельма, столь необходимого для историка; и есть Александр Гумбольдт, для историка почти излишний, но слишком популярный, чтобы, встретив его томы в книжном магазине, каждый любитель печати и книг не схватился за них с жадным любопытством неопита в естествознании. Печать удивительной случайности царит в «Перечне»: это не каталог библиотеки первоклассного ученого, даже не каталог хорошо организованного книжного магазина, но каталог обширной лавки совершенно необразованного букиниста. Так, в нем есть все почти знаменитые отрицатели-скептики XVIII и XVII веков – Гельвеций: «De l'esprits»**. Amst. 2 vols., Д. Юм: «Philosophical works»***, 4 vols., Кондильяк: «Traité des sensations»****, 1798, Кондорсе, – но почему-то нет Бэйля, не только его «Pensées diverses, écrites à l'occasion de la Comete de decembre 1680»*****, но и знаменитого «Dictionnaire historique et critique»*****, составивших эпоху в умственном развитии Западной Европы, в движении тех самых скептических идей, об «установлении» и «распространении» которых, и именно даже во Франции, Бокль написал столько красноречивых страниц. Нет филологических трудов Боппа и Гримма, давших действительно «битву тайнам истории» (выражение о Бокле г. Евг. Соловьёва); но вот Рокитанский написал в 4-х томах «Руководство к патологической анатомии», и, как ни проблематична их связь с исторической жизнью народов, эти томы значатся у Бокля прочитанными. Есть Бурдаха, устарелая и очевидно ошибочная для конца 50-х годов, «Traité de physiologie, considérée comme science d'observation», Paris, 1834–41, 9 vols – и она была куплена, вероятно, за интересные рисунки и по доверию к пространности изложения, и внимательно прочитана. Кант значится, но нет ни Лейбница, ни Спинозы; и, очевидно, Кант взят как пример или экземпляр философии, а не как ее живой член, необъяснимый без связи с прочими. Отсутствие университета и вообще школы, исключительно домашнее и *собственное* самоуглуб-

* «История Фердинанда и Изабеллы», «История завоевания Мексики» и «История завоевания Перу» (англ.).

** «Об уме» (фр.).

*** «Философские сочинения» (англ.).

**** «Трактат об ощущениях» (фр.).

***** «Различные мысли по случаю кометы в декабре 1680» (фр.).

***** «Исторический и критический словарь» (фр.).

ление в книги «по девяти часов в сутки», в высшей степени в этом сказывается. Нет имени Винкельмана, и очевидно древнею скульптурой Бокль так же не интересовался, как и новою музыкой; но Вильямс написал «Principles of medicine»*, Мурчисон – о силурийской формации в составе пластов земной коры («Siluria». Lond., 1854), Тэйлор – о судебной медицине («Manuel of Medical Jurisprudence». Lond., 1846), – и все это есть. Особенно его занимала почему-то патологическая анатомия, и сочинения по ней, т. е. все обыкновенные учебные руководства, «manuels», и все тех же 40-х годов, пестрят его список: очевидно, все это были книги, как наиболее нужные в самой распространенной практике – медицинской, наичаще ему попадавшие в маленьких лавочках старых книг; и он их скупал, дома прочитывал, и занес потом в список книг как материал для исторических размышлений и воссоздания истории. Можно было бы подумать, судя по тексту его книги, что он презирал мелочи придворной жизни и все, напоминающее частную или общественную сплетню: но, к удивлению, мы находим у него прочитанными все четыре тома переписки m-me de Maintenon «avec la Princesse des Ursins». Нет конца путешествиям, в Америку ли, на Восток ли; но вся так называемая «историческая школа» в праве, т. е. в развитии политических и частью бытовых форм, – отсутствует, и имена Пухты и Савиньи, по-видимому, так же остались неизвестны его слуху, как и имена Винкельмана и Боппа. Но вот частный предмет: шотландская реформация и кальвинизм, о коем исписаны у него не только длинные страницы, но и целые главы: мы отыскиваем Guizot и с удивлением не находим ни его «Истории английской революции», ни замечательной его биографии Кальвина, основанной на частной переписке этого человека, очевидно, более многозначительного в судьбах Европы, нежели г-жа de Maintenon; в раздражении, и все еще недоумевая, мы бежим по колонке книг, и там же, с «G» всего восемью строками выше, читаем: Grant R. E.: «Comparative Anatomy. Lond. 1841», Grot R.: «History of Physical Astronomy. Lond. 1852», – и чуть-чуть пониже: Grieve: «The history of Kamtschatka, translated from the Russian. Gloucester. 1746. 4-to», – та Камчатка, об истории которой он не написал и не собирался написать ни глав, ни страниц, ни строк. Он похож в этом странном и, очевидно, случайном выборе, точнее, – наборе книг на человека, который, пожелав «писать» об археологии, но не зная, что это такое, попросил бы свести себя за материалом в анатомический театр, – так же не понимая, что это такое; или – ближе к его материалу, к «прочитанным» им «книгам», – пожелав «сочинять» анагамию, и именно «патологическую анатомию», попросился бы «для материала» в отдел Ассиро-Вавилонских древностей Британского Музеума. История была так несчастна, что почему-то сделалась предметом выбора для написания по такому странному способу, – и мы более не удивляемся, ничему не удивляемся, читая следующие строки, которыми несчастный мальчик открыл великолепное течение своей и «своею собственною рукой» переписанной речи:

* «Основы медицины» (англ.).

«Между всеми главными отраслями человеческого знания наиболее было написано по отделу истории, которая всегда пользовалась самую большою популярностью. И все, по-видимому, того мнения, что успех историков соответствовал вообще их трудолюбию и что если много изучали этот предмет, то многое и разгадали в нем».

«Эта уверенность в достоинстве истории чрезвычайно распространена, что мы видим из того, как много ее читают и какое место она занимает во всех системах воспитания. И нельзя не согласиться, что с известной точки зрения такая уверенность совершенно извинительна; нельзя не согласиться, что собраны такие материалы, которые, рассматриваемые в совокупности, представляют зрелище богатое и внушающее уважение. Политические и военные летописи всех значительных стран Европы и большей части стран, лежащих вне Европы, тщательно собраны, слиты в приличную форму и довольно хорошо исследованы относительно лежащей в основании их достоверности. Большое внимание обращено на историю законодательства, а также на историю религии; в то же время употреблен значительный, хотя меньший, труд на исследование успехов науки, литературы, изящных искусств, полезных изобретений и, наконец, нравов и удобства жизни народа. Для большего ознакомления нас с прошедшим, рассмотрены всякого рода древности, разрыты местности древних городов, открыты и разобраны монеты, списаны надписи, возобновлены алфавиты, разгаданы иероглифы и в некоторых случаях воссозданы и восстановлены давно забытые языки. Открыты некоторые из законов, управляющих изменениями человеческой речи, и открытие это в руках филологов послужило к выяснению самых темных периодов ранних переселений народов. Политическая экономия, возведенная на степень науки, пролила значительный свет на причины того неравномерного распределения богатства, которое служит самым обильным источником общественного неустойчивости. Статистика так тщательно разработана, что мы имеем самые обширные сведения не только о материальных интересах людей, но и об их нравственных особенностях, как-то: об итоге различных преступлений, о пропорции, в какой она находится одни к другим, и о влиянии на них возраста, пола, воспитания и т. п.».

По тону этих строк у читателя, не всмотревшегося в состав «Перечня» и незнакомого с биографическими данными о жизни и воспитании автора, – а таковы именно и были в целой Европы читатели первых изданий книги, определявшие с вниманием ее достоинство и затем прочно установившие ее авторитет, – у этих читателей из этого тона не могло не возникнуть представления, что они имеют пред собою старца, до крайности истомленного всяческим историческим изучением и от этого чуть-чуть роняющего слова. У них не могло быть никакого подозрения, что он все это «своею рукой переписал набело», – маленькое сообщение, которое сразу определило бы для них возраст «писателя» и, понудив вслушаться в его тон и всмотреться в «Список

книг», дало бы нить догадаться, что это не озирание трудностей пройденного «ученым» пути, а простое и чисто каталогическое припоминание тем, над которыми трудились другие и действительные ученые, без всякого, однако, свидетельства знакомства с этими темами и даже, по безошибочному свидетельству «Списка», при беспорядном незнакомстве с большею их частью. Несколько торопливый переход в конце к политической экономии, не нужное пока и в тоне удивленное внимание к успехам статистики дает, т. е. могло бы дать, — но чуть-чуть и мгlisto — просвет к догадке о летах и образовании «автора», и тогда тотчас понятно стало бы и торжественно-великолепное, а вместе как бы и «усталое» течение его речи. Но это так мало в общем, и, наконец, печальная действительность, какую имели пред собой читатели, была так невероятна, что мимолетные признаки соскользнули у них с внимания, и, ничего не подозревая, т. е. не подозревая, что перед ними простое перечисление рубрик каталога, они с доверием читали далее:

«От этого великого движения не отстала и физическая география; записаны климатические явления, измерены горы, начерчено течение рек, которые исследованы до истоков; всякого рода естественные произведения тщательно изучены и раскрыты их сокровенные свойства; между тем химически разложены все роды пищи, поддерживающей жизнь, сочтены и свешены ее составные части и во многих случаях приведены в достаточную известность свойства связи, в которой они находятся с человеческим организмом. В то же время, чтобы ничего не опустить из виду, что только может расширить познания наши во всем, касающемся человека, начаты обстоятельные изыскания и по многим другим отраслям. Так, относительно самых образованных народов нам известны в настоящее время пропорции смертности, браков, рождений, роды занятий, колебания в земельной плате и в ценах на необходимые жизненные потребности. Эти и подобные им факты собраны, приведены в систему и готовы для употребления. Наконец, записаны действия и характеристические черты великих народов и также огромное число различных племен, во всех частях известного света, посещены и описаны путешественниками, так что мы можем сравнивать состояние рода человеческого на всех ступенях цивилизации и при всевозможных обстоятельствах»...

Мы видим снова, что здесь он путает и торопится, не будучи в силах переступить за границы каталога, ибо не знает в сущности внутренности ни одной науки; и, между тем, еще более вырастает у читателя мысль, что он имеет пред собою старца, знания которого далеко переступили за пределы нужного и должного для историка; и предположение это, результат слухового ощущения, поддерживается тотчас и зрительным при беглом взгляде на «Перечень книг», где мелькают заголовки многотомных трудов по всем решительно существующим наукам. Никому не могло прийти на ум, что именно и специально истории, о которой он «пока не упоминает», он и не знает вовсе; что, при многотомных чтениях, он не учился и всем другим

предметам и что, сбиваясь из науки в науку и осложняя речь мыслью, что «начертаны течения рек», а пища «поддерживает жизнь человека», он течет словами без нужного и вопреки должного. Но ничего решительно в этом абзаце не задерживает, не зацепляет внимание читателя; ничего еще важно-го, «настоящего», не началось; и, при строках, соскальзывающих, слыша-ющих одна за другою, вовсе не вырисовывается пред этим читателем в сущности уже запутавшийся в своих словах мальчик и смертельно боящийся (пред первым изданием книги), чтобы об его невежестве и специально «до-машнем приговлении» не догадались, а, напротив, получается впечатле-ние ученого, которому и в самом деле интересна (как он выражается еще в том же абзаце) «анатомия народа, как бы построенная из выводов перечис-ленных наук и замечательная по своей крайней точности». И вот он переходит, а читателю кажется, что это Фауст переходит, от утомивших его знаний к новым дерзновенным исканиям о человеке:

«Но если бы, с другой стороны, мы стали описывать употребле-ние, сделанное из этих материалов, то нам пришлось бы изобразить совсем другую картину. Печальная особенность истории человека заключается в том, что хотя ее отдельные части рассмотрены с зна-чительным умением, но едва ли кто пытался слить их в одно целое* и привести в известность существующую между ними связь. Во всех других великих отраслях исследования необходимость обобщения допускается всеми, и делаются благородные усилия возвыситься над частными фактами с целью открыть законы, которыми факты эти управляются. Но историки так далеки от усвоения себе этого воззре-ния, что между ними преобладает странное понятие, будто их дело только рассказывать факты (*это Нибург-то, или Вико, или Винкель-ман и Савиньи «рассказывали» факты!*), по временам оживляя их такими политическими и нравственными рассуждениями, какие им кажутся наиболее полезными (*точно после Плутарха ничего ни писалось или и писалось, но все вроде Ламе-Флери*). По такой тео-рии (*по какой теории? Кем написанной? Где изложенной? Кем настойчиво осуществляемой?*), любому писателю, который, по лен-ности мысли или по врожденной неспособности, не в силах совла-дать с высшими отраслями знания, стоит только употребить несколь-ко лет на прочтение известного числа книг – и он делается истори-ком, и он в состоянии будет написать историю великого народа, и сочинение его станет авторитетом по тому предмету, на изложение которого оно будет имеет притязание».

Таким образом, подозрение, что *именно этим* наивным способом и по этим недостаточным причинам (см. биографию) возникла сама «История цивилизации в Англии», если бы даже и закралось, вытолкнулось бы невольно при чтении этих строк из ума читателя. Бокль, говоря «о прочтении не-

* Мы просим читателя внимательнее следить: отсюда начинается «мысль» книги

скольких и даже многих книг» как о фундаменте для написания новой исторической книги, разумел, конечно, приведенных у него в «Списке» историков-повествователей, как Прескотт, Маколей, Тьерри; и уединенность мысли, отсутствие знакомств, отсутствие вообще всякого ознакомления с внешними даже приемами ученой работы, скрало от него ту истину, что все эти историки, «повествования» которых так «просты», в действительности работали над огромным и новым для науки рукописным материалом; что они в архивах работали, а не в читальных залах библиотек, как это он наивно предположил. Напротив, та мысль, которую Бокль выразил в приведенных строках и которая, очевидно, и возбудила в нем «зуд отрастающих» литературных «крыльев», не принадлежала ему нисколько, могла быть вычитана, и была действительно им прочитана (см. «Перечень» и подстрочные примечания, разбросанные в тексте его книги) частью в «Курсе положительной философии» Конта, но еще более и уже в совершенно готовом, оформленном виде – в «Истории индуктивных наук» Уэвелля. В истории европейской науки Конт первый смешал, перестал различать специфические начала каждой науки и, приняв ему единственно хорошо знакомые науки (он был инженер) – механические, за тип всех наук и прототип вообще науки, подчинил в своем «курсе» требованиям этого типа задачи всех остальных наук, не имеющих в структуре своей ничего с механикой общего. «План» Бокля и был местным и временным, минутным и географическим повторением этой ошибки: в применении к истории он захотел исполнить требование Конта, или, точнее, он захотел в «судьбах» и строе исторического человечества «индуктивным путем» найти некоторые «общие законы», какие, по указанию Уэвелля, были своевременно найдены в ас тронии, статике и динамике, в химии и органических науках. И эта попытка или «план» Бокля был так прост, что литературные его источники могли быть действительно найдены в первой попавшейся читальной зале посредственной библиотеки, так как труды Уэвелля и Конта, всегда широко распространенные, в те именно годы гладко читались и производили обаятельное впечатление на все средние и даже рабочие, но с «выучкой», классы «населения», к которым по образованию Бокль и принадлежал, – заранее (см. выше) апеллируя к их «суждению» против внушавших ему робость собственно ученых, робость «неизвестности» и «тайны», коими для него был окружен их труд. Наивное предположение, что до него историки читали только в читальнях, и в гораздо меньшем объеме, нежели читал он, равно как и торопливое указание в «Перечне» «свойств и объема материала», коим «он пользовался», с помещением туда необозримых «патологий» – есть только самозащита, есть жест литературной испуганности человека, который не может для себя определить, делает ли он великое или невообразимо смешное. Но, во всяком случае, мы и далее понимаем тон его слов и родник его неопределенной раздражительности:

«Установление такого узкого мерила повело к последствиям весьма вредным для успехов нашего знания. Благодаря этому обстоятельству, историки, как корпорация, никогда не признавали необходимости такого обширного предварительного изучения, которое давало бы

им возможность охватить свой предмет во всей целости его естественных отношений. Отсюда странное явление, что один историк – невежда в политической экономии, другой не имеет понятия о праве, третий ничего не знает о делах церковных и переменах в убеждениях, четвертый пренебрегает философией статистики, пятый – естественными науками, между тем как эти предметы имеют самую существенную важность в том отношении, что они объемлют главные обстоятельства, которые имели влияние на нрав и характер человечества и в которых проявляются этот нрав и этот характер. Эти важные предметы, будучи разрабатываемы один одним, другой другим человеком, скорее разъединялись, чем соединялись; помощь, которую могли бы оказать аналогия и взаимное уяснение одного предмета другим, терялась, и не было видно ни малейшего побуждения сосредоточить все эти предметы в истории, которой, собственно говоря, они составляют необходимые элементы».

Никто при появлении книги Бокля не знал, что он не был в университете и просто лишен был сведения, что на историко-филологических факультетах читаются все, перечисленные им, науки, кроме естественных, и что образованные историки обыкновенно молча сообразуют свои работы с данными тех наук, но выдержками и ссылками на них не загромождают свои книги, ибо это было бы в них побочно и затрудняло бы читателя, который (если он образован) для ознакомления с финансами или правом в тот или иной век и берет книгу финансовую или юридическую, а не открывает в истории юридическую или финансовую главу, – и еще менее анатомическую или геологическую главу, какие встречаются у Бокля.

«При столь неполном, – продолжает он несколько далее, – знакомстве нашем с историей, несмотря на такое изобилие материала следует, кажется, желать, чтобы что-нибудь было предпринято в гораздо больших размерах, чем предпринималось до сих пор, и чтобы сделано было энергическое усилие поднять эту великую отрасль исследования на один уровень с другими и дать нам возможность удержать равновесие и гармонию в нашем знании. В этом духе и было задумано настоящее сочинение. Совершенное выполнение задуманного невозможно, тем не менее я надеюсь сделать для истории человека что-нибудь равносильное или по крайней мере сходное с тем, что было сделано другими исследователями для разных отраслей естественных наук»...

Здесь мы не можем не видеть некоторый просвет на то, почему он так много, и по самым различным отраслям, читал книг по естествознанию, притом большею частью «руководств», «manuels»: он просто ознакомился с устройством книг по естествознанию, о котором из Уэвелля, да и вообще от ученых не-гуманистов, почерпнул предположение, что оно одно есть подлинная наука. Он в этих книгах не мир учился понимать, к коему в его богатстве, силе и красоте остался так же тускл и бесчувствен, как к живой народной истории, – но он подсматривал в них, как они делятся на главы и отделы, как в них группируется материал и в каком они «духе», а может быть,

и каким слогом пишутся. Отсюда понятно, почему большинство значащихся у него, напр., анатомий – 20-летней и 30-летней давности: новизна не имела решающего значения при этих тайных задачах чтения. Теперь посмотрим, что главное нашел он во всех этих книгах и что будет пытаться, мы предполагаем, перенести в свою:

«В природе (*то есть физической, о которой трактовало большинство им читанных книг*), – явления, по-видимому самые неправильные и случайные, были объяснены и подведены под известные, неизменные и общие, законы. Это произошло оттого, что люди с дарованиями и, что важнее всего, терпеливые и неутомимые* мыслители изучали физические явления с целью открыть в них правильность. Если бы было обращено такое же внимание и на явления в жизни людей, то мы были бы в полном праве ожидать подобных же результатов; ибо ясно, что те, которые утверждают, будто исторические факты неспособны к обобщению, принимают за решенное дело то, что составляет еще вопрос. Они делают еще лучше: они утверждают то, чего не в силах доказать и что, при настоящем состоянии знаний, даже в высшей степени неправдоподобно. Всякий, кто сколько-нибудь знаком с тем, что было сделано в течение последних двух столетий, должен был заметить, что каждое поколение открывало правильность и возможность предсказания каких-нибудь событий, почитавшихся в предшествовавшем столетии неправильными и непредвидимыми. Итак, успехи цивилизации ведут явным образом к подкреплению нашего верования в существование во всем порядка, метода и закона. Из этого следует, что если какие-нибудь факты или разряды фактов еще не были подведены под правило, то мы далеко не можем объявлять их неподходящими под правило, а должны скорее допустить, руководствуясь предшествующими опытами, что то, что мы называем теперь необъяснимым, будет, по всей вероятности, объяснено со временем. Это ожидание – открыть правильность среди беспорядка – до такой степени сродно людям ученым, что у замечательнейших из них оно переходит в верование, и если мы не встречаем того же вообще у историков, то должны приписать это частью их меньшему знанию дела, сравнительно с естествоиспытателями, частью же большею сложностью общественных явлений, составляющих предмет их изучения».

Бокль не подозревал, что его попытка изучать людей как камни и открыть в их жизни и деятельности законы, аналогичные тем, какие управляют падением камней, вытекала именно из совершенного неведения им как внешней природы – с одной стороны, так и людей – с другой. Но от этих

* Замечательно, как везде, собственно, Бокль пишет тайную апологию себе: робкий дуэлист за двоюродную сестру, он робок безгранично, как и безгранично же безличен, и с пером в руке. Обилие у него цитат есть только страх что-нибудь сказать, что не было бы сказано еще кем-нибудь. «Мы» всегда «вдвоем», и часто «второем», «впятером» – неумолчно говорит он читателю, который захотел бы в то же время быть критиком.

именно слов, нами приведенных и которые чрезвычайно ярко запомнились*, пошла легенда о «сложности явлений, составляющих предмет изучения историков», что будто бы служило прежде и навсегда останется специфической трудностью истории и главным препятствием, с тем вместе препятствием единственным, к открытию в ней «законов» как «единообразий» и «постоянств» или как «повторений» одного и того же (тип астрономии во втором случае, тип механики – в первом). Между тем «препятствие» это или, точнее, обстоятельство, которое делает не только навсегда невозможным, но и вовсе ни для чего не нужным открытие «законов» как «единообразий» в жизни человеческой, заключается в *индивидуализме* всех феноменов бытия человеческого, текущем из того, что здесь центр и движитель явлений есть не *предмет*, то есть существо *общее*, но *лицо*, то есть существо абсолютно обособленное, своеобразное, своекачественное, единичное в высочайшей степени. Прочие науки успешно находят «общий закон», как только в предмете своем они отбрасывают «частное», что в то же время непременно есть в этом безличном предмете «случайное» и «второстепенное»: таков цвет в рисуемой геометрической фигуре, которую мы чертим мелом или углем; качества артиллерийского орудия для свойств параболы, которую описывает артиллерийский снаряд. Стирая частное, мы здесь находим «общее» или «закон»; например, находим «единообразие» свойств параболы, «единообразие» больших и малых кругов, черных или белых треугольников. Но едва, руководясь этим методом и следуя указаниям Бокля (или Конта), мы тронули бы в человеке «частное», – мы уничтожим в нем главное и вечное, откуда все исходит, текут все темы, все задачи, предлежащие истории и историку; тронем «двоюродную сестру», «кабинет в два света» и «патологии» у Бокля – и мы ничего в нем не поймем; перед нами вообще останется «историк Бокль», сливающийся с «Тьерри», «Гизо», «Маколеем»; и эти страницы, которые я пишу, которые есть бесспорно страницы некоторой истории, и даже – страницы именно из «истории цивилизации в Европе», потеряют самую тему свою, предмет, как и вообще какой-либо *raison d'être*. Но пойдем далее в «обобщении»: сотрем «Бокль», «Гизо», «Маколей» и даже сотрем вообще «историк»; пред нами останется вообще «ученый», «книжный человек»: предмет изучения и размышлений почти исчез, мы ничего более не умеем и не найдем сказать о нем; «история» собственно исчезла и осталась почти только физиология, например, эта «общая» истина, что «все ученые съедают в сутки от 3 до 7 фунтов твердых и жидких веществ и около половины их обратно – выделяют в твердых и жидких экскрементах, равно через испарину кожи и в углеводе и парах выдыхаемых». Мы видим, как мало тут осталось «истории», как мучительно восстал бы «Бокль», если бы даже его печальную и смешную судьбу мы свели к этим «единообразиям», не находя в нем и его труде ничего другого любопытного:

* Т. е., собственно говоря, из идеи Конта об относительной сложности науки об обществе («социологии»), которая послужила основанием и для приводимых рассуждений Бокля.

Но не хочу, о, други, умирать;
Я жить хочу – страдать или наслаждаться...

сказал бы он. Да, – «наслаждаться» даже издевательством над моим именем, пусть даже это: но только не холодное и не ужасное молчание «общих законов», под могилой которых погребен я, нет более моего я, и никогда, никогда из этой ужасной могилы не вырвется мой, пусть истерический и глупый, но именно ничей еще, а мой крик, во мне родившийся и когда-то меня утешивший: «Книга, моя книга! Я никогда не окончу моей книги!» Таким образом, история человека в самом предмете и существе своем исчезает по мере того, как мы приближаемся к ней с требованием или ожиданием «общих законов»; подобно тому как, наоборот, естественные науки в самом существе и предмете своем исчезли бы, как только мы подошли бы к ним со специфически историческим требованием «частного» и «индивидуального»: например, рассматривая геометрические фигуры, спрашивали бы, чем и на какого состава доске, деревянной или каменной, они начерчены, или относительно физиологии пищи: из чашки или из тарелки съедает, и кто именно съедает, историк или естествовед, свой бульон. Как ни трудно поверить, но из голяк что приведенных выдержек видно, что именно эта галиматья, основная в позитивизме и характерная («индивидуальная») для Конта, но необыкновенно серьезным и торжественным тоном высказанная, рано потревожила Бокля и пробудила в нем «зуд отрастающих крыльев». Она именно и составила энтелихию, жизнь и душу, «пафос» и «поэзию» начатой им книги; и мы уже заранее предвидим, что он на всем ее протяжении станет усиленно набрасывать покров на «лицо» человека и с достаточным «терпением и неутомимостью» смотреть, переворачивать, описывать и записывать осгающиеся ему затем «щитки», «щиточки» и вообще все безлично-«общее» у человека, где, правда, есть и «открываются» «единообразия» – анатомии и способов ступания. И это все до окончательной подробности познав, «собрал», он будет пугать надежду, что более, нежели кто-либо до него, понял или «приблизился к пониманию» «главных законов истории». *Τά κοινά** в человеке, не любопытное, не значущее, о чем он не болит и чем в себе не дорожит, на что никогда и ничье не обращалось внимание, – сюда-то, к этому отбросу лица и выбросу истории и устремится Бокль, на каждом шагу здесь находя «новое» для себя и новое, как он думал, и для человечества, в книгах которого он ничего такого еще не читал. Ибо – нам хочется объяснить на примере центр и периферию истории – вот пусть Восток, «любимый» Боклем Восток, однако севернее манившей его Аравии. Пред нами – евреи; и, соседи финикиян, они, однако, не торговали. Можно долго, глубокомысленно, с огромным подбором цитат, объяснять, «почему они не стали», как финикияне или афиняне, «мореплавателями». И, пользуясь богатством представляемых историей аналогий, можно вывести несколько «единообразий» о том, в каких условиях «климата», «почвы», «состава пищи» и «общего вида страны» – рубрики, внимательно Боклем рассмотренные, – мореплавание не зарождается у народа. Но ведь оно не зародилось в данном

* общественные дела (*греч.*).

случае! его нет! – и все эти «единообразия» не имеют самого предмета объясняемого и поэтому являются некоторым *nonsens* в науке истории. Но вот в истории их *есть* факт: как он *не* общ, как *индивидуален* – это Рахиль, «красивая станом и лицом», и «больная глазами» сестра ее Лия:

И увидела Рахиль, что она не рождает детей и сказала Иакову: дай мне детей; а если не так – я умираю.

Он же разгневался на нее и сказал: что же, я Бог разве? Это Он не дал тебе плода чрева.

Тогда Рахиль сказала: вот служанка моя, Валла; войди к ней, и пусть она родит в колена мои, чтобы хоть от нее я имела детей...

Как это индивидуально и исключительно! Частный крик, может быть, шепот в спальне или ссора у ее порога. Какая цена в этом для истории? С точки зрения считаемых, усчитываемых и собираемых «единообразий» – никакой. И – тайна истории, ее «святая святых» – в действительности. Этот шепот, неповторимый еще нигде и никогда, а потому, казалось бы, и никому не нужный, для «науки» же не интересный, проливает огромный объясняющий свет на характер и судьбу народа, в меру того, как и самая судьба эта нова и не сливается с траекториями судеб всех остальных народов. История, и чуткие среди историков, и слушают эти «шепоты» в мгле веков. В них они ловят не «общее», κοινον, но именно обособленное. И вся история, чем более этих шепотов уловлено, – пестрее и ярче выдавливается в узоре своем, т. е. в своем существе и предмете, который не только не разгадывался бы, но и померк бы в совершенной темноте, как только, ища κοινον, мы стали бы «сближать» Рахиль с Навзикаей – гречанкой, с Лукрецией Римской или с нашей Анастасией Романовной; или, руководствуясь методом Бокля, начали бы отыскивать «причины» этого крика и диалога в «почве», на которой стоял шатер Иакова, или в «пище», которою питались сестры; или – и так чаще всего поступал Бокль, – найдя этот факт мелочным и случайным, сосредоточили бы внимание на той стороне его, которою он характеризует «общие условия своего времени», например ту чрезвычайную степень рабства, при которой рабыни обязаны были даже и рожать за своих господ. Но мы несколько предупреждаем метод частных объяснений Бокля, между тем как пред нами лежит пока его общее воззрение на предмет:

«Обе эти причины замедлили зарождение науки истории. Знаменитейшие историки стоят, очевидно, ниже искуснейших естествоиспытателей: никто из людей, посвящавших себя истории, не может быть сравнен по уму с Кеплером, Ньютоном и др. Между тем, со стороны большей сложности изучаемых явлений, историк-философ встречает трудности гораздо страшнее тех, с которыми борется естествоиспытатель, потому что, с одной стороны, в его наблюдениях более возможны ошибки, происходящие от предубеждения и страсти, с другой же – он не располагает великим физическим пособием опыта, с помощью которого мы часто бываем в состоянии упростить самые запутанные задачи в области внешнего мира.

Поэтому не удивительно, что изучение явлений в жизни человека находится еще в младенчестве, сравнительно с успехами изучения явлений природы. И в самом деле, различие между успехами этих двух изучений так велико, что в естественных науках правильность явлений и возможность предсказания их* часто признаются несомненными даже в случаях, еще не подвергавшихся проверке, между тем как в истории подобная правильность не только не признается вперед доказанной, но положительным образом отвергается. Отсюда происходит, что всякий, кто желал бы поднять историю на один уровень с другими отраслями знания, встречает препятствие в том, что в делах человеческих есть будто бы нечто таинственное и предустановленное, что делает их недоступными для нашего исследования и постоянно будет скрывать их будущий ход. На это достаточно ответить, что подобное утверждение неосновательно; что, по самой сущности своей, оно не может быть доказано** и что, сверх того, ему противоречит тот известный факт, что повсюду увеличение знаний сопровождалось усилением веры в единообразие, с которым, при одних и тех же обстоятельствах, одни и те же события следовали одно за другим. Но мы вникнем поглубже в это затруднение и прямо исследуем основание обыкновенно высказываемого мнения, будто история должна остаться в своем теперешнем эмпирическом состоянии и никогда не может быть возведена на степень науки. Мы придем, таким образом, к одному важному вопросу, лежащему в основании всего этого дела, а именно: управляют ли действия людей, а следовательно и обществ, неизменными законами, или же они составляют результат случая или сверхъестественного вмешательства? Обсуждение этого вопроса может повести к некоторым чрезвычайно любопытным соображениям.

По отношению к этому предмету существуют два учения, представляющие, по-видимому, две различные ступени цивилизации. Согласно с первым учением, каждое событие есть нечто одинокое и особенное и рассматривается как результат слепого случая***. Это мнение, самое естественное для невежественного народа, рано ослабляется расширением опытности, приносящим познание того

* Формула Конта, данная для науки – *savoir pour prévoir* <знать, чтобы предвидеть>, конечно, обнимает лишь веточки науки; ибо трудно понять, что мог бы «*prévoir*» человек, занявшийся изучением статуи или законодательства Моисея, и между тем он их может «*savoir*». И т. п.

** Доказуемо же с точки зрения индивидуализма, как сущности истории.

*** Тут есть две неправильности в передаче воззрений историков: они не уравнивают всех событий, не рассказывают *все сплошь подряд, что было*, и, следовательно, Бокль не мог сказать: «Согласно с первым учением *каждое* событие» и т. д. Историки «выбирают», – для них есть «некоторые» события, важнейшие, чем прочие, и, очевидно, есть в их воззрениях фундамент для отличия этих «некоторых» от всех остальных. И этим фундаментом служит то, что выбранное именно не «случайно» – второе ошибочное указание Бокля, – но многозначительно; как шепот Рахили и Иакова (что бы, кажется, случайнее?) собственно лишь варьируется и во всей остальной еврейской истории, есть выявленный крик выявленной молчаливой думы всех израильтянков – даже до Марии девы с ее: «Се раба Господня – буди мне по глаголу Твоему».

единообразия в последовательности и совместности явлений, которое постоянно замечается в природе. Бродячие племена, несколько не затронутые цивилизацией, живут исключительно звероловством и рыболовством и потому легко могут предположить, что необходимая для них пища доставляется им случаем, не допускающим никакого объяснения*. Неправильность добывания пищи и кажущаяся прихотливость, выражающаяся то в обилии, то в недостатке ее, препятствует этим племенам предположить что-либо похожее на систему в действиях природы; ум их не может даже представить себе существования тех важных начал, которые управляют порядком событий и при знании которых мы часто можем предсказать будущий ход этих событий...» и т. д.

Нужно несколько раз перечитать эти первые страницы «Истории цивилизации в Англии», чтобы понять ее дух, тенденции и надежды. Все рассуждение, нами приведенное, движется как бы в пустыне, и это есть самая замечательная его черта: оно вовсе не задевает науки истории и, очевидно, написано вне всякого ведения о ее действительном существовании (что подтверждает и «Перечень прочитанных книг»). Пред умом автора, вовсе не раскрывавшего Нибура, Савиньи, Гримма, Винкельмана, очевидно предносились, в длинной веренице, обильно перечитанные им истории-повествования как «History of Ferdinand and Isabella» Прескотта; и, сравнивая их, сравнивая прекрасную художественную картину, нарисованную рукой американского историка, он был удивлен и раздражен ее великим несходством и очевидно бесплодностью сравнительно с «Курсом физики», с многочисленными «Курсами физики», которые растерянно держал в руках, накупив их у букинистов. Это удивление, эта первоначальная глубокая ἀτορία**, плод «домашних занятий», но только «домашних», и послужила толчком, послужила источником страстного порыва, с коим он устремился на «необработанное поле истории», – в оправдание старинного аристотелевского изречения: ὅτι ἄρδ τὸ θαυμάζεσθαι οἱ ἀνθρώποι καὶ οὐκ ἐν καὶ πλείων ἤρζατο φιλοσοφεῖν, «от удивления люди как ныне, так и прежде всегда начинали философствовать». Он в самом деле представил себе, что Прескотт не мог бы теорегизировать и рассуждать, если бы даже и захотел; он думал – историки в самом деле и все не умеют рассуждать; – что пред физиками и вообще натуралистами, у которых есть «закон Ома» и «опыты Гримальди», филологи есть только бессловесные животные, бессловесные всякий раз, как, оставляя в стороне «придворные сплетни», коими они занимаются, – занимались до сих пор, – переведешь с ними речь на сухие и серьезные вопросы знания. И ему казалось, что если среди этих «imbeciles»*** он начнет рассуждать, то станет или по край-

* См. и сейчас дальше. Так вот с какими «историками» вступает в полемику Бокль на 4-й же странице «первого тома своего труда» – «пятнадцатитомного Введения» в «Историю цивилизации в Англии». Бедная мамаша! [Матери моей посвящаю я этот первый том первого моего сочинения...].

** трудноразрешимая проблема (*пробл.*).

*** слабоумные (*фр.*).

ней мере намекнет собой Кеплера и Ньютона истории; что он и вообще потянет за собой науку и, таким образом (см. выше), «приведет к некоторому равновесию», «восстановит до некоторой степени гармонию» в человеческих знаниях.

Этим гипнозом, незаметно заснув им с отрочества, он в силу глубины его и силы загипнотизировал всю Европу.

V

Мы ожидаем чего-нибудь необыкновенно странного и детского в самых, если позволительно так выразиться, магистралах мышления Бокля, – в том основном плане и в тех руководящих идеях, которые на протяжении книги он станет унижать необозримыми фактами, вычитанными им из необозримого сброда книг, беспорядочно скупавшихся у букинистов. В предыдущей главе мы подвели читателя к коренному его понятию: что такое наука и что такое не наука. Наука – это знание «законов», это возможность «предвидеть и предсказывать» явления; ее необработанное преддверие есть все, что до этого ведения не доразвилось. Самый же закон есть постоянство явлений, их подмеченная устойчивость, «единообразие» в текущем времени. Мысль его труда, великая битва с «imbeciles historiens» была бы выиграна – если бы им, никогда даже не пытавшимся искать эти законы, он с очевидностью математического решения показал, что в фактах жизни человеческой, «как они ни сложны», действительно *есть* это постоянство и устойчивость. И он это доказывает.

По всей Европе зашумели, смущая общества Англии, России, Франции, поразительные примеры «единообразий», которые он действительно привел. Такое явление, как преступное убийство, все обставленное страстями и случайностью, обусловленное в самой выполнимости своей совпадением множества мельчайших и для самого преступника непредвидимых обстоятельств, – казалось бы, не представляет возможности предвидения для наблюдателя-ученого и не допускает никакой повторяемости. Между тем цифра убийств, по данным статистики, из года в год повторяется для каждой страны, слабо варьируя, «с правильностью движения морских течений и смены времен года» (стр. 11). Но вот самоубийство, чисто субъективный акт, куда не может замешаться регулирующее законодательство и администрация, – акт, казалось бы, свободной воли: оказывается, по исследованиям того же Кетле, что не только цифра их, но и распределение по возрастам и, наконец, по способам и орудиям совершения почти постоянны из года в год, колеблясь, напр., в Лондоне между 213 и 266. Это постоянство вскрывает для нас «общий закон; частный же вопрос о том, кто именно совершит над собою самоубийство, зависит от действия более частных законов, которые, однако, в совокупном действии своем, должны подчиниться главному обществу закону, очевидно находясь от него в зависимости» (стр. 12). Наконец, Бокль берет браки, т. е. акт, в котором все играет страстью и огнем,

где все неуловимо и даже, относительно заключительного момента, непредугадываемо для самих любящих, которых надежды так часто разбиваются: та же неумолимая, бесстрастная, неподкупная статистика показывает, что и их число почти одинаково из года в год. Наконец, он берет мелочь, смешную в незначительности своей вещь: число опускаемых в почтовые ящики писем без адреса; это – простая забывчивость лиц, пишущих письма, совершенно случайная и в общем редкая: однако, из года в год в Соединенном королевстве правительственными чиновниками вынимается из ящиков то же число конвертов, на которых адрес отсутствует.

Приведя эти поразившие его примеры, которые он все заимствовал у Кетле, Бокль рассуждает о параллелограмме сил в механике – «прекрасной теории, по которой силы относятся одни к другим, как диагонали их параллелограммов». «Этот великий закон, столь богатый последствиями, – указывает он, – не возбуждает никакого сомнения у всех, кто знаком с его основаниями, и однако всякий раз, как мы наблюдаем его действие в практическом приложении, мы наблюдаем в нем малые отступления, зависящие от сопротивления среды, расположения атомов в движущемся теле и от других обстоятельств движения; так, но не в большей степени и не от других причин, строгие законы общественных явлений, обнаруженные в указанных единообразиях, представляют некоторые колебания между предельными величинами, а не повторение одной величины из года в год, без всякой вариации»... Коренная мысль его об аналогии жизни человеческой и жизни природы, а следовательно, и об аналогии истории с науками естественными – доказана. Но как? И что именно он доказал? Что такое все приведенное нами рассуждение?

Никем, в целой Европе никем не было замечено, что все им приведенные факты не суть вовсе законы, а только иллюстрации давно и всякому известной логической аксиомы: «Когда причина *A* производит следствие *a*, и *A* – сохраняется, сохраняется и *a*». Мне ничего фактически неизвестно о Китае, кроме того, что он обширен, люден, производит чай и что там за проступки бьют мандаринов по пятам, как и обыкновенных смертных; и хотя новый Кетле не обогатил нас сведениями о внутренней жизни этой страны, – а, главное, я лично о ней ничего не знаю, – но я знаю тот, удививший бы Бокля, факт, что в 1801 году там было дано столько же, – «почти столько же», – ударов бамбуковою палкой, сколько и в 1799 году. Бьют за проступок обнаруженный; и если средства обнаружения оставались те же, порочность, конечно, та же и статьи закона не изменились, – то как может число даваемых палок, плод этих неизменившихся условий, стать меньше или больше! Зачем Бокль рылся у Кетле? Если бы он открыл первую страницу логики, или если бы в школе, преждевременно им оставленной, он перешел в следующий класс, – то и не выходя из кабинета, он мог бы исписать еще более поразительными примерами «единообразий» столько же страниц, сколько их есть в его книге. Не удивительно ли: подброшенный вверх камень в Греции, но также и «в Риме поздних эпох развития», падал,

«от чего бы это ни происходило», опять обратно книзу; и всякий раз мебель, толкнутая с достаточной силой, если выходила из равновесия – в Старом и Новом Свете, а по документам «даже в эпоху инков», падала и разбивалась при хрупкости; а если из равновесия не выходила, возвращалась в прежнее положение. Аналогичны этим, и только этим примерам все, какие он записал. Забывчивость в Англии, т. е. число людей забывчивых и мера их забывчивости, конечно, в 1846 и в 1847 году были те же: и то, что течет из этой причины как следствие – число без адреса опущенных писем, конечно, течет без вариаций. Можно было бы, не считая, сказать, что число неверно даваемых сдач в мелочных лавочках повторяется в Англии, а также, впрочем, и в Европе, одинаково из года в год. Это – монотонная сторона истории ли, физической ли природы; ее калейдоскопический момент; и мир был бы невозможен, невозможно было бы бытие в нем, если бы одна и та же причина, или комплекс причин, произведя сегодня это, производил завтра совсем иное. Но кто с указания на это начинал науку? И в любимых им книгах по естествознанию, где находил он рассуждения этой степени наивности и простоты?

Между тем его полумысль, полуоткрытие, что число самоубийств из года в год повторяется и что свободе человека принадлежит лишь выбрать имя того, кто примет на себя «исполнение закона», – породила на всем протяжении Европы некоторую меланхолию, заставив без возражений, без ропота отказаться от представлений о свободе воли. Но свобода именно относится к имени, к дню; к тому, что эта Татьяна, несмотря на теснящий ее голод или несмотря на обман любимого человека, сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня, борется с мыслью о самоубийстве, которое одно ей осталось. Но вот, она убилась и «пополнила число», к удовольствию Кетле и удивлению Бокля: что это значит, что нового дала она нам? – Да ничего, кроме того, что и Сципион Африканский, если б ему 21 день не давать хлеба и никакой пищи, умер бы совершенно так, как и его раб или моя кухарка «при тех же обстоятельствах». Неизменны здесь, повторяются из года в год давящие на человека, теснящие его грудь условия существования, – повторяется физика его бытия, механика условий и среды; и из года в год он задыхается в той же цифре, но всякий год – борясь, страдая, побеждаясь. Однако как побежденный, издыхая, в последний миг сопротивления и сознания он был свободен в 1846 году, так останется свободен в 1847 г., останется вечно. В примерах, как письмо без адреса, понуждение мягко, ласкающе, не грубо: оно состоит в недостаточном воспитании внимания; но и мягкое или отрицательное – оно есть; и никто никогда, защищая свободную волю человека, не защищал тот тезис, что человек не уступает никакому понуждению, что он вообще и абсолютно от всего кроме себя независим. Сократ или Кант знали, как и Бокль, что после 18 часов бодрствования человек неудержимо засыпает и что решительно никто, никакой святой или мудрец, будь это самый «свободный» стоик, не удержался бы от сна после 72 часов бодрствования. Евангелие также говорит нам о свободе человека; оно говорит о его свободе через Бога; но

и оно рассказывает, что Спасители ученики спали в тот самый час, как Учителя брала стража. Не в этом состоит человеческая свобода, но в акции, в усилении; не в победе – это есть вопрос его *силы*, а в борьбе – ибо здесь голько начинается *свобода*. Что «ежегодно 213 человек в Лондоне кончают самоубийством» – и значит только, что 213 человек в Лондоне были переселены обстоятельствами этого, того, третьего года, постоянными в каждом году; пали как гладиаторы, и неоплаканные, на арене цирка. Но каждый из этих гладиаторов, как подлинного римского цирка, так и теперешней жизненной арены, борясь, был свободен в «воле» своей до издыхания; и не от увеличения «духовной свободы», не от факга «свободы воли», а от укрепления их мускулов при той же совершенно «несвободе» или «свободе воли» могла бы измениться цифра павших: как она изменялась бы, если бы в одном году бросали на арену детей, а в другом – взрослых, равных, однако, в существе своей психической природы. Или эта цифра изменилась бы, если бы в этом году выпускались на них шакалы и в другом – медведи: т. е. изменились бы качества зверя, или «окружающих обстоятельств», равно лежащие вне грани человеческой свободы и снова ничего не затрагивающие в существе ее, не решающие о человеке никакого вопроса.

Это – относительно метода доказывания, и еще хуже обстоит дело относительно предмета доказываемого. Тема Бокля была не отыскать постоянство «жизненных явлений», но постоянство, «и следовательно закономерность» явлений именно и только «истории». Между тем – где она? Где она среди этих иллюстраций, которые он наивно принял за «законы»; и пусть даже это будут действительно «законы», – но чего? Убийств в 1847 г. столько же, сколько в 1846-м, – но почему это история? Где здесь Рахиль, только однажды сказавшая слово, – и оно было так замечательно, что занесено на страницы вечной книги? История есть *новое*, есть *рождающееся*; история есть *генезис*; ее предмет есть не факт, не событие, не калейдоскопическая перемена, – но вариация, если позволительно так выразиться, в условиях устройства, вращения, бытия или небытия самого калейдоскопа. Народы воевали, – но они *всегда* воевали и *порознь* в этой или той войне еще нет исторической перемены и, следовательно, предмета для размышлений историка: есть только факты для записи хроникера или «летописца»; но вот с изобретения пороха народы стали воевать *иначе*, – и продолжается хроника, но рядом с нею начинается и история. Генезис *в самом генезисе*, смена калейдоскопа стереоскопом – вот ее настоящий и вместе единственный предмет. Мы сказали, что евреи не были мореплавателями – и это не входит в историю; но афиняне были ими – и это также не входит в историю, пока они не доплыли до Египта и не вступили и не завязали с ним сношений; это – не то, что было за год раньше, и история вписывает этот *новый* факт, изучает его подробности, следит за его последствиями: за *новым*, что он открывает собою в будничной веренице событий, в «трудах и днях», которые с этого момента потекут несколько иначе, чем до него. *Нарастающее* в потоке вечности, – «сегодня», *выплеснувшееся* из границ «вчера» и

«завтра», греки, уже не похожие на Восток, Рим, отбежавший от Греции в сторону, Галилея, во всем им обоим противоположная, и, наконец, «дикарь»-Шекспир, так не похожий ни на Софокла, ни на Плавта, – вот гаинственный и нигде еще в природе не наблюдаемый цикл явлений, узор фактов и, конечно, узел законов и сил, который испытует история. И заменить этот таинственный, непостижимый или очень трудно разгадываемый узор счетом бамбуковых ударов в Китае, просчитывающихся в мелочных лавках кухарок, опущенных без адреса и даже без писем конвертов и, наконец, убийств и самоубийств, – значило не только не возвести «бедную заброшенную ветвь знаний» к состоянию кеплеро-ньютонианской космографии, но и просто ничего в ней не понять, не заметить самого ее предмета.

VI

От этой фундаментальной магистрали его мышления побежали боковые линии: это – знаменитые, ставшие знаменитыми, его рассуждения «о влиянии природы на человека». Снова вся Европа была удивлена; тщетно опять «*imbeciles historiens*» уверяли, что аналогичные этому рассуждения есть уже у Геродота; что они встречаются у Бодэна, Монтескье; у нас, – что они есть у С. М. Соловьёва; и, я думаю, что есть у всякого рыбака на берегу Ладожского озера, который понимает, почему он занимается рыбной ловлей, а не разводит мериносов. Но кроме того, что все эти рассуждения – у Геродота, Монтескье, Соловьёва, нашего рыбака – смешны и не нужны; они всегда неверны и, наконец, вовсе не затрагивают *истории*, вариаций, а только объясняют *быт* – «сегодня», насколько оно *не* всплескивается над «вчера». Моммзен, необъятный ученый и местами гениальный изобразитель судеб Рима, объясняет в истории Вечного города «причины», как он думает, «начального возвышения его»: и мы читаем у него, что Тибр был неглубок и без порогов, почему плавание, «а следовательно, и торговля», были возможны; «если бы он был, – рассуждает знаменитый историк, – построен около самого устья Тибра, – он в самом же начале был бы разорен и разрушен морскими пиратами, или, по крайней мере, их нападения задержали бы его развитие; напротив, находясь очень далеко от устьев, – он не знал бы моря и не имел бы всех выгод этого знания». Историк-физиократу, каким на этот раз захотел стать Моммзен, чтобы хоть сколько-нибудь выйти из этой детской, а главное, не нужной ни для чего логики, необходимо было бы указать на что-нибудь такое, что было особенного и исключительного, единственного на земле, в условиях местности, где возник единственный по судьбам и значению город; или, напротив, хоть доказать, что на протяжении всего западного побережья Аппенинского полуострова не существовало ни одного поселка «не очень близкого и не очень далекого от устья неглубокой и без порогов реки». Но оставим это и перейдем к другим народам, где эта спорная сторона истории яснее. В тысяче мест Аравии могла сложиться судьба Израиля; даже племя семитическое – было там; и не сложилась она нигде, но только в благословенном семени Авраама. В первой главе еванге-

листа Матфея, в этой для невнимательного читателя утомительной главе, дан, в сущности, прототип истории и сложена альфа ее понимания: «Иосафат роди Иорама... Матфан роди Иакова, Иаков роди Иосифа, мужа Марии, из дома Давидова, от нее же, в тридцатый год правления кесаря Августа, родился Иисус, называемый Христом». И только – и больше ничего нет, а главное – не нужно; или все остальное за этим – неисследимо вовсе, не уследимо никогда, и мы лишь закрываем от себя истину, маскируем словами честное непонимание, какое нам оставлено, когда пытаемся из «вида страны», «качеств почвы», «близости моря» вывести то, что отсюда ясно не выводимо. На плоской равнине Лациума, в маленькой Альба-Лонге, – пусть фабула о братьях-близнецах достоверна, – чередовались *teges*-пастухи, самые имена коих не занесены ни в какую хартию, пока... «Нумитор роди Рею Сильвию, Рея Сильвия роди Ромула и брата его...» и «зачалась», таинственно – это во-первых, и неудержимо – это во-вторых, новая ветвь истории: совершенно новая, ни с какою из предыдущих не сходная. Да, лоно матери, а не климат и почва, есть точка новых в истории рождений: оттого они так живы, неустраимы, и, собственно, они потому и начинают историю, нарушая калейдоскоп, что преодолевают прежде всего калейдоскопическую сторону «трудов и дней», лежащую в климате и почве. Никогда на земле не было двух Римов; нигде – двух Афин; один – Сион; нигде аналогий, ни в чем – повторений, при повторяющейся в сущности «почве», «климате», «общем виде страны», как трудолюбиво записывал и, с надеждой что-то в этом найти, обдумывал Бокль. В факте, нам близком и совершенно достоверном, яснее, чем во всех аналогичных, видно проявление этих таинственных «зачал» истории: Мономах роди Юрия, Юрий роди Андрея и помре в Киеве, Андрей же, получив Киев, возненавидел землю свою, род свой и, бежав с образом Богоматери на север, в холодные леса, срубил село и дерзко назвал его «Боголюбовым», т. е. «возлюбленным от Бога», и еще более дерзостно поверил, что отныне из него, а не из старого священного Киева, будет расти ствол нашей истории: «И повеле, взяв, разорить Киев». Вот факт во всех его чертах известный, в каждой черте своей таинственный. Ясно, что движущий импульс истории, ее тайна, лежит не в волнах моря, которые плещутся о берег, и тогда «возникает мореплавание»: они плещутся о Китай – и ничего там не вызывают, тогда как Петр, «рожденный от Натальи», дотянулся до моря и «зачал мореплавание». Т. е. тайна лежит в человеке, который глядит на море и или пугливо отпрядывает от него назад, или мужественно и с любопытством в него бросается; не в горах, но в человеке, который на них или с них смотрит: и то, как самнитяне, устрояет в них прочный быт, устойчивый общественный строй, «священную Весну», то, как кавказцы, не устраивает вовсе никакого строя и живет полуразбоем, полувойной; не в почве, которую возделывают «братья», и вот один из них «убивает брата своего»: он – Каин и имеет свою историю; другой же «бе угоден Богу»: он Авель и имеет особую для себя историю.

Но и помимо этого, «страна», «природа», «море», «цвет неба», «качества земли» – все это есть *постоянный* факт, причина постоянного же *бытия*, и, между тем, историку предлежит объяснять *переменное*. Цвет неба и почва при Ромуле

и Тиверии остались те же, а историку нужно объяснить неисчерпаемый ряд фактов, включенных между Ромулом и Тиверием; были Пуннические войны – и никакого влияния почвы; была борьба патрициев и плебеев – и опять при чем тут цвет неба? Власть царская отменена, она раздвоилась в собратьев-консулов и сохранилась только в странном учреждении *integres* 'ов – и опять при чем тут, что устье Тибра лежало за несколько верст от Капитолия?

Даже если мы возьмем *общи*й колорит истории, по-видимому уже объясняющийся из общих условий местности, мы увидим, что и здесь связь объясняющего и объясняемого проблематична и даже прямо отсутствует. Не под одним ли и тем же «сладострастным куполом» неба вырос «железный» Рим и Рим Петрарки, Боккачио, Рафаэля, Тициана? Мы говорим об Италии XIII–XV вв., об этом скопище не связанных между собою городов, выглядывавших себе из-за Альп императора, где среди неги и слабости вдруг задышали чудный резец, чудная кисть, чудный стих, – между тем как ранее целую тысячу лет тут передвигались тупые легионы и жадным глазом, мускулистою рукой не хотели и не умели оставить ничего независимым от себя. Две Италии – и одно небо; две цивилизации – и один только полуостров; все новое – при вечно старых условиях, новое уже в *общем* колорите своем. Что будем искать мы в этих условиях? Какое скудоумие понудит вас еще и еще, день за днем и год за годом, перебирать эти условия, это «небо», «почву», «море», «реки», «вид отдаленных гор», когда они так бедны, понятны, немногочисленны, – и выросшее среди них так таинственно, глубоко, необозримо? «Гений земли», $\psi\upsilon\chi\eta\ \tau\eta\varsigma$, $\Gamma\eta\varsigma$, сказали бы мы, если бы терминология неоплатоников была еще жива; часть «мировой души» есть этот темный дух нашей планеты; и брызги, дыхание его есть этот гений Рима, этот гений новой Италии, гений и вообще эпох, культур, народов. Но мы сказанному не придаем значения; мы делаем археологическое припоминание, совершенно обратное новейшей гипотезе, которую разбираем, – не для иных целей, однако, как чтобы твердо указать, что между этой гипотезой, столь детскою, и более серьезным по конструкции древним предположением лежит огромная незаполненная пустота, где любопытство человеческое никогда не перестанет играть блестящими воображения, но никогда они не начнут собою науки; войдут в историю как новый предмет для ее размышлений и ничем ей самой, в ее задачах, не помогут. «Иосафат роди Иорама», «Рея – Ромула», «Юрий – Андрея»... и все, и кончено для понимания.

VII

От внешних формирующих историю «причин» Бокль переходит к внутреннему ее существу и дыханию ее, и, обозревая нескончаемые ряды книг, им скупленных и расставленных на полках обширного, «в два света», кабинета, задумался: не составляло ли написание этих, столь нежно любимых им, книг – главный нерв истории, к которому, в таком случае, его собственная

книга прибавила бы новое разветвление и таким образом в поступательном движении человечества составила бы некоторый, если даже и небольшой, фазис. Это был знаменитый – и опять смутивший целую Европу – вопрос: история зависит ли от прогресса, т. е. приобретения и расширения, человеческих знаний? или она также зависит, хотя бы в некоторой степени, и от совершающихся в человеке нравственных перемен? – и отрицательный ответ, который он дал на этот вопрос. Деля сравнительный анализ «успехов ума» и «успехов нравственности», Бокль совершенно выпустил из виду существование *настроений*: настроений, обнимающих целые циклы истории, как «реформационное», в течение приблизительно двух веков, и «революционное», в каковом уже столетии дышит европейская часть человечества; настроение Брута или, напротив, Антония; Лукреции – древнеримской и Лукреции – папской. Он предположил, из кабинета «в два света» и не заходев «посмотреть» на Францию, что есть только «нравственность», как «regula* поведения», и теснее – как «знание», и еще лучше – как «чтение по книге этих regula». То, что он называл «нравственными законами», ничего, впрочем, определенного под этим не разумея, он неявно и неопределенно, но все-таки понимал именно как вид знания и почти как вид нравственной науки; и, зная, что Спаситель, Сенека, Моисей и он сам, Бокль, знают все то же в этой области, – умозаключил, что нет никакой разницы между Спасителем, Сенекой, Моисеем и им, еще только обдумывавшим тогда план «Истории цивилизации в Англии». «Не убий» – и они все не убивали; «не укради» – и они не знали за собой этого греха; «не прелюбодействуй» – и попытка Бокля влюбиться, кончившаяся дуэлью, вообще еще не могла быть зачтена как нарушение этой заповеди. Никакой разницы – на расстоянии четырех тысячелетий, у людей семитического и арийского корня, в Ханаане, Италии и Великобритании. Полная неподвижность этого элемента истории; совершенная скудость самых правил, *regulorum*, и также скудость изобретательности в этой сфере, которою, очевидно, человек скучал, принимая ее за ненужную и маловажную всякий раз, как только он «сколько-нибудь возвышался над обыкновенным уровнем знаний»**. Но вот эти «знания» – истинный предмет книг с золотистыми корешками, которые он «сам переплетал» и, верно, между переплетенными с особенной любовью стояла позднее «Ист. цив. в Англии», – какая бездна в этой сфере разделяет людей! – рыбаки Иисуса говорили на одном только еврейском языке, когда через 19 веков непрерывного прогресса Бокль смог начать изучение 14 языков, «по два часа в день». Сенека знал два языка – римский и греческий; степень культуры промежуточная, но далекая еще от средней между Палестиною времен Августа и Англиею времен Виктории и Бокля. Он с удовольствием оглядывался на бездны книг, его окружавших; с удовлет-

* правила (*лат.*).

** Вообще, чванство Бокля перед человечеством, «не возвышавшимся сколько-нибудь над уровнем знаний» и менее его, по бедности, скупавшим книг у букинистов, есть несомненная нота его «Цивилизации» и едва ли не одна из самых главных причин ее успеха: кроткое человечество так все и приняло, как он говорил.

ворением протекал воспоминанием жизнь, проведенную – за перерывами только сна – в непрестанном изучении наук. Англия, принявшая эту удивительную жизнь, взрастившая этот феномен трудолюбия и умственной добропорядочности, есть поистине кульминационная точка исторического восхождения, как бы $\psi\omicron\chi\eta\ \tau\eta\varsigma\ \Gamma\eta\varsigma$ – особенно здесь святящаяся. И мы не изумляемся нисколько, что мысль осветить судьбы человечества с высоты судеб своего отчества и, в тайне, с высоты своих личных судеб и странной своей автобиографии возникла естественно у Бокля. – Он не предложил ни разу себе вопроса: почему люди спорят, даже выйдя из одной школы; почему они не соглашались, когда стоило бы, дойдя до ближайшей библиотеки, там открыть книгу и прочесть что-нибудь одно и «общее» об занимающей теме; отчего они ссорятся, будучи приблизительно одинаково просвещены; отчего один иногда человек в разные фазы своего возраста имеет не ступени все одного убеждения, «непрерывно» возрастающего «по мере того, как у него накаплиются» – конечно, ведь накапливаются же – «знания», – но иногда страстно и мучительно отвергает во вторую половину все, чему он поклонялся и что страстно любил в первую половину? Он не рассмотрел, никогда почти не выходя из кабинета, не замешиваясь в человеческую толпу, что моральные различия, что тени и полутени человеческих настроений не только не беднее, но что они богаче и неисчерпаемее всех различий знания, всего богатства вместе взятых точных наук; что здесь-то и лежит мир неповторяющегося, бесконечного в истории, с тем вместе глубоко в ней личного; что тут именно заложен питающий и движущий нерв истории фактической, ибо от самой малой разницы в подобных настроениях текут огромные события, как от колебания в одном и том же настроении человека, от колебания только в оттенках текут вереницы совершенно противоположных его поступков. Здесь, собственно, а не в прочи ганных книгах, узел «различия в убеждениях», непримиренности и непримиримости в «мыслях», и того, наконец, что один становится священником, другой – живописцем, а третий – членом парламента; что из двух живописцев кисть одного – натуралистична, а другого – созерцательно-религиозна; а из двух членов парламента один становится тори, и тогда требует одних законов, а другой – виг, и тогда требует законов противоположных. По аналогии с личной жизнью, если бы он испытал ее в сколько-нибудь богатых формах, он догадался бы, что в исторических же настроениях – этом главном роднике и книг, которые «пишутся», – скрыт также и корень волнений, пробегающих по человечеству – судорог, которые сжимают и не устанут сжимать землю. Решая великую проблему о сравнительном значении «успехов ума» и «успехов» или, точнее, «безуспешности» нравственности, он не предложил себе самого простого вопроса: какую же новую книгу выучил Лютер, когда начал реформацию? Почему, если он недоучил какой-то книги, и в этом было все дело, ему не подали ее на Вормском сейме, чтобы он дочитал ее до конца и перестал волновать Германию? И между тем ведь реформация – исторический факт; ведь ее историку предлежит «объяснить». Или, если выключить ее,

так как, очевидно, она родилась не из «успехов ума», – исключить из истории «Савла», возрождающегося в «Павла», и все подобное, и оставить только тихих ученых, трудолюбиво пишущих книги... то неужели человечество признает это *своею* историей, историей *себя*? Где же *оно*, *его* страдания, гнев, муки?.. Они – опущены; просто они забыты, вынесены за скобку, отнесены куда-то в подстрочное примечание к странице, на которой есть только история написания знаменитых книг. Здесь перед нами открываются те бездны ученого эгоизма, которые однозначительны с артистическим эгоизмом другого маниака, который зажег Рим и в великолепном гекзаметре Гомера запел песню о пожаре Трои – в то самое время, как трудящаяся сволочь города завывала на грубом наречии Лациума, выхватывая из огня свои пожитки. Апофеоз сладкопечинства и книгопечатания, там уже в факте, но и здесь лишь по бессилию – в одной умственной концепции... Царем забыто царство, но историком не меньшее – история...

Удивительнее всего, что в книге Бокля есть одна поразительная иллюстрация перемены убеждений в человеке, совершившейся вне всякого «накопления суммы наших знаний». Это – подробный рассказ об Эдмунде Борке и нравственном кризисе, в нем происшедшем: истинная миниатюра истории и всего исторического. Мы дадим читателю отдохнуть на этом клочке живой жизни после утомительных рассуждений, к каким вынуждены были прибегнуть, разбирая предположения и концепции «Истории Амадиса Галльского», произведшей в XIX веке не менее опустошительное действие, чем какое произвела в XIV «История цивилизации»... Мы перемешали, за сродством, века и книги... Но вот немножко истины.

VIII

...«Составило бы непопозволительный пробел даже в самом кратком очерке царствования Георга III, если б было опущено имя Эдмунда Борка. Этот необыкновенный человек изучил не только все, что входит в область политики, но и бесчисленное множество других предметов, которые хотя, по-видимому, чужды политике, но в действительности составляют важное для нее пособие, так как для истинно философского ума каждая отрасль знания служит к прояснению взгляда на все другие и даже на те, которые кажутся самыми отдаленными от нее. Похвала, высказанная ему одним человеком, суждение которого имеет неоспоримую цену, может быть оправдана, – более, чем оправдана, – как цитатами из его сочинений, так и мнениями самых замечательных из его современников. Между тем как его глубокое знание философии права приобрело ему высокое мнение юристов, – знакомство его со всею областью изящных искусств и теориею их возбуждало удивление художников, – поразительное соединение двух видов умственного труда, которые нередко, хотя и ошибочно, признаются несовместимы-

ми. В то же время мы знаем из достоверных источников, что, несмотря на труды политической деятельности своей, он много занимался историей и происхождением языков, этим обширным предметом, который в последние тридцать лет стал одним из важнейших вспомогательных средств для изучения человеческого ума, между тем как тогда самая идея о нем, в более широком смысле, только начинала выясняться в умах немногих отдельных мыслителей. Но еще замечательнее тот факт, что, когда Адам Смит прибыл в Лондон, полный теми истинами, открытие которых обессмертило его имя, он, к изумлению своему, нашел, что Борк предвосхитил некоторые выводы, выработка которых стоила самому Смиту многих лет напряженного и непрерывного труда».

Читатель не упускает следить за торжественным стилем и за обилием всюду, при названии каждой новой науки, описательных выражений, с каким-то изумлением выговариваемых: так говорил бы, описывая изготовление кружев, земледелец и, особенно, каменотес. С тем вместе читатель наблюдает, что собственно мысли вовсе нет здесь, что при написании этих строк – ничего не думалось, и они могли быть сокращены в перечень пяти или шести наук, с коими был знаком и даже был в них оригинален и самостоятелен Борк. Но так как имя и биография автора «Размышлений о французской революции» столько же знакомы всем образованным людям Англии, как у нас известны имя, биография и значение Карамзина, – то из серьезной английской книги все эти ученические трюизмы были бы выпущены при сколько-нибудь сносной зрелости автора.

«С способностью к этим великим исследованиям, касающимся оснований социальной науки, в Борке соединились значительные познания в науках естественных и даже знакомство с практическими приемами и рутину механических ремесл. Все это было вполне переварено и выработано в его уме и готово на всякий случай, не так как знания дюжинных политиков, разбитые и разбросанные отрывками, а как нечто стройное, целое, слитое воедино силою дарования, умевшего придать жизнь самым скучным занятиям. Действительно, это было характеристическою чертой Борка, что в его руках ничто не оставалось бесплодным. Ум его отличался такою силой и богатством, что плоды его проявлялись во всех направлениях и что он мог придать значение самым ничтожным предметам, обнаружив связь их с самыми общими началами, и ту роль, которую они играют в великой системе дел человеческих.

Но что мне всегда казалось еще более замечательным в характере Борка, то это та умеренность, с какою он всегда пользовался своими необыкновенными познаниями. В продолжение лучшей части его жизни политические начала, которыми он руководствовался, были далеко не отвлеченные, а практические. Это в особенности поражает нас, потому что ему представлялись всевозможные соблазны принять

противоположное направление. Он имел в своем распоряжении несравненно более материалов для обобщения, чем кто-либо из политических деятелей его времени, и ум его был чрезвычайно склонен к широкому взглядам. Часто, и даже всегда, как только представлялся к тому случай, он проявлял способности мыслителя-философа. Но с того момента, как он становился на почву политическую, он совершенно изменяет свой метод. В вопросах, касающихся до накопления и распределения богатства, он видел, что, исходя из немногих простых начал, может быть построена дедуктивная наука, удобоприменимая к коммерческому и финансовым интересам государства. Далее этого он отказывался идти, зная, что за этим единственным исключением все отрасли политики имеют характер чисто эмпирический и, вероятно, долго сохранят его. Поэтому он признавал во всех его применениях то великое правило, к сожалению, слишком часто забываемое и в наше время, что целью законодателя должна быть не истина, а польза. Взвешивая на настоящее положение знания, он должен был согласиться, что все начала политики извлечены поверхностным наведением из весьма ограниченной суммы фактов и что поэтому благоразумный человек, когда ему приходится присовокуплять новые факты к данной сумме, должен верить самый процесс наведения и вместо того, чтобы приносить практические соображения в жертву принципам, видоизменять принципы ради соображений практики. Или, – чтобы выразить эту мысль иначе, – Борк полагал, что политические начала суть по большей мере создание человеческого разума, а политическая практика имеет дело с человеческою природой и человеческими страстями, которых разум есть только часть*, и что, следовательно, истинная задача государственного человека заключается в том, чтобы изыскивать средства для достижения известных целей, предоставляя общественному мнению определить эти цели.

Эти именно воззрения и необыкновенный талант, с которым они были защищаемы, делают появление Борка достопамятною эпохой в нашей политической истории. Мы, без сомнения, имели до него других государственных людей, отрицавших силу общих начал в политике, но их отрицание было только случайною догадкой невежества; они отвергали теории, которых не дали себе труда изучить; Борк же отвергал теории, потому что знал их. Весьма редкою его заслугой было то, что, имея всевозможные основания полагаться на свои обобщения, он устоял против этого соблазна; что, несмотря на свой богатый запас сведений по всем отраслям политического знания, он подчинил свои мнения ходу событий; что он признавал целью правительства не сохранение каких-либо особых учреждений, не распространение известных понятий, а благоденствие всей массы народа, и –

* Замечательное признание, силы которого для своей философии Бокль не замечает потому только, что в приводимых нами страницах он вовсе не мыслит, не мысль свою говорит, а только плетет красноречивый и восхищенный узор слов, позднее «собственной» рукой переписанных.

что выше всего – требовал такого внимания к народным желаниям, какого до него не оказывал никто из государственных людей и о котором после него слишком многие из них забывали. Действительно, отечество наше и доныне наполнено теми дюжинными политиками, слабыми и ограниченными людьми, которые, растратив свои небольшие силы в борьбе с успехами реформы, видят себя, наконец, вынужденными уступить и затем, истощив все хитрости своей мелочной системы и посеяв своими поздними и нехотя сделанными уступками семена будущего недовольства, – восстанут против века, обманувшего их ожидания, скорбят о вырождении человечества, жалуется на упадок национального духа и оплакивают судьбу народа, который, пренебрегая мудростью предков, вздумал переделывать конституцию, покрытую плесенью веков.

Всякий, кто только изучал царствование Георга III, легко поймет, каким огромным преимуществом было для Англии иметь такого человека, как Борк, для противодействия подобным жалким заблуждениям, – заблуждениям, оказавшим губительное влияние на многие государства и несколько раз едва не погубившим и наше отечество. Всякий также поймет, что во мнении короля этот великий государственный человек был не более, как красноречивый декламатор, принадлежащий к одной категории с Фоксом и Чатамом: все трое казались ему людьми даровитыми, но ненадежными, неосновательными, совершенно неспособными к серьезным делам и недосгойными такой высокой чести, как допущение в королевские советы. Действительно, во все тридцать лет, которые Борк провел в общественной деятельности, он никогда не имел никакой должности в кабинете, и единственные случаи, когда он занимал какое-нибудь хоть очень невысокое место, бывали в те краткие промежутки времени, когда колебания политики вынуждали составление либерального министерства.

Действительно, участие, которое принимал Борк в государственных делах, должно было быть очень обидно для короля, считавшего хорошим все, что было старо, и справедливым все, что издавна установлено. Он не только опровергал нелепые законы против барышничества и перекупа, но поражал самый корень всяких подобных запрещений, отстаивая свободу торговли. Он поддерживал те справедливые требования католиков, которые при жизни его постоянно встречали упорный отказ, а много лет спустя по его смерти были удовлетворены. Он поддерживал ходатайство диссидентов об освобождении их от тех стеснений, которым они были подвергнуты для выгоды англиканской церкви. Во все прочие отрасли политики он вносил тот же самый дух. Он действовал против жестоких законов о несостоятельности, которые во время Георга III еще безобразили нашу книгу статутков, и тщетно старался смягчить уголовный кодекс, возрастающая строгость которого была одною из худших черт этого дурного царствования. Он желал уничтожить старое обыкновение брать солдат в службу на всю жизнь, – обыкновение варварское и противное здравой политике. Он восставал против торговли невольниками,

которую король хотел сохранить, как старинный обычай, видя в ней принадлежность британской конституции. Борк порицал, хотя, благодаря предрассудкам своего времени, не мог ниспровергнуть, опасное право, которым пользовались судьи в уголовных процессах по делам о пасквилях, – предоставлять присяжным на решение только вопрос о факте издания, присваивая себе таким образом собственно право решения дела и, следовательно, полную власть над судьбою лиц, имевших несчастье подвергнуться их суду (*цитата*). А что многие почтут не последнею из его заслуг – это то, что он был первым в длинном ряде финансовых реформаторов, которым мы так много обязаны. Несмотря на представлявшие ему затруднения, он провел в парламенте ряд биллей, которыми были совсем уничтожены несколько бесполезных должностей, и в одном управлении генерального казначея сделано ежегодно сбережения до 25 000 фунтов стерлингов.

Эти обстоятельства уже одни достаточно могут объяснить вражду государя, хвалившегося тем, что он передает королевство своему наследнику совершенно в том виде, в каком сам получил его. Было, однако, еще одно обстоятельство, особенно раздражавшее чувство короля. Решимость Георга смирить американцев была всем так известна, что когда война действительно вспыхнула, ее называли «королевскою войною», и на всех тех, которые были против нее, смотрели как на личных врагов государя (*две цитаты*). Впрочем, и в этом вопросе, как и во всех других, Борк руководствовался не преданиями и принципами, подобными тем, которые лелеял Георг III, а широкими воззрениями на всеобщее благо. Борк в составлении своих убеждений об этой бесславной расправе не хотел руководствоваться доводами, относящимися к праву той или другой стороны. Он не хотел входить в рассуждения о том, имеет ли метрополия право облагать податями свои колонии, или же колонии имеют право сами определять свои подати. О подобных вопросах он предоставлял рассуждать тем политикам, которые, уверяя, что следуют принципам, в действительности рабски подчиняются предрассудкам. С своей стороны, он довольствовался тем, что сравнивал стоимость борьбы с выгодами от нее. Для него было достаточно того, что, принимая в соображение силы наших американских колоний, отдаление их от Англии и вероятность оказания им помощи со стороны Франции, не благоразумно было проявлять нашу власть, а потому и бесполезно толковать о праве. Таким образом, он противился наложению подати на Америку не потому, что прежде не было таких примеров, а потому, что мера эта не могла достигнуть цели. Единственным последствием этого было то, что он противился также биллю о бостонском порте и тому постыдному биллю о воспрещении всяких сношений с Америкой, который был назван довольно удачно проектом покорения ее посредством голода; – таковы были жестокие меры, которыми король надеялся смирить колонии и подавить дух благородных мужей, которых он ненавидел еще более, чем боялся.

Довольно яркою характеристикой тех времен может служить то, что такой человек, как Борк, посвятив политической деятельности способно-

сти, достойные несравненно высшего назначения, в продолжение тридцати лет не получил от своего государя никакой милости и никакой награды. Георг III был король, находивший наслаждение в том, чтобы возвышать смиренных и превозносить покорных. Действительно, его царствование было золотым веком счастливой посредственности, – веком щедрот для мелких людей и угнетения для великих. Аддингтона осыпали милостями, как государственного мужа, а Битти (Beattie) получал пенсию, как представитель философии; и, вообще, на всех путях общественной деятельности главным условием возвышения было льстить старым предрассудкам и поддерживать укоренившиеся злоупотребления.

Такое пренебрежение, оказанное самому даровитому из политических деятелей Англии, в высокой степени назидательно, но обстоятельства, последовавшие за этим, хотя чрезвычайно прискорбные, представляют еще более глубокий интерес и вполне заслуживают внимания тех, которые по складу своего ума расположены изучать умственные способности великих людей.

Теперь, когда прошло столько времени и ближайших родственников Борка уже нет в живых, было бы излишне с нашей стороны деликатностью отрицать, что он в последние годы своей жизни впал в состояние совершенного помешательства (*читатель да не подумает: «помешательства, медициною констатированного»*). Когда вспыхнула французская революция, то ум его, уже изнемогавший под тяжестью беспрестанного труда, не мог вынести мысли о событии столь беспримерном, столь поразительном и угрожающем последствиями, столь ужасными по своей громадности. А когда злодеяния этой великой революции, вместо того чтобы уменьшаться, продолжали увеличиваться, тогда чувства Борка окончательно пересилили его рассудок; равновесие было нарушено, соразмерность между отправлениями этого громадного ума исчезла. С этого момента его сочувствие к настоящему страданию стало так сильно, что он совершенно забыл о причинах, которыми это страдание было навлечено. Его ум, некогда столь положительный, столь независимый от предрассудков и страстей, поддался давлению тех событий, которые довели до помешательства и тысячи других людей. Всякий, кто захочет сличить дух его последних произведений со временем издания каждого из них, увидит, до какой степени эта прискорбная перемена *сильнее обозначилась после горькой потери, оставившей на нем неизгладимый след и вполне достаточный, чтобы убить рассудок в человеке, в котором строгость разума настолько умерялась и так превосходно уравновешивалась теплотою чувства. Навсегда незабвенными останутся встречающиеся в его сочинениях трогательные, утонченно-нежные намеки на смерть единственного сына, который был отрадою его души и предметом гордости сердца и которому он надеялся завещать впоследствии свое бессмертное имя**. Мы никогда не забудем ту картину одинокого стра-

* Курсив не принадлежит Боклю, а мне.

дания, в которой этот благородный старец выразил свое неизмеримое горе: «Жизнь моя идет обратным порядком; те, которые должны были наследовать мне, отошли прежде меня; те, которым следовало быть для меня потомством, заняли место предков... Буря сразила меня, и я пал подобно одному из старых дубов, разбросанных вокруг меня последним ураганом. Я лишен всего, чем красовался, я вырван с корнями и лежу поверженный на земле».

Приподнять занавес и проследить разрушение такого могучего ума были бы едва ли не болезненным проявлением любопытства. Действительно, во всех подобных случаях большая часть свидетельств утрачивается; те, которые имеют наиболее возможности наблюдать слабости великого человека, бывают наименее расположены рассказывать о них. Достоверно, что перемена в Борке впервые сделалась вполне заметна с самого начала французской революции; что она была усилена смертью его сына и что состоянис его постепенно становилось хуже до тех пор, пока поприще его не заключилось смертью. В его «Размышлениях о французской революции», в его «Замечаниях о политике союзников», в «Письме к Эллиоту», в «Письме к благородному лорду» и в «Письмах о царевубийственном мире» («Letters on a Regicide Peace») мы можем проследить постепенные переходы возрастающего, а наконец, и неудержимого раздражения. Единственному принципу ненависти к французской революции он пожертвовал самыми старыми связями своими и самыми близкими друзьями. Фокс, как достоверно известно, всегда смотрел на Борка как на учителя, из речей которого он почерпал уроки политической мудрости. Борк с своей стороны вполне признавал обширное дарование своего друга и любил его за его дружелюбие, за его увлекательное обхождение, против которого, как было замечено многими, никто не мог устоять. Но теперь без малейшей личной ссоры, которая могла бы служить к тому предлогом, эта давняя короткость была грубо прервана. За то, что Фокс не захотел отказаться от любви к свободе народов, от того чувства, которое они долго питали вместе, Борк публично, с своего места в парламенте, объявил, что дружбе их конец, так как он не хочет иметь более никакого сношения с человеком, стоящим за французский народ. В то время и даже в тот самый вечер, когда это случилось, Борк, известный дотоле вежливостью своего обращения, нанес прямое оскорбление еще одному из своих друзей, возвращаясь домой в его карете и в состоянии бешеного раздражения потребовав, чтобы его тотчас выпустили из экипажа, среди ночи и при проливном дожде, потому что он не хотел, по его словам, сидеть возле человека, расположенного к революционному учению французов.

Несправедливо даже полагают некоторые, будто эта мономания вражды была направлена единственно против той части французского народа, которая заслуживала того своими преступлениями. Трудно было бы, как в этом веке, так и во всяком другом, найти двух человек, отличающихся более деятельным и более пламенным жела-

нием блага, чем Кондорсэ и Лафайетт. Сверх того, Кондорсэ был один из самых глубоких мыслителей своего времени и останется незабвенным до тех пор, пока гений будет пользоваться нашим уважением. Лафайетт, без сомнения, стоял ниже Кондорсэ по способностям, но он был близким другом Вашингтона, примеру которого он строго следовал и рядом с которым он сражался за свободу Америки; бескорыстие его было и навсегда останется безупречным; притом характер его отличался благородным, рыцарским складом, которым Борк в лучшие времена свои стал бы первый восхищаться. Но оба были уроженцами той ненавистной страны, которой им не удалось доставить свободу. На этом основании Борк объявил, что Кондорсэ виновен в «нечестивых софизмах», что он «фанатик атеизма и неистовый республиканец-демократ», способный как к «самым низким, так и к самым высшим, решительным подлостям». Что же касается до Лафайетта, то, когда была сделана попытка достигнуть облегчения той жестокой участи, которой подвергало его прусское правительство, Борк не только противился принятию предложения, внесенного с этою целью в палату общин, но даже воспользовался этим случаем, чтобы осыпать грубыми оскорблениями несчастного пленника, который в то время томился в темнице. До такой степени умерли в нем по отношению к этому предмету все самые простые инстинкты нашей природы, что, говоря в парламенте, он не нашел более приличного названия этому великодушному и несчастному человеку, как название злодея. «Я бы не хотел, – сказал Борк, – унижить мое человеколюбие, поддерживая предложение в пользу такого ужасного злодея».

Что же касается до самой Франции, то, по мнению Борка, это «заток людоедов», «республика убийц» и «ад»; правительство ее состоит из «самых грязных, низких, подлых и гнусных крючкотворцев», а национальное собрание ее – из «безбожников»; народ ее – это «союзная армия из парижских людоедов – мужчин и амазонок», он же – «нация убийц», «гнуснейший народ из всего человечества», «кроважадные атеисты», «шайка разбойников», «непотребные изверги человечества», «отчаянная толпа грабителей, убийц, тиранов и атеистов». Сделать малейшую уступку подобной стране для сохранения мира значило «приносить жертвы на алтаре богохульства и цареубийства»; даже вступить в переговоры с нею было не что иное, как «выставление напоказ наших ран у ворот каждого надменного слуги французской республики, где и дворовые псы не удостоят лизать их». Когда наш посланник был в Париже, значит, он «имел честь каждое утро почтительно являться в контору крючкотворца цареубийства». Англии ставилось в упрек, что она послала «пэра королевства в посольство к отребню земли». Франция не имела более места в Европе, она была стерта с карты; самое имя ее следовало предать забвению. Зачем же людям посещать такую страну? Зачем нашим детям изучать язык ее? Зачем нам подвергать опасности нравственность наших посланников, которые едва ли могут возвратиться из такой страны иначе, как с извращенными правилами и с желанием злоумышлять против своей отчизны.

Действительно, грустно встретить подобные мысли у такого человека, каким некогда был Борк; но то, о чем нам еще осталось говорить, доказывает еще яснее, насколько изменились в нем все ассоциации понятий и самый склад ума. Тот самый человек, который, побуждаясь человеколюбием столько же, как и практическою мудростью, так усиленно старался предупредить американскую войну, – посвятил последние годы своей жизни на то, чтобы возжечь другую войну, в сравнении с которою американская была только легким, ничтожным эпизодом. В то время, как он хладнокровно смотрел на вещи, никто охотнее его не согласился бы с тем, что преобладающие в какой бы то ни было стране мнения составляют неизбежный результат тех обстоятельств, в которые эта страна была поставлена. Теперь же он силою старался изменить подобные мнения. С самого начала французской революции он настаивал на том, что европейские державы имеют право и даже находятся в необходимости вынудить Францию изменить провозглашенным ею началам. Несколько времени позже он осуждал союзных государей за то, что они не предписывали великой нации, какой образ правления она должна принять. Так велико было разрушение, произведенное обстоятельствами в его превосходно организованном уме, что он жертвовал одному принципу всеми соображениями справедливости, человеколюбия и пользы. И как будто бы война, даже в самой смягченной форме, не была довольно ненавистна, он старался придать ей еще характер крестового похода, давно уже изгнанный из истории человечества успехами образования; громко провозглашая, что эта борьба более религиозная, чем светская, он пробуждал старые предрассудки, с тем, чтобы вызвать новые злодеяния. Он объявил также, что эта война должна быть ведена ради мщения столько же, как и для защиты, и что мы не должны ни в каком случае положить оружие, пока совершенно не истребим тех людей, которыми произведена революция. И как будто бы всего этого было недостаточно – он настаивал еще на том, что эта война, ужаснейшая из всех когда-либо веденных, однажды начатая, не должна быть поспешно окончена; что, несмотря на то, что войну с Францией следует вести столько же для мщения, как и за религию, и что средства истребления, представляемые цивилизацией, должны усиливаться зверскими страстями, свойственными деятелям крестового похода, – что, несмотря на все это, войну не следует скоро прекращать, – что она должна быть продолжительна, постоянна, непрерывна, – должна, как восклицает Борк в пламенном порыве ненависти, быть догкою войной. «Я напеираю на это, – говорит он, – и желаю, чтобы мои слова были замечены, – догкою войною».

Это должна была быть война с целью заставить великий народ переменить свой образ правления; – война ради наказания, притом – война религиозная; наконец, – долгая война. Существовал ли когда-нибудь другой человек, который желал бы поразить род человеческий такими обширными, мучительными и продолжительными бедствиями? Такие жестокие, бесчеловечные и притом такие упорные мнения, если бы они исходили от здорового ума, обессмертили бы даже самого ничтож-

ного из государственных людей, покрыв имя его несказанным позором. У кого даже между самыми невежественными и самыми кровожадными политиками найдем мы такие понятия? Между тем, они высказаны человеком, который за несколько лет перед тем был самым даровитым из всех философов-политиков, каких когда-либо имела Англия. Мы только можем скорбеть о таком нравственном разрушении; далее этого никто не должен идти. Мы может созерцать с уважением величественные развалины, но да не коснется никто тайны их разрушения, если только – скажем словами самого великого из наших учителей – он не обладает способностью излечить больную душу, вырвать с корнем печали, укренвшисся в памяти, изгладить горести, начертанные на самом мозге.

Отрадно оставить этот печальный предмет даже для того, чтобы перейти к мелкой, кропотливой политике английского двора...» (т. I, стр. 183–191).

IX

Читатель, верно, отдохнул, пробежав этот любопытный факт, и мы снова можем вернуться к нашим размышлениям.

Итак, вот как течет действительная жизнь, которую предложит объяснить историку, в отличие от той великолепной и скучной *histoire imaginaire**, законы коей Бокль отыскивал, и так радовался, что их нашел. Незаметный факт, входящий в документальную биографию Борка всего несколькими строками – смерть сына – и который в биографии знаменитого человека остался бы вовсе неизвестен, если бы он не был почти современен нам, – этот миниатюрный, с общей исторической точки зрения, факт не столько раскрыл его душе новые, глубокие и нежные созерцания, сколько эти созерцания, бескровно известные раньше, наполнил живою кровью и плотью через живое и личное испытание. Он понял, как мало значат для человека треволения политики, всевозможные билли; как мало все это дает ему истинного утешения и твердой опоры в бытии. И вот он, гордый и великий ум, властитель событий своего времени, властитель их, насколько умел управлять умами современников, легким дуновением с небес «повержен с вывороченными корнями на землю». И с тем особым чистосердечием, какое мы не можем созерцать иначе, как едва удерживая слезы, теперь он разражается криками нового негодования и новой любви. Сделанный из папье-маше, дряхлый уже рождаясь, Бокль не понял великого урока, который написал себе, точнее, – переписал к себе в книгу из действительной истории. Перемена в Борке так велика, что он определяет ее как «сумасшествие»; и мы припоминаем невольню слово, сказанное в миг еще более глубокого нравственного потрясения, но уже значущего в судьбах целого мира: «Что для иудеев есть соблазн, для еллинов – *безумие*, для христианина

* воображаемая история (*фр.*).

есть истина». Умер прежний человек, восстал какой-то новый, точно рожденный какою-то другою женщиной, или он же, но как бы сошедший с ума: так не похож его вид на прежний, так новы текущие из уст его речи, так ужасающе неожиданны требования. Отчего? Оттого, что новый труник заколочен в гроб, к 100 000 заколоченных уже прибавится 100 001. И тот, кто не хотел войны, – хочет войны; кто благоговял свободой – ее проклиняет; кто был просвещен – кажется безумцем. Бокль, где же твои книги? Какую новую книгу прочел Борк? Какое еще «Путешествие по Аравии»? Или филологическое исследование? Или новый трактат по анатомии человека и животных? Задернуты книги пыльным пологом, пыль задернута пылью, задернут в пыли этой и Бокль, жующий пыль, пишуший пылью, говорящий о пыли, произносящий пыльные слова.

Мы, однако, должны подробнее исследовать эту своеобразную пыль, осевшую на лик целой Европы и вдруг его состарившую. Потому что в Бокле, которого пережила вся Европа, *переживала*, – она состарилась какою-то неумною старостью. Еще среди руководящих идей «Истории цивилизации в Англии» остается одна: недоверие, граничащее с презрением, ко всякому теоретическому построению и уверенность, что зерно науки есть факт; или, как пишет Бокль, называя вообще всякое рассуждение видом «метафизики» и всякое загребание факта руками «точным научным методом»:

«Метафизический метод, хотя он необходимо разделяется на две отрасли*, в существе своем всегда один и тот же: он заключается в том, что каждый наблюдатель изучает процесс деятельности только собственного ума. Это составляет прямую противоположность с историческим методом, который состоит в наблюдении действия множественных умов. Сделавши такое определение, мы должны прежде всего заметить, что по метафизическому методу никогда не было сделано никакого открытия ни в какой отрасли наук. Все, что мы в настоящее время знаем, приведено в известность посредством изучения явлений, от которых, стоит только откинуть случайные помехи, и в остатке, очевидно, получится закон»... (стр. 61).

Так пишет этот ужасный лимфатичный мальчик, отрубая от фактов - «путем отстранения случайных помех» – «законы» с такой же почти легкостью, как деревенские мальчики отрубают у собак хвосты, и даже в этом случае без крови и мучений для экспериментируемой природы. Но, великий экспериментатор истории, он почему-то не заметил смысла в факте, о Борке переданном: *почему*, однако, не заметил? В общих исторических постро-

* Эти таинственные умолчания, как в данном случае умолчание о том, о каких «двух отраслях метафизики» он говорит, – характерны во всем изложении Бокля; он собственно постоянно наивен, как, напр., начиная подробную историю оратора XVIII века в *общем* «Введении», т. е. на 183-й странице первого из 15 томов этого «Введения». А начиная теоретизировать, он усиленно боится ошибиться, и, избегая поэтому точностей, стучает напыщенность и становится непонятен.

ниях, как мы уже привели их, он упустил из внимания реформацию и революцию, да и вообще всю почти историю упустил: *отчего*, мы повторяем? Что помешало ему ощущая не ощущать, видя не видеть? И, написав про Борка: «Он как бы помешался, не потеряв ни одного из обильных знаний, наполнявших его ум», рядом с этим писать: «Все в истории происходит оттого, что к одному знанию прибавляется еще другое знание»? Бедный homo sapiens, он не заметил, как при всех усилиях убежать вперед от своей тени, он в действительности бежит все в этой тени – в той тени априорий, которая и за всеми нами следует, с тою лишь разницей, что, видя и признавая их, – мы их изучаем, принимаем во внимание, вносим на основании этого изучения поправки в свои умозаключения; между тем как он, «игнорируя» их, им доверчиво, в сущности, отдался, – и в утлой ладье своего полного и во всем невежества поплыл через океан темноты, окружающий человека. Забавный, он не заметил на протяжении всего труда своего, что это он, преимущественно он и есть тот «метафизик», который «изучает процесс деятельности одного собственно ума»: ибо какой же еще чудовищный историк, погребя себя в пыль хартий, умозаключил бы отсюда, что и «весь прогресс человечества, насколько он уже совершился», заключался именно в таковом погружении в хартии. Все истории, кроме этого исключительного метафизика, видели войны, слышали лязг оружия, знали, что в одном веке была готика и в другом renaissance; но никто, решительно никто еще кроме этого одного, не смешал всемирную историю с ветхою лачугой букиниста, под кровом которой он сидел и вечер за вечером, уже многие годы, пока даже состарился, перелистывал страницы ветхих, вышедших из употребления изданий, которые ему подкладывал и подкладывал хитрый торговец с уступкою 50 и даже 80%... Он ничего не заметил; и реформация, как революция, – весь трепет бывших тогда чувств – были для него неосязаемы, неуловимы вне Кондорсэ, написавшего книгу, и еще вне Меланхтона, тоже написавшего книгу. Мир «без вкуса, запаха и цвета» – как выражаются химики о многих жидкостях: таковым стал он, в исторической своей части, – под действием нескольких иссушающих и всемогущих, потому что они никогда не были проверены, априорий, которые образовал у себя Бокль, и главнейшие из которых мы привели и разобрали. Но здесь мы должны заметить, что, отвергнув их значительность и жизненность, отвергнув вопреки слепоте, которую на него они навели, при всех его «успехах знания», он сделал такой же зияющий пропуск в предмете своего изучения истории, как и в том другом месте, где исключил из нее «успехи нравственности»... Исторические настроения и aberrации ума, если исключить их, то в самом деле мы получим историю как непрерывный «прогресс знаний» и почти как «прогресс» только написания книг. И к этой-то теме, т. е. к необозримой библиографии, тайно и безогчетно для себя и пробирался Бокль. И чтобы очистить к этому путь, чтобы смешать «историю» с «библиографией» – он, в сущности, построил все предварительные свои гипотезы. «Гений земли» или «мировой дух» сделал здесь одну из самых лукавых своих улыбок над бедным человеком; и чрез посредство его – над человечеством.

Около основных изложенных идей, как бы устраивавших книгу Бокля, бегут, мелькая, взгляды афористические, – те благочестивые «апофегматы», которые так тонко отметил Пушкин у Карамзина и без коих не обходится никакая солидная книга. Читатель, верно, не знает, почему, напр., свадьбы справляются весело; или если думал, что знал, – он ошибся:

«И не на одни крестины, но также и на свадьбы были распространены подобного рода распоряжения (шотландским духовенством). Во всех странах искони заведено весело справлять свадьбы, отчасти по естественному чувству радости, отчасти же, может быть, вследствие невольного размышления, что при союзе, столь часто сопровождаемом одними страданиями, желательно, чтобы хоть начало было радостно» (стр. 531).

И, вообще, Бокль думает, что как богословы, так и философы, – взаимно согласившись, стали преднамеренно на пороге человеческого счастья, и этим в значительной степени объясняются придуманные и придумываемые ими системы:

«Но если философам и не удалось отнять у человечества часть его радостей, то есть зато другой класс людей, который принял за ту же задачу с большим успехом. Я разумею, конечно, теологов. Взятые в целом, как сословие, они во всех странах и во все времена обдуманно ратовали против таких удовольствий, которые для огромного большинства людей составляют существенное условие счастья. Поставив Бога собственным своего изобретения, которого они представляют любящим только наказание, жертвы и самоумерщвление, они под этим предлогом запрещают наслаждения не только невинные, но даже похвальные» (стр. 535).

Если в новой цивилизации такова тенденция и происхождение религиозной догмы, то в древности она объясняется еще проще – отсутствием самой цивилизации:

«Подобно всем другим варварам, евреи жаждали религии, которая бы питала их легкоеверие беспрестанными чудесами, которая, вместо отвлеченного возведения Божества к одной сущности, умножала бы их богов до того, чтобы ими были покрыты все поля и переполнены леса. Это и есть идопоклонство, естественный плод невежества; вот к чему евреи беспрестанно возвращались. Несмотря на самые строгие и беспощадные наказания, они, при всяком удобном случае, оставляли чистый теизм, для восприятия которого умы их были слишком незрелы, и впадали в суеверие, более доступное их пониманию, – поклонялись золотому тельцу и обожали медного змия. Теперь, в настоящем веке, они давно уж перестали все это делать. А почему? Не потому, чтобы легче возбуждалось в них религиозное чувство или чаще дей-

ствовал на них религиозный страх. Напротив того, они отторгнуты от прежней обстановки, они навсегда потеряли из виду те сцены, которые легко могли потрясать умы людей. Не существуют уже для них причины, возбуждавшие в сердцах – одни ужас, другие – благодарность. Не является им более облако днем и огненный столб ночью; не видят они более, как дается завет с высоты Синая, и не слышат раскатов грома, раздающихся с Хорива. Ввиду этих великих явлений, они оставались идолопоклонниками в душе, и при всякой возможности становились идолопоклонниками на деле; и поступали они так потому, что находились в состоянии варварства, которого естественный продукт – идолопоклонство» (стр. 107).

Отсюда – взгляд Бокля на человека, полный скорби и почти отчаяния:

«Таковы несовершенства нашей природы, что мы должны, в силу самых законов ее усовершенствования, пройти чрез те кризисы скептицизма и нравственной болезни, в которых обыкновенный взгляд видит состояние упадка нации и ее бесчестие, между тем как в сущности они представляют собою только тот огонь, которым должно быть очищено золото, прежде чем оно оставит свой шлак в тигле плавильщика. Скажем, – употребляя сравнение, сделанное великим аллегористом, – необходимо, чтобы бедный пилигрим, нагруженный тяжестью целой кучи суеверий, пробирался по *топи отчаяния* и по *долине смерти*, прежде чем достигнет *града славы*, блистающего золотом и драгоценными камнями, на который ему стоит только взглянуть, – и он уже вполне вознагражден за все труды и опасности» (стр. 149).

Вообще сфера религиозных объяснений есть любимая сфера Бокля, и здесь он, – выражаясь словами его русского панегириста, – «дает истинную битву тайнам истории»:

«Первое, что должно поразить нас, это то обстоятельство, что кальвинизм есть учение для бедного, а арминианизм – для богатого. Учение, настаивающее на необходимости только одной веры, должно естественно обходиться дешевле, чем то, которое настаивает на необходимости дел. В первом случае грешник ищет спасения в силе своей веры; в последнем – он ищет его в избылии своих приношений. А как эти приношения везде, где духовенство имеет много власти, всегда получают одно и то же назначение, то мы видим, что в странах, благоприятствующих арминианскому учению о делах, духовенство получает большую плату и церкви богаче украшаются, чем там, где одержал верх кальвинизм. Действительно, даже при самом простом вычислении становится очевидным, что религия, сосредоточивающая нашу благотворительность на нас самих, дешевле той, которая направляет ее на других.

Вот первое важное практическое различие двух верований, – различие, которое может быть проверено всяким, кто знаком с историей христианских народов или даже кто путешествовал в странах, где есть последователи различных исповеданий. Должно также заметить, что

римская церковь, богослужение которой преимущественно обращается к чувствам и которая любит великолепные соборы и пышные церемонии, всегда выказывала гораздо более ожесточения против кальвинистов, чем против какой-либо другой протестантской секты.

Из этих обстоятельств должны были неизбежно возникнуть аристократическое стремление арминнианства и демократическое кальвинизма. Народ любит пышность и великолепие столько же, сколько и аристократы, но он не любит платить за удовлетворение этой потребности. Его неразвитый ум легко пленяется зрелищем многочисленного духовенства и пышностью хорошо убранного храма; тем не менее ему очень хорошо известно, что все это поглощает огромную часть того богатства, которое иначе перешло бы в его хижины. С другой стороны, аристократия, по своему положению, своим привычкам и своему воспитанию, приобретает естественным образом склонность к тем тратам денег, которые позволяют ей соединить наружный блеск с религией, пышность – с благочестием. Кроме того, она имеет приобретенное наглядным образом основательное убеждение, что собственные ее интересы соединены с интересами духовенства и что все, ослабляющее один из этих классов, должно ускорить и падение другого. Вот почему всякая христианская демократия упрощала свое внешнее богослужение; всякая же христианская аристократия старалась придать ему более блеска. И вообще можно сказать, по аналогии с этим, что чем более какое-нибудь общество стремится к равенству, тем более правдоподобно, что в теологических мнениях своих оно придерживается учения Кальвина; а чем сильнее в обществе стремления к неравенству, тем скорее можно предположить в нем убеждения арминнианские» (стр. 348, 349).

Местами от этих философских обобщений его изложение переходит к тонкой иронии:

«Иногда наказание бывало менее строго, хотя чудо было столько же очевидно. В 1682 году одна женщина осмелилась разбранить знаменитого проповедника Педена, который справедливо был признаваем за одно из светил шотландской церкви. «Удивляюсь, – сказал этот достойный муж, – тому, как в вас язык не заболит от такого количества пустой болтовни». Она с негодованием отвечала, что у нее никогда не болел язык, ни рот. Тогда он сказал, что скоро будет болеть, и вследствие этих слов язык и десна распухли у нее до такой степени, что в продолжение нескольких дней она была не в состоянии принимать свою обыкновенную пищу» (стр. 518).

Детали этих суеверий были бы утомительны, если бы они не разнообразились деталями из более благородных частей истории:

«На Кёллене лежала обязанность, построив теорию болезни путем умозаключения от твердых составных частей человеческого тела, построить затем другую теорию, основанную на умозаключении от жидких

частей, так чтобы из сопоставления двух теорий могла возникнуть наука патологии, настолько совершенная, насколько позволяло тогдашнее состояние знания. Но это было не под силу его уму» (стр. 602).

Кёллен был шотландец и жил в половине XVIII века; в XVII веке во Франции тоже жили знаменитые анагомы и вообще медики.

«После Пэкке самым значительным из французских анатомов семнадцатого века был Риолан, и его имя мы также находим в числе замечательных людей, украсивших собою царствование Людовика XIV. Между тем главные сочинения Риолана были написаны еще до рождения Людовика: последнее произведение его издано в 1652 году, а в 1657 г. он умер. После него произошел некоторый застой: в продолжение трех поколений французы вовсе ничего не сделали по этим важным предметам; они не написали ни одного сочинения, которое читалось бы до настоящего времени, не открыли ни одной новой научной истины и, по-видимому, совершенно упали духом. Это продолжалось до того возрождения наук, которое, как мы сейчас увидим, совершилось во Франции около половины восемнадцатого века. В практических отраслях медицины, в умозрительных отраслях ее и во всех искусствах, связанных с хирургией, проявляется тот же закон. По этим частям, так же как и по другим, Франция в прежнее время производила людей весьма замечательных, которые приобрели европейскую известность и сочинения которых и до сих пор не забыты. Таким образом, – мы приведем только два или три примера – у них был длинный ряд знаменитых медиков, в числе которых самыми первыми по времени были Фернэль и Жубэр; по хирургии у них был Амбруаз Парэ, который не только ввел важные практические усовершенствования, но имел еще более редкую заслугу, как один из основателей сравнительной остеологии; сверх того, у них был Балью, который в конце шестнадцатого и в начале семнадцатого столетия подвинул вперед патологию, соединив с нею патологическую анатомию. При Людовике XIV все это изменилось. При нем хирургия во Франции находилась в пренебрежении, между тем как в других странах она быстро подвигалась вперед. Англичане в половине семнадцатого столетия сделали весьма значительные успехи в медицине, терапевтическую отрасль которой преимущественно преобразовал Сайденгам, а физиологическую – Глиссон. Век же Людовика XIV не может похвалиться ни одним писателем по части медицины» (стр. 285).

И от этих частности он переходит местами к общему созерцанию успехов ума в истории:

«Таким-то образом великие мыслители управляют делами человечества и своими открытиями определяют ход развития народов. История одной этой победы уже должна была бы умерить притязания государственных людей и законодателей, которые так преувеличивают значение своей деятельности, что приписывали важные результаты своим мерам, вызванным временной необходимостью и годным только

на время. Но откуда взяли они то знание, которое они всегда готовы обратить себе в заслугу? Как пришли они к своим убеждениям, к своим принципам? Убеждения и принципы эти, составляющие необходимые элементы их успеха, они могли заимствовать только от своих учителей, — от тех великих мыслителей, которые, под вдохновением своего гения, оплодотворяют мир своими открытиями. Об Адаме Смите можно сказать, не боясь опровержения, что этот одинокий шотландец изданием одного сочинения больше сделал для благоденствия человечества, чем было когда-либо сделано совокупно взятыми способностями всех государственных людей и законодателей, о которых сохранились достоверные известия в истории» (стр. 86).

Обратно этому, то, что мы называем в истории нравственною стороною, он не только не ценит, но испытывает к этому род ужаса... мы вынуждены сказать: род *нравственного ужаса*, так как во всяком случае это не есть страх умственный или вообще теоретический.

«Умственное начало не только гораздо прогрессивнее нравственного, но и дает более прочные результаты. Во всякой цивилизованной стране приобретения, сделанные умом, тщательно сохраняются, выраженные в известных общественных формулах и огражденные употреблением технического научного языка. Они удобно передаются от одного поколения к другому и принимают такую доступную, так сказать, осязательную форму, что часто имеют влияние на самое отдаленное потомство. Они становятся наследственным богатством человечества, как бессмертное завещание тех великих умов, которым они обязаны своим бытием. Добрые же дела, совершаемые под влиянием наших нравственных побуждений, несравненно менее подлежат такой передаче; они имеют более частный, скрытый характер. Так как побуждения, из которых они вытекают, составляют обыкновенно результат самоотвержения и самообладания, то каждый должен сам совершать их; каждый начинает эти дела с начала, и потому они весьма мало выигрывают от предшествовавшего опыта и не легко могут быть сохраняемы для руководства будущих моралистов. Вследствие этого нравственное превосходство в дальнейшем действии своем гораздо слабее, менее постоянно и менее делает добра» (стр. 70).

По-видимому, как и бессмертный Пикквик, Бокль посещал иногда филантропические учреждения, но, более проникательный, чем президент знаменитого клуба, вывел из осмотра этих заведений более прискорбные умозаключения и заявил их в книге своей как особую и многозначительную мысль. Он продолжает, о том же предмете:

«Эти выводы, без всякого сомнения, весьма неутешительны, и тем более неприятны, что их невозможно опровергнуть. Чем глубже будем мы вникать в этот вопрос, тем явственнее представится нам преимущество умственного развития перед нравственными чувствами.

Нельзя привести ни одного примера, чтобы неразвитый человек, имея добрые намерения и неограниченную власть для приведения их в действие, не сделал гораздо более зла, чем добра. И каждый раз, когда намерения такого человека бывали особенно искренни и власть особенно обширна, происходило громадное зло. Но если бы ослабить его добрую волю, если бы исказить его побуждения нечистой примесью, то уменьшилось бы и делаемое им зло. Если такой человек столько же эгоист, сколько и невежда, то часто бывает возможно поставить его порок в противодействие его невежеству и ограничить производимое им зло, возбудив в нем страх. Если же он бесстрашен и совершенно чужд эгоизма, если единственная цель его есть благо ближних, если он преследует эту цель с увлечением, с обширными планами и с совершенно бескорыстным усердием, тогда уже нет никакой возможности обуздать его и предупредить те бедствия, которые должен неизбежно причинить невежда в век невежества» (стр. 71).

И, наконец, вот пример конкретного понимания Боклем народов, стран, эпох: дело идет о нашем отечестве, и на образце понимания его мы можем предугадать степень точности его представлений об Аравии, Мексике, Египте, и вообще странах, более удаленных от Англии, чем Россия:

«По мере того как цивилизация подвигается вперед – устанавливается равновесие; воинственные порывы нейтрализуются такими побуждениями, которые свойственны только образованному народу. Но в народе, чуждом умственного развития, такого равновесия существовать не может. На это мы находим прекрасный пример в истории Севастопольской кампании. Особенность великой борьбы, в которую мы вступили (книга Бокля писалась во время Крымской войны), заключается в том, что она вызвана не столкновением интересов цивилизованных стран, но столкновением между двумя наименее образованными государствами в Европе (т. е. России и Турции). Это факт весьма замечательный. Настоящее состояние общества превосходно характеризуется тем, что беспримерно продолжительный мир нарушен не так, как нарушался мир в прежнее время, т. е. не распрей между двумя цивилизованными народами, а взаимными притязаниями двух наименее цивилизованных наций. В прежнее время влияние привычки к умственным, и следовательно мирным, занятиям хотя увеличивалось мало-помалу, но все еще было слишком слабо, даже в самых передовых нациях, чтобы взять верх над прежними воинственными привычками; от этого происходило стремление к завоеваниям, которое часто перевешивало все другие чувства и побуждало великие нации – такие, как французская и английская, – нападать друг на друга под самыми ничтожными предложениями и пользоваться всяким удобным случаем для удовлетворения мстительной ненависти, с которой каждая из них смотрела на благосостояние своей соседки. Между тем в настоящее время ход дел таков, что обе эти нации (дело идет об Англии и Франции, согласно нападших, с Турциею, на Россию), отложив злобную и раздражительную

зависть, которую они некогда питали друг к другу, соединились в общем деле и обнажили меч не для своекорыстных целей, а для защиты образованного мира (*но ведь для защиты собственно Турции?*) от нападений невежественных врагов (*т. е. России*).

Такова главная черта, отличающая эту войну от всех предшествовавших. Что мир продолжался в течение почти сорока лет и наконец нарушен не столкновениями между образованными нациями, как это бывало прежде, а властолюбием единственного могущественного и в то же время малообразованного государства, – это составляет одно из многих доказательств того, что отвращение к войне есть признак утонченности, свойственной только умственно развитому народу. Конечно, никто не станет утверждать, что воинственное настроение России происходит от низкого уровня нравственности или от пренебрежения к религиозным обязанностям; напротив того, все сведения, какие мы имеем, доказывают, что порочный образ жизни в России встречается не чаще, чем во Франции и в Англии, и то достоверно, что русские следуют наставлениям церкви с большей покорностью, чем их образованные противники. Ясно, стало быть, что Россия – страна воинственная не потому, чтобы жители ее были безнравственны, но потому, что они малоразвиты. Недостаток заключается не в сердце, а в голове. Так как умственные способности русского народа малоразвиты, то на него мало имеют влияния люди, занимающиеся умственным трудом, и потому в нем безусловно преобладает класс военный. В такой ранний период развития общества еще нет среднего класса и, следовательно, нет и того мирного, осмысленного склада жизни, который вырабатывается в средних классах. Умы людей, лишенных умственной деятельности, естественно обращаются к военному поприщу, как единственному для них исходу» (стр. 77).

И вот главный мотив, по которому император Николай объявил войну Турции, Турция – эту войну приняла; а две нации, английская и французская, возмущенные варварством этих воюющих народов, бросились на них, т. е. бросились на одну из них, случайно выбрав для этого Россию; случайно, но может быть – о чем Бокль не договаривает – еще и из отвращения к ее набожности, набожности при всех средствах просвещения, которыми внешним образом она обладает и коих нет у более невинных поэтому османлисов.

XI

То, что нам остается еще исследовать в книге Бокля, это – ее фактура, ее состав; т. е. уже не руководящие идеи, но распределение научного материала под этими идеями, тех разнообразных и, конечно, обильных сведений, какие он почерпал из покупаемых им обильно у букинистов книг. Мы читаем, не без удивления, не без досады, но и не без научения:

«Железа, существующая у наибольшего числа разных пород животных, есть печень, и главное назначение ее состоит в освобождении организма от избытка углерода, что она исполняет, отделяя желчь, – жидкость, весьма богатую углеродом. Но между этим процессом и процессом дыхания существует весьма любопытная связь. Бросив общий взгляд на все царство животных, мы найдем, что почти всегда печень и легкие взаимно восполняются, то есть когда один из этих органов мал и недейтелен, то другой – велик и силен. Так, у пресмыкающихся слабые легкие, но значительная печень; также у рыб, которые вовсе не имеют легких, в обыкновенном значении этого слова, печень бывает нередко огромного размера. С другой стороны, насекомые имеют обширную и весьма сложную систему дыхательных трубок, но печень у них очень мала, и отправления ее обыкновенно слабы. Если мы вместо того, чтобы сравнивать различные породы животных, будем сравнивать различные состояния, которые проходит одно и то же животное, то мы найдем еще дальнейшее подкрепление этого общего и разительно верного положения. Выведенный нами закон верен, даже и до рождения, – так как у ребенка, находящегося в утробе, легкие не имеют почти никакой деятельности, но у него есть огромная печень, полная сил и изливающая желчь в изобилии. И отношение это так неизменно, что в человеке печень образуется раньше всех других органов; она преобладает во все время нахождения младенца в утробе, но быстро уменьшается, когда после рождения легкие приходят в действие и во всем организме устанавливается другая система восполнения. Так как печень и легкие взаимно замещаются в первоначальном образовании своем; то весьма вероятно, что они и в отправлениях своих тоже заменяют друг друга и что все, не исполненное одним из этих органов, должно быть исполнено другим. Следовательно, если печень, как учит нас химия, имеет назначением освобождать организм от излишнего углерода, отделяя богатую углеродом жидкость, то мы должны были бы предполагать, даже при неимении других доказательств, что и легкие служат к выделению углерода; другими словами, мы должны были бы заключить, что если по какой-нибудь причине организм наш в избытке обременен углеродом, то наши легкие должны участвовать в устранении этого зла. Другим путем это приводит нас к заключению, что пища, изобилующая углеродом, должна утруднять легкие; так что связь между углеродистой пищей и дыхательными отправлениями не пустая гипотеза, как некоторые утверждают, а, напротив, теория, вполне основанная на науке и подкрепляемая не только химией, но всей организацией царства животного и даже наблюдением эмбриологических явлений. Воззрения Либиха и всех его последователей действительно поддерживаются столькими аналогиями и так совершенно гармонируют со всей остальной суммой наших познаний, что только неразумное отвращение к общим положениям или неспособность обращаться с широкими умо-

зрительными истинами могут служить объяснением вражды, возбужденной этими выводами, которые постепенно втесняются в наше убеждение, с тех пор как Лавуазье старался объяснить дыхательный процесс, подчинив его законам химических соединений» (стр. 23–24).

Читая этот отрывок из элементарной физиологии на первых же страницах собственно еще не начавшегося «исторического исследования», мы не можем себе объяснить его появления здесь иначе, как предположив, что «исследование» это есть вовсе не исследование и что «историческое» в нем не содержит ничего исторического. Ясно во всяком случае, что изложение соотношения между легкими и печенью не могло войти звеном в ход мысли, устанавливающей законы истории; что связь здесь не с мыслью, но с именем «печени» или «легких», упомянутых в изложении мысли, имеющей другой предмет; но вот – предмет этот забыт, пусть на минуту, и после имени начинается изложение всего любопытного, или самого любопытного, что о нем знал автор, как бы работающий над энциклопедическим словарем, но только не в алфавитном его порядке. У нас образуется странное подозрение, для книги – подозрение страшное, что автор вовсе не думает, о чем он пишет, не знает и просто даже не назвал для себя темы книги, главы, отдела; или, назвав и надписав в заголовке, – сейчас же забыл о нем. Обширное место в книге занял эпизод из жизни английского государственного деятеля Эдм. Борка; но жизнь его вовсе не излагается в ходе книги: Борк и его отношения к королю Георгу III – только характеризующая черта ничтожества этого царствования (Георг – не оценил замечательных дарований Борка); однако, отвертывая несколько страниц назад, мы видим с удивлением, что и царствование Георга вовсе не начиналось в изложении, и оно попало в него и заняло страницы 178–194 так же случайно и непредвидимо для читателя, как печень заняла страницы 23–24. Из мелькающих цитат, которых мы привели много в предшествующей главе, читатель видел, как перемешиваются в них предметы, очевидно не связуемые никаким воображаемым порядком или системой. Метод философствования Бокля, метод этого универсального философствования, уподобляется тому, как если бы составитель арифметического задачника, одушевляемый любовью к науке или заботой об образовании ученика, задавая задачу для решения:

«Купец купил 3 четв. и 5 гарнцев ржи»...

– прерывал бы этот нами написанный, но у него недописанный текст на слове «купец» и объяснял бы подробно: 1) что *купец* – это член сословия, и 2) какие бывают еще *сословия*; 3) что первыми купцами были *финикиане*, и 4) как шло движение всемирной *торговли*; а продолжая затем мирно текст задачи до встречи нового слова «*рожь*», – объяснял бы, что 5) есть *злак*, растение *односемянное*, по интересной классификации 6) *Линнея*, скромного ученого, который в XVIII веке прославил свою небогатую и небогатую, но благородную родину, 7) так много сделавшую, в эпоху религиозной борьбы, для умственного освобождения человечества. Рожь же растет к северу до 63° широты и южнее, на протяжении всего умеренно-

холодного пояса. И уже тогда, когда отделы ботаники, географии, а в соответствующих местах – фортификации и дипломатики были бы пространно изложены ученику, автор арифметического задачника сказал бы...

Но Бокль умер, так и не сказав, в чем дело; составитель же арифметического задачника, если бы ему Бог послал более долгий срок жизни, в третьем томе своей универсально-всеобъемлющей «книги» сказал бы, что прилежному ученику, который тоже к тому времени постарел бы, следует «разделить 3 четверика и 5 гарнцев на отвлеченное число 7». Вот *метод*, и он – метод Бокля. Отсюда «печень» на 23-й странице и «Борк» – несколько далее; чуть-чуть в стороне – «Биша» и изложение его «замечательных физиологических исследований», которое перерезывает нить рассуждений о Ришелье. Все это – в первом из 15 томов «Введения в историю цивилизации в Англии». Если, наконец, мы рассмотрим распорядок самых глав, т. е. сцепление частей всего организма книги, мы увидим тот же метод «гарнцев» и «финикиян», не образующий вовсе никакого организма, как, напр., в *первом* томе:

«Гл. I. Доказательство правильности в человеческих действиях. – Этими действиями управляют духовные и физические законы. – Вот почему история не может существовать без естественных наук.

Гл. II. Влияние физических законов на организацию общества и характер отдельных лиц.

Гл. III. Разбор метода, употребляемого метафизиками, для открытия законов ума.

Гл. IV. Законы духа человеческого разделяются на нравственные и умственные; сравнение их.

Гл. V. О влиянии религии, литературы и правительства.

Гл. VI. Начало истории и состояние исторической литературы в средние века.

Гл. VII. Очерк истории умственного движения в Англии с XVI до конца XVIII столетия.

Гл. VIII. Очерк истории умственного движения во Франции с половины XVI века до вступления на престол Людовика XIV.

Гл. IX. История духа покровительства и сравнение проявлений его во Франции и в Англии.

Гл. X. Сила, которою обладал дух покровительства во Франции, служит объяснением неуспеха Фронды. Сравнение Фронды с современным ей английским восстанием.

Гл. XI. Дух покровительства, перенесенный Людовиком XIV в литературу. Обзор последний этого союза умственно-трудящегося сословия с правительствующим.

Гл. XII. Смерть Людовика XIV. – Реакция против духа покровительства и подготовка французской революции.

Гл. XIII. Состояние исторической литературы во Франции с конца XVI до конца XVIII столетия.

Гл. XIV. Ближайшие причины французской революции, начиная с половины XVIII столетия».

Как читатель видит, здесь вовсе нет «Введения в историю цивилизации в Англии», нет ничего почти даже об Англии, хотя сюда именно включены «Борк» и «печенка». Ряд глав этих есть хрестоматия этюдов на темы, вдохновение к которым мы поймем, припомним, как, скучая, различать Моцарта от Бетховена, автор их ежедневно прочитывал утренние газеты Англии, и не бросал их, но внимательно складывал в стороне. Главы и отделы его книги суть философско-исторические оправдания повсюду ему попадавшихся и нам попадающихся тоже повсюду в газетах мыслей, как, напр., что «меценатство вредно в литературе, и лучше – ее нравственная независимость» (главы IX, X и XI); что «дворы королей часто бывают переполнены интригами» (глава VII) и что «короли не всегда бывают хорошие люди»; что «они часто не бывают проникательны»; что «не бывают проникательны и вельможи»; но что «ученые бывают проникательны и вообще это есть лучший род людей». Мы говорим о темах глав, т. е. идеях, не входящих в те магистральные мышления, которые разобраны выше. Том второй, к удивлению, переходит прямо в историю Шотландии, со вставочным эпизодом об Испании. Это так странно, что читатель может не поверить:

«Гл. I. Очерк истории умственного движения в Испании с V до половины XIX столетия.

Гл. II. Состояние Шотландии до конца XIV столетия.

Гл. III. Состояние Шотландии в XV и XVI вв.

Гл. IV. Состояние Шотландии в XVII и XVIII столетиях.

Гл. V. Исследование умственного движения в Шотландии в течение XVII столетия.

Гл. VI. Исследование умственного движения в Шотландии в течение XVIII столетия».

На этом Бокль умер: далее следует (т. е. в оглавлении) «Подробный указатель содержания» и «Список источников к 1-му и 2-му тому», из коего мы и узнаем, что, так подробно изложив историю Шотландии, бурлившую религиозными и политическими смутами, он вовсе не знал или по крайней мере не прочел (не попалось у букинистов) то, что о них написал, т. е. что думал и что знал, просвещенный Гизо. Казалось бы, это больше относилось к предмету книги, чем «Simon (J). Lectures on Patalogy. London. 1850» и «Owen (R). Lectures on the Comparative Anatomy and Physiology of the invertebrate Animals. 2 ed. Lond. 1885» – откуда он и почерпнул рассказанные им сведения о печени. Но если бы у читателя сохранилось еще подозрение, что, не содержа мысли в целом, книга, может быть, имеет правильное течение мысли в отдельных главах, как не связанных между собою этюдах, то вот подробный перечень содержания наудачу выбранной главы, откуда видно, что мысль автора действительно движется не к доказательству, не к теме, но исходит от имени собственного или нарицательного, и его объясняет (метод энциклопедического словаря):

«Различие между достоверностью и точностью. – Мыслящая часть Франции стала нападать на правительство около 1750 года. – Начинаются исследования по части политической экономии. Влияние Руссо*... Кальвинизм имеет демократический характер, а арминизм – аристократический характер... – Последствия этого для наук о теплоте, свете и электричестве. – А также для химии и геологии... – Воззрения Биша относительно тканей. – Связь между этими воззрениями и последующими открытиями. – Отношение между изобретениями, открытиями и методом; огромная важность метода Биша. – Сочинения Биша о жизни. – Великие и удачные попытки, сделанные французами в ботанике. – Заслуги де-Лиля и Гаюи по части минералогии. – Аналогия между воззрениями Гаюи и сочинением Пинзля о сумасшествии. – Все эти громадные результаты входили в число причин французской революции».

И, действительно, этот удивительный перечень содержания помещен в XIV главе: «Ближайшие причины французской революции, начиная с половины XVIII столетия», – о которой мы не знаем, ни почему она попала в «Историю цивилизации в Англии», как тематическая, ни как в нее попало сочинение Пинзля о сумасшествии, между тем как вовсе выпущены из этих «причин»: 1) обнищание населения, особенно начавшееся после продолжительных войн Людовика XIV, 2) злоупотребления и бессилие администрации, 3) падение или, точнее, перерождение всех феодальных учреждений и вообще всех органов средневековой жизни. Ничего из собственно социального, и это в перечне «причин» глубочайшего социального переворота новой истории, положившего грань в развитии и строе человечества. Наконец, есть главы в книге, которые, упуская собственную тему, прямо переходят в конспект ряда книг, и, если нужно выразить всю тайну книги Бокля, мы скажем, что именно эти-то конспекты, еще в отрочестве, вероятно, составленные, и образуют всю почти ее фактуру; а самые темы глав, от этого странно и чередующихся, равно как все связующие и побочные в них мысли, суть только грамматическая почти форма перехода от конспекта к конспекту, – связка, не имеющая в себе самостоятельного и свободного значения. Вот пример, взятый из перечня содержания последней главы 2-го тома:

«Перечень важнейших различий между индукциею и дедукциею. – Шотландская философия во всей совокупности своей, как физическая, так и метафизическая, есть философия дедуктивная. – Философия Гёттесона. – Ее выводы и направление. – Ее метод. – Философия Адама Смита. – Его «Теория нравственных чувствований» и его «Богатство народов» суть различные части исследования одного и того же предмета. Чтобы понять которое-либо из этих сочинений, мы должны изучить оба. – Его дедуктивный метод основывается на упущении

* Там, где мы ставим многоточие, мы выпускаем части перечня, имеющие отношение к теме главы («Причины французской революции»), оставляя те только части, которые, очевидно, к этой теме не имеют отношения и объясняют слова.

некоторых посылок. – Разбор его «Теории нравственных чувствований». – Разбор его «Богатства народов». – Философия Юма. – Недостаток в нем воображения. – Важность и новость его учений. – Метод его был по преимуществу дедуктивный. Он, как и Адам Смит, мало заботился об опыте. – Этим объясняется его несправедливость к Бэкону, метод которого был диаметрально противоположен методу Юма. – Его «Естественная история религии». – Сравнение метода этой книги с методом, которому следовал Кедворт. – Философия Рида. – Его робость заставляла его обращать внимание на практическую сторону умозрительных учений, вместо того чтобы исключительно ограничиваться исследованием, истинны они, или ложны их выводы. – Но философ должен поставить себе задачу донскиваться новых истин, не обращая никакого внимания на вытекающие из них последствия. – Рид нападал на метод Юма, потому что ему не нравились те результаты, к которым приводил этот путь умозаключения. – А между тем, строя свою собственную философскую систему, он сам следовал именно этому методу. – Оценка того, что действительно сделал Рид. – Противоположность между методом Рида и методом Бэкона. – По отрасли естественной философии в Шотландии одинаково преобладал метод дедуктивный. – Законы теплоты. – Неуничтожаемость силы. – Замена сил одной другою. – Философия Блекка. – Его теория скрытой теплоты проложила путь к последующим открытиям. – Метод его был дедуктивный; он не подходит ни под одно из правил бэконовской философии. – Тому же плану следовал и его преемник Лесли. – Теория теплоты Лесли. – Он извлек большую пользу из поэзии. – Он был несправедлив к Бэкону, индуктивные взгляды которого не нравились ему. – Геологические умозрения Гёттона. – Огонь и вода суть две причины, изменившие и теперь еще изменяющие земную кору. – Предположение, что вулканическое действие было прежде сильнее, чем теперь, совершенно согласуется с учениями о непрерывной последовательности явлений и об однообразии законов природы. – Влияние огня и воды на земную кору может быть изучаемо дедуктивно, посредством вывода вероятного действия каждой из этих сил отдельно. Или же можно изучать влияние обоих этих деятелей путем индуктивным, т. е. наблюдая результаты их совокупного действия и восходя от действий к причинам; между тем как дедуктивный план состоит в нисхождении от причин к действиям. – Из этих двух методов англичане последовали индуктивному, а шотландцы и немцы дедуктивному. – Основание английской геологии положено Виллиамом Смитом. – Англичане наблюдали действия с целью привести в известность причины. Немцы, предположив вперед, что вода есть причина, умозаключали от нее к действиям. Шотландцы, приняв вперед за причину огонь, исходили в своих умозаключениях от законов этого именно деятеля. – Причины, по которым шотландские геологи вели свое умозаключение от законов огня, вместо того чтобы, подобно немецким геологам, исходить от законов воды. – Хотя Гёттон положил основание теории метаморфических скал и приписал такое громадное значение

теплоте, – он все-таки не дал себе труда исследовать хотя одну местность действующих вулканов, где бы он мог видеть те самые отправления природы, по предмету которых он строил умозрения. Но путем дедуктивного применения основных начал, раскрытых Блекком, он пришел к заключению относительно отвердения пластов от действия жара. – Это был вывод чисто умозрительный, не подтвержденный опытом. – Хотя предположение это, может быть, и подтвердилось бы на опыте, но тогда никто не делал еще такого опыта; а Гёттон питал слишком большое отвращение к индуктивному методу, чтобы самому предпринять подобную проверку. – Сэр Джемс Голл взялся впоследствии за это дело и проверил эмпирически великую идею, заявленную Гёттоном. – Изобретение паровой машины и открытие состава воды Уаттом. – Противоположность между методом, которому следовал Уатт, как шотландец, в деле открытия состава воды, и методом, употребленным англичанином Кавендишем, сделавшим то же самое открытие в одно и то же время. – Сущность доказательств, на которых основывается предполагаемое различие между органическим и неорганическим миром. Жизнь есть, по всей вероятности, принадлежность всякой материи. – Но, принимая, ради необходимой классификации, что органический мир существенно различается от неорганического, мы можем разделить науку об органических телах на физиологию и патологию. – Два великие шотландские патолога – это Кёллен и Джон Гёнтер. Гёнтер, обладавший более обширным умом, чем Кёллен, был также и физиологом. – Обзор философии Кёллена», etc. etc.

Так составлена эта глава; так составлялись не все, но большинство глав. И живой интерес, с которым глаза читателя бежали по множеству предметов, поименованных в этой главе, скрыл от него истину, что они бегут с интересом по этому зрелищу мира, перед ними открывшегося, а вовсе не по связи мыслей, составляющих книгу: т. е. что перед ним коллекция, энциклопедия, хрестоматия, и нет вовсе книги как живого и цельного создания, движущегося от определенного начала к определенному концу, в некоторых гранях, в русле некоторой определенной мысли.

XI

Аристотель, в одной из книг своей «Метафизики» среди ряда других понятий, с которыми позднее в ее тексте предполагал обращаться, развил понятие $\sigma\tau\acute{\epsilon}\rho\eta\sigma\iota\varsigma$. Это – некоторая пустота, однако наблюдаемая нами не как нечто положительное: «пустая» комната, «пустое» место, торричеллиева «пустота»; таким образом – не как видимое, осязаемое, присутствие чего может быть указано. $\Sigma\tau\acute{\epsilon}\rho\eta\sigma\iota\varsigma$ – это некоторый «недостаток», который мы только прозреваем умом около чего-нибудь положительного; понятие «лишения», но именно в действительном, при кажущейся полноте частей этого действительно. Продукт какого-то недоразвития вещей или, напротив, их обратного развития,

умаления, упадка, разрушения. Этот $\sigma\tau\acute{\epsilon}\rho\eta\sigma\iota\varsigma$ может простирается на побочное, несущественное, – и тогда существование предмета сохраняет прочность, лишаясь только идеальной гармонии и полноты. Но может случиться или мы можем представить себе, что, напротив, среди полноты побочных сторон, $\sigma\tau\acute{\epsilon}\rho\eta\sigma\iota\varsigma$ постигает их общий центр, – и тогда бытие их всех становится фантомом, призраком, он длится лишь момент – и даже собственно длится лишь впечатление на сетчатой оболочке нашего глаза от этих исчезающих обломков бытия, которые за минуту были реальною действительностью. – Так, гений может быть не учен, – как Люгер, как Борнс; и мы видим следы изъязнов в творениях, еще прекрасных и великих. Или он может быть порочен, как гений Вольтера, и мы видим кривой и ложный полет его, им восхищаемся, на него негодуем; с ним боремся, но удерживая в себе восторг! Но вот, мы можем видеть другое (начнем с элементарнейшей природы): ряд кругов, которые – допустим в воображении, метафизически – потеряли, забыли в себе центр, забыли самое свое определение, – и тщетно теперь линии, за минуту правильные и действительно круговые, ищут точек, по которым им нужно протянуться, не знают, как прогнуться, ищут и не находят, не могут понять, куда стагь эту и тою веточкою прогяжения своего. Пример – фантастичен, но голько потому, что «круг» не жив и не может чего-нибудь «забыть», равно и по существу своему он не может потерять свое «определение». Но вот мы входим в сферу живого, и в коем есть части, столь же важные, как в круге его определение. Возьмем огромную память, чудную любознательность к предметам, правда немного холодную, но всеобъемлющую; способность к языкам; и, как продукт этого всего – действительное ознакомление почти со всеми вещами мира сего, у человека, который поражен в глубочайших и темных недрах духовного бытия своего обыкновенным идиогизмом, непониманием. Тогда соотношение всех знаний, какими обладает он, и яркая многозначительность каждого из них – потеряют для него ясность; употребление возможное или, напротив, невозможное, какое он мог бы сделать из своих способностей и сведений, – станет неясно для него, перестанет быть отчетливо, видно; все погрузится в некоторый сумрак, в некоторую сонливость бытия, – как полет пгицы, у которой сохранены органы летания, но срезаны большие полушария мозга, и вот, брошенная на воздух, она легит по прямой линии, не может остановиться, не умеет даже упасть на землю, и только ударившись о препятствие, -- как бы роняет себя, слепо и глухо, к его подножию.

Станным, как-то диким показалось бы это печальное предчувствие, но мы выскажем его: что легким, неуловимо тонким идиогизмом подернута преобладающая часть умов, какие зажглись, точнее, засветились холодным и странным блеском перед Европой в средние десятилетия истекающего века. Мы так подробно, так утомительно детально разобрали одну книгу, чтобы бесспорна и очевидна для всякого стала эта истина хоть на одном явлении, и явлении некогда светившемся в зените умственной жизни Европы, сосредоточившем на себе ее внимание, покорившем ее, увлекшем ее. Но вот другой, менее знаменитый, но также с гранно возобладавший над

всеми однородными, труд: «Система логики» Милля. Никто не оспорит, и мы всего менее хотели бы это сделать, огромные достоинства ее отдельных сторон: эту ясность изложения, это спокойствие аргументации, великую осмотрительность всего хода мышления, даже некоторую долю открытия в методах элиминации причин. Подозрительно только, в некоторых точках, чувствую скуку, как бы преждевременной утомленности, какую мы наблюдаем в авторе, как только он подходит, в последовательном изложении, к каким-нибудь вопросам, особенно темным и запутанным, но всегда и неизъяснимо волновавшим мысль человеческую от Платона и до него, Милля. Если позволительно так выразиться, конические сечения ума человеческого уже не вовлекают его в свои таинственные формулы, и он ползет около круглого основания фигуры, около образующей прямой, и чувствует усталость и темноту, как только поднимает голову. «Это почти круг и при ближайшем рассмотрении, вероятно, окажется точным кругом», – отвечает он об эллипсисе; «это – только разорванный круг, и, вероятно, есть обман нашего зрения и недостаток наших методов исследования, если он представляется овальным», – отвечает он о параболе и гиперболе; и не спрашивает себя, не любопытствует уже спросить: не есть ли это, напротив, начало нового мира линий. Таковы очень многие места его «Логики», – таково, напр., учение об аксиомах. Но это тонкая частность, которая может быть принята не за предопытную усталость ума, его начинающееся ограничение, но за каприз исследователя, наконец, – за его предрассудок. Вот нерв книги, ее мотив, который мы слушаем в каждой строке; в своем роде «навязчивая идея», очевидно растущая в авторе не из прочитанных книг, не из полученных впечатлений, но из оснований гораздо более глубоких, – мысль, над которой он очевидно не имеет силы, она же властвует над ним: в книге предполагается, доказывается, ищется, исследуется, что нет собственно никакой логичности как нудящей, как приневоливающей стороны в понятиях и представлениях, как саможивущей и самодвижущей способности в теоретической части нашего духа; но что как ряд предметов, не определяемых более, как ряд именно окружностей с утраченным центром и потерянным определением, эти понятия и представления связываются и так и этак, «секутся секущими» и «касаются касательными» в некоторой зависимости не от себя и своей истины, но от побочных и совершенно для них внешних обстоятельств: «ассоциируются», «сосуществуют», «преемственно следуют», и никогда не дышат, не ищут, не страдают и в страдании находят истину, строят философию, просвещают человека. Мы живо чувствуем, что Милль мог бы отказаться от многих своих идей, перестроить иначе «Логик» и «Политическую экономию», встретить он те или иные указания, ту или иную критику; и все, и никогда он не мог бы понять или поверить, что ум человеческий есть в точности искрящийся гений, а не тот плетущийся идол, движения которого он детально подсматривает и описывает в своей «Логике», не паралитик, которого члены перекладываются, когда их кто-нибудь перекладывает. Парализованность духа, антилогизуемость ума – есть идея, ко-

тую мы не решимся назвать в нем «врожденною»; она более, чем врожденна в нем: это – στήριξις его природы, дыхание его собственного бытия, как он субъективно ощущает его; то же, что испорченное ощущение во рту у человека, желудок коего испорчен, и под углом этого испортившегося вкуса он ощущает вкус всех и всяких яств, которые ему подаются. Самое любопытное, – но об этом ниже, – что именно этот специфический вкус, из длинного ряда возможных и действительных, как-то легко был понят, ощущен, легко и быстро усвоился всем европейским человечеством.

Или органический мир, природа: на «Бигле» объехав этот мир, увидев его, созерцав от высших граней и до самых низших, Дарвин, вернувшись в отечество и еще очень долго потом размышляя о виденном, высказал гипотезу, центр коей именно состоит в том, что мир этот никак вовсе не построен, что строя не было и в самом происхождении его, но что, черта к черте, он вылепился как огромная и, очевидно, безжизненная и бессмысленная мозаика из случайно появившихся на нем наростов: что-то вроде работы слабоумного или маттоида, в узор которой, иногда красивый, всматриваясь – мы содрогается, не видя в нем никакой мысли. Работа не гения, не демиурга – мы говорим о мире, как его представил себе Дарвин, – но идиота. Снова и здесь в сердцевине необозримых ученых работ, счастливых иногда предположений, богатых частных взглядов, выпавший центр, потерянное «определение круга», около центра коего не умеют никак расположиться его точки. И снова что-то нудящее для автора в этой мысли; снова мы можем предположить, что он отказался бы от этой и той частной своей гипотезы, от наилучших своих фактических открытий. Но что живой мир имеет живую мысль в себе, и даже что этот мир просто жив, самоорганизуется, исполнен собственного трепетания – перед этой мыслью Дарвин испуганно отступил бы, он никогда, ни при каких условиях ее не принял бы. Маленькая деталь, коротенький текст, и читатель не удивится высказываемому нами:

...«Необходимо укрепить физический организм в породе человеческой; для этой цели мы должны придумать искусственное средство в замену ослабевшей силы естественного подбора (natural selection). Только при таком условии возможен прогресс в породе человеческой. Mens sana in corpore sano*. *Успехи врачебного искусства служат в этом случае не к общей пользе, а ко вреду.* Нет сомнения, что в массе нашего цивилизованного общества уровень здоровья понизился до тревожных размеров и что *врачебное искусство, поддерживая слабые организмы, будет только увеличивать зло для будущих поколений.* В общем, *необходимо сократить число слабых, вступающих в состязание с сильными в борьбе за существование».*

Итак, атавизм, доходящий до возврата к Спарте, где ребенок рожденный осматривался старейшинами города, и сильный оставался жить, слабый же бросался умирать, и даже далее, глубже: атавизм, внедряющийся вглубь Африки, к не знающим болезней бушменам. Однако слова эти высказаны челове-

* Здоровый дух в здоровом теле (лат).

ком, уже знающим Евангелие, и даже более – изучившим богословие (Дарвин готовился стать священником); наконец – они высказаны в пору расцвета медицинских наук. Таким образом, мы имеем здесь не отрицание, исходящее из неведения лучшего и милосердного, но преднамеренное, «научное» собственно возвращение к каннибализму. За этим атавизмом вкуса, мечты ласкаемой, – следует тотчас и атавизм младенчески-дикой же мысли:

«Сверх существующих ограничений брака, закон должен, во-первых, признать решительным поводом к разводу появление у одного из супругов некоторых болезней, передаваемых по наследству: желудка, печени, легких, подагру, ревматизм, золотуху и другие, если относительно их констатировано или констатируется, что они наследственны. Далее, следует ввести общую систему медицинского осмотра для удостоверения упомянутых болезней, по образцу введенной в Германии системы осмотра для удостоверения способности к военной службе; и, наконец, нужно установить в законодательном порядке, что никто не может вступить в брак, не представив удостоверения в том, что он никогда в жизнь свою не страдал припадками безумия, и, сверх сего, не предьявив чистой родословной (untainted pedigree), с доказательствами, что его родители и даже дальнейшие, восходящие и боковые родственники, никогда этих припадков не имели. Все эти меры совершенно необходимы для того, чтобы в массе человечества значительно умножилась способность к счастью (capacity for happiness) с уничтожением главного к нему препятствия»...

Мысль ползет, «навязчивая мысль» (медицинский термин) – к готтентам, кафрам; она вползает в их конусообразные жилища, ласкается у ног их, как собака у ног хозяина, которого нашла после долгих «блужданий». Но... хоть один крик из этих «блужданий»:

– О, Ромео мой,
Когда меня ты любишь – молви это
Открыто мне!.. Находишь, может быть,
Ты, милый, что отдаюсь я слишком
Тебе легко? Не хочешь ли, я буду
Сердиться на тебя? Отвечу «нет»
На все твои мольбы? Нет, нет! не надо!
Нежна я слишком, милый мой Монтекки, –
И потому меня ты упрекнешь,
Пожалуй, в легкости! Но верь мне, друг мой,
Что на меня ты можешь положиться
Скорей, чем на других, что лгут в глаза
Из ложной скромности. К тому жь, быть может,
И я была б скромней, когда бы ты
Здесь не поймал меня, помимо воли
Подслушавши слова мои. Прости же
Меня, бесценный мой, и не подумай,

Что преданность моя к тебе, невольно
Здесь выданная ночью, будет слабой
Лишь потому, что скоро так решилась
Тебе отдаться я...

Ромео

Клянусь луной,
Сребрящей эти листья на деревьях...

Джульета

Нет, нет, луной не надо! Не клянись
Изменчивой луной! Она меняет
Свой облик каждый месяц, точно хочет
Сказать нам тем, что минет и любовь.

Ромео

Так чем же клясться?

Джульета

Не клянись совсем.
А если непременно хочешь клясться -
Клянись собой! Тебе поверю я,
Как божеству, которому молюсь я.

Ромео

Когда мое все сердце...

Джульета

Верю, верю!
Не надо клясть! Как мне ни хорошо
С тобою здесь, скажу тебе, однако:
Меня страшит невольно этот скорый,
Решительный союз наш, заключенный
Так быстро, так неожиданно, темной ночью.
Он кажется похожим мне на луч,
Сверкнувший так внезапно, что сиянье
Его исчезло, прежде чем глаза
Успели разглядеть его. Уйди!

Уйди, прошу! Пускай свиданье это
Останется похожим на цветок,
Еще не распутившийся как должно,
Сулящий нам, однако, разрастись
В прекрасный, пышный цвет, когда сойдемся
С тобой мы вновь. Прощай, прощай! Спокойно
Засни теперь! Да осенит тебя
Блаженства луч, каким счастлива я!

Ромео

Так мало дав, меня ты покидаешь.

Джюльета

Чего ж еще сегодня ты желаешь?

Ромео

Чтоб поклялась любить меня ты так же,
Как клялся я.

Джюльета

Я в том клялася прежде;
Теперь же я готова взять назад
Мое тебе признание.

Ромео

Как, ты хочешь
Отнять его? Но почему ж, друг милый?

Джюльета

Чтоб вновь отдать его и этим
Тебя уверить в искренности слов.
Но, впрочем, я желаю, ведь, того,
Что уж мое. Любовь моя не знает
Границ, как море. Чем сильнее я
Тебя люблю, тем более себя
Я чувствую охваченной любовью.
И море, и она равно безбрежны!
Но, чу! Я слышу шум! Прощай, прощай!

Какое счастье даже выписывать... Но наблюдать, но видеть? Другьям, родителям? Мы не хотим проникать в тайнства сердец любящих; касаться ароматного цветка, возвращенного в садах Божиих, Божией росой увлажненного и который видит Провидящее Око, блюдет и нам дает, поэту дало подсмотреть. – Но немножко прозы...

Если б эти мальчик и девочка

В Вероне, городе старинном...

– пали к ногам великого «махатмы» науки и, извиваясь в пыли, целовали его ученые ноги, крича, что у них нет *untainted pedigree** или что оно неисправно, не засвидетельствовано у нотариуса, но однако, чтобы он их не давал свидетельствовать участковому врачу с целью удостовериться, что у них нет наследственных болезней...

Но, я думаю, скорей засверкал бы тонкий веронский стилет, и прежде, чем обезьянообразный «махатма» «ну»кнул участковому врачу, чтобы он, не теряя времени, которое – «деньги», осматривал скорее что́ нужно, – думаю, великий хлопотун прогресса и его полуученый «альгвазил» кусали бы кровавым ртом землю и хватались бы за нее конвульсивно, и кричали бы, при смеющейся земле, под смеющимся небом: «Ах, этого одного мы не предвидели»...

XII

Еще одна черта: мы нигде не встретим, на необъятном множестве страниц, исписанных этими людьми, вспышки страсти, своеобразия гения, нигде – невыразимого, странного, таинственного, что поражает нас равно в Руссо и Гейне, Дидро и Борнсе, в Моцарте или Рафаэле. Нигде – темных уголков ума, в которые нам так хотелось бы и мы не можем заглянуть. Печать обыкновенного, в высшей степени обыкновенного, лежит не только на их мышлении, но на манере выражения этого мышления, языке, слоге. Иногда кажется, читая «Социологию» Спенсера, «Об уме и познании» Тэна, «Цивилизацию» Бокля, разные «Происхождения» Дарвина или что-нибудь из окружающей и сопровождающей литературы, – что вы читаете собрание примерных упражнений на элементарные правила логики, на τόποι (общие места) Аристотеля, где все правильно и все невыразимо скучно. Гений – это феномен; это – загадка; тьма, из коей до нас проникают некоторые только лучи, и мы за ними, за этими световыми лучами, воспринимаемыми на экран нашего ясного суждения, предугадываем еще бездну невидных, тепловых и химических лучей, когорые также действуют на нас, но уже не через смысл слов, но в стиле автора, в его колорите, в том неуловимом, к чему мы относим, удивляясь и не понимая, имя: «феномен», «тайна», «тьма». Да прости чигагель грубое физическое сравнение со спектром солнца: но это правда, что вся-

* незапятнанная родословная (англ.).

кий гений – солнечного, таинственного происхождения, он всегда идет из необъяснимых космических глубин, не из условий только семьи, только школы, только сословия своего или общественного положения. Но Бокль, но Дарвин или еще Конт – это ясные и коротенькие свечки, фабрикации которых мы знаем, свет которых понимаем до последнего изгиба, – кои, в кратких автобиографических объяснениях, дали нам прочесть все о себе и все в себе, и рассмеялись бы над нами сами, если б мы сказали им, что чего-нибудь не постигаем в них. Постижимое, скучное – это их всех специфическая, общая черта. Мы упоминали о Борнсе, Моцарте, Рафаэле: но мы не имеем в виду именно их и настаиваем, что печать некоторой необъяснимости, как росинка неба, лежит непременно и на каждом просто оригинальном человеке, которым мы сколько-нибудь любуемся, которому хоть раз в жизни удивились. Обратимся к литературе, здесь примеры уже подобраны, образы всем известны: брызг жизни лежит на Осипе (из «Ревизора»); на слуге Обломова Захаре; и даже той девочке, «с каплей» около носа, которая молча сидит и вяжет чулок у дверей («Обрыв»). Мы не говорим о таких лицах, развитых, раздвинутых во всю величину нормального человеческого роста, как Анна или Долли в большом романе Толстого; не будучи ни гениальны, ни героичны, они увиты поэзией и мыслию. Но и обыкновенная жизнь, жизнь совершенно обыкновенных людей, подобно осколкам раздробленного бриллианта, который имеет в себе хотя и уменьшенную, но игру бриллианта же, имеет в себе нечто, некоторую раздробленную росу гения: от этого она слагается в быт, нравы – этот коллективный гений, в гениальную, т. е. живую, индивидуальную, характеристическую историчность. Ничего подобного (см. автобиографии) нет у всех этих писателей; это какие-то «οί τόποι», «общие места» в человечестве; что-то спинное, какая-то седалищная в человечестве часть, не лицо его, не задумчивые глаза, не играющая улыбка.

Как уст румяных без улыбки –
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.

Вот милая и грациозная шутка, которой решительно не сумел бы сказать ни который из них. Замечательно: можно перелистать всего Спенсера, всего Бокля, всего Дарвина, всего Милля – и мы нигде у них не откроем смеха; действительно – ни одной улыбки на протяжении всей жизни. Это – конечно, идиотизм; т. е. это бледная его заря, это легкая и тонкая, едва постижимая и уловимая пока пленка, но именно начинающегося идиотизма. «Οί τόπα», «общие места» ума; общие логические дары, без индивидуального на них сияния; какая-то первая фигура аристотелевского силлогизма, которая, не умея остановиться, плетет «систему логики», «происхождение человека и половой подбор», «социальную статику» и «динамику»... И, словом, потеряв полушария большого мозга, – голубь летит, пока, подставив руку или доску, вы не задерживаете его полет, – и тогда он неуклюже сваливается, без боли, без крика, без уменья боли и крика.

ХІІІ

Как лишено всего мистического их лицо, так полно мистического их вступление в историю. Там, в «системе логики» и «половом подборе», – все постижимо и невыразимо скучно; здесь, в их влиянии на умы, эпоху, – все таинственно, загадочно и полно роковой значительности. Нет сомнения, их жизнь и деятельность совершилась среди умов совершенно ярких, чувств нисколько не потускневших, усилий страстных и энергических. Но все это, вся эта огромная жизнь, волнующаяся и действительная, с ярким румянцем и живым выражением губ, почему-то не имела сил ни помешать тем сонным великанам вступить в себя, ни, в конце концов, как-то странно задавить и раздавить себя. И здесь трудная и исполненная глубочайшего интереса сторона явления. Агассиз, Келликер, Бэр – они были образованнее Дарвина, и он против этого не спорил; знали то в естествознании, именно из относившегося к его теме, чего он не знал, он даже – наивно, потому что, очевидно, не нагло, рассказывает в «Автобиографии», при жизни же его напечатанной, что вовсе был необразован, не знал, в частности, естественных наук, даже не интересовался ими. Что все поприще его – весь полет к забору – было фатально, нисколько им не искалось. Бог истории был с ним; мысль Божия почила на нем; Перст таинственный указал на него, и народы увидели его, не замечая других. Его «Автобиография», такая краткая, такая беззастенчивая, такая глуповатая в стиле, в ходе, в невообразимо бесстыдных – для ученого – признаниях («от Шекспира меня всегда тошнило», «отец всегда, до возмужалости, считал меня глупым», «все равно было стагь мне, врачом или священником», «ничем вовсе не интересовался, кроме охоты с собакою и собирания жуков»; «к путешествию на «Бигле» меня подвигнул дядя Джоссия») – как это ни странно покажется, так же важна для познания мира человеческого и хода истории, как изучение «Небесной механики» Лапласа важно для познания течения светил небесных: это – мудрость в простоте, таинственное – в ясном, непостижимое – в чертах обыкновенного; «мани, факел, фарес» в судьбах человечества, в судьбах уже сбывшихся, и, следовательно, «мани, факел, фарес» истинное, небесного происхождения, и которое, однако, чертится перед нами рукою, т. е. через посредство руки, комнатного лакея, который только что подал вычищенные сапоги. Есть мысль в истории, даже там, где мы видим глупое; гений высший – в идиотическом; и некоторая святость, святое предназначение в преступном и греховном; «идея волоса», как объяснял Платон в своей идеологии!* Эта «идея», т. е. вечное, идея как все переживающее, все собою перетира-

* У Сократа – в котором из Платоновых «Диалогов», мы уже не помним, – спросил однажды собеседник: «Что же, Сократ, разве есть идеи и отрицательного?» – Конечно, отвечал он. – «И малого, даже смешного?» – Да. – «Но неужели же, сын Софрониска, ты думаешь даже, что есть идея, напр., волоса?» – Да, да, так же несомненно, как идея блага или добродетели. – Кстати, мимолетное сопоставление: «Без воли Божией – и волос с головы человеческой не упадет», т. е. без мысли Божией, которая почила на «волосяе» и вот на том, что ему следует «упасть», – он не упадет. Крошечная подробность, на которой тем удивительнее видеть совпавшими философию и религию.

ющее, всякую силу, власть, гений, скорбь человеческую и ужас перед надвигающимся сумраком, почил именно на сонной поступи великанов, роль и значение которых мы теперь исследуем; а около тех, как Бэр, или еще как Гизо и столь ему противоположный, но, как и он, не замеченный Карлейль, да и около всей волнующейся жизни, угасла идея, точнее, – отлетела от них, скрылась, стала невидима. Был свет; но он *наречен* (от Бога) ночью – и стала ночь; а ночь, которая наречена светом, – рассвела вдруг для нас как утро. «Да будет имя Господне благословенно вовеки».

XIV

Нам предстоит еще сказать о среде, в которой распространилась книга Бокля. Я невольно вспомнил, при чтении эпиграфа к его книге, этот стих Пушкина:

Отрок нежный, отрок милый,
Не стыдись, навек ты – мой.

В самом деле, на ее заглавном листе, сейчас после слов – «История цивилизации в Англии. Генри Томаса Бокля», стоят как путеводная надпись следующие слова, извлеченные «нежным и милым отроком», редактировавшим издание г. Павленкова, г. Евгением Соловьёвым, из *opera omnia* «*quae superstant*», г. Н. Михайловского:

«Сопоставление Бокля и графа Толстого напрашивается само собою, так как это прямая противоположность», –

мысль, которая нам не показалась очень многозначительною. Но как благочестивый мусульманин помещает на самом видном месте храма, шатра или рукоятки кинжала иногда совершенно ничего не значущий стих из Корана, так благочестивый устроитель нового триумфа Боклю в нашем отечестве поместил около имен Бокля, Павленкова и своего первую ему попавшуюся строку из великого критика, ролью которого в нашей литературе, вероятно, поражено его воображение. И вот мне показалось, что эти два имени, увлеченного и увлекающего, – не исключая собою необходимости объясняющих трансцендентностей – могут объяснить мелочи и подробности великих успехов Бокля, показав, до некоторой степени, структуру того «обреченного здания», на стене коего были написаны «мани, факел, фарес» людьми, казалось бы ничего ценного не способными написать. Г. Евг. Соловьёв, который так же точно представляет напоминание юности г. Павленкова, как г. Павленков являет прообраз его старости, всему восторженно научается, чему его научают. Тип экспансивности, без определения к чему экспансивность, выражен в нем в наши дни и в нашей литературе почти так же ясно, как в былую пору этот тип был выражен в поэте Языкове и совершенно знаменитом критике Писареве; из них последний так способствовал триумфам позитивизма

и, помнится, дарвинизма. Это – тип пропагандатора, живая вода всякого времени, не вмещающая мучительного вопроса, – что несет в себе время? В век Канта он читал бы Канта и был восторженным идеалистом; в век флогистона – он защищал бы флогистон, и с Лавуазье – боролся бы за кислород и окисление; в век материализма он составляет биографии «знаменимых людей», каких от Будды до «Дмитрия Ивановича» (Писарева) вместил в необозримую и невежественную галерею свою г. Павленков. Отсутствие не столько силы сопротивляться, сколько внутренней к этому надобности, мотива, жажды; недостаток всего цепляющегося и составляющего задержку движению – его отличительная и характеризующая особенность: это – бульон, который течет из опрокинутой миски, не задерживаясь никаким твердым или тестообразным телом, какое в него положено было бы «а priori». Он есть сын своего века – всякого века, в который родился бы; во всяком веке он был бы безгрешен, т. е. неся грех своего века на себе и не неся никакого греха собственного. Мы не можем его представить бурлящим, мутящимся; чтобы он отстаивал флогистон перед Лавуазье или чтобы в эпоху Сталя и Бехера он сопротивлялся флогистону. Невозможность открытия, инициативы, своего движения, и в том числе движения бокового или вспять, всяких «циклов и эпициклов» духовной страды человечества, – есть главная его черта. С вечной подвижностью собственно темперамента (без всякой, однако, силы, потому что и без страсти), он совершенно пассивен в остальных способностях, и особенно в умственных, которые без подсказанного мотива, без указанной извне цели не могут и просто даже не умеют прийти у него в движение. От этого он вечно несет с собою общевековой гул, без ноты собственно ему лично принадлежащей, и поэтому без места своего в истории. Это – нищие духом; та огромная толпа в реформации, которая никогда бы не поднялась без Лютера; но и без которой, без ее экспансивности, без ее заражаемости, Лютеру оставалось бы положить свою голову на блюдо и подать ее Кесарю. «Нищие духом» – коих «есть царство небесное»; несносные лишь настолько для созерцателя, насколько он расходится с веком, и, в общем, каждому веку нужные.

Около него мы видим два лица, хотя хотели бы говорить об одном, г. Н. Михайловском. Одно лицо – ясное, с отчетливо и резко проведенными чертами, мы чуть не проговорились – «с резко наложенным гримом». Это – то лицо, которое все знают, обыкновенное, всегдашнее его лицо, которым мы любимся и ему аплодируем, перевортывая страницы почти любимого критика. Роль его так задушевно проведена, что мы можем считать себя, без принуждения и фальши, счастливее, родившись в тот именно момент всемирной драмы ли, комедии ли, когда предлежал его «выход». Точно «Любим Торцов», разбросанные и с виду хаотические речи которого хватают за сердце, припоминаются ночью, – речи с укорами времени своему, людям «братьям», которые так мало умеют быть братьями. Мы припоминаем знаменитое слово его о «долге народу», которое было брошено искусным критиком в нужное время конца 70-х и начала 80-х годов. Это именно было длительное, умное слово; слово глубоко обдуманное и долго взвешиваемое,

которое тысячам зрителей из «верхов» всемирного театра припомнится ночью, ночью поднимет с постели, погонит на улицу... И, несколькими годами раньше, другое слово, также вовремя сказанное: о «разночинце», который пришел в литературу и жизни сменить умирающего барина. И много других слов, вовремя сказанных, часто жестоковывного смысла, но всегда сказанных «с задушевым тембром».

Роль могла бы быть великая, если б грим немного не отставал; если б около ясного и с резко определенными чертами лица «Любима Торцова» в тени не показывалось другое лицо, обращенное к немногим разрозненно сидящим в партере фигурам и которое делает какие-то странные знаки, указывающие на «Любима Торцова», как-то странно кивает и вообще двигается и жестикулирует нисколько не в темп с лицом, к которому прикованы взоры зрительного зала... По-видимому, г. Михайловский убежден, что все писатели – актеры; это убеждение так неотделимо от его души, оно так задушевно и уже авторски задушевно в нем, что отделаться от этой мысли он не может и не умеет, – как, мне иногда кажется, Эдиссон не умеет говорить иначе как по телефону. Он дышит этой мыслью, не понимает угла зрения иного. И вот, от глубины этой субъективной иллюзии немножко приподнимается грим на его лице, а около первого лица образуется второе лицо, которое делает знаки, видимые только писателям-читателям. Не правда ли, вы удивились бы, услышав от него религиозные мотивы? Но, когда нужно привлечь на свою сторону молодого и еще не определившегося писателя, с ясно выраженным религиозным настроением, он издает руладу:

...«Устраним ссылку на Волю (его большое «В»), вызвавшие народы к бытию. Без этой Воли, как сказано*, ни один волос не упадет с головы человека; это – бесконечная общая скобка**, в которой совершается все, а потому и нельзя на ее ссылаться в том или другом частном случае. А если г-ну Р-ву или кому другому вздумается из глубины собственного разума извлечь указания путей народам: одним – страдание, другим – борьбу, то вовсе не очевидно, что таково же и указание высшей Воли. Не нам с г-ном Р-вым говорить от лица этой Воли, ибо мы ее не знаем***. Нам только что впору в своих собственных мыслях разобраться. Г. Р-в припишет высшей Воле одно, я – другое, третий – третье, но все мы будем одинаково правы или одинаково неправы. И ко всем нам могут быть применены слова пророка Иеремии: «Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних... долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь,

* Рулада не должна быть слышна большой аудитории, точнее, – она должна быть ей не очень вяжна, и поэтому он не договаривает: «Сказано Спасителем», но так именно прочтет писатель, к которому рулада обращена.

** Какое прекрасное выражение пантеизма, образное и убедительное.

*** «Хотя она есть», implicate <подразумеваемо> сказано -- одному, к кому обращена речь.

пророчествующих обман своего сердца... Что общего у мякины с зерном>*. Нам – «мякине», простым людям, не получившим непосредственно откровения**, – подобает говорить и действовать не от лица высшей Воли, а от своего собственного лица, в уповании, что эти наши речи и действия, как и все в мире, не могут происходить вопреки высшей Воле***. В вопросе об исторических путях, которыми следуют или должны следовать народы, не трудно установить» и т. д. («Русск. Мысль, 1892, ноябрь, «Литература и жизнь», стр. 165).

Вы совершенно не поверили бы, что он может *полуотречься* от 60-х годов. С грацией почти Фигнера в «Евг. Онегине», и именно в то самое время, когда другая его половина шаржирует бессмертную роль из «Свои люди сочтемся». Здесь замечателен стиль, манера: признание началом и концом вплетено в отрицания его и теряется в клубке совершенно иных утверждений, усердно катаемом на глазах большой и (по предположению автора) недалекой умом публики:

...«Было бы неуместно распространяться об этом по поводу такой книжки, как «Сцены у мировых судей шестидесятых годов», однако и она может указать забывшим и никогда не знавшим, «отжившим и нежившим» – где следует искать наследства шестидесятых годов. Голословному же мнению г. Р-ва я могу противопоставить столь же голословное: никогда у нас человек не понимался так возвышенно и тонко, как в те приснопамятные годы. *Были, разумеется, увлечения и ошибки*****. Но если принять в соображение непроглядность той тьмы,

* Удивительно. – Я говорю, что г. Михайловского можно почти полюбить, что он почти привязывает к себе пронизательностью. Слова эти, вовсе непонятные для читателя и пробегаемые им как случайные, есть интимнейший как бы шепот молодому писателю, в самом деле несколько «пророчествовавшему», «выкликавшему»: «Смотри, не обманываешься ли ты и не обманываешь ли? Пророки – те от Бога, ты от кого? Мечты сердца своего – я не оспариваю их чистоты, идеальности – ты, однако, принимаешь за что-то высшее. Ты разобьешься, ты погибнешь; силы твои могут быть велики, и все-таки без Бога – ты «мякина», как я и всякий». Конечно, это удивительно, и должно было «пророка» заставить взглянуть на «эволюциониста» Михайловского не только как на огромную по пронизательности силу, но и как на тайного друга: *и удержат от всяких враждебных г-ну Михайловскому действий*. Удивительно.

** Удивительно. Конечно для читателя все это не заметно, мелькает и убегает из внимания: но писателю – *оппоненту*, который вдумчиво читает себе ответ, он ясно говорит, что признает Откровение. Ссылка же на пророка Иеремию (ведь не читал же его Михайловский в качестве гомилетики, готовясь стать публицистом), с малоизвестным и так многоуказующе выбранным текстом, как бы говорит тому же оппоненту: «И я углублялся в эти материи, и я читал, и я здесь искал», – и сошел на иные пути, *куда, испытай, и тебя маню...*

*** Удивительно. Это почти религиозная резигнация.

**** Т. е. именно в «понимании человека», и след., ошибки не фактов, но самой теории, самого мирозозерцания в 60-е годы. Слова эти сказаны в ответ на статью мою: «Почему мы отказываемся от наследства 60 и 70-х годов».

в которую тогда вносился свет, и упорство того сопротивления, которое естественно оказывала тьма, *то, право, можно бы через двадцать-то или тридцать лет быть посписходительнее.*

Поснисходительнее... Раз это слово сорвалось с пера (какой невинный!), так пусть оно и остается (совсем Любим Торцов). Но, собственно, о снисхождении не должно бы быть и речи. Если брюзжащие старики имеют свои резоны ликовать, то молодые униаты, отказывающиеся от наследства, совершенно напрасно считают себя господами положения», etc («Русские Ведомости», 1892 г., № 202, 25 июня. «Письма о разных разностях»).

Так в самом разгаре «теплой и задушевной» роли, постоянно играемой, он поднимает – но на одну секунду – грим и дает видеть второе в себе лицо, более серьезное, к которому вы могли бы отнести уважение и вдумчивое отношение свое. Мне известна та часть поднятий маски, которая ко мне лично была обращена, и, без сомнения, множеству других *писателей*-оппонентов известна другая; так что в общем это второе тайное лицо, вероятно, разлагается в длинную галерею «избранных портретов». Отсюда – две версии о нем представления: среди литературы как пишущей, влияющей силы; и среди литературы уже в самом ее «действии», т. е. среди внимающей, руководимой массы читателей. В первой представление это нисколько не сливается с представлением о гг. Скабичевском, Протопопове, Лесевиче и *tutti quanti*, – «малых сих», которым никакой грех не будет вменен «по неразумию»; во второй, т. е. для всей читающей России, он представляется горячим бойцом среди них, как «равных», героическим Спартаком, который убивает перед решительной битвой коня под собою, чтобы «умереть», если не победит, с «друзьями – рабами»*.

* Мне известна (отлично, по внимательности чтения) только та часть *opera omnia* г. М-ского, где он со мной полемизировал; и еще в студенчестве прочитанные, в нескольких томах «От. Зап.», «Записки профана» – однако разрозненно. Мельком – в гостях, на службе – открывая томик журнала, всегда я открывал его статью и бежал по ней с любопытством: и удивительно, в этих совершенно отрывочных, без начала и конца, чтениях, я находил всегда «стигматы» несомненные критика. Однажды в литературе (утомившись размышлять, *кто* он) я решился испытать его, чтобы определить для себя окончательно: и приписал ему как *его мысль* одну важную славянофильскую идею, коей он дал свою, но, правда, гениальную формулировку, однако формулировку, не более (о *степенях* и *типах* развития, о том, что при высоком типе – напр., человеческого развития – степень может быть низкой и тогда существо это может нам представиться слабейшим и худшим, чем другое, которое стоит на высшей степени низкого типа развития, как взрослая собака, напр., представляется одухотвореннее новорожденного младенца): «Зачем же, – написал я, – г. Михайловский, ради раздражения сердца, уничтожает, затирает плоды своей же умственной работы». Я ожидал, примет ли он ему предложенное, но ему не принадлежащее; к удивлению, он отвечал: «Г-н Р-в, надо отдать ему справедливость, чужд наивности и наглости своих единомышленников; он прямо указывает источник своей аргументации в предложенной мною теории (*sic!*) типов и степеней развития. Он очень лестно отзывался об этой теории и кладет ее во главу угла своих возражений

Отсюда объяснение некоторых подробностей его литературной борьбы; но сперва кончим совсем о гримах. Уже теперь там и здесь г. Михайловский обращивает слова, которые не теперь только, но и навсегда в будущем могли бы отвести глаза от единственного «слабого пункта» его игры. Казалось бы, почему Ренан может быть ему особенно неприятен? В составе идей? Но это есть классический образец религиозного писателя без религии, идеалиста без идеала; и в «теллом и задушевном» критике он вызывает отвращение, я хочу сказать – *подчеркиваемое* отвращение: «Самое лицо его, лицо духовного сибарита – для меня по крайней мере *отвратительно*», – писал он вскоре после его смерти; очень обвинял бедного Страхова, что он есть «русский Ренан: сверху просторно, с боков – продувает» – и вообще писатель без идеала и внутренней религии; и, наконец, менее образно, но уже совершенно ясно, и как бы тоже мимоходом, как вводная мысль, «непреднамеренно сорвавшаяся с пера» (см. выше):

«...индифферентизм же представляет собою в нравственно-политической области подобие ржавчины, одинаково приводящей в негодность и меч, орудие войны, и плуг, орудие мирного труда, и стальное перо, современное орудие пропаганды войны и мира» (*уже цитированная статья из «Русск. Мысли»*).

Так заранее – бедный смертный – он убирает могилу свою цветами; и принимает меры, чтобы когда-нибудь кощунственная рука не осыпала ее земли. Странная жажда посмертной любви к себе людей, которых при жизни он так не уважал. Здесь мы входим в его серьезную сторону.

Так же внимательно он отметил, не забыл огметить для читателей, как покойный Достоевский, прочитав какую-то его статью, еще без подписи, в «От. Зап.», и увлеченный ее искренностью, принес в редакцию этого журнала роман «Подросток». Искренность – вот обаяние г. Михайловского; «задушевность и теплота» всяких слов, какие бы он ни произносил, – вот его сила. Ложна ли она? Нет, никогда. Но что такое искренность – это даже не начато разгадыванием в нашей литературе, так обильной ею, и где она играет такую многозначительную роль. Слова, мною написавшиеся выше:

– так, бедный смертный, он заранее убирает могилу свою цветами...

мне же. Я очень, конечно, горжусь лестным отзывом одного из отказывающихся от наследства 60-х годов и отсылаю интересующихся этою моею теорией к книжке о гр. Толстом, на которую г. Р-в ссылается, и к последним главам «Записок профана», 2-й в. III тома «Сочинений» моих, изд. 1888 г., о которых он не упоминает (*почитайте, почитайте!*) Для меня интересен здесь только самый факт заимствования, вполне сознательного и откровенного. Значит, не все у нас сплошь слабомыслие и отсутствие узора в мышлении; значит, есть же в нашем наследстве нечто такое, что представляет известную ценность и для отказывающихся от наследства. Присмотревшись, они найдут, быть может, и еще кое-что пригодное. Спрашивается, зачем же так сплошь, огулом «отказываться», etc. (стр. 164 статьи цитированной); и далее, в тесной связи с этим, религиозные рулады, выше приведенные, т. е. его впадения в колориг моей мысли (*читай, читай меня!*). – Тут риза с него для меня упала.

конечно, искренни, но это не значит вовсе, чтобы именно о могиле и именно разбираемого критика я что-нибудь усиленно («искренно») в это время подумал. Это есть общее ощущение, которое в этом и в тысяче аналогичных случаях, как только перо подошло бы к известным темам или жизнь к ним приблизилась бы, сошло бы с души моей, как ее общее и ни к чему определенному не относящееся настроение, как настроение *постоянное и издавна установившееся*. Искренность есть обломок когда-то бывшей правды, но не есть непременно правда *в отношении к текущему моменту*, не правда даже как *жизнь сердца в текущий момент*, если ее рассматривать под углом возникновения от реальных сейчас возбудителей. Она есть след, не сходящий с человека, не сходящий никогда, до самой могилы, того, что когда-то и чем-то были тронуты, пошевелены глубокие недра бытия его: чем-нибудь, однако, идейным. Аромат этих тронутых недр, тайников нашего духа, обыкновенно и у всех скрытых, и есть то, что в литературе принято называть «искренностью». Она дает впечатление какой-то незапятнанной чистоты, свежести как бы сейчас родившегося, чего-то вечного и святого. Ею можно быть замутительно обманутым. Тот, чьи недра тронуты, забыл и проклял то, чем они тронуты, т. е. предмет, возбудитель; наконец – он засорился, он весь вывалялся в гриме и лжи. И, однако, этот вечный запах уже неотделим от него и теперь осложняет всякую ложь, сопровождает каждое слово, как бы лживо оно ни вилось *около этого определенного предмета**. Здесь есть некоторая почти провиденциальная справедливость: истина не умирает во лжи, светит сквозь нее. Слеза, уроненная на подушку в долгую ночь размышлений и страданий, в юности когда-нибудь, – она светит еще на сморщенных щеках старика, совершенно забывшего эту ночь, те думы, их точное содержание: светит в тембре его голоса, более задушевного и теплого и на который мы, дичась и вздрагивая, смотрим, принимая во внимание его поступки (сейчас). Отсюда в искренности – мучительная опасность, и единственным коррективом ей служит грубость, правда. Она повинуетя всегда мотиву, *теперь* действующему, и относится к предмету, *здесь* предлежащему, покрывая его, не переименовая, любя полною, хоть и минутною любовью. Она доступна каждому человеку и, к счастью, доступна бывает самым простым и недалеким людям. Собственно, она есть плод мужества, мужественного отношения к вещам и особенно людям; и поэтому у людей без этих тайн внутреннего опыта, без затронутых недр – цельнее всего сохраняется. Писатель, соединивший бы в себе искренность и грубую правду, будет велик, потому что печать святости действительно почил бы на нем. Но по указанному соотношению это особенно трудно для человека, и нужно особенное и редкое совпадение даже чисто внешних условий роста и потом деятельности, чтобы два качества эти не разъединились. Но и

* Замечательно: искренний писатель не может вовсе, т. е. даже если бы усиливался, «на спор», написать неискренно; и нельзя же предположить серьезно, чтобы он никогда вовсе, никогда в самонаименованной записочке не «скривил». Но ангельский язык дан уже всему, что бы он ни написал, дан – это замечательно – одною минутою настоящей правды.

здесь непоправимое для человека исправляется вечностью: сила правды, ее значительность – ограничивается фактом (предлежащим) и обыкновенно на него простирается; но искренность при всей оболочивающей лжи слов, вот этих определенных, об этих определенных предметах, несет в себе вечную правду порыва как настроения, и только в таком виде, при всех опавших словах, как бы ствол среди спавшей листвы – она переходит в жизнь будущего*.

Там именно, где мы готовы бы осудить г. Михайловского, где нам невольно хочется улыбнуться – в «отроках нежных», им уловляемых, и начинается странным образом его серьезная сторона. Огромное преобладание аналитических способностей над синтетическими, критики над идеалом, и критики острой, проникающей, – были причиной, что его развитие не пошло вширь, не получило сложности движений, многообилия порывов. Искренность, которая есть в нем, есть искренность вся в одну линию. Мы упомянули о цветах, заботливо им приносимых на свою могилу, обманно проносимых туда. Казалось бы, это отвратительно; однако это-то именно и прекрасно. Сквозь все гримы, все изгибы литературной деятельности, «вольницу и подвижников», «дарвинизм и оперетки Оффенбаха», «субъективный метод в социологии» или «социологию в субъективном методе», мы, наконец, различаем в бедном Риголетто неподдельную любовь к своей Джильде: потребность связи с людьми, даже за гробом, вечной; с людьми, какими бы они потом ни стали, кто бы они ни были.

* Классический пример этого – Руссо, напр. в идеях его о воспитании, да и в чисто политических идеях. В противоположность правдивому Борку, даже относительно правдивому Вольтеру – он не был правдив, ибо не был классическим образцом ни отца-воспитателя, ни гражданина-патриота. Но обоих названных писателей он превосходил тем типичным, что мы зовем «искренностью». Пока жив был он, идеи его имели действие широкое, но как бы воздушное, эфирное, не концентрирующееся около фактов и на факты не влияющее; в противоположность идеям Борка, да отчасти и Вольтера, действовавшим непосредственно на текущее законодательство и администрацию. Люди так вообще рассудительны, что, когда им приходится переменять факт, создавать вновь его или разрушать старый, предпочитают выслушивать о нем «короткую» правду и на нее надеются, опираются. Но вот Руссо умер, умерли и Борк и Вольтер; оба последние умерли и во влиянии своем; напротив, Руссо только теперь как бы родился для влияния. Нужно заметить, во всех искренних писателях есть какая-то тайная изнеженность, плод «в ночи уроненной слезы», и потом забытой, тревог, сомнений, но обыкновеннее – положительной любви, сладко когда-то кольнувшей недры души; и она, эта нега, и образует острие его влияния, тот эрос, часть того эроса, который и в Евангелии назван «любовью», и сказано там, как и у Платона в «Федре», что это – «изначальный Бог и родитель всех вещей», в частности – всяких событий. По смерти, когда пафос Руссо не имел перед собою тех частных предметов, какие вызвали его, да и никто не читал его страниц со вниманием к тому и иному практическому требованию, когда смертная оболочка духа пала, спала ложь слов с истины настроения – это настроение теперь-го и получило свою силу, практическое свое приложение. *Колорит* писателя, там – Руссо, у нас – Гоголя или Достоевского, это и есть в нем вечное, это только и при жизни его было в нем единственною правдою, но тогда он не сумел употребить ее, выходя за пределы самых абстрактных созерцаний и вмешивая язык свой в подробности текущих дел, в подробности «не от его мира»...

Бесспорно, при отсутствии веры в *свою* загробную жизнь – это есть в человеке трансформация великой жажды бессмертия, выразившаяся в желаньи *сейчас* упиться связанностью с людьми. Смешно – но это сказалось в 5–6 строках, которые мы приведем:

«Дело в том, что Волга очень почтительно относится к литературе. От Нижнего до Астрахани бегают прекрасный пароход «Пушкин», и в нем, в общем зале первого класса, висит портрет Пушкина и лежат на этажерке сочинения Пушкина. Есть пароход «Жуковский», и в нем портрет и сочинения Жуковского. На этих двух пароходах я ездил. А есть, кроме того» (*замечательно: совершенно наивный, детски чистый язык*), «кроме того, есть пароходы «Гоголь», «Лермонтов», «Некрасов», «Тургенев», «Салтыков-Щедрин», «Лев Толстой»... (*не видел же он их всех, значит, справлялся*). «В Саратове есть Радищевский музей, единственный у нас музей общего характера, и он посвящен памяти писателя. Все это очень лестно для литературы»...

И несколько далее:

«И вот они так в истории и остались: нет парохода «*Цензор Краковский*», нет и «*Бирюковского музея*», нет и не будет...» (уже цитированная статья из «Русск. Мысли», стр. 171 и 172).

И вот, если чуть-чуть мы одарены представляющими способностями (см. подробности статьи: автор описывает, как ехал по Волге и какие думы у него текли при чтении, во время поездки, книги г. Скабичевского), мы подсматриваем бедного мальчика в смешной фантазии, чисто солнечной, идиллически прекрасной: что будет некогда ходить по Волге пароход «Критик Михайловский», и мы так любим его в этих куклах, которыми он вдруг, среди скучной социологии, заигрался, что – без фальши и лицемерия – хотели бы, чтобы по Волге ходили два парохода имени знаменитого критика, так – чтобы один «Критик Михайловский» подходил к пристани, в то время как другой «Критик Михайловский» уже отваливает, и из глаз толпы, на берегу ожидающей, никогда не терялось его имя...

Толпа, какова бы она ни была, пахнущая дегтем и потом, пахнущая потом и дегтем даже в историческом смысле, – ему интимна более, чем управляющие ею идеи. Отсюда (может быть) его замечательная любовь к Глебу Успенскому, его дружество духовное с ним – таким типичным и выразителем, и любителем народного пота, да и многие другие частности; антипатия ко всему от людей отъединяющемуся, и отсюда косвенно, посредственно – ко всему аристократическому в положении, в идеях, вкусах, тенденциях; может быть, отсюда равнодушие, которого он никак не умеет преодолеть, к Пушкину, ныряющему только в народное тело и из него выходящему, там не удерживающемуся.

«Но не к идеям, толпой управлявшим», – мы сказали, – не к «социологии» и «методу». Неуловимо, он всем им изменял и, в сущности, им изменил всю свою литературную деятельность. Здесь входим мы в его слабую

сторону, галерею гримов, тайные кивания и полусогласия. Но вот факт более общий и для всех видимый, в противоположность киваниям. Он не упустил ни одного цветка из венка на гроб себе во имя торжества наилучшей из идей. Постоянный полемист, он никогда не выступал против людей сильнее себя. Можно подумать, что Каблиц и публицисты из «Недели» сломали силу 60-х годов, так часто на них сыпались его удары; так внимательно еще и еще он возвращался к ним. Он знал – в полемике с ними лавры его сохранятся целы. Всем, однако, понятно, что специфическим идеям тех лет, идеям позитивизма и матерьялизма, наносился первый и действительно пошатывающий удар г. Влад. Соловьёвым. Друзья-«рабы» Спартак, гг. Лесевич, Оболенский, Скабичевский, – они бросились на противника и, конечно, не опрокидывая его, затемнили воздух полетевшим из них пухом; мудрый Спартак все это время сражался где-то в стороне и, сравнивая Каблицу с жуком какого-то вида, катал его в навозе (там есть такое выражение) своей критики. Ни одной трудной борьбы*, множество легких побед – вот из чего внимательно и осторожно он установил свое прижизненное «геоптёе» и сплел надгробный венок. Т. е. отсутствие жажды победы над враждебными, истинно опасными идеями; и следовательно, отсутствие истинно горячей любви к своим идеям. При любви, как уже мы сказали, к человеческому поту.

Из этой интимности с толпою, почти в физиологических ее данных, вытекает интимность его к тому, что в ней самой есть часть наиболее физиологическая, наименее увитая пока мыслью и опытом: к ее нежным порослям *utriusque sexus***; отсюда же понимание счастья как слияния человека с человеком – духовного, политического, всяческого, сочувствие моментам этого слияния и многообразию моментов; сюда примыкают представления его о прогрессе и критериумы истории; в высшей степени повышенное чувство компактности человечества и совершенное отсутствие идеи служения вышнему, перед чем человечество было бы обязано и чем оно было бы связано. К кругу этих мыслей или, гораздо вернее, ощущений, позывов – примыкает так частая у него тема женского вопроса, при пронизательном понимании

* Замечательно еще, что он никогда не нападал на идеи К. Н. Леонтьева, защищавшие в нашей литературе даровитыми писателями, – как антипатичны для него они ни были; что способ оспаривания им гр. Л. Толстого, сокрушившего собственно политический нигилизм, – был полуспариванием, несколько не могшим раздражить множество последователей графа. Что на Достоевского он напал после смерти (в обширной характеристике «жестокий талант»). И только, книжка в четырех «Русской Мысли», возражал в статье с характерным заглавием, выражавшим его робкий темперамент: «Страшен сон, да милостив Бог», на ироническую критику г. Слонимского, сделанную, однако, во влиятельном и авторитетном «Вестнике Европы». Всегда, когда он нападал, – он нападал с толпою; вслед за толпою – сторонился перед сильным индивидуумом; никогда эту толпу не научил, не поправил, ей не противоречил. Может быть, в высшей степени яркое ощущение в себе слитности с толпою повело его к любимым его темам по «Психологии толпы», «Вольница и подвижники» ест. Я говорю о темах только, не будучи – к сожалению – знаком с самым содержанием этих статей.

** обоих полов (*лат.*).

его слабых, тревожных сторон*. Здесь, во всем этом – доброе, простое г. Михайловского. Но он не так вовсе встревожен будущим человечества; он уверен – там оно устроится, найдется в затруднениях. Главная его тревога – всегдашняя себя слиянность с человечеством, и на идеях собственно он играет как на струнах, почему-то, и может быть по простому капризу, правящихся теперь этому человечеству.

XV

Вот почва, куда пало семя. Если, с одной стороны, г. Евг. Соловьев лучше, живее, чище сонных великанов, этих огромных грифонов со снятыми полушариями большого мозга, которые полетели над Европой до недалекого забора, – то г. Михайловский тоньше, острее, проницательнее, и, наконец, он сердцем глубже, конечно, их. И оба, однако, в силу разобранных подробностей, служат им. Лучшее, послужившее худшему, сильнейшее – давшее себя в снедь слабейшему, вот характерная и истинно мистическая черта нашей эпохи. Добавим эти подробности, точнее, – окинем их взглядом с другой стороны. В век «Горя от ума» и Софьи, заслушивавшейся Молчалина и, может быть, заставлявшей его петь

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь...

– энтузиаст, работающий теперь у г. Павленкова и около Бокля, пел бы знаменитый романс местной Дульцинее; теперь, в силу самого развития гражданского сознания и разлития образования, он старанием родителей и снисхождением наставников поднят на самый верх умственной жизни и здесь, раскрыв рот, усердно поддувает всякий уже несущийся ветер. В те же самые более молодые десятилетия, в десятилетия еще не угомивших идей, Михайловский, хорошо понимающий цену Бокля, и, вероятно, даже Дарвина, – не полуживал бы в сторону их с скрытым чувством ко всему идейному миру:

...да ну их, говорит.
Вот, говорит, потеха.
Ей-ей умру...

– от смеха, –

* В книжке отзывов о женщинах, собранных г. Ледерле. Взгляд, здесь брошенный («слияние полов тем теснее, чем противоположнее они»), не только верен, но и представляет гениальную формулировку всех отрицаний женского вопроса, как-то темных и сбивчивых всегда. Вообще г. Михайловский, бедный в изобретении идей, мастер в формулировании уже изобретенных. При этом формулы его – не бегучи, не «мнимоходом», не суть плод удачного словесного выражения, но сосредоточенно внимательны и ясно представляют плод долгого аналитического обтачивания вычитанной или услышанной мысли. Также определением соотношения типов развития и степеней развития он дал славянофильству формулу, какой оно само не умело найти, – и, с тем вместе, неотразимую, по крайней мере теоретическую, убедительность. Ибо хорошо выразить истину – значит часто доказать ее.

но, старый циник теперь, он бросился бы молодой грудью им навстречу; и об эту грудь, правда поломав ее немного, они разбились бы – у нас, на нашей территории, для нашего сознания. Ибо в сочетании даров его, неглубоких. есть нечто более ценное самой глубины – для данной цели. То, к чему бесильны первые светила науки, тихо горящие у себя, «светильники, поставленные под спуд» условиями времени, обстоятельствами печати, – силою этих самых обстоятельств он мог бы это сделать, сорвав над ними покров и дав миру созерцать свет. Ничего не открыл бы он – как и теперь; но критическою работою, всем видимою, для всех понятною, неутомимостью этой работы и, наконец, точностью формул и постоянно вьющейся иронией он стал бы перед слепую силою их полета не многоценным, но необходимым забором. Теперь этим же забором он стал около тех светочей, и без того бессильных. Мы взяли только одну деталь. Не вступая, с обычною осторожностью, в борьбу с Толстым, он пронизательно указывает и рекомендует возврат к Боклю, понижение психического уровня, как лучшее – и в сущности несокрушимое – орудие победы над духом и вообще всяким развитием. Ибо, как уже написал под своим портретом К. Фохт – и забыл на себя оглянуться при этом, – «против глупости и предрассудков тщетно сражались даже боги». . . . Лозунг понят; фирма г. Павленкова работает; трудится г. Евг. Соловьёв; трудятся и издают «Полное собрание сочинений» Бокля, Спенсера, Дарвина, и, словом, тяжелая, удушливая, сырая атмосфера дает опору огромным крыльям огромных птиц. И нет эфира, не видно небес. . . .

Мы анализировали тщательно, до утомительности детально, один из странных триумфов, и указали ту «землю», ту «материю», которая послужила для него опорой. Не у нас только, но и на Западе, над небосклоном целой Европы, она именно, в сочетании своих подробностей, распростерла «тьму бездны», и мы видим вновь «дух Божий носящийся», но уже не «верху вод», но «под водами»; αλετρον*, поглощающий обратно всякий περας**.

Единственный, однако, пессимизм, оправдывающийся в себе, – есть горечь за человека, но не горечь за павшие в человеке идеи. Пусть он как бы перестает видеть природу, в разобранном примере – перестает понимать свою историю. Но эта история, совершившаяся, есть уже факт, непоправимый ни для какого непонимания; и мир цветет, если даже никто на него не смотрит. По-видимому, жизнь движется вновь к сужению выразительности в себе, к стеснению выражающих ее органов, частей. Вновь гений замкнется в немногих, презренный на «стогнах», гонимый с «ристаллищ», и не пытаясь вовсе овладеть колесницами и конями. Будем просить судьбу, чтобы в этом уединении он не приобрел жесткости и был готов со светом и теплотой принять к себе ристающих, когда время естественного утомления для них настанет.

1898 г

* беспредельный (греч.).

** верх (греч.).

ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИИ

I. О государстве в древнем и новом мире

Знаменитые и немногие формы политического устройства: *монархия* и *республика*, *аристократия* и *демократия*, с их типичными извращениями, *охлократией* и *тиранией*, – все это, завещанное для политической науки еще из древности, есть результат абстракции, в которой не сохранено главного: индивидуальности исторических народов. Когда люди боролись только за форму правления в городе или в небольшой стране, когда дело шло о преобладании того или иного класса населения, – можно было думать, что в этом преобладании или в этой форме правительства сосредоточивался весь интерес исторической жизни, и они же должны служить постоянным предметом мысли для всякого теоретического политика. Но с тех пор, как поле исторического наблюдения так расширилось, когда вопрос идет о существовании или разрушении целых культурных миров – рамки древнего политического созерцания должны быть оставлены. Нельзя обобщать в одном имени монархию Кира, Тиверия или Карла Великого, и еще нелепее было бы подводить сюда же «единовластие» какого-нибудь деспотического царька из внутренней Африки. Равным образом, Венеция или Новгород, Флоренция или Рим, несмотря на отсутствие во всех них единоличной власти, не имеют ничего общего в строе и в духе своей политической жизни.

Исторические народы исходят все равно из безличной массы человечества, в которой первоначально они бывают уравнены единством немногих и простых потребностей и отсутствием всего, что, возвышаясь над этими потребностями, вместе обособляло бы народы друг от друга. Но по мере того, как, покинув эту безличную массу, единичные страны и племена начинают восходить в истории – их лицо в ней проясняется, индивидуализируется. Можно думать, что именно выработка индивидуальных черт составляет главный смысл истории: до такой степени восхождения или нисхождения в ней народов всегда и всюду сопровождают только выяснение или затемнение этих черт. Все другое в истории имеет то одно направление, то другое; все невечно в ней, уклончиво и изменчиво; и вечно только это одно – прояснение лица своего собирательным человечеством, что выражается в формировании народов, государств, наконец целых культурных миров.

На утренней заре европейской истории мы встречаем цветущую Грецию с ее миром маленьких автономных государств, слабо соединенных единством общего происхождения, некоторых учреждений, но, главное, языком и религиею. Городской характер этих государств, полное безучастие сельского люда в историческом движении – вот общая и в высшей степени характерная черта всех их без исключения. Город, площадь, и среди него площадь, вечно шумящая народом, – вот что постоянно рисуется перед глазами историка, который занят событиями этих крошечных общин. Речи ораторов, негодующая или ликующая толпа и воины, поспешно выходящие из нее и идущие к недалеким границам или садящиеся на корабли в близлежащей гавани, – таковы обычные сцены, повторяющиеся на всем протяжении Греции и во все время ее недолгого существования. Все как-то мелко в ней, и все – человечно. Нет величия огромных массовых передвижений, нет темных влечений и неясных мистических созерцаний; все в высшей степени отчетливо и ясно как в мышлении, как в чувстве, так и в течении исторических событий.

Мы заметили о мерной красоте, разлитой во всей этой жизни, так краткой и, однако, так привлекательной для всех последующих народов, гораздо более углубленных. Следует прибавить, что красота эта была исключительно объективного характера. Вся жизнь Греции, как и все душевное содержание греков, как-то удивительно выпукло выразилось наружу, не оставив в себе ничего затаенного, что они не смогли бы, или не захотели, или не успели высказать. Скульптура была любимым искусством их, и это есть именно то искусство, где за выраженной, ясною чертою ничего не скрывается, нет никакой тени, оставляющей в живописи место для воображения, и нет неуловимых переливов, какие есть в музыке. Она действует исключительно на зрение, на способность внешнего созерцания, тогда как столь родственная ей живопись, вследствие присутствия в ней полутеней, незаметно начинающихся и оканчивающихся линий, действует главным образом на внутренний мир нашей души: зрение является здесь, как и в музыке, не только восприимчивым впечатления, но главным образом его проводником и затем будителем внутренних недр души. Но даже и в статуе или в изваянии греки избегали изображать то, что сколько-нибудь отражало бы в себе состояние человеческой души: бесстрастное, не страдающее и не радующееся, но только прекрасное лицо было вечным предметом воплощения их великих художников. В этих воплощениях, к позднему удивлению людей, никогда не было изображения глаз, т. е. по нашему представлению – главной красоты человека, которая сообщает его лицу осмысленность, внутреннее выражение. Глаза по справедливости называются зеркалом души, и греки не хотели смотреть в это зеркало, они набрасывали на него покров. В преобладании эпоса и трагедии над лирикой также высказывается объективный характер их творчества, более направленного к воспроизведению внешнего, нежели к выражению внутреннего. И что бы дру-

гое мы ни взяли, всюду мы отметим этот же внешний характер их созерцания или их чувства. В религии, самом сокровенном содержании человеческой души, они не оставили после себя никаких молитв, т. е. никакого уединенного обращения к Богу, как бы они его ни понимали. Торжественные церемонии, общественные процессии, наконец жертвоприношения, совершаемые от лица народа государственным сановником, – вот в чем выразилась у них потребность религии: красиво, но и холодно. От этого так легко перешли их религиозные торжества в трагическое и комическое искусство, которому они придали серьезность, а от него получили взамен красоту и пластичность. Искусство было у них религиозно, потому что и религия их была только наиболее глубоким искусством.

Слабость, бессодержательность и безынтересность семейной жизни уже сама собою вытекала из этого объективного склада их души. Дом как место сна и даже не всегда место обеда (Спарта) и, наоборот, общественные здания как место постоянного времяпрепровождения – вот бросающиеся черты городского устройства греков. Всегда окруженный толпою, с детства и до глубокой старости, грек среди нее воспитывался, развивался, для нее творил подвиги и от нее только желал и добивался удивления – этой особенной и поверхностной формы любви, к какой одной только, по-видимому, он был способен. И в самом деле, как дружба*, так даже и брак имел всегда у них собственно чувственную основу, с очень сильною примесью эстетического, но несколько не нравственного влечения. Так что не очень удивляет нас мысль Платона, что семьи должны бы быть устраиваемы, пары сводимы – государством. И в самом деле, именно государство есть истинная семья афинянина или спартанца, и отсюда – такая возвышенная любовь к нему, такая привязанность к его интересам, братская любовь между собою всех граждан, открытость всех их отношений, и также – их простота, безыскусственность, внутренняя непринужденность. Мудрейшие, поучающие среди рынка юношей; беседы в тенистых садах Академии и в Лицее; и это всегдашнее «ты» при обращении, эта неизменная примесь комизма и веселой шутиivosti при самом серьезном содержании речей – есть уже невольное и естественное проявление широко развившейся семьи – государства.

Слишком понятен и тип политического сложения, который развился отсюда. Так тесно, так близко примыкая к государству, каждый грек являлся как бы кусочком одной кожи, которая, состоя из них, – их же и стягивала, и единила. Каждый из них уже от природы был носителем и воплощением государства, и только малолетство или безумие могли помешать всякому вмешиваться в судьбу родины, в свою судьбу. Отсюда взгляд их на единовластие, на всякое возвышение, на тиранню. Это было нечто *противоестественное* в греческой общине, и именно как *противоестественное* – воз-

* Как на особенно знаменитые подтверждения этого можно бы указать на рассказ о падении Пизистратидов *Геродота* и на многие указания в диалоге «Федр» *Платона*.

буждало к себе смешанное чувство отвращения, ненависти, почти ужаса. Ни соображения пользы, ни экономические выгоды, ни внешняя слава не искупали того позора, который налагал «тиран» на город, над которым он господствовал. На время тирании община как бы замирала, – и хотя события, иногда даже великие, происходили, – история ее, как биение внутренней жизни, остывала. Отсюда всегдашнее сочувствие греков к героям, которые восставали против тирана и каким бы ни было путем – свергали его. Среди несчастьев или внешнего унижения, при невообразимых внутренних раздорах – все равно была *жизнь* после тирании, тогда как при ней ее не было. Отсюда – остракизм, изгнание всякого слишком выдающегося по дарованиям, как предупреждение тирании; отсюда – предпочтение ей даже внешнего порабощения, как последнего средства от нее освободиться. Властитель во всяком другом государстве есть распорядитель абстрактных функций, лишь *задевающих* отдельное лицо; в Греции он был *присвоителем* того, что составляло неотъемлемое внутреннее содержание каждого, – он был врагом и оскорбителем всякого отдельного человека. Отсюда раннее исчезновение неясных теней монархизма на всем протяжении Греции; и самоуправляющаяся община, которую поглощена, сдавлена, но и определена в достоинствах своих, воспитана и увенчана личность. Все государственные функции здесь поручались, как равными равному, и, конечно, не оплачивались, как не оплачивается украшающее и возвышающее доверие, которое оказывается другу. Вспомним – чтобы лучше понять это явление – отвращение и негодование, которое вызвали к себе софисты тем, что стали брать плату за обучение. Они были представителями начинающейся розни, распада слитой некогда общины на мир индивидуальностей, из которых у каждой есть *свои* заботы, нужды и интересы. Ничего подобного, уходящего внутрь себя, не было в первоначальном, непошатнувшемся греческом мире. Ясное обращение к внешнему, открытость каждого ко всем сказывались во всякой черте их жизни, во всяком движении. Их душа, как и их боги, всегда была обнажена, и среди шумящего народа, в Экклезии или в Буле, их ораторы так же состязались, как борцы на Олимпийских играх. Один взгляд на ясную Афродиту уже мог бы для всякого чужестранца объяснить их государственное устройство; как, понимая последнее, без труда можно было бы определить их манеру воплощения красоты в зодчестве, в скульптуре, в трагедии и в лирике.

В высшей степени замечательно чувство отчуждения греков от всех соседних народов, напр. гораздо сильнее, чем какое было у древних персов. Оно находится в тесной связи с глубокою общностью между собой всех граждан города, всех городов Греции. Война международная – это все-таки симптом связности народов, хотя и отрицательной, и греки никогда не вели войны с «варварами», пока они не напали на них. Все войны греков – внутренние, между собою, и замечательно, что никогда поводом к войне не было желание для себя территориального расширения на счет соседей. Завоевательных войн, где одно политическое тело поглощает или теснит другие, мы в собственно греческом периоде исто-

рии почти не знаем: и это есть признак отсутствия в Греции политического индивидуализма, резкой разграниченности между собою отдельных государств. Обычным поводом к войне была здесь борьба «за гегемонию» или, точнее, *против* гегемона, т. е. против выдающегося какого-нибудь города, который, обособляясь от прочих, силился стать над ними тираном. Таковы пелопонезская война против Афин, коринфская и фиванские войны против Спарты. Другим поводом, столь же обнаруживающим тесную связь между собою греческих городов, служило оскорбление какого-нибудь святилища, равно для всех драгоценного (так называемые «священные войны»), или помощь городу против овладевшего им тирана (напр., Спарты – Афинам против Гиппия). Таким образом, и внешние отношения, и внутренний строй обнаруживают в мире греческих государств особый тип политического сложения, который не наблюдается раньше и не повторялся потом.

II

Черта психической объективности и вытекающей отсюда гражданской связанности наблюдается также и в Риме, где открытость отношений, общность интересов (*res publica*), поручаемость и безвозмездность государственных функций господствуют над всем остальным, как и в Греции. Но взамен конкретности в способности представлений, какую мы находим у греков, мы встречаем у римлян абстрактность ума, более способного к образованию понятий, нежели к созданию образов. Неразвитая мифология, божества как символы понятий или отношений (напр., божество границ – «Термин», или храм Согласия); слабость всех образных искусств и великое развитие права есть следствие этого абстрактного склада ума, направленного, как сказано уже было, на полезную сторону во всем. Образцы *чередуются*, тогда как понятия *развиваются*, т. е. растут и усложняются, захватывая все более в себя содержания, но не разрываясь, не утрачивая при этом своей истинности или приложимости, – и эта разница в отношении двух продуктов человеческого духа к внешнему материалу есть не последняя причина великой разницы, которую мы находим в судьбах Греции и Рима, столь родственных, столь близких по происхождению и всему внешнему облику жизни. И в самом деле – все растет в Риме, все растягивается, последовательно захватывая в свои политические формы древний Лациум, потом Италию, наконец все побережье Средиземного моря, весь дотоле известный мир. Любопытно, что междугосударственные отношения, какие мы наблюдаем в Греции, одною чертою своею отсутствуют в Риме, другою же повторяются. В противоположность греческим государствам, Рим есть община, постоянно сиющаяся разрушить или поглотить соседние, но не территориально, а собственно политически. Рим не столько расширяет свою государственную территорию, сколько отнимает самостоятельную политическую жизнь у со-

седних общин, подавляет у них волю, независимое проявление своего «я», подчиняя и сливая все это со своим могучим желанием: это выражается в ряде союзных договоров, которыми была связана Италия, но вовсе не *присоединена* к Риму перед Пуническими войнами. И даже после этих последних, когда Рим выступил за пределы Италии и стал собственно завоевательным государством, он постоянно завоевывал собственно право, а не территорию, искал более подчинения, нежели земельного увеличения для себя: все отношения, напр., к Нумидии, к Македонии, к Египту и, наконец, к азиатскому Востоку ясно показывают это преобладание чисто юридической стороны над грубо физической. Границ государственных в том смысле, как были всегда и есть теперь границы у Франции, у России, – мы не знаем у Рима; и, очерчивая на карте пространство римского государства, мы собственно очерчиваем сферу его мощи, круг народов и стран, жизнь которых текла уже не по собственному желанию, но по указаниям из Рима. От этого самое определение времени, когда какая-нибудь страна стала *частью* римского государства, всегда так затруднительно. Рим лишь последовательно и очень медленно придвигал к себе, присасывая и, наконец, вбирал в себя ту или иную страну, тот или иной народ. Конечно, во времена Нерона вся Италия уже *была* Рим – но когда это *сделалось*, после какого события или в каком году? Или когда была поглощена Иудея: при Помпее, при Клавдии, при Веспасиане? Эта медленность ассимилирования со своим организмом внешних национальных тел была одною из существенных причин неудержимого роста Рима: ни в какой момент поглощаемый народ не знал, что собственно он уже поглощается. Было незначительное умаление прав, снятие нескольких лишних штрихов, которыми обозначалось его существование в мире, выражалась его личность в истории, – и не казалось необходимым напрягать все силы, чтобы во что бы то ни стало удержать эти штрихи, без которых существование продолжалось и только несколько тускнело. Все войны, имевшие целью отстоять свое существование, какие велись против Рима, были уже внутреннею борьбою, бессильным биением живого тела, вошедшего, но упорствовавшего раствориться в римском теле (напр., борьба с умбро-сабельскими племенами при Сулле, окончившаяся в 88 г. до Р. X., начало же поглощения их относится приблизительно к 305 г. до Р. X.).

В соответствии с этим процессом урегулирования отношений к себе всего внешнего шло в Риме и урегулирование взаимных отношений всего внутреннего – что выразилось в развитии права. Направление созерцания в сторону полезного; абстрактный характер этого созерцания, бессознательно извлекающий из частных случаев их общую и постоянную основу; наконец, объективность всего душевного склада – вот психические задатки, из которых выросло римское право. История, ее нужды и задачи, ею поставляемые, были только возбуждающим стимулом к этому развитию, но не его основой.

Все указанные особенности античного мира, отразившиеся и на его политическом сложении, сообщают ему две черты: красоты и холодности.

В его несложном устройстве, в его внешнем религиозном культе, в его историческом возрастании и самой смерти – все правильно и ясно, все просто, – как красиво и просто все в сочетании линий, которому мы удивляемся в Парфеноне. Почти все, к чему бы ни обратились мы здесь, привлекает и удерживает долго наше созерцание, давая ему наслаждение умс гвенное или художес гвенное. Но нет ничего почти, что нас и трогало бы. В своем геройстве, в своей борьбе, в самом даже страдании и смерти греки и римляне остаются как-то чужды для нас, не вызывают сожаления к себе, как почти не жалели они и друг друга. Нет *правственного* момента в их жизни и истории, – и это оттого, что есть великий недостаток в ней *субъективного*. Они близки были друг к другу, но лишь извне, как граждане, но не как люди, и как гражданам мы удивляемся им, но вовсе не любим их как людей.

III

Средние века представляют собою антитезу этому миру: все в них неправильно, все хаотично; невыразимо груб их быт, как и первобытно искусство, понятия о природе и отношения государственные. Но если после великолепных страниц Фукидида или Тацита мы обратимся к какому-нибудь безвестному хроникеру, мы испытаем невольное облегчение – удовольствие, похожее на радость: наконец мы опять видим людей, а не скованные холодною красотой их подобию – статуи. Все опять просто и естественно вокруг нас, в этом первобытном хаосе разрушения и созидания, который мы называем Средними веками. Люди говорят, а не произносят речи; воюют, а не совершают только подвиги; они несправедливы и жестоки, всегда грубы и никогда не гениальны – и, однако, мы непреодолимо привязываемся к ним, заинтересовываемся в высшей степени их судьбой и, ничему не удивляясь, очень многое в них любим.

Если мы станем искать источника этой разницы, которую наблюдаем, не в степени только развития, но в самом сложении всей жизни, в самых чертах *лица человеческого* на протяжении полутысячелетия после падения античной цивилизации, то должны будем обратиться прежде всего к христианству. Из всех религий, какие знает история, христианство есть самая внутренняя, говорящая совести человека в уединении, т. е. она наиболее запечатлена *индивидуализмом*. В то время как даже Моисей давал заповеди целому народу, и к народу же обращены были увещания израильских пророков, Христос – и это впервые было в истории – обратился к одному человеку, к лицу: Его беседы с Самарянкой и с Никодимом, Его притчи, высказанные ученикам, – все это уходит куда-то далеко, далеко от тревог окружающего мира и как будто даже от самой истории. Где-то в стороне от всего, что знали раньше люди и что занимало их, что они считали главным интересом своей души и главной целью существования своего, вскрылась иная цель, иной интерес; и история, которая долго еще шла мимо всего этого с

шумом и треском, все иссякая и иссякая, все теряя силы, впала, как бы подсеченная в корне, в круг этих стоявших в стороне интересов и с тех пор идет, вот уже второе тысячелетие, силами, которые были заложены там и в тот миг. Эта особенная неистощимость, эта странная неувядаемость христианской цивилизации вся вытекает из того, к чему обратился Христос: как бы снимая с человека его оболочку, он раскрыл в истории его душу, которая постоянно до тех пор скрывалась за племнем, за государством, за общественно жизнью и общепринятыми обычаями, – и судьбу души этой в ее падениях и просветлениях сделал всемирной историей, которая, конечно, стала так же вечна и неувядаема, как неувядаема в вечных возрождениях своих человеческая совесть.

Личность стала поэтому центром новой истории, как прежде центром таким была *городская* или *родовая община*. Там за пределами государства все тусклее становилось то, что непосредственно примыкало к человеку и, наконец, он сам – совершенно неясный образ, только менее или более удачный носитель общих черт и общих же интересов, которые налагались на него государством. Напротив, самое ясное и самое твердое теперь становится именно то, что непосредственно следует за внутренним миром человеческой души, что им согревается и его освещает – *семья*. После религии, после отношения к Богу, первой святыни Средних веков, – второю святынею становится семейный круг. Классическое «с ним или на нем», которое обратила спартанка к рожденному от нее воину, подавая щит, – не имеет никакого смысла в Средние века; и, напротив, получили смысл уединенные молитвы, которые неустанно шлются за сына, где бы он ни был, что бы ни сделал, как бы ни был осуждаем всеми и даже действительно дурен. Все переменило характер от этого перемещения интересов человека: нет торжественных хоров, нет великолепия холодных процессий и всей скульптурности бытовых форм, как и изваянных характеров. Все ушло куда-то внутрь, за стены родного дома, к скрытому очагу, где человек живет, не наблюдаемый более никем, и откуда он выходит с лицом, осененным светом, который никогда не согревал античного мира. Оттуда, из этой скрытой от всех, уединенной жизни, выходит новая поэзия и новая философия, которая так много сказала человеческому сердцу и так многому научила человеческий ум.

Понятно видоизменение общественных и политических форм, которое все текло отсюда: государство уже не прилегает более непосредственно к человеку, оно удалено от него и даже не так строго необходимо. Только неприятное соседство грубых народов, всегда готовых напасть и разорить страну, да неизбежность присутствия злых людей и безродных бродяг в недрах самого общества заставляет отрывать каждого свое внимание от семьи и часть его посвящать той внешней оболочке над всеми, которую мы называем государством. Таким образом, отношение к государству в новой истории становится внешним и холодным, вынужденным; тогда как в древнем мире оно было внутренним и интимным, ему одному отдавалась не-

сдержанная страсть. С этим изменением отношения к политической форме изменилось и отношение к ее элементам: монархия есть естественная форма христианского государства, как республика – античного, языческого. Общий интерес, дела, касающиеся до всех, каждое *res publica* – есть только бремя, которое никто теперь не хочет взять на себя и в которое чтобы вникнуть только – нужно забыть на время самые дорогие и близкие интересы, тем пренебречь, с чем слита жизнь. Тот, кто берет на себя это бремя, за каждым сохраняет самое драгоценное для него – уединение и заботы о близких, – каждому оказывает благодеяние, которого он не получает даже от друга. Отсюда взгляд на царскую власть как на источник благодеяния, – поэзия и любовь, которою она окружена. В античном мире ставший один над всеми, даже когда он для всех благодетель, есть *τύραννος*, похититель власти, всех и каждого враг; в новом мире – это заботливый устроитель общих дел, охранитель над всеми, который отказался от лучших даров счастья, чтобы за каждым сохранить его дары. Его личность неприкосновенна, почти свята; его характеру удивляются; хотят знать его частную жизнь, которую любят почти как собственную. Рассказы о Теодолинде, легенды о Карле Великом или об Альфреде английском, все эти трогательные чувства и воспоминания, обращенные к государю и его памяти, – как далеко отошли они от образов Тиверия, Дионисия Сиракузского или хитрого и жадного к власти Пизистрата и двух сыновей его. Мы говорим не о разнице, которая была между этими людьми, но о разнице чувств, которыми они окружены были, с которыми их встретили на троне и проводили в могилу. А чувства эти, вся психическая атмосфера, которою дышит человек, на которого обращены миллионы глаз, по неистребимой связности каждого в роде людском со всеми, ранее или позже налагает свою печать на его духовный образ, дела и тайные мысли. Конечно, с индивидуальными изменениями, но каждый становится тем, чего от него ожидают; и это не менее тогда, когда он отвечает на ненависть ненавистью, чем когда на привязанность – любовью. Но в Средние века (и вообще в христианской истории) даже и положительно слабые государи, не успевшие ни устроить подданных, ни защитить их, пользовались, однако, их добрым чувством: об их несчастьях на войне, об их падении с престола вспоминали с большим участием, чем даже о собственных бедах, о разорении целой страны, – факты неизвестные в античном мире, непонятные в Риме, в Афинах, в Спарте (судьба Цезаря, подозрительное отношение даже к Периклу). Отсюда слияние всей новой истории с личною историею государей, с рассказами о судьбах династий, – как в древности слияние ее с форумом, с *ἀγορά*, сенатом, экклезией. Замечательно, что до последних десятилетий нашего века это не понималось как ошибка, не чувствовалось тут какой-либо неправды: Мишле и Маколей одинаково писали свою историю. И в том, что никто не чувствовал здесь чего-либо ложного, находится оправдание и объяснение гордых слов о себе нового государя: «государство – это я». В совершенно строгом смысле эти слова мог применить к себе и самый скромный из предшественников Людовика XIV: в Европе после падения античного мира, еще от времен

Хлодвига, Генриха-Птицелова и Альфреда Великого, государь был носителем государства, т. е. совокупности общих забот о всяком деле, организатором всех этих дел, их начинателем и руководителем. Он был вождем на войне, организатор в мире и, когда еще оставался досуг от всего этого, личный досуг, учредитель форм быта, строитель наук, литературы и искусства (Людвиг IX). Только уже позднее, в наше время, когда все стало изменяться, историками был придуман для слов Людовика XIV смысл, которого он вовсе не имел в виду, от которого он гордо и презрительно отказался бы, как от недостаточного, если бы можно было как-нибудь объяснить ему этот смысл.

IV

И второстепенные подробности политического сложения христианских народов также вытекают все из начала индивидуальности, обращения человека внутрь себя, которое принесла миру новая религия. Руководительство общих дел в античном мире поручалось по доверию некоторым и было, в каждом отдельном случае, как бы добровольным сложением власти многих на одного: это высокое право – принять хоть временно на себя власть других – приобреталось не только выдающимися достоинствами в частности, но и общим, постоянным несением на себе бремени большего, нежели какое несли другие. Отсюда разделение граждан на классы в Риме, в Афинах, и несение почти всего бремени налогов теми, которые могли быть избираемы на государственные должности: за право получить власть от бедных богатые принимали уплату повинностей за них. И они несли также и всю тяжесть военной службы, что было, впрочем, лишь самую общую и, для каждого отдельного лица, низшею формою государственной власти: правом, которое принималось от народа войском. Безвозмездность всякого государственного служения и простое выражение признательности за государственные услуги, лавровый или дубовый венок, наконец – триумф, это все естественно вытекало из античного взгляда на государство, из чрезвычайной близости к нему – к его идее и выражению – всякого живого индивидуума. И все это стало непонятно и невозможно в новом мире, как только центр жизни, внимания и забот переместился в частную жизнь – для общей можно было найти служителей только за особые выгоды, им предоставляемые сравнительно с прочими. Там эта служба покупалась как право; здесь она оплачивается как обязанность.

Отсюда вытекли два великие последствия: перемещение государственных тягостей сверху вниз и развитие бюрократической системы управления, взамен древней, по поручительству. И в самом деле, с торжеством христианства и как бы вопреки его светлым заветам, мы видим, что повсюду, и даже до наших времен, бремя уплаты государственных повинностей, как и линейной службы в войсках, всю тягостью своею лежит по преимуществу

на крестьянстве и мелких горожанах, из которых не выходят люди, пекущиеся о государстве; и от этой тяжести свободны, совсем или отчасти, классы обеспеченные и свободные. *Ubi ementum – ibi emolumentum**. Эта правовая формула античного мира читается в новом наоборот. Нужна была особенно сильная и постоянно действующая причина, которая могла бы породить столь общий факт, столь резкое отклонение от самой основы христианства. И эта причина лежит в том, что именно вследствие христианства государство далеко отодвинулось от индивидуума. Для церкви или по предписанию нравственного долга он может взять на себя тяжелое бремя, может посвятить всю свою жизнь заботе о ближнем, о неимущих, о страждущих. И факты заботы этой, неизвестные в древности, продолжают до наших времен, вот уже девятнадцать веков. Но для государства, для совершения действий, *индивидуально никому не нужных*, – что может заставить христианина отнимать заботы от своей семьи и иногда даже от церкви, о своем личном загробном спасении? Ради чего он погрузится в весь этот мелочный, неприятный и часто нечистый водоворот текущих или особых дел, где так часто нужно притеснить или наказать, подчиниться слепо или гневно приказу? Для его свободной души, которая хотела бы жить только с Богом, с подателем жизни и грозным судьей, перед которым он должен дать отчет не только за одну свою душу, но и за детей своих, – оставить эти высокие и чистые заботы для разбирательства вздорных дел между дурными людьми, для вымогательства подати с последнего бедняка было нечто отвратительное и тягостное. Вот почему, вплоть до начала XV века, когда во всей Европе совершился великий упадок религиозных чувств, самое возникновение отчетливо организованного государства было невозможно. Только с этого времени, взамен феодального строя, где вовсе не было этой удушливо-грязной административности, возникает новое государство. Но одна общая черта сохраняется как в феодальном, так и в новом государстве: та сословная масса, из которой выходят оберегатели общих интересов, – будет ли то воин или чиновник, в шлеме или в мундире. Эта масса, одинаково во все эпохи, религиозные и атеистические, просвещенные и грубые, свободна от денежных и всяких физических повинностей, кроме одной – обязанности давать из себя людей, пекущихся об общем благе, как внешнем, так и внутреннем. Но в феодальном строе это обязательное попечение было более свободно по форме, строго индивидуально по выражению – что вполне согласовалось и с религиозным духом эпохи: рыцарь повсюду и член феодальной иерархии в своем районе были оберегателями справедливости и свободы, которые действовали по личному убеждению и лишь в слабой зависимости от своего сюзерена. По мере того, как из хаоса феодальных отношений возникло новое государство, эта независимость в проявлении забот о всех стала уступать место принудительности и безличности: возникла бюрократия как посредствующее звено между госу-

* Где выдумка – там успех (*лат.*).

дарем и страну, как орудие деятельности первого, которая могла бы достать всюду и коснуться всего.

В силу той безынтересности государства для каждого индивидуума, о которой мы говорили как о характерной черте новых времен, – орудия деятельности этой, т. е. звенья бюрократической системы, могли быть привлечены к работе на общую пользу не иначе как платою. Отсюда – оплаченный чиновник как непременная принадлежность нового государства, будет ли то монархическая Австрия или республика Соединенных Штатов. Всюду за те заботы, которые отнимает он от семьи своей, чтобы передать их безличным и далеким для него массам людей, он требует и получает особенные выгоды, которые передает своей семье. С возникновением бюрократии, набираемой из всех классов, куда идут, по выше объясненным причинам, лишь наиболее грубые элементы общества, наименее ценящие себя и в себе все высокочеловечное, – самое существование особых облегченных классов утратило всякое основание: они опустились туда, где всегда лежало бремя государственных тягостей, сохраняя одно лишь преимущество – избыток материальных средств. Безличная, нерасчлененная масса народа и управляющий класс над нею, как единственное и новое сословие, есть общая черта государств современного типа. Но купленная забота всегда обращена к тому, кто ее купил, а не к тому, для кого она куплена. Отсюда – развитие в новом государстве наружной стороны деятельности; отсутствие на периферии его, в последних звеньях системы, какой-либо жизни, устремленности, достижения, и так как лишь эту периферией система касается реальных явлений текущей истории, то отсюда же вытекло вечное убожество этой истории от руководства системы, которая напряженно силится из центра овладеть ею, но не может. Изощрение и изошрение контроля, прибавка к сделанной уплате (жалованье), обещания прибавить еще (награды, повышения, знаки отличия) – все это есть ряд усилий, делаемых из центра для того, чтобы передать свою жизнь и устремленность далеким перифериям, не знающим и не желающим, *не чувствующим* в самих себе каких-либо целей. Таким образом, за безучастием в новом государстве хороших сторон человеческой природы, является печальная и сознанная необходимость действовать, возбуждая их, на дурные: на чувство робости в человеке, на его алчность, на какое-то иллюзорное тщеславие. Но, как само собою ясно, не задевая сущности дела, все эти средства были и останутся бесплодными: какая бы цель деятельности ни была поставлена и какая бы награда возле нее ни стояла, внимание достигающего ее в новом государстве неизменно будет направлено на того, кто поставил ее и держит награду, а не туда, где стоит она и чего должна коснуться ее деятельность. Безжизненность, глубокое бессилие есть неизменная черта новых политических тел, возникших повсюду в Европе с конца XV века, и вытекающая из самой психической структуры их. При этом мы говорим, конечно, о норме, а не об исключениях: но рвение, но героизм, но подвиг для родного города в античном мире был нормою, а равнодушие – исключением. В христианском мире, где государство есть второстепенное для челове-

ка, а не первое, это стало наоборот – при всех формах правления, при всех степенях образования, в века минувшей истории и ожидаемой.

В целях удобства, возможности какого-нибудь действия, это управление не могло не приобрести всюду одного вида: всеоживляющий центр и пробегающая от него деятельность, которая, распределяясь по бесчисленным нитям все утончающейся администрации, завязывается на оконечности их с фактами реальной жизни, силась овладеть этими фактами. Восхождение движения обратно к центру от фактов хотя, возможно, и есть, но всюду затруднено, как бы мешая главному движению. Некоторая абстрактность жизни в центре, абстрактность идей его и даже страстей, и затруднительность движения для фактов на периферии системы, где они проскользают сквозь редкую уже и слабую сеть административной паутины и текут по своему особому руслу, никем не направляемому, – вот общая картина этой системы, почти без видоизменений установившейся во всей Европе. Ей отвечает повсюду картина самой территории европейских государств. Уторопленная жизнь бьет в центре каждого государства, но жизнь крайне абстрактная, без ярко выпуклых особенностей, которые были бы наложены историей, национальностью, ее особыми бытовыми условиями и даже климатом. Все столицы Европы становятся чем далее, тем более схожи между собою, как фотографии снятые с одного лица. И до самой периферии, начиная от этих центров, всюду – поблеклая жизнь, медленно движущаяся, без какого-либо значительного интереса в себе для наблюдателя, без какого-либо счастья, кроме покоя, без других забот, кроме насущного пропитания. Все высшие интересы, тревоги, замыслы сосредоточиваются в центре, лихорадочно деятельном, ни на минуту не успокаивающемся, – и это беспокойство есть главная печать, налагаемая этими центрами на высшие интересы человеческого существования, сюда стянувшиеся.

Таковы резкие, бьющие в глаза особенности новой истории, вытекшие все из незаметного уклона, который получило девятнадцать веков назад развитие человеческого духа в новой религии. С этого времени повинувшись этому уклону, все дела человеческие текут в сторону, диаметрально противоположную той, куда они двигались ранее, в античном мире. Нам остается добавить еще немного слов, чтобы закончить картину этой истории, и именно – выяснив особый характер, какой имеет здесь участие собственно народных масс в государственной жизни.

V

Древнему миру вовсе неизвестна была противоположность между государством и обществом: в Спарте, в Афинах или в Риме общество, т. е. совокупность граждан, было вечно деятельным носителем задач, форм и традиций государства. И кто враг был этому государству, был враг и обществу этому, его интересам. От этого борьба там всегда была борьбою в пределах

самого государства одного элемента его против других – т. е. она носила строго внутренний характер, была вполне законна, и ее влияние на развитие государства всегда было неподотворно. Напротив, в новой истории, с возникновением христианской семьи, с строгим и возвышенным развитием церкви, общество отделилось от государства и вообще история его не укладывается в историю политическую и не всегда даже совпадает с ней в своем течении: бывали моменты, и их всегда можно ожидать в будущем, когда принципы, задачи и вся установившаяся практика государства вызвали строгую критику и даже осуждение со стороны общества – факт неизвестный в летописях истории до появления христианства. В античном обществе, слитом с государством, только к концу его, с возникновением философии, могли появиться, в ее особых понятиях, опорные пункты для критического отношения к политической практике. И это еще раз, но с новой стороны, показывает, как мало гармонизировали Академия, Лицей и Стоя с Акрополем и Форумом, со всей этой светлой, связанной, в высшей степени цельной жизнью; и насколько сказался в их возникновении скрытый перелом истории к чему-то новому, совершенно отличному от прежнего. Но философские понятия никогда не могут быть достоянием многих – и изгнание Анаксагора, смерть Сократа, добровольное удаление из Афин Аристотеля были несложными фактами, в которых выразилось это разъединение личности и государства. Напротив, с появлением христианства этот факт стал всеобщим и постоянным: в заветах Евангелия, в пробужденных тревогах своей совести всякий имел постоянный критерий, который он не колеблясь применял и ко всякому поступку своему, и к каждому государственному акту, которого был зрителем. Слитность между индивидуумом и политическим строем стала более невозможной: стала возможна особая история общества и всего того, что из него свободно выросло – религиозных движений, искусства, науки и философии. Все это, развиваясь вне воздействия государства и будучи дорого человеку не менее, чем оно, открывало новые и новые точки опоры для индивидуального суждения, для общественной критики государственной деятельности. И мы видели нередко в истории Европы моменты, когда государство с сетью развившихся в нем учреждений и общество с великим духовным миром, им созданным, становились друг против друга, чтобы победить или умереть. Таков был, между прочим, смысл французской революции, столь враждебной христианству и, однако, возможной только в христианской стране – по своему основанию, по точке опоры, какой она никогда не получила бы для себя в языческой стране*.

Но здесь общество и государство стояли друг против друга; разъединены же и обособлены они были постоянно в новой истории. Этим объясняется особый характер как важнейших чисто европейских законодательств

* Сравни судьбу Тиверия и Кая Гракхов, борющихся за ясные для всех материальные интересы, с судьбой Мирабо и последующих вождей революции, борющихся за гораздо более отвлеченные принципы.

(т. е. возникших без участия римского права и не на романизованной почве), так и характер в новой истории представительных собраний. «*Magna carta libertatum*»*, «*Habeas corpus*», «Билль о правах» – эти знаменитые юридические акты все имеют одну цель: охранить личность от посягательств государства, провести вокруг каждого черту, за которой, с семьей своей, со своими высшими духовными интересами, он как бы не чувствовал государства и его ежеминутной деятельности. Таким образом, печать глубокого индивидуализма лежит на этих государственных актах – в противоположность античному миру, где всякий государственный акт расширял сферу общей деятельности (*res publica*) на счет индивидуальной свободы. И далее (в глубокой аналогии со всем сказанным), тогда как в древнем мире всякое представительное собрание (сенат, комиции, буле и экклезии, герусия) имело характер, ведущий историю – в новой истории всякое подобное собрание имело характер, только ограничивающий это ведение. В начале, когда государь стоял один над народом и еще не имел вокруг себя сложной администрации, через которую мог бы действовать, он созывал лучших людей из подвластного народа в помощь себе, для совета или содействия. И понятно, что собрания эти всюду прекратились, заменяясь более деятельною и удобною администрацией. В одной Англии, где не возникло бюрократии, эти собрания сохранились благодаря ряду дурных королей, которых, представляя собою общество, они стали ограничивать. Но в высшей степени замечательно, что, где бы ни возникали подобные собрания и в позднейшее время, они всюду имеют тот же ограничивающий характер, выражают критику стоящего в стороне общества, но не его деятельность. Так сделался удален, со времен христианства, мир индивидуальных желаний и даже мыслей от общего интереса всех, что, собираясь даже во имя этого интереса, отдельные личности не могут найти способа *осуществлять* его, но лишь смотрят и критикуют то, что перед ними осуществляется, – и это одинаково в республиках, как и в *ограниченных* монархиях. Поэтому, в строгом смысле, *rei publicae* не существует в Европе и не может существовать; есть только монархии, но местами такие, где власть монарха, его скипетр, держится многими руками, скрытыми за спиною остальных необозримых народных масс, которые покорны и безучастны к власти столько же, как и в монархиях незатемненных. Венец царский не сорван нигде, но он разорван на лепестки, которые, однако, сияют на головах нескольких людей, – для большего удобства (говорят они) народа, которому, однако, предоставляется лишь смотреть на это, бессильно желать этого, вечно завидовать и умирать с чувствами, каких он не имел прежде.

Таковы различия в политическом сложении древнего государства и всех новых. В бессмертной формуле своей, Аристотель выразил сущность первого: *ἄνθρωπος ζῷον πολιτικὸν ἔστιν*** , сказал он, думая о современном ему

* «Великая хартия вольностей» (лат.).

** Человек – животное политическое (греч.).

мире, высказывая, как этот мир чувствовал себя. Величие, поразительная красота, обилие жизненности в государстве и гражданине было простым следствием только этого факта. Был удивительный период в истории, когда человек не только ощущал, но и дышал, но и желал только внешними покровами своего существа – подобно тем странным, еще неразвитым животным, которые живут только кожей. И этот период окончился навсегда, как только принесено было на землю Евангелие. С ним и через него вырос внутренний человек, вскрылось глубокое содержание его природы, вовсе не укладывающееся в рамки какой-либо политической формы или деятельности. Человек не хочет и не может быть только гражданином; он уже давно сперва христианин, потом отец семьи, на котором лежит высшая ответственность, наконец, он – художник или мыслитель и уже после всего этого гражданин. Но с тем прекрасным и до сих пор не померкающим светом, каким озарилась в силу этой перемены история, неотделимо и некоторое искажение государства: нет прежней красоты в его формах, более безжизненно оно, узко и как-то несимпатично. Всего этого переменить нельзя и не следует. И, не подавляя остальное все, как это было в древности, но, напротив, примыкая ко всему, что выросло в новых обществах из христианства, проникаясь началами религиозными, семейными, всюду будя в себе внутренний смысл, а не устанавливая внешние формы, новое государство может достигнуть высших проявлений своего типа – менее красивых, чем античные, но гораздо более дорогих человеку и, быть может, более его достойных*.

* Нам могут заметить, что 1) зародыши централизации и бюрократии появились еще в языческой римской империи и 2) что в некоторые эпохи новой истории у тех или иных народов отсутствовали черты этой бюрократии и централизации. На это ответим, что 1) насколько уже в языческом мире (однако не ранее появления христианства) стало подготавливаться выясненное нами политическое сложение – в нем, в этом факте, с новой стороны обнаружилось подготавливание к принятию христианства: формы перерождались в направлении, строго отвечающем характеру содержания, которое только подготавливалось в это время на Дальнем Востоке. Замечательно, однако, что окончательное установление централизации и бюрократии произошло в Риме лишь при Константине Великом, при котором и новая религия от потаенных путей перешла к ясному выражению себя в истории; 2) из новых народов у всех и во все эпохи есть более или менее ясно выраженный уклон в указанную сторону; но, сколько по этому уклону, многие из них задерживались в движении своими различными историческими обстоятельствами. Во всяком случае, в каждом единичном народе последующая фаза развития всегда была обильнее, чем ей предшествующая, общими чертами бюрократизма и централизации (ср., напр., Испанию при Карле V и Филиппе II); и, по истечении достаточного времени, все страны Европы приняли вид, нами очерченный. Но (и это главное) имея задачу высказать лишь схему нового государства, мы указали, что отдельные черты этой схемы должны корениться в особенностях духовного сложения новых народов; а это последнее возникло, главным образом, из христианства, в котором именно индивидуализм и субъективность могли дать основу для особого строя общественной и государственной организации.

2. Об эпохах русской истории

I

Андрей Боголюбский с образом Богоматери, бегущий вопреки воле отца на север и закладывающий там новый город, – вот лучший символ нашей истории, выражение коренной черты нашего характера и всемирно-исторической судьбы. Подобным же образом, но уже с рубанком и пушками, бежал Петр еще далее к северу, за самую грань своего царства, на только что отнятый у соседа клочок земли. В страстях, в характере, в привязанностях и ненависти этих двух государей совершились два сгиба нашей духовной истории, после которых все становилось в ней иначе, для других целей и по новым основаниям. Было бы напрасно в их *деятельности* видеть их главное значение: не как законодатели, политики, воины велики они – они велики как творцы нового исторического настроения. Их войны, предприятия, неудачи или успехи, даже в результатах своих, прошли уже скоро после их смерти, но не прошло в течение веков их особое *отношение* ко всякому делу – тот способ думать, желать, оценивать, какой они внесли с собою и распространяли, передав их порождениям своим и целому народу. Угрюмый Андрей явился живым и личным отрицанием всего киевского цикла нашей истории, светлого среди всех печалей, не озабоченного никакими помыслами, отдававшего каждому дню столько сил, сколько их оставалось от прошлого. Ни Мономахом, ни мудрым Ярославом, ни самим Владимиром, никем из светлого среди всех бед гнезда Рюриковичей, о котором рассказывает «Слово о полку Игореве», не мог и не хотел стать Боголюбский – отшельник, готовый сжечь все это гнездо, из которого, однако, сам вышел, но не любил и не уважал его. Уединяясь в церковь, в долгие часы ночного бдения, он молился, неизвестно о чем, как молились потом государи наши и весь народ, впредь до шумного карнавала при молодом царе новой эпохи. И так молившийся князь, строитель церквей и городов, «опал в лице» при одной вести, что там, на юге, его повелению осмелились насмеяться какие-то его родственники князя. В этом гордом властительстве, в этом уединении в себя, но без какого-либо просветления и углубления душевного, в этой медлительности движений и недостатке слов сказала уже вся Москве с ее великой миссией, с ее исторической озабоченностью, с ее дальнозоркими святителями и монашествующими, угрюмыми царями. На пять веков замолкла в нашей земле поэзия, принизилась мысль, все сжалось и вытянулось по одному направлению – государственного строительства. В фактах, и лишь по неречистости не в книгах, в эти пять веков было создано все, чем в сущности и до сих пор бессознательно живем мы в сфере политической мудрости, успевая лишь настолько, насколько верны традициям этого цикла, бессильные что-либо придумать здесь новое и оригинальное. Идеи царя и подданного; служения и прав, на нем основанных; сознание общих нужд, за которыми не видны личные интересы; наконец, связь быта, церкви и всего царства между

собою до неразъединимости и бесчисленные другие понятия – все это создано было в то время, и от всего этого мы едва ли уже когда-нибудь высвободимся. Ни бурное в беззаветности своей XVIII столетие, ни наш мелко-ученый век ни в чем не имели силы расстроить эти понятия, лишь порой обесмысливая их в приложениях или переделках.

В цветущем отроче тихого и богобоязненного царя, на свободе и без призора выросшего, Россия сбросила прежнее свое одеяние, слишком монотонное, хотя и важное, – чтобы расцветиться всею яркостью самых разнообразных и свежих красок. В свободе движения этого, в его прихотливости и непреднамеренности, и вместе в глубокой естественности и простоте, и сказался перелом нашей истории – гораздо более, чем в Великой Северной войне, чем в воинских и морских артикулах, в законе о майорате и табели о рангах. И в самом деле, можно представить себе, что при Алексее Михайловиче русские победили бы шведов, как они побеждали поляков, что его намерения исполнились и мы имели флот, что Немецкая слобода разрослась и русские научились, наконец, сами стрелять из пушек, – совершился ли бы от этого тот перелом в нашей истории, который мы все живо чувствуем, так неясно понимаем и не умеем сколько-нибудь определить? Ясно, что все текло бы тогда дальше, чем при Алексее Михайловиче, – как при нем текло уже дальше, нежели при Иоанне III, – но в том же направлении, так же тихо и не менее однообразно. Итак, если несомненно *не в успехах* Петра заключалась тайна его исторического значения, то в чем же она лежала?

В *способе*, каким совершились все эти дела; в той новой складке духа, откуда вырос каждый его нетерпеливый замысел, и в той несвязанности его мысли чем-либо, что прямо не относилось к делу, – несвязанности, которую у него впервые мы наблюдаем в нашей истории и с тех пор сами стремимся всегда сохранять ее. И в самом деле, на протяжении пяти веков вся жизнь наша как будто носила какие-то внутренние пути, связывавшие каждый наш замысел, всякое действие, стеснявшие непреодолимой оградой всякий порыв мысли и личное чувство. Нельзя сказать, чтобы эта связанность вытекала из какого-нибудь внешнего требования: скорее она была следствием внутреннего расположения, уже сказавшегося впервые в Андрее Боголюбском и продолжавшегося у всех преемников его исторической миссии. Никогда и никакой уторопленности мы не замечаем в них, и это вовсе не оттого, что никогда в ней не было потребности; но, пренебрегая всякой потребностью, русские люди в течение веков ни разу не ускорили своего шагу, который ранее и по малейшему требованию дела они ускоряли легко, свободно и даже капризно. Мы знаем, как религиозно было то время; но замечательно, что мы вовсе не знаем ни одного религиозного порыва из того времени, ни одной умиленной молитвы, ни одной пламенной проповеди. Святые в лесах дремучих так же молчаливо, без слов молились, – как без слов, молчаливо, в стенах Московского Кремля, цари вершили свою политику. Даже в страшные годы царенья Грозного мы больше видим крови, видим

судороги жертв, как и судороги их мучителя; но очень мало слышим криков негодования, мольбы о помощи или требования пощады. Только Курбский, изменник царю, народу и вековым заветам жить и умирать, вместо того, чтобы войти молчаливою полустрокой в «Синодик», предпочел написать несколько длинных писем. И так же, как не знаем мы слез и отчаяния у людей этого времени, не знаем мы в них и радости и веселья; ни одного смеющегося лица не видим мы на протяжении пяти столетий, которое нарушало бы собою монотонную угрюмость всех и молчание. В совете царском, в молитве, перед людьми и даже Богом эти странные люди как будто боялись вечно за свое достоинство, за эту беспредметную серьезность, которую не хотели, не могли и, наконец, не умели они оставить. И если мы подумаем, что этот склад жизни установился у народа молодого, еще не испытывавшего всего богатства жизни, – мы поймем, как много во всем этом искусственного, неестественного и ложного. Здесь была какая-то придуманная стыдливость, напрасный страх проявить свои силы, – и он выработал общие формы, под которые укрывалось все индивидуальное, все частное и особенное в человеке и в жизни. Ничего не выдавалось из-под этих общих форм, заботливо хранимых в войне и мире, в чистой семейной радости и среди государственных бедствий. Никакая поэзия, никакое проявление любознательности, ни даже простой успех во всяком живом деле не был возможен при этих общих формах, придавших печать преждевременной старости народу, у которого все еще было в будущем, ни один из даров духа не был обнаружен и проявлен.

Этот покров общих форм, скрывавших живую индивидуальность, эту искусственную условность жизни, и разбил Петр силою своей богатой личности. Полный неиссякаемой энергии и жизни, против воли неудержимый во всех движениях, он одною натурою своей перервал и перепутал все установившиеся отношения, весь хитросплетенный узор нашего старого быта, и, сам вечно свободный, дал внутреннюю свободу и своему народу. В великом и незначительном, на полях битв и в веселых пиршествах он научил своих современников простому и естественному и этим открыл новую эру в нашей истории, сделав возможным в ней проявление всех даров духа, всяких способностей человека, гениального, как и уродливого. С ним и после него, впервые после векового молчания, мы наконец слышим в нашей истории живые голоса, крики радости и гнева, гордости и унижения – звуки человеческой души, более всего прекрасные. Необузданность, борьба страстей, бесстыдство и героизм на плахе и в походах наполняют волнением нашу историю, дотоле столь тихую, и то, что более всего в ней поражает нас, – это именно богатство *индивидуальности*. С нею возможна стала поэзия, сперва дикая, как и весь хаос перемешавшейся жизни, но потом отстоявшаяся и нашедшая звуки, столь чудные, чарующие не для одного нашего уха. С ней возможна стала любознательность – и бегство бедного мальчика с берегов Ледовитого моря в Москву, на берега Невы, к германским натуралистам, уже не представляло чего-либо необыкновенного. Каждый и

прежде всего хотел удовлетворить свою нагую человечность, и лишь в применении к ней рассматривал церковь, государство, поэзию, университет, – или находя в них все, что ей было нужно, или, в противном случае, усиливаясь создать новое. Ис с тех пор и до нашего времени эта непокорная индивидуальность и приводит в отчаяние, и умиляет нас, то внушая за будущее самые страшные опасения, то наполняя сердце великими надеждами. Где еще конец этому своевольству творчества, этому отрицанию векового и священного, неудержимому порыву духа из всяких твердых форм?

II

Но вот это богатство творчества, видимо, иссякает, и эта безбрежность ничем не ограниченной мысли наконец для всех становится утомительна. Это сказывается оскудением поэзии и художества, упадком воображения и чувства – и, с другой стороны, в хаосе, обезображении всей жизни личной, общественной, политической, которого мы все свидетели. Веселость и красота двухвекового карнавала прошла, а то, что остается от него, – дымящиеся факелы и безобразно-уродливые маски, разбросанные там и здесь, не есть, не могут быть ни для кого привлекательны и дороги. В подобном положении, полном отвращения к только что совершившемуся, стоит наше общество теперь – очевидно, на рубеже двух циклов своей истории, из которых один уже заканчивается, а другой еще не наступил. Появление славянофилов, нам думается, есть именно симптом, глубоко выражающий это историческое положение. Но кто больше придавал бы значения их чаяниям, нежели критике и отрицаниям, – мы думаем, глубоко бы ошибся.

Недостаточностью и необоснованностью отмечены их синтетические построения будущего. Они слишком много вносят в это будущее из второй фазы нашего исторического развития, почти думая, что мы лишь воскресим ее снова, – опять переживем, что было уже пережито. *Этого никогда не происходит в истории*, и в древе жизни человеческой, что раз вскрылось и выразилось, – никогда не выразится снова, перейдя за черту бытия в иную сферу, которая лежит по ту сторону смерти.

Одно можно предугадать в этом будущем – второстепенное, незначущее; и предугадать, основываясь на том, что уже совершилось в нашей истории. И в самом деле, в трех уже пройденных фазах нашего развития было не одно отрицание, но и сохранение. Главное, что создавалось в каждой фазе, уносилось и в следующую; но оно становилось там несознаваемой опорой жизни, а не предметом желания, не целью достигаемой, не главным интересом забот и деятельности. В первый период нашей истории мы просветились христианством – и в этом заключался его смысл, вся значительность его, не умершая и не имеющая когда-либо умереть. Удивительно, как характер народности нашей за это время отвечал *уже ранее* принятия христианства той миссии, которая ему выпала в истории через это принятие:

дух открытости, ясности и неозабоченность какими-нибудь особенными земными нуждами и интересами – все это делало вступление юного народа в лоно новой религии легким, безболезненным, исполненным радости. И как свободно и легко он ее принял в одной незаметной частице своей, так же легко и почти без принуждения передал и другим бесчисленным частям своим, и даже иноплеменным соседям. Странно: мы почти не знаем как и знаем лишь *насколько далеко* распространилось христианство в первые два-три века после просвещения им киевлян; без помощи сколько-нибудь организованной силы, без всяких средств умственного убеждения, одною силою своей простоты и чистосердечия монахи и священники того времени сделали гораздо более, чем сколько могло сделать при всей политической мощи Московское государство или при всех средствах науки новейшие миссионеры. Собственно, где остановилось тогда религиозное просвещение – оно остается и до сих пор, не будучи в силах преодолеть даже языческой косности многих финско-монгольских племен, живущих среди русского народа или обок с ним, и тем менее преодолевая магометанский или еврейский фанатизм.

В богобоязненном, церковном, втором периоде нашей истории это принятое ранее христианство вовсе не было главным, хотя и выставлялось таким. Оно было опорой деятельности, в своих целях не имевшей ничего общего с заветами Евангелия, торжественно и неподвижно лежавшего на аналоях, но не жившего в совести и сердцах людей. Целью, главною заботой в этом втором фазисе было объединение и высвобождение земли своей и потом ее сложение в могущественный и правильный организм. И здесь, по отношению к этой миссии, мы также наблюдаем предварительное установление психического строя, при котором она наилучше могла бы выполниться: эту способность к преемственному достижению одной цели; глубокое сознание себя и всех участников своей деятельности лишь как части, которая должна покоряться целому, только как орудия идеальных требований и стремлений, которым суждено осуществиться в будущем, – что все и слило бесчисленное множество людей, от государя и до раба его, в одну компактную массу, где мы едва различаем образы, но видим могучие силы и совершение великих фактов.

Государственная организация, созданная в этом периоде, перенесена была и в следующий, и, по-видимому, ради укрепления этой организации, совершился самый переход нашего исторического развития в новый фазис. Но это было лишь по-видимому: по отсутствию оригинального творчества в политической сфере, мы живо угадываем ее второстепенное теперь значение, ее пособляющую, способствующую роль около чего-то другого, что и было в действительности главным. Как мы уже заметили, это главное состояло в раскрытии индивидуальных сил, вовсе не связанных непременно с государством и его нуждами и еще менее – с религиею. Эти силы обратились к сферам творчества, которые никогда ранее не влекли к себе нашего народа и, однако, для души человеческой, для ее просветления и развития,

необходимы более, чем что-либо другое. Поэзия, искусство и также наука и философия составили предмет забот, любви, влечения, около которых государство было только оберегателем и религия – лишь общим, очень далеким органом, который все же бросал свою тень на прихотливые создания фантазии. Всем известно, до какой степени наше общество чем далее, тем более удалялось, теряя связи, как от государства своего, так и от церкви*. И, будто бессознательно чувствуя свою лишь охраняющую миссию, и государство, и церковь бережно щадили эту сгранную свободу, столь несовместную, по сущности, с их принципами. Для будущего историка это огношение государства и церкви к независимо развивающемуся обществу представится как очень любопытное явление, – и привлекательное. Мы, правда, вечно жаловались все-таки на недостаток свободы; но это было лишь по недоразумению, лишь следствием чрезмерной нашей жажды свободы, опасавшейся даже *возможного* стеснения. Мы указывали обыкновенно при этом на западные страны, но это указание было совершенно ошибочное: ни церковь, ни государство там уже не имеют такого живого значения, такой ничем не нарушенной веры в свою абсолютность, какая продолжала сохраняться и сохраняется у нас. Там стеснение было невозможно – за умиранием, за истощением сил в том, что хотели бы стеснить; у нас оно было бережно удалено – со стороны того, что было полно сил и могло бы, и даже должно по своим принципам стеснить, но этого не хотело.

Таким образом, христианство, политическая организация и индивидуальное творчество, являясь каждое главным в одном из трех периодов нашего исторического возрастания, в каждом последующем периоде являлись как вторичное, как его опора, но не цель. Что станет новой целью в четвертой фазе нашего развития, ее главной заботой и интересом – это было бы напрасно усиливаясь отгадать. Как можно было, среди битв с половцами и печенегами, веселых княжеских съездов и шумного веча – угадать характер Андрея Боголюбского, деяния Грозного, особый оттенок благочестия его большого сына и Алексея Михайловича? Разве в Печерских угодниках были те черты, которые мы находим в митрополитах Петре и Алексее, в Александре Невском, в св. Сергии или, наконец, в Василии Блаженном? Самый характер христианства как будто изменился в круто повернувшемся складе исторической жизни. И с другой стороны, уже при Алексее Михайловиче, в его царской думе, в Морозо-

* Это удаление до такой степени очевидно, что в монархической и православной России едва ли был даже один сколько-нибудь значительный писатель, поэт, художник или композитор и монархистом, и православным – без оговорок. И это до такой степсни обычно, общество так уже привыкло к этому, что всякие слова в строго монархическом и православном духе, какому бы авторитету они ни принадлежали, всгребались читающим обществом с несказанным изумлением, иногда принимались даже как признак помешательства. Ср. историю с «Перепиской» Гоголя, также с некоторыми стихотворениями Пушкина. Можно ли представить себе подобное отношение к протестантизму в Германии или к католицизму – в романских странах!

ве и Матвееве – как можно было отгадать всеоживляющий образ Петра, его Меншикова и Остермана, его баталии и похождения, его мощь, забавы, труды и смех, которые два века отдаются в наших ушах? И так же точно в кругу, в влечениях и в интересах нашей жизни... что можем мы угадать о будущем? Куда и что понесет с собою новый избранник нашей истории, ни на кого в ней не похожий, обремененный новой мыслью, все прошлое ее ненавидящий, бегущий в новые места, – как Боголюбский бежал из Киева, Петр – из Москвы, – как, повторяя историю в лице своем, каждый из нас бежал от преданий своего детства и всякое поколение – от поколения предыдущего?..

Но одна черта в представлениях славянофилов нам кажется вероятной: это – уклонение нашей истории к юго-востоку, как естественное следствие ее отрицательного отношения к прошлому. Во всяком периоде нашей истории мы разрывали с предыдущим – и разрыв, который нам предстоит теперь, есть, без сомнения, разрыв с Западом. Сомнение в прочности и в абсолютном достоинстве европейской культуры, которое является теперь общераспространенным, послужит для нового поворота нашей истории таковой же исходной точкой, как вечные неудачи и поражения русских послужили, два века тому назад, исходной точкой идей и стремлений Петра. Исторический поворот, нам предстоящий, можно думать, будет еще более резок и глубок, нежели какой произошел в то время: там было только ощущение каких-то технических недостатков, подробностей; теперь является чувство *общей неудовлетворенности*, при полном довольстве подробностями, – живое сознание недостаточности целого.

Судя по этому сознанию, можно думать, что характер четвертой фазы нашего исторического развития будет именно *синтетический*; создание общей концепции жизни, какое-то цельное воззрение, из которого могли бы развиваться бесчисленные ее подробности и частности – все по иному типу, нежели по какому развивались они в новой истории, – вот, думается, задача, которая предстоит нашему будущему. Не с рубанком и пушками и не с замыслом только государственной идеи, но с каким-то новым чувством, выросшим в глубинах совести, будущий вождь нашего народа, отряхнув прах прошлого с своих ног, поведет его к новой задаче исторического созидания.

III

К. Н. Леонтьев, по-видимому, думал, что этим воссоздаваемым будут византийские начала. Он вообще не высоко смотрел на творческие силы русского народа и с совершенным уже пренебрежением глядел на других славян, западных и южных, которые никогда и ничего, кроме подражательности, не обнаруживали в истории. Этим последним он считал совершенно пустыми от каких-либо мистических задатков, которым принадлежит все истинно творческое, оригинальное в истории.

Но для глубокого и продолжительного исторического созидания, для выполнения великих и своеобразных задач культуры – и русское племя представлялось ему недостаточно творческим; или, точнее, русское творчество казалось бесформенным, слишком не архитектурным, и он полагал, что эта недостающая оформленность может быть придана нам византизмом. Он с удивительной чуткостью подметил, что византийские начала залегли у нас и там, где мы их нисколько не подозреваем – в поэзии, в семейном быте, в горю уже о государственном и религиозном складе жизни. Эти указания верны и многозначительны; но есть и односторонность в них, которую нельзя пройти мимо.

Когда, в какую эпоху мы более всего были проникнуты византийскими началами? Не все ли скажут, что в период государственного созидания Москвою? Но если так, почему не в пору своей детской восприимчивости, не при живой Византии и близости от нее мы прониклись этими началами, но в пору недоверчивой замкнутости и уже павшей Византии, разделенные к тому же от нее громадными пространствами и враждебными племенами? Не есть ли византийское происхождение московского склада жизни явление гораздо более кажущееся, чем действительное?

Нам не кажется, чтобы Владимир Св. и его дети, Мстиславы Храбрый и Удалой, Роман и Даниил Галицкие, Олег «Гориславич» – носили особенно византийский облик. В эту пору горячей связи, только что восприняв христианство, впечатлительные до переимчивости многого у половцев, – мы сохранили, однако, общеславянские черты характера, доброго, уступчивого, несколько беспорядочного и слабого. И вот когда Византия из могущественной и привлекательной империи стала рабыней мусульманства, выпрашивавшей у нас денег, – при гордых Иоаннах, при Годунове, при первых царях из дома Романовых, мы хотим видеть Россию проникнутой византийскими началами. Не обман ли это, не приписываем ли мы черт глубоко оригинальных и самобытных – заимствованию? По крайней мере, даже теперь, после двухвекового постоянного и тесного общения с европейцами, облик европейский лежит на нас не так прочно, его легче отодрать, – нежели как лежал особенный, *будто бы византийский*, облик на людях Московского государства.

Утонченная и порочная Византия, мешавшая отвлеченные споры богословско-философского содержания с оргиями, шумом и развратом цирка; Византия, столь жестокая и лукавая, так надругавшаяся над многими своими императорами, едва ли серьезно может быть поставлена как оригинал и прототип Москвы – угрюмо-молчаливой, упорно-настойчивой, гораздо более насильственной, чем коварной, так во всем неутонченной по мысли, по вкусам, по сердечным влечениям, и вместе так преданной крови своих царей – только в этом одном, кажется, нежной и утонченной.

По крайней мере, нам кажется, что все черты этого особенного типа возникли в нашем народе совершенно оригинально и самобытно, как предготовительные для особой миссии государственного созидания, какую

ему предстояло тогда выполнить. И, во всяком случае, раз несомненно, что в истории народ наш не является все с одним и тем же душевным и жизненным складом (а этот склад не изменялся у Византии), – не может быть и речи о каком-либо его заимствовании. Мы уже высказывали ранее и снова настаиваем, что одна и та же основа, например одинаковая догматика и весь ритуал христианства, будучи переносимы в разные народности и в разные эпохи, – дают неодинаковую им окраску. Так нельзя приписать и влиянию византийской церкви и государства весь склад нашего государства, быта, нравственных и других понятий. В некоторые эпохи здесь было сходство, но не было заимствования, подчинения, – или не было его в очень значительной степени.

И, однако, в объеме христианской догматики и всего церковного склада, без передачи более утонченных черт быта, – Византия залегла в нашу историческую жизнь. Выработка этой догматики и всего церковного устройства составляет особенную, великую, всемирно-историческую миссию Византии. Мы никак не должны забывать, что именно Восточной империи принадлежит этот труд, и на Западе он был только принят и усвоен*. Здесь еще раз сказалось вечное стремление исторических процессов к разнообразию, к расхождению задач своих, продуктов своего творчества. В особенном труде, который приняла на себя Византия и, выполнив который она умерла, погибла, – заключено столько же абсолютной красоты, совершенно и неизъяснимо оригинальной, сколько заключено ее в продуктах творчества других исторических народов: в искусстве и философии древней Греции, в праве Рима, и проч., – и это с точки зрения общечеловеческой, вовсе не православной только. Оригинальная черта Византии состоит в том, что, взяв важнейшие моменты бытия человеческого – рождение, смерть, обращение души к Богу, – она окружила их такой высокой поэзией, возвела к такому великому смыслу, к какому они никогда дотоле не возводились в истории. Литургия Иоанна Златоустого или песнопения Иоанна Дамаскина – это в своем роде исторический Капитолий или Парфенон, это так же глубоко, прекрасно и правильно отве-

* Вообще, нам думается, судьба Византии от Константина Великого, ее основателя, до падения ее в 1453 г., представляет интерес и значительность истории особого и совершенно оригинального культурно-исторического организма, и с нею ни в какое сравнение не может идти по значительности и интересу история собственно Итальянской империи, от Августа до Ромула – Августула. Только нужно при этом помнить, что центр истории византийской лежит во Вселенских Соборах, в деятельности Отцов церкви и еретических волнениях, наконец, в жизни и трудах отшельников-анахоретов, – и гораздо менее в императорском дворце и вообще в самом Константинополе. С этой точки зрения, т. е. не с отрицательной, а с положительной, которая выясняла бы исторический труд Византии, – история ее не написана; но для ума глубокого и свободного нет эпохи во всемирной истории столь мало исчерпанной и так интересной. Добавим, что разработать в подробностях и, наконец, воссоздать в целом эту историю составляет прямую образовательную задачу науки всеобщей истории у нас, в России.

чает некоторому предмету своему, как только что названные памятники отвечают своему особому смыслу.

А если мы подумаем, что все-таки навсегда человек останется прежде всего человеком, что его отношение к Богу, судьба души его за гробом важнее для него всяких отношений, государственных, правовых и пр., – то особый труд Византии представится даже для историка-язычника едва ли не важнейшим во всемирной деятельности народов. Такому историку предстоит обнять своим умом те неисчислимые миллионы человеческих сердец, которые все были согреты, вразумлены, наполнены этими песнопениями, этими общими молитвами «о страждущих, недугующих, о мире всего мира», согреты повсюду, где светит солнце, где люди болеют и скорбят, – чтобы понять все ничтожество в сравнении с этим эпикурейского наслаждения искусством немногих избранных или кропотливых изысканий над римским правом толпы мумиеобразных юристов. Обычно принято считать Византию чем-то сухим, от юности старообразным; быть может, это и так. Но несомненно, что в старости своей, быть может глубже всех народов, почувствовав близость к себе великого момента смерти, – она высказала слова неизъяснимой глубины, создала вечно живой цвет, который вот уже тысячелетие наполняет историю своим благоуханием и дает народам силу к жизни, без которой они не могли бы, не захотели и не сумели иногда вынести тяжесть судьбы своей на земле.



Статьи и очерки 1904–1905 годов

1904 год

ПЕЧАТАНИЕ СИТЦЕВ

– Кубовая материя, сударь, кубовая материя, – говорил мне мужичок-рабочий, ворочавшийся около какого-то допотопного механизма и мявший в руке что-то похожее на материю.

Я был студент, неопытный.

– Какая кубовая материя?

Он развернул полосу, состоящую из синих и красных квадратов, в клетку.

– Печатаю ситцы.

– «Печатаешь» ситцы? Но ведь Гуттенберг изобрел печатание сочинений? Прежде писали, а после Гуттенберга стали печатать.

– Не знаю.

– Не знаешь. А с другой стороны, о ситцах я слышал, что их ткут. «Ткут материи», «тканье материи». Не видал, но слыхал. А ты говоришь, что материи «печатают». Как странно!

– Печатаем. В две краски, – красную и синюю. Материя подходит под эту вог сторону куба, и она кладет на белое полотнище красные квадраты, а потом материя заворачивает, а куб тоже поворачивается – и кладет синие квадраты. И выходит в клетку, а материя, как она печатается кубом, называется в торговле «кубовою» и стоит дешево.

Я взглянул. Действительно, как просто: куб поворачивается, материя тоже поворачивается, и разом, аршинами, отхватывает цветную материю. А я был уверен, рассматривая еще ребенком красненькие и голубенькие цветочки на подушке (наволочке подушки), что их разрисовывают кисточкой и потом дают высохнуть. Но неужели и синие изразцы тоже не разрисовывают? У нас была сладкая лежанка, всегда-всегда горячая: и бывало не насмотришься на синих, по белому, птиц и зверей. Хвостатую, должно быть фазана или «жар-птицу», до сих пор помню. Я всегда лежал на лежанке и – глупое занятие! – пускал слюну по свободному краю. «Далеко ли дотечет?» Это меня ужасно занимало. Разбаливалась голова от усилия, – а я все пускал. Мама бранила, но сечь не решалась.

* * *

Так вот как, не «рисуют» картинки, а «кубом»... Может быть, в точности много выходит, так что в красно-синие наряды успевают обрядить 140 миллионов, когда прежде, «разрисовывая от руки», принаряживали всего несколько сот тысяч каких-нибудь «древлян» или «кривичей».

«Кубовые» эти материи чаще и чаще приходят мне на ум, когда я беру, для очищения совести, журнал, газету, а очень часто даже и книгу, с благочестивой целью поучиться.

– Нет, это решительно не литература, а какое-то «печатание ситцев». Никакой разницы в производстве. Тоже берется какой-то механизм, приблизительно доска, и прикладывается к бумаге так, к бумаге этак: и вышло – «сочинение». Что-то подобное есть. «Кубовая материя, сударь», – говорил мужичок. «Писатель» давно стал таким печатающим «кубом», у которого одна сторона выкрашена в синюю краску, а другая – в красную. Бумага, т. е. будущая «книга» («книжка» журнала, осмелюсь сказать, «листок» газеты, решаюсь подумать), шлепается то о правую синюю, то о левую красную сторону писателя: и выходит... в самом деле выходит, черт возьми, книга, с оглавлением, предисловием, даже с примечаниями и, следовательно, эрудицией. – «Так вот как делается алгебра», – мог бы сказать Петрушка...

Я хочу этой шуткой сказать необыкновенно грустную мысль, что от усталости ли человеческой, от множества ли печати или во исполнение магического слова, принесенного на землю некогда: «к концу времен – охладет в людях *любовь*» (энтузиазм, всяческий порыв), но менее и менее становится видно в литературе *личности* человеческой. Точно пишет «вообще человек», «куб», а не Иван Иванович, человек таких-то манер и характера, имеющий миленькую жену и кучу розовых херувимов. Черт знает, *кто* пишет: мужчина, женщина, старый, молодой, эллин, иудей... *Ничего* не разберешь. Видишь только – *тему* и что ее ворочает какой-то «куб»...

* * *

Душа скрылась из литературы; и работают какие-то «общие способности». Все индивидуальное, «мое», «не чужое» – меркнет! неудержимо!! Работать начинают в *каждом* именно «не его», а «чужие в нем» качества души. Посмотрите, как притупилось в *каждом зрении*, наблюдательность; даже *интерес* смотреть, взглянуть! Тема, необъятная в сложности, вызывает только скользящую о себе мысль; не думайте, что это *неспособность*: нет, действительно ни на *нее*, да и ни на *что* «не хочется взглянуть». «Не хочется» взглянуть: «не хочется» подумать. Бедный человек, чего же тебе «хочется»?

Умереть?

ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ

Мысль о великой драме царевича Алексея и царя Петра так и закипела во мне, едва я прочел первые страницы нового романа Д. С. Мережковского «Петр и Алексей» в книжке «Нового Пути». И по одной особенной причине.

Автор на первый фон выдвинул фигуру царевича – доброго, милого, тихого, сонного:

«А мухи все жужжат, жужжат, и маятник чикает, и чижик уныло пищит; и гаммы доносятся сверху, и крики детей со двора; и острые, красный луч солнца тупеет, темнеет; и разноцветные фигурки движутся; французские комедианты играют в чехарду с березинскою бабою; японский поп подмигивает птице Малкофее (рисунки на изразцах комнаты). И все путается, и глаза (царевича) слипаются. И если бы не эта огромная липкая черная муха, которая уже не в рюмке, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошо, спокойно, и ничего бы не было, кроме тихой, темной, красной мглы».

Это комната царевича, – комната, которая всегда есть «образ и подобие» живущего в ней. А вот и он сам:

«Оставшись один, царевич медленно заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнули, потянулся и зевнул. Стыд, страх, скорбь, жажда раскаяния, жажда великого действия, мгновенного подвига (он только что говорил с приверженцем своим, старой веры человеком, который сочинил нечто вроде молитвы-заклинания против «вражьей силы» его отца) – все разрешилось этою медленною, неудержимою до боли, до судороги в челюстях, и более страшною, чем всякие вопль и рыдание, безнадежною зевотою».

Кто не думал из русских о драме несчастного царевича, которая как бы олицетворила в себе драму всей старой Руси при Петре, в то же время явившись центральным по ужасу, несправедливости, по несчастию и по необходимости событием среди всех кровавых, *неумолимых* событий того времени?! Отец и сын рассорились, разделились, противоположились: и не было (действительно не было!) средств, путей, способов примирения. Все, что могли бы придумать для этого люди, развалилось бы, как глина около железа.

Д. С. Мережковский только не назвал, но нарисовал суть расхождения. Дело было не в расхождении идей; не в разных стремлениях; не в том, что одному нравилось все новое, а другому нравилось все старое. Это все – на поверхности. Дело было в органическом, физиологическом расхождении: и было, поэтому, непоправимо иначе как смертью одного из них... от болезни или от рук. Царевич не захворал, не умер; он все «скришел» (нравственно, духовно, физически); и в *factum* истории русской вмешалась кровавая рука, которая *доделала* то, чего не сделала *нужная* бы, милостивая, благодетельная в этом случае (для всех сторон: для сына, отца, России) болезнь. В первый раз из этого ужасного случая, ужасного исторического сцепления

я начал себе хоть как-нибудь объяснять сочетание «божественного милосердия» с преждевременною иногда, детскою болезнью и смертью, всегда поражающею, как жестокость и бессмыслие.

Царевич не любил нового, потому что оно нарушало тишину его комнаты; гнало прочь муху, жужжавшую у него в волосах. Умри Петр раньше, вступи на трон он: он вовсе не стал бы побороть Петрово дело, отменять реформы; он распустился бы, как сахар, в сироп: и все, вся Россия, уже сколоченная железною рукою в далекое океаническое плавание, уже собранная вновь точно в-точь, как и московские цари «собирали Русь», но только иначе и для других целей, – эта Россия тоже распустилась бы, завалилась, покрылась «мухами», «загаживающими» ее... и, вероятно, умерла бы; т. е. если бы не привзошел другой великий возбудитель. И если нужно было России жить, если для этого было Провидение, царевичу нужно было умереть.

Но как ужасно! Ведь отец и сын...

А разве не ужасно другое: отечество и царь?..

Мы можем только сопоставить, спросить: а ответить – душа леденеет. Есть вопросы, на которые *нельзя* ответить: пусть Бог творит, что ему угодно, – а мы только смотрим, жалостно сжимаем руки, не можем благословить, не можем и проклясть; не умеем, даже не хотим молиться и только вздыхаем.

«Αναγκη – необходимость, рок»

– вот эпитафия на могилу страшного события, жалостной смерти.

Отнюдь я не за Петра в этой ужасной драме. В поразительной сцене свидания сына с отцом Д. С. Мережковский тонко подметил, как *любил* сын отца. Это тонко, это хорошо; это давно нужно было сделать. Царевича Алексея слишком осуждают историки-прогрессисты и гипнотизировали читателей мысль, что это была кукла, которая, в сущности, и не умирала живою смертью, а просто выброшена была на задний двор, за негодностью. Романист и поэт лучше понял дело, – жалостливее и истиннее. Негодность Алексея была именно для трона только, царственная, а человечески он все качества имел. Ну, пусть я худой писатель: исключите из литературы; но чтобы меня за это повесить, замучить, отнять самое право жить и быть счастливым: это что-то до того ужасное, чего ни у львов, ни у тигров нет. Это нероновощина, иудино, сатанинское. Это против Бога, человечества; это в своем роде, хоть она и с одним лицом происходит, революция не меньшая, чем как если бы завалилась и развалилась Россия.

Не трясите небо ради сохранения земли. Я слаб, но я добр: задавить меня за бессилие – это значит до того смутить небо и землю, так ужасно запутать законодательство в *вечной* его *стороне*, что жить станет безнадежно, страшно, что не захочется жить. Если царевича Алексея только за то, что он не мог поднять на рамена дело Петра и понести дальше, вообще понести, можно было задавить: ну, тогда давите меня, как бездарного писателя, моего читателя – как не очень меня понимающего; и вообще неизвестно, где это можно окончить.

«Решилась (погибла, пошатнулась) Россия», – кричит смоленский мужик в «Войне и мире», когда французы действительно начали штурмовать город, чему он долго не верил. Он бросил свою лавочку и имущество. В бессмыслии, душевном страхе, не понимая, что делает, он хватается поленом и начинает бить жену. Не от жестокости, а потому, что ужасно вокруг, не для чего жить.

– Если *решилась* Россия, то и я, мужик России, решился.

Ну, а если бы *в самом деле* «решилось небо»: то ведь тогда Россия, Франция, да и самая планета и ее всяческая суть «решилась» бы тоже. Тогда и России не надо. Если царевичу Алексею, *без своей вины, без заслуженности* нужно было умереть (а он смерти своей несомненно не заслужил), то на кой черт и России существовать?

Воображение работает; и эта невинная смерть человека в исходном моменте «новой России» навеивает религиозные страхи, суеверия. Понимаешь, как образуются «легенды», потому что в самом деле образуется легенда. Помните, в старое злое время, когда по земле ходили еще «колдуны», – строя город, считали нужным для его будущего благополучия зарыть в землю живого человека. Но тогда («злое время») верили, что от этого будет добро, а теперь верим, что от этого выходит зло. И кости царевича как будто все шевелятся в могиле и не дают, доселе не дают покоя и мира душе живущих. Со смертью этой привзошло в «новую Россию» роковое начало, – именно временности и сокрушимости. Все ожидают, до сих пор ожидают, что «дело Петра» где-то имеет себе окончание, и «новая Россия» должна смениться «новой Россией». Суровой расправой с сыном Петр внес принцип: «цель оправдывает средства», который стал практиковаться и потом. Но лучшие русские люди не мирятся и едва ли когда помирятся с этим принципом и вечно бывают возмущены или смущены его практикой.

Петр был «тучегонитель»: так греки называли своего страшного Зевса. Г. Мережковский, по-видимому, готов внести в роман много физиологии: и портрет Петра, с этой подпочвы показанный нам при первом же появлении, глубоко заинтересовывает, заинтересовывает новым интересом. Конечно, «матушка физиология» есть как будто «покров Пресвятой Богородицы» над всяческой психологиею, и по зависимости от последней – самой историей. Петр был необыкновенен даже физически: не одною громадою роста и силою, но, например, этими пухлыми, почти шарообразными щеками, а вместе и нежною, странною, не виданною ни у кого (я никогда не видел у мужчин) ямкою на подбородке. Сверх грозы в нем было и таинственное очарование. Словом, это был необыкновенно рожденный человек, и Наталья Кириловна есть настоящая «мать Новой России», давшая ей «такого сына»: тут обстоятельства, воспитание, немецкая слобода и проч. суть лишь помогающие обстоятельства, а не первоначально зиждущие. «Каков в колыбельку, таков и в могилку»: и детская колыбель в комнатке Натальи Кириловны и несла в себе «Новую

Россию», которую могла погубить только какая-нибудь скарлатина, дифтерит, а уже не могли погубить ни стрельцы, ни старoverы, ни Карл XII.

Обратно, царевич Алексей, рожденный от вялого брака с нелюбимую Евдокию Лопухиной, только звал на себя мух. Тут вина, конечно, не в несчастной царице, а в том, что ее не любил Петр. Царевич, вяло зачатый и рожденный, мог сказать только одно заклинательное слово Петру, которое должно было остановить «тучегонителя»: «Батюшка, да ведь я – *это ты* в несчастный период твоей жизни; ты не любил, скучал, отворачивался от родной моей матушки: и вот вышел я, как твоя хиленькая любовь, такой же хиленький, бездарненький, но добрый, но милый, но умный даже. Только я ничего не могу; не могу не только продолжить твоего гигантского дела, но и вообще ничего. Пусти меня в монастырь. Я ни для чего не опасен; ни для кого; меня вон мухи поедают, и я не могу их отогнать: могу ли я согнать с лица земли твои подвиги».

Да, монастырь, если не детская скарлатина, вот что могло разрешить драму между отцом и сыном. Поразительно, что никто из духовных лиц не подсказал Петру этого решения. Петра мы тоже очень судить не можем. Дитя его была Россия, дитя тоже слабое, беззащитное (какою он нашел ее). И он, гигант, поднялся на защиту этого «найденного при дороге» дитяти и порешил родного сына, который бы заморозил, погубил то найденное в несчастии дитя. Петра судить тоже невозможно. Россия не имела более любящего ее человека, и не России судить такого царя, хотя бы перед Небом он был и виновен. Но пусть же Небо его и судит, или пусть судят другие народы, но не наша Россия. Для нас образ его, «лик» его, хотя бы и страшный, хотя противонебесный, священен и некасаем.

Роман г. Мережковского, обещающий новый пересмотр «дела Петра и Алексея», захватывает читателя самым живым волнением. Уже давно мы не имели большого романа из русской жизни. А тут и эпоха взятая до того живописна, так идейно важна, и в сущности так еще не обсужена, что каждая глава (я прочел лишь первую, и пишу под живым ее впечатлением) рождает тучи мыслей. До сих пор живопись удачна, кроме 3–4 первых страниц: в рисовке старика Докукина много ума («неинтересное лицо», «берет взятки», а в сущности – святой человек, русский Муций или Сцевола, который вот-вот погибнет за старую Русь), но его следовало бы очертить более свободною в движениях кистью. Г. Мережковский все опасно придерживается за документ, и это связывает его. Но там, где он меньше стесняет себя документом или где документы слишком многочисленны, так что можно начать созидать: перечитав и отложив их в сторону, – там теплое чувство поэта и воображение художника делают то, чего никогда не удастся сделать историку. Получается дышащая фигура, взглядывая на которую вдруг объясняешь себе множество документов.

В УЧИЛИЩНОМ ДОМЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II

Когда веселье выходит удачно, то нигде удача не бывает так красива, как у народной толпы. Массою своею она подхватывает вас и заражает своим настроением, могущественным и непосредственным. В настроении этом столько свежести и здоровья.

В училищном доме имени императора Александра II рождественская «елка» была разделена на два дня: и в один из этих дней я попал более чем в пятисотенную толпу еще почти совершенных детей, детей подрастающих, отроков и уже начинающих мужать девочек и мальчиков, и их веселых гостей. Маститый председатель училищной комиссии при городской думе Пав. Ан. Потехин расхаживал среди этой огромной детской толпы, радуясь на нее тою особенною радостью, какую может испытывать человек, видевший время, когда еще и не шевелилась мысль об эгом широком, можно назвать – роскошном призоре и обучении, какое теперь дается, по крайней мере в Петербурге, детворе самых низших ярусов населения. И я вспомнил, гуляя по залу и осматривая классы, о мысли филантропов, что школа, особенно для детей бедных классов, не должна быть только местом учебы, но и некоторым местом идеального отдохновения, где, может быть, единственно они видят обилие света, воздуха и, наконец, человеколюбивое и образованное к себе отношение. Огромный зал, с роскошным деревянным, без штукатурки и красок, потолком, просторные классы с обилием в них света, со всяческими учебными пособиями, очевидно преданные своему делу учительницы и распорядители школы и вполне доверчивые к ним, смелые, мужественные дети: все говорило о каком-то детском учебном дворе, воздвигнутом – за это ей спасибо – городской думою.

– Но, послушайте, откуда же столько детей в начальном училище?

– Их соединено здесь девятнадцать училищ, и вот-вот будет открыто двадцатое: особое отделение, куда будут выделены ученики и ученицы совершенно неспособные из всех училищ. Ради двух, трех, десяти таких учеников страшно задерживается все учение в классе. Учитель бьется с ними, и эти минуты проходят совершенно бездельно для остального класса. Приходится замедлять объяснения, убавлять задаваемые уроки. Весь класс хромает, потому что с ним идет десять природно-хромых мальчиков. Теперь они будут выделены особо, – и остальные пойдут нормальным, более скорым шагом. Для этих же будет издана особая программа, особые условия учения, с правом оставаться в школе большее число лет, чем назначено уставом.

В самом деле, везде у нас учение приноровлено к какому-то «среднему уровню», которого на самом деле не существует: ибо он разлагается скорее на очень способных, – и для последних темп учения тих; и на совершенно неспособных, для которых этот темп все-таки чрезмерно быстр. Конечно, когда множество учеников, надо разделить их на группы по живости даро-

вания и проходить программу соответственным образом с каждой группой. Но благая эта мера невозможна в маленькой школе, и они обычно гибнут в педагогическом смысле.

– У вас учеников более тысячи, но откуда же они берутся, ведь не из района же Лиговки, Знаменской и Греческого проспекта?

– Отовсюду из Петербурга. Они имеют от города бесплатный проезд по конке, и расстояние не составляет препятствия. Зато соединение их в этом одном доме дает возможность применить здесь вещи, невозможные в маленькой школе. Возьмите медицинскую сторону: здоровье учеников находится под наблюдением нескольких врачей-специалистов, и они не только лечатся, в школе и на дому, в случае болезни, но школа наблюдает за развитием у них зрения, за полостью рта и зубов, приводя все в свой порядок, без упущения, в нужное время. У нас в числе врачей есть даже собственный дантист, – именно для наблюдения, а не для дергания уже негодных зубов. Но обратите внимание на поведение этой многосотенной толпы, которая в сущности взята от подонков населения. Тут дети ремесленников, прачек, дворников, людей «без занятий», всяческих.

Торжество продолжалось от 3 часов почти до 8, и было достаточно времени внимательно понаблюдать детей. Сверх крайнего оживления, не было ничего, и, к моему удивлению, не было даже того гама и шума, почти невыносимого для слуха, который я привык соединять с огромной ученической толпой. Во время небольшого театрального представления по одному слову инспектора училищного дома все передние ряды, до самых задних, сидели на пол: и зрелище на сцене становилось видно всем до конца залы. Я не заметил в течение пяти часов никакого неповиновения и наказания. И когда спросил об этом, услышал удивительный ответ:

– В училище и нет вообще никаких наказаний. Если вы будете наблюдать внимательнее, вы увидите, что все до одного беспрекословно и с пониманием повинуются инспектору училища. Это опытный педагог, бывший ранее более 25 лет учителем в городских школах. Никто никогда не видел, чтобы он кричал на ученика или топнул ногою, а ведь ученики тут есть всякие. Все достигнуто умом, распорядительностью; тем, что не дается распоряжений, необходимость и польза которых не была бы видна самим ученикам. Можно сказать, ученики также воспитывают себя, как их всех – школа: и они помогают школе, а школа им. Все выходит легко, приятно, с взаимной помощью, без ломания характера, без жестокости со стороны школы.

– Как же у вас учатся мальчики и девочки? врозь? вместе?

– И вместе, и врозь, смотря по классу и летам. Применение совместного обучения дает удивительные результаты. Если мальчик шалун, с наклоном к озорству, то достаточно посадить на парту рядом с ним девочку – и о прежних шалостях или грубости нет помину. Но мальчики в общем умом бойчее девочек, любознательнее: и это возбуждает в девочках соревнование. И для учения, и для поведения получают результаты от со-

единения полов хорошие: все грубое, плоское, уличное отпадает тотчас, как только ученики чувствуют себя в комнате, а не в педагогической казарме, в семье, а не на улице, которую так напоминает собою толпа учеников.

Боже, до чего несчастны были мы в этом отношении лет тридцать назад! Что такое «учительница», «классная наставница», «подруга» по учению – мы и понятия не имели и вели себя в 12–13 лет, как казаки в Запорожье. Надругаться над какою-то отвлеченною «женщиною», «барышнею» составляло первое удовольствие.

Вошла женщина, барышня (как здесь) – и все рассеялось. Рассеялось перед милостивым, добрым, приветливым.

НЕ НАПРАСНЫЕ ЛИ ВОЛНЕНИЯ?

Среди многих причин нашей малой исторической опытности и нашей государственной в некоторых отношениях слабости нужно назвать нашу малую последовательность, которая дает в итоге впечатление слабой настойчивости. И это огромное обстоятельство создается едва ли не более всего самыми маленькими причинами. Их я наблюдал в двух ведомствах, где служил в былые годы. Стоит умереть, выйти в отставку или перевестись на другое место какому-нибудь чиновнику, как на его место поступивший начинает немедленно же уничтожать все, что сделал характерного, особенного и иногда очень полезного его предшественник, – уничтожать с какою-то почти личною враждою, с глубоким неуважением. Можно подумать, что гг. чиновники все ненавидят друг друга: до такой степени уничтожить труд другого составляет сладкую задачу существования почти всякого «статского», «действительного статского», «тайного» или «действительного тайного» советника. Кажется, такая уничтожительная работа более всего адресуется к подчиненным: «Вы еще помните Ивана Ивановича, моего предшественника, а! – так я заставлю вас забыть о нем»; «вы его чтите, уважаете, вспоминаете, как он мирволил вам, выдавал пенсии, наградные, не обременял трудом и вместе держал в порядке делопроизводство: так я скорее уж расстрою все делопроизводство, нежели оставлю хоть камень на камне в этом застывшем сорокалетнем течении бумаг и форм составления их, которые он завел и к которому вы привыкли». И, смотришь, через год, через полтора изменены все формы делопроизводства; память предшественника старательно стерта.

Не жалко, не очень грустно, когда это касается какого-нибудь заурядного чиновника, создателя только форм. И становится положительным вандализмом, когда уничтожительная работа относится к лицу замечательному, историческому. Когда стараются погасить дух человека люди, не имеющие приблизительно никакого «духа».

В Казанском Поволжье, среди русских, среди крещеных татар, вотяков, черемисов, среди лиц правительственных и частных, свято чтится имя и подвиг педагога второй половины XIX века Н. И. Ильминского. Русский и

православный до мозга костей, он младенцев – дикарей Поволжского края начал переводить из местной тающей народности в общерусское русло, общехристианское русло, дав им почувствовать душу русскую и христианскую, – в уверенности, что за душою сойдет и тело, что за очарованием внутренним настанет усвоение (не сейчас, а потом) и русских форм, и христианских форм. Приходят в лес, в поле, в черемисскую или чувашскую дичь, где стоит свой говор, где никто, кроме старшины, ни слова не понимает по-русски. Приходят сюда священник, педагог. Что же они станут здесь делать? Поучать по-русски? Поучай, сколько знаешь: никто не услышит, ибо никто ровно ничего не поймет. Конечно, умный должен быть мудрее глупого (наивного), взрослый – малолетнего и сильный – слабого. Конечно, русский, пришедший сюда просвещать, именно как взрослый, как сильный, как мудрый – должен начать изучать инородцев, усвоить их язык и объяснить, в этих инородческих формах, русское содержание дикарям (в мягком смысле); объяснить, кто такой он, священник, кто такой он, педагог; какое их дело, зачем они пришли. В дикую и наивную душу они должны влить музыку нового напева, неизвестной мелодии; и, очаровав его, – уже повлечь к усвоению и всего состава русских форм. Это – коротко, если написать на бумаге; но если исполнить – это подвиг всей жизни; и таким подвигом наполнил свою жизнь Н. И. Ильминский. «Главную заслугой вашей деятельности за время обер-прокуратуры Святейшего Синода я считаю покровительство, которое вы оказали деятельности Ильминского», – сказал, сменив его на этом посту, К. П. Победоносцев гр. Д. А. Толстому*.

Но это все не понравилось инспектору народных училищ в Мамадышском уезде (Казанской губ.), населенном преимущественно инородцами, г. Краснодубровскому, и в ряде статей в «Моск. Вед.», которым редакция газеты предпослала передовую статью, указывающую на всю важность поднимаемого вопроса, он ополчается на насаждение Ильминского, на всю его систему обучения инородцев, на учеников его, ныне подвигающихся в крае в сане священников или в должности школьных учителей, усматривая как в одном, так и в других... дух сепаратизма в отношении к России! «Сепаратизм» на Волге не представляет ли явление, как если бы Сивцев Вражек (улица) вздумал отделиться от Москвы или Литейная – выделиться из Петербурга, т. е. страх сепаратизма здесь не является ли плодом болезненной фантазии сего администратора, которому хочется и начать с себя новую историю, и трудно ему и подчиненным его подъять на плечи свои в сущности нелегкую задачу Ильминского. Ибо прийти в инородческий край и научиться языку его – это, конечно, трудно; а начать говорить по-русски среди чувашей и мерами строгости добиваться, чтобы они понимали русскую речь, – для этого ни педагогом, ни христианином быть не надо.

Статьи, напечатанные в №№ 286, 288 и 289 «Моск. Ведом.» («Инородческая школа Казанского края»), вызвали ответ кандидата Казанской ду-

* Перепечатано неоднократно в биографиях Ильминского и воспоминаниях о нем

ховной академии г. Р. Даулея: «В защиту крещеных инородцев». К ней составил обширные примечания профессор М. А. Мамонов. Из примечания под заголовком брошюры мы узнаем, что ее составил крещеный инородец из татар, учившийся первоначально в братской школе св. Гурия, затем – в центральной крещено-татарской, потом в инородческой учительской семинарии, и, наконец, в Симбирской духовной семинарии. Написанная чрезвычайно литературно, она любопытна уже как образец русского мышления и языка (духа языка), работающего в татарской голове, в татарской натуре. Автор заступает за инородцев, за этих сирот истории. Да по-моему, и дико не заступаться за отчичей. Но любопытно, что весь склад его мышления, все приемы полемики – приемы русского образованного человека, без остатка, без всякого разграничения от русских, без тени мышления мусульманского. Что же сохранилось у него общего с инородцами, соотчичами? А кое-что сохранилось. Да именно и сохранилось филантропическое христианское чувство жалости, какое присуще и всякому русскому «народнику» в отношении к своей родной, русской и православной, деревне. Вечное требование «не убий», и только; т. е. «не убий» не только физически, но и духовно, культурно, этих детей истории: «не убий» их нетерпеливым и грубым переименованием быта, языка. Дай работу времени: и время, разумеется, если не будет дремать школа и училище, переработает без страдания и боли всю эту инородческую массу – в коренную русскую. Он говорит в заключение брошюры:

Созданная приснопамятным Н. И. Ильминским система просвещения инородцев, разумная сама по себе и особенно умело применяемая на практике, дает полное основание надеяться, что православная церковь соединит воедино разноплеменное население нашего отечества под знаменем Евангелия, проповедуемого сначала на разных языках, а далее путем школьного воспитания и обучения сольет воедино разноязычные племена и по языку, разумеется языку государственному: это последнее слияние только вопрос времени при слиянии народов под знаменем Креста».

Весь спор ведется именно около теплого чувства инородцев крещеных – к еще не крещеным; но это не есть сочувствие или тайное подстрекательство к их «некрещености» или к их «вне-русизму», как подозревает г. Краснодубровский и «Моск. Ведом.». Это – чисто этнографическое чувство, скажем грубее и понятнее, чувство животное (без порицания), чувство родства, чувство, пожалуй, мужиковатости и демократизма почти в бариче, в «белоручке», выучившемся в семинарии и даже Духовной академии. И это – доброе чувство; чуть ли даже не от нас, русских, взято, ибо и у нас везде не особенно жалуются «белоручки» и «чистяки», гнушающиеся «своей вчерашней породой». Г. Краснодубровский жалуется в одном месте, что есть инородцы-священники, женатые на инородках же, притом не знающих русского языка. А. Р. Даулей свидетельствует, что массовые отпадения креще-

ных татар опять в магометанство, имевшее место в Казанском крае весь XVIII и XIX век до деятельности Ильминского, – прекратилось, как только этот замечательный педагог дал инородцам богослужение православное и все наши молитвы на их родном языке. Г. Краснодубровский усмотрел в этом «начало инородческой церкви». Но уже это – безграмотность. Ибо религия знает разницу догматов и не занимается различиями языков.

ИНОРОДЧЕСКИЕ И ВЕРОИСПОВЕДНЫЕ ВОПРОСЫ

Поволжское инородческое население обнимает собою несколько миллионов. Уже по этому одному отношению к нему представляет чрезвычайную важность. Если же принять во внимание, что по этнографическому и религиозному своему составу оно представляет соединительное звено между Европейскою и Азиатскою Россиею, служит мостом перехода из Европы в Азию или, пожалуй, обратно – из Азии в Европу, то значение этого края еще возрастет в наших глазах. Нужно, очевидно, раз и навсегда хорошо определить отношение русского и христианского к финско-татарскому и мусульманскому.

Побеждать нужно не силою, а святостью и мудростью. Победа в области вер и народностей всегда ведется, в сущности, на начале эстетическом и нравственном. Видя доброту и деликатность русских – полюбят русских; созерцая красоту наших церковных напевов – полюбят нашу церковь. На днях писалось о втором священнике нашей Берлинской посольской церкви, немце и лютеранине, который в самом Берлине оставил веру отцов и перешел в нашу. Вот это победа! Но под этим замечательным фактом лежит другой факт, любви и эстетики: священник Мальцев, состоящий при Берлинской посольской церкви, перевел на немецкий язык русское православное богослужение. И красота и мудрость последнего, действительно неизмеримо превосходящего лютеранское, завоевали немца. Значит ли это, что мы можем надеяться на переход немцев, гуртовой, в православие. Ничуть. Насколько словесная красота славянского богослужения (эстетическое начало) выше лютеранского, настолько моральная жизнь православных грубее, грязнее, порочнее жизни этих одушевленных евангеликов, расппевающих свои гимны и полных (в самом деле полных) страха Божия. Победа русских над немцами (допустим в идеале) и возможна лишь на почве этого полного сознания как своего превосходства в одном, так и своей слабости в другом. Протоиерей Мальцев сделал только половину дела, и даже она не имеет настоящей искренности, пока он не сделал вторую половину или не призвал других ее делать: пролить и к нам, русским, эти их гимны, может быть музыку, и непременно уже *практический* страх Божий, благочестие и правду поступков. Секрет победы (культурно?) кроется в скромности. Приходим ли мы в Азию, говорим ли с Европою, мы, в сущности, иногда принимаем несимпатичный вид: все должны нас перенимать, а мы ни у кого и

ничего не должны перенять. Вот ведутся уже много лет переговоры и со старокатоликами, и с англиканами о «соединении», о «слиянии». И ни единого-то слова с русской стороны не было сказано: ну, а что же *мы* им могли бы уступить, в чем же их с собою согласить, а самим с ними согласиться. О чем бы этнографическом или вероисповедном ни зашла речь, мы имеем вид московского купца, разговаривающего с «подручным». Все должны нам уступать, с нами соглашаться, сами обезличиваться и принимать в себя лицо русского: только «борода лопатой», вот видите ли, должна красоваться в истории нашим несокрушимым монументом. Напрасные иллюзии. «Борода» останется одинокой и бессильной, если прежде всего не поймет, что и другие веры и народности имеют свои заслуги в истории, качества, от которых им вовсе отказываться и не следует, а нам у них поучиться не мешает.

Взять наивную, скромную, дикую вотячку и поставить ее рядом с гуляющей сельской девицей из русских: и поймешь, почему священник-вотяк женится на своей, а не на русской.

Взять трезвость татар, их добросовестность в исполнении обязанностей, присмотреться к их прямому росту, статности сложения, чистому лицу, спокойному взору – и опять скажешь: «Тут есть над чем-то задуматься русскому. Отчего это у них, а не у нас? *Случай ли* это, над которым и думать не стоит, или тут действуют глубокие внутренние причины, до которых доискаться нелегко, а поискать их, однако, любопытно».

Ни вопроса об алкоголизме, ни вопроса об известной дурной болезни среди мусульманского татарского населения нет. И они, перед тем как креститься и заговорить по-русски, даже, пожалуй, до записи в члены Русского собрания, вправе спросить: «Хорошо, завтра мы все будем православные и русские, но гарантируете ли вы нам, что ни в третьем, ни в десятом поколении наши правнуки и внуки не станут ни алкоголиками, ни сифилитиками».

Мне кажется, самые уверенные члены Русского собрания не решились бы, ну хоть под залог недвижимой собственности («так» наобещали бы «горь»), на то мы и лукавны, на то мы и «русские»), гарантировать здоровье и элементарную нравственную чистоту будущим православным и русским. Как и священник Мальцев едва ли обещал твердо, что внук того немца, который увлекся красотой нашего богослужения, будет в Москве вести торговые дела так же пунктуально, трудолюбиво и ответственно, как его дед на Wilhelmsstrasse.

Словом, неторопливость, скромность и непрестанное памятование о вечных (всемирных) началах эстетики и этики – вот узел вопросов этнографических и вероисповедных, более и частных специальных.

Победи красотой – и будешь народ-король.

Победи добротой – и будешь народ-царь.

Победи здоровьем и трудом – и тебе не опасны

соперники, армии и флоты.

Инспектор Краснодарубровский действовал и действует по совершенно обратному принципу: «Мы господа, мы завоеватели края: подчиненные племена (и, косвенно, веры) должны сливаться с нами просто потому, что они внизу, а мы наверху». Везде тон у него формальный, сухой, не внедряющийся в предмет. Нигде нет и вопроса о том: «А каков я сам, несущий цивилизацию?» Нигде этического и эстетического мерил вещей, везде один начальнический глаз.

«При малейшем посягательстве инспекции училищ не только на изъятие, но даже и на ознакомление с учебниками в медресэ (специальные туземные, вероисповедные школы), ей грозит или кулачная расправа в самом здании медресэ у столика, где лежит коран, или колья на улице. Знаю это по собственному горькому опыту».

Опыт этот «горек» не только как его личное испытание, но и как неудача русская, как ошибка русской культуры. Татарам едва ли есть дело, что это «г. Краснодарубровский». Он для них «вообще русский человек». И как Н. И. Ильминский стяжал славу не себе лично только, а русскому имени, так г. Краснодарубровский, вызвав такой эпизод с собою, нечто отнял из чести и славы русского имени.

«До 1901 г. мусульманские школы были избавлены от фактического контроля директоров и инспекторов народных училищ и учебное начальство не было надлежащим образом осведомлено, что делается в них. Теперь обстоятельства несколько изменились, но дело в том, что директору или инспектору народных училищ, если только они вздумают посетить татарскую школу, будет показан казовой конец ее (как будто у русских, при ревизии, не кажут тоже «казовый конец»?!), а затем может ли инспекция училищ, на которой лежит ближайший надзор за школами, серьезно, обревизовать их, если на ее попечении лежит их около трех сотен да вдобавок к ним еще обширная канцелярия».

Вот в чем дело. Своих школ, русских, обревизовать некогда, а нужно обревизовать и татарские! Некогда сделать педагогического дела, а приходится делать «только-политическое» – обрусение вотяков и черемис! Но чем виноваты в этом вотяки и черемисы?! Да еще канцелярия... Если только раз в год посетить школу, то, принимая во внимание каникулярное неучебное время, когда ревизия невозможна и бесполезна, все же и по разу в год не побываешь в школе. А тут надо «досмотреть и досмотреть». Но чем в этом виновна бедная татарва? Не ясно ли, что Русь все еще остается «обширной и обильной, а порядка в ней нет»; и если татары и мордва не обрусели, то не от того, что не хотят русеть, сопротивляются, а от того, что «русить» было некому, некогда и не на что.

А между тем г. Краснодарубровский смотрит далеко, видит зорко. Г-н Краснодарубровский продолжает:

«В медресе поступают молодые люди от 16 лет до 21 года. Кто они, откуда, имеют ли законное право на обучение (?!), благонадежны ли они в политическом отношении, часто не знает не только инспектор училищ, но даже и полиция. Полный хозяин в медресе мулла. Фактический контроль над ним весьма затруднителен, потому что инспектор и полицейский чиновник для него прежде всего гяуры, обмануть которых для них прежде всего большая заслуга перед пророком»... И пр.

Ну, я помню и у русских учителей гимназий первый вопрос при «нагрянувшей» ревизии – как бы «провести за нос начальство». А мне известно из одного определенного случая, что когда проезжает через округ министр, то и попечитель, совершенно не скрываясь от подчиненных, думает только: «Хоть бы все обошлось благополучно». Был случай, когда уездную гимназию посетил именно министр, и даже с чрезвычайным штатом. Сопровождал его по своему округу попечитель. Ученики (конечно, случайно, гимназия была прескверная, заморенная и хитрая) отлично отвечали. Министр и попечитель выехали дальше, в губернский город; а попечитель и дай телеграмму назад (на имя гимназии): «Распустить (на гулянье) учеников на три дня». 17 октября, короче, праздновали. А ведь попечитель – тайный советник, под ним восемь губерний. А как дошло (или дойдет) дело до ревизии, и он старается, чтобы министр не заметил никаких изъянов в деле. Так чего же спрашивать от муллы, от инородцев? И они повторяют то же, только с оттенками. Я даже нахожу, что это «обрусение», ибо очевидно отражает общерусский строй.

Нам нужно самим хорошо выучиться и несколько перевоспитаться, а уже затем и «нести русскую культуру». Посмотрите, как не оглядывается на себя г. Краснодарубровский; какова его речь, приемы обучения, почти сводящиеся к приемам надзора и спора, и сравните с речью и приемами покойного Н. П. Гилярова-Платонова:

«Впечатлению, какое оставляет на инородцев церковное пение на их родном языке, должен радоваться не только тот, кто дорожит успехами христианства, но и кто дорожит успехами русского просвещения вообще. По-видимому, наоборот, а в действительности так. Обработка языка, соизидание особенностей литературы ведет к умственному, а иногда и политическому отделению от господствующего народа только племена, мало-мальски вкусившие развития, мало-мальски пожившие исторической жизнью, и притом сознавшие свою отдельность, кроме языка, и по другим стихиям народности. Но для племен первобытных, которым притом господствующий народ дает все стихии просвещения без изъятия возвышения их родного языка к принятию просвещенных понятий, есть только дверь к окончательному слиянию с господствующим племенем. Стефан Пермский просвещал зырян на их собственном наречии. Но что же осталось от зырян и от всей великой Перми? Точно так же и чуваша, и прочая финская мелочь, и все наши инородцы, им же несть числа, просвещением через собственные наречия только скорее в одно сплошное целое сольются и с народом русским, и с языком русским» (из «Современных Известий» за 1868 г.).

Вот в этих словах, нам кажется, и содержится «путь истина в живот» отношений наших к инородцам. А самая цитата эта, взятая из русского славянофила крещеным татаринном Даулеем, пожалуй, хороший образчик настоящего, доброго русизма. Попытаемся мы полюбить, без эгоизма и политики, простою народническою, бытовою любовью сирот истории, инородцев: и уж они полюбят, поверим, своего «приемного отца», нашу родину. Мы не сомневаемся, что будущее даст именно в бытовых черточках много трогательнейших примеров самой горячей любви и верности инородцев к русским, к России. Пожалеем мы их сейчас, и может быть, когда-нибудь они дадут России, в непредвиденный час, что-нибудь даже серьезно важное. Не забудем, что Никон был из мордвы; что Жуковский имел в себе частицу турецкой крови, Державин – татарской. Татарской крови вообще чрезвычайно много влилось в русские типы, а это добрая кровь, именно – упорядоченная. Татарской крови был и Годунов, один из упорядоченнейших царей московского периода, из способнейших.

СЕМЬИ ОТЪЕЗЖАЮЩИХ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В великом и благородном энтузиазме, охватившем всю Россию и который как огонь сжигает теперь все нечистое, засоявшееся и гнилое в русском человеке и обществе, – нужно, чтобы не был обойден заботою и вниманием всякий, кто в этом нуждается.

Совершенно случайно мне привелось быть свидетелем при разговоре отъезжающего на Дальний Восток доктора:

– Еду спешно, бросая и дела домашние, и семью. Служба не терпит. Через два дня – в вагон, и вот вам новый адрес для высылки мне журнала.

Записывающая адрес конторщица, по всеобщему теперь интересу к отъезжающим, осведомилась о подробностях условий отъезда.

– Жалованье на Востоке двойное, но ведь и дороговизна предметов потребления там двойная. Лимон стоит чуть не полтинник, и в той же цене сахар. Повышенное жалованье не есть награждение за особый труд командировки, а только рассчитано пропорционально увеличению цен и покрывает их.

Доктор, само собою, нисколько не жаловался и был в том приподнятом настроении, которое для зрителя представляется почти веселостью.

– Ну, ничего. Отслужите. Вернетесь, – проговорила конторщица, подавая квитанцию.

– Не непременно.

На лице спрашивающей выразилось недоумение. Он объяснил:

– Конечно, в докторов не стреляют, хотя они находятся очень близко от огня. Но все же доктора и сестры милосердия едут не только на труд, лишения, но и на большой риск жизнью. Вы забываете огромное развитие болезней и смертности в районе военных действий и что от тифа и прочих болезней армия

обычно теряет столько же, сколько от неприятельского оружия. Недоедание, холодная или сырая постель, простуда, всяческое питье, конечно, непрокипяченной воды, бессонница, адская работа, выпадающая на дни, недели и даже месяцы, – все сламливает хрупкие силы человека, особенно уже ставшего в регулярные условия жизни и привыкшего к ним. Болеют от гнилой атмосферы лазарета, от заражения при операции, от изнеможения сил. А зрелище войны и действие его на нервы? Никто, даже и сами солдаты, не видят войны с той особенной и ужасной стороны, как ее видит доктор. У всех есть песня и барабан. Один доктор слышит только стоны и видит только умирающих. Эта картина перед ним без перемен. И многие ли нервы это вынесут? Мы оперируем. Но и у оператора внутри душа, а не пар. И врач сваливается, начиная галлюцинировать в каком-нибудь гнилом тифе. Нас очень много мрет на войне, и лавры за храбрость ей-ей принадлежат не одному солдату.

И он кланялся и уже выходил из «конторки».

– Еще одна минута. Как же вы едете на войну, один? с семьей?

– Семья остается здесь. Жена и двое детей.

– На какие же средства они будут жить?

– Казна особо выдает остающейся семье командированного 26 руб. на пропитание.

– Двадцать шесть рублей?!

Доктор сконфузился.

– Знаете, мы все должны жертвовать. И, напр., военный врач, между прочим, жертвует и семьей, ее действительно трудным положением во время командировки отца и мужа. Казне тоже не треснуть. Она дает, что может.

Вот разговор, который я выслушал совершенно случайно, едва ли даже замеченный говорившими. Но я не считаю излишним, чтобы общество узнало об этом. Все теперь трудятся. Заготавливают теплое. Деньги льются щедрою рекою. Внимание всех сосредоточено на едущих на Восток. Но вспомним и тех, кто остается здесь и чье сердце связано с едущими не общим национальным чувством, а личною, исключительною, кровною связью. Эти оставшиеся не только думают об отъехавших особенно крепкою думою, пекутся особенно горячею заботою, но очень часто слезы разлуки у них мешаются с слезною заботою о куске хлеба для себя, для детей. Вот мне и кажется, что общество не могло бы глубже и деликатнее выразить горячее свое участие к едущим, как через заботу об оставшихся. На 26 руб., конечно, невозможно в Петербурге существование. Семья разделившаяся (Петербург и Владивосток) вообще расходует гораздо более, чем до разделения. Тут все может помочь, не только деньги, но и простое знакомство. Может помочь приискание занятия, дача места службы если не «соломенной вдове», то ее сестре, свояченице, живущей при ней; можно помочь квартирою, – ну, напр., какую-нибудь квартиру в казенном пустующем месте. Впрочем, пусть подумают люди, более меня опытные, и не посетуют, если собственные мои предположения окажутся неосуществимыми. Важен толчок, а не форма его осуществления.

НАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ И НАЦИИ ПОЭТИЧЕСКИЕ

В очерках Японии и японской жизни г. В. Серошевского я прочел следующий поразивший меня диалог:

«Очень часто я замечал японцев в отелях и собственных их домах, погруженных в глубокое раздумье.

– О чем думают они? Скажите мне... – спросил я как-то интеллигентного, хорошо мне знакомого туземца. – Не думают ли они о будущей жизни, о смерти?

– Это чересчур грустный предмет... Об этом следует думать старикам.

– Так, может быть, размышляют они о начале вещей?

– Напрасная трата времени! Этого никто не узнает!..

– Так, может быть, они разбираются в самих себе, в своих чувствах?

Японец иронически улыбнулся:

– Скажу вам правду: они думают о делах!»

Есть нации как бы сделанные, и есть нации, выросшие из самое себя. Рост последних труден, медленен и бесконечен – в содержании, в смысле. Первые или вовсе не имеют роста, или могут зато почти вдруг, механически, переделаться из одного вида в другой. Наша Кострома, знавшая Сусанина, все стоит бочком, старенькая, ветхая, бесконечно медленно видоизменяясь. Чикаго в несколько десятилетий вырос в торговую столицу: но переменись пути сообщения около этого города, вообще изменись кое-что в условиях его существования – и он потухнет так же быстро, как вспыхнул. Япония в 40 лет из азиатского народца стала технически в уровень с Европой. Но не думайте, что она выросла до Европы. Она не знала ни одной из фаз европейского роста, не пережила ничего из европейских настроений, страданий, увлечений, мечтательности. Таким образом, она не приняла вовсе в себя стимулов европейского развития: но как бессмысленная бледная восточная статуетка – сменила одну гримасу на другую. Отойти Европа от нее, исчезни как копируемый образец – и Япония замрет в фазе развития, которую переняла и из которой у нее нет внутренних мотивов передвинуться туда или сюда.

Желтая раса есть величайшее воплощение земли, одной земли, без неба, т.е. без мечты, без фантазии, без неуловимого в себе, без теней и полутеней существования. Все их рисунки в одной плоскости: они не знают перспективы. Потому что нет перспективы в душе их, нет глубины, углубления. «Срединное царство», определило себя величайшее из желтых племен; «золотая середина, aurea mediocritas», – передразнивают не без сарказма европейцы такое состояние, такую идею. Пороки европейские бесконечны – не будем этого скрывать. Но лишь потому, что арийцы, европейцы во всем вообще бесконечны; не знают удержая, и,

повернутые лицом к дурному, – так же нисходят в аид, как, будучи повернуты лицом к добру, – восходят до неба. Мифов об Икаре, который захотел крыльев, чтобы долететь до солнца; о Прометее, сопернике богов; таких историй, какая была с одним греческим философом, который бросился в вулкан, чтобы разгадать причину непостижимых землетрясений и извержений, разгадать без передачи людям, только для себя: ни историй этих, ни мифов не знала желтая раса. Она знала своих «серединных философов»: как есть, пить, множиться, засеять рисом поля и съедать этот рис – после этих забот они ставили точку. Много есть чистоплотного в их учении, морально чистоплотного; есть хитренькие, как их игрушки, «правила мудрости». Но все это – «правила мудрого поведения», утилитарного для себя и для других. Бесконечного – нигде нет. Их Конфуций не спуускался в «Ад», как наш Данте, родной нам, всем европейцам, Данте; и не влекся за Беатриче к Раю. Конфуций и Беатриче... итальянка бы плюнула, взглянув на скулистую голову «серединного философа»; Конфуций, взглянув на нее, пожевал бы губами и спросил бы: «Сколько она имеет или может иметь детей».

У европейцев рост – для чего-то. Ряд поколений растет, чтобы дать Лютера, Рафаэля, Шекспира. Рафаэль был бездетен, Шекспир имел какую-то декадентствующую форму семьи (см. в завещании его слова о жене). Вообще у европейцев самый смысл рождения другой: он, если позволим расширить общеизвестное понятие, пантеизировать (от «пантеизм») его, – всегда мессианский: уходит в надежду на что-то небесное, иное, чем обычно человеческое, что дает ряд сменяющихся поколений. Желтые видят цель в самодовлеющем рождении. Чтобы было больше мяса на земле, голов, туловищ. Непонимание вообще гения – это не частность в них, не случайность, это самое зерно «желтизны» их. Когда-то среди бесчисленных европейских фантазий появилась и такая, что для «всеобщего уравнивания людей полезно бы своевременно Шекспиру отрубить голову». В Европе всякая мечта достигает даже уродства. Но по «серединной философии» такое сравнение «гор и долов», через посредство срубания особенно умных голов, голов фантастических (Шекспир, Рафаэль, Лютер), могло бы совершиться или совершаться без всякого увлечения, «как по закону», ровно и спокойно. Не задумались же они, без особенного волнения страстей, уложить около 14 миллионов голов во время восстания тайпингов. «Все по нужде, все по обстоятельствам; ничего не было лишнего».

Вот в этом совершенном непонимании гения, мечты, фантазии, а в конце концов и вообще идеала – и лежит самая враждебная, несносная, а при случае и опасная для Европы сторона историко-культурной «желтизны», если в самом деле пришло время развернуться ей. Персы – они арийцы. У них был Зороастр. Они поклонялись звездам: а сколько здесь мечты! Арабы – они создали кипучий ислам, сотворили бесконечную прелесть Шехеразеды и поэтические предания Гарун-аль-Рашида. Все это –

белый, наш мир. Он не имеет ничего общего с желтым, «серединным», рассудительным, бессердечным миром: где самое добро есть добродетель правильных весов, верно размеривающих товары. Мы, мечтательные и увлекающиеся арийцы, нашли прекрасное в самих монголах, отдав честь им: но это именно *мы* нашли в них, и прекрасен здесь – собственно образ и туман нашего восхищения. Разъедините предмет восхищения и лицо восхищающегося, закройте душу все любующегося арийца – и вас пронзит скука монотонного зрелища «желтых» добродетелей. Все – навоз и навоз; все – рис и рис; все – дети и дети; а как головка покурчавее, позолотистее: так – прочь ее! «Этакие у нас прежде не родились; мы все маленькие, старенькие, сморщенные: и этого мы не можем потерпеть по правилу тысяча сто primero такого-то мудреца XIII века».

Механические народы – вот определение желтых племен. Не увлекайтесь их храбростью: это не нервный порыв, а методическое действие отлично сделанной машины, где каждый штифтик превосходно выполняет свое назначение. Ведь так и желтые монголы разбили русских князей: ибо последние все ссорились, у них было множество страстей и мыслей помимо единой наставшей нужды – самообороны. Богатство-го души, разнообразие ее – и погубило русских на Калке, на Сити. Монголы имели одно тупое движение: вперед – «и чтобы задавить». В этом моноидеизме, одномыслии – конечно, ужас с точки зрения неба; но с точки зрения земли – это ужасная сила. Прижмите пальцем какой-нибудь клапан в машине: он будет держать нужное место нервно, го слабо, то сильно, вообще – плохо. Медная бляха лучше это сделает. Вот у монголов и есть эта сила и мастерство мертвой частицы, которая безнервно и потому превосходно выполняет разные механические назначения. Отсюда организация их страны и строй их армии. В войну, да и в управление страной, в законодательство, в администрацию входит, помимо духовного первого двигателя, множество чисто механического начала, бездушного. Не знаю, переняли ли японцы у Европы чиновничество; но вот уж у кого оно вышло бы идеальным, пунктуальным. Да ведь в Китае и составляет стержень жизни – чиновничество. Борьба монголов с арийцами, если ей суждено разыграться, – есть, в душе своей, борьба желтых чиновников с белыми мечтателями, романтиками, фантастами. Но бесконечное бессилие желтых начинается именно с кульминационного пункта их успехов: именно в том, что мечта и вдохновение есть изобретатель даже самой техники. Дело в том, что если житейские вещи, социальные, имеют нижним этажом в себе механику, то зато механика в вершине своей обратно становится почти безумною (не теряя своей точности), мечтательною, фантастическою. Начинаются «мнимые величины» (категория алгебраических величин) в ней, где уже монгол тупеет и ничего не видит, а ариец тут-то и входит «в свою сферу». Вот отчего и в самой технике вершина, последняя вершина – принадлежит не земле, а небу же; и тому, кто умеет на него смотреть.

ПОУЧИТЕЛЬНОЕ В ВОЙНЕ

Переживаешь чувства, никогда не испытанные. Входишь в духовный опыт, пожалуй, даже в целую систему духовной опытности, которой и не подозревал ранее. Можно сказать, без этих роковых дней войны мы все, целое наше поколение, сошли бы в могилу менее развитыми, кое-чего вовсе не узнав, не изведав, не постигнув. Война вдруг вскрыла целый мир отношений, связей, смысла, без нее неуловимых, призрачных, неосяцаемых.

Что такое землетрясение? Оно пугает не только человека. Животные задолго до него начинают выселяться из лесов, сбегают с острова или со скатов вулкана. Вся природа в тревоге, особенной, космической, неустрашимой, непобедимой. Все покидают область, которая нимало не разрушится, а только дрогнет; дрогнет, как бывает на Кавказе и других местах, в сущности безопасным и коротеньким содроганием. Разрушительных землетрясений ведь очень мало на общее их количество. Почему же оно так пугает? По глубокому бессилию против них человеческой личности. «Матушка! батюшка!», «господин губернатор!» – все эти рубрики, за которые привычно и надежно хватается человек во время опасности, вдруг исчезают, перестают быть опорами. «Господин губернатор», как и «батюшка с матушкой», так же испуганно хватаются за стены дома и гибнут под их руинами, как и 1½ годовалый младенец, на которого валится потолок. Вдруг самые большие люди, сильные, напр. целая рота солдат, даже полк солдат, превращаются в совершенно немощных младенцев, которые – угодно вулкану – «есть», не угодно – и земля поглотит их. Поглотит сотню, как одного; старика, как младенца; министра, как нищего.

Война чрезвычайно похожа на землетрясение. Это – землетрясение политического мира, содрогание, толчок культуры, пусть мгновенный и даже неразрушительный. Но пока он продолжается, этот толчок культуры, пока мир не заключен, – в сущности вся культура вдруг становится нетверда в себе, без опор, в неуверенности: и эта неуверенность простирается на все пространство, где война, и на все время, пока война. Россия воюет с Японией: что это значит? В учебнике читаешь: «была война» – и ничего не ощущаешь. Но вот она настала воочию, – и что такое она в сущности? Не знаешь, как она выразится, где получит границы. Вулкан неизвестно куда и насколько даст трещины. Но сущность войны тем чудовищна и ужасна, что если не в факте, то в напряжении своем и в идее своей она так же, как некогда Везувий над Помпеей, ставит вопрос о существовании целого. Везувий сотни раз трясло, а Помпею засыпал он только однажды. Вероятно, что война с Японией ничем опасным для России не кончится. Но все следят, куда политический мир, этот вулкан, сейчас горящий или тлеющий, дает свои зловещие трещины. Следят за Англией, глядят на Америку, трогают германский борт. «Этот – выдержит». Значит, вопрос о том: «выдержит ли» – распространяется по всем направлениям, и который бок «выдержит», тот ведь мог бы и «не выдержать». И вот то, что везде приходится щупать и «уверяться»,

это и составляет важнейший психический момент войны, который вдруг всех всполашивает совершенно особенною тревогою. Положим, Неаполю тысячу лет жить, положим, он и вовсе никогда не испытает судьбы Помпеи: но когда Неаполитанский залив заволновался подземным волнением, горы вод полезли на Via Partenore, легкие волнения (едва осязаемые!) пробегают под почвою: невозможно его жителям не вспомнить о Помпее.

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Это так – в сторону идеала, возвышающей мечты. Но ведь есть обман не только белый, «возвышающий», а и черный, унижающий человека. Счастливая истина: «мы остаемся целы», решительно крушится и обращается в ничто под сотнею чудовищных пугливых страхов, которые работают не хуже действительности: убивают, позорят человека, влекут его к безрассудству, к смешным и вредным поступкам. Люди от воображаемых (возможных) опасностей гибнут едва ли не чаще и не в большем количестве, чем от опасностей уже неизбежных, реальных.

Произошел разрыв между державами: люди взялись за пушки, за ружья и пошли друг на друга, как медведь на барса, барс на медведя. Отныне все ужасное возможно. Закон «не убий» обращается в «убий»; «не ограбь! не отнимай!» обращается в «грабь и отнимай!». Мировое «не разрушай!» обращается в бурю – «разрушай!». Решительно – вулкан, землетрясение. Все моральные стихии действуют навыворот: и это пока не пронесется вождевленное: «мир настал».

Паника на бирже. Паника овладевает биржами всей Европы, даже и невоюющих ее стран; и государственные люди, как и газеты, бессильно стараются успокоить общество. Вот вам обратная сторона двух строчек: «Тьмы низких истин» и т. д. Это – та же поэзия, но не в белом, а в черном одеянии. Тот же факт самогипноза, но не в жидущем, а в разрушительном движении. Ничего еще не произошло, а деньги вдруг стали дешевле, и множество состояний разорены... в сущности, под двустижием:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Наблюдать за этим страхом Европы было чрезвычайно поучительно, даже философично. Отчего бояться мне, когда я тот же, что вчера, ничем не хуже, ничего худшего не сделал?! Да, мы все те же. Так же мирно живем и мирно работаем, как жители Помпеи за 12 часов до работы Везувия. Но все испугались, потому что без всякого частного порока существование всех вдруг стало более условно, чем было всегда: и не столько реально, как фантастически, т. е. даже более разрушительно, нежели как это могло бы произойти от какого угодно факта. Некоторая страна, целый народ, вооруженный, с культурой, с цивилизацией – отрицает не Марью и не Ивана, а... Россию! Россию, в которой мы тысячу лет живем и трудились всегда так

мирно, как бы ей ни во времени, ни в пространстве не было предела?! Одна из мистических, пусть «мечтательных» сторон войны, а вместе и глубоко воспитательных, страшных, заключается именно в том, что национальное существование, которое всегда ощущается для гражданина как что-то беспредельное и абсолютное, вдруг получает осязательность и очевидность предела и условности. Война есть в точности «бог» (мистическая, неземная сила, недаром древние изобрели «Марса»), который грозит, пусть только временно и пугающе, целому существованию народа, всему ему: «Смотри, тебя не будет!» Мысль: «Боже, мы можем *быть* и *не быть*» – впервые представляется мирным обитателям, гражданству.

Мне кажется, я очень верно передаю чувства, с которыми русские понесли вдруг невероятные суммы на армию. Понесли кошельки со старыми монетами и кольцами, гимназические медали! Решительно ведь произошло событие, как в Нижнем перед Мининым! Что же случилось? Неужели мотивом этого было только повреждение четырех броненосцев, легко исправимых правительственными средствами? В России прошла, именно как от сотрясения вулкана, волна испуга и оскорбленности. Русские Иваны и Марьи, как никогда раньше и, может быть, никогда потом, почувствовали, что такое «Россия». Качнуло корабль, в котором, в сущности, мы с бесконечною уверенностью и спокойствием жили. Всякий стукнулся головою о его борт и ощутил: «А, это *наш* борт! За ним *враждебная* соленая стихия, которая нас сожрет и не поперхнется, если только лопнет этот *спасительный* борт». Отсюда энтузиазм, патриотизм, жертвы. Все Иваны и Марьи до известной степени обезличились, потеряли индивидуальность свою, частность свою, но зато в каждом из них появился «образ и подобие» всей России; каждое русское «я», может быть впервые с рождения, сказало в себе: «Я – Россия! Я – тоже Россия, но только в миниатюре: точная копия огромного и целого».

Это счастливое чувство, редкое, исключительное. Не только целое поколение, но иногда ряд поколений рождается и умирает, не испытывая вовсе его и не восприняв в себя соответственного развития, углубления.

Мы в эти недели пережили ощущение великой концентрации России и олицетворения ее; мы ощутили Россию как лицо, как бесконечный индивидуум, и почувствовали его дорогим и личным чувством, каждый. Это тоже воспитывает. Это тоже единственное ощущение, может быть, за всю биографию каждого из нас. Враг борется не с единичными Иванами и Семенами, которыми и не интересуется, и даже не озлоблен против них: ненависть его и борьба, его корабли и пушки усиливаются повредить, а то и разрушить вовсе то громадное целое, что от каждого из нас имеет в себе каплю меда и обратно им всем дало много меда. Теперь только воочию и осязательно становятся понятны нескончаемые заботы об армии, кажущиеся такими ненужными в мирное время. Армия охраняет целостность, неразрушенность и неразрушимость длинных ребер бесконечной пирамиды, в которой все мы живем. Эти бока нашего здания, «борт корабля», внешнюю одежду

пирамиды – армия, можно сказать, лелеет, чистит, оберегает от сырости и малейшего разрушения, как и солдат свое ружье. Солдат всегда не нужен, но в роковую минуту он только и нужен, – в ту роковую минуту, когда вулкан трясет и подымается вдруг странный, дикий, чудовищный, страшный вопрос: «*быть* ли России, *быть* ли всем нам».

Где же сеятель твой и *хранитель*, –

сказал о мужике Некрасов; второе определение относится к солдату. На вопрос: «*Быть* ли России?» – мы не рассуждаем в ответ, а выставляем миллион штыков и огнедышащие жерла пушек! «Ах! беда настала!» – кричат бегущие вспять наши поносители. И вот, пока мы не увидали затылки бегущих, испуганных, вопрос «*быть* ли России» не снят с очереди. Как только враг повернулся задом, «*бытие*» России из вопроса переходит в несомненность.

– Конечно *быть*! «Ваше степенство!» «Ваше высокородие!»

И дипломатия, и история, культура, цивилизация, наука, философия раздвигают свои кресла и дают сесть в рядах своих «лицу», именуемому *Россия*. Отныне ей будут сложены стихи, наука займется ею, философия будет размышлять об ее назначении, ее культурных особенностях. Дипломаты, короли и целые армии станут пожимать ее руку.

Это – если она сумеет напугать. Ну, а если испугается, все бросится на нее с гиком: «Ату ее!» Разница между «ату ее!» и «ваше степенство» и определяется силою мускулов и неусыпностью солдата, его беззаветною преданностью долгу. Он – как часовой. Часовой ведь ничего не делает, только ходит взад и вперед. Для зрителя, – он гуляет, ничего не делает. Но то, что он *есть*, и *каков он есть* – это определяет безопасность бесконечных сокровищ, вокруг которых он ходит. Солдат есть спаситель России: но это всегда гипотеза, мечта, а нашему поколению дано «потрогать пальцами» туман этой философии.

Почему во время турецкой кампании не было и тени этого возбуждения, какое охватило сейчас Россию? Говорят, газет было меньше. Но оставьте долю и русскому уму. С первого же часа балканских событий было очевидно, что это есть местное явление. Что это есть провал почвы на таком-то участке поля, а не действие неопределенно-далеких и бесконечно неизвестных вулканических сил. Первый выстрел на Печелийском заливе всеми был выслушан именно как первый и почти еще не слышный толчок, но несомненно подземного вулканического огня. Совершенно неизвестно, никому в Европе не известно, дает ли он трещины, и в каком направлении, и насколько длинные; все ли тут уцелеют или не уцелеет никто. В историю привзошло неизвестное: и это опять новое для всего нашего поколения ощущение! Его не было для наших отцов. Не было не только в последнюю турецкую, но и в Крымскую войну. Меня могут осуждать, но я осмелюсь сказать, что его даже не было и в эпоху борьбы с Наполеоном! Там был виден предел, чем все кончится, в случае удачи и также в случае неудачи. Кончиться могло исчезновением Пруссии и восстановлением Варшавского

королевства: но трещина даже и вовсе не пошла бы по телу России. А с пределом карты собственно Западной Европы Наполеон уже приучил всех, ознакомил и опытно научил. Теперь «наполеоновское потрясение», т.е. что-то похожее на всеобщий водоворот и «передель», грозит, в силу неясности политических сцеплений, уже не маленькой не тесной Западной Европе, а миру стран и народов решительно на протяжении всего света. Недаром, не без причины ведь (ибо ведь это денег стоит!) спешно ремонтируют крепости и корабли даже в Португалии и Голландии, – и начали это делать сейчас, как только раздался выстрел в Печелийском заливе. Все со всем связано, все и каждый друг от друга зависимы: в этом – сущность цивилизации и, особенно, нашего момента, нашей истории. Еще до роковой Японско-китайской войны (вот бы что следовало остановить вовремя! вот когда, а не после Симоносекского мира, поставить перед японцами пушки с грозным: «ни шагу на материк»!), до этой войны цивилизованный мир еще ясно распадался на члены: Европа, Америка, Азия – без излишне тесного сцепления. Но после этой войны, когда роковым образом и неосторожно белые руки протянулись к желтой земле и тронули ее, и после войны американско-испанской, – как будто вдруг перегородочки между частями света вынули. и они слились буквально в одно озеро, волнуемое на всем протяжении волнением каждой части. Цивилизация стала в полном смысле слова «единой»: и тем более страшна стала ее малейшая хрупкость. Отсюда страхи, тревога, «мечты»; паника бирж и вооружения Голландии и Португалии.

Вдруг колоссальному факту мира, России, дерзкая и яростная, не бесильная вовсе, хоть и маленькая, страна говорит: «Не надо тебя! Ни тебя, ни твоих Сусаниных, ни твоего языка, восхищавшего Пушкина и Тургенева, ни сказок, ни былин, ни нянюшек, баюкавших твое детство, ни славянофилов и западников, ни Стасюлевича с Михайловским, ни памяти Некрасова и Салтыкова (беру примеры, нам особенно близкие, чтобы передать суть дела) – вообще ничего! Убирайся в преисподнюю, проваливайся в Балтийское море, с урядниками, губернаторами, земскою статистикою, с Мещерским и Стаховичем! Все это хлам, который пора выбросить из истории, – и вот я это начинаю!» Качнулась Россия; качнулась чуть-чуть, легчайшим и лишь для чувствительных инструментов заметным качанием, однако вся – от Печелийского и до Финского залива. Чуткое и тонкое сердце русских вот это-то и ощутило, и отсюда-то лирично-тревожная нотка в наши дни, отсюда копейки и миллионы не только на «раненых», по филантропическому мотиву, но и на армию. «Часовой! Гляди за Россией, враг крадется», – как бы пронеслось в тиши ночи. Только великим умом русских, а вовсе не событиями, пока мелочными, ничтожными (что они сравнительно с Плевной, Севастополем, Бородиным!), – можно объяснить, что вдруг Россия измерила всю огромность и, главное, неопределимость надвигающихся дней. Будь у нас война только с Японией, мы танцевали бы, ели, пили, совершенно как прошлую зиму. Ведь, кажется, балы и удовольствия не отменялись даже в плевненские дни.

Великое счастье, что эти первые дни европейской «Пелопонезской войны» мы переживаем (без хвастливости) не только с великим и чутким умом, но встретили их героически, спокойно, твердо, величественно, хотя необыкновенно серьезно, чуть-чуть угрюмо. Веселых и бравадных криков ведь ни одного не пронеслось – это замечательно! Их не было даже и до войны, в ожидании войны (ее слишком многие ясно и точно ожидали, без всяких колебаний и сомнений, здесь, в Петербурге, и даже не очень прислушивались к разговорам дипломатов, зная, что тут вовсе дело не в благопожеланиях одной стороны, а в одинаковом желании двух сторон, разделившихся пропастью). Я назвал войну «Пелопонезскою», названием древним, нам не родным, невольно: ибо и сейчас все так же сцеплено и взаимно обусловлено, так же ничтожно и мало по виду, частично по начальному интересу, и так же (по сознанию уже многих!) грозит потрясти весь цивилизованный мир. Взять только угрюмое молчание, с каким американские корабли отказались протестовать со всеми прочими против нападения японцев на нас в заливе Чемульпо. Все чревато сейчас: и молчание, и разговоры! Все напряжено: в немногих местах – любовью, дружбой; и почти везде – злобой, завистью, раздражением! Вот это-то и делает слабою и хрупкою почву Европы. Точно она состоит из колоссальной тяжести камней: но с высохшим, растрескавшимся между нами цементом; силы – страшные в каждой точке; а единства-то точек нет! Это-то и создает в цивилизации то «неустойчивое равновесие» ее частей, которое составило опасность Пелопонезской войны и повлекло роковые ее исходы. Пока только русские окидывают глазом вдруг потемневшее под грозой поле, прочие все думают «делить и переделывать», когда, может быть, начнут переделывать их самих. Так, Пруссия, Саксония, Австрия уже делили заранее восточные провинции Франции, попавшей в руки санкюлотам 93 года. «Теперь-то мы поправим границы», – думали дипломаты, когда против ветхих хищников спешили к голодным и не одетым молодым войскам Дюмурье, Карно, Бонапарт... Без сомнения, на Западе теперь чрезвычайно много злорадующихся расчетов, за которыми последуют, может быть, мучительные розги.

Укрепи, Бог, Россию. Но как хорошо, что пока мы так серьезны. Душа наша – вот что важнее всяких пожертвований. Душа наша – вот главная жертва, время которой настало.

СЕМЕЙНОЕ ПРИЗРЕНИЕ РАНЕНЫХ

Механизм войны совершается армиею; но воюет вся страна и целый народ – помощью, средствами, жертвами, участием, волнением, страхом, заботою. Во время войны вся страна здоровеет духом: по ней проходят сильные волнения, неизвестные в мирное время, истребляя все мелочное, вздорное и гнилое; проходят и объединяют прекраснейшим объединением. В эти-то минуты, что трудно и непосильно в обыкновенное время, делается легко и

даже радостно. Это – великие воспитательные минуты. За время войны мы, можно сказать, набираемся морального кислорода на целые годы и даже десятилетия и расходует его потом в делах мира. Уже сейчас видно, как гроза на Востоке совершила какой-то перелом в русском сознании, в русском самоощущении, в русской самооценке. Несомненно, что «до войны» и «после войны» – так историками разделится со временем тот небольшой период времени, который она именуется «царствованием», и ведет счисление истории и ее рассказ по этим «царствованиям».

Нужно как можно лучше воспользоваться этими минутами. Это значит, каждый из нас должен провести их свято и трезво, неусыпно и единая с родиной. Вся кровь народная прихлынула к заболевшему месту России: все думы, всякая мысль несетя теперь к войне, к воину, к обозу, к артиллерии, к судам, к борьбе со стужей, с оружием, с возможною нехваткой пищи, с болезнью и ранами.

Д-р А. А. Корнилов, в статье: «Наша помощь больным и раненым» («Моск. Вед.», № 47), высказал мысль, которая достойна жить и заслуживает разработки подлежащими сферами. Именно, он предлагает мирным обитателям городов, местечек, особенно дач (лето ведь вот-вот на носу), конечно, кому и где и насколько удобно, принять к себе (в семью) одного, двух, трех больных и выздоравливающих солдат или офицеров, раненых легкими ранами, вообще таких, которые нуждаются не столько в энергии лечения, сколько во внимательности ухода, а иногда даже просто в чистом деревенском воздухе (выздоровливающие). Конечно, такой прием к себе больного будет не обременителен только для человека с свободными средствами и поместительным жилищем; но не забудем, что от Харбина и до Иркутска, Томска, Уфы, Саратова, Самары, Казани, Нижнего, Москвы – чрезвычайно много именно таких зажиточных семей, где есть и свободные руки для ухода, и лишняя комната, и лишняя десятка рублей. Средства доктора (г. А. Корнилов – приват-доцент) невелики, но он лично и за себя предлагает Красному Кресту «поместить у себя в семье и взять на свое попечение или трех трудно больных или раненых солдат, или двух трудно больных или раненых офицеров на все время продолжения войны». Нужно заметить, что для больших организаций, как государственная или как организация Красного Креста, будет уже то чрезвычайно выгодным, в смысле утилизации сил, что самая забота их не рассеется на тысячах и десятках тысяч больных, а соберется на половинном или третьем их количестве. Относительно прочих будет уверенность, что за ними смотрит зоркий глаз, хоть и не свой, а только «занумерованный». Ибо все же Красному Кресту или государству должен будет принадлежать некоторый контроль и некоторое общее руководство этими тысячами своих помощников – семьей приютов. Но есть большая разница в смысле сохранения силы: иметь ли на полном попечении своем больного или только дать совет другому, как следует пещись о нем. Доктор А. Корнилов справедливо указывает, что у каждой обеспеченной семьи есть свой домашний врач. Вот он-то и явится пре-

красным соединительным звеном между государственным и между семейно-частным попечительством, помогая семье в указании правил ухода, в назначении диеты, наконец, – самым лечением больного. Мы хорошо помним, что незабвенный Н. И. Пирогов, делая обзор военно-полевой хирургии, жалуется более всего на недостаток не первостепенной, а второстепенной медицинской помощи. После сражения, особенно сколько-нибудь значительного, раненые являются тысячами в один день. На них не хватает не только докторов, но и фельдшеров; нельзя управиться не только с легко ранеными, с контуженными и задетыми, но и с тяжело ранеными. Между тем раненые, даже тяжело, после операции или перевязки представляют собою столь общую и однообразную картину последующей поправки и выздоровления, «что (пишет он) могли бы принести неисчислимую пользу люди, которым только показаны правила лечения и ухода, без специальной и полной собственной научной подготовки». Вот контингент таких-то помощников и помощниц и могла бы дать образованная русская семья.

Не каждый, по своим домашним условиям, может сняться с места и перенестись на театр военных действий; но у себя дать место раненому или выздоравливающему, освободя от одного пациента занятое по горло военно-медицинское ведомство, – это может всякая семья с небольшим избытком средств. Помощь трудом, пищею, уходом гораздо легче дать, когда для этого не надо выходить из дома, когда всё и все под рукою, когда труд выполняется в домашнем платье, когда в уходе за больным могут чередоваться или вообще замещать друг друга трое-четверо членов семьи. Тогда все легко; прибавится только забота и лишняя тарелка супа, а не слышно, чтобы русские люди, даже из небогатых, жалели этого для страдающего русского солдата или офицера. Боткин в «Письмах из Болгарии» описывает те ужасы с ранеными и больными в турецкую войну, какие ему привелось наблюдать, и происходили они единственно от недостатка рук около больных, от недостатка десяти минут, свободных у доктора или фельдшера. А. А. Корнилов в названной статье правильно указывает, что военно-медицинскому ведомству, как и Красному Кресту, впору справиться только со схемою помощи, так сказать, с громадным и громоздким направлением неизмеримого дела, они прямо не приспособлены к тому, чтобы коснуться умело, ловко и в ту самую минуту, как нужно, крошечного, невидимого почти дела личного, поименного. «Раненые такого-то полка», а это дело государства, Красного Креста; «лазарет для стольких-то сот пациентов» – опять это под силу только государству и Красному Кресту. Но произнесите вы имя и случай, и глаза государства тускнеют, ухо перестает слышать, а руки никак не придут в движение, или придут не быстро, ради какого-нибудь «поручика Иванова», единицы из многих тысяч, лежащих на руках государства. Между тем сердце частного человека, до которого слабо доходят, доходят только схематически, не горячо массовые вопли, – при единичном страдании, но тут же сейчас, на глазах, – это сердце проникается к страдающему жалостью, как к родному. И нигде общество наше не сбли-

зится такую родною любовью к солдатам русским и офицерам, как в уходе около его кровати. Родство это будет самое здоровое, самое нравственное. Томясь изо дня в день недели и месяцы, оно так «обрусит» наше сердце, склонное к международным странствованиям, как этого не сделают десятки «русских собраний» с их речами, стихами и бряцанием штатских шпор. Все будет тут настоящее, серьезное. Право, насколько физически это необходимо или полезно будет для Красного Креста, настолько же проистечет отсюда нравственной пользы, нравственного кислорода для самого общества. Какие рассказы услышатся, не об одной войне, но и о деревне, о деревенском житье-бытье; какие останутся в семье на долгие годы воспоминания! Солдат или офицер не пролежит койки в дворянской или купеческой семье, не объест ее на супе, на варенье, чае. Право, это бедняк, который с собою приносит невидимо богатство.

А. А. Корнилов указывает простое средство к начатию этого благого дела. Каждая семья, посмотревшись у себя, может заявить представителю от Красного Креста, что на случай надобности она может предоставить место одному, двум, трем больным. По его назначению кто-нибудь или он сам лично может удостовериться (полчаса времени) в удобности и в готовности такого помещения и затем занести его у себя в списки. Так по всем городам Великого сибирского пути, а Петербург – Москва – Владивосток могут уже иметь у себя списки городов с обозначением, сколько кроватей предложено в каждом из них. Тогда самая отправка больных с восточного побережья внутрь необозримой России совершалась бы менее «втемную», более зряче, предусмотрительно и успешно.

ПЕРЕД ТРУДНЫМИ МИНУТАМИ

Может быть, никогда Россия так не нуждалась в самосознании, как сейчас. Кто мы? Что мы в мире? Для чего мы существуем? Горит ли звездочка в душе нашей? Об этом спросить невольно хочется, когда вокруг существования России подымаются какие-то туманы и заволакивают со всех сторон наш горизонт.

Не бывало еще великого царства без великой миссии. Ее имели Персия, Вавилон, о которых теперь мы знаем, что это были целые религиозно-государственные культуры. Если не имели миссии иначе, как разрушительной, монархии Тамерлана и Чингис-хана, то они и разваливались сейчас же после смерти своего основателя. Это были бури, а не климат. Россия, уже по длительности своего тысячелетнего стояния, есть, очевидно, климат, а не буря: что-то длительное, устойчивое. Но какая же звездочка в ней? Хочется разглядеть сквозь надвигающийся туман.

Можем ли, смеем ли мы «не токмо за страх, но и за совесть» заступиться за самое бытие свое, когда, может быть, впервые с начала нашей истории, издали показались какие-то громадные ледяные глыбы, какие плавают

по арктическим океанам, и двинулись в сторону нашу, гонимые тихим, но согласным ветром и могущие «срезать» нашу историческую постройку. Ибо где кончается наш враг, мы сейчас так же не знаем этого основательно, как и того, где собственно начинается он. Именно что-то мгlistое, туман какой-то, без громов, без молний: точно мы втягиваемся в тоннель, по которому еще ни разу не проходили или изгибов которого хорошенько не знаем.

И вот тут-то нужно опереться на что-нибудь вековечное. Таковы показания истории, что без многозначительного центра не образуется и большой периферии, что нет великих стягиваний человеческих масс – без того, чтобы это не служило чему-то великому, ценному для всего человечества. Но что это такое в отношении нас? Есть ли всемирное в русском – вот вопрос!

Хочется ответить на это без лести уже существующим партиям, хочется ответить на это и без злобы на них, на частные их ошибки, временные обмолвки.

Да что мы более всего в себе любим? что любим согласно, не разделяясь? Вот это, мне кажется, и есть «звездочка» нашей души.

Опросить всех – нельзя. Но можно заменить всеобщий опрос, взяв крайности и найди согласное даже в них. Есть два цвета, белый и черный: из смеси их образуются все серые, теньевые цвета. Отбросим все серое, промежуточное во мнениях и поищем истины в крайностях.

Не буду философствовать, а лучше приведу конкретные факты:

– И вот, после пяти лет, как я выехала из России, с намерением никогда в нее не возвращаться... гуляю я однажды близ Женевы, в компании наших. Поотстала. Сперва это само собой вышло, а затем я и не хотела догонять наших, а пошла совсем в сторону, и шла долго, опять сперва без намерения, а затем все скорее – с целью забиться в совершенное уединение лощин и гор. И оглянулась, никого нет. Не слышно ничьего голоса. Значит, – и меня никто не услышит. И запела громко-громко: «Не шуми, мати зеленая дубравушка» – и заплакала. Горячие слезы полились. И вот, как видите, я опять на родине, и говорю с вами в Петербурге.

Удивительно было мне выслушать это от человека, которого видел я всего раз в жизни. Но разговор принял политико-интимное направление, и вдруг такое признание! Не могу его забыть. Может быть, вся жизнь того человека пошла прахом: но пусть эта жемчужина в его жизни сохранится на память.

Приведенные слова я выслушал от пожилой уже, хотя не старой, анархистки, случайно мною встреченной года два назад. А вот совсем недавно получаю краткую записочку на «открытке», картинкою которой (место для адреса) служит «тройка». И письмо от священника, да какого! Автор огромного магистерского исследования: «О церковном предании». Сказал в «открытке» дело, ради чего и письмо написано, а затем и прибавляет «для поэзии» и собственно потому, что место осталось: «Взгляните, В. В., на эту тройку! как ее любит каждый русский! А отчего? А оттого, что она выражает широкий и беспредельный русский характер, простор его, быстроту его, молодечество его, бодрость его».

И только. Но как это совпадает со слезами в Швейцарии! Какая противоположность: анархистка, всю жизнь пространствовавшая, и священник, всю жизнь просидевший на одном месте, – сливаются в любви к *быту*, к *народному*.

Обобщим это, и мы получим все же хоть указание «местоположения» нашей «звезды», хотя и без точного ее определения:

Любят все русские без изъятия народную песню и народный склад жизни.

Это уже много.

Может быть, никто не станет протестовать, если я расширю указание это и скажу так: *сливаются все русские в уважении к слову, художеству, поэзии русской, и вообще к духу русскому в основных, тысячелетних и всюду распространенных его чертах.*

Например, будет ли радикал, марксист протестовать против народной копеечки преступнику и против наименования его «несчастливым». Здесь народный взгляд на век, даже на века предупредит «антропологическую школу в криминалистике», которая начала рассматривать преступление как «болезнь» («несчастье») и старается не судить, а исцелять преступника. Этот взгляд Ломброзо известен во всякой русской деревне. А если русские ученые-криминалисты дали итальянцу приоритет открытия, то ведь на то они и профессора, чтобы специально тупо относиться ко всему русскому. И так, марксист и суеверная баба сливаются во взгляде на преступника. Но этот взгляд есть уже часть религии... Нет, скажу конкретнее, научнее, точнее: это – частица «русской веры».

Что она? есть ли? исчерпана ли в деятельности духовного ведомства? Что такое «русская вера»?

А «русская вера», мне кажется, вся и составлена из мозаики частных случаев, минут, секунд – когда вдруг скажется тысячелетнее сердце народное в единичном человеке, собственная жизнь которого – минута в истории. Скажется и понудит к праведному поступку или вырвет святое слово. Это, напр., народное: «копеечку преступнику», не отразилось ли оно в литературе «Записками из Мертвого дома», «В мире отверженных» Мельшина, в очерках Сахалина г. Дорошевича – во всех этих паломничествах к преступнику, в дантовском схождении в социальный «Аид», с целью увидеть, понять и пожалеть?

Вот это все и есть «русская вера». Она еще не материк, она архипелаг. Острова, островки, подводные скалы, мели – еще не выросли, не поднялись, не соединились и не слились в материк. Россия *вся* еще растет; и *все* растет еще в ней, формируется, образуется. Готового ничего нет. И вот это один из важных залогов, это есть «звезда» над нами. Ее местоположение указать не трудно: это – глубина народной души. Ее определить – это гораздо труднее, ибо она *вся* – в формировании. Она еще не солнце, а туманное пятно.

Однако черты-то, законы-то формирования уже сказались и очевидны.

ФЕВРАЛЬСКИЕ ПОТЕРИ

На кратком протяжении неполного месяца Россия потеряла треть лиц, известных всему грамотному люду: по крайней мере, всей России, заботливой, размышляющей, читающей, следящей за событиями. Одна потеря – чисто литературная; другая – строго ученая; третья – исключительно государственная. В преклонных годах сосуды теряют эластичность, становятся жесткими и хрупкими. Некоторое излишество волнения, сильное впечатление – и не выдерживает сердце, разрывается артерия. Волнение, доходящее до большой остроты, вызванное азиатской войною, на месяцы или немногие годы, но все же ускорило кончину преемственно Н. К. Михайловского, Б. Н. Черина и П. С. Ванновского.

Да не посетуют, что мы сопоставляем эти три имени. В разных сферах, разными качествами, не за одни и те же заслуги, но все трое они были, бесспорно, очень дороги обширным слоям русских. Смерть обобщает смысл жизни. Рамки партии или корпорации распадаются; и из них выходит лицо специальных талантов и призвания, чтобы войти в более обширную рамку, именуемую «Россия». Нет званий и сословий для истории, нет партий: в ней есть и движутся и оцениваются только русские люди, и в отношении заслуги для отечества.

С выбывшим из строя ее Михайловским радикальная партия в нашей журналистике «потеряла голову», – не в смысле ее возможной растерянности, но в том более определенном и ценном смысле, что в самом деле вышла из ее строя голова, которая обдумывала и направляла все течение дел в этой фракции литературы. Всему давала тон, истолкование, указывала направления. Не знаем, что будет завтра. Но пока, сейчас предвидится в целом литературном направлении, и притом самом бойком, передовом, нечто вроде бессловесности. Просто нельзя придумать сейчас, кто же скажет яркое, сильное слово в пределах этого направления, которое было бы не только слышно в своих рядах (они-то, по специализованности уха, все и всякого у себя услышат), но слышно и слушаемо было бы Россиею. Михайловский был единственным писателем радикальной партии, который имел интерес и значительность вне ее, представлял литературное явление общерусской значительности.

О чем бы он ни писал, статьи его всегда прочитывались. Не всегда до конца: но просмотр книжки журнала всегда начинался с его статьи. Можно было предвидеть приблизительно, о чем скажет он «по поводу того-то» (и от этого не всегда требовалось дочитать его статью): но в самой манере сказывания была известная привлекательность, стильность; попадались меткие определения, злые сарказмы, точные и важные формулы, – вообще так или иначе задевал вкус, ум, убеждения читателя. Все это волновало, раздражало, иногда привлекало. После смерти Михайловского в литературе станет несколько скучнее: позволю сказать эту краткую похвалу всегдашнему своему литературному противнику.

Со смертью Б. Н. Чичерина из рядов русской науки вышла величина, едва ли уступавшая, или уступавшая только немного, покойному историку С. М. Соловьеву. Он не создал труда, столь монументального и так элементарно-нужного, как «История России с древнейших времен». Но зато Соловьев весь и выразился в одном этом труде, без всякого многообразия, без всякого разнообразия. Труды Чичерина разбросаны по всевозможным областям человеческого ведения, хотя имеют ясное сосредоточение в государственоведении. Мне думается, мы чрезвычайно умалили бы значение покойного, если бы сравнивали его с Блюнчли или Робером Модем у немцев; скорее напрашивается сравнение с Тэнном. Заметим, что Чичерин писал чрезвычайно изящно, не говоря об эрудиции, в которой он не уступал, вероятно, никакому европейскому светилу. Он дал пример, образец, пожалуй, первое воплощение «европейской кафедры» в русском университете, – вообще европейской науки, европейского стиля мышления и писания. С этим неразделима его некоторая бледность (литературная), малораспространенность, малоизвестность. В нем слишком мало было русского: русского-самородного, русизма в талантливости. Хотя вообще-то в европейском и общечеловеческом смысле он был чрезвычайно талантлив. Но в нем не было русской нелепости, русских странностей, русского увлечения и неблагоразумия, однако же и русской сметки, остроумия, злости, сарказма, веселости. Ничего не было русского в его литературном лице – твердом, спокойном, правильном, неулыбающемся, скучноватом. Со всеми перипетиями литературной судьбы Чичерина связана некоторая доля скуки. И никогда около этого блестящего, пожалуй, великого таланта не загорелось «литературной свары», не поднялось ни разу крика негодования или увлечения. Исключения бывали, например, когда он в 1881 г. вместе с В. И. Герье выступил в поход против земельной общины. Но в таких случаях его быстро закидывали гнилым картофелем (иносказательно): и как он не умел с этим бороться и только гордо молчал, то настоящей литературной «истории» все-таки не выходило. Он был всегда либералом; судя по труду его «О народном представительстве», написанном еще в 60-х годах, он был русский конституционалист аристократической пошиба. Он сам был «князь ума». Но все это было глубоко неестественно на русской почве; не привилось, никого не заняло. Все и всем показалось скучно, не интересно, не трагично и не комично. Никто очень не сердился на него, и никто очень не смеялся над ним. Он писал много и блестяще. Но читали его мало. И вообще за 40 лет его литературной деятельности он вовсе «не принимался в расчет или принимался едва-едва».

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.

Это применимо у русских не к одним лицам, несносным в правильности своей, а столь же и еще более применимо к литературе и науке. Чичерин при своем уме, образовании был как-то непоправим, «безгрешен». А ма-

ленькие человечки вечно хотят «править корректуру» в человеке, в мнениях, идеях. Не найдя такой пищи для себя в Чичерине, они просто его забыли, – еще при жизни и даже сейчас, как только он литературно родился. В оправдание русских скажем, что, будучи безнационален (в бытовом смысле, в смысле характера ума), он был неоригинален в мышлении; не был эстетически-творческою натурою и поэтою же не оказался умственно-творческою. «Это, вы знаете, идея Чичерина!» «Это – мысль Бор. Ник.»; «так смотрит Чичерин», «так объясняет Чичерин»; «это – система Чичерина», «это – конек и слабость нашего Чичерина»: таких выражений никогда нельзя было услышать о скончавшемся ученом, философе, юристе. Он был каким-то «Салюсбери» из Тамбовской губернии – величественным, одиноким, сухим, холодным, неприступным, привлекательным, составлявшим славу своего отечества. «Ну, а каким ученым может похвастать Россия?» – на такой вопрос иностранца, без боязни осечки, назвали бы «Россия гордится Б. Н. Чичериным». – «Но что же собственно он сказал такого, вроде Бокля или Спенсера?» – «Он даже еще учнее и Бокля, и Спенсера. Но он неприступен. На него никто не путешествует. И никто не знает, что находится на ледяной вершине этой горы».

В высшей степени желательно посмертное издание сочинений покойного. Они дадут всей читающей России несколько томов непрерывно изящных книг, принадлежащих уму самого высокого калибра, хотя бесцветного стиля. Но все равно: читаем же мы переводные ученые сочинения, переводные книги по истории политических учений, по теории государственоведения, по философии. В это «собрание сочинений», может быть, возможно было бы ввести некоторые записки его, которые обильно распространялись в обществе в гектографированных изданиях и посвящены некоторым волновавшим общество вопросам, например инородческому, еврейскому, университетскому и т. д. Даже возможно, что после издания этих полуживых (лишь условно-напечатанных) «записок» почившего весь его духовный образ стал бы определеннее и интереснее; несомненно, он стал бы живее и привлекательнее. Ибо живой и непрерывный интерес Б. Н. Чичерина к практическим вопросам политической и общественной России, – хотя он никогда не смог повлиять на их ход, – составляет важную долю его исторической памяти.

* * *

Сбросим для совершенно новых тем и иного человека эти литературные и ученые припоминания и соображения. 20 февраля, под звуки погребального марша, необозримая народная толпа провожала останки ген.-адъют. Ванновского. Как редко и исключительно зрелище короля двух царств, так ведь почти столь же редко и зрелище министра преемственно двух министерств. В лице Ванновского русское общество провожало к могиле государственную доблесть: ведь не в предположении специального «призвания» к учеб-

но-училищному делу призван был П. С. на пост министра народного просвещения. Специального таланта именно к этому в нем невозможно было предположить, но в трудную минуту этого ведомства на нем остановилось внимание как на представителе государственной доблести в ее самом общем значении. – Чутко сердце народное, а общество – оно отпрыск народа, и также не лишено этой особой чуткости. Множество гимназистов с рванцами и книгами, очевидно выйдя из дому, чтобы пойти на уроки в гимназию, увидя погребальную процессию своего бывшего министра, свернули с пути и пошли за гробом. Столь же много шло за гробом студенческих мундиров, вразброд. Думалось о недосмотре, по которому не были вообще на это утро отпущены питомцы учебных заведений проводить до могилы своего старого 82-летнего начальника.

Кто знает и возьмется ответить, был ли Ванновский либерал или консерватор? Вот вопрос, который все решает в пользу ума, дарований Ванновского, в пользу того, что я в нем назвал «государственной доблестью». Он был начальником штаба Рушукского отряда, командуемого Цесаревичем-Наследником, впоследствии Императором Александром III. Не узнавший лично Государем, возможно, что он кончил бы жизнь с средних рангах военной организации. Он не был виден, не занимал очень видного места в турецкую войну. Но война дала близко узнать будущему Государю обыкновенного смертного; он увидел в нем: 1) ясный ум, 2) необыкновенную распорядительность, 3) неусыпное трудолюбие. В простом еще смертном он рассмотрел будущего организатора армии: и судьба «обыкновенного человека» вылилась в необыкновенную и глубоко благотворную для родины биографию. Мне как профану приходилось беседовать лет 12 назад о нашей армии с людьми военными же; я высказывал сомнения, навеянные турецкою войною: «Опять, верно, окажется оружие хуже турецкого», «опять то же интендантство» и проч. К удивлению, я встретил резкий отпор и, следя за ходом отпора, – доведен был до личности министра, как центра всего дела: «Да почему же? Ведь и Милютин был – ума палата, а подготовленность армии оказалась слабою?» Тут-то меня и подводили к личности министра. Мне говорили, что с милютинских времен в армии все переработано, улучшено; все фактически улучшено, отнюдь не на бумаге, не в кабинетных только расчетах. Тогда я спрашивал о личности министра, и необыкновенно то уважение, с которым говорили о нем, и особый оттенок и направление этого уважения. Указывалось: на колоссальную его память; внимание, не упускавшее никаких подробностей; на постоянное отделение важного от неважного; требование краткости изложения и краткие же и быстрые решения дела. Все это были приемы первостепенного работника. Труд и труд на пользу государства и безмерная любовь к нему, – вот это и создало основные черты личности и биографии покойного, вошедшего большим столбом в храмину русской истории.

Государственная доблесть и залила в нем более мелкие рубрики и вопросы о «направлении», о «консерватизме» или «либерализме». Как Россия

не есть партия, так и человек, служащий России, – когда он в самом деле стоит на высоте этого служения, – непременно должен выйти из этих партий. Мне кажется, в огромной толпе, шедшей за гробом Ванновского, где я с таким удивлением рассматривал, – сверх множества молодых лиц студентов, гимназистов, слушательниц высших женских учебных заведений, – еще рабочих (верно, из военных мастерских) в дурной одежде и с замазанными лицами, мне чуялось в этом странном соединении всех возрастов, сословий и званий около гроба бывшего министра двух министерств – пробуждение этого общерусского чувства, готовность всякого русского почтить истинное и правое служение человека государству. К такому служению указанные категории лиц бывают довольно равнодушны; но очевидно, лишь по предположению своекорыстности в служении, известной доли «карьеризма», увы! – так трудно устранимого из «службы». Очевидно однако, что идея «государства» как «отечества» высоко чтится и этими категориями лиц, то слишком бедных, то излишне «книжных» и в которых привычно предполагают отсутствие горячего интереса к «отечеству» и «государству»; предполагается международность, безнациональность идей и чувств. Но вот умер человек, слишком национальный, слишком государственный: и посмотрите, его почтила толпа, как едва ли почтила бы она вождя только своей партии, общественной или литературной. Мне было дорого наблюдать (да вероятно, и не мне одному), что огромный факт «Россия» очевидно высится у всех этих то юных, то рабочих людей над подчиненными фактами партий, направлений. Умер несравненный слуга отечества: и все преклонилось перед ним, поклонилось ему. В лице его, в сущности, поклонились отечеству, государству: и вот эта зрелость и солидность чувства и была дорога для зрителя и наблюдателя.

Преобразования в военном министерстве, – кстати, совершающиеся частью в секрете, – были видны только в пределах его, известны и понятны только военным же. Деятельность, деловитость, энергия Ванновского раскрылась для всей России только с назначением его министром народного просвещения. Тут только личность его объявилась воочию всех, как это бывает, когда с готовой статуи сдергивается закутывавшее полотно при открытии памятника. Он, без сомнения, был и в учебном ведомстве тем же Ванновским, как и в главном штабе, как в канцелярии военного министра, на полях перед войсками и во дворце; не перерождаются же в 75 лет. Все ахнули, удивились, испугались, восхитились, когда 77-летний старец, оказавшийся свежее и бодрее юных, стал разбрасывать вековой мусор захудалого ведомства: и потянул сюда свежий наружный воздух. Закашляли злым кашлем старички, привыкшие к затхлым департаментам; запершило у них в горле от свежего воздуха. «Простудимся! Не привыкли!» «Погубил нас Ванновский!» – заворочались «старые педагоги», праздновавшие то 40-летие, то 50-летние «юбилеи» в своем роде толстовского «неделания», но только не «Христа ради юродствия», а гладко округляя пенсии, наградные, командировочные и проч. и проч. От ведомства, которое всегда служило чи-

новникам, которому такие пустяки, как учащиеся дети, их родители, общество, да пожалуй и «отечество-Россия», даже и в голову не приходили, вдруг это ведомство пробудили от сна и сказали такую новость, что оно существует в России и для России, существует для учеников, родителей, для общества и вообще для чего-то другого, а не для себя. Известный наш филолог кн. Мещерский, проповедующий розгу, не оставляя этой проповеди, в то же время в противовес Ванновскому предложил другую программу: «Истинно сердечного отношения к ученикам». Интимно, конечно, он думал, что спасение захудалого ведомства заключается в сердечно-участливой порке; но так как о розге говорилось, положим, в среду, а о сердечности к ученикам – в субботу, то плохо памятливые читатели его «Дневников» так и думали в самом деле, что в пустой, лишенной всякого содержания формуле Мещерского скрывается какая-то панацея учебного ведомства.

В деятельности ген.-адъют. Ванновского в качестве министра народного просвещения и нужно, как он сам поступал, отличать «существенное от несущественного». Существен был выпуск свежего воздуха. Его столько хлынуло в отворенную дверь, что им и по сей день дышат все в нем. Возврат к прежнему затхлому и застоявшемуся положению стал невозможен и немислим. Как и всякая крупная работа, начатое им преобразование стало незатираемо, неистребимо. Отсюда тот факт, что с выходом его в отставку ничего в сущности не изменилось; не пошла дальше работа, но и назад она не пошла же. Но как она была едва начата, то в учебном ведомстве все застыло в полуизмененном, но недоделанном виде, в положении нерешительном и неустойчивом. Реформу, очевидно, надо доделать, – и в направлении, данном Ванновским, но без тех частности, которые уже представляют в его работе «несущественное». Ни в каком случае он не мог бы объяснить и доказать, что так называемое классическое просвещение, в его доблестных возможных формах, не нужно, и навсегда не нужно, России и никому из русских. Не мог бы он этого доказать и даже начать доказывать по простому незнакомству с этим образованием, а он был человек скромный. Но с тою прямою, честностью и несокрушимой энергией, с какими он начал освежение всего ведомства, – без сомнения, он сам же усмотрел бы и исправил недостатки в строительной своей работе; он понял бы через 2–3 года, что страна с тысячелетнею историею и занимающая $\frac{1}{6}$ часть суши, не может ни в каком случае ограничиться одним педагогическим американизмом, одной техникой в школе, без обогащения и оплодотворения ее философию, культуру, благовонными частицами этой культуры, среди которых христианство, эллинизм и романизм (латинизм) занимают первенствующее место. Пусть он установил бы только реальное образование; на несколько (немного) лет дал бы царство технике. Пусть бы это совершилось. Но уже то, что эта исключительная и односторонняя школа стояла бы здорово и на здоровых ногах, то, что она дала бы русским конкретное представление о настоящем живом училище, где дети учатся, а не томятся, где учителя учат и воспитывают, а не «служат», где учебники написаны чело-

веческим языком: все это, говорим мы, создало бы настоящую почву и для водворения у нас живого и действительного классицизма, раз души русские пробудились бы к нему, потребовали бы и его. Да строгая критика и парирование этих односторонностей преобразования начались во время уже самой реформы, идя от действительных филологов, от историков, от представителей университета.

Учебное ведомство едва ли не следует у нас считать исторически испорченным, т. е. испорченным не разом, в 70-х годах, а целым рядом неудачных или полуудачных министерств. Всегда собственно ученье и воспитанье стояли на втором плане; гимназии были скорее местом тихого времяпрепровождения учеников. Если в гимназии тихо, «историй» не случается, – то все благополучно. Что они делали, в этой «тихости», ученики, и даже делали ли вообще что-нибудь, было уже второстепенным вопросом. Активности, натиска на науку, как и настоящего расцвета добрых движений души, здоровых сил отрочества и юношества, – не было. В гимназии сидели, а не работали. Настоящего соревнования не было; было сиденье с согнутой спиной над книгой. Когда пришел человек со стороны, из другого совсем мира, из доблестного мира нашей доблестной армии, он удивился, изумился увиденному. И вот это-то удивление и изумление мощного по положению и власти человека (дивились и ранее, но бессильные люди) и составило историческую минуту, исторический перелом в наших учебных делах. Не будем жалобно сетовать, что они теперь стоят в полуопрокинутом положении, не подаваясь ни туда, ни сюда. Таковы вообще критические эпохи, переломные, нужные, важнейшие в истории. Пусть все и постоит в таком положении, ну хоть 10–15 лет. Душа русская отойдет, остынет от того смешанного полу-отчаяния, полуужаса и отвращения, в каком она находилась, когда в школе «все было тихо». Исчезнет главное зло: нелюбовь учеников к школе, недоверие родителей к школе. Учения, и хорошего учения, т. е. энергического, с «приступом на науку», потребуют и сами ученики, и их родители: Митрофанушка ведь никого не соблазнит, ни сядущих отцов, ни 15-летних мальчиков. Раз измятые чувства выправятся, озлобленные и извращенные мысли разредятся в невидимый туман; раз успокоится душа русская – она сотворит из своих недр спокойную русскую школу; почему знать – может быть, школу даже не без идеальных в себе черт. Ибо и дар учения у русских есть; и дар передачи, основной педагогический дар – опять же встречается, до энтузиазма, до пламенности. Посмотрите, вне школы, как мы все учимся друг у друга, как пламенно иногда учим; а ведь школа есть именно это самое ученье, эта «пропаганда», получившая только формы, строй, упорядоченность, законность. И неужели «пропагандировать» тайны алгебры и механики, над интересом к которым не корпели, а пламенно, бессонно работали первые гении истории, не интереснее несравненно, чем распространять какие-нибудь плохенькие и недостоверные политические или моральные идейки. Подумать только, что

программа гимназии, надлежаще составленная и проходимая, – она ведь включает в себя все самое гениальное и исторически-всемирное, что есть у человечества и что поглощало гений Колумба, Галилея, Ливия-Геродота, Архимеда, апостолов. Но мы из всего этого сделали «воляпюк», рвотное. И сетовали, когда учеников рвало. И брызги рвоты летели на нас, на родителей, на школу.

ЗЛОЕ ЛЕГКОМЫСЛИЕ

Нужно думать, как пишешь,
и писать, как думаешь.

Позволю себе эту маленькую перестановку слов в изречении Карамзина, давшего знаменитый завет литературе: «Нужно писать, как говоришь, и говорить, как пишешь».

Нужно соблюдать простоту, серьезность и естественность, чего бы ты ни касался душою своею и разнообразными ее способностями: мышлением, словом, речью написанною (литература).

Золотое правило. Оно дано было тогда, когда в правилах нуждались, когда правил искали. Когда писатели не только имели претензию учить, но и имели скромность учиться.

На что бы это правило приблизительно «А. С–ну» из «С.-Петербургских Ведомостей», который начинает статью невероятными словами:

«Когда мне сообщили, что Василий Васильевич Розанов собирается с благотворительной целью обежать три раза кругом Марсова поля, подвязав вместо хвоста павлинье перо» и т. д.

Невероятно. Приблизительно такую «литературу» пишут на заборах дрянные мальчики, которых прохожий, застигнув на месте, дерет за уши. Но то мальчики, а это – приблизительно взрослый человек; то – забор, а это – печатный лист, ежедневная газета. Да и мальчики-то малограмотные, а это... Ну, никак не выговоришь, что это – «писатель».

В былые времена со словом «писатель» связывалось чрезвычайно много: это – известный долг, известная сумма вкусов, во главе всего – это некоторое врожденное призвание. К писательству готовились, и кто готовился, с мучительным чувством думал о себе, как и о нем спрашивали другие: есть ли у него это таинственное, неуловимое и неопределимое, а вместе и велительное «призвание». Все это ужасно изменилось сейчас. Писателем просто делаются кто хочет и когда захочет. Вчера был чиновник, сегодня – писатель; или еще вчера был сапожник, сегодня – писатель. Никаких мук перехода, ни вопроса о переходе. Редкий ныне учитель гимназии и редкий присяжный поверенный не есть «в то же время» и писатель, или пытается им быть, или был да перестал. Литература – что железная дорога; в ее вагон всякий садится. «Она для общего употребления», – решает какой-нибудь

«А. С–н», или «Стародум», и делает из печатного листа невозможное употребление.

О чем он написал? А вот, послушайте:

«Взял я его книжку «Из мира неясного и нерешенного» (и заглавие источно названо: «В мире неясного и нерешенного»; но это - характерная ошибка: автору или были показаны только отдельные места книги, или пересланы кем-нибудь ее вырезанные листы с просьбою «отделать» книгу; он всю ее, сплошь, вовсе не читал: ибо в одном случае приписывает ей то, чего в ней безусловно нигде нет и что составляет плод его вымысла)... вторым изданием вышла... Взял я эту самую книжку и, по мере углубления в содержание оной, стал переживать ощущения самого разнородного свойства. Знакомый мичман, едущий на театр военных действий, полюбопытствовал, что за штуку я так внимательно читаю, но я принужден был ему ответить, что молод еще он для таких вещей.

– Помилуйте, говорит, – я – мичман гвардейского экипажа, и ничто мичманское мне не чуждо.

– Знаю, – отвечаю ему, – знаю, что ты и выпьешь, и закусишь, и все другое прочее... словом, «счастлив ты в прелестных дурах», а все-таки не по зубам тебе эта книжища.

Он мне довод: ведь разрешено же цензурой.

Пришлось ему объяснять, что Василий Васильевич такой хитрый прием употребил: набурил в самое начало книжицы снотворное (NB: статья критика озаглавлена: «Духовно-безнравственное творчество или новый путь к богатству»; но кто же «обогащается» через издание «снотворно начинающихся» книг, которые, см. ниже, «пять цензоров от скуки не могли одолеть»?!) Из этого видно, до чего автор не гонится не только за честным, но и за умным, последовательным хотя бы во лжи!), а самый-то свой полисонский цимес (?) приберег под конец. Стали цензора читать: мочи нет, ко сну клонит. Пять цензоров замаялись и трети книжки не одолели. Тогда старший говорит: «Господа, чего же мы, право, из сил выбиваемся! Если мы, люди привычные к долгу службы, жалование получая и присягу приняв, этой штуки одолеть не можем, так какой же олух над ней добровольно изводиться будет? Разрешить – и баста, а то из-за Василь Василича вся другая работа стала». Так и разрешили...»

Не правда ли, обвинение, вероятно еще не бывалое в истории печати с тех пор, как установилась она и установилась над нею цензура. Продолжается «критический разговор» с мичманом, где автор нисколько не принимает во внимание, что он пишет: 1) о гражданине, 2) живущем не на пустынном острове, а в Петербурге, т. е. который известен множеству людей, и, позволю дополнить (ибо для меня это самое важное), 3) он пишет о семье-нине, и есть такого рода обвинения, которые марают уже не автора книги, а

именно семьянина, отца и мужа, да и марают вместе с ним всю его семью. весь дом. Автор или холостой человек, или вообще не имеющий понятия о духе семьи и ее абсолютной связанности:

«Мичман не отстаёт: для чего же, говорит, дядя (я ему дядей прихожусь, старят нас эти поросята)*, Розанову понадобилось все это делать?

Думал я, думал... Говорю: на пари. Собралась их теплая компания сквернавцев и декадентов и рассуждают о том, какие-де великие исторические были колоссы порнографии и всякой мерзости: сладко жилось Цезарю Борджиа, не давал маху Казанова, а маркиз де-Сад (какая начитанность у рецензента!) всем им нос утер. Вскипел тут Василий Васильевич и говорит: все это против меня мальчишки и щенки, а я им благолепно нос утру и такую духовно-безнравственную книгу сооружу, что в одночасье де-Сада с Казановой переплону**. – Как же это вы Казанову переплунете? Не много ли о себе воображаете? – Непременно переплону, потому что они просто сквернавцы были, а я – с духовным экстазом и с божественным настроением все перепленту. Так и написал.

Действительно, г. Розанов типичный и несомненный половой психопат. Как часто бывает у подобных маньяков, мистические идеи у него постоянно переплетаются с навязчивыми эротическими представлениями и с тихим упорством (ну, «маньяки» не весьма тихи бывают) он настаивает на провозглашении и проповеди таких мерзостей, о которых... ап. Павел не советует говорить (NB. ап. Павел сам о них говорит, в «Послании к Коринфянам» особенно. – В. Р.) христианам. Цитировать Розанова невозможно. Легче цитировать из пушкинского «Царя Никиты» и даже из произведения греховодника Баркова (какая начитанность! – В. Р.), а у г. Розанова, помимо того, что его том «полон грешными вещами, обожаемыми нами», – цитирую из «Царя Никиты» – все это изложено в такой неприкрытой павианской форме, что самый храбрый остановится... Остается пожелать ему прибавить наслажденные капиталчиком, который соберут г. Розанову не совсем зрелые гимназисты и очень зрелые, очень старые старички».

Таково обвинение. Я на него не отвечал бы (и не отвечал несколько дней), если бы оно не получило печального практического воздействия.

Просто автор хотел обвинить, хотел замарать. Захотелось ему листочка лавра из венка Дорошевича. До ближнего, до писателя, до человека, до гражданина ему нет дела. Эти категории уважаемых среди людей фактов для него не существуют. Не для него, может быть глухого для всяческих убеждений, а для третьих людей я приведу легкие оправдания, какие, может быть, многим уже и самим пришли на ум.

* Какой язык! Какой лакейский тон везде и во всем!

** Какой язык! Лавры Дорошевича не дают спать лилипуту из «Пет. Вед.» и просто жажда «заработать эту славу» чуть ли не есть настоящий мотив «разговора с мичманом».

Сперва о себе, потом о книге.

Первый мой печатный труд – книга «О понимании» (1886 г.) заключает в себе 737 страниц, не считая огромных таблиц. Это не была диссертация на ученую степень, а свободный, без практических целей, труд. Его объем, как и особенно первенство по времени, показывают, что в самом устройстве ума моего богато развит инстинкт прилежания к теме, упорного и титого труда (надеюсь, это не сумасшествие?), так сказать исчерпывающего отношения ко всякой теме, которая почему-либо остановила мое внимание. Книга эта посвящена рассмотрению ума человеческого и устройству, расположению системы наук, реальных и возможных (потенциально в уме заложенных). И позднее я был тот же упорный и всегда до конца исследователь. Перейдя к вопросам школы, в журналах и газетах я опять же довел до конца обсуждение всех сторон нашего учебного дела, собрав потом статьи в книге «Сумерки просвещения» (1899 г.). Что же, страдал ли я в то время «психопатией педагога-эротии» или «научо-эротией»? Новые имена, которым рассмеется всякий; между тем мой обвинитель говорит, что такое прилежание и последовательность есть признак болезненного извращения способностей. Не иным чем, как прежним же автором, в один период своей жизни трудившимся над рассмотрением ума человеческого, в другой – образования человеческого, в третий (с 1893 по 1897 г.) – церкви, я стал, начиная с 1897 г., – исследователем новой занявшей меня области. Всегда я был тот же: до конца доходящий исследователь. Окончив с какою-нибудь темой, я никогда к ней не возвращался (не любопытно было). Но пока она не была исчерпана, любопытство мое горело самым живым пламенем, и, признаюсь, я не мог, не умел остановиться. Таково устройство ума. Надеюсь, оно не болезненно?

Перехожу к книге «В мире неясного и нерешенного».

«Δια γὰρ τὸ θαυμάζεσθαι ἀνθρώποι καὶ νῦν καὶ πρῶτον ἡΣαντο φιλοσοφεῖν», «от удивления люди и теперь и прежде начинали философствовать», – замечает Аристотель в исторической части своей «Метафизики». Родником нового моего воодушевления, новой для меня темы, нового и многолетнего труда была необыкновенная удивленность: каким образом среди народов самых просвещенных и самых гуманных, которые сострадают даже тяжким преступникам, страдают философски, научно, законодательно, общественно и народно, и в религии прощения, милосердия, свободы («Хочу, чтобы все были свободны»), благодати, полной отмены ветхозаветной «подзаконности» (особый термин богословия), – всегда, однако, был факт детоубийства, т. е. непощения, безблагодатности, несвободы и, наконец, жесточайшей смерти невинных, только что рожденных существ и их весьма-весьма наивных, простеньких, глупеньких, но во всяком случае не чудовищных же матерей!! Я нарочно поставил рубрики: «законодательно», «общественно», «народно» и т. д. и т. д. Читатель сейчас увидит по рубрикам, что простая, почти уличная темка, темка единичного случая где-нибудь на чердаке, в деревянном сарае, для меня по особому устройству ума

(прилежание) разрослась в систему без малого всемирной критики – европейского искусства (в отношении к детям), литературы (в отношении к ним же), государства, общества, нравов, религии, словом, – без конца и без пределов критики. Читая года четыре назад двухтомное исследование г. Черванского «Мир мусульманства», я был поражен ссылкой: «Константинопольские мусульмане имеют обыкновение именем христиан пугать детей малолетних, грозя, «что-де христиане относят детей в лес и бросают на съедение зверям». Раз это несется в народе, раз это – молва улицы, и едва ли в одном Константинополе, а вероятно, и у всех мусульман, а может быть, – у всех азиатов-«нехристей», то не лучшее ли это объяснение того непонятного, для миссионеров неясного упорства, с каким народы эти, едва ли что могущие иметь против возвышенного и чистого учения Евангелия, с фанатизмом избегают всякого общения с народами христианскими? Заметьте, говор толпы, слух улицы. Это – страшная сила, это – голос ста газет, сто лет не переменяющих направления. Читателю это ново? Между тем специальность моя к всякой вообще теме объяснила мне, отчего миссионерство, так успешное при первом знакомстве с нехристианскими народами, теперь остановилось вовсе: они узнали подробности о нас; они спросили себя: а как у христиан установилось самое нужное всякому народу, лично и каждому человеку важное, отношение: 1) к ребенку, 2) девушке, 3) женщине, 4) вообще – к семье. Ведь Евангелие – близ небес; а семья – у каждого Ивана, Абдула, туранца, китайца. Теперь, ошибаются ли константинопольцы? Но лет шесть назад печаталось дело и суд над молоденьким офицером Венглером, молодоженом: он неосторожно сблизился с невестой до венца, ребенок родился до времени, и, чтобы скрыть стыд свой и жenin, он взял малютку с целью забросить в лесу, но, верно, испугался диких зверей и... сам удавил его кнутовищем. Несчастнейший отец! Молоденький, может быть не очень умный, понимал ли он, что делал? Свое ли дело, свою ли мысль творил? Сколько раз приходило мне на ум написать статью и потребовать, попросить пересмотра дела Венглера и вернуть его из каторги. Ибо очевидно, он любил жену свою (берег ее честь), был честный человек (женился после того, как сошелся) и вообще совершил страшное дело, хуже Каина, не лучше Иуды, под давлением факта ли, тумана ли, законодательного или поэтического, который выковал Медузу, именуемую: «Стыд рождения». Увы, и цари перед этим робели, и короли и королевь скрывали, никому не показывали так рождаемых, безвременно, детей своих. Но где уступил царь, как не уступить офицеру?! Венглер не виновен: виновна цивилизация. Да и одна ли она? Все ниточки ее таковы и так сплетены, что выходит петелька на ребенка. Заметьте, не на посетителя Монако, не на мужа, избивающего зверски жену, не на шулера, не на завсегдатя домов терпимости: «ныне уже свобода, подзаконное время кончилось» – и все они прощены. Только ребенок не прощен. И не прощена мать его.

Читатель, неужели вы не понимаете, что для «удивления» моего, о коем Аристотель говорит как о мотиве философии, не было причин гораздо боль-

ших, нежели когда я приступал к школе, к классификации наук? Ведь уже я недаром систематизировал в прежних книгах, и вопрос о задушенном ребенке связался в уме моем с новою сериею вопросов: почему, например, не проворовавшийся чиновник интенданства, не буфетчик, берущий геперь по случаю войны втридорога за бутерброды свои, а опять же новорожденный младенец, и только он один, в самом основном таинстве христианства отрывается от сатаны. «Дунь и плюнь». Почему? На кого? И родители его не присутствуют на таинстве. Древний обычай, из веков, из гысячелетия. Встает колоссальная идея, уже религиозная, «первородного греха», который, с оговорками, с обмолвками, с неясностями, неточностями, с уклонами, – но непременно приурочивается... к рождению, младенчеству! Заметьте, как только где-нибудь, в книге, в разговоре, подымается вопрос «о первородном грехе», так сейчас идут рассуждения не о вороватости, лукавстве, не о скупости и властолюбии человеков, торговцев, чиновников, журналистов, а... о младенце, т. е., в конце концов, обо мне как отце, о жене моей как матери, о девушке-утопленнице, о чете Венглеров. Вот я только что вчера купил книгу «Православно-догматическое учение о первородном грехе» священника Алексия Бугрова (Киев, 1904 г.) и в ней на 45-й странице читаю слова, каких ни в одной решительно книге о детях не читывал:

«Доказательством наследственной порчи природы детей служат: эгоизм, враждебное настроение (?) самого кроткого детского сердца против лиц, сокращающих его эгоистические желания и страсти, ненормальная деятельность влечения к самостоятельности, проявляющаяся в виде упрямства детей и их сопротивления воле старших, недостаточное и ненормальное развитие нравственных чувств, страстность дитяти, напряженность и необузданность, изменчивость и прихотливость детских чувств с их эгоистической окраской, заблуждения и все естественные аномалии и резкости детей. Блаж. Августин так описывает свое самое раннее детство: «Если мне не повиновались или не понимая меня, или потому, что я требовал вредного, то я приходил в негодование на такое неповиновение и мстил за него моим криком. Такими я видел всех младенцев, скольких мне удалось видеть. Невинна только младенческая слабость, а не младенческая душа». «Видел я, – говорит он, – завистливо младенца, который еще не умел говорить, но, бледнея, бросал злые взгляды на другого, питавшегося одною с ним грудью».

Удивительно рассуждение автора. Удивительные цитаты; а вот и еще сочувственная цитата из Платона (это – заметьте; Платон, судя по «Федру», был не нормальный эротик и, естественно, детей ненавидел): «Дитя из всех живых существ есть самое неукратимое: оно лукаво, злобно, как зверь, расположено к обидам; его должно держать в крепких удилах» (стр. 45).

Поистине, восстал Содом на Вифлеем! В цикле идей «Федра» и проповетываемой там «Афродиты-Урании» (= Небесной любви) дети – только грязный плод «земной Афродиты» (= обыкновенной любви) и, как таковые, подлежат выкиду из «философской академии», ее тенистых и затаен-

ных садов. Но оставляю эти дальние варианты темы. Дети особенно повинны; виновнее философов, чиновников, карточных игроков; матери еще усиленнее виновны; отцы тоже; следовательно, семья – вообще тоже; и наконец, рождение – корень зла, первый и важнейший, наиболее тяжкий грех. Болтовня константинопольских улиц получает совсем вид правдоподобия, а вместе и открывается ее источник.

Амвросий Медиоланский писал: «Прежде, чем рождаемся, мы оскверняем заразою и прежде, чем выходим на свет, уязвляемся первобытным грехом, в нечистоте зачинаемые» (там же, стр. 41).

Но нам Евангелие авторитет, а не бл. Августин и не Амвросий Медиоланский (католические, но не наши учителя церкви). Запад потребовал «воздержания от скверны» всего сплошь духовенства: и разгадывается, опять из внимания к моей теме, второе историческое явление, отчего Восток *устранился* пойти за Западом! Священник Алексей Бугров в своей диссертации вместо того, чтобы оттенить восточные, доброжелательные взгляды на рождение и дать им даже движение вперед, с косною ленью многих русских последовал в своей диссертации не только за цитатами католических столпов, но даже и язычника Платона. Имя последнего очень важно. Если у католиков Виргилий помещен в число «vates», «пророков», то философским первосвященником был у них Платон, со своими крайностями идеализма и отвращения к материи. На самом деле к рождению Адам и Ева были благословлены Богом еще в раю, до грехопадения: и представляется чем-то антибожественным, богохульным, истинно содомским слияние с первым злом исполнение первой и единственной (человеку до грехопадения) заповеди Божией. Как говорит о младенцах Христос: «Смотрите, если не станете таковыми – не войдете в царство небесное». Откуда же речи Августина, что они «злы, лукавы, их надо в оковы»? От себя. Не от Бога. Против Христа.

Я тороплюсь кончить оправдание своей книги. Младенец рождается из слияния полов, и вот та «нечистота» и «скверна», о какой собственно при первородном грехе и говорится. Но двумя полами, «мужем и женою», сотворен человек. Осуждается, значит, сотворение Божие. Снова антибожественность. Читатель без моих подсказываний видит, что клубок так завит, что здесь начало лежит не для одной книги «В мире неясного и нерешенного», а для библиотеки целой, для новой отрасли литературы и философии, для новой рубрики каталогов. И я уверен, что сам я только «первая ласточка», делающая «весну»: ибо поистине если удастся (практически, реально) вырвать с корнем из христианства две такие вещи, как детоубийство и дома терпимости (большой отдел моих теперешних писаний), то это именно для Христа, для христианства, для их победного шествования в мире будет новой «весною».

Работая над необозримой темой, над огромным материалом (письма ко мне, полемика со мною, посторонние на ту же тему статьи), я мог не раз впасть в бестактность, неосторожность; но никто не смеет сказать, чтобы где-

нибудь я впал в легкий и легкомысленный дух. Объясню одну особенность моих трудов: так как «грех» совпал (в идее) с «похотью» (просто «сильное желание», ἐπιθυμία по-гречески, переведенное на славянский язык неосторожно порицательным словом «похоть»), то предстояло снять порицание, которое в цепи последствий приводит к историям, как у Венглера, и вообще к детоубийству. «Прочь пятна с детей», – вот, можно сказать, крик книги. «А похоть, из коей они, однако, рождаются?» Жестокость вопроса, немилосердие вопрошающих (они же – чиновники, журналисты, картежники, честолюбцы и властолюбцы) и побудили меня как бы оскорбить их обратно введением во все подробности – однако существующей, реальной и притом решительно в каждой семье – супружеской жизни, с вечным тезисом: «чисто, безгрешно». Так это и есть, и церковь очень хорошо об этом знает, полагая всю суть брака, т. е. своего таинства, в «верности ложу» и считая единственным поводом к расторжению брака только эту же неверность ложу. Установив только это поводом к разводу, исключив все остальные, моральные и бытовые, поводы, не сам ли Христос указал, что верность ложу, верное «мужа к жене прилепление» Он считает самым существом брака и, конечно, не осуждает, а благословляет ее. «Розанов написал книгу, как эротоман, о том, о чем я читал у Казановы и де-Сада, но с углублением религиозным». Какое невежество! Сколько необдуманности! Да церковь, заведая бракоразводным процессом, при обсуждении каждого случая не говорит ли только о том, о чем написана моя книга, но говорит не знакомым рецензенту тоном Баркова и «Царя Никиты», а с тем самым «изумившим и оскорбившим» его «духовным и религиозным настроением», какое есть и у меня. Все впечатление рецензента и произошло от того, как если бы кто-нибудь, бредя из кафешантана, вдруг зашел в церковь, где венчаются невеста и жених. Он слышал раньше шансонетки, вдруг слышит молитвы, и к удивлению о том же: о даровании плода чреву. «Как можно! Кошунство! Это можно говорить только кабацким языком и в кабаке, а вы вздумали в церкви и церковным языком!»

Этот серьезный язык давно усвоен: 1) наукою, 2) церковью – и только до сих пор не входил в философию, куда я впервые и ввел его; но в последнюю (он) не входил, потому что самая тема не входила. Пол есть начало жизни, родник бытия: сделал ли я ошибку, легкомыслие, введя их в философию? Скорее, она сделала непростительное опущение, не обратив пристальности своей к творческому роднику жизни. Думаю, в теме моей содержатся не только великие практические обещания для христианских обществ, но и открылись для философии совершенно новые горизонты, неисхоженные пути. А не было еще любопытного, чем пренебрегла бы наука и философия. Однако что может быть интереснее происхождения жизни, вечного синтеза живых тканей? Рецензент взывает к цензуре; но только бы было подписано на обложке моей книги: «Доктора медицины В. Розанова», и у рецензента не было бы вопроса о моей книге. И ни у кого не явилась бы мысль послать ему по почте вырезанные листки в сущности из неизвестной ему книги, которой

даже заглавия он не мог верно написать. Но почему о чем может писать физиолог, не может писать философ? Биология и философия не враги, а даже в родстве. И им не чуждо богословие. Проф. Казанской духовной академии Л. Писарев напечатал в академическом журнале «Православный Собеседник» статью: «Брак и девство», вышедшую теперь и отдельную брошюрой (Казань, 1904), откуда я возьму цитаты, совершенно параллельные тем, от которых он ужасается:

«Супружество, при условиях первобытного совершенства, было выражением самого чистого целомудрия. «Тогда в раю, – говорит блаж. Августин, – половые (следует название, недопустимое в общей печати) приводились бы в движение мановением воли, как и все прочие члены человеческого тела; тогда супруг прильнул бы к лону супруги (*maritus uxoris*) без страстного волнения, с сохранением полного спокойствия души и тела и при полном сохранении целомудрия». *De civitate Dei*, XVI, 26. Migne, «*Patrologiae cursus completus*», t. VII, col. 434. Августин допускает также, что при сохранении первобытно-чистого, нравственно-духовного и физического состояния человек стал бы обсеменять родовое поле (*orgnum genitale*), этот сотворенный для рождения орган, точно так же, как в настоящее время обсеменяет землю рука землепашца» («О граде Божием, 14-я книга), тогда «муж стал бы сеять потомство, а жена воспринимать (опять невозможное в общей печати название), приводимую в движение когда нужно и насколько нужно посредством воли, без всякого возбуждения похоти». «О граде Божием», XIV, 24. (Вся цитата со стр. 18 брошюры проф. Л. Писарева.)

Почему что возможно в Казани – невозможно в Петербурге? Что не марает духовного академического журнала, марает книгу? И что не снискало дурной репутации бл. Августину, снискивает дурную репутацию философу XX века? Да дело в том, что настроение ума у меня (как многие винят меня) может быть в самом деле схоластическое, еще древнее: а в древности, до Баркова, де-Сада, Казановы и их новых читателей, совершенно открыто, просто и серьезно говорили, о чем теперь запели певички за занавесами худых театров. Но до новых тонов мне нет дела. Я употребляю древний, более присущий этим серьезным вещам. Думаю я, что в те древние времена в отношении данной темы не было вовсе распушенности, слабонервности. Мой обвинитель не видит и во мне собственно главного качества авторства: какое нужно иметь самообладание, чтобы не поскользнуться на этой страшно скользкой почве; чтобы написать целые книги (кроме обвиняемой – еще двухтомный «Семейный вопрос в России», вышедший всего год назад), придумав почти новый язык, новую фразировку, а самое главное – сохраняя везде (может быть, где-нибудь ошибся, но ведь томы!) объективно-твердый том исследователя, касаясь столь внутренней, интимной, всегда сокровенной области. «Розанов болен». Но кто же видал, чтобы больной горячкою лечил горячечных, а больной раком писал этиологию рака. Именно то, что я так подробно коснулся новых и страшных тем, пока-

зывает, что не они надо мною господствуют, а я над ними. Ведь я пишу не роман, а исследование, т. е. я держу метод, хладнокровие, внимание к предмету. Это именно оттого, что я никогда не читал ни Казановы, ни «Царя Никиты», как уже высказывал *pe ad hoc**, а почти десять лет назад (в статье «Декаденты»), не читал даже Зола и Мопассана.

К счастью, этот рецензент не единственный. Со всею доступною мне силою, с точными ссылками на непререкаемое слово Божие, я изменяю взгляд на первородный грех, расторгая его связь с рождением, очищая рождение и все входящие в него ингредиенты от всякого запятнывания. Точка зрения моя, смею сказать, — сила слова, уже подействовали, действуют. Безусловная чистота полового сближения, чистота рождения детей признается. Кроме статьи-брошюры проф. Л. Писарева «Брак и девство», я могу назвать брошюру «Брак и девство» свящ. Якшича (С.-Петербург, 1903 г.), тезис коей — что монашество есть случайное, а не принципиальное в христианстве явление, отнюдь не высшее брака; «К вопросу об отношении христианства к язычеству; по поводу современных толков о браке», профессора Киевской духовной академии П. П. Кудрявцева («Труды Академии», февраль 1903 г.). В самом же начале эти авторы делают ссылки на мои статьи и вообще вызваны ими. Стали ли бы они ссылаться на де-Сада, Казанову? Но, может быть, «Петерб. Вед.» всех умнее? Приветствую их. Но и чувствую время проститься.

КТО МЫ ТАКИЕ?

«Точно ли, есть *несколько* правд, и если «да», то какую именно признаете вы богом?»

Думается, таких или приблизительно таких вопросов можно ждать нам от читателей первого номера этой газеты. На них теперь же надлежит дать ответ прямой, ясный и спокойный. Мы чужды кичливой мысли навязывать собственные убеждения другим, но, при любовном внимании ко всякому искреннему голосу, мы открыто заявляем, что не пойдём ни в один из станов воинствующей ныне русской публицистики: оружие тех витязей иступилося, кони их притомилися, а главное, не кажутся нам родными знамена, под которыми состязаются борцы.

Истина, как согласие идеала с действительностью, конечно, едина и универсальна. Но доступно ли несовершенному уму человека познание ее во всей полноте? Тот, Кто мог бы открыть ее нам, промолчал, когда Понтий Пилат задал Ему вопрос, вековечно грызший сердца людей. Для варвара и эллина, для раба и свободного, на Северном полюсе и экваторе, на земле и небе — веления истины, когда прозвучат они, будут равно понятны, равно священны.

* не к этому (*лат.*).

Иное дело – правда: не забираясь в заоблачную высь, она представляет собою свод требований политико-нравственного характера, обращенных гражданином к себе и к обществу. Предки, и не только наши, чувствовали это сильнее и под правдою разумели тогдашнее право, т. е. общеобязательную норму поведения. Вот почему существуют у нас «Русская Правда» Ярослава Мудрого, у древних франков – «Салическая правда» и т. д. Но раз правда есть регулятор отношений между гражданами известной страны, то становится понятным, что она расширяется или суживается, цветет или умирает, в зависимости от роста национального самосознания. Правда, в отличие от истины, глубоко национальна; люди разной крови, разных религий, обитающие под разными долготами, имеют разные правды.

У одного и того же народа, в разные времена, его правда то светит краше солнца ясного, то заволакивается тучами непонимания, и без лучей ее горько живет обездоленному народу.

Что же такое русская правда? Естественно, это русские идеи, русское миропонимание, торжеством которых запечатлены все светлые страницы нашей тысячелетней истории и забвение или недостаточное понимание которых влекут за собою политическую и нравственную сумятицу, позволяют крепнуть кривде.

Пропасть, что при Петре Первом отделила интеллигенцию от народа, увеличивалась вглубь и вширь до дня лучшего праздника русской правды – 19 февраля 1861 г., когда чрез страшную бездну был перекинут первый надежный мостик. Народ и поныне остается инстинктивным хранителем нашей правды, верным, но непросвещенным; увы, интеллигенция, за малым исключением, с Петра забыла русскую правду и живет чужою, западною.

Не ждите от нас речей на старую тему, будто Запад гниет, разлагается и спасение ему можно ждать только с Востока. Скромность и смирение – наши национальные черты, и потому – не от русского духа суетные мечты о провиденциальной, вселенски-искупительной и руководственной роли нашего народа на арене всемирной истории. И на Западе есть немало хорошего, что перенять бы не грех, и у нас есть много дурного, от чего избавиться бы спасение. Нужно только помнить, что западные правды естественно родились, как отвлечение из западной обстановки, в очень многом нам чуждой; мы же окружены совсем иною действительностью, и трагедия нашего идейного безволия, это обилие даровитых «лишних» людей, тем и объясняется, что мы неразборчиво хватаем на Западе чужие правды и с неосторожной доверчивостью переносим их под наше родное небо. Здесь, на чуждой им почве, эти западные правды растут или чахло, или уродливо, заглушая слабые побег здоровых русских идей.

Такова давнишняя мучительная язва России.

Мы, сплотившиеся для «Русской Правды», считаем деления, издавна усвоенные себе нашими органами печати, печальным плодом «чужебесия». Мы – не консерваторы, не либералы, не радикалы, тем более не люди, желающие ловко лавировать среди общественных течений.

Равно гнушаясь маниловщины и угодничества, искательства у сильных и заигрывания с недовольными, мы бодро и нелицемерно исповедуем, что русская правда – есть неуклонное, неутомимое движение вперед, к свету и добру, без боязни здоровых новшеств, при любви к хорошему в старине.

Ценою усилий мучительных, страданий несказуемых куплено единство нашего мужицкого царства; едино оно будет дотоле, пока во главе его стоит наследственный Монарх, ответственный только перед Богом. Посягать на эту правду – значит не понимать народной души, значит развращать «малых сих» и не любить их.

Всей нежностью сердца любим мы истинное православие. Русский Бог – Бог жалости, которую давно иноземцы признали отличительным свойством загадочной славянской души. Жалость эту надо лелеять и воспитывать. Но чем искреннее благоговеем мы перед своей религией, тем более уважаем и чужие верования, на собственном опыте разумея, как болезненно каждое прикосновение к «святая святых» души.

Правительство состоит из людей, и кадры его пополняются из общества, – следовательно, как все людское, оно может ошибаться, и в ошибках этих тогда до известной степени повинно и общество, самостоятельность и самоусовершенствование которого поведут лишь к всеобщему благу. Ребяческая фронда, хихикание в уголке и подделка под язык Эзопа – создают лишь атмосферу раздражения; вместо самооплевывания и дешевой критики, не лучше ли посильно поработать для родины?

Деятельность земства мы рисуем себе полезным сотрудничеством твердому правительству в делах местного хозяйства; погрешности отдельных земцев не следует ставить в вину идее земщины, старой и прекрасной русской правде, и лишать ее доверия, без которого немислимо ни одно ответственное дело.

Мы терпимы и кротки, как всякий громадный, сознающий свою мощь организм; потому инородцев должно признавать нашими братьями, детьми общей великой матери – России. Один только прием «русифицирования» плодотворен: культурное и нравственное превосходство над окружающими, которое своей высотой неудержимо будет влечь инородцев к слиянию с Русью. Через Пушкиных, Менделеевых, Васнецовых – не иным способом – внедряется русская правда в души иноплеменников. Конечно, всякой терпимости есть пределы, за которыми, во имя ложно понимаемого человеколюбия, она становится уже предательством своих. Но и тут следует тонко отличать заблуждение от злого умысла.

Античный грек не оставил бы нам в наследие канона изобразительных искусств, римлянин – незабываемых основ права, если бы первый воспитывался на древностях Финикии, второй – на обломках этрусской цивилизации. Мы полагаем поэтому, что образование (не наука) должно быть строго национальным, дабы юность и душевная дряблость зачастую не звучали у нас синонимами.

Из убогой лишь тогда станет наша земля богатою, когда выработает собственную, национальную систему народного хозяйства, отказавшись от рецептов, придуманных западными лекарями-гелертерами против их, западных же, недугов.

Мы затронули длинный ряд тем; длиннейший остался даже неупомянутым. Сегодня мы почти не обосновывали наших положений; это составит каждодневную задачу в грядущем, тем более что жизнь постоянно будет дарить нас подходящими примерами. Мы поставили только вехи по пути, который, по крайнему разумению нашему, представляется наиболее верным.

Трудна наша цель, и далеко не исполины мы, подъявшие на свои плечи это бремя: мы – простые русские люди, любящие правду и ищущие ее.

О, русская правда! Ты, повитая на холмах Киева, выросшая в боях с татарами, властно заговорившая в 1812 году в Москве и восторжествовавшая после лихолетия Севастополя! В черные дни, в часы испытаний – ты возрождала нас. Буди же теперь спящих, сияй новым блеском под гром пушек Порт-Артура!

<О НОВОМ МИНИСТРЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ>

Министерство народного просвещения получило себе долго ожидаемого главу. И снова внимание общества, на некоторое время как бы забывшего вовсе об интересах и нуждах просвещения, вернется к этому ведомству, с которым связаны живейшие и насущнейшие интересы каждой русской семьи.

Вторично на пост управляющего министерством народного просвещения призывается лицо не из состава чинов этого министерства, а со стороны. Это не означает непременно нового направления, новой программы. Но это безусловно обещает новизну в приемах воздействия и управления.

Интерес его в истории и археологии, выразившийся в полном прохождении и блистательном окончании уже в зрелых годах курса в здешнем Археологическом институте, как и последующие заботы по преобразованию и поднятию этого института, восполнят в нем тот недостаток, который, при всех блистательных качествах, был у покойного П. С. Ванновского. Недостаточное личное знакомство с обширным кругом исторических наук, куда входит филология и древности, входит непременно изучение Византии и классической, еще языческой, древности, как и изучение древнего семитического и арийского Востока, – этот личный недостаток постоянно мешал П. С. Ванновскому правильно оценить педагогическое значение здравомысленного классицизма и удержать его в школе в надлежащих рамках. Великие заслуги Ванновского суть исключительно методические, а не программные. Маститый государственный человек имел силу действительно обновить ветхое министерство, пропустить всюду в него свежий воздух, поднять живую и энергичную работу, установить открытость и че-

стность намерений и отношений, любовь и внимание к подрастающим молодым силам. Ученик воскрес при Ванновском. Воскрес и учитель. Чиновник спрятался, съезжился, застыдил себя. Вот его незабываемые для России заслуги. Вечная ему память за это русских учащихся и учащихся голов. Около этой заслуги односторонность его учебных программ – уже нечто второстепенное и незначительное, очень легко исправимое.

Вновь назначенный управляющий министерством народного просвещения счастливо соединяет в себе то знакомство с миром вещественных, технических нужд, в которые погружен и от которых зависит военный мир, и знакомство с миром истории, цивилизации, культуры, которое он приобрел благодаря своим личным и исключительным вкусам. С своей стороны общество вправе ожидать от министерства, под новым руководством, довершение того обновления, которое в нем было начато незабвенным П. С. Ванновским, но, не доведенное до чего-нибудь определенного и окончательного, оставило нашу школу в положении неустойчивом и в высшей степени неудобном. Во всяком случае вопросы учебные вновь привлекают к себе с нынешнего дня то внимание, каким они пользовались последние три-четыре года. Внимание это не напрасно. Нигде забота общества не принесет столько плодов, как будучи приложена к воспитанию и образованию молодого поколения. И не нужно разочаровываться от того, что все здесь идет медленно, что шаги прогресса почти неусчитываемы, плодов еще не видно.

СУДЬБА РУССКОГО УЧЕНОГО

Издан первый том задуманного Московским психологическим обществом издания избранных сочинений покойного своего председателя Н. Я. Грота. Превосходно выполненный портрет живо передает черты вечно юного и вечно подвижного этого ученого; а обширная (60 страниц) биография его, написанная В. И. Шенроком, дает яркую картину детства, юности, учения и плодотворной общественной деятельности этого любимца общества, друга ученых и писателей. Ниже я займусь исключительно этой биографией, а пока скажу о самом издании. Сердце бьется при взгляде на первый том. Во всяком случае это хорошее чтение; а для многих, даже чрезвычайно многих русских, это будет и избранное чтение. Я не хочу кривить мыслью даже и над гробом человека и скажу прямо, что лично не имею соучастия с его философией. Но, оговорив и отстранив личное свое мнение, я могу тем свободнее сойти в круг мыслей, какие приблизительно существуют или возможны у читающего русского общества относительно трудов покойного. Он принадлежит к интереснейшей эпохе русского философского движения, именно: моменту перелома от позитивизма к идеализму. Если, может быть, он и мало помог внутренне совершиться этому перелому, то зато внешним образом он, так сказать, устлал розами путь этого перелома, когда он мог

быть посыпан терниями. Почти вся печать наша (периодическая) в 70-е, 80-е, 90-е годы, да в значительной степени еще и сейчас, захвачена была позитивным направлением: философией без философии и даже с ненавистью к философии. И не создай Н. Я. Грот «Вопросов философии и психологии», то даже Вл. Соловьеву не всегда можно было бы найти место помещения для какой угодно блестящей своей статьи. Идеализм был у нас бесприютен в том простом и самом тесном (и вместе ужасном) смысле, что он не имел ни дома, ни квартиры, ни даже хоть кой-каких меблированных комнатик себе, обитая буквально на улице, под небом, дождем и снегом и бессильно обивая пороги тех апартаментов, где заседали, реферировали и просвещали общество мудрецы «позитивного» закала ума. По указанию смелого парижского инженера труд философский, задача философствования почти свелась к труду переплетному: переилести «в один корешок» все ранее отдельно переплетавшиеся и порознь стоявшие в шкафах книжки, начиная с «арифметики» и кончая «подготовительными материалами для социологии». Так как такое «переплетание» было по плечу всякому, то сразу явились у нас десятки, сотни, а считая с окончательно неудачными – даже тысячи философов; ибо все Молчалины, 80 лет назад певшие своим Софьям: «Стонет сизый голубочек», – преобразились теперь в «позитивистов», приносивших в один из наших ежемесячников свои первые рассуждения: «Еще о классификации наук по Огюсту Конту» или «Опять о теологическом, метафизическом и позитивном периодах умственного состояния человечества». Впрочем, я впадаю в сатиру, от которой давно дал себе зарок. Теперь времена уже изменились. И может быть, сатира моя чрезвычайно несвоевременна. Но я помню же период начала 80-х годов и до какой степени душно, скучно, уничижительно было в то время положение каждого, кто не хотел войти в общий «позитивный» табун. Тут-то Грот, эклектический, мягкий, с врожденной и неустранимой вежливостью в душе, и оказал несравненные свои услуги. Но перейду к «Сборнику», первый том которого перед нами.

Из философских статей покойного для первого тома предположенного издания выбраны наиболее интересные статьи, составляющие, так сказать, «введение» к мышлению покойного Н. Я. Грота и даже, пожалуй, «введение» к его личности. Ибо в философии именно, и только в ней одной, личность мыслителя играет первенствующую роль. Вот эти статьи: «Философия как ветвь искусства», «Отношение философии к науке и искусству», «К вопросу об истинных задачах философии», «О направлениях и задачах моей (Н. Я. Грота) философии; по поводу статьи архиеп. Никанора», «Значение чувства в познаниях и деятельности человека» (две статьи на одну тему). Это – статьи «вводные». Затем идут чисто философские, так сказать догматические: «К вопросу о критериях истины», «К вопросу о классификации наук», «Что такое метафизика», «О времени; критическое исследование». И две очень важные статьи полемического и критического содержания: «О философских этюдах А. А. Козлова» и «О второй части книги Л. М. Лопатина «Положительные задачи философии». Как может ви-

деть читатель и как объясняет сам Грот в статьях первого порядка, покойного уже чрезвычайно рано занял вопрос: неужели чувства человека, занимающие такую обширную часть его душевной жизни, не входят вовсе живущим началом в построение философии? Пожалуй, это тот же вопрос, какой задал себе Кант о предопытных категориях разума, но приложенный к другой части нашего существа; тот же, пожалуй, этот вопрос, какой понудил Н. Михайловского дать место и соучастие «субъективному моменту» в социологии. Здесь скрыт вечный росток (или вечное поползновение?) к идеализму: наше «я» – не умирающий ангел, который никак не может допустить ни бездушности, ни загробления, ни бесчеловечия (в социологии) в лучшую из деятельностей человеческих (умственную). Конечно, допустив в философию такой «субъективный» элемент, как чувство, сердце, – мы допускаем возможность чрезвычайных ошибок; таковы были философские иллюзии Фихте и Шеллинга, социальный иллюзионизм Фурье и пр. Но он всегда поправим, завтра же поправим приятелем философа. Он зато придает такую живость и философии, и социологии, а вместе и такой сообщает им практицизм, какого никогда без «субъективного элемента» они не получили бы. Говорят, все субъективное не вековечно, а истина и, следовательно, задача науки и философии – в вечном. Так. Но что вечнее, камень или растение? Растение завтра умирает, но растительность (как род) гораздо устойчивее камней. Зеленый луг, цветущий, напр., около Пестума сейчас, как и до Р. Х., гораздо вековечнее давно разрушенных, вовсе разрушенных до песка, до пыли, до невидимости прибрежных скал Тирренского моря. Цветок переживает скалу, как, может быть (мы надеемся), и жизнь переживет нашу планету.

Во всяком случае многочисленные любители философии в нашем отечестве найдут в изящно изданном томе трудов покойного обильную пользу для размышления, спора, согласия. Для оценки философской личности покойного чрезвычайно ценна статья, написанная в ответ на некоторые упреки архиеп. Никанора, автора замечательной, в своем роде единственной у нас книги: «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». Это, можно сказать, философская биография Н. Я. Грота, написанная им самим. Она любопытна, жива, поучительна, и чтение тома можно бы начинать с нее. Мы здесь позволим себе, однако, остановиться на более для нас привлекательной житейской биографии покойного; ибо, думаем, именно биография эта и была «субъективным добрым ангелом» около мировоззрения покойного, которое ломалось, как тонкий осенний или весенний лед, всякий раз, как на него ступала чья-нибудь нога. Историю этих «ломаний» своей мысли он сам рассказывает так трогательно и чистосердечно, что к краткому резюме: «она – вся сломалась» – нам нечего прибавить.

Грот кончил свою жизнь необыкновенно грустно. Года за три до смерти, помню, я его видел в Петербурге. Это был совершенно цветущий молодой человек (на вид), и никакого подозрения о близкой смерти у говорившего с ним не могло быть. Он был в возрасте полных сил, средних лет, но

необыкновенная свежесть организма, при замечательной красоте лица, давала впечатление не среднего возраста, а именно молодости. Однако молодость эта была скорее в вечно молодых его надеждах. Он не скрывал страшного переутомления, которое стояло позади, и, очевидно, оно-то преждевременно и свело его в могилу. Упомянув, что с каждым годом семья его возрастает на одного человека, он жаловался на чрезмерную тесноту средств, почти нужду. Он не жаловался, а рассказывал – и впечатление получалось тягостнее, чем если бы у него были жалобы. Все сложилось само собою. Профессорского жалованья не увеличишь: это – положенный «штат», на котором, служа одинаково, получают Поприщин и Ньютон; за редакторство («Вопросов философии») он или ничего не получал, или очень мало: это было – любительство, поэзия, слава его, но бесхлебная слава. К истинному мучению слушателя, он рассказывал, что было бы совсем плохо, не приди на помощь приватные занятия по разбору архива каких-то сословно-семейных документов: занятие, не имевшее ничего общего ни с философией, ни с психологиею, ни с журналом, ни с кафедрой. Это занятие было все равно (для специалиста), как если бы в добавление к профессуре он открыл в доме у себя прачешное заведение. «Злая татарщина!» – мелькало у меня. Он, однако, надеялся на скорую перемену материальных обстоятельств, может быть так и не наступившую; отсюда происекало его оживление, может быть на час, может быть на дни, может быть и даже наверное (судя по сообщениям в биографии г. Шенрока) – обманувшее его.

«Он таял, как свеча, – пишет его биограф, – постоянный искусственный подъем энергии совершался уже на счет основных, а не запасных сил организма». Почти каждую зиму, начиная с 91-го года, он подвергался нервным припадкам удушья, сопровождавшимся упадком сил. В последние две зимы приступы лихорадки, ревматизма и ларингита заставляли его нередко пропускать лекции. «Но усиленная переписка с заграничными учеными и необходимость работать, кроме исполнения профессорских обязанностей, в архиве московского дворянства для нужд своей большой семьи неумолимо подтачивали его силы». На 1900 год ему обещана была годичная заграничная командировка. Это подняло необычайно его энергию, готовую всегда вспыхнуть при первой надежде. У него загорелось множество новых планов; однако лето он решил посвятить безусловному отдыху, частью по требованию докторов, частью под свежим впечатлением трагического конца его товарища, профессора Корелина, сделавшегося жертвой переутомления. «Вы не смотрите, – говорил близким людям Грот, – что я бодр и весел; у меня все органы поражены, и я нуждаюсь в основательном отдыхе, чтобы меня не постигла участь Корелина. Все лето буду лежать на траве, под деревом и только отдыхать, отдыхать»... «Видно было, – говорит биограф, – что он считал близкую опасность благополучно миновавшей». Но это оказалось не так. Предстояло принять меры против опасности, медленнее наступавшей и более неотвратимой. Он решил покинуть вовсе Москву. «Это была тяжкая уступка

его переутомлению. Он хотел устроиться в Харькове, где он лучше мог сберечь свои силы, которым в Москве, вследствие условий жизни, хлопот по журналу и Псих. обществу, менее угрожало. К этому присоединились и практические соображения: близость Харькова к его летнему убежищу, возможность более дешевого устройства и проч. Носились слухи, что к приезду Грота осенью в Москву решено было почтить его прорщальным обедом... Многие были поражены необычайной новостью: «Грот оставляет Москву!» – «Как же это, – спрашивали многие, – создал Психологическое общество, создал журнал, заслужил огромную популярность и уважение, – и все бросает!» Когда эти слова были переданы Гроту, он, уже чувствуя себя серьезно больным, нетерпеливо возразил: «Ну, да! Ну, да! Создал и Общество, и журнал, а теперь устал; что же тут непонятного?» Он торопился выехать из Москвы и все делал сам, приготавливаясь к отъезду. Но это, уже ничтожное для здорового организма, переутомление с хлопотами выезда – оказалось для надорванных его сил роковым. Едва приехав в деревню, он почувствовал себя худо, и через десять дней (23 мая 1899 г.) его не стало. В сущности, он был похож на чрезвычайно зарумяненное яблоко, все съеденное внутри червем, т. е. он был совершенно болен, почти умирал, и только (для собеседника) кожа его блестела молодостью, а глаза – живостью и предприимчивостью. Может быть, и физических-то сил ему было отпущено в меру: и он только ярко горел и быстро сгорел весь. И труд его, и все биографические перипетии вынес бы человек «пожиловатее». Но этой «жиловатости» вовсе в нем не было. Скорее его организм был похож на красивую фарфоровую куклу, быстро обтрепанную и наконец разбившуюся в руках ребенка-баловня, каким была его биография.

Об отъезде его из Москвы, просто по бедности и усталости, мы впервые узнаем из этого теперь вышедшего первого тома его сочинений. «Злая татарщина» – как не сказать этого! Невозможно представить себе человека более на месте, чем как был он при Обществе и журнале, единственных точках философского идеализма у нас за промежуток более чем десяти лет. Если вообще умственная жизнь России чего-нибудь стоит, то без всякого преувеличения можно сказать, что Грот был в этой жизни одним из важных, необходимых колес. Необходимое колесо в умственном движении страны, обнимающей шестую часть земной суши и имеющей 130–140 миллионов населения! И какова его судьба? Он, видите ли, он не держался ни «zweikinder-system», ни «keinkinder-system»*; этот рабочий, ломовик, не придерживался предостережения Мальтуса и Д. С. Милля, что «средства пропитания увеличиваются только в арифметической прогрессии, тогда как население имеет несчастную тенденцию возрастать в прогрессии геометрической». И умер, заработавшись, не пропитавшись, свалясь от усталости, как кляча под непосильным возом.

* система двух детей и система без детей (нем.).

А как было светло начало бега этой свалившейся к 1900 году «клячи»:

«С каким удовольствием я иногда проезжаю через Кремль и размышляю, что нахожусь в Москве, в сердце России, составляя один из кусочков ткани этого сердца. Но я еще не наслаждаюсь Москвою вполне. Сначала надо потрудиться хорошенько, чтобы приобрести досуг и возможность жить посвободнее. Я еще ни разу не имел времени пойти погулять без цели в Кремль и насладиться спокойно видом Москвы: ни разу еще мы не были ни в музеях, ни на выставках и галереях».

Так писал он, переехав на профессию в Москву. Это были дни кануна подъема всех его сил как общественного деятеля и журналиста в Первопрестольной. Вот строки его из Нежина, более ранние, когда он впервые окружил себя семейным кругом:

«Прошла пора, когда я смотрел на жизнь как на чашу славы и богатства. Самая лучшая цель жизни – уравновесить умственные, теоретические моменты с моментами спокойного семейного счастья. Немцы давно это поняли, и они на женитьбу смотрят как на долг, в тот момент, когда они приобретут первую трудовую копейку. Это стимул к новой работе. Вот и теперь у меня серьезная цель в жизни – сделаться достойным милой, идеальной девушки. Я знаю, что меня ждет награда в будущем, и это удесятерит энергию моих добрых намерений».

Любовь, по словам его, отразилась на его даре речи: «Сегодня читал лекции с особенным одушевлением. Законы Вебера, Фехлера, Вундта излагались мною самым красноречивым образом» (XLII стр.). И везде этот ясный, немного наивный, бескорыстный и доверчивый дух чувствуется в нем. Вот он за границей, в Берлине, и биограф, пользовавшийся письмами его к брату, Конст. Як. Гроту, так передает первые шаги еще набирающегося ученого молодого человека:

«С своими новыми друзьями Грот прошел формальности матрикуляций и вступил в трудовую университетскую жизнь. Вначале восторженное благоговенье перед светилами германской науки внушило новичку-студенту некоторый страх. Но это неизбежное смущенье скоро уступило место сознанию собственных сил, и не далее как через месяц мы видим Грота центром общего внимания на разных философских собраниях, где его уже успели заметить и оценить, как молодую, многообещающую силу, и вместе с тем к нему уже начинают относиться с симпатией как к человеку. Его спрашивают о состоянии философской науки в России, произносятся в честь его приветственные тосты в застольных беседах и вообще относятся к нему сердечно и дружески; некоторые берлинские ученые приглашают его к себе и завязывают с ним частное знакомство. В одном письме к брату он очень интересно описывает вступление свое как гостя – в Берлинское философское общество, на заседание которого, соединенное с обедом, он был введен одним своим знакомым. Здесь, в числе 15 человек, присутствовали выдающиеся философы, напр. Мишле, Меркер, Кирхман, Шасслер, Фреде-

рикс и др., отнесиися к молодому русскому ученому с живейшим сочувствием. Председательствующий, профессор Меркер, представил обществу Николая Яковлевича, предложил за него, единственный в этот раз, тост, как за представителя русской философской науки в Берлинском философском обществе. «Чокнувшись со всеми, – рассказывает Н. Я., – я обратился к собранию с выражением благодарности и сказал небольшую речь о состоянии философской науки в России, – речь, которая им очень понравилась, так что они выразили надежду, что я когда-нибудь буду держать более подробный Vortrag по этому предмету»... Вскоре Грот завоевал в философском кругу Берлина такое сочувствие и возбудил такие надежды, которые обязывали оправдать составившееся о нем лестное мнение и заставляли его усиленно работать. Особенно тепло отнесся к нему известный Лацарус, выразивший желание, чтобы Грот сделался сотрудником по русскому отделу издаваемого им «Zeitschrift für Völkerpsychologie»*.

В этих отрывках как живой рисуется Н. Я. Грот. Грот и дремливость были несовместимы. Где бы он ни появлялся, начиналось движение. Не очень сильное, но упорное, не к которой-нибудь вдруг выявившей и ставшей насущной цели. Этой черты деятельности фанатиков в нем не было. Начиналось легкое брожение веселящего шампанского. Скептицизм рассеивался около столь уверенного человека, лень спадала около человека вечно подвижного. Гулять ли, петь ли (в ученические годы) предстояло, – учиться ли, писать ли диссертацию или образовывать общество, журнал: для всего был хорош этот человек, к которому так шел бы стих старика Богдановича о Психее:

Во всех ты, Душенька (= Психея), нарядах хороша!

И вот такой чистый и умный «Ребенок», если это нарицательное имя позволено, олицетворив, переделать в собственное, как древние сделали это с названием «души-Психеи», – этот всех освежавший ребенок упал, когда на воз ему москвичи наложили тяжелых московских булыжников.

И пусть читатели всей России поддержат ошибку или грех Москвы, ошибку или грех нашего учебного ведомства. Как мы слышали, самый выход последующих томов сочинений Н. Я. Грота поставлен в зависимость от того, разойдется либо окупит издержки издания 1-й том.

ОТЧЕГО ПЛОХО ПРАВОПИСАНИЕ В ГИМНАЗИЯХ?

Предположение «комиссии, собирающейся в Академии Наук», реформировать русское правописание, именно – упростить и облегчить его, – имеет мотив, главным образом, педагогический. Почти все видят, что это «исправ-

* «Журнал народной психологии» (нем.).

ление правописания» будет крайним обезображением вообще «писания». Нет спора, что писатели со вкусом просто не примут его. А за писателями со вкусом последуют люди со вкусом. И предположения, ныне витающие в стенах Академии, так и останутся витать в воздухе.

Теперешнее правописание с «ѣ», «ѳ», «ѵ» полно историчности, полно смысла. В нем отражается история племен, вошедших в Россию; история слияния местных говоров в один русский язык. На предложение Академии Наук начать писать «хлеб» вместо «хлѣбъ» новгородец и киевлянин ответят: «Нет, я буду писать хлиб, потому что я так говорю». Начнется разложение языка на провинциальные наречия.

Писать «по звону» (по выговору) предлагал еще покойной памяти В. К. Тредьяковский. Его оспаривал Ломоносов. Странно, что многие академики стали на сторону Тредьяковского. Теперь им еще труднее одолеть Ломоносова, чем в XVIII веке, ибо теперь вся Россия, насмешливая, остроумная, заступит место Ломоносова и, несомненно, победит Академию или ее «комиссию». Победит тем, что просто не слушается.

В самом деле, какой афоризм: «Ученики гимназий пишут до безобразия безграмотно. Нужно улучшить их правописание. Для этого пусть они, и их родители, и мы все русские начнем писать вовсе безграмотно, окончательно невежественно. Всеобщность безграмотности покажется общему грамотностью».

– Согласимся все быть глупыми; и мы все покажемся умными. – Право, не надо долго учиться и стяжать ученые степени для сотворения таких афоризмов. И как не подумать, что скажут о такой попытке академия парижская, академия берлинская. Ведь они все сестры между собою, и странно, что одни русские захотели быть такими «замарашками».

Вопрос о правописании, и именно о нетрудном усвоении нашего исторического правописания, есть вопрос школьный, а не литературный; педагогический, а не ученый. Нужно не изобретать новое правописание, а нужно действительно изобрести способы нетрудно, просто и кратко временно выучивать мальчиков в школе правильно писать по-русски.

«Правописание и диктант» действительно поглощают почти все время преподавания русского языка в I, II, III и IV классах гимназии. Это при четырех недельных уроках! Ревизор, входящий на урок русского языка, приказывает прежде всего ученикам вынуть тетради и писать под его диктовку «диктант». Вся ревизия в этом и состоит. Грамматики не спрашивают. О начитанности нет вопроса. Несчастный ревизор несчастного учителя знает вполне, что ученики ни грамматики не знают, не знают отличить сказки от песни (т. е. теоретически, в смысле «законов словесного творчества»), принимают и Пушкина и Лермонтова за «песенников»; и вообще дикие невежды в «русском языке и словесности». Но когда ничего этого нет, ничего этого не приобретено за четыре года, он спрашивает с отчаянием: «Да умеют ли они по крайней мере ставить букву «ѣ»?!» Буква «ѣ» съела весь русский язык в гимназиях, поглотила все время. Зная, в чем состоит ревизия,

учитель только и готовит учеников «из буквы ъ». Пока Академия Наук или ее «комиссия» не решила: «Ну ее к черту, букву ъ!»

Это – отчаяние от неумелости. «Уничтожить арифметику, потому что арифметика не дается»?! К счастью, с арифметикой нельзя так поступать, а с правописанием – можно. Но мотив рассуждения и самое рассуждение одно и то же. Рассуждение это нелепое. «Не дается» вовсе не арифметика или правописание, но она «не дается» при неумелом учителе и учебнике или, общее и вернее, при нелепости *системы передачи*.

Прежде, когда учили чтению: «буки – аз-ба», оно тянулось годы. Теперь, с звуковым методом и кубиками, дети выучиваются читать почти сами собою, чрезвычайно быстро и без всякого труда. В некоторых семьях выучивают читать только старших, младшие, за ними, уже сами выучиваются чтению.

«Правил правописания» (теоретически) я до сих пор не знаю, – и не помню, чтобы учитель гимназии обращался ко мне на уроке: «Вот, Р., слово *мнѣ* надо написать на конце *ѣ*; ибо в дательном падеже, где слышится звук *е*, пишется *ѣ*». Не помню этого. А товарищи мои бились над этим в слезах; получали *единицы* за диктант – и выходили из III–IV класса вовсе безграмотными.

Секрет в том, что правописанию выучиваются не как системе писания, теоретически (кто запомнит 1000 правил и, главное, кто их применит быстро и легко в быстром процессе писания в 10–12–14 лет?!), а выучиваются ему и следует выучиваться так же непосредственно, легко. «само собою», как младенец выучивается сперва говору, а затем от старших и чтению.

Несколько моих товарищей и я уже в гимназию поступили, умея писать почти без ошибки (маленькие ошибки я и теперь делаю и не гонюсь за этим). Причина простая: мы до поступления в гимназию прочитали сотни книжек, рассказцев, сказок и списали себе в тетради («альбом», «тетрадь для стихотворений», «песенник») все страшные баллады Жуковского, Каменева (помню, я над «Громвалом» старался), чуть не томы из Пушкина и вообще из кого попало, пострашнее и поинтереснее. Поступая в гимназию, мы буквально «знали» $\frac{1}{10}$, а то и больше, «курса словесности». И «правописание» безукоризненно усвоилось из привычки читать и писать; читать по правильно напечатанной книге и списывать тоже с правильно напечатанной книги.

Вот и все.

Мои товарищи, которые страдали над буквою «ѣ», никогда ничего не читали и ничего себе в тетради не списывали. «Система правописания» висела в голове их отвлеченно. «Систему»-то они знали, а как начнут писать – и наврут. Учитель кричит на них: «Долбите правила!» Ревизор кричит на учителя: «Они у вас не долбят правила!» И все долбят: ревизор – учителя, учитель – учеников, ученики – учебник, со скрежетом зубов, проклиная. Пока Академическая комиссия не пришла на помощь, взяв меч Алек-

сандра Македонского и разрубив Гордиев узел: «Ну ее к черту, эту бессмысленную и действительно трудную и все же в результате совершенно бесплодную долбню».

Полегче, господа! Попроше – и все станет легко!

Пусть реvisor спрашивает не букву «ѣ», а «Полтаву» Пушкина; пусть учитель соревнует учеников не в диктанте, а в знании народных сказок Афанасьева. Пусть педагоги, ну хоть притворно и на время, забудут букву «ѣ»; и пусть поверят, что она сама у них родится, ляжет в пеленочки, вырастет, войдет куда нужно, все сама! Без усилия с их стороны!

Есть целая категория людей, которым правописание ничего, в смысле труда усвоения, не стоило. Это люди – все очень много читавшие, много списывавшие, вообще писавшие, компилировавшие. Затем, и после этого обильного чтения, останутся маленькие ошибочки, «тонкости»: ну, пусть о них спорят ученые люди, академии. Право, книга не испортится от нескольких в ней ошибок; человек не перестанет быть образованным, если он делает в письме ошибки, уловимые для Буслаева и Грота. Но начать сплошь писать без «ѣ», «Ѡ», «ѵ», писать «хлеб», «феатр» (старинное написание «театр»), «апофеоз», «символ веры», «введение»: нет, такое безобразия начинать для уничтожения все же меньшего безобразия, встречающегося в диктанте самых неудачных учеников, – покорно благодарю! Это все равно, как, рассердившись на блох, – да в огонь шубу.

Поумнеть нашим педагогам – нужно! Поумнеть нашим гимназиям, всей ученой «системе» – следует. Хорошее правописание должно усвоиться в учебном заведении, как хороший тон в обществе: по примеру, указанию, легкой насмешке, по легкому укору и напоминанию. И только. Но стойте инквизициею над буквой «ѣ». Знаете: станьте «дозором» над ношением галстухов, назначьте пытки за забывчивость надеть его: и люди разучатся носить галстух.

«ѣ» – это просто галстух в школе. Кто его забыл – замечают. И все его станут тогда носить. Но нельзя же объявить: «Снимем все галстухи», как и глупо было практиковать другое: «кто без галстуха – пожалуйста в участок».

Галстух – это «само собой». ѣ – тоже. Вежливость, приличие есть обычай, а не закон. В школе нашей водворилось основное неприличие: долбляжка учебника, а не чтение книги; «тетрадь для диктанта», а не «тетрадь для любимых стихотворений». За основным этим неприличием, бескнижностью, бессловесностью, безлитературностью учебных заведений – приплелось и другое: безграмотность письма. Но дико, если сонм ученых объявит: «А, плохо грамотны – так будем вовсе безграмотны!»

Что за Геростратово решение. В подражание японцам разве? Это у японцев есть обычай: распарывать себе живот перед окнами дома своего врага. «Назло». И вот и почтенные наши филологи (если бы осуществилась их затея) также решились: «распороть себе живот» перед тупым и не читающим ничего гимназистом.

К ПОЛОЖЕНИЮ УЧЕБНОГО ДЕЛА

В преобразовании нашей учебной системы много начато, но все остановилось в начале, в течении, на «запятой». Предыдущее тридцатилетие бездельности в народном просвещении точно парализовало мысль в самом ведомстве; и когда оно начало наконец думать, задаться, искать, – то ничего не находило и ничего ясного ему самому не представлялось в задаче преобразования. Комиссии как-то бессильно собирались и распускались. Работа ушла в мелочи, или не было никакой работы. Хлопот было множество, а движения вперед мало. Что сделано, напр., по основной задаче реформы, по улучшению учителей? Об этом ничего не известно. Ничего ясного не сделано, ничего крупного. «Сердечное отношение к ученику» в чем же выразилось, кроме этого словесного предложения, сказанного кому-то куда-то в пространство и которое весьма похоже на самое трогательное письмо, опущенное в ящик без адреса. Стали ревизии учебных заведений чаще, чем были? Стали ли они хоть просто регулярны, периодичны, напр. ежегодны, для каждого учебного заведения? Я не могу забыть, что, преподавая 12 лет в гимназии, ни разу в стенах гимназии не видел ни попечителя, ни помощника попечителя и только один раз (в двенадцать лет!) видел окружного инспектора, покойного Я. П. Вейнберга, который, однако, в один день, т. е. в пять часов учебного времени, обревизовал и мужскую прогимназию, и женскую прогимназию. Он очень был взволнован, очень раздражен. Ученики путали Иордан с Нилом, отвечали на вопрос (вероятно, привычный, «ревизионный»): «Где крестился Иисус Христос?» – «В Ниле». Добрый и умный ревизор много кричал, был расстроен. Но сердцевина дела остается та же: он пробыл один день, никого ничему не научил (т. е. не указал способов преподавания), и на следующий год никто на ревизию не приехал. Было похоже на то, как если бы и попечитель, и весь учебный округ сказали про себя о гимназиях: «А черт их дерит, эти гимназии». По крайней мере ни из чего нельзя заключить (12 лет не было попечительского посещения!), чтобы было сказано или подумано что-нибудь другое. Спрашивается, почему же собственно при такой «системе» отношения одни ученики должны были быть «старательными и прилежными»? Скорее они должны были быть тем, чем для них был состав преподавателей, – и «не внимательными», и «не прилежными»; а учителя в свою очередь тоже должны были стать такими, каков был для них учебный округ: тоже «нестарательными» и «неприлежными». Все незрелое становится зрелым через посредство зрелого: неученый «зреет» через ученого, порочный «зреет» через добродетельного и т. д. Всякие «меры улучшения» должны идти непременно сверху, хотя, конечно, «лучше» можно становиться и снизу; но это будет уже «само собой», это будет не «мерою», не управлением, ни министерством. «Встаньте, господа, правительство возвращается», – произнес Катков знаменитую формулу в 1881 г. В это самое время я сделался чиновником одного из министерств. Увы, я никакого, в 12 лет, «правительства» не видел: напротив, я видел совершенное его отсутствие именно в том, что

«правительству» того времени следовало бы нарочито старательно сделать: обратить внимание, как и чему учатся ученики, напр., в девяти губерниях учебного округа, где я служил. Если подробно рассказать, как и чему мы учили, или точнее, как мы не учили ничему; если бы развинтить по винтикам всю «систему» и каждый винтик рассмотреть особо, мы в итоге нашли бы, что она вся свинчена из 3–4 афоризмов, один из них был ясно применен по полной неревизуемости вполне негодных учебных заведений:

– А черт их дери, учителей: пусть ходят на уроки, и только!

– А черт их дери, учебники: ведь напечатаны, так не перепечатывать же их!

– А черт их дери, гимназии: кирпич привезен, здание построено, вывеска повешена: чего же больше надо?!

Чего же больше надо этой России, неугомонной, скучной, вечно чего-то требующей, когда все «формально» для нее «исполнено»?!

Слово «ревизия», т. е. как бы «требование отчета» (как это может быть применено в сфере учения и воспитания?), следовало бы давно изгнать из словаря педагогических терминов и заменить словом «посещение». «Ревизовать» можно суммы в казначействе, сапоги в интендантстве; но что значит «ревизовать» душу, свет, просвещение, в каковых, казалось бы, состоит учебное дело. Мне кажется, ревизоры оттого и не ревизовали округ, где я учил, что они были слишком умны и тонки, чтобы не понять, что в качестве «ревизоров», через посредство «ревизий» могут только еще более уронить учебные заведения, и без того павшие! В самом деле, до 12 лет учительства мне пришлось увидеть и убедиться в вещи, которой невозможно поверить, не видевши: что как бы забытые Богом и «начальством» заведения не были худшие; они были только без учения, но с большой начитанностью учеников и решительно с хорошим поведением учеников; а что истинное разумение учеников, цинизм, «разбой душевный» (иначе и выразить нельзя!) были в гимназиях очень и очень подтянутых, со строгим директором и «подтянутыми» (директором же) учителями. Итак, «ревизия» и «отчет» применимы к сапогам и интендантству и неприменимы к ученикам и гимназии. Но опытный педагог, уже много лет наблюдающий сравнительно учебную жизнь в девяти губерниях, приехав в город на неделю, как многому мог бы наставить самих наставников, именно как зрелый еще незрелых?! Он мог бы опыт одной гимназии переносить в другую; приемы очень даровитого учителя сообщать учителям более слабым, менее изобретательным. «Посещение» гимназии и ее «посетители» могли бы стать истинною душою учебного дела, если бы, говоря аллегорически, теперешние бесплодные (или вредные) «ревизоры» сняли мундир и засучили рукава, как работник в работе, как оператор при операции. Поменьше гордости, и больше будет пользы. Я. П. Вейнберг только в крайнем раздражении накричал много, и все же, хоть этим, принес некую пользу. Мне сейчас же сообщили, что он поступил против правил: ревизор серьезный и на серьезной ревизии только присутствует на уроках, но не раскрывает рта и уезжает из гимназии молча, может

быть передав наедине директору свои впечатления и распоряжения. Всякое его вступление в разговор с учителем или учителя с ним было бы нарушением субординации. Цель посещения ревизора – доклад (письменный) попечителю. Но если принять во внимание, что учитель может быть наказан, например переводом в другое заведение, не иначе, как из-за какой-нибудь «истории», особенно из-за размолвки с директором, то нельзя и выразить всю смехотворную ненужность этих «докладов» попечителю. Ибо, что бы он ни докладывал, хоть например, о том, что ученики мешают р. Иордан с Амазонской рекой, попечитель может только развести руками, пожалеть и ничего больше сделать не может, сделать бессилён.

Из доклада и ряда докладов попечитель может только узнать, что у него в заведывании плохие, слабые гимназии. Но и он решительно ничего не может сделать с этим, ибо порядок замещения учительских должностей определен министерством (Петербургом), учебники одобрены в Петербурге же, и вообще попечитель решительно ничего не может сделать в своем округе для подъема учения. Он может приехать «сам» в гимназию и, увидев, что она плоха, уехать назад. И только. Попечителя в гимназии я видал, когда был учеником. Тогда он обыкновенно становился к окну и смотрел в окно. Мы с любопытством (и страхом) рассматривали на нем звезды, две звезды. Например, на уроке алгебры в VI классе, да и на всяком почти уроке старших классов, попечитель не мог даже узнать, верно ли отвечают ученики и поправляет ли их учитель. Сесть в коляску и уехать – все, что он мог сделать. И затем – вокзал, вагон, вожденная Москва, и в Москве своя привычная, милая канцелярия, где уже он знаток и господин среди кип исписанной бумаги, например, тех же докладов ревизоров и «отчетов» директоров и инспекторов учебных заведений, вот и все, и конечно! И больше ничего нельзя!

Мало кому известно, что так называемые «директоры» гимназий, о которых существует представление, что они-то и заведуют учением и особенно «воспитанием» учеников, на самом деле совершенно бессильны повлиять на учение и им вовсе некогда заниматься воспитанием. По коридорам (и чрезвычайно редко по классам) директор только «проходит», не задерживаясь в них; обыкновенно «проходит», идя из канцелярии в квартиру завтракать и из квартиры в канцелярию «заниматься делами». Перед большим письменным столом в этой канцелярии повешено расписание «срочных бумаг», большею частью «отчетного» свойства, или – «рапортующего», какие он должен посылать monthly и weekly в округ. Они должны быть написаны хорошим языком, в утонченно-почтительной форме, с точными, очень точными сведениями и цифрами; материал для этого, а отчасти и текст, подготавливает «письмоводитель». Вот он, а вовсе не инспектор и учителя, и есть постоянный, ежечасный сотрудник и частью собеседник директора, с ним вдвоем они и делают «дело гимназии»; тут – и суть. А все прочее – «приложение». В «прочем», т. е. в самом учении и воспитании, только бы скандала не происходило. Директор собственно только наблюдает за одним:

чтобы учителя не манкировали уроками, «ходили в должность». В сущности, его право над учителями, властительная его роль этим и ограничена. «Прочее ведает округ» (слыхал я термин), т. е. уже он наблюдает и ответствен за учение и воспитание. «Учебники одобрены в Петербурге, учителя одобрены в Москве». Пройдя по коридору и видя через стеклянные двери, что учителя сидят по классам, директор и входит в канцелярию: и здесь для него все так же привычно, мило и подвластно, как попечителю в его канцелярии!

...как некий дух,
Отсюда миром править я могу.

Так Скупой Рыцарь рассуждал перед сундуком с червонцами; и кто из чиновников так не судит перед шкафом с «делами». «Дело № 5», «дело № 105», «дело № 1005». Бесшумно, безвредно и успокоительно.

* * *

Справедливо, что учебный округ, заведующий учебными заведениями в 6, 7, 8 губерниях, не может не спрашивать «текущих» сведений о их внешнем, материальном состоянии. Статистика учеников, сумма внесенной за учение платы, назначение и увольнение всего служащего персонала, назначение жалованья с рубриками его повышения по пятилетиям, выдача пособий, — да, все это есть, неизбежно! Но это только еще *обстановка* учения, а не самое учение и особенно не воспитание. И редактор газеты не может не знать, сколько он выпускает номеров 1) в столицу, 2) в провинцию, 3) по подписке, 4) в розницу, 5) полугодно, 6) на год. Но несчастен был бы редактор и сейчас пала бы его газета (или журнал), если бы он только и стоял у денежного ящика, спрашивая: «Сколько?» Между тем именно в подобном положении находятся наши гимназии, коих директор и попечительское управление стоят над статистикою. Контора везде нужна; контора и «письменность» неизбежны. Но пусть они стоят на месте, — в уголке, незаметно. Главный интерес, и особенно в таком деле, как образование, должен быть отдан душе; отдан — с полетом, с одушевлением, с талантом. Практически это и должно быть выражено в следующем:

1) Директор — глава воспитания и учения.

2) Канцелярия и отчетность возложены на самостоятельно поставленного чиновника, который всю цифирь и всяческие «дела» препровождает или сносится по ним с канцеляриею попечителя.

Думается, и канцелярия попечителя должна быть преобразована в этом же направлении, как можно глубже проведенного отделения ее от личности попечителя. Пусть попечительская канцелярия ведает цифирную, рублевую и служебно-чиновническую сторону учебного округа, докладывая о ней министерству (в Петербург). Личность же попечителя пусть останется как можно менее связанною ею, занятою ею. Попечитель округа, где я служил,

почти никогда не выезжал в округ (в губернии). Я не только (за 12 лет службы) не видел его ни разу приехавшим в гимназию, но и, бывая в Москве и попечительской канцелярии, ни разу не видел его и там, так что совсем не знал в лицо и при встрече не мог бы поклониться. Конечно, он не имел и не мог иметь никакого реального представления ни о гимназиях, ни об учителях, ни об учениках. Он никогда не читал никаких учебников; *сам* не дал ни одного урока. Он не знал ни трудностей этого дела, ни поэзии; вообще – никакого в нем смысла! Сколько можно было постигнуть дело (насколько это видно было из губернии), управление округом все шло через правителя канцелярии (повторенная, но только высшая форма «письмоводителя» в гимназии). Он был умный, зоркий и неутомимый человек. Но невозможно скрыть и изменить того факта, что этот правитель попечительской канцелярии не ездил даже и на ревизии, хотя и последних почти не было и они продолжались (каждая) не более дня и самое большее – двух дней (в губернских городах). Таким образом, реальное заведывание делами округа находилось у человека (или по крайней мере чрезвычайно от него зависело), который никогда самого округа не видал: не присутствовал на уроке ни одного преподавателя, не видел ни одного директора – как он управляет гимназией.

«Не было бы скандала»: кажется, это было одною заботою на протяжении всего округа: у попечителя, у всех директоров и нескольких сотен учителей. Но, в сущности, «скандал», «история» вечно таились в этой тишине и кажущемся благообразии; но они лежали на дне, до времени не поднимаясь и, в сущности, даже только не доходя или «неведомые» до сведения большого начальства. Начальство, по-видимому, само было убеждено (ведь есть телепатия, сведения без писем и телеграфа), что в этой тишине повсюду и совершается тайный скандал, и только мысленно молило Бога, чтобы он не разыгрался, не вышел наружу.

Вот один факт, так и не разъяснившийся для меня, которого я был свидетелем.

Уезжал директор «по делам» в округ, и был там неделю. Заведывание гимназией он «времененно вверил» учителю математики, человеку лет пятидесяти. Учитель этот был, до известной степени, человек страшный. Мягкий и почти нежный в обращении, с маслянистыми глазами, он, когда хотел или когда находил полезным, мог быть страшно строг, до жестокости, до отчаяния (для наказуемого). Не забуду, как я оставил одного ученика за шалость на уроке «на час после уроков» (= «без обеда») и, как шалость была легкая, несколько себя оправдывал, объясняя ему. Ученик (IV класса) был ростом выше нас обоих и вечно улыбался, не душою, а губами. Был ученик ленивый, добрый и неуклюжий. Улыбаясь (по привычке) и переступая с ноги на ногу, он неуклюже оправдывался перед «исполняющим должность директора». Пришепетывая, вытягивая слова и с страшной силой ударя на последнем слове, тот проговорил:

– На четыре часа в карцер!

Ученик стал еще говорить, но был прерван еще более грозным:

– На шесть часов в карцер!

Как есть телепатия, так есть и гипноз. Не только ученик этот, но и я, т. е. в сущности равный «исправляющему должность директора», был подавлен и прямо испуган и ничего не посмел возразить ему. Есть такие манифестации власти, которым повинуюсь без всякой попытки бороться. На «шесть часов» вместо «четыре» ученик, как уже понял читатель, был оставлен за самую попытку «оправдываться» и «разъяснять». Он обязан был мертво повиноваться.

И вот возвращается директор – умный, проницательный, образованный, сухой и строгий («подтянувший» гимназию). И видим мы (учителя), что за стеклянной дверью директорского кабинета что-то «докладывает» ему, докладывает с полчаса, этот «исправлявший должность директора» математик. И в ближайшие дни он все ходил туда. Видно было, что он в чем-то убеждал директора, а директор молчал, но не соглашался. Наконец все разъяснилось. Математик жаловался нам, своим товарищам, на попустительство директора. Оказывается, за неделю своей «диктатуры» он открыл два полупритона, где ученики проводили внеучебное время, – с билиардом, пивом и, может быть, с кое-какими горничными.

– Я ему докладываю. Описываю картину. Сам видел. Десять часов ночи. Подаю фамилии учеников. Молчит.

Он заикался слегка и разделял слова.

Так директор и не дал хода «делу». А подпольная сторона его заключалась в том, что этот математик, человек чрезвычайно властолюбивый и честолюбивый, уже годы мучительно дожидался поднятия на должность инспектора и что как учитель собственно он ничего не делал на уроках, заставляя учеников вместо решения задач писать в тетради под его диктант какие-то все «правила». Так что ученики его ничего не знали по математике и полупровалились на экзамене. И вместе он смертельно ненавидел второго математика, отлично и успешно ведшего преподавание; ненавидел до неподавания ему руки.

Вот картина. И разберитесь, как хотите.

Мне кажется, директор не дал хода «делу» потому, что был убежден, что и «непойманые» ученики приблизительно таковы же, как пойманные, да что и быть им иными трудно, потому что их наполовину не хотят, наполовину не умеют учить. Возьмите толпу, не одушевленную интересом, темой, занятием: как вы на нее ни кричите: «Долг!», она будет анархична, безобразна. Просто потому, что она скучает, не занята. От этого-то директора, вечно молчаливого, угрюмого, никогда вовсе не улыбавшегося, мне и привелось выслушать удивительную разъясняющую фразу-строку. Молодой учитель, талантливый, но несносный забияка, вечно ввязывался в чужие дела, всему смеялся и наконец в чем-то насолил самому директору. Он был очень нагл и бесстыден. Сделав его нелепую аттестацию (в случайном разговоре со мною), он кончил:

– Ходит на уроки.

Долгое молчание.

– Он ходит на уроки, и я могу и должен его терпеть, пока он ходит на уроки.

Тут я понял, что директор глубоко бессилён ввести хотя бы нравственную упорядоченность, и не только в строе учеников (несколько сот), но и в строе 15–20 служащих у него учителей. Один пьёт: это надо стерпеть ради его несчастной семьи, сыновей-гимназистов, дочерей-гимназисток. И директор этого не «докладывает» попечителю. Да и так бывает, что пьющий-то учитель – умен, талантлив, предан гимназии и даёт превосходно уроки! Такого «пьющего» я имел учителем математики, когда сам был учеником. Это был благодетель, он всему нас выучил, и (читатель не поверит!) я лет 20 спустя слышал о нём самые благодарные воспоминания от бородатых уже учеников его, зрелых докторов, инженеров и т. п. Вот вы и разберитесь в положении. Учителя до того нужны гимназии, хороших (талантливых) учителей до того нет, что и пьющего начальство хватает и ласкает, если он не страдает ещё чем-нибудь (индифферентизмом к гимназии и ученикам).

* * *

Комиссии, собираемые в Петербурге, – собираемые из всех учебных округов, от всех родов учебных заведений, очень многочисленные и ведущие совершенно свободно свои прения, – были в последние годы самым значущим выражением министерской жизни. Они имели задачу дать министру и министерству надлежащее *знание*, чтобы уже затем учебное дело всей России получило от него надлежащее *повеление*.

Нужно *знать*, чтобы распорядиться. И вот это знание подготавливали и давали *комиссии*.

Обширные томы, состоящие из докладных записок разных лиц по всевозможным деталям учебного дела, представляют несомненно ценный материал, и через годы, через десятилетия к нему ещё придется обращаться. Это не только ценная работа министерства, но и богатое его приобретение, – как дорогая рукопись в библиотеке, как новая экспедиция Географического общества, как превосходные запасы интендантства или ремонт артиллерии.

Но учебная жизнь – в вечном течении. Число ее подробностей – необозримо. Возможно ли же, в 3–4 года, через собрание двух-трех комиссий, получить ответ полный и окончательный? Нам кажется, самая суть живого педагогического дела исключает возможность «полноты» и «окончателности». Прекрасный принцип дружного и общего дела, осведомления начальника у подчиненных, администратора у дельцов, стоящих на самом *месте* работы и производящих эту самую *работу*, должен остаться не петербургским только явлением, а проникнуть внутрь России. Иными словами, учебная жизнь России должна получить себе постоянное вспомоществование и постоянное оживление в окружных съездах, напр. по одному в

трехлетие. Москва, Киев, Харьков, Казань и другие университетские города, – да даже и не непременно университетские, могут собирать эти съезды, под председательством попечителя учебного округа или его заместителя, под председательством видного профессора или ректора университета (дабы личность попечителя не слишком парализовала лицо и мнение учителя). Пусть русское учебное дело стоит не на одной ноге, а на множестве подпор; пусть оно станет живым и самодвижущимся. Ведь застой и косность – это самые ужасные язвы именно средних учебных заведений наших, в отличие все же от более оживленного состояния низших учебных заведений и университетов.

Начальные школы, способы преподавания в них, круг преподаваемых предметов, физиономия ученика, физиономия учителя, обстановка и условия школы – все это имеет о себе целую у нас литературу, частью любимую и общеизвестную, выраженную в рассуждениях, в очерках, рассказах, даже в поэзии («Школьник» Некрасова). Только несчастный гимназист и несчастная гимназия обойдены почти полным о себе молчанием. И между тем это главный столб учебного дела в стране. Что такое гимназический учитель и его внутренний мир? Что такое гимназист и его внутренний мир? Об этом ходят анекдоты, а ничего подлинного неизвестно. Сюда прокрадываются всевозможные подозрения, тогда как действительность, может быть, гораздо лучше. Не объясняя и не описывая, мы скажем, на основании испытанного опыта и очень внимательных наблюдений, что вся эта область – гораздо более несчастная, чем дурная; что она ни в каком случае не есть неискоренимо дурная.

Еще много есть учителей, которые ничем в свете не интересуются, кроме ученика; для которых внутренний мир ученика занимательнее всякой книги; у которых, между собою, в товариществе – нет других разговоров, кроме как ученики, их характер, наклонности. Русский учитель только тонет в море формализма и официальной ответственности; борется с ними, и год на двенадцатый, на двадцатый службы – вовсе погибает, усталый, разбитый нервами, оскорбленный во всем светлом, что с университетской скамьи внес с собою в гимназию, и к этому 12, 15, 20-му году изображая из себя педагогическую мумию, движущегося мертвеца, или засев за карты, засев за бутылку, думая только об одном: «Как бы дотянуть 25-летие до пенсии». С каждым годом мертвая волна накатывает на учителя, а оживляющей под ним воды – нет. Учитель мертвеет: это главный «формуляр» о его службе, общий, общеизвестный. Не разбираем его детальные причины. Но общие окружные съезды учителей несомненно дали бы под учителя именно недостающую живую воду.

Все жалуются на недостаточность учительского вознаграждения. Правда этого признана официально. Между тем сколько раз я наблюдал, что, сам стесненный, учитель втайне берет на себя экипировку (одежду) какого-нибудь сироты ученика 2-го или 3-го класса. И этого никто не знает, об этом узнаешь потом случайно. Мертвящий чиновнический элемент заел гимна-

зию. Но если бы его стало меньше, если бы учитель не был так испуган ответственностью, так связан в каждом действии формою – много светлого, самопожертвованного показалось бы из этой сейчас замороженной и сухой фигуры.

Не входя в подробности, я передам общее свое впечатление: десять лет я учился в гимназии (два раза оставаясь в том же классе) и 12 лет был учителем. Учеником я внимательно присматривался к учению, к обращению учителей, даванию ими уроков, ко всей их физиономии. И вот результат:

Как ученик я, подобно всем моим товарищам, ненавидел учителей, не уважал их, боялся «всей этой желтой гимназии». Для меня это был злой и смешной дом, страшно властительный и ничего в своем деле не умеющий. Страх и отвращение были единственными к нему чувствами. И это имело все основания, все подробные факты под собою, судьбу моих товарищей, – даровитых, милых, добрых, выгнанных.

Когда я стал учителем, с первого же года я увидел, что ничего подобного в учителях нет: едва раскрылся их быт, внутренний, домашний, их домашние разговоры, интересы – я увидел то, чего никогда не подозревал: любовь учителя к ученику, заботу, чрезвычайную жалость. Не говорю – во всех, даже не говорю – во многих, но в некоторых. В учительском составе есть несомненно доброе зерно: и только нужно уметь системе, министерству его вымолотить, сохранить, обработать. К великому сожалению, у министерства в Петербурге нет живого, отчетливого, реального, несомненно-го знания о подлинной внутренней физиогномии гимназии. Все «отчеты» годовые («о состоянии гимназии»), т.е. цифры, статистика; и затем в литературной части отчета, жизнеописательной или морализующей, вранье. Нам эти «отчеты», именно в литературной их части, директора читали. Но мы глазам не верили, неужели директор не смеется в душе, когда это читает.

Если на ревизии директор и все учителя стараются показать гимназию «лицом» ревизору и скрыть от него недостатки: то что же показывает собою годовой директорский «отчет о состоянии гимназии»?!! Искусная «похвала себе» и полное сокрытие всего дурного, слабого и часто неисцелимого в гимназии. Эти «отчеты» следовало бы просто ограничить «цифрью», статистикой. А кто хочет знать дело – приезжай (из округа), смотри, живи долго и изучай. Да и в результате – посоветуй, наставь.

* * *

Мне хочется, не вдаваясь в рассуждения, держаться практической стороны учебного дела. Коснусь попечительных советов при гимназиях. Недели три назад из Харькова сообщали, что при средних учебных заведениях, содержимых при денежном участии земства, в эти попечительные советы избирались представители от земства, но в очень ограниченном числе. Некоторые из попечительных советов возбудили ходатайства об увеличении составов советов выбранными лицами, чем в значительной степени был бы усилен в них общественный элемент. Ходатайство это, по словам местных газет, и было удовлетворено в некоторых уездах выбором четырех и более новых чле-

нов советов на трехлетие, и в числе их оказались члены земских управ, более или менее известные землевладельцы в уездах и пр. Добрая инициатива, которой не мешало бы последовать и в других губерниях, где земства также входят денежными средствами в содержание гимназий и прогимназий и где уже из этих приклад очевидно, что местное общество относится с живым участием и интересом к состоянию местных учебных заведений.

Удовлетворение ходатайства некоторых харьковских земств, без сомнения, последовало ввиду того общего плана административных мероприятий последних лет, по которому вообще желательное привлечение частной экспертизы, помощи и разъяснений, в каких не могут не нуждаться органы и центрального и местного управления. Такая задача, как добрая и благотворная деятельность гимназии в каком-нибудь далеком губернском городе, не может не желаться самым горячим образом как учебным округом, так и министерством. Совершенная изолированность учащего и воспитывающего персонала от населения города, от родителей учеников ни в каком случае и ни в чьи планы не может входить. Это может входить только в план учебного «*far niente*»*, при котором учителя и директор, зная, что «ре-визия не едет», «попечитель далеко», относятся спустя рукава к своему важнейшему делу. Мне уже приходилось писать, до какой степени у нас училищные ревизии почти отсутствуют и до какой степени они мало полезны при том формализме и отсутствии всякой задушевности и деловитости, какой им исторически усвоен. Соблазн к «неделанию» образуется слишком великий у учителей, воспитателей и у самого управления гимназии (директор и инспектор). Между тем, повторяем, ни в чьи планы не может входить эта, так сказать, непоощряемость и невозбуждаемость местного учащего и воспитывающего персонала. Учебные округа могли бы искусно приспособить местные попечительные советы к этим задачам хотя некоторого контроля и в более смелой форме поощрения и возбуждения учащихся сил. Как известно, в настоящее время попечительные советы имеют одну только функцию: «пещись» о материальных нуждах гимназии, т. е. производить разного рода ремонт или улучшения в училищном здании, вносить плату и покупать учебники недостаточным и достойным ученикам и т. п. Как воспитательная, так и особенно учебная сторона училища находится в полном и безраздельном заведывании директора, инспектора и педагогического совета, в который члены попечительного совета уже не входят. Ввести их в педагогический совет и невозможно или очень трудно, ибо учение и воспитание имеют свою технику, свои подробности, свои министерские или окружные предписания, для исполнения которых члены попечительных советов, т. е. обыкновенные граждане города, пусть даже и с университетским образованием, не обладают ни сведениями, ни опытом, ни умением. Всякое мастерство требует своего мастера, и, кроме путаницы и вреда, члены попечительных советов не могли бы ничего внести в решения советов педаго-

* ничегонеделание (*ит.*).

гических. Но отцы семейств, граждане и просто образованные местные люди имеют самую отличную осведомленность, и притом безошибочную и вместе бесстрастную (кто же в этом и заинтересован так, как они?), о конечном результате, о заключительном итоге как деятельности вообще всей гимназии, так и о деятельности безусловно каждого учителя, воспитателя, инспектора и, наконец, директора. Способ утилизации этой полноты местных сведений может быть различен. Прежде всего, из членов попечительных советов следовало бы исключить вовсе необразованных или полуобразованных и только очень богатых местных обывателей: извлечение из них денежных средств и дача за это им шитого золотом мундира и должности VI класса едва ли соответствует достоинству министерства, да едва ли и не деморализует в худшем смысле воззрение учебного заведения на самого себя. Если «цель оправдывает средства» для министерства и для гимназии, то отчего не может повторить этого ученик, готовясь слушать подсказывания, записывая латинские слова на ладонях? Но вот несколько способов сосредоточить в попечительном совете самых образованных людей данного города (они могут быть и чиновниками других ведомств, как и членами земских управ, домовладельцами, землевладельцами и проч.): 1) оставив директору сообщать учебному округу статистическую, вообще цифирную и документальную сторону состояния учебного заведения, – предоставлять председателю попечительного совета ежегодно представлять в учебный округ отчет о состоянии училища (гимназии) в нравственном и бытовом отношениях, а также и давать общую аттестацию труда и успешности труда учителей с учениками. Конечно, все это без вредных последствий для учителей; но будет чрезвычайно важно порознь для каждого из них, порознь для каждого воспитателя, уже только то одно, что об учебной, педагогической и воспитательной деятельности их доносится до попечителя авторитетный, осведомленный голос с места их деятельности; 2) можно предоставить или рекомендовать попечительному совету назначать по своему усмотрению добавочное вознаграждение тем из местных педагогических сил (учителей и воспитателей), которых деятельность город оценивает особенно полезно для себя. Это средство мягче, а вместе с тем, уже как высокая и бесстрастная честь, оно будет чрезвычайно возбuditельно действовать на учителей и воспитателей. Само собою разумеется, что от этих форм поощрения, как и наблюдения, должны быть устранены все, сыновья или дочери которых находятся в данном учебном заведении, т. е. которые судят о деятельности учителей и состоянии гимназии не по пристрастным отзывам детей своих, а по сумме скрещивающихся, пересекающихся и вообще самых разнообразных доходящих до них сведений, общий итог которых всегда бывает точен и правилен.

* * *

Продолжу обсуждение некоторых подробностей учебного дела. Классные уроки выполняют «программу» учебного заведения. Но нет такой программы, и невозможна она, и была бы вредна, которая охватывала бы все, умственно нужное растущему мальчику, юноше, девушке. Программа

дает только скелет сведений, без которых начальство (высшее и местное) по каким бы там ни было мотивам признает невозможной и несуществующей «зрелость» ученика: а) для службы отечеству, б) для поступления в университет и т. п. практических и отвлеченных целей. Программа, пытающаяся все предвидеть, была бы удушливой, иезуитской и вовсе убивала бы в юноше личность, оригинальность, инициативу. Кроме школ иезуитского типа, все остальные благоразумно и благородно ограничиваются именно скелетом необходимого, предоставляя остальное выбору ученика, его оригинальности, вкусу, воображению, фантазии. Эти-то зародыши талантов в юноше, в девушке жадно вбирают в себя другие знания, внепрограммные – из чтения книг... Если программа дает скелет, то «чтение» и «начитанность» дают душу зреющему ученику. Тут – его нервы, его фантазия, его «призвание»; намечается его судьба в будущем. «Программа» – это кости, твердые линии формирующегося духовного организма; чтение – это красота, пластика, гибкость, ловкость и сила его.

Из сказанного должно быть ясно, до какой степени правильная организация чтения важна в каждом учебном заведении. Но, сказав «организация», нужно сейчас же оговориться. Увы, когда у нас все, что делается, делается только одними чиновниками и по-чиновнически, – совершенно у нас исчезло самое понятие *руководства*. Если к «приказал» и «исполнил» у нас свелись всякие формы делания, то лучше их вовсе не применять к чтению: пусть, как теперь, или вовсе ничего не читают, или читают безалаберно, что и как попало. Но учебному ведомству впереди всех других следовало бы пойти к выработке способов «руководить» и «наставлять». В чтении есть *поэзия*, и она неотделима от некоторой *свободы* в выборе читаемого; тут – свое «я», каприз, вдохновение. Войти сюда с приказанием – значило бы все разрушить; побудить или вовсе бросить чтение, или заставить начать читать потихоньку, тайно: тут уже один шаг до соблазна «читать именно то, что не одобряется гимназическим начальством». Картина чтения, не известная в гимназиях и семинариях. Между тем известно хорошо, что, насколько гимназисты неохотно читают или вовсе не читают «указанное начальством», настолько же у нас получили в учащихся слоях распространение «программы систематического чтения», выработанные кружками московских профессоров и педагогов. Здесь мы и имеем пример, как можно было бы «руководить», а не предписывать. Конечно, ничего нет непременно в этих составленных уже программах, но министерство могло бы и само предложить профессорам такого-то университета, педагогам такого-то учебного округа выработать вполне самостоятельно аналогичную программу.

Известно, до чего неохотно ученики выполняют «задаваемое на каникулы» так называемое «обязательное чтение». Ибо это «обязательное чтение» вводит в программу, со всеми чертами ее сухости и ответственности, поэзию ученика. Поэтому если уже крайне желательно ознакомление учеников с такими-то и такими-то книгами, то лучше всего давать им годовые

«сочинения» (их имеется 5–6 в год по предмету словесности) на такие темы, самая подготовка к которым требовала бы непременно ознакомления пишущего с данными книгами. Вместо того, чтобы дать в «обязательное чтение» «Наль и Дамаянти» и «Одиссею» в переводах Жуковского, можно предложить написать сочинение: «Царский быт в Индии и в Греции в эпоху мифов» – и устно при объяснении темы сказать, что то и другое можно узнать из «Наля и Дамаянти» и из «Одиссеи». Вместо того, чтобы заставить «обязательно прочитать» такие-то и такие-то томы Карамзина, можно дать тему: «Прокопий Ляпунов по сравнительному изображению Карамзина и Соловьева» и т. д. Здесь таким образом цель (чтение) преобразуется в средство на пути к такой цели, которая содержит в себе много интимного, много личного элемента ученика: через это чтение потеряет пассивность и механичность и выполнится легко и охотно.

Гимназии наши уже пошли по пути настоящего, а не кажущегося сближения с семьею. Научные экскурсии не только в окрестности своего города, но в далекие исторические города отечества и, наконец, даже за границу, для посещения исторических стран и городов. Все это такие явления, о которых еще десять лет назад невозможно было и мечтать, невозможно было этого предвидеть. Очевидно, делаются чрезвычайные и напряженнейшие усилия, чтобы вывести учеников из того мертво-формального состояния, в каком они пребывали столько десятилетий, пробудить в них любознательность, указать им воспитывающие памятники старины и чужих стран. Только со временем мы увидим плоды этого, – плоды несомненно хорошие. К этим средствам оживления следует прибавить и чтение, выводя его из той частью заброшенности, частью муштровки, в какой оно до сих пор находилось. Наставники и директор школы, находящие в себе силы далеко путешествовать с учениками, оставляя дом и семью, еще легче найдут способ сбить около себя группу любознательных учеников, дабы она стала центром притяжения и для индифферентных, и начать с ними в своем роде «путешествовать» по великим книжным сокровищам, возбуждая вкус, остроумие, сообразительность, вдохновляя то к поэзии, то к мудрости. Учитель и его семья, директор и квартира – для чего всему этому быть обращенным к ученикам вечно запертою дверью (как, я помню, это бывало в наше грустное время), почему этому не раскрыться широко для учеников как громадной семье, где уже нет невольного формализма класса и урока, а есть вся воспитательность и поучительность частного отношения, частного обращения. Маленькие литературные вечера, к которым ученики готовились бы или мастерски прочесть отрывок художественного произведения, прочесть маленькое свое рассуждение, немного пропеть, немного сыграть на сцене (вспомним отроческие упражнения С. Т. Аксакова), сыграть небольшую музыку, – все это забыто нашею школою, и все это следует опять воскресить. Никакого вреда не принесли бы и открытые рукописные ученические «альманахи» или «журналы», каковые в 20-е и 30-е года поощряло само начальство, и решительно без всякого вреда. Вот эта общая-то ат-

мосфера и возбудила бы любовь к чтению сама собою, а вместе и не оставляла бы его без всякого призора. Не забудем, что в такой атмосфере поднялись такие люди, как два брата Киреевские, как Станкевич. Доброкачественность ее исторически испытана, и нет причины не подумать о ней вновь.

ОДИН ИЗ ДОБРЫХ НАШИХ НАСТАВНИКОВ

Недавно умерший Самуил Смайльс, автор «Самодетельности» и «Характера», заслуживал бы гораздо более внимания, чем с каким отнеслась и, по видимому, готова отнести к его смерти наша печать. Англичанин по происхождению, он был (в важнейших трудах) переведен на все почти европейские языки. Но особенно для нас, русских, лет 20, 30 назад он сделался почти своим родным писателем. В высоких слоях литературы, правда, слегка подсмеивались над его элементарностью; велемудрые критики не находили в нем никаких таких особенных «иероглифов», над распутыванием которых они могли бы ломать голову или блеснуть тонкою оценкой его. Но значение его собственно для общества, для читателя было огромно.

Лет 20–30 назад небольшие и простенькие книжки Смайльса, – изданные, я помню, в маленьком формате и довольно крупною печатью, показались для тысяч русских подростков, юношей и начинающих трудолюбцев так же новы, занимательны и нужны, как впервые появившийся «Робинзон Крузо». Смайльс ввел (юношей, отроков) в занимательность человеческого труда, в приключения трудолюбия, которое имеет свои подвиги, падения, поднятия, опасности, уж никак не менее грозящие, нежели «великаны» и «ведьмы», одолеваемые средневековыми палатинами.

Честный англичанин. Собрат Диккенса. Сын прежде всего несокрушимо здоровой родины. Только ее чудные огороды с чудовищными (по величине) овощами, стада громадных животных, свежие парки, прохладный климат, ревущее море и визжащая машинами промышленность – могли родить эту в своем роде религию порядочности, пунктуальности, труда и добровольной ответственности. Смайльс до известной степени разработал «азбуку» и первые «склады» этой особенной цивилизации, и разработал в пору ее высшего расцвета, наступившего после уничтожения «гнилых местечек» и с выступлением на политическое и гражданское поприще больших промышленных центров. Огромное напряжение, может быть, самого доблестного духа, это сочетание прохладного климата, прелестного воспитания, добрых и продолжительных традиций, – создало в Англии какую-то добродетель труда, благочестие инициативы, святость энергии... в приобретении самообеспечения! В то время как решительно везде промышленность и торговля несколько деморализуют душу, а человека книги или человека шпаги несколько как будто унижают, – в одной Англии рубрика труда поставлена была так высоко и вместе так национально изящно, доблестно, горделиво, – что, казалось, с этого проявления личности человеческой

снято было «проклятие» («проклята земля из-за тебя», «в поте труда будешь добывать хлеб свой» – слова Адаму). Лучшая, не для одной Англии лучшая «История Греции» написана была человеком, служившим в банке (Грот); и сколько еще экономистов, физиков, политиков поднялись в Англии из конторы или мастерской, и потом не чувствуя никакой потребности стыдливо рапортовать с местом своего трудолюбивого рождения. Повторяю, там труд более свят, нежели где-либо на континенте, не говоря о том, что он – старее, традиционнее, национальнее, всеобщее. И вот отчего, как из страны мореплавателей вышел Де-Фоз со своим «Робинзоном», так из страны трудолюбия, свободного и гордого трудолюбия, вышел Смайльс со своею «Самодетельностью» и «Характером».

Действие книжек я не могу назвать иначе, как волшебным. Я не верил глазам, что читаю, в те 15–16 лет, когда, помню, от волнения вышел, все водя глазами по строкам, из комнаты в сад и, ходя взад и вперед по дорожке, отвертывал маленькую страничку за страничкою. Конечно, читать пришлось медленно: ибо после каждого рассказа («пример самодетельности») книжка опускалась, а в воображении вырисовывались все подробности фигуры, поведения и биография поразительного лица. Отрочеству свойственна борьба, момент – преодоления. Вот на эту-то потребность если не самому преодолеть, то хоть посмотреть, как другой «преодолеывает», – и ответил Смайльс. И нельзя не сознаться: самым плодотворным образом; ибо, как жили и «преодолевали» его герои, в сущности, мог каждый начать завтра же жить. Особенно (и опять тут психология отрочества, которую он сумел, конечно не преднамеренно, задеть), особенно приковывали случаи самопожертвования. Я не могу передать волнения, охватившего меня при чтении жизнеописания Палисси, изобретателя фаянса (или обжигания фарфора): он был француз; не был богат, хотя не был лишен средств; опыты, постоянная топка печи поглощали его средства, с трудом возобновляемые. Была семья и естественный риск остаться не одному, а с близкими голодным. И вот франки уходят, а опыты все не удаются, хотя верная идея горит в уме изобретателя. И я помню, тот момент, когда он, истратив последние деньги и не имея более дров, стал кидать в печь мебель, чтобы закончить опыт, – вызвал у меня такой энтузиазм, как бы это был лучший подвиг Александра Македонского или кого угодно еще.

Восхитительную сторону книги Смайльса составляло то, что говорит в ней 1) серьезнейший человек, 2) о теме, его в высшей степени занимающей, его увлекающей, 3) и так, что это совершенно понятно и в прямом своем смысле, и в духе, в намерении – мальчику 15–16 лет. Только англичане (народ чуть ли не наивный, чуть-чуть) знают тайну этих простых и мудрых книжек. У нас их начал писать гр. Л. Н. Толстой, известными своими рассуждениями и простенькими рассказами. У него все это обратилось, однако, к выкапыванию «устоев», – может быть, и действительно не очень здоровых, не очень свежих. Представьте те же книжки, такие же, но направленные к насаждению самой первобытной, самой нужной и для маль-

чика вовсе не архиизвестной морали. Вот так-то и создаются нравы улицы, нравы семьи, нравы дома – до последнего дворника. Мы иногда кричим: «Хулиганы пошли». Но они не «пошли», а только вылезли из-под лавки и сели на лавку. Что же мы, образованный, культурный класс, сделали для улицы, прислуги, служащих? Построили «чайные»? Выдумали такие крошечные бутылочки для «казенки», что она выпивается разом, как разом выкуривается папироса?

* * *

Мое впечатление от Смайльса – не единично и, конечно, не исключительно. В статье «Русская армия спасения на русский лад» мне пришлось рассказать о священнике Новгородской губернии, который, устроив три училища на свои и собранные деньги, стал подготавливать к фельдшерской, огороднической и домоводственной деятельности девушек, кончивших с успехом курсы начальных училищ; стал из них готовить сельских сестер милосердия. Когда он мне рассказал все о своем деле и уже встал прощаться, то, задержавшись, спросил: «А читали вы «Самодетельность» Смайльса?» Тут я не мог не улыбнуться улыбкой римского авгура. Моментально я понял, что встретил в седеющем уже священнике такого же энтузиаста «Самодетельности», – каким сам был в 17–15 лет: однолеток со мною, он приблизительно и учился в те же семидесятые годы, когда книжка пошла в ход. Достаточно было обменяться с ним немногими словами, чтобы убедиться, что это было в самом деле так. Смайльс и (почему-то) Крылов – были для него столпами образования в народном и полезном духе. И конечно, – это основательно.

Дух труда, живительного труда, – труда как нравственной стихии: до чего он не развит и до чего даже в идее не разработан у нас. Не говоря о «приложениях». С чего начать? Совета «трудиться»? Ну, это – каторга. Почему это не каторга? Разве тюремщик усовершенствованной нынешней тюрьмы, сдавая столярный материал заключенному, не говорит: «Трудись»? И мы все друг другу не говорим ли: «Давайте потрудимтесь», – и, отвернувшись друг от друга, – смеемся данному совету и все не исполняем его. Не так давно вышла книжка (довольно толстая): «О происхождении религии» Гефдинга. Автор – знаменитый психолог, историк и культуровед. Прочитывая ее, я удивлен был, отчего он так много рассуждает, как бы мысленно построя, из каких элементов должна была произойти «религия», как он ее себе представляет, какое он об ней имеет понятие. Мне казалось, что автор имел перед собою и более легкую, и более интересную задачу: наблюсти в истории несколько случаев *религиозного* человека, несколько *биографий*, хорошо известных, рассказанных самими автобиографами. Ньютон, Паскаль, Пастер, наш Н. И. Пирогов, наконец, наш Л. Н. Толстой: вот только пять фигур, которые сколько интересного могли бы рассказать «о происхождении религии». Человек, от полного индифферентизма религиозного поднявшийся до постоянного религиозного ощущения (Пирогов и

Толстой) или сохранивший глубокую религиозную настроенность при самом обширном и творческом научном образовании, – вот кто подлинно мог бы рассказать «суть религии» и «как она происходит»: рассказать притом языком и через посредство понятий и слов, для всякого образованного человека уже понятных. Перед этим материалом как тускл, безъязычен, как вообще недоступен исследованию и часто лжив материал, извлекаемый из разных этнографических наблюдений то над дикарями, то над фетишистами, то над большими истеричными, то над древнейшими религиозными памятниками, где прежде всего язык и душа исследователя и исследуемого до того разнятся, что их взаимное постижение почти невозможно. Возвращаюсь от примера к своей теме. И в сфере труда – то же: надо подсмотреть случаи, биографии, обстановку людей, которые непрерывно трудились, которые довели труд до поэзии и философии. И вместо «трудись» – дать человеку эту обстановку или развить в нем эту психологию.

«Трудись» может быть каторгою. Разлейте этот принцип каторги в народе, и вы развратите его до мозга костей. Разве негры в южных штатах не трудились? Не трудились римские рабы? И наши крепостные, дворовые, как, напр., они описаны в одном отделе «Семейной хроники» С. Т. Аксакова (молодой Куролесов)? Разве не на принципе труда были построены военные поселения Аракчеева и не на нем же строились социальные утопии Фурье и Сен-Симона, оттого и не принявшиеся, что едва ли не при первом же шаге осуществления они вызывали чувство непобедимого отвращения у своих «граждан-работников»? Дело в том, что работа, присущая только живому существу, не известная (в настоящем смысле) вовсе в механической, формальной природе, – и должна быть живою, органическою, психофизическою; и она никогда не может быть успешна, если она дана только формально и механично. Смайльс в своей «Самодетельности», пожалуй, подсмотрел эмпирически самый главный принцип работы: чтобы в центре ее стояло «я». Все биографии замечательных работников суть примеры «само-работы». «Я» – маленький царек, притом – праведный (не сомневайтесь в этом). В сущности, побуждений для человека стать непременно худым не так много. Сбросив со счетов всяких дегенератов, вырожденцев, атавистов, мы все-таки получим основной остов человечества, несомненно предрасположенного к добру, не горячо, но предрасположенного. Увы, от этого остова откалывается огромная глыба «в худую сторону» оттого, что при первом (детском еще) движении к добру встречает какое-нибудь легкое препятствие или легкое искажение. И потом постоянно идет, или идет долго, по этой искаженной линии. Напр., первое, чего вы потребовали от ребенка, – он не мог исполнить; вы не рассмотрели, почему, как (высокомерие взрослого), а между тем он в самом деле не мог. Между тем он поставлен под условие награды и наказания, пусть даже в легкой форме вашей ласки или хмурого лица. Первое его незначительное движение, первый шаг в работе будет (может быть) обманом. Но ласку за лукаво исполненную работу уже он получил, и она встала перед ним соблазном. Вот вы в психо-

логию восьмилетнего-семилетнего ребенка ввели яд: и попробуйте это потом вытравить: как трудно будет!

Но возвращаясь к работоспособности. Идеи труда и «самодеятельности», так хорошо привившиеся у новгородского семинариста, вовсе не привились у меня, гимназиста. Семинарии имеют в себе большие недостатки; но в одном отношении, что они менее связывают уставом и программой и учителя и ученика, что они вообще имеют менее формальный, менее удушливый строй, – в этом отношении они издавна и коренным образом превосходят гимназии. От этого отсутствия формализма, с одной стороны, в семинариях оканчивают благополучно курс такие чудища невежества, что, встретившись с ними в жизни или даже литературе, только руками разведешь. Бывает это. Но бывает и другое: из семинарий в глубоко цельном, нерасстроенном, неискаженном виде выходят истинно даровитые, хочется сказать, – гениальные личности, каких, между прочим, много видели у себя на службе наш государственный строй и наша наука. Семинария мало формирует и мало мнет. Гимназия делает чрезвычайные усилия формирования: но как всемирный секрет этого не найден, то она только страшно мнет отрока и юношу, и одних – раздавливает, а других – до последней степени ожесточает и восстанавливает против себя.

Идеи Смайльса, с которыми я так счастливо и рано познакомился, сейчас же пали в проклятый бурьян гимназического учения. И началось с самого простого: с невозможности приготовить на завтра все пять уроков. Т.е. с невозможности исполнить первый де «труд». – «Как под впечатлением Смайльса не приготовить? Песок – а не человек», – скажет читатель. Да ни под каким «впечатлением» не приготовил бы, хоть бы то было ангельское, или хоть бы Иисус Христос для этого еще раз пришел на землю. Слушайте: учился я по латыни на три. К каждому уроку я отыскивал по лексикону до 70 новых, мне неизвестных слов и выписывал их в тетрадочку. На это уходил почти вечер. Выписывал я так много слов потому, что у меня была слабая память и новые слова я только на день, на неделю запоминал, а потом они точно куда-то проваливались. Хорошо. Надо приискать слова по-гречески и по-латыни: вот около 120–130 слов, и ведь надо же их отыскать в лексиконе, поперелистать его. Перелистываю, тружусь. Пытаюсь учить: выучиваю из 130 девяносто, и то чуть-чуть помню, страшно трудно. Теперь надо переводить (из перевода и «неизвестные слова»), но как же я переведу, когда, стыдно сказать, уже более года слушаю, как ученики на перемене переводят. Сам же смотрю в текст, и такие там частицы наставлены, такое соотношение слов, до того придаточные предложения вкраплены в главное, что, ей-ей, сколько лет я, бывало, каждый раз, как натуживаюсь переводить, – убежден был, что даже и учитель этого особенного и особенно страшного места не сможет перевести. И всегда удивлялся на другой день, что они (учитель и ученики) ничего себе, переводят. Сделают какую-то маленькую мысленную перестановочку слов и переведут. Но так же, как «не выходит» перевод, не выходит и задача по алгебре. Если читатель ска-

жет, что я сам виноват, то, конечно, отрицать этого я не стану: но мы были все так виноваты. Но почему же мне ставили «три»? А как же мне не поставят «три», когда, прослушав перевод на перемене, я могу и перевести, да и из «слов» знаю если не все 70 (от страха перепутаешь некоторые «плохо выученные»), но хоть 30, 40. Ну, и ставят не «пять» и не «четыре», а «три». Эти «тройки» есть самая ужасная вещь в гимназии, источник всей анархии. Учащийся «на три» знает на самом деле предмет «на единицу» и уже давно едет на подказываниях и на чужих переводах. Он давно упал, но его еще долго везет «система», та печальная «система», которая принимает (и не может не принимать, «формально» – не «вправе») ученика, знающего предмет «на единицу», за знающего... ну, «урок», что ли (стыдно же сказать: «предмет»), «на три». Меня надо было года два назад оставить на второй год в том же классе, да и оставивши, взяться за меня вплотную, велеть переучивать весь предмет заново. Вот тогда можно бы практиковать «самостоятельность» и «характер». Но никакой почвы для этого не было. Я все «тащился» и переходил из класса в класс, а наконец кончил курс, ни разу не придя в гимназию с сознанием: «Вот, я все выучил; и хоть спроси учителя – сейчас могу отвечать по всем пяти предметам». Читатель скажет: «Вы исключительно виновны». Но, увы, лучшие ученики, отлично переводившие по-латыни, списывали задачи у других учеников, а «сочинения» я им писал, в благодарность за переводы. Так и менялись. Все были цыгане. И все воровали. Пусть уж читатель оценит, во что обошелся нам, всему составу класса, этот хронический, ни на один день не прерываемый обман. И еще смешанный с такими ужасными впечатлениями: ибо горели ведь в нас, не обманно горели все слова Смайльса об абсолютной, героической добросовестности в труде, о том, что без этого и человек – не человек, что только позорная жизнь трутня начинается обманом и «даровщиной» (а ведь таковы были наши «переводы» и «задачи», а у других – «сочинения»). Представьте психологию Кречинского за минуту перед открытием подлога; да представьте, что Кречинский – и не совсем Кречинский, что он имеет за собою мать, сестер, родину, общество, а впереди – надежды, университет, «науку», «Смайльса»: но ежедневно на пять часов он уходит в положение Кречинского, с его страхом, презрением к себе, желанием забыть позор и невозможностью забыть, желанием не повторить его – и абсолютную нуждою повторить. Всем ведь известно, что в 80-х годах, по публикациям самого министерства, «выкрадывание тем» из канцелярий директорских и попечительских сделалось почти всеобщим в империи, проявилось во всех учебных округах как настоящий показатель «нравственной и умственной зрелости». А в нашей гимназии такая кража еще и на ум не приходила; т. е. о ней не сговаривались, не гадали, просто ничего не думали. Таким образом, мы были еще «зелененькие» сравнительно с империей. Говорят, «горничные» нас развращали: куренье табаку, пиво, билиард. Господи! да поргертная-то и была местом, где мы духовно выздоравливали: расстегнутый мундир, грубые речи, одурманенная голова; но какая же, однако, ложь? Никакой. Кру-

гом – сарай. Но, однако, это не то, что ядовитые оранжереи. В сарас все-таки растет нормальная крапива; там вполне нормальные половые, буфетки, горничные, наше (гимназистов) милое и здоровое общество. Но там не растет сугае, капля которого останавливает нервную систему: как останавливалась и отмирала она у нас вся, едва в мундирчиках и с ранцем мы переступали порог гимназии.

Так Смайльс, выросший на чистой и благодатной почве Англии, на почве Джона Нокса, пресвитерианства, «Долгого парламента» (особый термин в истории Англии), Кромвеля, Смита и Рикардо, фантастическим образом смешался со злаками, выросшими на исторической почве Никиты Пустосвята, старообрядчества, «самосожигателей», «дней Александровых прекрасного начала», декабристов и жен их, которые «рыдали и целовали цепи узников». Иногда мне думается, что вся наша история есть какая-то оперная. Что у нас был или героизм, но не за «настоящее», не на «настоящей» почве, или была «настоящая» почва, но уже такого духа и направления, что лучше бы ей не рождаться. Аракчеев был «настоящее»; и он переломил феерических декабристов. А наша маленькая гимназия была отдаленным, замершим почти эхом этого столичного гула.

Но старику Смайльсу все-таки великое спасибо. Мы поклонились ему не делом, а мечтами. Но и мечты бывают дороги.

МИННЫЕ ЗАПАДНИ

Теперь, когда не один наш «Петропавловск», но и японский броненосец «Хатцусе» взлетел на воздух от поставленной заранее мины и точно так же, как и «Петропавловск», погиб не в бою, не сражаясь, а в минуты совершенно мирные, – не пора ли поднять вопрос об исключении если не сейчас, то со временем этих адских выдумок из арсенала средств военной борьбы? Дело в том, что мина исключает из войны «борьбу», что тут никто не борется, что гибель наступает неожиданно и нечаянно, как бы человек убивается и гибнет в сонном состоянии. Обычные слагаемые войны: «храбрость», «сила», «искусство владеть оружием» – исключаются минами, как эти слагаемые в свое время исключались употреблявшимся венецианцами в Средние века, во время войны с Далмациею, отравлением колодцев чумными трупами или чумными вырезками, туда тайно подброшенными. Чума подброшенная, – почему она не равна мине подброшенной? И из зачумленного колодца враг так же может не пить, как судно может не ехать в минированную часть моря, бухты или речного устья. Бомбы, наполненные удушливыми, отравляющими и убивающими газами, уже есть переход к венецианской мысли: убивать не оружием, а болезнью. Чума, напущенная в данный район, ведь есть такое же верное средство не пустить в него неприятеля или прогнать из него неприятеля, как и минирование данной местности. Пусть война по крайней мере не выходит из границ сражений; довольно для нее пищи – от пушек, от

ружей, от дымного и бездымного, от коричневого и черного пороха, не говоря о вышедшем почти из употребления холодном оружии. Вообще, если война суждено быть, то пусть она остается по крайней мере войною, т. е. борьбою, с напряжением сил и храбрости; пусть остается состязанием, где есть риск обеих сторон, есть с обеих сторон уравновешенное самопожертвование. Иначе из войны исключается доблесть, и с нею главный мотив, за который она терпится человечеством и в силу которого уважаются человечеством люди, в ней принимающие участие, ее «герои».

Кто именно лично и кого лично убил на «Петропавловске», на «Хатцусе»? Имена неведомы. Лиц нет. Есть явления химико-физические. Буквально, это как извержения Лысой горы. И здесь есть страдание, которого просто не хочется, о котором нечего рассуждать разумным людям, а его надо просто исключить. Исключены же, общим условием народов, и не практикуются более разрывные пули? И это есть средства арсенала, выдумки химии и физики, которые не только на время выводят солдата из строя (ведь раненых во всяком сражении больше, чем убитых), но навсегда и наверное каждого, кого задела такая пуля, уничтожают из рядов противника. Это, следовательно, также средство нападения и защиты. Но народы ужаснулись и отказались от него.

Вообще выбор, признание и ограничение оружия есть такая же необходимая и нравственная сторона войны, этого международного поединка, — как она необходима и давно практикуется в поединках личных.

Иначе, если война есть только истребление, если ее успех считать числом «положенных голов», как на бойне: тогда отчего не прибегнуть к средствам медицинским, по примеру венецианцев к подкупу убийц важных особ, напр. главнокомандующего, да и к стрельбе по лазаретам и по Красному Кресту? Истреблять так истреблять. Но тогда будет разбой, а не турнир. Сущность же войны и заключается в том, что она никогда не отказывалась от сродства с турниром; всегда чуралась быть разбоем. Между тем мина против не ожидающего ее есть начало разбоя. Минную атаку на нашего «Корейца», да и на Порт-Артур 27 января мы квалифицировали, и справедливо, как разбой. Такие разбои совершились сгоряча, не подумавши. Они простительны, — как незаконный укус зубами во время борьбы. Но когда борьба пройдет — об этом следует подумать, это оговорить.

И если мина будет допустима, то как удар тараном — в борьбе, в сражении. Я против мин, заранее подложенных и рассчитанных на сон или недоставочную бдительность противника, на нечаянность. Вообще тут можно подумав: я не высказываю определенной мысли, а только поползновение мысли. Говорю о направлении идей, а не решении. Было бы равное оружие у противников (всех цивилизованных, связанных единством цивилизации): а ведь при этих условиях война сохраняет все, что она имеет; и пусть каждый достигает совершенства установленного оружия и совершенной техники владеть им. Тут довольно и науки: но как стратегии и тактики, а не как фабричной лаборатории.

На наших глазах война так преобразуется, что теряет известные свои черты. Еще несколько шагов по этому пути, и ее придется называть не «войною», а как-нибудь иначе, напр. «химико-физическим международным общением» или «дипломатическими переговорами с употреблением пироксилиновых знаков»; «приемом нитроглицериновых пилюль по взаимному соглашению» и пр. и проч. Страшно, кроваво и неинтересно. А война была грозна, а не страшна только, не только опасна. В ней я видел грозящего; пугался; уступал. И наступал вожделенный мир. Ведь во всяком случае «война для мира», а не «мир» и его наука и изобретения «для войны».

В ЧАЯНИЯХ «ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ»

...Но всякий раз, как ангел возмутит воду,
уже другой входит ранее меня в воду...

Жалоба расслабленного

Одною из важных задач самого *существования* журнала «Новый Путь» мне представляется некое «движение воды» или его возможность, на него надежды в обширном и коренном русском сословии – духовенстве. Сословие это лобасто, а только туго заросло костью, – позволю это грубое, но любящее сравнение. Много здесь встречаешь жесткого, колючего на свои мысли; встретишь резкости, каких не найдешь в других отделах литературы. Но зато и забирает эту почву плуг туго. Здесь не грозят «птицы, расклевающие по дороге». Но только камениста эта почва, или, точнее, она покрыта сухою корою; и нужен ливень, а не роса, чтобы добраться через кору эту до лежащего под нею чернозема.

Я позволю себе заняться отметкою некоторых явлений в духовной литературе. Уже целый год (еще начиная с 1903 года) профессор (кажется, – профессор богословия в Киевском университете) протоиерей *П. Я. Светлов* дает, можно сказать, наслаждение читателям «Богословского Вестника» (во всяком случае, – самый лучший наш духовный журнал; см. здесь особенно интересные статьи о германском богословии – высокообразованного псаломщика при берлинской церкви), в статье: «Идея Царства Божия в ее значении для христианского мирозерцания», – где первое понятие («Царство Божие») мыслится не как противоположное, конечно, а все-таки как отделяющееся и отличное от понятия и истории и факта церкви (май, 1904 г., 1-я стр.). Всякий поймет, как это важно: ибо первое вечно и равно себе, а вторая тогда объясняется в своем движущемся бытии. Автор, между прочим, много посвящает усилиям русских мыслителей, богословов, поэтов и, наконец, романистов (Ф. М. Достоевский) выяснить идею этого «Царствия Божия». Задача наша здесь, впрочем, не изложить, а только обратить внимание (если

кому случайно не попадают в руки книжки все же специального академического журнала) читателей, по преимуществу светских, на статью, прекрасную и литературную вовсе не только с богословской стороны. В последней майской книжке автор оценивает труды Вл. Соловьева, приветствуя их, но не во всем их разделяя (напр., об уничижительном взгляде на протестантство, о старокатолицизме и проч.). Конец статьи посвящен взгляду на *scriptura vivorum obscurum*,* и мы позволим его цитировать, так как автору, прогониерею и профессору богословия, очевидно, эти «*scriptura*» с особенной обстоятельностью известны (курсивы – везде автора).

«Вл. Соловьев представляет в богословии величину слишком оригинальную, не похожую на все то, что мы привыкли здесь видеть, и потому я хорошо понимаю прямо-таки нежелание некоторых присяжных богословов признать в Соловьеве доброго товарища, богослова. «Вл. Соловьев был собственно философом, – рассуждают они, – и потому даже чисто богословские вопросы, коих *приходилось* ему *касаться* (!), рассматривал главным образом с точки зрения своих предвзятых идей». Вл. Соловьев совершенно не отвечает идеалу стереотипного православного богослова: «православный богослов *должен* задаваться *одною* задачей – всесторонне и глубоко изучить Св. Писание и святоотеческие творения, изощрить свой ум философской эрудицией, обогатить его основательными познаниями из области богословских и иных важнейших наук и оставаться всегда верным общеобязательным вероопределениям и вероизложениям православной Церкви». «Человек же, ставящий своею задачей (подобно Соловьеву) прямо прокладывание новых в богословствовании путей, но недостаточно внимательный к вышеуказанной единой его задаче... станет так богословствовать, что придется страшиться за судьбы православно богословской науки и православной церкви, коль скоро подлежащая власть в своей, обязательной особенно для нее, ревности в деле Божиим не обуздает практикующих такое богословствование»**. Вл. Соловьев как раз «практиковал такое богословствование», столь страшное для излишне беспокоящихся за судьбы «православной церкви»; Соловьев – весь олицетворение полного и решительного отрицания стереотипного идеала богословия, заключающегося в *едином* охранении истины, без движения и без прироста в ее познании. В этом смысле Соловьев, слава Богу, не богослов; но это нисколько не мешает ему быть богословом в истинном смысле слова. С исключительно охранительною целью богословие неизбежно становится тюрьмою, если не могилою, христианской истины, а богословы-охранители тюремщиками и своего рода могильщиками истины. Есть другой, хотя и слабо намеченный у нас, тип богословия, где задачу богословия полагают не в одном охранении, но в обязательном для христиан совершенствовании в истине, возрастании в

* Сочинения темных людей (лат.).

** Миссионерское Обозрение, 1904, № 7, стр. 1055, 1056 (Из «странной рецензии» проф. А. Гусева).

познании ее. Среди еще немногих богословов этого типа Владимир Соловьев является в точном смысле слова *выдающимся богословом*. Выдающимся здесь богословом Вл. Соловьев является по необычайным размерам своей заслуги перед богословскою наукою и церковью в деле уяснения христианской истины вообще и для современного образованного человечества в частности: один Вл. Соловьев, при всех неблагоприятных условиях, с одною только Божию помощью далеко подвинул понимание христианства, – дальше, чем это удалось сделать многим и многим «настоящим» богословам (которые, впрочем, и сами не всегда бывают виноваты в малоплодности своих трудов). На такую оценку Соловьева дает право вышеизложенное учение его о Царстве Божием, в котором скрыт ключ к пониманию христианства в его целом.

Эрудиция Вл. Соловьева была разносторонняя и громадная, но свое понимание христианства Соловьев черпал не с полок книжных шкафов только, в отличие от некоторых богословов, а прежде всего в недрах своей богато одаренной духовной природы, своего «природного человечества», насквозь осиянного ярким светом его чистой и глубокой христианской веры. Соловьев был не просто только ученым, но вместе с тем глубоко верующим богословом, имевшим тот «ум Христов» (1 Кор. II, 16), которым наиболее и лучше всего обеспечивается понимание христианства.

Соловьевым много сделано для духовной науки, но могло быть сделано и гораздо больше в более благоприятных условиях литературно-богословской деятельности, чем каковы наши. Тернист путь у нас живого религиозного слова в важнейших областях научно-богословского знания, и не многие находят в себе мужество вступать на путь этот. Слишком много энергии отнимается здесь на борьбу со всевозможными неблагоприятными обстоятельствами, нужной для дела! При множестве врагов видимых и невидимых, бодрствующих над богословскою наукою, особенно под маскою ревнителей-друзей, ученый труженик-богослов напоминает в своих тяжелых трудах созидания разумной христианской веры иудеев по возвращении из плена, строивших стены иерусалимские, когда одною рукою строили, а другою защищались от врагов, мешавших их делу. Вл. Соловьеву приходилось трудиться именно в таких же условиях, «сражаясь на оба фронта» по его выражению (и с лжеверием, и с неверием)... Вот почему с этого тяжелого и небезопасного пути многие крупные силы в богословии предпочитают целиком уходить в эсotericескую, никому, кроме немногих специалистов, не доступную область науки, заживо закапываться в ней от людей и жизни! Сказанное в одно время Вл. Соловьевым по случаю смерти одного из подобных богословов (проф. В. В. Болотова) за несколько недель до своей смерти в известной степени приложимо и к нему самому. Жизнь прервана на половине пути, писал Вл. Соловьев почти накануне своей смерти, «но и в пределах этих лет подвижничество могло бы быть плодотворнее при других исторических условиях умственной жизни»... Явление не случайное, что «атлет науки с богатырскими

силами», как В. В. Болотов, «разменялся на мелочи и не успел остановиться на задаче, его достойной». Какая ж тому причина? Отвечая на это, Вл. Соловьев пишет горькую правду и для нашей русской богословской науки, переживающей плачевные времена:

«В других странах богословская и церковно-историческая наука представляет могучее собирательное целое, где всякая умственная сила находит и всестороннюю опору, и всесторонние рамки для своей деятельности и, свободно развивая свои личные возможности, вместе с тем постоянно прилагает их к общему делу; там есть, из преданий прошлого и современной систематической работы слагающаяся, живая и правильно растущая наука, и отдельные ученые в меру своих сил входят в эту общую работу, участвуют в этом росте целого... У нас и в других науках, особенно же в науке богословско-церковной, этот *рост целого* отсутствует... Поэтому наши лучшие ученые, особенно в области духовной науки, похожи не на притоки могучих рек, текущих в моря и океаны, а только на ключи, одиноко бьющие в пустыне».

И хорошо еще все-таки было бы, если бы ученые-богословы оставались по крайней мере ключами, одиноко *бьющими* в пустыне, – наблюдается нечто худшее: сплошь и рядом там и сям видишь, как перестают биться и эти небольшие ручьи и ключи живой религиозной мысли, пересыхают, забрасываются грязью и мусором, замерзают под суровым дыханием лютой непогоды... Немногие, наиболее сильно бьющие ключи, вроде Соловьева, избегают этой участи».

«В заваливанье живых ключей знания камнями и грязью критика соперничает всегда с независящими от авторов обстоятельствами, а потому здесь естественно как-то сама собою вспоминается критика, особенно – духовная критика религиозно-философских воззрений Вл. Соловьева» («Богосл. Вестн.», май, стр. 36–40).

Действительно, только теперь, когда вышли почти все восемь томов трудов Вл. Соловьева, оценивается огромное их общественное, их историческое значение. Человек громадной подвижности и европейской образованности, он самым *фактом* своей деятельности и писаний, фактом *личности* своей сделал невозможным дальнейший стереотип прежнего богословствования. Рассыпан из «форм» его «набор»: не можем сделать лучшего сравнения, как с этим типографским беспорядком. До сих пор, в сущности, наша богословская литература ограничивалась двумя задачами: увещанием к благочестию и без того благочестивых и побиванием «мужичков» (см. «Миссионерское Обозрение» и варианты его в духовной литературе). В торжественные дни или в торжественной книге выходил автор и писал или говорил «похвалу себе», «*laus sibi*», которая часто напоминала известную «*Laus*»... Эразма Роттердамского. Именитое купечество, аристократические старушки, «полные генералы» в отставке, «ныне пишущие исторические воспоминания о своей службе, знакомствах и походах», – слушали благоговейно тихую речь «владыки»

или читали его книгу с золотым тиснением. Эта книга с золотым тиснением была убаюкивающая. «Мы»; «все знаем»; «всех победили»; «не оставили и науки» – и вот цитаты не только латинские и греческие, но и еврейскими буквами. На чудище цитат целою страницей только поглядывали с благоговением, как на удостоверение в «полной учености». В сущности, у нас установилось нечто гораздо более «окончательное», нежели даже папство: там все же тревожились, боролись, смущались, слышали возражения. Тогда как у нас было безмолвие и «благолепие» красноречия. Что Рим при Урбанах сравнительно с уездным городком под благопопечительным оком исправника: тут – и тише, и абсолютнее, и достовернее. Но мы увлекаемся, когда хотели только цитировать.

* * *

Полемика, по существу очевидная в своем исходе, с «Православно-Русским Словом», редактируемым *белыми* священниками оо. Дерновым и Ляхотским, касательно возможности и уместности включения в церковную эктению на литургии особого прошения о здравии и вспомоществовании женам, ходящим «в тягости» и «разрешающихся от бремени», – благополучно кончилась прекрасною статьею *монаха* архимандрита Мефодия (Великанова) в майской книжке «Православного Путеводителя». Автор приводит интересные исторические, этнографические и филологические данные, – равно из сравнительного эпоса, – касательно *жен рождающих*. Везде собственно *болезнь* (не *самое* рождение, а лишь *сопровождающая* его боль, страдание) считается «от лукавого», посему – нечистого (от «нечистого духа»): и в соответствии этому везде, даже в язычестве (напр., особенно в Японии), приходит местное духовное лицо, чтобы «очистить» родильницу поспешнее от «приразившейся» ей «нечистоты», «страдания» (дробь смерти) и особенно оградить как ее на одре болезни, так и рожденного младенца от возможных «чар», «недоброго взгляда», «зависти» и проч. (у арх. Мефодия приведены для этого многие данные). Тут залегло очень много и наивного, а частью и вероятного предположения о «недобрых и старающихся вредить» духах-атомах: ведь наши «микробы» есть только анатомическое разрешение вопроса об этих «злых эльфах», «маленьких бесах». Мы узнали *точный вид* и *объем* их: а действие их оказалось даже злее и всеобъемлющее, чем говорили всякие «мифы». Переходим к *прошению* за родильниц. Удивительно, что *семейные* священники (редакторы «Правосл.-Русск. Слова»), которые и сами рождают, которые имеют *супруг*, не выказали никакой чуткости, никакой деликатности в этом вопросе. Они сравнили (в № 1 журнала, появившегося года два назад) роды женщины с... лихорадкой, тифом, ломотою, чахоткою, ревматизмом и посмеялись, что «если уже за родильниц молиться, то и за чахоточных, и за ревматиков: тогда что же выйдет из эктении и литургии?». Но вот наставление, прописанное им ученым *монахом*:

«В нашей периодической литературе в последнее время стали раздаваться голоса, что св. церковь, чрез таинство брака освящающая совместную христианскую жизнь супругов, должна внести молитву при богослужении за «плодоносящих» и «рождающих» матерей. Несогласные с таким мнением говорят, что при допущении такой молитвы следовало бы молиться в церкви за чахоточных, ревматиков и др.

На самом деле в христианском браке, цель которого заключается преимущественно, при выполнении земного поприща, в чистом нравственном сожитии, в благословенном рождении и по закону Господню воспитании детей, одну из важных сторон занимает материнство. В благочестивой семье мать детей – это, по своему смыслу, великое слово: «Ее святое назначенье наш гений из пелен принять, направить душу поколенья, отчизне граждан (членов церкви) даровать». «Сколько горьких слез украдкой», по словам поэта, матери приходится проливать над колыбелью любимого малютки. «Одне я в мире подсмотрел, – говорит Некрасов, – святые, искренние слезы: то слезы бедных матерей», при известии о смерти детей их на войне. «Родная матушка плачет, что река течет» (народн. п.). Мать, истинная мать, есть первая на земле заступница детей своих после Бога Вышнего и Святых его: *«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя»* (Исаии 49, 15), говорит Господь Бог. «Стара», мать Остапа и Андрея, всю ночь целиком, последнюю ночь, одна, сидит у изголовья детей своих, заливаясь горячими слезами, и думает думашку, что больше уже не увидит милых сердцу ее детей. Какою великою радостью радуется «родившая» (сравн. Еванг. Иоанн. 16, 21) и как невыразимо радостно «плодоносящая» передает своей подруге весть: (младенец) «взыграл» (сравн. Еванг. Лук. 1, 41), «поворошился». Когда праматерь наша *Ева родила Каина*, то *радостно сказала: «...приобрела я человека от Господа»* (Быт. 4, 1).

В Священном Писании живыми, картинно-яркими чертами изображается пребывание младенца в материнском лоне. *«И я в утробе матерней образовался в плоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном»* (Премудр. Солом. 7, 2); *«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы... Зародыш мой видел очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было»* (Псал. 138, 13, 15–16) Соломония, мать семи братьев-мучеников Маккавеев, при виде казни сыновей говорила им: *Я не знаю, как вы явились во чреве моем. не я дала вам дыхание и жизнь; не мною образовался состав каждого. Итак Творец мира, Который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за Его законы* (2 Маккав. 7, 22, 23). Женщина чрез чадородие может даже получить спасение, если

пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием (Тим. 2, 15). Вот какое значение имеет материнство вообще и «плодоношение» матерей в особенности. Из всего этого нельзя не видеть, что мысль о молитве за «плодоносящих» и «рождающих» матерей согласна с богооткровенным учением, и молитва за них и по существу, и по внутреннему своему смыслу и значимости, и по своей серьезной важности для дела «Царствия Божия на земле» далеко не равносильна молитве за чахоточных, больных и т. под. Ставить материнскую болезнь рождения с болезнями обычными – значит или не понимать сущности дела, или смеяться над матерями» («Молитвы св. церкви о жене-родительнице», архимандрита Мефодия Великанова, в «Православном Путеводителе», май 1904 г.).

* * *

Весьма интересны рассуждения проф. *Н. Заозерского*: «К тревожному вопросу о браке и девстве» в двух книжках «Душеполезного чтения», обсуждающие прения на эту тему в пяти заседаниях «Религиозно-философских собраний», напечатанных в «Н. Пути». Они вызывали бы длинный спор. За невозможностью его, ограничусь одним. Автор здесь, как и во всех своих о браке статьях, долбит: «VII». Надо читать: «седьмая заповедь». Он воображает, что если «VII» *значится, и исполняется, и предписывается* 1) в монастыре и 2) в семейном доме, то через это становится:

Монастырь = семье.

Он пишет наивно, упрекая представителей духовенства и духовной науки на собраниях:

«Специалистам Богословам (с большой буквы у автора: точно это – орден духовный, или – регалия) мы должны поставить на вид то, что они со всею ясностью не опровергли мысли своего главного противника (? – *В. Р.*) *В. Розанова*, будто между Ветхим и Новым Заветами существует отношение противоположности, будто один Завет отрицает другой, – именно по вопросу об исполнении заповеди Божией: *раститесь и множитесь*. Ведь г. Розанов прожужжал всем уши, проповедуя эту мысль. На собраниях Религиозно-философского общества не только не обсуждена и не осуждена была эта мысль, но как будто даже безмолвно разделялась богословами. Им не стоило никакого труда указать на то, что г. Розанов, защищая *эту заповедь*, *разоряет* в то же время две другие ветхозаветные заповеди: «*не прелюбодействуй*» и «*не пожелай жены искреннего твоего*». Этот грех г. Розанова перед Ветхим Заветом послужил основанием для его собственной теории «поклонения полу» – языческой по существу, как и выразил это ясно г. Мережковский, – но задрапированной, так сказать, покровом заповеди Божией: *раститесь и множитесь*. По теории этой выходит: каждый блуди и прелюбодействуй, ибо-де в этом не только нет греха, но одна добродетель, исполнение заповеди Божией».

«Нужно было со всею ясностью и силой раскрыть этот грех г. Розанова против Ветхого Завета.

Второй еще более тяжкий грех г. Розанова против Нового Завета и церкви не только не был богословами поставлен на вид, но даже как будто был покрыт согласием. Этот грех в следующем: г. Розанов прожужжал уши проповедью о том, что Новый Завет и церковь будто бы презрели заповедь: раститесь и множитесь – и проповедуют смерть вместо жизни».

«Как же было не поставить на вид этого ужасного греха и, не утвердив почвы, не поставив, так сказать, г. Розанова на истинный путь, решаться рассуждать с ним о новозаветном учении о браке» («Душеполезное чтение», стр. 364–365)*.

* Выше несколько, на стр. 363, г. Н. Заозерский сам говорит, ссылаясь на «прекрасный реферат Н. М. Минского», следующей цитатой из него: «Все выслушанные нами до сих пор нападки на церковный идеал девства представляют в сущности полное повторение доводов, цитат, которыми в свое время реформация ополчилась на монашеский идеал в католичестве. Реформация победила, устроила жизнь на основах семьи и общественности, заложила рогаткой путь аскетизма. Но если бы реформация была права и в этом отношении, – как во многих других была права, – если бы идеал девства был извращением природы, то ложь, однажды изблеченная, уже не возникла бы в том же сознании. И наоборот: если идеал девства имманентен человеческой природе, то, изгнанный из религиозной сферы, он необходимо должен был возникнуть в другой области. На этот вопрос история отвечает с осязательною определенностью. Именно в протестантизме идеал отречения с необычайной силой возник, вспыхнул в философском пессимизме, в тех учениях, которые, в отличие от других философских систем, не заплеснели в кабинетах профессоров, а вышли на улицы, овладели фантазией толпы, изменили лицо земли... Благодушная односторонность реформации привела к односторонности пессимизма, к отрицанию общественности, к отчаянию. Замечательно, что великий враг христианства, Ницше, разошедшийся с Шопенгауэром во всех пунктах, однако в культе целомудрия остался ему верен. «Никогда еще, – восклицает Заратустра, – не встречал я женщины, от которой хотелось бы мне иметь детей; пусть же будет Вечность тою женщиною, которую люблю я, ибо люблю тебя я, о Вечность». Природа, прогнанная в дверь христианства, вернулась в окно буддизма (т.е. идей Шопенгауэра, внесшего в Германию буддизм); прогнанная оттуда (т.е. когда пала философия Шопенгауэра), она проникает сквозь щель нищенства, и так без конца». Это – в цитате профессора Н. Заозерского, который в другом месте той же статьи жалуется, что «не официальные богословы, а поэт-философ Н. М. Минский дал *отпор* Розанову». Хорошо. Так уж *наверное* же г. Н. Заозерский *согласен* с г. Минским (иначе зачем приводил цитату?), который, говоря, что «идеал девства, идеал аскетизма» тождествен и имеет один психологический корень с «пессимизмом», «философией Шопенгауэра», «буддизмом», «нищенством», «с отрицанием общественности» и «отчаянием», – что же иное говорит, чем я? Но *мне этот идеал не нравится, а Минскому и Заозерскому нравится*. Разница между нами во вкусах, но в *диагнозе разницы нет*. И стало быть, г. Заозерский вместе со мною «страдает ужасным грехом обвинения христианства в пессимизме». Тогда как Ветхий Завет, не потрясши корня *многоплодия*, естественно не был доступен и пессимизму. Через детей и жен он был соединен со всею землею и был погружен в *подробности*, в любовь к конкретному, тогда как Ницше и Шопенгауэр характерные *пустынники*.

Ах, богослов, богослов! Есть у меня старые часы, со сломавшимся механизмом и почти стертым циферблатом: последние две цифры, XI и XII, на нем стерлись. Неужели же, придя ко мне, богослов сказал бы: «Это – изображение скрижалей Моисея. Ибо в храмах, на соответствующем месте стены или свода, мы зрим:

	V
I	VI
II	VII
III	VIII
IV	IX
	X

А у вас то же изображено, только не вертикально, а в ряд и по ободку:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Из чего ясно, что у вас – то же изображение, что и в церквах, лишь иначе написанное; т.е., что *циферблат* = *скрижалям*».

Не понимаю, как это он экзаменует студентов и как студенты его не собьют в науке. «VII заповедь есть в монастыре и семье: ведь монастырь не отличается от семьи»; «как подобно этому и Ветхий Завет в отношении заповеди: *раститесь и множитесь* говорит, имея VII и X заповеди, то же, что и каноническое право». Ах, профессор! стыдно, профессор! Да если Иаков, имевший двух жен, да еще родных сестер, за собою замужем, к этому «приложил» и двух наложниц (Валлу и Зелфу), то неужели же «раститесь и множитесь», которое он *знал*, как и я, и ему это *позволено* было, как и мне, – неужели он и я – *патриарх* и (в случае двоеженства) *каторжник* – живем «под тем же самым законом и заповедью»?! Не очевидно ли, что имеет значение, *соединяющее* и *противополагающее*, не «VII», а то, что мы очертим циркулем, положим означенным цифрою VII, и что внутри кружка начертанного *напишем*. В Ветхом Завете:

- 1) Детоубийства не было.
- 2) Девушки и вдовы рождали, никого не спрашиваясь.
- 3) В близком родстве (двоюродные, дяди и племянницы) женились.

И, что особенно убедительно, особенно для медленных мышлением, ибо тут *очевидность* разницы выражена арифметически:

- 4) Женились не три, а сколько угодно раз.
- 5) Одновременно имели не одну, а двух, трех и до четырех (Иаков) жен.

6) А в *священной* книге Ветхого Завета говорится как о живом и наличном, притом *непорицаемом факте* – о супружестве Соломона (дивился же я, прочтя эту цитату в ученом и одушевленном комментарии Георгия Властова «Священная летопись» и проч., – дивился, что комментатор не дивится цитате):

«Есть шестьдесят цариц, и восемьдесят наложниц, и девиц без числа» (*Песнь песней*, гл. VI, ст. 8).

И притом Соломон, творец нескольких *канонических священных книг*, вызывал к себе то же приблизительно отношение в Ветхом Завете, каким мы окружаем Василия Великого (давшего правила брака). Соломон и Василий Великий! Толпы жен и наложниц (за то, что он из *идолопоклонниц* их брал, летописная «Книга царств» его упрекает; но за *число* их – упрека нет, это – поразительно! это – точно! и ни один из *пророков* израильских память царя этого не упрекнул за сластолюбие!); итак, толпы жен и наложниц, и – монах! Да, но для обоих было:

VII,

и проф. Заозерский успокаивается. Удивительно! Удивительно, как такие наивные люди могут преподавать в духовных академиях. И без всякого *внутреннего* чувства ответственности перед слушателями. Или «попу наука не нужна, лишь бы долбил»? Напрасно. Слушатели могут быть очень зоркие; могут быть насмешливые.

* * *

После полемики – немножко отдыха. Это, пожалуй, та же полемика, направленная в сторону г. Стародума из «Русск. Вестн.», предложившего за статьи об «Юдаизме» меня «колесовать и четвертовать» или, менее картинно и более дословно, нарекшего меня «духовным проходимцем», «эротоманом» и еще чем-то. Бедный – он ничему не учился, как пр. Заозерский ни о чем не размышлял. Мирно держал он стремя у Комарова, когда тот садился в седло, и светлил шпоры суконкой. Потом барин позвал его из кухни в критику и предоставил отдел журнала: «Можешь за Белинского?» – «Могу». «И за Гейнце можешь?» – «Могу-с». – Вот этому Гейнце-Белинскому, в ответ на его: «колесовать», я приведу письмо *старого* священника, которому я ответил закрытым письмом, но, по непрописанию *губернии* на адресе и по *трем* в России почтовым пунктам с тем же именем, письмо я получил обратно. Между тем я так тронут милым и приветливым словом незнакомого батюшки, что принимаю на себя смелость ответить ему через журнал, очевидно им читаемый. Вот это письмо:

«Милостивый государь! Вы в корень смотрите нашей жизни. Христианство православное (тут, конечно, не о нем говорится в целом, чисто, святом, а о течениях в нем, выражаемых такими богословами, как оо. Дернов и Ляхостский или профессора Гусев и Заозерский (*В. Р.*) в культурный рост нашего отечества вносит свою в некоторых отношениях непригодностью (напр., в отношении семьи в законодательном и судебном, а также и в молитвенном отношении; см. выше рассуждение арх. Мефодия) некоторые невыгоды. Помогите вам мудрость ваша (не изменяю слова, хотя оно выше предмета своего) выйти победителем в борьбе.

Знаете, один вопрос, чудной поэтической мелодии и несказанной прелести, держит в своей власти Христову любовь и истину в месте ее единственного и вечного прикосновения с жизнью: священник может быть женщиной! Великие, убедитесь! В этом путь приближения к Богу добра, счастья, лучезарного мира, Богу дружбы, Богу ненавидящему смерть.

Отъезжая из Петербурга, где временно по делам находился, увожу с собой одну радость: прочел вас в «Новом Пути». Сил, здоровья вам. Престар(елый?) свящ. *Фирс С-ов*.

О вас помолюсь у себя дома. Боже мой! какие события (письмо получено по городской петербургской почте в феврале, т.е. при начале войны с Японией). В добрый час. Господь не оставит нас».

В древней церкви были *диакоиссы*, позднее не сохранившиеся, но, очевидно, могущие быть восстановленными. Особенно оне принимали на себя устройство и заведывание делами милосердия в приходе. При Соломоновом храме постоянно жили женщины, напр. известная пророчица Анна, встретившая рожденного Спасителя. Храм вообще должен быть несколько жилым местом. Как прекрасен *монастырь*, со многими *жилищами* в нем, сравнительно с одиноким и точно *томящимся* в одиночестве обычным приходским, на улице или на площади, храмом. Проходя по здешней лавре, с ее постройками середины XVIII века, столь не похожими на неинтересную архитектуру XIX века, видя расходящиеся и сходящиеся аллеи, обсаженные высокими деревьями, – всегда особенно любуешься то группами священников и монахов, медленно движущихся по аллеям, то проходящими через лавру (через дворы внутри ее) редкими фигурами женщин, иногда ведущих с собою мальчика или девочку. Священное, но не *пустое* место. В католических храмах, в Италии, я замечал, что внутренность храма соединена бывает переходами или сенями с жилищем священника: он выходит к литургии *откуда-то изнутри*, а не через наружную дверь с улицы. Храм воздвигнут из *каменей*; прекрасны во дворе его *деревья* (часто у русских вокруг храма, во дворике при нем, деревья: не цветы, не луг, *не сад*, а как бы *начало роицы*); прекраснее всего, конечно, человек; но недостает еще обители всегда близкого человеку *домашних* животных. Это необходимо для *округленности* и полноты. Вспомним, в Апокалипсисе, видение Дома Божия на небесах: «...и я увидел Престол... и вокруг него и на нем четырех животных, с лицом как бы орла, как бы тельца, как бы льва и как бы человеческим». В Соломоновом храме, т.е. в его ограде, были особые «овчие врата»: через них на храмовую гору прогонялись целые стада блеющих агнцев. Вид их невинности (кого не трогало *личико* овечки – такое изумительно кроткое, точно воистину детское), – итак, говорю, вид невинности животных должен был располагать к созерцательности молившихся в храме. Это «вечерний звон» Ветхого Завета. Там были – конечно, в многочисленных внутренних дворах, отделениях храма – расположены четыре главных категории жертвенных животных: агнцы, тельцы и телицы, козлята и козочки и голуби. Храм имел четыре печати, с изображениями на каждой из них по одному из этих жертвенных животных. Самые животные,

целые их стада, с самого рождения невинные, не подлежащие труду и работе, никогда не обижаемые и не пугающиеся человека, располагались «гнездами» («о гнездах в храме» – целые главы в разных местах *Мишины*), т.е. они не жили *стадом, в куче*, и не жили *одиноко, единицами* в шатрах, а, вероятно, за крошечною изгородью жила голубиная, овечья, козья семья, семья тельцов. Но я возвращаюсь к «диакониссам». В Ветхом Завете были пророчицы («пророчица Анна», «пророчица Деворра» и другие, не называемые по имени). И у нас нечто есть подобное – «игуменья». Это также *сан*, принадлежащий *женищине, деве*. И церковь *in pleno* была бы неполна без женских монастырей, без «матерей-игумений». Замечательно название «мать», применяемое здесь к деве, народно, обычно, служебно. Конечно, если будущему суждено двигаться, христианство подвигнется особенно в семейную сторону. Это – полнота, это – закругление. «Мать-игуменья» у нас, «пророчица» в древности; а отчего для будущего нельзя помечтать о «матери-диакониссе»? Но – не ограничивая ее делами приходского милосердия (и *диаконы* в древности в службе не участвовали, а лишь в *хозяйственной приходской* службе), а и введя помощницу священника в храме? Уже теперь, церквах в двух в Петербурге, введены в хоры певчих – девы. Мы знаем, что нередко певчий в храме носит *стихарь*. Вот наденьте на деву эту золотистую, серебристую, характерную церковную одежду, и вы уже имеете тень подступа к диакониссе в том виде, как она нам брезжится. Именно апостол настоял, что «в Господе Иисусе несть ни раб, ни свобод, ни эллин, ни иудей, *ни мужеск пол, ни женск*»: т.е. он указал мировое *единство и слияние*. В письме своем священник и пишет, что через женщину особенно привходит в мир *связь с жизнью, любовь, милосердие, нежность, деликатность*. Несомненно, введи церковь в литургийное служение и женщин, *обогати ими клир*, – милосердие *приходское* полилось бы от церкви, от духовенства щедрейшим ключом. Самое служение храмовое стало бы сейчас же нежнее, глубже, мелодичнее. Может быть, оно стало бы и пышнее. Во всяком случае, как «четою», «гнездом» сотворил человека Бог, так четою он должен и восхвалять Его, благодарить Его. А эта благодарность льется, конечно, через молящихся, но еще непосредственнее *через служащих в храме*. Мы, впрочем, только набрасываем мысль, оставляя ей свободно двигаться в будущем.

НОВОЕ ИЗ ПРОШЛОГО ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО

31 марта этого года скончалась графиня Ал. Ан. Толстая, воспитательница единственной дочери Императора Александра II, Марии Александровны, и вместе родная тетка и интимный друг Л. Н. Толстого. Г-н Ив. Захарьин (Якунин) воспользовался богатым материалом личных воспоминаний, писем и автобиографических записок покойной и в статье своей, посвященной ее памяти («Вестн. Евр.», июнь), сообщает очень много любопытных данных о нашем великом писателе и некоторые из его писем.

Переписка между покойной А. А. и гр. Толстым, – пишет г. Захарин, – продолжалась почти сорок лет. В ней были антракты и перерывы, происходившие иногда от случайных причин, а иногда и от охлаждений между ними – по большей части непродолжительных. Еще в 1865 году, три года спустя после женитьбы, гр. Л. Н. Толстой писал графине А. А., между прочим, следующее: «Я – счастливый муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтобы все шло по-прежнему. Вас я люблю меньше, чем прежде, но все-таки достаточно для того, чтобы вы не оставляли меня, – все-таки больше всех людей (а как их много было!), с которыми я встречался в жизни». Позже и по другому поводу Л. Н. писал графине: «Хотя мы и воображаем, что сердимся друг на друга, но я знаю, что мы не перестанем любить друг друга, – и чувствую это за себя». Писано это было уже в 1886 г.; а в письме, написанном годом ранее, именно в 1885 году, можно было ясно видеть и причину, из-за чего эти близкие между собою люди могли «сердиться» друг на друга: «Надеюсь, – писал Л. Н., – что вам не неприятно будет возобновление общения со мной. Только, пожалуйста, не обращайтесь в христианскую веру. Я думаю, у вас много друзей необращенных, или «оглашенных», – причислите меня к ним по-старому»... Но графиня, будучи очень религиозной женщиной и глубоко верующей, не воздержалась все-таки, чтобы не попытаться «обратить» своего друга и родственника, – и эта попытка, сделанная ею в 1897 году, в последний приезд Л. Н. Толстого в Петербург, и послужила поводом к окончательному разрыву».

Из рассказов графини о Л. Н. Толстом г. Захарин приводит между прочим следующий, относящийся к пребыванию их обоих за границей в 1856 году.

«Мы переехали во Франкфурт. Однажды у меня в гостях сидел принц Александр Гессенский с супругой. Вдруг отворяется дверь гостиной и появляется Л. Н. в самом странном костюме, напоминающем те, в которых изображают на картинах испанских разбойников. Я так и ахнула от изумления... Л. Н. остался, видимо, недоволен моими гостями и вскорости ушел.

– Qui est donc ce singulier personnage? – спросили мои гости с удивлением.

– Mais c'est Léon Tolstoy.

– Ah, mon Dieu, pourquoi ne l'avez-vous pas nommé? Après avoir lu ses admirables écrits nous mourrions d'envie de le voir*, – упрекнули они меня.

Уже и в это время его литературная известность была прочно установлена, благодаря главным образом, конечно, его «Детству и отро-

* – Кто этот странный человек?.. – Ведь это Лев Толстой. – О Боже мой, почему же вы не сказали? После того как мы прочитали его великолепные сочинения, мы умираем от желания видеть его (*фр.*).

честву» и его «Севастопольским рассказам», появившимся тогда же на немецком и французском языках.

Десять лет спустя, в 1866 году, Лев Николаевич сильно заинтересовал однажды как писатель и наших великих князей... Это произошло в подмосковном царском имении Ильинском, где летом того года жила семья императора Александра Александровича: там же, при своей воспитаннице великой княжне Марии Александровне, находилась и графиня Александра Андреевна. Приезд Л. Н. был неожидан. Когда великая княжна и ее тогда маленькие братья великие князья Сергей и Павел Александровичи узнали, что у графини сидит Л. Н., то непременно пожелали увидеть его; но так как они были очень застенчивы и не решились нарушить принятый этикет, т. е. прямо войти в ту комнату, где он сидел с А. А., то ограничивались лишь тем, что заглядывали, как бы нечаянно, в окна и в двери... Наблюдаемого ими писателя это очень забавляло».

Покойная графиня распределила все письма Толстого на три группы: 1) имеющие частный, личный интерес; 2) представляющие интерес литературный и общественный и 3) не подлежащие вовсе оглашению. Вторая группа, вместе с автобиографическими записями покойной, передана ею в Академию Наук, и, без сомнения, в свое время последняя опубликует этот ценный материал. Известно, что в 1878 г. гр. Л. Н. Толстой задумал писать «Декабристов», – и вот отрывки из двух писем его, написанных к своей тетке по поводу писем гр. В. А. Перовского, начальника экспедиции в Хиву в 1839 г., приходившегося ей родственником:

«У меня давно бродит в голове план сочинения, местом которого должен быть Оренбургский край, а время – Перовского. Теперь, я привез из Москвы целую кучу материалов для этого. Все, что касается В. А. Перовского, мне ужасно интересно, – и должен вам сказать, что это лицо, как историческое лицо и характер, мне очень симпатично. Что бы сказали вы и его родные? и дадите ли вы и его родные мне бумаг и писем, с уверенностью, что никто, кроме меня, их читать не будет?»

Гр. А. А. Толстая поспешила исполнить желание племянника и переслала ему письма гр. Перовского. Ознакомившись с ними, он писал ей:

«Очень-очень вам благодарен за ваше обещание дать мне все сведения о Перовском... Личность его вы совершенно верно определяете à grands traits*; – таким и я представляю его себе; и такая фигура – одна, напоминающая картину. Биография его была бы груба; но с другими, противоположными ей, тонкими мелкой работы, нежными характерами, как, например, Жуковский, которого все, кажется, хорошо знали, а главное, с *декабристами*, – эта крупная фигура, составляющая тень (оттенок) к Николаю Павловичу, самой крупной

* крупными мазками (*фр.*).

и à grands traits фигуры, – выражает вполне *то время*... Я теперь весь погружен в чтение из времени двадцатых годов, – и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Страшно и приятно думать, что то время, которое я помню, – тридцатые годы – уже история!.. Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается – и все останавливается в торжественном покое истины и красоты...

Молюсь Богу, чтобы Он позволил мне сделать, хоть приблизительно, то, что я хочу. Дело это для меня так важно, что, как вы ни способны понимать все, вы не можете представить – до какой степени это важно: так важна для вас ваша вера, и еще важнее, – мне бы хотелось сказать, но важнее ничего не может быть. И оно – то самое и есть».

С таким великим энтузиазмом относился гр. Л. Н. Толстой к задуманному произведению, которого ему не суждено было написать (кроме отрывков). Как известно, по крайней мере по слухам, он не нашел в фигурах декабристов достаточно характерных русских черт, да и вообще достаточной важности, чтобы можно было из них сделать центр большого эпического создания.

Живя постоянно в Петербурге, графиня А. А. Толстая не помнила Л. Н. в детстве, так как учебные годы его проходили в Москве, Казани, а затем он уехал служить на Кавказ. Но начиная с 50-х годов они стали чаще видеться. 1857 год в марте графиня жила в Швейцарии, в Веве, с вел. кн. Марией Николаевной. Вокруг графини сплотилось небольшое русское общество, предпринимавшее коротенькие путешествия в горы и по озеру, в Женеву, и в одно из этих путешествий, в Люцерн, произошел эпизод, давший повод к прелестному рассказу нашего романиста, носящему название этого города. Вот выписка из ее «Воспоминаний», сделанная г. Захарьиным. «Однажды вечером, – передает со слов графини автор воспоминаний о ней, – когда довольно многочисленное общество путешественников, состоявшее из всевозможных европейских национальностей, и преимущественно из англичан, сидело на балконе одной из лучших гостиниц за обедом, к балкону подошел один из странствующих артистов, старик, и стал играть на скрипке. Играл он очень хорошо, и публика слушала его с видимым наслаждением, но когда он кончил и, сняв шапку, протянул ее в сторону публики для получения вознаграждения за свою игру, то все отвернулись в сторону, и бедный музыкант не получил ничего. Л. Н. Толстой, находившийся среди публики, быстро встал с своего места, спустился с балкона вниз, подошел к музыканту, взял его под руку, взошел с ним вместе обратно на балкон, усадил его рядом с собою и приказал подать им обоим ужин... Находившиеся на балконе чопорные англичане с своими дамами окаменели от изумления».

Здесь гр. Л. Н. Толстой является тем же непосредственным экспансивным человеком, который весь отдается переживаемому впечатлению, как и в письме о гр. Перовском и его современниках, которое мы выше привели. Известно, как многие иронизировали над его простонародным костюмом и

занятием кладкою печей и сапожным ремеслом в позднейшие годы; но и тогда он был всего только тем же живым, искренним и непосредственным человеком, как всегда. Но когда все сдерживаются, вдавливая себя в форму, и можно предположить – ломаются в этой монотонности (ибо ведь это нелегко), Л. Толстой без формы и ломанья жил в каждую эпоху жизни, как ему хотелось и как находил он нужным. Вот его письмо от 1858 г., еще до женитьбы:

«Бабушка! Весна... (хотя гр. Толстая была ему теткою, но, будучи гораздо ее моложе, он усвоил привычку называть ее «бабушкой»).

Отлично жить на свете хорошим людям; даже и таким, как я, хорошо бывает. В природе, в воздухе, во всем надежда, будущность, и прекрасная будущность... Иногда ошибаешься и думаешь, что не одну природу ждет будущность и счастье, а и тебя тоже, и хорошо бывает. Я теперь в таком состоянии, и с свойственным мне эгоизмом тороплюсь писать вам о предметах, только для меня интересных. Я очень хорошо знаю, когда хорошо обсужу здраво, что я старая, промерзлая и еще под соусом сваренная картофелина; но весна так действует на меня, что я иногда застаю себя в полном разгаре мечтаний о том, что я растение, которое распустилось вот только теперь вместе с другими, и станет просто, спокойно и радостно расти на свете Божиим. По этому случаю к этому времени идет такая внутренняя пересборка, очищение и порядок, какой никто, не испытавший этого чувства, не может себе представить. Все старое – прочь! Все условия света, всю лень, весь эгоизм, все пороки, все запутанные, неясные привязанности, все сожаления, даже раскаяния – все прочь!.. Дайте место необыкновенному цветку, который надувает почки и вырастает вместе с весной...».

До сих пор это письмо весной пахнет. И не тон ли это Левина из «Анны Карениной» в его молодых весенних чувствах? А вместе не видим ли и здесь только правду и только непосредственность в великом нашем писателе, который точно олицетворяет собою Русь, и барина ее и мужика ее, как воплотил ее писателя, мыслителя и воина.

<О «НОВОМ ПУТИ»>

«Наши богоискатели», говоря языком «Миссионер. Обозрения», получают некоторое признание себя и в специальных духовных сферах. Недавно еще (см. июньская книжка «Богослов. Вестн.») проф. А. Н. Введенский на торжественном диспуте, в стенах старейшей Духовной Академии, сделал ссылку на протоколы «Религиозно-философских собраний» в С.-Петербурге и, указывая на ход мысли, там выраженной, предложил диспутанту и товарищам по науке приступить к переработке «методов догматики» (речь его перед диспутом так и озаглавлена: «К вопросу о методологической реформе православной догматики»; произнесена она 9 апреля нынешнего года). В последней же книжке «Нов. Пути», где печатались эти протоколы, помещено

письмо-статья за подписью «священника П.», под заглавием: «Странные люди», начинающаяся так:

Для большинства современных представителей церкви религиозные идеи главных деятелей «Нового Пути» Мережковского, Розанова, Минского и проч. – неуместимы, странны, безумны. Некоторые делают вид, что им понятны эти идеи; в действительности же им доступно только внешнее логическое их выражение, дара же внутреннего озарения и проникновения в сущность «странных глаголов» им не дано.

И, далее, в заключение довольно длинного письма:

Между тем, увидевшие новые горизонты веры, созревшие для новых откровений духа, небольшою кучкою вдохновенных пилигримов с застенною надеждой приблизились к дверям спасительного храма. Они прошли сквозь пустыни неверия, чрез стремнины сомнения. С лопа природы, из зеленеющих дубрав, с простора полей, с свободной выси горных хребтов, – богатые опытом прошлых народов, вместившие всю полноту их религиозного знания, – они притекли в храм Единой Истины и здесь увидели мрачные сени, тишь многовекового застоя. Сквозь мрак с трудом разглядели дивные черты своего Бога. И вот теперь страстно просят хранителей храма потоками света сплугнуть спустившийся сумрак, воздухом свободы обвеять атмосферу веков. А им на это говорят: «Странные люди!» У порога храма они сложили все собранные в долгом пути сокровища мира, умоляя жрецов принять и освятить эти дары, – а им в ответ: «Ничто мирское да не входит сюда!» Время идет. Они ждут. Неужели не примут их дары и возвещаемой ими истине не дадут места в храме?

Время идет. Нарождаются новые души с жаждою новых прозрений. Для них «странные люди» – желанные гости, дорогие вестники идущей религиозной весны. В смелых речах пилигримов они чувят воду живую, утоляющую заветные устремления сердца. От этих речей пробуждаются «спящие во гробах», загораются новым пламенем души, и пламень этот – верим – со временем широкими волнами обойдет всю землю нашу, им расцветится и самый «недоступный храм», навстречу грядущему Солнцу – Христу. Да будет так!

Священник П.

Все это знаменательно. Значит, и часть священников, и часть представителей академической богословской науки (проф. А. Н. Введенский – автор нескольких капитальных трудов) признает *raison d'être** за нашими «богоискателями». И кажется, это полнее и лучше выражает нашу терпимую славянскую натуру и самый дух кроткого православия, нежели поднимающиеся кое-где окрики на «богоискателей». Пусть их ищут. А где не найдут или найдут что дурное – во власти критики всегда остановить их, да, остановивши, – и поучить маленечко «плеточкой», говоря словами «Домостроя», конечно «плеточкой» словесной.

* разумное основание (*фр.*).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ <Е. МИЛИЦЫНА>

Удивительно, как связываются в уме явления. Я вторично перечел помещенный в февральской книжке (этого года) «Русской Мысли» рассказ: «Идеалист», подписанный женским именем «Е. М. Милицына» и посвященный «матери моей Н. С. Р.». Рассказ этот, всего две-три картинки из жизни сельского священника, судя по некоторым данным, едва ли не передает просто воспоминание русской женщины, вышедшей из духовенства в «образование», о доме отца своего; причем вставленный в рассказ длинный разговор «сына с отцом» о духовенстве и об образовании легко дешифрируется, если на место сына, кончившего семинарию и собирающегося в университет, мы поставим «дочь», собирающуюся «на курсы» и потом вышедшую замуж (другие инициалы посвящения, нежели инициал фамилии автора). Рассказ, по совокупности этих данных, имеет все значение факта. Но я позволю сказать о том, с чем он связался в моем уме. Года три назад появились сперва на немецком, а затем и на русском языке (с небольшими пропусками) знаменитые чтения (в Берлинском университете) Гарнака «О сущности христианства». Для науки истории церкви имя Гарнака имеет то же значение, как имя Моммзена для римской истории. Близкий друг и частый собеседник императора Вильгельма, он получил от него орден «Pour le mérite»*: император хотел чем-нибудь выразить особенное, лично испытанное уважение, может быть, -- благоговение, к этому человеку, который не только заново переработал все отделы церковной истории, открыл множество новых памятников древне-христианской письменности, указал настоящее значение и место ранее известным, но и имеет (в религиозном отношении) душу так благоустроенную, с таким спокойным и высоким сиянием ума, как это бывает только у счастливых соотечественников Гёте и Гумбольдта. Между прочим, Гарнак этот – выходец из России. Сын профессора богословия в Дерптском университете и сам воспитанник этого университета, он затем перенес учебные и ученые занятия за границу и, переменяв несколько раз университет, был в 1889 году позван в Берлинский университет. Таким образом, он знал несколько России, и когда говорил в чтениях «О сущности христианства», о сравнительном характере трех главных в Европе церквей, то не мог не обратить несколько подчеркнутого внимания и на нашу «русскую веру». Был он в переписке с знаменитым петербургским профессором В. В. Болотовым, высоко ценя его труды, как и труды других наших ученых, Иванцова-Платонова, Лебедева, Глубоковского, давая о них в своем журнале пространные немецкие рецензии. Таким образом, он не чужд России; знает, по-видимому, русский язык; нимало ей не враждебен. И вот, когда года три назад появились его «чтения», сейчас же переведенные на все главные европейские языки (у нас появились почти одновременно три перевода), русские не могли не быть удручены его отзывом

* «За заслуги» (фр.).

о православии. С документальной стороны он знал его историю и учреждения, в русской и в греческой частях, так же хорошо, как, например, и Голубинский, знаменитый московский историк русской церкви. Вообще это не было поверхностное суждение по незнанию дела. И вот, проводя сравнительный анализ католицизма, лютеранства и православия, он говорит о последнем, что первослова Евангелия до неузнаваемости «погребена в нем под языческими вставками». Читатель все и сразу поймет, если я объясню ему, что критика Гарнака, убежденного и страстного «евангелиста» на моральной основе, есть в сущности, по мотивам и направлению, критика южнорусского штундиста о православии: только углубленнее и благороднее выраженная, выраженная гениально. Должен заметить, когда я сам читал книгу Гарнака – я был поражен целыми страницами совершенно новых для меня мыслей о предметах давно знакомых (например, о жертвоприношениях); вообще, это – действительно Гумбольдт своего дела. Но в то же время недостаточность целого, все основной точки зрения, всех исходных убеждений автора, до того резали душу, что я мысленно переименовал заглавие книги: «О сущности христианства» в другое и истинно соответствующее делу: «Христианство без сущности». Он пытается убедить читателя, что в христианстве содержится преимущественно мораль; закон сердца. Что в центре ее стоит личность удивительная, неизъяснимая, не встречающаяся еще в истории – *но одной категории с нами*: можно сказать, – тенденция всего протестантства, в котором в конце концов «человеческое» поглотило, поглотило и затушевало, «божеское». Таким образом, «суть» христианства вынута из него: все становится естественно-историческим процессом, без чуда (для меня столь явного, уж позвольте личную мысль) в нем! Когда именно в «чуде» этом, т. е. прежде всего в чуде словесном самого Евангелия и в чуде Лица, в нем описанного, и содержится «суть» христианства, без коего, поверьте, переворота от римлян и греков к «нам» не произошло бы. Но я не хочу критиковать Гарнака, а перенестись только к словам его о России и «русской вере», в каковое имя мне хочется (да и часто мы это делаем) переименовать холодный термин: «греко-российская церковь». «Оно полно языческих вставок», – резюмировал свою мысль о нем Гарнак. И вот, если бы голос мой мог донестись до Гарнака, если бы кто-нибудь мог эти скромные строки перевести ему на немецкий язык, я бы попросил его перечить теплое воспоминание русской женщины об отцовском священническом крове и, вдумавшись в его подробности, перерешить вторично вопрос и для него, и для нас важный, о «сущности христианства», «сущности язычества» и, в частности, нашей «веры», якобы полной вставок из второго в первое. Ему видима и осязаема была история и устройство церкви по документам. Доселе – он Гумбольдт. Но есть документ, а есть еще и человек, о котором документ написан: и вот здесь проходит граница Гарнака, за пределами которой (увы, узкими!) он перестает видеть и понимать. Есть халат Афанасия Ивановича, мужа Пульхерии Ивановны, и он совершенно такой же, как и халаты, положим, Плюшкина и Акакия Акакиевича: в одно время шит, по одному покрою, из одинаковой дешевой материи и все три на вате. Но

какая разница между носившими их людьми! Родившийся в Дерпте, учащий в Берлине, всегда в немецкой среде, он знал только одеяния нашей веры: а «сущность» ее он так же просмотрел, как он просмотрел, кажется, и «сущность» христианства, и потому именно, что не вошел, не обжился, не принял (да! да!) к дышащей русской груди, к домику русскому, к церковке русской, к приходу русскому. Автобиографическое воспоминание русской женщины оттого при чтении и вызвало у меня параллельную мысль о Гарнаке, в смысле «поправки» к нему, что дочернее сердце в вере «отца», и кажется – покинутой вере, но с любовью вспомянутой, подметило все то, чего не дано увидеть хотя бы и величайшей учености. Мы все ищем. И Гарнак ищет. За это он получил «Pour le mérite»: т.е. что он не обыкновенный профессор, а исключительный. А разве «исключительные» люди, исключительные умы не ищут «сущность», положим, языка в прибаутках, поговорках, песнях, дурачестве народном (Вл. Даль) или не отыскивают каких-нибудь бацилл даже в извержениях холерных больных. Итак, Гарнаку, как именно человеку неподкупной и настоящей «заслуги», «mérite», можно отправиться в «ученое паломничество» в русскую деревню, а к серии необозримых изученных документов присоединить и неприятное воспоминание: «как же верили, чем жили, чем держали нравственность наши отцы на протяжении тысяч верст, на протяжении семи-восьми веков».

Автор, я сказал, дает лишь две-три картинки, очевидно зрительно оставшиеся еще у ребенка-девочки, может быть не заснувшей в своей кроватке и видящей из-под одеяла, что делается в комнате «больших». Но мы понимаем, что картинка – часть целого. Не может зуб мамонта встретиться у допотопного хищника, а клыка кошки вы не припишете жвачному животному. Так в зоологии. Так в истории. Так в быту – и в зависимости уже от больших контуров веры, религии. Пусть же войдет сюда Гарнак, и прислушается, и раздумывает:

«Окончив положенное правило (обязательная домашняя молитва священника накануне службы), – батюшка, старичок лет 55, небольшого роста, в темной старенькой ряске, тихо ходил из угла в угол по своей выбеленной зальце, при свете лампы перед образами, и в его тихой походке, и во всей фигуре сказывалась привычка долгих лет – ходить, когда думалось. Под его ногами поскрипывали половицы, и, когда он доходил до шкафика с посудой, шкафик весь вздрагивал, и посуда звенела; но ко всему этому батюшка привык уже давно, и теперь, заложив руки в карманы подрясника, он тихо ходил и думал, и те мысли, какие приходили ему, также не нарушали тишину, окружавшую его; они сливались с общим настроением беленькой зальцы и светом лампы в ней. – В соседней комнате, батюшка знал, – горят также лампы. В полуотворенную дверь в нее он видел свою матушку попадаю. Она стояла на коленях перед киотом, в котором сияли серебром старинные образа, и при свете лампад, горевших у них, читала акафист. Это был рукописный акафист (NB: они до

сих пор сочиняются, есть «одобренные», а есть и неодобренные – «про себя», и это может каждый), написанный когда-то, в минуты творчества, о. Андреем, и он помнил наизусть его выражения:

Радуйся, зарнице, будущего всех единения,

Радуйся, Благодатная, кротостию мир покорившая...

видя, как матушка кладет поклоны перед образами, мысленно говорил о. Андрей.

Радуйся, солнце, светило любви незакатное,

Радуйся цвете прекрасный в небесном веселии.

Он продолжал тихо ходить, и скорее знал, чем видел, то, что было за полуотворенной дверью. Там была вся прошлая их жизнь, проведенная вместе. В углу стояла их двухспальная кровать, которую матушка берегла, как воспоминание о молодых годах их супружеской жизни. – Много лет стояла эта кровать, убранная, как в первый год, под кисейным белым покрывалом, и давно уже никто на нее не ложился. Матушка спала на сундучке; он – в своей комнате, на деревянном диванчике».

Вот отрывок, кусочек действительности, притом в целом, органическом ее виде, без разрушения тканей, – которую Гарнак в «Чтениях» наименовал как «язычество». Он определенно говорит именно об этих вещах: употреблении икон в православии, восковых свечей и деревянного масла, о металле и камнях в украшении образов и, наконец, о множестве в богослужении нашем не евангельских текстов, как эти акафисты, которых мы «не могли, не вправе были сами сочинять». Между тем автор рассказа – по некоторым подробностям судя, чуть-чуть не «нигилист» – назвал самый рассказ: «идеалист», определяя так образ и веру отца. Откуда же как не из враждебного лагеря, и узнать истину, *minimum* истины. И если отсюда несется: «идеалист», «идеализм», несется в этих терминах, привычных уху Гарнака, ибо вышло из философии его страны и народа, – то не причина ли для него глубоко задуматься над «язычеством» нашей «веры» и квалифицировать ее не этим жестким именем, нами пренебрегаемым, для нас презренным, но как-нибудь иначе?! «Идеал», «идеализм»: поставил ли где-нибудь границу и «точку» для него Христос? Сказал ли Он Гарнаку или человечеству: «Доселе – и не далее», «это – и не более»? Не учимся ли мы, что божественна (по источнику сотворившему) самая натура человечества (пусть и «греховная», т. е. слабая): и вот, услышав от Христа слово, – насторожила уши, и на дивный глагол в ответ из нее полились свои глаголы, не вторящие Христовым, но отвечающие на них, как «ау» отвечает на «ау» в лесу, в каждом дереве, камне, – и образует «лесные голоса». Так и история – что лес, с тайною в ней, как в нем; с видениями, фантазиями, вымыслами, преданиями, страхами, умилениями: что все и отличает органическое «лес» от стольких-то «кубов сосновых дров», в каковые Гарнак ученым образом хотел бы превратить его. Переходя от иносказания к делу, – хотел бы вынуть из «истории христианства» самую «душу» его: ибо, спрашивается, зачем же эта и «документальная история»,

которую он исследовал, когда *некому* на земле верить, *нечему* верить, не для чего; нет того «идеализма», который подметила дочь у родителей, – а Гарнак это назвал «суеверием», «пустяками» и «язычеством». Просто тогда не нужны не только «Чтения» Гарнака, но и самый предмет, о котором он читал. Если «лес» преобразовать в «дрова», то ведь можно и Гарнака преобразить в утилитарного «древосола», а на месте Берлинского университета поставить выгодную мельницу или лесопильню. Зачем останавливаться и где остановиться? Но русский гений – уж позволю так выразиться – не только все хотел бы оставить Гарнаку и Берлину (и приумножить), но он обратно, сколько было у него сил, из самых дров восстанавливает опять лес; «документы» веры слагает в живую веру; и, наконец, не изумительно ли (это-то, это и называет Гарнак «язычеством»): он стихии природы, казалось бы бездушные, оживляет дыханием любви своей, пронизания своего, взяв воск из-под пчелы и преобратив его в «свечу Богу», выжав из маслины сок, – влил его в сосуд, поставил фитиль и зажег огоньком Богу.

И жарка свеча
Поселянина
Пред иконою
Божьей Матери.

В четырех этих строчках (и как мы, русские, любим их!) не больше ли теплоты, небесного света, связи земли с небом («*religio*» = «связь»), нет: скажем лучше языком самого Гарнака: не больше ли «идеализма», нежели в годовом курсе его лекций?

То, что Гарнак так неосторожно (и неразумно) наименовал «язычеством», очевидно так же не поняв «сущности» и его, как он опустил в «Чтениях» сущность христианства, есть не иное что, как глубочайшее пронизание в сложение мира и земных вещей и отыскание среди них частиц связуемого с Богом. А ведь «сущность христианства» и есть «связь людей с Богом», Христос и пришел «связать людей с Богом». Не так ли? Это – и по Гарнаку. Были ли уже христиане, крещены и обучены катехизису люди, принесшие золото и ладан в пещеру к рожденному Христу? В некотором отношении они были первые христиане, а с тем вместе были и последние язычники. Не крещены и еще от «богов» своих, «божков» – не отреклись. Ничто еще не потрясло в них; а уже притекли к Христу, и в ладоне, и в золоте своем принесли и наши свечи, и серебряные наши на образах ризы. Не удивительно ли и не трогательно ли, что металл, предмет скупости, источник ссор, рассекается в ризу, источник соединения (молящихся перед образом) и отречения от богатства. Тут-то и секрет (мнимого) язычества: преобразование или бездушного, или вредного – в одушевленное и наконец благотворное, святое! Не так ли сотворил «из глины» человека и Бог, «вдунув дух» свой в него: не так же поступает и человек, превращая воск – в свечу и масло – в лампаду, «вдыхая дух свой» в них. И сам Христос, когда Он пришел на землю, не сотворил ли всю ее «ризою» Отцу Своему, прибавив нечто к человечеству, именно «дух свой».

Поразительно, что в самой природе вещей, до христианства и вне христианства, есть более и есть менее святые вещи, приспособляемые или вовсе не приспособляемые, напр., к «богослужению». Ведь масло в богослужении – оно древнее Христа. Почему же люди догадались? Почему Гарнак порицает нас, когда он не разобрал инстинкта, заставившего делать то же за тысячелетия до нас. Значит, есть святость в самих вещах, есть вещи... с небесным блеском в себе, что ли: и в этом-то и лежит ключ к разгадке целой вереницы загадок, о которых даже не спросил себя Гарнак. Как и сама Земля (планета) есть, если угодно, «фетиш» (употребим презрительный термин Гарнака в отношении многих подробностей православия), отчего на нее и пришел Христос – спасти ее с любовью. «Одна душа человеческая выше приобретения сокровищ всего мира». Имеем слово, объяснение: «Тако Бог возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного предал за него»: возлюбил еще до Христа, и уже по любви – прислал Христа. Гарнак же собственного-то существа мира и не любит, достоинство его отрицает, способности его к святости – смеется и ее презирует. Отсюда его, как и у штундистов, бедный «евангелизм», представление, что Евангелие легло золотым переплетом на пошлую и сорную книгу человечества, без связи этой книги и этого переплета, без догадки, что ведь были же качества в самых страницах книги, за которые ее и переплели в такой изумительный переплет. Эти «качества самой книги», т. е. былой, еще до Христа, жизни человеческой, в народах, в семьях единичных, в одиноком человеке, у Иова, у разбойника на кресте и, дальше – больше, в самой пчеле, около человека живущей, и в маслине, от плода которой он кормится, и суть презренно именуемое «языческим воззрением на вещи», но что Христос оценил иначе, сказав об одной язычнице: «По-истине, и в израиле Я не нашел такой веры» (о Хананеанке) – и повторив Павлу в видении: «Иди к язычникам». Гарнак же, отвертываясь от них, идет не по путям Павла, а скорее Савла, и только не слышит Христова плача: «За что ты меня гонишь».

Я сказал, что некоторые особенные, таинственные вещи избираются человеком в «орудия (или пути) служения Богу». Золото, серебро – выбраны; медь – нет! нигде! Кажется, это только по дороговизне? Не по одной: какая особенная цена в пятикопеечной свечке, в фунте масла, которое за 30 коп. горит неделю? Но золото и серебро не окисляются, не изменяются, как и душа не должна бы изменяться в добром, не «окисляться» среди обстоятельств и житейских столкновений. Стихии огня и воды (в крещении) угодны Богу. Но ведь посмотрите, отирание водою, одно только отирание, как оживляет нервы (= «душу»). Значит, есть у нее особенная и таинственная связь с жизнью, с самым родником ее: ибо нервами мы живем, движемся, думаем, в конце концов – относимся и к Богу. Через огонь очищаются все вещи, огонь – последняя чистота. Но зоркий глаз человека, высмотрев все это, именно преобразил «дрова» опять в «лес», постигнув духовное сложение самой природы. Худо ли это? Почему это не угодно Богу? Как это докажет Гарнак? И вот – следы этого, которые везде окажутся. Механика «производительности», глава политической экономии, жесткая, беспощадная, нечеловечная, пре-

вращается тогда в трудолюбивый быт, с поэзией, сказками и мягкостью в нем. Автор нашей повести дает нам все это чувствовать; и мы должны помнить, что если это не выходит, своею обширностью и значением. за пределы сельского дома, то, во-первых, внутри даже единичного дома, где нет этого своеобразного одухотворения материальных вещей, вся жесткость экономики, пусть даже в отношениях единичного господина и единичного раба, скажется; а во вторых, велико ли и это самое «одухотворение» у нашего «идеалиста»? Мы приведем маленькие иллюстрации этих последовательных ступеней одухотворения. Воск около пчелы, возле пчелы – пчеловод. И вот прислушайтесь к речам между ним и батюшкой:

Подходит дед Гордей, пасечник, высокий старик в белой рубахе:
– Веселый лёт, батюшка, веселый лёт, – говорит он, указывая на ульи. – Чует пчела хорошее лето... Человек не чует, а пчела, она – Божия, чует...

И начнет Гордей рассказывать, как *земля в прошлую ночь сильно говорила*, – тоже к хорошему году... какие голоса были слышны: перепела кричали, утки... дергач бил... соловьи... И не перечесть, и не переслушаешь всех голосов... Всякая букашка, всякая тварь отзывалась...

И долго говорил батюшке об этом Гордей. А мальчик, Павлуша (брат рассказчицы), слушает его...

Кто не помнит, из хронографов и летописи, как перед Куликовым боем старый опытный боярин тоже «слушал землю», – и ничего не сказал юному Дмитрию Донскому о грозных голосах, которыми «матушка сыра-земля» сказала ему о завтрашнем дне. Что это, правда ли, ложь ли? Что такое «народные приметы»? Простите за сравнение, но оно необходимо: собака «верхним нюхом» слышит пролетевшую за несколько минут по воздуху птицу, а человек?! Для него это – невероятно, непредставимо, неизъяснимо. И может быть, у первобытного человека, который тысячу лет – без развлечения, без шума городов, без грамоты – только слушал, только смотрел, сравнивал и изучал одно миниатюрное поле предметов, – и зрение и слух и постижение «примет природы» были тысячекратно могущественнее нашего; вот как у «лягавой собаки», – без всякого только уничтожения.

Пасечник этот ни за что не хочет умереть весной; «осенью – хоть сейчас умереть». – «И пришлось, однако, – вспоминает его хозяин и священник, – умереть все-таки весной». Но вот его предсмертные заботы, воздушные, легкие, смеем сказать, – безгрешные:

– Как я теперь тебя оставлю, – говорил ему (священнику) Гордей. – Ты подумай только, когда я умирать собрался: не вовремя, ох, не вовремя!.. Теперь пчела ожила, а я умираю... Ты улей-то тот, сильный, ты оставь его, не дели... Поделишь – ослабнет; а вот еще улей есть, ослабел он, – говорил Гордей, навсегда оставляя землю и интесуясь одними только пчелиными делами на этой земле.

– Устроим как-нибудь, – стараясь отвлечь его от пчел, отвечает о. Андрей, – ты о душе подумай, Гордей; о милости Божией... Помолись о прощении грехов.

– Нельзя же так пчелу-то оставить, – упрямо твердил старик, полный тревоги за оставляемую без хорошего пасечника пчелу. – Ты Пахома не бери; Пахома я тебе не велю брать, -- говорил он уж совсем ослабевшим голосом; – его пчела любить не будет, а меня *пчела признала за своего (!)*; любила меня пчела...

Ученое исследование религии давно отделилось от религиозной народной жизни; стало объективным и отвлеченным, как бы исследование далекой звезды или допотопного скелета. От этого, даже при лучшей осведомленности и полной добросовестности, оно дает плоды сухие и недостаточные. Просто, оно не верно фактически, потому что не дает того, что лежит главною частью в действительной вере: ее аромат, смысл, жизненность. Племя русское, в тысячелетнем труде, страдании, вечно (для каждого) перед лицом смерти, без рассуждений, без философии извлекло для себя лучшее из «язычества» (уж если нужно употребить этот термин) и из христианства, соединив одно и другое в совершенно нерасчленимое целое. Здесь не бедность, как представлялось Гарнаку, а удвоенное богатство. Протестантизм, с силою оттолкнувшись от католичества, которое так же, как и наша «вера», богато наружными и вещественными выражениями религии, потерял вообще религиозную связь с природою, с космосом. Протестантизм – мораль, а не космогония. А человеку нужна не только мораль, но между прочим, и космогония. Замечательно, что у протестантских народов, и только у них одних, выделилась пантеистическая философия и пантеистическая поэзия, Гёте и Шеллинг. Это то же, что «материалистические начала веры» у нас и католиков, но уже явившиеся за стенами церкви, как неудержимая мысль и неудержимое чувство человека. Эти начала и шеллингианства, и «Фауста», они есть и у нас, но написанные не гражданским шрифтом, а старым готическим (у католиков) и церковно-славянским (у нас); написанные не так тонко, как это мог сделать индивидуальный гений, но зато сильно, народно. Когда-то еще Шеллинг и Гёте будут усвоены в полях Померании, в горах Шварцвальда: нашему народу его сложная вера говорит... не это самое, но приблизительно это, в этом духе и направлении, множеством «материалистических», «языческих» своих начал. Отсюда, как многими замечено, при весьма плохих нравах, при шаткости вообще единичной русской души и единичной русской жизни, такая глубина народной души у нас, такой «ум» в народе, не смешивающийся с ловкостью, изворотливостью, «умением жить». Откуда это у безграмотного, до азбуки? Ничему нельзя это приписать, как: 1) ежедневно слышанному им и 2) близости к природе, пригом близости душевной, не утилитарной, а поэтической. Но ежедневно он только и знает... даже не столько слова, как *вид* богослужения. И вот этот *вид* договаривает то, что он смутно и сам нашел, подслушал, подсмотрел в природе. Он вовлек, и в дым фимиама, и в аромат мира и ладона, в горящих огнях, в окроплении водою, в золотых, упитанных

жемчугом ризах, – сопоклониться Богу и природе. «Зачем природа? Какое это отношение к поклонению не *в духе и истине*, как заповедывал Христос», – говорит Гарнак. Но Гёте и Шеллинг поправляют его.

Мы радуемся, что маленькая русская повесть живым чувством автора дала почувствовать все это непосредственно и неопровержимо.

О РАСШИРЕНИИ ПРАВ БРАКА

Высочайше утвержденный закон о разрешении вступать в новый брак лицам, разведенным по «вине прелюбодеяния» и которые до сих пор осуждались на «вечное безбрачие», представляет одну из самых значительных реформ в брачном законодательстве за последние годы, по всей справедливости могущую быть поставленною на один уровень с тоже недавнею реформою относительно положения бывших «незаконнорожденных». Государственная, каноническая, бытовая и нравственная стороны, замешанные в этот вопрос о «виновных в прелюбодеянии», задерживали своею сложностью разрешение его и были причиною многочисленных личных томлений и страданий. Но все пришлось в жертву кажущемуся «столпу» в брачном законодательстве, по которому по крайней мере один из супругов обязан был в случае развода жестоко пострадать, дабы оба они (супруга) избегали искать его и жили лучше как-нибудь, безнравственно, ожесточаясь один на другого, покушаясь на жизнь друг друга, но все же, однако, сохраняя декорум брака. Вообще законодательно было при этом легко, не тревожно, хотя пропорционально было мучительно, тяжело и беспокойно населению. Ближайшие же годы покажут влияние нового закона, одним из последствий которого будет немедленное вступление в оформленный брак множества лиц, до сих пор сожителевавших без формы. С другой стороны, воображать, что новый закон будет способствовать легкому расторжению прежних, пусть не очень счастливых браков, решительно нет основания, ибо если избегает каждый без крайности даже менять квартиру, если мы привыкаем к платью и покрою и вообще привычка действует даже в этих пустяках, то как же мы оценим колоссальное действие: 1) привязанности к рожденным уже детям в первом браке и 2) привычки жены к мужу и обратно, вытекающей из психического, физиологического и бытового приноровления. Если, как наблюдают, муж и жена через много лет жизни даже становятся несколько похожи лицом друг на друга, то как, значит, действует скрепляющее и объединяющее начало брака, как он есть, дан, течет! Совершенно очевидно, что разойдутся лишь те окончательно неудачно сложившиеся семьи, которые все равно и без этого закона разъезжались врозь. Но они держались в фиктивной связи; в связи бумажной, по документам, хранящимся в консистории. Всякий понимает, как мало это имеет бытового значения, и насколько лучше, чтобы несколько пошевелились документы в консисториях, нежели чтобы тысячи людей (во всей России) жили порознь, «считаясь мужем и женою» или «не считались ими», когда и общество, и они сами, и

все родные их знали о прочной и долголетней их связи, без мысли когда-нибудь прерывать ее.

Новый закон, мы заметили, имеет в себе столько новых сторон и практически так важен, что было бы небезынтересно для множества читателей войти в его теорию и в его историю. Ибо он имеет и то и другое.

НОВЫЙ ВАЖНЫЙ ЗАКОН

Уже летом прошлого 1903 года проник в печать слух, что Св. Синод, радея о народной нравственности, как и сострадая судьбе единичных лиц, – обратился с запросом к главам восточных автокефальных (самостоятельных) церквей о том, «имеются ли основательные причины к осуждению на вечное безбрачие лиц, брак коих расторгнут по их прелюбодеянию, и каковы относительно подобных случаев правила, практикуемые в духовном суде восточных церквей?». Уже как слух эта новость была чрезвычайно волнующа для многих: можно представить себе человека, не монаха, но обязанного к монашескому подвигу и не имеющего вокруг себя для «воздержания» всех тех бесчисленных и искусно придуманных средств, какие *обеспечивают* и до известной степени *облегчают* монаху его «воздержание». Там, где нет ни высоких стен, ни запрещения выходить из дому позже определенного часа вечера, ни утомляющих и обязательных к посещению ночных и ранних утренних служб, ни исключительно аскетических книг для чтения, – что значит этот подвиг? Что значит «обязательное монашество» (а с ним можно сравнить «осуждение на вечное безбрачие») без монашеской одежды и с «Анной Карениной» или с «Fécondité»* Золя? Но в то время, как «присужденные» к этому истерично смеялись над своим поистине забавным положением, от смеха этого ничего не доносилось в сферы, «коим ведать надлежит». И истерика смеющихся переходила у действительных прелюбодеев в неистовый разгул, в пьяные оргии, с протоколом полиции в заключение; а у серьезных людей, которые сами великодушно приняли на себя вину, дабы освободить от постылых уз все еще любимую и уважаемую жену, но жену, роковым образом разлюбившую мужа, – лились многолетние слезы. Это была инквизиция, павшая на самую деликатную, скромную часть мужского населения, на тех добрых и нравственных мужей, которые не хотели обращать брак в мучительство, не лезли с насильными ласками к женщинам, «по закону обязанным на них отвечать».

От покойного моего старшего брата мне привелось выслушать рассказ о такой драме, на его глазах разыгравшейся и перед которою, если вдуматься, что «судьба Галилея перед инквизицией». Тот имел всемирную славу, тот боролся за видную для всех истину; его история перешла в легенды, в рассказы, изображена на картинах. Наконец, он был великого ума и характера человек, и ему было на что *в себе* опереться. «Одна овечка была – и ту отняли», –

* «Плодовитость» (фр.)

мог за пророком Нафаном, сказавшим слова эти об Урии и Вирсавии, – повторить о себе муж, приговоренный к «вечному безбрачию» за великодушное «принятие на себя вины». В таком-то вот положении, рассказывал мне брат, очутился один председатель земской управы, человек земли и земского труда, весь отдавший себя на служение уезду. Он уже имел ребенка, что-то 5–6 лет, и жил с женою ничего себе, может быть даже счастливо: но она увлеклась и месяц от месяца более увлекалась одним тоже земским деятелем. Тянулось дело годы, новая любовь все крепла, старая слабела, – да к тому же земец до того любил свою земскую работу, что и ради семейной драмы не покинул ее. Нельзя винить и жену слишком: может быть, в самом деле он земство предпочел жене и не дал ей того духовного дома, т. е. той домашней уютности, свежести и оживления, без которых физический дом пуст и холоден. Брак старый тянулся еле-еле, и наконец молодая женщина стала «в таком положении» не от мужа. У последнего были большие связи в Петербурге, и, поехав сюда, он истратил тысяч 6–7 и добился жене своей свободы. Но сам «присужден был к вечному безбрачию». Едва ли нужно объяснять, до какой степени человек этот был достоин вечно продолжать семейную жизнь, уже по своему скромному и прекрасному характеру. «Сущий медведь» (описывал мне его брат), – «с руками в земле, в навозе, образцовый хозяин и вечно в делах по уезду». Может быть, изящной, красивой и молодой женщине он и не мог нравиться, – но как ведь понравился бы тихой домоседке, которая именно желает покоя и труда? Судьба человека разбита была. А государство потеряло возможность одной лишней прекрасной семьи у себя.

Оставим это. Все теряли от пресловутого закона: государство, общество, единичные лица. Но ничего из судьбы этой не доносилось до сфер, коим «ведать надлежит». И все оставалось по-старому.

Когда весть о запросе из Св. Синода донеслась до Арнсбурга, где я проводил прошлое лето, я едва верил глазам и газетным строкам. До такой степени новое обещание казалось и неожиданным, и маловероятным. Дело в том, что, раз закон этот существовал столько лет, отзываясь до такой степени жестоко на судьбе лучших граждан, мне казалось очевидным, что для него должны были быть неоторимые основания. Оно лежало в формальном и юридическом истолковании слов Спасителя о разводе, на вопрос о последнем книжников еврейских: «Кто разводится не ради вины прелюбодеяния («не ради словесе прелюбодейного» – стоит в славянском тексте Евангелия) – тот прелюбодействует. И кто женится на разведенной – прелюбодействует» (Евангелие от Матфея, XIX гл.). Сказано это о женщине. Церковь, последуя словам апостола: «во Христе Иисусе несть ни раб, ни свобод, ни иудей, ни эллин, ни мужеск пол, ни женск, но все – одно во Христе Иисусе» (апостол Павел), – уравнила в отношении к разводу мужей и жен и сказанное Спасителем о жене – применила столь же формально и юридично к мужьям. «Виновные в прелюбодеянии»... не то чтобы буквально «осуждались на вечное безбрачие»: такого осуждения никто не мог произнести, как никто не может насильно постричь человека в монашество. Но церковь вправе была отказаться сама

благословить на брак с разведенным «прелюбодеем» какую-либо православную девицу или вдову. Церковь не мне, разведенному, «запрещала брак»: но не соглашалась никого свободного из «чад» своих венчать со мною. И только потому, что практически это равнялось «запрещению брака», – мало-помалу ввелся и этот термин. При доброй воле, духовное начальство могло только закрыть глаза на введение государством гражданского брака, для таковых лиц сказав, что «я, по сану священному, не могу их активно повенчать, но власть светская, не имеющая моих обязанностей и ответственности, может со своей стороны допустить такой брак». Как равно церковь не могла бы правильно – даже только формально – воспрепятствовать выходу замуж таковых «разведенных», напр. девиц-лютеранок (только сама их не венчая). В Св. Писании никакого основания к «вечному безбрачию» не содержится: но есть совет Спасителя свободным лицам не вступать с «прелюбодееми» в брак; а как «вводит в брак» только церковь (нет гражданского брака), то и не осталось вообще никакого способа, никакого метода совершить процессуальные формы введения в брак таковых лиц.

Вот и все. Была еще возможность спасти судьбу этих лиц, и при абсолютном исполнении слов Спасителя, – но сославшись на такой мотив, перед которым христианские писатели питают чрезвычайный страх. И его невозможно было привести, так сказать, по уважению к двум истекшим тысячелетиям. Лежит он в том простом наблюдении, что Спаситель, обличив все грехи израильские, нигде и ни одним словом не обмолвился и не высказал порицания полигамии, в какой-то состояли не только многие известные из Св. Писания священники (напр., отец Самуила), но и вообще она была живою картиною израильской семьи во времена Спасителя, – прекратившись только в XIII ст. после Р. Х. по настояниям раввинского учителя Герсона. Всякий муж, предварительно развода, мог бы испрашивать себе вторую жену и, получив ее, отпустить через развод первую. Так как все дело поставлено было на юридическую почву и опиралось на буквально точное исполнение слов Спасителя, то муж, с таковым требованием обратившийся, не имел бы против себя главной и всегдашней ссылки на волю Христа. В самом деле, если обратиться внимание на мотив запрещения «разводиться по всякой вине», какое запрещение высказал Спаситель, то явно участие здесь сострадания к женщинам, но никак не введение новой жестокости («вечное безбрачие»). «Моисей по жестокосердию Вашему дал такое разрешение» (на всякий развод), – сказал Христос. Какое же это было «жестокосердие»? Да в том, что любящую и верную ему жену еврей, всегда сохранявший право иметь несколько жен, не хотел более кормить и поить, если она ему опостылела, и выпроваживал ее вон. Это было еще с Агарью у Авраама. Известно, что ангел был послан Богом утешить Агарь и спасти ее. Слова Спасителя как бы продолжают этот случай с Агарью: «...отныне не должно быть таковой жестокости, какую отец ваш Авраам, по наветам Сарры, причинил Агари: ибо она Аврааму была верна. Но пока жена сохраняет верность мужу, ее и детей ее он не может выслать из дому своего – иначе как по вине ее в прелюбодеейни» (т. е.

если она «прелюбодейничает», то, стало быть, мужа не любит, и тогда она не почувствует как жестокости, жестоковыйности – высылку свою из дома). Это историческое разъяснение не только вероятно, но и единственно возможное: ибо только при нем не удесятерятся жестокосердие ни в отношении жен, ни в отношении мужей. Тогда как совершенно очевидно, что, перетолковывая слова Спасителя в смысле абсолютной нерасторжимости *моногамного* брака, мы и должны были прийти к явлениям, столь чудовищным, как: 1) избивание жен не любящими их мужьями, 2) принуждение сожительствовать с отвратительным по поведению и по характеру супругом или отвратительную супругою, 3) вечное безбрачие разведенных. С легких уголков ветхозаветной «жестокосердности» мы попали или, вернее, вторгнуты были наши семьи, в такую «пещь огненную» жестоковыйности, о какой древние времена и не слыхивали.

Но этого исторического истолкования слов Спасителя невозможно было приводить, потому что слово «полигамия», можно сказать, непереносимо для европейского уха. Мы уже выросли на типе римской гражданской семьи, абсолютно моногамной. И ссылки, какую я сделал, можно только приводить «post hoc»*, как безопасные, но не в виде мотива, не в споре, не добиваясь закона. Всякая подобная мотивировка, как бы она ни была основательна исторически, могла бы погубить самые лучшие практические усилия**.

* * *

Прочитав в газетах о запросе восточным патриархам, — признаюсь, я не доверил его искренности. И мысль, что запрос этот сделан не с целью ли окончательно навсегда закрыть дозволение брака «разведенным по вине прелюбодеяния» и прекратить самые о нем толки, бывшие около того времени в печати, преследовала меня. Пользуясь тем, что известие об этом запросе появилось одновременно с известным распоряжением Св. Синода не писать более в метрики детей, рождаемых девицами и вдовами, слова: «незаконнорожденный», — я позволил себе написать Высокопреосвященному митрополиту Петербургскому благодарность за его несомненные старания об этих важных преобразованиях, — и удостоился получить от него письмо, из которого, с разрешения Владыки, позволю привести некоторые места, как имеющие принципиальное значение:

«...Несомненно, я вполне сочувствую новому закону о внебрачных детях. Синодальное же распоряжение (об изменении термина в

* «после этого» (*лат.*).

** Во всяком случае нужно дождаться времени, когда духовные лица и авторы сами обратят внимание на абсолютное умолчание Евангелия о типе полигамической библейской семьи. В замечательной рукописи: «О разводе», пересланной мне для передачи в редакцию «Нов. Пути» неизвестным нашим духовным писателем свящ. Смирягиным, — я впервые нашел как бы удивленное, но и вместе очень упорное указание, что Иисус Христос нигде не порицает, как нигде не порицает и Ветхий Завет, этот особый строй и дух семьи; что в пользу исключительной моногамии нигде в Священном Писании не высказано ни одного слова, ни одной обмолвки.

метриках) есть необходимое следствие нового закона. На счет же личной своей заслуги я ничего не принимаю*. В отношении к отжившему явлению жизни как-то вдруг так складываются общие душевные расположения, что всем оно до ясности кажется требующим необходимого изменения или уничтожения. Так было и с законом о внебрачных детях. Всем стало казаться нелепым долее оставаться со старым законом, в числе же всех и мне. Со всеми же и с вами и я скажу: слава Богу, что этот старый закон отжил. Считаю необходимым прибавить, что закон этот для церкви внешний и имеет к духовенству отношение лишь потому, что на него возложена обязанность вести метрические записи. Сама же церковь одинаково относится и к брачным и к внебрачным детям, сподобляя одинаково и тех и других участия в таинствах. Но по такому своему отношению церковь и к гражданскому их уравниванию могла отнести не иначе, как только с полным сочувствием».

Слова эти очень важны в том отношении, что они должны пролить много внутреннего, сердечного утешения и успокоения в груди как обманутых несчастных девушек, оставшихся с детьми, так и в целные счастливые семьи, по каким-либо внешним причинам (напр., у офицеров, у городских учительниц) остающихся без венчания. Духовенству нашему давно следовало прижать к груди всех таковых. Пусть общество их порицает, но пусть церковь выступит на их защиту, заставив умолкнуть легкомысленных и злых. Церковь через таинство исповеди знает такие грехи формально правых и «праведных» людей, перед которыми «грех» несчастной покинутой девушки то же, что евангельская «соринка в глазу» перед бревном в глазу. Отзыв этот Высокопреосвященного важен и потому, что, с другой стороны, и Государственный Совет, издав известный закон, о бывших «незаконнорожденных», в заключение высказал, что он – временный и не остановит дальнейших мер к улучшению их положения. Этим теплым отношением, просто приблизив к груди своей несчастных, церковь не уронит своего авторитета, но лишь переменит авторитет юридический на авторитет нравственный. Пусть все и своею охотою идут благословляться к священникам, это – следует, это – хорошо! Но пусть не будут связываемы юридические лишения или юридические кары с тем, что родители такого-то ребенка по какой-либо причине не могли обвенчаться. Памятно всем лет восемь назад сделанное в одной губернии распоряжение: увольнять из земских начальников всех лиц, не бывших на исповеди. Этот уездный «указ» вызвал всеобщий смех и раздражение в печати и обществе. Показалось всем чудовищным связывать юридическую кару с серьезным движением раскаться в грехах своих. Но именно таково же и лишение

* Достаточно было не делать инициативы первоприсутствующему члену Св. Синода, положить дело «под сукно», – и оно там лежало бы годы. Да и мог быть жесткий ответ, с которым не справиться: «Взгляд государства такой, а церкви иной» Подобные ответы останавливали и государей в свое время.

или ограничение в правах бывших «незаконнорожденных», с прибавкою еще наложения наказания на абсолютно не повинных ни в чем (дети). Нельзя возводить в юридическое требование таинств: из них юриспруденция выпаривает всю душу, все «веяние», «благодать» и внутренний смысл. Как счастливо Ромео и Юлия шли к «патеру Мартыну» благословиться: ибо то было уединенно, лично, а не было каким-то объектом формальностей. Так ли тепло и задушевно идут теперь, при бездне формальностей, венчаться к священнику? И сбылось вековечное слово Евангелия: «дух животворит, буква мертва».

«По вопросу о разрешении браков разведенным-виновным, – продолжает Владыка в письме, – сделаны письменные сношения со всеми представителями аутокефальных (самостоятельных) церквей. Ответы пока получены только от двух. Сношения с патриархами не прерывались, но давно не касались вопросов общественного характера. Я лично всячески стараюсь поддерживать сношения с патриархами и к праздникам всегда обмениваюсь с ними приветствиями. В этом случае своими симпатиями мы с вами сошлись».

Невозможно все эти заботы (и особенно о внебрачных детях) не отнести к тому счастливому и *временному* обстоятельству, что первоприсутствующим лицом Св. Синода является человек, лично и по опыту знающий, что такое семья, дети. Ни для кого не составляет тайны, что митрополит Антоний, в бытность профессором Духовной академии, несчастным образом и преждевременно потерял горячо любимую супругу, и лично мне пришлось от него выслушать трогательный рассказ о том, как, одинокий и имея на руках чтение лекций, он должен был нянчить двух своих малюток. Налетела вторая гроза: и смерть унесла обоих малюток. Но воспоминания остались. Но смысл семьи открылся уже будущему митрополиту. Прекрасный практический урок, как много значит собственное и личное переживание жизненных трагедий, в частности – трагедий семейных. Это дает повод выказать принципиальную мысль. Насколько легче жилось бы русской, вообще христианской семье, если бы от заведывания ее скромно уклонились люди вовсе без семейного опыта, чистые монахи и затворники, или, что то же, если бы к верховному руководству церковью, в силу связанности с нею нашей практической жизни, призывались не люди затвора и кельи, но знающие или знавшие практическую и общественную жизнь, в частности и особенности – жизнь семейную. «Семья да не судится никем, кроме семейного или бывшего семейным» – это такое естественное и правое желание, что позже или раньше оно станет законом. Католическая церковь, вовсе не знающая вдового священства, вдовцов-монахов, вдовцов-иерархов, – и не пролила на семью той мягкости, которая все же есть у нас, а в будущем может и расшириться еще.

Медленно приходили ответы от восточных патриархов и синодов. Нынче весною они были получены все. Св. Синод, рассмотрев их, нашел, что нет и не было настоящих полновесных оснований к осуждению на вечное безбрачие лиц, по прелюбодеянию которых расторгнут брак; что слово Спасителя о

безбрачных относится к тем, «кто может вместить» его – по Его же, Спасителя, ограничению; и что по слову апостола: «Каждый во избежание блуда должен иметь свою жену, и каждая во избежание блуда должна иметь своего мужа» – не должны быть оставляемы в невольном безбрачном состоянии никто. Слова же Спасителя, что «кто женится на разведенной – прелюбодействует» и, следовательно, кто замуж выходит за разведенного – прелюбодействует же, можно и следует, конечно, истолковывать вовсе не в виде закона, имеющего судебное или духовно-судебное значение, но в виде евангельского совета, данного совести христиан как лиц единичных. Это как и слова о богатом юноше: указана далекая цель, возвышенный идеал, но добровольный, но своевольный, без плети около него, без капкана за ним. Пусть каждый, читая эти слова, как и слова о милосердии, о нищенстве духа, о бедности, вздохнет про себя, подумает. Пусть каждый, согрешивший в браке и посягающий на новый брак, вздохнет про себя, пожалеет о слабости своей, скажет себе упрек. Но уже если он не в силах удержаться, – пусть вступает в брак. Церковь владеет силами исповеди и раскаяния: по отношению к данному положению христиан они оставались до сих пор втуне. Именно они теперь призваны к мягкому, не юридическому воздействию, – и пожелаем с своей стороны, чтобы общество и частные лица отнеслись вполне серьезно к тем мерам духовного исправления и духовного наказания, какими единственно отныне будет ограничиваться отношение церкви к «осуждавшимся» прежде «на вечное безбрачие» лицам.

Да исчезает везде форма, да вкореняется везде дух. Церковь пусть будет долготерпелива. Но и частные лица пусть не истощают ее терпения и, проходя «епитимью», не смотрят на нее как на «формальность епитимьи». Мы получили добро. Но и воздадим же за него добром. Не станем обращать в насмешку ныне мягких действий церкви. Ибо поистине, только видя, что она имеет дело с душами человеческими, пусть слабыми, но мягкими, она может простереть «милость и жертву» далее и ослабить узы, еще жесткие в других местах. Вспомним вопрос о разводе; вспомним и предстоящие меры о теперешних «внебрачных» детях. Мы – в процессе, в пути, – а не на покое, не дома.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ <М. ЛЕМКЕ>

Недавно вышла отдельным изданием довольно объемистая книга г. Лемке: «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия», содержащая факты журнальной жизни, включительно по 1864–66 год. Автор довольно основательно замечает в предисловии:

«Чтобы уяснить себе малейшие, еле заметные изгибы литературной мысли и даже формы, изучаются очень подробно биографии писателей, общие исторические и политические условия той или иной эпохи и т. д., но доминирующее над всей литературой условие – цензура – очень часто оставляется без внимания... Можно сказать утвер-

дительно, что русское общество не знает истории того института, через горнило которого прошла вся его литература... Но изучение истории цензуры безусловно важно еще и с другой точки зрения. Нет лучшего способа для исследования *всей в совокупности* (курсив автора) политики любого момента, как именно это изучение условий проявления человеческого духа в литературе...»

Эти слова предисловия очень мнят читателя. Автор говорит несколько далее, что серьезных трудов, рассматривающих внешние условия печати с этой общеисторической точки зрения, у нас очень мало, а таких, «в которых вскрывалась бы причинность этих изменений и моментов, – еще менее». Г. Лемке не только прекрасно знает печатную литературу рассмотренных эпох, но и изучил богатый письменный матерьял, относящийся до истории цензуры в России, – и особенно документы, переданные в Публичную библиотеку на хранение из министерства народного просвещения, за тот период, когда цензура находилась в ведомстве этого министерства.

Книга его очень интересна как чтение. Факты прошедшего, уже иным духом, нежели наш, производят на мозг освежающее впечатление – и от этого так любишь вообще историю. А здесь она переполнена живым и ежедневным волнением. Волнение это не простирается глубоко. Автор сетует, почему историки литературы занимаются мельчайшими биографическими подробностями писателей и менее обращают внимания на столь общий институт, как цензура. Но это – оттого, что в «мельчайших подробностях биографии» скрыт жидущий, сотворяющий момент в отношении к написанному поэтом или мыслителем: а в том институте, который изображен у г. Лемке, не содержится ни одного или почти ни одного мотива, темы, «направления» писателя. Он вообще похож на квартиру, занимаемую, положим, Фетом или Некрасовым: конечно, она так и этак удобна или неудобна для «поэта и гражданина», у него есть неприятности с хозяином или полное к нему удовольствие. Вообще, если ежедневно рассмотреть жильца, то как будто квартира есть главное: эти высокие стены, обои, которые он постоянно видит, маленький угар от печей, вид на Неву и пушку, из которой стреляют в 12 часов... Да, все это нужно знать, и, любя Фета или Некрасова, как не описать и квартиру, в которой каждый из них жил? Но, в сущности, это не важно; по крайней мере – не центрально. При одних и тех же условиях Пушкин пишет одно, Булгарин – другое, Огарев и Брамбеус – совсем третье. Современниками были Щедрин и Катков. «Мелкие подробности биографии» действительно несравненно важнее темы, избранной г. Лемке, ибо они необыкновенно много объясняют историку, тогда как им избранная область скорее объясняет то, «чего не было» и «почему не было» (каких тем или в каком тоне ни касались), нежели «то, что было» (подлинный предмет истории литературы). Цензура вообще подобна Дарвиновым «условиям внешнего существования»: по знаменитому натуралисту, зайцы с короткими ногами в английских лесах были все съедены волками, а пережили «приспособленнейшие» – с длинными ногами. Хорошо. Но ведь не волки же их отравили, – а они выросли, по Дарвину же,

«как случайное отклонение от нормы». Вот эти «случайные отклонения», наросты, или, в переносе на литературу, – гений или талант писателей и «мелкие биографические факты» – и изучаются историками литературы, справедливо оставляющими без внимания «невыживших зайцев», ибо их – нет! не видно! чего же их изучать?! Ведь и сам г. Лемке, вопреки словам предисловия, все же, однако, занимается в книге именно теми литературными явлениями, которые «увидели свет». И только это одно у него и занимательно; что же касается того, как сановники переписывались о литераторах, все эти «разговоры» и «записочки», доклады и «донесения» Д. П. Бутурлина, барона М. А. Корфа, П. И. Дегаля, Строганова и С. С. Уварова, то все это представляет любопытный материал для политического историка, а для обозревателя самой литературы – это глубоко скучные, бессодержательные, безыдейные страницы. Историк литературы не найдет здесь никакой пищи для ума своего и сердца (а в отличие от политического историка, он в значительнейшей степени ими живет и хочет жить), ибо прежде всего не может даже разграничить, где лежит убеждение автора «доклада» и где он делает просто «шаг по службе». Поразительно – и многому могло бы научить самого г. Лемке, – что тот самый Строганов, который в бытность попечителем Московского университета создал для него золотую пору, кульминационный момент процветания, вызвал к жизни и деятельности всю плеяду ученых и профессоров конца 40-х (и позднее 50-х) годов, друг и покровитель Грановского, Кудрявцева, Соловьева, Буслаева и мн. др., в то же время, будучи уволен из попечителей гр. С. С. Уваровым, через жалобу Государю на распушенность печати, допущенную этим министром, был первым возбудителем и двигателем учреждения знаменитых «комитетов» 27 февраля и 2 апреля 1848 г., произведших в нашей литературе, между 1848 и 50 годами, эпоху, называемую автором нашей книги «цензурным террором». Это тот самый Строганов, у которого, почти юношею, давал в доме уроки Ф. И. Буслаев и который, взяв лупу и показав начинающему ученому следы древней позолоты в прическе бронзового Аполлона, которого репетитор за несколько целковых купил у старьевщика и принес показав патрону, объявил, что древние статуи золотились, что никогда этого потом не делалось, и что купленная вещь есть единственная в мире подлинная античная копия Аполлона Бельведерского (теперь стоит во дворце Строгановых, на углу Невского и Мойки). «Он такие вещи сделал в последнее время, которые искупить трудно», – сказал Грановский об этом любимце, кумире и действительно благодетеле университета. Вельможа и богач, не нуждавшийся ни в каком положении и никаком жалованье, ради оскорбленного самолюбия, которое именно для него было не более укола булавки, подверг опасности и, наконец, вверг в бедствие то самое образование страны, которому отдал свои силы и талант в предыдущие годы и которое столь глубоко понимал, ценил, ощущал!! Что же мы будем говорить о Бутурлине, Дубельте, Бенкендорфе, Булгарине и прочих «mauvais sujets»* г. Лем-

* шалопаи, негодяй (*фр.*).

ке, когда образование для них было вещью незнакомою, чуждою, постороннею, было какой-то чужеземной страной, если уже не неприятельским лагерем, куда попадет ли шрапнель, будет ли там мор или «благорастворение воздуха» – для них было безразлично прежде всего по основной причине непонимания и отчужденности. Вот маленькая иллюстрация этой отчужденности. В 1850 г. в Одессе, на годичном акте Ришельевского лицея, была прочитана и там же напечатана обычная речь, в которой профессор философии, сын православного священника, Михневич, излагал Шеллингову философию. Кажется, ничего? Шеллинг – идеалист, в Бога верил. Можно было разве иметь неудовольствие на то, что он немец. Просто даже в голову не может прийти, что бы такое мог возбудить Шеллинг в далекой и купеческой Одессе? Но не могущее никому прийти в голову, кто знаком с делом, пришло в голову комитету 2 апреля, которому был поручен негласный и всемогущий (ему даже был подчинен министр народного просвещения) надзор за литературою. И он, со своей стороны, тоже ничего противного цензурным правилам не нашел в содержании речи, но посмотрел на такое произнесение «вообще» и с высшей точки зрения.

«По неразрывной, в настоящем случае, – докладывал он куда следует, – связи одного с другим, не излишне было бы предоставить ближайшему рассмотрению министра народного просвещения вопрос: может ли быть полезно и благотельно для умственного и нравственного образования юношества преподавать ему философию в таких отвлеченных и высокопарных фразах (!!) и не обращается ли это скорее во вред через наполнение молодых голов громкими (!), но пустыми (!!) словами, не имеющими никакой практической цели (NB) и только внушающими неопытным умам ложную самоуверенность, будто бы, научась рассуждать свысока о я и не-я (= субъективный и объективный миры в терминологии Шеллинга), о развитии бесконечного, о произведении мира силою человеческого духа и тому подобных метафизических утонченностях, они сделали великий шаг на поприще науки?»

На первый взгляд колоритна и, так сказать, художественно исторична вся надпись *in toto**, как она сказала и фразировалась. Но мысль со вздохом замечает главные слова: «высокопарные фразы», «громкие пустые слова». Кто не учился философии Шеллинга, для того, конечно, она – «пустые слова» и «высокопарные фразы», как для не учившегося алгебре что значит $a + b$ и т. д., целое уравнение, как не «простая выборка букв из алфавита», без всякого мыслимого отношения к величинам, счислению и измерению?! Таким образом, сперва это кажется художественным букетом (и собиранием таковых увлекается г. Лемке); но потом кончаешь простой и бедной мыслью: да для чего же следить за философиею поручено было не знающим филосо-

* в целом (лат.).

фии? за литературую – не понимающим литературы? Или еще иначе и другое: да как были столь нескромны люди, философии не учившиеся, а о ней судившие, литературного образования лишённые, а между тем ввязавшиеся в образование? Поставьте Атиллу перед Римом: и всегда вернешься к «великому переселению народов». Все это так азбучно, первоначально и, наконец, наивно, что ни вздохом, ни негодования не вызывает. Вопрос тут – не духа, как предполагает г. Лемке, а – администрации.

* * *

Нужно для обширнейшей, еще грубой и военно-организованной страны сапоги для армии, – а ей читают о Шеллинге! Нужна воловья кожа, чтобы сапоги носились год, а если не проносятся, то Канкрин завопит, что бюджет – бедный, вечно бедный наш бюджет! – лопается: и среди этого страха, проносятся ли сапоги год или не проносятся, вдруг подносят к носу, что одесский семинарист читает будущим служакам отечества об *я и не-я* берлинского профессора Шеллинга! – «Чепуха! Розгами его! Кто такой? семинарист? Не поляк ли? Все равно – розгами или по крайней мере – в карцер!» Я хочу сказать, что все «*mauvais sujets*» г. Лемке происходят не от какого-либо «злого духа», как он хочет предположить, даже не от злоупотребления, а от ужасно неуклюжего, неудачного смешивания задач управления и от перемешивания, перетасовки людей, где генералы занимались литературою, а литераторы вмешивались в генеральскую толпу, где те и другие хотели быть вместе, когда им всегда следовало оставаться врозь, и делали одно дело, когда оно общими их руками просто не могло быть сделано! С точки зрения (действительно важной!) сапогов для армии – литературы просто не должно было быть, ни философии и науки! Не абсолютно «не должно было быть», но с точки зрения, положим, интендантства, в графы коего литература и в точности не входит! Г. же Лемке все удивляется и ужасается, зачем это и интенданты не нежились в музее Фета. Да ведь и «практические» публицисты шестидесятых годов «музу Фета» отрицали же; просто – говорили ей: «Вон!» С точки зрения прикладного естествознания Писарев и Пушкину сказал: «Вон!» Хорошо. Логика практики вообще исключает выспренности теоретизма, и всякая «программа», т. е. определенное и твердое намерение, какое вправе иметь государственные люди, как и публицисты, не допускает «отвлечений в сторону». А. С. Меньшиков, Бутурлин и проч., все генералы, все не литераторы, а государственные люди, с страшной последовательностью и выдерживали этот действительно неопровержимый принцип всякого вообще практицизма и всякой вообще программы и программности. И тут нужно войти в их право, чтобы по крайней мере понять, почему так самоуверенно и, следовательно, *самоубежденно* они действовали!! Готфам надлежало оставаться в лагере, а римлянам – увы, уже знавшим Горация и Овидия, – следовало, не покидая уединенных, тихих вилл, править тот или иной стих любимого поэта. Но когда они спустились в одно поле и римлянин стал хвататься за варварский лук, а готф взял в руки пергамент и стиль – что, кроме смеха, грубостей и оскорблений, могло получить-

ся?! Если бы г. Лемке обратился к изучению той «причинности явлений», которую он нам обещал в предисловии несколько торопливо, то он понял бы глубокую неосновательность того патетического тона, каким его книга написана, да и вообще пишутся «очерки истории цензуры». Все они пишутся из одного лагеря, с одной точки зрения; когда лагерей два и есть две точки зрения: «музы» и сапогов, увы, столь необходимых, столь действительно и горестно необходимых!! Иное дело, и г. Лемке (как и г. Скабичевский, другой автор «Истории цензуры») торжествовал бы, если бы ему удалось доказать, что, например, порт-артурской армии можно ходить не в сапогах, а в туфлях или босиком, что исправность Сибирского пути – вещь второстепенная, что цена на гвоздь, шпалу и рельсы не так еще важна и для казны должно бы быть интереснее, отчего теперь не выходит VII том, когда вышли 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8-й «Сочинений Вл. Соловьева»? Но он сам говорит в предисловии, что история литературы у нас, «к сожалению, сильно сужена благодаря изучению преимущественно одной только ее части, изящной литературы» (стр. XII). Стоит ему это свое *pium desiderium** расширить, и он перейдет от «практической журналистики» к шпалам, гвоздям, сапогам и вообще войдет в психологию «генералов 1848–55 годов», на которых так жестоко обрушивается. Не все ли равно, Писарев в каске или без каски, и утилитарист из интендантства, зовут ли его Димитрием Ивановичем и он пишет «Разрушение эстетики», или его зовут Димитрием Петровичем Бутурлиным и он не понимает, зачем преподают натурфилософию Шеллинга? «*Tout comprendre est tout pardonner*»**. Разделенные – все они рыцари: Грановский или Белинский на своей чреде; Норов, Бутурлин – на своей. Но несчастье их соединило... Ведь и поезда, отлично пущенные, хорошие, доблестные каждый, – крушатся только оттого, что бегут не по разным рельсам и не по одному направлению. Гром, несчастье, стукотня... Но не говорите же, что это «бес сидит в паровике, и он причинил все горе». А между тем историки, когда пишут на эту тему, дают похожие на это объяснения.

* * *

Как устаешь за работою, все детали которой, трудности и часто неисполнимость видны только самому работающему. Не забуду, как сильно критиковал я учителей, будучи учеником, и как пожалел их, сделавшись учителем. Все поле одной и той же работы (учения) представляет различное зрелище с двух точек, откуда на него (поле) смотришь. И вот я помню, что всех нас, учащихся (людей с большими недостатками, с большим неумением, людей – нельзя скрыть – вовсе иногда неспособных к своему делу, но уж «взялся за гуж...»), итак, нас менее мучило замечание со стороны или сверху, директора или ревизора, нежели проказа критиканства над преподаванием нашим

* благие пожелания (*лат.*).

** «Все понять – значит все простить» (*фр.*).

мальша в 14, 16 лет! Кажется бы – «только мальчик!» и что нам его суждения! Тем более, что оно совершенно безвредно и малыша можно смирить в угол или наказать единицею. Припомним Строганова и сознаем действительное и всеобщее падение человека, восскорбим об истинном и неустрашимом ничтожестве людей, Строганова, учителей гимназии, а также ведь и самих учеников в «исправном приговорении уроков», и особенно этих учеников, когда они вырастут, начнут служить – и вот у них тоже окажутся свои «служебные слабости»! Я помню, до чего эта критика учениками учителей (увы, всегда почти справедливая, за вычетом «знания всех обстоятельств дела») была язвительна для нас, и я уверен, точь-в-точь так же директор департамента, несмотря на все свое юпитерство, болит, воистину болит, когда его не уважают за «незнание дел» столоначальники... Скорбь человека, я думаю, одна на троне и в лазарете. Из этого мною испытанного положения учителя, когда его метко и безжалостно критикуют ученики, я вывожу некоторое объяснение и «худых случаев в истории цензуры». Не бронзовые же болваны были все эти люди, между 47–55-м годами: а жалкие, неспособные, но уже в положении: «взялся за гуж, не говори, что не дюж», как и мы, взявшись учить и не умея, не переходили все-таки в акцизные, в банк или на железную дорогу. «Тянули лямку» и служилые люди 50-х, 40-х, начала 60-х гг., едва ли с самочувствием олимпийского «всеблаженства»... И бюджет, как его ни натягивают, – все плохо. Откупа... неужели кто-нибудь не знал, не ужасался, что значило одному человеку предоставить на спаивание население целого уезда?! Но Канкрин говорил (его фраза), что «десять кабаков дают средства на содержание роты солдат». А там – немцы и турки, там – Венгрия и Франция: роты нужны, без рот нельзя, «золотой век» еще не настал, и Белинский, и Грановский, тоже, как в своем роде «неуспевающие ученики», обещали, да не свели его на землю... Уже все так устроено и стоит!! Послушайте, ведь и Грановский, такой свет для своего университета, был «штатным ординарным профессором по кафедре всеобщей истории», в последний год жизни даже исправлял «должность декана» и вообще был – *terribile dictu!** – чиновником на жалованье, с повиновением начальству и аккуратным хождением в должности! Так уже «стоит!» И вот в этом «стоит!» – граница для всех: Бутурлина, Норова, Кавелина, Соловьева и проч.

Пушкин сочинил Алеко, ушедшего к цыганам, но ведь то именно вольный помещик, «господин литератор», да и его все же «сочинил» Пушкин, т. е. он – миф, а не действительность. На самом деле для русского помещика, для литератора, для генерала, для Пушкина, это «все *так* стоит» (и частью «стоит – от века») есть роковое ограничение личности, из коего через силу и лишь избранный гений может кое-сколько повыйти, чуть-чуть расшатать эти пути около ног и рук.

Байрон ничему не повиновался, но ведь он был богач, лорд и гений! Где же, у кого это богатство средств, такое сочетание порывов и возможностей?!

* страшно сказать! (лат.).

И Пушкин умер... в ничтожнейших обстоятельствах, бессильный порвать их, для чего только бы стоило ему уехать в деревню или выпроситься за границу! Таким образом, жалок не только Строганов в своей мести Уварову, но и Пушкин – в зависимости от общества, г. Лемке – в зависимости, может быть, от школы, прочитанных книг и литературного лагеря, в рядах которого стоит. И вообще все мы жалки: и не будем же побивать камнями одного Бутурлина, зачем он не бежал к цыганам, сняв генеральские эполеты, а «правил должность над литературою, куда по долгу службы был командирован». «Шеллинг учил, что в некотором роде вся природа есть изведение человеческого духа». – «Что такое? Что за чепуха? Шеллинг – поляк! Запороть!! До смерти!!» Замечательны постоянные инструкции цензорам: «Читайте между строк, ищите настоящую тайную мысль автора» (подлинные выражения о задаче существования комитетов 1848 г.). Если «тайная», то, конечно, пожара от нее не загорится. Но озорник на парте, из-за ладони показывающий язык неумелому учителю, – он-то и есть кошмар, который и наяву, и во сне видит этот учитель. «Его-то, его-то поймай!» О, что явное! Что эти французы, немцы, их пушки, штыки; но эти славянофилы, которые на Собачьей площадке (адрес Хомякова), все видят и знают, этот насмешливый тон Белинского, меланхолия Грановского – это сводит с ума неудачных педагогов, ибо все у них – истинно, знание обстоятельств – есть и есть настоящая нравственная правда, которой оспорить невозможно, а признать... еще невозможнее!! Замечательно почти чувство мести, сказавшееся, напр., в расправе с Ю. Ф. Самариним за его начавшие ходить по рукам «Рижские письма», где осуждалась и высмеивалась наша политика в Остзейском крае. Вообще ничего, конечно, опасного в литературе того времени не было. Но был «психологический момент», действовавший так же бурно и страстно, как в трагедиях Шекспира или в комедиях Островского и Гоголя. В конце концов центральным образом дело заключалось в неуклюжести и неопытности механизмов управления. «Генералы» не очень справлялись с собственно принадлежащею им «амуниционною» частью. Они, несомненно, справились бы с нею если не хорошо, то лучше, если бы вовсе не отвлекались в сторону Шеллинга и Белинского. Но страх неуспешного дельца быть высмеянным в своем деле повлек их к нервному надзору за обществом, учеными и литераторами (не за литературою и наукою). Известно, что чем слабее сам педагог, тем он взыскательнее к ученикам. Смешалось то, чему следовало быть разделено. Рим овладел Грециею; и только остается ожидать времени исполнения горацанского стиха:

Плененная Греция пленила (музами) Рим.

Вот, мне думается, немножко «прагматической истории цензуры», того «соотношения внутренних причин и следствий», которое г. Лемке вовсе не указывает.

ВСЕ ЕЩЕ НЕУЛАЖЕННЫЙ ВОПРОС

Старая боль, хотя и полузалеченная, все сказывается. Все после закона 27 июня 1902 г. родившиеся внебрачно дети облегчены в своем положении. Но положение ставших матерями *до этого закона* так же тяжело, как и прежде. Прочитав статью мою: «Новый важный закон», мне пишет одна из таких матерей:

«Относительно упразднения слов «незаконнорожденный» и «девица» в метриках внебрачных детей, – о чем упоминаете вы в статье вашей, – то я все еще не верю этому, и до тех пор не буду верить, пока не получу из консистории московской метрику сына, в которой не будет слов «девица» и «незаконнорожденный». В настоящее время я имею не метрику, а записку из церковной книги, в которой красуются эти *два слова* (нервно подчеркнуто автором письма несколько раз); эти слова как клеймо у меня на лбу, и мне кажется, когда вспоминаю про них, что все это знают и видят, и мне больно, тяжело, совестно и невыносимо жаль сына, которого я безумно люблю, посвятив всю свою жизнь ему одному. Вам, конечно, не понять этого тяжелого чувства и состояния, в которых я нахожусь 9 лет... Совесть мне покоя не дает; т. е. я говорю не так: *стыд*; мне от стыда пришлось бежать из Москвы с двухмесячным ребенком в Петербург, ибо я боялась и стыдилась встречаться с моими знакомыми в Москве и со своими классными дамами и учителями того института, в котором я окончила. И вот я теперь восемь с половиною лет в Петербурге томлюсь: и горе, и острая нужда подломили мой организм серьезно. И физически, и нравственно болею за сына и себя. Чем больше времени, тем мне тяжелее за сына, ведь ему время учиться, но за неимением метрики непозорной я никуда не могу поместить сына, хотя я уже начало дала ему, занимаясь серьезно с ним сама, так что он выдержал бы экзамен сейчас и в первый класс, но ни средства, ни метрика не позволяют, и я решила заниматься с ним сама еще годы, а там, что Бог даст, может быть, и придет время, когда улучшится положение незаконных и я вздохну свободней, определив его. Жаль, конечно, будет, если это улучшение настанет, когда мой сын не будет в нем нуждаться, – вырастет... В настоящее время у меня сильное желание выхлопотать метрику из московской консистории без слов «незаконнорожденный» и «девица», но я не знаю, пришлют ли мне такую и возможно ли это?

Одна из потерпевших матерей».

Позволил взять это длинное письмо, потому что не всем публицистам, не всем и законодателям известно в подробностях состояние души таких «потерпевших» и что весьма нередко это суть заботливые, трогательные и самоотверженные ради детей матери. Помочь им кто не захочет? Вопрос для всей России идет о судьбе и положении сотен тысяч существ. Над этим можно задуматься и можно законодательно поработать. Конечно, «закон обратной силы не имеет», и бедная мать, мне написавшая, едва ли будет удовлетворена

в своем томительном желании. Однако закон касательно положения внебрачных едва ли имел в виду только определить будущую судьбу имеющих потом (после закона) родиться детей, а не улучшить вообще судьбу всех уже сущих детей, вне брака родившихся. Как и закон 19 февраля, в этом отношении ему аналогичный, освободил не только «потом имеющих родиться крестьян», но всех сущих крестьян, живых, взрослых и стариков. Текст самого закона 27 июня 1902 г., течение в нем речи, самый заголовок его «об *улучшении* участи» (т. е. плохой, тяжелой – конечно, уже для *рожденных прежде* детей!) не оставляет об этом сомнения. К сожалению, к тексту его не было сделано формального и точного прибавления, «примечания», что им обнимается не только положение имеющих рождаться внебрачно детей, но и детей уже рожденных внебрачно; и что главное «улучшение судьбы», заключающееся именно в характере буквы метрики, относится и ко всем, уже получившим такую прежде, и что поэтому прежние метрики таких детей должны быть обменены на новые, составленные согласно с этим законом, т. е. без вписания в них слов: «девица» и «незаконнорожденный». Мне кажется, в этом особенном случае, когда решительно ни один в мире интерес не страдает, никого такая перемена метрики не задевает, позволительно вполне отступить даже от принципа: «закон обратной силы не имеет». Никому это не интересно даже знать, «девица» она или кто и «законнорожденный» такой-то Ваня или нет. И это-то никому не нужное слово ломает всю биографию мальчика, мешает получить ему образование, а для матери его, женщины нежной и нравственной, становится источником многолетней муки! Необходимо, безусловно необходимо сделать законодательное дополнение к великому акту 27 июня 1902 г. Ведь это сотен тысяч касается!

Пока что, советуем матери (фамилия ее не подписана в письме) подать отдельную просьбу высокопреосвященному митрополиту московскому об изъятии ее случая из общей нормы и о выдаче метрики действительно без слов: «девица» и «незаконнорожденный». «Пришла подать просьбу об определении сына в гимназию». – «Вы кто будете?» – «Я девица Шустова и хочу определить незаконнорожденного моего сына Николая Петрова». Сгоришь со стыда; сгорит и не одна московская институтка, а всякая прачка, дворничиха и солдатка. Просто, в прежнем законе была действительно грубость и жестокость, было желание положить «клеймо». Но когда оно снято, когда его решено снять – зачем еще горят его буквы на лбу несчастных и достойных?

УСТАВ ЖЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

Труды и талантливость учащейся русской женщины получили себе одно из высоких удовлетворений. В только что появившемся «Собрании узаконений и распоряжений правительства» напечатан устав С.-Петербургского женского медицинского института, с которым это важное учебное заведение получает

окончательное завершение и оформление своего существования. Конечно, этого можно было ожидать с года на год, так как он функционировал уже совершенно правильно. И тем не менее, когда на это создание множественную и продолжительную работу всего русского общества государство положило свой штемпель, признав его доброкачественным и нужным для себя, невольный вздох облегчения и успокоения пронесется в тысячах грудей. Завершена пирамида, начавшаяся строиться сорок лет назад. Нельзя не вспомнить первую русскую женщину – доктора медицины, Н. П. Суслову, которая, с тяжким трудом приобретя себе ученый диплом за границей, затем долгое время имела обширную и блестящую практику в С.-Петербурге и в настоящее время, уже давно оставив практику, живет с спокойным сознанием выполненного долга. Много приходилось русским девушкам, изучавшим медицину за границей, вынести и неприязни среди чужестранцев-студентов, в среду которых они вошли не без смущения, и невежественного глумления у себя на родине. И может быть, силы их надломилась бы, если бы у себя на родине они не встретили хотя и немногочисленный, но полный горячего сочувствия кружок людей, по преимуществу ученый, а также и высокообразованных администраторов, каковым, напр., был гр. Милютин, бывший военный министр императора Александра II. Постоянный отлив русских девушек за границу для получения медицинского образования признан был менее удобным, нежели получение такого же образования в России. И вот мало-помалу они последовательно допускаются до держания испытания на ученую медицинскую степень при Военно-Медицинской (в то время Медико-Хирургической) академии, им открываются аудитории, затем они формируются в курсы, возникает институт. Работа растет, клеточка за клеточкою формируется в новом организме, и в настоящее время он уже завершен, укреплен, отныне стал непоколебимым. Новый институт «на общих с университетом основаниях» поступает в заведывание петербургского учебного округа. Весь штат профессоров и их ассистентов получает правильное служебное положение и жалованье, одинаковое с преподавателями правительственных высших учебных заведений, а оканчивающие курс института медички получают при выпуске права лекаря, право держать экзамен на доктора медицины, право получать ученую командировку за границу, право быть в самом институте ассистентом при кафедре и, конечно, право лечебной практики, ничем не ограниченное сравнительно с мужскою. В ближайшем же будущем мы, вероятно, увидим женщин в качестве ординаторов больниц, и, хоть в редких случаях, увидим их в должности заведующих больницами. Любовь и сострадание, присущие женскому сердцу, как и присущий женщинам талант хозяйственности и зоркого глаза, очень, может быть, поведут к устранению многих признанных изъянов наших больниц, особенно в деле ухода за больными.

Теперь, кажется, уже никто из археологов не настаивает, что «высшее образование несовместимо с женственностью». Если под последнюю не разуметь какую-то смесь жеманства и туеядства, бесхарактерности и умственной ограниченности, а разуметь высокие и особливые стороны женской души,

выражающиеся в сострадании, в впечатлительности, в отзывчивости, деликатности, нежности, то, конечно, для этой настоящей и серьезной «женственности» должность врача открывает самое широкое поприще и лучшее в мире применение. Обширнейший круг детских и женских болезней, вероятно, очень скоро сосредоточится более нежели наполовину в руках женщин, хотя нет никакой нужды непременно специализироваться им. Чем шире пойдет у них дело, чем смелее они станут изучать и братья за весь необозримый мир медицины, тем лучше. Вообще университету – и университетский полет. И тут все зависит от таланта, ума, старания, самостоятельности, оригинальности.

Наконец, петербургские медички не должны забывать, что за ними стоят сестры в Москве, Казани, Киеве; но ближайшим образом в Москве. Женский медицинский институт в Москве есть следующий шаг, какой должно сделать женское образование в России. И вот от петербургских медичек в значительной степени зависит ускорить или замедлить этот шаг. Все в настоящее время будут приглядываться к их деятельности, насколько она полезна, удобна, талантлива, умна. Будут присматриваться и частные лица, и государство, отпускающее отныне значительные средства на их образование. От них зависит как посеять разочарование, так и распространить увлечение. И в заключение нельзя не сознать, сколько заключается внутреннего счастья в этом историческом их положении сделать первый, видный и примерный шаг. Ибо до сих пор были шаги лишь предварительные.

С полным гражданством, новое заведение! С полным гражданством, молодые труженицы-сестры.

ПОЛЕЗНЫЕ УКАЗАНИЯ

Какая-то мать семейства (г-жа *М. А.*), прожившая, очевидно, довольно трудную жизнь с мужем, едва ли очень умным, едва ли основательным и, кажется, не очень ее любившим, – вся измученная этою жизнью, полная разочарований, составила: «Советы матери перед вступлением в брак ее дочери; как сохранить любовь и верность мужа». Не правда ли, тема жгуче необходима? Жена ищет ответа на это иногда с такой же мукой, как мать ищет доктора при появлении дифтерита у ее ребенка.

Автор книжки указывает дочери лепить свое счастье так же, как ласточка лепит гнездо: из кусочков грязи, прутиков, соломки. Как, например, искусственны и хрупки эти советы:

«Всегда являться мужу новою и интересною.

Узнать его вкусы.

Подмстить, что производит на него хорошее и что дурное впечатление.

Быть всегда, насколько средства позволят, кокетливо одетою, не только для гостей, но всегда, чтобы не заслужить упрека от мужа, что ты только хочешь нравиться мужчинам. Носить те вещи, которые особенно

нравятся ему. Иметь чаще при нем то выражение лица, которым он любит. Оставаясь же наедине с мужем, ты во что бы то ни стало должна быть кокетливою, детски капризною (понятно, если ты молода)».

Бедные женщины: к чему им приходится прибегать, чтобы удержать любовь мужа! Именно, автор «лепит» счастье, когда оно само не родилось. Но есть и глубоко трогательные советы. И вообще, насколько автор предполагает ничтожества и пустоты в мужчинах, настолько сам, т. е. в советах дочери, указывает ей как бы распясться на кресте ради сохранения чувств мужа. Вот советы, которые нам очень понравились:

«Объяснить мужу все свои поступки, чтобы они всегда были ему так же ясны, как тебе самой.

Отвечать искренно и охотно на все, о чем он спрашивает.

Никогда не врать мужу, чтобы иметь право и от него требовать того же».

Будьте уверены, mesdames, что именно это трогает и привязывает мужа: а кокетство, наряды и всякая «новизна» нравятся только такому мужу, которого, право, лучше бы уж оставить!

Каждый из советов своих (их 17) автор развивает и мотивирует. И все они рассчитаны как будто на тупого, бездушного человека! На мужчину, а не на мужа! Бедные женщины; да бедные и мы, мужчины, что о нас думают или что мы дали повод думать о себе таким образом! Очевидно, советующая мать только скрашивала свою жизнь (на последней странице у нее и прорываются слова о «тяжелом опыте»), а настоящим семейным счастьем никогда не была счастлива. И, пожалуй, это делает ее книжку пригодною для полусчастливых жен: но ведь их и действительно большинство! Но взгляд ее на обязанности жены высок и честен:

«Но избави тебя Боже, во всю твою жизнь, от всяких даже мелких интимностей с посторонним мужчиною. Прощай тогда твой душевный покой навсегда, твоя святая невинность и чистота нравственная!»

Так как автор дает несколько смешных и прямо унижительных, сводящих к духовному рабству, советов дочери, – то мы вправе вполне довериться и этому благородному, порывистому внушению. О «тещах» у нас столько насмешек в литературе, сколько нет даже об ослах! Между тем кто же такой горячий друг зачинающегося гнезда, как не они!! Поистине, в наших насмешках над ними выражается только пошлый наш характер и грустный упадок семьи: матери-то молодых жен и суть ангелы-хранители их, да и мужей их; не говоря о том, до какой степени часто, становясь бабушками, оне далеко оставляют за собою и отцов, и матерей по изумительной нежности и полному самопожертвованию в отношении внуков!

Но вот автор переходит к главному *bête noire** семьи: возможному увлечению жены, возможному увлечению мужа.

* пугало (*фр.*).

«Если ты сама разлюбила мужа, не полюбив другого, то скрывай свою перемену до последней крайности, если он продолжает тебя любить. Если же ты увлеклась другим, то прежде всего постарайся отдалиться от него, борись, не допускай своего увлечения перейти в серьезное чувство. Если же, несмотря на все твои честные старания, тебе не удалось заглушить пагубного чувства, а муж у тебя гуманный, любящий и умный, скажи ему все и проси совета и помощи».

Я думаю, последняя строчка лучшая во всей книжке. Тайна как-то культивирует чувство. Если про зародившуюся любовь никому не сказать, она будет расти. Достаточно – именно в самом начале! – открыть зародившееся чувство мужу, или если бы муж сейчас же сказал жене о начинающей ему нравиться другой женщине, то, в силу только этой открытости, опасное чувство сейчас же начнет ослабевать и рассеется. Многие, боясь обидеть или огорчить другую сторону, скрывают от нее вначале легкое чувство, надеясь в одиночку справиться с ним, и губят все дело, ибо это чувство, заключающее в себе новую и необъяснимую сладость, сам его носитель никогда не в силах бывает выбросить или заглушить. Сердце – парник, и в нем зреет запавшее чужое зернышко. Надо сейчас же раскрыть парник, т. е. расхолодить, чтобы зернышко замерзло. Иначе гибель всему парнику. Это и значит прежде всего в зарождающихся-то сердечных увлечениях не скрывать ничего от жены, от мужа: и уже обратно, с кем другая сторона так правдива и открыта, он (или она) не должен с первой же минуты становиться Отелло, должен понять, что это слабость всемирная, всечеловеческая, что тут не зарождающийся порок, а зарождающееся несчастье, в котором надо помочь и укрепить многолетнего друга. Самый обычный источник «разлюбления» в браке есть в то же время самый простительный и неизбежный (какие иногда чудные мужья разлюбляют, какие чудные жены разлюбляют!) – это привыкание друг к другу мужа и жены и полная их ассимиляция, органическая и духовная. Можно сказать: чем страстнее муж и жена любят друг друга, тем они торопливее подходят к роковой черте равнодушия: ток электрический не перебегает из проволоки в проволоку, когда обе они уже содержат однородное электричество! Тут нет обиды (как воображают мужья или жены), а есть факт. Люди обнялись, слились и похолодели! Грустный закон, истинное «грехопадение», т. е. слабость, немощь природы. Но мы впадаем в философию, когда хотели отметить только интересную книжку.

К ИСТОРИИ НОВОГО ЗАКОНА

Новый закон о дозволении обеим сторонам, при разводе по причине прелюбодеяния, вступать в брак, – имеет свою историю, притом поучительную не с одной казуистической или археологической стороны, но и могущую открыть дальнейшие надежды в том же крайне запущенном, как увидит ниже читатель, семейном законодательстве. Оказывается, мысль, и желание закона, вышедшего только на днях, в этом 1904 году, уже ровно двадцать четыре года назад

предносилась русской государственной власти. И тогда же ей стало, по достаточном ознакомлении, известно, что серьезных или по крайней мере необоримых препятствий к этому не имеется. Но возобладали вскоре после 1880 г. другая тенденция. Сама правительственная власть усомнилась в практической потребности закона, канонически вполне возможного (см. ниже). И начавшаяся было тенденция на 24 года потеряла жизнь и движение.

Отношением от 3 сентября 1880 г. обер-прокурор Св. Синода потребовал окружно (циркулярно) отзыва от духовных особ и от преподавателей церковного или канонического права как в духовных академиях наших, так и в университетах, отзыва на вопрос, следующим образом формулированный: *«Имеется ли твердое каноническое основание, содержащееся в 256-й статье устава Дух. Консисторий, правило об осуждении на всегдашнее безбрачие лица, брак которого расторгнут по нарушению им супружеской верности, и какие в сем отношении существуют постановления в Церкви восточной?»*

Отзывы были получены: от преосвященного епископа можайского Алексея, доцента Московской духовной академии Н. Заозерского, экстраординарного профессора Киевской духовной академии П. Лошкарёва, ординарного профессора Казанской духовной академии И. Бередникова, экстраординарного профессора С.-Петербургской духовной академии Т. Барсова, ординарного профессора Московского университета А. Павлова, от Н. Суворова (проф. канон. пр. в Московском университете в настоящее время); и из-за границы: от настоятеля русской посольской церкви в Константинополе архим. Смарагда (впоследствии епископа) и от настоятеля церкви при русской миссии в Афинах архим. Анатолия. Полученный важный канонический материал был тогда же напечатан по распоряжению обер-прокурора Св. Синода в книге: «Мнения и отзывы по вопросу о праве лиц, брак которых расторгнут по причине нарушения ими супружеской верности, на вступление в другой брак». (Я пользуюсь 2-м дополнительным изданием 1893 г.) Из этих отзывов только три дают отрицательный ответ в смысле недопущения нового брака разведенным по вине прелюбодеяния: доцента Н. Заозерского, экстр. проф. Т. Барсова и епископа Алексея (от него получен был ответ раньше всех других и самый краткий). Все остальные, и между ними такие знаменитые канонисты, как проф. А. Павлов, Лошкарёв и Бередников, высказались в положительном смысле – за допущение нового брака. Так, проф. П. Лошкарёв пишет:

«I. Насколько постановления эти (т. е. осуждение на вечное безбрачие) простираются и на мужей, обвиненных в нарушении супружеской верности, они не имеют основания ни в канонах, ни в законах гражданских.

II. Насколько упомянутые постановления касаются жен, нарушивших святость супружеского союза прелюбодеянием, они также буквально в канонах не содержатся; но могут казаться обоснованными на некоторых выражениях, употребленных канонами о женах, вступающих в новые супружества, по оставлении их мужьями или по оставлении ими мужей».

В свою очередь проф. И. Бередников пишет, что «ни в действующих у нас уголовных законах, ни в пенитенциарной дисциплине церковной не пред-

ставляется препятствия к дозволению и виновной стороне вступить в новый брак с соблюдением указанного условия (епитимьи)».

Но самые обстоятельные ответы были даны проф. Павловым и Суворовым. Два их «отзыва» занимают половину цитируемой книжки и представляют настоящие исторические исследования.

Среди исторических и прочих доказательств проф. А. Павлова нас особенно поразила следующая личная его мысль: что тот человек, с которым пал супруг или супруга, ничем не наказывается! А ведь если за «прелюбодеяние» казнить вечным безбрачием (наказание очень тяжелое), то уж казнить их обоих! Между тем о соблазнителе или соблазнительнице даже и разговора нет на суде! Таким образом, это странное понятие о прелюбодеянии и наказуемости в духовном суде сделалось источником того остроумия в нашем обществе, что «кого же и соблазнять, как не замужних женщин» или: «с кем же и вступать в связь, как не с женатым человеком». Читатель догадается, где лежит источник расшатанности общественных нравов: в недальновидном ли законе, который почти предлагает жен и мужей в качестве капусты для холостых козлов, или в личных слабостях, которым столь явно потворствует закон?

Минуя все изложение, приведем только заключение проф. Павлова:

«Правило, карающее супруга-прелюбодея всегдашним безбрачием, в сущности не церковного, а государственного происхождения. Оно заимствовано греческою церковью из законов Юстиниана, который в свою очередь почерпнул его из языческих римских законов, строгих по букве, но односторонних по своим нравственным мотивам. Православная русская церковь имеет своих венценосных Юстинианов, которые по требованию современной жизни и в полном согласии с вышеизложенными принципами церковного права могут отменить это правило, как устарелое, нецелесообразное и даже несправедливое».

Наконец проф. Н. Суворов заключает свой отзыв (48 страниц цитируемой книжки, содержащей всего 168 стр.) словами, что статья нашего брачного законодательства, осуждающая виновную сторону на вечное безбрачие, «может быть отменена без противоречия Св. Писанию, без нарушения канонов, без подрыва церковной дисциплины и без опасности для гражданского порядка».

Знаменательными и яркими словами этими оканчивается книжка «отзывов и мнений». Известен взгляд Екатерины Великой, что «лучше оправдать семь виновных, нежели осудить одного невинного». В 1880 г. в этих «мнениях и отзывах» как бы судили и обсуждали судьбу обширной группы лиц, семейная жизнь которых окончательно не удалась, и они решили расторгнуть брак не столько «по вине» настоящего прелюбодеяния, сколько избрав сию «вину» мотивом, как единственно содержащуюся в правилах нашего развода. Мнения, как мы видим, разошлись: говорили и в сторону: «да, пусть будет осужден», и в сторону: «осуждение несправедливо, не имеет основания, никому не полезно». По правилу Екатерины, да чуть ли и не всемирному страху: «как бы не осудить невинного», наверное, во всем мире и во всяком отделе государственного управления было бы избрано решение: «не осудить».

Странно даже было и ставить наряду мнение доцента Н. Заозерского с авторитетом проф. А. Павлова, который в 80-х годах пользовался непрекращаемым авторитетом в науке церковного права, был в своем роде С. М. Соловьевым каноником. Но воспреобладало мнение: «осудить». Тенденция, возникшая было и выразившаяся в опросе канонистов, замерла. Говоря канцелярским языком, «дело было положено под сукно». Лежит большой упрек и на памяти проф. А. Павлова, и на совести проф. Н. Суворова, что, высказавшись столь решительно в пределах канцелярской тайны, они не перенесли вопроса в общую печать и не рассказали обществу громким голосом, что «никакого нет основания страдать бездн лиц, несправедливо осужденных и вновь осуждаемых на вечное безбрачие». Вопрос движения закона, получения закона, очевидно, заключался не в научной его стороне, а... в публицистической, агитационной, что ли. «Право» на новый брак было уже в 1880 г. Оно было уже тогда ясно. Но оно было похоже на деньги, положенные в банк, который не «платит». И никто, как г- профессор, составители этих записок, обязаны были начать говорить громко: «Они обязаны и могут уплатить».

БЕГСТВО ИЗ ДУХОВНОГО СОСЛОВИЯ

Привожу любопытное известие, заимствованное из «Нижегор. Листка»:

«Из курса приблизительно в 60 человек, окончивших в 1901 г. семинарию, только 16 семинаристов сказали, что пойдут в священники, а остальные – все перворазрядники – заявили, что уходят в университет или медицинскую академию, а второразрядники – преимущественно в ветеринарный институт. – И, несмотря на прекрасную речь местного преосвященного, никто из них не отступил с намеченного пути. То же произошло и в последующие годы, и не в одной только указанной семинарии, но и во многих других».

По поводу этого известия мне довелось прочесть в одном журнале статью, какую умеют писать только люди, задавленные горем; автор описывает все тяжелое положение сельского духовенства, которое и побуждает при первой открывающейся возможности молодых людей из духовных семей – бежать из своего сословия, от своей завтрашней должности священника. Духовное лицо поставлено между двумя огнями. Все от него требуют, все, можно сказать, на нем «едут»: но как лицо это «духовное», т. е. по идеалу должно быть «бессребренным», то все считают возможным не платить ему, – тогда как он не только священник, но глава семьи и хозяин, и у него есть обязанности перед детьми – дать им воспитание, перед родными и всем домом – содержать их сытыми, обутыми, одетыми. Исчислив обязанности собственно священнические в отношении крестьян, автор перечисляет другие, о которых в городе, в столице – не все или не всё знают:

«Церковная служба и исправление треб на домах берут у священника немало времени, принося сильное духовное напряжение и ду-

ховное утомление. Церковное проповедничество и воскресные собрания, требуемые духовным начальством, признаются образованными пастырями как лучшее средство сблизиться с своими прихожанами, вывести их на путь познания веры и на истинное понимание правил и толкований святой церкви.

Священник же должен быть законоучителем приходской школы, нередко даже двух. Церковный причт, в большинстве случаев священник, ведет метрические книги о рождении, браке и смерти своих прихожан. От духовенства требует волостное правление сведений о призывающихся в солдаты, волостное же правление требует от него ежемесячную статистику о рожденных и умерших; то же требуют и земская управа, и статистический комитет со множеством подробностей о состоянии семейств и их занятий, числе членов, о их летах и вообще много частных и обременительных сведений. Вся эта и много другой канцелярской работы, – какое только учреждение не «требует» от духовенства для себя сведений, – исполняется духовенством бесплатно, а за малейшее опоздание оно получает выговор».

В то же время:

«Духовное начальство советует и даже более того (т. е. приказывает) – не просить у прихожан за требы, не назначать платы за них. Образованное духовенство понимает, что так бы и должно быть, так и надо поступать. Но, Господи Боже! Как же тогда жить-то? Приходское духовенство не монахи, у них семья на руках. Оставить без образования детей». И проч.

Автор указывает, что средний доход священника, считая тут все, и подавание «натурою» («новины» по осени), достигает в общем 500–600 р. в год, в очень богатых приходах – 700–800 р., «но немало есть и таких, в которых священники получают по 300–400 р. в год». Это – в центральной и северной России; в южной – лучше.

И вот – бегство! Уход всего талантливого, энергичного, способного к учению, даже к среднему учению, где-нибудь в ветеринарном институте. Что же, дождемся ли мы, дождется ли само духовное ведомство, а наконец, и государство, чтобы на ниве, именуемой «сельское духовенство», остались одни только тупицы? Ибо дело идет к этому, скрывать от себя нельзя!

Что же, может быть, должность священника и не нужна России? Ей нужен только, в качестве «попа», статистик метрических и других записей, доставщик «во всякие учреждения» ответов на их, этих «учреждений», важные запросы?! По правде, тут столько религиозного и бытового индифферентизма в отношении к народу, около которого почти и стоит из образованных людей один только священник, – что достаточно на это указать и не продолжать далее.

– Но где денег взять? – скажут.

Будто?.. Ох, пахнет это Лойолой. Уж будто такие беденькие все наши чиновнички? Будто относительно численности их нет давно у нас «перепро-

изводства», так что один чиновничек пишет «отношеньце» о выеденном яйце «его превосходительству», а два чиновничка нюхают бумажку: «благолепен ли слог» и уже подносят к «подпису» тоже своему «превосходительству», которое пять часов в сутки смотрит в окно из кабинета своего на казенный двор с дровами (пишу то, что видел), дожидаясь, когда часы пробьют «пять» (окончание «присутственных часов»), и в год за такие тяжелые труды получает столько, сколько 10 священников. Бросаюсь в сторону, все в помощь бедному «попу», и спрашиваю: а не залежалось ли в учреждениях духовного ведомства так называемых «специальных средств»? И потому позволю себе об этом спросить, что знаю, что одно это ведомство, исключительно от всех остальных, не подчинено и отчего-то избегает подчиниться беспристрастным учреждениям государственного контроля? Ведь контроль ничего бы не растащил, он только «проверяет». – «Цыц», – скажут. – Бегу в сторону: посещая Лавру здешнюю, любовался я на каменные хлебные амбары по Неве. Сколько там хлеба! Священник и упоминает в статейке: «Монаху деньги не нужны, а мы – семейные». Робкий намек: он указывает, что не только само государство, посократив «штаты чиновников», т. е. позаботившись, потрудившись, попотев лбом, может без обременения народного кое-что кинуть «попу», дабы он преобразился в доблестного священника, прямого станом, смелого голосом, с поднятою головою; но могло бы сделать это и само духовное наше ведомство, посократившись: 1) в чиновных светских его рядах, 2) и в сонмах «ангельского чина» (обычное официальное наименование монахов). Последнее, по самому обету обязанное к «бессребренности», – могло бы малую толику из доходов своих передать сельскому духовенству. Наконец, скажу и о столичном белом духовенстве, в Петербурге и Москве: пусть и оно поделится с сельским братом. Не обманутся все эти люди, если в душе своей сердечно постараются о «деревенском батюшке». Ибо когда целое сословие падает, то, если упадет оно, – несдобровать и вершинам его. Вспомним одну из басен Крылова о желудях и корнях дуба.

МИЛОСТЬ НАРОДУ

Дни исключительных радостей в Царской Семье нашей всегда сопровождалась милостями. И сегодня населению России пролились милости облегчения, которые по преимуществу падают на самые утружденные и обремененные части народа. День 11 августа этого года никогда не будет забыт ни историей нашей, ни народом, потому что в Высочайшем Манифесте, в этот день данным, исчислены не только многообразные переходящие льготы разрозненным группам людей, находящихся в тяжелом, но временном состоянии задолженности или отбывания наказания, – но и снят последний знак рабства, доселе лежащий на бывших крепостных людях, именно знак телесной их наказуемости.

Крепостное право с его уничижительными для человеческого достоинства особенностями не могло еще считаться окончательно избытым русским

народом и перешедшим в область истории, преданий и частью анекдотов, пока оставалась налицо картина, что провинившегося крестьянина берут и физически наказывают совершенно так, как это было во времена личной тяжелой зависимости одного сословия от другого. Есть некоторые нравственные права, которые драгоценнее материальных, и есть некоторое нравственное бесправие, которое чернее всякого экономического и вещественного недостатка. Народ наш, и особенно в настоящую «годину испытаний», как выражается Высочайший Манифест, обнаружил такую высокую гражданственность, самоотвержение, мужество, слиянность с государственными заботами и трудами и полное их разумение, что по справедливости уравнился с самыми доблестными историческими народами, какие помнит древнее или новое время. Ибо наши солдаты на Востоке – это тот же крестьянин, лишь обученный строю, который был пахарем до этого обучения и станет снова за соху, когда выпустит ружье. Болело сердце при мысли, что отцы и братья этих солдат, равно как и они сами, вернувшись в родные деревни, при той или иной оплошности или проявлении общечеловеческой слабости, лягут, как мальчики, на позорную скамью и испытают удары, под которыми корчился римский раб или наш крепостной раб в былые времена. Это унижение личного достоинства; скажем сильнее, – это осквернение личности болело во всеобщем русском сознании, и, по братской связанности у нас сословий, оно было так же несносно и для дворян, и для чиновников, и для образованных людей, как и для тех, кого собственно касалось. Все ожидали, когда оно исчезнет, ожидали из года в год и из месяца в месяц. И вот оно пало, это последнее рабское звено. Оно пало и в армии, и во флоте. И историк, и население благословят сугубым благословением рождение Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, которое сделало чистым от унижающего наказания тело многомиллионного нашего народа, терпеливого, христианского, доблестного.

Да будет же и жизнь, и грядущее царствование Высокого Новорожденного счастливо и благостно, как и Он самым рождением Своим принес ценное и высокое благо народу, постоянному и горячему молитвеннику за Царей наших и весь Царствующий Дом.

КОМУ И КОГДА ВОСПИТЫВАТЬ?

Лозунг: «Воспитывать прежде всего, воспитывать даже впереди ученья» – дан нашей школе. Но это похоже на задачу, тема которой дана, а способы решения не указаны.

В самом деле, «кому воспитывать?» и «когда воспитывать?» – на два эти вопроса элементарная школа еще может ответить; а средняя, основная школа, которая собственно и вызвала поведением своих учеников постановку этого вопроса и руководителям которой указана эта суровая задача, ничего не может ответить на данный вопрос. Воспитывать – и некому, и некогда. В начальном училище, в сельском – сидит 50–60 мальчиков; и с ними все утрен-

нее время бесценно проводит один и тот же учитель. Он знает их всех по именам. Они к нему привыкли. Здесь и лицо воспитателя, и время воспитания – перед глазами.

Возьмите университет и скажите ему задачу: «Университет должен воспитывать студентов», и вы уже вызовете только улыбку. – «Да мы их *не знаем*, – ответят профессора о студентах; «и, кроме того», добавят: – Мы обязаны прочесть курс лекций в уровень с состоянием науки». Два эти ответа снимают самый вопрос. И в общем хотя университеты не оставляются без сильных порицаний, однако никому в обществе или в администрации не придет на ум обвинять корпорацию профессоров данного университета за то, что студенты часто видны в «Bierhalle»*, что они любят посещать загородные сады и проч.

Между тем гимназия в средствах воспитательного действия на учеников чрезвычайно удалена от типа начального училища и приближается к типу университета.

Учеников от 400 до 600 в гимназии. Директор: 1) дает, как и прочие учителя, уроки (обыкновенно – в одном классе уроки древнего языка), 2) связан отчетностью по гимназии и вообще составлением и чтением всех «бумаг», для коих не без причины же заведена канцелярия с письмоводителем, 3) представителем от гимназии в городе, т. е. участием во всех тех филантропических или властительных органах и явлениях в городе, с которыми связана та или иная материальная помощь бедным ученикам. Учитель может быть ни с кем не знаком в городе, но директор не может жить таким монахом: он сам является видным и властительным лицом в составе высшей городской администрации. А это прежде всего требует внимания и времени. Таким образом, директор лишь наблюдает, так сказать, за «поведением учебного заведения in concreto» и входит в поведение единичных учеников, только разве тогда, если случится какая-нибудь история. И тут у него роль не воспитателя вовсе, а администратора и судьи.

Конечно, влияние его на поведение все-таки огромно: влияние и в добром, и в злом, распушенном смысле. Но это непременно – не личное влияние, не частное, не на ученика Ивана или Петра. Директор держит строй учебного заведения. «Распушенным» или «строгим» учебное заведение является исключительно в зависимости от лица директора, его личного, индивидуального характера; от его болезненности (всегда – строгий директор) или цветущего здоровья («директор у нас добрый»), от возраста (молодые добрее, старые всегда строже), от нервов и биографии. В персонале учителей, и именно почему-то преимущественно учителей математики, мне приходилось встретить личностей настолько «строгих», что, думается, доверь директорство им в самой распушенной, даже развратной гимназии, разбойничьего типа, и учеников в 600 состава, или дай им в руки юнкерское училище или кадетский корпус, опять же какой угодно распушенности, – они в один год поставили бы заведение «в струнку». И тут не одна сила взысканий, суровость, или по крайней

* «Пивная» (нем.).

мере не она одна. Есть какая-то тайна характера, железного, неодолимого, которую сразу все чувствуют, и сразу все начинают ей повиноваться. Таких я знал, за 12 лет учительства, трех математиков и одного латиниста. Все люди еще не старые, даже – не пожилые. Из них только последний был на самостоятельной должности: и не через год, а в самую неделю его появления в прогимназии, чрезвычайно распушенной, все стало «тише воды, ниже травы».

Теперь он хоть в губернском городе; служил ранее по маленьким уездным городкам. А между тем какую пользу принес бы в Петербурге, Москве, в большом университетском городе и вообще везде, где «справы нет с учениками». Учителя математики, к сожалению, никогда не назначаются в директора и почти никогда даже в инспектора так называемых «классических гимназий», между тем как должность директора очень мало преподавательская и почти всецело административно-педагогическая.

Инспектор должен бы быть настоящим воспитателем учеников, но он дает уже очень много уроков, связан, как помощник директора, административной службой; а главное – множество учеников в 400–600 человек лишает его возможности лично заниматься судьбой, характером и воспитанием которого-нибудь порознь ученика, нуждающегося в особом воздействии, слыша перед ним все их множество в тусклую, безличную фигуру «вообще ученика». Инспектор фактически есть апелляционная инстанция при наказаниях: ему жалуется и учитель на исключительную выходку ученика, и ученик, если его учитель несправедливо наказал. Он имеет компетенцию наложить более строгие наказания, чем учитель, – и только.

Классные наставники исполняют роль свою фиктивно. За 160 р. в год, добавочных к жалованью учителя, эти рядовые учителя, заваленные трудом давания уроков (с 9 час. утра до 3 ч. пополудни) и поправки тетрадей (диктант, задачи, extempore) у себя на дому, едва имеют возможность «отписаться» от своего «классного наставничества» исполнением формальной стороны этой должности: именно, составлением «отчетных ведомостей» за каждую из четырех четвертей учебного года, каковы каждый из них и прочитывает на большом «четвертном» педагогическом совете. Жалованье в 160 р. собственно они берут как добавочное к скудному учительству вознаграждению, и, начиная с директора, все понимают, что это так и есть, что «должность классного наставника» в сущности не имеет никакого реального содержания, есть педагогическая синекура, наравне с библиотечарством, регентством в церкви над хором учеников и проч. Давая урок, классный наставник – и дает его: тут не до воспитания, не до «влияний» на ученика, не до «бесед» с ним. А в прочее время он не видит его или их («своих» учеников, коих он «классный наставник»). Польза, и большая, реальная, от классных наставников только одна: учеников, напр. обременяет огромными задаваемыми уроками, без предварительного объяснения их в классе, бесталанный или беспощадный учитель. Это бывает и было бы еще неизмеримо чаще, если бы не было классных наставников. Ученики тогда обращаются к нему (по терминологии «жалуются»: но это всегда бывает деликатно и лишь когда ученики доведены до крайности бестактным учите-

лем), и тогда он может, переговорив с учителем, повлиять на более ровное и правильное распределение учебного материала.

Вообще учебная роль классных наставников очень благотворна; можно сказать: с ними именно и вследствие их отошел в предания «мифический период русской гимназии», последние годы которого и я, как ученик, застал еще там (ровно в 1870 г.) и который страшно, жутко и смешно вспомнить. Первые 70-е годы имели такую обстановку учения, таких учителей и такие «происшествия» и «нравы», каких печатным станком закрепить невозможно. Всему этому разом был положен конец институтом классных наставников: вошел глаз, притом ближе к ученикам стоящий, нежели к учителям, в каждый порознь класс, и стал видеть и следить за всем, что тут делают все остальные учителя. И все «остальные» в отношении этого класса поподтянулись; и так «поподтянулись» через это во всех классах. Следует заметить, что почему-то «классного наставника» ученики всегда считают «своим», исключительным, немножко задушевным; и он так сам себя чувствует. Это я наблюдал без исключений. Даже «лютый учитель», если он случится как редкость, – в «своем классе» мягок и является защитником, ходатаем. С ним ученики неизмеримо откровеннее (при рассказе о «происшествиях»), нежели со всеми прочими учителями, к которым равнодушны, или нежели перед инспектором или директором, которые «не наши»: и от них все скрывается, или они во всем обманываются.

Должность классных наставников единственная *обещающая* в смысле воспитания. Тут у учеников образовалось чувство «своего», «нашего класса» и «близкого доверенного человека», «защитника». Из этого можно много вывести. На этом можно много построить. Если бы должность классного наставника оплачивалась половиною учительского жалованья, т. е. он мог бы сбросить с плеч своих половину даваемых уроков и посвящать не минуты (в перемену), а часы «своему» классу; если бы далее он получил право сидеть на уроках других учителей (конечно, без права каких-нибудь замечаний), как сидят же классные дамы на уроках учителей в женских гимназиях, но с другою функциею – именно присматривать за самым преподаванием других учителей, а также и с готовностью помочь, поддержать ученика, слабого по данному предмету, то мы, может быть, получили бы начало ответа на вопрос: «кому и когда воспитывать», теперь стоящий без ответа.

ПОРОКИ ШКОЛЫ И ПОВЕДЕНИЕ УЧЕНИКОВ

В том, что именуют «воспитанием учеников» и что задается как тема учебным заведениям, нужно различать две стороны:

- 1) Упорядоченность поступков ученика.
- 2) Сердечное развитие; развитие совести и благородного воображения.

Разумеется, если бы было второе достигнуто, в значительной мере, хотя не вполне, не всегда и не непременно, было бы достигнуто и первое. Огово-

рюсь об этом. Человек большого и правильного сердца может сделать чрезвычайную выходку против учителя, даже против инспектора или директора, если последние (ведь можно же это допустить и это бывает!) сделали из должности своей карьеру или пошли по педагогическому поприщу единственно и исключительно для избежания воинской повинности. Такого я знал начальника учебного заведения, имевшего несколько десятков тысяч годового дохода от имений, угощавшего учеников 3-го и 4-го класса дорогим красным вином (у себя на квартире, но в присутствии учителей) и дарившего учеников старших классов серебряными портсигарами. Последнее обнаружил инспектор: «Откуда у вас взялся портсигар?» – «Директор подарил». Инспектор был строгий и, отнеся портсигар к директору, передал слова ученика. Молча взял директор портсигар и выбросил в форточку окна. Для дополнения характеристики: 1) директор этот был сам домашнего приготовления, 2) в университет ездил на лекции с гувернером, 3) сразу был определен, не проходя учительской должности, самостоятельным начальником учебного заведения, 4) был завзятый классик, впрочем любивший еще более пение и управление в церкви хором учеников (за что и дарил лучшим голосам вещи), 5) терпеть не мог и не позволял даже в учительскую библиотеку выписывать всех писателей после Пушкина и Филарета (не допустил туда ничего из Островского, Гончарова, Толстого, Достоевского, Григоровича, Писемского, Лескова, Печерского), 6) соблюдал все посты, 7) разучивал наизусть и нередко цитировал на память длинные, особенно красноречивые места из Филарета, 8) презирал всю текущую новую литературу, кроме «Моск. Вед.» времени Каткова (еще бывшего тогда живым). Читатель может вообразить эту амальгаму добродетелей и слабостей! Вдобавок нас, учителей (которых он баловал, как и учеников), он приглашал и жестами усаживал сидеть и пить кофе у учителя приготовительного класса, жена коего приходилась ему «кумой», – уже после звонка, данного на уроки, говоря, что за нас подежурит в коридоре перед классами хозяин кофея и пойдет он сам, тоже подежурит. И наконец, последнее, – уже самое последнее! – он быстро подвигался по службе, к постам, все более и более ответственным (в директора более людных учебных заведений!).

Если этот был так нежен и добр к ученикам и учителям, то бывали пропорциональные уклонения и в сторону бездушности и беспощадности к ученикам: и по величине уклонений в нежную сторону читатель может представить и силу уклонений несправедливых и жестоких. И вот, как бы ни было сердце ученика правильно и глубоко развито, как бы ни было благородно воображение, чутка совесть, он не всегда удержится под гнетом год за годом нелепых придинок к себе и к его «другу»-товарищу от совершенно непозволительной выходки, с немедленным исключением, конечно, за нее! Вообще, «абсолютно непозволительные» поступки учеников нужно резко разделять на две категории:

1) Ученик представляет тип вырождения. Тогда «выходка» его может последовать в отношении самого прекрасного учителя или воспитателя.

2) Учитель представляет тип служебного неудачника, бездарного и в конце концов обзленного на учеников и вообще на все окружающее, на всю службу свою.

Ведь в гимназию сдают своих детей сплошь все образованные и полуобразованные классы. Из них некий малый процент не только что «сделает выходку», но дойдет до каторги, поселения и вообще уголовщины. Это постоянно надо иметь в виду министерству, обществу и государству ввиду сплошной массы, движущейся к двери 1-го класса. У меня в 1-м и 2-м классах гимназии был товарищ, маленький и худенький, по-видимому слабосильный, но с гордым и самоуверенным голосом, который без промедления давал пощечину даже старшим себя (по классу) ученикам, если в тоне их голоса чувствовал что-нибудь непочтительное к себе (всего аршин с четвертью был ростом). За сопротивлением или желанием «оттупить» (попросту, по-гимназически) следовала другая пощечина. Он никогда не бил и не дрался, а ударял всегда и только по щеке ладонью. Все его ненавидели, но и все боялись. Мне было интересно узнать, чем он кончит. И вот, в Липецке, на водах, уже учителем гимназии, я встретил жителя того города, где был этот мальчик и где я начал (только начал) свое учение. Оказывается, он был изгнан из дворянского общества за бесчеловечно-жестокий (и грязный) поступок на балу с товарищем-дворянином и зарезал свою жену. Когда за последнее он пошел в Сибирь, то, по словам рассказчика, весь город облегченно вздохнул. Но, говорю я, он был уже таков 13-летним мальчиком. И гимназия не могла не принять его. «Устав» и «все идут».

От этого государство и общество не могут никак делать нарекания на министерство, что «в его учебных заведениях происходят такие ужасные поступки» (как, положим, пощечины и битье). Тут министерство ни при чем, тут само общество или, точнее, сплошная этнографическая масса виновага. Министерство ведь не делает выбора из детей, а берется воспитывать и не вправе отказаться от воспитания всех вообще детей, какие подготовлены к его учебным заведениям. Итак, доля проступков в учебных заведениях, и самых страшных, порочных, грязных или грозных, совершенно неустраима сейчас и в будущем, есть «крест» (терпения) на министерстве или гимназии, коего избыть невозможно. Теперь таковых «проступков» больше, чем было прежде. Но ведь 1) и учеников в каждой гимназии удвоилось, и 2) учебных заведений в империи удвоилось сравнительно с тем, как было 20 лет назад. Между тем гимназия одна в городе! Министерство в России одно! Все кричат, что «проступков стало больше», «они стали чаще и ужаснее», между тем как просто это гимназия разрослась и министерство разрослось.

В большой и людной губернии и преступников больше!

В гимназии с 700 учениками вдвое более проступков и вдвое хуже они, чем в гимназии с 350 учеников!

Но и гимназия и министерство отвечают перед обществом, перед Россией, даже они виновны перед каждой единичной семьей, если «чрезвычайный проступок» совершен... не будущим преступником, а нормальным мальчи-

ком или молодым человеком, даже с углубленным сердцем и хорошим воображением. Как это узнать, «кем» совершен проступок, будущим вором Савиным или будущим поэтом Баратынским? Ну, для этого различения и существует наука воспитания, и приставлены к ученикам учителя, воспитатели, инспектор, директор. Если они не поняли, не определили и не предугадали в мальчике характера, то они просто неспособны к своему делу. А если все министерство приставляет к «делу» таких учителей, инспекторов и директоров, которые, например, только «уклоняются от отбывания воинской повинности», то невозможно не винить его!

«Воспитывать» детей, учеников... в конце концов и гимназия, и все министерство может только общими условиями своего существования, а не ввязываясь в психологию и развитие отдельных учеников: справедливостью, здравомыслием, работою исполнимою и посильною, хорошо организованною; честностью во всех собственно служебных отношениях, честною постановкою всей учебной службы! А не поэтизируя и фантазируя над душами Вани и Пети. Воспитания у нас почти нет, это правда; но не потому, что попечитель учебного округа не гладил по голове какого-нибудь Ваню, а вот оттого, что назначал директорами людей по какой-то неясной «протекции» и что вообще способ всей службы учителей и определения их на службу был бездушный и формальный, – как бы то были не люди, а шпалы по полотну дороги. «Столько-то должна прослужить», «такая-то длина, мера и сорт дерева». А в учителях требовался: 1) диплом при определении, 2) терпение на службе, 3) без всякой души и таланта «собственно учительского».

КУРСЫ ОБИХОДНЫХ ЗНАНИЙ

Потребность в практических знаниях, в практическом обучении повела к открытию в Петербурге всевозможных частных курсов, начиная от курсов акушерства и кончая курсами счетоводства. В пополнение этих чисто утилитарных учебных заведений с 1 сентября откроются на Казанской улице (д. 40) «Курсы обиходных знаний», приспособленные таким образом, что отдельные их части могут быть полезны и образованному человеку, и человеку, ничему не учившемуся. Всякий может комбинировать для себя программу по своему усмотрению и взять только те сведения, какие ему необходимы. Программа новой школы разделяется на 14 курсов, из них назовем некоторые:

- 1) Ознакомление с мерами и способами измерения у нас и за границую; 2) ознакомление с основными понятиями и факторами товароведения, капитала и кредита; 3) ознакомление с инструментами ручного труда; 4) черчение; изготовление шаблонов, увеличение и уменьшение; 5) проводка электрических звонков; 6) основные сведения о правах и обязанностях; личные права; указание учреждений, охраняющих эти права; образцы деловых бумаг по этим вопросам; имущественные, торговые и промысловые права; виды договоров,

законы о ремесленных и торговых учреждениях; 7) золочение, серебрение, никелирование; 8) термометры, барометры, компасы; 9) фотографирование.

Хорошую сторону курсов представляет: 1) постоянная готовность администрации их к совету, к руководству всякому, кто сам затруднился бы выбрать себе круг необходимых лекций; 2) полная свобода выбирающего слушать какие угодно маленькие дробы цельного курса, ввиду чего каждая отдельная лекция по тому или иному предмету будет носить по возможности законченный характер. Соответственно этому и плата будет взиматься не за полный курс, а только за прослушанную часть его. При этом каждый может определить для себя полезность или бесполезность курсов выслушанием одной пробной лекции.

По всему вероятно, более всего они пригодятся мелкому торговому и ремесленному люду.

НЕСЧАСТИЯ ПОД КОНКАМИ

Снова несчастье под конкою, на этот раз еще более ужасное, чем случай с гимназистом I класса Анатолием Бородиным, раздавленным весною: девочки 4 лет и 7 лет, дети поденных рабочих, живущих в углях, перебега я рельсы по 11-й роте Измайловского полка, попали под лошадей, вагон и были вытащены мертвыми, одна – почти перерезанная пополам. Кровь стынет при усилении вообразить несчастье! Конечно, кучер вагона уже убит случившимся, и нечего его добивать. Вообще, не будем винить, но подумаем, как бы сделать, чтобы этого не повторялось? Мне кажется, об этом все должны подумать. И неужели не придумаем все?!

1) Дети должны быть под присмотром. Когда родители – поденщики, очевидно, они не могут быть дома, и нужно пожелать, да и энергично пожелать, повсеместного учреждения дневных временных приютов для оставляемых дома детей. Пусть, уходя из дому, рабочий или работница отводят детей в такой, хотя бы дешевенький и нищенский, приют, но чтобы это могли делать все рабочие, повсеместно. Сколько у нас сантиментальной возни с хулиганам и хулиганством. Каждое утро видишь, как двое солдат, идя по сторонам, следуя иногда за прилично одетым «господином со дна», ведут его в какое-то злчаное, теплое и сытое место. Между тем вся его заслуга перед отечеством заключается в том, что он 1) украл или 2) ударил по лицу. Труд двух солдат потрачен на него! А что сделано для полуголодных, но трудящихся людей?! Вот для их оставленных дома малюток?! Тот же солдат, охраняющий жулика, мог бы охранить, присмотреть за десятирыми малютками.

2) Общество конок или городское конно-железное управление должно бы быть взыскиваемо большими штрафами за подобные несчастья, ну хоть в пользу учреждения вот таких приютов, о каких мы сказали выше. Штраф – действительнее всякого увещания, всякой сантиментальности. Страх штрафа,

но непременно большого, даже очень большого, заставил бы город или общество конок озабиться: а) лучшим подбором кучеров на конки, – из людей сильных, не старых, крепких, трезвых, исправных (кучерами мы иногда видим почти мальчиков), б) введением более могущественных тормозов. Вагон должен стать недвижим при первом крике несчастного, когда еще он попал под лошадей и вагон не дошел до него: если почти моментально тормоз Вестингауза останавливает железнодорожный поезд, в десятки тысяч пудов веса и скорости 40 верст в час, то остановить моментально вагон конки, конечно, не представляет никакой трудности. Очевидно, тормоза на конках – грошовые, ломаные, из ржавого железа и с презренным механизмом. В Риме, на крутых скатах холмов, как и у римских извозчиков, я наблюдал тормоза легкой, изящной конструкции: малейшее движение его ручки – и экипаж или вагон стоят как вкопанные. Итак, это – возможно, это – есть, и только на пути стоит наша проклятая лень и косность!

ДРУЖНЫЕ УСИЛИЯ

Уж если поднимать какое-нибудь явление, то поднимать его *общими* усилиями, без переколов: «Ты мало сделал», «пристяжная не везет, а везет только коренная». Между тем такими переколами, главным образом между семьей и школой, полна была всегда *наша русская* педагогическая литература, и особенно последних лет. На Западе общество, семья, национальная литература, национальное искусство и национальная наука имели всегда могущественное влияние на учебную жизнь, школа этому влиянию радовалась, призывала его, а не бегала от него, не пряталась от него, как от недруга и врага. И там не накопилось того огромного исторического раздражения, так сказать затора (как образуются из льда заторы около мостовых свай) недоверия, даже презрения, даже, наконец, ненависти, какие день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием скапливались у нас и сделали к концу XIX века отношения школы и жизни невыносимыми, для учеников – прямо развращающими. Своя работа всегда хороша. И когда целое германское общество (включая цех ученых и литературу) века работало свою школку, века работало английскую школу английское общество и то же – швейцарское: то хотя школы эти, при детальном рассмотрении, может быть, имеют крупные недостатки, однако они обществу английскому, немецкому, швейцарскому милы. А известно, что не «по хорошу мил, а по милому хорош». Наша школа, как равно французская, австрийская, старается быть «милою» или, точнее и грубее, требует, чтобы ее признали «милою», потому что она «хороша». Ну, тут и начинается неистовая критика! Несется сатира, насмешливая песенка и бесконечные анекдоты об учителях и всем школьном положении вещей. Начальство поправляется, делает маленькие реформы и спрашивает общество: «ну, теперь хорошо?» Но общество все отвечает гримасами, а гримасам этим можно подвесить тот общий итог и общий мотив, что «Не по хорошу мил, а по-милому

хорош». Будь наша школа продуктом национального сока, если бы делали ее не тайные и статские советники, а вот – одна черта школы принадлежит мысли Карамзина, другая подробность относится, как к своей причине, к остроумным и глубокомысленным замечаниям Пушкина, там сказали свое слово Иван и Константин Аксаковы, а в деревенском училище есть «капля меду» и от указаний Кольцова и Некрасова (почему нет? почему не спросить указания?), то, поверьте, общество русское *безумно* любило бы свою школу, буквально носило бы ее на руках, всему свету бы ее показывало, как ребенок дорогую свою куклу, и как ответило бы иностранцам на попытку критиковать или пересмеять эту «русскую национальную школу». Да за свои дорогие училища мы бы глаза выцарапали всякому немцу, англичанину, французу. Ведь даже представить нельзя, чтобы мы подхихикивали смеху иностранцев над литературою русскою. Все мы сплошь любим всю сплошь литературу. Что же, разве она без изъянов, органических, глубоких?! Да, но не «по хорошу мил, а по милому хорош». Решительно невозможно восстать против своей крови, своего сока. А литература наша, хотя она нервная, не весьма ученая, не имевшая своих Лессингов и Гёте, не имевшая таких титанов, как Шекспир и Данте, чуть-чуть психопатическая (многое у Достоевского, кой-что даже у Толстого, очень много у Гоголя), есть, однако, «кость от кости нашей» и «плоть из плоти нашей». По «милому» она нам и «хороша». Я думаю, можно бы обменять весь строительный труд наших министров народного просвещения, хотя они и старались, хотя по временам они и были талантливы, за один исключительный факт этой любви народной к... своей литературе, а вот нельзя сказать – «к своим училищам». Все можно было бы отдать за здоровый факт здоровой любви народа и общества к своей школьной системе, к каждому единичному училищу. Ибо на нем что угодно можно начать строить; при нем все не страшно; всякие штормы исторические не опасны.

А теперь? Самый легонький ветерок в силах сокрушить всю нашу учебную систему (как было при Ванновском), потому что она не имеет под собою почвы любви народной, в корне – сока народного. Всем безразлична, никому не дорога, только лишь профессионалам по соображениям службы нужна. Приходи татарин и развей эту ничью вещь. Никто не ахнет, не заплачет.

Горько. Ну, как бы там ни было, на этом горьком мы должны что-нибудь построить.

Семья должна помочь, чистосердечно и глубоко, школе. Ну, что делать – не умели исторически делать. Все же нужно как-нибудь завтра жить, жить в Петербурге, Москве, Кинешме; жить нашим детям Петру, Ивану, у чиновника, у сапожника. Тут не до перекоров, а – взяться дружно и двинуться вперед.

Выше я изложил, что собственно напрасно и требовать от школы, чтобы она входила в индивидуальный мир ученика. Школа всегда останется и не может не остаться схемою общих норм, общих требований. Вся зоркость школы (т. е. целого министерства) должна быть положена на то, чтобы схемато самая была не бессмысленна, внутренне согласована, стройна, исполнима; при том, чтобы по крайней мере для лучших натур и дарований исполни-

ма легко, радостно. Когда это сделано, доля министерской работы исполнена или почти исполнена. Сделано ли это министерством? Ну, тут критика необозрима; я же выскажу глубочайшее и добросовестное (без злобы) убеждение мое, что министерство даже и первого камня не положило в возведении «стройных педагогических возможностей», – так назову я эту «схему» экзаменов, курсов, училищ, программ и пр. Сейчас я ограничиваю свою задачу тем, чтобы сказать самим родителям, что драгоценнейшие частицы души детей их, сердце, совесть, воображение никогда не могут подвергнуться положительной культивировке школы (отрицательной культивировке могут подвергнуться) и лежать всецело в руках самой семьи. Школа, как схема, как урок, программа, экзамен и т. п., приноровленная для сотен и тысяч учеников, не может, в силу разнокатегоричности, коснуться, затронуть и как-нибудь поворотить к лучшему частные, личные и глубочайшие стороны души ученика, так сказать, поэзию души и мудрость души.

Возьму пример.

Программа по географии в первом классе включает в себя: 60 страниц текста + чуть-чуть более 600 собственных «географических вокабул» (названия рек, гор, городов и проч.) + около 600 указуемых точек на немой карте. Уроков: в неделю – 2, в месяц – 8, в учебный год (за исключением Рождества, Пасхи, праздников и экзаменационного времени, когда уроков нет) – 60. К одному уроку приходится дома приготовить: страницу сухого, схематического, научно-точного текста, наподобие сжатого текста энциклопедических словарей, без воображения и рисовки в речи, и + 10 вокабул + 10 точек на карте. Само министерство в объяснительных записках к программам и в инструкциях запрещало задавать по латинскому языку в первом классе более 10 слов вновь или, если слов не задается, более 4, 5, 6, 7 строк всегда чрезвычайно легкого перевода. Между тем, в противоположность латинскому языку, география была предметом «не главным», т. е. не трудным, не строгим, не заботливым, в глазах учителя, родителей и учеников. В то же время нормальный урок географии был втрое труднее нормы трудности урока, министерством определенной. По мнению министерскому же, за эту оию нормою начинается вредная трудность. Но «ученик обязан», «учитель обязан». Все были «обязаны», кроме министерства, которое уже вовсе было ни к чему не «обязано» и вправе было не видеть и не справиться с точным значением собственных «преподаваемых инструкций». Наступал обман, невольный, неизбежный. «Дело сделано», – писал учитель в округ («отчет»), когда дело не было сделано; «урок приготовлен», – говорил ученик на вопрос учителя, зная только половину урока, и зная даже эту половину бессмысленно и тупо. Надевался халат учителем, учеником: наш всероссийский халат «как-нибудь», «не увидят», «не узнают», «где же в империи досмотреть», каковой халат, куда ни пойдешь, везде носит наше отечество. И это – первое впечатление ученика, первое требование училища. Оно – обман. Обман и насилие – неодолимое для частной единичной воли («как сметь рассуждать?»), «начальство приказало!», «оно все знает, и притом знает – только оно одно!» – аксиомы служебной морали).

Но я раздражаюсь, когда обязал себя быть спокойным. Я привел пример того, как от неуклюжести собственно чиновнической работы в «ведомстве», недосмотра, делания «спустя рукава» своего дела чиновниками самых высших рангов в училищах наших с первого же класса наступала ложь. Ложь в каждой минуте, на каждом уроке. Применяя слова псалма о человеке: «В беззакониях зачат есмь, во грехах роди мя мати моя», русские ученики сплошь и во всех заведениях могли бы сказать о себе: «В обмане зачаты, надувательством вскормлены, в беззаконие идохом».

А положительное влияние на сердце, совесть, воображение? Отрицательно школа может на это действовать, положительно – никак не может действовать. Наилучшая школа только не развратит ученика. А уж воспитать его может семья, само общество *in toto*, домашнее чтение, какие-нибудь общественные игры, удовольствия, состязания (общенациональная часть школы). Все виды благородного, действительно благородного спорта, какие у нас не только не развиты, но даже не начаты, даже на них мысль не остановилась. Общество наше выработало только, так сказать, нахальные спорты (кто кого переест, перепьет, переборет, у кого смазливее лицо), и уж это такой же показатель уровня общества, как «Кюпер» и «чехи» суть показатели уровня (былого?) министерства.

УЧИЛИЩЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПАВШИХ ВОИНОВ

Не нужно распространяться о том, что семьи воинов, умирающих на Востоке, их вдовы, а особенно их дети имеют все права на попечение общества; что общество должно стать для этих сирот опекуном и заместителем их родителей, павших за родину, за целость и честь народа и этого самого общества. Все смутились и взволновались, узнав о том, что одновременно с получением известия о смерти мужа и отца его вдова и дети получают уведомление и о прекращении им выдачи жалованья покойного. И «ныне покойный», а вчера еще живой, под пулями стоящий перед врагами, знает об этом «порядке выдачи жалованья» – и умирает с сердцем удвоенно тяжелым, с заботою: «Смерть отцу, голод семье!» И на фабриках, у купцов, умирают едва ли так люто. Нет сомнения, что, раз на это указано, об этом заговорили, – таковой «порядок», а в нравственном смысле – беспорядок будет поспешно отменен. Но и общество должно, в лице отдельных людей и единичных групп, принять на себя всевозможные хлопоты, чтобы облегчить им существование и устранить по мере сил всяческие шипы с тернистой дороги этих сирот.

Первое дело здесь, конечно, воспитание детей. Учебные заведения, мужские военные и женские институты, широко открывают двери для сыновей и дочерей павших воинов. Но в корпуса и институты нужно еще приготовить. И труд такого приготовления часто бывает непосилен для остающихся вдов то по причине скудного собственного образования, то по болезни и старости, то по множеству хлопот и забот, сопряженных с прокормлением семьи.

Вот почему мы считаем, что в высшей степени благовременно явилась мысль у нескольких добрых и влиятельных людей соединиться в общество и открыть соответственное этой нужде учебное заведение. Общество хочет обнять заботою своею дегей не только воинов, убитых или раненых в нынешней войне, но также павших или получивших раны на этой войне докторов, всевозможных техников и сестер милосердия. Училище для малолетних детей обоего пола этих пострадавших или почивших на войне предполагается первоначальное, для приготовления их к вступительным экзаменам в средние учебные заведения, как военные, так и гражданские. Некоторые из лучших педагогов столицы выразили согласие бесплатного обучения в нем, а необходимые, вовсе небольшие средства для приобретения инвентаря могут образоваться из частных взносов, казенной субсидии и сборов по церквям. Невозможно не заметить, что сирот этих будет великое множество, что принять на свое попечение только несколько десятков девочек и мальчиков — значило бы не удовлетворить, а лишь раздражить нужду, вызвать зависть в огромной толпе нуждающихся к избранным «счастливым».

Труднее вопрос о помещении училища, что на первом же шаге требует больших денег и может отложить в долгий ящик открытие учебного заведения, в котором нужда существует уже сейчас: ибо сейчас множество сыновей и дочерей павших воинов находятся в возрасте начального обучения 7–8 лет.

РЕЧЬ МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Речь министра народного просвещения к директорам средних учебных заведений является одним из тех мерных, чрез известные промежутки времени повторяющихся, ударов благовеста, какие призывают горожан к бодрствованию и молитве, а учебное ведомство последние годы призывается периодически к подъему всех сил своих на удовлетворение тех больших, ответственных и справедливых требований, какие к нему предъявляются отечеством, обществом и частными людьми. Г. министр в своей речи упоминает эти настоячивые требования общества, упоминает критику учебного ведомства, идущую со стороны печати и общества, и не относится к ним с тою враждебностью и высокомерием, для каких в не столь давние годы было очень много и очень резких, жестких прецедентов. Очевидно, и в это ведомство, как во многие уже другие, проникло сознание или самосознание, что уделы Руси, в своем роде представляемые нашими министерствами, не суть сатрапии, управляемые безмолвно, бесконтрольно, безапелляционно их главами. И в самом деле, министры временно выходят на череду свою, а общество постоянно остается на своем месте. И уже эта устойчивость постоянного зрителя, остающегося всегда на своей лавке, не может не действовать на душу и нервы «дающих представление» людей, хотя бы они и были уверены, что предаются «чистому искусству» администрации и что до неизменной критики «народа» или публики им нет дела. Связность людей

сильнее, чем они даже хотели бы. И когда отвлеченно не признается «права судить», это право возникает практически и мало-помалу вследствие неувольнимых и почти не выраженных симпатий, какие закрадываются, растут и укрепляются между людьми, во власти сущими, и людьми безвластными, но с сердцем и некоторою долею ума. Министерство народного просвещения в этом отношении дает пример чуткости всем другим нашим ведомствам. Из самого гордого и не допускавшего никакой критики себя, каковым оно было в «классическую пору» Толстого, Каткова и Леонтьева, т. е. еще на наших глазах, оно сделалось или делается самым впечатлительным, хочет быть самым гуманным и не только допускает критику себя, но и признает ее основательность во многом, а наконец, и выражает готовность соображаться с этою критикою. В сущности, противоположное этому зрелище гордости и замкнутости, длившееся, однако, почти полных тридцать лет, теперь представляется чем-то почти чудовищным. Прежде министерство просвещения смотрело на учеников учебных заведений, т. е. на детей сотен тысяч русских семей, как на какую-то «благоприобретенную» через приемный экзамен вещь, которою оно вправе распорядиться, почти как Плюшкин, своим несчастным имуществом. Теперь это чувство «собственности» над учениками значительно потеряно министерством, и в периодических речах, какие министры обращают столько же к разным чинам министерства, сколько, косвенно, обращают их и ко всему обществу русскому, они, в сущности, выражают свои преднамерения, дают некоторый отчет хоть, положим, родителям этих учеников или, наконец, высказывают оправдание, ссылаясь на невозможность исполнить то-то и то-то вследствие, положим, недостаточности отпускаемого министерству ассигнования. Речь нового министра народного просвещения в этом отношении производит крайне отрадное впечатление готовностью его работать на пользу отчизны не отвлеченно, а в жизненной атмосфере, так сказать, взаимно связанных дыханий, где чиновники черпают всю свою силу и одушевление из земли, от стоящих на земле людей, хотя и не принимающих участия в этой работе, но, однако, далеко к ней не безучастных и даже далеко в ней не бесправных. С своей стороны общество, в лице главным образом родителей учеников, должно напрячь все усилия, чтобы помочь этим чиновникам совершить плодотворно их работу; все, что может семья сделать сама по воспитанию и обучению детей, она обязана прибавить к нелегкому труду учителей, которых до сих пор слишком много порицали и, однако, слишком мало им помогали, да и во внутреннее их положение, как справедливо заметил министр, мало вникали.

ПРАВИЛА ДОБРОДЕТЕЛИ И УСЛОВИЯ ДОБРОДЕТЕЛИ

Огорченное человеческое сердце, в утомлении исторических трудов и успехов, сложило поговорку: «добрыми намерениями ад вымощен». Если вместо слова «намерение» подставить слово «совет», то эта поговорка получит конкретное и весьма уже практическое выражение: «ниоткуда не идет столько

добрых наставлений, как из ада», или еще: «только аду может прийти на ум давать бессильные советы там, где нужно и можно прийти на помощь делом». Не правда ли, ведь это то же, что «добрыми намерениями ад вымощен». И между тем в такой новой формуле поговорка эта дает опоры для необозримой критики.

В литературе нашей составляет большую полосу знаменитый спор: «что больше способствует историческому преуспеянию человечества, нравственное ли усовершенствование личности или перемена нынешних условий, среди которых живут все личности данного народа или данного времени?». Вопрос этот, решенный в пользу первого тезиса, подспудно лежит уже в знаменитой «Переписке с друзьями» Гоголя, где он в «письмах к друзьям», в сущности, призывает порознь каждого из них потрудиться в том жизненном уделе, какой ему Бог послал, от положения сельского священника до губернатора, и тогда их общим трудом воспрянет Русь от «мертвых душ» к «живым душам»... Принимая во внимание специальное тогдашнее настроение Гоголя, я чуть не сказал: «Воспрянет Россия от казнокрадства... к благоуханию св. мощей». Типы благодетельных помещиков и изумительных откупщиков, какими заканчиваются «Мертвые души», уже написаны под действием заронившейся в Гоголе тенденции: посоветовать или указать, как может каждый человек в его положении, и притом не усиливаясь изменить это положение, послужить на благо дорогого отечества и через это споспешествовать благопреуспеянию всего человечества. Таким образом, Гоголь положил перо живописца и наскоро, нервно написал заключительное нравоучение к той длинной басне, которую красиво и долго рассказывал в великой «поэме» своей. Вот отношение «Переписки» и «Мертвых душ», как иногда кажется. Отношение басни и заключения, без всякого противоречия.

Вопрос не умер в литературе нашей, но с силою привился к ней. Достоевский и Толстой пошли (в отношении данной темы) по стезе Гоголя, но в их писаниях афористическая, краткая и недоказанная мысль Гоголя напиталась кровью и красками, запылала, заострилась и вылилась в целую пропаганду, полную и художества, и философии, и великого религиозного блеска. Кто не помнит спора Достоевского, после «Пушкинской» его речи, с Градовским: смысл его был тот же, который уже сквозит в «Переписке с друзьями». «Смирись, гордый человек! потрудись, праздный человек!» – это призыв к сердцу человека, к единичному человеку, к лицу его. Гораздо раньше, в «Бесах», устами одного из героев тот же Достоевский насмешливо заметил: «Вот, все вокруг (т. е. в его партии) говорят о социальной гармонии и мировом блаженстве; а не хотят заметить, что во всем уезде, на сто верст кругом, нет ни единого-то человека, который хотя бы чуточку уже осуществлял в себе этот идеал гармоничного человека! Подлецы, все и кругом подлецы, а говорят о гармонии». В сущности, то же он повторил и в Пушкинской речи: дайте мне гармоничного человека, и уже гармония сама выйдет из их совокупности.

В «Смерти Ивана Ильича», во «Власти тьмы», «Крейцеровой сонате», в «не-делании», «трех упряжках», на которые должен разделять свой день пра-

ведный человек, в «непротивлении злу» и т. п. и т. п. Толстой еще шире, властнее и талантливее раздвинул эту же тему. Человек – вот это все. Какова голова, таковы и головы, каков герой, таков и народ. Сердце человека, его индивидуальный, неделимый ум – вот на обработку кого, на воспитание чего должны быть направлены усилия «пророка своего времени», будет ли он знаменитый писатель, священник, публицист и проч. То, что у Гоголя взяло час работы, у Достоевского взяло месяцы, у Толстого – годы. У Гоголя – это штрих, у Достоевского – тенденция, а Толстой уложил сюда полжизни. И какой жизни...

– Что же, по-вашему, мошенники в самом деле могут составить мировую гармонию? – спросит читатель, замечая мысль мою критиковать знаменитую тенденцию русской литературы.

Позволю себе на минуту принять роль Мефистофеля и обратно спросить читателя:

– Но ведь добрыми намерениями ад вымощен? Или, что то же, все эти «советы», как «жить лучше», «есть меньше», «ничего не делать» или предаваться «праведному труду земледельца», – по приговору огорченного и утружденного сердца человеческого как будто вышли из самого ада. Просто это... не нужно и не интересно голодному, усталому, а отчасти и развращенному человеку...

Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья...

– лучше уж такую песенку слушать. Все-таки поэзия. Все-таки отдых, что для мозольных рук очень и очень недурно. Господи, скучища-то какая! И никто не «потрудится», и никто не «смирится», а все будут жить: и губернатор, и священник, и публицист, и писатель – ровно так, как жили вчера и сто лет назад. Какова дорожка, такова и тележка. По железной дороге ходят вагоны, а по грунтовой ездят телеги; а если шоссе, то можно и в коляске. Общие условия важнее частных усилий.

Мне сейчас укажут, и я сам когда-то в «Месте христианства в истории» обращал внимание на тот факт, что Христос проповедь свою обращал именно к единичной душе человека. Беседы с Никодимом, с самарянкой – это уединеннейшие беседы, и в них глубже всего раскрылось новое учение. Оно было вовсе не таково, по составу, но также и по способу выражения и обращения, нежели слова пророков, начинаемые: «Слушай, Израиль!» и всегда обращенные к целому народу, ко всему Иерусалиму. – Да, но это единственно Христову слову, с его тайнами, и удалось преобразовать мир через действие на единичную душу. Достоевский, Толстой, взявшись за то же, за этот же единственный, раз удавшийся способ действия (а ведь и писатели эти хотели «преобразования общества»), хотели не малого, хотели именно великого), естественно потерпели фиаско. Они произвели некоторую муть в обществе – не больше. Просто, не обратил никто внимания, не последовали,

кроме таких крошечных крупиц общества, и до того в себе бессильных, немощных, что не стоит о них и говорить. Что смог Христос, естественно не смог человек. Да и не Достоевский один или Толстой: Сократ, – разве после него не продолжалось неуправляемое разложение греческого общества, в намерениях исцеления которого он и дал в личности своей великолепный образец идеала гражданина и мудреца? Да даже и не только Сократ: Соломон написал «Экклезиаст» (на него ссылается Толстой в «Автобиографии»), а вслед за ним, в разных Иероваомах и Ровоамах, Ахазах и Ахавах, поднялись на народ «бичи и скорпионы» нечестивцев, и началась такая мерзость в Иерусалиме, какую никакие пророки не умели удержать. И пророки эти, – а какво было их слово, чета ли им «Переписка с друзьями», – прогремели напрасно. «Дорожка» Иерусалима точно перестраивалась с грунтовой на железную: какие-то шли неуловимые социальные преобразования, не уловленные Иосифом Флавием и Филоном. Пророков избивали. А вот во времена «Судей израилевых» и без «Экклесиаста» было хорошо: всякий сидел под своей смоковницей, у своего виноградника, и, как записали летописцы: «Народ тот был тих и жил не по обычаю других народов, а беспечально – без судей, правителей, и не было в нем, чтобы кто обижал другого».

* * *

Увлекаемые неповторимым примером Христа, – неповторимым по бессилию человеческому, – проповедники, даже столь искренние и наделенные всяческими талантами, как Гоголь, Достоевский и Толстой, вступали на совершенно немощный путь «добрых советов», которыми «ад вымощен». Что же сказать о простых людях? Большая половина христианской письменности есть не аналитическая, рассматривающая условия жизни, а «советодательная»; и, можно сказать, ни одна публичная библиотека не вместит совершенно необозримых томов, на всех языках и у всех народов, литературы под рубрикою: «О нравственном усовершенствовании человека». Один Фома Кемпийский, с переводами на десятки языков и с сотнями изданий, занял бы целое отделение такой библиотеки. Но это все светила. А обыкновенные проповедники? Да, кажется, человечество должно бы, будь оно даже камень, истаять в слезах покаяния и уже давно даже превзойти ангелов в святости жития, если бы литература эта сколько-нибудь действовала. Но нет. Пророков при перестройке иерусалимских улиц с немощных в мощные стали избивать, а какую-нибудь Мальву или Кармен ни Фомой Кемпийским, ни призывом к «труду земледельца» не проймешь.

Шёпот, робкое дыханье...

Право, поучительная мораль не сильнее этого фетовского стиха. Да что я говорю об «избиении пророков». Вы лучше представьте себе «пророчества», не действующие на самих «пророков». Это как-то ужаснее. Я же приведу из жизни наблюдение, которое, проследя вереницу своих наблюдений, каждый тоже подтвердит. Что «милостынею стягается царство небесное», – этого

кто же не знает. Но вот поразительно: я видал всяких состояний людей, богатых и бедных, знатных и ничтожных, кухарок и господ, видал даже франтов и хлыщей, вынимающих из жилетного кармана или из котомки гривенник или грош и подающих нищему. За этим я любил наблюдать, присматривался. И вот не могу не передать моего долголетнего изумления, что решительно ни одного разу я не видал человека в рясе, солидного, с благостным лицом, который так же, как и все вокруг него, вынул бы копеечку и тоже подал нищему, или калеке, или просящему на улице ребенку. Ни разу! Точно это – сословное. Когда мне приходилось передавать это наблюдение другим, то я не помню примера, чтобы выслушавший мои слова не пришел тоже в крайнее изумление и не подтвердил, что и он также никогда этого не видал. Так что я первый только обратил на это внимание, а на самом деле это давно общеизвестно, но люди по рассеянности своей не сливали этих частных своих наблюдений в общий итог. Этим я вовсе не хочу кого-нибудь осудить или дать лишний «совет», так как уже вначале решил отвергать их силу. Но согласитесь, что для этого моего отвержения приведенный пример что-нибудь значит: если «пророчества» не действуют на «пророков», «увещания» – на «увещателей», то согласитесь: на кого же они действуют, и не есть ли такие советы в точности и непререкаемо – только

Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья...

– Брось карты, игрок. Одни двойки и тройки на руках. С такими козырями заранее пишут проигрыш.

Вот что хочется сказать, после примера о милостыне и об аксиоме, что «царство небесное покупается милостынею», всем этим гениям от Гоголя и до Толстого. Как литературные произведения деятельность их хороша и будет изучаться школярами. Но, увы, Мальва останется Мальвой, пока есть рыбные промыслы; Кармен не исчезнет с сигарной фабрики; а тысячи чиновников, перечитав «Переписку с друзьями», скажут:

– В самом деле, надо усозвешаться в душе. С завтрашнего дня перестаяю пить водку за обедом, буду называть жену не «Маней», а «Марьей Ильинишной» и читать на ночь по странице из Фомы Кемпийского.

А что нужно-то в жизни, ну, чтобы, например, хоть этот чиновник поскорее переписывал бумаги, или покорооче составлял их, или давал скорейшее движение «обороту бумаг», – то за увлечением Фомою Кемпийским и поступлением в «общество трезвости» он заснет окончательно на чиновном своем стуле, обрстет плесенью, весь погрузится в экстазы «самоусовершенствования» и приведет свой «стол» или «столоначальство» (от которого тоже кое-что или кое-кто в России зависит) в такое состояние, что его начальник отделения, продолжающий пить водку за обедом, скажет:

– С этим Иваном Ивановичем что-то попритчилось. Бумаги пишет не так и не о том, да и все дело остановилось. Просители плачут и анонимно жалуются. Ему уж почти вышла пенсия, и, кажется, следует ему намекнуть об отставке.

Гоголь после «Переписки с друзьями» исчез для литературы. Потеря не малая, даже как деловая потеря, в своей особенной сфере. Никто не променяет дельца «Войны и мира» на проповедника «трех упряжек». Голицын, министр духовных дел при Александре I, впадши в ханжество, натворил Бог знает каких дел, так что его вынуждены были из министров сдать в почтмейстеры. И все вообще они от «самоусовершенствования» расклеили, каждый в отдельном местечке, «телегу» русскую, – каждый снял с нее весьма и весьма ценное колесо: и телега едет хуже и хуже, медленнее и медленнее, от этих «самоуглублений» их и всяческого самокопания, с которым нисколько не гармонирует благополучие целого.

И в то же время, посмотрите, от каких смешных уродцев и окончательных дурачков, выведенных в «Отцах и детях» в лице Кукшиной, Суханчиковой и пр., выросло такое здание, деятельное, здоровое, а наконец, и благословляемое по деревням (последнее я видел и свидетельствую об этом), как медицинский женский институт в Петербурге. Поистине, мудрое мира Бог обратил в безумное, а из бессмысленного в мире создал Себе нужное и мудрое. Суханчикова – и Достоевский! Толстой – и Кукшина! Мудрецы почти как Будда и что-то, чего даже умным и сносным назвать нельзя, над чем смеялась вся Россия. Да, но Суханчикова и Кукшина стояли на верной, хлопотливой, заботливой дорожке:

– Что нам до совершенствования личности. Оставим личности свободу быть какою хочет, но потребуем от каждого, чтобы он трудился над улучшением общих условий.

Узенькая, рациональная, неглубокая программка. Программка, которую и с куриным умом понять можно. Но не смейтесь над неглубоким. То-то и хорошо, что всем понять можно. Все и поняли, и исполнили программку грошовой цены, а когда муравьи зашевелились, понесли каждый кто соломинку, кто кусочек земли, то в каких-нибудь 40–50 лет и воздвигнулось гордое и умное здание, попрочнее, чем от «Смирись, гордый человек!». Было дело в глухом городке Смоленской губернии. Сто верст до ближайшей железнодорожной станции. Молодой чиновник, приехавший сюда всего три года, метался у постели молодой же жены, которая вследствие «неправильностей и осложнений» специального рода исходила кровью. Два доктора растерянно ходили по комнате и ничего не советовали: отчасти по нерешительности, отчасти потому, что дело было уже испорчено непринятием соответствующих мер в предыдущие месяцы, когда опасность, и грозная, явно надвигалась, и в-третьих и главное, потому, что оба были страстные винтеры. Больше мужчин-докторов в городе не было. Несчастный муж позвал – увы, поздно! – земского врача-женщину. Высокого роста, полная, со значком на груди, едва узнала она, в чем дело, как заговорила:

– Да нужно ускорить естественный процесс. Изойдет больная или не изойдет кровью, – этот естественный конец непременно наступит, через пять часов или через час. И крови, если и хлынет она сейчас, потеряется все же меньше, чем если она хлынет через пять часов, в течение которых все время

будет бежать тонкой и увеличивающейся с каждой минутой струйкой. Может быть и смерть сейчас; но это – может быть, а через пять часов, даже через 1½ часа, наверно смерть.

Она еще кой-что объяснила в механизме медленно, в зависимости от хода процесса, раскрывающейся раны. Все было просто, умно и убедительно до ясности: $2 \times 2 = 4$. Вошла энергия, ум и знание. Бедная больная была почти спасена. Естественный процесс кончился, она была жива, ей было хорошо временно. Кровь давно уже остановилась, как только окончился процесс. И она умерла только через несколько (немного) часов спустя – от истощения и обеднения кровью всего организма (уснула и не пробудилась). Когда я узнал, в чем было дело, я не мог надивиться халатности докторов, не приступавших к нужным манипуляциям только из страха: «вот сейчас хлынет! сейчас – опаснейшая минута! лучше – потом, хотя и удесятеренно опаснейшая!».

Я расспросил позднее об этой женщине-враче. Оказывается, в то время, как гг. доктора «винтили» в клубе и по гостям этого городишка со сплетнями и составляли какую-то в городе против кого-то «партию», – женщина-врач, имея огромные физические силы, непрерывно объезжала по селам и деревням «пункты», и вот тут рассказывавший и прибавил: «Ее благословляют крестьяне; от крестьян ей отбою нет». И – кажется, я не ошибаюсь, – она была не чистокровно русская и едва ли православная.

Вот вам и «усовершенствование», и «углубление», и «очищение сердца»... Не сомневаюсь, что, будь она выведена в «Бесах», Достоевский заглянул бы: «Како мниши? како веруеши?» Будь она из персонажей «Анны Карениной» или «Смерти Ивана Ильича», и Толстой доложил бы читателю: «Это – негодная личность, ибо она имеет молодого любовника» (я не знаю, имела она такового или не имела: пишу для примера). А уезду, а больной умиравшей, а мужикам – и, должно бы быть, писателю и моралисту, если они хотят быть в мире с миром, – должно быть решительно все равно, с любовником она или без любовника и как она по части «православия и народности», лишь бы как врач: 1) лечила дешево, 2) усердно и 3) искусно. Да мне думается, это и великая нравственная программа, ибо в точности оставляет свободу душе человеческой, не шпионит за душою человеческою, как в конце концов делают оскорбительно все эти «соглядатаи»-моралисты, вечно копающиеся у ближнего в сердце и с невыразимым наслаждением выгаскивающие из него, как из помойной ямы, кто грязную старую тряпку, кто – дохлую крысу. И развели же, обличениями своими, вони в литературе и в жизни. Точно в 12 час. ночи, когда санитары едут. А между тем... духовные милостыни не подают, смиренные – горды, и учащие «непротивлению» сами вечно волнуются и воинствуют. Так что уж если «тряпка» и «дохлая крыса» и лежит на дне человеческого существа, то, право, это как-то универсально и непоправимо. И решительно не для чего, перетаскивая вечную падаль с места на место, – заражать атмосферу целой улицы.

Но мне хочется настоять, что не только проповедь «личного самоусовершенствования» есть бессильное и неумное дело: а что это – если разбирать дело по ниточке – есть самая нахальная проповедь и возмутительно бессовестная теория.

– Вы говорите: «Усовершенствоваться нужно, лично усовершенствоваться». Прекрасно. Вы «главноуправляющий» важного ведомства: «усовершенствуйтесь» же «лично», т. е. обратите внимание, – при вашем-то гении это вполне возможно, – до какого безобразия доведены самые формы делопроизводства в вашем важном ведомстве: бумаги вращаются, а дела никакого; все воруют, а кричат о святости. Где должен бы быть суд – бессудность, где должна бы быть администрация – один произвол и притеснения. А ведь в ум ваш верит вся Россия, даже заклятые ваши враги...

Замахал руками. Это я действительно сказал одному очень «ответственному» человеку, изумительному оратору и который все приставал ко мне: «Будьте лучше, и вам станет лучше, не жалуйтесь, не сетуйте, даже не огорчайтесь». А я был жизненно заинтересован в упорядоченности его собственного ведомства, где нельзя было добиться даже смысла, не говоря о справедливости. Меня взбесило, почему я, тысячная спица в колеснице России, должен «быть лучше», когда он, целое колесо России, представляет одну ходящую (и красноречивую) расслабленность. Но, говорю, он замахал руками. И это меня так же поразило, как и то, когда я впервые начал замечать, что духовные не подают милостыни.

Дело в том, что проповедь: «Станьте лучше» – всегда включает в себе местоимение: «вы», «ты». Это – всегда обращение. Никогда это не самообращение. Ибо честное-то самообращение, в себе копание и обнаружение позорного «неделания», и заставило бы именно переменить те «общие условия», от которых действительно всё и все зависят. Нищий, бедный, раб никогда не скажет: «Самоусовершенствуйся», хотя и подумает это, хотя это слишком, до боли именно ему нужно. Совет этот всегда есть аристократический, духовно-аристократический. А настоящий мотив призыва к самоусовершенствованию (всегда другого, всегда ближнего) лежит в позорной лени, туеядстве и бездушии, при которых когда такой барин увидит железнодорожное колесо, переехавшее через человека, то скажет:

– Чего же ты кричишь? Переехали! Но ведь это Судьба, Провидение, – это не только у нас, христиан, но и у буддистов, у которых есть Карма. Если вы не должны молчать, как христианин, то должны промолчать, как философ. Во всяком случае не надо было подходить близко к полотну дороги, и если теперь кишки из вас вывалились, то это – закон причинности...

И т. п. Дело в том, что «общие условия», которые переменить нужно, требуют труда, беспокойства, моего беспокойства: когда я так люблю читать Фому Кемпийского! «Усовершенствуйся, и от твоего усовершенствования улучшится мир», – это такая всеобнимающая схема, и на все века,

что при ней можно не только за себя и лично заснуть, но и перестать тревожиться, напр., за всю Россию и за все ее будущее. Для лени это такой простор, такой океан ее, что и не переплывешь. Сразу сняты все ответственности, все долги: но, заметьте опять, – именно аристократические ответственности, верхние. И переложены все они на спины «тысячных колес» в колеснице, нас, сирот, рабов. Теория «самоусовершенствования» есть самая ленивая, плантаторская, барская теория, по которой «крепостные» (мы), так сказать, на вечные времена обязаны приносить «маленькие добродетели» к подножию этих господ своих, которые от них, от множества этих маленьких наших дел, – прокормятся и будут сыты, ничего сами и не делая.

– Ты, часовой, стой. У тебя под охраной пороховой погреб.

А сам барин-генерал, обеспеченный неусыпностью часового, садится в карты проигрывать казенные деньги. И ведь тем вернее будет его покой и, так сказать, тверже игра, чем он полнее уверен, что «часовой простоят». А если эту уверенность снять? А если часовой любит курить? пьяница? Генерал бросит карты, выйдет сам посмотреть... и, может быть, не проиграет казенных денег и не пойдет под суд. Маленький пример, который можно раздвинуть в большую историческую панораму. Может быть, история не так жестоко судила бы иногда «больших генералов», если бы у них звучал упорный ответ «челяди»:

– Усовершенствоваться трудно. Тут и наследственность, и врожденные пороки, и неудержимые влечения, как и у вашего превосходительства к картам. У каждого за душой есть такие свои «картишки», и вы уж как-нибудь примиритесь с этим или перенесите это. Но вообще на добродетель нашу не рассчитывайте: может изменить. А чтобы измены не было и не потерпеть вам самим краха, со всем большим делом, вам вверенным тоже Провидением или Кармою – ибо вы отлично соединяете с религиею философию, – то не возбуждайте дурных возможных наших инстинктов, а устройте все для нас как возможно лучше: и 1) обеспечение, и 2) порядок, и 3) справедливость, и 4) плодотворное делопроизводство. Чтобы хорошо шла машина, чтобы машина была мудрого мастерства, а не первобытная наивность: и тогда около машины, около которой и ходить опасно, ибо она того и гляди оторвет палец или руку или и всего измелет, – мы уже будем ходить трезвые, не заснем, не закурим. А если мы «не запьем и не заснем», то и деньги в целости принесем в дом, детишкам и жене, так что от мудрости машины, от совершенства фабрики подыметя и желаемое вами «самоусовершенствование», ну, например, семейный покой и мир. Да жалованье в срок и добросовестно выдавайте, а то я всякий раз, как контора не платит, от отчаяния напиваюсь в кредит и, придя домой, перебью жену и детей. Все от отчаяния и «неделания» вашего превосходительства, ибо, слышно, вы фабрику совсем забросили и все «душу спасаете». У вас «спасенная душа» – от чтения, а у нас – «погибшие души», и именно от этого вашего эгоистического «дущеспасения».

ПАРАЛИЗОВАННЫЙ ЗАКОН

Не судите, да не судимы будете.

И. Христос

А если законом – оправдание,
то Христос напрасно умер.

Ап. Павел

Едва была опубликована редакция нового закона о дозволении обоим разведенным супругам вступать в новый брак, с тем ограничением, что «виновная» сторона может осуществить это право не ранее, как по отбытии епитимьи от 7 до 2 лет, – как я стал получать письма то с тревогою в тоне, то с выражением более, чем неудовольствия, и с просьбами путем печати обратиться внимание на суровость и открывающийся произвол в наложении такой епитимьи. Между письмами были и письма священников, т. е. лиц во всяком случае не заинтересованных, говоривших, что «разъяснение» касательно епитимьи сводит на «нет» новый закон. Признаюсь, было до последней степени тяжело братья за перо, чтобы «катить сизифов камень» вперед после того, как он все скатывается в прежнюю мертвую точку. Ведь всякому, например, ясно, что наименование «внебрачными» прежних «незаконнорожденных» детей еще оскорбительнее и для них, и для родителей их: ибо создается через эту диффамационную подстановку указание, что эти родители, составляющие (иногда) долгую, счастливую и безупречную семью, живут modo animalium, пес hominum*. Явно, что вообще в законодательстве о семье и детях, о трудностях и болезнях их положения, недостает основного доброго вдохновения: и через это всякий новый закон, с виду как будто вводящий некоторые улучшения, оставляет сокрыто все в прежнем положении.

Ведь если «разведенному по вине прелюбодеяния» супругу нужен новый брак, то как устройство новой семьи по почве уже возникшей, существующей, фактической любви. Очевидно: 1) семь лет ожидания погасят почти всякую любовь, просто состарив ожидающих; 2) семь лет бессемейной жизни, принудительно-холостой, расстроят и испортят самую способность, самый инстинкт к семейной жизни как определенному бытовому (житейскому) укладу. Это все равно, как если бы поезд, отрезав ноги путнику, обернувшись, просвистал насмешливо: «Беги! Беги!» Ты на свободе и остался жив!»... «Возьмите ваше право брака назад, – может сказать такой «разведенный», – ибо любимая мною девушка умерла», или «я сам так освоился с загородными певичками, что, ей-ей, жена и дети теперь уже будут для меня невыносимым бременем».

Во всяком случае общество и государство расстраиваются от этих «семи лет непременно холостой жизни». Ибо в сфере семейного вопроса кто не

* как животные, а не люди (*лат.*).

созидает, тот разрушает; кто не имеет своего гнезда, тот непременно живет паразитом около чужих семей, дочерей, жен, вдов. Аксиома и младенцам очевидная, и которую должны бы принять во внимание законодатели.

Семь лет «покаяния»... Нужно иметь несколько воображения и хоть слегка знать психологию, чтобы понять, что «покаяние» есть экстаз, есть просветление и мука души, вообще что-то бурно и быстро текущее, а не «душевное состояние в течение семи лет». «Семилетнее покаяние» не бывает, и никем оно не видано, как никто не видал семисаженного человека или тысячесуточного года. Подобных фактов ни в природе, ни в психологии не открыто. Очевидно, дело идет не о «покаянии», а о «формальности покаяния». Но таковой факт, с другой стороны, неизвестен вовсе нам, мирянам, имеющим нравственное отношение к раскаянию. Введите «семилетнее» раскаяние: перед каждой исповедью и причастием люди рассмеются, а исповедь фактически исчезнет. Никто не станет «каяться» в формах, неизвестных человеческой психологии. Очевидно, «семь лет» указываются в виде юридического возмездия: мотив суда («возмездие», «месть»), оставленный даже светскою властью и едва ли удобный в устах суда духовного. Мы все знаем покаяние, раскаяние, длящееся семь недель Великого поста, с усиленными молитвами (ежедневное хождение в церковь) в последней неделе, от понедельника до пятницы: в пятницу совершается перед священником самое раскаяние, в субботу виновный причащается Тела и Крови Христовой – и все кончено. Не иначе, очевидно, должно бы совершаться и «очищение от вины прелюбодеяния», по причине которого брак расторгнут, – но только с указанием специального предмета и молитв, и раскаяния, и «очищения» священником вины.

Итак, «семи недельная епитимья» есть единственная форма, известная человеческому духу и вместе самою церковью признанная и установленная для всяких степеней греха, если только предполагается в отношении их какое-нибудь душевное движение «виновного и кающегося». Но может быть, «вина прелюбодеяния», по причине коей брак расторгается, так же тяжелее всяческих грехов, на исповеди отпускаемых, как год длиннее недели, т. е. в 52 раза? Здесь нужен бы какой-нибудь документ, факт морального соизмерения. К счастью, он в библиотеке у меня есть. Это полууставом написанное практическое руководство для священников-исповедников XVI–XVII века (ведь церковь одна во всяком веке): «Чин исповедания инокам и инокиням». Рукопись эту я показывал некоторым из преподавателей здешней Духовной академии. Она изложена в катехизической форме вопросов священника и ответов кающегося. И среди «ответов» этих (заметьте, инока!) есть признания в таких «винах», для самого уразумения которых нужно обратиться к книгам по половой психопатологии. Волосы дыбом становятся! Нам, семейным людям, и в голову подобного не может прийти! И все прощается через 7 дней покаяния, ибо в «чине исповедания» после «вопросов» и «ответов» написана и формула отпускной молитвы.

Это важно, как документ; книга эта (рукопись) – обычная, для всей России написанная, как «учебник общепринятый», и присуждаемые к «семи

годам раскаяния, с лишением юридического права брака», не могут же не удивиться, почему духовная консистория, члены которой, конечно, знают «Чин исповедания инокам и инокиням», раздражается столь особенным духовным негодованием, в 52 раза сильнее обычного, после рассказа «виновного» или свидетелей, что вот «тогда-то случилось то-то». «Бич меня в 52 раза больше бьет, хотя я не особенных сил человек и специального обета воздержания не давал, чем он бьет героя духовного, с специальными обетами, хотя бы его прегрешение и было в 52 раза тяжелее моего». Это 52 × 52 несправедливости.

Да и вообще-то «вины супругов», при молодом их возрасте, при разнообразии окружающей волнующейся жизни, слишком простительны, легки, незначаша. Весь род человеческий в этом повинен. Может быть, и из членов духовных консисторий (ведь их много, очень много) когда-нибудь кто-нибудь «изменял» или видел «измену супруги»? Нет? не было? ни с одним и никогда?! Ну, верим, охотно верим. Но это по крайней мере бывало, и даже с праведниками; но, конечно, «бывало» не теперь, а в древности. Книга епископа Игнатия Брянчанинова: «Приношение современному монашеству», – также почти есть учебник в духовной нашей школе, и на стр. 55 ее мы читаем рассказ о том, как «епископ впал в грех с инокиней». Рассказ этот можно было бы озаглавить: «Призыв к скромности»; прекрасное картинное развитие слов Спасителя: «...кто из вас без греха, первый брось в нее камень».

«Епископ оставил кафедру и удалился в монастырь, где окончил жизнь в покаянии, принятие которого Бог засвидетельствовал дарованием покаявшемуся силы чудотворений. Такова наша немощь! Таково влияние на нас соблазнов! Они низвергли в пропасть падений и св. пророков (II кн. Царств, гл. 2), и св. епископов, и св. мучеников, и св. пустынножителей. Тем более мы, страстные и немощные, должны принимать все меры предосторожности...» И т. д.

Но не только «принимать меры», а в случае их неудачи тем более мы, «страстные и немощные», заслуживаем извинения, если ни старость, ни сан, ни тяжкая болезнь не предупредили «слабости» лица, о коем повествуется. И об епископе этом мы скажем уже читателям нашим словами Христа: «Кто из нас, братие, невинен, пусть первый бросит в его память упрек или улыбку». Нет, и мы, миряне, если заслуживаем какого-нибудь внимания к своим духовным нуждам, обратно не имеем никакого права препираться и перебраниться с духовными вождями своими, с «отцами» нашими («отцы церкви»). Епископ Игнатий Брянчанинов сделанным рассказом вводит читателей своих, и в том числе пастырей будущих (семинаристы, академисты), в истинную и постоянную атмосферу христианства: в признание общей и взаимной всех виновности, а при таком состоянии – в указанную Спасителем заповедь: «прощать не семь раз, но седмижды семь». Но если развод есть дело церкви и ответ учения ее, то все указанное должно быть ею отнесено сюда, применено здесь. Ибо, как она может научать Ивана, Петра, Марью «про-

щать седмижды семь раз», если сама затрудняется простить один раз, два раза? Ведь так «судя» друг друга, мы все подняли бы руку один на другого: ибо разве есть человек без вины и другой – без обиды.

Добавим последнее замечание: может быть духовное начальство было связано правилами, применяемыми в древние века? Но ведь составляет аксиому канонического права тезис, что: 1) *догматические* определения церкви даны на все времена и для всех народов той же церкви, 2) напротив, правила *церковной дисциплины* (суда, наказания) имеют значение лишь *примеров*, а обязательной силы для времен и народов (той же церкви) не имеют. Ведь так по одному правилу VII Вселенского собора (Трульского) должно бы отлучать от церкви всякого, кто лечился у врача-«жидовина», между тем теперь в армию допущены евреи-врачи, и духовная власть не отлучает от церкви, даже не налагает какой-либо епитимьи на их пациентов. Так следует отнестись, свободно и вдохновенно, а не археологично, и к виновным в «прелюбодеянии» супругам. Ибо себя судить следует строго, а другого – легче: здесь же поступлено как раз наоборот, и это не может не видеть «Судия всяческих», «Последний Судия».

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ, ГЕНИЙ И ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ

Позволю себе еще раз остановиться на нравственных темах, значительно волновавших русское общество за последние годы. Шутка ли: образовывались целые поселки «нравственно совершенствующихся людей», нечто вроде монастыря – без Бога, религии, без всякой метафизики, но с «нравственностью». Они бессильно рассыпались. И, между прочим, интересен вопрос: почему?

В понятии «само-усовершенствования» наставники такого кладут ударение только на второй половине: «усовершенствование» – и снимают всякое ударение, даже вовсе затушевывают первую половину: «само». Между тем в этой-то упущенной половине слова и может содержаться хотя какой-нибудь определенный смысл всего понятия, всей идеи. «Усовершенствование» столько, сколько личностей; по крайней мере – сколько даровитых личностей или даровитых групп людских. Усовершенствоваться для меня, не похожего на братьев свои, – значит именно уклониться с «братского» пути, коллективного и общего, и начать прорубать какую-то свою дорожку, новую и исключительную, которой прежде всего не видит пророк «общего усовершенствования». Но мало того что не видит: суть проповедей такого рода (и их беспросветный эгоизм) заключается в априорном, слепом и фанатичном отрицании если не возможности, то нужности и «добродетельности» таких исключительных и новых дорожек. Новым и оригинальным существом, еще Буддою или еще Экклезиастом, видите ли, дано быть Гоголю, Достоевскому, Толстому, но это – последние оригинальные личности. Если бы учение их принялось (а по намерениям их оно, конечно, должно бы приняться, ему

следует приняться, таков тон их учения), то выслушавшим таковое остается уже совершенная пассивность и такая суженность всего существования, с каковою можно сравнить только удушливость свинцовых венецианских темниц. Это – в духовном отношении, и здесь душность, теснота еще ужаснее, чем физическая в Адриатике. Гоголь в «Письмах» – да, он гений. А его читатели? по намерениям автора, по желаниям автора? Это – уже «нищие духом», новое «блаженство» которых, в каком-нибудь поселке на берегу Черного моря или в благословенной Малороссии, куплено ценой чудовищного всяческого обнищания. Роскошная природа цветет кругом, а на ковре цветов – солома духовного узника, на которой лежит раб, илот, накурившийся своеобразного «учительного» опиума. Цезарь-гений проговорил слова: и илотам остается только смерть или такое прозябание, какое мало разнится от смерти. Не по величию гения (и другие, благотворные гении были велики, были еще выше), но по особливому, специфическому качеству их учения.

«Поселки» разошлись: насколько в обитателях их было хоть чуточку талантности, дара, души, энергии, оригинальности. Для «удачи» поселков надо бы сделать специальный выбор уже совершенно ни к чему не способных людей, людей машинных, бумажных, на которых что снаружи ни написать, они будут вечно носить это написанное.

Но мне хочется ударить в центр этих моральных проповедей и указать, что в них сокрыта безумная имморальность.

Кто из них спросил своих возможных учеников: «Кто вы, слушатели мои?» Кто наклонился лицом к ихнему лицу, с целью заглянуть в особую душу каждого? Какой это «губернатор», к которому пишет Гоголь? О нем нет вопроса. Да нет у автора «Писем» и вообще никакого интереса ко всем адресатам его обдуманной корреспонденции. «Как *мне* составить мое письмо? Как и что я напишу им?» – этот субъективный интерес царит в «Письмах» и не разбавляется хотя бы малейшим объективным, наблюдательным, внимающим другому интересом. Менее в Достоевском, но в Толстом также в чрезвычайной степени заметна, параллельно увеличению морализирования, потеря всякого интереса к миру человеческих индивидуальностей, которые с таким совершенством он чеканил дотол; и очевидно, ранее, чем чеканить, наблюдал их и, вероятно изучая, – любил. Потерян самый *вкус* к *лицу* человека: и это составляет главную разграничительную линию между Толстым-художником и Толстым-проповедником. Замечательно, что, когда, во второй период его деятельности, он вдруг объявлял «гением» какого-нибудь самоучку, приславшего ему не весьма грамотную тетрадь «о пользе земледелия» или об вегетарианском столе, – это сказывалось что-то для всех глубоко неинтересным, бесцветным. И ведь не ошибаются же все по крайней мере в непосредственном впечатлении, не ошибаются во вкусе, если уж и ошибаются в разуме, в рассуждении. Но Толстому стала неприятна всякая оригинальная, сильная личность. Неприятна не потому, чтобы он понял ее (он этого и не хотел, не ставил этого себе задачей, как прежде), а потому, что она представляет неподдающееся сопротивление его учению, что она глуха, и глуха не

тупую глухостью, а оттого, что внимает собственному сердцу, собственным в душе струнам, что она «сама по себе», несет в себе «самость». «Усовершенствование» не допускает никаких «само»: оно предлагает общие пути, точнее, – один общий путь, общую схему «поведения», которая указывает студенту и музыканту – пахать, пахарю и токарю – обоим пахать, ювелиру... ну, его не нужно, потому что он не может пахать; от силача и от чохоточного требуют «мускульного труда». И вообще определило один «жребий человечества» на земле: возвращение к какой-то всеобщей травоядности, тусклости, однообразию, возвращение к первоначальности совершенно неразвитого состояния и с страшными запретами развиваться! Рост – вот враг Толстого! Узор, музыка, краски – вот предмет «зубовного скрежета» в заключительный период Гоголя. И только Достоевский, – может быть, оттого, что своими боками, нуждой и скорбью, всем «рабским» колоритом печальной и страшной биографии своей до сытости испытал прелести этого «единообразия и тусклости бытия», – только он удержался от того, чтобы начать указывать в нем какие-то миру неизвестные «сады Гесперид» с яблоками невинного райского состояния.

– Нет, я всю жизнь, и притом взаправду, по нужде пахал. Претяжелое и прескверное это дело. Позвольте лучше открыть лавочку: не тяжело и как хорошо мне под старость лет!

Забыто не малое Толстым: слабость, болезни, неисчерпаемая вереница разнообразнейших хронических болезней, не убивающих, даже не очень вредных, но не допускающих «труда земледельца» и также «вегетарианского стола». История и предложила таковым целую вереницу легких, но общепольных занятий, от торговли подсолнухами и дегтем до плетения кружев. Все нужно, всем нужно, и кружева еще более нужны работницам, чем щеголихам. Да и как у щеголих выманить излишек их богатства, как не через этот благодетельный инстинкт их – надеть на плеча труд сотен работниц, которые и будут сыты с детьми и мужьями через этот их инстинкт. Я не защитник роскоши. Я не люблю ее и не уважаю. Но я не могу же не видеть некоторую ее роль в истории.

Что такое «роскошь»? «лишнее в жизни», «бесполезное человеку и дорогое»? Безделица в себе и вместе жизненной механизм, в своем имени указующий важнейшую свою функцию: переводить бесполезное – в полезное, отнимать у имущих и передавать неимущим; разменивать золото на пуды железа и раздавать его в виде подков, топоров, пил, всяческого инструмента – рабочим. Роскошь, роскошествование – это ведь всегда и неизбежно некоторое обеднение богатого и непременно обогащение кого-нибудь бедного, – не тут стоящего, не на виду, не с протянутой рукой, но, однако же, непременно обогащение хоть рабочего в чужой стране, у чужого народа. Может быть, я тут чего-нибудь не понимаю? Может быть. «Люцерн» Толстого... разве странствующий музыкант, игравший под верандой музыку и так восхитивший Толстого, так обласканный им, не шлеп в своем роде «тонкие и бесполезные» кружева в звуки? Но ему надо было заплатить? – А, это дру-

гой вопрос: по политической экономии плата должна быть произведена честно. Но существо «кружева» остается: а в нем-то именно и дело. Таким образом восставая против «изнеженности, роскоши и искусства», не побивает ли Толстой именно симпатичнейших бедных музыкантов, не уничтожает ли самый их промысел, что гораздо им грознее, чем раз не получить плату, – как это случилось в Люцерне? Мне же иногда кажется, что танцующие, музыканьящие и наряжающиеся не более ли раздали «пятакчов народу», чем все филантропы... от дня основания первого филантропического общества. Вспомнишь вечное слово: «в Дому Отца Небесного – обителей много».

Но – умолкаю. Может быть, я путаю и не понимаю.

* * *

Неисповедимое в человеке, «душа» его, особый «дар», призвание, талант – вот на что наброшен смертный покров, какая-то «простыня из мертвецкой» – великими нашими, но ставшими на ошибочный путь моралистами. «*Мое* усовершенствование», уж простите, есть именно «усовершенствование *меня*», т. е. усиление, заострение, выращивание тех определенных и особливых даров, с какими я родился на свет и впервые огласил спальню своей матери новым, первым криком. Право, если бы рождался только «схемки человека», люди перестали бы рождать, матери перестали бы рождать. С каким трепетом каждые живые родители всматриваются в дитя свое и ищут в нем скорей не общего, а исключительного: конечно, не уродства, а таланта, не умаления против себя, а прибавления против себя. Гоголь же или Толстой решительно хотели бы обнесчастить всех родителей, заранее объявив им, – и с властью творческою! – что ничего из этих детей не выйдет, кроме способности к умеренной еде, некоторого трудолюбия и нелюбви ко всем искусствам.

Если бы это было правдою, могло быть правдою, родители бы возненавидели таких детей. Вот мерило, содержится ли здесь струя живой любви: ибо родители-то уже желают *лучшего* детям своим, уже *любят* их! Таким образом, в единственном возможном ее смысле задача «самоусовершенствования» разлагается на мириады задач – сосредоточиться на этих «само», помочь им, пособить в естественных слабых силах, на первых трудных шагах: и обращает советодателей-моралистов скорей к служебному положению, нежели к господствующему, которое они заняли, обращает к объективному миру, от которого они бежали в субъективизм. «Изучайте! трудитесь! помогайте! *Нам* помогайте, о *себе* не думая!» – вот что волны людские, «обильные аки песок морской, аки звезды на небе», могли и могут ответить на призыв: «усовершенствуйтесь».

«Самоусовершенствование» можно понять как моральную доктрину, и в этом виде она произвольна (зависит от каприза учителя), монотонна и убивающая в отношении всякой жизни. Это гордая пустыня, которая заносит однообразным песком своим тысячи оазисов, которые не похожи друг на друга и из которых каждый, при малом объеме своем, лучше, однако, и богаче всей громады пустыни. Но можно тот же принцип понять как биологичес-

кий: тогда тотчас выступают эти «само» в человечестве и человеке, зерна, ростки, задатки, крошечные, милые, невидимые (пока), драгоценнейшие всяких сокровищ, в том числе и моральных сокровищ! Послужить им, – а, это совсем другая задача: монотонный и повелительный характер проповеди Гоголя и Толстого вдруг исчезает, и выступит на месте ее маленькая мудрость, частная забота, индивидуальная хлопотливость. Появятся краски, звуки, узор, «наука и искусство», которые они хотели убить за их недостаточную «праведность».

Гоголь подходит к «губернаторше», Толстой подходит к какому-нибудь энтузиасту в тужурке, из Тамбова или из Самары. Времена переменчивы, но тон у обоих один – повелительный, империалистический и без всякого внимания к каким бы то ни было *не ихним*, не гоголевским и не толстовским, «обстоятельствам». Вот Крейцерова соната – для насаждения телесной чистоты; вот «Смерть Ивана Ильича» – это *memento mori**. И множество брошюр о том, как есть, трудиться, плодиться или не плодиться (это двойко, в два периода деятельности учителя). Но «энтузиасту» 20–22 года: если он здоров, не неврастеник, то ни малейшего он помышления о смерти не имеет и не хочет иметь; сил так много, что расплодится и без советов; есть хочет много, потому что раньше сильно недоедал. Но вот – в нем особенность, которая вечно беспокоит его и от которой не умеет он сам отвязаться: глаз его засматривается на тысячи оттенков в золотистом лесу по осени, и хочется ему кисти, и подбирает он мысленно краски, чтобы закрепить эти цвета. Ведь это – глаз, ведь с этим глазом он родился! Ведь не вырвать же ему его и не вставить на место глубокого человеческого глаза какой-то лошадиный глаз, чтобы «только можно было видеть»: да и захочет этого – все-таки не сможет и останется со своим талантливым, по Толстому несчастным, глазом, который нудит его быть не сапожником, а живописцем. И вот перед ним вопросы, действительно мучительные и практические вопросы: можно ли в России прожить с талантом, а без «обще-служебных способностей» чиновника или ремесленника? Не умрешь ли с голода? Где друзья, где школа? Где общество образованное, которое оценило бы и поддержало редкий и исключительный труд? Но Толстой говорит, что «всего этого не надо». Но ведь не вырвать же глаз: и энтузиаст, если он вообще не имеет никакого дара, пожалуй, пойдет за Толстым, а если есть чуть-чуть какой-нибудь дар, не живописца, но совершенно другой, ответит ему и не может не ответить обратным «не надо». Ибо в точности мудрец предлагает советы столь общие, обще-человеческие, касательно еды, ремесла размножения, не танцованья, не пенья, не влюбленья, что еще до человека природа, дикая, первоначальная, только поднимающаяся к «обще-человеческому», могла бы последовать ему; а *обще-человеческая* природа, которая все это уже имеет как данное, как готовое и отсюда хотела бы бежать далее, к таланту, к разнообразию и многовидности, – она ничего из этих «советов» не сможет, и не захочет, и не должна взять!

* помни о смерти (*лат.*).

«Поливки! поливки!» – кричат зерна в человеке, предназначенья, загадки, «уделы», «жребии». Сколько душ – столько биографий: полей каждую, помощи каждой – вот задача мудрого Садовода, каковым и должен быть всякий, кто выступает с гением в руководители человечества. Да, законодатель (а ведь и моралист пытается быть законодателем) должен быть многообразен, а не одностоен; терпелив, а не исключителен; и, главное, – служить всем, а не от всех требовать. Между тем оглянитесь кругом: до какой степени поросла жизнь бурьяном и ноги каждого решительно пугаются в космах дикой, никем не выполотой, но еще и «паче насажденной» травы. Это и возвращает всю теорию к задаче «улучшения общих условий существования», взамен «личного усовершенствования». Обратимся к жизни. Ни умереть, ни жить – без тысячи о вас справок, разрешений, запятых, кавычек, точек; точно русские люди такие богатырские скакуны, что улетят в небо, если ноги их не спутаны тысячью веревочек. Все познается из впечатлений. Никак я не могу забыть, как однажды трудно было мне... похоронить 9-месячного ребенка! Тогда мне и пришлось в первый раз и вместе единственный раз посетить такое важное (действительно, важное!) учреждение, как петербургский «участок». Нужно было достать свидетельство на провоз гроба на Смоленское кладбище. Уже поразительно то для обывателя, не говоря о человеке, что в два дня, когда остается мертвое тело в доме, решительно нет возможности остаться с ним и сосредоточиться: не говоря о хлопотах по отысканию и покупке места для могилы, что иногда очень сложно в Петербурге, надо выправить усопшему как бы два паспорта для погребения: в ворота кладбища не дозvoлят и ввезти гроба без пропуска от кладбищенской конторы, а этот пропуск выдается только по предъявлении письменного разрешения из участка на погребение, и в свою очередь нужно свидетельство от докгора, от какой болезни умер человек, чтобы участок выдал «разрешение». О всем забота, о всех забота: только никакой мысли – о родителях погребенного. И вот я стоял в участке, подав один документ и ожидая другого. И чуть не добрых полчаса пришлось стоять: некому было «подписать» пропуск. Стояла огромная, аршина в полтора в квадрате икона Николая Чудотворца, и перед нею тоже огромная, как почти мисла, лампада. Не заметил бы я этого, если бы не вся грубость вокруг. Кричало и шумело перед решеткой несколько стариков и дам – и все по одному поводу: просили «отсрочки» для прислуги по случаю запоздавшего из деревни паспорта. Может быть и последнего я не заметил бы, не умиляйся раньше несколько раз, читая на плакатах, вывешенных около Тучкова моста, об устроенном тогда добрым градоначальником «Обществе для приискания занятия нуждающимся в работе». – «Вот как хорошо, -- думал я, – у кого нет работы – иди и проси». И поражен же я был теперь, в участке, как хозяин работающего слезно упрасивает, а под конец упрасивает крикливо, чтобы дозволили работающему у него не только три года, а чуть не десять лет (старая нянька, старая кухарка) пробыть еще неделю и не гнали его с старого места на улицу, а хозяина не заставляли нанимать новую и неизвестную прислугу. – «Да давно ли вы послали волостному старшине?» –

«Вторая неделя». – «Да куда послали?» – «В Новгородскую губернию». – «И что же?» – «Не отвечает староста, не высылает паспорта. А дворник гонит вон из дому, как беспаспортную, т. е. просрочившую паспорт. Но ведь ее же полиция и весь квартал знает, она не беглая, не странствующая, сидит на работе». – «Нельзя без паспорта». – И только одной деликатной даме помогли, т. е. чуть не помогли: письмо о паспорте было послано «заказным», и чиновник сжалился: «Предъявите квитанцию почтовой конторы, и мы пождем еще три дня». Та вынула квитанцию: но оказалось, что в адресе было прописано не в «волостное правление», а «такому-то волостному старшине». – «Мало ли вы о чем ему могли писать, по частной нужде: этого мы не можем принять в удостоверение». Дама расплакалась. Старик, совсем без волос, кричал гневно – о том же, что гонят прислугу с места, «а она у меня 30 лет». – И ведь как просто для всего бы Петербурга, т. е. для десятков тысяч, пожалуй, для сотен тысяч работающих здесь из деревни людей, сделать к «правилу» – «примечание».

«Паспорт, при рублевом взносе и двух восьмикопеечных марках, предъявляется по миновании года в полицию». 8 коп. на пересылку в «волость», 1 р. – налога паспортного в село, 8 коп. за хлопоты полиции посылке паспорта. И казна не страдает. И все в порядке. А главное – вот это целое утро не было бы отнято у людей для бессмысленных и бесполезных криков: ибо и полиции, чем отвечать и объяснять и отказывать «по закону» восьми раздраженным господам, легче, приятнее и скорее было бы по обратному «закону» послать от себя восемь паспортов на почту! И наконец, десятки и, может быть, сотни тысяч не тряслись бы от страха ежегодно: «Паспорт не приходит, и я лишусь места!» Да, уверен, они и не тряслись бы от страха, не будь действительно во множестве случаев потери места из-за задержки паспорта или пьяным, или злым, или просто ленивым «старшиной». Но когда так, для чего же «Общество для приискания занятия потерявшим работу»?

Вот вам и «гармония»... «Гармония духа», может быть, и сообщает счастливое состояние души, но только мне самому, «сгармонизовавшему дух свой». «Гармония общих условий», над которой поработал бы, оставив собственный покой в стороне, ну, хоть редактор «Правил городского участка», эта действительно нужная всем «гармония», сохранила бы покой десяткам тысяч людей. Не довела бы их до раздражения и через это даже способствовала бы их «личному усовершенствованию».

Нужно держать прислугу – и сколько формальностей! Нужно похоронить 9-месячного ребенка – и сколько опять формальностей! Сколько же их нужно, чтобы 1) начать маленький промысел, 2) открыть лавочку, мастерскую, 3) завести школу и вообще 4) трудиться и 5) просвещать?! А вот «формальностей» для дебоша и разврата не требуется. Всякая разрушительная сила у нас действует без препятствий, а как нужно что-нибудь создать: «Стоп! кто такой? для чего? с какими намерениями?» Всякий трудящийся – точно преступник перед отечеством, уже заранее осужденный, которому сейчас же и энергично нужно оправдываться, отписываться и «разъяснять» почти

самое существование свое. Только с праздношатающихся никто не спрашивает, «как», «что» и «почему» они. Дивно ли, что если созидание стоит у нас перед угрозой, в страхе, то оно и робко, низится, безвольно, а если разврат и праздность ласкаются – то они и поднимают гордо голову. Да вот пример, универсальный, вековой, на всю страну. Ведется безобразная холостая жизнь, которую все видят, из всех окон домов на нее смотрят, а об эпизодах ее давно составляются где следует «протоколы». Есть к этому «препятствия»? – никаких. Но человек хочет остепениться, вступить в семью: и сейчас же выступают «препятствия к браку». Читатель рассмеется, удивится, скажет, что это случайно, что злого умысла и недоброжелательства тут нет. Но объясните, отчего же, раз эти всюду расставленные «препятствия»: 1) держать прислугу, 2) похоронить ребенка, 3) вступить в семью, 4) открыть лавочку – расставлены из всепопечительности, из святой и универсальной заботы всех и вся сбегать, то отчего их нет перед озорством, мотовством и праздношатайством?

Между тем немного часов законодательной работы, и сотне рук чиновников не было бы занятия и хлопот, а миллионы рук граждан поднялись бы на благотворный труд:

1) Явочная система промыслов и торговли; открывающий их заявляет об этом «кому следует», а не спрашивать разрешения «у кого следует».

2) В случае же возможности какого-нибудь недоразумения, испрашивается разрешение у прихода, городской общины, обывателя квартала, избирательного участка и т. д., вообще у корпоративных единиц, в которых нельзя предположить «мздоимства», вымогательства и притеснения.

3) Все вредное, что пронесткло бы из какого-нибудь гражданского (обывательского) начинания, и возбуждает вопрос, только когда обнаружен вред, и по отношению к этому вреду, а не по отношению вообще к начатому делу.

Нельзя и представить себе, до какой степени много «столов» и «столончалств» упразднилось бы, т. е. сократились бы государственные расходы, будь введены эти простые, ясные принципы; перестань отечество смотреть на себя как на универсальное учреждение для утирания обывательских носов, которые, – по всеобщему нас окружающему страху, – без таковой заботы останутся неутертыми.

* * *

Объективный труд, – труд без особенных углублений в себя, – всегда есть самая здоровая обстановка и для личной жизни, и для «себя». Век на работе – и душа спасена; а как станешь охорашивать свою душу – непременно загрязнишь ее, почти погубишь. Есть вещи, особенно нежные и впечатлительные, которые губятся одним прикосновением; «само-анализ», или инквизиция над собою, и есть такое неосторожное прикосновение к душе своей, которое непременно помнет ее таинственные, небесные пёрышки. Лучшая невинность – просто незнание «правого и лукавого», и достигается она простым и здоровым устремлением глаза всегда наружу, всегда на чужую жизнь, на общую. Корни не выносятся обнажения, а душа – именно корень нашей жизни, и вот отчего психологичес-

кие в ней копания или само-копания так скоро и у всякого переходят в психопатологические. Никто не оспорит, что три великие наши моралисты, внесшие в литературу столько «психологического анализа», вместе суть наиболее патологические наши писатели. Но связь здесь простая, что касаться души – вообще больно, страдательно, а по моему глубокому убеждению, – и не нравственно. Поддержали мотылька, только поддержали между пальцами, любовались им, любили его; а из рук выпустили уже изуродованного, сняв с пушистых крыльцев пыльцу и разрушив целость удивительной, из рук Творца вышедшей, гармонии красок. То же и с душою. Перейдем, однако, к возможному греху в ней. Настаивая на работе в «общую мирскую кучу», я вовсе не отрицаю и индивидуальной жизни сердца. Но личное – лицу, а – не обществу. Здесь решительно невозможно установить той «общей исповедальни», какая начала выходить у Достоевского в пору издания «Дневника писателя», ни начать издавать «всеобщие проповеди», на которые походят маленькие книжки Толстого, печатающиеся большими азбучными буквами. Грех так индивидуален, невыразим. Да и дайте человеку немножечко свободы, оставьте ему «религию», religio как «связь с Небом», его особенную и личную связь. Право, наши моральные grandes grêtres*, на всю Россию, разрушили маленькие домашние храмы, уничтожили мораль «своих пенатов», в каждой хижине, под каждой крышей. Проступок, грех пусть вызовет упрек в душе, и не нужно сокращать рост этого упрека или задерживать его через то, что «рассказал Фед. Мих. или Л. Ник-ичу» и успокоился. Грех тоже немножко биологическое явление, он тоже растет и живет органически; как и болезни имеют свою физиологию и анатомию. Счастье души, от правды проистекающее, угнетенность души, проистекающая от греха, пусть это и борется в личной душе, и открывается Небу – без какого-либо посредства, без неосторожного прикосновения литературных или других рук:

Ты царь: живи один.

Если это есть добрый совет поэту во вдохновении, то ведь и нравственность также вдохновенна, и совет этот вообще может быть применен не только к человеку как поэтическому существу, но и к человеку как нравственному существу. Напомню, что в древности, в великой и истинной религии, для нас истиной (ибо Библия не отменена) были «жертвы и грех». Но они были молчаливы, были между Богом и человеком, и никто, совершив грех, о нем неврастенически не рассказывал другому.

УЛУЧШИЛОСЬ ЛИ УЧЕБНОЕ ДЕЛО?

– Да, улучшилось, – торопимся сказать в ответ на этот мучительный вопрос нашему скептическому обществу. Русский человек как станет на оптимистическую дорожку, так уже везде видит голубое небо, а как станет на пессимис-

* великие жрецы (*фр.*).

гическую дорожку, то везде и во всем видит одно черное, без надежд, без просвета. Это чрезвычайно мешает всякому здоровому росту, который непременно складывается из оптимизма и пессимизма, из порицания и похвалы, из веры в свои силы и из сознания недостатков в окружающем. Школа наша несомненно находится в фазе разложения и сложения, быстрого отмирания одних частей и еще пока слабого зарождения других. Глядя на это, многие думают: «Что рушится – это мы видим, а что создается вновь – не видим» – и впадают в скептицизм, пространство которого, по нашей русской слабости, решительно теряет границы.

За два последние года мне приходилось – не часто, но все-таки иногда – беседовать и с учителями гимназий, и с родителями учеников, которые учатся в гимназии. Тон одних и других противоположен. Не забуду, как прошлый год ко мне вошел 20 лет преподающий историю учитель (из провинциальных) и сейчас же заговорил:

– Преподавание становится невозможным. У нас, учителей, отняты все средства наказания, или по крайней мере учебный округ и директор гимназии смотрят на применение их до того косо, что лишь очень смелый учитель решится пристращать ученика. Ученики пользуются безнаказанностью, и пошла такая расслабленность, при которой преподавание невозможно. Вы сами были учителем...

– Вот оттого именно, что я сам был учителем, я и отвечу вам, без злобы и насмешки, но с укоризною: двадцать лет педагоги все надеялись на «наказание», о похоронах которого вы плачетесь, и думали, что «единица» да «без обеда» поправят все в их преподавании. Не выучен урок: он не выучен потому, что учитель урока не объяснил; он не выучен оттого, что ученик переведен в данный класс без надлежащего усвоения курса предыдущего класса, что уже зависит от системы переводных баллов, по которой и с двойками переходят, и наконец, не выучен – в редких случаях – от малокровия и неврастеничности ученика, которого прямо надо задержать в этом же классе на второй год и вместе дать ему радикальный отдых; но на все эти причины один и ответ: «Остаться на час, на два часа после уроков» – после пяти уроков! И с необходимостью, придя домой, сейчас садиться за приготовление уроков на завтра. Я сам, как классный наставник, оставался с такими учениками на шестой и седьмой в сущности урок и помню оловянные, бессмысленные лица учеников 2–3-го, иногда 1-го класса. – «Ну, учите же слова, – говорю я им, – я отпущу раньше (т. е. продержу «без обеда» не полный час), если слова (не отвеченные учителю на уроке, и за что поставлена «единица») будут выучены раньше: слова, каких-нибудь 10 слов, не выучены и через час. Те же осовелые глаза, без выражения лица. Тут – малость, малокровие мозга, – вероятно, временное малокровие: это мог бы объяснить доктор, но его никогда о «неуспехах» не спрашивали, решительно – никогда! Вот теперь все переменилось, и вы плачетесь. Вам трудно. Соглашаюсь, что необыкновенно трудно: но исключительно оттого, что учителя не воз-

делывали своего дара, не возделывали своего долга, вообще не работали над своею необыкновенно важною для всей страны функцией. Вот где правда и корень дела. Когда им запретили наказывать – и жаль, что совсем не запретили, – они увидели себя в безвыходном положении: только на «наказании» они и ехали. Теперь они принуждены учить без наказания: т. е. учить *искусством* – а его-то у нас и нет! Теперь они вынуждены делать свой предмет привлекательным, занимательным, умственно интересным, любопытным: всего этого они не умеют и даже к мысли об этом просто не привыкли!! Теперь и настала анархия, на которую вы жалуетесь: однако выход из нее только тот, господа, чтобы вы начали уметь учить, искусно учить!!

– Так вы не хотите ничего писать?

Я крепко пожал его руку (педагог был, видимо, хороший, умный) и ответил смеясь:

– Не буду ни за что писать. Тонете – карабкайтесь! Так и выучиваются плавать неумелые пловцы.

Он тоже засмеялся и по крайней мере частью согласился со мною.

А вот другой разговор, совсем недавний, с отцом двоих сыновей, начавших гимназию. И я думаю, в труд многих учителей слова, мною услышанные, прольют много утешения:

– Как нынче учат в гимназиях! Я учился сам в Таганроге, в начале 80-х годов: это было что-то невообразимое!! Не было для нас лица более ненавистного, чем учительское. Единственная поэзия – надуть их, выкрасть темы (экзаменационные) из канцелярии или даже из стола в директорском кабинете. На подкуп для этого прислуги собирали деньги в складчину, и я сам, при выпуске, внес 15 рублей – кровных!! – Он засмеялся. – Было адское наслаждение в обмане; шик был именно в том, чтобы, мастерски приготовив исполнение темы, с малюсенькими «правдоподобными» ошибками – получить три, даже получить четыре, не зная предмета и на единицу, не зная его вовсе!! И тогда – в университет. Но это как после бани, кровавой бани. И там на 1-м курсе мы ничего не делали, дебоширили, политиканили, все в виде реакции на гимназическую акцию. А со второго курса начинали заниматься.

Он отер пот рукою.

– Моим детям этого и в голову не приходит. Способности не сильные; но в классе, на уроке, учителя так много работают, что дома ученику остается только разогреть сваренное кушанье, т. е. кое-что припомнить из объяснений учителя и кое что, очень немного, подучить по книжкам. Да это что, пустяки: предметом интересуются, и это в 13 лет! Говорю, что способности у сыновей не очень важные. Нет этого оловянного, безнадёжного лица у педагога, по которому видишь, до какой степени ты ему не нужен, не интересен, а между тем ежечасно имеешь до него кровавую нужду! Учебники (и он стал приводить в пример учебник по географии) – ничего похожего с прежним! Помните, бывало, у нас: «черноземное пространство», «мануфактурное пространство...». И он перешел к анекдотам старого времени.

Весьма возможно, что это – единичный пример, как и жалоба учителя на распушенность гимназии «без наказаний» – тоже ведь, может быть, единичный пример. Но скажите, не отрадна ли эта тенденция, хоть изредка высказываемая:

– Детям стало легче! – говорят родители.

– Нам стало труднее! – говорят учителя.

И «легче» или «труднее» – не в имморальном смысле, но в самом чистом, добром.

Вот где прорез голубого неба сквозь черные облака.

КТО ДРУГ СЕМЬИ?

Обыкновенно ищут в сочинении книгу и удивляются, найдя в нем человека.

Паскаль

I

Есть прекрасная греческая легенда о том, как Геркулес, дойдя в странствованиях до края земли, нашел там согбенного исполина, который держал на себе небо. Это был Атлас. Он попросил героя и полубога хоть на несколько минут освободить его от тяжести. Геркулес согласился и действительно в течение нескольких минут держал на себе небо, но только – несколько минут. Оправившийся Атлас снова принял на себя вечную тяжесть. Географическая точка этого приключения есть нынешний Гибралтарский пролив, дальше которого никогда не заплывали греческие корабли, доверяя рассказам финикийцев, что по ту сторону пролива море становится студенистым, густым, где невозможно плавание и где какие-то чудовища пожирают людей. Место это получило название «Геркулесовых столбов», а согбенный Атлас – это высокий хребет гор, примыкающих к проливу, который издали казался сходящимся с горизонтом. «Горы держат небо», «горизонт опирается на землю» – вот простая истина, которую разукрасило древнее воображение.

Легенда мне припомнилась от невыразимой тяжести, которую я чувствую каждый раз, когда хочу говорить о семье.

– Вы наконец надоедаете!!

Это – смертный приговор перу. Писатель может говорить еще долго, сколько угодно, но он умер в смысле действительности своей, как только роковое «надоело» произнесено о нем. И такова психика, такова тайная психика писательства, своеобразная стыдливость этого особенного ремесла, что писатель перестает говорить, кладет перо, запивает, застреливается, а уж не подойдет к чернильнице, как только над любимыми его темами прозвучало:

– Надоело.

Атлантова тяжесть. Но хоть немножко, на минуту ее на плечи. И да не сморщивает лица своего читатель и не пугает пишущего.

Кто в самом деле друг семьи? – *Государство*. Мы говорим это слово с глубочайшей тяжестью на сердце, ибо хотелось бы в семью участия гораздо более нежного и интимного, нежели какое способно оказать государство, вся природа которого внешня и рациональна. Семья только нужна государству, нужна как порядок; но и наконец-то государство благорасположено к семье как ко всякому вообще добропорядочному явлению, как к торговле, промышленности и образованию и даже несколько более. Вот граница их прикосновения, граница, скользящая на поверхности и не способная опуститься вглубь. Семья – это поэзия: государство этого не понимает; семья – это мистицизм: государство разводит руками. Для него семья есть просто несколько добропорядочно ведущих себя людей, крепко соединенных, мирных, трудящихся, платящих подати, доставляющих контингент учеников в школу и позднее – воинов и чиновников в службу и наконец через рашение увеличивающих престиж и мощь государства: «столько-то миллионов жителей, т. е. уступает только Англии с колониями и Китаю по численности; следовательно, третья держава в мире». Рассуждение очень короткое, и все эти понятия о семье – коротки, но во всех их есть плюс, все эти рассуждения суть положительные, а не отрицательные; в государстве вообще нет самонаименования, ни даже на йоту, отрицания семьи и семейного, просто как факта и просто как атмосферы быта.

Друг семьи. Это я называю быть другом семьи. С честным и поверхностным человеком или честным и поверхностным учреждением возможен полный откровенный разговор, и потому я сейчас же выскажу, что вся категория семейных отношений вовсе не лежит в плоскости государства, но уходит гораздо глубже его: государство есть явление, говоря геометрическим языком, двух измерений, т. е. оно имеет длину и ширину; семья есть вещь трех измерений; она имеет еще глубину или, что то же, высоту. Таким образом, семья, эта маленькая вещь, простой факт группы множащихся людей, – неизмеримо мистичнее, содержательнее и рациональнее и, наконец, священнее государства. Но прикосновение между ними и, так сказать, честное содружество вытекает из того, что государство, видя все плоды семьи благиими, не смотрит и на мистику семьи отрицательно. Я этого не понимаю; но я не решаюсь сказать, что это есть темная, отрицательная мистика, – просто потому, что тут солдаты, ученики, доходы, труд, все то, что мне нужно и чем я живу. В божественном, как и демоническом, я не разбираюсь и даже склонен их принимать за бабьи сказки: я беру факт выросший, сложившийся, этого краснощекого мальчугана, этого мускулистого детину и, брея лоб одному, обучая другого, говорю: благо. Вот и все. «Все» это, конечно, коротко, но оно все положительно, и семье до времени достаточно. «Мы – не бесовщина; мы не грех; от нас солдаты и ученики, бесконечные ученики и солдаты, и труд, и тишина, и престиж государства. Демон – вредит человеку, и уже по тому одному, что от нашей мистики во все стороны идет польза, – можно довериться, что это мистика не демоническая».

Имея три измерения, семья переживет, как и всегда переживала, государство. Римская республика, и наконец, и империя – пала, но сухощавые и сильные римляне, как уверяют путешественники, до сих пор живут с отличительными древними своими чертами около Неаполя и вообще южнее Рима. В прекрасных очерках «Египет и Палестина» г. Дедлов отмечает, что севернее Иерусалима, около Бейрута, и вообще побережью древнего Ханаана он встретил изумительное по красоте, – «единственное в мире», как он пишет, – население христиан с типичными чертами полусемитов, полуарийцев, бесспорных потомков финикийян. Игак, эта мистика вечная. Тут не только поэзия, нежность, священство, но вся эта эфирная и, казалось бы, сейчас рассыплющаяся ткань есть истинно адамантовая ткань по прочности, и она похожа на коллодиальную белую сетку над ауэронскою горелкою, которая, растираясь легко, как мука между пальцами, горит в сильнейшем пламени, блещет чудесным светом и не стораит. Феникс. Семья – это феникс; но временно вечному и прекрасному ее существу может быть бесконечно трудно, душно – и вот оно может бросаться в объятия в сущности чуждому ей, с нею несоизмеримому, государству.

Мальчик на улице. Ни родного, ни близкого. Темнота и связанные с нею страхи. Разве он не может прижаться к совершенно посторонней ему женщине, идущей мимо, за своим делом? – И добрая женщина, просто только добрая, без родственных связей к этому мальчику, может повести его за собою, дать хлеба, дать лавку на ночь. Не мать, но и не мачеха. В мире все связано, и государство от Бога же, только это есть меньшая и менее ценная вещь. Добрая хозяйка может приютить дитя не ее чрева и, будучи только квартиросодержательницею для него, может пролить на него столько ласки, что, хотя и несоответственно делу, оно может даже выговорить к ней: «Мама». Не мама, но вместо мамы. Это бывает в жизни, случается в истории.

III

Все доброе, что было сделано для семьи в последние десятилетия, – шло от государства. Но гораздо важнее его вековые добрые дела. Нужно судить семью и рассуждать о семье не с тех точек зрения и не в том пункте наблюдения, как это делается сейчас. Войдем в Калининскую больницу – в отделение печальной болезни. Вам душно; я беру вас за руку и перевожу под угрюмые, бесконечные своды Московского воспитательного дома. Вот пункт, который должен занять наблюдатель, ибо отсюда видно все. Возьмите табуреты, ибо нужно наблюдать долго, и рассуждайте о семье, не сводя глаз с фактов, перед вами происходящих. Государство так и сделало. Его называют «языческим институтом», «l'état est athée»*, но, знаете ли, был момент, когда я раз назвал его невольной святым. Нужно было мне нанять так называемую «образцовую няню». Все бился с разною русской и чухонской рванью: то пьет, то – с приятелями, то исподтишка жестока, но решительно всякая неумыта и небрежна. – «Да что вы бьетесь, вы возьмите образцовую няню, на Гороховой, номер дома такой-то».

* государство – это безбожник (*фр.*).

«Какую образцовую?» – «Их готовят, специалистки, из Воспитательного дома». – Пошел. Ну, казна как казна, скотные дворы, полутемная лестница, вывеска: «Контора», и немолодая, вроде классной дамы, женщина в черном. – «Няни? и сейчас? Нельзя: надо месяца за четыре или по крайней мере за три записаться. Четырнадцать рублей – отличная, одиннадцать – удовлетворительная, т. е. знает все приемы обращения с детьми и кой-что из гигиены». И мне рассказывали, что «образцовые» не упирали на поведение, тишину и добропорядочность. – «Что же, вы их учите?» – «Да, готовим. Вы их не можете прогнать, но и она вас не смеет бросить, и вообще со стороны порядка, за который вы особенно боитесь, дело твердо». – «Так нет?» – «Нет: все разобраны». Иду назад, скучный – и на тех же грязных дворах, уже приглядываясь, вижу солдата с медалями – это отставные служители при доме, но меня совершенно поражают немногие, но попадающиеся девушки. Лицо человеческое всегда что-нибудь значит, и плута вы не примите за героя, как и героя не смешаете с картежным игроком. В чистеньких скромных платьях, что-то вроде (по форме) столь любезных нашему глазу сестер милосердия, девушки молоденькие, с чистыми чудными ласковыми лицами, проходили туда-сюда, делали что-то. – «Это, служивый, кто же?» – «А это и есть образцовые няни: из воспитательного, подброс». – «Подброс! Святое государство!» Так я задумался, остановился и, всегда крайне не любя государства и всего государственного, в первый раз произнес я, произносил: «Святое государство». – Ведь, я думаю, тут были и злые, норовые в смысле темперамента, но или уж «плоды любви», горячо зачинаемые, естественно даровиты и прекрасны, или какое-то стальное терпение заведения все преодолело, но, только уча детей некогда в женской прогимназии, – я не видал этого чудного подбора лиц, манер, скромности и чистоты. Но во всяком случае – сколько забот, труда; какая прекрасная цель – в няни. И вот это преобразование брошенного ребенка, в сущности обреченного на гибель, в полнейшего члена социального строительства – поразительно. Кто не знает стихотворения Пушкина «Герой», написанного по поводу посещения императором Николаем холерной Москвы; поэт напоминает Наполеона и говорит:

Нет, не у счастья на лоне
Его я вижу, не в бою,
Не зятем Кесаря на троне.
.....
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный... Он...
Нахмурая ходит меж одрами...

Чудную притчу о Самарянина, который не прошел мимо израненного, а остановился, выслушав рассказ, поднял и забинтовал раны, – исполнило в этом пункте государство. В этом – и во всех; в этом – и уже века. Оно не побоялось самой невылазной грязи; смиренно смотря на себя и скорее, кажется, уничтожая себя и свое достоинство, чем преувеличивая или даже спра-

ведливо оценивая его, государство взяло себе только «раны», «раны» и «раны» семьи, не дерзая коснуться ее святости. Какая скромность! Можно ли не быть умиленным? И тому, кто перевязал все раны, – не будет ли ответным движением благодарности понести семейный «и ладан, и золото, и мирру», дары таинственных волхвов Вифлеемских.

IV

«Святое государство... Ты приняло заботы, не побоялось грязи; ты не всматриваешься в страсти, не вникаешь в метафизику: но, ограниченное, ты дало любовь и за любовь и труд достойно и жезла управления». Государство не только лечило вечно проституцию*, подбирало и воспитывало выброшенных из семьи детей, но и в каждом единичном случае, в индивидуальном сочетании обстоятельств – всматривалось, выслушивало, размышляло, решало – всегда к лучшему. В «Комиссию прошений на Высочайшее Имя приносимых» текли слезы – и оно их вытирало, полз скрежет зубовой – и оно его утишало.

Итак, семье пора догадаться, что положительно-трансцендентного отношения к ней все равно и со стороны Церкви** нет, и, лишь не прислушиваясь к словам о себе, например к словам молитвы над родильницей, она не догадывается, что всякий раз ее «прощают за грех», «очищают от скверны», но ни в каком случае не возводят в святость и ничему, в ней происходящему, не радуются. Государство же все-таки радуется, хотя простою человеческою радостью, радостью «двух измерений», несколько плоско***: что вот будет много солдат, будут хорошие ученики, выйдут чистоплотные и благовоспитанные няни. Все-таки не «бесенок» и не из «бесовского теста». Вот почему, подобно тому как роженица отдается в руки акушера, хотя он «le médecin athée»****, так и семья, в ее бесконечно оставленном положении, может броситься в опеку и заботы государства, как все-таки нравственного человеческого института. «Дети – да! да!» – говорит оно; «семья – да! да!». По крайней мере – не будет детоубийства, сократится и, может, вовсе исчезнет проституция*****: ибо ведь если тысячу лет росли эти зияющие раны семьи, то вечный феникс семьи тысячу же лет может

* Какими средствами? Желательно указание на точные факты, когда является подозрение в благонамеренной, но малоубедительной риторике. Интересно здесь, кстати, припомнить заметку самого В. В. Розанова по поводу привлечения Скобелевым на театр военных действий веселых девиц... в целях гигиенических... Лет десять тому назад В. В. Розанов был свободен от столь чрезмерного культа государственности и едва ли не ближе стоял тогда к истине... *Ред.*

** Тут куча недоразумений... Так, В. В. Розанов полагает -- и он много раз это высказывал в печати, – что слова «дуни» и «плюни», произносимые от имени крещасмого во время таинства крещения, означают: «Плюнь на родник бытия», т. е. на физическую сторону брака... Подозрение это решительно ни на чем не основано... *Ред.*

*** Вот то-то и есть, что «плоскою», а Церковь радуется бесконечно мистической и бесконечно глубокой идее бессеменного зачатия и девственных родов!... *Ред.*

**** врач-безбожник (*фр.*).

***** Как много данных в пользу такой надежды в реальных фактах истории! *Ред.*

обратно начать расти, развиваться, здороветь, дышать и отдышиваться. Тысячу лет в опеке государства – и все-таки временно; может быть, даже только сто лет: темное трансцендентное ученье о семье сменится светлым трансцендентным как о вещи, лежащей в порядке божественного, а не демонического.

Скажут: это – слишком ново; представьте – это чрезвычайно древле. «В первые времена церкви и в продолжение нескольких веков брак имел лишь государственнй смысл и поддежал лишь государственной юрисдикции, без всякого непосредственного отношения к церкви. Христианин вступал в брак по существовавшим гражданским законам, и брак этот, если только был согласен с предписаниями закона, если был *legitimum justum matrimonium**, церковь признавала без всякого порицания. Наряду с этим браком появился, но более поздно, и брак церковный, скреплявшийся перед епископом и священниками. Но этот брак не имел никаких гражданских последствий в греко-римском государстве и считался перед гражданским судом как бы несуществующим. Для того чтобы брак этот мог иметь и гражданское значение, он должен был совершаться еще по предписаниям гражданского закона, независимо от его церковного совершения. При таком положении вещей сама церковь предлагала своим верным гражданский брак ради их правильных гражданских отношений и лишь по совершении его требовала, чтобы они приняли благословение своего брака от священника (еп. Никодим. Православное церковное право. СПб., 1897, с. 575–576).

Вот важное сведение, которое мы приводим для облегчения совести верующих и также, чтобы показать почву для мероприятий государственных.

Заметим, что к VI веку уже окончились Вселенские соборы и весь организм церкви сложился. Добавим, что нам глубочайшим образом антипатично, даже в исторической дали, это положение супружества в руке кесаря и судов и законов его. Мы признаем его светлую трансцендентною тайною, в порядке вещей Божественных, лежащую в «руце Божией»; но таковою мы признаем вещь брака, а не словесную его оболочку. Словом, мы признаем брак реальным таинством, а не номинальным, и божественным, а не демоническим. Но все эти слова молить, очень поздно сложившихся в какую-то беспросветную средневековую тень, о «скверне» супружества, о «порочности» зачатия младенца, о необходимости для него ранее вступления в церковь отречься «от сатаны», которого и невозможно заподозрить нигде, как в центральном супружеском акте, вся эта сумма данных с несомненностью открывает взгляд на него как на реально-демоническую вещь, а не божественную. От такого взгляда семье некуда броситься, как только к государству. С другой стороны, и государство имеет право, право всей христианской истории до Юстиниана, сказать: «Нет, меня утомила проституция**», и глаза мои не выносят детоубийства».

* в соответствии с законами брака (*лат.*).

** Читай для убедительности заметку В. В. Розанова о среднеазиатском походе Скобелева и его санитарных мероприятиях по армии. *Ред.*

Мы же добавим, что нет закона для смерти, а есть закон для жизни: и когда столь очевидно для всех, что семья идет к смерти, что она не только количественно сокращается в стране, но и морально дегенерирует и, очевидно, в цикле существующих норм нет для нее исцеления, нет «воды жизни», своевременно подумать о новом копании «живой воды» и о совершенно иных нормах. Мудрые есть еще на земле. Они могут думать. Они могут делать. И около них может быть критика, которая им поможет не ошибиться.

РУССКИЕ ИДЕАЛЫ

Пл. Кусков. Наши идеалы. – Разговор на палубе.
Москва, 1904.

Интересная маленькая книжка «Наши идеалы» г. Кускова, только что появившаяся на книжном рынке, имеет задачей свою показать и объяснить некоторые черты нравственного облика нашего народа. Все в ней дробно, взаимно переплетается, и не отличишь, где начинается «самодержавие», где «народность», где «православие» – эти члены знаменитой патриотической триады. Полное отрицание плаката, вывески; даже отрицание формулы и вывода. А между тем в миниатюрном, но жизненном снимке с русского народа, какой дает книжка, она служит всем трем идеалам, но служит так невольно и бессознательно, как дитя служит матери. Изложена она в форме подслушанного разговора на черноморском пароходе одного русского и одного иностранца, говорившего на неправильном французском языке; и относится к времени сближения между Россией и Францией.

– Зачем вам договор между нами и вами? – говорил русский. – Вы его желаете, на него надеетесь; думаете, что дело будет обеспечено, если бумажка подписана обеими сторонами. Между тем это с вашей точки зрения: мы, напротив, боимся договора, уверены, что он начнет все портить, ибо у нас, у русских, о «подписи документа» заходит речь лишь тогда, когда доверие разрушено и один, хитрый, хочет обработать другого, простоватого. Договор у нас не есть документ обоюдно достоверного, а, напротив, именно орудие обмана, способ «провести другого», способ притеснить слабейшего. Согласитесь, что относительно Франции мы – лучше политически поставленная страна, по крайней мере в данное время. И желание-то «заключить письменные условия союза» с нашей стороны и было бы обнаружением и первым шагом всем воспользоваться от союза и ничего за него не дать. И уж, поверьте, мы бы воспользовались, подписав бумажку. Но в этом счастливом случае Россия действительно полна энтузиазма, она восхищена союзом такого Самодержца, как Александр III, с радикальною республикою. Мы готовы вам чистосердечно служить, помогать: и потому никаких письменных условий не хотим.

– Но ведь если все письменные соглашения у вас существуют в целях борьбы, притеснения, обмана, то это... согласитесь, что это что-то чудовищное в смысле национальной вашей нравственности?!

– Живем помаленьку. Все же договоров заключается менее, чем сколько есть дел без договора; и вот хотя среди них тоже случаются жестокие обманы, но русский, обманув по договору, как-то не совестится, вина во всем обманутого же, который не следил за ним и «за исполнением условий договора». Напротив, обмануть без договора – это и есть, по-нашему, обмануть доверие, воспользоваться слабостью, облапошить наивного. Я сказал, что и это бывает: но об этом – самые горячие покаянные слезы русского человека. Как Каин зарезал Авеля – то же ощущение. Я сказал, что дел без договора ведется более, 1000 штук на один случай с договором: и Россия не жила бы, все дела и отношения в ней давно бы рухнули, не будь все-таки в девяти случаях из десяти этих дел «без условий» – полной и уже безукоризненной честности: честности с надбавкою, если позволите выразиться. Таким образом, Россия не то чтобы бесчестная страна, обманывающая доверие, не исполняющая обещаний: но в документальной своей части она действительно близка к этому, и это просто великое несчастье, что по каким-то причинам с самого же первого начала русский человек посмотрел на «бумагу с условиями» как на притеснение с одной стороны, верхней, и как на полное разрешение нижней притесняемой стороне «надуть по параграфам» этого же договора, ничего не исполнить, все бросить и плюнуть на того, чья подпись стоит рядом с его на договоре.

– Ужасно, по крайней мере с нашей точки зрения!

– А у вас ужаснее – с нашей, ибо ведь решительно нельзя всяческое дыхание человеческое оформить в договоре, и мы, при честности по договору и психической готовности всячески поступить без договора, всего ожидать без договора – прямо не сумели бы дышать, не могли бы жить!! А теперь живем, хотя, например, торговые и промышленные наши дела действительно хрупки.

– Все наши дела, большие дела, почти только у старообрядцев ведутся по-старому; и посмотрите – они не знают безденежья, у них нет кризисов, редки несостоятельности, как и пьяного, развратного и голого рабочего люда у них нет же. Труженик руками и труженик головой оба встают рано, оба кладут на себя большой крест, живут одним духом, одной жизнью, ходят в одной одежде, почти едят одну пищу, и только один распоряжается миллионом, а другой десятью рублями. Но, выключая старообрядцев, действительно вся Русь, едва прикасается к большим делам, – не имеет для них никаких форм, никаких схем, которые сколько-нибудь вытекали бы из ее духа и истории: и путается в заимствованных у вас шаблонах, как дикарь путается, взойдя на пароход, около его барометров, компаса, монометров и всяческих диковинок.

– Вы, однако, произнесли слово «дикарь»?

– Да, народ у нас пахнет деготьком. Он так и называет себя «черным народом», «темным народом», но это только в отношении вашего опреде-

ленного и, может быть, условного света и условной же чистоты. На самом деле под этой жесткой корой, под смиренными эпитетами о себе – народ наш страшно горд, самоуверен, тверд, но все это в таких своеобразных формах, что вы, пожалуй, примете его за раба. Но ведь раб Эпиктет никак не обменялся бы натурой и положением со своим господином, имя коего пропало в безвестности. В народе нашем есть страшная и едва ли для какого бы то ни было «света» одолимая уверенность, что под своею корою он несет сокровище абсолютной душевной ценности, прямо царствие Божие; что он – с Богом. И вот за это, что он – с Богом, он готов положить свою жизнь, душу, судьбу.

– Т. е. что он с церковью?

– У вас воздвиглись прекрасные готические соборы. Кёльн, Страсбург, Вестминстерское аббатство, Notre Dame de Paris* – вот манифестации вашей религии, да пожалуй, – и она сама. Ну, а у нас «церковь не в бревнах, а в ребрах». Привожу вам поговорку, как ее слышал, и, сколько я размышлял над нею, я не могу ее объяснить иначе, как тем, что у русского человека, каждого единичного, есть страшная сила религиозной самоуверенности, страшная твердыня веры в свое темное, неведомое, тайное я, и он говорит: «Во мне Бог живет», «я храм Божий», «я сам церковь». Наши писатели, как Тютчев в известном своем стихотворении:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь-небесный
Исходил благословляя...

или как Достоевский в утверждении, что «в каждом человеке *таится искра Божия*», только были тавтологичны этому народному утверждению. Оно было бы странно или смешно, если не было так смиренно, так, если позволю себе выразиться, глинисто, землисто, без всяких претензий и намерений. Таким образом, это не грозит никакой церкви, хотя, согласитесь, не сливается ни с одною церковью. Здесь человек опирается не на величину своих сил как вулкана, а только констатирует то, что он видит в бездонной глади океана души своей как стихии светлой и тихой, не грозящей и самоубежденной. Я не умею выразиться, боюсь ошибиться. Совести своей народ ни за что не продаст, и совесть свою он поставляет выше царств и престолов, и выражает это так просто и серо, что это никого не оскорбляет, многих смешит, но кой-кто над этим задумывается. То, к чему народ наш относит эту «церковь, сущую в ребрах», есть полужакт, полумечта. Тут много грезы, но есть и очень много действительности, даже больше действительности.

– Какой?

– Это можно выразить только поговорками же, и я вам приведу еще одну: «Человек рождается не для себя». Около нее, как маленькое разъясне-

* Собор Парижской Богоматери (фр.).

ние или дополнение, приведу другую: «Жить – Богу служить» В этих двух строчках выражается целое мирозерцание, потому что как они ни кратки, они приложимы на каждом шагу жизни, в малейших частностях бытия; к ним можно обратиться за советом и помощью во всех решительных, роковых случайностях жизни. Страшусь, чтобы вы не вывели какого-нибудь ханжеского последствия из моих слов. Религиозная истина, содержащаяся в приведенных мною словах, более метафизического и менее морального содержания. С нею входит человек в мир для каких-то таинственных, ему неизвестных предназначений; он несет службу – кому? какую? темным силам? светлым силам? Ведь всего этого в пословицах не определено. Но он знает твердо, что он входит в мир, как новобранец – в строй солдат, т. е. входит не в хаос, а в план, в организацию, в систему, ключ и разъяснение которой ему никогда не будет показан. Отсюда громадные готовности русского человека, параллельные с страшными силами перетерпения несчастий. Я не спорю, что злые и ленивые люди слишком возложили много надежд на это его «терпение» и извлекли из него не лучшее, что могли бы, а худшее. Вообще великие особенности русского духа также допускают и злоупотребления собою, возбуждают даже насмешку над собой: но это уже худая обработка, какую мы, просвещенные вашим светом люди, даем драгоценному народному алмазу. Русский народ есть теперь единственный, последний уже в истории народ мудрецов, как древние халдеи, египтяне, как евреи; но – в своеобразных, северных, зимних, а не солнечных (как те народы) чертах. Этот народ мудрецов резко разделяется на две толпы: прошалы, отколовшихся от своей мудрости и начавших пропивать себя, как Исаак продал свое первородство за чечевичную похлебку. Сюда относятся не только голытьба деревенская, деревенские озорники, но и озорники городские; относятся сюда и мироеды, и миллионщики. Но меньшая часть стоит на своем, хранит серьезный вид, и, поверьте, в судьбах России она еще скажет свое последнее слово.

– Какое слово?

– Не отвечу вам прямо, но отвечу вам косвенно. Сколько есть страдальцев за русскую землю, страдальцев среди больных и здоровых, знаменитых и безвестных, богачей и бедняков. И без них, ей-ей, Русь давно бы пошла на слом: до того в ней вообще много плохого, слабого, бесстыдного, – этого я не буду от вас скрывать. Здесь нужны не рассуждения, а рассказы. Вот вам на выбор один. Жил в Перми купец, из крестьян, Адриан Пушкин, человек уже в годах степенных. Был серьезен, всеми в городе уважаем, и вечно читал большие книги, преимущественно церковной печати. И додумался он до каких-то религиозных сомнений, и взяло смущение его душу, и затревожился. Другой начал бы судачить с приятелями, издеваться, осмеивать, сеять смуту. Но у нас «церковь не в бревнах, а в ребрах», и соответственно этой вере каждый и держать себя должен прибранным, как храм Божий. Начал Пушкин подавать какие-то бумаги в разные правительственные учреждения: обер-прокурору Св. Синода, в Комиссию Прошений, митропо-

литам. Не получая оттуда ответов на свои запросы, он собрался в путь сам, оставив в Перми жену и детей. Представил в Синод какую-то картину аллегорического содержания, с просьбою издать; но Синод нашел ее не согласною с учением православной церкви и к печатанию не благословил. Так хлопотал он годы, все не рассказывая никому о своем деле, и прохлопотал все свои средства, ибо торговля давно была им заброшена, и семья впала в нужду. Тогда он обратился к городскому обществу с просьбой судить его некоей суммой для одного дела, в высшей степени важного для правительства и секрет которого правительственным учреждениям известен, а частным людям сообщать его он не находит полезным.

Город согласился: заметьте, до чего это фантастично, а вместе и как-то трогательно. Однако новый городской голова потребовал непременно раскрытия секрета, на который городское общество тратило часть своих сумм, и вот тогда поднялось это дело, вытребовали раба Божия в Петербург, а из Петербурга переправили его, не заезжая домой, в Соловки. Здесь в нем принял участие губернатор, который очень жалел его, обещал ему содействие и освобождение, если только он оставит свою в высших сферах не одобренную идею. «Не могу, – отвечал он, – я буду болен». Через 14 лет после заключения встретил его один просвещенный путешественник, который и поведал в печати о его судьбе. Сидел Пушкин где-то в башне, в потемках. Монахи, на увещание которым он был послан, сначала пускались с ним в словопрения, но убедились, что его сломить невозможно, и все их увещание свелось наконец к одному: «Поклонись ты нашим угодникам и ступай с Богом на все четыре стороны». – «Не могу». Семерых оставшихся в Перми детей и жену он не мог вспоминать без слез. Старшие сыновья уже учились в гимназии, когда его от них увезли. Жить было нечем: мать их взяла из гимназии и отдала в услужение. Все это путешественник-рассказчик слышал от самого заключенного, который при этом плакал. «И вот меня удивляло, – говорит он, – что ни малейшего озлобления против кого-нибудь, упрека кому-нибудь в его тоне не было». Пушкин считал, что виновато одно только время. «Время должно оправдать меня... И оно оправдает, я верю в это... Если же я заблуждаюсь, если все это только кажется мне истиной, то пусть соловецкая тюрьма будет моею могилой». «Разговор еще продолжался, – кончает путешественник, – и Пушкин еще весь был растроган своими воспоминаниями о жене, о детях, когда подошли два солдата и один из них, остановившись перед Пушкиным, *почтительно* (заметьте!) промолвил: «Пора, время уж!..» – «Что такое?» – спросил путешественник. «В тюрьму пора», – объяснил Пушкин. «Я посмотрел на него и удивился: перед мною снова стоял загадочный человек с гордым, уверенным видом, для которого, казалось, не существует ни житейских привязанностей, ни симпатий».

– Болезненный случай, – возразил иностранец на пароходе. – Я хочу сказать, что это был патологический субъект, помешавшийся на какой-нибудь сумбурной идее.

– Вы так осуждаете, не видав человека и не выслушав его мысли или плана? А он 14 лет просидел в заключении, никого не осудив. Измерьте разницу веры в человека у вас и у него. И неужели вы воображаете, что так-таки «в 1904 году в городе Петербурге уже найдена вся и полная истина», так что более и искать осталось нечего, и задумываться, и сомневаться, и спрашивать?! Полноте! В лучшее время нашей собственной истории, в век Колумба, Иеронима Пражского, Гуса, Виклефа, Рожера Бэкона, разных «алхимиков», «еретиков» и «утопистов», разве не томились совершенно такие же люди по германским, французским, испанским, английским, венецианским тюрьмам? А теперь о них собираются малейшие биографические сведения, и много дали бы ученые, чтобы иметь в руках их «сумбурные» рукописи, планы или те же «аллегорические картины». Я, однако, не спорю о возможности патологии здесь, хотя новейшая наука признала вообще большое участие патологии в произведении гениев, открытий, всякого рода изобретений. Но обратите же внимание на нравственную сторону дела: неужели вас не восхитит образ этого человека, столь полного энтузиазма и вместе столь полного спокойствия. Свобода... знаете ли, что только у нас она допустима до последних граней, ибо русский человек не злоупотребит свободой.

– Русский бунт ужасен, это сказал, кажется, ваш Пушкин, поэт.

– Бунт не свобода. Бунт – сумасшествие, социальное безумие, временное умопомешательство улиц. Неужели можно судить по белогорячечным минутам о виде и образе того же здорового человека? Минута пройдет. Белая горячка не длится ни годы, ни даже месяцы. Но здоровый русский человек способен к безграничной свободе по великому этическому своему характеру, по чувству вкуса у него, который всегда отделит и осудит безобразное и смешное, по мерилу в нем нравственной оценки, которое безгранично. Многие замечают, даже из иностранцев, что русская литература есть самая этическая из всех. Между тем это есть единственное явление, которое русское общество сотворило своею охоткой, без указки и поощрения. Здесь наиболее выразилась русская душа, как она есть; что она думает, чего она желает. И, право, это может выдержать всемирный экзамен. Кстати, знаете ли вы, что такое «Русь».

– Русь?! Государство русское!

– Я справлялся у Даля, который записывал говоры в разных местностях и по ним выводил общее или основное определение понятия, слова. «Русь = мир, бел свет, свобода, простор». У него приведены и примеры: сидит ямщик на облучке, одна нога в санях, а другая «на руси». Это значит – «на свободе». Дом у мужика стоит «на руси». Это значит, что он стоит на открытом месте, свободном со всех сторон. Вернемся к договору и договорному началу. И дела все делаются у нас «на руси», то есть чтобы простор был в деле, чтобы не по пунктам и параграфам, а в волюшку, с надбавкой, но не по заказу. Как «заказ» – так это неметчина, другая страна, иной дух. И, знаете, даже наши отрицатели, величайшие противники русского духа и русской истории, не

могут, не умеют не подчиниться глубочайшим образом этому же духу. В Женеве, Лондоне, Париже они все делают «на руси», без заказа, вне порядка, «в волошку». Никак не умеют подписать «соглашения» с западными своевольниками, которые им кажутся настоящими рабами.

– Все это интересно. Не спору, что кой-где есть трогательное. Но, знаете ли, все это... какая-то ἀτομία, «неуместность» в прогрессе нашей западной истории. Греческим словом этим афиняне определяли характер Сократа. В вас, русских, есть что-то сократовское, мудрое. Но много и ужасно смешного, что, впрочем, было тоже и у Сократа. Вы вообще представляете собою какую-то неясную даль, как в дороге. Европа шла-шла. И дошла до вас. «Это что-то далекое и неясное» – вот ее впечатление. Кончились наши железные дороги – и уперлись в степь с колокольчиками, ковром трав и изредка мелькающим среди них татаринном. Вы татары? Ей-ей, вы только татары!

– Может быть, это так же верно, как и то, что мы Сократы, то есть в конце концов самые утонченные, завершительные афиняне. Действительно, у нас как-то неуловимо философия переходит в свинство, и свинство оканчивается философией, и русский человек в одних частях татарин, в других – мудрец. Но ведь и Бог сотворил человека из глины и духа Своего, так что и в этом отношении народ наш наиболее богозданен. Египтяне, изображая человека, всегда оканчивали его головой животного: кошки, ибиса, собаки, коровы. Так им нравилось, хотя, по сохранившимся золотым маскам с мумией, лица у них были поразительно прекрасны. Вообще Россия немножко навозом попахивает, хотя два века наши чиновники и просвещенные люди только и усиливаются, чтобы настлать в нашем хлеве паркет. Между тем, не говоря об египетской мудрости, и христианам не следовало бы забывать, что их Избавитель и Исцелитель родился в яслях. И, знаете, никоим образом нельзя представить себе, никакой историк не расскажет и никакой песенник не запоет, даже во сне не может присниться, чтобы наш Христос, как мы Его знаем, как мы Его любим, мог родиться на паркете. Какое-то таинственное несоответствие, никем еще из историков не выясненное. Чиновники же наши, да и просветители не по разуму, в хлопотах о паркете незаметно искореняют самую возможность Христа; так сказать, убирают коврик, по которому единственно могли бы ступить Его ноженьки. И вот отчего мы в своем «навозе» упорны.

– Азия!

– Нет, но и не Европа.

– Какой-то обоюдосторонний нигилизм!

– Почему же не двустороннее утверждение!

Я изложил своими словами, немного распространив и разъяснив, часть содержания интересной книжки г. Кускова «Наши идеалы». Не все знают, что это уже очень старый писатель, обзор 50-летней литературной деятельности

которого был этим летом сделан в одной из наших газет, автор стихотворного сборника «Наша жизнь» и переводчик, с большими пояснениями философского характера, трагедий Шекспира «Ромео и Юлия» и «Отелло», участник еще «Времени» и «Эпохи» Достоевского и горячих битв того времени.

ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

У Достоевского в «Дневнике писателя» за январь 1876 года есть крошечное как бы «Post-scriptum», озаглавленное: «Золотой век в кармане». Оно сделано после описания детского вечера и елки в клубе художников, которыми, по разным причинам, наш автор остался решительно недоволен. Подростки обоего пола, во множестве толпившиеся на вечере, не узнали старого писателя и «очень толкались». Можно бы, конечно, простить, но угрюмый писатель не простил, написал об их грубости, – и вот, уже кладя перо, приписал всего 30–40 строк: «Золотой век в кармане». В целом творчестве Достоевского, во всех 14 томах его посмертного издания, это есть одна из самых центральных точек, никем в критике, кажется, не отмеченная:

– «Ну что, – подумал я, – если бы все эти милые и почтенные гости захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушными, – во что обратилась бы тогда вдруг эта душная зала? Ну что, если бы каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что, если бы каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямотушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума – куда ума! – остроумия самого тонкого, самого общительного, и это в каждом, решительно в каждом из них! Да, господа, в каждом из вас все это есть и заключено, и никто-то, и никто-то из вас про это ничего не знает! О, милые гости, клянусь, что каждый и каждая из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада, Дон-Жуана, Лукреций, Джульет и Беатрич! Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если бы и всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами, в этой же большой зале. Да что Шекспир! Тут явилось бы такое, что и не снилось нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны! Знаете ли, что даже каждый из вас, если б только захотел, то сейчас же мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? И эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятною...» Затем он говорит знаменательно, что и гг. генералам не надо было бы даже переменять мундира, чтобы войти в этот золотой век, который уместит в себя все их регалии и, словом, ни с кого ничего не снимет, ни в чем не обидит, не умалит, а всех обогатит тем богатством, какого он сам внутренне желает. Только бы, заме-

часть он, мы имели силу духа вдруг и разом раскрыть все то, что в нас таится и что гораздо лучше тех масок, какие мы показываем друг другу.

– «И были оба наги и не стыдились», – сказано в вековечной Библии о райском состоянии человеков. Достоевский говорит, в сущности, о подобной же страшной (теперь и для нас) нагоде человека, но только не физической, а духовной. Будем все, как есть; откроем все свои помыслы друг другу; скажем громко о страстях, пристрастиях, претензиях. Сказанные велух, они выдохнутся в зле своем, тогда как теперь точат наше сердце. Зло похолодеет, атрофируется, будет уничтожено просто тем, что все его увидят и закроют от него, жалостливо и с болью, глаза рукою. А добро широко распухнет, ибо в сочувствии всех найдет необъятный импульс себе. О, и теперь это есть, но как-то криво и неполно вследствие искаженности вообще всех человеческих отношений, вследствие сковывающего всех взаимного притворства. История дел человеческих есть до известной степени история человеческих гримас, и Достоевский предлагает прекратить эту недостойную комедию.

Во всяком случае этот рецепт реальнее и живительнее пресловутого «непротравления злу». – «Давайте все быть, как есть». Ну, это полный реализм! Не язычество ли это? Да, пожалуй, это и есть настоящее и единственное язычество, ибо сразу из XIX века перенесло бы людей в век Гомера, Эдды и былин, когда люди именно были «как есть». Если с эстетической точки зрения история есть только принужденная гримаса, то со стороны ее сущности она есть преемственное построение разных условностей и придание им гораздо большего значения, чем какое отдается реальному миру.

Так или не так, но в последующей жизни своей, которой значительная часть прошла в чиновных рядах, я убеждался ежедневно и годы, до чего правильно и универсально приложима мысль Достоевского. В самом деле, «золотой век» у нас «в кармане». Вы думаете, мы, чиновники, положим, контроля не сумели бы так обревизовать Россию, так досмотреть за всеми в ней постройками, инженерными предприятиями, вещевыми складами, что попошинка «казенного интереса» не пропала бы? Да мы знали более чем отлично всех, кто ворует, и где воруют, самые способы воровства и мотивы воровства, знали до такой степени, чтобы отличить, которое ворует для «семейной обстановки» жены и которое для нарядов любовницы. – «Но почему же вы не кричали? Не хватало?» – изумится читатель. Но ведь «золотой век» из кармана еще не вытащен. Как *частные люди* мы, конечно, все знали. Но как *официальные люди* мы столь же всеконечно ничего не знали! Золотое дело службы, ее «золотой сон» – были у вас в разговорах. Но вот мы надевали мундир, вступали в должность и... шекспировская даровитость пропадала. Мы имели вид тупиц, сонливых, равнодушных к делу, безучастных к людям, к России. Дожидались своих 5½ часов (момент окончания службы), сдвигали все «дела» в стол, запирали его и, поплевав немного около стола, – отправлялись кто на Петербургскую, кто в Гавань, кто на Пески.

Или учителя гимназий? Видел я их и как ученик – официально, и как товарищ – под углом «золотого века в кармане». Какая разница, какая неиз-

меримая разница, точно две разные породы людей, точно самое рождение у них было разное! Да они на самом деле до того проникнуты желанием учить и уменьем учить, а если нет, то по крайней мере воспитывать, что, кажется, скажи Царь-Батюшка этим нескольким тысячам человек: «Вот, о вас много худого говорили, но я верю, что вы люди добрые; знаю, что содержание ваше скудное, но потерпите еще лет 10–15, ибо Россия темна и нища и помочь вам не из чего; а вы уж без всякого торга возьмите на себя бремя, как и я, как и все, на эти 10–15 лет и сделайте, чтобы через эти 10–15 лет не было темного человека в нашей России, и как хотите это сделайте, как умеете, а только чтобы через 15 лет стоял на Руси бел-день вместо черной ночи...» И, поверьте, кинь эту задачу перед громадой учителей на самостоятельное ее разрешение, и через 15 лет Россия в ученом, образовательном отношении сделалась бы неузнаваема! Студенты праздны? не учатся? вольнодумцы? Да опять же брось их на настоящее дело, как бросают их в холерные годы, как теперь они работают в Манчжурии, и все преобразится не через годы, а через дни и недели, и они сотворят чудеса. Не забуду переданного мне рассказа, как мужики великорусского села поднесли икону Николая Чудотворца еврею-медику (студенту), не зная или не догадываясь о его происхождении (он был рыжий). Село было жестоко настроено и готовилось убить всякого доктора, который у них покажется, а смертность шла страшная. Никто и не шел. Студент же этот был сам с задатками чахотки (и вскоре умер), бедный до нищеты, и не только в это село вызвался пойти, но сейчас же и изодрал бывшее у него платье и белье для нужд больных, и как мужики увидели, что он всего сейчас же «решился» сам, то и подумали, что по крайней мере такой отравлять не станет (всеобщая гипотеза о докторях в холеру), и решили его не убивать. А затем сейчас же образовался около него штаб помощников (из мужиков) по уходу, и в несколько бессонных недель он приостановил же холеру, и мужики ему поднесли икону. А может быть, до этого случая он также безнадежно пропускал лекции или дремал на них, проводил время в пивных или бестолково толкался в коридорах университета, вместо того чтобы сидеть в аудиториях. «Золотой век» был... в «кармане», как он в «кармане» у контрольных чиновников, у учителей; но пришло дело, настоящая минута... и несколько лучше оказался тот же человек! Нет, Достоевский не бредил, и «золотой век» возможен не только на фарфоровых чашках, как недоуменно спросил он в том же «Post-scriptum»¹е.

* * *

Под впечатлением недавнего фельетона кн. Васильчикова, где были приведены мысли его отца о самоуправлении, я перечел записку К. С. Аксакова: «О внутреннем состоянии России»*, представленную в 1855 г. Государю

* Перепечатана из «Теории государства у славянофилов. Сборник статей И. С. Аксакова, К. С. Аксакова, Аф. В. Васильева, А. Д. Градовского, Ю. Ф. Самарина и С. Ф. Шарипова». СПб., 1898.

Императору Александру II, где всего полнее изложены основы славянофильского воззрения на государственный и земский строй нашего отечества. Я хотел писать серьезный разбор этой «Записки» и... положил перо и рассмеялся. До такой степени вся «Записка» полна кабинетных иллюзий, вне всяких веяний «матушки-земли, как ее Бог устроил». Ну, напр., это с пеною у рта уверение, будто русские от начала и извечно «чужды желания управлять собою» и не имеют вовсе в себе инстинкта власти и властвования, столь общеорганического, что в известных формах он встречается не только у льва, но, кажется, даже встречается у моллюсков. У одних русских, на этот раз «уродов» (ибо ведь «уродство» есть «исключение»), будто бы его вовсе нет, и это доказывается двойным призванием князей – первичным в 862 г. и вторичным в 1613 г. Пусть так. Но разве не есть также русские народные явления вольнолюбивое казачество? Походы и удаль Ермака? «Господин Великий Новгород», весьма властительный относительно «пригородов»? Именитое боярство до Петра с его «местничеством» и именитое купечество после Петра, последнюю фазу которого описал Островский? Разве мы не видали «вельмож в случае» с их властолюбием до самозабвения? Ведь все это русские явления? довольно массовые! и гораздо более выражающие общерусский характер, чем механизм призвания на княжество. А мучительное властолюбие боярства, которое свергнуло Федора Годунова, Димитрия I и ограничило Василия Шуйского и даже Михаила. Нет, в отношении постижения нашей истории все это – бумажные теориейки. Но и по моральной оценке стоимость рассуждений Аксакова не выше. Он хочет соединить – и разделяет. Он противопоставляет «Землю» и «Государство» друг другу, порывает нити общего и, следовательно, нити общения между ними, как будто возможно их не на бумаге, а в самом деле разделить?! Что такое «Государство» без «Земли», вне веяний «Земли», как не бездушное тело, бездыханное тело? Что такое «Земля» без «Государства» и «государствование» в ней, как не комок изуродованного тела, из которого вынута все твердое. И что за разделение? Да и для чего оно? Почему народность русская, «нрав и обычай» русские, русское слово, русская совесть, что все Аксаков выделяет в особую категорию «Земли», – отчего всему этому не дышать вольно и любовно в «Государстве» русском?! Владимир Даль был преисправным чиновником, пунктуальным и крикливым, – и вместе собрал «Пословицы русского народа» и живые говоры великорусского языка. Это ли не был «человек Земли»? Да и множество русских, и именно отличнейших русских людей, одновременно были и лучшими выразителями «общества» (категория «Земли» у Аксакова), и превосходными «служилыми людьми» (категория «Государства»). Нет, уж если любить – то не разделяя; если любить – то соединять, сливать, а никак не противопоставлять. В кабинете, в целях округленности теории, позволительно в виде «сочинительского» приема рассуждения и изложения начать классифицировать все по двум рубрикам – «государственности» и «земли». А *in concreto* все это так переплетено в каждом явлении нацио-

нальном, в каждом человеке, что расчленив их, не дозволить им слиться – решительно невозможно.

Но есть *принцип* как *идеал* – «государственности» и «земского начала». В каждом деле, конкретном и живом, бьются и борются между собою эти два идеала, два принципа: увлекаемые одним принципом, «дела» стремятся стать к зрителю, к народу, к обществу – официально, наружною, сухою стороною и показать высокомерное лицо свое; напротив, когда они (то есть *те же* дела) подчиняются другому принципу, они раскрывают свою интимную, внутреннюю сторону, всегда с маленьким моментом «покаяния» в себе (что человеческое совершенно?) и за то привлекая глубокое сочувствие к себе. Официальность, сухость, формализм (все признаки категории «государственности») могут быть присущи и частной жизни; в то же время как будто признаки только частной жизни – субъективизм, простота и открытость – могут передаваться в функции государственных дел. Вот такое-то смешение частного и общего, внесение частного одушевления в общее дело и составляет сущность вообще «Земли», «земства», «земского устройства» в противоположность бюрократическому. Таким образом, «государство» и «земство» не суть два отдела, как бы две разобщенные комнаты, наполненные каждая своим составом дел, а два способа жизни, два метода творчества. Причем может сделаться, что в земские дела и самими земцами будет внесен дух «государственности» и, обратно, в само государство может быть внесен дух земства, и притом самими даже чиновниками. Достоевский, в «Золотом веке в кармане», и говорит, что всякий генерал может стать Шекспиром, не снимая даже эполет. Я заметил о «кичливости», присущей всему официальному и государственному; принцип «земского строительства», напротив, *eo ipso** скромнен, он идет не только вперед, но может двигаться и назад, и в стороны. Вообще он неизмеримо богаче подвижностью, приспособляемостью, ловкостью, и это просто оттого, что он всегда склонен к нотке «покаяния» в себе, без которого (как в государстве) невозможны ни боковые, ни обратные движения. Таким образом, при кажущемся своем бессилии, шаткости, непостоянстве, «земская душа» имеет вечные силы к обновлению и, до известной степени, искру бессмертия; а «государственная» – могуча, горда, но страшно хрупка, иногда от одного удара, и вообще причастна смерти и умиранию. Посмотрите, как народы живут вековечнее государств! Сколько последних переменилось в Италии, какова была судьба территории греческой, а тосканцы, римляне, греки прочны, как и евреи. Во столько же и «земское одушевление», «земский метод жить» в сущности более гибок и живуч, нежели способ «государственного существования».

Разве наши государи (я все критикую точку зрения Аксакова) не имеют в себе бездну «земского начала», даже, пожалуй, больше, чем многие и

* в силу этого (*лат.*).

многие из «выразителей земли», из людей «быта и обычая», частного почина и проч.? По классификации Аксакова они должны бы быть какими-то великанами-машинами; когда мы видим в них (читайте мемуары) бездну обыкновенного, скромного, иногда скорбного (слеза «покаяния», приносящая всему «земскому»). И поверьте, не сказал бы Пушкин, в ответ Чаадаеву: «Я люблю русскую историю, – такую, какую ее нам Бог послал», не будь в лице наших государей (а ведь их биографии составляют стержень истории) этой глубоко человеческой черточки, кладущей между ними и западными государями такую пропасть именно потому, что там это всегда – официальное, и только официальное лицо, рыцарь в забрале и латах, а у нас слишком часто – бытовой человек, имеющий трогательную «семейную хроникку» за собою. Читайте воспоминания эмигранта кн. Крапоткина об императрице Марии Александровне. Как часто ей писал письма государь Александр II, и она ему, конечно, обратно; и как в этой переписке незримо ни для каких политиков и историков сказывалась *ежедневная* забота императрицы о наших бедных крестьянах, об их освобождении, и она не давала супругу и государю ни остановиться, ни замедлиться в начатой реформе.

«Земское дело» имеет совершенно особую душу в себе, сравнительно с «государственностью», и она более повернута в сторону того «золотого века», о котором афористически и так глубоко заговорил Достоевский. Поразительно, что тот же самый человек, быв в «земстве» и затем став на «государственную службу», являет различное лицо, и притом роковым и невольным для себя образом. Этому мы знаем много примеров. Традиции, порядок, закон официальности – что то же государственности – скрывают от людей лучшие, человечнейшие в нем черты. Он вдруг становится непогрешимым, когда раньше был «слаб, как все»; видали ли вы столоничальника, который громко бы сказал: «Я могу ошибаться». Они все – папы. Между тем как земский человек, будет ли то князь Рюриковой крови, все равно говорит: «Мы все от Адама, и я немощен, как прочие» – и (это-то, это-то и важно!) не видит себя униженным и оскорбленным, когда видит попытку заметить ему, поправить его, исправить его дело. Сущность «земского начала» и заключается в этом кусочке «золотого века в кармане», притом уже найденного и даже вынутого из «кармана», воочию всем показанного, тогда как сущность «государственности» и заключает в себе ту убийственную и смертную сторону, что «золотая возможность» простосердечия, открытости, душевной ясности, нефальшивости внутренней – безнадежно уходит куда-то вглубь, точно проваливается, как вода, брошенная на песок.

Все замечают, что само «земство» у нас тоже имеет тенденцию превращаться в чиновничество же! Смертная, ядовитейшая в нем черта! В сущности, все нападки на земство даже и ограничиваются этою одною стороною: «Это опять чиновники!» – «И тут все, как в бюрократии!» Прелесть: значит, бюрократия-то есть уже признанное мертвое дело, при-

знанное самими друзьями ее и врагами земства, если они кричат: «Это – как мы! это – канцелярия же!» Ведь лучшего признания *особой* земской души и *золотой* души нельзя сыскать. Значит, сами бюрократы кричат: «Покажите нам земство как *особое* и *новое* явление – и мы признаем его и подыдем на шит» (у германцев так провозглашали королей). Наконец, в этих сетованиях: «*Опять* бюрократия!» – сказывается окончательное осуждение, в самой бюрократии несущееся, бюрократии. Но в этих криках осуждения, в возможности их и что они безропотно выслушиваются земцами, и обнаруживается присутствие «новой и *особой*» души земства: ведь те самые князья Рюриковой крови, которые, как директора департаментов, суть *pontifices maximi** машинного строя России, не морщатся и не ежатся, когда о них, как о земцах, раздается эта жестокая критика, раздается и от купца, и от мужика, от корреспондента и журнального «обозревателя провинциальной жизни». Все уже просто здесь (в земстве) и принципиально готово к сознанию ошибок: и вот в этом и заключается величайшее новое явление, его оригинальность и самобытность сравнительно с «государственными» способами делания.

Известно, что в нашей секте «беспоповцев» все духовные требы отправляют «старички», – ну, конечно, очень знающие и Писание, и предание, но только они просто «старички», а не священники, т. е. не несут в себе и на себе особенного оформленного и официально признанного «дара священства». Чиновничество (оно и пришло в Европу из Византии) есть в сущности светская и политическая форма как бы «даров священства»: получил – и уже имеешь их, и творишь все по власти и силе этих «даров», хотя бы лично и за себя был дряннейший человек, ни к этой и ни к какой службе не способный. Всякий понимает, какое преимущество для практической жизни в «старичках»: такого можно поправить; если он пьет – его можно сместить; за исправляемым им делом – следят. Тут живет община, весь сонм «беспоповцев», из которых, если очень-то внимательно взглянуть в дело, каждый несет в себе малую дробь «попа» же, «благодати и дара» священства, только не официально выраженного, и в силу этого дара, как бы с рождением полученного, и крикует своего «старичка». Так же чиновничество. Как с даром священства, которое стало официально и торжественно возлагаться на головы некоторых членов общины, вдруг со всех прочих членов ее спали «ризы», т. е. жречество, достоинство, святость и ответственность, и все превратились в слишком светских людей, так с «чиновничеством», этим титулованным и привилегированным гражданством, при раззолоченных воротниках и шитых мундирах (замена древних тог), вдруг со всех граждан свились их «тоги» (в переносном смысле) и все преобразились в простых «мужичков», в водовозов, золотарей и проч. и проч. «Чиновничество» есть неуловимо тонкое отнятие у всех нас «гражданства» в его святых, серьезных, ответственных чертах; «чиновничество» – это опять

* верховный жрец (*лат.*).

патриции, незаметно в историю прокравшись: но гордые не заслугами предков, не служением отечеству, не любовью к ним народа, а – «милостью» начальства, и только его одного милостью. Это – олигархия, каста, без посвящения, без Бога: но неудержимо ползушая в каждой точкеверху и скрепленная единственно этим законом и планом действенного ползания.

* * *

Как богат наш народ – остроумием, иронией, вкусом, седой мудростью, сказавшейся в его присказках, прибаутках, поговорках, пословицах. Песни – какая поэзия! Песни – погребальные, колыбельные, бытовые, всяческие! Самая история общества русского, «какую ее нам Бог послал», сколько в ней милых и трогательных черт наряду с забавами, но как-то не огорчительно забавными. Войдем же в департамент. Длинный коридор тянется как кашка, изгибаясь по очертаниям здания, к которому по мере накопления «дел» все прибавлялись одна к другой пристройки. По стенам коридора до потолка лежат ящики-папки с «делами»: пирамида российского существования. Из коридора ведут двери и направо и налево. Войдя в них, видишь комнаты и комнаты, анфилады их, и за «столами» сидят господа с геморроидальными лицами.

– Ничего, что геморрой. Чем больше геморроя, тем ближе к пенсии.

Ни шуточки. Ни смеха. Ни ниточки остроумия. Русь, неужели *ты* это, та же, что в сказках, песнях, пословицах? мудрая и живая? поэтическая и всех привлекающая? До последней степени очевидно, что 1) народность русская и 2) бюрократические формы русского существования нимало не продолжают друг друга, не отражают друг друга, а почти искусственно сближены и связаны оба в один узел самым неестественным соединением. Русская народность, войди она в эти же самые залы, для этих самых «дел», заваливших бумагами до потолка коридоры, для тех же целей существования всякой администрации: 1) суда, 2) войска, 3) тишины и порядка, 4) просвещения, 5) дорог, 6) земледелия и проч., и проч., русская эта народность, позволь ей и здесь сохранить физиономию свою, выразить свой характер, нашла бы тотчас «шекспировские» упрощения, «шиллеровский» пафос, «вольтеровское» остроумие, – я все перечисляю рубрики «Золотого века» Достоевского, – и Россия из старообразной машины, почти без хода и опасной для самих механиков, около нее работающих, преобразилась бы в юное и могущественное существо, опасное для недругов и обогащающее и возвышающее сынов своих и работников. И лозунги перемены этой немудрены:

1) Простота.

2) Скромность.

3) Готовность к «покаянным ноткам».

4) Сознание, что мы все – от Адама, и несем слабость его, от вельможи до нищего, от дворцов до деревенской хаты.

И как общий этого итог: братство для всех, свобода для каждого.

«МЕБЛИРОВАННАЯ ПЫЛЬ» НА СЦЕНЕ МАЛОГО ТЕАТРА

Письмо из Петербурга

«Меблированная пыль» удачно совмещает в себе смешное и печальное и дает в живых лицах хорошую литературную картину. Типы «шестидесятника» и «восьмидесятников», толстовца и «белоподкладочника», которые нам примелькались на страницах газет и журналов, примелькались в полемике и рассуждениях, получили кровь, плоть и мундир на сцене. Пьеса от этого смотрится с чрезвычайно живым литературным интересом. На двух студентов, играющих почти главные роли, брошена добродушная тень юмора: пожалуй, лучшее, что можно сделать в отношении «белоподкладочников», которые заменили науку ухаживаньем и гимнастикой и предвкушают уже в университете удовольствия винта, которому станут предаваться в дальнейшей карьере всероссийских чиновников. Отчего покончил с собою бедный телеграфист-толстовец? В голове у него такая безнадежная мочалка, что ему как-то даже неестественно было бы дальше влечить свое тусклое существование. Напротив, шестидесятник, с его «драть вас надо», обращаемым поминутно к прожигателям своей молодости, полон такого крепкого здоровья и вовсе не смешного добродушия, – что, кажется, он переживет и восьмидесятников, и девяностых, и Бог даст вынырнет еще в 3-м после себя поколении. Несмотря на короткие бестолковые угрозы, впрочем довольно верно отражающие вообще нелюбовь 60-х годов к умственным и сердечным запутанностям, – представитель тех лет на сцене не дает ни малейшего впечатления глупого, или тупого, или даже самодовольного человека... А просто и прежде всего – здорового человека. Иногда кажется, думая о том практическом и шумном времени, что это наш Новиков, через головы Жуковского, Лермонтова и даже Гоголя, через весь романтизм и байронизм, – подал здоровую свою руку и сказал крепкое свое слово детям идеалистов 40-х годов и сделал из них мыслящих реалистов в противовес говорунам-идеологам. Во всяком случае пьеса, отлично разыгрываемая на сцене Малого театра, пробуждает много литературных мыслей. Трагическая сторона пьесы, выражающаяся не столько в бестолковой смерти телеграфиста, сколько в судьбе ученицы музыкальной школы и продавщицы магазина, не оставляет слишком тяжелого впечатления. Хотя картина жалкой и безнадежной любви милой провинциальной девушки к питающему к ней отвращение купеческому сыну щемит больно сердце. Как тут помочь? как это устроить? – спрашиваешь себя. И не находишь ответа. А ведь такие коллизии вовсе не редкость.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Уже давно у нас жалуются на оскудение в литературе. Нет новых талантов, нет новых идей. То есть нет таких талантов и идей, которые сразу стали бы общенациональными, ответив на какую-нибудь общерусскую потребность и удовлетворив общерусский вкус. Вся литература собственно разделяется на стариков и молодых. Первые повторяют те «вечные истины», которые всего энергичнее выражены в томе «Об уголовных наказаниях» и художественная разработка которых, в кружевах и со вздохами, никак не может составить литературного события. Молодые резко сгруппированы около яркой фигуры Максима Горького и в кружок «декадентов и символистов».

«Вечные истины» чаще всего и упорнее всего повторяет маститый отшельник Ясной Поляны. Гутенберг как будто для него изобрел подвижные буквы. Если к изданиям, печатающимся в России, прибавить издания, печатающиеся только за границу, но вышедшие из-под пера «Л. Н.», – то составитя целая отдельная литература. Если прибавить сюда и то, что печатается о «Льве Николаевиче» у нас и за границу, то выйдет литература уже обширная, которая не так давно получила себе отдельный каталог. «Tolstoviana» не уступает или немногим уступит «Darvinian»'е. И как «Darviniana» вращается, в сущности, около нескольких до крайности простых и ясных истин, вроде «борьбы за существование», «переживания приспособленнейших», «упражнения полезных органов», и ими объясняет весь мир, так «Tolstoviana» вращается тоже около несложных истин: «надо жить проще», «помогать ближнему», «не сопротивляться злumu», ибо «Бог правду видит, хоть и не скоро скажет» – и ими думает урегулировать мир. Я сказал, что Гутенберг как будто изобрел свое искусство для этой великой производительности. Но сходство есть и с другой стороны. Найдя великое средство давать в десятках тысяч экземпляров какую-нибудь строку, Гутенберг не стал печатать какую-нибудь свою, нетерпеливо ждавшую света, мысль. В буквальном смысле он был только мастеровым, ремесленником. С благочестивым чувством, большими готическими буквами, он напечатал в Майнце старую книгу, о которой всем детям было известно, что там сказано: «Бог сотворил мир», «Deus mundum creavit». – Вот такое «Deus mundum creavit», и Толстой перепечатывает в сотнях тысяч книжек – и тоже шрифтом жирным, выпуклым, четким, дабы каждый толстовец, в Тамбове или Лондоне, водя под строкой пальцем, мог повторять: «Deus mundum creavit». – «И когда они все, и в Тамбове и Лондоне, будут наконец знать, что Deus mundum creavit, они будут счастливы», – думает старец с длинными волосами и сердитым лицом.

Счастливая пушкинская эпоха, самодовлеющая, ясная. И «северный бард» пел:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда

и проч. И когда читаешь Толстого, невольно вспоминаешь эту «птичку», придвигаешь ее к «Чем люди живы» и видишь, что это все – одна литература, ясная, очевидная, самодовлеющая; необходимая, как верстовые столбы в дороге, на которые путник, конечно, взглядывает, читает цифру, видит, что ямщик не заблудился; а грезит все-таки не об этих столбах, а о чем-то далеком, таинственном и сложном, что вызвало его трудную поездку. Так и жизнь, не говоря о человечестве, – но даже национальная, даже, наконец, личная. Ей-ей, я не захотел бы родиться от своей матери, если б мне всю жизнь предстояло: 1) не воровать, 2) не убивать, 3) не прелюбодействовать. Нет, в самом деле, представьте, читатель, что вам от сего дня и на все будущее время *запрещено*, – и так, что вы не можете не исполнить, – делать еще что-нибудь кроме этих семи или десяти благих дел: «верить в Бога», «идолам не поклоняться»... «на друга не клеветать», «чужой жены не желать». Неужели вы не воскликнули бы с некоторым ужасом, с некоторым отчаянием: «И *только??* Чем же я буду жить!! И где же *обольстительность* бытия, о котором мне говорили поэты, сказки, да даже сказал и Сам Бог, заканчивавший каждый день творения словом: как это хорошо!» По крайней мере я бы сошел с ума от уныния, если бы вся последующая жизнь не могла выйти из рельс «десяти мудрых дел». Таким образом, эта в своем роде моральная «Птичка Божия не знает», которую перепечатывает «сто первым тиснением» гр. Толстой, не может насытить не только человечества, не только нации, но и насытить даже единичное существование.

Подобно тому, как все в «Darvinian»'е смутилось, когда были открыты X-лучи и прочие диковинки лучистой энергии; так точно в «Tolstoviana» до некоторой степени все смутилось, когда было указано бескровным вегетарианцам на начало *страсти* в человеке, да, пожалуй, – и в мире. Они все говорили о благоразумии: им было показано – безумное и *сильное*. Безумное – и *красивое*. Безумное – и плодотворное. Вот сколько новых категорий, которые до того далеки от «пары рельс всяческой рассудительности», что к ним от этой магистрали никакого «подъездного пути» не устроить. Новый мир совсем противоположный. Начала *творчества*, *силы*, *красоты*: ну, скажите, бродил ли философскою мыслью своею, своей религиозной мыслью, гр. Толстой около этих родников? Хотя он сам был и красив, и силен, и изумительный творец. Но ведь и человек позднее всего задумался о себе самом, а хищные животные употребляют в пищу только травоядных. Сам Лев есть бесспорно лев, т. е. принадлежит к породе когтистой, с могучими клыками; но столь же бесспорно травоядное содержание всей его философии, моральной проповеди, пути жизни, им указываемого. А для «Tolstoviana» имеет значение именно то, чему он учит, а не то, что он сам есть. Напротив, во всех наших довольно тощих «декадентах и символистах», пожалуй, даже слишком много постного; но, как все травоядное царство признало льва «царем животных» и какая-нибудь робкая газель с замиранием сердца слушает издали ночные рыкания этого льва или издали с восторгом глядит на его фигуру, так точно лично скромные и тихие наши

декаденты открыли великое «начало бури» в природе. Открыли, признали и до некоторой степени углубились в него. Толстой с наибольшим презрением отнесся к этому новому в литературе явлению; хотя едва ли с столь же большим спокойствием. Действительно, ниоткуда еще не грозит «его царству» разрушение, и притом разрушение столь верное и уже в самом зародыше своем торжествующее победу, как отсюда. Ведь королями рождаются, а не делаются. Ведь царство лежит уже в колыбельке. Можно сказать, яичко, снесенное декадентами, – сразу и для всякого беспристрастного наблюдателя – несравненно более царственного происхождения, царственной породы, чем вся «Tolstoviana» с ее творцом и эпигонами. У декадентов один недостаток: нет в игре короля. Нет даже фигурных карт: одни двойки и тройки. Родив богатейшее содержание, найдя колоссальную задачу, они стоят перед нею с нищенскими силами. Точно перед алмазной россыпью – с первобытными мотыгами и кирками. Появись у них талант, как Гоголь или Лермонтов, талант именно только в технике письма, без гоголевского или лермонтовского содержания, – и, без сомнения, их влияние залило бы литературу. Но этого нет. У них, пожалуй, более, чем у какого-нибудь другого литературного лагеря, безлюдье. И они не только не сумели победить даже, но грамотно объяснить обществу, кто же они такие и что нового принесли с собою. Вот что соделало этот кружок каким-то прихотливым, бледным, экзотическим у нас растением. Точно орхидея, под которой нет земли.

Максим Горький из «новых» – фигура самая яркая. Один он составляет целое явление, целый лагерь. В то время, как декаденты все объясняются какими-то иностранными вонабулами, Горький каждую свою мысль «шлепает» даже не свинцовыми буквами, а какими-то прямо из доски вырезанными буквами. «Азы» – так уж «Аз», не смешаешь с другой буквой. Видно из Гамбурга, из Парижа, из Милана. Максим весь прочитан, ни одного в нем темного уголка не осталось; и притом с самого своего выступления он читался чуть не всем цивилизованным миром от первой и до последней буквы своего содержания. Тут лежит та опасная для всякой литературной репутации черта, что уже, очевидно, и после его смерти ничего не прибавится к той определенно сказавшейся репутации, какая сейчас у него есть; что в нем невозможно чего-нибудь разгадывать, угадывать, как в Шекспире, в Гоголе; что никогда не будет в истории литературы главы: «Максим Горький – *после его смерти*» или «отношение *последующих* поколений к Максиму Горькому». Максим Горький весь – современность, и притом – только современность. Это придало необыкновенную выпуклость ему, яркость, дало силу удара. Каждый писатель, более сложный, рассеивается множеством частиц своих в целом ряде поколений, которым будет казаться все нов и нов, тогда как своему поколению он не представлялся очень большим; напротив, своему поколению Максим Горький представляется страшно огромным: но сейчас же после «своего поколения» он представится стар, давно известен и нисколько не интересен. Конечно, он еще молод, и за

будущее нельзя ручаться. Конечно, он и не виноват в том, что до такой степени сразу и всеми был прочитан и усвоен. Он, наконец, может сказать, в защиту своей «великости»: «Ну, да – других жуют века; но ведь если меня сразу проглотили и переварили, то все же кишкам было со мною столько же работы, а от меня столько же питательности, сколько и от тех, на кого вы намекаете как на настоящих великих. Только тут – сразу, а там – долго». Не спорим. И вообще от «великости» Максима мы не собираемся ничего отнимать, не только для виду, но и по существу, в душе. Нам хотелось бы видеть в нем больше загадки, больше таинственного. Слишком он ясен: вот что опасно. Мы не хотим сказать, что он плосок. Но фигуры его точно нарезаны на доске, нацарапаны; а не так, чтобы их можно взять в руку и, пощупав со всех сторон, сказать: «Тут – все три измерения: длина, ширина и глубина». *Глубины* – особенно недостает; и в смысле именно «таинственной дали»...

Все же и «Максим» составляет лагерь, а не общепризнанное национальное достояние. «Общепризнанными» являются только Толстой и старички.

* * *

«В начале бе Слово»... как это изречение евангелиста Иоанна приходится часто повторять и в литературе. Слово должно рождать событие: а если события, потенциально в слове предустановленного, не родилось, то начинается какое-то бессмысленное клокотание звуков в горле, является какое-то заикание исторического народа, на которое больно смотреть. Что фактического, что практического таила в себе муза Гоголя и Лермонтова, – мы не знаем; но муза русская до них, включительно с Пушкиным, таила в себе нечто примитивно-доброе, первоначально нужное, что начало было осуществляться между 1856-м и 1863-м годами: и вдруг остановилось все и пошло вспять.

Дней Александровых прекрасное начало...

– как этот стих Пушкина запомнился! «Начало» и других «Александровых дней» также было встречено энтузиазмом, ожиданием, более грубым по выражению, ибо тогда уже вошла в жизнь наша демократия, но таковым же по существу, по содержанию. Как в начале царствования Александра I, так и в начале царствования Александра II все ожидали, в сущности, очень немногого, слишком законного: ожидали элементарно справедливых условий жизни, порядочного суда, порядочной администрации, порядочной школы, права говорить вежливую правду и пр. и пр. Все то, что каждый народ, в сущности, получает при первом же выходе из пеленок первоначальной дикости. Римляне, греки, англичане, германцы имели и «добрую администрацию», и «добрый суд» чуть ли не при Сервии Туллии, при Солоне и при разных средневековых Альфредах, Генрихах и Оттонах. Русская литература, от фон-Визина и Новикова до Пушкина и Жуковского, все только и вращалась в этих примитив-

ных добрых пожеланиях, résumé которых вылилось в программу 60-х годов. Таким образом, политическая программа 1856–63 годов была естественным, невольным и, наконец, неодолимым последствием всего русского умственного развития приблизительно за век. «Слово *бе*» уже от Новикова до Пушкина; но дела... вдруг оно застряло, остановилось, исказилось; и, обратно, влияя на «слово», – исказило странным искажением его...

Все потенциальное становится реальным. Это уже аксиома природы. Некоторые элементарные условия доброго русского существования – все равно теперь, или завтра, или послезавтра их придется дать. «Слово» сложилось в уме; не может же оно не выразиться в звуках, в деле. Чем долее, однако, затягивалось «дело», чем казались «заказаннее» самые «пути» к нему, – тем общество более и более становилось маниакальнее, болезненнее, теряло всякое спокойствие и уравновешенность. Все умы русские, все русские пожелания сошлись в одну точку, в один угол: «такие-то и такие то условия элементарного гражданского существования». И от угла этого, пока стену «не прорвало», русские так же не могут отойти, как вода не может потечь вверх. В духовном отношении Россия напоминала длинный мешок, все огромное содержание которого сбилось в твердый комок, оставив пустоту во всем остальном неизмеримого его пространстве. «Комок» этой мысли ничего сложного в себе не представляет, ничего мудрого, в особенности – ничего сколько-нибудь таинственного. Все – ужасная азбука, вроде того, что в XIX веке двигаются паром, а не лошадьми, что нужно умываться мылом, а не «водой из ручья» и проч. Просто – комфорт. Комфорт – общечеловеческого гражданского существования. Комфорт – это просто реестр «удобств», без всякой философии позади. Пока хохлы не вправе напечатать Евангелия на своем наречии, полька не вправе позвать ксендза для домашних уроков 11-летнему своему сыну, – мы, конечно, пользуемся меньшей «юридической обеспеченностью», чем этруски в эпоху Сервия Туллия. Это – трудно, об этом нельзя не вздыхать. С другой стороны, когда подумаешь, что для открытия дома терпимости не требуется никаких хлопот, а для открытия медицинского женского института в Петербурге потребовались годы работы, хлопот, что здесь перед «стеной сопротивления» разбили головы свои десятки и, пожалуй, сотни ученых, литераторов, даже, наконец, министров (гр. Д. Милютин), то... рассмеешься, а не заплачешь. «Ну, если превосходство учебного заведения перед веселым домом, науки перед проституцией – требуется доказывать: то что же вообще есть очевидного в нашем отечестве?»

Не было ничего и очевидного. И вот общество стало стеной перед стеной же, с желанием: «Нужно же установить, чтобы хоть что-нибудь было очевидным, ибо иначе существовать нельзя». В самом деле, если человек не знает, куда нести ложку супу, не отличает в себе органов чувств, не знает понятий «внизу» и «вверху» и т. п., то самое существование его становится невозможным. А ведь неуменье отечества выбрать между «одобряемостью» дома терпимости и медицинского института – напоминает подобное незнание.

И литература остановилась. Просто стало непонятно, и притом целому русскому обществу, для чего же работать головой, мыслить, страдать, учиться, поэтизировать, мечтать, философствовать, когда из всего этого ничего не выходит. Не было науки, но и тогда все-таки знали, что ученье лучше, чем разврат. Пришла наука, воздвиглись университеты: и вдруг для многих стало темно, лучше ли наука проституции? Значит, – «vanitas vanitatum, как сказал Экклезиаст». Осталось повторять старческие изречения Экклезиаста: «суета сует», «ничего не нужно», «солнце восходит там, где заходит» и т. п. моральные «теоремы Пифагора». Хорошо еще, что русское общество не впало в цинизм. А могло бы случиться. Мог ли пойти такой моральный «кутеж», пропивание «последнего», что испугали бы японцев, что даже цыгане со своими таборами ушли бы «куда подальше от русских»... Но не случилось это. Чудными судьбами русские сохранили идеализм, самый высокий энтузиазм, и только жалко, что – энтузиазм к слишком элементарному. «Пустите!» – стоят они перед стеной. Мы заговорили об элементарности. Но это вытекает из всего существа исторического нашего процесса. Нельзя говорить «Б», не произнеся «А». Пусть дверь отворится. И завтра же исчезнут трюизмы, «толстовщина», маленькая мораль для домашнего обихода и красивые указания перстом на Экклезиаста. Если завтра – элементы гражданского существования, то послезавтра – новая литература.

Так это очевидно. Я заметил о маниакальном, болезненно-либеральном состоянии русского общества. Знаете ли, назавтра, после того как будут удовлетворены «примитивные требования», явится настоящая консервативная и настоящая национальная литература в России. Не «печать», а именно литература, т. е. некоторая поэтизация и некоторая философия около исторических наших устоев. Так это и было между 56-м и 63-м годом, когда в противовес Чернышевскому и Добролюбову поднялись Катков и Н. Я. Данилевский. Т. е. поднялась страсть против страсти, явилась целая система философии, чтобы опровергнуть «журнальные софизмы», весьма кусательные и весьма практически-действительные. Теперь иссякла богатая и творческая либеральная мысль, ибо все свелось к трюизму: «Отворите! пустите!» Тут где же разыграться таланту, на каких темах? А консерватизм вовсе исчез, почти исчез даже, как печать. И Мещерский и Грингмут потеряли всяких подписчиков, и, если б они немножко были философами, они, конечно, просили бы «отворить» дверь, ибо существование их моментально получило бы смысл и нужность в России, а подписка удесятерилась бы... Ну, зачем было в 1903 г. подписываться на «Моск. Ведомости» и «Гражданин»? А либеральной печати что было и указывать в этот год, как только... отмечать в своем «убыль луны» и света «Еще – прещение»; «вот – схватили и потащили...». «Суета сует, как сказал Экклезиаст», – приговаривали «непротивленцы».

Бессмыслица. Толчая. Затоп. Нет, пока

«Птичка Божия не знает» –

имеет свой «raison d'être». Позвольте сперва «птичку» хорошо усвоить, от океана до океана, от столицы до деревни; позвольте «птичку» заполнить, скушать – и тогда мы можем учиться дальше, усваивать «Наль и Дамаянти» и вообще отрывки «эпоса всех народов» и, наконец, перейти к «чертовщине» Гоголя, к «демонщине» Лермонтова и «бесовщине» Достоевского. Наобещали же таких страстей русской литературе эти писатели. Но, вообще, оставляя «бесовщину» в стороне, как пугало, которого боятся только дети и вороны, – нельзя не отметить некоторой «туманной дали» у всех этих писателей, сравнительно со всей нашей литературой до Пушкина включительно. Это – облако, видное издали, но к нашим пажитям пока не придвинувшееся. Ведь Гоголь, Лермонтов, Достоевский буквально только *видны*, а чтобы русская душа *въе-лась* в них и *разработала* все их содержание, даже чтобы она хорошенько *узнала* это содержание, – конечно, никто не оспорит, что этого вовсе нет!! Давно цитируют наизусть Ницше, и «См. «Also sprach Zaratnustra»* – пестрит страницы журналов, газет, поэтов, прозаиков, философов. Кто же цитирует у нас наизусть *изумительные* монологи Достоевского, ссылается *влюбленно*, как на «Also sprach», на речи Раскольникова, Кирилова, Ставрогина, Карамазова... Кстати, из Достоевского ведь можно было бы выбрать маленький томик «учения», вот этих самых «монологов» и «речей» действующих лиц, а в сущности, самого Федора Михайловича; речей поэтических, могучих... И как к ним шел бы этот пророчесственный стих:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял певца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой...

Нет, в самом деле, ни к единому еще лицу в нашей литературе нельзя так приложить, до полного совпадения, этого определения «значения поэта», – как к Достоевскому; не ко всему ему в составе 14 томов, но вот, к этому томику «избранных речей». Это в своем роде «Also sprach Zaratnustra»... Ведь и Зоратустру не цитировали бы, напиши он 14 томов. Человечество нетерпеливо и во вдохновении не может отыскивать цитат по index' у gerum...

* * *

Кончим сказанное. Как только «плотину прорвет» и русские поедут в вагонах, а не на корове верхом (это в переносном смысле и в гражданском отношении), – так кончится эра и примитивно-либерального существования русской литературы. Кончится «классический» ясный как день, и скучный как день, период слова и мысли, и настанет «романтическая пора» без малейших, конечно, аналогий с Западом. «Романтическая» – в смысле «неясной дали», туманов, придвинувшихся, наконец, туч, из которых, ведь, Бог знает что может пролиться на

* «Так говорил Заратустра» (нем.).

землю. Но во всяком случае то «мессианство», то «новое слово, какое скажет Русь» – если позволительно его ожидать когда-нибудь, то только тогда, когда «закатится» солнышко рационализма, ясности, очевидности; и замерцают невидные днем звездочки. Не Тютчев ли это предчувствовал, предсказал:

Но меркнет день, настала ночь;
Пришла – и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Собрав, отбрасывает прочь.

И бездна там обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами...

Мне кажется, я до некоторой степени объединил: 1) либералов, 2) консерваторов, 3) символистов, 4) Максима Горького. «Надо открыть дверь!» Это – для *всех без исключения* нужно; *всем* от этого будет лучше. Все на этом и должны *настаивать*. Ибо по ту сторону двери – сейчас все новое, и притом для всех лагерей – новые задачи, иное высшее творчество.

ЧТЕНИЕ о. ГРИГОРИЯ ПЕТРОВА

в зале офицерского собрания 5 декабря

Огромный и великолепный зал с колоннами битком набит народом. Слушательницы высших женских курсов и медицинских курсов, сойдя с далеких своих скамеечек, окружили эстраду. Улица, угол Кирочной и Литейного, запружена экипажами, каретами. Аристократия петербургская, в этом единственном случае, слилась с нашею учащеюся молодежью, чтобы слушать единственного в своем роде нашего проповедника великих жизненных истин, великих практических истин. После долгого, частью вынужденного, молчания о. Григорий Петров снова появился на эстраде, и с каким восторгом встретила его бесконечно преданная ему народная и общественная толпа.

Редкое явление! Слушая о. Григория и особенно слушая этот совершенно особенный энтузиазм к нему, мы в сотый раз решили в уме своем, что эта связь *толпы и человека, священника и народа*, есть именно редкое явление, которое мы умудрились игнорировать, которым, во всяком случае, не умели нисколько воспользоваться. Что бы сделали с этим католики или немцы? Они сняли бы урожай сторицею с этого зерна. Но бедная Русь... только умеет *терять, а не находить*.

В век безверия, охлаждения к самому Евангелию, полного равнодушия образованных классов к церкви – появляется священник, одаренный необыкновенным, почти чудодейственным даром зажигать, будить, привлекать. Здесь необъяснимый секрет лежит в его личности и в том несравненном

правственном доверии, какое она внушает собою. Ни у кого не является никакого подозрения, чтобы он мог говорить не то, что думает. Даже сильнее: никто не сомневается, что он говорит самое дорогое для него, с полною верою, с непоколебимым убеждением. И человек русский бросается своею измученною душою навстречу этому зову, который идет из души твердой и чистой, знающей «правое» и «левое». О. Григорий есть вместе и писатель, но книги его нисколько не затронуты тем «взбаламученным морем», которое заливает нашу золотую, но в своем роде измученную же, нервную литературу. По адресу последней, как и всей нашей общественности, он сказал в новом своем чтении много горьких слов.

О. Григорий пробуждает веру каждого в *свои силы*. Пробуждает вообще веру и в *небесную помощь*, без всяких ее специализаций. Слушать его собираются не один православные; идут магометане, католики, немцы-лютеране, некрещенные евреи. И он всем *дает* – вот что удивительно. Мы слышали восторженные отзывы о нем и от католиков, и от евреев.

«Вы не слышали? Идите послушайте», – вот что говорят люди *разных вер* друг другу. Это удивительно, мы сами не поверили этому, но вынуждены были поверить *услышанному*.

О. Григорий, очевидно, обдумывает лишь канву своих мыслей, ход их, ряды доказательств, может быть, приводимые им в чтении сравнения и иллюстрации, но самое *слово он творит на кафедре*, во время самого произведения. Потому от него своевременно невозможно требовать того, что естественно спросить у самого *мертвого проповедника*: «Покажи тетрадочку», «покажи часть будущего чтения». Этого он не то чтобы не хочет, но *не может дать*: самого *слова записанного* у него не имеется для чтения. Он импровизатор. Увы, ведь не «*по тетрадочке*» *проповедовали* и апостолы, и мученики. Между тем, насколько мы осведомлены, причина прекращения его чтений была именно та, что он не дает предварительно «тетрадки». Сан священника, общеизвестность его книг, где содержится все его чтение, все его убеждения, могли бы быть приняты в гарантию и всякого нового предстоящего чтения.

ОДНО ИЗ ПОЛЕЗНЫХ ПОЛУЗАБЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Теперь, когда вопросы обучения и особенно воспитания выдвинулись вперед и стоят в первой линии и государственных и общественных забот, полезно напомнить всем многочисленным его деятелям об одном прекрасно задуманном, но едва влачащем свое существование учреждении. Мы разумеем «Родительский кружок», основанный в Петербурге в 1881 году. Учредителями его явились по преимуществу педагоги и их жены, а задачею было поставлено всестороннее изучение детской природы и посильный ответ на вопросы, вызываемые особенно домашним, дошкольным воспитанием. Нет

нужды говорить, как необозримы эти вопросы; не нужно указывать, сколько матерей бьется в полном бессилии найти решение иногда давно решенного западную педагогикой вопроса, но о котором она не знает по отсутствию надлежащих сведений, специального чтения, знания специальных книг. Ведь есть отступление от нормального детского развития, вовсе притом не патологические, но для нормальной школы очень неудобные, и ученик должен будет погибнуть в ней, тогда как при некотором приноравливании он мог бы закончить свое образование и сделаться полезным членом общества. Есть, наконец, своеобразные пристрастия, дефекты, уклонения, есть и уродливости и пороки у детей, которые изводят семью, ставят ее в тупик, доводят до отчаяния, тогда как тот же всемирный педагогический опыт уже кое-что придумал в борьбе с ними. «Родительский кружок» мог бы быть обоюдно-полезным и родителям, и педагогике как науке. Родители могли бы брать отсюда практические указания; наука через посредство этого кружка могла бы извлекать из бытовой русской жизни неистощимый материал для наблюдения и размышления. Достаточно напомнить, какой живой обмен мысли между родителями и педагогами начался при посредстве «Педагогического листа для матерей», составляющего приложение к крошечному детскому журнальцу г-жи Шараповой «Мирок». По своим средствам, по составу своих членов петербургский «Родительский кружок» мог бы представлять собою, сравнительно с этим «Листком», то же, что представляет академия сравнительно с начальной школою. А «Листок для матерей», как и «Мирок», довольно живо обращаются в русском обществе и наставляют в их нуждах множество матерей семейств.

К сожалению, прекрасная идея «Родительского кружка» с самого же начала не получила практического и деятельного движения. Первоначально заседания его, открывшиеся при Соляном Городке, были закрыты. Это и понятно; для некоторых заседаний это необходимо. Потом «Кружок» сделал свои заседания открытыми, и гости-посетители могли принимать участие в прениях, возбуждаемых докладами, читавшимися на заседаниях. Но, увы, этих посетитель-гостей, при бесплатном входе, редко собиралось более 30 человек.

Работало не столько русское семейное общество через посредство этого кружка, сколько сами его члены-педагоги, и притом без всякого содействия или при очень тусклом содействии общества. Так, группа его членов с гг. Каптеревым и Альмедингеном во главе издали «Энциклопедию семейного воспитания», одно из самых солидных педагогических изданий у нас. К сожалению, как и многие у нас издания, построенные на высокой педагогической почве, оно не имело практического успеха. Оно должно бы насчитывать десятки тысяч читателей по своим темам, по своей нужности, а оно едва насчитывало их сотни. Вышло, однако, 50 выпусков этой «Энциклопедии», и дальнейшее издание их прекратилось только за неимением оборотного капитала и средств на публикации.

Что самый замысел «Кружка» был в высшей степени удачен и исторически своевремен, можно судить по тому, что по примеру его начали обра-

зовываться и в провинции кружки с этим же именем и задачей: объединить данное местное общество интересом к воспитанию детей. Но в самом Петербурге жизнь кружка все более замирала – докладов делалось все меньше, общество петербургское почти не знало о его существовании. Весной этого 1904 года был даже поднят вопрос о его закрытии. В настоящее время вновь избранный его председатель – известный педагог Н. С. Карцов предлагает все усилия к его оживлению и поднятию. Заседания – в одной из малых зал Соляного Городка – бывают открытыми, и доступ в них бесплатен. В члены кружка принимаются как мужчины, так и женщины: достаточно для этого два раза посетить заседания кружка и иметь рекомендацию двух его членов. В заседании 11 декабря разбирался важный вопрос об обязанностях семьи в отношении к школе. Заседания кружка в настоящее время обильнее, чем прежде, посещаются публикою. Но, к сожалению, самый желательный элемент, именно – родителей, по-прежнему не знает о его существовании или относится крайне вяло к вопросам, столь жизненно важным именно для родителей. В высшей степени было бы желательно, чтобы в настоящие дни всеобщего оживления часть «живой воды» общественного внимания брызнула и на это прекрасное, но гложущее учреждение.

1905 год

ГДЕ ЖЕ «СОБОРЯНЕ»?

Обширное «Маленькое письмо» А. С. Суворин в № 10368 «Нов. Вр.», посвященное земскому собору в его истории и в предполагаемом его будущем, побуждает меня высказать несколько мыслей о том же предмете, уже много лет сидящих у меня в голове. Я думаю, созыв собора непременно вызовет чрезвычайное лихорадочное повышение температуры всей страны. Время будет бурное, тревожное. Но – *не смертное* и даже не опасное.

1) «Собор» при этом будет тем менее радикален, чем быстрее его созовут. Созовут же «собор», или что другое, – непременно, абсолютно: ибо это все равно у всех на уме. А такие вещи, которые «у всех на уме», никак не могут не осуществиться. Но лихорадка страны в момент созыва будет сильнее, если это произойдет в 1925 г., чем теперь; в 1881 году она была бы ниже, чем какую будет теперь. По-настоящему же, собор следовало созвать или сейчас после Севастополя, или Императору Николаю I во время Севастополя, или ему же сейчас же после 14 декабря. Если бы история не запоздала, мы имели бы уже успокоенный и твердый государственный строй с народным участием, и «недочеты» крымской, турецкой и теперешней войны не было бы. Критика народного внимания и свободная печать подобрала бы, подгрызла бы все эти «недочеты» вовремя, не допустив их до действия, до власти, до опасности фактической.

2) Но может ли быть собор? Говорят, не будет просто потому, что никаких нет «соброрян», этих длинных бород, и «длиннобородой» психологии. Я пишу кратко, и разуметь мои слова следует абсолютно. Не писать же на странице газеты томов. Нет вообще никакой старомосковской психики, уклада жизни, нет тех былых чувств и мыслей. Нет, и не воскресить их. Соберутся вовсе не «соброряне», а: 1) дворяне либерального пошиба, «земцы», 2) коммерсанты с университетским образованием и университетским «душком», 3) профессора, учителя; более всех адвокаты и врачи – эти почти исключительно с радикальною окраскою, минутами переходящею в «красное» пламя. Может быть, все это и верно: соберется все (позвольте сказать полностью мысль) народ ядреный, крепкий, зубастый, крикливый, грубый, но (не спорьте! не спорьте!) любящий свою родину, свою землю, русского человека, русского мужика.

Снаружи будет казаться, что это бахвалы и болтуны, пустомели. А на деле каждый из них ляжет брюхом на землю и скажет (подумает): «Катись через меня матушка-Русь, пусть я умру, была бы ты здорова».

Россия *психологически* и теперь сильно отличается от европейских стран, хотя и не имеет ничего общего с «Московской Русью», кроме известного «русского духа». А «русский дух» есть самый лучший, самый идеальный, бескорыстный, воистину «святой»; дух прямой, искренний и жалостливый. Мы – прекрасные люди. Только работать не умеем. А работать отучила нас проклятая (уж позвольте сказать) бюрократия, всё взявшая на себя и себе. Бюрократия просто-напросто украла Россию у русских: вот ее определение. Она соделала всех русских иностранцами. «Европейничанье», «либерализм» и «радикализм» русских не имеет другой причины себе, кроме бюрократии. Начало «собора» будет началом *работы* русской, и сейчас же – возрождения всех русских чувств. После созыва «собора» наивысшая температура, с прослойками «красного» пламени, будет лишь первые месяцы, ну – год, два. Но сейчас же после этого созыва вся страна, вся Россия начнет именно растить в себе московскую «бороду»; и «собор» явится год на 6-й, на 10-й, а уже наверное на 20-й после созыва.

О ПРОЕКТЕ ЧАСТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Г-н Мазинг, известный московский педагог, представил в министерство народного просвещения проект частного Технологического института. Институт этот, согласно проекту, будет содержаться на средства его, Мазинга, составленного им совета учредителей, внесших предварительно не менее трех тысяч рублей, и на возможные частные пожертвования отдельных лиц и общественных учреждений. Преподаватели могли бы вступить в совет при условии, если они в течение трех лет службы в нем будут отчислять половину своего заработка и во всяком случае не менее 1000 р. Сюда следует, конечно, присоединить очень значительную плату за учение, которая может возрасти до 50000 р. и более в год. Если принять во внимание колоссальные новые клиники Московского университета, воздвигнутые на Новодевичьем поле исключительно на частные пожертвования, простиравшиеся до нескольких миллионов, то само собою разумеется, что и постройка и содержание Технологического института на частные средства также не представляют собою какой-либо невозможности. Параллельно можно припомнить и Медицинский женский институт в Петербурге, организовавшийся и существовавший первое время также на частные средства. Вообще материальная сторона дела не вызывает против себя никаких возражений. Государству так же странно было бы озабочиваться ею, как и вопросом, что такое-то затеваемое промышленное предприятие погибнет от недостатка заказов и вообще сбыта продуктов. Пожалуй, открытие частных учебных заведений, при напоре учащих-

ся и готовности вносить довольно высокую плату за учение, может даже считаться довольно выгодным «помещением капитала в предприятие». Остается сторона идейная. Доступны ли вообще частному лицу организация и руководство высшим учебным заведением? Будут ли настоящее там учение и надлежащее поведение учеников?

Отчего нет? Катков организовал лицей, а Леонтьев руководил им. А лицей гораздо более сложное учебное заведение, нежели Технологический институт. Министерство народного просвещения пока не обладает достаточными средствами для удовлетворения всей нужды страны в техническом образовании, и приходится ежегодно отказывать до половины из общего числа поступающих в двери этих заведений. При бессилии министерства обслуживать всю надобность, и законную надобность, страны, без сомнения, элементарно-добросовестный взгляд на дело требует, чтобы оно допустило частных лиц и частные средства обслужить ту же надобность. Проект г. Мазинга был рассмотрен в ученом комитете министерства и за немногими поправками был одобрен. Это первый, но очень важный шаг, и, будем надеяться, он сослужит службу примера. Частные заведения среднегообразовательного типа у нас отлично идут. Стоит вспомнить несколько образцовых частных женских гимназий в Петербурге и таковую же женскую гимназию г-жи Перепёлкиной в Москве. Но за высшие учебные заведения частная инициатива еще не бралась, за исключением примера Каткова и Леонтьева. Между тем образование и воспитание юношества – это вообще одна из самых благодарных областей применения частной инициативы, частного труда, личного таланта. У нас были великие педагоги, не уживавшиеся на «казенной службе», ибо последняя есть форма и единообразие, а талант всегда личен и обособлен. Потеря этих талантов для России тягостна. Вспомним Н. И. Пирогова, который не «ужился» на должности попечителя киевского учебного округа, на которой и до него, и после него уживались совершенно обыкновенные смертные. Подобные исключительные таланты при большом применении к образованию частной инициативы в открытии учебных заведений уже не пропадут для России. Министерство может блести свою «форму» (мы говорим о нем не в теперешней его фазе), а Россия воспользуется своим талантом.

С технических заведений особенно удобно начать эту инициативу, ибо по самому составу наук и занятий они более сужены и менее стоят в круговороте идейного движения страны. Словом, именно эти учебные заведения внушают менее всего подозрительности насчет «направления» в них. Наконец, что касается твердых успехов в науках, то государство всегда может иметь на экзаменах своих представителей и даже взять экзамен совершенно в свои руки (наподобие «государственного экзамена»), хотя это едва ли желательно. Но что бесспорно представляет выгоду частного технологического института, то это возможность для него стать гораздо ближе к миру частной производительности, к фабрикам, заводам, напр. московского промышленного района. Казенному учебному заведению нужно о всем «переписываться» и «делать представления в Петербург». А директор частного технического института

может сам съездить на фабрики, поговорить с директорами фабрик и быстро приноровиться к тому, чего они требуют от техники и от техника. С другой стороны, и питомцам выгодно поступить в такое заведение, из которого они, окончив курс, сразу поступают на «дело», и «дело» их ждет с радостью, не «отнекиваясь» от них, как от ученых чиновников.

К ВОПРОСУ О СТАРООБРЯДЦАХ

Пунктом шестым Высочайшего указа от 12 декабря с высоты Престола засвидетельствована наличность «стеснений, прямо в законе не установленных» в отношении как наших старообрядцев, так и людей иноверного и инославного исповедания. Комитет Министров в заседании 25 января, в лице товарища министра внутренних дел П. Н. Дурново, товарища обер-прокурора Святейшего Синода В. К. Саблера, первоприсутствующего члена Святейшего Синода высокопреосвященного митрополита Антония и также согласно с ними всех остальных членов, высказался равным образом за «отмену не установленных в законе стеснений».

Таким образом, мы имеем двойное признание Высочайших в Империи и в истории русской авторитетов о наличности «в законе не содержащихся» стеснений, каковые десятки лет творились у нас в отношении личностей, масса которых исчисляется десятками миллионов.

И изящная литература наша, и всяческие мемуары, и повседневная печать описывают множество «утеснений, в законе прямо не содержащихся», какие творятся и недавно еще творились в отношении старообрядцев. Достаточно вспомнить «Запечатленного ангела» покойного Лескова: самоуправство второстепенного агента администрации, который, расплавив сургуч, варварски закапал им лицо особо чтимого староверческого образа. Старообрядцы не только «теснились», над ними издевались. Около них богатели агенты администрации и, к прискорбию, духовные лица. Преследование, угнетая преследуемых, развращало преследователей. Что может быть ужаснее положения священника, обязанного доносить на «раскольников» и который, не в силах будучи делать этого кроваво-угнетательского акта, молчит о них и не отказывается принимать «благодарность», которую они несут ему? Мучителем он не может быть, а, не муча, становится злодеем. Каково будет его отношение к самим православным? Как он станет принимать «покаяние в грехах» у приходящих к нему на исповедь? Вся должность священника, весь сан священства в нем разрушен до основания этою прибавкою обязанностей духовной полиции, которую ему навесили сверх облачения священника, прибавили к обязанностям проповедника, причастника, исповедника, пастыря душ и совести. Между тем и священники слабы. Люди входят во вкусы, даже дурные. Да и «дурноту» вкуса нельзя или трудно почувствовать, когда обязанность «доносить» возлагается сверху, идет от авторитетного источника. Можно сказать, через эту «обязанность» или «право» доносить стало развращать-

ся все наше духовное сословие, в основе доброе и исторически-доброе. Вот почему так уместны протест и просьба высокопреосвященного митрополита петербургского, чтобы «православное духовенство было избавлено от совершенно не соответствующей духовному сану обязанности быть доносителями судебным и административным властям на те или иные действия старообрядцев». Было бы в высокой степени желательно, чтобы эти слова первоприсутствующего члена Св. Синода были перепечатаны в «Церковных Ведомостях», официальном органе нашей церкви, получающемся во всех причтах Российской Империи. Дабы священники могли ссылаться на них и опереться на них в отказе исполнить требования, «в законе прямо не содержащиеся» и которые сверхзаконно могла бы предъявить к ним уездная или губернская власть.

Нужно заметить, священники наши в отношении старообрядчества и сектанства поставлены в зависимость от так называемых «епархиальных миссионеров», людей светских, без сана и посвящения, и которые в отношении старообрядцев и сектантов уже не стеснены рясою, и обетами, и идеалами священства. Что такое это «миссионеры» в руках духовной службы? Если они только учителя, наставники, только ученые специалисты по сектам и расколу, то им открыта печать, журналистика, издание всяческих «листочков», да и вообще вся наша духовная литература в ее обличительной, политической и даже исторической части есть такое «миссионерство». Для чего понадобились «миссионеры» и с жалованьем, виц-мундиром, пенсией и, очевидно, наградой и орденами и чинами за «выслугу», за «ревность по службе». Тут есть некоторая неясная прикроовенность, окутывающая разницу и незаметный переход от желательного «апостольского подвига» словом и учением к действию, к воздействию и «мероприятиям», «в законе прямо не установленным». В заседании Комитета Министров 25 января и в последующих распорядительных актах этого Комитета на пути упрочения у нас «веротерпимости» и следовало бы поднять вопрос о точном значении и точных функциях этих чиновников-миссионеров духовного ведомства; о выработке гласной для них «инструкции», за пределы которой они не могли бы переходить. Все это – вопросы, которые чрезвычайно болят в русском сознании; что же касается частей русского народа, по словам П. Н. Дурново, «искренно любящих родину, честных и неутомимых тружеников земли русской», – то и сказывается на нем ранами.

Обращаем внимание на помещаемую сегодня корреспонденцию с Урала, по словам которой местный синодальный миссионер, конечно не без достаточной почвы во взглядах центрального духовного ведомства, предложил уральским старообрядцам: 1) принять хиротонию православной церкви, т. е. епископа, посвященного русскою церковною властью, и затем: 2) сохранить полную свободу в отправлении своего богослужения и уравнение в гражданских правах с остальным православным населением. Предложение это становится на совершенно новый фундамент весь старообрядческий вопрос и поэто-

му заслуживает самого живого внимания и требует обсуждения себя как в центрах старообрядчества, так и в Петербурге. Может быть, на этом пути возможно соглашение; может быть, возможно сговориться о примирении их с церковью. Что касается собственно гражданских прав, то мы совершенно отделяем этот вопрос от вероисповедного, находя, что, независимо от всяких соглашений, таковые права им теперь же следует возвратить: ибо странно видеть старообрядца с университетским дипломом, не пользующегося правами, принадлежащими еврею и магометанину с таковым же дипломом.

НАУКА И ЛИТЕРАТУРА В УСТАВЕ О ПЕЧАТИ

Высочайший рескрипт на имя т. с. Кобеко, назначающий председателем Совещания по выработке нового «Устава о печати» директора Императорской Публичной библиотеки, уже самым выбором лица определяет высоту тех задач, какие предлежат Совещанию, и тот дух, которым Совещанию предстоит руководиться. Это – необозримое поле науки и литературы, всемирные сокровища которой хранятся в нашем главном книгохранилище, работа гения человеческого, вдохновения человеческого сердца. Пусть не будут забыты журналы и газеты. Пусть даже о них говорят главным образом. Но не должна быть забыта и книга. Совещание должно охранить, или, пожалуй, ему предстоит положить основной и нерушимый камень в России для нестесненного выражения философской и научной мысли, насколько она выражается путем печати, и для нестесненного пользования памятниками литературы уже истекшей.

Никого не может взволновать живым волнением или вызваг на непосредственное действие страница, появившаяся 50 лет назад. Между тем полное издание «Путешествия от Москвы до Петербурга» Радищева все еще ожидает своего часа; ожидают своего часа сочинения Герцена и Чернышевского, которые имеют один археологический, эстетический и философский интерес. Невозможно не думать, что запрет на их сочинения имеет в виду не столько пользу или безопасность наших дней, сколько является посмертной мстью, намеревающеюся как бы изгладить из скрижалей истории такое-то неприятное, или ошибавшееся, или, наконец, даже временно-преступное лицо.

Нам кажется, Высочайше учрежденное Совещание должно прежде всего остановиться на этих памятниках литературы и мысли. 50-летняя давность, принятая законом нашим как срок прекращения фамильных прав наследников автора на сочинения своего предка, может быть принята удобною нормою и для прекращения «дальнейшего преследования» какой-нибудь напумевшей в свое время книги. Что принадлежит истории, не подлежит более полиции, – по естественной задаче последней: охранять каждое «сегодня». Это касается книг русских авторов. Что касается до западной мысли, то уже самый штампель: «переведена с такого-то языка» — говорит собою, что кни-

га, разумеется, содержит в себе множество мыслей и понятий, чуждых русской действительности и русскому образу мыслей, и что читающий должен вносить сюда соответственные поправки. Это все, что должна сделать цензура: предостеречь, а вовсе не скрыть самое существование такой-то мысли. Мы хотим этим сказать, что переводы с западных языков, ну, хотя бы тоже по наступлении для произведения 50-летней давности, должны быть вовсе изъяты из сферы цензурного надзора, и должны быть изъяты от такового вновь выходящие на западных языках книги, напр., объемом свыше 20 печатных листов. В русском теперешнем сознании так мало «малолетней» психологии, что цензурное нянченье и пестование русской мысли во всем ее объеме представляет собою тоже какое-то археологическое занятие. Оно весьма напоминает заботы гимназического начальства о том, чтобы воспитанники IV–V классов не читали Тургенева, потому что там рассказывается про «любовь», – когда эти воспитанники слышат на улице и хорошо понимают смысл невозможных русских ругательств и даже их иногда сами повторяют. Мы в таких трудных временах, когда наивности вообще надо оставить. Нужно предоставить серьезным формам русской мысли свободу самостоятельно развиваться; чем меньше предметов заботы, тем тщательнее будет забота. Нельзя «объявлять необъятное», а литература страны, по достижении известного возраста, становится совершенно необъятною, неозираемою, неохватываемою никаким глазом (иначе, чем поверхностно) вещью. Цензура французской литературы, цензура английской литературы, цензура германской литературы самым предположением своим вызывает улыбку: именно, в отношении достигнутого объема, разнообразия и углубления этих литератур. Тоже наступило время признать и относительно русской литературы.

Собственно по именам, в схеме своей, всяческие западные отрицания известны и у нас, известны чуть ли не гимназистам. А серьезной начитанности, даже в сфере этих отрицаний, да и вообще всяческой серьезной начитанности, весьма мало у всего русского общества. Отсюда самые отрицания имеют форму тезисов, тем менее оспариваемых, чем менее известна вообще философия около этих тезисов. Они поэтому, как и всякие краткие афоризмы, действуют на волю и, если позволительно так сказать, философия, и некоторые науки от этой их беспрекословной афористичности получили боевое значение, нимало им не присущее по существу и не присущее вовсе на Западе.

О МАССОВЫХ ПРАВООГРАНИЧЕНИЯХ

(По поводу старообрядцев)

Когда читаешь «введение» или философскую часть в государствоведение, когда читаешь определение «закона», «права» и т. п., то ласкается ум и манится сердце. Будтоходишь в рай белых видений, окруженных черной ночью. «Закон никому не вредит», «все доброе защищает», «только злему препятствует». Государство представляется системою этих добрых отношений. Суд... но

уже судьи суть чистые ангелы, с огненным мечом стоящие на страже правды против неправды. Подумаешь, послушаешь слова, то удивишься, отчего это прокуроров и адвокатов не облачают в ризы: до того свяшенно их призвание. Спросишь, отчего на переплете «Свода законов» не выгравировываются разные религиозные символы? И это не только во «введении» и «предварительных словах». Гипнозом или самогипнозом этим проникнута и вообще вся юриспруденция. Напр., над входом в петербургский окружной суд изображен известный Соломонов суд над спорящими об одном ребенке двумя женщинами. Сердце умиляется, и входишь в петербургский окружной суд с мыслью услышать какие-то великие слова, проникновенные суждения, святые суды...

Но вот входишь, вошел, садишься, слушаешь. Алчные лица, невыразимые кривотолки, «заработок» адвокатов, самолюбие прокуроров – и ни одной небесной мысли; а если бы кто-нибудь выразил поползновение к «правде» – идеальной, бескорыстной, то, кажется, вызвал бы гомерический над собою хохот. Но суд есть всегда отражение закона, судьи являют *in concreto* тот образ, который *in abstracto* содержится в законах. Входим в последнее как предполагаемое святилище добрых отношений. «*Justitia est ars boni et aequi*», «юстиция есть искусство добра и справедливости», – учили в юности формулу Пандект все законоведы, решительно все, и между ними те «особенно прилежные и даровитые ученики», которым со временем привелось и редактировать законы, и проводить их в жизнь...

Ну, ответьте, какой же это черный вор, поджигатель чужого имущества, насильник, разбойник, мешающий мирному обществу существовать спокойно, длиннородый старый крестьянин, около него старушка, уже в морщинах, и «лесенка» детишек-погодков, возле них стоящих, скромно причесанных, с потупленными глазами, читающих старозаветную славянскую печать, крестящихся истово большим крестом, слагая пальцы, как слагали их святители русский Сергей Радонежский, митрополиты Петр, Иона, Алексей, Филипп, и, словом, точь-в-точь, до йоты сохраняющие не только весь строй понятий, но и весь внешний стиль лица и быта тех людей, которых памяти мы поклоняемся, как римляне времен Адриана поклонялись своим Кориоланам, Муциям, Горациям... Не этого ли *стиля* люди на наших иконах? Не *о них* ли мы читаем у Карамзина и Соловьева? Не их ли *имена* заставляем вытверживать детей в школе? Их рисует Васнецов – и мы восхищаемся. Но мы их встречаем на улице... а, это другое дело! Иконография кончилась, пришел знаток Пандект; и тот, кто обещал в предисловиях «никому не вредить и все доброе защищать», а на портале судилища своего начертал «Соломона, произносящего суд о двух женщинах», – тащит в тюрьму эти оригиналы живописи Васнецова и других...

Этот мужик, никого пальцем не тронувший, куда ниже поставлен, чем, положим, барон в «На дне» Горького, да и вся компания со «дна», глядя на которую ужасаются зрители в театре. Те ведь не лишены никаких прав, и будь они пограмотнее, не пей водки так много, имей потверже и выдержаннее характер – и каждый из них хоть сейчас же «выходи в люди», поступай на

службу, женись, плоди детей и основывай по достижении «действительного статского советника» хоть новую линию дворянского рода. Что, в сущности, взял Горький в «На дне»? Личное падение, из которого каждый может подняться. Но что такое это «Дно» в сравнении с тою «помойною ямою» существования, какую, «никому не вреда и все доброе защищая», устроили знатоки «Пандект» для миллионов людей, все преступление которых заключается в сходстве, до неразличимости с старыми новгородскими и московскими Кориланами и Муциями!

Они не имеют права семьи!

Они не имеют права службы!

Они не имеют права молитвы; молитвы той самой, точь-в-точь, какою молились Филипп, Алексей, Петр, Иона, Сергей Радонежский. Все это, все я говорю точно, без малейшей ошибки против действительности!

Вот вам и «ars boni et aequi»!

Когда я прочел в «Корреспонденции с Урала», недавно у нас напечатанной, что у староверов, уж во всяком случае семейно живущих, тише, скромнее и благочестивее, не признается существование брака, что жены их, матери, бабушки официально продолжают считаться «девицами», что связь мужа и жены, повенчаных древним русским обрядом, именуется «сожительством», как именуются любовные тайные связи у пропойц и воришек со «Дна», – признаюсь, у меня волосы зашевелились на голове. Что «Дно» Горького: вот настоящее «Дно»! Не то чтобы люди живут худо: но закон определяет, именуется и устанавливает права и правила для этих людей как собак, отрицая, среди гражданских прав, наконец, даже и просто человеческое право иметь семью!

Ну, государство может не пускать себе на службу... хулигана со «Дна» или первостепенного московского купца, которого «в правах службы» оно уравнивает с воришкой. Его дело, его собственность; «хочу с кашей ем, хочу с щами хлебаю», как угрожает купец у Островского своей жене и как повторяют любители «Пандект» о десяти миллионах старообрядцев. Но вот по обычаям своей веры самоед женился на самоедке, а старовер женился на староверке. Первый помолился деревянной кукле, а второй – Николаю Чудотворцу. Государство говорит: «Брак самоеда я признаю, а старообрядцы живут в недозволенной любовной связи, и эта мать 6–10 детей есть только прелюбодейная девица!»

Подобного преследования не подымали никогда еще католики против кальвинистов, против альбигойцев, против богомилов. У нас тихо. У нас нет огня. Что эта западная бутафория?! «Бескровные жертвы» совершаем в храмах и на улицах. Но как понятно, что, до этой степени угнетения доведенные, старообрядцы как бы помutilились в уме от недоумения и спросили себя, и начали рассказывать: «Это от антихриста! Это его злоба, невидная, незаметная, бескровная, бесшумная, но которая ужаснее огня и меча, которые действуют минуту, тогда как дьявол растянул муку на всю жизнь и на целые поколения». Легче ли это меча и огня, можно видеть из того, что образовалась целая секта самосжигателей, т. е. которым легче представляется разом покон-

чить с собою, нежели гнить в этом ужасном каземате унижений, бесправия, лишения самого образа человеческого... Позор сегодня, позор вчера, позор для детей, позор для отцов, дедов; и нет этому конца; и не предвидится, когда он кончится. Не так ли кончают с собою проигравшие чужие деньги: будет еще жизнь, но позорная, под судом – и тогда лучше сегодня кончить. Но старообрядцы уже без суда осуждены; лично из них никто не виноват; вина каждого заключается в слыянности с массою, с миллионями. Но ведь кто мне ближе, Россия или родившая меня мать? Зачем ставить этот ужасный выбор? А когда жестокий человек заставил меня выбирать, когда, к невыразимому несчастью, Россия поставила этот вопрос, что ответить 18-летнему старообрядцу? «Я – с родимой матушкой, с нянчившею меня бабушкой, я против России, которая требует отречься от них»... Да и не против России, а только против тех огромных и властительных дробей ее, которые настаивают на дилемме: «я или твои родители».

Следует вообще признать как правовую юридическую аксиому: что если юстиция есть точно «ars boni et aequi», то пусть даже религиозное сектанство и преследуется в его личном, первом, зарождающемся моменте; в составе тех лиц, которые мыслью своею и волею своей начали «отделяться» (секта); но абсолютно оно непреследуемо со второго поколения, которое лично и от себя ничего не делает, а только остается твердо в родительском состоянии. Есть ли «наследственные преступления»? Дикий вопрос! Рождаются ли уже «сущими в преступлении»? Вопрос еще более чудовищный! Но откуда же тогда «наследственные наказания»? Отчего десять миллионов русских людей уже рождаются в «бесправии», как приговоренные по суду к «лишению прав гражданских», и только – слава Богу! – без «ссылки в отдаленные края».

УБИЙСТВО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

В Москве сегодня, в 3 часа дня, на Сенатской площади Кремля злодейски умерщвлен брошенной разрывной бомбой его императорское высочество великий князь Сергей Александрович. Весть об ужасном происшествии с быстротой молнии облетела всю Москву. Уже в 4-м часу тысячные толпы народа окружили Кремль со стороны Спасских и Никольских ворот. Ее императорское высочество великая княгиня Елисавета Феодоровна в это время находилась в кремлевском складе, и ее высочеству были уже поданы лошади, чтобы ехать в генерал-губернаторский дом на Тверской, куда собрался ехать и великий князь. Когда до ее высочества дошла весть о совершенном злодеянии, она немедленно приехала на Сенатскую площадь. Здесь великая княгиня опустилась на колени перед останками своего августейшего супруга. Тут же была целая толпа народа. Многие плакали навзрыд. Все окружающее представляло ужасную картину разрушения. Его императорское высочество выехал из Николаевского дворца в карете, запряженной парой.

Сенатская площадь обыкновенно малолюдна, и в этот раз на ней, кроме нескольких прохожих и постового городского Леонтьева да еще часового у арсенала, никого не было. Карета благополучно миновала почти всю площадь. Вдруг раздался адский треск. К месту взрыва бегут и солдаты Екатеринбургского полка, и офицеры, и городской от Никольских ворот. Тут открывается потрясающая картина. Тело великого князя лежит бездыханным и обезображенным. Голова отделилась от туловища. Одна нога оторвана, рука с кольцом закинута назад. От шинели остались одни клочья, мундир весь изорван. На земле буквально одни осколки кареты, разбитой в мелкие щепки, клочья войлока от обивки кареты и тут же три ямки, очевидно вырытые силою снаряда. Отдельные пули из бомбы впились в стены арсенала. Испуганные и раненые лошади унесли низ кареты с дышлом и четырьмя колесами ближе к Никольским воротам и здесь бились в изнеможении. Одна лошадь тут же окоченела; куда девалась другая – неизвестно. Кучер Андрей в изодранном кафтане с окровавленным затылком был поднят толпой и поставлен к решетке, так как он не мог держаться на ногах до прибытия кареты скорой помощи. Его отвезли в больницу. В самый момент взрыва городской Леонтьев видел, что какой-то человек бросился бежать от кареты. Леонтьев, околоточный надзиратель Виноградов и следовавшие за каретой охранные чины задержали этого человека. При задержании он быстро сунул руку в карман, но чины полиции успели схватить его за руку. В кармане у него оказался револьвер системы Браунинга. Преступник объяснил задержавшим его, что он приготовил этот револьвер для первого, кто его схватит. Задержанный и не пытался отрицать своего участия в этом деле. Он прямо заявил, что он член социал-революционной партии, что своего звания он объяснить не желает и что он сделал то, что ему было нужно. Преступник среднего роста, в рабочем костюме, довольно невзрачен на вид; лет 30–35, но с заметными морщинами на лице, которое совсем не интеллигентное. Его сейчас же отправили в 1-й участок городской части. Осколки бомбы ранили и преступника, причинив ему целый ряд царапин, но настолько незначительных, что не потребовалась медицинская помощь.

На место печального происшествия между тем поданы были носилки, на которые были уложены части тела в Бозе почившего великого князя. Их покрыли простой солдатской шинелью и отнесли в Чудов монастырь. Носилки переносили офицеры из Александровских казарм и случайно проходившие здесь офицеры, а также нижние чины. На место происшествия немедленно прибыли судебные власти и вся администрация. Остатки кареты и колеса были убраны, а самое место катастрофы, на котором валялись щепы и клочья войлока, было окружено охраной. Это место резко было заметно на снегу тем оналом, который произведен бомбой. На снегу же были лужи крови. Пристав Локатошин нашел на месте происшествия бумажник великого князя. В Бозе почивший великий князь неоднократно получал анонимные письма с предупреждением относительно готовившегося на него покушения, и, конечно, принимались всевозможные меры охраны, но именно не предполагалось

возможности какой-либо засады на Сенатской площади, довольно широкой и открытой. Все наблюдение было сосредоточено в воротах Кремля, так как они узкие и здесь всегда возможно было какое-либо нападение. К тому же малолюдность Сенатской площади давала всегда возможность окружающим видеть всякое покушение. Этой малолюдностью и объясняется отсутствие очевидцев происшествия в самый момент взрыва бомбы, а также и то обстоятельство, что никто из публики не пострадал. Правда, в это время мимо здания судебных установлений проходила одна служащая городской управы, а на значительном расстоянии от кареты великого князя ехали два извозчика, но и эти немногие свидетели обратили внимание на происшествие лишь после того, как раздался взрыв.

О СТАРОВЕРИИ И СТАРОВЕРАХ

Относительно многих явлений можно заметить, что, не будь около них и из-за них излишне страстной борьбы, излишне упорного спора, и они сами не были бы так ярки, заметны. Существование их и история их прошли бы тусклее. Это в особенности применимо к нашему старообрядчеству. Если бы страстность патриарха Никона и остального духовенства того времени, особенно же приехавшего на Московский собор из Греции, не была так велика, то людям, не принявшим «исправленных книг» и поправленных в мелочах обрядов, было бы предоставлено, «впредь до вразумления», пользоваться прежними книгами и употреблять старые обряды, и так называемого «раскола» в русской церкви вовсе не произошло бы, существовала бы группа населения, именно «невразумленного», до времени, пожалуй, «неразумного», и за два века исторической жизни это «повреждение» зажило бы, опухоль на народном организме рассосалась бы, все, вероятно, сгладилось бы, уравнилось, пришло в норму. «Преследования» подняли на дыбы сперва сотни, потом тысячи и, наконец, миллионы людей; преследования и совершенно вредная полемика, взамен ожидаемых и нужных учено-исторических исследований, создала, можно сказать, все болезненное и, наконец, опасное явление «раскола». Каждая полемическая книжка подчеркивала явление, которого вовсе подчеркивать не следовало; каждая такая книжка резче обводила «разность веры», мотивировала отделение в вере. Всякая насмешка, издевательство, запрещение, стеснение прав – все это обособляло и обособляло, заостряло и заостряло в сущности тихое явление: желание молиться по книгам древней печати и кланяться иконам старого письма. Посмотреть на дело с никоновской строгостью, то ведь васнецовская живопись в Киевском соборе должна бы вызвать новый раскол. Ибо не следует забывать, что новые «пошибы» иконописания, не менее чем и типографское исправление богослужебных книг, были причинами «отделения»; и что сам Никон и вообще весь Большой Московский собор решили реставрировать церковь сообразно древнейшим, еще греческим образцам, уставам, типам, отметя московские и вообще туземно-рус-

ские «новшества». Старообрядцы взяли «perfectum» веры. Никон захотел поставить «plusquamperfectum». Мы теперь, со множеством новейших вариантов, куда можно отнести и живопись Васнецова, живем, пожалуй, в ее imperfectum, а ведь еще есть futurum веры? Вере все нужно, все и всякие времена; она всеобъемлюща. Иногда думается, что старообрядчество составляет почти нужный вариант веры, во всяком случае позволительный, не проклятый. При благом и обширном взгляде, старообрядчество почти входит в гармонию веры как остаток древнемосковского, древнесуздальского «пошиба» в богопоклонении. Ведь как страстно и как многие теперь, например, отрицают особое значение аскетизма, другие – защищают. Не делиться же из-за этого церкви, не разделяется же она? А уже это суждение простирает свои поползновения на самый дух веры, а не одну форму ее. И все существует мирно, без войны, от более расширенного, универсального духа самой веры. Словом, «раскола» никогда бы не возникло в условиях теперешней нашей психологии, теперешних представлений о церкви, о религии, и представлений именно верующих русских людей, верующей церковной общины.

А судить и вести дела вперед мы можем силами только теперешней русской психологии, теперешней живой, живущей церковной общины; нас всех, верующих. Все это устремляет нас к миру; устремляет к погашению не догматических «разностей веры», а самого ощущения этих «разностей»; двигает к затушеванию всяческих «обособлений» и в основе всего к затушеванию чувства обособленности; антагонизма, разделения. Не в этом ли самая мысль «единоверия», «единоверческой церкви»? Но, может быть, оттого «единоверческая церковь» и не получила особенного успеха и желаемых результатов, что стояла она изолированно, что около нее, вокруг нее не было соответственного движения в законах, в чувствах, в добрых пожеланиях, что не было «единоверия» в сердцах наших. Напрасно стояли отворенными двери «единоверческих» церквей, когда за те самые обряды, которые уже там были допущены как «истовоправославные», людей все-таки преследовали, угнетали, когда их опровергали и высмеивали в «миссионерской» полемике». Никто в эти двери и не входил, а о немногих входивших оставшиеся говорили, что они попали в «ловушку»...

Преследования создали «раскол» в сумме его психологических данных, в его гневе, азарте, злобе, во всем печальнейшем разделении. Без них это была бы тихая и безопасная вера «старопечатного» типа – и только. Итак, в субъекте своем, внутри души своей, люди дониконовских обрядов суть просто «староверы», «старообрядцы», каковыми неизменно и исключительно они именуют себя, оскорбляясь именем «раскольник» почти так же, как в другой области и другая группа людей оскорблялась именем «незаконнорожденный». «Раскольник» есть не имя, а кличка, и притом ругательная уличная кличка. Она ожесточает, и без нужды и пользы ожесточает сердца старообрядцев так же, как «свиное ухо» – татар, как «пейсы» – еврея. Для законодательного языка, для языка судебного и административного это есть просто неприличное словоупотребление, есть нечистоплотность языка и понятий. Закон дол-

жен и имеет право пользоваться только научно-точными, бесстрастно-точными терминами. «Откололись» от старообрядцев гневом своим, страстью своею, бранью своею – мы; и во всяком случае каким образом они могли стать «раскольниками», когда ничего и никогда не «раскалывали», оставаясь точь-в-точь в том положении, в каком была и исповедывала веру вся Русь до 1666 г. Итак, первым делом «единодушия», которое есть истинная дверь и к настоящему праведному, искреннему «единоверию», должно быть не только оставление, но и запрещение в полемике, в спорах миссионерских, в книгах и брошюрах употреблять слово «раскольник», неточное и бранное; не говоря о полном исключении его из языка законодательства, суда и администрации. Нужно заметить, что в народе, обществе и литературе не употребительно слово «раскольник»; всегда говорят: «Там живут староверы», «это старообрядец», а «раскольник» никогда не употребляют по причине совершенной бессодержательности и бессмыслицы самого слова, которое ничего собою не определяет и не выражает и значит только «не наш», «не мы». Что же это за употребление слова: «не наш»?!! Очевидно, подобную бессмыслицу нужно вовсе убрать. Она не убрана только из нечистоплотной полемики и фигурирует в ней исключительно в значении порицательного, ругательного термина; ибо и в серьезных, даже в богословских, книгах и статьях «раскольник» вовсе не употребительное слово и заменяется везде точно обозначающим, конкретным именем: «старовер», «старообрядец».

Можно сказать, эти последние люди сами стараются погасить «разделение», говоря: «Мы не раскольники»; т. е. что «в расколе, в разделении, в отделении от остального православного русского люда мы не хотим быть». С какой же стати мы в одном случае вводим «единоверие», а в другом «откалываем» от себя людей?! С имен надо начинать, ибо надо начинать с нервов. Раз уже законодательство решило двинуться по пути милосердия, нужно, чтобы первым его шагом была эта элементарная справедливость: возвращение людям настоящего человеческого имени вместо ненаучной уличной клички. Как еще до сегодня с клички начиналось в «собеседованиях» оскорбление, и, конечно, сейчас отсюда рождался гнев и упорство; так с имени начнется знак уважения: и они будут внимательнее слушать нас, как уважающих их людей, как людей просто вежливых и деликатных.

СУЗДАЛЬСКИЕ СИДЕЛЬЦЫ

Простое зрелище иногда действует убедительнее, чем тысяча доводов. Смертная казнь, может, была бы отменена многими веками ранее, чем как она отменилась действительно, если бы взято было «в заповедь» правило, чтобы подписывающее смертный приговор лицо предварительно собственными руками резало хоть овцу. Собственными руками? Чтобы кровь текла по пальцам? Чтобы рука чувствовала последние содрогания еще теплого тельца? Да, это уже не то, чтобы подписать: «Людвик» или «Филипп, король

обеих Испаний» на листе пергамента. Чернила высохли, король перешел «к рассмотрению других дел», а уж там простые мужички, которые получают жалованье и от которых ничего облегчить не зависит, будут чувствовать под ладонью содроганье живого тельца. Проклятое «разделение труда», особенно в сфере юриспруденции, именно – разделение приговора и исполнения, обусловило всю отвлеченность и всю жестокость отвлеченности в суде. Нутека, читатели, кому-нибудь из вас сказали бы: «Вон там штундисты вшестером читают без руководства священника евангелие. Могут заблудиться. Скверный пример! Надо отделить этих волков от овец православного стада и для этого посадить в острог». И вот вам, какому-нибудь Ивану Ивановичу из моих читателей, привелось бы встать с мягкого стула и, подойдя к четырем мужикам, одной бабе и одному подростку лет 13, «читающим без руководства евангелие», взять их за шиворот, закрутить руки назад, связать крепким узлом и, поддавая пинков сзади в ответ на приводимые ими тексты о «Христовой свободе», довести до острога, отворить дверь тихой осторожной келейки и, втолкнув туда любителей свободного чтения Евангелия, запереть накрепко замок и пойти домой завтракать с супругой и детьми. Я думаю, у каждого завтрак стал бы в горле; опротивели бы дети, жена. Каждый, попытав однажды «смирить сектантов», плюнул бы на все дело и сказал бы: «Нет, уж как угодно, а пусть дело без меня обойдется. Пусть Христос путями, которые Сам знает, спасает церковь Свою от разрушения. У Него путей много, у Него небесные силы. Но чтобы я еще раз за шиворот, еще раз пинком, с железами на ногах, на руках... никогда, ни за что!» Физическое преследование «иномыслящих в вере» пало бы сейчас же, если бы нам, религиозным ревнителям, то пописывающим статейки на религиозные темы, то переводящим благоуханные страницы из Фомы Кемпийского, было предложено совершать свои приговоры своими руками... Но чужими, руками рабов, мужиков, о, сколько угодно! Иной полководец, может быть, собственными руками не мог бы заколоть курицы; а послать армию в бой – это просто росчерк пера на бумаге.

Слабость зрительных, физических ощущений, абстрактность распорядительного момента в наказании, мне кажется, наполовину объясняет вообще употребление физической боли в случаях, когда она не является в качестве самозащиты или в качестве «суда Линча», древнего «побийения камнями» в ответ на ярко возмутительное, оскорбительное или жестокое преступление. «Суд Линча» мне несколько понятен, напр. в отношении разбойников, несколько лет назад напавших на имение богатой южнорусской помещицы, муж которой был в отлучке: злодеи, несмотря на мольбы матери убить только ее и оставить жизнь малолетним детям, зашли сзади матери и оттуда достали и уколошили детей. Ну, с таковыми разговоры не должны быть долги. Тут не до «гармонии» и не до «непротивления злу».

Но кротких, ошибающихся, заблуждающихся – как казнить? Как казнить запутанность ума (кто им не путал? только равнодушные!), излишек нервов, начало истерии, патологические предрасположения? Все это – кроткие из кротких, лишь по временам и то в ответ на грубую действительность прорыва-

ющиеся резким выкриком. Тут нужен доктор. Нужно духовное исцеление, беседа, вразумление. Здесь казнь (наказание) только и объяснима, что отвлеченностью процессуальных форм наказания, абстрактностью бумажного делопроизводства, где наказующий вовсе не видит кроткого наказуемого лица, как и физической обстановки самого наказания. Пришел «доклад» по почте к кроткому комментатору Фомы Кемпийского: после благоуханных страниц немецкого мистика – русская грязь. Он возмущен уже тем, что оторван от приятного чтения, готовый вот бы сейчас зажечь лампаду. Такое-то «дело», такие-то «проступки». Помните, у Майкова в прелестном «Констанцском соборе»:

Так по пунктам, на цитатах,
На соборных уложениях
Приговор свой доктор черный
Строил в строгих заключениях.

Прочитав эти «заключения», любитель лампад и Фомы Кемпийского равнодушно подписывает «изложенное» и в новом конверте сдает на почту, после чего уже наконец можно и зажечь лампаду. Все отвлеченность – так я думаю. Пощупать бы стены темницы, и (я настолько верю в доброту человеческую) любитель Фомы Кемпийского далеко отбросил бы от себя маленькую изящную его книжку и своим плечом, пусть физически немощным, начал бы разламывать двери, разламывать сырые, толстые стены этой темницы.

Русское общество, вероятно, с живою радостью прочло в газетах, что в заседании 8 февраля Комитет Министров выслушал сообщение о том, что Государь «по всеподданнейшему докладу статс-секретарем Победносцевым определения Св. Синода» соизволил 29 января сего года на освобождение из Спасо-Ефимиевского монастыря крестьян Ермолая Федосеева, Алексея Калечина, Феодора Ганчева, Евфимия Попова, Кузьмы Мошкова и мещанина Феодора Ковалева и из Соловецкого монастыря крестьянина Петра Леонтьева. Невозможно не приписать, по крайней мере отчасти, этого доброго дела появлению быстро раскупавшейся книжки нашего старого и знаменитого исследователя сектанства А. С. Пругавина: «Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством». На обложке написано: «С критическими замечаниями духовного цензора». «Примечаний» всего 3–4, например следующего смысла: «Во всяком случае, касательно юридического характера преступлений против веры и церкви, духовные лица компетентны не менее патентованных юристов из светской интеллигенции. Примечание архимандрита иеромонаха Александра». Отсюда видно, что книжка не только прошла под духовною цензурою, но и под цензурою весьма благоприятной знак, – что среди самого духовенства наших дней есть доброе сознание нужды таких книжек, доброе движение к развязанию таких узлов прошлого, которые как-то неудачно и больно и вообще несчастно завязались на истощенном теле русского народа. Мы уверены, что некоторая пристальность сюда общественного внимания и особенно яркая картина того, что именно делается под тихим наиме-

нованием «заключения в монастырь», поведет к раскрытию ворот и для остальных томящихся там узников, дабы исполнилось слово пророка, отнесенное Христом к Себе, по которому человечество должно было признать в Нем Мессию: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу; проповедать лето Господне благоприятное» (Ев. от Луки, гл. 4). Совокупность признаков, которые если налицо – то мы живем в царстве Мессии; а если этих признаков налицо нет, то, по пророку и Спасителю, по Ветхому и Новому Завету, – и царство мессианское нам еще не принесено.

Спасо-Ефимиев монастырь находится в древнейшем городе Суздале, ныне Владимирской губернии, и был основан одновременно с Троице-Сергиевскою лаврою преподобным Евфимием и великим князем Суздальским и Нижегородским Борисом Константиновичем. Нападения татар и литовцев на эти области побудили сообщить ему, как и многим монастырям того времени, значение крепости на случай набега. Это – наши «бурги», как бы «рыцарские замки», принимавшие в убежище свое беззащитных окрестных поселян. Он обнесен был высокими массивными стенами, на которых стояли пушки и всяческие средства защиты. Так существовал он, с воинственным видом, но мирно, до 1766 года, когда впервые был обращен в место ссылки и заключения виновных из бывшей «Тайной канцелярии». Г-н Пругавин не останавливается на этой связи, но мы склонны думать, что первоначальный исходный пункт, по которому судьба монастыря этого связалась с знаменитым и страшным «Приказом розыскных дел», повлиял самым жестоким и роковым образом на характер монастырского здесь заключения. Известно, каковы родители, таковы и дети. Раз что сюда предназначались колодники из Тайной канцелярии, то и способы обращения с ними не могли быть иными, чем какие выработались и практиковались около грозного «слова и дела». По простому соседству, по географической и деловой смежности, монастырь, основанный преподобным русским и благочестивым великим князем, впал в несчастье служить совершенно обратному с тем, чем он служил до сих пор. По указу Екатерины II от 1766 г., сюда должны были быть собраны «сосланные из бывшей Тайной канцелярии для исправления в уме в разные монастыри колодники, для лучшего за ними присмотра и сохранения их жизни, равно, чтобы от них какого по безумию их вреда кому учинено не было, определяя для смотра за ними воинскую команду от суздальской провинциальной канцелярии». Таким образом, это было что-то среднее между сумасшедшим домом и острогом; «колодники» определялись не то как больные, не то как преступники; точнее, и как преступники, и как больные. До возникновения психиатрии, до выработки методов лечения душевных болезней, место заключения душевнобольных было, конечно, только острогом. Чем же иначе? Вспомним, что проделывалось даже врачами с «душевнобольным» Гоголем, и мы поймем и даже отчасти оправдаем тот, в сущности, ужас, превосходящий всякую тюрьму и всякую психиатрическую лечебницу, какой здесь без врачей, без науки,

одную воинской командой и начальствовавшим над нею настоятелем монастыря о. архимандритом проделывался над «душевнобольными», притом с специально-скверною формою болезни, в высшей степени оскорбительной для мысли, для души и убеждений отца настоятеля. Он получал в обладание свое «колодников», преступивших не вообще там «против государства» (отвлеченно, отдаленно), а специально преступивших против «святое святых» его личных взглядов, привычек, убеждений (преступления против веры, церковного строя). Они были и преступники, и сумасшедшие. С ними можно было поступать и по линии сумасшествия, как врачи с Гоголем, и по линии преступления, как Тайная канцелярия поступала с государственными врагами. Во всяком случае, по несчастной случайности связи с Тайною канцеляриею дух знаменитого «слова и дела» у нас распространился с государственной сферы на духовно-церковную. И здесь также возник «сыск» и все приемы суда, суждения и осуждения, ему присущие, но уже отнесенные не к смелым злоумышленникам против государства и государственного интереса, а к робким искателям истины, к людям утроенно-совестливым, к богоискателям, веро-очистителям, вечно трепещущим, как бы не поклониться кумирам вместо Бога, идолам (признанным) вместо сокрытой от людей и часто гонимой истины. Вл. Соловьёв в 80-х годах XIX века в одном из заседаний Московского психологического общества напрасно высказался, будто и в России существовала и сейчас существует инквизиция; защищая тогда католичество, он хотел сказать, что инквизиция, этот главный мотив нашего отчуждения от католиков, присуща и православным, и православию. По справедливости, этого не было и нет. В истории, как и в быте, «каждый молодец на свой образец». Торжественных аутодафе у нас не устраивалось; никто не любовался на них. У нас все темнее, подвальнее. У нас не огонь, а какая-то сырость. Не рыцарские замки, а плесень. Не знаю, легче ли это для осужденных. Думаю, что даже тяжелее. Ведь Саванароллу, Иеронима Пражского, Иоанна Гуса, столь торжественно, блистательно сожженных, – их запомнила история. Сколько прекраснейших слез пролило над ними! Умирая, они знали, что история их не забудет, что из сердца человечества невозможно изгладить их имена и образы. У нас, я сказал, сырость. Кто, что помнит об узниках Спасо-Ефимиева «монастыря» или Соловецкого? Какие-то «сумасшедшие», что-то юридическое, глупое, никому не нужное. Под таким покровом сохраняются эти люди, и приняты всякие меры, чтобы погасить всякий интерес к ним, любопытство; даже жалость – как к полуживотным. Кто же особенно, до крови жалеет «сумасшедших»? О, русская игла иногда глубже колет, чем западная, сверкающая, острая. У нас ковыряют лучиной; но доковыривают до того же, и ей-ей это еще мучительнее, нежели иглою. Нет, инквизиции у нас не было; «духовного суда» у нас вовсе не было, с свидетелями, показаниями, судьями в форме и вообще всей тяжелой арматурой римской юриспруденции, у нас просто «заподозревали» или был «неприятен» человек; неприятен, что начинал тревожиться, «думать», «вольно мыслить», когда мы привыкли жить от года к году и от века к веку застывшими поняти-

ями... и даже не понятиями, а только заостренными словами. И вот, «немного поговорив», высылают какого-нибудь «Иванушку», который только и всего, что «миром мазал» проходящих к нему, что подобает делать иерею, а человеку простого звания не принадлежит. Крестьянин Шубин «за старообрядчество и богохульные слова на св. дары и церковь» просидел в Соловецкой тюрьме 63 года (Пругавин, стр. 83). Здоров же был! Но кирпичи каземата оказались еще здоровее этого беспримерного русского здоровья. «Архимандрит Михаил, влюбившись в деревенскую девушку, настолько возвеличил ее, что стал считать ее безгрешной и даже святой. Монах Исаакий разделял убеждение своего архимандрита и тоже доказывал святость этой девушки» (стр. 91). Оба они за эту «ересь» сосланы в Соловки «до конца их живота». Что это, болезнь? Может быть. Возможна причудливая игра воображения. Не из одинакового убеждения разом двоих возможно предположить и встречу действительно с редкой девушкой, какою-нибудь новгородскою Жанной д'Арк. Каких не бывает чудес психологии и быта, и разве не случалось вам, ну хоть однажды в жизни, встретить человека, мужчину или женщину, юношу или девушку, столь изумительной красоты, что имена: «герой», «святая», «непорочная» – срываются с уст, как молитва, как удивление к необыкновенному духовному феномену? Правда, это «не подобает» архимандриту и монаху. Но влюбление – может быть, самое идеальное (здесь, очевидно, таковое и было, без физического блуда) – неужели это «ересь», за которую следует просидеть в заключении «до окончания живота»? Хорошо известно из истории церкви и из жития святых, что не только влюблялись, но и «падали», и даже многократно падали, великие светильники аскетизма. Просто – тут случай, несчастье, ну – грех; но не преступление. Лишение сана – это все, что сколько-нибудь мыслимо как наказание за подобный проступок. Но тяжелой римской арматуры доказательств у нас не было. Инквизиции не было. На влюбленного монаха с гиком, с свистом наезжало «слово и дело»; свистели арапники, грубые ругательные слова, в которых и потонула деревенская Мадонна. Жестокости принципиальной, последовательной, философской у нас не было. И здесь ошибка Вл. Соловьёва. Была грубость, мастодонтовая, татарская; было жестокое, черствое сердце, ни зги поэзии, ни начатка философии. Правы Ключевский, Забелин, С. М. Соловьёв, бытописатели русской истории, а не философы.

* * *

Какая радость была прочитать 18 февраля о заседании Комитета Министров, начертавшем, и энергично начертавшем, программу веротерпимости у нас. Наконец-то вера будет актом души, а не формой казенного состояния. Сколько об этом было молений Вл. Соловьёва, всех славянофилов (без исключения), Гилярова-Платонова, Л. Толстого. И всех, всех русских лучших людей, целой русской литературы. Если бы это укрепилось, озаконилось, обеспечилось! Страшимся последующих «оговорок», и «ограничений», и «изъятий», которые могут свести на «нет» все дело! Но пусть же поспешат скорее рас-

крыть двери темниц томящихся остальных узников веры. Мы возвращаемся к судьбе их, руководясь книжкой г. Пругавина.

Наиболее тяжелым видом «монастырского смирения» считались так называемые «земляные тюрьмы», существовавшие в Соловках до половины XVIII века, а в других монастырях до самого конца этого века. По способу устройства и выхода из них они представляли собою неглубокий, аршина в три, колодезь, края которого обложены были кирпичом, а сверху клалась доска и на нее насыпалась земля, с маленьким отверстием в ней, не более чем в величину колодезной бадьи. Отверстие это было единственным сообщением колодца с миром, и оно всегда было заперто замком, а отпиралось только тогда, когда нужно было подать узнику хлеб и воду и однажды в сутки поднять от него посудину с нечистотами. В «милостивых случаях», впрочем, узника вытаскивали по воскресеньям через это отверстие, дабы он сподобился выслушивать божественную литургию; но после слов заключительных священника: «с миром изыдем» – его опять опускали в родную яму. Дно ее было покрыто соломою для спанья. В таких колодцах, привлекаемые ли остатками еды от узников, или чем другим, водились во множестве крысы, и они нередко отъедали уши и нос арестантам. Последние слабо могли защититься, имея кандаль на руках и ногах. Когда одному из них, «Ивашке Салтыкову» (Пругавин, стр. 28), караульщик дал палку для обороны от крыс, то за такую «поблажку» сей «милосердный самарянин» был по приговору «бит нещадно плетью». У нас не Галилея. Хорошо прочесть в вековечной притче, что вот «самарянин находит на дороге ограбленного разбойниками и перевязывает ему раны». Верим, умиляемся; но вот, если бы нашелся другой «разбойник», который сказал нам: «Э, никаким я притчам не верю: все это мираж один, да и сами вы не верите», то за такое поругание нашей веры и за разрушение нашего идеала и умиления не достоин ли он быть посажен в яму, куда не жалко выплеснуть только помои, а если бы другой «самарянин» защитил его хоть от крыс, то не следовало ли всыпать ему плетей? Галилея – Галилею: но ведь что же нам делать при нашем холоде, болотах. Христос мог питаться смоквами, а у нас растет один лук. Ну, там и для тамошних стран – золотистые притчи; но нам толсто вপুরе почитать их; а как дойдет до дела, то вот книжка Пругавина и ее меланхолические сюжеты.

Между прочим в ней напечатана (для образца) инструкция, данная в 1863 г. штабс-капитану Лагухину, назначенному сопровождать на заключение в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь старообрядческого епископа Геннадия, «в миру крестьянина Григория Беляева». Этих старообрядческих духовных лиц было заточено в Суздале несколько: в 1854 г. «пойманные в турецких владениях (т. е. нисколько не наши «бунтовщики») архиепископ Аркадий, епископ Алимпий и священник Ф. Семёнов», в 1859 г. туда же был заключен «пойманный» в Киевской губернии старообрядческий епископ Конон. Епископ Геннадий протомился в тюрьме от 1863 г. до 1881 года. Тут все дело в мало заметной приписке официального документа: «в миру крестьянин Григорий Беляев». В самом деле, «крестьянин» он или «епископ»? Для десяти милли-

онов старообрядцев, строжайших ригористов в деле обряда, он несомненно является, по всей силе веры их, «несущим апостольское призвание», «епископом», линия которых восходит по древности к «посланиям ап. Павла» и прочих апостолов, учеников непосредственно Христа. Все может вера, даже и пронизать два тысячелетия умилением, надеждою. Но для «инструкции»-то, полученной штаб-капитаном Латухиным, он просто, как и значилось в ней, «крестьянин Григорий Беляев», и, разумеется, крестьянину – крестьянская и честь, или, *vice versa**, с мужиком – и мужицкое обращение. Не пряниками же его кормить. «Епископ» или «мужик» – это ужасно трудно решить, для меня, напр., трудно, хотя, конечно, старообрядчества я не признаю, в него не верую. Но ведь и китайская императрица для меня – просто баба. Если это неосторожно сказать о Китае, скажу то же о сиамской царице. Но сказать: «Сиамская царица есть просто баба» – как-то неудобно: не реально и только сатирично. Нет, на деле нам следовало бы признавать вообще все сущие и всяческие сущие иерархии, даже находясь с кем-нибудь в войне, в борьбе – как с старообрядцами. Для нас по вере они не суть наши епископы, но уже таков факт, что их признали епископами какие-то другие, нам чуждые люди. И к ним под благословение мы не подойдем, но, напр., вести их в заключение все же следовало бы иначе, чем мужика, ну, напр., чем прославившегося кражами лошадей такого-то другого «Ивана Беляева». Войдем же в подробности «проводов» и «заключения».

Инструкция как инструкция: 1) не допускать до чего-нибудь, чтобы арестованный не мог повредить своей жизни, 2) сторожить его всегда в полном вооружении, 3) смотреть, чтобы арестант не покусился на самоубийство, бросившись на имеющееся у сопровождающих оружие, 4) не допускать ни с кем разговаривать на дороге и прочее. Вообще нельзя не заметить, что в «ссылку» входит не только изоляция от здорового населения, дабы не заразилось «оно лжемудрием» и «баснями», но и явно – месть. Один заключаемый, когда увидел свой каземат, то пришел в такой ужас, что стал ругаться и пригрозил, что разобьет голову о стену, если его туда запрут. Но ведь голову не так-то легко разбить; ну, ушибется, полегит в беспамяත්стве; однако же не проломит черепа. Да и проломит чуть-чуть, – что ж особенного. Тюремщики знали это и заперли «голубчика», как он ни артачился. По приезде в монастырь жандармы или полицейские, сопровождавшие арестанта, представляют его отцу архимандриту, который, приняв новичка, выдает сопровождавшим его квитанцию «с приложением монастырской казенной печати». После этого, по приказанию о. архимандрита, приведенный арестант обыскивается, и у него отбираются все, кроме самонужнейших, вещи, равно, конечно, и деньги, как могущие служить к побегу и подкупу, лишнее белье, платье и проч. И все это остается у о. архимандрита «на хранение». Но так как монастырское «смирение» определяется большею частью на неопределенный срок («впредь до исправления и раскаяния», т. е., в сущности, бессрочно), то и «хранение»

* наоборот (*лат.*).

естественно переходит в собственность. Вообще нельзя не определить, что «смирение» в монастырях, в силу бесформенности и потаенности предварительных процессуальных форм суда, является, в сущности, «похоронами» данного человека, после которых так же трудно и редко возвращение и освобождение, как редки случаи откапывания из могил заживо погребенных. По изложению у г. Пругавина судьбы отдельных лиц видно, что их – забывали. Это видно из того, что в редчайших случаях ходатайствования высокопоставленных лиц за заключенных их обыкновенно выпускали. Что, конечно, было бы невозможно с формально (по суду) заключенными. С ними было беспокойно, когда они были наверху. «Беспокойство»-то, а не какая-нибудь определенная и доказуемая вина и было причиною «похорон». Но когда уже человек в могиле и не беспокоит никого, какая нужда о нем беспокоиться? т. е. вспомнить, что ведь есть же срок? Не напоминали – не вспоминали.

Особенно тщательно следили, чтобы у арестованного не было письменных принадлежностей и книг. Г. Пругавин приводит случай, имевший место «всего года два назад» (стр. 66), когда заключаемому не было дозволено иметь при себе даже Евангелия и Псалтири. После обыска арестант, по приказанию о. архимандрита, отводился в крепость или арестантское отделение монастыря, и запирался там в маленькую одиночную камеру с необычайно толстыми сырыми стенами. Камера имеет одно небольшое окно с массивной железной решеткой: видеть в него однако ничего нельзя, так как оно упирается в высокую крепостную стену, отстоящую всего на три сажени. Таким образом, узники никого не видят и их никто не видит. Старинная, сырая и холодная тюрьма не прогревается даже и летом. Каждая камера на замке, и первое время арестантов никуда не выпускают. Только раз в сутки замок отпирается, чтобы арестант мог вынести посуду с нечистотами после себя. Пища подается через узенькое окошечко в двери. Через это же окошечко часовой наблюдает за арестантом. А. С. Пругавин обращает внимание на следующее: арестанты почти все, как сосланные «за изуверство в вере», имеют неодолимое рвение постоянно молиться. И вот, объясняет он, отсюда проистекает непредвиденная мука. Известно определение молитвы Спасителем: «Ты же войди в дом твой и затвори дверь за собою – и помолись». В самом деле, почти невозможно усердно, пламенно и лично молиться, если на тебя смотрит кто-нибудь. Арестант, до такой степени брошенный, конечно, чувствует потребность лично молиться. Но едва какой-нибудь тряпчочкой он завесит оконце в двери и вот стал на колени, как раздается громкий стук часового в дверь:

– Не знай, ты молишься, не знай, ты стену копаешь.

И велит отбросить тряпку. Религиозных фанатиков, и без того нервных, это ужасно измучивает.

Такая-то «камера» ожидала, между прочим, и А. С. Пушкина после написания им «Оды на вольность»; в нее едва не попал известный историк А. П. Шапов за служение панихиды по Петрове, вызвавшем крестьянские волнения в селе Бездне, Казанской губернии. Шапов был приговорен к наказанию

Св. Синодом. Но как Пушкин, так и Шапов были оба спасены сильным заступничеством: опять – доказательство, что «смирение в монастыре» определялось не судом, а «суждением», неопределенным, тусклым, бесформенным. Ибо, конечно, «приговора суда» отменить не может ничье и никакое ходатайство.

С 1766 по 1902 г. общее число заключенных в суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре превышает 400 человек. Из них священников 108, в том числе 5 протоиереев, 1 ключарь кафедрального собора и член духовной консистории, 16 архимандритов и игуменов, 65 монахов, иеромонахов и иеродиаконов, 16 диаконов, 17 дьячков, послушников, причетников и пономарей, 1 бакалавр Киевской духовной академии. Это – основной слой. Вообще «заключение в монастыре» имеет все оттенки суда не общерусского, а как бы своего внутреннего, сословного и служебного; оттого оно так безгранно, безвидно, бесшумно и вообще мало возбуждает внимания. В нем не барахтались Бруно и Галилей: зачем о нем знать истории? Это свои «своих» смиряли, чинопочаение – чиноподчиненных, Авели веры – Каинов в ней. Но слишком понятен и естествен взгляд всего духовного чинопочаения на целую Россию как на некоторый «духовный пансион» в своем ведении или своем ведомстве: и отсюда уже – заключенные в том же монастыре люди светского звания. Из них было 52 человека дворян, офицеров и чиновников, в том числе: 1 генерал-майор, 2 барона, 1 граф, 2 князя; 16 солдат и нижних воинских чинов, 51 крестьянин, 10 мещан, 3 купца, 2 однодворца, 6 канцеляристов, 4 раскольничьих архиерея, 11 раскольничьих наставников, попов и иноков, 1 учитель, 1 актер, 1 полицейский надзиратель, 1 кадет горного института. Из них на XVIII век приходится 62 человека и на XIX век – 341. А. С. Пругавин приводит статистику по четвертям XIX века: с 1 января 1800 года по 1 января 1825 года сослано сюда 55 человек; с 1 января 1825 года до 1 января 1850 года – 53 человека; с 1 января 1850 года по 1 января 1875 года – 117 человек и с 1 января 1875 года по 1 января 1902 года – 116 человек. Это – число вновь заключаемых. Принимая во внимание, что «разномыслие» и «худоумие» обнаруживается людьми большею частью в молодом, пылком возрасте, или во всяком случае в возрасте не старом, не дряхлом, что решительно невозможно остаться до старости незамеченным в «примерах особой веры», – приняв все это во внимание, мы вправе определить число лет заключения никак не менее 25 лет. Если так, то и постоянное число «смиряемых» в казематах определится приблизительно в сто человек для каждого данного времени, года, дня.

Умиравших колодников хоронят в монастырском саду. Ни креста, ни плиты, никакой вообще отметины не делается над могилой, чтобы скорее забыто было имя человека, который при жизни «обеспокоил» верующих. «Перепишвайся о нем при жизни, – так ведь не переписываться же еще и после смерти?!»... Вообще живым приходится так много дела с живыми, что «рученьки устали, ум не придумает». Много возни с материальными невзгодами жизни, прокормлением, войною, пожарами, разбоем: так когда еще является необходимость возиться и с «мыслями» человека, не всех людей, а некоторых людей, – это вызывает негодование, ни с чем не сравнимое. Представьте: прорвало у

мельника плотину, а вы его спрашиваете: «Сколько семью девять?» или «Как звали его бабушку с отцовской стороны?» Он может только оттолкнуть вас, плюнуть в лицо вам. Все вопросы – до крайности «сердечные» для сектантов – просто не существуют для государства Российского. «Что есть духовный антихрист?», «двуперстие означает две ипостаси в Иисусе Христе, а троеперстие знаменует Отца и Сына и Святого Духа: то двумя надо перстами креститься или тремя?» Ну, что до этого за дело штабс-капитану, ведущему колодников в далекий Суздаль, и самому архимандриту, у которого под ключом сидят эти колодники, человеку сытому и скромному, и, наконец, вообще Российской империи? Ничего не значат, тьфу. И только от того единственно, что чиновничество наше, «яко солнце» решило объять светом и теплом своим вселенную (т. е. русскую), так, чтобы ничто не осталось не освещенным и не согретым ею, – оно бросило луч свой и на эти «мхи» и «болота» бытия и мысли человеческой, ему вовсе ненужные и неинтересные. Не то чтобы оно ненавидело это; ну, как ненавидеть «двуперстие» и «духовного антихриста»? Я не встречал человека, который бы это ненавидел. А гонимых за это – слишком мы все встречали. Что же это за явление, что ненавидящих нет, а ненавидимые (казнимые) есть. Да просто – вопрос ничего бы себе, но не у места. Для грубой, суровой, среди невзгод живущей России все умственные выверты, все экстравагантности воображения и разные «пылы» сердца, к чему в конце концов сводятся все «секты» и всякое «иномыслие», не существуют в важности своей и противны, «гадки», бессмысленны в качестве. Все убеждения сектантов-узников именуется в официальной переписке общим и тусклым именем: «бредни», «басни». В переводе это значит: «не хочу разбирать! отстань!».

Особенно укромно, для избежания будущей возни, хоронятся «начальники сект». Их хоронят рано утром, до солнца, когда еще никто не встал. И хоронятся они не в монастырском саду, а где-нибудь вне монастыря, причем тщательно сравнивается земля над вырытою не столько могилкой, сколько ямой и закрывается срезанным дерном. «Чтобы не образовалось богомолений и паломничеств над дураками». Так, между прочим, был погребен 13 мая 1877 г. глава и основатель секты кавказских прыгунов, казак Максим Рудометкин.

Сверх Спасо-Евфимиевского монастыря, еще следующие служили местом ссылки и заключения: Соловецкий, Николаевский, Корельский Архангельской губернии, Сийский на Северной Двине, Спасо-Прилуцкий близ Вологды, Новгород-Северский, Кирилло-Белозерский, Валаам, Спасо-Преображенский в Старой Руссе, Юрьевский близ Новгорода, Псковский, Свяжский – Казанской губ., Далматовский-Успенский – Пермской губ., Вознесенский – Иркутской губ., Успенский-Нерчинский. Таков был «духовный виноград», выросший на щедрой российской почве. Замечательно, что большинство этих мест заточения жметя к северу, как и появились они в северный, холодный период русской истории: Киевская Русь их не знала. Я думаю вообще, что все описанное и описываемое – северное явление; просто – явление льда, мхов, вечной холодной сырости, а не духовной инквизиции в

собственном смысле. Если мы припомним, что и сами сектанты непокорных членов тоже любили «смирять в чулане» или становить до умору «на поклонь» (епитимья, доходившая до 1000 поклонов); то пойдем все описываемое явление как довольно общерусское.

Женщины имели ряд своих монастырей: они ссылались в Покровский и Ризоположенский в г. Суздале, Владимирской губернии, Далматовский-Веденский (Пермской губ.), Кашинский (Тверской губ.), Енисейский-Рождественский, Иркутский-Знаменский и др. И в настоящее время в Суздальском-Покровском монастыре находится в заточении Настасья Кузьминична Шувина, в монашестве Мария, основательница известного Раковского монастыря в Самарской губернии. Любимая народом, популярная во всем округе, деятельная, благотворительница, она возбудила подозрение в местном духовенстве по части принадлежности к хлыстовщине. Когда здесь известный «Иванушка», на Петербургской стороне, начал всех, приходивших к нему с болезнями и разными житейскими невзгодами, мазать миром (т. е. просто – кисточкою и деревянным маслом), то я слышал среди компетентных сфер поднявшийся шепот: «Должно быть, скрывающийся хлыст». Подозрение это в особенности потому легко устанавливается, что об учении хлыстов ничего определенного и решительного не известно. И это есть та «terra incognita», куда относится все сомнительное, имеющее в себе «отметины», и вместе не явно старообрядческое. Все – экзальтированное, нервное: даже – «лицемерное благочестие» есть одно такое обвинение заключенного, приводимое г. Пругавиным: «Отличался лицемерным благочестием, жил в пещере и тем привлекал к себе народ». Это – официальное обвинение заключенного «впредь до покаяния» (!!!) в тюрьму! Словом, все неясное по части веры, а вместе и носящее непривычный пошиб относится сюда, к течениям «мистическим», как усердное чтение Евангелия относится «к сектам рационалистическим, к штунде»; а приверженность к древности относится к «старообрядчеству». Только «золотая середина», Евангелием пылко не увлекающаяся, старого до подробностей не помнящая, «светопреставления» не боящаяся – есть «мы» и «наше»; срединное наше равнодушное царство.

ОДИН МАЛОЗАМЕТНЫЙ ЗАКОН

(К вопросу о староверии)

Плохое дело – тушить полой кафтана пожар или бороться с наводнением, противопоставляя ему носовой платок. Не так же ли мы делаем и делали, сводя существование многих миллионов старообрядцев в какой-то потаенности, к какому-то тайному, безвидному, якобы незаметному существованию? Это знаменитый закон о «неоказательстве» ими своей веры, в силу чего старообрядческая моленная, например, может быть, но над нею нельзя поставить креста, старообрядец может умирать в больнице, и всякий знает, что это старообрядец, что у них есть свои священники, но позвать этого последнего

для исповеди нет возможности, потому что ему придется для этого проходить коридорами и комнатами общественного учреждения, а это уже есть «оказательство». Словом: «существуй», но не «оказывайся». Закон, которому параллелей мы, вероятно, не найдем ни в одном из древних и новых законодательств, и в юридическом существовании стран и народов он есть такая же «чупа», нечто «единственное», как, например, знаменитый «Codex Sinaiticus» в нашей Публичной библиотеке.

И главное – всем это известно, даже за границу! Ведь существует целая обширная литература о старообрядчестве, фигуры их мелькают в беллетристических произведениях; сотни тысяч старообрядцев живут в Австрии и в Турции, и на немецком языке, из-под пера авторов-немцев, вышло не одно исследование быта и вероисповедных особенностей старообрядцев. Укажем для примера на труд профессора Лейпцигского университета Иоганна Геринга: «Раскол и секты русской церкви», недавно появившийся. Таким образом, требование «будьте», но не «оказывайтесь» в отношении старообрядцев так же неудобно, трудно и странно, как если бы закон повелел «быть», но не «оказываться» магометанам в Казани и Закавказье, «за исключением Средней Азии, где их слишком много», или – евреям везде, кроме Вильны и Шклова.

«Не оказываться» – значит «не быть», «не должно быть»; и закон как будто ожидает, что, просуществовав очень долго в таких совершенных потемках, старообрядие вовсе исчезнет, как-нибудь растает, испарится и проч. Ибо ведь нельзя же ожидать, чтобы «оказательство», например крест на моленной или прохождение их священника для напутствования умирающего в больнице, кого-нибудь моментально и уже одним видом своим соблазнило, совратило? Тогда не надо бы допускать на Невском, Морской и Конюшенной улицах католических, лютеранских и реформатских храмов? Но они допущены, и без всякого колебания. Очевидно, что закон сам не думает, чтобы произошло хотя одно «совращение» от моментального зрительного впечатления – за целые сто лет и у всего народа. Неужели может произойти перемена веры от одного взгляда на восьмиконечный старый крест, поставленный над старообрядческой моленной? И как же нужно представлять слабою коренную русскую веру, если она может зашататься при одном взгляде на чужой обряд, чужое пение? Остается из всех невозможных предположений только последнее, что запрещение «оказываться» вызвано желанием не иметь перед глазами раздражающее зрелище людей, которых не удалось укротить, которые не повинуются, остались при своем образе мыслей. Но признавая основательность этого мотива, можно бы приказать раскольникам никогда не являться перед дворцом губернаторов, вице-губернаторов и вообще очень больших начальников. Ибо, например, другое и более мелкое начальство вовсе не избегает их вида, бесед с ними, общения, как в смысле простого дружелюбия, так и бывавшего нередко «пользования» от них. «Вида» старообрядцев многие не выносят; но, например, «вида» их денег вовсе не все «не выносят»: а ведь это тоже «оказательство», ибо от денег к существованию владельца их и «давальца» уже недалекое и «наглядное» заключение.

Под скромным, тихим, безбурным законом о «неоказательстве», в сущности, скрыта целая система преследования и угнетения, притом проникающая до последних подробностей религиозной жизни, которою может воспользоваться как очень крупный чиновник в губернии, так и самый мелкий полицейский чин где-нибудь в уезде и селе и свести на совершенное «нет» другие и принципиальные наши законы, тут же рядом поставленные. Нужно заметить, что всякое конкретное распоряжение начальства опирается и не может не опираться на наиболее конкретный закон из целой серии однородных; на закон, так сказать, ближайший к его действию, а вовсе не на первый и принципиальный закон, который, собственно, существует и дан для самих законодателей, дабы они его развили в системе последующих конкретных законов. Так, основными законами Российской Империи признано право свободного отправления богослужения по обрядам своего вероучения «за всеми подданными». Казалось бы, если за «всеми», то уже сюда *implicite** вошли и старообрядцы? Но, однако, надо было дожить до 3 мая 1883 года, когда этот общий принцип, с самого же начала в законодательстве утвержденный, был объявлен распространяющимся на них. Прошло 50 лет непонятого, «непринципиального», но, однако, фактического угнетения: целых два царствования. Но можно было бы ожидать, что, после явно высказанной 3 мая 1883 г. воли государя Александра III, им будет наконец разрешено беспрепятственно открывать храмы, молитвенные дома, часовни и начать отправлять богослужение в тех сооруженных ранее, но непонятным образом не разрешенных к открытию храмах? Принцип существовал, воля государя сказалась: но, однако, не был отменен и закон о «неоказательстве», которым и не мог не руководиться каждый уездный исправник, каждый губернатор. И как за ревность никогда еще чиновник не подвергался взысканию, а за слабость часто взыскивалось с них, то нисколько не по злой воле, а просто по осторожности в службе каждый из них, на вопрос и просьбу староверческой общины о чем-нибудь из перечисленного, только и мог ответить: «Нет, лучше не оказывайтесь», «нет открытой часовни – и не открывайте», «храма не стройте», «с прежнего храма уберите крест. Это все видимые знаки, оказательство. Исповедуйте молча, про себя, неслышно: свести вашей мы не стесняем. Но веровать скопом, явно? – это *оказательство*, запрещенное законом, который не отменен и 3 мая 1883 года».

Нельзя требовать, чтобы администратор был шире и гуманнее закона. Скорее можно ожидать недостатков от единичных людей, имеющих и ограниченность ума, и действующих под влиянием раздражения, усталости, страстей и возможных корыстных расчетов. Закон должен всегда «учитывать» недостатки исполнителя: и гуманность и универсальность, раз уже она есть в намерениях законодателя, должна сказаться шире, чем всякое возможное исполнение. Вот отчего почти вся сумма «злоупотреблений» около старообрядцев и старообрядчества, притеснений и денежных вымогательств, должна

* подразумеваемого (лат.).

быть снята с исполнителей закона и возложена на ту неясность или двусмысленность в самом законодательстве, по которой в верхних принципиальных законах как будто содержится что-то свободное и гуманное, а в нижних конкретных законах не только допускается, но и прикровенно указывается притеснение.

Так, в 1820 г. Федосеевская община в Москве насчитывала 1500 монахов, 10000 мирских людей, имела богадельню для одиноких стариков, а в детских приютах ею воспитывалось до 200 питомцев: но все это именовалось, согласно закону «неоказательства», «Преображенским кладбищем»! В 1853 году были конфискованы все огромные богатства этого мнимого «кладбища»; приюты и богадельни были закрыты, и оставлена только больница. Между тем многотысячная религиозная община, конечно, не может ограничиваться только «похоронами» своих членов; жизнь не может выражаться только в умирании; нужно еще что-нибудь, приходится «оказываться» в другом – в труде, заботах и воспитании своих членов, не говоря об отправлении богослужения. Вот отчего за рассеянными у нас старообрядческими общинами должно быть законом признано право открытого, явного существования, с правом их деятельности как юридических единиц в деле открытия храмов, больниц, богаделен, приютов и всяческих других благотворительных учреждений, равно с правом приобретения имущества на имя этих общин. Не мало подберут они нищего люда в русской земле и упорядочат бездну всяческого уличного столичного и деревенского безобразия.

18 ФЕВРАЛЯ

18 февраля решительно суждено стать священным годовым днем русского народа, русской истории. Рескрипт Государя Императора на имя министра внутренних дел, ныне обнародованный, возвещает реформу, в сущности еще значительнейшую, нежели крестьянская. Ибо она есть залог и предпосылка неопределенного числа будущих благих преобразований и вместе обеспечение их всех. Без нее, кроме того, не были бы обеспечены и те благотворительные меры, какие были совершены или намечены в последние два месяца энергической законодательной или, вернее, проектирующей законоположения работы.

Сегодня для нас как день Св. Пасхи. Такой же радостный день в политическом отношении. Не будет удивительно, если мы увидим на улице людей незнакомых, дающих друг другу, как в Пасху, радостное приветствие поцелуем. «Да друг друга обьемем», этот церковный стих в 1-й день Пасхи решительно просится сейчас в душу. Слезы навертываются от радости.

Да станем же все около Престола возлюбленного Государя нашего, испытывавшего столько скорбей эти месяцы, незыблемыми рядами. Дабы Он увидел, в ответной любви нашей к Нему, что не ошибся, излив на народ Свой столько любви из высокого и благородного Своего сердца. Да помириятся же и партии русские возле Престола в этот радостный, единственный день. Пусть будет

шум преобразований, улучшений. Но пусть не будет шума свары, ссоры. Помним: все для народа, мы – только чернорабочие около необозримых народных нужд, тягостей.

Русский народ! Пришел день свободы; будем же достойны этой свободы.

СОДЕРЖАНИЕ И ПРОСТРАНСТВО ЗАПОВЕДИ: «НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ»

(По поводу замечаний П. В. Тихомирова)*

Я не могу не быть чрезвычайно благодарен профессору П. В. Тихомирову за труд ответа на мои сомнения касательно содержания и пространства VII заповеди. Слабую надежду на ответ я питал со стороны проф. Н. А. Заозерского. Но, разумеется, который бы из авторитетных ученых мне ни ответил, – все равно. Меня поразили, еще года два назад, слова проф. Заозерского, высказанные в «Богосл. Вестнике» в критике книги моей «В мире неясного и нерешенного». Там высказано мною было предположение, что Заветы первый и второй (ветхий и новый) не расходятся ли между собою в отношении к наличному биологическому факту размножения человеческого, ибо, несомненно, законодательно-религиозное отношение к этому факту евреев библейских и наше христианское – расходятся. Тогда он меня укорил, что я «не помню VII и X заповедей, которые одинаково признаются божественными заповеданиями и в Ветхом Завете, и в Новом, у христиан и у иудеев; и вот их-го присутствие и связует в один непрерывный закон оба завета». Затем идет у него хвала заповеди размножения и ссылка на то, что все знаменитые теоретики юриспруденции и государственности не отрицают, что относящиеся сюда стихи 1-й и 2-й глав Бытия составляют истинное основание человеческих институтов брака, семьи; и через них – всего вообще социально-исторического строя народов.

Не могу выразить всего моего изумления при чтении этого отрывка. Объясню все дело сравнением. Существует ли и признается ли в монастыре VII заповедь? Существует и признается. А у мирян? Конечно, тоже. И в том самом смысле, как она признается в монастыре, без всякого итога ее толкования? Ну, конечно, монастырь не имеет *своих толкований* на VII заповедь и признает принятые во всем христианском мире. Доселе – теория; доселе – слова. Указуя на эту-то теорию и слова мне, проф. Заозерский и говорит: «Что же вы толкуете, будто бы заветы расходятся, когда и состав заповедей, и, подразумеваемо, истолкование их одно для новозаветных людей и для ветхозаветных».

Явно, что вовсе не присутствие «VII» и «VII», «X» и «X», «не прелюбодействуй» и «не прелюбодействуй» – сливало бы два мира, наш и их. А именно только *перечень вещей*, кратко обозначенных цифрою или словом, «VII» или «не прелюбодействуй». Это как чемодан, который сдается в багаж. На

* См. в 12-й кн. «Богослов. Вестн.» за 1904 г. статью: «К истолкованию Исх. 20, 14»

него выдается багажная квитанция со знаками: «одно место, два пуда, в Москву». «Не прелюбодействуй» или «VII» весьма похоже для нас, читателей, на этот общий и указующий знак багажной квитанции. Случилось (в истории) такое несчастье, что самый чемодан как будто затерялся, и мы, читая знаки в квитанции, вовсе ничего не знаем о том, что же именно за драгоценности были заключены в чемодан? «VII», «не прелюбодействуй» обязательны для пророка Давида и меня: но пророк Давид имел семь жен, а если бы я повенчался, и притом разом, с семью женами, то меня послали бы в Сибирь. Кто сослал бы? Да люди, читающие псалтирь, зажигающие в храмах свечи перед изображением пророка Давида и буквально не имеющие о браке никаких других священных слов, чем какими руководился и псалмопевец: «Плодитесь, множитесь, наполните землю», «не прелюбодействуй», «не пожелай жены ближнего твоего». Престол и – Сибирь! возведение в сонм святых и – кощунство (многоженство у нас наказуется как религиозное кощунство)! Ну, если это *одно и то же*, то и я соглашусь и возьму все слова свои об опасных расхождениях – назад... Ибо не только я, но и всякий понимает, что это «расхождение» было бы чрезвычайно опасно и чревато последствиями...

Почему же *мы* и пророк Давид живем не *одною жизнью*, имея *одни заповеди*? Да очевидно, что содержимое «потерянного в истории чемодана» казалось ему – одним, а нам – почти противоположным. Кто, однако, прав? Никто не смеет перечить пророку Давиду. Сказать, что он не умел прочесть и понять: «не прелюбодействуй», – невозможно. Мы (все европейцы, все христиане) – люди другой, *дальнейшей* от первоисточника (законодательство Моисея) эпохи, другой *крови и костей*, чем какие приняли, постигли и понесли в мир: «не прелюбодействуй»; мы – вовсе иного духа и цивилизации. Таким образом, у нас бездна *возможностей не понять* обстоятельств, *препятствующих* здравому пониманию данной заповеди, как и всего вообще законодательства Моисея. Вот отчего я позволил себе, при истолковании VII заповеди, обратиться к Талмуду; ведь он составлялся во всяком случае благочестивейшими людьми Ветхого Завета; людьми *сплошного, непрерывного духа и настроения общественного строя* от времен Моисея, Аарона и пророков. Это все равно как если бы Гриммы изучали наши былины, нашу народную песню: много бы любопытного о них они сказали миру; но *заветного, святого, интимного* – они и не почувствовали бы в ней, и миру о ней поведать не смогли бы. Для этого нужно было былине попасть в руки Буслаеву. Так и вся библейская жизнь, все их таинственное «писание» и в его составе нас занимающее: «не прелюбодействуй». Если Давид и мы так неодинаково понимали эту строку, то, очевидно, Давид понимал ее истиннее нас; также составители Талмуда были ближе к «святому, внутреннему, интимному», что содержится вообще во всяком человеческом слове и, несомненно, лежит в этом направляющем: «не прелюбодействуй». Сознаюсь, что Талмудом я воспользовался ничтожно и небрежно: нужно иметь снисхождение к журналисту, а не тихому и уединенному академику. Ему спешить некуда, а мы, журналисты:

И жить торопимся, и чувствовать спешим.

И вовсе это не по своей воле, не вследствие ее одной. И вовсе это – не без некоторого результата. «В доме Отца нашего – обитателей много»...

Мне кажется, уже после этого общего очерка дела и до разбора его подробностей, о которых – ниже, проф. П. В. Тихомиров согласится, что нужно ограничить его общее *résumé*.

«После приведенных справок и сопоставлений едва ли может быть какое-либо сомнение насчет того, что именно запрещается 7-ю заповедью Моисеева Закона. Торжество г. Розанова над проф. Заозерским* безусловно преждевременно. *Прелюбодеянием в библейские времена называлось то же самое, что называется этим именем у нас*» (курс. проф. Тихомирова).

Ну, конечно, – не то же самое! не те же самые *вещи!* не *реестр*, не *перечень* их! не то же *содержимое* таинственного чемодана с квитанцией о нем: «Москва. Два пуда».

Перехожу к подробностям. Я уже сказал, что Талмудом следует воспользоваться тщательно для раскрытия точного содержимого VII заповеди. Мне, при сплошном чтении Талмуда, показались любопытными в свое время многие места, и я заметил страницы томов, с отметкой о содержании их. А когда писал статью «Среди обманутых и обманувшихся», то взял крошечку из этих мною помеченных ранее мест. Тому, чему я посвятил час, ученый посвятил бы год. Но это – дело будущего. Найдя одно место в Талмуде со ссылкой «айлонит (уродец) и есть та блудница, о которой сказано в Торе» (т. е. на пространстве всей Торы говорится), я соглашаюсь, что торопливо и неосторожно, допустил себя отождествить вообще все пространство и объем содержащегося в VII заповеди с ненормальными половыми отношениям. Но, признавшись в торопливости и неосторожности, я сошлюсь и на некоторое для этого право: касаясь необычайного разнообразия тем, конечно, – не имеешь силы и времени погружаться подробно в каждую, но взамен этого, однако, вырабатывается у журналиста, может быть, не всегда присущая ученому или не всем ученым присущая способность схватывать особую ценность предметов, слов, понятий, тем, вопросов и т. д. Публицистика имеет, конечно, страшные недостатки (которые – все поправимы при скромности), но и несомненные преимущества чисто даже в философском или в научно-философском отношении. Мне кажется, сказав: «VII заповедь, от Бога вышедшая, не может идти навстречу Божиему же заповеданию: плодитесь, множитесь, наполните землю; т. е. она не может содержать в себе ни малейшей тенденции к ограничению плодородия», сказав это, мне думается, я указал всякому пытливому уму довольно правильную исходную точку для разысканий относительно того:

* Последние труды его, в декабрьской и двух предшествующих книжках «Богословского Вестника», вызывают к нему самую глубокую признательность со стороны всех русских семейных людей. Здесь считаю долгом извиниться как перед ним за неправильное название его имени («А.» вместо «Н. А.»), так и перед уважаемыми профессорами Глаголевым и Муретовым, имена которых в оглашении одной данной статьи я перепутал. Причина – пользование памятью, весьма слабою в оглашении имен, и за неимением под рукою соответственных книжек «Бог. Вестника».

что же именно запрещено этой заповедью? Вспомним *натуральный* плач Толстого, в «Крейцеровой сонате», о «мерах, чтобы не забеременеть еще», какие «по совету мерзавцев докторов начала принимать моя жена», – и затем стала «толстеть, веселеть, хорошеть и склоняться к флирту». В Толстом, я сказал, это – не евангельский гнев, а всемирный, *натуральный*, *априорный*. Так все человечество чувствует, – гадость к этим «мерам» и вообще ко всему отступающему от нормы, от «богоучрежденности» в важном кругообороте произрастания потомства. И раньше, еще гораздо раньше чтения Талмуда, обдумывая, что бы могло содержаться в VII заповеди, я 1) прямо не хотел думать, что тут ограничивается чадородие, а 2) вспомнил этот инстинкт всеобщего отвращения вообще к *искусственным* половым возбуждениям. Вся глава Бытия об *Онане* и о *содомлянах*, с *смертью* (странным наказанием) для одного и для других, говорит, что Божие прещение совпадает с непобедимым человеческим отвращением. «Айлонит» р. Иуды только толкнуло меня, дало слово в руки. «Вот это что: это – половые раздражения природно неспособных к нормальным отношениям». Ведь если рассматривать природный порядок вещей, так сказать, начать мысленно восстанавливать историю, то ранее *Онана* существо его проступка (без заключительного момента) должен был совершить какой-нибудь от болезни или другой причины случайно оскопившийся человек. При полной невозможности правильного акта, – он пылает страстью (как и наши скопцы). Ведь страсть – в крови, а не органах. Скопцы на радениях своих (где участвуют и женщины), бесспорно, отвратительно развратничают. Это (мне говорили) знали римские женщины, времен последнего упадка нравов, когда сожительство с евнухами они предпочитали сожительству с здоровыми и цельными гражданами. Не в одной которой-нибудь статье Моисеева законодательства, но через все это законодательство проведена мысль, требование цельного организма, не поврежденного и не больного. Целен священник, цельна жертва. Все цельное – угодно Богу, не цельное – противно Ему. Скопцы, случавшиеся и в Израиле (конечно, не самопроизвольные), должны были, приходя в храм, не «являться перед Господом», как остальные все мужского пола, а – отбирать из дров, предназначенных на жертвенник, те поленья, в которых встречался загнивший сучочек. Таковое «гнилое дерево», «грешное дерево», «противное дерево» не должно было бросаться в святой огонь жертвенника: оно осквернило бы его! Вот и в браке было или я предположил то же: плодородие – угодно Богу! В какой угодно мере – угодно же, это истолковали жизнью своею Иаков, Авраам, Моисей, Давид, Соломон, пророки и священники. Но что же такое «VII» и «не прелюбодействуй». Соответственно этому направлению и составу законодательства, я предположил, что и здесь сказано: «Не бросай гнилого на жертвенник» и «не подпускай хромого (о священниках) к жертвеннику»; или – «не вводи в семью твою, в супружество твое гнилого или изломанного полового акта». Все это было очень правдоподобно для меня подумать. Я сказал, что первое уродство полового акта идет от физического уродца, но затем это уродство начинает нравиться и здоровым. Вспомним римлянок. Таким образом, если,

напр., «айлонит» по практике полового брющения, полового возбуждения «есть та самая блудница, о которой говорит Тора» (слова равви Иуды), то это нисколько не опровергнется тем, если слово «блудница» и в том же самом смысле, как оно употреблено относительно «айлонит», – будет применено к женщинам, способным к беременности и вообще цельным и здоровым. Большинство примеров употребления слова «блудница», какие привел П. В. Тихомиров (стр. 766 и 767), относятся к здоровым и цельным женщинам, и он привел их, чтобы доказать, что «не уродцы именовались блудницами». Но это так же мало опровергает мою гипотезу (по-моему, – теорию, ибо я исхожу из точной ссылки на еврейский авторитет), как и то, если бы кто-нибудь сказал, что «госпожа Позднышева и сам Позднышев не предавались греху Оана, ибо не читали они Библии, Онану не подражали, да и имели в свое время детей». – «Бог, видящий явное, видит и тайное», – отвечу я. Позднышевы руководились тем самым нежеланием, каким толкался Онан к своему гнусному поступку (нежелание плодородия), и повторили этот же самый проступок, хотя, может быть, и видоизменив его способ применительно к своим, ставшим извращенными, вкусам.

Г-н Л. И. в статье «О христианском браке», напечатанной лет пять назад в одной из книжек «Богословского Вестника», сообщает: «Однажды я читал чин исповеди мирян по очень старинному (заметьте!) требнику. В нем мое внимание невольно остановили грехи против седьмой заповеди, какие совершали миряне в то время (несомненно, до Петра Великого, до сближения с Европою и ее влияния, среди быта спокойного, тихого и, по внешнему колориту да даже и по внутреннему содержанию, весьма благочестивого. – *В. Р.*). Здесь упоминался грех нарушения супругами супружеской верности, далее перечислялись такие формы этого греха, какие без толковника или книги не только понять, но и представить невозможно. Человек погружался в такую бездну падения, глубже которой уже нельзя и измыслить. Как будто бы в это время дух лукавый руководил человеком, а не сам человек являлся творцом своих ужасных и омерзительных грехов. Оказывается, что не только эти грехи возможны и мыслимы для семейных людей, но и весьма часто в действительности совершаются ими, и даже, может быть, они в данном случае не особенно много уступают людям неженатым». Заметьте, все это в тихом московском быту. Что может быть неправдоподобнее, чтобы измена жены нравилась мужу: между тем от двух разных священников мне пришлось выслушать одинаковый рассказ, выслушав который, я впервые понял и непостижимые дотоле для меня поступки семейных людей, которых был сам свидетелем-очевидцем: что муж, и притом богатый, ненуждающийся, открывал жену свою посторонним, склонял ее не противиться этому и, наконец, требовал под угрозою, что в противном случае и он сам прекратит с нею какие-либо отношения; причем, когда жена подавалась (ведь и у нее могут быть извращения), муж всякий раз начинал тем горячее привязываться к ней, духовнее теснее содружествовать, «открывая ей всю душу» и от нее принимая все «признания», чем она глубже и дальше шла по открытому им пути. И, наконец, содружество это

переходило (по истечении многих лет супружества, когда для всех прочих начинается некоторое охлаждение) в живейшую страсть со стороны мужа, когда никакой верности ему более не сохранялось и он был только зрителем и выслушивателем бесчисленных и постоянных «падений» жены своей: тогда-то и наступало время, что он не мог жить без нее, как и она клялась не пережить его, и все у них было общее, совет, намерения, как бы одна душа и одна совесть, без способности надолго расстаться, начать жить в разных квартирах или городах. Поразительность еще более увеличивалась тем, что он начинал скучать, как бы лишаясь собственной любви, как бы вдовая и похоронив «подругу юности своей», – всякий раз, когда она передыхала, успокаивалась, становилась нормальной. И веселел, как бы найдя любовь свою, когда она опять готовилась к вылету. Все это до того непостижимо, до того противоречит всему нам известному в данной области, что ум теряется, а сердце впадает в тревогу... Из объятий другого, сейчас и воочию, за час, за два, – она садилась к мужу на руки, как мотылек на цветок; и он бережно и с невыразимой нежностью держал ее на руках, как этого в другое время, в иные дни и недели, не случалось. Ум теряется, сердце тревожится. Ничего не постигаем. Одно постигаем мы: отсутствует «ratio», какой-либо ход выводов и умозаключений. Нет более никаких «аксиом», никаких «определений» и никакой возможности построения «теорем»: обычной конструкции всего научного! Еще и далее – но это уже последний шаг постижения – догадываемся мы: что ведь и в самом деле если «тайну жизни постичь нельзя», то очевидно, что и отношения полов, из которых «рождается эта тайна жизни» (младенец), мы также постичь не можем ни через какой возможный прием философии и науки!

Прерываю. Но во всяком случае для проф. П. В. Тихомирова должно быть очевидно, что колеблются и два его вывода: «...никакой невозможности сопряжения, оплодотворения и даже деторождения у прелюбодея и блудниц, вопреки фантазиям г. Розанова, не содержится» (стр. 772); и в другом месте тоже résumé: «...сведение прелюбодеяния к природной оскопленности и невозможности совоупления и оплодотворения есть совершенно фантастическая затея г. Розанова, не имеющая для себя ни малейшего подтверждения в Библии». Между тем в выдержке, из моей статьи приведенной им, сказано: «Есть ствол прелюбодеяния, невозможность сопряжения, и около него есть свои листья (боковые пути, филиальные отделения): и все (вообще) муже-женские отношения, ведущие к бесплодию или уменьшению (слышите ли: только «уменьшающие», т. е. когда длящееся плодородие женщин-блудниц есть налицо!!), плодородия, уже также называются *блудом*, причем он равно может быть совершаем по заключении законного брака, как и вне его». Только (и тут – моя горюпчивость, моя вина) при последующем исчислении «уменьшающих плодородие условий» я остановился на одном: запрещении половых отношений в дни очищения, когда я должен был привести и те другие, указанные проф. Тихомировым, обстоятельства уменьшения плодородия, которые он преимущественно или исключительно почти, применяясь к нашим понятиям, называет «прелюбодеянием».

Но эти «наши понятия» совершенно и притом гибельно ложны! «Прелюбодеянием» мы именуем одинаково: 1) рождение девицею младенца, 2) рождение вдовою младенца, 3) рождение младенца девицею или вдовою от женатого человека и 4) половое общение замужней женщины с не мужем (последнее – наиболее покровительствуемое законом, притом не одним светским, но и духовным – ибо с духовной стороны никогда протестов не было против того, чтобы бежавшая от мужа к возлюбленному жена записывала рождаемых ею детей на имя мужа и, след., вообще считалась *«не прелюбодеицею»*). Уже из этого «уравнения в прелюбодеянии» усматривается, что черный зверь, которого хочется застрелить «нашим понятиям», лежит просто и арифметически... в получаемом удовольствии!!.. Такой сущий бедняк этот зверь. Девушка должна, по ее положению, проходить жизнь без соответствующих «удовольствий» (простите за цинизм речи: но он – необходим, ибо цинично самое дело и самый отправной пункт «наших понятий»): но она «впала в удовольствие» – «виновна! прелюбодеица!». Положим, ей 23, 26 лет, и уже давно (по моему понятию, да, кажется, и библейскому) ей пора иметь детей, она обязана к материнству. «Все равно нет пощады! прелюбодеица, смерть ей» (ведь сколько топятся, убиваются, и что в том, что не нашими руками, а собственными!). То же о вдовах, дебелих, 33–35. «Могли бы не иметь удовольствия, а получили: смерть!» Оставляю в стороне все сложные рассуждения, что ведь муки физического рождения, болезнь, возможность смерти – слишком уравновешивают и даже перевешивают, может быть, краткотечное удовольствие (мнимого) падения. Муж, кроме допущенного «удовольствия» с женою, вздумал его удвоить: «прелюбодей» же! Между тем исчисленные три категории, т. е. почти весь ствол именуемого у нас «прелюбодеянием», в Ветхом Завете никогда прелюбодеянием не назывался и VII заповедью, бесспорно, не запрещался: не станет этой очевидной истины оспаривать г. Тихомиров. А запрещалось VII заповедью и осуждалась жесточайшим образом пророками, законодателем, целым народом и всем его духом единственная категория прелюбодеяния, хотя формально и у нас запрещаемая, но законами и администрацией погуще покровительствуемая: половое общение замужней женщины с не мужем. Бл. Августин, Ерма в «Пастыре», «Устав дух консistorии» и «Свод законов» за таковую – горой и показывают язык мужу, который вздумал бы жаловаться: «Жену у меня украли!»; «жену у меня сманили!»; «жена привела в дом ко мне любовника!»; «жена – не чистая женщина у меня, порочит мое семя поведением своим». Всего с месяц назад мне пришлось выслушать плачущий рассказ от тверского крестьянина, работающего портным в Петербурге, который за 20 лет супружества так и не соединился с женою: в самый же день венчания она, в ответ на его поздравления, отвернулась с насмешкою, оттолкнула, – когда новобрачный подал ей шубу, и согласилась поехать в его дом только с теткою, с которою и спала эту и ближайшие ночи, а затем, вернувшись к родителям, ей покровительствовавшим, стала ходить к красивому двоюродному брату, с которым давно жила. Плача говорил мужик-портной: «Она пала, должно быть, лет около 12»; «моей невестой, она

сказала сама, что не только меня считать своим мужем не может, но и *никого*, ибо такое у нее нетерпение, что не может она не отдаться тому мужчине, который ей приглянется очень», «родители только упрасивали ее хоть посто-ять под венцом: а затем и сами, вызывая меня на скандал, только ожидали повода заявить требование об отдельном виде на жительство»; «на слова тещи: да дочь моя не любит вас и оставьте ее в покое – я, в полном недоумении о своем положении, – дал ей по уху и затем побил всех в доме, а жену взял насильно домой, но на другой день опять она убежала к матери». И проч. И что же, ни в комиссии прошений, ни в духовной консистории, ни в суде – он не добился ничего; а паспорт на отдельное жительство (было это лет 10 назад) у него вымучила полиция, засадив несчастного в холодную и сказав, что он не выйдет из нее, пока не подпишет согласия на выдачу ей отдельного паспорта (это – после побоев тещи). «Хороши жены христианские, – как пишет (имя-рек) отец церкви», «хороша семья у христиан, не языческая, не жидовская». Прерываю рассказ и продолжаю рассуждение. В библейские времена полигамия (наше главное, главнейшее «прелюбодейание», почти единственно и фигурирующее на духовном суде) не запрещалась, полиандрия (фактическая, г. е. все равно, если замужняя тайно отдавалась кому-нибудь) страшно нака-зывалась: отчего?!!! Да оттого, что наше «удовольствие», «больше» или «мень-ше его», не играло вовсе никакой роли в определении понятия «прелюбодей-ния», а единственно что имело значение для этого определения – это закон биологический, вегетативный, продолжающий и поддерживающий основной и высший, непоколебленный тогда еще, тезис: «Плодитесь, множитесь, *напол-ните* землю». Женатый, соединившийся с девицей или вдовой, при продол-жении супружества с собственной женой, уменьшает ли плодородие на зем-ле? Нет! Закон и говорит: «Он – не прелюбодействует, это позволено». Но когда женатый соединяется с чужою женою? Он удвоенно уменьшает плодо-родие: 1) ибо мог бы оплодотворять не имеющую мужа женщину, девицу или вдову, теперь же оставляет израильтянку бесплодною: и так это грех как бы подобный Онанову, воздержание от оплодотворения; 2) он соделывает как бы Онаном же и мужа этой женщины: ибо у нее, при совместительстве двух, семя взаимно парализуется и она остается бесплодною же (замечательно, что в наших христианских семьях женщины, имеющие «друга дома», бывают или вовсе бесплодные, или мало и плодородны – без сомнения, от случая, когда или муж, или «друг дома» на время прекращают свое сожитие с нею и она становится опять «женою одного»). Также когда юноша соединяется с замуж-нею, он 1) теряет свое собственное семя, нужное для свободной израильтянки, 2) парализует семя мужа, опять уравниваясь с Онаном (в Библии оттого так подробно, по секундам почти и с описанием мотивов, описан проступок Онана, что он представляет основную схему, которою обнимается множество аналогичных ему действий; все такие схематически-важные или краеуголь-ные столбы и нормального, и аномального или прелюбодейного отношения полов описаны там подробно). Таким образом, в мотив: «не прелюбодей-ствуй» не введено 1) оскорбление личности супружеской чегы, ибо, конечно,

Бог милосердный не допустил бы обиды жене большей, чем допускается мужу; не сказал бы (разве Еву не Он же сотворил?): «Жена мужа не должна оскорблять, соединяясь с другими мужчинами, а муж жену может и оскорблять, соединяясь с другими женщинами». Чудовищно подобное предположение! Во-вторых, вовсе не входит в этот мотив, в эту подпочву, и наше щепетильное, граждански–римское: «не развратничай!» всегда с оттенком и даже с сущностью: «гнусен всякий, ищущий удовольствий». Мотив этот, стоический и римский, мотив (у нас) гладких паркетов, раззолоченных люстр, парадных приемов, где вид беременной женщины – недопустим, и проч. и проч., вовсе отсутствует и был бы недостойн занять место в святой Библии, в книге вечной, «книге живота нашего», в книге «благословляющей», а не «проклинающей», в книге полевых колосьев (вспомним Руфь) и утучненных молоком стад! Вспомним виноградную пудовую кисть, принесенную «соглядатаями» народу; вспомним жезл Аарона, проросший в Скинии! Неужели все это не символы, все это – ничто? Для женщин, вне всякого спора, была бы также допущена полиандрия, не встречая это препятствий в самом процессе их обильного и успешного оплодотворения и деторождения: израильтянки ведь так любили (вспомним Рахиль) деторождение, любили незнакомую нам (забытую нами?) любовью, что каждая из них в наслаждении девятимесячную беременность и затем хоть годовым питанием младенца находила удовольствие, равное с тем, какое хоть Иаков находил от четырех своих (фактических) жен. Действительно, для мужчины самую его организацию закрыт глубочайший родник самых на земле возвышенных радостей: *настоящего* отцовства. Миг один, – ну, какое же это отцовство! Сравнится ли это с материнством? Дав женщине единое и бесполезно углубленное чувство, радость; отняв почти вовсе это чувство у мужчины (какое сравнение!), Бог и уравнивал его, учетверив, удесятерив, усотерив (Соломон) собственно супружеское, мужнино, несравненно беднейшее и ничтожнейшее, чувство. В сравнении с бесконечной глубиной, психологичностью, предчувствиями и т. п. и т. п. беременности, что переживает муж в свой краткий миг? Ничто. Жалость. Нищенство. Он несчастен: тогда Бог для уравнивания дал ему пустейшую, но усотеренную способность находить (на мой взгляд, довольно пустое) удовольствие в красоте, в пластике, в грации женских лиц, движений, роста. Ева ничего не говорит при виде красоты Адама; просто она ее не чувствует, не замечает. Женщины вообще неизмеримо менее эстетичны (менее художники, менее эстеты) и зато неизмеримо более физиологичны, чем мужчины. Адам восхищается Евою; она же только чувствует «влечение к мужу», гораздо более простое, а в сущности гораздо более основательное и глубокое. И донныне мужчины, увы, руководствуются низменным этим чувством, волнуются и бегут за красотой; тогда как женщины, и красивейшие, в общем редко ищут красоты лица или не отдают этому никакого преимущества; тогда как сила и полновесность *согрус'а*, как и сомнамбулическое чувство крови, породы, – ими ценятся и выбираются. Никогда ради «противности лица» не бросит жена мужа (а жену муж по этому мотиву, хотя и редко, оставляет: точнее, влечется к новой красо-

те другого лица), но вследствие неодолимого отвращения к самому «сложению» (corpus'у) мужа женщина иногда бросает мужа с силою, неодолимою ни для какого усилия. Таков рассказанный у г. Поселянина в «Русских подвижниках XIX века» случай с юрודивою Пелагеею: когда никакими муками отец и муж не могли вынудить ее к сожительству с случайно и неудачно выбранным мужем. Подобные факты и по сей день встречаются, не с «праведницами» и «юрודивыми», но с самыми обыкновенными женщинами: теория развода должна бы на этих разительных случаях остановиться.

Дух Библии, дух Библии – ведь он совершенно другой, нежели каким мы пытаемся или, точнее, каким страдаем. Почти весь наш «дух» типично фарисейский, шеголеватый и неглубокий, строгий на вид, а внутри и для себя, но в молчании, податливо-снисходительный. Дух Библии, – и все это вытекает из основного благословения человеку, – принимает скорби лишь необходимые, вытекающие единственно из грехопадения, и там указаны как наказание: 1) болезнь, 2) труд. Ничего еще сверх этого, в виде «бремен тяжких», определенных за грех неповиновения, не указывается человеку Библиею; т. е. никаких «бремен», вытекающих из сложения цивилизации, из законодательства, из администрации. Дух Библии весь глубоко физиологичен; но «никто не постиг тайны жизни»: и от этого, будучи физиологичным, он вместе с тем и трансцендентен. А также он и этичен: ибо, что мы не лучше ни «птиц небесных, ни полевых лилий», – этому уже научил даже и христиан их Учитель. Физиология не только не противоречит этому: напротив! Как всякая мать в бесконечном самоотвержении ради дитяти уравнивается с Сократом в его самоотвержении ради истин, с Гракхами в их борьбе за бедных пролетариев Рима, так физиология вообще вся, составляющая и в материнстве стержень, вообще есть самый глубокий родник самых творческих, самых прочных и самых священных этических порывов. Мы только все это забыли! Мы только всего этого не помним! Но Библия, с животными во дворах Храма, как и наш родной Вифлеем, – о всем этом нам напоминают, сказывают. Перестанем бороться с физиологией. Все равно мы не победим. Ибо это вечное и от Бога. Только своими усилиями мы породим «грех Онана» и его аналоги: т. е. разольем отвратительный разврат на земле, и в тайных частях он так же убивающ, как и в явных. Разве птомаины, в холеру действующие, менее убийственны оттого, что их никто не видит. Покойник на столе: вот все равно их действие. Так же и с «прелюбодеянием». Надо бы зарегистрировать (как это сделано и в Библии) все наши «грехи» по этой части; все перечни «ужасных мерзостей, каких нельзя и вообразить» (см. выше), в которые мы погружены, и все это напечатать, проповедать, как Иоанн Креститель проповедал перед Израилем его грехи: и тогда бы мы, взглянув, ужаснулись: как много тайных «птомаинов» уже давно точат, день и ночь, древо жизни целого человечества. Кстати, и самое рассуждение о «брачных нормах» было бы сколько-нибудь разумно лишь при взглядах на эти смертные таблицы подлинных и сущих и безнадежно-неистребимых наших грехов. Тогда бы мы увидали, что самая полигамия Библии есть незначущая мелочь сравнительно с тем, что мы ежедневно и повсеместно совершаем...

Я опять отвлекся и развлекся. 27 текстов с употреблением слова «прелюбодеяние», приведенных проф. Тихомировым, распадаются на следующие группы:

1) Тексты, в которых ничего не говорится о смысле и содержании этого слова: 1 (Исх. 20, 4), 6 (Вт. 5, 17), 7 (Ос. 4, 2), 8 (Иер. 23, 14), 9 (Иез. 16, 38), 10 (Иез. 23, 45), 11 (Иов. 24, 15), 15 (Иер. 23, 10), 19 (Мал. 3, 5), 20 (Пс. 49, 18), 25 (Иер. 3, 8), 26 (Иер. 9, 1), 27 (Иез. 23, 37).

2) Тексты, в которых словом этим запрещаются нормальные половые отношения с чужою замужнею женщиною: 2–5 (Лев. 20, 10), 16 (Ос. 3, 1), 17 (Ос. 4, 13), 18 (Ос. 4, 14), 23 (Иез. 16, 32: самый главный текст), 24 (Ис. 57, 3).

3) Тексты, которые могут обнимать и нормальные и ненормальные отношения, и вообще не противоречат моему утверждению: 12 (Пр. 6, 32), 13 (Иер. 5, 7), 22 (Иер. 23, 23).

4) Текст, явно указующий неестественное раздражение: (Иер. 3, 9) (у г. Тих-ва № 14): «И произошло то, что явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом». – Я не решаюсь прибавить сюда, но сюда можно отнести и текст № 21 (Пр. 30, 20): «Таков путь жены прелюбодейной»: поела, обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала». – Вспомнив извлечение из древнего «Требника», нужно признать вообще крайнюю старину, древность и распространенность тех излишеств, какие обычно мы приписываем изобретательности новых времен. В «Судебной гинекологии» д-ра Вл. Мержеевского мне приходилось встречать описание чрезвычайных неестественностей, которые букве этого текста удовлетворяют. Вообще едва ли кто станет спорить, если я спрошу прямо: а отступления от нормы куда отнести? Никто не возразит, что – «к прелюбодеяниям». Мне кажется, что раз «брак» есть только известная «форма половой связи», положим «одного с одной», то он есть нечто вторичное и последующее в отношении к единичному акту. И, конечно, должно сперва явиться некоторое мнение об этом единичном, об естественном и неестественном в нем, о дозволенном и недозволенном: и уже позднее является и суждение о естественном и неестественном, о дозволенном и недозволенном в браке (вероломство, измена).

Что касается указанных на стр. 768 и 769 случаев нормального отношения «с женою отца своего», «с женою сына своего», «с сестрою», «с тетками» и «невестками», то мотив запрещения в первых двух случаях, где идет речь о сопряжениях с замужними, подходит под общую категорию запрещенности вообще всего, что ведет к парализации семени, причем здесь утягивается все дело тем, что это как бы убийство наносится родственнику (отцу сыном, сыну – отцом) и вносит вообще разлад в дом, ревнование столь близких родственников и т. д. В остальных же случаях, т. е. где собственно запрещен брак с девицами (или вдовами) родственницами: то настоящий мотив этого неразъяснимо далек и темен от нас, христиан. Мне в одном из каталогов привелось прочесть, что в караимской литературе (старой и рукописной, конечно) существует «знаменитый трактат, посвященный рассмотрению кровосмешения», а в Талмуде (который составителями его ведь предполагался к вечному усто-

му и тайному сохранению среди слушателей) говорится в одном месте, что «законы кровосмешения не истолковываются разом многим, но только вдвоем или втроем. Колесница (т. е. видение Иезекииля) – только вдвоем, и то если толкующий увидит, что другой уже понимает это место, и не более чем вдвоем истолковывается сотворение мира, т. е. Быт. I. Евреи, очевидно, имели секрет крови (вспомним жертвоприношения), владели тайною органического сложения (новообразования, зачатия или полового сопряжения) и разложения (бегства от сопряжений, неодолимого естественного отвращения к такому-то сочетанию). Мы этого не только не знаем, но никогда наука наша и не поднимала вопросов, сюда относящихся; отчего и «наблюдаемые при браке степени родства» – у нас исчислены едва ли не просто только по подражанию евреям (в Библии) и римлянам (язычники, и тоже имевшие жертвоприношения и, может быть, кой-чем владевшие из древних знаний об органоагомении); «так-де цивилизованные и священные народы поступали: поступи и мы так». А что мы вовсе этого не постигали, видно из прибавки сюда «степеней свойства» и отношений «духовного родства», как препятствий же к браку: что уже вовсе никакой связи с органо-творением не имеет. Обычный мотив или лжемотив, что это сделано и нами ввиду сохранения силы и чистоты породы людской, опровергается: 1) более сильною пороною и избытком духовной даровитости как раз у евреев, немцев и англичан, у которых браки заключаются в ближайшем, нежели у нас, родстве; 2) историческим опытом египтян, людей поразительной жизненности и красоты, у которых браки заключались в степенях еще более близких, чем у евреев; и 3) опытом, вообще извлеченным из наблюдений над органическим миром, где постоянные деления-размножения (= не родственные браки) через известные, довольно продолжительные сроки или останавливаются вовсе и ведут весь род существ (genus, generatio) к вымиранию, или восстанавливаются в силах через одно соединение-размножение (= родственный брак). Таким образом, брак вообще есть органическое разложение; но один раз через 80 (приблизительно) поколений оно требует обратного, субъективного синтеза. Этим объясняются и в человечестве, при всем запрещении законов и религиозном страхе, как бы узловые бури, разражающиеся в редчайших точках человеческого протяжения, где кровь получает обратное обычному и вековому течению, как бы «Волга-матушка вверх побежала», что-то вроде Мальштрема крови (см. случай между Аммоном, братом Авессалома, и Фамарью, когда он «похудел, перестал есть и слег в постель» не от любви романтической к Фамарии, но от неодолимого влечения к соединению с нею). Редко кто из русских обращал внимание, что один из знаменитейших наших поэтов второй половины XIX века, притом поэт редкого благородства чувств и религиозности настроения, почти не замаскировывая, рассказывает в автобиографии, что он происходит от соединения единокровных и единокровных брата и сестры (египетское сочетание), причем в рассказе с глубокою нежностью говорит об обоих этих своих родителях, не называя никак своего фиктивного отца, очевидно взятого забеременевшею сестрою только для сокрытия истины ее отношений к брату.

С ним же она не расставалась и во все остальное время жизни, по свидетельству сына-поэта. Но я оставляю эту тему по ее, повторяю, неисследимости для христиан (бескровные жертвы, отсутствие чувства крови).

Что касается развода – вечная *quaestio sexata* у христиан – то хотя в тексте Торы не уставлено права жены требовать себе развода (замечание проф. Тихомирова), но толкователи Торы, все же ведь великие и компетентные хотя бы по духу родства и непререывности у них традиции, восходящей до подножия Синая, очень скоро установили и для жены право требовать развод, притом по множеству «на наш взгляд, самых ничтожных поводов» (мой тезис; в статье моей перечислены эти поводы). Почему? и правильно ли? По крайней мере настолько же правильно, как и развитие у христиан вообще всех сложных и разнообразных институтов монашества, хотя в Евангелии нигде нет текста: «будьте монахами»; развитие этих институтов просто на основании общего действенного духа Евангелия, общих девственных стремлений ап. Павла. Общее всегда подчиняет себе части, как идея организма, физического или духовного, управляет органами. Библейские люди до чрезвычайности ясно чувствовали, что *чистота* семьи есть не главное только, но единственно главное условие решительное всех ее качеств, моральных и физических, святых и биологических. Подобно или очень близко к тому, как сейчас хирургия кричит: избежать бы *микробов*, с *остальным* – мы справимся. Евреи и поняли, что *асептика* и *антисептика* брака (абсолютная незараженность) – есть все в нем; без соблюдения чего – всему ему не быть. Инстинкт чадородия действует с постоянством и всеобщностью закона тяготения, но если бы он не осложнялся *выбором*, он вообще был бы механическим и мертвым законом, а не органическим, не человеческим, не нравственно-личным. Тогда и жились бы люди, как микробы и во всяком случае как скоты. Выбор «нравится» и «не нравится» есть, таким образом, единственный, в реальной природе вещей лежащий инстинкт, действием коего половая человеческая связь и возвышается над животною, над просто органическою. Вот почему губительно (да и бессильно) восстание наших учреждений, законов и особенно духовной литературы против: «нравится» – «не нравится»: ибо, гася или отнимая право на это у людей, они гасят великое начало личности в супружестве, гасят «искру Божию» в браке, сталкивая половые отношения в низину уже одной «потребности», в аморфность, безвидность (вспомним «идеи» как «виды» у Платона). Итак, женщина, имея свое вечное «нравится» – «не нравится» (большею частью не к лицу, а к крови и *согнус'у* своего «ища», «своего мужчины», ее «мужа»), во всех случаях неудачного полового сложения сейчас же и еще у подножия Синая и при самом Моисее начала «вероломствовать мужу», «прелюбодействовать», – заводя «друзей дома», как в Петербурге и Париже. Это было и останется всегда: так как ведь брак «после» крови, «из» крови и навсегда эта материнская «кровь» будет управлять сыном-браком, а дитя-брак никогда не будет и не сможет управлять «матушкою-кровью». Жена Константина Великого знала строгость мужа, уже повелевшего казнить родного сына за связь (предполагаемую) с мачехою: и однако – при таком-то страхе! – она

соединилась в своем роде с «певцом на золотой арфе», с наездником цирка (в то время – величайшая поэзия) и была за это строгим супругом своим испечена живою в раскаленной бане. В своем роде – «Фаларисов бык». Из этого и из бесчисленных примеров, в истории рассеянных, мы можем усмотреть, насколько вообще бессильна всякая и огненная и водяная и железная мука, в клещи которой зажималась любовь; вздыхала, умирала – но, и умирая, «любила того, кто любится» и «не любила того, кто не любится». Но, по-моему, это-то и отделяет любовь от «безвидного» тяготения, человека – от «безличного» минерала и кладет перегородку между домом терпимости, где сходятся «не взирая на лицо», и семьею, «священным» браком, где личность – бесполезна... Евреи, вероятно чрезвычайно скоро после Моисея, видели, что они поставлены между двумя альтернативами: 1) или удержать чистоту семьи через дачу обеим сторонам права требовать развода при отсутствии наличного «нравится», 2) или удержать право это только за одним мужем и зато примириться (фактически) с вечными изменами жен, «прелюбодеянием» их, т. е. с совершенным разрушением чистоты семьи и какого-нибудь смысла в браке. «Нет, если Господь установил размножение, Моисей – учредил брак: то должны быть поставлены и столбы под это учреждение, поставлен забор вокруг этого размножения. Надежные же столбы и непереступаемый забор едино содержатся в любви самих супругов: без которой пуст и не будет ничего». Где любовь – там завязался (фактически) брак; где разлюблено: там брак рассыпался сам (фактически); вот мысль «отцов Великой Синагоги», которой именно избежали бы они (ибо она имеет свою муку), если б было куда бежать. Много я иллюстраций приводил: приведу же последнюю. Женщина, еще не разлюбленная, которой вовсе и не грозило оставление, открыв только некоторое охлаждение мужа, поползновение его к другой привязанности, ходила как раненная в сердце из угла в угол, не будучи в силах еще что-нибудь сказать, кроме «ох! ох!». И ничего еще, целые часы. Не страница, а десяток страниц, целая статья, составленная только из «ох!». Напечатайте же десять страниц этого «ох», заставьте чтеца читать эти страницы, как Псалтирь над упокойником, и подумайте, что каждое «ох» оттого ничем иным и не сопровождается, что это – капля крови, из сердца выжатая со страшной мукой, до паралича языка, бессильного сложить более сложный звук: и вы поймете, что значит только «заря» развода! Итак, говорю ли я о нем, потому что не знаю муки его. Слишком знаю, осязал, видел. И вот оттого, что он – такая мука, такое острое, такая кусающаяся змея, – люди и не возьмут его, поверьте, не возьмут с легким сердцем. Но жена Константина Великого предпочла быть «испеченной, как начинка в пироге», нежели любить мужа: а тут рядом с змеей лежит «аспид и василиск», и уж лучше взяться за змею, нежели власть во власть «аспида и василиска». Развод... всем можно дать: это раскаленная докрасна полоса железа. Кто ее тронет? Кто сколько-нибудь может не тронуть – и не тронет в силу его собственной природы, страшно болезнетворной. Но кому предстоит умереть – не отнимайте же у них возможности спастись путем хватания этой огненной вещи в руки. «Я, возвращаясь в дом, – как часто

ненавижу его, – сказала мне одна измученная в браке женщина, – но у нас дочь 3 лет: ради этого я сохраню дом мой» (муж не отказывался дать ей развод, и вообще, будучи очень хорошим человеком в обществе, в дружбе – действительно в семье, для жены, для хозяйства и дома был невозможен, и сам это знал, как умный и тонкий человек).

В общем я, конечно, уступаю г-ну Тихомирову и ввожу в содержание VII заповеди запрещение вероломства жен; как он, без сомнения, согласится со мною и введет сюда запрещение неестественностей. И, я думаю, не откажется признать, что последние представляют нечто более потрясающее, пугающее и отвращающее от себя взор человека (и Божества?), нежели вероломство жен. Но нужно помнить следующее: вводить в содержание VII заповеди то, что явно не введено сюда законом и что не было обличаемо ни одним пророком и вообще ни одною строкою Библии, – невозможно, грех. Между тем это именно и сделано всем духом, всем смыслом, а наконец, и законодательством нашей цивилизации. Совершенно ясно, что VII заповедь *не запрещает*:

1) рождение детей девицами (самый факт, что от нее родилось, – удостоверяет, что она достигла лет естественной зрелости для этого);

2) рождение детей вдовами;

3) схождение женатых людей с свободными женщинами (во всех приведенных, в целях «истолкования», цитатах проф. Тихомирова слово «прелюбоддеяние» ни разу не отнесено к женатому мужчине: разве что он сближается с замужнею).

Таким образом, теперешняя теория и практика развода, основанная почти неизменно на «уличении мужей», – падает: ибо, и по проф. Тихомирову, это не есть «прелюбоддеяние», а «разводиться можно только по вине «прелюбоддеяния».

Но ею, этим «не прелюбоддействуй», столь же ясно запрещены:

1) Все неестественные отношения, в браке и вне брака. И первый разрушается и должен быть законодателем расторгнут, как только мужем на жену или женою на мужа принесена жалоба на таковой грех с другой стороны или даже на *склонение* только к таковому греху (не этим ли объясняется особенность текста: «разве в словесе прелюбоддейного»).

2) Вероломство жен. – Наказанию, одинаковому с ними, в виде ли епитимьи, денежной пени, а всего лучше – в виде обязательной на них женитьбы (вещь, довольно страшная для холостых соблазнительей), подлежат и мужчины, с которыми оне «пали».

3) Преждевременное, с несовершеннолетними, какое бы то ни было отношение на половой сфере. Между тем именно таковые ужасные развращающие проступки взрослых вовсе нигде не указаны в статьях духовного суда о браке. «Муж должен удовлетворить жену разводом, если застигнут свидетелями лежащим с другою женщиною». – А если, как это раз случилось на суде в Киеве, притом с соборным певчим, он о растленной им девице скажет и докажет, что он лишил ее невинности не естественным способом, а через манипуляции пальцев? Ужасно, что тогда произошло на суде: виновный был

приговорен к трем рублям штрафа за членовредительство – и затем продолжал спокойно петь в соборе! Вот об этом следует подумать профессорам канонического права, которым вообще обо многом еще предстоит подумать.

Я очень благодарен, что г. Тихомиров посвятил внимательные страницы вопросу и теоретически и практически столь важному. Ведь раз уже «брак» есть «тайнство», eo ipso он не может не лежать «в деснице» церкви и затем преемственно – духовенства и наставителей духовенства (профессора и учителя семинарий). Мы, мир – как армия солдат; итак, хлеб дает нам духовенство, церковь. Каковая же тревожная обязанность вытекает отсюда, чтобы 1) хлеба было достаточно, 2) хлеб был допечен. Подумайте, духовные: ведь нам запрещено еще откуда-нибудь получать хлеб, кроме как отсюда!! Нехватка – и смерть; недопеченность – и животы болят. А мы «воюем», у нас – труд, борьба с жизнью; тут не до «животов», не до лекарств. Какая же, – при запрещенности-то от других хлеба, – должна бы быть страшная тревога у вас о всех подробностях хлебопечения, о количестве хлеба, о самых способах получения «пайка»: ведь армия! народ! тут и глупые и злые, а есть всем – и даже глупым, наконец, и злым – хочется и хочется!! Мне кажется, самые элементарные требования этики, хотя бы слабый голосок совести должен был распространить среди духовных наших наставников тревогу: «Оставим всем заниматься и прежде насытым голодных: ибо мы же им обещали: придите и насытим вас, не ходите никуда еще – везде погибнете от голода». – Между тем в стороне от нас скирды хлеба, но, уже приученные к нам обращаться, да и последуюя прямым нашим запрещением, никто не идет туда: а когда стеклись к нам, мы из окна отвечаем: «Не до вас, – у нас есть более высокие темы, напр. о том, как вспомоществовали нищим благотворители в V веке после Р.Х.»

В МИНИСТЕРСТВЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Положение наших учебных дел таково, что хотя не все это громко высказывают, но все чувствуют, а местами и поговаривают, что положение целого министерства народного просвещения похоже на что-то полуупраздненное, ликвидирующееся. Единственный твердый в нем камень – это получка жалованья. Казначеи считают, чиновники получают, народ платит. Слабо учившиеся перестают вовсе учиться, бездарно учившиеся – талантливо молчат. При «твердости власти» – благополучие полное, ибо мужик не может все-таки не заплатить, а это основа всего. Скучают, бесспорно, многие родители. И нам представляется это самым главным во всей текущей сумятице.

Конечно, ничего подобного никогда не происходило не только в этом министерстве, но и во всех наших министерствах с самого их основания.

Пожинаются плоды старого. Тридцать почти лет министерство народного просвещения пикнуть не позволяло ни обществу, ни учителям, ни родителям, ни самым ученым академикам и профессорам относительно положения

учебных дел, относительно какого-нибудь мизерного вопроса о лишнем часе русского или латинского языков в гимназической программе. Теперь вовсе никакие программы не исполняются: и министерство молчит. Тридцать лет в желтом здании у Чернышева моста заседали какие-то маги, никогда в России не показывавшиеся и все о России знавшие, которые писали циркуляры «к исполнению», ни с кем не советуясь, ничего голоса до себя не допуская. За высокомерием паче меры последовало паче меры уничижение. Пессимизм и скептицизм царят на месте прежнего оптимизма и самопоклонения. Теперь мы видим в том же желтом здании не то младенцев Ниневии, о которых пророк сказал: «Они – такие, что не различают еще правой руки от левой», не то убеленных старцев, думающих мыслями. Экклезиаста: «Суета сует» и «все – томление духа». Прежде на всех кричали, теперь всех боятся; прежде ни на кого не обращали внимания, теперь спрашивают у учеников: «Как вас учить?», у родителей: «Как и чему и насколько дозволите учить ваших детей?» Давно смеются: да если министерство не знает, как и чему учить, то для чего же это министерство? Тогда пусть скинут мундиры и дадут в них одеться родителям и ученикам. Ведь что-нибудь означает же собою мундир? Ведь погоны означают офицера и свидетельствуют, что он умеет стрелять, сражаться шашкой, знает строевое ученье, фронт и может повести в бой роту. Только мундир министерства народного просвещения ничего не выражает и ни о чем не свидетельствует. Странно. Вот благая доля служить, «числиться», получать жалованье и не знать предмета, до него относящегося.

Вводили в гимназию политику и самое мелочное политиканство. Целый штат чехов был выписан, в сущности, по понятному мотиву: чтобы учителя вовсе даже и не знали о существовании «вредных русских идей», всяческого радикализма, нигилизма, отрицания эстетики, преклонения перед естественными науками и прочих ужасов русского умственного исторического развития. Вместо того, чтобы побороть эти болезненные уклонения собственными научными силами, собственным просветительным духом, расширяя ученическую начитанность, обогащая ее философскими и эстетическими идеями, попытались прямо обрубить явление, и в сущности тем простым способом, чтобы сами учителя были невеждами, чтобы они стояли не сверх русского просвещения, а без русского просвещения. Эра бездушного чиновника-учителя, абсолютно безыдейного, космополитического, с тех пор пошла. И с тех же пор пошла отравка нашей школы: ибо ученики, не имея ничего общего с этими учителями и будучи все же развиты хоть и уродливым русским развитием, вовсе не оттолкнулись от каких бы то ни было «идей», а остались только без всякого руководства, решительно без всякого авторитета около этих идей, им известных решительно из каждой русской книжки, русской пьесы, русской повести, журнала и газетного листа. Увы, не удалось от учеников скрыть, что «есть Россия». Не закрыли ладонью солнца. Аресты книжек Добролюбова, Писарева или Некрасова не помогали ничему, ибо в тысяче популяризацій все эти же книжки распространялись и в безобидных рассказиках или рассуждениях какого-нибудь Петрова или Сидорова. Словом, скрыть, что «есть

Россия и нелепое русское развитие», не удалось от учеников: ну, а не чехи же стали бы руководителями в чтении хоть Добролюбова.

Это политиканство рикошетом отозвалось сейчас. Никогда решительно не должно было подчинять школу консервативным требованиям: тогда в ней не привились бы и радикальные или либеральные вкусы. Просто, никакие бы вкусы и тенденции не привились: и школа наша не сделалась бы передовым бойцом в политике, как было все время и остается посейчас. Все не каменное здание гимназии должно быть вывезено за город, в уезд, в природу, как запоздало рекомендуют иногда. Но город, столица, центры политического агитирования должны быть убраны из программ училищ, гимназий, университетов. Должно стать не городским, а до известной степени сельским учреждением большое здание у Чернышева моста; т. е. с сельской психологиєю, приемами, задачами, чистотою и безыскусственностью целей. Школе – только наука; перед учениками – только история и ее герои.

Школа наша, задержавшись на 30 лет позади русского общественного умственного движения, и отстала от него на эти 30 лет. Давно в обществе не поклоняются Писареву и Добролюбову, а в школе поклоняются. Давно эстетику признают, Пушкина читают: а ведь из студентов и гимназистов кто восхищается Пушкиным? Редко кто. Школа наша решительно архаична и оттого, что не двигалась с обществом, будучи изолирована от его естественного развития и созревания. Но изолировать не сумели, а сумели только задержать в развитии: и от этого учащаяся наша молодежь и до сих читит и читает только кумиров давних наших лет.

И вот наступили дни, когда министерство растерялось перед этими задачами русского развития. Ученые склонили головы перед неучеными, хитродумные – перед наивными, но смелыми и дерзкими. Вчерашние грозные фигуры недоступных педагогов зывают, кто бы «посоветовал» что. Мудрая задача – целое министерство научить министерскому делу. Обвиняют мальчиков, но, когда ослабели взрослые, как же им и не почувствовать себя «с усами». Взрослые уступили им и бороду, и шевелюру; «только головы пощадите». Россия не знает, смеяться или плакать.

СТАРЫЕ ИМЕНА

Одна из главных причин нашей теперешней неясности и путаницы заключается в следующем. Нужно, очевидно, как-то двинуться вперед. Не только довольно компактное общественное мнение требует этого, но главным образом требует этого реальное положение наличных дел, состояние России. Это и можно считать «принятой и одобренной» программой дня или этих дней. Но тут мы вступаем в то, что можно бы назвать политической компиляцией, политическим кропанием чего-то целого из лоскутков. Машинист не знает хорошо машины, на которую посажен; призванный, положим, проводить «либеральные мысли» в таком-то ведомстве хотя и не враждебен либерализму, даже

сочувствует ему, но сам и лично никогда не выдумал ни одной либеральной мысли и по своей инициативе не начал никакого либерального движения. Он похож на солдата, стреляющего чужим порохом из незнакомого ружья. Такой только и может сделать, что «спустить курок». Куда уж тут попасть в цель.

Повсюду мы видим, что в «обновительном» или «освободительном» движении России, собственно, «делаются уступки». Тогда как Россия ждет и ей нужно, чтобы шли вперед. Нужно, чтобы было развитие, развитие цельное и сильное. А не то чтобы одни наступали, а другие отступали. Такая стратегия вовсе не называется положением России, и никому не нужно, чтобы кто «торжествовал», а другие унывали, думали: «Все потеряно».

В меньшем масштабе это можно везде наблюдать. В самом крупном масштабе это мы видим в самом расстроенном из наших ведомств, учебном. Вне сомнения, и к голосу родителей нужно было прислушиваться, но благотворно это было бы только тогда, когда в лице директоров гимназий и попечителей учебных округов, вплоть до петербургских центральных учреждений, министерство само сочувственно, творчески признало бы это задачей своею. Словом, чтобы оно с любовью взяло это тему свою и на эту тему, так сказать, писало бы свое оригинальное сочинение, а не плачевно «списывало extempore». Равным образом, практические нужды городов в расширенном реальном и поэтическом образовании, более основательная постановка преподавания русской истории и словесности – все это было нужно и нужно. Но зачем это «нужное» министерство выпустило из рук своих, зачем этот болезненный и вредный тон и психология: «Ну, что же? Все хотят, и, кажется, основательно: уступим».

Право, «уступающий» или «отступающий» прежде всего не знает, до каких же пор ему отступать. Просто он не видит пути, потому что не сам его избрал. Министерство в этих «уступаниях» или «отступаниях» очутилось в каком-то опрокинутом положении. Отменен ли классицизм? Нет, но чрезвычайно потрясен. Утверждено ли реальное образование, словесность и история? Нисколько. Ни в чем не видно. Так и живем в каком-то «трясении», без всего твердого. Под министерством «пол ходуном ходит», и если мальчики и юноши начали расходиться по домам, к родителям на хлеба, то, как это ни прискорбно, однако нужно же извинить их отчасти тем, что они решили «перезадать», пока наконец министерство на чем-нибудь остановится и утвердится.

В министерстве недоумение; ученикам вакация.

Таково последствие того, что министерство почти три десятилетия «выкуривало» свободный дух и всяческую независимую инициативу в учителях, в директорах, даже в попечителях учебных округов, которые самого мелочного шага во «вверенных им губерниях» не смели сделать, не «снесясь с Петербургом». В Петербурге, видите ли, сидели маги, а во всей России – пешки. Когда пришло время движения, когда в памятных актах с высоты Престола было потребовано обновление учебного ведомства, то чиновники его, или эти «преднамеренные пешки», парализованные 30-летним безмолвным сидением, даже не сумели и не смогли встать с места, передвинуть своих стульев. Только и

смогли, что распорядиться: «Отворите двери», «пусть войдут родители, сами гимназисты», «даже пусть войдет кто угодно и распоряжается: мы ничему не препятствуем». Плачевно. Нисколько этого не нужно было. Никто этого не ждал и не желал.

Желательно было творчество и свободный дух в самом министерстве, без всякого выпуска инициативы из своих рук. Желателен был добрый, гуманный порыв; своя училищная забота, свой зоркий педагогический глаз. Раз родители привели детей в школу и доверили их ей, то это возлагало страшную обязанность на школу – неусыпно заботиться, неусыпно думать, изобретать около приведенных учеников все лучшее и лучшее: лучшие условия воспитания, лучшие методы преподавания. А не то, чтобы сказать родителям: Мы сами не знаем, как воспитывать и учить: так, может быть, не знаете ли вы?» Плохие разговоры. Печальные беседы. Родители могли только улыбнуться: «Так зачем же вы повесили вывеску: «Учебное заведение»? Тогда бы так и писали: ареопаг сомневающихся и недоумевающих людей!»

Нельзя не обратиться, в этом беспомощном, полуразрушенном положении учебного дела, к воспоминанию о двух государственных людях, еще живых и остающихся на службе, которые в свое время обнаружили большую творческую инициативу в этом министерстве. Это – бывший министр народного просвещения статс-секретарь Сабуров и бывший товарищ министра г. Мещанинов, который был первым советником и, может быть, правою рабочею рукою генерал-адъютанта Ванновского в памятную и дорогую для всей России эпоху его заведывания учебным делом. Ни о котором из них невозможно сказать того главного упрека, какой теперь нельзя не отнести к личному составу руководителей этого министерства; упрека за неясность программы, полную нерешительность и остановку всего дела. Люди эти были с свободным духом, но не взятым из воздуха, а родившимся из собственной души. Они знали, поэтому, начало пути своего, шли в рельсах и знали «станцию назначения», – куда идут. И может быть, сжалившись над истинноприскорбным положением родителей такого множества русских юношей и отроков, ныне проводящих время дома за «вакациею» целого министерства, – в этом последнем будет сознана возможность воспользоваться советом, участием и помощью этих испытанных государственных людей в теперешнем беспримерно трудном положении данного министерства. Если лозунг «Так жить нельзя» и не везде применим, где он слышится, то, кажется, ни у кого нет сомнения, что к учебному делу он вполне приложим. Действительно: «Так жить долее нельзя».

ДРЕВНЕЕ «ПЕЧАЛОВАНИЕ»

В теперешние трудные минуты, переживаемые Россией, нельзя не отметить, что наряду со словами злобы и недоброжелательства, раздающимися в западных обществах и заграничной печати относительно России, слышатся по временам и благородные голоса, в которых сказывается всемирная связанность

народов. Слышится доверие к силам России в ее целостном историческом составе и отнесение теперешних ее нестроений и внешних неудач к недостаткам той временной «системы», какая неосторожно допущена была до чрезмерного развития, до исключительного господства. На Западе столь же ярко, как и у нас, понимают, что полное устранение народа и общества от участия в правительственной трудной работе, от всякой помощи правительству словом и делом, не представляет собою ничего принципиального и вечного и что с призывом этого участия устранится сейчас же множество злоупотреблений и болячек, гноящих там и здесь громадное тело нашей родины. На днях у нас были помещены письма лондонского и берлинского наших корреспондентов, из которых первый сообщал о всюду высказываемом мнении англичан, что с созывом народных представителей Россия нашла бы на заграничных рынках нужные для ведения войны деньги и что в Англии она нашла бы их даже скорее, чем где-нибудь. Таким образом, даже между прочим и финансовое доверие не поколеблено к русскому народу, и сомнение относится только к царящей у нас «системе». С другой стороны, берлинский корреспондент, передавая взгляды германских военных критиков на последние события в Манчжурии, в частности на мукденскую катастрофу, – говорит, что они не хотят и останавливаться на мнимой вине Куропаткина или даже на недостатках военного ведомства, как на сравнительных мелочах; что первая и основная причина наших военных неудач лежит в «самой системе», царящей вообще в русских делах и мероприятиях, действующей везде и подчинившей себе также и военное ведомство. Во всем этом сказывается отнюдь не вражда к России или русскому народу, а только к тем «порядкам» или, точнее, «беспорядкам», которые в России еще ощутительнее, чем издали.

К той же категории доброжелательных, хоть и скорбящих, голосов принадлежит и письмо римского папы к нашему Государю, о котором мы читаем в последней, мартовской, книжке «Богословского Вестника». В статье «Из периодической печати» профессор Московской духовной академии, г. Мышцын, сообщает, что в «*Petit Bleu*» получено было сообщение из Рима, будто «папа в очень трогательном, почти отеческом письме к Государю Императору просит позволения разрешить ему обратиться к Нему с советом в минуту, столь важную для дальнейшей судьбы России. Пий X напоминает о словах мира и любви, раздавшихся по случаю созыва Гаагской конференции, и умоляет прислушаться, насколько это возможно, к крику, вырвавшемуся из народного сердца». «Только акт любви, – говорит папа, – может спасти русский народ». Почтенный журнал, давая обзор забытого и частью уничтоженного права «печалования», приводит это папское письмо как остаток, и добрый остаток, этого права, которым пользовались когда-то св. Филипп митрополит, Иоасаф и Варлаам, архиеп. новгородский Иона и другие. «Лучшие иерархи и само общество считали печалование перед государями долгом представителей церкви. За митрополитом Даниилом, который по личной своей темноте и слабости этого не делал, утвердилось печальное и постыдное прозвище «по-таковника». Митрополит св. Филипп, призывая епископов к выполнению это-

го хоть трудного, но священного долга, писал: «На то ли соединились вы, отцы и братья, чтобы молчать? Что устрашаете правду глаголать? Ваше молчание цареву душу (шла речь об Иоанне Грозном) влагает в грех, а своей душе на горшую погибель, а православной вере на скорбь и на смущение» (стр. 652).

Мы указываем на западные голоса, в частности на папское письмо, как на примеры прекрасной международной связанности, как на самое высокое проявление духовной культуры. С другой стороны, мы не можем не напомнить и об этом древнем церковном праве «печалования», без которого язык церкви не может быть прям и тверд, а ему приходится изгибаться, как, увы, и языкам простых и до горести зависимых людей, – людей, не имеющих высокого долга и прав церкви и первенствующих ее глав.

КУНО-ФИШЕР. ИСТОРИЯ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ

Том III. Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. Перев. с нем. Н. Н. Полилова. С портр. Лейбница. 735 стр. – То же, том VII. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. Перев. со второго дополненного немецкого издания Н. О. Лосского. С портр. Шеллинга. 893 стр. Издания Д. Е. Жуковского. СПб., 1905 г.

Появление этих двух хорошо изданных томов должно приветствоваться всеми образованными читателями. Куно-Фишер, кажется, дал если не идеал, то во всяком случае образец истории философии. Это уже не «очерки», не «наезды» и не «обзоры», какие дают другие историки философии, а глубокая работа рудокопа. Шеллинг и Лейбниц родственны между собою, как, с другой стороны, родственны Декарт и Спиноза. Интерес к гениальному, а не к одному последовательному, постижение чувства и волевых движений, а не одной паутины мысли, интерес к истории, к личности и быту, к народному творчеству, доверие к прозрениям и озарениям, а не к одним выводам – все это есть общая черта у обоих немцев XVII и XVIII–XIX веков. Философия Лейбница и Шеллинга гораздо менее умерла, чем философия Декарта и особенно Спинозы, эта сухая и бесконечная палка, утвержденная на земле и протянутая к небу. Француз и еврей проводили какие-то рельсы, когда оба германца разрабатывали страну. Тут во всем разница: в целях, результате, впечатлении от них, в господствующих душевных способностях обеих групп мыслителей. Декарт, великий механик мысли и истинный отец механических приемов изучения природы. Можно провести прямую линию от него до Ог. Конта, и напр., наших грубых «мыслителей» 60-х годов. Лейбниц и Шеллинг – великие «сердцеведы» природы и суть творцы интуитивного в науке: от них связующая нить тянется до Пастера с открытым им миром микроорганизмов и до новейших в

физике открытий, начиная с «Х-лучей» и до радиоактивности. От Декарта также нет никаких путей к Шопенгауэру и Гартману с их учением о воле, с их прозрением в мудрость староарийского Востока; напротив, Лейбниц и особенно Шеллинг уже прямо как бы указали на пути, по которым пошли эти родоначальники волюнтаризма в философии. Даже Ницше и его «сверхчеловек» связуемы с философией, которая выражала такой интерес к религиозному, такую чуткость, любопытство и доверие к «гениальным скачкам», к «перелетам» воображения и догадок. Напротив, от Спинозы и Декарта «пути были заказаны» к Ницше. Шеллинг и Лейбниц, в сущности, приложили к философии тот метод изучения или те силы души, которых работу в религии мы оцениваем как «антропоморфизм». Оба они были антропоморфисты–философы; «по образу и подобию» человека они старались угадать «образ мира». На этом пути, конечно, возможны были и в самом деле случились великие ошибки, но также возможны были и действительно произошли великие открытия. Не можем не указать, что наш Вл. Соловьёв, поэт, мистик, философ и публицист, был в значительной степени шеллингист; точнее, он был наш родной Шеллинг: так как сознательного следования Шеллингу у него не было. Но ведь в том и состоит самая сущность философии последнего, что она открывала «средство душ», а не одни умственные заимствования.

К ВОЗРОЖДЕНИЮ ДУХОВЕНСТВА

Положение одного из могущественнейших наших сословий как по древности корней своих, так и по тому, что оно сплошь училось и всегда училось, – сословия духовного, представляло бы собою не только нечто прискорбное, но и зловещее, если бы, как некоторые рассчитывают на него, оно являлось только сословием застоя, мрака, вражды ко всякому движению и свету. Что не живет – умирает; что не движется – то дырявит под собою землю и в конце концов проваливается в могилу, выкопанную собственной тяжестью. Между тем с духовенством связано так много национально-дорогого и всемирно-дорогого, ему, как сословию, даны такие особенные заветы и права, – что умственное и нравственное падение этого сословия или разочарование в его помощи остальной нации в трагическую, до известной степени страшную минуту ее бытия – сопровождалось бы неизмеримо губительными последствиями. Пришел страшный час для духовенства. В прошлом стоят такие фигуры, как архимандрит Феодор Бухарев и митрополит Филарет, – благословляющие народ и народы в совершенно разные пути. В прошлом стоят Н. П. Гиляров-Платонов и Аскоченский: оба – верующие, преданные церкви и клянущие друг друга. Таким образом, не сейчас только, но уже давно «стена духовенства» вовсе не сплошная, не слитная. Благословения светил духовных или лиц глубокого духовного образования не совпадают; проклятия – не совпадают же. Но что раньше казалось эмпирическим фактом без другого значения, кроме биографического, – то теперь обнаруживает принципиальное свое зна-

чение и встало как не только наша национальная, но как мировая проблема. В самом деле, ведь это не только русский, но и немецкий и французский вопрос: «Да что такое духовенство и каково его подлинное, неколеблущееся отношение к таким неизбежным факторам истории, как духовная, и в частности умственная, свобода, как социальное развитие, как мир народов и экономическая обеспеченность низших классов и, далее, – наука, искусство и некоторая веселость населения в качестве отдыха и разнообразия от ежедневного труда?». Известно, что во время мира духовенство молится «о мире», а во время войны «о победах». Но это слишком пассивно и официально. Гагская конференция не была его порывом, даже не вызвала в нем, напр. в духовной литературе, какого-нибудь заметного оживления. Рассказ «Красный смех», с его внутренним призывом к миру, с его определением войны как «безумия и ужаса», вырвался тоже не из-под пера духовного лица. Мы не хотим в словах этих хвалить рассказ Л. Андреева и пользуемся им как указующим фактом. Л. Толстой, покойный Гаршин и вот хоть этот «Красный смех» есть все-таки самое яркое и единственное яркое, что в качестве впечатления получило общество в смысле тенденции гагской конференции. При этом опять же я не пою «псалмов» этой конференции, а только констатирую факт, что характерная и общепризнанная тенденция христианства и Евангелия, тенденция к миру и умиротворению, получила самых томительных выразителей в смысле «хочется» не в духовенстве вовсе, а в гражданах и светских людях, в писателях.

Но сказать, чтобы духовенство наше и в душе не хотело мира, чтобы оно было в душе воинственно просто смешно. Нет, не в этом дело. Духовенство наше прискорбно потеряло не только хорошие, но вообще какие бы то ни было мнения, суждения, порывы, если они не связаны с профессионально-духовным сословием, с его сословно-служебными задачами и функциями. Оно не всемирно, давно уже не всемирно, как, например, всемирны класс ученых, философов, писателей, даже, например, юристов или медиков. Открытия Пастера взволновали и русскую медицину; малейшее улучшение в антисептике и асептике не завтра, а сегодня же применяется в Москве, Петербурге, даже в Орле и Пензе. Даже военное сословие есть международное в смысле впечатлительности, и русские учатся или пытались учиться у Мольтке. Но например протоиерей Исаакиевского собора? Да он живет, как до открытия Америки и изобретений компаса и пороха. Ему просто ни до чего дела нет, т. е. как духовному лицу, а не частному человеку. Частным образом, я наблюдал, духовные поигрывают в карты, весьма любят читать «Ниву» и приложения романов к «Свету». Но официально они живут, как при Петре Могиле, и за пределами «Требника» Петра Могилы не имеют ни к чему живому отношения и ни о чем живом незыблемого, всеобщего, «по должности и сану» суждения.

Только очень даровитые и пылкие люди, ну, как Фотий или Филарет, Гиляров или Бухарев, – имели «суждение» и не о сословно-профессиональных «сюжетах», а о всемирном движении дел; но суждение – как часть своей личности и биографии, а не как долг, возложенный на них церковью. В этом

отношении можно сказать, что личность духовного человека как бы странным образом переросла состояние церкви: общецерковные мнения суть именно движущиеся в этом невысоком слое сельских и городских батюшек и касающиеся так или иначе церковной службы, дисциплины, порядка и проч. И это имеет преемственно-историческое объяснение. Ведь Византия-то была маленькая, узенькая, как 2–3 русские губернии; это была провинция всемирной истории, притом в самую замкнутую и до известной степени затхлую ее пору. И в уровень с этим-то провинциальным своим положением сложила дух и формы, тон и слог своих «мнений». Просвещенный русский священник, если он читает литературу, а не «Свет», и интересуется наукою, а не картами, – решительно поднимается над этим уровнем византийских «суждений». Но тут мы встречаемся с чем-то роковым: лучшие-то его суждения, всемирной окраски и интереса, – просто никому не нужны; и, как неприменимые, как никому не интересные – он их вяло имеет, вяло высказывает, вяло развивает. Тенденция ко сну, к своему личному сну, у него сильнее, чем у представителя какого-либо другого сословия: это решительно так. Но вот он высказывает старенькие, тысячелетней давности и ему самому нисколько не кровно-дорогие мысли: а тут все слушают, секретари записывают, «мнения» принимают в соображение даже законодателями! Ибо он тут говорит не «свое», а – как телефон между Москвою и Петербургом – передает «сведения» от Комненов, Палеологов и прочих, живших до открытия компаса.

Но история давно всемирна. А Русь, как раненый конь, поднялась на дыбы: «Ах, что мне Палеологи и Комнены! Дайте мне силу жить! Евангелие, Христос: ну, скажите именем Евангелия и Христа, а не Комненов, как мне жить, куда идти?».

Палеологи на этот вопрос *теперешней* России просто не имеют *никакого* ответа. И духовенству в первый раз на грозный вопрос России нужно самому ответить, а не только «справиться по книжке» о возможном и «благоприличном» ответе. «Пробудись, мое сердце, перестань дремать, мой ум!» Вот час, который, по новизне его, мы и назвали роковым в исторической жизни духовенства.

Византийское духовенство творило в отведенных ему епархиальных рамках. Так оно творило невольно, по географическим, политическим и культурным условиям своей родины. Можно сказать, теперь вся церковь, насколько она зависит и не может не зависеть от конкретного, единственно гласного и единственно делающего выразителя своего, духовенства, – стоит перед великим подъемом. Перед подъемом к всемирным точкам зрения и всемирным интересам. Ведь нельзя же этого оспорить, что в Византии в точности этой всемирности не было!!! Ведь это – факт, ведь географии и истории зачеркивать нельзя. И вся византийская «безгрешность», если уж на ней настаивают, была, однако же, «епархиальною» безгрешностью. Итак, церковь, мать всех верующих, стоит просто перед входом как бы в необозримый новый город вновь открытого царства, где все интересы другие, нежели какими она жила; а тех интересов, какими жила она, – нет вовсе или очень мало осталось. Это –

не противоборство, не распад, не щель или распад. Просто – перемена тем. Перемена исторической обстановки. Другие вопросы, иные муки: а Христос ли ответил ли бы на болящую сейчас рану рецептом тысячелетней застарелости? Христос, следовательно, зовет духовенство к обновлению: зовет слушать теперешние муки человека, врачевать теперешние его раны, и средством теперь целебным, а не которое было целебно 1000 лет назад и с тех пор не то что выдохлось, а просто ему нет ничего соответствующего: другая болезнь, в то время и не бывавшая, не случавшаяся.

Сколько раз приходилось мне, беседуя и со священниками, и с монахами, и с совершенно простыми, и очень учеными и иерархически высокопоставленными, убеждаться с изумлением, до чего их частная, личная душа переросла ту «общую душу», какая им завещана через сан или дана через образование. Всегда, казалось бы, частный человек не дорастает «до идеала»: так это и бывает. Но в духовенстве – совершенно наоборот! «Идеал», официальность, должность – стоят неизмеримо ниже индивидуума. Читатель может мне не поверить, предположить какую-нибудь кривизну дела, но я приведу совершенно общеизвестный и всемирнопризнанный факт, который разрешит все и согласит со мною читателя. Известно, что ни в народе нашем, ни в образованных классах нет неуважения, по крайней мере нет злобы к духовенству; и величайшие отрицатели не идут здесь дальше, кроме добродушной насмешки или равнодушного: «не нужно», «бесполезны». Вражды нет, ненависти нет. Это – итог *личных* впечатлений, *личных* встреч, бесед, чтений, воспоминаний. Но вот я живу сознательной и «осматривающейся» жизнью 25 лет; и не только самому мне не приходилось никогда сказать доброе слово о духовных консисториях, но я в жизнь мою не встречал человека, который имел бы о них другое мнение, кроме пропитанного ненавистью, презрением и отвращением. Так думал (см. «Записки») историк Серг. Мих. Соловьёв, сам из духовного звания; его сын, философ и богослов, Вл. Соловьёв – тоже так думал; и так думают все духовные, сплошь, с кем я ни говорил; ну, и уж простиительно так думать вслед за «сонмом столпов» и светскому обществу. Итак, консистории не имеют ни одного защитника, и всех – врагом своим. Да что за тайна? Духовенство *in concreto** – доброе или слабое, ну, плохое; а консистория, где сидит и все решает то же самое духовенство, имеет такую исключительную о себе аттестацию?! Да в том и тайна, что *in concreto* духовенство есть сумма, сложенная из лица + долга, из «слабостей» и идеала: а в консисториях – один только «идеал» без всяких слабостей; здесь представлен «долг» и совершенно автоматически лицо, его несущее. Все рассмеются, не поверят: «Какой же это идеал, когда все проклиняют». Но ведь я же указываю на секрет, который у всех перед глазами, и только не умеет никто прочесть на нем простую надпись: «Се человек, а не медведь».

В консисториях действительно сидят те же умные и добрые люди, которые разговаривают с вами (ведь туда все же «избирают»), и не всегда зря, не непр-

* в действительности (*лат.*).

менно злых), но они ничего не вправе от себя сказать, лично подумать. Как известно, суд там формальный, основанный на механическом подведении данного случая под общее правило, в законе выраженное. Но «законов» никаких там русских нет, а все – от «Комненов» и «Палеологов» и даже дальше, авторитетнее; санкция – выше. И вот получается ужас, отвращение и омерзение. Я бы не говорил с такой уверенностью, если бы самый повод к печальному умозаключению мне не дали бывавшие случаи, что духовное лицо, заведующее или участвующее в консистории, чуть не со слезами в глазах, с дрожью негодования в голосе, передавало мне: «Вот какое дело (следует изложение подробностей): и ничего мы не можем сделать, как погубить доброго человека и дать торжество бесстыднику, злодею»; «Я бы все это дело (следует энергичный жест, выражающий комканье бумаг) бросил в Неву», «в печь, но нельзя: жалоба подана, марка в 80 коп. приклеена, мы обязаны ответить истцу-негодяю, который шантажирует, мучит и преследует доброго человека, им же введенного в грех; а ответить нельзя иначе, как по правилу такому-то (следует ссылка на IX или VII век), – и человек будет погублен». «Раз мы спасли доброго человека только тем, что переслали его, по службе, из Пензы в Тобольск. Поди, ищи. И никакого другого средства не было выхватить несчастного из пасти ехидны: закон был за ехидну». «Да вы бы посоветовались гурьбой? Ведь есть совесть не только индивидуальная, а и коллективная?» – «Ни гурьбой, ни одиночно не можем ничего, кроме как приложить закон, идущий от древности; кроме как повиноваться могильным векам... Да вот вам: я, священник, зову, если захворают дети, еврея-доктора. В городке у нас только два доктора: русский – но он пьет и еврей, человек трезвый и в своем деле знающий. Но ведь по правилу Лаодикийского собора за обращение к доктору жидовину и меня, священника, и мою матушку супругу, и всех моих детей следует извергнуть из церкви, т. е. поступить, как с Толстым за его еретичество. Правило не отменено, да и отменить его нельзя, потому что под правилом стоит формула: «Духу Святому и нам, – т. е. постановившим правило отцам Лаодикийского собора, – изволиось» (угодно было)... «Или обреки детей на умирание, или – вон из церкви».

Он махнул рукой.

Я махнул рукой.

* * *

Нельзя ли, хоть ввиду необходимости *не* умирать, напр. от непризыва единственно сведущего врача-«жидовина», поставить общий вопрос: Да возможно ли было серьезно приписать «Духу Святому» такое явно жестокое и не предвидящее последствий правило? Не было ли такое приписание «хулою на Духа Святого», о чем предупреждал Спаситель с грозою всех людей? Не было ли это «приятием имени Божия всеу», т. е. призыванием в авторитет, в санкцию имени Божия в тех случаях, когда мы имеем право опираться только на свой авторитет. И вообще – нельзя ли, не дозволительно ли знаменитую формулу, заканчивавшую все постановления древних собраний духовенства,

«соборов» его: «Духу Святому и нам изволилось», отчего постановления эти и получили бесповоротную неотменяемость, – непозволительно ли эту формулу истолковать как вид благочестивого красноречия, подобно употребляемому нами в словах: «Все в воле Божией», хотя ни о разбое, ни об убийстве мы, конечно, серьезно не думаем, что это «по воле Божией», а не против Бога. Если возможно такое толкование, – а кажется, оно очевидно! – тогда еще не все потеряно, мы можем шевелиться и жить! Иначе, при всемирности наших скорбей, страданий, необходимостей, нам только останется гнить и гнить от византийской епархиальной узости, удушливости.

* * *

Просматривая не только за эти месяцы, но и за последние годы «Богословский Вестник», орган Московской духовной академии, и «Церковный Вестник», орган Спб. духовной академии (за этот год), где пишут не одни ученые профессора, но епископы и священники, и сравнивая их с журналами других двух наших академий или с «Верую и Разумом» (в Харькове), не говоря уже о других духовных журналах обывательско-консисторского типа (их все-таки огромное большинство), – нельзя не усмотреть, что единства в составе мысли, в ожиданиях грядущего в нашем духовенстве нет. Стена церковная, насколько она конкретно выражается в наличном составе черного и белого духовенства и в совокупности ученых представителей церкви, имеет незаделываемую и, кажется, все ширящуюся трещину, по линии которой произойдет, несомненно, распад. Тут нет ничего страшного: Максим Грек, образованный грек, приехавший на темную Москву в XVI в., был посажен в тюрьму за «вольномыслие и ереси» духовенством того времени; хотя теперь доподлинно и всякому известно, что никаких ересей у него не было, а был он просто образованный человек, появившийся среди темных людей. Везде, где есть движение, где возможно обновление, есть распады, бывает и не может не быть противоборства частей; везде слышатся крики: «Это – ложь!»; «Это – истина!» Или, в переводе на церковную терминологию: «Это – ересь!»; «Это – правосмыслие!» Такими криками была полна Византия, а затем Западная Европа во все века их творческо-религиозной жизни, и среди этих именно криков вырабатывался и выработался весь канон, сложилось все богослужение и все нравоучение церкви. Где жизнь, там и борение. А где истина наиболее дорога, там и борьба не может не быть особенно пламенной. Переходя к России наших дней, мы видим, что церковь или, конкретнее, духовенство поставлено перед вопросом сказать «да» или «нет» на основные, необходимые и невольные факторы культуры. В отношении их все духовенство разделилось на столь же пламенное «да», как пламенное «нет!».

Если сравнить духовенство с крылами, на коготорых летит церковь, то давно уже нет одноцветности этих крыльев, но одно как бы белое, а другое – темное. «Мы – за свет в человечестве, за культуру в нем, за свободу у него: мы не хотим, чтобы личность человеческая погашалась, но чтобы она сама и любовно взаимодействовала с Христом!» Таково не столько даже убеждение.

сколько натура одних; натура других этого не выносит: «Весь мир во грехе лежит; безгрешное только в церкви и церковных установлениях; даже не в собственно-церковных, а в законоположениях греческих императоров, если они жили не позднее XII века; все, что потом было, что готовится наступить, – скверна, антихристово; такова и наука, и культура, и прогресс, и всяческая свобода, личная, общественная и гражданская или политическая».

Мы привели как типичный образчик «черного крыла» примеры духовного красноречия одного южнорусского епископа. Без всякой застенчивости он объявлял, якобы от имени «церкви», всю теперешнюю обновительную работу государства идущую прямо от «сатаны», от «ада». Было бы совершенно безнадежное дело, если бы с ним пело в унисон и все духовенство. Но голоса, к счастью, разделились. Вот голос со страниц «Церковного Вестника», редактируемого известным священником и вместе профессором С.-Петербургской духовной академии А. П. Рождественским: «Когда запросы и потребности живых личностей перерастают рамки старых условий жизни, то бесполезно и наивно взывать к одному самоусовершенствованию, не изменя самой системы этих условий. Любой закон, любое установление могут пережить свой собственный смысл и, вместо прежних пособников жизни, могут стать тормозами ее. И никаким личным самоусовершенствованием победить это явление невозможно. Необходимо, по слову Евангелия, творить одно, не оставляя и другого. Необходима преобразовательная работа. Тут дело совсем не в злоупотреблениях, не в уклонениях от закона. Как раз наоборот. Зло рождается именно от исполнения отжившего закона, от косной привязанности к нему». Это говорится о законодательной работе. А вот что епископ Сергей, ректор Петербургской духовной академии, сказал в актовой речи, обращенной к слушателям и озаглавленной: «Накануне объявления полной веротерпимости»:

«Нужно спросить себя: готовы ли мы к предстоящему великому дню? В мирное время требования совсем не те, что во время войны. В мирное время и деревянное оружие годится на показ, и картонная стена, лишь бы она была внушительна на вид, может показаться надежной защитой. Но не таким все это окажется на поле брани, когда уже не воображаемая, а действительная смерть смотрит в глаза, когда действительный неприятель наносит свои губительные удары. Так и у нас: охранительный закон, ограждающий немощные души от соблазна лжеучений, многое с нас снимает. Теперь и мишура кажется чем-то серьезным, и беспечное легкомыслие в церковном деле и служении – неопасным. Тогда же потребуют от нас уже не красивых фраз, не заученных силлогизмов, не пестрого наряда показной учености. От нас потребуют тогда духа и жизни. Потребуют веры и пламенной ревности, проникновенности духом Христовым, привычки к жизни по Христу, настоящей православной учености, настоящего, опытного познания христианства. Потребуют, чтобы мы писали не чернилами, да еще заимствованными, может быть, из чужих чернилниц, а кровью из нашей собственной груди. Ответим ли мы на эти запросы?»

Выдержим ли мы огненное испытание? Устоим ли мы на этом, поистине страшно, суде? Ведь судить нас будем уже не мы сами, не наше благосклонное начальство, которое к нам всегда милостиво. Нас судить будет сама Церковь Божия, сам народ православный, который верил нам церковное дело и который без всякого сожаления отвернется от нас, выбросит нас вон, если найдет в нас лишь гроб поваленный, лишь соль, потерявшую силу».

Не слово ли это прежде всего епископа, священника, без всякой примеси к нему либерализма? Корень его чисто духовный, строго церковный. Между тем это такое слово, которое хотели бы сказать и вожди русского освободительного движения, но только они выразили бы его другим стилем, иным языком, прибегая к другим мотивам, к иным поэтическим образам и сравнениям. Слово это не покажется не православным и мужицкой толпе на огромной площади; а прозвучи оно где-нибудь в высокой комиссии, в Государственном Совете, хотя бы на будущем Земском соборе, – то перед ним с почтением встанут государственные сановники, и, поверьте, радостно выслушают его купцы, врачи, адвокаты, коммерсанты. Нет, русский дух – совсем не католический; духовенство у нас – родное народу. Этой с ним родственности оно не потеряет, от него не откажется. Мы вполне верим, что в недалеких будущих годах духовенство русское произнесет золотые слова, совершит самоотверженные дела, окажет несравненные услуги русскому просвещению и гражданственности. И через это само укрепитя силою еще небывалою. Мы верим, что это настанет. Это будущее мы горячо зовем.

* * *

Кстати, о цензуре. Теперь она обсуждается для светских книг, газет, журналов. Но наше сословие, которое самым воспитанием своим, своею 14-летнею школою, можно сказать, специфически подготавливается к консерватизму, это сословие не смеет слова сказать без «одобрения» такой драконовской цензуры, о которой светские писатели и ученые понятия не имеют. Мы говорим о духовной цензуре. Прежде всего: отчего она ввернется исключительно монашествующим, а не ввернется: 1) белым священникам, 2) профессорам духовных академий? Одни и другие могут быть, да и в значительной степени есть, люди образованнейшие, гораздо более компетентные в «православии» или «неправославии» такого-то оттенка мысли. Укажем на протоиерея Светлова, профессора богословия в Киевском университете, автора прекрасно написанной книги «О царстве Божиим»; укажем на протоиерея Мальцева в Берлине, переведшего русское богослужение на немецкий язык. Укажем, из светских, на профессоров А. Введенского, Муретова, Глаголева, Тареева в Московской духовной академии. Что это за тенденция – ядовитая уже в самом своем поползновении, и в этом поползновении ни малейше не православная, не признанно-православная – отожествить церковь с монашеством, отожествить даже христианство с монашеством, исключив из состава живого, деятельного и «правительствующего» христианства как сплошь всех мирян, так даже и всех

семейных духовных лиц? Это ли не прикровенная форма католического celibата, риторически нами осуждаемого, но который втихомолку мы проводим и уже ввели у себя повсюду, везде тесня семейное духовное лицо, оставляя его в «черном теле» при всяческой даже учености и личной безукоризненности жизни и раздавая «короны и скипетры», митры и жезлы, всяческую власть и все значительное только и исключительно монашествоующим, одним им, «отрекшимся от семьи»? Что за ядовитая капля католической вражды к семье? Не только ректоры академий и семинарий уже поставляются теперь из одних монахов, тогда как протопресвитер И. Л. Янышев еще занимал ректорскую должность в академии, но, наконец, даже и в цензоры не может проникнуть, не допускается фактически белый священник. Вот пример, уж если угодно, нигде «не одобренной» и официально еще нигде не провозглашенной «ереси», однако фактически уже везде пустившей корни и утвердившейся: что «монашество = церкви = христианству». Из чтения книги Благовидова «История обер-прокуроров Св. Синода» мы усматриваем, что неизменными членами Синода во весь XVIII и в первую половину XIX века были: 1) протопресвитер-духовник Государя; 2) протопресвитер армии и флота. И голос их, авторитет их был необыкновенно важен для выяснения нужд и защиты интересов белого духовенства вообще и сельского в частности. Но во вторую половину нашли какой-то таинственный повод и таинственную возможность, мало-помалу и незаметно для всей России, уничтожить вовсе присутствие белого духовенства в составе высшего церковного управления, сделав нарушение «Духовного регламента» Петра Великого, т. е. основного законодательного акта, учредившего самый Синод и по которому до сих пор Синод составляется, действует и существует. Но возвратимся к цензуре. Пора снять «цензурный галстук», тайно маскирующий цензурную петлю, с горла духовенства. Пусть Россия услышит разум и сердце, а не одни формальные речи из уст своего духовенства. Пока есть специальная духовная цензура, притом сплошь из архимандритов состоящая, не всегда и не весьма ученых, а главное тенденциозно окрашивающих универсальное христианство в один черный цвет, – до тех пор собственно мы знаем и имеем не полностью религиозной нравственной мысли в литературе, а только знаем подкрашенную, и притом тайно и незаконно, религиозную мысль. Пусть с черными нитями сплетутся и белые; пусть будет белых не меньше и сами они не тусклее, чем черные. Но это – наше мнение. Пусть сама церковь выразит свой взгляд на монашество, на семью, но пусть выскажет это не монашескими только устами, а и устами белого духовенства, «целокупно и любовно», как говорили славянофилы. А для этого нужно преобразование духовной и именно монашеской цензуры. Позволим высказать и об этом свою частную мысль. Пусть церковь «запрещение» мнения, «запрещение» книги или журнала – заменит открытым, проверенным, в долгих собственных суждениях выработанным «приговором» таких-то и таких-то свободно обращающихся книг и журналов к «неправославным», «неправо-мысленным» и рекомендует их не читать своей пастве. Вот и все. Не запрещение, а совет; совет не читать, положим, Фаррара, Ренана или тю-

бин енецв. Но слишком архаично и позорно не давать для русского слова, для русской науки, для русского печатного станка целой богатейшей отрасли западной науки или не позволять в русской науке возникнуть чему-нибудь подобному по научности английской, немецкой, французской и итальянской богословским наукам. Пора от духовных «Гуаков» и «Франциль Венецианов» перейти к Пушкину и Гоголю религиозного слова, религиозной мысли. Вспомним судьбу богословских трудов Хомякова, печатавшихся долгое время только в Праге; вспомним, что «La Russie et l'Eglise Universelle»* Соловьёва так и не появилось на русском языке и в России; вспомним судьбу «Религиозно-философских собраний» в Петербурге и протоколов их – и мы согласимся, что сонные, слепые и глухие объявили «своею» область, которая никогда не должна бы быть, по энергичному слову епископа Сергия, царством сна, лени и сырого холода.

ЧИНОВНИКИ В ДУХОВНОМ ВЕДОМСТВЕ

Подавленность вообще всего русского и наконец целой России чиновничеством ни в каком месте не отражается такую болью и не приносит плодов столь тусклых, бессочных, немощных, как в самой утонченной и чуткой области – религиозной. Об этом горе – давно во всей русской литературе пламенное перо Хомякова, Ив. Аксакова, Вл. Соловьёва наносило постоянные удары в эту стену, но без всякого результата. «Русская церковь с Петра Великого в параличе лежит» – эта фраза Достоевского привилась как пословица в нашей печати. Все бы мы хотели слышать голос церкви; такой или иной голос, но непременно самой церкви, без подсказывания. Нам это важно даже в качестве осведомления, если не авторитета. Но мы слышим только голос чиновников в мундире и со светлыми пуговицами, который диктует духовному лицу свои мнения или смотрит на него такими глазами, что у того язык не шевелится и мысли путаются. Даже такие светила, как митрополиты Платон и Филарет, не могли составить талантом, верою и делами своими «момента» в истории церкви за XVIII и XIX век, главы в церковной истории. История русской церкви XVIII и XIX вв., как история итогов в направлении ее, в духе ее и в ходе всех дел, сюда относящихся, разделяется на «главы» вовсе не по восхождениям и нисхождениям на митрополичьи кафедры тех и иных лиц, и даже всех их вместе, а разделяется на рубрики по назначениям и по увольнениям лиц в обер-прокуратуре Св. Синода. Умер митрополит, что произойдет? Ничего. Но если умер обер-прокурор? Произойдет полная перемена во всех делах. Была эпоха Протасова; вон – эпоха Голицына; наступила эпоха Толстого. А Филарет или Платон только «витийствовали». В «приличных случаях» произносили «приличное слово». И самое «слово»-то было до того оформленное,

* «Россия и Вселенская Церковь» (фр).

официальное и заранее всем известное, что новизну мог представить для слушателя только какой-нибудь особенно величественный оборот мысли или пышное сравнение. Великой империи нельзя, конечно, существовать без великого красноречия, но русскому народу хотелось бы еще и веры и церкви. Но вот на вопрос о них-то приходится в ответ только покачать головой. Для мужичков, для купцов, конечно, и сущее умилительно, но для образованных классов довольно тоскливо.

Деловой центр, да даже и пафос «духовных дел» находится в кабинете обер-прокурора Св. Синода и в его обер-прокурорской канцелярии. Без соизволения отсюда не может быть замещена ни одна преподавательская кафедра в семинарии или духовной академии, не будет учреждено никакое «братство» или «попечительство», даже не будет произведен капитальный ремонт губернского или уездного храма. Это о вещах; но то же можно сказать и о людях, о лицах. Перемещения архиереев с епархии на епархию, то с повышением «за службу», то с понижением «в порицание», увольнение их, в случае «прорухи», – «на покой» или вызов на зимнюю сессию для присутствия в Синоде, т. е. все-таки для некоторого хоть и призрачного участия в церковной власти, – все это делается по «докладу» или рекомендации и указанию, вообще по воле обер-прокуратуры. «На все воля Божия», – говорит народ о физической природе; а о нравственно-духовной области надо сказать: «На все воля обер-прокурора Святейшего Синода». Конечно, догматов он не меняет. Но оттого, что никто ими особенно и не интересуется. Они, как корни церкви: живут и делают свое дело, оставаясь невидимы. Листва, ствол, сучья церкви – все видимое в ней – его имеет своим садовником, поливщиком, возделывателем. Насколько в каждый данный момент церковь есть сумма живых лиц, живых мнений и живого распорядка дел – она творится обер-прокурором и имеет в нем своего «родителя» и «отца». Те древние «отцы», которые собирались на соборы, все же не всегда бывали между собою согласны; а обер-прокурор один и уже всегда сам с собою согласен.

Мы позволяем себе говорить обо всем этом потому, что придерживаемся древнего воззрения на церковь как на необозримый «приход», объемлющий всю нацию. А прихожане весьма и весьма могут судить о службе своего «батюшки», которым в данном общенациональном случае уж и не знаем кого наречь.

Прежде всего повалим одно старое «пугало», указывая на опасность которого едва ли обер-прокуроры и не получили свою исключительную власть. Это – угроза повторением истории Никона. Но уж если даже Никон, единственное в нашей истории лицо по силе энергии, по страстности и властолюбию, не мог удержаться против «тишайшего» Алексея Михайловича, притом до суеверности набожного, – то, значит, в самых элементах духовной иерархии нисколько не содержится начал, могущих сопротивляться громаде царского авторитета. История Никона показывает обратное тому, что из нее выводят: невозможность, а при возможности полную безопасность такого «соперничества». Прибавим к этому, что уже темные времена никогда не вернутся:

что образование, наука, свободное гражданство и литература так ограничили духовный авторитет в его специфических притязаниях, что, конечно, забота должна быть направлена скорее на поддержание этого все более падающего авторитета, нежели сколько-нибудь на борьбу с его непроявленными «поползновениями». Боимся чего нет; а чего есть и страшно – не боимся.

Власти, особенно чрезмерной, духовенство уже никогда не получит. Просто – не та цивилизация, не тот фазис истории. Но мы все и целый русский народ хотели бы духовенству, во всяком случае, независимости, свободы и достоинства. К авторитету его не пустят; но и в темнице незачем держать. В темнице «духовной», осторожно в путанице законоположений спрятанной и которая еще более страшна, ибо отсюда невозможен крик, так как сбежавшиеся на него осудили бы кричащего: «Вот кричит человек, что он в темнице, когда мы ни стен ее, ни оков не видим».

В № 9 «Русского Труда» помещено письмо к редактору его, г. Шарапову, епископа новомиргородского Дмитрия (Херсонской губ.). Письмо это определяет положение церкви как глубоко «темничное». Слова мужественного пастыря так важны, что мы должны цитировать их буквально, так как важны не одни слова, но и уста, из которых они выходят. «Я и раньше думал и говорил в частных беседах с окружающими меня лицами, что единственное спасение России от надвигающихся на нее бед заключается в даровании св. Православной Русской Церкви свободы от владычества чиновников и бюрократов. Это истина очевидная, и предстоит усиленно говорить о церковной реформе. Ни один православный русский епископ и даже никто среди самого образованного высшего нашего духовенства не станет оспаривать истину, что необходимо освободить русскую православную церковь от подчинения чиновникам. Не сознает еще или плохо сознает эту мечту только среднее сельское, приходское духовенство, воспитанное по семинарским учебникам, в которых, согласно «Духовному Регламенту», доказывается, что при нынешнем синодальном управлении в русской церкви больше соборности, чем было при патриархах и всероссийских митрополитах. Поэтому предстоит еще трудного и много раз объяснять духовенству ту истину, что современное управление в православной русской церкви не всегда согласуется с церковными канонами и что положение ее под властью чиновников крайне ненормально, а потому необходима коренная церковная реформа». Далее епископ говорит, что реформа должна идти двояко: снизу – как восстановление древнего прихода и сверху – как преобразование высшего управления. Минувя первое, остановимся на втором. «Реформа сверху, – продолжает владыка, – зависит от воли нашего Самодержавного Государя, который одним своим Царским словом, одним почерком пера может даровать эту свободу Церкви. Но вот вопрос: как мы, ревнители церковной свободы, можем довести о ее нуждах до слуха Царя? Как мы можем умолить нашего Батюшку Царя, чтобы Он даровал эту свободу русским сынам св. Православной Церкви? Кто может разъяснить и доложить Государю нужды церковные? Только один обер-прокурор Св. Синода. Первенствующий митрополит едва ли это может сделать при на-

стоящих наших церковных порядках. А обер-прокурор решится ли доложить Государю о том, что лучше освободить Православную Русскую Церковь от власти чиновников? Не значит ли это, что обер-прокурор должен самоотверженно отказаться от своей огромной власти над ведомством православного исповедания. Имеем ли мы возможность рассчитывать на такое великое самоотвержение? Помимо же обер-прокурора по существующим порядкам никто из православного духовенства не может подать своего голоса Государю. Таким образом, одни представители православного духовенства без мирян оказываются совершенно связанными по рукам и ногам».

Давно следовало заговорить об этом, что как «вера без дел мертва есть», так и «церковь без мирян тоже мертва есть», т. е. не действительна, бессильна, почти нереальна. Конечно, духовная иерархия со своей стороны и в своей специальной сфере, ну хоть бы в сфере семейного права, должна очень и очень позаботиться о мирском интересе, о мирских нуждах. И тогда уже само собою и у мирян появится доброе желание помочь иерархии в ее довольно беспомощном положении. При теперешнем высокообразованном обер-прокуроре Святейшего Синода, быть может, возможно говорить и о скромном самоограничении чиновничества около церкви. Ведь если в сфере школы, дотоле земской и министерской, он нашел нужным ввести церковь, то не понятнее ли из церкви устраним неподобающий ей элемент чиновничества.

ТРЕВОЖНЫЙ «СЛУХ»

В печати нашей прошло без всяких отражений известие от 17 марта, которое, не живи мы так торопливо и поверхностно, должно бы вызвать величайшее беспокойство. «По весьма достоверным слухам, вопрос о пересмотре государственного положения нашей православной церкви и о необходимых преобразованиях в строе церковного управления *изъят* из ведения Особого совещания при Комитете Министров и передан в Святейший Синод».

Так как в Особом совещании был выслушан голос высокопреосвященно-го митрополита петербургского по вопросу старообрядческому и сектантскому, и вся Россия узнала с радостью о его ходатайстве перед этим правительственным учреждением однажды навсегда избавить духовенство от обязанности доносить на «инакомыслящих» и тем охранять незапятнанную свою священническую репутацию, – то, конечно, Особое совещание таким же путем могло осведомиться, через приглашение в себя, и о взгляде остальных семи *духовных* членов Св. Синода. «Духовным Регламентом» Петра Великого предвидены и предустановлены *общие* заседания Св. Синода и Правительствующего Сената, из которых последний имел по мысли Преобразователя чрезвычайно широкие полномочия. Как при самом Петре Великом, так и при последующих государях XVIII века происходили неоднократно такие *соединенные* заседания Синода и Сената для рассмотрения дел на смежной черте государства и церкви. Очевидно, Особое совещание, поставленное теперь

приблизительно в пределах древнего Сената, с обширным правительственным значением, могло бы, а мы думаем и *должно* бы, по вопросу «о государственном положении нашей православной церкви» – устроить заседания *общие* с наличным немногочисленным составом Св. Синода, где члены последнего могли бы высказаться с такою же независимостью, как митрополит Антоний, о поднятых вопросах. И притом они могли бы излагать свои взгляды вслух всей России так, как постановления Особого совещания публикуются. Россия, т. е. православный народ, есть не что-нибудь пустое в религиозно-церковной области, но он есть «самое тело церкви» по определению известного послания восточных патриархов к римскому папе в половине XIX века, составленное в ответ на его приглашение приехать на замышляемый последним собор... «Мы с народом явиться не можем, а без народа мы не есть церковь, и мнение наше без его одобрения не есть мнение церковное», – ответили иерархи Востока. По Хомякову, да и по основному учению догматов православных о «соборной церкви», т. е. о церкви «народной», не одно священство церкви, а весь народ православный есть хранитель и оберегатель и даже конечный судия веры. Это отличие Востока от Запада, может быть, более существенное и во всяком случае более практически-жизненное, чем спор о «filioque»*. На этом, и только на одном этом основана наша борьба против «папизма», который можно назвать, при раскрытых скобках, «иерархизмом» церковным. На этой особенности Восточной церкви было основано, что когда митрополит и епископы русские, вернувшись с Флорентинского собора, принесли в Россию «соединение церквей», то народ их решение отверг, сами они были низвергнуты, и «соединение», иерархически признанное, одобренное и состоявшееся, – народно не состоялось. Таковы факты и такова лежащая под ними высокая теория. Народ есть церковь, *Ecclesia*, α'Εκκλησία, т. е. «народное собрание». Слово α'Εκκλησία, т. е. «церковь», употреблялось еще при Перикле, и, взяв этот политический термин древней самоуправляющейся античной общины в *имя* себе, отцы соборов вселенских никогда и не мыслили «церковь» иначе, как в смысле *громады* народной, цельной *нации*. Вот отчего иерархи, высказывая взгляды свои по вопросу, например, о «положении православной церкви в государстве», должны быть осторожны и также оглядываться на народ, взвешивая возможное его мнение, возможное согласие и несогласие, как должны бы были по догматическому учению сделать, отправляясь на Флорентинский собор.

Возвращаемся к Особому совещанию. Здесь, и только здесь, среди государственных людей, от которых они служебно независимы, которых они не имеют причины стесняться под страхом вечной угрозы «увольнения на покой», т. е. лишения службы, средств жизни и пр. и возвращения к состоянию нищего монашества, здесь они высказались бы по движению сердца, ума и знания церковного учения и церковной истории. Здесь мы услышали бы голос своего духовенства, знали бы решение церкви. Нет сомнения, что «изъя-

* «... и от Сына» (лат.).

тие» из Особого совещания подлежащих вопросов состоялось вовсе не по требованию митрополита Антония, который уже успел высказаться здесь в преобразовательном духе. Все дело, очевидно, готовится быть изъято из этого совещания *всех* министров и перенесено к обдумыванию *одного* министра; и из общерусского национального дела оно должно будет составить «дело за № 1583» (положим) в синей папке «канцелярии» того же министра. Известна, департаментская поговорка: «Дело не медведь – в лес не убежит», т. е. торопиться ни с каким «делом» не следует. И если слух, «весьма достоверный» по сообщению, основателен, то вопрос как старообрядческий, так и иноверческий, и вообще весь вероисповедный вопрос, пожалуй, «заляжет на зиму спать в берлогу», запертый на крепкий ключ в письменном столе одного из министров. При таких условиях, пожалуй, будет доказано на «соборных уложениях», что православие не устоит, если, не дай Бог, выплывет из бокового кармана и «записной книжки» такого-то чиновника, «в приказах поседелого», на свет Божий, на вольный дух.

Так думный дьяк, в приказах поседельный,
Добру и злу внимает равнодушно.

УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДУХОВНОМ МИРЕ

Замечательная по содержательности статья «О необходимости перемен в русском церковном управлении», напечатанная в № 11 «Церковного Вестника» 17 марта и перепечатанная у нас 18 марта в № 10429, являет собою коллективный голос нескольких петербургских священников, которые представили это свое мнение по очень высокому адресу, и здесь также нашли свое одобрение. Таким образом, все изложенное здесь имеет характер менее литературный и более деловой, служебный, практически-деятельный. В этом «мнении» указывается:

1) Отсутствие свободы православной церкви, которая не только не есть «господствующая» в отношении чего-либо внешнего, но не «господствует» даже и над своими собственными поступками, деяниями, мнениями. Титул «господствующей» является малопозволительною ирониею в отношении скорее к «заключенной в узах», о чем свидетельствует как рассматриваемая статья, так и компетентный голос vicарного епископа Антонина, который сравнивает теперешнее состояние с положением ап. Павла, «прикованного к руке римского центуриона». Совершенно для каждого прозрачно, какие именно лица, должности и учреждения соответствуют «римскому центуриону».

2) Отсутствие каноничности в устройении как высшего, так равно и среднего и низшего церковного управления. Духовенство, и в частности епископы русские, по одной особенной причине должны чувствовать это с необыкновенною болью. Зрелище таковой неканоничности, о которой писалось многи-

ми и ранее (Хомяков, Ив. Аксаков, Вл. Соловьёв), и вообще она составляет общепризнанный и общеизвестный факт, должно поселять во всяком принимающем сан епископа непрестанное в будущем угрызения совести и сознательную ложь при посвящении. Именно, принимая свой сан, беря жезл управления, будущий епископ «исповедует» торжественно в церкви, во время богослужения, в присутствии сонма других епископов, что он ни в чем сам не отступит и никого во вверенной ему епархии не допустит до отступления от канонов церкви. Между тем и он, вновь нареченный епископ, и епископы, перед которыми он произносит «исповедание», знают равно о нарушении этих канонов в том самом управлении, в котором принимают участие, и не могут, бессильны или слабовольны протестовать против этого, как должны бы по произносимому «исповеданию». Таким образом, в самый первый и волнующий момент, долженствующий неизгладимо лечь на душу нарекаемого епископа, он вынужден бывает произнести неправду. Для чиновников духовного ведомства, которые подобных «исповеданий» не произносят, на литургии не служат и вообще только рационально «служат» в своем ведомстве, может казаться «пустяками» указываемое здесь обстоятельство, и на маленькую «заминку» в совести епископа они могут смотреть «сквозь пальцы». «Ничего, стерпится – слюбится: и до него все так же произносили, и Феофан Прокопович, и Платоны, и Филареты». Но есть вещи, которые никак не могут «стерпеться и слюбиться», и к числу таких вещей принадлежит ложь, которая, как заноза, болит и не может не болеть в совести. Было трудно и Филаретам, и Платонам. Было всем трудно, не может не быть трудно каждому посвящаемому вновь епископу. По словам статьи «Церковного Вестника», епископ, вновь возводимый в сан, должен быть при избрании «засвидетельствован от клира и народа». Не всем ясно, что это значит. Строй церкви, строй ее управления до «разделения церкви» был общим, одинаковым на Востоке и Западе. Все поняли из гимназических учебников, что «римский епископ», будущий папа, первоначально избирался «добрым римским народом», плебсом и патрициями «Вечного города», т. е. по канонам папствою. И только когда в Западной церкви был замышлен громадный переворот в пользу иерархических поползновений и в целях отделения и противопоставления иерархии – народу, плебсу, только тогда была проведена громадная реформа, в силу которой римский епископ, в то время уже начавший получать всемирное значение, начал избираться «коллегиею кардиналов», которая заменила собою плебс, папство. Таким образом, краткое и темное выражение статьи «Церковного Вестника» о «засвидетельствовании при избрании от клира и народа местной церкви» (т. е. епархии) обозначает собою ту богатую и светлую истину, что как приход, по канонам, избирает любовию своею и уважением приходского священника, так город (у нас – губернский, в древности – митрополия греко-римской области) избирает себе из сонма известных ему жизнью, подвигом, учением и словом духовных лиц – епископа. По другому требованию, содержащемуся в «Апостольских правилах», т. е. по основной и главной канонической у нас книге, которую поименно называет нарекаемый епископ при своем посвяще-

нии и дает присягу ни в чем этих «Правил» не нарушать, – по правилам этим под угрозой отлучения от церкви запрещено епископу принимать власть свою и назначение на епископское служение, обходя любовь местного народа, епархиального плебса и повинуюсь посылке или назначению светской государственной власти. Таким образом, канонами под страшною угрозою запрещен всяческий вид возведения в епископский сан и посылки для управления епархией «в порядке», – применяясь к нашей терминологии, – «административном». Церковь должна быть «соборною», т. е. народною. И каноны до того берегли эту ее «соборность» и «народность», что прямо проклинали как всякое административное вмешательство сюда, так и тех духовных лиц, которые, по слабости соблазняясь властью епископства, приняли бы ее не от любви народной, а получили от светской власти. Именно на этом было основано каноническое анафематствование константинопольского патриарха Фотия, который из придворных лиц, пройдя в короткий срок все степени священства, был возведен на патриарший престол благоволением к нему византийского императора. Случаи эти важны, ибо показывают острые грани канонически-позволительного и канонически-непозволительного. Но кто же не знает, и разве не знают все епископы русской церкви, все – Платоны и Филареты, что без какого-либо исключения они получали «епархии» и «метрополии» по благоволению даже не Государя, а светских чиновников духовного ведомства? Вот «свидетельство»-то «клира и народа местной церкви», иначе сказать, – голос их и может и должен высказаться, что все они были слабы, безвольны: что они должны были, по канонам, отказаться от власти, таким способом даваемой, и пребыть лучше простыми монахами, в келье, посте и молитве, нежели надеть митру, полученную не из надлежащих рук. Это очень принципиально, очень важно. На этом-то пункте именно епископской слабости, пожалуй даже «греха» епископского, состоящего в погоне за славой, почестями, служебным положением, и водворилась та безграничная власть чиновничества, от которой они теперь стонут. Но «центурион привязал к руке своей ап. Павла». Тогда как это случилось доподлинно. Но то был ап. Павел, имевший грома слов. Утерjali «гromы» его преемники, говорят «шепотком»; увы – говорят льстиво. Сами они привязали себя к расшитому золотом рукаву «центуриона» и даже целуют эту ведущую их руку, «не обидел бы», «наградил бы». Одни явно целуют, другие тайно. Но целуют все. Теперь добрый сонм белых русских священников сказал: «Да не будет этого унижения!». «Да не будет», – скажем и мы.

<О ДУХОВНЫХ ДЕЛАХ>

Как мы узнали определенным образом, весь вероисповедный вопрос в точности изъят в настоящее время из Особого Совещания и перенесен на рассмотрение в Св. Синод. Совершилось это вопреки желанию духовного авторитета, духовной власти, духовного мнения, а исключительно по предложению светской власти, «совместно с иерархами» заседающей в Св. Синоде. Но,

затем, духовная иерархия, по-видимому понимая, что или теперь, или никогда она вернет себе независимость суждения дел, решила «мужествовать» далее и по предмету «отношения церкви и государства», каковой вопрос подлежит официальному обсуждению в Св. Синоде, высказаться или единогласно или большинством голосов за возвращение автономии церкви в государстве. Первый и ясный как день шаг к этому заключается в том, чтобы духовенство «имело суждение о делах» не в связывающем присутствии чиновников, от которых она зависит, а наедине, одно, чтобы связность между государством и церковью выразилась иным методом, чем теперь. В самом деле: ну, пусть бы представители церкви вошли, временно или постоянно, в законодательные государственные учреждения, в Государственный Совет или Комитет Министров, для подачи мнения при обсуждении вопросов, смежных у церкви и государства. Вот естественный образ «связи» между государством и церковью. Выбран способ, совершенно этому обратный: где церковь себя нисколько и нигде не представляет, не защищает. В Государственном Совете и в Комитете Министров представляет собою «церковный авторитет», «церковный интерес» и «церковную неприкосновенность», говоря от имени церкви, обер-прокурор Св. Синода, причем духовные лица целой России не могут судить о том, как именно излагает перед министрами или государственными людьми обер-прокурор «взгляд церкви». Здесь, может быть, и в истории бывало двоякое заблуждение. На Комитет Министров и на Государственный Совет обер-прокурор Синода давит авторитетом церкви; министры и члены Государственного Совета, слишком занятые, чтобы до подробностей знать детали церковного учения, уступают и не могут не уступить обер-прокурору, когда им выражаемое суждение он ставит под санкцию «голоса церкви» «св. канонов», наконец, даже Евангелия и И. Христа. Министры уступают ему мертвой уступкой. Без согласия, без внутреннего убеждения, просто «перед таким авторитетом». Между тем, напр., обер-прокурор Св. Синода в первую половину царствования Александра I, кн. Голицын, бывший при назначении на эту должность открытым вольтерянцем, о чем он заявил императору, во вторую половину обер-прокуратуры своей впал в мистическое хлыстовство, за что и был, когда это разоблачилось, уволен из обер-прокуроров, с оставлением только в должности почт-директора. Но когда-то это еще «разоблачилось» (и могло вовсе не разоблачиться), а до этого времени он в Государственном Совете представлял собою церковь, говорил от ее имени и давил страшным ее авторитетом. Проф. Заозерский в последних своих работах по истории брачного нашего законодательства за XIX век указал поразительное обстоятельство, что именно, давя авторитетом церкви на Государственный Совет, этот тайный хлыст-сановник и провел отмену всех довольно многочисленных в XVIII веке поводов к разводу, вследствие чего в XIX в. семейное право, а повинуваясь ему, и семейная жизнь в России получила несносно жесткое, грубое, а местами и жестокое течение. Между тем известно, что самая сущность хлыстовства заключается в непобедимом органическом отвращении вообще к браку и семейной жизни, и кн. Голицын, еще до открытия его хлыстовства, провел меры вообще разрушительные в отношении к семье, хлыстовские. При

этих-то, хлыстовских по вдохновению, законах о семье Россия пассивно живет и до сих пор. Все это рассказано обстоятельно в «Богословском Вестнике» за октябрь и ноябрь 1904 г. проф. А. Н. Заозерским. И церковь обманута, и Государственный Совет или вся Россия были в этом случае 1810 года обмануты. И решительно нельзя предвидеть и предсказать, по канцелярской тайне всего дела, по непубликуемости прений в Государственном Совете, – в каких именно случаях теперь или в будущем обер-прокурор может ввести «в заблуждение» как церковь, с одной стороны, так и государство, с другой стороны. Для церкви тут особенно печально и даже страшно то, что мера, проведенная, положим, через Государственный Совет обер-прокурором Синода, относится вовсе не к его личному действию, а приписывается церкви: и последнее судится если и не громко, то иногда жестоко в частных разговорах или же прямо в печати, за такие дела и решения, в которых никакого участия не принимала. Никому из семейных людей, путавшихся в XIX в. в тенетах бракоразводного процесса, не приходило в голову обвинять князя Голицына: его имя народно неизвестно, в быту общественном – неизвестно. Все говорят, общество говорит или народ ропщет: «Духовные власти решили», «думают», «постановили», когда они и не думали, и не решали: и, может быть, виновны только в одном том, что или «дремали», или «боялись»: чаще всего – были равнодушны. Эпизод с Голицыным яркий: и хотя он – подробность, но показывающая, до чего может дело дойти. Очевидно, что не в Синод следовало войти чиновникам, а духовных лиц нужно было пригласить или периодически приглашать по прикосновенным к церкви вопросам к чиновникам, к сановникам, в государственные учреждения. В Синод же следует на место чиновников скорее уже войти священникам, ввести сюда то мужественное и образованное белое духовенство, которое и сейчас говорит ярче и действует энергичнее духовенства черного. Синод ведь действует, по «Духовному Регламенту», по тонкой и скользкой мысли Феофана Прокоповича, в качестве и с властью «поместного русского собора»; но нам, мирским русским людям, всероссийскому «приходу» Православия, скорбно и соблазнительно, а наконец и неуверительно видеть «собор», т. е. «собрание церкви», из которого «выставлены за дверь» все до единого священники, все те добрые «батюшки», которые нас исповедуют, причащают, напутствуют перед смертью, крестят, венчают. Их-то одних мы и видим как личную и разумную и сейчас действующую церковь. Епископы не приобщают, не крестят, не исповедуют, не венчают, а только «управляют». Неужели же «управление» выше и священнее совершения таинства?

К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА

Как светское общество, так и светская печать может отнестись только с радостью к возвращению духовенству нашему независимости положения, свободы голоса и развязанности сил. За весь XIX в. не было двух мнений касательно крайней неудачи церковных преобразований Петра Великого, которые сломили

последний еще оставшийся независимым голос в стране около всемогущей и, в сущности, сделавшейся совершенно бесконтрольной и «непогрешимой» бюрократии. Поставленное под присмотр чиновников же, духовенство после Феофана Прокоповича могло только петь акафисты всему сущему, и зрелище этого было тем более противно, что здесь явное потворство и скрываемая грусть драпировались в священные тексты. Быстро теряло духовенство нравственный авторитет, и голос его еще сохранял значение только для простецов, не знавших положения дел. Для всех, осведомленных касательно реального положения дел в духовном ведомстве, духовенство наше *in corpore** как бы умерло, не говоря, конечно, о прекрасных личных исключениях. Но исключения правила не разрушают, а только еще ярче его иллюстрируют. Бог в помощь духовенству; общество надеется и верует, что уже недалек час, когда это крепкое умом и исконно русское сословие придет на помощь ему, помощь энергичную и светлую.

Мы заметили, что двух мнений относительно нашего духовно-светского управления не было. Действительно, даже такие принципиальные противники, как известный историк С. М. Соловьёв и школа славянофилов с Хомяковым, Самариным и Аксаковым во главе, одинаково считали, что уничтожение самостоятельности церкви в государстве было гибельно для последующего общественного исторического развития России. С. М. Соловьёв, во всем, даже до мелочей, сторонник целостной реформы Петра, в данном пункте отделялся от нее. С тем вместе если строй церковно-государственный реформируется в ближайшем будущем, то это составит одну из важнейших реформ наступившего XX века. Духовенство должно напрячь все свои силы, чтобы довести ее благополучно до конца, и в особенности, чтобы Россия сразу же увидела, что эта реформа служит ей всей, т. е. всей России, а не клонится к выгодам одного духовного сословия. Поползновения к духовной аристократичности сразу же встретили бы себе самый жестокий отпор. Напротив, некоторый вид духовной демократии, заявленный нашим духовенством сразу же после реформы, сделал бы всех русских друзьями ее и придал бы устойчивость и крепость самой реформе. А последнее – весьма и весьма нелишнее.

Все – для народа, ничего – для сословия, все – для церкви, ничего или очень немного – для иерархии: вот краткий руководительный принцип, приняв который во внимание духовенство и практические деятели наступающего преобразования могли бы избежать множества ошибок, недоумений о том, для кого и для чего реформа. Как можно дальше от сходства с Никоном – вот маяк всего дела; даже мы решимся добавить: подальше и от подражания Филарету Московскому, хотя высокий государственный ум последнего вне всяких споров. Но времена страшно изменились. Весь дух истории теперь другой. Филарет был последним классическим представителем недвижимых поз и великолепных слов, которые теперь уже мало кого могут удовлетворить, насытить, даже успокоить. Наше время проще и серьезнее. Объясним мысль свою примером. Известно, что Филарет был жестоким гонителем старооб-

* в полном составе (*лат.*).

рядчества, что отношение его к белому духовенству было жестко до грубости, что взгляд его на ученых представителей академий был высокомерен и презрителен (история с Гиляровым-Платоновым). Мы назвали целый ряд рубрик, и всякий поймет, что если бы будущий или возможный патриарх «всей Руси» захотел следовать этой прискорбной программе, то он не только равно ни в чем бы не успел, т. е. все равно не выполнил бы этой программы, но и заставил бы всю Русь повернуться фронтом против восстановленного сана, сожалеть об этом восстановлении и, кто знает, может быть вторично и уже навсегда рушить его. Совершенно наоборот, если бы Россия увидела, что выросшая сила церкви направляется к уврачеванию таких ран, каких отмененная обер-прокуратура Св. Синода, эта в сущности светская форма патриархата, не умела два века исцелить, то это моментально бы страшно укрепило новые формы духовной жизни России. Патриарх, который бы навсегда уничтожил самую возможность суздальских «затворов», вернул бы свободу академическому преподаванию, вступил бы в переговоры с восточными патриархами касательно необходимости снять «клятвы», наложенные неосторожно (это теперь все признают) на старые обряды и на следующих этим старым обрядам, – такой патриарх сразу получил бы любовь народа, вероятное умиротворение сект и сектантов и доверие (нужно говорить и об этом) русских образованных классов. К великому счастью, наличными двигателями намечающегося преобразования являются люди высокопросвещенные и без всякой вражды к науке, литературе и культуре. Начало всегда решает и последующие шаги. Верстового Аскоченского России не нужно. А если явится с утроенным авторитетом иннок такого настроения и таких широких взглядов на вещи, на мир и на цивилизацию, как приснопамятный архимандрит Федор Бухарев, которого многие выдающиеся духовные писатели нашего времени считают первым провозвестником нового и светлого духа в православии, – то Россия благословит свое духовенство, а история благословит наступающий важный час ее.

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ДУХОВНОЙ ЦЕНЗУРЫ

По поводу немногих моих замечаний о духовной цензуре один из почтеннейших профессоров здешней духовной академии сообщил мне ряд сведений, могущих действительно заставить только развести руками. Например, что можно представить себе «цензурнее» нашего маститого государственного человека, К. П. Победоносцева? Притом же для духовных цензоров он должен бы представлять собою особенный авторитет в качестве начальника всего духовного ведомства. Но, оказывается, духовно-цензорский дракон и его «искал поглотити» и даже, до известной степени, поглотил: именно 1) ему не был разрешен к напечатанию в России перевод Нового Завета Жуковского, который он и вынужден был поэтому издать в Берлине; и 2) до сих пор Св. Синод не позволяет ему печатать его собственный (К. П. Победоносцева) перевод на

русский язык Евангелия для продажи, и он хотя имеется в печатном виде, но «на правах рукописи», т. е. в числе экземпляров, достаточных для подарков друзьям. Таким образом, духовная цензура отстаивает не «истину от лжи» или «заблуждений», а просто охраняет привилегию единственно допустимого «слога» в передаче величайшего религиозного памятника человечества, величайшей святости народов; «слог» же этот есть коллективный слог той комиссии «сведущих людей», которой в свое время был поручен при Св. Синоде перевод Евангелия на русский язык. Каждый, кто имел случай параллельно читать славянский и русский тексты Евангелия, замечал, без сомнения, как силен, сжат и художествен славянский язык и как бесцветен и безжизнен язык русского переаода. И не диво: переводила «комиссия», и уж тут было не до вдохновения, не до воодушевления оригиналом греческим или славянским.

Ну, например:

В Евангелии от Марка, глава II, стих 24 (рассказ о том, как голодные ученики Иисуса срывали колосья и ели). Переведено:

«И фарисеи сказали Ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно *делать*».

Здесь, против греческого текста, вставлено слово *делать* (в переводе, как вставленное, оно напечатано курсивом), да и едва ли удобно стечение: «что» и «чего».

Между тем как просто было перевести буквально:

«И фарисеи сказали Ему: смотри – они делают в субботу, чего не должно».

Добавлю к сообщению почтенного профессора следующее собственное «испытание»: немного лет назад я послал в редакцию журналов «Исторический Вестник» и «Вестник Европы» статьи, косвенно и лишь немного имевшие отношение к вероучению. Статьи были исторические. И С. Н. Шубинский и М. М. Стасюлевич вернули мне их обратно при письмах, в которых сказали, что по предмету статей хотя может и не зайти речь, но может и зайти – о том, почему они не были представлены предварительно в духовную цензуру. «А такого ужаса, как поехать в Александрово-Невскую лавру объясняться с духовным цензором, я никогда на себя не приму», – писали согласно оба. Один же из этих редакторов при устной встрече рассказал мне, что только раз в жизни ему пришлось обратиться в духовную цензуру, и с тех пор он закаялся: цензор не впустил его в квартиру, но, приотворив дверь, накричал на него, зачем он его тревожит не вовремя. Был дождь, холодно, вечер – и редактор-старик грустный вернулся домой, проехав напрасно четыре версты туда и четыре обратно. Между тем «нужда» редактора требовала разговора на 10 минут.

Дело в том, что цензор ведь есть и монах: и, может быть, ему нужно было молиться Богу?

Для справедливости и точности должен заметить, что лично сам не испытывал никаких неудовольствий с духовной цензурой, а когда писал в «Нов. Пути», пользовался постоянным снисхождением и даже, смею догадываться,

покровительством высокочтимых мною цензоров: архимандрита Антонина, ныне епископа нарвского, и архимандрита Мефодия, моего бывшего наставника по гимназии. Читатель, однако, усмотрит, что личная их просвещенность и частное дружественное ко мне расположение не имеют никакого отношения к общему положению дела, которое остается скверным и даже непереносимо скверным. Ибо если К. П. Победоносцева запрещают, то кого же из нас не запретить? И тогда не лучше ли, уволив всех цензоров, заменить их правилом: «Ничего нового печатать не дозволяется, а дозволяется только перепечатывать прежнее». А уж для сверки «с прежним» призвать хоть пономарей или даже вдовиц-просвирен: казне – дешевле, а делу – то же.

РАЗНИЦА ИМЕН ИЛИ РАЗНИЦА ВЕЩЕЙ

Многим представляется, что восстановление «патриаршества» будет только переменою имени, титула. Это было бы так, если бы «митрополит», положим, петербургский или московский был сколько-нибудь «всероссийским», как были «всероссийскими» митрополиты московские до учреждения патриаршества. Но в этом случае, как и во множестве других, мы имеем дело с тяжелыми результатами медленной разрушительной работы чиновничества. На самом деле теперешние митрополиты, как петербургский, так и московский, суть только епархиальные владыки Московской губ. и Петербургской губ., без малейшего расширения их авторитета сравнительно со всеми другими епархиальными архиереями. Только как члены Синода они имеют отношение к всероссийским делам, но уже здесь голос их коллегиялен, да и, кроме того, ни одно решение Св. Синода не может, по закону, быть приведено в исполнение без подписи на деле «читал» обер-прокурора Св. Синода. Это «читал», по-видимому, так не оскорбительно, не стеснительно: кто же к этому может придаться, судить об угнетении церкви по этой неопределенной надписи? Но дело в том, что без могучего «читал» все останется недвижимым и что всякое «дело» обер-прокурор «читает» последним, т. е. голоса всех членов Св. Синода, всех иерархов Русской церкви не значат ровно ничего без заключительного одобрения сановника, не столько введенного в Синод, сколько поставленного над Синодом. Да это всем и общеизвестно. В то время, как ни один из митрополитов не имеет ни малейшего оттенка «всероссийского» значения, «всероссийской» у себя власти, не только обер-прокурор и его товарищ, но и остальные крупные чиновники в Св. Синоде имеют значение, авторитет и власть, простирающиеся на отдельные отрасли церкви в целой России. Председатель училищного совета, ревизоры, им посылаемые, – все это распространяет свое влияние из Петербурга на Приволжье, Сибирь, Кавказ, Малороссию, Литву. Чиновники особых поручений при обер-прокуратуре ездят в командировки и на ревизии во все губернии: и нужно знать, как их там принимают, с каким страхом перед ними склоняются епископы, архиепископы. Достаточно неблагоприятного «доклада» в Петербурге этого наехавшего

или проезжего чиновника, чтобы «владыка» епархиальный, епископ или архиепископ, получил самые тяжелые неприятности «по службе», вплоть до рокового «увольнения на покой», т. е. отставки полной и беспенсионной, с сохранением лишь «мундира», т. е. монашеской рясы. В Св. Синоде в эти последние два года был возбужден вопрос о том, чтобы увольняемым «на покой» архиереям давалась хоть пенсия, как «за выслугу лет» она дается последнему чиновнику. Таковая пенсия не заставляла бы пугаться «увольнения на покой», как смерти, как гроба, местных епископов и архиепископов, и этим сделать их мужественнее хотя в борьбе с секретарями своих консисторий, – с чиновниками, зависящими от обер-прокурора Синода, а не от самого Синода и также не от епархиальных владык. Но с истинно чиновничью скромностью на такое предложение Св. Синода о пенсиях увольняемым архиереям было отвечено: «Ну, зачем монаху пенсия? Он же дает при пострижении обет бедности». Чиновнический элемент при Св. Синоде понял, что проект был поползновением к самостоятельности, и парализовал это робкое движение к свободе.

Таким образом, Петр Великий уничтожил вовсе не одно патриаршество: он уничтожил также и митрополитство, как оно было до патриаршества, как слагалось в Киеве и в Москве. Московский митрополит был «всёя Руси». После Петра остались одни губернские или «епархиальные» архиереи, над которыми, поделив сан патриарха, «расчленив его ризы», стал обширный штат автономного, ни от кого и ни от чего не зависящего, чиновничества. Ибо по некоторым причинам дела церковные, как не связанные с безопасностью и могуществом России, могли привлечь к себе лишь самую небольшую дозу внимания верховного правительства. В то время, как министры военных, иностранных дел, финансов, да и таких ведомств, как государственного имущества, были постоянно на виду и на чеку, ими интересовались и их запрашивали другие ведомства, ими интересовалась печать и общество, и, словом, они были под некоторым экзаменом, в духовное ведомство никто не заглядывал, России ничего не грозило, что бы там ни делалось. И можно представить те дела, которые там развивались при такой исключительной темноте. Ведь страшные тюрьмы Соловок и Суздаля, до которых никакая реформа никогда не могла и дойти, ибо «гг. криминалистов» туда не пустили бы по специальности ведомства, тюрьмы эти возникли, увеличивались, в них Бог знает что делалось – и никто ничего достоверного о них не знал, пока не разболтали нечаянно натолкнувшиеся на них публицисты, да и разболтать они смогли лишь при изменившихся условиях печати. Расходование денежных сумм духовного ведомства также почему-то изъято из отчетности государственному контролю, как будто там имеются какие-нибудь «секретные назначения».

Восстановление патриаршества будет, таким образом, не переменою титула, а восстановлением ну хотя бы митрополичьего авторитета в древних московских пределах, как оно существовало до патриаршества. Патриарх «всёя Руси» прострет компетенцию свою на общерусские духовные дела; духовенство впервые получит в свое самостоятельное заведывание то, что можно было бы назвать «духовною политикою» или «программою России в духовных делах».

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ПРОФ. Н. К. НИКОЛЬСКОГО

Проф. Никольский задает ряд вопросов, вызываемых неожиданно выплывшим предположением или мыслью преобразовать наше духовное управление. В ней много основательного, но кое-что требует оговорок и разъяснений.

Тридцать два священника, как нам известно, подали заявление вполне самостоятельно, без подсказываний и внушений. Весьма печально, что они не подписались, и мы уверены, что это будет исправлено, и, конечно, чем скорее, тем лучше. Проф. Никольский спрашивает, почему же молчат 70000 священников? Неизвестно, почему молчат. По давней привычке к молчанию. Но во всяком случае всеобщее молчание не лишает никого права говорить, заявлять, просить. Начинать должен *кто-нибудь*, и честь тому, кто начал. Инициативу мы всегда призывали, отчего ее отвергать в данном случае? Нам в общих чертах известно и происхождение «32-х голосов», выделившихся из общего молчания. Дело в том, что петербургское духовенство было поставлено в довольно угнетенное положение порицаниями общества за этот дух то лести, то официальных бездушных слов, какие оно произносило в настоящих тяжелых обстоятельствах родины. Группа молодых священников, из которых большинство посещало бывшие «Религиозно-философские собрания в Петербурге» и на них тоже выслушало много нелестного по адресу исторической роли духовенства, стала говорить на «Пастырских собраниях петербургского духовенства» о необходимости священникам дать больше сердца и слова теперешним событиям. Группа эта выделилась из Пастырского собрания, жестко-консервативного по своему составу и взглядам, стала собираться самостоятельно и начала обдумывать положение духовенства. Вопрос: «Почему мы не говорим», быстро сменился сознанием: «Да мы отвыкли говорить, да мы не смеем говорить; мы задавлены и общим злом отечества, чиновничеством». Отсюда до «Записки 32 священников» уже один шаг. Священники оттого и не подписались, что робели подписаться; что шаг, ими делаемый, содержал в себе долю служебного риска и мог повернуться весьма и весьма для них неблагоприятно, тем более что почти без исключений это священники молодые, «незаслуженные». Таким образом, дело это подспудно совершенно чисто! Заметим, что оно и довольно самоотверженно, потому что пока решительно ничего не обещает белому духовенству, священству. Они работали на универсально-церковной почве, тогда как все дело может свестись к интересу одного монашества. Страх за это, весьма основательный, звучит и в почтенной статье профессора Никольского. Заметим, что, выступив довольно резко против монашеских поползновений, против возможного «папизма», и он поднял мужественный голос: ибо ведомство, в котором сам служит, есть монашеско-чиновническое, причем и сами чиновники вот уже лет двадцать всюду выдвигают вперед монахов, хотя в наше время и держат их под «наблюдением». «Уж лучше чиновники, чем монахи» – вот *résumé* протеста проф. Никольского.

Но ведь еще ничего в реформе не началось, ничего не сделалось? Неужели с монашествующими нет нам справки, как через чиновников? А полемика, знания, ученость, правда? Сам профессор Никольский ссылается, что по «апостольским правилам», соблюдать которые дает обещание каждый епископ, принимая свой сан, «епископ должен быть единыя жены мужем». Текст этот в том отношении важен, как указывает и проф. Никольский, что он обнаруживает запутанность и противоречия вообще канонических правил, которые в одном веке говорили «да» о том, о чем в другом веке говорили «нет», и разнятся не только между собою, но и противоречат прямым, категорическим предписаниям апостолов, как равно и примеру их личной жизни (некоторые из них, именно апостолы Петр и Иаков, были женаты). Вообще вслед за восстановлением патриаршества, и именно под мотивом этого восстановления, должна сейчас же начаться самая страстная, ибо она будет реально-страстной, полемика о смысле высшей духовной власти в церкви, высшего в ней авторитета: почему он должен принадлежать монашеству? Отчего править делами и получать высокую честь может только инок, который в самых обетах иночества от всего этого отрекся? Протопресвитер И. Л. Янышев на «Религиозно-философских собраниях» вслух всех слушателей говорил громко, что еще в XVIII и XIX веке между православными епископами некоторые были *не иноки, не монахи*. Известный Иоанн, епископ смоленский, написал целую книгу «О монашестве епископов» в защиту этой весьма слабо-защитной истины по поручению митрополита Филарета, а самое поручение это было дано, когда вопрос об отделимости епископата от монашества был сделан с высоты Престола. Филарет, покровитель черного духовенства и теснивший белое, и поручил разработку этого вопроса знаменитому уму (и жестокостью) иерарху. В некрологе еп. Иоанна Н. П. Гиляров-Платонов, человек совершенно компетентный в данной области, говорит о книге «О монашестве епископов» как наполненной бессильными натяжками, умолчаниями о фактах и софизмами. Вообще хотя миряне, все светские люди, привыкли видеть на епископском посту монаха, но это только мирская привычка, это – зрелище от постоянно повторяемого злоупотребления, которое несведущим людям и начало представляться законом, хотя закону оно именно противоречит (вышеприведенные слова апостола, выраженные со словом «должны»). Епископство (и патриаршество) есть должность, есть управление обширными делами, которое в самой сердцевине разрушает самые идеальные мотивы иночества: скромность, удаление от мира, уединение; и безусловно, оно не имеет с ним другой связи, кроме фактической и случайной. Иночество – одно. А епископство и патриаршество – это совершенно другое! «Совместительство» их долгие века было; вызывало всегда бездну протестов; вызывало порчу самого иночества соблазном власти и богатства и порчу епископата через отделение и противоположение им себя белому, семейному духовенству и также миру и мирянам. Но, к счастью, все это привычка, а не закон; все это нисколько не принцип. Все это не сразу, но твердо может начать поворачиваться в совершенно обратную сторону. Как одну из дробинек этого поворота нельзя не приветствовать и статью проф. Никольского, которая в этой второй половине своей заслуживает всякого сочувствия.

ПОМЕНЬШЕ АРХЕОЛОГИИ!

В выдержках, приведенных у нас из письма Дурново к редактору «Русского Труда», неприятно поражают такие выражения, как «болгарская схизма» — о теперешней болгарской национальной церкви или что «московское патриаршество не отменено — ибо отменить его не могла светская власть, а только мог бы один собор». Какая археология и кому она нужна? Какие развиваемые на клерикальной почве противонравственные тезисы! Вот такой-то «закваски фарисейской» в предстоящих церковных реформах мы и должны опасаться как огня: она сделает до того противным все дело, что руки опустятся раньше его окончания.

«Болгарская схизма» сводится к следующему. Греческие епископы, управлявшие болгарскими епархиями еще во время турецкого гнета, желая в зародыше задушить будущее болгарское национальное возрождение, ибо греки надеялись владеть болгарскою територіею, употребили все меры, чтобы затушевать, задавить, истребить всякую память былой болгарской истории, и с этою целью собирали по монастырям и сжигали памятники древней болгарской письменности, летописи, хронографы и проч. Скажите, это было по братскому и христианскому чувству? Когда Болгария получила независимость, то, помня эту каинскую политику фанариотов относительно своей народности, она, и как народ, и как правительство, потребовала самостоятельных, национальных болгарских епископов в городах со смешанным населением, болгарским и греческим. Но, вот видите ли, там уже были раньше греческие епископы, те самые, что жгли болгарские рукописи. Тогда фанариоты, с константинопольским патриархом во главе, сослались на «каноническое правило», по которому в одном городе не может быть двух епископов одной церкви, «ибо это свидетельствовало бы о раздоре, а христианство есть любовь». Каины сослались на Евангелие, добираясь до братской крови. Патриарх не разрешал выбор национальных епископов, а когда они все-таки были выбраны, он объявил весь болгарский народ схизматиками и национальную болгарскую церковь «состоящею в схизме». За эту фанариотскую политику в свое время много распинался покойный наш государственный контролер Т. И. Филиппов и посвятил этому вопросу много статей в «Гражданине». Ему последует г. Дурново. Разврат и злоба соединились против несчастной Болгарии того времени. И вдруг мы слышим голос из Москвы: «Да, но эти Каины канонических правил не нарушили; а Авель-Болгария если и прирезывалась греками, то это правилами церкви не предусмотрено, не запрещено и потому на Каине за это нет вины».

Равно о патриаршестве. С шиком дурново тона г. Дурново заявляет, что «никакого соборного постановления о закрытии московского патриаршества не было». Скажите, пожалуйста! Вот уж не ко времени вспомнить Петра Великого и его «Всешутейший собор». Так-таки г. Дурново и не знает о «закрытии патриаршества»!! «Нет ничего, кроме фанариотов и канонических правил», — заявляет археологически г. Дурново. Ну, мы имеем кой-что поважнее: Еван-

гелие. Апостолы патриархами себя не называли, в апостольский век патриаршества не было; «патриаршество» было установлено византийскими императорами как часть своего императорского блеска, и равно в России «патриаршество» было установлено по желанию и проискам Бориса Годунова, чтобы найти в «патриархе» себе опору при возвышении. Да и вообще всякий знающий историю иерархии и происхождение «богочеловеческих» канонов очень хорошо знает, сколько тут лежит подспудно политики, личных расчетов, властолюбия и корысти. Все сделано из золота, и нередко пахнувшего кровью. Г. Дурново припоминает с презрительным негодованием и отнятие монастырских имений как «схизматический» поступок Екатерины и Димитрия Сеченова, забывая, что о праве монастырей владеть вотчинами спорили гораздо ранее в самой Московской церкви и некоторые святители церкви, потом канонизованные ею, находили такое владение несовместимым с духом и смыслом монашества. Словом, если послушать мудрецов из «Русского Дела», то мы дойдем не только до папизма, но и до «отцов иезуитов», устроивших целое собственное государство в Парагвае.

Нет, подальше от московских заветов. Не забудем, что «мудрость патриархов», именно во всем советовавшихся в данном случае с греческими иерархами, довела невинное дело исправления книг до церковного раскола. Сие несчастье случилось с московским патриархом. А константинопольский патриарх, придравшись к «новшества» в способе печения просфор в итальянских городах (спор об опресноках), довел дело и до раскола всего христианского мира – на католический и православный. Христианский мир сам, в лице мирян и священников, никогда не раскалывался, и дело это есть чисто иерархическое, и в частности патриаршее. Каноны-то канонами, но и биология не дремлет. Не могут две «матки» ужиться в одном пчелином улье. И вот «папы», римский, константинопольский и пр., уязвляя друг друга, довели до раздробления весь христианский мир, а «папа», или «патриарх», в Москве раздробил русскую народность (раскол). Синодальный или обер-прокурский период все-таки таких «проорух» не натворил.

Археологи напрасно вынимают заржавленные мечи и напяливают на себя вынутые из старого чулана латы. Потому-то на предлежащий Собор, если ему суждено состояться, и должны быть непременно призваны миряне и священники, что те и другие значительно суть просто евангелисты, то есть более всего помнят Евангелие и страшатся пойти против его духа и этим выражают коренной строй теперешнего христианского мира, то есть сущей, живой церкви. Напротив, иерархия уже одним проектом собраться в лице только епископов, минуя и мирян, и подчиненных им священников, с первого же шага выразила отсутствие в ней памяти евангельской. Ибо Христос ученикам Своим заповедовал всегда быть вместе и пребывать в любви: «По этому одному узнают, что вы Мои ученики». Это – книжники и фарисеи собирались без народа, в стороне от народа, сокровенно от его глаз и ушей. Печальный прецедент и роковое следование. И греческая и наша иерархия в прошлой своей истории, может быть, оттого и мало помнила Евангелие, по крайней мере

мене, чем подробности канонов, что в Евангелии об иерархии ничего нет, а все там, и притом любовно, – о народе, о людях, о человеках простых и частных. Иерархия и не опиралась на книгу, где нет ее корней. Ее корни – в частной греческой истории. Это и есть ее любимейшая почва. Но Русское царство слишком обширно, чтобы его можно было запорошить греческою землицей; да Русское царство и почтеннее, ибо оно долже греческого живет. Совершенно достаточно, что мы перенесли к себе из Греции церковные службы, весь литургический состав. Этим дело и может ограничиться. Но как греческий народ и царградские базилевсы свободно вводили и изменяли собственный строй и управление церковное, так русский народ и монархи вправе вложить сюда новое вдохновение и новое творчество, в духе Христовом, по слову Евангелия.

Поменьше археологии, побольше жизни, практики, сообразования с нуждами царства теперешнего и народа нашего.

ЦЕНТР ВОПРОСА О РЕФОРМАХ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Я получил множество писем, частью очень пространных, и от ученых преподавателей разных академий, и от простых русских людей (часть из них очень трогательные), которые высказываются с величайшим страхом перед наступающей реформой церковного управления. Печатать их все нет никакой возможности (хотя бы и было поучительно). Но позволяю себе, обращаясь к вождям реформы, формулировать этот голос верующих, голос очень чистый и страстный:

1) Кто хочет свободы – должен сам дать ее. Духовенство хочет освободиться от чиновничества. Но это касается только черного духовенства, ибо на священника чиновник нисколько не давит и даже не имеет к нему никакого отношения. Только иерархия церковная, сплошь вся из монашествующих, находится «под наблюдением» чиновничества. Миряне и белое духовенство лишь при одном условии могут присоединиться к лозунгу «убрать чиновников», если будет дано какое-нибудь обеспечение для не угнетенного в будущем положения белого духовенства: а) через систему выборов в будущий собор и состав его, б) через гарантию свободы духовной печати от монашеской цензуры и с) особенно через полное отделение независимо поставленного духовного суда от духовной (сплошь черной) администрации. Без этого, как говорят самые страстные и вполне верующие голоса, реформа нежелательна и даже будет фатальна.

2) Равным образом учебные заведения, средние и высшие, где учатся исключительно дети приходского белого духовенства, ни в каком случае не должны быть под администрацию монашескою как непосредственно в лице инспекторов и ректоров, так и отдаленно – епископов и митрополитов. Ибо дух монашеский в воспитательном отношении негоден своим беспощадным

ригоризмом, а в учебном и ученом отношении он вреден принципиально выражаемым презрением к науке и исключительно полемическим, а не аналитическим отношением ко всякому возможному научному вопросу, научной доктрине.

Мне думается, мотивы эти основательны. Всяк видит их простую правду. В полученных письмах находятся указания на даровитых студентов и преподавателей академий, не имеющих европейскую репутацию ученых как теперешнего, так и прошлого времени, которые были гонимы только оттого, что на лекциях держались документальной исторической правды и отказывались освещать вопросы церкви непременно в монашеском подкрашивании. Их или выживали, или оскорбляли грубостью. Все дело, по описаниям, сводится к картине, как если бы универсально-церковная нива была захвачена людьми, соединенными неписанным договором, которые знают только своих, проводят только своих, шадят только своих – и уже своих шадят, несмотря ни на какую нравственность и умственное убожество.

Что же, всеобщая радость о реформе духовного управления ту имеет цену в себе, что вдруг обнаружила это черное пятно в сердцевине тела церковного, о котором миряне так ярко вовсе не знали. Мне думается, мирянам остается все еще несколько времени доверять чистоте всего начавшегося обновления – и пожелать просто и ясно.

3) Так как Церковь едина, свята и исполнена в сердце своем любви, и на иных принципах никто в ней открыто не может действовать, то пусть в самом деле, прежде чем получить от светской власти свободу, свободу для деятельности своей и голоса своего, монашествующее иерархическое духовенство предварительно освободит и даст на будущее время обеспечение свободы – белому духовенству; и также – даст обеспечение мирянам в виде гласно и торжественно выраженного обещания, что они не будут «выброшены за борт» собирающегося «поднять паруса» церковного корабля. Торжественность и официальность – важная вещь, ибо она помнится, ибо она есть что-то осязаемое, за что можно ухватиться. Вполне возможно подобное торжественное обещание старшего черного брата в отношении белого – семейного священничества: относиться по-братски к нему, призывать к совету с собою в управлении и без суда и разбора никого не казнить, т. е. хотя бы моральными и все же мучительными способами (притеснение по службе, оскорбительность обращения).

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ СВ. СИНОДУ

Высочайшая резолюция, положенная на докладе Св. Синода о созвании собора епархиальных епископов для учреждения патриаршества и для обсуждения перемен в церковном управлении, положенная 31 марта и ныне опубликованная в «Церковном Вестнике», разъяснила те слухи, какие уже ходили эти последние дни, о том, что все дело церковного преобразования временно приостанавливается. Текущие дни, в самом деле, не допускают возможности сосредоточиться

с надлежащим прилежанием и обширною заботою над вопросом поправления нашего духовного управления, во всех его частях, низших и верхних, пришедшего в крайне несовершенное состояние и к тому же от самого своего начала противоречившего канонам. В Собственноручных словах Государя Императора указана как главный мотив отложения пересмотра этого управления «тревожность ныне переживаемого времени», без упоминания о ненужности или невозможности такого пересмотра. «Когда наступит благоприятное для сего время, – говорит Государь, – предоставляю Себе, по древним примерам православных Императоров, дать сему великому делу движение и созвать собор все-российской церкви для канонического обсуждения предметов веры и церковного управления». Эта многоценная надпись на докладе Св. Синода не должна нимало смущать членов Синода, подписавших доклад, или казаться им огорчительною: ибо если только вспомнить тот трепет сердца, с каковым ныне вся Россия притаилась и ждет вестей о нашей эскадре, то совершенно ясно станет, что Государь Император, как и все русские до одного человека, не имеет ни малейшей возможности уделить внимание Свое сложным и тонким «предметам веры и церковного управления», во всяком случае отложимым по своей сущности. Это вопросы не «вчера» и не «сегодня», тогда как мы вынуждены сейчас отдать всю свою заботу, впечатлительность и все понимание именно «сегодняшнему дню», в чем именно и заключается более всего «тревожность» текущих дней. Но слово Государя мимо не идет: в минуту, которую Он найдет «благоприятною», Он созовет «собор все-российской церкви», т. е. исполнит давнишнюю мечту всех верующих и религиозных русских людей.

В указании «православных Императоров», без включения слова «русских», и в указании «примеров» созыва соборов именно «древних», мы можем видеть, что России предстоит, может быть в недалеком будущем, увидеть на своей территории и в своей истории возобновление и продолжение тех частей византийской истории, которые выразились в периодическом созыве соборов для устроения дел веры. Зрелище величественное, если бы нам удалось дожить до него. Надежду эту внушают и слова Высочайшей резолюции, где значительно изменена и углублена собственно тема «доклада» Св. Синода, довольно узкая и формальная: «Созван будет собор все-российской церкви для канонического обсуждения предметов веры и церковного управления». Каждый понимает, насколько понятие «собор все-российской церкви» неизмеримо шире «собора епархиальных епископов» и насколько «предметы веры и церковного управления» шире и даже неизмеримо шире «выбора патриарха», который, получив посох патриарший и новое «возвеличение» на митру, не знал бы, что с ним делать и вообще что делать нового в совершенно прежней в духе и формах своих церкви. Око Государево провидит далекие горизонты и берет широкие условия действительной возможной «новизны». Некоторое вдохновение пронеслось перед Гаагской конференцией. Бог даст, мы дождемся еще вдохновения, и новая Гаагская конференция, великая для всего мира, всем народам многозначительная, соберется в совершенно другой сфере, «по предметам веры и церковного управления». В последнее время выс-

казывалось опасение, как бы «преобразование духовного управления» не свелось к интересам и выгодам одного сословия над другими и даже в самом сословии – только кучки довольно исключительных людей (монашествующих). Можно было вполне этого опасаться. Но опасность этого теперь совершенно предупреждена, ибо «собор российской церкви» – в какую церковь, несомненно, входит белое духовенство и все русские мирские люди – уже ни в каком случае не даст только нового роста митрополичьей митре, ни исключительного главенства только одним монашествующим.

С тем вместе обильная литература, так живо выросшая около данного вопроса, обнаружила, во-первых, чрезвычайный интерес русских к духовным делам и показала этим прежнюю живучесть у нас всяческих религиозных вопросов, а во-вторых, с необыкновенною энергиею установились некоторые истины, еще недавно для многих смутные или неважные. Полемика шла довольно откровенно, или, точнее, раздались довольно откровенные объяснения нашего духовного строя, из которых, кроме ученых людей, и вся Россия, в лице мещан, разночинцев, мелких служащих, купцов, и даже ремесленников, и, может быть, даже, наконец, мужиков, узнала, что строй нашей церкви противоречит древним канонам отцов церкви и Вселенских соборов и что, кроме того, даже высшие иерархи, епископы, архиепископы и митрополиты творят более или менее «не свою волну» и произносят более или менее тоже «не свое слово». В полном и притом уверенном почему-то ожидании, что синодальный и обер-прокурорский период рухнул и не сегодня-завтра будет ликвидирован, о нем были высказаны такие суждения и стали известны всем верующим, после которых на очень долгое время его действительно было бы неудобно и щекотливо сохранять. В, может быть, поспешной и очень горячей полемике была похоронена, именно для простолудинов похоронена великая мечта, что у нас «все свято и безукорно» на самом святом месте. Словом, научная истина была разболтана слишком широко; и что «земля круглая и движется» – это теперь знают не Галилей с Коперником, но и всякий, говоря педагогическим языком, «приготовишка». Возвращаясь от иллюстрации к иллюстрируемому, мы должны сказать, что колоссальная для народной веры истина: «церковь русская не имеет канонического устройства», что она «лишена свободы и независимости», – сделалась достоянием той тесной и горячей народной толпы, которая ежедневно молится по церквам. После чего, разумеется, отложить «рассмотрение предметов веры и управления» можно, Бог даст, только на краткие «тревожные дни».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О статье В. Я. Колачёва>

Священником В. Я. Колачёвым была несколько дней назад лично доставлена мне статья, возражающая на статью проф. Н. К. Никольского касательно происхождения «Записки 32-х священников», с просьбою способствовать, чтобы она была напечатана в «Нов. Врем.» немедленно. Статья была передана мною

редакции «Нов. Врем.» с рекомендацией ее напечатать. Но прошло три дня, и она не появлялась. Встретясь с свящ. Колачёвым в одном литературном собрании, я, на вопрос его о статье, ответил, что «не знаю, почему она не печатается». Но я не сказал, ибо и сам не знал, что она «не будет напечатана». В этом разговоре свящ. Колачёвым было выражено более добродушное отношение к статье проф. Никольского, находившегося тут же в зале в числе гостей, и был выражен вообще взгляд на ненужность полемики с ним, как дела личного, не содержащего принципиальной важности. Я вполне разделял этот взгляд, выразил это вслух, и считал, что этим разговором статья свящ. В. Я. Колачёва как бы уже берется назад. Поэтому, когда на другой или третий день после этой встречи явился в редакцию «Нов. Врем.» человек, посланный свящ. Колачёвым за рукописью, я несколько не удивился этому, и по распоряжению редактора она была посланному передана, хотя мне лично редактор и сказал, что «она уже набрана» (в типографии газеты), т. е., что было намерение ее напечатать. Очевидно, напечатание заметки свящ. Колачёва (как это бывает и со статьями постоянных сотрудников) откладывалось, за обилием срочного материала, о чем всем свящ. Колачёв и мог бы узнать, если бы он пришел за статью сам и узнал о судьбе ее, а не прислал посылного, который ничего другого не ожидал, как получить рукопись в руки. Поэтому как «письмо» его в редакцию «Слова», так и комментарии газеты «Слова» к письму являются, на мой взгляд, неосторожными и не сообразованными с подробностями дела, которое шло вовсе не так, как это представилось ему и редакции «Слова» в ее заметке: «Новому Времени».

«КЕЛЕЙНОЕ» И НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЕЛ

На днях мы высказались о том, что отложение на время собора Русской церкви – скорее благоприятное явление, чем неблагоприятное, и ни малейше не должно смущать или останавливать в дальнейшей работе друзей церковной реформы. Одновременно с официальным объявлением о таком «отложении» была получена в Петербурге апрельская книжка лучшего нашего богословского журнала «Богословский Вестник» (орган Московской духовной академии). Мы вполне удовлетворены тем, что профессора Московской духовной академии через посредство этого органа высказываются одинаково с нами, но с той разницею, что они высказались еще до Высочайшей резолюции касательно этого предмета. «Восстановление канонического управления Русской церкви, – говорится здесь, – может быть совершено лишь каноническим путем. Таковой путь один, и он слишком ясен и слишком хорошо известен. Этот путь есть общероссийский собор, на котором обязаны присутствовать, не дожидаясь особого личного приглашения, все епископы Русской церкви. По каноническим правилам, епископы, без уважительных причин, как-то тяжкая болезнь и т. п., не явившиеся на собор, подлежат запрещению (IV

Вселенский собор, правило 19-е), а митрополит, не исполнивший этого правила, подвергается епитимье, и если найдется светский начальник, возбраняющий сие, то да будет он отлучен (VII Вселенского собора, правило 6-е)». Прервем речь почтенного журнала. Значит, по приведенным их правилам, «светские начальники», вовсе не приглашавшие в состав нашего Синода, т. е. предполагаемого «русского собора», сплошь всех русских епископов и ни в каком случае их туда не допустившие бы и не допускавшие, по правилу Вселенского собора «бысть отлучены от церкви»? Известие это может пощекотать много русских нервов: как же, напр., налагалась «епитимья» и разные страхи ну хоть на разведенных супругов в случае нового брака, когда, по Вселенским соборам, все наше духовное управление подлежало лично и поименно «епитимье», т. е. «отлучению от церкви»? Россия может отчасти плакать, отчасти улыбнуться при таком известии. Цитируем дальше: «Избрание патриарха может состояться лишь на таком именно соборе. И вообще дело церковной реформы, согласно с канонами православной церкви, ни в каком случае не может быть делом ни Синода, ни Особого совещания. Это значило бы начать восстановление соборного управления в церкви с фактического отрицания соборности и с нарушения православных канонов; это значило бы, что идея соборности сохранилась лишь на страницах Кормчей, а не в сознании иерархов. Это могло бы иметь последствия, которые даже невозможно и предвидеть. Эти соображения должны охладить пыл тех, кто пожелал бы скорого проведения реформ домашним образом. Да и вообще для чего и для кого спешить в таком крайне важном и сложном шаге?»).

Нельзя не отметить тревоги почтенного журнала за то, что весь вопрос о церковной реформе получил очень быстро какой-то «домашний характер», характер чего-то «келейно» задумываемого и предпрещаемого в уединении нескольких иерархов, без участия и даже без оповещения широких общественных слоев или печати. Думалось, что удобнее и успешнее все пойдет, если будет состоять в «разговоре нескольких умных людей». Но... на всякого мудреца довольно простоты. Трудно остановить улицу, но «несколько умных господ» остановить очень трудно. Так все, или приблизительно так, и случилось. И неопытные в общественно-исторических движениях, «умные люди» аскетического образа жизни имели все причины к некоторому слабому покаянию. Именно, вопрос о церковной реформе не только по каноническим основаниям, но и по другим соображениям следовало становить как можно шире, общеизвестнее, привлекать сюда более и более внимания, не обегать печать, а привлекать ее, ибо она есть орган голоса «мира», т. е. мирян, дабы все получило такое массивное, броненосное выражение, которое погасить «келейно» нет вообще никакой возможности. Одно дело – ход лодочки, хотя бы и «мудрой», и громадного корабля, хотя бы и глупо управляемого. Мизинцем его не удержишь.

В заключение несколько слов о будущем соборе. «В древней церкви на соборах участвовали и миряне» – говорит орган Московской духовной акаде-

мии. – В Деяниях апостольских, в главе XV, при описании первого апостольского собора, послужившего прототипом для всех остальных, так определяется его состав: «Изволиси апостолам и старцам со всею церковью» (т. е. с общиной мирян). «У нас же в России, – продолжает он, – есть особенно веские побуждения сохранить это право мирян. Не говоря о том, что это было бы хорошим средством для восстановления почти утраченной живой связи общества с иерархией, церковная жизнь в настоящее время так осложнилась, что епископы никоим образом не могут считать себя компетентными в решении некоторых церковных вопросов без помощи мирян. Возьмите, например, вопрос об исправлении давно уже в этом нуждающейся славянской Библии. Решить этот вопрос без помощи ученых специалистов епископы ни в каком случае не могут. Таких вопросов может оказаться немало» («Бог. Вестн.», апрель, с. 851–852).

Значит, и Библия неверно переведена? Час от часу не легче. Мы, которые умеем только молиться, простые мирские люди, никак не можем допустить, чтобы «верою» нашу заправляло «управление», не только само не канонически устроенное, с подвержением «прещениям», «епитимьям» и даже «отлучению» за этот способ и образ своего устройства, но даже и питающее нас Словом Божиим, в котором, от неточности перевода, стоит уже слово не «Божие», а плохих справщиков, переводчиков и грамотеев. Как же тогда и тексты приводить, а ведь это было наше последнее и самое надежное спасение.

О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭТИКЕ

На страницах «Моск. Вед.» и «Русских Ведомостей» разыгралась полемика, которая употребляемыми в ней приемами выходит из всяких границ литературной этики. Исидор, епископ балахнинский, vicарий нижегородский, напечатал в «Русск. Вед.» отказ получать «Моск. Вед.» после напечатания последними резких статей против церковной реформы. Мы также совершенно расходимся с «Моск. Вед.» во взгляде на церковную реформу и, однако, думаем, что читать их или не читать принадлежит молчаливому желанию каждого. Правда, таковые скромные решения у себя в комнате иногда выносятся на страницы газет, и последние имеют бестактность помещать у себя «заявления», и то не единичные, а коллективные, что вот «такие-то и такие-то милостивые государи» отказываются впредь читать или выписывать такую-то газету или журнал. Но никто не ожидал, чтобы в кучку этих «бастующих против газет» милостивых государей попала и солидная фигура русского архиерея. Как будто епископ Исидор не имел других более членораздельных способов выразить свое несогласие с «Моск. Вед.» или негодование на «Моск. Вед.»! Затем, ближайший сотрудник «Моск. Вед.» г. Л. Тихомиров написал длинное частное письмо этому vicарию нижегородского архиепископа, с изложением мотивов, почему редакция держится такого-то именно взгляда на ход цер-

ковной реформы и почему негодование его на эту редакцию неосновательно. Как известно, этот Лев Тихомиров, не только известный писатель, но и старый общественный, даже политический деятель, много писал о церковной реформе и ее необходимости. В частном написанном им письме он дозволил себе выразиться неуважительно о митрополите петербургском Антонии «с его штабом» и о статс-секретаре Витте, которые будто бы стараются сделать церковь, насиливая ее, орудием каких-то скрытых целей ее. Конечно, все это, наверное, есть плод подозрительности к «интригам», каковою подозрительностью «Моск. Вед.» страдали еще со времен Каткова. Г-н Л. Тихомиров, может быть, и сам еще увеличил от себя лично застарелый предрассудок московской газеты. Но он литератор, и не понес свою изнурительную кабинетную тоску на страницы газеты, а выразил ее в частном письме, с полным доверием к адресату, называя его «Владыко святой» и прося его «благословения на дело Божие». Каково же должно быть изумление, можно сказать, всероссийской публики, когда этот архиерей взял да и напечатал целиком, не спросив у автора разрешения, это частное к нему письмо г. Л. Тихомирова, со всеми в нем отзывами, весьма щекотливыми и даже ответственными. Весьма печальную услугу оказали ему «Русские Ведомости». Конечно, архиерей должен знать элементарные правила литературной добропорядочности, отнюдь не допускающей без разрешения за полной подписью публиковать чужие частные письма. Но если он позабыл об этом, то как литературная газета не напомнила ему об элементарной морали, мы не понимаем. «Писем в редакцию» всегда бывает много, и они бывают весьма различны. Если все дело пойдет так, как этому дали прецедент «Русск. Вед.», то мы скоро увидим газетные листы наполненными такой «литературой», которой место может быть только в сорной корзине.

ПРИЗРЕНИЕ ДЕТЕЙ В МОНАСТЫРЯХ

Случайно мне было показано письмо одной русской учительницы, попавшей в знаменитый женский монастырь средней России. Письмо это мне показалось до того любопытным как в смысле бытовой картины, так и в значении темы для размышлений и умозаключений по множеству русских вопросов, что я выпросил позволения сперва у передатчика письма, а затем и у автора письма его напечатать. Оно разом и без споров отвечает на такие жгучие темы, волновавшие печать последние годы, как о смысле аскетизма, о сравнительных нравственных достоинствах семьи и монашества, об удалении от мира; или на такие, какими задавался один сотрудник «Русского Вестника», – «Русская интеллигенция перед духовным судом» и пр. Много было «жупелов» и «раскаленного металла» вылито на головы русской интеллигенции, «всех этих учитилешек, докторишек и аблакатишков»: и пусть же в виде некоторого облегчения пробегут по газетным строкам эти наблюдения русской учительницы.

ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ ВО ВЗАИМНОЙ АВТОНОМИИ

«Царства те погибали, которыми управляли попы», – выразился однажды Грозный. Петр, преобразуя духовное управление, только привел в осуществление то пожелание, которое сквозит (и не может не сквозить) в афоризме Иоанна IV. Государство избавилось от опеки духовенства, каковая опека была всепроницающей в Московской Руси. Для России, выступавшей на западный, на европейский путь, было жизненным вопросом юридически, морально, в быту, во всем строе и всячески порвать узел зависимости от Византии, который держало в своих руках духовенство и не давало его развязать. Будь Россия просто христианскою державою, будь она церковью, но без специальных византийских «вздохов», предсмертно завещанных ей умиравшим царством на берегах Босфора, – Синода бы не появилось, мог бы существовать русский самостоятельный патриарх или русский самостоятельный собор, ибо он не мешал бы царству ни в чем. Слова Грозного относятся к единственной форме христианства, какую он знал; как и Петр имел в виду, ограничивая и подчиняя государству церковь, наших же только «бородачей». Умирая, Византия нащептала детскому народу, принятому ею в «крестильную рубашечку», все свои предсмертные стоны, всю патологию, всю органическую ненависть умирающего к жизни, к цвету, к обилию и напору сил. Гроб, монашество, «отречение от мира», вот с чем она слила христианство. И от Грозного до Петра и сейчас до последнего журналиста все одинаково чувствуют эту роковую истину: «Ну если в самом деле таково дело, если религия есть точно гроб, смерть и отречение, – то государству несдобровать; да и народу несдобровать же; обществу, науке, искусству – всему несдобровать».

И государство установило Синод, где соблюдена была видимость церкви, но коего сущность и заключалась в постоянной, до мелочных дел, самозащите государства от древнего византийского, и вместе старомосковского, смертного и гробового влияния.

Россия могла отселе цвести, жить, двигаться, ибо «попы ею более не управляли» (Грозный).

Но она не только цвела, но и придавила до боли и до изуродования «попов», «поповство», отвлеченно и вдали – Церковь. И справедливость, и гуманность требуют, чтобы она не давила их. Пусть будет сама свободна. Но пусть, однако, дает и другим свободу.

Вот, мне кажется, в чем заключается вопрос. Государство в оба эти века, скрывая от народа истину своих отношений к церкви, считало наружно долгом своим всегда немножечко ханжить. Выключая эпохи Петра и Екатерины, когда оно было наиболее свободным, оно этим ханжеством своим было сдавлено и не развертывало всей мощи своих естественных сил. Духовенство, хоря еще глубже свою ненависть к давящей светской силе, потупив в землю очи, полголосом произносило в сторону народа тексты: «Всякий человек властям предающимся да повинуется», «нести власть аще не от Бога».

Чем больше в государственности было «церковности», тем несчастнее становилась пора царства (афоризм Грозного); периоды эти всем в русской истории знакомы. Чем «государственнее» становилась церковь, тем более холодела вера, отпадали верующие, распространялся религиозный индифферентизм и нигилизм. Где же выход?

* * *

Алгебра точна, как катехизис, «неопровержима», как он; к Пушкину народное благоговение не менее, чем к Филарету. Религиозное творчество Достоевского занимает и Европу, и нас, цитируется светскими писателями и приводится в книгах своих монахами. Итак, положение науки и поэзии безукорно, высоко, уважительно, авторитетно; и вместе – свободно. Отчего бы не установиться между государством, материальным миром, и между церковью, духовным миром, тех же взаимно уважительных, благожелательных, но с обеих сторон абсолютно независимых, до полной автономности, отношений, какие существуют между государством и наукою или поэзией, вдохновенными областями?

Государство теперь ханжит, а духовенство нисходит до роли духовной полиции» (тезис К. А. Скальковского, не весьма далекий от истины).

Всем известно и никто не отрицает, что золотой век христианства – до союза его с государством, до Константина Великого, после которого оно моментально потеряло эфир, чистоту и силу. Вот когда оно было свободно, как вдохновение! И когда оно было свободно, как вдохновение, оно в два века покорило и переработало чудовищную цивилизацию, и целый мир стран и народов, в Азии, Африке, Европе!

Теперь оно не может справиться даже с туземными остатками язычества, с чувашами и мордвою. Из Китая его прогнали; магометане отгоняют от себя. Собственные верующие разбегаются по сектам. Положение христианства в мире сейчас до того грустное, как не бывало ни в какую эпоху от муки Христа. Просто, у христианства нет друзей, кроме официальных. Оно все похолодело. Оно громадно по протяжению, но нигде не шевелится, не дышит, не живет. Оно «господствующее». Но в то же время как истинно и искренно именно в наши дни сказалось это завидование «принадлежащих к господствующей вере» состоянию и положению гонимых и чужезерцев, их свободе, их жизни, одушевлению!

Вот в чем дело, и вот где нужда «реформы церкви», в каковой государство, конечно, не нуждается, как справедливо говорит г. Скальковский. Но цивилизованный мир, но все верующие, но целое общество в ней слишком нуждается. Государство решительно не вправе удерживать долее такое устройство и течение духовных дел, которое лишает верующих возможности сказать: «У нас есть церковь», «ее голос свят», «постановления ее праведны». Не может К. А. Скальковский оспорить, что дальнейшее продолжение той же «политики церковной» уже равняется косвенному отнятию веры верующих, колебанию религии в народе. Секты, раскол, – что это такое? Да просто –

неуверенность народа в самой вере, именно «колебание религии», идущее на этот раз не от нигилистов, но от системы государственного к церкви отношения. Церковь похолодела. Из холодного дома все бегут. «Где-то теплее?» – «В сектах»! Туда и бегут! Простые законы термодинамики. С другой стороны, духовенство, загнанное и запуганное, точно «обьюродивело». Как выйдут из духовенства люди его же сословия – являются первыми светилами науки, государственными сановниками, финансистами, законодателями. Но тот же Сперанский или Вышнеградский в митре, – они только бы говорили проповеди. «Пять томов проповедей, цена 10 руб.; продаются у Тузова». И ничего более. И проповеди эти у Сперанского, Вышнеградского и Добролюбова сливались бы до неразличимости в одно полотнище слов вялых, безжизненных, ненужных, с черным маком по строчкам. Черный мак – это курсивом тексты.

Вот отчего государство не вправе отказать в реформе верующим.

Государство наше много брало у церкви, напр. при Екатерине Великой церковные имущества. Но само оно из шкатулки своей церкви ничего не давало, кроме обещанного и еще не ассигнованного жалованья. Церковь у нас сама содержится; миряне сами кормят и одевают духовенство. «Союз церкви и государства» у нас – к материальному и к идеальному ущербу церкви, к страшному порабощению государством духовенства. «Реформа церкви», думается нам, ни в чем так счастливо не могла бы выразиться, как в полной автономии этих двух сковавших друг друга или скованных друг с другом узников – к счастью обоих и великому в будущем полету обоих. Пусть будет церковь свободна, как поэзия, как поэты; и государство пусть так же мало берет «советов» у Синода ли, у патриархов ли, как оно мало советуется о перемене системы ружей с Пушкиным или Филаретом. *Suum cuique** – когда разнородны стихии.

БЕЛОЕ ХРИСТИАНСТВО

Сегодня все в белых платьях. Даже старые возрастом женщины надевают платья светлых тонов. И ни на одной вы не встретите черного платья. Мужчины, которые не имеют перемен в цвете платья, и не могут через костюм выразить настроение души, – все же имеют под черным фраком или сюртуком открытый жилет, иногда даже белый жилет, и обширно выставленную белую грудь. Все к этому дню они купили белые галстухи. Это единственная цветная часть мужского костюма. И сегодня она белая.

Всегда бы так!

Но для этого нужно иметь всегда белое настроение души. Между тем настроение души нашей... серо или черно, и оно ужасно редко имеет силы или имеет повод перейти в светлое настроение, – перейти в него настолько, чтобы это отразилось желанием переменить костюм, сбросить черные одежды и схватиться за белые.

* Каждому свое (лат.).

– Отчего же, если основное настроение христианства есть светлое и если, по вашим словам, впрочем повторяющим только известное изречение апостола, «христианин должен всегда радоваться», – почему же основным религиозным цветом у вас избран черный и в него одевается весь верхний слой духовенства, монашество? Монах и Св. Пасха... Как это противоположно по сути, по колориту, по тону жизни и исповедуемому идеалу! Монах – это Страстная пятница. И как Страстная пятница всеми своими силами отрицает Св. Пасху или, точнее, устремилась против нее, чтобы ее поглотить, хотя на самом деле она была поглощена и побеждена Св. Пасхою, ибо Христос *воскрес*, так основным цветом христианства, конечно, должен быть белый, победный, антимонашеский цвет. Откуда же черный? Архиереи, да и вообще весь верхний слой духовенства, если Христос победил смерть, должны одеться в эти победные цвета, в этот цвет воскресения, в эту Св. Пасху, восторг которой перешел в порыв – сбросить черные одежды и надеть белые.

Так в одном обширном обществе, смешанном из светских и духовных лиц, один из светских обратил свой вопрос к духовным. Последние отвечали:

– На нас коричневые рясы, а вовсе не черные.

– Да, но вот белой ни на одном. А черная ряса вполне возможна и встречается и на священнике. Но ведь священники, так называемое «белое духовенство», и не занимает высшего иерархического положения. Оно слушается, повинуется, учит, – однако не своими словами и не по своему порыву. Повелевает и учит по собственному своему порыву только одно черное духовенство, эта «Страстная пятница» религии; и согласитесь, что нам, светским, есть слишком большое основание подумать, что в христианстве каким-то образом, через какие-то последующие замешательства судеб, именно Страстная пятница победила собою Пасху, взяла скипетр и венец у нее, и, словом, что-то такое так случилось, что Христос как будто и не воскресал. Я знаю и все учат этому, что Он воскрес. Но ведь «Христос воскрес» – это значит вечный оптимизм, оптимизм неслыханный, небывалый. Сегодня мы и переживаем этот оптимизм, и это прекрасно, до того прекрасно, что хочется сказать мгновению: «О, остановись! Не уходи!» В том и мука, однако, что Великий пост тянется гораздо долее Св. Пасхи. И ведь посмотрите великопостные службы. Музыкальностью своею и пластичностью, а главное продолжительностью, они заливают эту неделю белых цветов, торжественных звуков. Пессимизм решительно установлен как основное христианское настроение. И я не говорил бы всех слов моих, если бы в Евангелии не была дана именно победа, и невозможно было стремиться к полному перевороту всех основных наших настроений. Белое христианство вполне так же возможно, как черное! Вполне возможно и то, что или теперешняя иерархия облечется в белые одежды, или белое духовенство сменит собою все сплошь черное у кормила власти, и особенно у источника идеалов, песнопений, музыки и пластики церковной и, наконец, церковного быта. Ей-ей, это не так маловажно. Основное, постоянное настроение нации, которое не может не подчиниться господствующему в религии идеалу, есть источник всего склада быта, и, напр., даже внешних побед, даже, наконец, внутренней политики. На-

ция, зараженная пессимизмом... неужели, воображаете вы, она будет иметь такие же законы и администрацию, а наконец, так же вести войну, как нация, откуда-то черпнувшая, но полной грудью и всем народом – оптимизма? Знаете ли, верь мы в Св. Пасху более, чем в Страстную пятницу, и в Воскресение Христово более, чем в смерть Его на Голгофе, – мы бы побеждали, мы бы гнали японцев, как они теперь, ни белые, ни черные, а серые или пегие язычники «оттесняют» нас, «черных» (по настроению) христиан. Оптимизм великая сила. Величайшая в мире. Все идеалы можно разделить на победные и побежденные, т. е. все они или просто бессилie, может быть меланхолическое, может быть элегическое и вообще очень красивое, но во всяком случае и именно – только *бессилie*. Другие идеалы все от «воскресения». Это – сила, будущее! Все они черпнули из одного общего мирового колодца – оптимизма. Я хочу сказать или моей мысли можно подвести тот итог, что все мировые идеалы или суть дробь «умершего Бога» или «воскресшего Бога», Смерти или Воскресения, в последнем анализе – Страстной пятницы или Св. Пасхи. По неисследимому изгибу судеб, христиане, поклонившиеся формально воскресшему Богу и, следовательно, имевшие безгранично черпать из оптимизма, как бы сделавшиеся его собственниками, как бы получившие весь колодец мировой радости в сруб своего дома, своей хижины, – вдруг начали брать в символы себе, в одежду себе, в пищу себе, в настроение души своей черты и черты все из Страстной пятницы, из пессимизма, из Голгофы. Посты, серое или черное настроение души, уныние, запрещенный смех, полупреступная улыбка, улыбка ни в каком случае не священная, не религиозная – ведь вот черты годового нашего настроения! Позвольте, *священные слезы* есть! Все знают слезу, вытекшую из глаза самого святого нашего образа, Богоматери. Но кто-нибудь видел ли (я ни разу не видал) лицо Богоматери с улыбкою на иконе, – ну, напр., когда она верно улыбнулась, отыскав 12-летнего Сына Своего, вернувшегося, никому не сказав, в Иерусалим?! Словом, я хочу сказать ту простую и очевидную вещь, что если христианство есть религия оптимизма, имеющая главным мотивом своим веру в Воскресение Христово, то священная радость, *священные улыбки* также возможны и должны бы были появиться на иконах наших, как пока есть одни священные горести и священные слезы на иконах. Кто уловит мою мысль – должен понять, что христианский мир пережил всего только половину своих судеб, прошел путь Голгофы, смерти, отчаяния и меланхолии, музыкально, пластически, иконно и ритуально разработанной; и что он имеет пока лишь краткие и оборванные афоризмы необозримой будущей поэмы своей жизни, где все будет выражено: 1) в белых цветах, 2) мистических радостных напевах и такой же музыке, 3) в длинных, как теперь Великий пост, ритуально разработанных праздничных временах года. Пусть Пасха тянется семь недель, а Великий пост одну неделю – вот это и было бы или это и будет выражением, что христианство оптимистично.

И наконец, этот символ, этот основной символ всего христианства и знак, принимаемый на себя каждым христианином от крещения и до могилы... Отчего символу этому опять же идти от Голгофы, а не идти от Воскресенья?

Разве образок с изображением Христа, с Коего по выходе спали смертные покровы, в каких Его положили в гроб, будь он так же част и повсюду ежеминутно виден как крест, будь на каждом христианине ну хоть рядом с крестом или на лицевой стороне того знака, где на обратной стороне изображен крест, – разве это постоянством своего вида не повлияло бы на самое настроение наше, сделал его более надеющимся, радующимся, ожидающим? Отчего же с самого рождения перед взором христианина один и нераздельно образ смерти Бога, образ мук Бога, – перенесен в жизнь: образ «красящего идеала», «сокрушенного добра», образ печали по лучшему, по бывшему; печали, слез и муки?!

Отвратительно, ужасно, тревожно!

И вполне возможно противоположное! Вполне возможно, для этого есть все основания в Евангелии и в ныне празднуемом нами Воскресении Христовом – переменить все знаки в формуле христианства с одного их значения на обратный. Везде – это печальные *минусы*, печальные черточки; везде *вычитание* из нормы человеческого настроения, до «остатка» – печали христианской! «Перекрестим» эти черточки, обратим каждый минус в *плюс*; пусть Христос, пришедший на землю, не вычитает, а *прибавляет* к нормальному общечеловеческому настроению еще всего Себя; всю силу Божества своего, силу и мощь и радость! И мы получим совершенство, совершенно обратное всему, что сейчас чувствуем! Сегодняшний день как бы разольется на весь год. А если бы в 988 году к нам были принесены из Греции эти же «плюсы», а не одни монашеские «минусы», – разве такова была бы русская история?

Но одно дело пожелать, а другое исполнить. Читатель прочтет мою мысль и забудет. Уверен, в понедельник на Фоминой неделе он уже не сохранит ничего от сегодняшнего настроения. Опять будет серо или черно. Но если из тысячи читателей вовсе забудут мысль мою 999, не найдется ли одного, который догадается, что мысль, сейчас сказанная мною, есть тема целой цивилизации? Ведь оттого все и забудется *теперешними людьми* в моей мысли, что у каждого-то из них стоит в сердце Сграстная пятница; стоит она даже и сегодня, но только чуть-чуть задернутая ради приличия занавескою. Секрет радости, секрет оптимизма труден, пожалуй, труднее трагического. Огорчиться как нам легко! По малейшему поводу это делаем. А настоящим образом и основательно повеселеть – это гораздо труднее, для этого нужна не мелочь, а событие. И все же это временное, плод горькой нашей эпохи, горькой цивилизации. Если бы удалось повернуть душу на основное белое настроение, так же трудно было бы смутить нас печалью, а радовались бы мы по случаю «всякой мелочи»...

СНЯТИЕ «ВЕРОИСПОВЕДНЫХ НЕДОИМОК»

Великое «Ныне отпускаеши» произнес 17 апреля и народ русский в лице миллионов его простолюдинов, и сотни тысяч простолюдинов литовских, польских, латышских и всяческих других, а за спиною их и все русское образованное, книжное и пишущее общество. Боже, вспомнишь только, сколько мук поло-

жено за это! Сколько разбилось сердец об эту стену! Стена не подавалась, упорно, долго, и, казалось, нельзя было предугадать, под каким же наконец мотивом или по какой аргументации она поддастся. И вот она рухнула вся и разом 17 апреля. Даже фундамента не осталось. Снова голубой свод неба над верующею русскою душою; она видит звезды в синеве неба, видит за звездами Бога. Между тем как долгие десятилетия и века видела над собою вместо неба какие-то душевные канцелярии, сорное «делопроизводство» и торчащий оттуда указательный перст бездушного чиновника, грозящего, пугающего, да наконец, и мощного одним мановением отправить в ссылку, запретить храм, «запечатать» молитву, веру, все идеальное и небесное в человеке.

Что такое было у нас в области веры до 17 апреля – ум мрачится думать, да и на языке совместно формулировать. Стоял какой-то «график» вер, как стоят «графики поездов» на железнодорожных станциях. Душа, совесть, чистосердечие, а с ними и энтузиазм, пламя перестали быть неизбежными составными частями веры. Все народы в Европе с принятия христианства и до сего дня размышляли, искали, сомневались и «обращались» к истине: только одни русские илоты просто заносились в вероисповедные росписи. И уж куда какую душу «записали», – так эта душа до могилы и должна была стоять в такой-то «графе». Разумеется, движение душ все-таки происходило в области религии. Душа русская не мертва, да и существо религии несовместимо с мертвечиною. Но «счетчики душ» с этим не ведались, в области «религии» просто не обращалось никакого внимания на действительную веру души. Сколько бы живой человек, какой-нибудь федосеевец, ни говорил, что он «не православный», или литовец и белорус, ни кричал, что он католик или униат, – делалась простая справка, как были «записаны» его родители, часто 30–40 лет назад и под давлением специальных «временных мер», – и «по справке» этой писался «православным» человек, ни разу в православном храме не бывавший и, словом, вовсе не православный. Все текло «по документам» и ничего – по живому состоянию души. И вот вступал человек на службу, по документу «православный», в действительности никогда им не бывший. Начинались требования, чтобы он ходил на исповедь и к причащению в православный храм, крестил детей в православие, когда ни он, ни родители его никогда православными не были, а только родители или деды под влиянием застраживания какого-нибудь Собакевича 40–60-х годов дали почти немое согласие на занос их в «православные вероисповедные росписи», или даже и согласия не давали, а только в страхе промолчали на опрос, уже содержащий в себе и ответ: «Так мы вас запишем в православные? Не опротестовываете?» И илоты не «протестовали». Не забудем, что эти «воссоединения с православием» совершились еще в крепостную эпоху и что «души», так и этак «зарегистровываемые», были крестьянские, крепостные, были «холопские» души.

«Веры» никакой собственно не было, было «казенное состояние» в таком-то «графике вер». Не было «веры» как личного, своего, как внутреннего убеждения. Еще «вера» в России была в смысле суммы «дедовских» привычек, обычаев, суеверий, предрассудков, и золотых по истине, и чудовищных

по нелепости, все в куче, без разбора. Тут и старое язычество, и византийские, чисто их греков, национальные особенности, а Евангелия и небесных заветов Христовых – всего менее. Невозможно было понять, считают ли «настоящим Богом» русские мужики, даже и не очень глухого уезда, Николу Угодника или И. Христа. Имена «Ильи Пророка» и «Никола Угодника» многим и многим русским были единственно известными религиозными именами. Божию Матерь, считая по высокочтимым иконам, троили и четверили, называя (при вопросе) «сестрами» «Матушку Владимирскую Божию Матерь», «Матушку Казанскую Божию Матерь», «Матушку Иверскую Божию Матерь». Мы уверены, из опросов мы точно знаем, что, попади эти слова в глухую деревню, и сотни баб, мужиков и ребятишек подымут с недоумением голову: «А как же? Разве же не три их? Вестимо – три!» Некоторые праздники и храмы в честь праздников, приуроченные к частнейшим событиям византийской городской хроники, выступили совершенно в ряд и даже вперед перед храмами и праздниками евангельского содержания. «Храм Спасителя» мы сумеем сразу назвать только один: это в Москве, в память войны двенадцатого года. А храмы «Покрова Пресвятой Богородицы» есть в каждом губернском городе; «Козьмы и Дамиана» – тоже. Ни в котором из четырех Евангелий, т. е. во всем каноническом Евангелии, нет рассказа о введении Пресвятой Богородицы во храм. Между тем в одном Петербурге – и «Введенская церковь», и «Введенская улица», и даже «Введенская гимназия». Очевидно – это религиозный быт. А вот в «быт» не вошла ни Нагорная проповедь, ни притча о мытаре и фарисее, о сеятеле и зернах; решительно, «православие» сползло с евангельской первоосновы, с евангельского центра куда-то совершенно в сторону, куда-то к апокрифам и отчасти даже, если вспомнить «Параскеву-Пятницу», к небылицам, невероятностям и вымыслам. Все нравственные идеалы, принесенные на землю Христом, при этом сползании с первоосновы пропали для русского народа. Несчастный народ – Лазарь! Преступная вокруг его и над ним темнота! И нельзя похвалить наше духовенство, которое столько-то веков не сделало различимыми в каждой деревенской хижине «Христа» и «Параскевы-Пятницы». Только и стало, что о «недостатке казенного жалованья». Как бы им «жалованье», – то выучило бы различать Николу от Христа. Только бы едва ли и тогда выучило.

Душа безучастна была в вере. И веры иначе как «формы» и «формальности» в верхних слоях и иначе как суеверий и предрассудков в народных низинах – не было.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ «ПЕРЕМЕЩЕНИЯ» В ДУХОВНОМ ВЕДОМСТВЕ

Независимость какой-либо области, хоть некоторая свобода или по крайней мере не рабство определенной корпорации людей определяется тем, что люди эти, держась того или иного мнения, не несут за это никакой кары, не подвергаются преследованию явному или тайному, прямому или особенному за высказанный взгляд или то или иное направление деятельности, согласован-

ное с личным разумом и совестью. Группа духовенства, сперва в лице священников и затем высшей иерархии, преимущественно петербургской, высказавшаяся за возвращение церкви к древнеканоническому строю, во всяком случае, действовала именно в духе церковных традиций и, может быть, только не в духе могущественных чиновничьих влияний. Так на войне поступил бы каждый солдат и генерал; так, кроме робких, поступил бы каждый священник. Восстановление в церкви «соборности» на месте чиновничьей коллегиальности, восстановление прихода, возможное восстановление патриаршества – это такие аксиомы богословской науки, тысячу раз пережеванные на страницах решительно всех богословских журналов, в которых давно никто не спорит. Если это не двигалось практически, то только «по независящим обстоятельствам», под которыми в России подразумевается простое чиновническое непозволение. Но по долгу священнической службы, по долгу иерархической службы, перед Евангелием и крестом, всякий священник и каждый епископ должен был полагать все усилия, чтобы способствовать словом и делом восстановлению в религиозной жизни России если не непременно московских, то, например, киевских или греческих форм жизни и управления на место всего 200 лет существовавших петербургских форм. Таким образом, при самом строгом анализе нельзя найти ничего порицаемого в инициативе церковной реформы, принятой на себя группой петербургских священников и затем взятой под свое покровительство высшею петербургскою иерархией. Реформа отложена. Но ведь мысль ее признана истинною, справедливою, основательною с высоты Престола в резолюции, положенной Государем на докладной записке, представленной от лица Св. Синода. Отложена, в памятных словах Государя, не по ложности мыслей реформы, а за трудностью и тревожностью современного положения России, мешающего спокойно и глубоко провести реформу.

Во всяком случае, конечно, кроме общественной благодарности и некоторой исторической чести, инициатива этих добрых пастырей и иерархов ничего за собою не должна повлечь. Мы поэтому не придали в свое время никакого значения появившемуся недели две назад известию в газетах о предположении «перемещения высокопреосвященного митрополита Антония из Петербурга на другую кафедру». Каждому понятно значение «перемещения» из столицы империи уже очевидно не в столицу же, а в губернский город, «с оттенком» исторических воспоминаний, а из первоприсутствующих Св. Синода, каковая должность неотъемлемо соединена с кафедрою в метрополии, в «члены» Св. Синода и, может быть, даже без нарочитого вызова в Петербург. Труднее из Петербурга «вывезти», а уж не позвать в Петербург совсем легко. Вспомним митрополита Филарета, не «вызывавшегося» в Петербург из Москвы почти во все время обер-прокураторы враждебного к нему Протасова, которому он «возражал»... Нам казалось, что времена 40-х годов XIX века вовсе не то, что наши времена, и, повторяем, такому слуху – известно, мы не хотели верить, пока и до нас не дошли известия более мрачного характера, фактическая сторона которых передана в «Слове» от 24 апреля (см. «Среди газет»).

Заговорили последние месяцы о приходе; о том, что прихожане храма вправе иметь «излюбленного батюшку» и жители города вправе пожелать себе чтимого, «уважаемого архипастыря»... нужно подумать гг. чиновникам и о жителях нашего Петербурга.

Кончим евангельским словом: «поражу пастыря, и рассеются овцы». Очевидно, дело идет вовсе не об одном митрополите Антонии, или о нем пока «в первую очередь». Если его «перемещение» еще возбуждает внимание и толки, то разные «перемещения» вспясть до полного «аннулирования», т. е. «приравнения к нулю», таких друзей реформы, как еписк. нарвский Антонин, как свящ. П. А. Рождественский или же 32 священника (мы слышали, что число их теперь возросло до 80), которые сделали первый шаг во всем этом деле, – разные «удаления», «перемещения» и, наконец, вовсе смещения их не возбудят никакого общественного внимания и пройдут бюрократически «гладко». Но, к счастью, общество считает очень серьезною заслугою и первый голос этих 32-х священников, и взгляды в комиссии по выработке нового «Устава о печати», высказанные еп. Антонином и П. А. Рождественским, и, наконец, вообще все движение в сторону реформы, взятое под покровительство свое высокопреосвященным митрополитом Антонием в согласии со всеми остальными членами Синода. Общество не склонно забывать исторических заслуг, как и имеет память об общественно-исторических «дефектах». Его внимание пробудится. Оно будет ждать «ожидаемых перемещений». И вещее сердце говорит нам, что этих «перемещений» не произойдет...

ОКОНЧЕННАЯ «ТРИЛОГИЯ» г. МЕРЕЖКОВСКОГО

«Петр». Роман Д. Мережковского.
Издание М. В. Пирожкова. 1905 г.

Закончена и только что появилась отдельною книгою последняя часть эпической трилогии г. Мережковского «Христос и Антихрист». Первая часть этой трилогии называлась «Смерть богов. Юлиан Отступник» и появилась лет десять назад; вторая – «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» – появилась четыре года назад; и третья, печатавшаяся два последние года в «Новом Пути» и в «Вопросах Жизни», имеет название: «Антихрист. Петр и Алексей». Как известно, в основу всех трех частей положено автором тщательное изучение каждой из избранных исторических эпох. «Романы» эти вообще суть продукты столько же учености и размышления, сколько художественного воображения; точнее, они представляют собою попытку исторически иллюстрировать некоторую религиозно-философскую идею. Если бы мы имели в них вдохновенный сплав этих трех богатств, учености, философии и художества, мы имели бы, вероятно, в трилогии великое или во всяком случае очень замечательное произведение. Но дары автора работают далеко не «сплавленно». В душе

его нет того огня, который бы все соединил и преобразил. Документальная, ученая сторона остается сама собою; размышления идут сами собою, сказываясь «навязыванием» историческим лицам и историческим событиям тенденций или смысла, который едва ли они имели; а художественное воображение... оно скорее тепло, чем пламенно, и, через силу ворочая неуклюжую руду разнородных материалов, едва сплавляет их краешками, а не дает единого и сложного металла. Лично мы считаем г. Мережковского гораздо более замечательным человеком, нежели замечательным писателем. Темы его, часто важные и истинные, выше его сил, и даже выше его умения хорошо их поставить и пламенно осветить. Невозможно не заметить, до чего он согбен, утружден этими темами; так и хочется сказать ему: «Отдохни, если не хочешь умереть». Некоторые его тезисы, формулы, как «историческое христианство», как «позитивная церковь», – впервые им введены в общественное сознание и литературный язык и, кажется, привились и укрепились. Это большая заслуга. Он первый показал, что «грядущий», «апокалиптический Христос», обещанный и указанный ап. Иоанном в Апокалипсисе, есть столь же реальная историческая сила, есть такой же центр всемирно-исторического притяжения, как и Христос уже пришедший, о котором рассказывается в трех синоптических Евангелиях; и что раз существуют два центра притяжения, то и явления и силы исторические, так сказать, поляризуются, разделяются и противопоставляются в направлении этих двух полюсов. В трех исторических церквях Европы, православии, католичестве и протестантстве, есть тяготение только к «пришедшему» Христу Евангелий Матфея, Луки и Марка, с преимущественным выражением в каждой из них особенностей каждого из этих Евангелий. Но именно в наше время, и вообще чем позднее, тем сильнее и обозначеннее, сказывается тяготение ко «второму Христу», Христу Апокалипсиса. Конечно, чем ближе к новому центру, тем «признаков» больше; больше чувства нового Солнца. Появляются, как перед Колумбом в плавании к Америке, новые птицы, новые травы, новые породы деревьев на островках, – в зависимости от «не открытого» еще «сущего» материка. Мы берем иллюстрацию, и читатель легко перенесет ее на мысль Мережковского. Конечно, о «грядущем Христе» учит и церковь, учат православные и католики; но так, как они учат о «сеятеле и зернах» и вообще о всякой евангельской истине. Учат фактически «о надежде» – и в учении этом нет надежды. Нет в официальном учении, в языке учащихся в поведении учащихся, «знамений» второго пришествия.

Тяготению к трем синоптическим Евангелиям, к Иисусу из Назарета, распятому при Понтийском Пилате, и к строительству религиозному, как оно выразилось главным образом в работе вселенских соборов и в построении трех церквей – православной, католической и лютеранской, – г. Мережковский и усваивает наименование «исторического христианства», совершенно отвергая, чтобы оно исчерпывало и оканчивало «дело Христово» на земле, чтобы оно замыкало круг христианства. Теперешнюю его фазу, успокоенную и фактическую, он называет «позитивную». Термин этот очень важен. Читатель из предыдущих строк моих мог видеть, что я далек от намерений преуве-

личивать дары г. Мережковского, но решительно нельзя отвергнуть, что некоторые его исторические и философские сближения и некоторые формулы имеют налет гениальности. В самом деле, кому могло прийти на ум сблизить и даже отождествить чужающуюся всего чудесного, всяческой метафизики, вполне атеистическую «позитивную философию» Огюста Конта с теперешним *status quo* христианства, где все же много и чудесного, есть полная вера в Бога, много благочестия и праведности, подвигов и заслуг. Г. Мережковский, однако, тонко заметил, что не в этих заслугах, подвигах, вере и даже чудесах дело. Конечно не может же религия походить на арифметику или инженерное искусство. «Религия» – это значит и «чудеса», и «вера», как строительное искусство – это значит и колонны, и своды, и арки. Не в этом дело. Но в религии все мы верующие, весь верующий христианский мир стоит перед «стеною» (термин Мережковского) таких истин и так сложных, что уже ничто здесь не шевелится, не растет, ничто не вдохновлено, не пророчествует, не ожидает, не мечтает. Из позитивной философии Конта и из теперешней фазы христианства равно убрано, и на все века убрано, все мечтательное, фантастическое, всякая вера, «ожидание перемен», и особенно всякая тревога сердца и смущение ума. Конт и догматики равно «запрещают сомневаться» и указывают «верить», один – арифметике, другой – «сущим истинам», ну, напр., изложенным в каждом катехизисе. Обоих соединяет то, что они поклонились «сущему». «Грядущего»-то «Христа» и нет в обоих. Нет вообще зари, роста и необъятного будущего; позволим написать с большой буквы, как догмат и веру, – *Будущего*. Это и есть действительно «позитивизм», философский и религиозный. То же «блаженство душ» в обоих мировоззрениях; полный квиетизм, доходящий до мещанства: «буржуа» в рясах около «буржуа» в пиджаках. Сближение это очень важно. И едва оно сделано, а мы догадались, что это – действительно так, как сердце наше в значительной степени холодеет в отношении всего «позитивного христианства», как некоторые решительно не выносят и «позитивной философии». Тут разность психологий, темпераментов, что гораздо важнее разницы в построении «истин», в конструкции тезисов. Г. Мережковский, насколько мне известно, не борется и не возражает решительно ни против одного догмата и ни против какой «истины» сущих христианских церквей; но нельзя не заметить, что совокупностью работ своих он сделал их все внешними для нас, неродными, далекими, неинтересными, *психологически* ненужными. И вот эта его целостная работа, а не какие-нибудь отдельные строки его и утверждения, и заставляет несколько беспокоиться «сущих во ограде церковной» и спрашивать себя: «Уж не еретик ли пришел?» Но куска ереси в каком-нибудь куске его книг нельзя отыскать. Тут он силен именно тем, что вышел из «позитивизма» и стал для его крючьев, для его досок неуволвим, незапираем, даже необвиняем. «Сущие во ограде церковной» могут только, убедившись, что у него нет «куска ереси», говорить, что самый этот человек есть тем не менее еретик, «ибо он разлюбил нас, как братьев, и разлюбил все наше, всю нашу церковь, и куда-то идет, и куда-то зовет, а куда – мы не знаем».

Это и есть притяжение к «грядущему Христу». В этом отношении г. Мережковский не без предтеч. Нельзя, напр., не заметить, что и Влад. Соловьёв со своей «Повестью об Антихристе» уже значительно вышел из «позитивного христианства», а в одном прелестнейшем стихотворении: «В тумане утреннем неверными шагами» – он, пожалуй, сливается со всеми тревогами Мережковского, но только он далеко стоит ниже и позади него совершенную нерасчлененностью как *мотивов* своего выхода, – и притом выхода только *на минуту*, из «позитивного христианства», так и нерасчлененностью самого *предмета* или *цели* движения. Где Соловьёв шепчет, Мережковский уже говорит, хотя и его «говор» все еще ужасающе сбивчив, туманен и, да простит мне автор, – похож на холодную, головную истерику.

* * *

Признаемся, вся его «Трилогия» для нас далека от ясности, в чем, впрочем, мы обвиняем столько же себя, сколько и его. Он во всяком случае не сумел сделать сразу же ясную, кристаллическую мысль свою. Вообще и мышление, и образы г. Мережковского страдают постоянным пороком сбивчивости, многословия и тавтологий. Но нельзя все-таки не сказать, что «нечто» остается на месте всего этого многословия и туманов. Читая его труды, все же понимаешь главные контуры его движения, главные его волевые центры; и решительно нельзя, закрыв все тома его сочинений, сохранить прежней «кровной» связи, ну, хоть со вчерашним и сегодняшним религиозным «позитивизмом». Известно, что в то время, как на Западе книги его очень читаются немцами, французами, итальянцами, англичанами, – у нас они читаются гораздо менее и производят менее впечатления. Тем не менее в историю собственно русского религиозного самосознания, развития русских общественных религиозных верований, он вошел крупною величиною, и его отсюда никак не вытолкнешь и не обойдешь здесь молчанием. Если Хомяков и Влад. Соловьёв (кроме «Трех разговоров», содержащих и «Повесть об Антихристе») сделали очень много то нельзя не заметить, что они только очищали плесень со старых камней, но новых камней не клали. У всех у них была роль собственно «реформационная», «клюдеранская» в том смысле, что они хотели: 1) поновить, 2) улучшить, 3) очистить и 4) оживить, но оживить и очистить именно те камни, которые лежат тысячу лет, без всякой мысли и даже без всякого желания положить новый камень. Точнее, – с глубоким отвращением к такой новой кладке. Все они были «позитивистами», – этого термина Мережковского не обойдешь. Между тем Мережковский кладет существенно новые камни. Здесь, конечно, невозможно излагать его теорий, но указать на кое-что новое возможно. Например, два его последние романа, «Леонардо да-Винчи» и «Петр», оба открываются главами: «Белая дьяволица» и «Петербургская Венера». В отношении исторического материала, излагаемого в обоих романах, мы обе эти главы считаем неудачными, нехудожественными. Но видна мысль автора там и здесь вдвинуть один и тот же камень, для всего христианского мирозозерцания – разумеется, новый. Поясню иллюстрацией. Покойного художника Све-

домского, встретившись с ним в Риме, я спросил однажды: «Что же, вам позволили расписывать стены и потолок киевского собора картинами из Апокалипсиса?» Он рассмеялся: «Разумеется, – нет. Попробовали было, но вышло такое соблазнительное зрелище, что все опять замазали и затерли». В дальнейшем разговоре он рассказал, что попробовали изобразить «суд над блудницей», – но ее «блудные» формы показались совершенно невозможными внутри православной церкви.

Между тем, кроме этой порицаемой в Апокалипсисе «убежавшей в пустыню (уж не аскетизм ли?) блудницы» есть другая, высокопрославленная и, пожалуй, в фигуре еще более соблазнительная: это – «Жена, облеченная в Солнце, имеющая вокруг головы двенадцать звезд и кричащая в муках рождения». Всегда казалось мне это противоположением «пустынножителю блуду», исполненному тайных пороков, весьма описанных в «житиях», и прославлением лесного, полевого и городского, нормального и естественного рождения. По крайней мере так написано в Апокалипсисе, и я не смею приставлять сюда «поправляющих» и «смягчающих» комментарий. О «жене» не сказано решительно ничего другого, кроме того, что «она рождает и кричит». В главном храме католичества, Св. Петра в Риме, в литом из бронзы алтаре над усыпальницей ап. Петра, – и сделано прямо и буквально, но непереносимости для зрения, изображение самого акта родов, работы знаменитого ваятеля, имя которого я сейчас забыл. Во всяком случае там в храме это возможно. Но возможно стало постепенно оттого, что там уже века храмы наполнялись статуями и обнаженного св. Себастиана, и кормящей грудью Младенца Мадонны. Ведь есть целое, а есть и его части. В алтаре, над усыпальницей св. Петра, представлена даже не полная женщина, а только именно самый акт родов, – и вот когда это сделано, физиологично и безлично, то какое «имя» подписать под изображением? Имя не началось, а человек начался, и католики говорят: «Это – жена апокалиптическая», а знатоки истории говорят: «Нет, это – любовница папы, такая-то, и изображена была по злобе к папе таким-то художником» (я слышал в Риме же полный рассказ), то почему Мережковскому не поправить их всех: «Полноте, это – *вечное!* Это – у *всех, всегда!* это – белая дьяволица, как назвали испуганные флорентинцы XV века откопанную из земли статую греческой Афродиты, или Венера Таврическая, привезенная из Италии Петру Великому и ныне находящаяся в Эрмитаже. Но и Венера, и Афродита, и рождающая жена – меняющиеся паспорта, даваемые одному и тому же существу, которое живет в каждом доме, есть в каждом человеке; и уже по самой вечности мы можем видеть в этом искру Божию в нас, частицу в нас Божества. Разбойник покался – и это считают «искрой Божией» в нем. Кречинский заплакал – тоже «искра Божия». Позвольте опаматоваться и взять разум в руки. Вот девушка, ей 15 лет, ничего она не напакостила, не украла, не обманула никого, ни на кого еще не успела рассердиться, ибо она юна сама и юным ей представляется мир. Я сдергиваю с нее покрывало и об этом прекрасном, застыдившемся теле говорю: «Вот *настоящая* искра Божия, в то же время – *божск* древности, в то время называвшийся Венерою и Афродитою,

а для меня просто Таня, и не понимаю, отчего монахи зажимают перед нею глаза? Ведь на кающегося разбойника смотрят, отчего же на нее не посмотреть, во всяком случае более невинную, чем разбойник, проливший слезу после того, как зарезал ребенка».

Такова новая мысль Мережковского.

Я соглашаюсь, что в ней есть соблазн, ибо ею «издираются книги в старых кожаных переплетках»; но от основательности и простоты этой мысли решительно нечем защититься. Он решительно и твердо, в этом пункте не колеблясь и не сбываясь, вводит как мужскую силу, так и женскую обаятельность в религиозную сферу, даже конкретнее – вталкивает их в самое христианство. И так как этого решительно не принимает «историческое христианство», «позитивисты» веры, то он и говорит, что это «грядущее», апокалиптическое христианство, т. е. одна из дробей его. И ведь действительно, например, того, что написала рука Иоанна Богослова, не решились кистью изобразить во Владимирском соборе. Кто же лучше понимает христианство, киевские ли живописцы или Иоанн Богослов? Мережковский и говорит: «Иоанн Богослов». Тут с ним решительно невозможно спорить. Иеромонах Михаил, на памятной лекции в Соляном городке, пытался возражать против него, но ничего понятного, связанного и доказательного не мог произнести. Как «эстет» самых плохих веков, иеромонах Михаил только возражал бранью: «Это – некрасиво», «Мережковский учит вас безобразию, гадкому». Увы, и женщина в родах не эстетична. Монаху и незачем об этом говорить. Никто не просит. Но монах и даже все монашество отлетает, как пушинка, в сторону перед очевидными словами Библии: «Пусть все рождают» – и перед заключительными словами последней евангельской книги, что вот «жена кричала в муках рождения; вокруг ее – солнце, около головы ее – диадема из 12 звезд». С написанным ничего не поделаешь. И все монашество, ввиду очевидных слов, приходится объявить, говоря словом Экклезиаста, «суетою и томлением духа».

Но ведь оно явилось как веяние, как поэзия, как голос сердца и идеал? Формы в нем – ничто, важен дух. Важен он один и везде. И как две тысячи лет, под тяготением к «пришедшему Христу» он выразился в идеалах аскетизма и напослоек в формах, в уставах монашества, так под тяготением к «грядущему Христу» он выразился уже у Иоанна Богослова в совершенно противоположных образах – и «Древа Жизни, приносящего плоды двенадцать раз в год», и вот «рождающей жены», а потом, все развиваясь, может получить себе тоже соответствующие «формы» и «уставы». В философии Мережковского оставлено в тени и без разрешения множество вопросов, откуда происходит часть сбивчивости его и неясности. Он, между прочим, никогда прямо и отчетливо не ответил: что же, было ли монашество совершенно случайным и непредвиденным явлением, развившимся вне всякой связи с лицом и с тоном учения Христа? Позволительно напомнить ему, что Христос ни разу и никому не улыбнулся. В страницах Евангелия вообще нет «шума городского» и грязи наших бедных, увы, вечно сорных улиц. Житейского сора и грязи нет там. Но ведь этот сор и грязь есть только след жизни, остаток жизни, признак

живущих. «Матушки натуры» и реализма нет в Евангелии, действительно нет, и это гораздо важнее и грознее, чем если бы там были посты, молитвы и самоистязания. Евангелие а-натуралистично, а-реалистично. Откуда и все попытки папы завязать, напр., связь с «экономическим движением», – конечно, риторичны, или софистичны, или заключают измену христианству (что едва ли), или обман рабочих (что вероятнее). «Улицы и улицы» нет в Евангелии: кто же будет с этим спорить?! А когда «улицы» нет – нет и ничего, что есть на улице, наших домов, наших – увы – вечно милых домов, вонючих пеленок ребятишек, да и их самих, вечно «марающихся»... Ну, как взять человека «без вони»? Уже так создан Моисей – тот и взял человека «со всем», прочитайте-ка правила гигиены, обязательно соблюдаемые, когда «народ Божий» становится лагерем. Замечательно, что в Апокалипсисе «святые перед Престолом Небесным» опять поют «песнь раба Божия, Моисея», и вообще там проходит какое-то трогательное возвращение к старой Библии. Но особенная и глубоко новая черта Евангелия заключается в том, что оно не только вообще все не улыбается, улыбающегося лица нет ни одного на его страницах, – но оно действительно берет человека строгими пальцами и тщательно очистив от нечистоты, грязи, вони. Это ничего, что там «Лазарь в ранах» и «разбойник» все-таки раньше разбойничал. Это – иллюстрации для объяснения нравственных истин, а не *само по себе*. Быта там, «нравов» и нравоописания – вовсе нет. Сарра «смеялась» в присутствии Божиим. В Евангелии этого и представить нельзя. Все люди взяты в отвлеченной чистоте, в моральном училище; все они – ученики. Именно ученики, а не люди! Ну, скажите, как вы учеников гимназии пожените, хотя бы они уже и брили усы и бороду? Невозможно! «Невозможно и нам жениться», – говорят монахи, чувствуя что-то непроходимое между серьезным бытовым делом женитьбы и «ученичеством Христу». Нужно выйти из «училища Христа»: а тогда – пожалуйста женитесь. Мережковский скажет, что некоторые ученики Христа были женаты (Петр и Иаков). Правда. Но ведь это *связи* никакой с Евангелием не имело. Из них один, положим, был рыж, а другой черноволос. Об этом не упомянуто, но и о женатости их упомянуто вне всяких тем Евангелия, до того мельком, что могло бы, очевидно, вовсе быть не упомянуто. И как из «рыжести» или «черноволосости» учеников Христовых нельзя получить никакого вывода, так и из «семейности» некоторых апостолов решительно нельзя ничего получить, ибо это только упомянуто все. А темы Евангелия – совсем другие.

Монахи и пошли к этим до очевидности другим темам. Единственная книга, где нет «улицы», – Евангелие. У Гомера – есть, у Магомета – чрезмерно есть, даже у Будды есть, – ну, хоть запах лесов, куда он удалился. Вокруг Христа – ни запахов, ни вкусов. Ни сладкого, ни горького. За это и нарекают его «бесплотным», не определяя, в чем дело; а дело заключается в той страшной и никогда не слыханной новизне, по которой и началась новая «эра»: что был Некто, о Ком написано четыре книги, где уже более цветы не цветут, воды не плещутся, мужчины не любят жены, жены не красуются перед мужчинами, никто не заплетает косы, никто не распускает кос, и, сло-

вом, живут «как ангелы на небесах», без гомеровской или индусской или русской «грязи» и «вони». В последних-то и дело, и оттого, что это так важно, я и написал резкие, подобные слова. Христос поднялся. А «грязный» и «вонючий» мир, увы – неотделимо грязный и неотделимо вонючий, ибо он *живет*, и начал тонуть, опускаться; пожалуй, опускаться еще в худшую грязь, ибо и в Индии, и у греков жизнь во всяком случае была чистоплотнее и гигиеничнее нашей, и сами они были физиологически и здоровее и свежее нас. Мир заболел, покрылся утроенною проказою (посмотрите-ка на наши улицы! «хулиганы»), но зато поверх его и над ним поднялся (я беру идеал) «строгий монастырь». Где отличительная черта, важнейшая всяческих уставов, – строгость и строгость, изощренная «незамаранность». Именно как «ученики», «класс» и «институтки»... Правильность и порядок. Ну, и красота, и торжество...

Спор здесь только заостряется и, пожалуй, становится опаснее. Мережковский склонен говорить (он прямо не говорит), что монашество – совершенно вне Христа и Евангелия, чужеродный на них нарост. Но тогда непонятно, зачем же явился Апокалипсис? Христос «пришедший» прямо сливался бы тогда с «грядущим». И в учении церковном не договорено, и у Мережковского совсем не ясно, какая же между ними разница? Церковь говорит только, что «грядущий» Христос «придет во славе». Это сходно с тем, как евреи тоже ожидали и ожидают Мессию «в славе», «сильным царем». Конечно, «древо жизни» и «жена в солнце и звездах» – некоторая видимая слава, спутники славы и могущества. Спор становится гораздо опаснее, если согласиться, что монашество лично связано, персонально соединено с Христом, верно Его заветам, постигло Его дух. Опасен этот поворот «философии Мережковского» потому, что тогда «улица», очевидно не могущая же превратиться в «пансион благонравных, никогда не женящихся учеников» или в спальню никогда не марающихся «купидонов», вместо реальных детей, – фатально выйдет из связи уже не только с «историческим христианством», с «позитивизмом» веры, но довольно явно отделится и вообще от «основавшего монашество» Христа и станет ожидать «грядущего Христа» скорее как какого-то «противо-Хриса». Недаром в то время, как сам Мережковский говорит (и вполне верит) о «Христе», о нем другие говорят, будто он проповедует «Анти-Христа». Конечно, он этого не проповедует, и все дело гораздо чище и честнее. По «личным впечатлениям» я знаю, что дело это даже безусловно чисто, искренно, правдиво, беззлобно, исполнено благонамерений, даже до тошноты, до «буржуазности». Но скверно и опасно повернулась вся «философия», совершенно вне воли «партнеров». Она повернулась как-то или к отрицанию «исторического» и «позитивного» христианства, или даже и более... к религиозному сомнению касательно вообще всей христианской эры. Т. е. в смысле, – нужно ли было начинать эру? Вот, например, Мережковский написал трилогию «Христос и Антихрист». Кончил ее. Все слава Богу. Но где же у него, однако, «Антихрист»? Христос и – «пришел», и «грядущий». Но ведь церковь, на этот раз последняя Апокалипсису, и действительно сам Апокалипсис учат и открывают

«Антихриста» не только в смысле духа века сего, ну, напр., государственных и церковных реформ Петра, – но лично, персонально; говорят о нем как о фигуре, времени и сроке. Христа мы видим, даже в удвоенном освещении, как «пришедшего» и как «грядущего». А где же Антихрист? Совершенно его Мережковский выпустил из своей религиозной концепции, серьезно и чисто-сердечно выпустил, чем и дал повод говорить, по крайней мере монахам: «Нет, уж если кто придет с белыми дьяволицами и возрожденными Афродитами и Венерами, со всеми этими милыми Танями, пусть и невинными, но чрезвычайно соблазнительными, особенно для нас, монашествующих, последующих пришедшему Христу, – соблазнительными, то мы, люди строгого благовестия, назовем его никак не Грядущим Христом, а именно и специально Антихристом. И помним заветы ап. Павла, чистого девственника и даже положившего настоящий фундамент девства и монашества: если бы ангел стал вам говорить иное – анафема. Не поверили бы ангелу. А как поверить Мережковскому? Анафема!»

Повторяю, что дело от этого, т. е. от такого ответа, и твердого ответа аскетов, становится только окончательно скверно. И именно – скверно и даже гибельно до ответивших. Они «победили», удержав «status quo» христианства. Позитивизм, догматики – все цело. Все цело, не шевелится, не движется, не растет. «Ересей» нет и не показывается. Но «монастырь» остается один, совершенно один, можно сказать, «возвращается к идеалу своему», и – вокруг него необозримая и бесконечная пустыня, *безлюдие*. «Пансион» немногих, и окрест – ничего. А весь мир, «улица» уплыла куда-то, «экономисты» говорят – к безбожию, а Мережковский – к «Грядущему Христу», которого я, грешный, тоже никак не умею отличить от «Анти-Христа». Тут все запутано. Мережковский ничего не договаривает, и совершенно чисто-сердечно. Доля запутанности, бесспорно, лежит на его сочинениях, это все признают, Мережковский не сумеет этого опровергнуть. Но осталось «нечто» на месте толчеи. Совершенно серьезно и торжественно серьезно остается эта философия, по которой действительно мы находимся между какими-то двумя тяготениями, страшно сильным позади и столь же сильным впереди; что с каждой минутой мы переходим ближе к этому «впереди» и входим в сферу его новых феноменов, сил, понятий. Помните, как у Жюль Верна люди, которыми (в ядре) выстрелили в луну, потеряли связь с землею и вдруг ощутили новое тяготение к луне. Конечно, и в истории бывает подобное же. Эпохи, культуры и падают оттого, что «обнаруживаются новые тяготения», а не от того одного, что старый механизм умирающей культуры расхлябался. В этом отношении, как ни толчется в словах Мережковский, сколько он ни страдает «холодной истеричностью», нельзя не сказать, что горячо то место, на котором он стоит; что «дым и пламень» исходят из земли, которую он сам и своими усилиями и разумением отыскал. «Пожалуй, не слушайте кричащего: но обратите же внимание на место, где он стоит», – хочется сказать многочисленным его читателям и критикам, если из них многие или подняли камни, или затыкают уши.

Н. Л. КЛАДО (ПРИБОЙ).
СОВРЕМЕННАЯ МОРСКАЯ ВОЙНА. –
МОРСКИЕ ЗАМЕТКИ
О РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ

Под ред. А. Н. Щеглова. С 116 рисунками в тексте,
67 чертежами и 2 картами. СПб. 1905. Стр. 484 + 38.

Уже пятнадцать месяцев длится кровопролитная война на Дальнем Востоке, и внимание русского общества особенно обостряется в те моменты ее, когда на арену роковой борьбы выступает флот, когда дело касается вопроса о господстве на море. Бой «Варяга» и «Корейца», морские сражения под Порт-Артуром, набеги владивостокских крейсеров, осенняя агония и гибель порт-артурской эскадры... Сколько сердец и как мучительно переболело на этих фазах русско-японской войны, в которой так рельефно выяснилась решающая роль флота. И вот теперь приближается к Японии, может быть, великий мститель за своего погибшего собрата – балтийская эскадра, приковавшая к себе взоры всего мира.

И как кстати вышла в свет в эти дни интересная, посвященная морской войне, книга нашего талантливого писателя по военно-морскому делу, Н. Л. Кладо, – книга, столь отвечающая общему настроению! С началом нынешней войны появилась на столбцах так называемой общей прессы масса специальных военно-морских терминов и понятий, в которых неподготовленной публике пришлось серьезно разбираться для уяснения хода военных действий. При таких условиях популяризация специальных знаний военного и мореходного искусства стала настоятельно необходимою, и газеты охотно давали место на своих листках соответствующим разъяснениям специалистов. В этой области публицистики пальма первенства, по справедливости, принадлежит популяризаторской деятельности Н. Л. Кладо, очерки которого, отличающиеся живостью и ясностью изложения, основательно знакомили читателя с сутью и деталями дела. Эти «морские заметки» Прибоя вместе с известным циклом, можно сказать, исторических статей «После ухода второй эскадры Тихого Океана» напечатаны во второй половине изданной на днях книги Н. Л. Кладо: «Современная морская война». В настоящую пору боевой грозы книга Н. Л. Кладо положительно должна явиться настольною, давая справки по различным отраслям военного мореходства и представляя собою в высшей степени умелую, ясную популяризацию специальных знаний по данному предмету. Описание вооружения военных судов, «наступательных и оборонительных средств корабля» (тарана, мин, артиллерии и брони), описание типов военных судов, организация эскадры и корабля, бой на море одиночный и эскадренный, вообще военные действия флота, – все это проходит перед читателем интересною панорамною, в освещении фактическими примерами; затем рассматривается детальное значение морской силы. Вторая половина книги заключает в себе приложения к основному труду: здесь говорится о десанте и перевозке войск морем, приведено много статей из Морского

Устава и помещены вышеупомянутые очерки и статьи Н. Л. Кладо, печатавшиеся в прошлом году в «Новом Времени». Книга заключается конспектами, таблицами и библиографическим указателем сочинений, полезных для ближайшего ознакомления с различными отраслями военно-морского искусства. Текст книги иллюстрирован многочисленными рисунками и чертежами, значительно уясняющими изложение иногда сложного предмета. Столь необходимая в наше время, при всеобщем интересе к флоту, книга, надеемся, не заставит себя долго ждать новым изданием, в котором хотелось бы видеть устраненным один промах, столь досадный в такой богатой содержанием книге: именно отсутствие оглавления или краткого предметного указателя к тексту.

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ ВЕРОТЕРПИМОСТИ

Всякий вид мягкости сближает, всякий вид жестокости разъединяет: вот основной принцип, при свете которого мы должны рассматривать и вековую историю нашего раскола, и вероятные последствия дарованной веротерпимости. Мы, несомненно, должны ожидать примирительных движений с церковью со стороны старообрядцев. Доселе они жили нервной болью в точке разделения. Все было исполнено жалобы, горечи, упреков, связанных с незаживающей раной. Но когда она затянулась, боль отошла или скоро отойдет, выздоровевший, очевидно, спросит себя: «Что же я буду делать далее? Чем жить? Как жить?» Успокоенное староверие фатально вынуждено будет обратиться к самоанализу, самопроверке, к освидетельствованию имущества своего и средств дальнейшего существования. Доселе оно было нервно-политическим явлением более, чем догматическим; доселе оно имело дело со станowymi, исправниками, губернаторами. Только теперь оно становится на богословскую почву и получает соперников себе в лице ученых, в сонме историков, археологов, канонистов, людей спокойных, но с которыми борьба гораздо труднее. В то время, как народная староверческая толпа ликовала в Москве и других городах при распечатывании древних молелен, у вождей раскола, можно думать, впервые встали в уме тревожные вопросы: «Как быть и что делать далее?».

В смысле симптомов этого возможного сближения очень замечательна статья: «Старообрядец к старообрядцам», помещенная в № 82 «Рижского Вестника». Рига есть один из важнейших центров нашего раскола, особенно беспоповщинского толка его. Сюда, в бывший Остзейский край, где не слышалось русской речи, старообрядцы во множестве выселялись, в целях охранения от него коренного русского населения. Позднее, когда были предприняты меры обрусения этого немецко-латышского края, поток выселения получил направление на Кавказ, в глухие его местности, где точно так же «раскольники» по прежней официальной терминологии были бы окружены населением, не понимающим его речи. В настоящее время в Риге находится около 18 000 федосеевцев, большую частью очень зажиточных, и здесь у них воздвигнута великолепная моленная-собор с драгоценными старинными образами, от-

тенки написания которых заставляли совершать сюда ученые паломничества знакоков и любителей русской и византийской церковной археологии не только русских, но и иностранцев. Таким образом, голос старообрядца из Риги есть голос члена могучей старообрядческой общины.

«Время теперь поговорить о возрождении взаимной любви и доверия, отбросить в сторону упрямство, недомыслие и сатанинскую гордость лживого сознания, что только у нас одних, старообрядцев, хранится сокровищница неповрежденной истины». Голос совсем новый! Автор передает впечатления, вынесенные им из собраний членов своей общины. «Раздоры и несогласия самих же наших наставников наводили меня на сомнение, разумно ли и законно ли мы поступили, отдалившись от православной церкви». Можно быть уверенным, что таковых «недоумевающих» всегда было много, по крайней мере, они всегда встречались, но страх услышать голос: «Вы отделяетесь от нас, потому что мы гонимы», «вы хотите пристать к гонителям», без всякого сомнения, не доводил внутреннее колебание до выражения его вслух и тем более до выражения его в печати.

Автор письма приводит в пример какие-то распри между наставниками «поморского согласия»: Петрыниным, Иваном Марковым, Асташевою и др., – имена темные для нас, – и спрашивает: где же конец этим дроблениям когда-то обширного и слитного «согласия» и как можно верить в истину, когда она до такой степени раздробилась и стала неуловима? Остается доверять, по выбору, которому-нибудь наставнику, но кто они все? Он пишет плачевную характеристику: «Управляющие нами наставники, начетчики, хозяева, экономы, старосты и кадильщики в большинстве люди невежественные, не высоко-нравственные и своекорыстные... Это какие-то суеверы... Кому из нас неведомы деяния наших наставников и певцов вроде Антония, Агапия, Ипатия, Ивана Павлова и др. Но лучше об этих деяниях не вспоминать».

Вся стойкость старообрядчества, объясняет он, держится на страшных заклатиях, положенных умершими дедами и отцами на своих внуков и детей, чтобы они отнюдь не «общились» с членами господствующей церкви. Обратим на это внимание. Самые «заклатия» эти положены были в эпоху сильнейших гонений, и степень ненависти, в них влитой, очевидно, была пропорциональна испытанной боли. Вот последствие жестких мер, с какими мы и сейчас не умеем расквитаться. Чем больше мука, тем яростнее клятва. Но ведь, по народномуговору, слова отца и матери в огне не горят; благословление и проклятие их «не изглаживается и на том свете». Мы сами вызвали необдуманно мерами и поистине легкомысленно церковно-государственную политику, которая все равно никого не «обратила к истине», эти ужасные клятвы «дедов», которые стали стеною между старообрядцами и нами. Очевидно, только десятилетиями новой кротости мы успокоим эту взволнованную атмосферу, в которой можно будет разобраться, начать слушать ученых и вести с обеих сторон разумные прения. Это отделение, нельзя не сознаться, поставило огромную дробь русского населения вне всякого влияния общечеловеческого света, совершенно выбросило из русла мирового движения. Миллионы русских остались в каком-

то глубоком овраге с высокими краями, из которого и не выберешься и где нет других вопросов, нет иных тем, кроме волновавших Россию еще в эпоху стрелецких бунтов. Наш обрядовый раскол с точки зрения религиозной содержательности есть явление беспримерное во всемирной истории. Было идолопоклонство. Но там все-таки поклонялись веществу и форме. Настало время, оно настало на Руси, когда поклонились... типографическим ошибкам!!! Перед огромной энергией раскола нельзя не поклониться. Но это результат изуверства преследователей. Собственные темы его, причины разделения – ужасны!..

Автор письма заканчивает характеристикою масс, пребывающих в отделении от церкви: «В общем все мы представляем людей недалеких, закоснелых в упорстве, и не можем сколько-нибудь оправдать свои убеждения на незабываемой основе Священного Писания. Есть у нас какие-то старые истлевшие листочки, выписки, каковые и разобрать невозможно». Конечно, характеристика эта грешит обратным увлечением, каковое слишком понятно в «поколебавшемся». Отвергнем ее, и все же признаем, что старообрядчество в обеих его половинах, «поповщине» и «беспоповщине», выдвинуло могучих личностей, изумительных знатоков «древних книг» и, наконец, общинно оно не дало своим членам растерять свое имущество, а, наоборот, экономически укрепило их. Но все это социальные стороны дела, весьма мало зависевшая от «вероучения». Все гонимые, и всегда, почему-то страшно богатеют, все гонители, и тоже всегда, почему-то «проматываются». «Вероучение» старообрядцев, как верно заметил автор письма, все же действительно возвращается в старой греко-русской, московской письменности; и к нему просто теряется всякий интерес, а оно утрачивает какое-либо значение, как только человек касается первоисточника религии – Слова Божия, в Священном Писании закрепленного.

ЭЛЬПЕ. ДУША ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Изд. А. С. Суворина. СПб. 1905 г.

В новой книге нашего известного популяризатора г. Эльпе собраны его многочисленные статьи о биологической роли целесообразности в жизнедеятельности растений и животных и о психическом начале, являющемся руководящей основой этой жизнедеятельности. Горячий защитник психизма в биологии, почтенный автор давно уже ведет борьбу с биомеханическими теориями, по которым жизнь сводится к законам механики, физики и химии, явления жизнедеятельности животных объясняются инстинктом, волевое начало в психике заменяется простейшими импульсами, а смысл жизни заключается в борьбе за существование. Длинным рядом разительных фактов из жизни органической природы г. Эльпе наглядно опровергает все эти узкие, односторонние теории, которые, однако, возводились творцами их на степень кардинальных «законов» жизни. Защищая в течение многих лет свою симпатичную точку зрения, т. е. необходимость признания биологией «психического начала

как единственного носителя, выразителя и истолкователя жизни», г. Эльпе находил с течением времени все бульшую и бульшую поддержку в той нарастающей массе фактов, какие открывает неустанно прогрессирующая наука. Едва ли почти не единичный в данном направлении голос журналиста-ученого не остался «вопиющим в пустыне», и в последнее время в среде специалистов-биологов стали раздаваться авторитетные голоса о необходимости переоценки старых теорий, возросших на почве материализма, о том, что жизнь на физико-химические явления нельзя разложить без остатка.

Разрабатывая почву для научного идеализма, грядущего на смену отживающему материализму, г. Эльпе много потрудился над распространением своих заветных идей в читающей публике путем общедоступно написанных, ясно и обстоятельно мотивированных газетных статей, которые, особенно статьи о симбиозе (сожитии в растительном и животном мире), в свое время привлекли к себе всеобщий интерес. Перечитать их снова не мешает. И ввиду этого издание этих интересных очерков отдельною книгою, спасающее их от забвения в гряде старых газетных листов, является особенно желанным. Эта книга, рисующая главным образом психический мир животных во всех его любопытных, подчас поразительных проявлениях ума, находчивости, любви, трогательной привязанности, дружбы и т. п., читается с интересом и наслаждением. Не распространяясь о хорошо известных широкому кругу читающей публики достоинствах популярно-научных произведений г. Эльпе, можем только пожелать счастливого успеха и этой книге.

ЛУКАВАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ

В каждой вещи должна быть своя мера. Но это требование меры в делах и мнениях никак нельзя сводить к «безделью» и «без-мнению». Между тем г. Дебольский в своем энергичном призыве духовенства устранился от «временных житейских дел», чтобы сосредоточиться на вечных под «звон церковного благовеста, смиряющего души людей и призывающего их обращать взоры туда, где нет ни печали, ни воздыхания», повторяет, в сущности, знаменитый и неудачный даже под пером гения призыв к пресловутому «неделанию», во время которого, и по мысли Толстого, душа сосредоточивается на «вечном». И какое лицемерие: будто бы духовенство XIX, XVIII, да и всех решительно веков, до сих «мятежных дней», помышляло только о «вечном, постоянном, неизменно сохраняющем свою силу», как в этом заверяет нас г. Дебольский! А монастырские имущества и история их при Екатерине II? А борьба против земской и министерской школы в пользу исключительного господства церковно-приходской? А хлопоты каждого священника о приходе, о хозяйстве, о прибытке? А полтинники и рубли, иногда весьма сурово взыскиваемые за требы?! И ведь все это г. Дебольский отлично знает, ибо эта обстановка духовного сословия известна не то что образованному писателю, а каждому мужику и всякому воспитаннику духовного училища! Над чем же, над какою

действительностью поет г. Дебольский свою соловьиную песню о «вечном, постоянном и неизменном», призывая сверх этого духовенство раньше смерти – умереть? Дело в том, что только над покойниками в гробу поет церковь, что они теперь перешли в мир, «где нет ни печали, ни воздыхания», а нам нравоучитель из «С.-Петерб. Ведом.» говорит, что в этот же мир должны смотреть священники, диаконы и псаломщики якобы «по призыву церковного благовеста», который на самом деле зовет к обедне, а не к смерти; зовет живых людей к живой церковной службе, а вовсе не к покою «яко в гробу». Да, храмовое торжество именуется «службою», и это церковь не марает ни делом, ни словом; и духовенство наше ни мысленно, ни житейски не унижится, если жизнь каждого духовного лица станет тоже вот такую «службою», мучительною, но и нравственною, тяжелою, но и радостною, – около народа, отечества. Этак, послушать г. Дебольского, так духовенству и телеграмм об эскадре Рождественского читать нельзя будет, «чтобы не повредить душе»... А ведь наступили и еще наступят события в отечестве, которые так же приковали или прикуют к себе внимание, как и броненосцы нашего адмирала? И что за бестактность, что за политическая бесталанность наших писателей: в то время как «составляют определенные мнения», постановляют «резюльюции», разделяются в группы профессора, земцы, техники, врачи, адвокаты и, кажется, даже гимназисты, только одно, и притом исторически самое солидное, русское сословие, самое крепкое и верное русским государственным заветам, должно «воздержаться от всякого мнения», «устраниться от дел», ничего не думать, кроме: 1) сколько взять за свадьбу, 2) вовремя заблаговестить и упереть взор в небо?! Да чьи же «мнения» будет слушать государство? А оно, очевидно, собирается «слушать», хочет «слушать». Очевидно, если г. Дебольский (а он не один такой) выведет за уши из «подачи мнений» всех достаточно солидных людей, под предлогом, что им неприлично мараться в «преходящих и низменных вещах и интересах», то правительство и услышит «мнения» одних гимназистов и адвокатов, которые ему останется только похерить.

Духовенство, именно как солиднейшее наше сословие, в роковую годину отечества должно начать, именно энергично начать работать умом, сердцем, душою, подвигом, ежедневною работою над самими что ни на есть простыми и грубыми делами, вопросами; и не уходить от вопросов жизни в уклончивые, двоящиеся, а то и двуличные фразы, а на все ответить голосом прямым и ясным, громким и мужественным. Вот дело христианина и священника, нимало не расходящееся с делом гражданина и верноподданного.

ОБРАЗЦОВАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Однажды я осматривал одно из богатейших имений в Воронежской губернии. Уже пройдя ряд зал с фамильными портретами, библиотекой, разными уютными гостиными и кабинетами, я, выходя из «palazzo», остановился на комнате, совершенно простой, но поразительного устройства. В середине ее поды-

мался ряд мачт или подобий мачт, которые уходили в потолок. Но только их было чрезвычайно много, как ни на каком корабле; и можно было также их сравнить со множеством ножек сложного устройства обеденного стола. Пока я бормотал изумленно сравнения, не находя их, показывавший мне palazzo камердинер заметил:

– Вы не ошиблись. Это – столовая. Здесь собственно кухня и работают повара. Это – нижняя половина столовой. Палки эти – не мачты и не ножки стола, а тарелки, т. е. на верхнем конце каждой палки прикреплена черная чугунная тарелка-футляр. Господа, которые обедают наверху, пишут, чего им угодно, и подают вниз звонок. Палка моментально опускается, повар читает названное кушанье, ставит его на фарфоровой тарелке в футляр-тарелку, нажимает пружину, и блюдо подымается вверх, становясь прямо перед спротившим его. Таким образом господа могут откусать ужин или обед, обходясь без прислуги, т. е. без присутствия прислуги.

Я стоял в замешательстве. Что за изобретение?! И чего это стоило? Нужно было ведь изобретать, ибо это – положительно изобретение. И в голову не придет, и так сложно, что очевидно стоило денег и денег. Я мысленно жалел карман хозяина, когда мой спутник подсказал мне:

– Как же иначе? В древности, когда философствующие друзья Афин или роскошные патриции I века по Р.Х. хотели остаться одни, они приказывали слугам поставить на стол сразу все кушанья и затем уйти. Понятно, что, как бы эти кушанья ни были закрыты, к концу пиршества они совершенно остывали. Между тем пиршество иногда тянулось несколько часов, приходилось довольствоваться засалившимся жарким, и вот для тех, кто не был пьян, это было отвратительно. История сделала прогресс, и теперь можно здесь пировать несколько часов сряду, даже целую ночь, не видя хамского лица рабов. Гости каждую секунду, кто какого кушанья хочет – получают его невидимо и с живостью, как Аладин получал при помощи волшебной лампы. И так же вкусно, как у Аладина.

– Скверные рожи рабов? – переспросил я.

– Конечно нет! Рабы могут быть выбраны из молодых и красивых, и одеть их можно тоже как угодно. Но есть минуты, когда не нужно или не хочется видеть никого. Конечно, французский или английский язык гостей недоступен был для слуг. Но бывает, что прислуживающий не только ничего не должен слышать, но и ничего видеть. Здесь могут быть женщины...

Он не договорил, я все понял. Оргия. Пир может быть вовсе не едой, как для нас, несчастных. «Еду» удовлетворяют в ресторанах, в кухмистерских, у себя в семейных столовых. Но в самом деле есть «еда» и есть «пир», в котором еда является только частью сложного наслаждения, программу которого может взяться разработать даже художник.

* * *

Воспоминание об этой столовой, виденной мной лет шесть назад, не оставляло меня все время, когда я осматривал замечательное воспитательное учреждение г-жи Левицкой в Царском Селе. О нем я уже давно слышал, и года два

назад мне писали о нем из далекой провинции, рекомендуя посмотреть на оригинальный творческий труд русской женщины. В самом деле, в уравнивание господ должны быть рабы; в уравнивание господ-«идеалистов», которые влагают идею и искусство в свое барство, должны непременно, – дабы всемирная история не рассыпалась, – появиться такие же художники-рабы, тоже влагающие идею и искусство в свое добровольное рабство. Беспросыпный эгоизм уравнивается неусыпным самоотвержением: и история стоит, не качается, несмотря на всяческие в ней «оргии». И главное – то и другое восторженно! Никакого нет принуждения! Поистине, «так хочет Бог! так хочет Бог!», – как восклицали на Клермонском соборе крестоносцы; вспомнишь вечное евангельское изречение: «В доме Отца Небесного обителей *много...*»

Внуки могучих дедов, которым подавали кушанья на длинных шестах из нижнего этажа, не могли не родиться бледными, вялыми, нервными, с зачатками истерии, меланхолии, со всяческими вывихами духовной организации. Когда это явно выражено, наступает быстрый и явный конец. Но гораздо чаще это выражено тонко, слабо: является просто бледный наследничек несметных богатств, капризный господин сотен и тысяч рабов (до крестьянской реформы), который «потащит» свою биографию среди государственных учреждений, среди общественного быта, ломая и портя исторические дорогие механизмы первых и грязня собою второй. Так уже во второй половине XIX века слагалась русская барская история. На «Исторической выставке портретов» в залах Таврического дворца, за этот год, весь Петербург имел возможность наблюдать, до какой степени красивы, энергичны, умны, будто «царственные», были русские «исторические лица» за весь XVIII и первую половину XIX века; и как потом все начало тухнуть, гаснуть, опадать в выразительности и красоте.

Для детей этих решительно не было в России соответственного воспитательного учреждения. Не многие специальные аристократические заведения у нас приспособлены только к «карьере» и имеют, сверх облегченной программы и разговорного французского языка, только богатые нашивки на воротнике и рукавах. В остальном они едва ли стоят не ниже даже заурядных наших гимназий. Чуть есть в мальчике или девочке отклонения от нормы – родителям решительно нет пристанища в России с таким детищем. Но и кроме того. Если вы человек разумный и деятельный, если вы понимаете, что судьба детей есть главная цель жизни стареющих родителей, вы среди «заурядных русских заведений» не отыщете ничего, кроме посредственной комбинации: 1) программы, 2) учебника и 3) учителя, стоящих «алтын». Все русские бедны, и все русское бедно. «Заурядные заведения», все же не имеющие специальных пороков «привилегированных заведений», организованы у нас нищенски, грубо, мещански, точнее, – солдатски: это просто «полк» детворы, отрочества, юношества, в котором начальству некогда разбираться, и эта детвора кучею гонится к экзаменам, где у нее спрашивают выучку учебника; а в воспитании ограничиваются тем, чтобы ученик «не грубил и не имел лишних мыслей». Никто в эту «кучу» индивидуально не вглядывается; все, не подошедшее к норме, «к полку», – выкидывается немедленно и энергично вон.

Остальные, кончив курс, разбредаются по всевозможным русским службам, делая кое-как разные русские дела, слагающие в узор своем необходимую европейско-азиатскую «кокеакию», как начали именовать с год назад наше благочестивое и не очень благополучное отечество.

С изумительной энергией и настойчивостью г-жа Левицкая выбросила вон все это скудное наше педагогическое нищенство, прежде всего денежное, и решилась дать тип среднего учебного заведения, правда стоящего дорого, но зато где ни одна мелочь, до самых неуловимых, не остается необдуманною; где все поставлено – в воспитательном отношении – не просто богато, но роскошно, я осмеливаюсь прибавить – царственно. Не вообразите чего-нибудь о позументах и роскоши обстановки. Дети подымаются в 6 1/2 и 7 часов утра, сами за собою все убирают, убирают классы свои, а день проводят в непрерывной работе, учении, энергичных играх, и, главное, ни на одну минуту и ни один не ускользнет от внимательно следящего за каждым взора начальницы и ее помощников и помощниц. Заведение смешанное для обоих полов; существуя пять лет, оно включает пять классов; и мальчики, и девочки – уже почти взрослые, с пробивающимися усами и формирующимся бюстом в пятом классе. Все и всегда – вместе, никто никогда – в уединении, все образуют плотную, хорошо сжившуюся семью-коммуну, где «частного», «своего» не имеет прежде всего начальница заведения, и уже не имеют возможности претендовать на «свое» все остальные, воспитатели и ученики. Самое удивительное, в двух больших домах заведения, собственно гимназии и пансионе, – то, что в них... начальница вовсе не имеет себе квартиры, кроме кабинета-канцелярии, где совершаются «дела» и «формальности» с родителями учеников. Как не иметь квартиры, когда даже собака имеет «конуру», зверь создает себе «логово», а в наших плохеньких гимназиях, с душными классами, директорская и инспекторская квартиры всегда занимают добрую четверть здания?! Да, вот подите – нет. «Идеализм» барства уравновесился идеализмом «рабства»: «раба»-начальница отреклась от того, что имеет зверь, и не только имеет чай и стол с учениками, но и сон – возле них, в скромной, без всякого убранства и признаков «туалетного стола» – спаленке. Сама она одета так же сурово и просто, как все они. И только красная шапочка и красный галстук – общая принадлежность, усвоенная во всей Европе школами этого типа, как объяснила она мне, – составляют парадную часть костюма у нее, у воспитатель, у всех учеников и учениц.

Известен «меланхолически-наказующий» тон наших школ, где все проникнуто: 1) недоверием к ученику, 2) наказанием – как панацеей всех зол, 3) какою-то грустью и раздражением, которые одни связывают учеников и учителей в «духовно-нищенское братство». Здесь все взято в обратном порядке: неспускаемый с учеников взор есть просто средство все всегда знать в школе и сейчас поспешить на помощь. Напротив, ясное доверие к ученику, не оптимистическое и фантастическое, а нормальное и естественное, – составляет «аз» всего дела. В школе преднамеренно введены не только самостоятельные поездки детей, без всякого контроля, к родителям в Петербург, но и поездки их в

отдаленные иногда города на летние каникулы домой. Если принять во внимание небольшой возраст учеников и что, например, мальчики принимаются здесь исключительно в интернат, хотя бы родители их жили в самом Царском Селе, то станет ясно, что это – не распущенность и «недосмотр», а преднамеренное «отпускание на волю» хорошо поставленного, окрепшего в характере, в самоуправлении ребенка, мальчика, девушки. Действительно, сколько сотен и даже тысяч учеников и учениц я ни видел на своем веку, я нигде не видел сплошь этого душевного здоровья, сильного роста незапачканной души в незапачканном теле, – как в этой маленькой начинающейся школе. Все имеют около себя глаз. Но этот глаз – веселый, бодрый, помогающий; он не подозревает, не хулит мысленно, не придавливает внутренне, как везде в нашем несчастном воспитании, от начального училища и до университета и академий.

Школа не имеет «прав» и преднамеренно от них отказалась, как и от всяких субсидий. «За грошовую субсидию я должна была бы впустить в свой план контроль и стать исполнительницей не своего убеждения, а какого-то казенного шаблона, в котором нет ни души, ни мысли, – сказала мне основательница. – Что касается прав, то у меня преподается все шире и разнообразнее, чем в гимназии нормального типа, и, когда придет время, ученики мои получают все права, выдержав экзамен, в котором не будет ни пристрастия, ни снисхождений, которых я не ищущу». В одном отношении это отзывается на школе. В силу того, что, как вполне частное заведение без «прав», – оно не имеет права даже обыкновенных публикаций, и о нем узнают только «из рук», т. е. от знакомых до знакомых. От этого очень мало воспитанников и воспитанниц. От этого очень высока плата: 820 руб. за полный пансион в год, причем еще белье (кроме постельного), платье и вообще все не школьно нужное, а индивидуально нужное, – оплачивается также самими родителями. Только все делается по стройжайшему образцу, единому для всех, который установлен школою.

Начальница повела меня в спальни. Они занимают отдельный дом, рядом с классным. Для мальчиков отведен нижний этаж, для девочек верхний. Везде невиданное мною в школах обилие воздуха. Если прибавить к этому, что окна открывают и зимою, что дети спят при температуре ниже 10° под теплыми байковыми одеялами, что всю зиму они ходят во фланелевых рубашках, а для сна одевают особые длинные, тоже довольно теплые рубахи, что во всем заведении никто не курит, то очевидным станет та изощренная чистота воздуха, каковым они пользуются. Чистота и бодрящий холодок для дыхания, – при постоянстве температуры вокруг тела (фланель). В каждой спальне помещено не более 5–6 кроватей, и здесь же спит с ними воспитатель, т. е. по воспитателю в каждой спальне. Сама учредительница имеет спальню рядом со спальнею тех из взрослых мальчиков, которые нуждаются в особо тщательном наблюдении и которые сверх ее возможного вмешательства имеют, рядом со своими постелями, и кровать наблюдателя-воспитателя. В изголовьях кроватей привешены образки, – «из дома», «от мамы». Около каждой кровати – стол, «со своими вещами». Подушка одна, небольшая, так что голова лежит совершенно низко. «Отлив крови от головы во время сна – вреден; нормаль-

ное положение – чисто горизонтальное, без возвышения головы над туловищем, как мы наблюдаем у ребенка, лежащего на руках матери, и у всех животных». В самом деле, сон есть сон. За день бодрствования, занятий, учения, вообще непрерывной деятельности мысли, мозг не может не устать, не истощиться. Ободрение и восстановление сил приходит через кровь. От вертикального положения днем кровь и без того труднее достигает мозга, чем если бы этот мозг лежал в уровень с туловищем и сердцем, как у животных. Ясно, что за ночь, во время сна, когда восстанавливаются его силы, нужно, чтобы кровь вливалась в него обильно и просторно, и вместе без усилий сердца. Сердце сохраняется и мозг освежается через самое простое приспособление постели.

Отсюда она повела меня в комнату для обливаний. За исключением нервных детей, для которых назначено доктором обтирание водою с одеколоном, все вполне нормальные дети получают сейчас же после сна обливания обыкновенною комнатною водою. Зимною вода, с вечера накаченная, становится к утру «комнатною», т. е. температура опять же довольно низкая. По гвоздикам висят мохнатые халаты. Они накидываются сейчас после обливания, тело сильно разгорается при вытирании, – и ученики спешат обратно в спальни, где одеваются – для выхода на двор. Заведение расположено рядом с роскошным царскосельским парком, в самой здоровой и вместе тихой части города. Утренняя прогулка есть собственно бег. Дети, мальчики и девочки, идут, постепенно ускоряя шаг, переходящий в бег, старшие пробегают до 400 сажен, младшие, смотря по силам, менее – 300 и 200 сажен. Этот моцион совершается, чтобы установить основное, физически-бодрое состояние для дня. Для обливания, одевания и значительного пробега определяется только $\frac{1}{2}$ часа, т. е. все совершается быстрым темпом, не «развалившись» и «распоясавшись», – и это тоже важно, как установка с утра же быстрых и решительных для всего дня и во всех занятиях приемов.

В самом деле, громадная воспитательная разница будет заключаться в том, сделал ли я такое-то «утилитарное» или «учебно-нужное» дело в час, или в $\frac{3}{4}$ часа, или в $\frac{1}{2}$ часа. И, далее, в каком *темпе* я сделаю первое же утреннее дело, в таком я буду предрасположен исполнять и все остальные занятия днем. В плохом хоре все поют растянуто; в хорошем – те же ноты, напевы, но только темп ускорен – и впечатление гармонично. Первый актер по сцене не должен начать низкою нотою свою роль: иначе и остальным придется говорить низкими нотами. Словом, тон первого дела определяет тон всех остальных дел, и это утреннее: 1) холодная вода, 2) ускоренный шаг, который переходит в бег, опять замедляющийся и переходящий только в скорый шаг, – устанавливают физиологическую готовность все совершать приблизительно так же. Бег этот совершается летом, осенью и зимою, какова бы ни была погода: ветер, дождь, снег – все равно. Бегут мальчики и девочки, без всякой разницы. Вернувшись, дети завтракают одним горячим блюдом – каша, ветчина с горошком, яйца или рыба. Чай и кофе устранены: дается питательный желудевый кофе с горячим молоком и к нему белый хлеб с маслом. Это занимает 30 минут. Общий принцип еды: все положенное на блюдо должно быть съедено. Если ученик чув-

ствует еще позыв, – может попросить добавления, но добавление также должно быть съедено все. Таким образом, чванства, капризов, «индивидуальности» и «психологии» в еде никакой не допускается. Каждый, у кого есть дети, знает, до чего невоспитанность и распушенность их отражается на способе еды. Между тем это дело желудка, которое должно быть правильно и просто, как всякое физиологическое отправление.

Завтрак тянется полчаса, и затем от 8 до 9 часов идет уборка постели, чистка верхнего платья, и свободное время употребляется каждым по его желанию. Устраняется, конечно, вредная привычка (и мысль): «все уберут за мной», «я – барин», «барышня». При безукоризненной чистоте и порядке заведения это не так легко, особенно для малышей первого класса. Когда я осматривал спальни, мне и на ум не приходило, что кровати убраны самими детьми: не лучше убрала бы и умелая горничная, няня или дядька.

С 9 часов начинаются уроки. Продолжительность урока 50 минут. Это совершенно достаточно при крошечном составе классов в заведении г-жи Левицкой, так как там время употребляется почти всецело на объяснение задаваемого урока и вообще на занятие с учениками предметом; и совершенно этого недостаточно в людных классах казенных гимназий, где 50 минут всецело почти уходит на «спрашивание уроков». Так как в организацию казенного воспитания и обучения входит несколько ярусов начальства, причем каждый высший ярус не доверяет всякому низшему, то все проникнуто здесь контролем, который на низшем ярусе, соприкосновенном с учеником, отражается «спрашиванием» и «спрашиванием уроков», только спрашиванием и исключительно спрашиванием. Весь урок, за исключением, может быть, минут десяти, уходит на это пресловутое «спрашивание», ибо учитель должен к концу учебной четверти «выводить баллы», а выводить их нужно из чего-нибудь: именно из баллов за отдельные «ответы урока». Теперь, если учеников в классе 20 и спрашивают одного, то что в это время делают 19? Ничего! Да и нечего делать: если кто выучил урок, то что же ему слушать, как товарищ отвечает это выученное и известное ему? А если кто не выучил, – он ничего не поймет и почти ничего не запомнит из ответа товарища; главное – ничего не поймет. Это убийственное «нечего делать на уроке», соединенное с требованием: «надо безусловно явиться на урок, ибо в этом заключается самая сущность гимназического учения», – можно сказать, отсекает в корне самый смысл наших гимназий. Подумайте: пять свежих утренних часов, когда ум восприимчив, когда он отдохнул после сна, – уходит на какое-то совершенно бессмысленное глаzenie на бороду учителя, на выслушивание в 40-й раз известного «Господи, помилуй», – ибо это известное «Господи, помилуй» совершенно напоминает склонение в сороковой раз такого-то латинского существительного или спряжение такого-то глагола. «Незанятость есть мать пороков»: пять утренних часов, пять уроков гимназических, проводимых в ненужности и невозможности какой-либо творческой работы, какого-либо активного восприятия науки, и являются первым зерном развращения учеников. Ибо ведь нужно же на что-нибудь убить эти пять часов, – пока спрашивают этих 19 учеников!! «Голь на выдумки хитра». Поминутно

слышится на уроке: «Позвольте выйти!»; начинается «преступный мирок» под партами: тут игра в перышки, чтение потихоньку Майн Рида, и это все – еще лучшее; начинаются вообще проказы, проделки, шалости, потому что ученикам решительно некуда деть пустой час, каковой представляет в сущности каждый, за исключением чистописания, урок. Вот отчего нужно или, сохраняя систему контроля и спрашивания, удлинить урок до $1\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{4}$ часа, как это и было в типе уваровских гимназий; или, удерживая теперешнюю длину урока в 50 минут, не допускать в классе сидеть более чем 10 ученикам; или вовсе устранить систему спрашивания, контроля и вообще баллов, занимаясь с учениками предметом, спрашивая на уроке 1–2 учеников, или, пожалуй, спрашивая всех, но не «ответить весь урок», а его малейшую дробь. Вообще нужна реформа урока – это есть существеннейшая и безусловная часть реформы гимназий. Между 1870 г. и 1893-м, когда я исключительно проводил все время на «уроках», сперва как ученик и затем как учитель, – я непрерывно и ежедневно приходил прямо в ужас от зрелища, что именно такое этот пресловутый «урок», за который учителя получают жалованье, ради которых строится гимназия и «опоздание» или «неприход» на который наказывается. Это есть постепенная, медленная, упорная идиотизация учеников (40 раз «Господи, помилуй»), через которую и получается то, что умный и мягкий наш народ, народ терпеливый, в известных отгнетках мудрый, становится по прошествии 8–10 лет «урочной выучки» чем-то тупым, дряблым, ни к чему не восприимчивым, безвольным – каково большинство представителей нашего «общества». Ибо между «мужиком» и «членом общества» только и стоит всего, что 10 лет хождения «на уроки». Совершенная очевидность этого, в середине 70-х годов, стала ясна даже ученикам гимназий. Класса из 5-го некоторые из них начали «выбывать», чтобы через 2 года (вместо 4-х) держать испытание зрелости». Таковых я помню между серьезнейшими из своих товарищей, но явление начало так распространяться, что гр. Д. А. Толстой вынужден был положить ему довольно самовольный и насильственный конец – через циркулярное распоряжение, чтобы таковые «выбывающие» допускались к испытаниям зрелости не ранее чем через 2 число лет, через какое они достигли бы естественно 8-го класса. Интерес «выигрыша времени» пропал. Но циркуляр сознавал, что «выиграть время» можно. И так как в бытность министром Толстого напряжение классицизма было так сильно, что при самом старательном приготовлении уроков редко приходилось являться в гимназию «готовым ответить по всем урокам», т. е. внеклассного времени едва хватало, а в сущности, не хватало на приготовление уроков, – то, очевидно, «выигрыш времени», приблизительно вдвое, совершался просто через утилизацию утренних урочных часов, которые в гимназии проходили совершенно неутрачено. А так как для «утренних часов» построена гимназия, то столь же очевидно было, между прочим, и для самого Толстого, что гимназий не для чего было и строить при таковой системе, как существующая.

Классное время должно быть самым творческим, деятельным, восприимчивым. Уже потому, что такова психология утренних часов; да и для чего, иначе, соединять в одной комнате учеников и учителя, неосведомленных и

осведомленного? Предметы «проходятся» именно в классах, на уроке: вот единственный смысл, при котором можно удерживать урок и класс!!

Для всех классов (т. е. включительно с пятым) у г-жи Левицкой только четыре урока. Таким образом, выброшен пятый урок казенных гимназий. Уже он утомителен, а когда, я помню, ввели в начале 90-х годов шестой урок, то на нем и ученики и учитель дремали от полного изнеможения, и никакого собственно ученья на нем не было!! У Левицкой эти четыре урока разделены небольшим промежутком в 11 минут, когда воспитанники пьют молоко и немного занимаются гимнастикой. К часу дня классные занятия совершенно кончены, т. е. они кончены почти к полудню, а не к наступающему вечеру, как в гимназиях официальных, и наступает обед, за которым проводится 1/2 часа. Все остальное время, приблизительно 7 часов, уходят на внеклассные занятия. Педагогическая разработка этого времени составляет главную оригинальность школы г-жи Левицкой, о которой я расскажу потом.

* * *

Все целостное выходит всегда из одной мысли, из одного вдохновения. И новая школа г-жи Левицкой вышла также из одной ясной и здоровой мысли, а не явилась результатом эклектического подбора разных подсмотренных фактов чужого опыта и разных вычитанных из книг мыслей. Заключается она в следующем:

1) Семья, свой дом есть единственная нормальная, здоровая почва воспитания.

2) И если бы семья могла и умела все, что нужно ребенку физически, нравственно и умственно, то вообще не надо было бы никаких публичных школ. Но семья сама слаба: родители или отвлечены от учащихся детей, возраста 10–18 лет, другими меньшими детьми, от 1 до 10 лет, которые, как слабейшие, естественно нетерпеливее требуют себе забот; или хозяйством, которого тоже абсолютно нельзя оставить или пренебречь; наконец, службою (отец). Таким образом, кроме редчайших счастливых исключений, родители не могут дать детям сосредоточенного внимания, могут следить за ними только рассеянно; словом, – в них нет специализации, а воспитание не менее всего другого совершенствуется, богатеет в способах, развивается в силах от специализации, сосредоточенного и исключительного внимания. Наконец, – родители – сами продукт истории, быта своего сословия или профессии и могут иметь и вполне сознавать свое бессилие, свою немощь именно в воспитании. Увы, просвещеннейшие люди имели иногда детей «юрудами»: ну, например, от безвольности своей, фантастичности, страстности. Вспомним мать Байрона, вспомним отца Хомякова. Да и таких примеров множество вокруг: идеальные родители – порочные дети; образованнейшие родители – дети исключаются из школ «за леность и нерадение» и проч.

Г-жа Левицкая предложила таким родителям, или не могущим отдать детям специального внимания, или не имеющим «призвания», «таланта», «удачи» в воспитании, – свою готовность все отдать воспитанию их детей, т. е.

принести им полную, целостную душу, недюжинную энергию, полную осведомленность. И вместе с тем – не расстраивать фундамента всякого здорового воспитания – духа «семьи», «своего дома». Отсюда вытекли коренные особенности нового типа школы:

1) Совместное обучение мальчиков и девочек, юношей и девушек.

2) Обширное развитие работ, рукоделий, игр, физических упражнений, чтения, бесед, вообще не книжных занятий, не «приготовления уроков».

3) Снятие всякого формализма, не только во внутренних отношениях в самой школе, но даже при принятии детей. Например, при «поступлении не требуется никаких бумаг и документов, но желательна характеристика, устная или письменная, отдаваемого в школу ребенка». Школа спрашивает только год рождения поступающего и как его всегда звали дома. Просматривая «правила» или «объяснительную записку» об этой школе, единственный экземпляр которых лежал в кабинете-канцелярии г-жи Левицкой, я прочел, очевидно с какими-то соображениями сделанный, список учеников и учениц – *без фамилий* их. Имена, карандашом накинанные, почти стерлись; но я прочел: «Юрик», «Дима», «Воля» «Вася», «Цезарь», «Нина», «Петя», «Нонна», «Маносья», «Муся», «Галя», «Ира», «Лина». Очевидно, даже в молчаливых соображениях начальницы «про себя», фамилии учеников и учениц не вырисовываются около их лиц. Таким образом, совершенно убрана официальность, «должность», «служебный строй», – что в гимназии надевается на ученика с I класса и кладет непереступаемую стену между домом и школой. В семье ребенок – у себя дома, в гимназии – он на «службе» и перед лицом «долга», официальная личность перед официальными лицами. Но и далее: здесь до 15 и 16 лет, т. е. уже взрослые мальчики и девушки, все знают только «ты» в обращении друг с другом, как на «ты» же обращаются к ним воспитатели и учителя. Таким образом, «класс», «урок» у г-жи Левицкой есть вполне домашний, «свой семейный» урок. Ведь учитель или учительница, преподавая детям на дому, не называют их никогда по фамилии и почти всегда говорят «ты». Вспомним перемену платья при Петре Великом. Имя – тоже костюм: раз нужен домашний дух – сохрани домашнее имя.

Добиться этого «домашнего духа» возможно только при совместном воспитании одного и другого пола, где питомцы представляют собою братьев и сестер, а в воспитателях и воспитательницах, если они близко и вообще нормально поставлены, они чувствуют... ну, дальних родственников и родственниц, что ли. Но вообще отличительная черта «дома» от «не дома», семьи от «общественной группы», – составляет, конечно, смесь обоих полов, без чего вы непременно получите казарму и военный строй, а с ним и «казарменный дух», сколько ни бейтесь, из какой нежной или аристократической среды ни берите детей. И раз заведется этот казарменный дух, вы ничем не выживете подпольно гнездящиеся здесь казарменные привычки, казарменную грубость, казарменные понятия и вкусы. Гонимые – они будут прятаться; но навсегда, везде – останутся. Историки культуры пишут о «смягчающем, цивилизующем влиянии женщины». Как же не прислушались к этому опыту всемирной

истории педагоги. И вместо того, чтобы пытаться смягчить нравы учеников и привить им деликатные вкусы с помощью слащавых рассказов в хрестоматиях, – почему они не посадят рядом с ними просто существ, врожденно более мягких, природою более деликатных? Известно, как нравы даже солдат становятся мягче вокруг «дочери полка», случайно найденного и воспитанного полком ребенка. Словом, только непростительною косностью педагогики, ее паразительною светобоязнью можно объяснить, каким образом она не воспользовалась этим могучим культурным орудием, лежащим в совмещении полов в одной школе, для достижения собственных же горячо желаемых задач?!

– Высшее образование женщин, – объясняла мне учредительница, – частью есть, частью это – действительность завтрашнего дня. Поэтому настаивать на разделении и неравенстве программ мужских и женских училищ среднего типа нет более оснований. Классическая женская гимназия г-жи Фишер в Москве есть одно из лучших у нас заведений, по крайней мере этого не оспаривают. Поэтому я не сделала никакой ошибки, взяв мужскую классическую гимназию с одним латинским языком нормою средней школы для обоих полов. Медички учатся же теперь латинскому языку; пусть они ему учатся у меня не торопливо, а как следует. Затем, девушке нужны некоторые специальные знания и умения – домоводство, шитье и проч. Это совершенно легко устраивается, когда в послеобеденные часы мальчики идут на свои мужские ремесла, а девочки – на свои девичьи работы. Наконец, это восполняется не на уроках, а через устные беседы тоже в послеобеденное время: так называемые «чтения» или «лекции». Все это комбинируется и вместе и порознь, смотря по надобности.

– Но опасность самого совмещения полов?

– Если бы они были совмещены на дурном? Но ведь они совмещены на прекрасном, на учении! Лучше ли, если первое знакомство полов произойдет в танцах, на паркете, среди флирта взрослых? Или лучше впервые узнать друг друга за физическими опытами, рассказами по русской истории, во время здорового беганья на лыжах и коньках, в огороде за поливкой овощей? Какова атмосфера, таков и дух. Развивается здоровое товарищество. И я ручаюсь, что, где бы вне моей школы, на поездке домой, мои ученики ни встретили девушек, ученицы – юношей, они уже не поведут с ними разговоров о тех пошлостях, кроме которых, при теперешнем разделении полов именно только в учении, им и говорить не о чем. Во внеклассное время они предаются здесь спорам, всегда имеющим серьезное содержание, и, встретившись не здесь, – вспыхнуть теми же интересами и темами. Что касается до собственно романтизма возраста... то, поверьте, самый возраст этот, 12–14, 14–16 лет, так прекрасен при неиспорченном воспитании, что ни в чем, кроме высокого подъема идеализма, молодое чувство не выразится. Я не стала бы ни подавлять, ни преследовать этого чувства, не стала бы подозревать его в гадком происхождении и направлении, и при таком моем взгляде – оно не будет от меня таиться. Я смотрю на это чувство как на могущественную силу, пришедшую даром на помощь педагогике, которую она никогда не умела пользоваться, игнори-

рвала ее или подавляла. Не так же ли педагогика относилась и ко всем естественным силам человека, естественным продуктам цивилизации, пытаясь сама выдумать на место их какие-то недействующие искусственные силы? Поэты всех стран, народный эпос – все повторяет согласно, что для юноши это есть источник героизма, регулятор и возбудитель благородства, а главное – для меня главное – источник возвышеннейших взглядов на женщину, косвенно на всякую, на сестру, мать, соседку, знакомую, но в основе – на нравящуюся девушку. Чем вы этого достигнете? Какими лекциями, уроками, назидательным чтением? Природа приносит вам даром этот фрукт: умеете не испортить его, а извлечь все возможное. Такой юноша перед глазами дорогой ему девушки не солжет, не обманет, не унизится, не скажет пошлости, не подумает ничего сального; прежде всего – не подумает порнографического! Казарма или закрытая семинарская бурса, обе изгнавшие женщину, – вот настоящие, главные родники сквернословия и скверномыслия нашего общества, ибо по образцу их устроены всевозможные заведения. И это – в видах целомудрия!!

Я вспомнил бл. Иеронима и его жалобу. В письме к одной римлянке он писал: «Пока я жил в Риме и постоянно обращался в обществе, сталкиваясь со множеством женщин, я был от них спокоен. Но с тех пор, как удалился в пустыню и вовсе не вижу их, мое воображение постоянно занято ими, и это не дает мне покоя».

– Близость – успокаивает; и не только не грозит ничем, но и предупреждает опасность в линии этих специальных педагогических тревог. Представьте брата и сестру, безвестно потерявших друг друга в младенчестве, которые встречаются через 20 лет. Между ними очень можно представить сближение. Между тем этого никогда не бывает сейчас – и просто потому, что они растут вместе.

Последний аргумент мне показался поразительно убедительным. Я вспомнил наблюдение, давно мне сообщенное одним умным сельским хозяином, что в очень близком родстве невозможно добиться скрещивания пород, предварительно не разъединив их на продолжительное время. Очевидно, совместность жизни скорее притупляет, расхолаживает взаимное влечение полов. А благородство влияния от этой совместности – остается. Добавлю следующее наблюдение. Ведь редко кто находит «свою судьбу» (женится, выходит замуж) в соседнем доме, в своем квартале, даже в своем городе! Как при опылении цветов – несутся люди далеко-далеко: и в странствиях, где-нибудь на чужбине – вдруг избирают «подругу», «друга». Так – во вселенной. Почему должно быть иначе в школе? Очевидно, что разделение полов при обучении и воспитании, включительно до университета, есть только варварская средневековая фантазия, остаток «герема», «затвора»; и вместе эта фантазия, всего крепче держащаяся в педагогике, есть причина недостижимости и недостижимости основных педагогических задач, лучших целей воспитания и обучения – развития кротости, деликатности, вежливости, «рыцарских чувств» к слабому, к женщине.

По закону, совместное обучение полов разрешается только для двухклассных школ: поэтому, начиная с 3-го класса г-жа Левицкая только каким-то чудом удержала этот принцип, на котором она так настаивает, что предпочла бы

вовсе закрыть свое заведение, нежели разъединить в нем полы. Но она открыла свое дело всяким осмотрам, ревизии, всяким придирам и критике и потребовала доказательств раньше, чем отказаться от своего принципа. И дело существует, как она захотела. Теперь, вне сомнения, мы скоро будем иметь полную гимназию для обоих полов, и тогда, Бог даст, не замедлит и «законодательное согласие» на очевидно безвредный и даже правдоподобно благотворный факт!

* * *

Внеурочное время распределяется в школе г-жи Левицкой следующим образом:

1) Два часа, сейчас после обеда (в 1 час дня), на разные занятия по группам: практика языков – для одних, лекции или пение – для других, работы в мастерских – для третьих.

2) Полтора часа уходят на садовую работу или игры на воздухе; на работу в мастерских или прогулку. Последняя избирается всегда с целью, на экскурсию; монотонное «марширование по парку» ради моциона вовсе изгнано, как негодная форма духовного истомления. Зимой в это время катаются на лыжах или коньках. Разнообразие зависит от дней недели и времени года.

Это – время до ужина, который бывает между 5 и 5 1/2 часами; после него 1/2 часа назначается на шумные игры и беготню. Затем в течение одного часа готовятся (только старшими учениками) уроки на завтра; младшие дети вовсе не имеют «задаваемых» уроков.

Затем, два часа (от 6 до 8) у младших учеников идет на чтение, рисование, игрушки, тихие игры; у старших 1 1/2 часа свободного времени, которое они могут провести и без дела или заняться литературным чтением и лекциями.

В девятом часу идут умываться, мыть ноги и спать.

Механическое «спрашивание уроков», а в связи с этим и «выставление баллов» вовсе исключены г-жою Левицкой из своего училища. Урок исключительно уходит на самое преподавание, разъяснение его и вопросы детей о предмете урока. Самое большее число учеников, допускаемое в классе, – 12. Только при этом ограничении учитель может не выпустить из виду индивидуальных способностей порознь каждого ученика, как и индивидуальных же недостатков, которым должен сейчас же прийти на помощь. Исключение из преподавания «баллов» в корне подрывает формализм преподавания: иначе как «разъяснить» ученикам предмет, и *хорошо* его разъяснить, – учителю *нечего и делать на уроке!* Т. е. неспособному, бездарному учителю, каковых во всех наших учебных заведениях толпы, – вообще на уроке совершенно нечего делать; и он должен умолкнуть и «выбыть из учителей» по совершенному ненахождению для него никакого дела. Тогда как вообще «вызывая учеников к ответу» и «ставя в классный журнал баллы» – у нас может прослужить вождельные 25 лет (до пенсии) кто угодно, совершенный инвалид педагогического дела. «Балл» – это защита и обеспечение бездарности; щит «ничего неделания» на кафедре, как равно это меч обмана на парте (получить бы «три», а предмета можно вовсе не знать). С устраниением баллов, у г-жи Ле-

вицкой – устраниены и экзамены. Оставлены только, в конце каждой трети года, «репетиции», без всякого приготовления к ним учеников. Здесь они упражняются собственно в даче, в формулировании ответов: так как им всем придется держать официальный экзамен. Переводы из класса в класс просто основываются на устной аттестации учителями каждого ученика, об усвоении которым курса предыдущего класса они знают в силу постановки всего дела.

Этот организацию дела достигнуто интересное, живое, наглядное преподавание и вовсе исключена какая-нибудь возможность, – ибо какая польза и нужда, – для самих учеников скрывать свои знания, притворяться знающими более, чем они знают на самом деле. Т. е. отрезаны, на кафедре и на парте, главные и неизбыточные, вездесущие пороки нашей школы.

В школе г-жи Левицкой учителю нечего делать (буквально!), если он не «призванием».

Ученик не обманывает, ибо этим он только обкрадывал бы себя самого.

Затем, конечно, остается и «лень» и «неуспешность», но уже как дефекты способностей, а не характера, как результат состояния здоровья (малокровие мозга и проч.). Вообще здесь нет и не может завестись лень, как *шалость*, как *озорство*, – эта гангрена наших гимназий.

* * *

План г-жи Левицкой, как она мне сообщала, – вывести вовсе школу из города, окружив ее фермами и полным сельским хозяйством, на место огорода и сада, дающих весьма мало упражнения. Хотя все здесь упражнения ведутся совершенно серьезно. Я видел отлично, «до пуха» обработанные учениками и ученицами гряды, засеянные или засаженные основными русскими овощами. Самое соединение полов, как она мне говорила, не должно быть столь тесно, как у нее сейчас: и в семье сестры, вовсе не разделенные от братьев, имеют, однако, «свой час», «свое место», «свой мир» – и эта тонкая степень и разделения и соединения должна быть проведена в школе. По ее мысли, при собственном, а не наемном здании, – соединяясь на уроках, играх и работах, в мастерских и в классах, девочки и мальчики имели бы, однако, особый для каждого пола «свой дом», «свой мир», поэзию то более мужественную, то более женственную. Все это основательно. И вообще педагогическому миру нашему следует очень и очень заглянуть в это оригинальное заведение, плод сильного женского ума и сильного характера.

Например, с 1-го класса здесь введено геометрическое черчение «для развития верности глаза, аккуратности и твердости руки» и как лучшая, наглядная и практическая подготовка к восприятию геометрических истин; напротив, география преподается только со 2-го класса (в казенных гимназиях – с 1-го), и к ней они готовятся элементарными топографическими работами.

– Дети отправляются с учителем в парк с вехами, цепью и угломерным инструментом, разбивают прямые линии, измеряют их и определяют величину углов. Затем измеренные треугольники и отмежеванные участки они наносят на план. Это дает им понятие о масштабе, например одной сажени в

одном дюйме и пр. Дети с чрезвычайной охотой занимаются этими работами, а связью природы и умственных расчетов работа эта действует чрезвычайно развивающе на их ум. С тем вместе это подготавливает их к пониманию, что такое карта, и дает возможность через год приступить к занятиям по географии. Девочки занимаются топографией наряду с мальчиками, зато мальчики с девочками принимают участие в некоторой доле рукоделий: зашить белье, починить платье – это может всегда понадобиться и мужчине.

Из чисто умственных упражнений обращает на себя внимание – в видах развития речи и быстрой сообразительности – введение «дебатов». Предлагается какая-нибудь тема, вопрос, и ученики и ученицы разделяются на две партии или «два возможных решения» данной темы: та сторона будет победительницей, которая докажет «свое решение» и вместе разобьет доводы другой стороны. Следящий за «дебатами» убирает из «прений» все ненужное, побочное или не ведущее к цели. Является аккуратность мысли и воздержанность языка, без чего «прения», – как не могут не почувствовать и дети, – превращаются в хаос, ни к чему не приводят.

Я не могу останавливаться на других сторонах этой школы, столь же «натуральной», как и «гражданской». Физическое здоровье, физическая крепость поставлены здесь в «аз» всего дела. Все остальные цели даже и не начинают преследоваться, пока не достигнута эта. Вообще школа очень «тверда» в направлении. На втором месте поставлено изгнание всяческой лжи и ломанности, гнездящихся в дортуарах, спальнях, детских и в училищах наряду с их спертым воздухом. Наконец, третье и последнее место, как мне показалось, занимает точно выполненная программа предметов. Это составляет наиболее смелую и раскованную сторону всего предприятия г-жи Левицкой; ибо в наших официальных училищах программа представляет до того священное «табу», что здесь малейшей йоты не может изменить не только преподаватель предмета, не только директор гимназии, но и попечитель учебного округа. Посмотрев на глубокое невежество наших гимназистов и студентов, стороннему зрителю или иностранцу и в голову не придет, что все без исключения русские учебные заведения суть «ученые училища», – *только* ученые и *сухо* ученые. Здоровье, нравственность – все принесено в жертву «знанию науки», «от до сих», без пропусков, без сокращений!!! Г-жа Левицкая просто поставила это на третье и последнее место. Это ее самая большая смелость. Только женщина, никогда не «служившая», не носившая «мундира», не робевшая перед «начальством», – как к этому приучена вся наша несчастная мужская половина рода человеческого, – могла решиться на такую отчаянность: создать школу именно для воспитания, а не «для прохождения» программы министерства народного просвещения! О последних, однако, замечу: они менялись каждые 25 лет! Но в том состоит педагогическая магия и самогипноз, что если, напр., в июле «переменилась программа», то в августе все, педагоги, учителя, директора, попечители, от Балтийского до Охотского моря, и сам министр в Петербурге, – непоколебимо убеждены, что, не пройдя этой июльской программы, нельзя и человеком стать; стать гражданином, чем-нибудь. Вместе с тем собственно воспитание представляет-

ся педагогическим сферам столь неосуществимой и недоступной вещью, даже вещь неуловимой и неопределимой, что они просто заменили их «вниманием, прилежанием и поведением», т. е. ранжиром, строем, фронтом внешней выправки. «Если кто имеет вид унылый и молчит – поведения отличного, посвежее ученик – хорошего, веселый – удовлетворительного; если кто имеет свои мысли – поведения посредственного и ненадежен; если имеет фантазию, воображение, творчество – худ, опасен и должен быть поспешнее выгнан». За 25 лет то ученичества, то учительства я видел эту ненаписанную аксиому исполняемою всеми и везде. Огонек в ученике – он гасится, а если ученик – холодный уголек, то вот тут его шлифуют, полируют, всячески холят и берегут.

Опыт г-жи Левицкой очень интересен. Времени ему всего пять лет. Но она справедливо поступит, сделав из него тему целой жизни. Официальному же миру можно заметить: не все ли равно ему пользоваться «соображениями» и «результатами наблюдений» человека, посланного за границу в мундире и взявшего «командировочные» или съездившего туда от себя и на свой счет? Право, в деле именно учения и воспитания правительству давно следует ограничиться просто высшим наблюдением и контролем, да где требуется – механической помощью: предоставив мудрость и поэзию дела частным людям, частным корпорациям, городам, общинам, областям. Это – их дело, миссия их труд, поэзия и, наконец, самовоспитание в серьезных заботах и задачах.

ОДИН ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Из длинной рубрики постановлений, сделанных на «Всероссийском съезде делегатов равноправности женщин», только что состоявшемся в Москве, позволю себе остановиться на одном, касающемся особенно застарелой и особенно болящей язвы общества: так называемых «белых невольниц», «жертв общественного темперамента» и проч. Съезд постановил высказаться «за отмену исключительных законов о проститутках».

Это слишком платонично. Хотя в очень небольшом числе, женщины получили в западноевропейских университетах полное юридическое образование. Отчего эти женщины не остановятся на мысли перевести весь вопрос об «исключительных законах о проститутках» с почвы филантропии и унижительного выпрашивания «милости» на более осязательную почву права, юридического иска? Мне думается, при этой перемене фундамента всего дела, вопрос мог бы быть доведен до «вожделенного окончания» не более как через 2–3 года полемики в повременной печати, статей научных и философских.

Года три назад я получил из одного южнорусского города письмо-рассказ о том, как были захвачены дозором на улице в поздний вечерний час три девушки. Они просто гуляли; может быть, шалили, разговаривали громко, дурачились. Весьма возможно, что имели провожатых, – рабочих с одного двора или мастеровых из соседнего ремесленного заведения. Ни смеха, ни поздних вечерних прогулок по улице я не оправдываю, но не думаю, чтобы

хотя единый судья в мире, хотя единый законодатель в серьезном законодательном учреждении или какой-нибудь человек с совестью – решился высказать, что «прогулка по улице с провожатыми, смех и разговор» составляют уголовное преступление или серьезное гражданское преступление. Просто это «быт», «нравы», «уличная картинка», сюжет беллетриста, а не законодателя.

Письмо-рассказ оканчивалось уведомлением, что все три девушки, получив наутро желтые билеты взамен отобранных у них обыкновенных гражданских, покончили с собою: одна удавилась «от срама», а две от того же отравились. Письмо мною сохранено, и я мог бы его напечатать; словом, – тут нет ни одного слова выдуманного. Если они «от срама отравились», то очевидно, что «срама проституции» они не хотели, что в их намерение не входило делаться проститутками? Кажется, ясно! И кажется, ясно для всякого судьи и законодателя, для всякого гражданина, что они были насильственно обращены в проститутки, что им было навязано или они были насильственно принуждены к взятию этого ремесла в пропитание себе. С тем вместе они были выключены из гражданского состояния, перестали быть гражданками. Так или нет? Вот это и желательно было бы выяснить юридически.

Мне кажется, «гражданского состояния» проститутки не имеют. Это суть государственные профессионалки, обслуживающие нужды армии, флота и «общества», «учащейся молодежи» и пр.; т. е. это суть полупансионерки, полуузицы, но только живущие «на отпуске», на несколько приотпущенном аркане, который потянуть и сократить насколько угодно может тот «дозор», который им выдал «желтые билеты». Какое же это «общегражданское состояние», когда никто такую не возьмет более ни в какое услужение и ни на какую работу? Когда ее не пустят на квартиру ни в какой порядочный дом? Да и, наконец, самая форма билета или паспорта, по коему рассматриваются «права» и «состояние» каждого человека, определяется принадлежность его к «сословию» и пр.; самый этот вид билета не только иного содержания, но и иного цвета, позорного, с коим человека никуда не пустят, – все свидетельствует ясно, что обладатель его утерял свои гражданские права. Такая-то, положим, «мещанка» или «дворянка», получив желтый билет, – сохраняет ли «права» мещанки и дворянки, право вотировать и проч. ? Мне передавал один весьма образованный человек, – чему я отказываюсь поверить, – будто таковая несчастная, раз получив желтый билет, не вправе, кто бы к ней ни обратился, какой бы это ни был пьяный и омерзительный человек, отказать ему в своих специальных услугах?! Не верю, чтобы это было так «по закону»: такого чудовищного закона, мне кажется, не может существовать и не существует.

Но оставляю филантропию и перехожу к юриспруденции. Юристы и обязаны поднять вопрос, может ли в стране, где действуют суд и администрация разных ярусов и компетенции, кто-либо быть «лишен гражданских прав» и «исключен из сословия», с «принудительным зачислением его в ремесло», – без всяких процессуальных судебных форм, без судебного обвинения и выслушания оправдания, без прокурора и защитника? Словом, без всякого, без всякого суда!!! Хорошо известно, и я не протестую, что «сельский сход

может выслать из деревни дурного члена», но это действие коллективной общины, и тут есть разговор, «суждения», слушаются «свидетели» и «очевидцы». Мне думается, на господине министре юстиции лежит священный нравственный долг разобраться в этих вопросах, не обсуждавшихся просто по непривлечению к ним внимания. Но нам, гражданам, решительно несносно видеть, что все-таки наши сестры, пусть очень бедные и несчастливые, пусть, наконец, даже дурные (и мы сами не очень хорошие), в совершенно неопределенном количестве и неизвестно кто и когда вылетают из «гражданского строя», из нашего, позволю сказать, «гражданского братства» (ибо все граждане – братья) без всякого «суда и следствия» над ними, без вмешательства судебного следователя, в учено-беспристрастном приговоре которого не отказано даже убийце, грабителю на большой дороге; фальшивому монетчику, государственному преступнику, даже когда все они суть по рождению из крестьян и мещан, как большинство «взятых в проституцию».

Мне кажется, должно быть поставлено следующее:

1) Желтый билет или вообще «особый этот профессиональный» может быть выдан только по формальному прошению получающего его лица. Ибо в Российской империи «навязанных ремесл», «принудительных работ» иначе как в отбывание наказания по суду не существует и в государственных законах этого не прописано.

2) Государство, охраняя здоровье общества, может подчинять «лиц этого ремесла» особенному медицинскому надзору, но не иначе как по судебному расследованию, в установленных формах: 1) следствия, 2) обвинения и 3) защиты, которые удостоверили нанесение ущерба здоровью кому-нибудь от такого-то лица.

Я не смею предложить 3-го правила, которое мне очень хочется предложить:

3) Так как все дело в охране здоровья, в медицине и санитарии, и так как для государства и отечества решительно все одно, от какого лица таковой «ущерб» получается, то «пол» не должен иметь никакой роли в «выдаче по суду» такового особого билета: его может получить всякая женщина по указанию и доказательству заболевшего от нее мужчины, но равно и мужчина по указанию и доказательству зараженной от него женщины. Это до того элементарно, что об этом не стоило бы и спорить. Все дело – здоровье, польза, и больше ничего. Кто меня убил, мужчина или женщина, – все равно. Я кричу, а суд должен слушать. Женщины так же вправе кричать на «безобразия» кавалеров, ну, скажем, молодых учащихся юристов, медиков, законовевов и членов судебного персонала, как все сии кричат на «нездоровых женщин», и даже кричат: «Смотри, полиция, здорова ли такая-то: я хочу с нею побезобразничать».

И «дозор» слушает! Какое унижение, какая роль полиции! «Ваше благородие, пожалуйста: ручаемся за безопасность». Фу!

Кажется, достаточно назвать этот факт, чтобы выплюнуть его из законодательства или из «специальных полицейских правил» (не знаем, кажется, все «ведомства» в этом «благоустройстве» решились).

Давно пора сознать, что единственное условие сокращения разврата – это чтобы «правительство не гарантировало добротность говара», кстати, – всегда фальшиво: ибо больницы все-таки полны. И чтобы вообще отменена была государственная проституция, чтобы правительство очистило руки от этого добра, распустило своих пансионеров; ибо очевидно – кто надзиратель, тот и заведующий, кто «заведующий» – тот и директор. Это «директорство над проститутками» государству следует вовсе оставить, просто по неприличию всего дела.

Затем, люди рассортируются – поверьте. Будет меньше распущенности, ибо меньше «удостоверения в безопасности», «правительственной бандероли» (= желтый билет), удостоверяющей: «осмотрена и годна». А где она останется, и останется все же в очень большом количестве по случаю «армии, флота и учебных заведений», – там пусть ремесленничают отдельные лица на свой страх и риск, без правительственного запрещения хоть на время прерывать несчастное и унижительное ремесло или не предаваться ему с тем сгущенным усердием, лихорадочной жадностью, каков всякий единственный способ ежедневного пропитания.

Господа юристы, потрудитесь; господа мудрецы, подумайте.

ПОСПЕШНАЯ ПОЛЕМИКА

С поспешностью, достойною лучшего применения, г. С. Бельский в № 151 «Слова» напал и на г-жу Левицкую, и на ее училище, и на меня, начавшего описывать это училище. И все за знаменитое ... «подавление индивидуальности», против которого мною написана целая книга («Сумерки просвещения»), которое составляет азбуку упреков «казенному воспитанию» и уж, конечно, кроме г. Бельского, известно и г-же Левицкой, и мне! Пример «разгильдяйства» в литературе и полемике, в которое не впал бы сотрудник «Слова», пройди он строгие уроки действительно «образцовой школы».

Г-н Бельский ничего не дочитал, да и читанное прочел плохо; а главное – ни к чему не приложил старательного размышления. Заключения его строги:

«По нашему мнению, такая система (как у г-жи Левицкой) пригодна лишь к воспитанию лицемеров и лжецов или тупиц и идиотов...

Чтобы оценить по достоинству эту сторону рекомендуемой системы, поставьте себя на место воспитанника «образцовой» школы и представьте, что буквально каждый шаг, каждый взгляд, движение, даже «самое неуловимое», *контролируются*, получают оценку, *запецаются или разрешаются*».

И т. д., так же грозно и неумно, а главное – так же неосведомленно! Подчеркнутые мною слова, поставленные так, что не читавший моей статьи читатель «Слова» может приписать их мне, может принять их за *содержащиеся в моем описании* школы г-жи Левицкой, представляют сочинение г. С. Бельского; и, ввиду важности предмета и, так сказать, нервности всей этой тонкой и

художественной почвы воспитания, я позволю себе назвать их праздною и опасно клеветною в отношении к делу, весьма обдуманному, культурному и которого вовсе я не один свидетель. «Контроль», «запрещение» и «разрешение» – это, можно сказать, ослы, на которых ехала (и едет) наша несчастная русская педагогика, – конечно, выброшены вон г-жою Левицкою и заменены 1) помощью (детям), 2) убеждением (их) и разъяснением, до свободного и самостоятельного (их, детей) самоубеждения, 3) поощрения в них индивидуальности, а самое главное 4) *само*-обладания, *само*-контроля!.. Когда я переспросил у нее, неужели она и ученикам, перешедшим из первого во второй класс, позволяет без провожатых или старших компаньонов отправляться в провинцию и как она не боится с ними несчастья по дороге, – она ответила: «Да, именно мальчик, перешедший во второй класс, отправился один к родителям в Тамбовскую губернию. Были затруднения: кассир ему не хотел, по малолетству, выдавать билета, а кондуктор уже с билетом не хотел пустить его в вагон. Но он нашелся и попросил пассажира взять ему билет, а другого пассажира – ввести с собою в вагон, как едущего с ним. К этому, к находчивости и настойчивости, они у меня уже приучены. Нет, это пустое – провинция и Россия. Своего сына, когда ему было двенадцать лет, я отправила одного в Лондон, и он поехал, хотя приходилось проезжать часть пути через Германию, а немецкого языка он не знал. Но я знала, что он доедет, – с затруднениями, но доедет. А без затруднений не бывает жизни. – «А если бы несчастье? Ведь могло быть несчастье?» – «От злого человека – нет: он так воспитан и бережется сам везде, где нужно. А несчастье от физических причин, крушения... У меня единственный он сын, и вы понимаете, что значило бы потерять его. Но никакого ропота или отчаяния у меня бы не было, ибо жизнь и смерть приходят не от нас, и их нельзя также приписать случаю; а если мы с радостью и без особенных благодарностей берем рождение и жизнь, то как же должны принять несчастье и смерть»... Признаюсь, я не очень понимал и был смущен. Она проговорила только кратко: «Вы читали стоиков?» – «Я их не люблю и не уважаю», – ответил я. «Это кому как: мне в них многое нравится»...

Но во всяком случае из этих самостоятельных поездок, которые не без подговаривания же практиковали, г. Бельский может убедиться, до какой степени его брань не по адресу. Верим, что это только неосторожность, но просим его взять эту неосторожность назад. Мало ли фантазий есть с педагогикой, еще больше есть шаблонов. Но в труде г-жи Левицкой, как я думаю, мы имеем перед собою нечто действительно удивительное именно по полному и, главное, *успешному* отрицанию и одолению как этих шаблонов, так равно и сантиментальных фантазий. Г-н Бельский впадает в последние, предполагая, что если он своим детям или чужим в училище дозволит «баловаться» с кушаньями за столом, если увидит «родную картинку», как мальчик кричит: «Мама, не хочу каши, а хочу варенья», и «мама» ему положит варенья: «На, милочка, у тебя индивидуальность к варенью», – то в самом деле из таких глупостей вырастет «индивидуальность», «свобода» и «самостоятельность» детей, и потом русских, чуть не гражданская свобода!! Оставьте бредни, ничего, кро-

ме шалопайства, из таких приемов не выйдет, героя из такой «индивидуализации» не вырастет, а Кречинский очень может вырасти. Кречинский или Расплюев – ведь это два положения для одного лица, характера и одного воспитания. Молот и наковальня. Я забыл объяснить читателю, что единственное, на чем основал г. Бельский свои упреки г-же Левицкой, это мое наблюдение: «Никакой психологии и фантазий за обедом не допускается: еда – дело простое, физиологическое и должна совершаться просто и серьезно, как всякая физиология. Положенное на тарелку должно быть все съедено; попросить ученик может еще, но и положенное (конечно, в соответствующем количестве, ведь на то это школа, а не сумасшедший дом!) тоже должен все съесть. Это принцип (ну, или правило, все равно).

Нет баловства за обедом, и только!

«Это инквизиция, мучение детей! – восклицает г. Бельский. – Выйдут идоты, лицемеры» и пр. «Не выйдет индивидуальности».

Так «мама, дай варенья»? Ну, есть много родителей в России, кроме г. Бельского, которые хотят не «варенья или каши, милочка», а серьезной школы. И много их потянется к г-же Левицкой, я уверен. Из любопытнейших ее замечаний я приведу еще одно.

Знаете, всякая наука имеет границы, как и у искусства есть свои пределы. Воспитание потому меня увлекает, что оно, в силу неисчерпаемого разнообразия материала и неожиданных сочетаний человеческого лица и человеческой обстановки, совершенно и нигде не кончается и будет вечно новым, вызывающим на размышление или борьбу. Здесь нет утомления для работника и нет скучного для наблюдения.

Много ли из русских педагогов *творчески* скажут это от себя, т. е. не в качестве читанной или услышанной мысли?

Мне все это неприятно писать, ибо я хотел бы говорить о *школе* г-жи Левицкой, оставляя вовсе в стороне ее самое, до чего никому нет дела и интереса. Но г. Бельский грубым и неумным тоном полемики задел и лица, и может повредить всему делу, которое, кажется, сумеет стать нужным для России.

Е. ПОСЕЛЯНИН. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ И РУССКИЕ ПОДВИЖНИКИ XVIII ВЕКА

С портретами и рисунками. С.-Петербург. 1905. 355 стр.

Книга служит дополнением и продолжением написанной несколько лет назад тем же автором книги: «Русские подвижники XIX века». Оба тома обнимают русскую религиозную жизнь в ее народном и государственно признанном выражении, – насколько она выразилась в замечательных лицах и событиях. Автор многое отрицает, – напр., отрицателен его взгляд на Феофана Прокоповича, но тем тихим отрицанием, которое ни в ком не вызовет бури. Суждения его везде имеют определенный стиль – это стиль

церковно-монашеский, с склонением ко всякого рода затворникам, «юродивым», – вообще людям странного характера. Отсюда огромная известность и популярность автора среди читателей среднего и низшего образования: однако сам он (что далеко не всем известно) человек университетского образования, еще молодой и начитанный в западных литературах. Лежащая перед нами книга полна интересными мелочами или просто рассказанными чертами великой душевной красоты. На стр. 144 и след. повествуется, например, о тамбовском архиерее Пахомие Симанском, который «попавших в подушный оклад за какую-нибудь мелочную вину церковников раздаривал властною рукою в крепость (т. е. в вечное крепостное состояние, и с будущим потомством) своим знакомым помещикам, как своих крепостных». Просто непостижимо: что же именно этот архиерей думал о Евангелии, о Христе и о своем звании и сане?! Но особенно нас тронул подробный рассказ о «затворнице Досифее» Ивановского Московского монастыря, где 25 лет в глубоком одиночестве прожила царственная дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака ее с Разумовским. Мысль цепенеет, усиливаясь представить и объяснить непредставимое и необъяснимое! Внучка Петра Великого, дочь русской из русских царич и кроткого, благородного и скромного отца, в 1785 году она была захвачена на русский корабль и привезена в Россию.

«В Петербурге княжна была представлена императрице. Екатерина долго и откровенно беседовала о смутах последнего времени, пугачевском бунте, истории с самозванной Таракановой (затворница Досифея и была подлинною Таракановою), о том, как легко возникают подобные государственные потрясения, и в заключение объявила, что благо государства требует, чтоб княжна отказалась от мира и провела остаток дней своих в монастыре в строгом уединении. Таракановой было тогда 39 лет. Противиться было немыслимо. Местом заточения ее был избран Московский Ивановский монастырь».

Келья, в которой помещалась она, была сломана только в 1860 г. Она состояла из двух низких сводчатых комнат, с окнами во двор. Окна кельи были постоянно задернуты занавесками. Она не ходила ни в общую церковь, ни в трапезу. Иногда для нее совершалось особое богослужение в маленькой церковке над воротами монастыря, причем она проходила туда тайным ходом, и никого, кроме священника, причетника, игуменьи и самой молящейся княжны, туда не допускалось, и двери церковные бывали заперты. Когда она умерла 4 февраля 1810 г., то главнокомандующий Москвы гр. Гудович, женатый на одной из Разумовских, и вся вельможная Москва явились в полной форме поклониться праху несчастной княжны.

«В монастыре, – повествует г. Е. Поселянин, – есть след высокого происхождения почившей, о котором безмолвствует ее надгробный памятник. Именно, в настоятельских кельях хранится портрет усопшей, напоминающий собою черты ее царственной матери. На обороте портрета надпись: *Принцесса Августина Тараканова, в иноцех Досифея.*

постриженная в Московском Ивановском монастыре, где по многих годах праведной жизни и скончалась. Погребена в Новоспасском монастыре».

Что за судьба! Вот предмет для трагика, повествователя, живописца, и более всего – для музыканта!

НА ПОЧВЕ СТАРОЙ УНИИ

Какая разница между творчеством бюрократическим и представительством, можно уразуметь из судьбы разработанных Комитетом Министров постановлений о свободе вероисповедания. Мы отнеслись к этой реформе с большим сочувствием. Но на практике эта реформа поставила господствующую православную церковь в подчиненное положение католичеству, и притом на такой окраине, как Царство Польское. Почему же на практике эта реформа выявила нежелательные явления? Да просто потому, что она написана в кабинете, по бумажным справкам, никого не спрашивая, ни поляков, ни русских, и не подвергая публичному обсуждению такой большой вопрос. Потолковали промеж себя гг. министры, а канцелярия написала. Как и прежде толковали министры и канцелярия о стеснениях вероисповедания, так же точно и теперь толковали одни министры, а канцелярия писала.

Вчерашняя наша корреспонденция из Холма: «Католическая агитация» – рисует очень печальную картину. Мы знаем, что русская администрация поступала не лучше, когда действовала принуждением относительно униатов. Каголики воспроизводят своими действиями подобные же действия русской администрации, когда она не считалась с вопросом о свободе вероисповедания.

И то и другое – плод полной мертвенности народных и общественных сил, народного и общественного разума и совести и полного хозяйничанья самоуверенного чиновного элемента в недрах души человеческой, в быте городском, сельском и деревенском. Жалобы корреспондента мы принимаем условно: отчего он не кричал, не жаловался, ну хоть в других более мягких терминах, когда «бывших униатов» записывали в «православные», несмотря на их протесты, и отнимали у них католический костел и службу, когда они хотели, по-древнему, посещать их? Теперь он кричит, когда картина внезапно изменилась, и по участию толпы народной видно, что сам народ здесь в точности много перетерпевал в делах веры: и не кричать ему нельзя, и здесь слова его мы хоть и условно, но принимаем в полной силе, ибо картина, им рисуемая, представляет полное безобразие и как государственное явление, и как религиозное явление, и как простой факт этнографического быта. Это что-то из предвестников Варфоломеевской ночи и вместе что-то из быта бурят или самоедов – по дикости в одной части и фанатизму – в другой.

Ни в Саксонии, ни в Баварии, ни в Швейцарии, где живут люди разных вер, невозможны эти средневековые проявления вероисповедного изуверства

просто потому, что народ там сам живет верою, а не за него правительство живет верою; и каждая отрасль населения и веры вышколила все соседние, не сродные вероисповедания и народности в умении относиться к чужому, жить около чужого уже если не в любви, то в деликатности. Но большую часть за невольную деликатностью наступает кой-какая настоящая любовь, кой-какое настоящее уважение, дружелюбие, расположенность.

В образованных русских классах, которые по крайней мере сто лет свободно говорят и спорят в гостиных и частью в печати о вопросах веры, невозможно было бы: 1) ни формальное зачисление против желания, в такую-то рубрику веры, ни, с другой стороны, 2) такие выходки и вообще даже какие бы то ни было выходки католиков против православия. Среди образованных русских, и просто потому, что они образованны и свободны в речи, в убеждении, католики держат себя весьма скромно и учтиво и не пытаются перейти этой черты уравновешенности. Какая же этому причина? Не было здесь никогда кулака и формализма, не было бездушности и обиды. Ответно – не появляется оскорбления и не появляется даже самой тенденции оскорбить. Пример этот укладывается совершенно в параллель с более далекими для нас и потому менее убедительными примерами Саксонии или Швейцарии. Здесь мы можем всмотреться и разобраться. Человек встречается с человеком, гражданин с гражданином, и, как ни различны их веры, общегражданское и общечеловеческое преодолевает это несходство и дает обеим сторонам тот общий мост, где они оба могут стоять с чувством «своего», защищать это «свое» без какой-либо возможности и даже аппетита к насилию. Но в народе? в глухой нашей деревне? при безгласии равно и православных и католиков, теперь – православных, вчера – католиков? Увы, ничего здесь «общегражданского» и «общечеловеческого» не осталось, не зарождалось или не сохранилось. И остаются только кулаки, шпионство, жалобы. Очевидно, надо общегражданское и общечеловеческое ввести даже и в деревню: создать в каждом селе те условия, на почве которых, в частном быту, спорили славянофилы и западники, полемизировали Хомяков и Гагарин (перешедший в католичество). Печальная картина, нарисованная корреспондентом, усиленно призывает представительство народное, т. е. растворение или смешение государственного и общественного. Вопросов, мучительно и страшно поднимаемых корреспондентом, вовсе никак нельзя решить (как надеется корреспондент) в порядке бюрократическом: «позвать урядника и укротить католиков»: ведь это только дожидаться послезавтрашнего дня, когда, может быть, будет еще хуже, мучительнее и опаснее, чем на что он жалуется сегодня. Корреспондент из-за деревень не видит леса, из-за конкретных фактов не видит общей почвы, произраставшей все эти факты. Только общественное, смешавшись с государственным, может войти в каждое село, опросить всякую душу, вскрыть тот мир интимного, на почве которого вырастают самые горькие обиды и раздражаются потом самые грозные бури.

И только общественное, став у кормила законодательства и администрации, по крайней мере получив влияние на них, может дать одной и другой

стороне обещания, которым обе они поверят, дать спорящим и ненавидящим советы и указания, которые они примут как что-то старшее и однородное. Только в свободе и после свободы мы получаем себе настоящее «отечество» в нравственном его значении, т. е. мы получаем что-то старшее и более зрелое над собою, что стоит как нравственный авторитет, а не как юридический авторитет над единичными умами и душами, над православными и католиками. Навсегда, без свободы, русские и поляки останутся только соседями, то удобными, то неудобными, то злыми, то добрыми. Между ними не пробежит нравственных соединительных токов. Только в свободе, самостоятельности, самоуправлении эти токи появятся и сольют соседей в одну русскую семью, пусть разноязычную и разноверную, как Англия и Шотландия или как лютеранские и католические члены единой Германии.

«САМОСУД» И ТЕМНОТА НАРОДНАЯ

Крестьянин Воронков, из Клина, письмо которого помещено у нас в № 10504, есть образованный крестьянин, что видно по ссылке его, с полным и тонким пониманием, на один эпизод из «Преступления и наказания» Достоевского. Тем интереснее выслушать его речь, что она принадлежит, так сказать, обим лагерям, мужицкому и интеллигентному – что ли, хоть нам немножко и претит последнее слово. Он оправдывает «самосуд», ссылаясь, что он есть не только у нас, но и у американцев. Приводит пример горящей деревни и пьяного среди пожара суждения, где, пожалуй, читатель становится на сторону самосуда. Примеры вообще неубедительны. Я приведу ему другой пример, где уральцы-казаки поймали дикого киргиза, «из князей» туземных, разорявшего их конокрадством, которое сии князья-дикари и именуют «рыцарскою барантой» (разбоем). Что же они им сделали?! Воткнув железный от ружья шомпол, куда следует, они стали ему ворочать туда и сюда и, словом, истыкали, прорвали и перевернули все в нем кишки, печенку, почки, желудок. Страшно и для кошки и собаки. Стонал «князь», не сейчас умер. А когда сородичи, куда его «большого» отвезли, спрашивали, отчего он стонет и умирает, на кого он имеет жалобу и вообще – что с ним, то он ничего не сказал: от позора «князю», что над ним «такое» сделали; и вообще от унизости «расправы». «Испортившие» этого человека казаки-уральцы так и знали, что он «промолчит по гордости» и, след., суда не будет. Как вот к такому «самосуду» отнесется крестьянин Воронков? И где постановить границу между «возможным» и «невозможным», «простительным» и «ужасным» в этом явлении, я думаю – сплошь черном, хотя оно практикуется у «просвещенных американцев». Не гораздо ли проще объявить американцев именно в этом отношении «далекими от просвещения»? «Самосуда» не было у греков, а они были довольно просвещены. Не было и у римлян, народа с чувством врожденной законности. Нет в Германии, Англии, – странах, далеких от того, чтобы завидовать наукам и искусствам Соединенных Штатов. Едва ли в нашей народной массе

«самосуд» не является остатком «татарщины», с одной стороны, когда эти татары «без суда судили Русь», и остатком крепостного права, с другой стороны, когда помещики тоже «расправлялись с мужиками без суда и следствия». До сих пор в одной области в семейном быту и праве, законодательством самим оставлен «самосуд»: «потому что это», видите ли, священная область, в которую никто не в праве вмешиваться. Поставлен, видите ли, в алтаре кабак. Самосуд есть именно нравственный кабак, может быть и справедливый в одном случае из десяти, но ужасный в девяти остальных случаях; а главное – где совершенно нельзя ничего разграничить и предвидеть, ничего нельзя предупредить, ибо это «самосуд» и на то он носит свое имя. И революция – «самосуд»: как к ней отнесется крестьянин Воронков, говоря, что «самосуд над мятежниками» дозволителен? На этой почве где же граница? для кого? Узда снимается равно со всех. И если мы против революции как «самосуда», то мы и против «самосуда над революционерами» по той же причине.

Человек не зверь: вот основание для полного и повсеместного отрицания «самосуда». Весьма грустно, что отсутствие повсеместного и мелкого у нас суда, суда, так сказать, уличного и площадного, моментального и вместо одного «предвиденного и формального», словом, – «законного», довело несчастную нашу деревню, наш темный народ, а в конце концов и городскую «голытьбу» до идей и приемов самосуда, где в одном случае разрешается справедливое негодование народное, а в другом случае слышится закулисное подуськивание. Ведь можно как революцию «делать», так «делать» и контрреволюцию. «Не боги горшки обжигают»; это доступно и нижним чинам. «По свистку» подымайтесь – с одного конца улицы красные флаги, с другого конца улицы – «наши молодцы» «черная сотня», что ли. Это, по-нашему, с двух концов развращение «народное». Померк здесь разум народный. Умолкла совесть. Остановилось сердце.

А «самосуд» в делах любви? Где положить конец «самосуду»: ведь от толпы он перейдет к индивидууму; ведь если это будет «право толпы», то и остервеневший человек завизжит: «Это мое право!» – с ножом в руках, занесенным над живым человеком. Суд наш, русский, действительно плоховат и толкает, несчастно толкает, темных людей к самосуду: с невыразимой болью я выслушал от одного кандидата на судебные должности в самом здании Петербургского окружного суда рассказ о том; год или два назад в этом самом красном и несимпатичном здании был вынесен следующий «суд»: зарезал, так-таки и зарезал, сутенер-повеса («красавец», рассказывал мне говоривший) девушку-швейку, заподозрив ее в неверности; сам же жил и с ее подругами; пользовался от нее деньгами. Дело как на бойне, только между людьми. Что же «милостивый суд»? Как и часто у нас: убитую не пожалел, а убийцу пожалел. Я думаю, все от деревянности: деревянные судьи. Так как преступление совершено «в азарте» (да когда же и кто режет не в азарте?! Только на гильотине!), то «виновного и заслуживающего снисхождения» приговорили не к каторге, как бы следовало, по-моему, следовало, а к «арестантским ротам» на три года (могу ошибиться в сроке), да случай еще подошел «под

манifest» – такая была радость по всей России, – и «красавец» посидел не то месяц, не то три месяца в арестантских ротах, и теперь вероятно «любит» новых швеек. Тут вот и понятен такой «самосуд», который ремесленники-отцы, ремесленники-братья совершили недавно в Варшаве над домами терпимости, куда сманивают и затаскивают, частью насильно и официально через систему «желтых билетов», дочерей и сестер несчастной этой голытьбы. Вообще самосуд есть гемное и страшное явление, разыгрывающееся на почве действительной бессудности или слабосудности: и тут повинно во многом государство через ничтожную разработку судебных учреждений, парадно поставленных, а не народно поставленных. Нельзя не обвинить в этом и духовенство наше: ведь «постов» не нарушают в народе, а вот суда – не ждут. Кстати: у молокан, шгундистов, толстовцев – там не слышно о самосуде; и это хорошая параллель к афинянам, римлянам и англичанам. Печально и страшно, что «православные» имеют параллели себе у татар, злых помещиков да погомков американцев-рабовладельцев.

И. И. ЧАРНОМСКАЯ. К ВОПРОСУ О ПОМОЩИ УВЕЧНЫМ ВОИНАМ

С 3 рисунками. СПб., 1905 г.

Тому назад 55 лет в Мюнхене, по инициативе Иоганна Эдлера фон-Курца, начала проводиться богатая последствиями идея: утилизировать оставшуюся способность к труду у калек и уродцев, ставших такими от рождения или по несчастию. Возник, сперва на частные средства, а затем перешел в правительственное учреждение, институт для одноруких, где к настоящему времени окончили курс 422 мальчика и 133 девочки, пошедшие все в работу. Позднее (в 1874 году) возникла в Копенгагене ремесленная школа для калек, где за 31 год существования обучено 775 человек, из которых 145 одноруких. Из них 11 человек стали преподавателями этой школы, 54 остались при ней платными рабочими, но и все остальные нашли себе заработок на частных местах. Затем такие учреждения появились в Норвегии, Швеции и наконец переползли в Россию. В Петербурге при Максимилиановской лечебнице существует 9-й год «Мастерская для обучения калек мастерству и ремеслам». Г-жа Чарномская в брошюре, заглавие которой мы привели, справедливо обращает внимание образованного общества на то, что идея этого учреждения могла бы получить обширное применение именно теперь, когда война наделяет и наделила народ, деревню и город, столькими увечными.

Справедливо она указывает на то, что искалеченность глубоко изменяет самую психологию и самочувствие человека. Здоровый и молодой мужчина отрывается фатально от работы, к которой привык и которую знает, делается только зритель чужих работ, а сам?.. Сам он невольно и фатально переходит в разряд празднично бродящих, праздничношатающихся людей, и это кладет главную

муку на его душу, а через длинный ряд лет это может довести его и до полной ослабленности и моральной расшатанности, связанной с праздным ничегонеделаньем. Таким образом, увечный воин возвращается в крестьянскую семью, в сельское общество не только инвалидом и пансионером около скудного хлеба, в тесной избе, но и, может быть, деморализованным членом, по крайней мере в будущем. И все это – не по абсолютной неспособности к труду, не по безделью, не по болезни, а вот оттого, что у него отнята рука или пальцы!

На рисунках, приложенных к брошюре г-жи Чарномской, показаны фигуры солдата, которому при операции была отрезана вся правая рука до плеча, и с помощью деревянной руки, сгибающейся в локте и прикрепленной искусственным образом к плечу, он получает способность не только держать в руках косу, но и косить ею траву. На конце механической руки находятся взамен пальцев особые подвижные крючки, которые могут крепко держать косу, ложку и проч. На другом рисунке представлен человек, у которого были отморожены и затем отняты все пальцы на обеих руках: он занимается токарным мастерством, держа в каждой руке по предмету. В самом деле, было бы смешно, если бы наука, которая смогла выдумать чудовищные пушки и беспроволочный телеграф, остановилась перед задачей: заменить механическую способность руки, пальцев, ноги. Только «души» не выдумывает наука, а тела, т. е. материальных протяжений и сил, – сколько угодно!

Есть много людей, незанятых и богатых, которые ищут приложения и даров своих, и посланного им судьбою избытка средств. Не можем не указать, что создание и развитие таких мастерских, которые из калеки делают не-калеку, в пансионере и нищем восстанавливают работника, – создание этих мастерских могло бы дать прекрасную пищу всякому доброму таланту. В сущности, в каждом уезде, а уж во всяком случае в каждой губернии должна бы, на средства частные и общественные, городские, земские, быть учреждена такая недорогая учебная мастерская. Тут важен пример и, так сказать, «взаимное обучение». И мы хотели бы, чтобы мастерская при здешней Максимилиановской лечебнице сделалась материнскою мастерскою, т. е. примером и рассадником по ее образцу устроенных школ-мастерских.

К ТОЛКАМ ОБ АМНИСТИИ

«Московск. Вedom.» задаются вопросом об амнистии лиц, подвергшихся по подозрению в политической неблагонадежности разного рода правовым ограничениям, напр. в праве въезда в столицу, выезда из родного города и вообще в праве свободного передвижения и свободного выбора профессии. О таковой амнистии упорно ходят слухи после манифеста 6 августа. Газета, конечно, отвергает нужду и возможность подобной амнистии, говоря, что для нее нет ни одного из двух обычных оснований всякой амнистии. Ее не может быть теперь в смысле чистого царского милосердия, не связанного ни с каки-

ми юридическими соображениями, которое даруется обычно по случаю какого-нибудь радостного события в Царской семье. Такой радости, указывает газета, теперь нет, и нет давно. Ее не может быть и как юридического акта, который с изданием какого-нибудь нового закона, отменяющего прежний закон, естественно прощает нарушителей этого прежнего закона. Но, нам кажется, под эту вторую рубрику может подойти множество лиц, потерпевших правовые ограничения по политическим мотивам. Манифест 6 августа не есть новый закон, но он неизмеримо превосходит обширностью значения всякий отдельный закон, равняется силе многих законов и являет новую законодательную систему.

Само собою разумеется, что множество лиц подверглось правовому ограничению не по решению гражданского или уголовного суда на основании точной статьи закона, а были подвергнуты очень чувствительной каре без всякого суда и закона, по чисто административному усмотрению за такие стремления, за произнесение таких речей и слов, какие становятся позволены, и будут необходимы перед выборами в Государственную Думу, и будут произноситься в самой Думе. Именно непозволительное до 6 августа, и особенно непозволительное в министерство Сипягина или Плеве, считавшееся тогда «преступным», «наказуемым» в административном, а не судебном порядке, стало теперь открыто позволительным. И если мы не наказываем сейчас за такие-то речи, слова, поступки, усилия, пропаганду, то как же продолжать держать в наказании и правоограничении за эти самые слова, сказанные в 1901 или 1902 году?! Амнистия, конечно, должна быть дарована!

Не нужно забывать, что у обвиняемых есть родственники. Что на одного «высланного административным порядком» приходится 2–3, а то и 5–6 человек на местах прежнего их жительства, которые томятся этою высылкою, непрестанно ожидают возвращения своего сына, брата или мужа и, естественно, не могут успокоиться, пока не увидят его среди себя. Амнистия всегда есть успокоение части населения, и успокоение тем обширнее, чем многочисленнее прощенные. Следует иметь в виду, что слухи идут об амнистии лиц за легкие преступления, об отмене только правоограничений, т. е. о возвращении на родину и к семьям лиц, которые и ранее были совершенно мирными гражданами, только «неблагонадежного образа мыслей», а теперь становятся гражданами совершенно позволительного образа мыслей. Напротив, пока они остаются наказанными, родственников их не может не волновать мысль: «За что же они терпят теперь, когда говорится, читается и пишется гораздо большее, нежели за что потерпели они»; и эти родственники не могут не производить своими жалобами, хлопотами и усилиями некоторой агитации в окружающем обществе.

Теперь, когда на окнах книжных магазинов появились продающиеся за 8–10 коп. брошюры: «Программа рабочих» Лассалья и брошюры же социалистов Бебеля и Энгельса, в глазах самого правительства, нисколько не отказавшегося, конечно, от своей власти, разрешать одно и не разрешать другого, – преступное и опасное еще вчера уже не кажется им преступным, ни опасным

сегодня. И полное основание для амнистии вчера осужденных имеется. С 6 августа огромная произошла разница в том, что правительство не считает более ни преступным, ни опасным, ни оскорбительным для себя, если частные русские люди, мирные обыватели, имеют на те же вещи другие взгляды, доказывают их, делятся ими между собою. Просто, правительство наше вошло в формы европейского существования, ничего не потеряв, кроме удушливого азиатского воздуха «со всякими запахами». Реформа 6 августа – это политическая гигиена. Но сколько же людей, задыхаясь в старой азиатщине, зажимая нос от всяческих еще недавних административных ароматов, – по мнению фабрикантов этих запахов, «оскорбляло собою правительство», числилось в «недовольных», высылалось куда следует. Да для 9/10 «политически неблагонадежных» вопрос и состоял именно в даче и получении представительных учреждений, и для всех таких, конечно, настало время амнистии по тем «юридическим соображениям», что «несправедливо держать в наказании людей, нарушивших закон, который само правительство отменило».

СТАРООБРЯДЧЕСТВО, ПРЕДАНИЕ МЕРТВОЕ И ПРЕДАНИЕ ЖИВОЕ

С дарованием веротерпимости все наши церковные вопросы меняют обстановку своего решения. Получилась возможность говорить открытее и яснее о причинах их вековой нерешенности и, может быть, достигнуть первого про света к этому решению.

Боль «клятв», положенных Московским собором 1676 года на старые обряды и на приемлющих их, была всегда главною причиною их против нас озлобления, их непримиримости. Снятие этих клятв они полагали непременною условию всякого настоящего, чистосердечного сближения и единения с нами. «Non possumus»*, – отвечали мы им на католический манер. Так дело и стояло, стояло век с самого начала единоверия, осуществившегося при митрополите Платоне. Единоверие это прозябало, а не действовало. Как же ему было и действовать, когда между двумя станами залегла злоба, проклятие?

«Non possumus» – это, конечно, не жизнь, а только «бытие»; не werden, а sein; не рост, а прозябание. «Растите все, возрастайте, трудитесь, усервешайтесь», – говорит духовная иерархия верующим. Но не может ли иногда прийти на ум верующим: «Да почему мы, Иван, Вера, должны расти, когда вы не растете; трудиться – когда вы не трудитесь? Вы лежите, и мы лежим»...

Почему, в самом деле, «non possumus»? Где корень, где главный нерв неразрешенности и неразрешимости старообрядческого вопроса, в одной строчке выраженный? Вот его основа: «Если церковь (духовная иерархия) признает которое-нибудь из прежних своих решений подлежащим пересмотру и, может быть, отмене, она этим самым допустит мысленно идею возмож-

* «Не можем» (лат.).

ной погрешимости своей в прошлом, будущем и настоящем и покачнет главное, на чем стояла все века, – покачнет идею безгрешности своей». Скажем проще: покачнет *папизм*, папизм в *себе*, – так ненавистный нам на Западе (ибо там «они»), но на Востоке вовсе не ненавистный (ибо это «мы»). Церковь = Христу = «камню Петрову» (духовная иерархия). Уравниений этих невозможно разорвать, не потрясая всего. Вот формула, которая задавила старообрядчество.

Старообрядчество *испугало* духовную иерархию. Не будь старообрядчества, у нас сейчас были бы и поместные соборы, и даже было бы соборно все управление Церкви; возможно, что была бы допущена музыка в храмы, столь действующая, и благотворно действующая, на душу, давно развернулась бы храмовая живопись. Русская церковь за последние два века расцвела бы пропорционально расцветанию у нас поэзии, науки, росту государства. Не было бы разрыва, теперь столь наглядного, между русскою светскою и духовною культурою. Но старообрядчество, как весенним выпавшим снегом, выморозило русскую церковную ниву и остановило рост «хлебов» на ней. Почему? Каким образом?

Было сделано неудачное движение: начавший было кататься на коньках упал и – снял коньки (позволю грубое сравнение, все объясняющее). «Больно – и больше не хочу! Ни за какие награды, ни для какого удовольствия! Даже – ни для какой пользы! Боюсь – и баста». Решение Никона исправить печатные книги – ведь как было просто, разумно, благостно? Ведь это – азбука! Ну, что же читать Пушкина с корректурными ошибками: понятно, их надо исправить, тут и вопроса никакого нет. Но благое (и элементарное) решение это было выполнено с такою неумелостью, другого примера которой мы почти не имеем в истории. Лютеранство – оно какие вопросы души и совести подняло! У нас раскол (всего населения! недр народных!) совершился из-за типографских разночтений: «Исус» (в древности) или «Иисус», «двугубая» (алилуйя) или «трегубая», «шосолонь» (ходить священнику во время литургии) или «навстречу солнца», двумя перстами креститься или – тремя. Это – *самые* коренные вопросы старообрядчества; с их устранением – оно исчезает. Ни *души* тут нет, ни – *спасения*, ни «святости» «греха». Просто – *ничего* нет, одна корректура. Беспременное в истории явление по отсутствию в нем *мысли*, души. Но старообрядцы, оскорбленные высокомерием Никона, который «и разговаривать с мужиками не хотел», – стали вдруг на опаснейшую для церкви позицию: именно ссылку на «предание, которое свято, как и Писание», и на принцип: «Церковь живет и особенно жила руководством Св. Духа, т. е. была, есть и будет непогрешима».

«Non possumus» встретилось с «non possumus» же.

Мы «non possumus» начиная с 1676 года, – говорим мы.

Мы «non possumus» от принятия св. Владимиром крещения и до 1676 года, – говорят старообрядцы.

До собора 1676 года был знаменитый Стоглавый собор, на который, как на фундамент свой, вечно опираются раскольники. Многие из постановлений

гого собора (касательно практики христианской жизни и обрядов церкви) были отменены и осуждены собором 1676 года (где присутствовали и греческие иерархи). Но если «подлежали пересмотру и отмене» хоть какие-нибудь постановления Стоглавого, то отчего такому же пересмотру не могут подлежать и постановления собора 1676 года?

Все дело стало до такой степени неловко, неудобно, все пришло в такое «неустойчивое равновесие», в котором одно движение – и все рассыплется.

Нужно вздуматься в почву, на которую стали старообрядцы. Нужно не воспринять только звук «предание», спорить об его имени: нужно вздуматься в психологию его. И тогда, может быть, что-нибудь станет видно.

Предание есть действительно не «кое-что» в церкви, а *вся* церковь. Со словом Божиим в руках поднялся Лютер и опрокинул (для северной половины Европы) папство. Дело в том, что хотя обыкновенно и ставятся уравнения: Христос = церковь = духовная иерархия (связанная таинством священства), но для каждого, кто только раскроет Евангелие, до последней степени очевидно станет, как много преданием церковным отменено даже из прямых слов Христа. Возьму пример из области, над которою мне приходилось особенно подробно думать и где я могу быть поэтому особенно уверен. Христос *запретил* пост для брачашихся. «Для гостей чертога брачного *отменяется* пост», – сказал Он. И как одушевленно сказано, с какой поэзией, любовью к миру и к людям! Но посмотрите, как у нас в последнее воскресенье перед Масленой торопятся венчаться – ибо у нас ради поста отменяется чертог брачный. Здесь мы стали в упор против Христа, против самого очевидного, читаемого в каждом экземпляре Евангелия, слова Его. Прямо не поверили Христу; сказали: «Не нужно» о слове Его. Страшно ли нам от этого? Нимало! И потому, что мы сплошь и уже тысячу лет это делали, а «вместе» никогда не страшно. «Я – с Сергием Радонежским, с Николаем Угодником, со свв. Филиппом и Алексеем, я *во всяком случае* спасен с таким сонмом людей великих, святых, героев духа и правды; я – *в предании церковном*, и вот почему я непременно спасен. Слово же Христа можно растолковать и в другом смысле, обратитесь к книгам».

Мало кто обращал внимания, что некоторые из церковных песнопений (икосов и кондаков) неправильно (не по тексту Евангелия, а наоборот) говорят о событиях из жизни Христа, упоминают места или времена Его чудотворений*. И ничего. Привыкли. «Мы все вместе, и уже 1000 лет», – и нам просто не приходит в голову, не нужно о чем-нибудь справиться, потому что «вместе» и «1000 лет» мы наверное спасены, хотя бы кой-что и не «по ученому» делали, не справясь даже и с Евангелием. А попробуйте-ка теперь *«по ученому»* ука-

* Напр., в неделю Ваий на утрени поется: «Днесь Христос входит в град *Вифанию*, на жребяти седаяй», между тем вход на осляти был не в Вифанию, а в Иерусалим. Или на литии поется: «Прежде шести дней бытия Пасхи прииде Иисус в Вифанию, воззвати умерша четверодневна Лазаря и проповедати воскресение». Между тем за шесть дней до Пасхи, на Вифанской вечери, Мария, сестра Лазаря, помазала миром Спасителя, и Лазарь вместе с другими возлежал с Ним не только не мертвый, но и не больной (Иоанна. XII гл.)

зять на все эти недочеты «предания», ну, например, хоть потребовать бракосочетаний в пост! Попробуйте-ка, на основании непрерываемого слова ап. Павла: «Епископ *должен быть* единые жены муж» потребовать, сообразно англиканской церкви, семейных архиереев! В лице вашем вдруг выдвинется голова Лютера и лютеранства, Пашкова и пашковцев, штундистов и баптистов. Баптисты... но ведь они просто указывают на пример Христа, крестившегося 30-ти лет, и говорят: «Хотим подражать Христу». Но им за такое «подражание Христу» весьма просто указывали на Суздальскую крепость.

Между тем в 1676 году мы, хоть на один час, сошли действительно и неосторожно с престола «предания» и захотели судить «по-ученому, по-книжному, по-настоящему». Захотели «предание вчера» исправить «преданием третьего дня», заместить «perfectum» церкви «plussquamperfectum»⁷ом ее. Но ведь и Лютер восстанавливал «апостольский век» без «последующих наслоений». Все дело именно в «наслоениях», *которые росли, были живы* (и как это хорошо!), даже и к Евангелию не относились «по-ученому»: и воистину, не придерживаясь «буквы» Христа, лучше этим самым выразили дух Его, дух добрый, простой, несвязанный («благодать» евангельская, «свобода» во Христе, объявленная апостолом Павлом). Разворачивая этот знаменитый принцип «предания», обоняя аромат его, мы замечаем, что из него именно, а не откуда-нибудь еще, церковь и взяла весь свой великолепный блеск, вся им позолотилась, вся им согрелась, превратившись в чудовищный (в смысле огромности, а не порицания) животный организм, решительно давящий глубиной и жизненностью своею и скороспешные построения философии, и даже точную науку. На вопрос, с кем русский народ захотел бы остаться, избрав *которое-нибудь одно*: с профессорами или священниками, с университетами или с храмами, он ответил бы: «С попами! Не трожь попов! *С ними нам тепло*». Вот этого «тепло» не сможет сказать о себе наука и философия, даже поэзия (вековечно не может сказать). А «теплота»-то эта вся и идет от «предания». Можно сказать, оно образвало жилы, кости, «тело», живое и чудное тело церкви: без него – одна схема христианства, «текст» евангельский, на коем выросли по одну сторону святые, по другую – Бауер, Штраус и проч. Ведь все Евангелие читали!

В «предании»-то и выразилась свобода христианская (ее парафраз: «*vox populi – vox Dei*»*) и «благодать Христова» (теплота). Люди решали по сердцу; и никогда дети (последующие поколения) не восставали против родителей, а шли после родителей дальше, куда шли, да не дошли родители. Но есть предание живое, и есть предание мертвое. До 1676 г. у нас было предание живое, т. е. где imperfectum не походило на perfectum, а perfectum на plusquamperfectum, и все три не отрицали futurum. С 1676 г. вдруг все запечаталось, остановилось. Испугались «главы» церкви. Чего? *Старообрядцы оперлись на «предание».* Победить их можно бы (и можно) только «живым преданием», не только не смущаясь их криков и критики, но продолжая и дальше жить и творить, –

* Глас народа – глас Божий (лат.).

переходя от *imperfectum* церкви к ее *futurum*. Старообрядчество потеряло бы материк под собою (на котором теперь стоит), видя, что все течет, все движется, все час от часу к лучшему, к совершенному, к *Божьему*. «А где же *предание*?» – спросили бы они. «А в этом, миленькие, и *предание*, чтобы *течь*: после Никейского собора собирался Халкедонский, после Халкедонского Трульский. При шести соборах епископы были женатые, но седьмой собор им запретил жениться – и вот они у нас, как и у вас, неженатые. Все течет, все к лучшему, все ближе к Богу: ибо Бог дал человеку душу живую, а не вложил в него камень с надписанием Иисус» (раскольничье начертание). Раскольники, старообрядцы увидели бы, что они просто висят на воздухе, что никакого у них основания нет: что если они за Стоглавый собор против собора 1676 г., то зато они с безбрачием епископов стоят ровно против шести Вселенских соборов и, между прочим, против того, на котором был составлен Символ веры. На вопрос: «Где предание» – следует ответить: «Везде». В каждом веке, в каждой стране – «свое», «миленькое», «тепленькое», о коем «живы и движемся». Само собою разумеется, при этом взгляде на предание как на *universus* церкви, дух ее, свободу ее, благодать в ней, – и специальное их предание, примыкающее к Стоглавому собору, вошло бы, как «крылышко» херувима входит, в целостный «клик» его. «Вы за Аввакума? – Праведный был человек, великого жития и страсотерпения. Во святые не можем его возвести, а в блаженные, блаженненькие – можем, как чтим и у католиков блаженного Иеронима, не прямо, а боковым образом чтим». Конечно, к Аввакуму, «житие» которого издано покойным Н. С. Тихонововым, и его, вне сомнения, с удивлением и восхищением читает множество преподавателей семинарий и академий, – правильно приложим термин: «блаженный», «праведный».

Живое предание, как океан-море, включило бы и поглотило бы собою старообрядчество, и оно растаяло бы в православии, не имея, так сказать, берегов для себя, упоров для вод своих. Но с 1676 г. все стало на мертвую точку: предание стало истолковываться как принцип «от буквы до буквы», просто как зубрячка, как выученный наизусть урок, в котором ученик ничего не упускает прежде всего потому, что он вовсе ничего в этом не понимает. Иерархия после 1676 г. под влиянием ислуга (старообрядчества) стала буквально на их же точку зрения: «ни йоты больше, ни шага далее, а то возникнет еще секта, и народ русский рассыплется». Но вот поразительно: именно со времени, как решились «не изменять более ни буквы», сектантство и секты на Руси, отделения и отделения, распад и распад начали расти как грибы – неудержимо, чуть не каждое десятилетие по новой секте. Ведь русских сект теперь положительно *исчислить* нельзя! Да откуда все это? Да ведь «душа образует тело» (по Аристотелю): без души углерод, кислород, водород, входящие в тело, теряют связь между собою, отделяются друг от друга и возвращаются в свободное состояние, к стихиям природным. То же вот совершается и с русским народом на религиозной почве. «Святыня предания», воздушная, универсальная, теплая, согревающая, превратилась в «документальный отчет» о

предании, в буквоедство, в науку без учености и в философию без мудрости. «Так *было* – и баста; так постановлено – и *кончено*»; «положены клятвы в 1676 г., и хотя Христос завещал со креста: благословляйте клянущих вас, любите ненавидящих вас; но нам ни до Него и ни до чего нет дела: мы испуганы и лежим в судороге страха от этих Аввакумов, Денисовых, Селивановых и целого сонма на нас восставших».

Но «судорога» – не душа. Кто боится и больше ничего не умеет, как только бояться, – тот не живет. «Кислород» и «азот» русского тела полетели в разные стороны.

Старообрядчество давно было бы побеждено, рассеялось бы само как дым, если бы оно с самого же начала было включено в себя церковь как допустимый и любимый вариант «предания», как местное и временное, что захотело – пусть по капризу человеческому – остаться вечным. Это как «знаменский распевец», который существует среди других, ничему не мешая, ничем не теснимый. Отмена клятв 1676 г. (для чего требуется созвать только новый церковный собор, равнозначный собору 1676 г., т. е. с участием греческих иерархов и с участием новых, южнославянских) есть дело совершенно краткого времени, не представляющее никакого затруднения. Нужно только нам отречься от идеи папизма в себе, этой идеи непогрешимости, которая на Западе сосредоточена в единоличном решении, а у нас приурочена к решениям коллективным. Хотя уж если чему быть непогрешимым, то, конечно, скорее единоличному вдохновению (вдохновение не может быть коллективным), нежели длительному собранию многих, где стороны не соглашались, одни были побеждены и победили – другие и, словом, где имеются документально засвидетельствованные черты обыкновенного спора хотя бы и важных особ, хотя бы людей праведных наконец, но, однако, людей. Вспомним Златоуста и его слово об ап. Павле: «Хотя и Павел был, но – человек». И мы, применяя это слово, можем повторить: «Хотя и собор был в 1676 г., но не из ангелов он состоял. Иерархи *совещались* на нем между собою; русские *искали помощи* у греков, иначе для чего бы и вызывали их? А когда приехали греки, они не одним им дали совещаться, а с ними сами решали дело. И так обои опирались друг на друга, искали взаимного усиления, как немощные, как споспособные погрешать. Да и каждый вообще собор всегда искал собраться в возможно большем числе членов. Зачем бы при вдохновении? Этот авторитет, почерпающий свою обширность из численности членов, уже не носит санкцию непременной и во всяком случае святости. Итак, о соборе 1676 г. не будем больше думать теперь, чем думали тогда; не станем придавать ему особенностей, которых члены его сами себе не придавали. Воздадим им должное – собрав равнозначный собор. Но не отречемся же собрать его, опасаясь нарушить какую-то святость, непогрешимость, божественность. Ибо только одно Божие слово, а не какое-либо человечество, свято и ненаруσιμο; но зато оно само себя всегда и оправдывает, принося плоды, и всегда благие, и никогда злых или двусмысленных. Наш же раскол есть очевидно злой плод, который не мог вырасти на добром корне».

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РЕФОРМА

<Правительственное сообщение от 26 августа>

Правительственное сообщение от 26 августа, почти накануне обычного начала занятий в высших учебных заведениях, дает надежду на то, что наконец-то будет введена в свое нормальное русло жизнь высшей школы в России, столь потрясенная и искаженная за последние годы, а в эту зиму и совершенно остановившаяся. Нельзя рассматривать это явление иначе, как горе для всей России, которая отягощена горестями и помимо школы, и как глубокое расстройство, внесенное в тысячи отдельных русских семейств. Отсрочка или отмена занятий в учебном заведении – это удлинение срока учения для юноши и девушки на год, т. е. отдаление на год их трудоспособности и, следовательно, лишний год труда, легший или положенный на старые плечи родителей. В одной семье это переносится легче, в другой труднее, и есть семьи, где это вовсе непосильно для родителей больных и дряхлых. Нет сомнения, что год отмены занятий в учебных заведениях для очень многих молодых людей практически свелся к перспективе жизненного труда в более низшем ярусе общественного положения, чем к какому они предназначали себя и действительно к нему способны. В отдельных случаях, в изолированных семьях, которые промолчат о себе, это горе, без сомнения, отразилось уже самым жгучим, нестерпимым образом. Министерству народного просвещения следовало, не созывая долгих комиссий, каковых было уже достаточно много созываемо в предыдущие годы, этой же весной дать решительные и ясные преобразования университетского строя, которые умирогворили бы и учащихся и учащийся персонал высших учебных заведений. И это было вполне возможно, так как учебный вопрос и в разных комиссиях, и в печати обсуждался постоянно и собственно все в нем доведено до ясности.

Свобода преподавания, самостоятельность профессорской корпорации, обеспечение за нею административно-педагогического авторитета, – вот простые пожелания, к удовлетворению или неудовлетворению которых свелось все дело. Что такое директор гимназии, ректор университета или важный чиновник департамента министерства народного просвещения? Увы, все люди сделаны из одного теста, с примесью разницы таланта и образования. Эта «разница» почти всегда лежит плюсом у солидного и пожилого профессора университета сравнительно с каким угодно департаментским чиновником. С точки зрения государственной, с точки зрения исторической какая была выгода, даже какая была простая возможность ставить ум, опыт и дар управления у чиновника которого-нибудь из петербургских департаментов непременно выше, чем дар, опыт и ум казанского или харьковского профессора?! Само собою разумеется, что если бы не несчастная и чисто отвлеченная идея централизации, то правительство давным-давно остановилось бы на мысли даровать университетам и вообще высшим учебным заведениям возможно большие права самоуправления и внутреннего суда. Лучших управителей и судей оно не имеет в Петербурге, не имеет в своих канцеляриях, уже по тому одному, что университет есть общий резервуар, откуда черпают все канцелярии и

черпает Петербург. Странно думать, что студент, сегодня поступивший на гражданскую службу и завтра получающий известный чин, будет почему-то умнее судить и «правительственнее» рассуждать, нежели его старый учитель-профессор, да к тому же и ровно такой же человек, как он! Мы все забываем, и чуть ли не забыло само министерство народного просвещения, что профессора служат у него на службе и что они уже суть чиновники или даже сановники, только сверх этого очень ученые, начитанные и вместе тихие кабинетные люди. Почему университеты с 2–3 тысячами студентов не предоставят их управлению, не возложат вполне на их руководство? Если земский начальник судит и управляет почти безотчетно 2 тысячами мужиков, т. е. все-таки граждан, и семьянинов, то отчего 70–100 человек магистров и докторов решительно всех человеческих наук не могут судить и управлять двумя-тремя тысячами молодых людей, которых они могут знать поименно и нужды и интересы которых слишком определены, узки и сравнительно легко удовлетворимы?!

Правительственное сообщение совершенно ясно и твердо говорит о «предоставлении коллегиям профессоров возможной самостоятельности в деле управления каждым высшим учебным заведением, в руководстве учебным в нем строем и в охранении правильного и спокойного течения академической жизни». Это все, что нужно, что требовалось и из-за чего шел спор. Прискорбных учебных событий прошлого года не было бы, если бы жизнь учебных заведений уже давным-давно не получала совершенно ненужных раздражений и возбуждений со стороны, то из Петербурга, то от попечительских канцелярий, то в виде мелочной придирчивости к какому-нибудь профессору, то в виде малопонятной, а то так и совсем бессмысленной возни с каким-нибудь неугомонным студентом. Все студенческие истории рождались из совершенного сора, из упорной чьей-нибудь неуступчивости, из властолюбия и притязательности какого-нибудь чиновника, мнящего себя сановником, и, словом, из мелочей, вовремя не потушенных и разгоравшихся в большой пожар, видный для всей России, смущающий всю Россию. Учебная жизнь у нас решительно исковеркана. И решительно пора в ней прийти с мерами быстрыми, здравыми, думая о благе отечества и забыв чванливость отдельных мундиров. Побольше государственной мудрости, поменьше чиновной мелочности.

Во всяком случае правительственное сообщение об университетской реформе нельзя не признать актом высокого значения для умиротворения нашей академической жизни. Реформа, как мы уже отметили выше, объявлена на началах внутреннего самоуправления университетов с предоставлением профессорским коллегиям самостоятельности в деле управления вообще и в особенности в руководстве учебным строем и охранении правильного и спокойного течения академической жизни. Таким образом, правительство приняло ту самую программу университетской реформы, за которую высказались советы университетов и которая переносит тяжесть университетского вопроса с учебной «бюрократии» на профессорские корпорации.

Нельзя, конечно, ожидать, что возвещенная реформа обладает чудодейственной силою сразу водворить вожделенный мир и порядок в глубоко потре-

сенной и расстроеной академической жизни. Профессорским коллегиям потребуется приложить немало усилий, чтобы на еще дымящемся пепелище старого порядка создать новый порядок вещей, достаточно крепкий, чтобы внушить к себе доверие и воссоздать тот высший авторитет, который своею внутренней силою подчинил бы себе взбодороженную, выбитую из колеи, утратившую дисциплину молодежь. На все это нужно время, нужны усилия и – что всего важнее – нужны большой такт и серьезные творческие силы в профессорской среде, которой при столь неблагоприятных условиях предстоит возродить академическую жизнь и ввести ее в спокойное русло. Но за всем тем объявленная реформа, при настоящих обстоятельствах, дает наиболее удобный выход из того невозможного положения, к которому пришли наши университеты и все другие высшие учебные заведения при прежнем порядке, опиравшемся исключительно на внешний авторитет. Как бы ни были слабы профессорские корпорации, обесиленные долгими годами этого прежнего порядка, но все-таки они обнимают собою высший интеллект страны, и как ни мало проявлялось их влияние в ходе и направлении академической жизни, но в обществе не умерла мысль о том, что именно им должна принадлежать руководящая и направляющая роль в этой жизни. Общественные же настроения, как справедливо отмечено в сегодняшнем правительственном сообщении, весьма сильно отражаются и в настроении учащейся молодежи. Поэтому введение в строй высшей школы столь популярного у нас начала профессорской автономии должно встретить сочувственный прием не только со стороны учащихся, но и со стороны учащихся, а это и есть важнейшее условие успеха реформы, иначе говоря, – достижения того желанного умиротворения академической жизни, ради которого предпринята реформа.

Немного государственных задач имеют большую важность, чем эта – восстановить нормальное отправление нашей высшей школы. Неудачные попытки осуществить эту задачу мерами административного характера очень ее осложнили. Но хотелось бы верить, что избранный ныне путь к разрешению этой настоятельной задачи мерами совершенно иного характера окажется настолько счастливым, что и самые трудности задачи будут преодолены.

РУССКОЕ СЕКТАНТСТВО КАК ТРИ КОЛОРИТА РУССКОЙ ЦЕРКОВНОСТИ

«Секты» русские... Ищут их «корней»... Как животные делятся на «млекопитающих», «птиц», «амфибий» и пр., так секты русские можно разделить на три огромных «семейства» (с дальнейшими подразделениями на роды и виды):

- 1) старообрядчество,
- 2) хлыстовщина и скопчество,
- 3) штунда.

Первое есть совершенно точное и *неумолимое* применение «предания», в том недвижимом виде, как и у нас оно установилось с 1676 года.

Где оно живет как кость, а не нерв; как форма, а не теплота; как ученость, а не любовь.

Хлыстовство есть (в исходной точке) чистосердечно поверенное и универсально примененное девство. Это есть мужицкая форма аскетизма; около «уставного», строгого и спокойного монашества оно стоит в таком же положении, удалении и отношении, как вольное и беспорядочное казачество около регулярной и дисциплинированной армии.

Штунда есть «Piter» вместо «Петр», каковое наименование уже любил подписывать на бумагах и письмах Петр Великий. «Из немцев мудрость, у них все доделано, у нас – все недоделано; они сыты, чистоплотны, благочестивы (пиетизм, прозелитизм протестантский); ставлю поэтому в избу у себя портрет немецкого кайзера и читаю Евангелие». Тут, можно сказать, не умирал Феофан Прокопович. И штунда только еще дальше пошла по дороге «гигиенических забот о теле и духе», каковые заботы ведь составляют главный предмет и официальной озабоченности духовенства с тех пор, как оно потеряло движение в целостном церковном строе. «Нельзя переменять молитв, канонов; все уже кончено, остановилось: остается только лично преуспевать в трезвости, просвещении и пр.». Штунда – это есть универсально приложенная и напоенная одушевлением «церковно-приходская школа» и «общество трезвенников»; как хлыстовство есть поэзия, восторг «безбрачия»; а старообрядчество – жестокий эшафот предания, «от сих пор и до сих – не далее».

Как побороть это? Миссионеры наши, в неизмеримой своей наивности (отнюдь не предполагаю здесь лукавства), прибегают: 1) ко всей аргументации штундистов, когда борются со старообрядцами, 2) ко всем доводам старообрядчества, когда борются против штундизма и вообще против рационалистов протестантского пошиба, 3) против хлыстов они черпают весь арсенал защиты брака, какой, напр., мною дан в книге: «В мире неясного и нерешенного», а когда надо победить, напр., Розанова и обличить заблуждения его, они повторяют все аргументы хлыстов (за девство, против брака). Все это идет у них, конечно, без всякого успеха, но и крайне вяло. Мне случалось бывать в обществе (светских) миссионеров. Хорошие люди, ничего худого от них я не имел (и даже вообразить не умею). Но не могу забыть часа одиннадцатого, двенадцатого ночи, когда целая группа их, торопливо прерывая горячий наш богословский спор, захлопали меня по плечу, указывая на лесенку (были именины): «Там наверху – одна комнатка; шума (от гостей) не слышно, не откажитесь по ма-а-ленькой (в преферанс). До того я запомнил это: «по ма-а-ленькой». Добрый русский народ. Никогда инквизиции не заведем; чуть-чуть около ее краешка походим – и плюнем.

Но если бы представить себе, что во главе борьбы с расколом стали не «миссионеры на жалованье», не боковые ветви церкви, а она вся двинулась бы для победы над ним, то что же случилось бы?! Будьте зорки, и вы увидите сейчас, что за эти два века все таланты русские (в духовной среде) как бы разделялись на три же категории, и именно по характеру трех «столпов» русского сектанства: одни уходили в точную неумолимость буквы, другие – в

поэзию девства, отшельничества, «юродства» жизни и биографии, трети – в разумную и благочестивую личную жизнь, в заботы административные около церкви. Все светское чиновничество нашего духовного ведомства состоит из не опознавших себя, только не конфессиональных, а лишь по духу одному, штундистов; как и обильное введение в дела духовные светских чиновников, исполнителных, аккуратных, «непьющих и не беруших взятки» (два качества, очень и очень бывшие за «духовными»), а главное – трудолюбивых с утра до ночи, – есть общий метод Петра Великого, есть «Peter» вместо «Петр», кафтан вместо «ферязи», т. е. в большом объеме, в громадном масштабе все это тот же «Kaiser Wilhelm и Евангелие» в беленькой, мазанной известью, избенке хохла-штундиста. «Утомило все русское: перевернусь на немецкий бок». Если Феофан Прокопович есть в своем роде штундист до штундизма, то в величавом, обрядовом, недвижимом образе Филарета (московского) мы узнаем «все благолепие древности», перед святынею коего пало и старообрядчество, и решило «уж лучше быть совсем без Бога» (глухая «нетовщина» и вообще самые темные секты, в которые выродилось старообрядчество, сперва лишённое таинств и иерархии, а затем и «все порешившее»), чем хотя что-нибудь изменить в этом древнем великолепии. Приведу один пример, чтобы показать, что Филарет ни на йоту не отступал от «устоев» старообрядчества. Поразил он меня при чтении «Жизни и трудов Погодина» г. Барсукова. Был в царствование императора Николая I такой случай: один из представителей высших наших аристократических родов влюбился в двоюродную сестру и ею также был любим, – конечно, безнадежно. Шли годы, и ни один не женился, ни другая не выходила замуж. Император был сострадателен и принял на себя «грех» или смелость: разрешив брак, канонически невозможный, и дав дипломатическое поручение новобрачному, выслал его из России с воспрещением когда-либо возвращаться. Сейчас я не помню тома, в котором это записано, но когда лет пять назад спросил Н. П. Барсукова: может ли он, в случае нужной справки для подтверждения, вспомнить об этом случае, то он сейчас же назвал мне том и страницу. Так что я не выдумываю. Было это в роде Шереметевых или Голицыных; да и не в точных деталях факта важность, не в именах и годе, а в его общем очерке и в том, что факт этот был и совершился в Москве. Тогда Филарет не снес этого и решил отказаться совсем от митрополии. Он написал прошение Государю об увольнении его «на покой»: и что это было серьезно, душевно, а вовсе не «разговоры» одни или не эффектная выходка, видно из того, что написанное прошение он, будучи вообще нерешителен в сношениях с высочайшими особами, не решился подать. Но в бумагах владыки сохранилось «прошение», и Барсуков его напечатал. До сих пор Филарет великолепен как Филарет; но вот сейчас он станет смешон как Аввакум и «страдальцы Соловецкой обители», не принявшие Никоновых книг и выдержавшие целую осаду от войск Алексея Михайловича: почему же, будучи избран на митрополию, не уперся он с таким же упорством перед вхождением на святительский престол, сказав, что душе его смердит развращение москвичей и до тех пор он не станет у них пастырем, пока не закроют

они все у себя «домы блудилищные» (выражение Библии)? Вот разительное сравнение, открывающее всю глубину нашего всеобщего «старообрядчества». Единичный брак двоюродных, но противоречащий Евангелию, совершенно одобряемый Библиею, одобряемый в практике целою половиною христианской Европы, расходится «с местным и временным» (не от начала идущим) преданием Восточной церкви; это – то же как Стоглавый собор; и это единичное счастье двух молодых и невинных людей возмутило его более, чем все в Москве «веселые дома». Почему это не разница «Исуса» от «Иисуса»; и его отставка, чуть-чуть не совершившаяся, почему не то же, как и упорство последователей бр. Денисовых, предпочитавших сгореть, чем совершать литургию «против солнца». В этом поступке как живое встало наше старообрядчество, с его глухотой к нравственной стороне жизни, с его «антиштундизмом» – формулирую дело так. Как штундисты-чиновники теснят и, между прочим, теснили самого Филарета, все его старообрядчество, столь глухое ко всякому требованию жизни, к очищению жизни, к улучшению нравов, – так Филарет всюду, где мог, теснил штундизм жизни, мораль без догмы, благочестие без обряда, пожалуй, более ему ненавистное, чем нечестие! «Нарушили стари-ну», – жаловался Филарет на Протасова, отобравшего, положим, семинарии в ведение своей канцелярии; «Ах, эта старина! – докладывал штундист Протасов кому следует, – носа утереть не умеют, обворовались, как Соловей-Разбойник, сгноили в голоде, холоде, беспризорности семинаристов, а все очи воздеют к небу и читают *Исусову молитву*» (обычно старообрядцы читают ее при ревизиях; состоит только в словах: «Господи Иисусе, помилуй нас»).

* * *

Таким образом, рванись миссия горячо и гениально к делу восстановления «православной целостности русского народа», и она уже не три категории мнений почувствовала бы *против себя*, а сама стала бы *троиться* в три разные... «характера»: 1) просвещенно-штундистский (Феофан Прокопович, все почти обер-прокуроры Синода), 2) столповой-суздальский (Аввакум, Филарет) и 3) ...но третий-то разряд и особенно любопытен.

Здесь надо говорить и языком другим: нежным, любовным, благодатным, братским. Когда приходилось мне читать выдержки из трудов или очерк жизни покойного о. Феодора Бухарева, я все думал: «На *кого* это похоже? а на кого-то ведь *похоже!*» Да похоже, я думаю, и на странного жителя лесов, Серафима Саровского, и на Амвросия Оптинского! а еще, пожалуй, больше походит на Алексея Божия человека! Но это все «жития», и мы их только читаем, а живого образа перед собою не видим. Не поражена ли, не удивлена ли вся Россия наших дней появлением чудного священника, которому доступно многое, что недоступно никому из смертных, и прежде всего – разительное влияние на душу присутствующих. «Преображает человека». Но всмотримся в него самого. Он не блистает умом, как Филарет; посредственной учености; но шепот: «Это – святой» – несетя за ним. Однако, может быть, это отшельник, угрюмый постник, нелюдим? «С мытарями ем и пью», – может

повторить о себе слова Христа. Вечно на людях, на народе; да, вечно в движении, в каком движении!! В его годы люди хилы, согбенны, а он, по крайней мере в некоторые времена, точно еще молодая женщина. Несмотря на седьмой десяток лет, в жизни я не слышал, чтобы кто-нибудь назвал его «стариком», «старцем». Как-то даже странно его представить себе спящим, лежащим и отдыхающим. Точно он весь в бодрости, бессонности, неутомимости, в полете. Еще немного-немного, еще развития в эту же сторону: и вот, кажется, человек полетит, без крыл, одною душою. Ибо душа = дух, воздух, какой наполняет и перья птиц (отчего они и летают): и почему бы душе не расширяться так в человеке, что тело его вдруг отделится от земли, станет подыматься-подыматься, и все обратится «в полет». Священник, о котором говорю, не «расхаживает», не «шагает»: начало полета, намек полета удивительно выражен в его движении. Точно его земля не держит, не удерживает, не имеет силы сделать крепким себе. Я нарочно не называю имени, а, однако, по одному моему описанию всякий узнает, о каком чудном священнике я говорю; никто не усомнится, что я говорю не о Филарете и не о штундисте-чиновнике, а о третьей категории «святости на Руси». Имя всякий назовет за этим воздухообразным очерком, за этим соединением пламени, воздуха и света. Диву дается русский народ; бегут толпами за ним; целуют края одежды, целуют землю, на которую он ступил, сиденье, на котором посидел он; платок, полотенце, вещь, побывавшую в руках у него, разрывают на части и эти «частицы» берегут, как реликвии: слишком известное явление из третьей секты! «Живой бог между нами!» – это не формулируется еще, но сумма отношений к факту именно такова, как в этой формуле; да чуть ли и не происходили случаи даже этой формулы: «небо сошло на землю», «явился чудный, невиданный человек», «христос», только с маленькой буквы, не тот самый, который умер при Понтии Пилате, но подобный, близкий, также чудотворец, «ангел во плоти». И движение, и волна движения около обыкновенного священника, всего только «протоиерея», действительно прямо чудесная и чудотворная. «Живой бог» затмил значением своим, смыслом, привязанностью к нему народа всех митрополитов, всю официальную духовную власть, весь «синклит» священный; и – докончу характеристику его отзывом о явлении этом покойного митрополита Иоанникия, одного из виднейших наших иерархов за последнюю четверть века: увидя волнующуюся толпу на улице в Киеве по поводу приезда «любимого батюшки», он спросил:

– Что это? – И, услышав имя, около которого волновались люди, промолвил презрительно:

– Психопатия какая-то, болезнь*.

Полный очерк, не только в зерне, но и во внешнем к зерну отношении, – знаменитой нашей секты, которую никто ни понять не умеет, ни объяснить, ни найти ей аналогии или исторического для нее основания. Между тем основание это в «юродстве» души человеческой, первоначальном и неистреби-

* Передано мне очевидцем-миссионером, бывшим о ту пору в Киеве.

мом, по которому она сегодня нормальна, завтра нормальна, еще десять дней нормальна, а на одиннадцатый вдруг выходит из берегов и начинает что-то «чудотворить» и все затоплять своею красотой, силой, могуществом, являясь прямо «небом на земле», «богом» или «божественным», «священником» и «священным» (настоящее основание, психологическое, и «тайнства священства» в церкви) среди обыкновенных светских и земных вещей. На этом-то «юрдстве» как мировом факте, на реальном присутствии «живого чуда» среди «мертвых не чудес», на основании этих еще от сложения мира «христов» и «богородиц», конечно не тех исторических, какие были при Понтии Пилате, но «в том роде и духе», и основан вообще мировой факт религии. Как будто, явись ну, напр., Алексей Божий человек, Франциск Ассизский, Иоанн Кронштадтский, – явись они в тех самых фактах своей биографии, лица и успеха, какие мы знаем, но только где-нибудь в пустыне, в девственной стране, «до начала религии и культуры»: и будто бы они не начали новой религии, «писанья» и «закона» нравственности?!

«Христос воскрес (опять, вторично, в новый раз пришел), Христос воскрес, Христос воскрес»: этим трижды повторяемым причитаньем начинаются все письма, записочки, беседы членов знаменитой нашей секты верующих в «бесконечную (по числу раз) воплощаемость Бога в человеках», «неба на земле»; секты, которая не имеет ни «ratio», ни «предания», а вечно группируется около «живого, найденного бога» и, в сущности, – ему поклоняется. Чрезмерный факт, чудовищный, «неписуемый в книги в историю церкви», говорят о нем исследователи нашего сектантства; и, однако, все черты этого факта, все к нему подготовительные ступени, всю его психику (или «патологию»), зарю его утреннюю мы находим в официальнейшем, «знаменитейшем» явлении духовной русской жизни за последнюю четверть века, на которое «радуются не нарадуются». Но ведь и последователи «христов» и «богородиц» тоже «радуются не нарадуются» на то, что они субъективно, в себе и про себя в своем упоении ощущают. «Мать сыра-земля не держит нас – несемся к небу». И все юно, девственно, восторженно, упоенно у них. «Блажененькие», – говорит народ; миссионеры, поглядывая, задумываются о Суздальском монастыре.

Я хочу сказать, что раз двинулась бы наша церковь восторженно, упоенно к истреблению «сект», – то и в ней самой живее, чем теперь, зашевелились бы «три души», – сейчас дремлющие, но от века заложенные в нее, точнее, – в психику русского человека: 1) ratio, «пиэтизм», «упорядоченность жизни и нравов» (штунда); 2) поклонение чужеродному, «не моему и не сегодняшнему факту», а мне показанному издалека, исчужа, принесенному ну хоть из Византии, но, главное, непременно не моему («предание», староверие, «старопечатность»); 3) «юрдство» правды сейчас, восторг души к Богу, личный, субъективный («хлыстовство» – «христовство»). И вот отчего этих «душ» своих не может победить теперешний эклектический духовный наш строй, являющийся конгломерат всех трех душ, уместившихся на острие иголки (схоластический термин), пока они дремлют. Мирно трудится «пиэтист-чиновник», и не подозревая, как много в нем «евангелической штунды» юга; чуть-чуть

хмуρο посматривает он на Филарета, бормоча про себя: «ханжа», когда тот его самого определил как «неверующего», «безбожника». Но оба не ссорятся, «православные». И оба пожинают плоды какого-нибудь «чуда исцеления» на таком-то источнике воды, около такого-то «камня»: о чем всем ученые говорят: «Только недостает нимф и русалок: тут ни Христа, ни Евангелия нет; это какое-то финское явление, шаманство, атавизм, болезнь, это – язычество темного народа, восставшее под новыми покровами».

И вот отчего наши секты не побеждены и едва ли победимы. Они носят более яркого колорита платья: но тех самых цветов, которые любимы и официально.

Так, есть «кричащие», резкие, безвкусные деревенские цвета; и нежные «линялые» городские.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РЕФОРМА

<Высочайший указ 27 августа>

«Временные правила», дарованные Высочайшим указом 27 августа университетам и другим параллельным высшим учебным заведениям, в своих трех параграфах содержит план будущего управления высшей школы. Конечно, управление – еще не жизнь. Канцелярия – не аудитория. «Временные правила», к сожалению, ничего не говорят собственно о студенческой жизни, быте, занятиях. Они проходят молчанием студенческие организации, о которых так много было толковано и которые по нашей вечной нерешительности так и остались в стадии благих намерений. Между тем как хорошо было бы одновременно и решительно дать организацию и студенчеству, и профессуре. Верхний этаж пока висит на воздухе или, точнее, опирается на совершенно хаотическую грудку разбитого кирпича и щебня. Такой хаос представляет собою фундамент и почва университета – студенчество. Они вполне не упорядочены. Но остановимся на том, что дано.

Положительное и доброе качество «Временных правил» мы усматриваем в краткости, решительности и принципиальности. Они суть в настоящем смысле этого слова «принципы» учебно-академической жизни, а вовсе не «правила»: ибо не содержат в себе обычного указания процессуальных форм и, словом, не регламентируют до мелочей самый ход будущей учебной и ученой, студенческой и профессорской жизни и деятельности. Всегдашний недостаток издаваемых у нас «правил» и законов заключается в самой несносной путанице в подробностях; в попытке вот в таком-то году и месяце, когда издается закон, усмотреть из Петербурга все подробности, положим, университетской жизни в Казани или Харькове за десять-двадцать лет вперед; усмотреть и направить их в твердо установленное русло. Точно «правила» или законы давались и даются у нас малолетним людям, которые сами не в силах будут справиться ни с какою трудностью, не сумеют найтись ни в каком выходящем чуть-чуть из нормы положении. Эти попытки «прозреть вдаль»

из Петербурга вели за собою необыкновенную сложность правил, – такую сложность, что профессора университета или учителя гимназии, толкуя целым советом параграфы «Устава» или позднейшие инструкции, не всегда могли согласиться в понимании их смысла, ссорились, спорили и обращались в нерешительности в Петербург за «дополнительными разъяснениями». Все это порождало такую медленность, запутанность и трудность управления, которые на месте, в Казани или Харькове, отражались застоєм дел, накоплением чиновных бумаг и затянutosью на месяцы и годы самого пустого вопроса или ничтожного инцидента, что действовало раздражающе на преподавателей, на учащихся, на родителей их и, наконец, на целое городское общество. Давно пора у нас в органическом, постоянном законе давать только принципы, а формы и процессы их осуществления предоставлять вырабатывать на местах, местным людям, применительно к особенностям каждого города и каждого года.

Вся университетская у нас жизнь была положительно расстроена тем, что состав профессоров не был солидарен с ректором, не ими выбранным, и относился к распоряжениям его и особенно к распоряжениям попечителя и министра касательно университета с тайным недоброжелательством или ирониею, которые переходили и в явную насмешку. Студенты, профессора, ректор с инспекторами, попечитель и вдали министр – все это было вполне разрозненно и апатично, если не враждебно друг другу, все было вполне проникнуто неуважительными чувствами одно к другому. Более всего терпели в этой бессмысленной системе студенты и наука, а люди науки, профессора, деканы и ректор, втягивались, засасывались в какую-то тину непостижимого бумажного крючкотворства. Лекции невольно отходили на второй план даже у профессоров и, естественно, отошли на третий, если не на десятый план у студентов.

Само собою разумеется, что возрождения университетов только и возможно ожидать на почве восстановления солидарности, единства и взаимного уважения действующих там сил, т. е. студенчества, профессорской кафедры и ректорского управления. Конечно, давным-давно можно было дать университетам то, чем они пользовались непрерываемо и всемирно еще со средних веков, с сегоднего основания: полную автономию ученой и учебной жизни, полную самостоятельность своего внутреннего управления. Профессор, пока он оставался только «ответственным перед министром чиновником», был во всегдашней и непрременной оппозиции со своим «начальством», как решительно все и везде чиновники. Заинтересован ли он был в спокойствии и безмятежности университетской жизни? Нисколько. Волнуются или не волнуются студенты – что ему в этом? Это пусть улаживают хозяева университета, петербургские чиновники, попечитель округа, министр, ректор: «ну, и пусть их улаживают», думает безучастный и посторонний этому профессор. Он как квартирант в доме; так поставлен. И невозможно же на него негодовать, зачем он не имеет психологии заботливого, бережливого, осторожного хозяина дома. Совершенно будет обратно, если крошечная дробь затруднительной роли попечителя и министра будет передана ему; если неприятное положение «не справившегося с молодежью» правительственного

лица упадет на него, ударит по его авторитету и самолюбию. «Вы, господа профессора, не справились», «выбранный вами ректор оказался бестактным и неумелым человеком», «вы, профессора, распустили студентов», «вы повели их излишне строго», «вы не заинтересовываете их наукою», «вам дали свободу преподавания, а вы читаете лекции бездарно и скучно» – всякий понимает, до чего эти речи, кроме которых нечего и услышать, нет придирки ни о чем говорить и ни к чему придираться, заставят всех профессоров подтянуться, оглядеться, начать взвешивать свои слова в аудитории, и взвешивать свое отношение к студентам. Непостижимо, как эта простая и ясная как день мысль не пришла давным-давно на ум Петербургу. Совершенно очевидно, что чем более «правительственной», правящей власти, чем более властительного авторитета дано ректору, профессорам и вообще их «ученой коллегии», чем щепетильнее почитатель и министр отстранились от вмешательства во внутренний распорядок университетской жизни, тем более ученые люди, преподаватели, деканы и ректор проникнутся тем осторожным и строгим духом, какой вообще присущ «правительственным лицам». Ведь не родились эти последние такими, какими мы их видим: их сделало такими их положение «правительственное», т. е. ответственное, жуткое, опасливое в сторону всякого беспокойства, шума, волнения. Что же было, ректора и профессоров сажать на какую-то парту школьников, чуть не сажать в карцер за «вольный дух» и, словом, третиловать из Петербурга как недорослей и мальчиков, назначая, смещая и так и иначе комбинируя, наказывая, награждая. Нельзя сердиться, что в школьном положении они себя и вели, иногда и некоторые, как школьники. Давно на них было пора надеть мундир и эполеты: т. е. дать им не шитое сукно, которое еще ничего не значит, но одеть их в мундир, как власть, т. е. предоставить им власть, авторитет, достоинство сана и сановности. Все это – не по форме, не по статуту, что еще ничего не значит; что пока есть декорация и комедия, а дать им существо власти, т. е. самостоятельность, и существо сана, т. е. право повелевать; дать все это на деле и в делах, дать серьезно и торжественно!

Они хотели управлять сами? Пожалуйте.

Будьте уверены, в год-два колючих, жестких опытов люди эти станут неузнаваемы и весь дух наших университетов будет неузнаваемый. Нужно только иметь терпение, нужно не прерывать этого поучительного опыта и тяжелой науки «управления», за которую отныне засядет профессорский персонал.

К УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РЕФОРМЕ

Умиротворяющая сила новых университетских правил сказалась с быстротой, какой нельзя было ожидать: очевидно, что отсутствие самостоятельности профессорской коллегии стояло постоянным раздражителем перед студенчеством, дразнило его, как красное сукно быка. Не уважался учитель, и в этом видели себя оскорбленными ученики. 1-го же сентября было по телефону сообщено из Москвы:

«Заседание совета профессоров для выбора ректора состоится завтра. Студенты между тем массами вносят плату за слушание лекций. Никогда еще не было такого огромного поступления платы в первые дни, и это объясняется благоприятным влиянием закона об университетской автономии».

Конечно, и объяснить нечем, так как еще накануне публикации новых правил не только было неизвестно, возобновятся ли занятия в высших школах, но почти было известно, что они не возобновятся. И вот, не сговариваясь, лично и разрозненно, в первый же день, как стали известны правила, студенчество повалило к дверям университета, удостоверив в желании возобновить занятия самым ощутительным и достоверным образом – взносом платы за слушание лекций. И действительно, немедленно появилось следующее сообщение:

«Одновременно с совещанием профессоров происходило собрание студентов, на котором решено приступить к занятиям. Это решение благоприятно повлияло на большинство студентов».

Появились, с призывом к возобновлению занятий, статьи в «Русск. Ведом.»; органе московских профессоров. И все это – не вяло, все с одушевлением, а одушевление одного человека, одушевление где-нибудь поднимает сердца в том же направлении и кругом. Чем можно было добиться этой умиротворяющей волны? Ничем. Никакая репрессия, никакое «заставление», понуждение, угроза, «лишение прав», отнятие у профессоров жалованья и пр. и пр. не дала бы того результата, какой дала мера прямо обратная: поверить, уважить человека и группу людей, согласиться с их настойчивым желанием, отнюдь не опасным, не разрушительным, не нарушающим никаких прав, хоть кой-кому и неприятным. «Неприятно» в Петербурге, зато «приятно» в Москве; «неприятно» в департаменте, зато «приятно» в университете. Что такое за привилегия на «получение приятностей» непременно в департаментах, в высоких комиссиях, у людей большого чина и жалованья. Их и без того Бог наградил. Надо и маленьким людям кой-какой «приятности».

На съезде делегатов от Академического союза, бывшем в последних числах августа в Москве, упомянуто было в одной из речей о заботах министерства о «сохранении и соблюдении в университетах *наружного* порядка», к чему за последние годы сводилась в сущности вся политика в отношении университетов. «Как бы не было шума и волнения; а остальное как-нибудь». Не чувствуется ли в таком отношении не только страшный *внутренний* беспорядок, но и прямо разгром, буря над всем учебным делом. Ведь это в своем роде «всеобщая забастовка», идущая и дошедшая даже до конца – сверху! Если весь нерв дела, идеал, полная удовлетворенность заключается в «тишине и порядке», то уже зачем же и собирать молодых людей и ученых мужей в таком количестве в одном месте? «Распустить их по домам», разогнать «толпу», раз в университете как самая сущность дела усматривается «шумящая толпа». Очевидно, глубочайший *внутренний беспорядок*, полная анархия дела заключалась в этом воззрении на университет, которое приняло побочное и

неважное в нем за главное, за все. «Не шумели бы»... Ну, а занятия. наука, блеск преподавания, ученый авторитет, имена профессоров, с уважением произносимые и за границей? Ученые труды и участие в ученых экспедициях? «Ну, что это? К чему нам? Есть – хорошо, а нет – не плачем». В самом деле, какой ущерб для департамента, что, напр., русские не участвовали и не произвели сами ни единой экспедиции и ни единой раскопки в исторических странах Древнего Востока, в Египте, в Финикии, в Месопотамии, Персии? Ни одной. Никакого участия. Нет даже кафедры в университетах, посвященной этим предметам, тогда как на Западе это есть великая по успехам и занимательнейшая по результатам страница науки XIX века. Только г-жа Рагозина написала единственную популярную историю этих стран и сделала описание открытий в них. Кто она такая? профессор? в каких отношениях находится с министерством нар. просвещения? – *Вольный человек!* И вот мы видим очень *дельную* сторону в опубликованных дебатах по поводу предположения основать «вольный университет»: что там могли бы получить начало многие кафедры, т. е. преподавание многих наук, которых в университетах вовсе не читается. Ведь наши университеты именно в составе своих кафедр и в «утвержденном плане преподавания» (программа государственных экзаменов) есть буквально недоросль, который тащится где-то на задворках европейской науки и вечно повторяет «зады», да и «зады-то» не полные, а растерянные.

В «департаменте» народного просвещения этого вовсе не видно; просто – не интересно это. Ему все время интересно было, говоря аллегорически, выдран ли за уши такой-то студент, говоривший такую-то речь на сходке, или такой-то профессор, подпускающий «вольный дух» в лекции. И вся эта катавасия с «неблагоденными» профессорами и студентами, с визгами и свистами, с одной стороны, с распускаемой в аудиториях зловонной жидкостью и, с другой – с «арестами» и «высылкой на место жительства» до того противна, до того не отвечает духу и существу университетов, до того для них уничижительна и оскорбительна, что сердце падает при мысли об этом. Просто – нет университета. Есть какая-то вечно разгоняемая и все-таки неразогнанная сходка. «Пожалуйста, разъезжайтесь по домам», «мы не хотим разъезжаться, а останемся здесь»: вот к какой «борьбе атлетов» свелся храм науки. И нельзя не заметить, что придирка, инициатива такого «переворота вещей» идет сверху, откуда высклевывается, высматривается, выслеживается «беспорядок». Ну, а уж кто долго смотрит в одну точку – непременно увидит там «зловещее пятно» или «чертиков»; да и есть такой идеал «порядка», такая мера его, что никакой живой шевелящийся предмет не удовлетворит требованию «покоя»...

Вне сомнения, сама по себе «ученая коллегия» профессоров уже самым выбором себе жизненного занятия доказала и вечно доказывает, что она есть тихая из тихих, спокойная из спокойных. Шум или волнение, всякая буря до того не сродни университету в его верхнем, преподающем слое, что, когда она там раздражается, она всегда бывает занесена извне или каким-нибудь царапающим, частным инцидентом, или «общим положением страны»; но и это

«общее положение» все же получает в профессуре наименее острое отражение сравнительно с другими группами граждан, и притом преимущественно свою культурную, а не едко-политическую сторону. Это так очевидно! Это до того невольно! Против этого говорит только предрассудок!!

Самым выбором себе науки как содержания и интереса жизни профессура доказывает свою вечную «благонамеренность», но только в культурном и образованном смысле, в смысле историческом и философском, а не полицейском. Эту «благонамеренность» хорошего и честного гражданства и некоторой мудрости государству давно пора зачислить в «плюсы» своего существования, скорее холить и беречь ее, прямо даже нежить ее, а отнюдь не стеснять, не мучить, не придирааться, не подозревать и вполне доверчиво, свободным голосом, обращенным к свободным людям, верить ее попечению подрастающее поколение. И не бойтесь инцидентов, случаев, «шипов» около «розы». Всякие «случаи» пройдут. Опаснее общая испорченность почвы, зараженность воздуха, болота: таковые-то мы прошли, промучившись в них весь XIX век. Но, слава Богу, вылезли из него или вылезаем.

1200 ОТКАЗОВ В ЖЕНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ

Из 1400 прошений о принятии, поданных в Петербургский женский медицинский институт, получили удовлетворение менее 200, и более 1200 получили отказ за недостатком свободных вакансий. Говорят, что в стенах института разыгрались самые горестные сцены: девушки из бедных семей, которые все сделали и, наконец, потребовали у семей своих немало материальных жертв, чтобы подготовиться к институту, навзрыд плакали, получив фатальный, непредвиденный и ничем лично ими не вызванный отказ. Для них это прежде всего материальное разорение.

– Нет стула. Нет места в аудитории.

И нет одного лишнего врача в России. И одна личная судьба, разбита, или исковеркана.

Ведет ли начальством института по крайней мере личный список таковым, получившим отказ, чтобы принять их первыми в следующем году? Впрочем, которых принять? Если годовой прием равен 200 слушательницам, а получило отказ 1200, то ведь придется ждать одним год, другим два и, наконец, последним четыре и пять лет: и то при условии, если институт совершенно закроет свои двери для новеньких и молоденьких учениц, только что окончивших гимназический курс. Что-то чудовищное! Так очевидно нельзя оставаться!

Не мог ли бы министр народного просвещения принять экстренную быструю меру, чтобы в этом же году, в эту осень дать возможность приступить к научным занятиям получившим отказ в Петербурге 1200 девушкам и женщинам, попросив, напр., Высочайшее разрешение на открытие для них медицинского факультета Юрьевского университета или других, немногочисленных.

непереполненных? Перед такою слезною нуждою и перед таким – позволим сказать себе – административно-учебным безобразием что значит грубый и пошлый предрассудок о невозможности в одной аудитории сидеть мужчинам и женщинам? Как будто в церкви, на улице, в магазинах, да и ведь везде решительно, они не бывают вместе?! Как будто всюду решительно, кроме класса и аудитории, мы не имеем смешанной толпы, в которой решительно никаких безобразий от этого не происходит?! Никто не видал: ни полиция, ни самый строгий пурист! Слепой, решительно слепой, необъяснимый предрассудок: и из-за него льются слезы! И русские мужики гниют в болезнях, бабы дохнут, мрут дети. Вот видите ли: «Опасно, если 24-летняя женщина будет сидеть неподалеку от 28-летнего мужчины». Да в протестантских и католических церквях «сидят же» они рядом или близко?! Предоставим родителям и мужьям охранять своих дочерей и жен: ну, к чему тут забота и страх начальства?! К чему он тут?!

Вот, с первого же шага, в первую неделю заседаний Государственной Думе надо толкнуть эту запертую дверь учебных заведений перед стучащеюся в нее русскою молодежью обоего пола. Нужно дать прямой распорядительный акт: чтобы когда не хватает места в одних аудиториях, напр., женских, то чтобы сейчас в эту меру, хотя временно «впредь до открытия и приспособления», открывались аудитории мужские. Потому что ни в каком случае и ни по каким основаниям не должен быть наносим ущерб личности, личному существованию, личной судьбе, личному интересу по явному недосмотру или медлительности работы в учреждениях государственных. Это в своем роде параграф «habeas corpus», член в символе «естественного права». Государство оберегает себя и свой интерес от индивидуальной воли, оберегает повелительно, иногда сурово, случается даже – жестоко: позвольте же уравнивать чашу весов и сказать, что частный человек, каждый русский гражданин имеет право столь же повелительно потребовать, чтобы никакая его выгода, им честно заработанная (напр., подготовка к слушанию курса в высшем учебном заведении), не может получить ущерба от недеятельности или нерасторопности государства. Suum cuique.

В газетах печаталось, что при одной смене военного министра было асигновано на переезд (с одной улицы Петербурга на другую) по 10 000 руб. Один выезжает – ему 10 000 руб., другой въезжает – ему тоже 10 000 руб. «Восточное наместничество», уже после потери Востока, все еще получало жалованье «по штату». Значит, у России денег много! Значит, казна богата, страшно богата. А значит, и министр народного просвещения имеет все фундаменты предъявить требования на постройку новых лабораторий, аудиторий и анатомического театра, напр., для женского медицинского института в Москве. Ей-ей, ведь против этого только одно суеверие, старое как могила и противное как могила: «Зачем женщинам учиться? Учатся в Петербурге, зачем же еще в Москве? Дурь! Дебош!» – Как будто не образованнейшая из русских женщин, баронесса Эдита Раден, – женщина придворная и протестантского воспитания, т. е. без русского «нигилизма», – писала еще в конце 70-х и начале

80-х годов, что рабочая нужда женщин, поиски их за хлебом насущным кидают даже кончивших курс в женских институтах «благородных девиц» скрывать свой диплом и наниматься... в прислуги!! И как будто не Александр III, вняв этой нужде, этому горю и отчаянию женщин, повелел дать женскому образованию в гимназиях и институтах более утилитарное, кормящее хлебом, направление. Но у нас и после криков бар. Раден, после распоряжения Александра III все еще отвечают целой тысяче девушек, стучащихся в двери медицинского института: «Нет мест! А учиться совместно с мужчинами вам неприлично; в Москве же не открываем института по высшим соображениям, до которых вам нет дела».

Полноте – просто лень. А деньги просто тратятся на «командировочные» и «квартирные» важных персон, из которых «песок сыплется», и они никому не нужны. А работающие около мужиков и баб женщины и девушки пригодились бы России.

Государственной Думе надо будет об этом решительно и быстро «подумать»...

К ВОПРОСУ О ПРИХОДЕ

Есть идеи, по-видимому, благовидные, во всяком случае незаметные или мало заметные в зле своем, которые умерщвляют жизнь как незаметный же микроб. Немножко лени, немножко преднамеренного и досадливого нежелания двинуться вперед, наконец, вечное самодовольство фарисея: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как вон тот мытарь», и еще вокруг этих сереньких или темненьких мотивов прекрасный литературный стиль и всероссийская репутация – и, смотришь, красноречивый и добродетельный человек задавил самое правое, самое кровное, самое нужное движение... В статье, во многих отношениях замечательной, свящ. Силина («Богословский Вестник», сентябрь), посвященной предположениям о восстановлении древнего прихода, приведено, между прочим, мнение о таковом восстановлении покойного С. А. Рачинского, известного педагога и до некоторой степени инициатора церковно-приходской школы. Сам Рачинский близко стоял к сферам, от которых исключительно зависело восстановление нормальной жизни прихода: и в строках его мы можем найти объяснение, отчего восстановление прихода в древнем его значении встречало себе неодолимое препятствие. Вот рассуждение Рачинского:

«Предвижу, что читатель, даже сочувствующий общему смыслу моих предположений (о школе), возразит мне, что они неосуществимы, пока наш приход не получил более правильной организации, более определенных прав относительно выбора своих пастырей и внутреннего управления. Признаюсь, что не могу стать на эту точку зрения, хотя и не отвергаю ее относительной справедливости (как мягко! – *В.Р.*). Дело в том, что в этом случае, как во многих других, расширению наших прав, по крайнему моему разумению, должен

бы предшествовать дружный приступ к исполнению наших обязанностей. Все ли сделано в наших приходах, что возможно при настоящих условиях? Сделано ли хотя что-нибудь? Где те признаки оживления нашей приходской деятельности, которые указывали бы на необходимость для нее большего простора? Увы, мы живем среди пустых рамок и, не думая их наполнять нашей деятельностью, жалуемся на их тесноту и требуем их расширения. Никакая организация, как бы она ни была совершенна, не может создать организма (?!), не может создать жизни (?), а всякая жизненная деятельность неминуемо создаст органы ей свойственные, ей необходимые. Будем же хлопотать о первом, а второе приложится нам. Всякая общественная деятельность складается из личных усилий, возбуждающих и поддерживающих друг друга. За отсутствием этих личных свободных починов, всякая организация является усыпляющей ложью или мертвящим насилием» («Сельская школа», 4-е издание, стр. 53–54).

Итак, «организм» и «жизнь» не рождаются из организма же, а возникают от какой-то «деятельности», неизвестно где и как происходящей. Это пишет ботаник, знакомый, конечно, и с зоологиею. Для чего потребовалось, – употребим его слова, – это «мертвящее насилие над истиною и усыпляющая ложь»? Кого надо усыпить? Совесть. Совесть и свою, и миллионов добрых русских людей, которые не могли же смотреть без некоторого изумления, что, в то время как в пользу церковно-приходских школ теснились и министерские, и земские, и, словом, казалось, все приносится в жертву оживлению у нас церковной жизни, – азбука этого оживления, церковно-приходская жизнь, почему-то не только не получает себе импульса, но ее всячески задерживают и прямо «кладут под сукно». Что такое? Откуда тормоз? Да ведь церковно-приходские школы были «в своих руках»: духовенство и чиновники духовного ведомства одни касались их. Приходилось, ради прихода, разжать кулак – и поделиться оживлением, деятельностью, заботами и кой-какими правами с прихожанами, мирянами, мещанами, мужиками, купцами, офицерами, чиновниками других ведомств, не «своего» уже. И «десница» скупой и неумолимо ждалась. Именно – неумолимо... Пришлось бы советоваться, объяснять свои мотивы; пришлось бы духовным лицам разъяснять и убеждать своих прихожан, чиновникам духовного ведомства – опять прихожан же, когда до сих пор была только нетрудная обязанность приказывать и наказывать за непослушание! Десница скупой ждалась; но прочитайте красноречивые объяснения – и скупость вам никак не придет на ум. Такой хороший слог... «Трудитесь вы, частные люди, наполняйте отведенный вам простор своею деятельностью!» Да чего наполнять? Кажется, переполнено! Ведь не на капиталы духовного ведомства, не на значительные монастырские суммы построены и сельские, и городские, да даже и монастырские храмы, а все на копеечку, все на пятаки, которые «кладут, кладут прохожие» на оловянную тарелку разных Власов. Поразительно, что все храмы на Руси воздвигнуты прямо на народные гроши, на протонародные, и что этот народ, мужики и Власы, не имеют

никакого права коснуться до управления этими храмами, до хозяйства в них, не могут позвать сюда трезвого и бескорыстного священника вместо «назначенного» им нетрезвого и корыстолюбивого или равнодушного к службе! Это – в храме, буквально народом выстроенном! Единственный вид собственности, который «отчуждается» от собственника и строителя, как только он довел постройку до возделенного купола и креста. «Крест есть? Все кончено? Готово?» – «Готово». – «Теперь, господа строители, отходите прочь: вещь наша. Мы ее освятим. А вы в праздник пожалуйте в гости».

– Аккуратно посещайте в праздник храм Божий, – приговаривает и Рачинский.

Да зачем приговаривать? И на паперти, и даже на улице – везде стоит народ в храмах по праздникам, до тесноты, до давки. Совершенно непонятно, какую еще «пустоту наполнить своею деятельностью» требовал Рачинский. Ведь что же еще мирянам осталось и оставлено, кроме как 1) построить церковь, 2) ходить к обедне, 3) исполнять все требы под страхом уголовной ответственности? Все и исполняют. На эту ревность народную, на этот пыл души неужели нельзя было ну хоть чуточку, хоть мизинчик отодвинуть из зажатой длани и дать свободно дохнуть тем Власам, которые уже верили никак не меньше, чем Рачинский? Да и что за святые там чиновники в «своем ведомстве», что за праведники секретари и столоначальники в консисториях, что им «вверить все можно», а деревенским Сидорам и Петрам «ничего доверить нельзя». Себя, конечно, всегда любим. Себя и свое. Себя и своих. Но это так в просторечии и зовется эгоизмом, и зачем же тут поднимать глаза к небу и говорить, что это все «для Господа»? Грустно. А так красноречиво...

Вот одна из хороших иллюстраций давнего вопроса и спора: что важнее, личное усовершенствование или улучшение общих условий жизни? Рачинский оправдал недеятельность, косность и, наконец, запрет на церковное движение ссылкой на этот вечный рецепт «душеспасения»: «Усовершенствуйтесь вы, Иван, Марья, и все вам приложится». – «А вы, организация?» – «А мы полегим от полочки жалованья до полочки жалованья».

И все это со ссылкой на мораль!!!

ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ УНИВЕРСИТЕТА

По-настоящему, в каждом городе, где стоит университет, он должен бы составлять лучшее его украшение, его гордость, славу, средоточие всех его умственных интересов. В тенденции так это и есть: Нижний не называется «ярмарочным городом», хотя его ярмарка единственная по размерам в России и знаменита в целом мире; но Казань, Харьков, Юрьев и вообще всякий город, в котором есть университет, привычно и всеми именуется «университетскими городами». Это – символ любви если еще не в качестве факта, то как проявление надежды и ожидания. И все усилия должны быть сделаны, чтобы осуществить эту надежду.

Университеты страшно упали в обаянии своем, будучи сведены в последние десятилетия к каким-то штатным чиновным местам. Все должно быть сделано, чтобы именно теперь, когда они получили автономию, они вернули себе сперва авторитет, а затем мало-помалу выработали из себя и ту сладкую ароматичность высших духовных интересов, без которой есть собственно скелет и схема университета, но нет еще его в живом и настоящем существе.

Утвердиться в свободе и автономии – вот задача его сейчас, задача этого года и ближайших. Нужно сделать, чтобы эта свобода и автономия с первых же шагов была оценена всеми как насущная и благодетельная, как всем полезная и никому не вредная. Нужно убедить всех в этом не словами, не аргументами, а делом, поведением; позволим сказать «политикою». Сейчас «автономия» – это еще звук, имя, выкинутый флаг. Пока нет ее результатов, пока она не показала в работе себя, все неверно в самом ее существовании, которое, конечно, зависит и не может не зависеть от общего «благоволения» страны, общества, народа, государства, всех духовных и материальных сил родины. Как только эта автономия стала дорогою всем, дело кончено, закреплено. Ибо «дорогое» всем отнять – на это не решаются самые большие авторитеты, даже когда очень этого хотят или очень в этом нуждаются.

Все, кажется, обещает, что дело автономии профессорской коллегии пойдет в этих двух направлениях – укрепления авторитета и расцветения научной жизни. Это не есть программа, это сама истина вещей, вытекающая из их соотношения. Мы глубочайше убеждены, что истинная свобода есть в то же время истинный консерватизм не в смысле консервирования разных лежалых и заплесневелых вещей, а в смысле солидности положения и движения, твердости и покоя в этом положении. Для всякого живого существа свобода есть дар, счастье. Введите ее в норму, сделайте законным и нормальным свободное существование человека и человеческих групп: и он станет неременным охранителем закона и status quo этого дара и счастья своего. Свободная Англия была, остается и останется охранительнейшею страной в Европе в сумме общественных понятий, в законах, правах, а Франция, всегда стесненная при своих Людовиках и Наполеонах, была центром и вождем европейских либеральных криков и движений. Вот иллюстрация, если она нужна, для столь ясного логического положения.

Уже сейчас речи профессорской коллегии звучат тверже, чем когда-либо. Свободные и ответственные, учителя юношества заговорили с этим юношеством тем старшим и авторитетным тоном, какого решительно нельзя было раньше услышать и нельзя было выдавить его из профессоров никакими репрессиями, увещеваниями или приманками. Только у людей, поставленных в достойное положение, и мог родиться этот голос, твердый без приказания, авторитетно советующий, не неоскорбительный, уважающий тех, кто его слушает, к кому он обращен. И студенты послушались, везде слушаются. Мы в особенности имеем в виду прекрасную резолюцию, вынесенную профессорами Политехнического института в ответ на резолюцию студенческой сходки. Давно и пора было развить привычку к этим речам, а то мы имели какие-

то шушуканья. Начальство сверху шушукало профессорам какие-то угрозы, профессора шушукали что-то студентам, чего было нельзя разобрать, а в результате всей этой темной, прикрытой возни, без речей вслух, студенты поливали аудитории вонючими жидкостями.

Близится юбилей Грановского, и с именем этого знаменитейшего и влиятельнейшего из русских лекторов-профессоров можно связать пожелание, чтобы университеты начали существовать не только для прямой своей задачи – обучения юношества, но и для косвенной и тоже страшно важной цели – быть центрами некоторого духовного сияния в своем городе и даже в своей стране. Публичность лекций есть единственное средство для этого. Всякий раз, когда университет подымался над уровнем посредственности, когда в нем появлялся талант, он непременно перешагивал за порог аудитории и входил в общество, делал аудитории своею целый город в лице образованнейшего его слоя. Дар чтения – великий дар; с ним не непременно и даже скорее редко, чем часто, соединяется высокая ученость. Комбинации даров вообще реже, чем одиночные дары; но зато, когда это соединение произошло, получается такая действующая и обаятельная сила, с которою не может сравниться сила зрелища и музыки. Ибо царство мысли, развертываемое талантливым профессором, оставляет более длительное, незабываемое и воспитательное значение, чем только эстетические волнения, исчезающие с исчезновением объекта их. Университет через открытие своих аудиторий для общества стягивает к себе всю умственную жизнь города. Влияние его, непосредственно испытываемое, испытываемое ежедневно и лучшею старшею частью города, пересиливает всегда влияние журналов и печать. И только на этой высоте университет возвращается к своему старому, седому в веках, положению и значению – умственного солнца в нации.

ЗАКОННЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ «ЕДИНОВЕРЦЕВ»

Нет сомнения, что так называемое «единоверие», существующее с небольшим столетие, было принято наиболее мягкой частью старообрядцев, наиболее миролюбивою и тяготящеюся вековой враждою, которая разделила и раздирает недра и сердце русского народа. И, нам думается, так же мягко и благожелательно русская церковь в лице центрального духовного управления должна взирать на этих людей, которых сама нарекла «единоверными» себе, т. е. «православными» же, но только старого, прежнего обряда. К этому побуждает не только христианское чувство, не только особенность исторического положения единоверия, но и то соображение, что с дарованием веротерпимости русскому народу они, единоверцы, удерживаются в органическом и близком соединении с православием только узами любви, но уже не страха, не опасения. Поэтому теснее, чем прежде, прижать этих людей к своей груди есть материнская забота и обязанность нашей церкви в лице ее руководителей

сейчас. Слава Богу, если «единоверие» именно сейчас не лежит косной глыбой, которая нет-нет и может отколоться от берега; слава Богу, если оно проявляет живучесть в себе и чего-нибудь ищет, ожидает от церкви.

Петербургские и московские единоверцы, во главе остальных православных единоверческих церквей, собираются войти, и может быть вошли уже, в Св. Синод с ходатайством о некоторых переменах в управлении ими. До сих пор они подчинялись лично и непосредственно епархиальным архиереям, а в некоторых случаях в дела их вмешивались даже и духовные консистории.

Слишком понятно, что епархиальный архиерей, за множеством прямых и главных своих обязанностей, мог только урывками, побочно и косвенно, посвящать свои заботы единоверию, посвящать ему остаток времени. Что все не могло не сводиться к небрежности, невниманию, – вредному и раздражительному для этих людей специально чуткого внимания именно к подробностям церковного своего уклада. Где небрежение, там и плохо: это аксиома всякого управления. Единоверческие священники, долженствующие быть единомысленными со своими прихожанами, не могут не двоиться в мыслях и в воле, находясь иерархически в зависимости от архиереев, из которых не все благоотно-любовно смотрят на единоверие, а некоторые помышляют только об его искоренении, смотря на единоверие как на некоторую «папёрть» православия (что противоречит основаниям, на которых воздвиглось оно), на переходную и временную ступень к нему, приблизительно как смотрят католики на унию. Такие архиереи покровительствуют тем единоверческим священникам, которые в душе своей питают презрение и пренебрежение к древним обрядам, к старым книгам и, главное, ко всему укладу старообрядной, дони-коновской православной общины.

Жизнь единоверческой общины или прихода сложена и течет по типу монастырской жизни. У них отношение прихожан к «батюшке», которого они выбирают, как «братия» монастыря выбирает себе игумена, во всем подобно отношению монахов к настоятелю обители или имеет это отношение своим идеалом, путеводною своею звездою. То же послушание авторитету духовного отца; та же строгая внутри себя дисциплина, как и службы в единоверческих церквях суть в точности монастырские православные службы, без всяких сокращений, с теми же долгими стояниями и обильными чтениями. Что у кого есть, то тому и дорого. Этот московский монастырский стиль не только служб одних, но и самого быта, жизненного уклада драгоценен единоверцам. И совершенно он не ценен, не нужен епископу и духовной консистории, которые уже самою привычкой относиться только к православию или преимущественно к православию подготовлены к постоянным и колющим ошибкам здесь. Мы говорим об ошибках, а сколько возможно злоупотреблений, прямого или скрытого и, однако, влиятельного недоброжелательства!

В текущем году, весною, один миссионер, очевидно не без указания и разрешения центрального духовного правительства, предложил в екатеринбургской епархии местным «беглопоповцам» (т. е. имеющим «попов», бжавших из православия) следующий проект мирной жизни: «Выберите из

своей среды лиц достойных, православная церковь их рукоположит во епископов, а затем живите так же, как теперь: вмешиваться в вашу внутреннюю жизнь больше мы не будем». Это предложение, проникнувшее тогда же в печать, вызвало всеобщее внимание к себе и сочувствие. Понятно огромное приобретение мира и упорядочение положения дел, какое оно обещает: ибо бегство, ради денежных выгод, священников от православия в старообрядчество представляло собою явление равно безобразное и марающее и православных и старообрядцев. Но вот факт: высшее духовное управление в России совершенно соглашалось на то, чтобы люди старого обряда имели своих самостоятельных епископов, но только поставленных правильно православною властью и правильно рукоположенных.

Единоверцы составили теперь проект и хотят войти или вошли уже в Св. Синод с ходатайством, дабы церкви их были приняты в заведывание непосредственно самим Св. Синодом. Ибо Синод есть учреждение более компетентное, чем епархиальные владыки, в историческом вопросе единоверия, имевшем свои сложные судьбы, и он руководится высшими, более бесстрастными и просвещенными соображениями и взглядами. Во многих православных епархиях находится всего несколько единоверческих церквей; и для них невозможно и не нужно назначать непременно отдельного единоверческого епископа, с положением викария при православном архиерее, как об этом ходатайствовали единоверцы еще в 1890 году. В этом прошении они ходатайствуют, чтобы единоверческие церкви, в видах единообразия направления, духа и дисциплины, получили одного епископа, с тем же пространством и характером власти, как православный протопресвитер армии и флота, простирающий власть свою на военное духовенство целой России; и с тем, чтобы этот единоверческий епископ, разумеется, посвященный в сан свой православною церковью в обычном порядке, был сопричислен к Синоду в качестве члена без епархии. Мы не желаем, мотивируют ходатайство свое единоверцы, чтобы нас рассматривали, как какую-то недоделку до православия, как что-то временное, имеющее и в обрядах, и в духе, и в дисциплине церкви слиться с православием: мы желаем и надеемся остаться вечно такими, как есть. Но не помышляем и об отделении или удалении от православной иерархии, от православного управления, и как члены единой веры и церкви желаем слиться с ними воедино через управление, но так, чтобы обряды наши, наши старые книги, — в некоторых местах весьма неудачно поправленные через Никона, — и, главное, весь монастырско-строгий дух наших общин не подвергся по небрежности или недоброжелательству какому-либо умалению, ослаблению или искажению.

Нам думается, это в высшей степени полезно для самой православной церкви и для всего государства. Давным-давно никто не имеет суеверия против дониконовской обрядности, и церковь, основав «единоверие», учредив в составе епархиального православного управления «единоверческих благочинных», «единоверческих викариев» и даже самостоятельного «единоверческого епископа» (в самарской епархии), признала полное православие единоверия и старообрядности, если они мирно пребывают в своих старых обря-

дах, без порицания и без вражды (как прочие старообрядцы) к никоновским обрядам и вообще всей нынешней православной церкви. Думается, что теперешним ходатайством нужно непременно воспользоваться. Епархиальные архиереи заседают в Синоде; у единоверцев уже есть свой единоверческий архиерей; вне сомнения, единоверческий архиерей, будучи сопричислен к Синоду, не соблазнит же в единоверие остальных многочисленных членов Синода. Но зато Синод может действовать на единоверие и переговариваться о дальнейшем сближении, единении до – даст Бог – полного слияния (без ущерба для старых обрядов, книг и их монастырского духа) с православием через этого своего члена, сидя за одним столом, – с таким удобством, быстротою и легкостью, о каких давно пора подумать. Что касается до мысли, что «не будет ли слишком много чести для единоверческого архиерея заседать в Синоде», то это чисто суетная мысль: он – православный архиерей, по суждению самой церкви, в этом ведь и состоит существо «единоверия». И в «Воззвании Св. Синода к единоверцам» в 1900 году он нарек их «сынами православной церкви». Сыну и место около груди отца, поблизости, вот тут, а не в удалении, где место слуге, рабу и наемнику. Единоверцы основательно тяготятся самым выделением своим через посредство особых имен: «единоверцы», «единоверческая церковь», «единоверческие храмы», справедливо спрашивая: «Почему мы не зовемся просто православными, каковы есть и каковыми нас считает церковь. В учреждении и истории Христовой церкви нигде нет этих терминов, и нам неприятно носить особое, выделяющее нас куда-то из православия имя. Мы православные в существе и хотим быть таковыми в имени».

Не настал ли благоприятный час в самом деле к полному слиянию, к искреннему, душевному единству, – при чистосердечном отказе хотя бы и в будущем и прикровенно отнять и постепенно отнимать милые их сердцу обряды, и книги, и полезный для народной нравственности их древний дух?!

Т. Н. ГРАНОВСКИЙ.

(К 50-летию его кончины)

4 октября исполнилось 50 лет со дня кончины Т. Н. Грановского. Время теперь так шумно и заботливо, что едва ли многие оглянутся на тихого профессора Московского университета. Но, может быть, никогда не было минуты, более нуждающейся в напоминании и некотором оживлении этой удивительно гармоничной и удивительно богатой тенями личности нашей истории.

Университету, науке, изящной словесности, и, наконец, образованному обществу, и даже обществу в политических его стремлениях – он принадлежит в мере, совершенно равной. Он стоял на том втором месте, откуда все видно: тогда как передовые бойцы часто вовсе не понимают общего плана и хода сражения, как не видят и цельной картины поля, лагерей и того, что лежит далее за лагерьми и вокруг них. Неувлеченность есть великое преимущество,

которым Грановский превосходил и был богаче, наконец, был сильнее таких друзей своих, как Герцен и Белинский. На нашем расстоянии, на расстоянии 50 лет, его духовная фигура представляется не только спокойнее, но и изящнее, умнее, нежели фигуры его запыленных, израненных, уставших и неправильно – как отсюда видно – повернутых товарищей: нисколько не представляясь менее оживленною, одушевленною, не представляясь сколько-нибудь более равнодушною, индифферентною фигурою. Нет, Грановский умер – всего 42 лет в скорбях столь же едких, в негодовании столь же длительном и не поддававшемся успокоению, как и знаменитый критик и знаменитый общественный агитатор и публицист. Но есть скорбь тихая и есть шумная. Грановский, при своих талантах, и не избрал бы себе положения профессора, если бы в натуре его была та психическая ажитированность, потребность водоворота и быстрой смены ощущений, впечатлений, сведений и даже, наконец, все «обновляемого» *credo*, – какая составляет суть и стимул публицистики и политической деятельности. Натура существенно равнинная, натура в этом отношении глубоко русская, Грановский тихо тек, негодуя на берега свои и русло, ломаемый в течении, – но неизменно с склонностью двигаться прямо и ровно в одну сторону – к вечному и невидимому за далью, но существующему и притягивающему Океану. Перенесясь от географических терминов к историческим, от уподобления к уподобляемому, мы увидим, что это в самом деле было так:

А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой.

Этот стих Лермонтова не имел никакого места в личности и биографии Грановского. По всем своим симпатиям, по устройству души, по влечению талантов, по истинному призванию – Грановский был человек, так сказать, «окончательных, завершительных фаз» в развитии общества, которые дают человеку и зовут человека на обильное и непрерывное плодоношение, предлагая для этого комфорт и самую сердцевинную часть его – спокойствие души, незыблемость положения, большой досуг, материальную обеспеченность, уважение государства и общества, всю ту сумму физических и психических благ, которая вырабатывается в страшном горниле истории через жертвы, страдания, через миллионы пережитых неудобств. Грановский же пришел страшно рано: с душою Плиния, Фукидида или Гизо, – он жил в эпоху какакого Мерovingов, пелазгов или первых патрициев. Все оскорбляло и не могло не оскорблять его в нашей общественности: крепостное право, бессудность, обезумевшее в самонадеянности чиновничество, страшное стеснение печати, слова, презрение всего властительного к науке и литературе. В этом как бы лагере монголов или старых галлов, раскинувшемся в фундаменте нашего строя, – бродили измученною тенью поэты, ученые, мыслители, люди слова, литературы и университета, едва терпимые и перегоняемые сюда и туда в зависимости от первой и иногда от капризной или выдуманной «государственной нужды». Эти гени, люди без признания, завели свою раннюю культуру: нечто вроде «ученических журнальчиков», тщательно скрываемых от

начальства. Чем был тоньше и малочисленнее слой, развивший эту культуру духа в себе, тем это развитие совершилось быстрее, нервичнее, деятельнее. Известно, как уторопленно живут чахоточные: румянец на щеках, вечное движение, поездки туда-сюда, блеск глаз, живая речь, повышенная температура и вдохновение. Между наивным Карамзиным с его «Бедною Лизою» и «Письмами русского путешественника» и между Грановским в его частной переписке, исторических характеристиках и естественно-исторических соображениях – лежит такая бездна, как бы то были люди разной веры, разной крови и разной государственности: между тем все перемены произошли в том тоненьком наземе, который тоще лежал на гранитных скалах нашей государственности. Это было несколько тысяч, чуть ли не несколько сот русских дворянских семей, которые 50 лет читали и писали, думали и стихотворствовали, ездили за границу и стремились к университету и вечно всюду заводили свои маленькие «классные журнальчики», где вздыхали и мечтали, надеялись и негодовали, прикровенно от приставленных к ним, к счастью туповатых и почти безграмотных, надзирателей. Культура эта – всего нескольких тысяч русских дворянских семей – была затоплена и частью сломана в 60-е годы XIX века, когда пришло новое варварство, новые «галлы» уже в «апартаменты русской науки и литературы», и стало вновь все перевариваться, в массивных размерах, в том же горниле неугасимой, дымящей и пламенеющей цивилизации. Руды подбыло, огонь как будто на время угас, все стемнело: конечно, – для лучшего горения и сияния и плодоношения в будущем.

Довольно бездарные историки «новой варварской эпохи», в 80-х и 90-х годах XIX века, подсмеивались над Грановским и даже сбрасывали его с пьедестала «настоящей науки» за отсутствие у него таких специальных работ и кропотливых изысканий, какие творили они сами и которые давали или давали бы некий «новый результат» даже для европейской науки. Эти историки, несмотря на ученость, «дивившую даже Европу», – на самом деле были младенцами в науке, напоминая попугая, птицу глупую, но которую владелец выучил 20 слов на 20 разных языках. При всех своих «изысканиях, вносивших нечто новое в европейскую науку», – они, сравнительно с Грановским и 40-ми годами нашего XIX века, стояли как бы в половине XVIII нашего века, когда Миллер, Паллас и Крашенинников тоже «производили изыскания новые для всего света». Нет: Грановский представляет собою именно зрелейшую, совершенно «поспевшую», сахаристую и сладкую форму духовной культуры; куда бы его ни перенести, в Англию, Францию, Германию, – Маколей, Тьери или Нибур, Шлоссер и Ранке не почувствовали бы не только неловкости, стоя плечо с плечом около него, но оглянулись бы с удивлением и даже с частичною завистью на этого талантливейшего «молодого человека из варваров», который все у них понимает, на многое нужное им самим указывает и, главное, светится мыслью и сознанием, столь углубленным и изящно сложенным, какого во многих случаях недостает им самим. Я сказал: «Многое им самим указывает»: действительно, в 40-е и 50-е годы, когда писались только первые стихотворения и очерки Тургенева, когда Гоголь предавался своей необуздан-

ной фантастике и на литературном рынке появлялись то «Войнаровский», то «Нос», то «Пиковая дама», – Грановский писал об обширном введении, в качестве пособия для исторического понимания, элементов этнографического, естественно-научного и экономического; его тянули к себе не блестящие завершительные эпохи цивилизации, которые историку очень удобно «изображать и украшать», а эпохи переходные, тусклые, колеблющиеся, где рассказывать нечего, но которые зовут размышление, кропотливое изыскание, которые содержат в себе затерянный ключ и завершительных эпох. У Грановского было удивительное и собственно единственное нужное качество настоящего, первоклассного ученого: любопытство к факту, любопытствующий ум. Всем он представляется, по памяти блестящих лекций, излагателем. «Красноречие и красноречие»... Нет ошибочнее и пошлее, наконец, – нет оскорбительнее и несправедливее этого представления. Каждый согласится с нами с первого же раза, если мы укажем, что лекции Грановского вовсе лишены были театрального, выставочного осложнения; что сила их, и удивительная в истории притягательная сила заключалась именно в том, что Грановский был глубоко сосредоточенным, созерцательным, бесшумным лицом. Все кинулись, в то чуткое время, в том художественном небольшом кружке, который составлял собою тогдашнее общество, – увидеть и услышать, как на кафедре творится наука в лучшем синтезе ее частностей и общего освещения. Не дошло, из лекций его, ни одной на десятилетия памятной фразы, отчеканенной формулы, удивившего всех афоризма, взволновавшего всех восклицания. Никто не оспорит, что это – так именно. То есть никто не оспорит, что в лекциях его вовсе не было ораторского элемента и, следовательно, «красноречия и красноречия». Это убийственное для памяти Грановского представление должно быть совершенно оставлено и заменено той действительно истинной мыслью, что он, предвзяв десятилетия общественного развития, только приподнял занавес над ученым, отодвинул шторы в окне лаборатории, дозволив людям, друзьям и братьям подойти и увидеть то, чего сами они не могут или не умеют делать по отсутствию специальной подготовки и что имеет общую важность и общий интерес, оставаясь в то же время глубоко личным и частным интересом и делом ученого и профессора. Не он подошел к людям, а только дозволил им подойти к себе, не снимая фартука лаборанта и оставляя засученными рукава ученого шлафрока. Мы говорим сравнениями, они необходимы. В этой именно особенности его лекций, исключивших всякую декламацию, стоявших на противоположном полюсе с ораторским искусством и лежавших в сфере неизмеримо высшей – научного и частью философского художества, и лежит причина настоящего их успеха, удивительной для современников и неразгадываемой для потомства притягательности; и что его повторить никому не удалось, ему подражать никто не умел, и они остались «уником» в нашей истории.

Планы работ, им оставленные и неисполненные по кратковременности жизни, показывают его настоящим мастером науки. Напр., еще со времени его путешествия за границу, т. е. когда он только формировался в ученого, его

занимала мысль написать монографию о *gorode* в древней, средневековой и новой истории – тема Грегоровиуса и Фюстель-де-Куланжа. Самый выбор темы указывает зрелость и даже переспелость его ума; указывает, насколько он стоял впереди своего времени, когда история сводилась (почти) к истории личности и рассказу о событиях; рассказу и большею частью наивным объяснениям. Его монография об аббате Сугерие, посвященная раннему сложению французской государственности, указывает на эту же склонность ума: изучать, рассматривать, любопытствовать, а не рассказывать, не излагать, не очаровывать или увлекать. Интерес ученого везде был главным нервом в нем: кафедра, университет, публичные лекции – все было уже вторичною, зависимо выросшею инервациею, которая потому так притягательно и сложилась, что держалась на правильном и сильном корне. Наконец, отметим сдержанное его отношение к гегелианству, которому были подчинены все его друзья, и сам Гегель в особенности претендовал на объяснение всемирной истории: и мы увидим в Грановском огромную, трезвую, самостоятельную умственную силу, которая более роднилась с поколениями последующими, с эпохой торжествующего естествознания, нежели с поколениями предыдущими 30-х и 20-х годов, Шеллинга, Шиллера, Лермонтова и Пушкина, с которыми решительно ничего не было у него общего.

Многих обмануло искусство его в науке: именно всех, которые противопоставляют науку искусству, считая первую чем-то серьезным и солидным, а искусству придавая оттенок произвола, фантазии и чуть-чуть даже легкомыслия и поверхностности. Конечно, ни наука не такова, ни искусство, не таково. Невозможно стать великим ученым без постоянно и сильно звенящей художественной струны; как художник вечно мыслит, ищет, обдумывает, т. е. имеет непререкаемые качества ученого. Только оттого, что в наш немного варварский и очень безвкусный век почти нет ни мастеров науки, ни мастеров искусства они как бы потеряли свои определяющие понятия, формулы их смешались, и можно говорить о том и о другом что угодно. На самом деле были совершенно правильны поздние фазы греческого и римского мастерства, как и итальянского «Возрождения», когда художник, мыслитель и ученый сливались в одном лице безраздельно, усиливая друг друга и нимало не мешая один другому. Только люди того времени неустанно трудились, не знали отдыха, увлекаемые порывом, творчеством и интересом. На самом деле если не терять попустому драгоценных минут уделенной нам жизни, если к серьезному труду приступить (как и следует непременно) чрезвычайно рано, если не тратить талантливейшей полосы жизни на «учебники» отвратительно задуманной и отвратительно организованной школы, которая у нас из человека высасывает весь сок до первого творчества, то в 40–50 лет, почти в 1/2 века самостоятельного труда, можно и усвоить бесконечное, и развить в себе силы во многих разных направлениях, все связывая и объединяя одушевлением одного «я». Платон был довольно изобретателен в метафизике: а после него нашли семь дощечек с одною и тою же, написанною на них, фразою. Т. е. он обрабатывал литературную форму своих диалогов едва ли не тщательнее,

чем мозаист слова Гоголь. Микель Анджело был равно силен с молотком и кистью, в мраморе и красках; Леонардо да-Винчи так же интересовали вопросы механики, как и искусства. Наше время страшно побледнело в способностях, и от этого одного «искусство разделилось с наукою». Конечно, нельзя и не нужно собирать в себя этого эклектически, чтобы сказать: «Вот как я богат». В Грановском этого и не было. Тогда как у преемников его, «настоящих европейских ученых», – наука была большая (подробная), но в ремесленных ее формах, без одухотворения и почти без смысла; в нем явился и только за раннюю смертью недостаточно выразился мастер науки, и у него она засветилась и внутренним философским, и внутренним поэтическим огнем.

Сравнительно с деятельными, пылкими натурами своих друзей, он стоял чуть-чуть затененным; и согласимся, что заслуги его в движении нашей литературы и общества меньше, чем у Белинского и Герцена. Но столь же он превосходит их гармониею и образованием, превосходит многосторонностью. Он меньше совершил для дела, но больше для идеала. В последнем отношении, за исключением разве его друга и биографа Станкевича, затруднительно кого-нибудь поставить рядом с ним. Удивительно, что слишком обильная деятельность как-то мешает, расстраивает «идеал». «Праздник – покой», нельзя не припомнить древнее удивительное определение. «Идеалы» наши суть наши «покою», «успокоенные» явления, без тревоги в себе, без возмущения около себя; созерцательные минуты истории и созерцательные лица ее. Но именно «созерцательные», отнюдь не пассивные, не ленивые, не сонные, не бездеятельные. Это – тишина этого мира, когда он смотрит в другой мир. Вот это «смотрение в другой мир» и затруднительно для слишком деятельной и слишком преданной своим дням натуры.

Грановский стал определенно на западническую сторону, но не принял излишних увлечений западников. Мы сказали, что он богаче тенями, чем кто-либо из его современников. В самом деле, самое дорогое, что было у славянофилов, – кроткая и живая любовь к родине – была ему присуща совершенно в той же степени, как и им. – «Весть о падении Севастополя» – писал он одному другу, – заставила меня плакать. А какие новые утраты и позоры готовит нам будущее. Будь я здоров, я ушел бы в милицию, без желания победы России*, но с желанием умереть за нее. Душа наболела за это время».

«Без желания победы России, но с желанием умереть за нее», – вот формула, которая не вырвалась бы ни у Герцена, ни у Аксакова и в которой сказывается, насколько Грановский был спокойнее и сложнее их обоих, а в конце концов и справедливее обоих. Удивительно, что одним из мотивов его постоянного негодования на славянофилов было именно малое чувство родины в последних. Романтики-археологи, они не болели или болели как-то криво ее теперешними, переживаемыми болями:

«Не только Петр Великий был бы нам полезен теперь – писал он к Кавелину 2 октября 1855 года, за два дня до кончины, – но была бы

* Намек на ее внутреннее политическое положение.

полезна и палка его, учившая русского дурака уму-разуму. Со всех сторон беда: нехорошо и снаружи и внутри, а ни общество, ни литература не отзываются на это положение разумным словом. Московское общество страшно восстает против Правительства, обвиняет его во всех неудачах и притом обнаруживает, что стоит несравненно ниже Правительства по пониманию вещей. Например, здесь сильно негодовали за публично выраженное порицание Корфа. «Как можно – заговорили в высшем обществе, – так компрометировать генерала». Вообще наша публика более боится гласности, чем 3-е отделение. Погодин читал свое последнее письмо у Урусовых, а дамы с трепетом говорят: «Cela sent la revolution»*. Самарин, поступивший в ополчение, доказывает всю важность теперешних событий тем, что по окончании войны офицерам, служившим в ополчении, будет можно носить бороду: следовательно, кровь севастопольских защитников недаром пролилась и послужила к украшению лиц Аксаковых, Самариных и братии. Эти люди противны мне, как гробы. От них пахнет мертвечиной. Ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда. Самая оппозиция их совершенно бесплодна, потому что основана только на отрицании всего, что сделано у нас в 1½ столетия новейшей истории».

Эти безнадежные археологи-эстеты носили только флаги с надписью «Отечество», на самом деле имея очень мало чувства отечества. Вечно они кому-то подражали и лезли в пышные сравнения не то с великими римлянами, не то с знаменитыми византийцами, не то с достопамятными лицами старомосковской державы. И были заняты собою и собою, вместо того чтобы заниматься Россией и Россией. Тому же Кавелину, при вести о затеваемой «Русской Беседе», Грановский писал:

«Я до смерти рад, что славянофилы затеяли журнал. Капитал дает Кошелев. Ответственным редактором будет Т. Филиппов; критиком литературных произведений будет Ап. Григорьев. Конечно, этих имен достаточно, чтобы наперед предсказать характер и успех издания. Я рад потому, что этому воззрению надо высказаться до конца, выступить наружу во всей красоте своей. Придется поневоле снять с себя либеральные украшения, которыми морочили они детей таких, как ты. Надобно будет сказать последнее слово системы, а это последнее слово – православная патриархальность, несовместная ни с каким движением вперед. Иван Киреевский уже удостоился искомой награды и достиг своей цели. Здешние попы нарекли его Русским Златоустом. А этот Златоуст смело говорит о необходимости изгнать из государства всех иноверцев или по крайней мере подчинить их строгому надзору Православной Церкви. Из всей этой безобразной партии только у Петра Киреевского и у Ивана Аксакова есть живая душа и бескорыстное желание добра».

* «Это пахнет революцией» (фр.).

Известно, что столь же скептически и отрицательно относились к славянофильству и славянофилам и корифеи науки русской истории и народного словесного творчества – С. М. Соловьев, Ф. И. Буслаев и Н. С. Тихонравов: а уж им ли было, по предмету изучения и любви, не слиться с этою школою? Но дело в том, что любовь к самой России у славянофилов была какою-то мертвою, неплодоносящею, недейательною, как и вся оценка ими русской истории была фантастическою в одной половине и легкомысленно-поверхностною в другой. Но – мир праху их: кажется, самого воспоминания уже нет более о них. Действительность кое-чему научает самых глухих к ученью.

Также сторонился Грановский и от романтизма нашей «крайней левой», давая место пройти вперед Герцену и Бакунину. У него нет ни одного нравственного порицания Герцену, – тогда как именно нравственно-то он и разошелся с напыщенными и чванливыми славянофилами. Но он разошелся с ним умственно и поэтически. Герцен был философ и политик, в синтезе давший великого публициста. Но Герцен все относил к нашим дням; всякое уравнение у него сводилось к вопросу: «Как поступать мне и теперь, нам и сейчас». Он был существенно не историк. Между тем не было бы ни науки истории, ни личности историка, если бы не было той истины, что могилы прошлого священы, как и битвы настоящего, и что настоящее скоро, слишком скоро ляжет могилою же, скромной и малозаметной, в ряду бесчисленных других таких же. Прошлое имеет свою самостоятельность, притом идеальную и вечную, о которой может забыть текущий момент, может не принять ее во внимание, но которую сломить и упразднить вовсе не может ни этот текущий и никакой другой момент будущего. Нельзя стать историком, не нося как живые в себе эти «мощи» прежнего, конечно с большими ограничениями, отрицаниями, с идейным господством над ними: но, однако, – именно как живые, а не как «предрассудки, суеверия и ненужное». Герцен не умел удержаться на этой границе отрицания. Вместо того, чтобы оставаться самостоятельным в себе, не отнимая самостоятельности и у могил, оставаться автономным в «теперь» и «сейчас», на что у всякого есть право, но без узурпации над всеми протекшими и истекшими «теперь», которые имели свою эстетику, свое «сredo», свои локоны и поволоку глаз, – он наступал грубо, как «современный публицист», на эту старую эстетику, наконец, – на эти умершие локоны и глаза, как бы то была фабричная кудель и стеклянные кукольные глаза. Грановский разошелся с ним нервно и болезненно. И боль этого расхождения Герцен едва ли почувствовал еще не сильнее, чем Грановский.

«Пикулин возвратился из-за границы и привез многое и много рассказал о нашем приятеле (А. И. Герцене), у которого прогостил две недели. Утешительного и хорошего мало. Личность осталась та же, нестареющая, горячая, благородная, остроумная; но деятельность ничтожная и понимание вещей самое детское. Для издания таких мелочей не стоило заводить типографии. Сотрудники у него настоящие ослы, не знающие ни России, ни русского языка. Если бы эти жалкие произведения и проникли к нам, то, конечно, не вызвали бы ничего,

кроме смеха и досады. Его собственные статьи наполнены его остроумными выходками и сближениями, но лишены всякого серьезного значения. И что за охота пришла разыгрывать перед Европою роль московского славянофила, клеветать на Петра Великого и уверять французских *frugiers** в существовании сильной либеральной партии в России? У меня чешутся руки отвечать ему печатно в его же издании, которое называется «Полярной Звездой». Не знаю, сделается ли это. В первой книжке «Полярной Звезды» напечатана переписка Гоголя с Белинским. Представь себе, что при всем том Александр Иванович мечтает о возврате в Россию и даже хотел в следующем году прислать сына в Московский университет. Каков практический муж?» (Из того же письма к Кавелину).

Тон отрицательного отношения совсем другой, чем к славянофилам. Идейное расхождение есть; есть несходство взглядов, веры, всей оценки действительности. Но – «та же нестареющая, горячая, благородная, остроумная личность»; и сохранена нравственная к ней симпатия, чего не могло быть к славянофильству с его накладными волосами и вставными зубами.

Ни одна кафедра университетов наших не подымалась так высоко, как кафедра всеобщей истории в Московском университете, когда на нее сел Грановский. Рассказывают, что первая его встреча с Герценом произошла на одной из публичных лекций. Сам лектор протискивался к кафедре, еще пугой. Была давка. – «Куда же вы лезете, – обернулся на него широкоплечий Герцен. – Видите, нет места». – «Там есть одно незанятое еще», – ответил скромный Грановский, пробираясь дальше. Каково же было удивление Герцена, когда он увидел поднимающимся на кафедру того худощавого господина, которому дал грубый ответ. И до наших дней кафедра всеобщей истории в Москве пользуется особым культом: на нее страшно сесть, слушатели перед нею ожидают и требуют более, чем сидя перед другими кафедрами. Ее преимущественно занимали Кудрявцев, Ешевский, в настоящее время В. И. Герье. Они не возвысили, не развили дальше ее блеска, но они поддерживали ее имя и авторитет с достоинством. Дух Грановского – я помню по 80-м годам прошлого века – и до сих пор носится в приснопамятных «Большой словесной» и «Малой словесной» аудиториях (где читалась словесность и история). Не любить всеобщей истории, быть совершенным в ней невеждою, быть к ней равнодушным, не читать по ней – это считалось позорным для студента-филолога, тогда как не знать латыни или греческого считается даже «честью» для некоторых «молодцов». Но память Грановского, хорошо поддерживаемая, удерживает от грубости в отношении этого предмета. И нигде еще, как в Москве, эта именно кафедра не пользуется таким авторитетом. Нельзя не сказать, что представители ее вообще в России сделали почти все от них зависевшее, чтобы уронить ее в глазах и слушателей, и читателей, и целого общества. Наука, которая объединяет в себе смысл и объясняет значение всех остальных кафедр историко-филологического факультета, у нас являет собою совершен-

* беженцы (*фр.*).

но необработанную и ничем решительно не одушевленную глыбу мертвых, косных, бессвязных подробностей. Объясним все примером. Мы не имеем ни одного, кроме «руководств» г. Иловайского и подобных, изображений истории европейских народов; ни одной цельной истории Франции; ни одной истории католичества, как и ни одной же – реформации. Итак, этот отдел исторических наук у нас не начат, не рожден, не значителен, не возбудил ни интереса, ни мысли, ни простого изложения, – прямо и решительно ничего!! Точно девяти кафедр в русских университетах и девяти ученых, непрестанно думающих и работающих над этим предметом, никогда не было; и точно нет самого «штата» их в «Уставе университетов»!! Никакого беспокойства, ни ответственности перед слушателями, читателями и Россией. Но на самом деле «штат» есть, есть некоторое «взыскиваемое» жалование, и находится всегда убогий человек, который его захочет. Но «Уставу», однако, для получения этой милостыни нужно произнести свое «Христа ради» – написать диссертацию. Эти магистерские «Христа ради» и докторские «Христа ради» в форме увесистых волюмов на скверной бумаге, портящих глаза непременно трех человек: 1) наборщика, 2) корректора и 3) официального оппонента на диспуте, составляют истинную скорбь русской научной литературы. Дошел черед, с этими волюмами, и до реформации: мы имеем «по архивным документам написанную» историко-диссертацию приблизительно 11 месяцев кальвинистического движения во Франции проф. Лучицкого. Казалось бы, автор, посвятивший лучшие годы молодости 11 месяцам замечательного исторического явления, мог бы заинтересоваться им в целом, и дать «Историю кальвинизма», «Историю Франции в начале новых веков», «Историю реформации во Франции» и пр. Ничего подобного! По-видимому, всякая другая тема для него была интереснее этой «невесты» в молодости, хотя он, кажется, живет, трудится и даже пишет или переводит до сих пор! Можно ли требовать, чтобы студенты русские, или русские читатели, или вообще всякие русские чувствовали что-нибудь другое, кроме непобедимого же отвращения, которое профессора и ученые чувствуют к своему предмету и даже специально к избираемым предметам диссертаций! По этому примеру мы можем сказать, что диссертации по всеобщей истории в России существуют, но что науки всеобщей истории в России не существует. Между тем как она уже обозначилась у Грановского и была именно в виде интереса к *целому* этой науки, к ее методу, к наиболее любопытным и вполне связанным ее точкам. К сожалению, потомки и преемники Грановского в нем самом увидели только то, к чему они, может быть, сами рвались, и только им это решительно не удалось: «красноречие, красноречие...». От него, например, остались собственноручные конспекты читавшихся в университете лекций, а также целые курсы, но только не *manu propria scripta*, а в записях студентов, с понятными недостатками против изложения, но, однако, сохраняющие подлинную мысль Грановского и подлинный его взгляд на отдельные исторические эпохи. Все это, находясь в рукописном материале, даже не опубликовано. Как не опубликованы же и планы (рукописные) задуманных им работ! Я помню хорошо, что в студенческие свои годы (78–82-е годы) у одного из московских

букинистов я видел переплетенную, чрезвычайно толстую и хорошо переписанную тетрадь лекций Грановского. Не зная, как студент, «библиографии» его, и предполагая это или где-нибудь напечатанным или хранящимся в каком-нибудь книгохранилище «в подлиннике», – я не приобрел ее, да и денег не было. Весьма сожалею, что тогда же не сообщил об этом «г. профессору», да тогда еще и не было сколько-нибудь сносной связи между профессором и студентами. Вообще этого я не сумел сделать. Но помню, – я долго смотрел на тетрадь: это были именно лекции, и именно Грановского. Неужели никто, кроме неимущего студента, не видал их у букиниста. Меня тогда же брало недоумение: «Что это – видно? просмотрено? оказалось испорченным манускриптом, негодным к изданию?» Ничего я тогда не мог себе сказать и ничего до сих пор не знаю по отсутствию «библиографии» самого замечательного из русских наставников юношества, и который зажег было светоч науки всеобщей истории у нас, зажег его с душою, со смыслом: но этот смысл сейчас же после его смерти вылетел, и душа умерла – как умирают бабочки холодной осенью.

САМОЗАЩИЩАЮЩИЕСЯ КОРПОРАЦИИ

Об учебных занятиях в университетах, конечно, так же невозможно сейчас говорить, как и о деньгах в опустевшей кассе. «Их нет», приходится констатировать. Кроме того, совершенно очевидно, что восстановить извне, при помощи, например, репрессий или передачи управления университетов из рук профессоров в руки министерской администрации, нет возможности. Учебные занятия есть выражение умственной активности, и принудить к ним так же невозможно, как заставить петь арию, как приказать писать стихи. Даже если вообразить применение величайшего принуждения, мы только получим согнанную в одну комнату толпу. Но это не студенты и не университет, это толпа, и просто только толпа, которую нужно сейчас же распустить за незнанием, для чего она собралась и что это такое?

Совершенно очевидно, что не остается ничего другого, как, вооружившись терпением, ожидать, следить и помогать выработке в самих университетах, в составе профессоров и студентов, так сказать, собственных же своих органических противоядий. Анархия если и сладка для истомленных членов связанного тела первые часы и дни свободы, то, затягиваясь дольше, она вызывает нестерпимое раздражение во всех, кто близко с ней соприкасается. Наступает здоровая реакция после пережитой лихорадки, наступает такое неодолимое движение к покою и порядку, которое раздавливает всякое сопротивление. И это движение к установлению порядка, как не навязанное извне, а внутри вырабатывавшееся, как вырабатывавшееся после нравственных испытаний, почти доходящих до физической боли, необыкновенно устойчиво, прочно, плодотворно и ничем решительно не заменимо. Чтобы вызвать это движение – стоит потерпеть. Уже сейчас в Московском университете, пережившем очень трудные дни, мы наблюдаем энергическую работу самого учебного организма к

выработке в себе таких «противоядий». Голос профессоров зазвучал таким твердым тоном, в нем слышатся такие нотки негодования против коноводов хаоса, какого давно никто не слышал. Наконец ряды слушателей разделились на два стана: на желающих сделать из университета орудие политического возбуждения и на «академическую половину», желающую, чтобы университет служил тому, для чего он основан. Профессора, продолжающие читать лекции, и слушатели, продолжающие их слушать, когда им в лицо раздаются угрозы и кругом стоит невообразимый шум и беспорядок, все это проявление такой учебной и ученой твердости и стойкости, какой еще вчера не было. Совет профессоров Петербургского университета сделал совершенно необходимое представление о том, чтобы для рабочих митингов, с примесью лишь доли студентов, было отведено где-нибудь помещение в стороне от университета, ибо этот последний они просто и физически заняли для своих дебатов, чему, конечно, профессорская коллегия никак не могла воспрепятствовать по отсутствию для этого и физических, и всяческих средств. Таким образом, среди смуты и беспорядка, какой мы переживаем, невозможно упускать из вида то огромное приобретение, какое уже дала, всего в один месяц своего существования, университетская автономия.

«Товарищи»-студенты, которые в Московском университете обещались бить нагайками своих «товарищей»-студентов, да, кажется, и своих наставников-профессоров, конечно, уже не есть больше ни ученики этих наставников, ни товарищи этих товарищей. И людям с нагайками и без нагаек, конечно, нужно и осталось только разойтись или обратиться к кому-нибудь третьему, чтобы он их развел, дав каждому свое особое место. Так как «академическая» часть студентов и профессоров остается на своем университетском месте, а «студенты с нагайками», очевидно, куда-то с этого места съехали, может быть, съехали и в лучшее место, но во всяком случае не университетское, то и нужно, дав им это лучшее место, какой-нибудь манеж для митингов, во всяком случае и непременно освободить от них университет. Но – терпение на несколько минут: пусть именно сами профессора и пусть именно спокойная часть студенчества попросят освободить себя от соседства с нагайками, криками и шумом. Первое же прикосновение внешней посторонней силы все здесь испортит и остановит начавшийся процесс оздоровления. Пусть этот процесс окрепнет, созреет и дойдет до конца. Если мучительно читать по телефону переданное сообщение о насилиях студентов над читающими лекции профессорами, то можно вообразить те чувства, какие испытывали сами профессора при этом насилии. Этого опыта ничем нельзя заменить. К зрелости мы придвигаемся каждою минутою опытами безобразия и терпения. И эта зрелость всходит в каждой душе. «Нагайка» – это *ultima ratio*. Когда люди не отступили и не разбежались перед нею, взявшись за нее остается только положить позорную вещь на место. Есть свое «*habeas corpus*» не только у лиц-граждан, но и у корпораций гражданских, каков университет. Самозащита есть проявление жизни в каждом живом существе; право на самозащиту имеет каждый гражданин и каждая корпорация, если еще не наступило удушливое черное рабство, идущее от старых деспотов или от новых деспотов – это все равно.

СОФИЯ БЛАГОДУШНАЯ. КАК ОН ПОШЕЛ В НАРОД

Повесть из жизни русского
заграничного духовенства
(Церковные вопросы и реформы)

Том второй. С.-Петербургу, 1905

Первый том этого беллетристического сочинения, скрывающего под легкими формами бытовых сцен и диалогов критику церковно-административного, церковно-законодательного и церковно-богослужебного (литургического) строя, порядков и традиций, справедливо обратил на себя большое внимание общества и печати. В книге даны подробности, не оставляющие сомнения об авторе как духовном лице с высоким образованием и вместе с молодою, по крайней мере, не старою душою, рвущеюся к обновлению. В настоящее время, когда все наше духовенство полно толками о созыве – более или менее в близком будущем – церковного всероссийского Собора и когда сделан духовенству официальный запрос о предметах совещания на этом Соборе, появление такой книги весьма своевременно и вместе представляет хороший, здоровый симптом. Прочестъ ее следует каждому, имеющему какое-нибудь отношение к церковным вопросам или связь с церковною жизнью. В только что вышедшем втором томе автор вымышленного очерка, разошедшись со своим заграничным начальством, едет в Петербург сперва за «объяснением», а потом, когда он увидел себя до всякого разбирательства дела уже переведенным на другое, ему ненужное место – преподавателя захолустной семинарии, – и за гордою отставкою. Том состоит из четырех глав-очерков: «Начальство в Петербурге», «У начальника», «В деревне», «В поле». Понятен интерес, возбуждаемый уже самими заголовками. К чести автора надо сказать, что, хотя он и очутился «в отставке» и «обижен», он нигде не дал в характеристиках лиц, стоящих во главе нашего духовного управления, места нападкам или упреку. Жесткое и презрительное сказалось у него только в характеристике заведующего школьным делом «Ведомства»: личность мелкая и деспотичная, не допускающая «вопросов», а «возражения» принимающая за бунт. Таких много в третьем ряде наших административных кресел.

Вся сила книги лежит в глубоком чувстве автора к нашей русской земле, в чувстве, которое, пожалуй, и не смогло бы сохраниться в такой высокой температуре, не живи автор долгие годы оторванным от родины. Вот он, претерпев мытарства на службе, уходит «в народ»; попросту переселяется в село к академическому товарищу, и идет по лугам.

«О, Россия, Россия, страна родная, – я верю в твое возрождение! Не можешь ты вечно пребывать в таком состоянии неурядиц и нищеты. Я верю, что ты, как феникс, возродишься из пепла и, обновленная, заживешь новой жизнью... И скажут о тебе иностранцы детям своим: вот эта страна, где есть еще правда, и святость, и идеализм, где искренне желают мира всему миру, где царствует любовь, и кротость, и

истинное братство народов, где искренно призывают Господа, без принуждения, каждый по изволению своего сердца. И благословят тебя народы, и будешь ты образцом для подражания, предметом восхищения и умиления» (стр. 154).

Золотые и, может быть, наивные мечты! А прошлое и память прошлого? Привычки прошлого? Автор забыл старое слово о наследственности грехов, как и о железной последовательности наказаний за грехи, однажды совершенные. А в нашей истории их было довольно по части грубости и жестокости, и не нашему, может быть, даже не ближайшим поколениям вкусить золотых плодов свободной и одухотворенной культуры и гражданственности.

Центр книги лежит в длинной беседе молодого служителя церкви, – с старым-старым «Высшим начальством», которое его тихо выслушивает и делает возражения, призывающие к осторожности, не доверяющие молодым порывам. Так как здесь назван Св.Синод, то лицо «Высшего начальства» совершенно прозрачно. Юный служитель церкви развивает, – если все взвесить, – динамическое понятие о церкви, в противоположность господствовавшему до сих пор статическому представлению о ней, и доказывает, скорее навеивает мысль, что святость и принцип святости может так же принадлежать движению, как и стоянию или застою. «Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых», – припомним мы, в помощь автору, вечное слово нашего Учителя.

Но горе в том, что все у нас тускло, чуть ли не атеистично. Вот где горький узел вопросов! И мы держим в руках догорающую восковую «свечечку», вынесенную из катакомб, древнюю; и все видят, что она догорает уже, что ее немного осталось, и дожидаются со страхом ее конца: ибо, когда она погаснет, – все погрузится в темь. Вопросов много. Вопросы огромно трудны. Но, конечно, – не мы станем гасить порывы автора, – хотя и не смотрим на решение этих им вопросов с тем энтузиазмом, с каким он сам на них смотрит. Еще раз: духовенству и светским лицам, работающим около стены церковной, нужно непременно прочесть талантливые и одушевленные, местами задирающие страницы остроумной «Софьи Благодушной».

ЧАСТНЫЕ УЧИЛИЩА В ЛИТВЕ И ПОЛЬШЕ

Именным Высочайшим указом, обнародованным 6 октября, «одобрены заключения Комитета Министров» и введены «временные правила» касательно преподавания предметов на литовском и польском языках в частных учебных заведениях губерний Царства Польского. Исключение сделано для русского языка, истории и географии, предметов, непременно преподающихся на русском языке и обязательных к изучению. Школы эти должны оставаться совершенно частными, т. е. ни преподающие, ни учащиеся в них не получают никаких государственных прав. Указом этим впервые утверждаются этнографические права, притязания и тенденции в учебном деле и отменяется система абстрактно-государственного обучения, не считающаяся вовсе ни с какими народностями.

Поляков больно кольнет утвердительное указание на права литовского языка, который начал тесниться и стираться самими поляками в Литве после унии Литвы и Польши при Ядвиге и Ягайле. Но поляки никак не могут претендовать на русских, что, уступая их требованию касательно польского языка, они взяли под свое покровительство и литовский язык, как одинаковый с польским. Литовцы – чрезвычайно даровитый, энергичный народ. До Ягайла они стояли ближе к русским, нежели к полякам; у них уже были школы и богатая народная словесность в пору этих русско-литовских отношений. Русская речь мешалась с литовскою на улицах городов и в селах и была всюду уважаема. Ягайло, через брак с польскою королевною Ядвигою и принятие католичества, оторвал свое княжество от России и сперва подчинил его, а затем и поработил до обезличения более утонченным и дипломатичным полякам. Но уже во время движения 63-го года литовцы и вожди литовские и слышать ничего не хотели о безличном подчинении и даже о зависимом слиянии с поляками, выдвигая все этнографическое и национальное «я». Их отношение к полякам такое же, как латышей к немцам; но, повторяем, история показывает в литовцах присутствие больших дарований и энергии. Не забудем, что Мицкевич был литвин. От России Литва не понесла до сих пор, за все время своего «сперва исторического», затем этнографического (после Ягайла) существования, никакого ущерба, унижения, словом, совершенно ничего. В Западном нашем крае они должны быть для нас тем же, чем на Кавказе являются грузины: племенем, никогда для нас не бывших враждебным, иногда бывавшим очень дружелюбным и в будущем добрым и дружественным соседом, бережно оберегаемым от всяких соседних поползновений.

Нельзя не пожалеть, что Комитет Министров в своих «заклЮчениях» определил очень смутно программу или уровень частных школ с допускаемым литовским и польским языком как основным языком преподавания. Языки эти допускаются «в разного рода частных учебных заведениях, хотя бы и с курсом, превышающим курс прогимназий». Так как прогимназии у нас есть не только четырехклассные, но и шестиклассные, и таковых очень много, то что может разуместься под «курсом, превышающим курс шестиклассной прогимназии», кроме обыкновенной полной гимназии! Ни одним словом не оговорено, чтобы Комитет Министров вводил или устанавливал у нас новый, ранее не существовавший тип среднего учебного заведения, да это и не может совершиться иначе, чем пройдя в законопроекте через Государственный Совет и будучи повергнуто на Высочайшее благоусмотрение: между тем из существующих типов школы «с курсом выше прогимназии» есть только гимназии. Совершенно поэтому очевидна вкраившаяся в «заклЮчения» Комитета Министров попытка что-то дать «сверх» прогимназии и чего-то «не добавить до» гимназии: но так как ничего третьего нет, то здесь можно читать прямо ошибку, и местные жители, города и губернии, немедленно же станут домогаться открытия частных полных гимназий с туземными языками, тем более что в «заклЮчениях» Комитета Министров ни одним словом не запрещается основывать именно полные гимназии, и только выражено это столь темно и замысловато, что остается место спорам, притязаниям, догадкам и отказам со стороны русской администра-

ции, с заключительным обращением за «разъяснением» в Петербург. У нас вошло почти во вкус давать неясные законы, и создавать вечный повод стучаться в двери петербургских канцелярий, как будто последние не имеют чем лучшим занять свой досуг, нежели растолкованием своих же «вольны и невольны» запутанных распоряжений; или точно эти канцелярии находятся в вечном испуге, как бы не настал такой день и месяц, когда у них вдруг прекратится «течение дел» и знаменитое «20-е число» лишится своего *raison d'être*. Дела, и притом настоящего, злободневного, жгучего, — слишком много, и, нам думается, издавая закон, выработывая законопроект, нужно скорее иметь в виду здравую русскую поговорку: «отрезал — и дело с концом», «отрезал — и конец». Закон должен умиротворять и разрешать споры и недоразумения, а не создавать споры и не возбуждать недоумения; закон должен «освобождать», а не затруднять Петербург; сокращать «дела», а не множить их. Закон в отношении предыдущих «затруднений» должен быть тем же, чем «произведение» в отношении «множителей»: сразу зачеркивать их все, как небывшие и ненужные. Увы, «редакции» законов у нас всегда оставляют страшно многого желать.

К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

21 октября уже возобновились занятия в некоторых частных средних учебных заведениях Петербурга. Совещание начальников и начальниц средних учебных заведений под председательством попечителя Петербургского учебного округа, состоявшееся 22 октября, решило открыть учебные заведения во вторник 25 октября. Почти бесполезно говорить, до какой степени важно в настоящее тревожное время водворение тишины, спокойствия и нормы в каждом единичном доме, во всякой семье. Сумма домов — город; и когда к тревоге и ненормальному положению города присоединяется, пусть и невольное, ненормальное, беспокойное положение какой-нибудь единичной семьи, то она тотчас увеличивает, пусть и крошечную единичную величину, тревогу всего города. То же, что мирный человек, входящий в «беспорядочную толпу». Все или большинство таких мирных людей мирны: а выходит в целом шум, хаос и опасность. Вот отчего возобновление занятий в средних учебных заведениях, не говоря о педагогической значительности, есть важная черта и важный рычаг общего городского умиротворения, которое теперь насущнее всего насущного. Занятые детьми родители получают конкретный предмет определенных дневных забот: дети, в особенности юноши старших классов, останутся на вечер дома, а не пойдут товарищ к товарищу «обсуждать положение России», которой очень тяжело и без обузы хлопот о них. Всем этим юношам должно подсказать благоразумие, до какой степени простая физическая тишина теперь и душевное спокойствие на весах Отечества тянет больше, нежели всяческие самые гениальные речи и глубокомысленные соображения. Каждый день тишины есть огромный выигрыш. Вся родина напряжена этим ожиданием, соединена в одном этом жела-

нии. Юношество пусть поможет этому. Пусть оно вспомнит закон физики, что нет «падения без отражения», что падающий на зеркало луч отражается под тем же углом, под каким пал, а предмет отраженный движется в обратную сторону пропорционально силе, с какою он ударился о плоскость. Поэтому всякое мнение, всякое заявление, всякий поступок родит собою обратное движение в том урагане стихий, игралищем которых сделалась наша окровавленная родина. Радикалы они – сейчас же рядом с ними вырастет консерватор, и именно в рост того радикализма, до которого они старались дотянуться. Все борется, все сшибается. Какие бедствия на Юге России, какие вести из Финляндии, с Кавказа, из польского края. Корабль России качает: пусть же пассажиры корабля лишнюю суматохою, беготнею, криками, жалобами не мешают команде его, офицерам и матросам, справиться с волнами и с ветром. В корабле вся наша надежда. Цел он – уцелеем мы; погибнет – погибнем. Вот главная мысль, которая должна представиться ярко благородным русским юношам и русским девушкам. И не забудьте, что в корабле этом не только бодрая юность, но и беспомощные дети, и хилые старики. Спасение всем нужно, всем дорого.

ПРИЗЫВ ЦЕРКВИ К УМИРОТВОРЕНИЮ

«Определение» св. Синода от 22 октября указывает епархиальным преосвященным «пригласить подведомственное им духовенство употребить свое пастьырское воздействие к устранению междоусобия среди населения, поучая его в своем поведении и в отношениях своих к ближним действовать в духе христианского всенародного братолюбия». Можно ожидать и нужно крайне желать, чтобы священники без всякого промедления и сейчас же возвысили свой голос с церковной кафедры – с призывом групп населения щадить друг друга, прощать взаимные вины, не допускать раздраженного сердца переходить в физическое насилие. Священник в будничной рясе и он же в эпитрахили и за церковною службою – совсем разное лицо в глазах народа. Первое есть частный человек, мнение которого оспаривается из толпы; второе есть авторитет, которому толпа повинуется привычным повиновением как священику. Нужно поэтому непременно желать, чтобы священники не частным образом, у себя дома, или в толпе на улице, или дождавшись какого-нибудь инцидента, столкновения, говорили и увещали; но чтобы, предупреждая столкновения, призывали к миру и прощению с кафедры и в облачении, в чтимой официальной должности. Нельзя не заметить, что «любовь» и «мир» для нас, частных людей, есть только этическое требование; но для священника это есть не человеческий долг, не голос его сердца, а совершенно определенная официальная обязанность, есть долг «пастьырского служения» в совершенно юридической строгости. Поэтому нельзя достаточно надивиться, каким образом «распоряжением московского епархиального начальства», как выражено в определении Св. Синода, было предложено по всем церквам Москвы прочитывать священникам одну и ту же отпечатанную епархиальною властью пропове-

ведь: «Что нам делать в эти тревожные дни», которая даже по осторожному определению Св. Синода «могла послужить причиной междуусобного раздора среди населения, проявившегося даже в самых храмах». Если «проявившегося», то значит, не только «могла послужить», но уже и «послужила». Действительно, как сообщалось в московских газетах, сейчас же после прочтения этого возвания-проповеди к московскому народу в храмах, тут же начались сцены злости, ругани и, наконец, физического насилия!! Это в храмах, где только что на литургии принеслась бескровная жертва перед Телом и Кровью Спасителя, пролившего эту самую кровь за грехи мира и сказавшего: «Возлюбите ненавидящих вас, благословляйте клянущих вас». Если слова эти ничего не значат в глазах неверующего, в глазах нигилиста, то невозможно понять, каким образом они оказались ничего не значащими в глазах сперва «епархиального московского начальства», которое думало же о чем-нибудь, когда подписывало «к исполнению» плачевный документ, и далее в глазах почти всего московского пастырства. Ибо семьдесят московских священников за полной подписью своих имен выразили печатно свой протест против прочтения этого «призыва», другие прочли его с выпуском тех мест, которые могли «послужить причиной междуусобного раздора среди населения», по мнению Синода; другие священники, именно на глазах которых произошли сцены злости и насилия в храмах, написали в редакции московских газет объяснительные письма, что они не смели нарушить служебного долга подчинения, хотя и видели и чувствовали, что может произойти от проповеди, где по совершенно определенному адресу, по адресу определенных групп московского населения, указывалось (еще до всяких беспорядков) 16 октября, что они «изверги», что они «ненавидят Царя», что они «мятежники», «враги Христа, отвергшие божеский и человеческий законы». Это при тихой забастовке, когда все нервы были напряжены, когда люди были измучены, но, однако, ни с одной стороны не было сделано ни малейшего физического насилия, физического покушения!! Можно ли, не кошунственно ли обращать Евангелие и авторитетное место и время проповеди, храм и богослужение, в орудие тех физических мер, какими полиция вынуждена разгонять толпу?! И, главное, среди тишины: ибо никто в то время еще не шевелился, нигде не дрались, не шумели, «царя не ругали», «Бога не отвергали», как значится в проповеди, а спокойно и молча отошли от работ на железных дорогах. Это делали в типографиях, на заводах, но директоры заводов и редакторы газет не кричали на рабочих: «Вы безбожники, изверги!» Отчего только одна «епархиальная московская власть» прибегла к этой «чрезвычайной мере»? Писали, что от забастовки «молока детям в Москве не хватает». Об этом писали. Но ведь «епархиальная в Москве власть» все монахи, и им вовсе не нужно «детского молока», так как они постники. Молока не кушают, а «сокрушения костей» возжаждали. И, повторяем и настаиваем, для всех нас это есть сфера только этического долга, мягкого, не юридического, но для «епархиальной власти», перед которой не только священники «обязаны исполнять», но и она сама тоже кое-что «обязана исполнить», – это есть сфера совершенно строгой ответственности.

Невольно подумаешь об «епитимьях», которые в своих комментариях она так щедро налагает на других: и вот теперь ей нелишне было бы подумать об «епитимьи» для себя. Правда, это все большие начальники, и кто же их будет «подвергать епитимьи». Она – для малых людишек.

ПЕРЕМЕНА В ОБЕР-ПРОКУРАТУРЕ СВ. СИНОДА

События идут так быстро, что не успеваешь отмечать их. Отставка обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева, четверть века занимавшего эту должность, и его товарища кн. Ширинского-Шихматова, который во время продолжительной московской службы в должности начальника синодальной канцелярии был ревностным проводником всех взглядов обер-прокурора, является минутой несомненного перелома в направлении и ходе всех церковных дел. Собственно говоря, уже указ о веротерпимости должен был вызвать эту перемену в личном составе синодальной обер-прокуратуры, ибо весьма странно одною и тою же рукою и строить и разрушать, и рисовать узор и перечеркивать его. К несчастью, история наша имеет примеры, когда сила и строгость Высочайших указов так смягчалась и притуплялась и обходилась, что они получали лишь самое незначительное воздействие на реальное сложение жизни и реальный ход дел. Можно было опасаться и в отношении указа о веротерпимости последующих «циркулярных разъяснений», особенно когда время пройдет, люди поуспокоятся и внимание не будет фиксировано на этом вопросе. Когда люди около законов – те же, новые законы только наполовину суть законы и более похожи на гипотезу. Во всяком случае, сохранение К. П. Победоносцевым должности обер-прокурора Св. Синода после указа о веротерпимости и всех новых начинаний около Церкви знаменовало твердую решимость и, вероятно, незыбкую надежду лакировать снаружи старую постройку и скрыть под лаком давно гнилую действительность. Достаточно сказать, что в самом Петербурге предложение, исходившее от Св. Синода, о присылке от духовенства каждой епархии приблизительно программы вопросов, которые должны быть рассмотрены на предстоящем соборе поместной русской церкви, – осталось почти всем петербургским священникам вовсе неизвестным, и они только по слухам знают, что есть какая-то комиссия из назначенных священников, которая, в полной неизвестности для всех остальных, вырабатывает какую-то «ответную бумагу» на запрос Св. Синода. Как ни охранителен Св. Синод, К. П. Победоносцев был в постоянном испуге от его либерализма, новшеств, предположений, поползновений к малейшей перемене, к малейшему движению. Рассказывали, что один из епископов, осмелившийся после Высочайшего указа от 6 августа о Государственной Думе провозгласить в Александро-Невской лавре, в церкви на литургии, в «благословенных» выражениях многолетие этой будущей Думе, подвергся таким неприятностям со стороны светского чиновничества при Св. Синоде, что не находил покоя и не считал обеспеченным за собою своего сана и должности.

Точно эта Дума была каким-то исключительно недопустимым учреждением, а не проявлением Государевой воли; и как будто с церковной кафедры не провозглашаются «многолетия» не только «воинству и всей палате», т. е. всему чиновничеству, но на молебнах в учебных заведениях и «многолетия начальствующим, учащим и учащимся». Деспотизм около Синода простерся до того, что епископы даже, не говоря об архимандритах, о священниках или профессорах духовных академий и духовных семинарий, не могли иметь никакого иного образа мыслей, нежели какой предначертан был «отныне и до века» в «Московском Сборнике» маститого обер-прокурора. Там, как известно, представительные учреждения Западной Европы названы в самой заглавии статьи, о них трактующей, «великою ложью нашего века»...

Назначение обер-прокурором Св. Синода кн. Оболенского, о котором со всех сторон утвердительно говорят, что он был другом знаменитого нашего философа и богослова Вл. С. Соловьева и по смерти его явился одним из самых ревностных охранителей его памяти и высокого авторитета, лучше всяких программ, обещаний и заявлений знаменует полный поворот в церковных наших делах от удушливой канцелярской системы К. П. Победоносцева к духу обновления, доброты и снисхождения, провозвестником которых в нашей жизни был Соловьев. Последний был назван в церковном журнале «Вера и Разум» в длинном ряде статей, появившихся после его смерти, «Русским Оригеном XIX века». Известно, как трогательна была его православная кончина в Москве. Также известно, что свою книгу «Оправдание добра» он посвятил не отцу своему, а деду – простому православному священнику. Итак, в почитателе его личности и идей мы можем ожидать и нам следует надеяться увидеть православного человека, просвещенного всем светом и русской и европейской образованности. Этим все сказано. Все русское духовенство, весь русский народ и образованное общество молят вздохнуть с полною грудью и, перекрестившись, сказать: «Наконец-то, слава Богу!!» Ибо значение обер-прокуратуры при Св. Синоде неизмеримо по значению. Нет того прихода и, следовательно, того села, нет того клязучного консисторского «дела», в котором <не> завязли какие-нибудь несчастные разводящиеся супруги (вспомним знаменитое полтавское дело об убийстве секретаря местной консистории Комарова), на котором отраженно не светилась бы личность обер-прокурора Св. Синода, то темная и мрачная, то светлая и человеческая.

ДЕПУТАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ В ПЕТЕРБУРГЕ

От Московской духовной академии приехала в Петербург депутация из трех профессоров, гг. Глаголева, Громогласова и Попова (редактор «Богословск. Вестника»), с целью изыскать способ выйти из затруднительного положения, в какое академия поставлена отказом студентов слушать лекции впредь до распространения на духовные академии «временных правил», данных в нача-

ле сентября этого года всем высшим учебным заведениям России, за исключением их одних. Так как в это же положение поставлена и Петербургская духовная академия, то ее профессора весьма благоразумно решили собраться вместе с депутатами Московской духовной академии обсудить одинаковое положение. Пожелания представителей обеих академий свелись к тому, чтобы во что бы то ни стало сохранить на эту зиму строй учебных заведений, т. е. возобновить лекции и не распускать студентов по домам, как это уже решено сделать высшею духовною властью на случай, если к 1 ноября «слушатели не одумаются». Нужно заметить, личное воздействие митрополитов: Антония в отношении Петербургской академии и Владимира – в отношении Московской осталось безуспешным. Другого и большего нравственного авторитета, нравственной силы воздействия – нет. И пожелания вообще профессоров этих двух академий клонятся к тому, чтобы по крайней мере на этот начавшийся учебный год «временные правила», т. е. автономия профессорской корпорации, были даны. Тогда год кончится без потрясений, а между тем уже решенный в Св. Синоде пересмотр «Устава духовн. академий», конечно, может дать автономии неполную, вообще сделать отступления от «временных правил», и тогда это пройдет спокойнее в более спокойное время.

Нам думается, это самое благоразумное решение вопроса, которое обещает сейчас же некоторое улучшение в положении дела, и принятие пожелания профессоров как временной меры на один год нам представляется вполне целесообразным. Тем более, что можно ли представить себе что-нибудь более скромное и непритязательное, нежели российские профессора духовных академий? Их жажда «автономии» есть жажда самой маленькой, добропорядочной и законной независимости в чисто ученых, в чисто учебных делах, в отношении рассмотрения диссертаций и занятия вакантных кафедр, от административной власти местных владык, – людей, далеко не всегда компетентных в науке и, однако, вмешивающихся в науку, вмешивающихся в нее под давлением негласных происков, протезирования и наущничанья? Кто не помнит истории удаления с кафедры Н. П. Гилярова-Плагонова митрополитом Филаретом? А это был еще мудрейший из архипастырей, и затронул он знаменитую ученостью и образованием профессора. «Мелкие сошки» совсем без труда летят... Между тем наука ведь действительно должна быть свободна, – это ее альфа и омега. Конечно, можно сказать, что науки «богословской» и совсем не нужно, что с России достаточно одних благочестивых священников. Но тогда зачем же и деньги тратить на академии, их нужно вовсе закрыть, ибо для выработки «священнического благочестия» много даже и семинарий, достаточно одних духовных училищ или, еще лучше, небольших школ при монастырях. Вообще, «благочестие» не так трудно установить: стоит снять верхи, немножко все сплющить – и готово. Похороним Голубинского, скажем «не нужно» о Гилярове; останутся все «отцы Петры» да «батюшки Иоанны», при которых отчего же и не прожить Руси. Но мы хотим быть державой на два полушария, представительницею Востока, представительницею Православия. Но тогда давайте нам и Голубинского, и Гилярова, да и еще больше их, светлее,

смелее; а в основе всего – независимость ученой кафедры от «епархиальных распоряжений» владыки. Вспомним-ка средневековый Парижский университет, который, при всем абсолютизме средневековых пап, был независим от этих самых пап, независим и от французских королей, иногда вмешиваясь в их распри и свободно вынося свое решение о правоте их, – правоте папы и короля!! Непривычная нам свобода, непривычный авторитет: но таково существо науки, и особенно таково существо именно «священного богословия», и оно создалось еще в XIII, XIV, XV веках! Так колебаться ли нам над нашей нищенской «автономией», над этими «временными правилами», над скромным прошением московских и петербургских смиренников! Вот уж, подумаешь, «либераль» и «революционеры»...

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ

Единство направления и духа во всяком деле, однородном по существу и задаче, – есть несомненная аксиома вообще всякого упорядоченного управления. Церковно-приходская школа, явившись младшим братом около школы земской и министерской, захотела играть роль старшего брата около них, – и не неудачно. В недавнее наше время личность министра, его ум и наступательная решительность, играла немаловажную роль: и в пору Делянова, Боголепова, Ванновского и Зенгера школа министерства народного просвещения, хотя была лучше организована и имела лучший подбор преподавателей, павала перед церковно-приходскою школою и пятилась перед нею, благодаря выдающейся личности и влиянию обер-прокурора Св. Синода, К. П. Победоносцева. Но все это было до крайности ненормально ввиду того, что во множестве случаев сельские батюшки даже печатно заявляли и жаловались, что им решительно некогда заниматься школою и они должны оставлять учеников и прерывать урок, если их зовут исповедать умирающего или совершить другую неотложную потребу. В мотиве возникновения церковно-приходских школ играла роль не столько педагогика, сколько политика и даже мелочное политиканство: жалобы законоучителей, что им преподавать «некогда» и к преподавательской деятельности они не готовились, – оставались втуне, ибо не в преподавании тут было и дело, а в том, чтобы до деревни через школу не дошел «тлетворный дух». Батюшки и вообще вся церковно-приходская школа была тем буфером между образованным городским населением и простодушным «мужичком», – который должен был не допустить их опасного соприкосновения; тем мертвым камнем, который не пустил бы воду, куда ее по соображениям не надо было пускать: вот и все! Соотношение вещей до того неестественное, что оно не могло и не может долго продержаться!

Селу и деревне нужны училища, и непременно практические училища. «Ученье есть свет» – так выразил народ свой идеал. В награду за этот идеальный взгляд народу должна быть дана образованными классами такая школа, чтобы он сказал: «Училище – это хлеб». Не нужно играть на идеальных пред-

ставлениях народа, пользоваться ими, эксплуатировать их. Грех о полугодном мужике говорить: «Видите, в школе он ищет света, о хлебе он не заботится, мирскими нуждами пренебрегает. Пусть же читает Четьи-Минеи св. Дмитрия Ростовского, пусть восторгается отшельническими подвигами греческих пустынников IV века после Р. Х. И если он в то же время ходит без сапогов по неумению их шить и пашет землю скифским способом, то не духовенству же об этом заботиться, которое имеет свой специальный круг ведения». Конечно, духовенство имеет «специальный круг ведения», как и специально-ограниченное мирозерцание, и читает книги довольно «специального подбора». Но, кажется, на такую «специальность» имеет право и 100 миллионов пахарей: знать, каковы бывают почвы, какие есть способы удобрения, какие способы земледелия, плодоводства, огородничества, какие где употребительны плуги, веялки и прочее. При праве на «специальность» двух совершенно разнородных сословий, двух совершенно разнородных задач жизни и способов жить, не для чего было пытаться слить, сроднить два эти сословия: сельское и духовное, слить в сущности целого отвержения всей самостоятельности деревенско-земледельческих забот и подчинения 100-миллионного сельского населения специальным духовным интересам и мирозерцанию духовного сословия. Пусть это останется частью в народе, но не занимает всего пространства народной души.

Школа церковно-приходская есть искусственное явление, а с точки зрения утилитарно-народной она не является и полезной. Народу, при его нищенском положении, нужно читать не о том, как жили греки IV века, а как нужно жить и как работать в XX веке, в холодном климате, при лютой зиме и истощенной почве. Кстати, церковно-приходская школа теперь везде есть, в каждом селе, во всяком благочинии: но примеры «благочестивых сирийцев, греков и египтян», гревшихся совсем под другим солнцем, не удержали бывших воспитанников церковно-приходских школ от «аграрных беспорядков» и всего культурного ужаса и вандализма, каким они сопровождались.

Вот отчего нельзя не порадоваться и не пожелать практического осуществления начавшим ходить слухам о передаче церковно-приходских школ, а равно и школьных сумм, на них ассигнуемых или ими заведующих, – министерству народного просвещения. Через церковную службу и через таинство, особенно через исповедь, духовенство имеет совершенно достаточную возможность воздействовать на душу народную. В высшей степени желательно, чтобы духовенство все силы приложило к тому, чтобы совершать как можно старательнее эту службу, – особенно страдающую недостатками от торопливого или неискусного чтения Евангелия в церкви, от торопливого или глухого, едва слышного чтения молитв. Напомним также о глубокой небрежности духовенства при исповедании, что не составляет ни для кого тайны, и о совершенно ничтожном по содержанию и машинном проповедовании. Есть о чем подумать в своем «специальном круге забот», далеком от того, чтобы стоять на высоте положения. Что касается до вопроса: кому передать церковно-приходские школы? – то мы предпочли бы оста-

новиться на земстве. Это – его излюбленное дело, привычно-излюбленное. Пусть оно его и культивирует. Кроме этого министерство, за централизованностью своею, вследствие того, что оно все видит из Петербурга и делает из Петербурга, – не может придать деревенскому учению того практического, хлебного, попросту выгодного характера, в котором теперь почти все дело. Ибо мужик голоден – это прежде всего! Перед таким «memento mori» должны отступить всякие идеальничанья, как и все шаблоны.

ОБОЙДЕННЫЕ В ПРАВАХ

Среди всевозможного требования «прав» и всяческого «обновления» многие ждали: не поднимет ли кто-нибудь голос об отмене самых застарелых, самых отживших век порядков, деспотически властвующих над русскою семьею? Увы, цензура почти отменена, четыре «свободы» дарованы, – а подите-ка, так же, как 40 лет назад, мытарят свою душу по консисториям, в судах, в «комиссии прошений, на Высочайшее имя приносимых», какие-нибудь жены, избиваемые алкоголиками-мужьями, мужья, брошенные женами, счастливые родители, никак не могущие ни узаконить, ни усыновить своих детей. Ни Геркулес, ни дитя, ни мудрец, ни законодатель не тронули стен этой Авгиевой конюшни, в которой сколько слез пролито, и об этих слезах сколько песен спето, сколько рассказано рассказов! «Обновление» их не заметило. Требователи «свобод» о них промолчали. А ведь здесь проходит самая черная полоса рабства. Скажу: «Это немногих касается». Но ведь и «свобода печати» не касается деревень и сел, а между тем семейная драма есть в каждом селе, в каждой улице города.

Мы только напомнили, что это «обойденные». И напомнили к случаю: дней через десять будет рассматриваться в петербургской думе вопрос об обязательном безбрачии городских учительниц, и училищною комиссиею уже заготовлен и внесен об этом доклад в отрицательном смысле. Вот что бы нашей церкви, именующей себя «матерью», т. е. покровительницею верующих, и, в частности, которая считает все вообще таинство брака и все единичные в стране браки находящимися в ее «заведывании», вмешаться властным образом в этот вопрос и изъявить, что дума присвоила себе право, принадлежащее только церкви, «вязать» и «разрешать». С какою торопливостью расторгаются ею «неправильные браки» по случаю свойства или духовного родства (напр., мальчиком и девочкою жених и невеста были восприемниками одного ребенка от купели): а вот где надо *облегчить*, добиться *позволения*, *снять* тяготу бремена с людей, как, например, с этих учительниц, церковь молчит, Синод безмолвствует, духовенство не вмешивается. И где мы хотели бы видеть мать, встречаем точно постороннюю равнодушную женщину.

Все доводы в докладе комиссии, части которого нам были показаны, софистичны и, местами, пытаются острить в вопросе вовсе не смешном. Напр., на то указание, что семейная учительница может лучше, серьезнее и опытнее относиться к маленьким ученикам, имея своих детей, доклад отвечает, посмсиваясь,

что ведь таковое улучшение учительницы могло бы наступить лишь по достижении 8-летнего возраста их детьми: и значит, городу нужно искать именно учительниц с этими взрослыми детьми. Но кто же не знает, что материнство само по себе, в первый же год, пробуждает в женщине целый мир новых и серьезных чувств, новой заботы о маленьких человеческих существах и новое на них воззрение: вот это все, преобразившись, трансформировавшись сама, она прилагает невольно и к педагогическому своему делу. Нужно ответить прямо на вопрос: лучше ли, возвышеннее, глубже, мягче, нормальнее, здоровее замужняя женщина 30–35 лет или пожилая девица 30–35 лет, и уже на этой почве решить зависимый вопрос о том, лучше или хуже учительница замужняя или учительница вынужденно-безбрачная. Скажут: «Нет вынужденного безбрачия». Нет, оно есть: 50 руб. жалованья учительницы, сложенные с 50 руб. жалованья мелкого чиновника, совершенно обеспечивают скромную семейную жизнь. Ведь не выходят же учительницы за богатых стариков или уже выслужившихся чиновников, выходят они, как и все, «за своего брата», за равного по рангу, молодости и положению человека, и вот при этом условии, при невозможности семейно существовать на 50–60–70 руб. в месяц, множество, почти все возможные браки учительниц расстраиваются, становятся прямо невозможны. И неизвестно еще, доживут ли учительницы до «благодетельной» пенсии думы; доживут ли даже до старости; но дума у каждой учительницы, решительно у каждой изломает ее жизнь, отнимет именно в молодости жениха. Можно, наконец, попросить следующей жалости и рассуждения. Выйдя за маленького чиновника замуж, учительница лет через пять, когда ее муж подвинется по службе, положим от 50 к 75, к 80 руб., и когда у нее будет 2–3 детей, может и сама оставить службу. Тогда это возможно будет, при 80 р. жалованья одного мужа. Тут уже недолго дожидаться и лучшей судьбы, ибо служба везде растет и всегда растет. С непонятно жестокостью, – что, может быть, не всем известно, – училищная комиссия увольняет сейчас же, на другой день по выходе замуж, учительниц, и тщательно следит за их безбрачием сама, не дожидаясь доносов или «обнаружения». Тут есть какое-то инквизиторство, и, кажется, есть самая мелочная месть за то, что печать отстаивала бедных учительниц и немножко порицала за них училищную комиссию. Все доводы последней против замужества ненаучны, почти вздорны и только «придирчивы», только клонятся к тому, чтобы «настоять на своем». Все разбивается о тот один факт, что сама же комиссия оставила на своей службе всех учительниц, уже бывших замужем до 1897 года, т. е. многодетных. При чем же тут благочестивая ссылка, что комиссия «так радит, так радит» о том, чтобы учительницы заняты были только своим делом и не отвлекались от него детьми? Лицемерие, педагогическое фарисейство, и, как всякое фарисейство, – смешанное с жестокостью.

Не отнимайте у молодости ее счастья: дайте возможность вышедшим замуж учительницам оставаться на службе хотя первые пять лет, до третьего, – ну, до второго ребенка. Это уже так мало, это крошечная милостыня. Пусть комиссия и дума не подражают купцу Островского, говорившему о женщине и матери: «Хочу (ее) с кашей ем, хочу со шами хлебаю». Пусть подумают и пожалеют.

ПЕРЕД СОЗЫВОМ ЦЕРКОВНОГО СОБОРА

I

Наряду с Государственной Думой следует указать на русский церковный собор, как такой же элемент устойчивости нашего национального корабля, как на другой рычаг выравнивания его хода. К собранию этого собора деятельно готовятся. В последней книжке «Богословского Вестника» профессор Московской духовной академии В. Н. Мышцин рассказывает, что он посетил подготовительные к собору совещания ярославской епархии. Архиепископ ярославский сумел придать чрезвычайно разумную организацию подготовительным собраниям приходского уездного духовенства, и затем, когда его выборные собрались в Ярославле, отслужил молебен, благословил священников, и затем устранился, на время совещаний, сам, дабы не стеснять своим присутствием голов и голосов нашего умного, но весьма и весьма еще забитого, запуганного духовенства, большинство которого на съезде состояло из сельских батюшек. У г. Мышчина вся система выборов рассказана очень подробно, и мы хотели бы, чтобы во всех других епархиях справились с этим рассказом о том, как разумно, любовно и согласно это дело ведется в Ярославской губернии, одном из стариннейших исторических уголков нашего православия, – крае Ростова Великого с его древностями, крае Ярослава Мудрого с его историческим значением.

Уверены, – везде, где епископ отнесся бы к священникам, как к дорогим своим детям, он встретил бы ответно не только следование своему руководству и советам, но и вызвал бы энтузиазм этого последования. Ведь наше духовенство, особенно сельское, до того этим не избаловано! Первая ласка всегда всемогуща. Теперь, когда сама история толкает выслушать, и непременно выслушать церковные голоса священников, – епископы, которым в недалеком будущем предстоит считаться с мнениями и голосами доселе рабски подчиненного им белого духовенства, могли бы тактом, обходительностью и благоразумием предотвратить возможные здесь в будущем столкновения, возможное расщепление духовенства на народно-священнический слой и на слой уединенно-монастырский, с разными мирозерцаниями, с разными требованиями, с разными религиозными идеалами.

К сожалению, там, где мудрый льет на волны масло, неосторожный накликает бурю, и без нужды, решительно без всякой нужды! Вот отрывок из письма, которое мне показал один (не петербургский) священник и которое он получил от другого, южнорусского священника, товарища по духовной академии:

«Спешу поделиться интересною новостью, только что узнанною из достоверного источника (как увидит ниже читатель, «источник» оказался совершенно точным). Оказывается, что наши монахи не дремлют и всеми силами стремятся сплотиться, чтобы сохранить за собою гегемонию в церкви (автор пишет частное письмо и употребляет, так сказать, «крутые» слова, без обходцев). С этою целью, в силу сделан-

ного из Св. Синода запроса, епископом волынским Антонием составлена объемистая записка*, которая предназначена для архиереев же. В ней Храповицкий (еп. Антоний волынский) приглашает всех епископов объединиться, чтобы не допустить белое духовенство на предстоящий Собор русской церкви, так как оно, по его заявлению, будет стремиться к ограничению архиерейской власти там, где она переходит в безответственное и деспотическое самовластие, будет стремиться к выборному началу не только священников, но – о, ужас – самих архиереев; к восстановлению древнего обычая христианской церкви выбирать епископов не из монахов, к допущению второго брака для вдового духовенства и даже... к уничтожению самодержавной власти?! Епископ Антоний взывает к своим собратьям об устройстве церковного Собора только из архиереев, а если это невозможно, то лучше всеми способами не допускать осуществления его, так как с допущением на него либерального духовенства он выйдет несравненно омерзительнее, если на него, вместо священников, допустить даже всех каторжников!?! (Сохраняем знаки препинания письма – живое свидетельство волнения корреспондента). Все это я слышал от лица, которому удалось самолично, но за недостатком времени весьма спешно прочитать эту записку, полученную нашим епархиальным владыкою (в письме проставлено имя, которое я опускаю). Лицо это передает, что записка очень объемиста и носит надпись: «Для продажи не предназначается». Итак, монахи не дремлют, принимают меры к сохранению за собой власти и для этого не брезгают в выборе средств, даже клеветуют. Неужели наше белое духовенство, ввиду такого вызывающего поведения черноризцев, останется по-прежнему разрозненным и пассивным и допустит мнихов (древнеславянское наименование монахов) осуществить свой план? Не лучше ли и нам последовать примеру грузинского духовенства».

Вот готовность, в которой поистине не было нужды! Но невозможно, положив руку на сердце, не сказать, что белое духовенство, которое несет решительно на себе одно всю сумму труда церковного среди народа и для народа, которое исторически (со страшной постепенностью) потеряло всю власть, всякий блеск, всяческую свободу и, наконец, почти нищенствует (по уездам и селам), вправе начать думать о своей солидарности, о своем объединении, вправе начать искать древних оснований своего значения и авторитета, когда дело доходит до того, что его отцы, наставники и руководители сравнивают его с каторжниками, и сравнение это сделано не в частной записочке к интимному другу, а в официальном документе («Записка» печатная есть ответ на запрос Св. Синода), сделано не совсем гласно, однако же отнюдь и не негласно, ибо она напечатана, распространяется и, например, петербургское духовенство обильно читает ее! Возможно ли не начать белому духовенству

* Она напечатана, с оговоркою на ней: «Не для продажи», но без запрещения ее цитировать и разбирать, – и мы затем подробно ее изложим. Записка подписана полным именем.

тревожиться, если принять во внимание, что это для него не теория, а суровая практика, что это не восклицание аскета о семейном священнике, а определение начальником своих подчиненных, от которого эти подчиненные настолько зависят, как ни один чиновник от своего министра. Поклоны до земли, «в ноги» везде вывелись, а лично я сам был зрителем, как в городе Ельце все духовенство, старое, почтенное, встретило поклоном «в ноги», до земли, своего епархиального владыку, ныне покойного епископа Мисаила. И епископ этот был прекрасный, не требовавший раболепства, – но он был новый, только что назначенный на епархию, и духовенство, ничего о нем еще не зная, поступило «как заведено»! Как ужасно «заведено»! Где же слова Христа, перед шествием на муки, ученикам Своим: «Ныне вы уже не служители, а *други Мои*». Оставим и перейдем к делу. Не должны ли были священники затревожиться самую практическою тревогою, тревогою *служебною*, тем более что и обращено могло быть подобное письмо-послание только с ожиданием, почти с уверенностью пишущего в интимном согласии с собою и своим тоном тех лиц, к которым письмо адресовано. Поистине, столь резких слов, слов ответственных, я не скажу тому, в ком могу найти упрек, отвержение, резкое несогласие! Кто же эти адресаты? *Все* епископы русские, практически – все сплошь начальство всего нашего, поистине несчастного, белого духовства!! Мы не говорим уже о нравственном чувстве. Скажет кто-нибудь: «А, ведь, в самом деле, был из них Гапон?» Боже, но ведь и между епископами был Арий? И между апостолами даже – всего 12! – мы знаем одно имя с плачевною репутацией?! Отвечать ли за это сословию? А говорится о *сословии*, говорится без имен, об «них»... Послание-письмо разберем завтра, а сегодня спросим епископа: разве не помнит он слов Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: если кто скажет ближнему своему *рака́*, что значит *глупый человек*, – подлежит геенне огненной». Еще в этом году, в Великом посту, тот же епископ волынский Антоний сперва произнес, а затем и напечатал в «Московских Ведомостях» грозное, обличительное слово: «О страшном суде», приблизительно в том смысле, что все сплошь образованное общество русское будет так «гореть в огне». Но текстов об образовании он не приводил. А вот о грубых словах про ближнего, об оскорблении его словом, даже не очень грубым – «рака́», «глупый человек», есть текст. И как он должен загореться сейчас перед еп. Антонием, если слова «ад», «рай», «вера», «Бог» – для нас есть не только «по службе положенные» слова, но и вера нашего сердца, убежденные ума, ночные вопли и практический жизненный посох!

II

Прежде всего ознакомимся с личностью еп. волынского Антония. Это – не «кто-нибудь», не рядовой архиерей, разбирающий и подписывающий консисторские дела, а человек с богатым прошлым и когда-то огромными возлагавшимися на него надеждами. «Возлагавшимися» не одним духовным сословием, а и всеми образованными русскими людьми, не чуждыми церкви. Ле!

двадцать назад, в совершенно молодые годы, будучи ректором Московской духовной академии, он основал лучший до сих пор богословский наш журнал – «Богословский Вестник», этот «Вестник Европы» нашей церковной журналистики, орган прежде всего науки и литературы (богословской), без семинарского жаргона и «затхлого запаха». Богословская школа Хомякова была путеводною звездой этого журнала, т. е. примиренность и гармония религии, церкви, образования и науки, примиренность всего этого в любящем сердце человека, в надеющемся, исполненном «упований», величавом движении всемирной истории. Но еще более были прекрасны слухи о нем как о ректоре: всегда окруженный студентами академии, он, казалось, не имел от них ничего отделенного, «своего», замкнутого; всем и всегда он готов был с ними делиться, помогая неимущим средствами, всегда имея дверь свою открытою для входа каждого нуждающегося или провинившегося. Начало любви было им выдвинуто вперед; начало закона, в его сухой юридической форме, отодвинуто назад. Это ли не надежда церкви? Еще молодой, первый по блеску писатель в духовной литературе, вечно подвижный, деятельный, замышляющий все новое, всегда впереди других, и не по честолюбию, а по таланту, – он, помню, вызывал во мне, тогда еще совсем молоденьком учителе провинциальной гимназии, настоящий энтузиазм. Припоминаю это: ибо, вероятно, подобное же чувство он вызывал и в десятках, в сотнях, тысячах русских людей, не чуждых вообще круга церковных интересов. Вдруг донесся (все туда, в далекую провинцию) слух, что он расстался с Московской академией, и «не по доброй воле». На расспросы мои (в письмах) я узнал, что он был «переведен на другое место службы», в более глухую провинцию, по проискам знаменитого архимандрита Никона, кажется, «ключаря» или «эконома» Троице-Сергиевской лавры, редактора народных «Троицких Листков», расхившихся в сотнях тысяч экземпляров. Никону, «народному» оратору, был противен этот «высокоумный» ректор академии; писали мне в письмах, что Никону, страшно разбогатевшему (называли капитал в 90 000 р.) на ходких «Троицких Листках», был как бельмо на глазу молодой монах-энтузиаст, прежде всего и впереди всего бессребреник, делившийся последним рублем с семинаристом (это определенно говорили). Никон этот, постоянно пишущий в «Москов. Вед.», вообще старается по части «обличений» и всего еще весною этого года он зараз обвинил в неправославии, безбожии и декадентстве 1) епископа Евдокима, теперешнего ректора Московской дух. академии; 2) весь вообще журнал «Богословский Вестник» и 3) проф. М. М. Тарьева, одно из лучших украшений нашей философско-богословской литературы. Пишет он языком грубым и народным, и до того всегда резким, что больно читать (или, пожалуй, – «уши вянут»). Текст известного послания, прочитанного в середине октября месяца по распоряжению епархиальной власти во всех церквях Москвы, за которое обрушилось столько неприятностей на митрополита Владимира, как уверяют, составлен был им, да это видно и по слогу проповеди. Прошлую зиму городское московское управление ходатайствовало о прекращении его «проповедания» («лекций») в московском епархиальном доме: так

оно возбuditельно и дурно возбuditельно действовало на народ, сводясь постоянно к «безбожию» и «противоправительственности» образованных классов, профессоров вообще, науки вообще, печати вообще. Сей московский Савонаролла (о «капитальце» его я оттого и упомянул, что это характерно на Руси) и сломил лет 20 назад ректора Московской духовной академии, ныне епископа вольнского Антония, которому тогдашний митрополит московский (помнится, – митрополит Леонтий) сказал только, что «нам с вами служить вместе неудобно: вы – человек молодой, я – старый, вы все провозглашаете принцип любви, тогда как я живу и уже привык жить по старому принципу закона и законности, да как высшему начальнику епархии и академии мне и неудобно не повиноваться закону, а вы его колеблете». Молодой монах ушел. Можно представить, однако, себе, – до чего вырос еще его нравственный ореол.

И потом он был несчастен («по службе»: когда лет семь назад я удивленно высказал одному довольно значительному чиновнику Св. Синода: «Отчего такое светило, как Антоний Храповицкий, не вызовется для присутствия в Синоде», – то он передал до того грубый и уничижительный отзыв о нем высшего светского около Синода начальства, что я только подивился «крупным словам», там употребительным; без упоминания «епископ», он назван был только голым именем, в какое «поп окрестил», но с укорочением до полуимени. Так учитель мог бы выразиться об озорнике-гимназисте или, еще лучше, – барин о провинившемся своем слуге. Я только понял, до чего тут «возорены страсти». Свои своих поедают; и унижения, и порицания, и потаенная клевета. А так все «благолепно» с виду...

И вот эту весною епископ Антоний произносит «Слово о Страшном суде», пугающего и обличающего характера, совершенно в духе архимандрита Никона, когда-то его недруга, обличителя его самого за «либерализм»... Я говорю об этих переменах в знаменитом епископе, ибо о перемене всей его деятельности, всего духа, характера, говорил и прошлую зимою, и говорит теперь весь Петербург, насколько он сколько-нибудь знает церковную жизнь. Все основную причину указывают в том убийственном строе духовного ведомства, какой оно получило за время долгодетного управления К. П. Победоносцева: что ничто, не проникнутое духом мрачного ханжества, не выдвигается им сколько-нибудь вперед, все оттирается назад, в безвестность, бессилие, все стирается до полного ничтожества. Человек деятельный, рвущийся вперед, видя перед собою глухую, непобедимую стену, через которую нельзя перешагнуть иначе, как сделавшись сам глухим к жизни, решил агрофировать свой слух или притвориться глухим на время прохода через эту стену, чтобы, выйдя по ту сторону ее, начать ломать ее же. По крайней мере, когда в прошлую зиму заговорили об учреждении патриаршества и уничтожении обер-прокуратуры при Св. Синоде, опять же епископа вольнского называли. и называли не без основательной тревоги, как самого деятельного, воодушевленного и убежденного двигателя или вдохновителя чуть было не удавшегося преобразования. И в «Докладной записке», которую мы будем разбирать, упоминается о восстановлении патриаршества почти с личною нетерпеливо-

стью, как бы горит что перед человеком. Может быть, в этих объяснениях есть истина, однако не полная. «Нужда понудила» – это так. Но и в «Слове о Страшном суде», и в теперешней докладной записке есть бесспорный полет самостоятельной мысли, есть творческое слово, есть свое убеждение. Да разве сам К. П. Победоносцев есть не светлый ум, с редким образованием? Однако ум этого же ханжеского, удушьющего характера, для всех антипатичный, всем враждебный, враждебный образованию и всякому движению вперед общества. Чистосердечное в Победоносцеве, конечно, может быть чистосердечно в еп. Антонии. Увы, вся эта сфера так называемых «церковных дел» имеет в себе какую-то тайную силу, почти магию: затягивать, вовлекать, очаровывать, по преимуществу действуя на эстетическую сторону человека, и вместе пропитывать сердце человека странным и действительным отчуждением от мира и мирского, от жизни и от людей; сперва отчуждением, а потом – и враждою, душевною полемикою, почти бурей против «мира и суеты его», мира и его «нечисти»... Сдавались не один Победоносцев и еп. Антоний, вспомним кн. Голицына, придворного и вольтерянца, который через 12–15 лет заведывания «духовными делами» сделался совершенно непереносимым ханжою. «Ныне всякое житейское отложение», – поется, и в каких зовущих, идеальных звуках, в любимейшей церковной песне! Вот и все! Вот и только! В этом «отложим попечение», как идеале небесном, – и заложен уже К. П. Победоносцев и тысячи таких же, еп. Антоний и опять сонмы подобных же. Идеал этот, «отложим попечение», есть не универсально-церковный, но одиночно-монастырский. И вот кто однажды, не осмотревшись осторожно вокруг, ступил на тропинку именно этого идеала, исключительного, вдохновенного, узкого, строгого, страстного и страшного, – тот уже не имеет никакого возврата, никакого спасения от вечно зовущей его вдаль Сирены, от этого религиозного «dahin! dahin!»*. Сказание то о «Чаше св. Граля», средневековое рыцарство, наши сектанты, дошедшие до самозакалывания, до самосожжения, были все эти люди идеальные, чистые, посильнее и Победоносцева, и еп. Антония! Тут не в людях дело, а в некоем общем духе. Ведь вся церковь византийская, как и католическая, и создана была монастырями, монахами. Повторяем, и это дело очевидно, что тут нет *универсально-церковного* пути, *универсального* христианства. Это не большая дорога его, но именно его новая тропинка, однако страшная, сильная и влекущая. Белое же духовенство, да и весь народ во всей сумме своих религиозных поисков, загадываний, мечтаний, алканий, надежд, философии стоит на универсально-христианской, на универсально-церковной почве, но на почве до сих пор не возделанной, не разработанной. С точки зрения «отложим попечение» не нужно мира и мирян, не нужно и «осутившееся мирскими работами» белое духовенство; недопустимы они, в частности, на «церковный собор», где пусть и соберутся одни монахи. Но есть идеал, только не нашедший пока себе гармонии, не нашедший небесной музыки и гениального слова, совершенно обратный

* «туда! туда!» (нем.).

монашескому: «приложим попечение ко всему», «приложим его к миру», «к людям». Всякий сразу видит, что идеал этот – положительный, что он действительно – универсален, что это «приложение попечений» есть путь всей церкви, а не некоторых в ней людей, что это дорога целого христианства, а не ультрамонтанства в церкви, не клерикализма в ней. И сразу же, как только этот широкий идеал придвинешь к тому первому, однако уже общепринятому и принятому 1000 лет, увидишь, до чего «хватающее за сердце» «отложение попечений» в сущности проникнуто отрицанием, чем-то недобрым, зловещим, далеким, чуждым человеку, враждебным жизни и всему живущему; какой это... небесный нигилизм, может быть лежащий в корне всяческих земных отрицаний и разрушений. На путь-то этого «небесного нигилизма», на который вступили люди и посильнее Победоносцева и еп. Антония, чистосердечно и уже давно вступил и последний. И плодом этого чистосердечного увлечения, как и под давлением практических нужд, и явилась «Первая ответная записка Святейшему Правительствующему Синоду епископа волынского и житомирского», печатный экземпляр которой перед нами.

III

«Первая ответная докладная записка Святейшему Правительствующему Синоду епископа волынского и житомирского» важна и характерна не только в целом, но и в подробностях своих. Напр., она подписана: «Вашего святейшества нижайший послушник епископ Антоний», т. е., будучи официальным ответом коллегиальному учреждению, обращается только к первоприсутствующему члену Св. Синода, митрополиту Антонию. Нужно заметить, записка составлена и рассылалась в сентябре этой зимы, т. е. когда был обер-прокурором Синода еще К. П. Победоносцев и когда самый Собор русской церкви задумывался и обсуждался в страстной надежде добиться «канонического» восстановления патриаршества и отмены «неканонической» обер-прокуратуры. Не скрыто также ни от кого (об этом прямо печаталось в «Моск. Вед.»), что в случае удачи восстановления патриаршества первым патриархом естественно был бы выбран «первоприсутствующий» член теперешнего Синода, к которому еп. Антоний волынский и обращается, как «нижайший послушник». Привычная в истории нить событий, не развязавшаяся еще, но уже завязанная: «ты – патриарх, а я буду твоя правая рука», «ты – патриарх, а после тебя – я: и там уже посмотрим, как будут гг. либералы, как поговорят все эти журналисты, профессора, либеральные попы, бушующие теперь на безвластии». Но не будем предупреждать содержания записки, которая красноречивее в собственных выражениях:

«Во исполнение предписания Св. Синода о представлении отзыва по перечисленным в циркуляре № 8 вопросам имею честь доложить нижеследующее.

1. О составе ожидаемого Собора всероссийской церкви. Настойчивые домогательства тскущей литературы о включении в состав со-

бора выборных от белого духовенства и мирян путем всеобщей подачи голосов представляет собою прямой сколок с парламентских выборов республиканских государств, но стараются обосновать себя на церковных канонах. Так, в известной записке группы 32 петербургских священников, имеющей чисто партийно-сословный характер, в пользу подобной идеи о соборе из архиереев, священников и мирян, авторы пытаются в защиту своего стремления принести основания библейские и канонические».

Вопрос о присутствии, притом *непрерывном* присутствии священников и мирян на соборах древних и соборе предстоящем так разработан в исторической и канонической частях богословской литературы, что совершенно невозможно здесь повторять аргументацию и выводы ученых. Епископу Антонию, конечно, совершенно не предстояло говорить о мнении «группы 32 священников», ничего нового и ничего от себя не говоривших, но следовало в серьезном официальном ответе Св. Синоду отвергнуть свидетельства истории и назвать «лживыми» труды ученых. Это было бы просто и определено. Мы, однако, сделаем епископу только два указания:

1) Церковь всегда руководится или текстом древним, или *примерам* церкви древней; руководится тем, как она поступала. Между тем первый вселенский собор, на котором и был составлен наш Символ веры, в сомне присутствовавших епископов и светских сановников (на нем присутствовал сам император Константин Великий), видел также и пресвитеров, и даже *диаконов*. Мало этого: именно Афанасий Великий, который, как известно, опроверг Ария, и нанес удар всему арианству, т. е. спас православие от самой опасной за все историческое время ереси, был именно диакон из Александрии, а противник его, Арий, увлекший за собою половину тогдашнего христианского мира и, конечно, тоже присутствовавший на соборе, был александрийский пресвитер*. До конца спора еще не знали, кто будет святой и кто еретик. Но вот зрелище: при молчащих епископах, не знавших, «как разуметь и чему следовать», — эти двое, диакон и священник, одни разделили между собою внимание собора, одни говорили, спорили, витийствовали, поражали друг друга, являли свидетельства вдохновенности и разума. И спор этот — диакона и священника — наполнил до краев тогдашнего мира разум церкви, увлек за собою императора, сановников и архиереев и определил точную формулу церковного исповедания Христа и христианства (Символ веры). 1600 лет прошло с тех пор: и как мог забыть составитель докладной записки Св. Синоду, что он сам — сам епископ Антоний! — последует исповеданию *всего только диакона*, как оно заявлено и оправдано было на первом (конечно, важнейшем!) вселенском соборе!!

* В одной из предшествующих статей я ошибочно назвал Ария епископом; но множество *епископов* приняли арианскую ересь; а *епископ* константинопольский Македоний основал вторую опасную ересь, против которой был собран второй вселенский собор.

Спор кончен. Священники и диаконы должны быть всенепременно позваны на русский церковный собор, ибо обход их *по малости сана* есть неглижорство и высокомерие к сану того, кому мы обязаны Символом веры. Просто и прямо: не позвать их – значило бы похулить св. Афанасия Великого, величайшего из отцов и учителей церкви.

И каким пустословием веет от заключительного вывода епископа Антония, от этого странного тона, которым он говорит, подводя итог своей запутанной аргументации против допущения священников:

Эти наши доводы, будучи неопровержимы (?!) для искренно православных людей, конечно, едва ли удовлетворят тех иереев или профессоров современного декадентского направления, которые в «Церковном Вестнике» (официальный орган Петербургской духовной академии), в «Богословском Вестнике» (его основал сам епископ Антоний Храповицкий в свою золотую пору) и в изданиях светских проповедуют республиканские идеи и желают перенести в жизнь церкви тот совершенно чуждый ей мирской дух жизни, который первоначально выразился в римском праве, затем во французской революции и, наконец, установился в западноевропейских конституциях. Это дух вечно нескончаемой борьбы против всякой власти, дух прикрытой анархии, совершенно противоположный духу послушания и смиренномудрия, которым обязуется и христианин, вступая в церковь, и иерей, вступая в клир.

Какой тон! Какой язык! Сколько не по наружности, а в действительности «смирненных иереев», диаконов и, я думаю, даже псаломщиков и, наконец, совсем плохих семинаристов не захотели бы под такой «литературой» подписать полного имени. Разве анонимно... И, между тем, это доклад Св. Синоду! Неужели с надеждой найти сочувствие и одобрение? Однако без подобной надежды подобное и не пишется. Не забудем, что записка послана была по адресу до 17 октября и в пору обер-прокуратуры К. П. Победоносцева...

Переходя от теории к практике и от древности к более новым дням, епископ Антоний в докладной записке переходит к доводу: «Если на соборе не будет священников, а одни епископы-монахи, то интересы блага духовенства останутся в пренебрежении». Что же он на это отвечает? А вот послушайте голос «небесного человека» (именование себя монахами), отложившего «земное попечение»:

«Разве соборы для того собираются, чтобы наблюдать чьи-либо интересы? Разве это парламент, состоящий из борющихся партий? Собор нужен для восстановления не человеческих, а Духом Святым установленных, вечных и неизменных канонов Церкви, для приближения к нам спасения Божия, для умножения божественной славы и праведности паствы, а не для чьих-либо *интересов*. Епископы первые подали пример самопожертвования. В настоящее время хотя они стеснены (т. е. обер-прокуратурою) в своей церковной деятельности, однако в отношении личного благополучия и личной свободы предос-

тавлены себе и могут допускать различные вольности без всякого контроля. И вот они теперь желают иметь над собою не только патриарха, но и изъявляют готовность подчиниться митрополитам (т. е., между прочим, и адресату этой докладной записки). Власть патриарха получит ведь один (т. е. вы, владыко, коего я – «нижайший послушник»), а остальные 99 из бесконтрольных владык (это нужно помнить в признании архиерея об архиереях) сделаются его послушниками: семеро – непосредственными (предполагаемые члены совета при патриархе), а прочие 92 – послушниками митрополита и затем уже патриарха. Это столько же похвально со стороны епископов, сколько полезно для Церкви, ибо при ослаблении общей церковной дисциплины необходима твердая власть и над всеми нами.

Таков «вне-классовый», «бес-партийный», общецерковный, бескорыстно-христианский план управления церковью епископами, набросанный одним из них. 99 безгласно повинуются семи, семь – одному. Конечно, сладкое здесь не в том, что «мы повинuemся». Все это горько, страшно: ибо и нас манит «личное благополучие», «бесконтрольное владычествование». Но все это горькое мы примем, ибо примем и понесем с надеждою, что который-то из нас, и совершенно ведь неизвестно – который, примет поклонение от «семи» и от «92-х», не говоря о белых рабах-попах, не говоря о миллионах безгласных мирян. И мы все поползем, «смирненные послушники», с мечтою не всегда верною, но для всякого вероятною, доползти до этого седалища: доползти и сесть, и посидеть на месте, недостижимом ни для каких других рядов общественного или государственного служения и положения. Труд, страдания, черная ночь отречения: и звезда над ним, одинокая звезда на черном небосклоне, лучам которой нет препятствия, нет им затмения, нет конца. Горька жизнь, да сладка мечта; и как она есть у каждого из «смирненных», «нижайших послушников», – то уже и самая жизнь эта, пожалуй, не очень «горька».

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.

История знает свои страсти, томительные, долгие, мучительные, но темто и утроено-сладкие. У монашества есть свое Монако, заманивающее, опьяняющее, опасное и вместе царственное: это – патриаршество. Как ведь сладко, даже как метафизично: от всего отречься в основании, в начале, чтобы все получить – в завершении, в конце. «Смирненный послушник» и «царь царей» – в одном я, в одной биографии. Сладко. Монако.

Читатель заметит, до чего этого тона много в приведенных строках. Автор заключает все возражение по этому поводу:

«Интересы белого духовенства!.. Но уже если вести речь об интересах, то и духовные, и материальные, и правовые интересы монастырей и монастырей – вот что остается сравнительно в пренебрежении у нашей иерархии...»

И это после собственных же слов: «мы – владыки», «власть наша бесконтрольна», «мы в отношении личного благополучия и личной свободы предоставлены себе и можем допускать различные вольности без всякого контроля». Т. е. что же после «благополучия» нужно? Да то самое, что и оговорено около всех благополучий: «теперь, стесненные в своей *церковной деятельности*, мы» и проч. Полная бесконтрольность в *церковной деятельности* – вот чего недостает епископам и недостатком чего они как бы удушаются... «Задыхаюсь, нет власти! Власть – это моя, это наша епископская стихия; без нее мы, как птица с крыльями в безвоздушном пространстве, лежим плашмя, как мертвые. Для чего же мы отрекались, к чему наш подвиг, зачем самое монашество и, наконец, для чего вся церковь? Без нас это только «либерализм, анархия, конституционализм» и проч. Или *ничему* не быть, или «нам» быть *всем*». Я заметил, что в поэзии «отложения попечений» есть небесный нигилизм; кто-нибудь добавит, что в монашестве вообще есть долька байронизма, пожалуй тоже «небесного» байронизма.

IV

Продолжу разбор «докладной записки» епископа Антония, – ибо, разосланная всем в России архиереям, и разосланная в целях объединительных, она, по всему вероятно, и действительно объединит их, станет им программой, и из нее они будут почерпать готовые доказательства. Ибо ни для кого не составляет секрета, что за редкими и иногда блестящими исключениями рядовое наше архиерейство, занятое со дня на день «рассмотрением» и «решением» консисторских «дел» с их дрызгами и мелочностью, до того от самого сюжета своих занятий стоит умственно не высоко, даже богословски не высоко, что, появившись на Соборе, по всему вероятно, повторит зрелище московской Боярской Думы в описании ее Котошихиным («уткнув бороды, сидели безгласны»).

«Требование участия на предстоящем Соборе священников и мирян, – говорит еп. Антоний, – основывается не на одних только словесных притязаниях духовных декадентов (т. е. священников-декадентов? иначе – нельзя понять!), но якобы и на интересах церковной жизни. Именно в духовной и в светской печати не стесняются заявлять, что современные русские епископы не могут быть выразителями церковного сознания, как бюрократы, разобшившиеся с обществом и со всею своею паствою».

Да что же и сказать на это? Епископы *не исповедуют* мирян, и, следовательно, великое преимущество священника над епископом заключается в том, что он знает *душу человеческую*, а в совокупности все священники знают *душу народную*. Душу и нужду, *быт, нравы*, а этого всего епископ, сперва затворник

семинарии, потом затворник академии и монастыря и, наконец, сиделец консистории, – не знает вовсе, не знает нисколько! Между тем ведь «жизнь церкви» есть не просто «сумма канонов церкви»: тогда для чего Собору и собираться, когда каноны все и без того: 1) напечатаны, 2) хранятся в консисториях, 3) и с *требованием* исполнять их к людям могут обращаться не только но священники, но даже и не епископы, а обыкновенные чиновники, например секретари же консистории или даже хоть исправники, прокуроры и становые. «Секретари» консистории и далее обер-прокурор Синода оттого и забрали себе всю власть, что «юридически» работать около церкви можно без всякого посвящения, сана и «благодати». Знай «закон» и «применяй» его. Но епископ именно и может только «знать» закон и «применять» его; знать «канон» и «церковное правило» – и применять их: ибо, кроме знакомства с ними, он еще никакого другого знакомства не имеет, никаким иным ведением не обладает, просто – ничего более не знает, ни души, ни народа, ни, словом, всей той *среды*, в которой закон призван действовать!! Обер-прокуратура если она и возникла под впечатлением притязаний Никона, то *удержалась* целых два века собственно вследствие *монашеского строя* церкви, от господства в ней епископов и вообще черного духовенства: ибо то единственное, что они могут делать, «исполнять канонь», «по канонам править и властвовать», – все это гораздо лучше их могут сделать простые чиновники. Они и сказали епископам: «Дремлите и подписывайте» (бумаги), «имейте покой себе, пользуйтесь благополучием и не разговаривайте особенно громко». И, без сомнения, обер-прокуратура не только удержится, но она и должна удержаться, не вправе устраниваться настолько и до тех пор, пока и насколько вообще держится в церкви монашеский режим: как его поправка, пособие и уравнивание, как «опытная» рука около принципиально «неведущих» жизни управителей, как знающая и заботливая голова около людей, по самому обету «отложивших мирское попечение».

Епископ Антоний продолжает «докладывать» Синоду:

«Современные духовные либералы не могут понять причин исключительного епископского положения, ибо они сами чужды церковного сознания и хотят видеть в каждой поместной церкви ни более ни менее как правовую группу парламента; но каждая поместная церковь есть нечто совершенно иное. Она вовсе не исчерпывается суммой наличных членов своих, но, вмещаая в себе и живых, и мертвых, а наипаче Божий закон, данный о церквях во св. Библии и в священных канонах, она и представителем своим мыслит епископа не потому, что он нравится народному множеству, а потому, что он приял преемственно апостольскую благодать. Хорошо, конечно, если епископ знает свою паству (а он ее никогда не знает и не имеет никаких способов знать), но сие нужно для врачевания ее, а не для исповедания веры, не для изъяснения и восстановления св. канонов, которые соблюдать нерушимо он клялся при постановлении, как того требует 2-е правило VII собора, как то исполняют и пресвитеры, давая присягу, к сожалению, забытую нашими духовными декадентами».

Решительно он священников зовет «декадентами». Вот вам и благодать Св. Духа? Но ведь образ мыслей, напр., «группы 32 священников», подавших записку митрополиту Антонию о созыве русского церковного собора, где именно настаивается на участии в соборе белого духовенства и мирян, разделяли некоторые и из епископов. Преосвященный волынский хочет больно высечь; но для этого он выбрал столь длинные розги, что кончики их хватают даже и до спины епископской. «Ой, больно!» – это воскликнут не одни священники; времена уже несколько переменялись, «докладная записка» епископа Антония исторически запоздала. Сами епископы тяготеют своим одиночеством, своею изолированностью или видят, что именно в гордости, при весьма умеренных дарованиях нашего архиерейства, лежит источник и страшного развития авторитета обер-прокуратуры, и ничтожества вообще духовного сословия (как это сказывается в наши времена!), и индифферентизма религиозного во всей стране, безбожия многих и почти всеобщего отчуждения от церкви, равнодушия к судьбам, к положению и даже к самому учению ее! Повторяем, с мирянами, со священниками плачут «незримыми слезами» и некоторые, может быть многие даже, епископы. И о них преосвященный волынский скажет: «Декаденты»?!

Епископ оканчивает свою «Записку» так:

«И вот, это-то пренебрежение к учению церковному, это мирское республиканское настроение новаторов и побуждает нас обнаружить истинно церковное учение о том, что на Соборе подобает быть только епископам. Чего ожидать, если явятся туда эти декаденты, духовные и, не приведи Боже, светские. Не зная вовсе учения веры (?!), ни св. Библии, не желая знать св. канонов, о восстановлении которых они же заговорили было с таким искусным притворством (говорится о «группе 32 столичных священников», давших инициативу движению), эти отцы и господа, конечно, не иного чего начнут домогаться, как того, о чем они уже и пишут в газетах и журналах, сознательно восставая против православия. Им хочется иметь желанных архиереев, двоebrачных иереев, упразднения св. постов, упразднения монашества и преобразования св. обителей в приюты для вдов духовного звания, как о том писал свящ. А.Л. в «Нов. Вр.», окончательной секуляризации духовной школы от духовного воспитания и превращения ее в чисто сословную светскую; им даже хочется автономии духовных академий с полною свободой отрицания всех догматов по образцу столь любезного этим писателям Тюбингенского университета; наконец, батюшки на съездах заявляли желание ходить в светской одежде, как это было на рижском съезде духовенства, посещать театры, как о том писал протоиерей проф. Светлов в «Богословском Вестн.», беспрепятственно расстригаться и снова приниматься за священство, мало того – не помянуть в церкви Государя, сократить священнику службы до возможной степени, упразднить почти все священнодействия и пр. Далее идти, кажется, некуда».

И далее, он применяет к этому пугающему его образу грядущего русского собора определение VII Вселенского собора: что придется «извергнуть» этих «безбожных христоненавистников и христианогаольников (?!), несвященных иереев и все их незаконное и скверное соборище». «Извергнуть», т. е. отлучить от церкви.

Допустим и условно согласимся на все эти шаткие определения еп. Антония. Но неужели он не замечает одной удивительной вещи: что все эти мысли, все эти пожелания: 1) зародились в русской церкви, забродили в головах нашего белого духовенства при полной его двухвековой подавленности, при полном устранении его от всякого «совета церковного», от всякого заявления и даже свободного высказывания своих мыслей? 2) Хорошо ли, что они остаются священниками, при существовании довольно суровых последствий «снятия сана», имея все эти столь «неканонические» убеждения? Нет, пусть лучше выскажутся и уйдут, чем стоять в ограде церкви, более не разделяя в душе ее уставов! 3) Ведь все эти пожелания, в сущности, имеют одно стремление: ограничить монахов и монашество, вернуть их к скромности данных обетов. В самом деле, монахи – властвуют, когда суть и центр монашества – послушание, безволие, покорность!! Итак, во всех этих пожеланиях, пусть «еретических», скрыт, в сущности, один мотив: гнев безгласных против всевластных! Неужели не догадается еп. Антоний, что им предлежит «не заткнуть горло» (не позвав на собор), но именно – *и переубедить* их; и сделать это возможно и легко, раздавив *зерно* всего дела, именно естественную их гневливость на довольно рабское свое положение, – позвав сесть их рядом с епископами, высказать им всю горькую правду о своем положении и, наконец, обнаружить вообще свою душу, ум, ученость богословскую, знание «Библии и св. канонов», которые, может быть, окажутся, например, «протоиерею-профессору Светлову» (в Киеве) нисколько не менее знакомыми, чем епископу Антонию. Может быть, если «протоиерей» Светлов вступит в беседу с архиереем волынским, – последний будет осторожнее в ссылках «на каноны и Библию», чем как он ссылается на них в своем «докладе Св. Синоду», до странности рассчитывая на полное неведение своих «черных» братьев, монашествующих членов Святейшего Синода как этой Библии, так и этих канонов. Ведь ни один, например, профессор духовной академии не может без улыбки читать его доклад: так он элементарно неверен и даже так небрежно составлен!

Но договорим:

Верните священникам значение, авторитет, начните искать и слушать их «совета и разума» в делах церковных, дайте им с обеспечением и немножко блеска, сияния высокого общественного и государственного положения: и умерится их ропот, а вместе и отпадут в неправой части все «либерализмы» их, испугавшие еп. Антония и выросшие в обстановке полного бесправия и вследствие именно этой обстановки. Если даже диагноз волынского владыки и признать, то он прописывает лекарство, диаметрально противоположное тому, которое могло бы исцелить!!

Трудно поверить, сколько места в своем «Докладе Святейшему Синоду», занимающем одиннадцать печатных страничек, еп. Антоний уделяет вопросу об участии в соборе мирян, – тех мирян, из которых выдвинулись церковною мыслью И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, Конст. и Ив. Аксаковы, Н. П. Гиляров-Платонов, Погодин, Вл. Соловьев, С. А. Рачинский, Кон. Леонтьев и Ф. М. Достоевский; тех мирян, из которых Голубинский написал «Историю русской церкви», а В. В. Болотов и Н. Н. Глубоковский снискали обширную европейскую известность; где есть в рядах академической профессуры множество людей с более скромными заслугами, но с чистым сердцем, с обширнейшими познаниями, с самою горячею заинтересованностью положением церкви. Не поверит читатель: всего одна страничка, а если исключить предварительную риторику, то даже всего – только *четыре строчки!* 100 000 000 простого православного люда, да и лиц гораздо более его, еп. Антония волынского, компетентных и сведущих в церковных вопросах, целую, в сущности, державу с тысячетлетнюю судьбу и 4 духовные академии, где еще учился Ломоносов и учил Петр Могила, «владыка» волынской епархии отпихивает кончиком своего сапога.

Мы приведем ту часть заключения «Доклада», где упоминаются миряне:

«Итак, не ради умножения епископской чести, а ради сохранения чистоты божественной веры мы восстаем против допущения на Собор кого бы то ни было, кроме епископов, а противоположные домогательства имеют именно противоположную цель: изменить самый богоучрежденный строй христианства, изменить самые каноны. Без всякой церемонии это выразил академический воспитанник г. Гринякин на страницах «Миссионерского обозрения»... Если желающие участвовать на Соборе священники и профессора заботятся о собственных служебных льготах и сословных преимуществах, то светские писатели желают там видеть мирян уже с совершенно антиерархическими и антисословными целями. Так, революционное «Общество христианской борьбы»(?!), в котором, впрочем, участвуют дватри духовных профессора, прямо предъявляет Собору требование первым делом «осудить Самодержавие, как вполне противоречащее христианству». Такова одна часть мирян. А другая – это наши доморожденные богословы «Нового Времени», уже открытые нигилисты, отрицатели догматов, будущей жизни, св. таинств, евангельских чудес, всего Ветхого Завета, принципиальные эротоманы, современные николаиты, интеллигентные хлысты, требовавшие на страницах «Нового Времени» таких невероятных вещей, чтобы после таинства брака супружеское соединение (в тексте «Доклада Синоду» более физиологический термин) совершалось в самом храме Божиим, вероятно, при огромном количестве любопытных зрителей».

«Я думаю (текст – с новой строки, т. е. подводит итог о всех отвергнутых группах: священников, профессоров, вообще – образованных людях) – я думаю, что если бы для участия на Соборе пригласить в полном составе любую каторжную тюрьму, то она не могла бы в

такой степени опозорить нашу св. веру и прогнать Бога, как подобные кандидаты в члены Поместного Собора»*.

Ну, вот: владыке бы и обличить на Соборе, «яко Николай Угодник Ария», всех таких еретиков, «современных николаитов» и пр. Неужели там будут петь в унисон. Но ведь даже и «Господи помилуй» на клиросе, где хор хорошо устроен, поют «разными гласы весьма велелепно». Владыка собирается запеть на Соборе, как прежние дьяки, единым гласом и единым тоном. Пожалуй, не найдется слушателей... Старо очень, и привыкли к лучшему. Останавливаясь на «требовании со страниц «Нов. Вр.» такой невероятной вещи», и проч., – то, хорошо помня этот эпизод, я должен поправить владыку. Писатель говорил, довольно согласно с «Крейцеровою сонатою» и со всем монашеством, в этом пункте не отделяющийся от знаменитого романиста, что:

1) Христианство есть религия чистого девства.

2) Брак начинается отречением от девства и состоит в разрушении его.

3) Церковь христианская поэтому входит в противоречие с главным своим тезисом, с «душой» своею, когда берется учить о браке, говорить о нем, думать и наконец «благословлять» в него.

Доселе автор был тождествен с Толстым, а затем отделялся от него, утверждая далее:

4) Церковь поступает только формально и совершенно неискренно, благословляя людей на брак, благословляя их «плодиться, множиться»: ибо это противоречит всей поэзии церковной, всем ее напевам, музыке, иконописи, имеющей постоянный наклон к скорби, страданию, ко гробу. А чтобы доказать это всеми силами отвергаемое обвинение, будто церковь в чем-нибудь может быть не искренна, автор и спросил, отчего же, благословив на размножение, церковь никогда, однако, не позволяла, чтобы самое «исполнение благословенного» могло совершиться в церкви же, напр., при оставлении юных здесь на сутки, как это бывает с юными при пострижении их в монашество? Таким образом, вопрос этот был *критический*; это был *эксперимент*, вызывавший трудное признание: «Да, только снаружи благословляем, а на самом деле ненавидим, гнушаемся!».

5) Церкви эту неискренность, это приневоливание себя надо оставить; надо ей вернуться к свободе, петь и воспевать то, что она любит, чтить девство, т. е. ей нужно вовсе отказаться от брака, сказать о нем: «Отвращаюсь от этого». Да и не только это «надо»: при доказанной неискренности становится совершенно очевидным, что «благословление ею на брак», «благословление плодиться, множиться» есть теперь и всегда было ничтожно, незначуще, прозрачно, как бы мираж в пустыне; что это благословение «казалось», а не «было»; было *словом*, а не *делом*; и что она этого больше не должна делать.

* Таким образом, еп. Антоний осудил: 1) «Церковный Вестник» и с ним Петербургскую духовную академию, коей он является органом; 2) «Богословский Вестник» и с ним Московскую духовную академию, и 3) «Миссионерское обозрение», официальный орган Духовного Ведомства. Вот уже поистине «своя своих не познаша» и «царство, разделившееся на се»... Худые признаки! Недобрые предзнаменования!

6) Семья через это отделяется от церкви, секуляризуется: как есть явление «отделения государства от церкви», – что не повреждает, как известно, ни церкви, ни государства, что происходит ко благу обоих, к возвращению каждого к чистоте своей природы, к строгости своих тезисов, к освобождению государства и к освобождению церкви.

7) Но как же тогда всемирный инстинкт: помолиться, вступая в семью? у кого-то, у чего-то «благодариться», вступая в такой важный фазис жизни? Как тогда делаться с «религиозностью семьи», как ее достигнуть?

8) Автор и учил, что в религиозной нашей системе есть недоделанность, недовершенность, что она есть поклонение только Богу Сыну: при забвении, при неразработанности поклонения как Богу Отцу, так и Богу Святому Духу. Первого церковь только умеет изображать в виде Старца, впадая в антропоморфизм, а Третьего изображает в виде голубя – но и только. Никаких напевов, никакой поэзии, никакой иконописи, ни философии, ни мысли – ничего нет около этих двух фундаментов религии! Вот, когда они будут возданы, тогда семья найдет свое место в религии; получит себе настоящее, искреннее благословение; получит себе поэзию и эстетику. Теперь церковь, при ее монашеском сложении, при недовершенности всей ее религиозной системы, разрушает семью; тогда она будет ее укреплять, очищать, проливать в нее идеал. Теперь у нас целомудренно только девство, семья – развращена, не свята, иначе как только в счастливых исключениях; с завершением богословской системы явится целомудренная семья, тип святой семьи. И первое практическое слово ее: полное слияние, отождествление семьи с любовью, дружелюбием, верностью; для чего требуется именно автономия ее от церкви, от церковного управления, ибо своею формальной теорией развода церковь (или духовенство?) отождествила брак с контрактом и погубила совершенно всякую возможность чистой, непорочной семьи, совершенно разорвав ее связь с любовью, привязанностью, дружбой, чистосердечием.

Все это довольно интересно даже как тема для рассуждений на Соборе. Правильность этой точки зрения, именно в пункте указания на недовершенность, недоделанность всей богословской нашей системы, – признал на торжественном диспуте известный по многочисленным своим ученым трудам проф. Московской дух. академии Алексей Введенский, с тем вместе постоянный сотрудник «Московских Ведомостей», т. е. человек «охранительного образа мыслей». Правильность требования отождествить чистый брак с чистою любовью, т. е., иными словами, торжественно провозгласить и законодательно утвердить идею «свободной любви» не в дурацком и водевильном представлении, а в серьезном и религиозном, – правильность этого требования признал другой проф. духовной академии, г. Тихомиров, автор обширнейших трудов по истолкованию ветхозаветных книг. В знании всего этого я совершенно компетентен, – ибо я есть то самое лицо, которое, только не называя, обвиняет епископ Антоний волинский; и, кажется, я ему достаточно ответил. Владыка разгневался; но я помню древнюю пословицу: «Когда Юпитер сердится, то это оттого, что он не прав». И есть источник неправоты: философствовать – значит сопоставлять, связывать понятия, а владыка так торопится даже в офи-

циальном докладе, в тиши кабинета обдуманном, что очевидно, философ никогда в нем и не зарождался, а всегда рвался вперед только публицист. В последнем и все объяснение его «записки», довольно грустное...

Вот ее конец, – в сущности, единственные *четыре строчки*, посвящаемые мирянам:

«А благочестивые, смиренные миряне, народ, который в «Послании восточных патриархов» именуется хранителем веры. Он, не будучи богословом, и сам уклонится от воспрещенного (!!!) мирянам и скажет: «Ваше дело учить, а наше – поучаться».

Итак, на основании (!!!) прямого учения Божественного откровения, а также принимая во внимание современное положение вещей, никто, кроме епископов, не должен быть допущен на собор. При ложном направлении богословской науки (!!!), уже давно подпавшей влиянию латинства и протестантства, – дай Бог и нам-то, епископам, сговориться единодушно, без разделения и раскола.

Вот как зловеще обстоит дело... «Дай Бог и самим сговориться»... Да неужели же епископ не подумал, что есть какие-то причины для этого, – причины у людей равно пламенно-религиозных, преданных Церкви и величию ее будущего, у людей совершенно компетентных в богословии (профессора академий)? Неужели все – «злодеяния», все – «злоумышления», «каприз», «своеволие»? Так в дурной школе объясняют «поведение» учеников, тогда как корень этого «поведения» лежит в антипедагогичности всей школы, в том, что учителя не учат и директор не управляет. Я упрекнул епископа Антония, приступая к разбору его «доклада», что неосторожно он поднимает между духовенством черным и белым «бурю, когда нужно лить на волны масло». «Церковный Вестник», рецензируя мои замечания, говорит: «Нет, нужно именно не лить масло на волны, ибо только буря может очистить застоявшийся воздух». Я писал со стороны и под мотивом: «Потише бы – получше». Но я ничего не терпел от духовенства, от «владык» (какое название! до чего оно характерно! ведь оно сложилось и в повелевающих, и в терпевших). Но есть «терпевшие»... Их психология иная. В них сердце горит. И я боюсь, что мы перед бурей... Вспомнишь Апокалипсис с его словами о «терпении святых» и что только «претерпевший *до конца* спасен будет». Вспомнишь также, что Апокалипсис открывается бурными словами о «суде» в *самой* церкви... Знания зловещие, и блажен кто вовремя умеет понять их...

ДАРОВАНИЕ АВТОНОМИИ ДУХОВНЫМ АКАДЕМИЯМ

С глубоким удовлетворением вся Россия и особенно все духовное наше сословие узнает о решении, вынесенном Св. Синодом по вопросу о высшей духовной нашей школе. В № 49 от 3 декабря «Церковных Ведомостей» опубликовано «определение», согласно которому «ныне же вводятся главные ос-

нования» академического самоуправления. Основания эти нижеследующие: 1) духовные академии находятся в подчинении высшей церковной власти в лице Св. Синода и состоят под почитательным наблюдением местного епархиального преосвященного; 2) ректор и инспектор академии избираются академическою корпорациею и утверждаются в должности Св. Синодом. Ректор академии состоит в духовном сане (т. е. им может быть и священник, как это было в царствование Александра II) и должен иметь ученую степень не ниже магистра богословия. Если бы оказалась необходимость временно допустить к исправлению должности ректора лицо, не имеющее духовного сана, то такое временное исполнение обязанностей ректора не может продолжаться более шести месяцев; 3) в состав академического совета должны входить все ординарные и экстраординарные профессора и доценты, а в случае признанной советом надобности принимают участие в собрании совета и прочие преподаватели академии; 4) совету должно быть предоставлено окончательное утверждение в ученых академических степенях и самостоятельное в пределах, установленных законом, разрешение учебных и воспитательных вопросов. Таковы основания, на почве которых советы всех наших четырех академий получили от Св. Синода поручение представить не позже 1 февраля 1906 года предположения об изменении академического устава. «Впредь же до изменения сего устава и не дожидаясь указанного срока, Св. Синод предположил применить означенные начала к академической жизни, по испрошении на сие Высочайшего соизволения, если правильный порядок учебных занятий в академиях будет восстановлен», – причем назначение ректоров в порядке пункта 2 будет осуществляться постепенно с освобождением вакансий ректорских и инспекторских должностей от занимающих теперь эти места лиц, – что, нужно заметить, не заставит себя долго ждать, так как ректорские и инспекторские должности в академиях являются переходною и обычно очень краткою ступенью перед занятием самостоятельных епископских кафедр.

Итак, еще один узел развязан; еще расправилась и вытянулась одна нитка из того мучительного мотка всевозможной путаницы, застоя и беспорядка, в котором задыхается наша Россия. Уверены вполне, что в данном случае дарованная свобода упадет на самую благоприятную и благодарную почву. Профессора академические – не избалованные свободой люди. Итак, за науку, господа! За науку, за лекции и господа студенты! Последние должны быть безмерно благодарны профессорским корпорациям, которые в лице прибывших в Петербург депутатов от них употребили все усилия, чтобы разъяснить перед Св. Синодом необходимость в текущем же учебном году провести, хотя бы временно, новые правила учебной жизни, дабы сохранить этот год для науки и для самих студентов, родители которых не принадлежат, как известно, к богачам. О выслушании суждений этих депутатов, как о почве для окончательного решения, говорится и в «определении» Св. Синода.

Все хорошо, что хорошо кончается. Теперь мирным силам академий открыт широкий простор. Плуг есть, поле готово – нужно начинать пахать.

ОТЧЕГО МОЛЧИТ ДУХОВЕНСТВО?

Кто не обратил внимания на глубокую и трогательную молитву, чтение которой, по предложению архиепископа Кентерберийского, установлено теперь в английских церквах по поводу смутных обстоятельств России. Россия не принадлежит к числу «дружественных держав» с Англиею. Но России трудно. Россия страдает. Перед Россиею закрылось ее будущее завесою кровавых и огненных облаков. И Англия, которая дала миру сердце Шекспира и Байрона, где Мильтон писал «Потерянный рай» и пламенную «Защиту английского народа» против притязаний королевской власти и обвинений ее защитников; где Мор мечтал о своей «Утопии», где управляли Гладстон, Каннинг, оба Питта, Борк, – эта Англия почувствовала всемирным сердцем всемирный момент России. Никого она в этой вновь сложенной молитве не учит, – хотя ее исторический опыт и давал бы ей право на это; никого не укоряет, не порицает. Но она верит, что есть Провидение, ведущее народы, и к нему, через своих священников, она обратила молитву об изведении «весьма не дружественной державы» из обстоятельств тягостных, мучительных, опасных. До чего трогательны, как касаются сердца русского эти слова: «Ты, Боже, создавший свет из тьмы, порядок из хаоса, воззри ныне на русский народ в час его испытания», и в конце о «братстве и мире», но впереди этого о «свободе». Как это нужно! Как соответствует русскому положению! Что же в эти самые дни сказало России русское духовенство? Читали ли вы вялое, дипломатическое, спутанное, мутное «послание к русскому народу» нашего «высшего духовного управления» по поводу перемен в управлении? Да и это ли одно несчастное «послание», сходное по слогу и духу с «покойническими извещениями», рядом с которыми в тексте газет оно появилось? От океана до океана ни из одной священнической души, ни из одних «важных» епископских уст не изошло слова не то чтобы пламенного, но даже и живого; не то чтобы мудрого, но даже и умного. Молчание. Или мямленье. Или что-нибудь злое и невежественное, до того дикое и темное, что приходилось официально жаловаться и просить «принять меры».

Что же это значит в стране, которая говорила пушкинской речью, лермонтовскою речью, гоголевскою речью и которая имела совесть Достоевского и Толстого? Что же значит это молчание? Да то значит, что нигде омертвление русской жизни, окостенение души русской не пошло так глубоко, не захватило так полно и без остатка всего круга, как в нашей «духовной области», «церковной области», как во «святой, соборной и апостольской всероссийской церкви».

Да, поем панихидки хорошо. И у протодиакона октава, и у священника тенорок. Все на месте. Каждому – что положено. «Все по уставу». И свечечки, и паникадилца, и фимиам к небу, т. е. к потолку, клубами, «как следует». Все «как следует».

И смотрит наивный русский человек с умилением, как все это хорошо «Божие дело» у него устроено, и верит он, наивный человек, что близок он Богу, что живет он на «святой Руси»...

И вот эта Русь зашаталась. Как тяжелый слон стоит она недвижно, с копиями и стрелами в боках, обливаясь кровью; и туманятся смертью очи умного животного, дрожат ноги, а недруги или «друзья» бегут и подрубают топорами ноги, чтобы повалился гигант, бивни которого всем нужны. Смятение. Шум. Пыль облаком.

Чего-чего, а уж волнения много. Почва ли не разрыхлена для приятия нужного зерна? Ведь все нам повторяли:

«Вы – камни! Не слышите!»

Ну, теперь слышим. Почва и рыхла как бархат, и не то что полита водою, а смочена слезами и даже удобрена кровью, лучшим туком... Ждем, слушаем. Страна ждет, народ насторожился, а «батюшки» сидят по теплым квартиркам, большую часть казенным.

– Выйдите, отцы.

– Да вы что пристааете, у вас треба, что ли? – говорят отцы духовные. – Помер кто, – похороним; замуж время выходить, – обвенчаем. Мы в исправности, и у нас все исправно.

– Да вы бы к народу вышли...

– Скажет полиция, – и выйдем, как в Баку. Не приказывают – чего же нам беспокоиться. «Не убо прииде время».

И сидят. И кушают. И дремлют. И сквозь дремоту слушают самих себя, какой у кого «тенорок», у кого какой «басок». И дремлют, и грезят:

«Вот будет патриарх, и повезут его на осляти. Какое возвеличение духовного чина!».

И все-то это – вещественное. Все – физическое, а не духовное, не психическое. Все – физика. Физика и физика! Какая-то «священная физика», ставшая «святою» вещественностью! Какое-то обоготворение вещества: если одежда, – то непременно золотая или серебряная; а если занавес в храме, – то непременно из шелка. Ни занавеса из полотна или кружев, ни одежды без шитья мишурою и представить нельзя. Без этого просто священник будет не священник и храм – не храм.

И нигде-то, ни в чем не видно духа! Все – материальность. А сословие «духовное»! Почему оно «духовное»? Ну, так и звалось бы «семинарское», или «семинарско-академическое», или «храмовое», или «служило-храмовое»; но почему «духовное», когда до очевидности для всякого ясно, что это именно менее всего – «духовные» люди.

Дело «духовных» стало делом «благолепия»... Но какого?.. Не «благолепия» души человеческой, не ее бессмертной красоты, а «благолепия» вещественности: «три свечи» около гроба, непременно «три», и дым к потолку, и вообще зрелище, вид, эстетика!..

Греки, да и римляне «эллинизированные», были великие эстеты, любители красоты, первые в мире, несравненные, не знавшие соперничества и соперников. И вот, вы только храните благолепие, а выработано оно было все эллино-римским миром в тот старый, дряхлый возраст, когда вкус у человека и у народов бывает так изумительно заострен, тонок, наркотичен, требовате-

лен, так критичен, а сердце и совесть уже бывают притуплены, охлаждены опытом, испытанием и «приключениями»...

«Все, батюшки, видел! И ничто меня не возмущает. А вот сладенькое – еще люблю», – говорит старец, отворачиваясь от страдания и беря сахарный леденец, чтобы пососать.

Вот в такую-то эпоху несчастного разложения и несчастного эстетизма, любви к внешней красоте и было сотворено все, все, – и София Константинопольская (в развратнейшую пору Юстиниана, этого византийского Людовика XIV), и ритуал «надгробных рыданий», и дивная «эстетика» Херувимской, сложенная не святым, не отшельником, а константинопольским императором!

Имя не сохранено, но происхождение известно. И рыдают нищие, рыдают «юродивые», рыдают глупые, слабые, больные, не отдавая отчета, откуда это, что это? Не догадываясь, что в ту эстетическую эпоху до «нищенства» и «юродства», до голода и холода, работы и страдания, до слез и крови гораздо менее было дела, чем до «партии голубых» и «партии зеленых», боровшихся в цирке, на которых взирали эти вымиравшие эстеты. «Бездушие» духовных, «недуховность» всего класса и целого дела...

Да, оно, это старческое бессилие, «издревле», преемственно, исторично. Хотя молоденькие семинаристы посвящаются в диаконы, священники и архимандриты, и вообще духовенство не «старее» же всех сословий по личному составу; однако, обратите внимание, до чего все «духовное сословие» в целом есть «старец», именно и непременно старец, какой-то собирательный, сословный, наследственный, служебный. Старая яблонька и старое яблочко. Старенькая яблонька – Византия. И сословие, все черпнувшее из Византии, сторбилося, съежилось, закашляло, поседело сразу и неодолимо. Старичок сосет леденец, а на страдания не взирает.

Духовенство – «самое старое сословие». «С молодых ногтей уже старичок» – и имеет главную свою чертою неотзывчивость, невпечатлительность. А молодость, которая так обильно влилась сейчас в жилы нашего исторического организма, и это она-то и подняла все окружающее движение, – имеет главную чертою своею живое, впечатлительное сердце... И они глухи друг к другу.

Ведь заметно, что именно молодые поколения, как будто бурлящие против церкви и церковей, скорее проникнуты здоровым нравственным чувством, по крайней мере, «впечатлительностью». Они не только «кое-что» говорят, но они разработали «нужду народную» в целую науку. У них – статистика, изучение быта, цифры, точные описания, художественное изображение, жалостливые песни, все... Ведь это дело труда, терпения, долгого времени, т. е. не минутно вспыхнувшей, а подлинной и долговечной любви.

* * *

Теперь, когда Россия вошла в сильнейшие формы европейского движения, так хотелось бы услышать голос духовенства. Более: мы страшимся, что в России, которая не свернет никогда, конечно, на старомосковские и старокри-

евские дороги, оказавшиеся «непроезжими» или поломанными, а будет идти все дальше в путях европейского и общечеловеческого развития, – мы страшимся, как бы в ней не совершился тот процесс, который есть везде на Западе, захватывая там и народ, и рабочих: «разлука с церковью». У нас, если духовенство останется на старомосковской и старокиевской дорожке, эта «разлука», во всяком случае печальная и страдательная, совершится еще быстрее. Ибо ни такой организации духовенства у нас нет, как в католичестве, ни наши пастыри не несут в народ той настойчивой проповеди нравственности, какая есть у пресвитерианцев, у немцев и которая не может не быть каждому дорога. Право, у нас спор будет короче. Тут будет (была бы) борьба особенно кратка, ибо никакой, в сущности, религиозной глубины под нашим благолепием не содержится, никакого глубокомыслия, пыла убеждения, а одно вековое привыкание и «нравы нашего сословия», для которых при свободе слова скоро найдется свой Гоголь.

Но зачем эти опасные пути расхождения? Образованному обществу и в новом историческом движении нужна религия. Ибо без религии, без вечных опор души вообще невозможна жизнь человеческая сколько-нибудь серьезных целей и серьезного содержания. «Сытые буржуа», может быть, и не нуждаются в католицизме, скучают в протестантизме: но ведь их лозунг – сытость, коротенькая и на сегодня, для каждого своя, и только. Не хотелось бы думать, что сегодняшней «рабочий» и «пролетарий» по существу есть тот же буржуа, только без своей фабрики и без своего банка, буржуа не с миллионом в кармане, а с десятью целковыми. Сущность буржуа и буржуазности не в счете рублей, а в том, что довольно верно М. Горький определил «мещанством»: в отсутствии мечты и мечтательности, – мечты мысли, мечты искусства, мечты религиозной. В конечном итоге разница в том, что в физическом человеке умер метафизический человек. Ведь никто не назовет Жорж Занд «буржуазкой», хотя она имела свои средства; ни Ньютона, ни Паскаля, ни «Д. И. Писарева» – хотя они все были дворяне, и обеспеченные дворяне. Но рабочий, который ничего в истории не хочет, как быть сытым, – буржуа. Сегодня он «товарищ», герой, пока борется; но завтра, когда победил, он просто есть *soced* «Ивана Ивановича, такого же буржуа, как я». Нет, я люблю крик «товарищества». Он мне грезится каким-то новым обещанием в истории; «республикою» уже осуществленную, «республикою» сердец и умов, когда на улице стоит... бюрократический строй. Не хочу я представлять «буржуазным строем» завтрашний день этого «товарищества». Мне он представляется, после тысячи мелких перемен, какие для него настанут в истории, – великим братством, единым не одною бедностью или «одинаково умеренным доходом с капитала», а слитым в одно великою мечтою, общею мечтательностью. Я уверен, что на завтра того дня, когда будет достигнута победа (а я в нее верю, хотя еще не скоро, не скоро), – воскреснут в этом экономическом (пока) товариществе все великие запросы духа, и эстетические, и умственные, но прежде, прежде всего самые глубокие и волнующие – религиозные.

Как были первобытны первые венецианцы: просто – беглецы с берега, верно, спешно спасавшие свои «пожитки». А вышла – Венеция. И первые римляне были «только пастухи»: а вышел Рим. Я верю и хочу верить, что хотя наши «товарищи» заняты сегодня только «заработной платой», и это – так нужно: не надо рассеиваться, терять силы на побочное (для сегодня); но что по великому энтузиазму, сегодня их одушевляющему, по великому энтузиазму их идейных вождей (вспомним сидельцев Шлиссельбурга, целый ряд мужских фигур, которых не хочу называть, также г-жу Фигнер, «бабушку» Брешковскую), я думаю, о них не придется в XXI веке повторить ответа, принесенного жителям осажденного и голодного города, когда, увидев пыль на дороге, они послали соглядатаев посмотреть, «не помощь ли идет»:

– Нет, граждане! Это идет стадо.

Прошлые дни нашего обновления, еще с конца XVIII века, не обещают этого печального ответа. И, по крайней мере, я хочу верить в Венецию, в Рим, и даже во что-то еще несравненно большее и содержательнейшее: в мечту, в фантазию, в великое искусство и в великую философию и более всего – в прекраснейший быт. Я все забываю о духовенстве, а с него начал говорить. Неужели ничего, кроме дикого и темного, оно не могло бы сказать об этом движении, неужели так-таки ничего и не «московского» и не «киевского», а *лично* и *своего* не могло бы выговорить «товарищам», как все же сумело сказать, ну, хоть «кое-что», английское духовенство, и не родное нам, и не имеющее никакого живого о нас представления? Неужели у нас только и есть одно «благолепие»? Которое, как было, так и останется? А больше ничего еще, решительно ничего?!..

ОБ УЧЕБНЫХ РЕВИЗИЯХ

Порыв одним скачком перескочить чуть ли не из XVII века сразу в XXI не может не быть головоломен. Всякий рассудительный человек не может не стать на сторону более стойкой, неостанавливающейся и неутомляющейся работы. Это – реформа, но не как момент, а как процесс, не как шаг, а как поход. Только этим движением человек может охватить и подвинуть вперед все подробности жизни, в которых и заключается главное зерно тяжести или облегченности, вредности или благотворности данного порядка вещей.

За анонимную подпись «N» в последней книжке журнала «Богословский Вестник» помещена очень дельная статья: «Ревизии духовно-учебных заведений», все содержание которой без каких-либо перемен можно перенести и на светские учебные заведения. Ревизии, которые должны бы быть главным двигателем вперед учебно-воспитательного дела в целой стране, на самом деле столь мало полезны, что с каждым годом их становится менее и менее, и очевидно, сама высшая администрация стоит перед вопросом: что делать с ними: вовсе ли отказаться от них или как-нибудь преобразовать их? Автор указывает, что, например, в духовном ведомстве по штату учебного отдела

полагается пять ревизоров, но ныне ревизорами состоят фактически три лица, на содержание которых (переводя на деньги квартиру и считая прогонные суммы) уходит около 25 000 р. И пяти ревизоров, очевидно, слишком недостаточно для того, чтобы хотя ознакомиться с положением учения и воспитания в стране, не говоря уже о том, чтобы толкнуть его вперед! Но и это «пять» сократили до «трех»: очевидно, в полном сомнении о их полезности. Автор называет теперешние ревизии «дилетантскими». Посетив 1–2 или 2–3 урока какого-нибудь преподавателя (никогда больше), ревизор составляет доклад высшему начальству об удовлетворительности или неудовлетворительности преподавания только на основании ответов учеников, которые именно под влиянием ревизии (смущение учеников, ненаходчивость, неловкость самого учителя) могут быть совершенно иными, чем всегдашние нормальные ответы учеников и всегдашнее нормальное преподавание учителя. Автор называет существующие ревизии «дилетантскими»; мы же прибавим, что они чаще всего представляют курьез и порождают, как долгий след после себя, только кучу анекдотов, смешливых рассказов и воспоминаний, без всякой пользы для дела. И автор верно видит причины этого: теперешняя постановка ревизий – «плод бюрократического строя в управлении духовными школами и может иметь оправдание только при этом строе, создавая иллюзию бюрократического всеведения, лежащего в основе бюрократического всевластия». Действительно: это орган цельного организма, и когда самый организм так явно немощен, умирает и предназначен к замене новым, то с переменою его мы стоим перед вопросом и о совершенной перестройке органа.

Солидная постановка ревизий может быть только при том условии, если они будут производиться специалистами по каждому предмету, – специалистами в смысле знания предмета и в смысле обладания техникою его передачи. Автор предлагает сделать должность ревизора выборною: академия из своего состава преподавателей-профессоров выбирает 10 для ревизии семинарий своего округа, а семинария выбирает 5–6 ревизоров из состава своих заслуженных преподавателей для ревизии духовных училищ (к которым, скажем от себя, мы прибавили бы и ревизию церковно-приходских школ). Таким образом, получится 40 лиц на Россию, ревизиующих семинарии, что уже составляет достаточное число, если сравнить их с числом существующих ревизоров (5 или 3).

Желательно, чтобы в следующей книжке журнала автор хотя в краткой заметке объяснил, как он думает эту функцию ревизования семинарий совместить с непрерывным чтением лекций? Конечно, профессора могут выезжать на ревизию поочередно. Нам думается, что они могут возместить пропущенные лекции удвоенным числом их после ревизии, читая и вечером. В общем преподаватели высших учебных заведений очень мало обременены: они едва имеют 1/4 того труда, какой несут учителя средних учебных заведений. Много свободного времени оставлено им для собственного усовершенствования в науке, путем чтения и изучения. Здесь, конечно, наука может кой-что уступить практике: мы убеждены, что профессора высших учебных заве-

дений, приняв на себя обязанности наблюдения и руководства преподавателями средних школ, в высшей степени окрепнут сами в смысле серьезности мирозерцания и всякого отношения к делу. Нет лучшего пути к солидности, твердости и самообладанию, как попробовать управлять...

«При замене казенных ревизоров выборными от семинарий и академий самый характер учебных ревизий должен радикально измениться. Прежде всего, ревизоры явятся не в роли грозного Юпитера, наводящего, как теперь, страх и трепет на преподавателей, а в качестве экспертов или старших товарищей-руководителей. Задача их – не карать преподавателей и рисоваться перед ними своим начальственным величием, а возвышать их педагогическую деятельность. Они по-прежнему будут замечать недостатки в преподавании, но это будет служить не причиною репрессивных мер по отношению к преподавателям, а поводом к дидактическим разъяснениям и указаниям. Ревизор должен быть не безгласным только наблюдателем на уроках, а красноречивым наставником самих преподавателей. Методы обучения, программы, учебники и учебные пособия, литература данной науки, новые течения в науке и пр. – все это основные и интересные вопросы для преподавателя, и ему было бы весьма полезно познакомиться со взглядами ревизора-специалиста по этим вопросам. В настоящее время преподаватель духовной школы одинок, у него нет связи со своими коллегами по преподаваемому предмету, так как никакие съезды преподавателей у нас не допускаются. Это одиночество грозит самому преподавателю понижением научной его компетентности, а преподавание его делает рутинным, шаблонным. И вот ревизор должен нарушить эту вредную изолированность преподавателей, явиться к ним как более опытный и сведущий сотрудник на общем педагогическом поприще и внести некоторое освещение в их одинокую, однообразную деятельность».

Все это святая истина! Конечно, кто что-нибудь получает, должен и давать. Теперешние ревизоры только дают на школу, не давая ей ни крупицы от своего педагогического искусства, которым, может быть, и не обладают. Автор справедливо говорит, что, за совершенною поверхностностью собственных «посещений уроков», ревизоры прибегают к такому «дурному поведению», как собиранье разных непроверенных слухов, сплетен и озлобленных доносов на учителей: и все это также включают в материал своих «докладов» высшему начальству! Ревизии профессоров, уже как людей науки, непременно очистятся от этого сора, да и вообще они получат более идеалистическую окраску просто от заинтересованности бескорыстным делом воспитания и обучения, чистым и бескорыстным содержанием науки!

«Новые ревизоры, – говорит автор, – несомненно вызовут к себе и новые отношения преподавателей. Теперь ревизор – незванный гость; его встречают с трепетом, а провожают с радостью, искренно желая, чтобы он дольше не являлся вновь».

Проистекает это из карательной и притом безответственной силы ревизора; потому что это прокурор, который не имеет против себя адвоката, да и самому подсудимому не «дается слова» после произнесения над ним обвинения. Подсудимому (трудно поверить, но это так!) не говорится даже, в чем он обвиняется: на него накладывается наказание, и только! Г. Н. первым условием педагогического восстановления смысла ревизий ставит отъятие у ревизоров этой карательной функции, устранение страха между ревизующим и ревизуемым:

«Их (выборных ревизоров) сила в знании, опыте, научно-педагогической компетентности, и этой именно силой они будут воздействовать на преподавателей».

Уже одно то, что профессор-ревизор не есть член высшей администрации, а свой брат, преподаватель же, но лишь высшей школы, устранит далекость, формализм и отчужденность между ним и учителем. Затем, конечно, в огромном составе преподавателей есть и всегда будут появляться неспособные к этому делу. Высшему начальству выборный ревизор может сделать о таком преподавателе мотивированное представление; но оно должно пойти на рассмотрение всего состава преподавателей данной семинарии, в отношении его должна быть дана возможность оправдания самому учителю; и только тогда, когда это оправдание не будет признано серьезным достаточным количеством людей (педагогический совет семинарии, сам ревизовавший профессор и та администрация, которая заведует назначением учителей), учитель смещается с той должности, которой он явно и доказанно вредит. Вообще все тут становится открыто, гласно и многолюдно; устраняется «келейность» и шепот, устраняется злоба и месть и, ответно, страх и лживость, эта отравленная атмосфера старых гнилых потемок, где сколько душ преподавательских погибло, сколько изломано ученических жизней!.. Вот где пора сказать: «К свету!» Да и не сказать, а закричать...

О КНИГЕ «ПРИРОДА И ИСТОРИЯ» ВАСИЛИЯ РОЗАНОВА

В 1886 году выйдет первый и самый объемный труд Василия Розанова – книга «О понимании». Горькая судьба этой книги давно известна: и что Василий Васильевич деньги на издание «по грошику» откладывал, как Акакий Акакиевич на шинель, и что осталась она незамеченной (хотя и писали ему позже некоторые по-настоящему *достойные* читатели, как прочли его труд от корки до корки и «с карандашом в руках»). В предисловии к «Природе и истории» Розанов вспомнит свой первый труд: «Если бы какое-нибудь внимание к этой книге показало мне, что есть возможность в России трудиться и жить для философии, – вероятно, я никогда не стал бы публицистом. Созерцательность, самопогруженность, экстаз к вопросу о «несуществовании» есть, кажется, первичная материя моей души».

Судьбы книг в России часто воздействуют на судьбы их создателей. И если бы «О понимании» не прошла незамеченной, то смог ли появиться в России столь редкостный, способный ошеломить читателя писатель? Бросить перо было не в его силах. В 1888 году выйдет маленькая брошюрка «Место христианства в истории», на следующий год появится статья «Вопрос о происхождении организмов», затем «Заметки о важнейших течениях русской философской мысли» – и далее, далее, все шире по охвату затрагиваемых вопросов, все свободнее в движении мысли, все своеобразнее в «изложении». Новые произведения будут поменьше, нежели тот первый, увесистый труд, главным образом это – статьи для журналов (хотя для «позднего» Розанова, пожалуй, и они были бы чересчур велики). Но и в конце 1880-х, и в 1890-е он всё еще «философ», даже когда рассуждает не только о естествознании, религии, государстве, но и о вопросах пола, о педагогике, о литературе. Разве что в полемических «зачинах» многих крупных его работ становится ощутимой публицистическая заостренность.

Известность придет после работы «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1891). Для России – где литература уже стояла в центре ее духовной жизни – черта наихарактернейшая. Собственно философия не могла бы принести такой известности, какое давало любое прикосновение к изящной словесности. А итогом «раннего» Розанова станет уже целая серия книг, вышедшая на рубеже веков: «Литературные очерки» (1899), «Сумерки просвещения» (1899), «Религия и культура» (1899), «Природа и история» (1900), «В мире неясного и нерешенного» (1901).

Каждый из этих томов составлен из ранее написанных статей. Последовательное их чтение дает совершенно неожиданное впечатление. Автор, которому ко времени их появления «за сорок», кажется еще весьма «молодым». Он меняется от книги к книге, движется ко все более живому языку, к более смелым поворотам мысли. Казалось бы книги, собранные из написанного более чем за десять лет, говорили о том, что для автора должно было наступить «время итогов». На самом деле – Розанов только начинался. Между последней книгой XIX в. («Природа и история») и первой XX-го («В мире неясного и нерешенного») – рубеж.

У истоков его «первой» философии – стремление заложить «первоосновы»: «Едва ли может подлежать сомнению, что если наши успехи в науке незначительны, то наше понимание ее природы, границ и целей ничтожно. Трудясь в отдельных областях знания, мы никогда не имели ни случая, ни необходимости задуматься над ним, как целым. Не мы устанавливали вопросы, на которые отвечали приобретаемые нами знания, и не мы находили им место в ряду других, ранее установленных знаний. В построении великого здания человеческой мысли мы были делателями, но мы не были создателями».

Так начинается книга «О понимании». Наука как «здание» человеческой мысли давно уже волновала европейских философов, но Розанова, похоже, не могло бы удовлетворить никакое *чужое* «построение». Самый тон этого первого абзаца не оставлял никаких сомнений: себя он видит в роли «зодчего». Если положить рядом книгу «В мире неясного и нерешенного», вышедшую через пятнадцать лет, ее автор выглядит совсем иным человеком. Это уже не монолог «мудреца». Книгу наводнили «полемические материалы». Их авторы спорят с Розановым, спорят между собой, – и автор «В мире неясного и нерешенного» публикует эти споры, опутывая их сеткой своих страничных примечаний, где уже и следа нет от прежних «последовательных» рассуждений. Эта «пестрота мнений» усложнена еще одним голосом. Ранее эти полемики вспыхивали на страницах газеты «Русский труд». Сергей Шарапов, ее издатель, частенько сопровождал их своими комментариями. Голос этого «толкователя» теперь тоже вливался в розановское сочинение. И эти примечания Шарапова Розанов также окутывает своими, заботясь не столько о «победе» в споре, об «окончательном слове», сколько об общем тоне книги, которая, вобрав в себя чужие выступления и письма, все-таки осталась очень розановской. Позже он с легкостью будет противоречить сам себе. Здесь же ощущалась та редкая разноголосица, когда отдельное выступление могло дробиться на новые и новые «подголоски», но все вместе рождало «полифоническое» целое. Не удивительно, что близкий товарищ Розанова И. Ф. Романов (чаще всего писавший под псевдонимами «Рцы» и «Гатчинский отшельник») казался то сторонником Розанова, то его противником. В идеях стали важны не только основные «положения», но и *оттенки*. Сама интонация книги «В мире неясного и нерешенного», – этого «нового» Розанова, с его особой

«интимностью» – рождается не только от составивших ее статей, не только от темы (пол, как универсальная энергия, пронизавшая все мироздание), но и от этих розановских примечаний, этих «уколов» мысли, мгновенных маленьких прозрений, запечатленных живым и точным словом.

«Природа и история» еще не обладает такой писательской свободой. Но из всех «рубежных» книг к «новому» Розанову она стоит ближе других. Хотя и связь свою с первой книгой «О понимании» – помнит.

Автор «Природы и истории» начинает с дарвинизма. По сути же дела – пишет опять о понимании. Поводом обращения к одной из самых знаменитых естественно-научных теорий послужила полемика Н. Я. Данилевского и К. А. Тимирязева, т. е. критика дарвинизма и его защитника. Но побудительный мотив к выступлению созрел много раньше. Позже, в «Литературных изгнанниках», он заметит: «... не только «неверность», но *умственная пошлость* дарвинизма не возбуждала во мне никаких сомнений, оставляя «все факты (открытые или замеченные Дарвином) верными». Факты – одно: и их никто не смеет поколебать. Но ведь факты надо *объяснить, объяснить...*»* Полная неспособность дарвинистов к объяснению, т. е., в сущности, к *пониманию*, «зацепила» Розанова. Именно об этом он и пишет в своей книге. Жираф тянет шею к верхним ветвям дерева, находит там корм, не тронутый другими животными, а та особь, чья шея оказалась чересчур короткой – «вымирает». Для Розанова подобное объяснение граничит с кретинизмом**. «Это изумительно ясно и кратко, – не без скрытой издевки заметит он в следующей статье, посвященной личности Дарвина. – Это – что-то из Эвклида, из первых его теорем: равенство треугольников, и то понимаемое при условии, если они не очень уродливо нарисованы»***.

Чарльз Роберт Дарвин захотел объяснить *происхождение* органических форм, но рассказал лишь об их *сохранении*, – «или точнее и строже: о не сохранении форм, за исчезновением которых остались те, которые наблюдаются»****. Из двух возможных научных объяснений всякого «возникновения» – причинном или целесообразном (из последнего будет исходить сам Розанов) – Дарвин оказался неспособен к последнему, но не смог дотянуться и до первого. В сущности, весь дарвинизм опирается в своих объяснениях на *случайность*. И к этой категории поневоле должен обратиться и Розанов.

«... Явление, которое мы называем случайным, есть синтез двух простых, из которых каждое причинно, не в том ряду, в котором причинно другое, и оба не согласованы ни в чем третьем». – Эту формулировку, ясную лишь в окружении пояснений, Розанову приходится уточнить примером: движение пада-

* Розанов В. В. Литературные изгнанники. М., 2001. С. 35.

** Сходное неприятие «объяснений», принятых в дарвинизме, можно обнаружить и через столетие у известного биолога А. А. Любищева.

*** Наст. изд. С. 42–43.

**** Там же. С. 13.

ющей скалы – процесс причинный, как и движение человека в определенном направлении. «Пересечение» этих процессов может породить случайность: гибель человека. Но за примером следует еще одно немаловажное обобщение. Начертаны два ряда причинных явлений: движение человека и движение обломка. «И самый синтез их, – смерть человека происшедшим способом, – всегда существовал, но лишь в сфере неопределенной возможности (в ряду других бесчисленных способов умирания) и теперь выделился из нее, стал действительностью, как выделяется звук от удара двух цепей, в которых (явно) его не было, и в которых (в возможности) он был»*.

Каждый раз, читая «раннего» Розанова приходится различать разные стороны его мысли. Во-первых, он сохраняет здесь одну замечательную способность, столь очевидную в книге «О понимании». Он пишет пока еще «ученым» языком, но склонен до всего доходить собственным умом и объяснять самые абстрактные понятия наипростейшим образом, «на пальцах». Во-вторых, это «подробное» описание мысли всегда порождает какой-то новый смысловой «обертон», способный породить целую теорию. Замечание о «неопределенной возможности» отсылает к одному сокровенному замыслу Розанова. Он хотел подступить к нему сразу после первого своего фундаментального труда. Второй труд должен был называться «О потенциях». Те «возможности», которые еще не воплотились, но как бы «реют» в мире, – мучат его воображение, этим «потенциям» и хотел посвятить он большой труд. И невоплощенный замысел – как часто это бывает – стал проступать через все последующие сочинения. «Теория Чарльза Дарвина, объясняемая из личности ее автора», – уже название второй статьи книги – пусть в скрытой форме – говорит именно о потенциях. Весь дарвинизм (в этом Розанов не сомневается) – еще до своего появления на свет, как растение в зерне, – содержался в характере ее создателя.

Маленький Дарвин был лишен всякого мало-мальского дарования в области стихотворчества. И школьные задания по этому предмету он выполнял, опираясь на внешнюю наблюдательность, – из отдельных строчек старинных стихотворений. Он чувствовал неприязнь к алгебре и анатомии, не знал геологии, не мог усвоить историю, политику, нравственную философию, – и в то же время любил наглядное: «Начала» Евклида. А с какой страстью юный Дарвин собирал коллекции минералов или жуков! Как любил охоту! Сколь редкий талант обнаруживал в наблюдении за внешней стороной явлений и в собирании фактов! Со временем «страстный охотник неуловимо переходил в точного натуралиста, глаз которого не только не делал ошибок, но и подмечал то, что ранее от всех ускользало». И вместе с тем – при изумительной *внешней* наблюдательности – в нем жила полная неспособность увидеть внутреннюю жизнь существ и явлений. Не потому ли и в дарвинизме живет лишь *внешняя* схема, лишенная глубинного понимания природы? А нравственный склад Дарвина! Это же самая крайняя «пассивность». Он готов был к карьере и

* Наст. изд. С. 15.

медика, и священника. И в роли натуралиста на корабле «Бигль», путешествие на котором и привело его к знаменитой теории, оказался лишь волей случая, без каких-либо внутренних побуждений. Такая подверженность случайностям, – тоже перешла в дарвинизм.

«Неуловимо для него самого, скрыто от всего цивилизованного мира – черты его духа и судьбы, все, отразились на его теории. Он в ней не мир обрисовал, еще менее – объяснил его; он в ней себя выразил». Мир Дарвина – особый мир. «Все факторы, образующие формы этого мира – найдены не скальпелем, усмотрены не под микроскопом, но найдены в лесу, в поле, помечены в нравах животных и в обстоятельствах, если можно так выразиться, их быта: этот лес, эти деревья – дают окраску им; здесь ищут они пищу и, не находя ее достаточно, – борются за существование. Формы (органические) не рождаются изнутри, но делаются снаружи – почти так, как творец теории делал «поэзию», склеивая разные стихи старых авторов. Природа дает обилие всевозможных новых изменений, но наружные факторы отбрасывают ненужное в них и оставляют жить, закрепляют существование только за «полезным». Так лепится великая органическая поэма через «подбор» случайных признаков... Нет в этой легкой форм живого участия самой природы; она не есть субъективное, само-создающееся «я»; нет в ней вообще субъективного, внутреннего – вот коренная мысль дарвинизма и главная черта дарвинизма и главная черта Дарвина... Только внешние стимулы есть; нет вовсе внутренних предрасположений, нет ничего априорного в природе, нет гения в ней – и только обыкновенная способность всем сделаться, как у него – обыкновенная способность всему научиться»*.

Портрет героя иногда граничит с карикатурой. Возможно потому, что дарвинизм для Розанова в это время «есть просто ерунда слов, перемешанная с великолепными фактами»**. Главный же порок Дарвинова учения – совершенное отсутствие принципа целесообразности – заставляет Розанова строить свою «систему эволюции».

«Красота в природе и ее смысл» – центральная работа книги «Природа и история». Ее тоже можно было бы прочитать, как теорию воплотившихся «потенций», только теперь уже самого Розанова. Пережить в детстве смерть отца, в отрочестве – матери. Пройти очень трудное детство. Дважды остаться в гимназии на второй год. И, тем не менее, – обнаружить в себе неуклонное стремление идти *своим путем*. Не любить «казенную» учебу, но «болеть» самообразованием. Пройти в гимназии Белинского, Писарева, Добролюбова, Милля, Фохта, Бокля и др., чтобы в университете отвернуться от этого круга идей. Отказаться от предложения профессора Герье остаться на кафедре для написания диссертации и защиты ученого звания, отдав предпочтение

* Наст. изд. С. 41–42.

** Розанов В.В. Литературные изгнанники. М., 2001. С. 36.

жизни провинциального учителя истории и географии и самостоятельным занятиям философией. Все это – за пределами книги. Но и – подспудно – внутри нее. Понятно, почему его оттолкнул дарвинизм, где природные процессы «лишены какой бы то ни было созидательной, производящей силы»*. Он слишком ощущал, как в нем самом шевелится какая-то особенная энергия. И жизнь его, несомненно, шла к какой-то цели, пусть и не очень ясной, но «потенциально» ощутимой. В сущности, сама тема – «красота в природе» – только лишь повод для описания этой особенной энергии. Розанов идет от частного к общему, по-новому перетолковывая факты, приводимые дарвинистами. И красота раскраски самца во время брачного периода видится не как способ «прельщения» самки, а как выражение особого напряжения клокочущих в нем жизненных сил. И сам взгляд Розанова на органический мир заставляет вспомнить будущие идеи В. И. Вернадского, связанные с понятием биосферы. Брачный период – это не только особый момент в жизни особи, но точка ее связи со всем морем земной жизни. Это – мгновенное слияние и рождаемого, и рождающегося с единым целым. «...Органическая жизнь, не прерванная на протяжении тысячелетий и связанная на всей земле, как бы пульсирует в индивидуальном существовании, и судьба каждой особи, от рождения до смерти, есть только единичное биение этой великой жизни, удар ее, воспринятый и переданный, – необходимое, хотя и пропадающее мгновение в потоке вечности»**. Та энергия, которая пронизывает жизнь отдельной особи, проявляет себя и во всей жизни. Поэтому органический мир движется ко все большей сложности и разнообразию. И это непрекращающееся возрастание энергии органической жизни показывает и степень ее приближения к своей первопричине, к той неведомой цели, которая «организует» мир.

Цель, точка завершения процесса, есть его же первопричина. Потому жизнь органического мира находит свое объяснение в человеческом существе. Потому за природой следует история. «Иерархическое» сознание не терпит пробелов. Там, где Розанов не чувствует себя «во всеоружии знаний», он чертит схему. Таковыми и предстают его рассуждения о человеческих расах, об их возможности «творить историю». Где он опирается на глубинное чувство, родственное озарению, к нему приходят внезапные, неожиданные догадки. Сюжет статьи вытягивается в цепочку и сам подводит к той самой цели, которая стала «первопричиной» этой статьи. Органический мир, человек, творчество, культура, история... Все эти «стороны бытия» разрешаются в религии. Она и дает обоснование главной основе всякого понимания – идее целесообразности. Именно целесообразность – в чем заключено особо важное ее отличие от идеи причинности – «позволяет нам хоть как-нибудь понимать природу в целом»***.

* Наст. изд. С. 13.

** Там же. С. 51.

*** Там же. С. 102.

Целесообразное объяснение различных явлений мира, где идея цели предшествует всему процессу, где развитие частей и усложнение их взаимосвязей, завершается самой целью, лежит в основе всей книги. И сама она становится многосоставным, сложным и взаимосвязанным во всех частях целым.

Как цель, точка завершения, становится в основание, в самое начало процесса, как поведение части находит объяснение в жизни целого, так и книга Розанова говорит не только о природе и истории. Архитектура книги – не случайна. Это не просто «собрание статей». Критика дарвинизма – вместо методологии, «Красота в природе и ее смысл», «Часть и целое» и другие маленькие статьи, почти заметки, – осколки единой «взращенной» Розановым метафизики, пронизанной идеей единства. Завершение книги – два творческих портрета: Николай Страхов (старший товарищ «по разуму», замечательный «друг по переписке», один из основоположников почвенничества) и Федор Шперк (редкое «метафизическое» дарование с особой «странностью ума», младший товарищ, рано ушедший из жизни). За данью уважения, данью памяти дорогим современникам – невероятным контрастом – следует «дань неуважения».

«Книга особенно замечательной судьбы», сочинение о Бокле, властители дум шестидесятников, – не то памфлет, не то художественная биография («с издевкой». Если в облике Дарвина («Теория Чарльза Дарвина, объясняемая из личности ее автора») юмор эпизодичен, то Бокль рисуется на грани шаржа, и столь живо, столь разнообразными мазками, что перед читателем встает как живой. Блестящий памфлет, быть может, и потому венчает книгу Розанова, что – несмотря на все индивидуальные черты «слабоумного энциклопедиста» – в нем провидится и обобщенный образ позитивиста как такового. Некогда за книгу «О понимании» Розанов взялся, чтобы «отрезать» от себя все нити, которые только могли его связывать с позитивизмом. Тот объемный труд – как готов был в пылу откровенности объяснять сам Розанов – был направлен против Московского университета, его *alma Mater*, точнее, – против профессоров-шестидесятников, одержимых «околопозитивистскими» идеями. Как мимоходом бросит Розанов в одной из статей («вспоминаниями»: «Все эти Бруты и Гармонии с обликом молодой купчихи были нам эстетически противны».

Люди науки, по Розанову, могут рассуждать, но часто лишены способности *понимать*. Только поэтому и может возобладать по внешности простое и удобное объяснение сложных явлений, вроде дарвинизма, которое *по сути* не дает понимания, поскольку обходит самую суть явлений. Но когда непонимание ложится в основу псевдонауки, здесь уже не до рассуждений и доводов. Здесь можно лишь начертать изумительный по тонкости насмешки портрет.

«Том этот наполнен почти исключительно философией, и так или иначе, он весь или вытекает, или идет параллельно главам и страницам книги «О понимании» – характеристика собственной книги, данная в предисловии,

написанном в 1900-м, уже после всех статей. Действительно, «Природа и история», в сути своей, – о понимании. Но уже не только в изложении мыслей, но и в разнообразии *способов* их изложения. Более того, – в самом ощущении, для кого пишется книга. В том же предисловии Розанов запечатлел и то внутреннее движение, которое начало происходить в его литературном творчестве: «Говорят, какой-то автор сказал, что он не хочет иметь толпы читателей, но хочет иметь интимного читателя. Кто же этого не желает; но я имел радость видеть, ощущать около себя таких читателей. Что значит «интимный читатель»? Такой, который слышит музыку души автора, а не только слышит его слова; и имея этот ключ от его произведений, достаточно властно умеет и хочет поправлять его».

Среди современников один из «интимнейших» читателей однажды прикоснется к розановским истокам. Послевоенный Париж. Старенький, уже больной Ремизов, много вспоминавший и живого Василия Васильевича, годы общения с ним, и розановские, изумительные по стилю книги, однажды услышал, что его знакомая отыскала в одной протестантской библиотеке редчайшую (и в России – редчайшую, а уж в эмиграции – тем более) книгу «О понимании». И радовался как ребенок, когда это сочинение ему пообещали, и предвкушал, и волновался, когда знакомая книгу принесла. Чуть ли не с праздником душевным устроился на дряхлой, продавленной тахте: слушать. И под старательное чтение задремал, похрапывая. А очнувшись – поглядел озорными глазами: «Нег, этого мы читать не будем. Знать, тогда Василий Васильевич еще не нашел себя, – пишет – все равно как с немецкого».

Памфлет о Бокле – тоже *о понимании*. Но он уже мало походит на «гегельянство». Не просто злая карикатура, но почти художественная биография – и живо, и зло, и весело. Тот шаг, когда перечеркивается не только пошлость псевдонаучных умствований, но и самый их стиль. А, в сущности, – не столько научное, сколько художественное произведение. Своего рода биография из серии «Жизнь замечательных людей» (с воспоминания о биографии Бокля в знаменитой серии Павленкова и начинается эта работа). Когда в 1952 году выйдет полное издание романа Набокова «Дар» с биографией Чернышевского, выдержанной в ироническом тоне, он будет казаться первопроходцем в жанре «насмешливого» романа-биографии. Розанов опередил знаменитого романиста на полвека.

Книга Розанова появилась на излете классического русского XIX века. Можно вчитываться в нее глазами историка философии, помечая крестиками отрывки, достойные внимания, отчеркивая волнистой линией мысли сомнительные. Можно читать иначе – как мыслителя, задающего вопросы. Пока – мимоходом и даже, чаще всего, в утвердительной форме. Но есть и еще одна примечательная сторона этого «составного» труда.

«Природа и история» – книга стилистического «перепутья». Особая смесь Розанова «прежного», Розанова с одними только «мыслями», и Розанова «но-

вого», – с мыслями и со *словом*. Поздний Розанов уйдет от своей прежней скрупулезности, когда каждое рассуждение выводилось и подробно обосновывалось (разжевывалось). Именно став понимающим, с его умением *вглядываться* (случайно ли так пришло его душе нумизматика?) и высвечивать самую сущность явления или предмета, Розанов смог легко отойти от внешней научности. Его публицистика, в сущности, – не публицистика. Его статьи и заметки – это уже не объяснения, но внезапные озарения мысли. Он уйдет от логики, которая была основным его орудием в раннем творчестве: когда ты овладел самой сутью логического мышления, способной страховать тебя от ученого «неразумия», – логика как таковая тебе уже не нужна. И если искать среди опубликованных на исходе XIX века томов книгу, наиболее близкую к этому Розанову, то таковой и стоит назвать книгу «Природа и история». За ее страницами проступает образ не только философа, ведомого страстью к «рассуждениям», но, зачастую, и подлинный писатель с вдохновенным словом.

С. Федякин

КОММЕНТАРИИ

В настоящий двадцать пятый том Собрания сочинений В. В. Розанова вошли его книга «Природа и история», статьи и очерки 1904 и 1905 гг.

В томе остаются те же принципы публикации и комментирования текстов, что и в вышедших ранее томах Собрания сочинения В. В. Розанова. Неточности цитирования не исправляются. Сохраняется написание имен и названий, а также некоторые старые написания слов (сантименальный, танцовать, мачиха, лодарничать и т. д.).

Принятые сокращения: НВ – «Новое время»; Б.п. – без подписи.

В том не включены статьи Розанова 1904 и 1905 гг., уже опубликованные в вышедших томах Собрания сочинений:

Т. 1. Среди художников (1994) – Публицистика на сцене (Слово. 1905. 5 янв.); О работах Л. В. Шервуда (НВ. 1905. 8 марта); Возможный «гегемон» Европы (НВ. 1905. 29 июня); Дрезденская Мадонна (НВ. 1905. 3 июля. В книге «Сикстинская Мадонна»); Средневековая твердыня (НВ. 1905. 9 июля. В книге «Капище Молоха»); В католической Германии (НВ. 1905. 27 июля); Реликвии Кальвина (НВ. 1905. 2 авг.).

Т. 3. В темных религиозных лучах (1994) – О картине «Христос и богатый юноша» (НВ. 1904. 8 марта); По тихим обителям (НВ. 1904. 10, 18 авг., 1, 15 сент.).

Т. 4. О писательстве и писателях (1995) – Американизм и американцы (Новый Путь. 1904. № 2); Литературные новинки: [Чехов, Юшкевич] (НВ. 1904. 16 июня); Писатель–художник и партия (НВ. 1904. 21 июля); Когда-то знаменитый роман (НВ. 1905. 8 июня); Мечта в шелку (Весы. 1905. №7).

Т. 5. Около церковных стен (1995) – Памяти А. С. Хомякова (Новый путь. 1904. № 6); Об одной особенной заслуге Вл. С. Соловьева (Новый путь. 1904. № 9); Воздыханцы (НВ. 1905. 8 марта).

Т. 7. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского (1996) – Поминки по славянофильству (НВ. 1904. 21 мая); Литературные новинки [«Жизнь Василия Фивейского» Л. Андреева] (НВ. 1904. 2 июня); Из старых писем: Письма Влад. Серг. Соловьева (Вопросы жизни. 1905. № 10–11).

Т. 8. Когда начальство ушло... (1997) – Старый и новый годы (НВ. 1904. 1 янв. В книге «Кислород и углерод в истории»); Трудное время – творческое время (НВ. 1904. 20 апр. В книге «Война и политическое творчество»); Возражение проф. Демьянову (НВ. 1905. 5 февр. В книге «Скорбные мысли проф. Демьянова о земском соборе»); Государство и общество (НВ. 1905. 3 марта); Женщины и представительство (НВ. 1905. 27 апр.); На митинге (НВ. 1905. 25 окт., 2 нояб.); Среди анархии (НВ. 1905. 15 нояб.).

Т. 10. Водворе язычников (1999) – Натурализм и идеализм (НВ. 1904. 21 янв.); Тут есть некая тайна (Весы. 1904. № 2); Что сказал Тезею Эдип? (Тайна Сфинкса) (Мир Искусства. 1904. № 2); По поводу одного стихотворения Лермонтова (Весы. 1904. № 5); Волнующий вопрос (НВ. 1904. 28 окт. В книге «Волнующие вопросы»); Майские союзы (НВ. Прилож. 1905. 26 марта); Нечто о прекрасной природе (Весы. 1905. № 5); Новые вкусы в философии: Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности (НВ. 1905. 17 сент.); Праздник и человек (Русское Слово. 1905. 25 дек.).

Т. 14. Возрождающийся Египет (2002) – Роковая филологическая ошибка (Слово. 1904. 16 дек.); В мире нашего сектантства (НВ. 1904. 7 и 21 дек., 1905. 4 и 5 янв. В книге «Поездка к хлыстам»); Закон Мальтуса и его естественные ограничители (НВ. 1905. 2 февр. В книге «Поездка к хлыстам. Раздел X»); Зачарованный лес (Весы. 1905. № 2).

Т. 18. Семейный вопрос в России (2004) – Психика и быт студенчества (Новый Путь. 1904. № 1–3); Среди обманутых и обманувшихся (Новый Путь. 1904. № 4, 5, 7, 8).

ПРИРОДА И ИСТОРИЯ

Первоначально название книги предполагалось – «Мысли об органической природе» (см. на обложке книги Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». СПб., 1894).

Первое издание книги Розанова «Природа и история. Сборник статей» (СПб. Тип. М. Меркушева, 1900) поступило в Главное управление по делам печати между 16 и 23 ноября 1899 г. Тираж 1200 экз. В первое издание входили «Заметки об истории», которые Розанов исключил во втором издании, поступившем в Главное управление по делам печати между 9 и 15 октября 1902 г. (СПб.: Тип. М. Меркушева, 1903. Тираж 600 экз.). Эти «Заметки об истории» Розанов предполагал включить во второй том «Природы и истории», который, однако, не был издан. Текст книги печатается по второму изданию, а «Заметки об истории» публикуются в качестве приложения.

Первое издание было подготовлено П. П. Перцовым, сделавшим ряд сокращений, которые были восстановлены автором во втором издании. В рецензии на первое издание книги Ю. И. Айхенвальд писал о Розанове: «Он страстно борется с попытками низвести человеческую душу к плоским и определенным очертаниям, к уровню механической причинности. Везде и всегда он говорит о человеке как о бездонной глубине, в которой таятся бесчисленные задатки, предназначенные к осуществлению в вечности. Его постоянно интересует живая личность в полноте сокровенных движений ее сердца, и ее особой, ни на кого не похожей физиономии» (Вопросы Философии и Психологии. 1900. № 52. Отд. П. С. 177). В рецензии Д. П. Шестакова отмечается, что «все статьи сборника замечательны», но особо выделяются «Заметки об истории», «с увлекательной густотой мысли, вбирающие в несколько сжатых страниц все главное в развитии западного и нашего мира» (Мир Искусства. 1900. № 23/24. Хроника. С. 234).

Предисловие к первому изданию (с. 7)

«*Боже, как вы хорошо пишете...*» – оценки Н. Н. Страховым творчества Розанова содержатся в его письмах к Розанову (см. «Литературные изгнанники»), а также в книге Розанова «Мимолетное. 1914 год» (запись 15 июля 1914 г.).

Толстой определил ее как «внимание» – см. трактат Л. Н. Толстого «Что такое искусство» (1898).

«*О понимании*» – книга Розанова вышла в Москве в 1886 г.

Иных уж нет, а те далече... – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 51.

За жар души, растроченный в пустыне – М. Ю. Лермонтов. Благодарность (1840).

«*Кто истинно счастливый человек?*» – Статья Н. М. Карамзина «О счастливейшем времени жизни» появилась в «Вестнике Европы» (1803. № 13). Статья Розанова «Кто истинно счастливый человек (Из тем Карамзина)» была напечатана в «Московских Ведомостях» 2 и 6 июля 1916 г. (см. том «В чаду войны» в наст. Собр. соч.).

«*И сотворил Бог человека и вдунул в лицо его...*» – Быт. 2, 7.

Предисловие ко второму изданию (с. 9)

...*возросшее значение Ницше* – полное собрание Ф. Ницше начало выходить на немецком языке с 1892 г. В 1892 г. в журнале «Вопросы Философии и Психологии» (кн. 15) В.П. Преображенский опубликовал статью «Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма».

Изображение в «Федре» – во второй речи Сократа в диалоге Платона «Федр» речь идет о душе, ее крыльях и причинах утраты этих крыльев.

...*предсмертные слова... С. Трубецкому – Трубецкой С. Н.* Смерть Вл. С. Соловьёва. //Вестник Европы. 1900. № 9 (Вл. Соловьёв. Pro et contra. СПб., 200. Т. 1. С. 209).

Его стихотворное приветствие германского императора – В. С. Соловьёв. Дракон (1900).

Вопрос о происхождении организмов (с. 12)

Русский Вестник. 1889. № 5. С. 311–316. Продолжение статьи (разделы II–V) впервые под названием «Органический процесс и механическая причинность» в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1889. № 5. С. 1–22).

Смерть неожиданно прервала... – Ученый-биолог и публицист Николай Яковлевич Данилевский умер 7(19) 1885 г. в Тифлисе. Имя Данилевского было знакомо Розанову с юности, ибо поклонником Данилевского был его старший брат Николай, в семье которого он воспитывался. Розанов признавал Данилевского крупнейшим теоретиком славянофильства.

Теория Чарльза Дарвина, объясняемая из личности ее автора (с. 33)

НВ. 1896. 29 окт. № 7246.

При всем упорстве сопротивления... как Агассис, как Бэр, как Кёлликер.
Швейцарский естествоиспытатель Жан Луи Родольф Агассис (1807–1873) был противником учения Дарвина. Немецкие биологи Карл Эрнст Бэр (1792–1876) и Альберт Кёлликер (1817–1905) отстаивали неизменяемость видов.

Мы все учились понемногу... – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 5.

Читал охотно Апулея... – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 1.

Палей Уильям (1743–1805) – английский философ, автор «Свидетельства христианства» (1794), «Принципов неравенства и политической философии» (1785), «Естественного богословия» (1802).

«Времена года» (1726–1739) – описательная поэма английского поэта Джеймса Томсона (1700–1748).

«Иллюстрация британских насекомых» (1828–1835) – 11 томов английского естествоиспытателя Джеймса Френсиса Стивенса (1792–1859).

Фиц-Рой Роберт (1805–1865) – капитан корабля «Бигл», на котором Ч Дарвин в качестве естествоиспытателя совершил кругосветное путешествие в 1831–1836 гг.

...воспоминания о себе... Декарта или Бэкона – имеются в виду «О страстях души» (1650) французского философа Рене Декарта и «Опыты и наставления» (1625) английского философа Фрэнсиса Бэкона.

Красота в природе и ее смысл (с. 43)

Русское Обозрение. 1895. № 10. С. 602–621; № 11. С. 132–159; № 12. С. 639–670 под заглавием «Что выражает собою красота природы?». В декабре 1895 г. вышел отдельный оттиск «Красота в природе и ее смысл» (М.: Университетская тип. 1895. 83 с.; тираж 300 экз.). Ф. Э. Шперк написал рецензию на это отдельное издание (НВ. Иллюстр. Приложение. 1897. 8 янв.)

В одной из книжек «Вопросов Философии и Психологии» за 1894 г. – На самом деле статья В. С. Соловьёва «Красота и природа» напечатана в № 1 этого журнала за 1889 г. (С. 1–50).

Гёте... когда он был счастлив... – см. И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы жизни. 1824. 27 января.

Часть и целое (с. 103)

Русское Обозрение. 1895. № 3. С. 279–289 под заглавием «О так называемом «действии на расстоянии»».

Дю-Буа-Реймон Эмиль (1818–1896) – немецкий физиолог и философ. В русском переводе вышла его книга «Культурная история и естествознание» (М., 1901).

Бургава Герман (1668–1738) – нидерландский врач, ботаник и химик. Широко известен был его учебник «Основания химии» (1732).

О чудесном в мире (с. 110)

Русский Вестник. 1896. № 1. С. 331–338 под заглавием «Нечто об «излечениях» и о чудесном».

Сикозис – хроническое воспаление волос бороды и усов.

Что иногда значит «научно объяснять» явление? (с. 114)

Русское Обозрение. 1895. № 8. С. 596–603.

«Луна делается в Гамбурге» – слова Поприщина, героя «Записок сумасшедшего» (1835) Н. В. Гоголя.

Философские влияния в русском обществе (с. 119)

Вопросы Философии и Психологии. 1890. № 3. С. 1–36 под заглавием «Заметка о важнейших течениях философской мысли в связи с нашей переводной литературой». В первом издании книги «Природа и история» статья была значительно сокращена П. П. Перцовым.

Вольф Христиан (1679–1754) – немецкий философ. Перевод его книги «Разумные мысли о силах человеческого разума и их исправном употреблении в познании правды» был издан в Петербурге в 1765 г.

...«*доброе вижу и сочувствую ему...*» – Овидий. *Метаморфозы*. VIII, 20–21.

Литтре Эмиль (1801–1881) – французский философ, приверженец позитивизма О. Конта, автор «Словаря французского языка» (1863–1877. Т. 1–4).

Ланге Фридрих Альберт (1828–1875) – немецкий философ, переведена его книга «История материализма и критика его значения в настоящее время» (СПб., 1881–1883. Т. 1–2).

«*Аналитика*» («*Органон*») – сочинение Аристотеля (360–355 до н.э.).

«*Новый Органон*» (1640) – трактат Ф. Бэкона (рус. пер. 1935).

«*Рассуждение о методе*» (1637) – одно из основных сочинений Р. Декарта.

Гартман Эдуард фон (1842–1906) – немецкий философ. Его основное сочинение – «Философия бессознательного» (1869; рус. пер. 1902).

Смена мировоззрения (с. 139)

Русское Обозрение. 1895. № 7. С. 193–207).

...его сына – то есть российского императора Александра III (1845–1894).

Рачинский Сергей Александрович (1833–1902) – ботаник, деятель народного просвещения, был знаком с Розановым и состоял с ним в многолетней переписке (1892–1901; письма Рачинского Розанов опубликовал в «Русском Вестнике» в 1902–1903 гг.). Рачинский перевел «Происхождение видов» (1859) Ч. Дарвина (2-е изд.; рус. пер. 1865).

Бокль Генри Томас (1821–1862) – английский историк и социолог, автор «Истории цивилизации в Англии» (1857–1861; рус. пер. 1861–1865). Розанов увлекался Боклем в гимназии. См. в наст. томе статью «Книга особенно замечательной судьбы».

Две философии (Критическая заметка) (с. 149)

НВ. Иллюстр. приложение. 1897. 20 авг. № 7715. С. 7.

Посмертное примечание. – Друг Розанова философ Федор (Фридрих) Эдуардович Шперк (р. 1872), которому посвящена настоящая статья, умер 7(19) октября 1897 г.

Книга особенно замечательной судьбы (с. 153)

Русское Обозрение. 1898. № 3. С. 155–179; № 4. С. 557–573; № 5. С. 138–147.

Имеют свою судьбу книги – из сочинения римского грамматика Теренциана Мавра (конец III в. н. э.) «О буквах, слогах и размерах», 258.

...судебный процесс г. Павленкова. – В 1866 г. книгоиздатель Флорентий Федорович Павленков (1839–1900) приступил к изданию сочинений Д. И. Писарева, в то время узника Петропавловской крепости, за что подвергся судебному преследованию. Суд оправдал Павленкова, но в 1868 г. он был арестован за речь на похоронах Писарева и выслан в Вятскую губернию.

Мартенс Фридрих-Фромгольд (Федор Федорович) (1845–1909) – русский юрист и дипломат. Главный труд – «Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами» (СПб., 1874–1909). Т. 1–15).

Жил на свете рыцарь бедный... – одноименное стихотворение А. С. Пушкина (1829). Розанов цитирует текст по «Сценам из рыцарских времен» (1835) Пушкина.

Уоллес Дональд Макензи (1841–1919) – речь идет о его книге «Россия» (СПб., 1880–1881. Т. 1–2).

Соловьев Евгений Андреевич (1863–1905) – писатель, принимал деятельное участие в «Биографической библиотеке» Ф. Ф. Павленкова, для которой написал несколько биографий.

«Путешествие Пилигрима» (1678, 1684) – аллегорический роман английского писателя Джона Беньяна, переведенный на русский язык в 1878 г.

...без торопливости и без остановки – из эпиграмм И. В. Гёте «Ксении» (1797).

«Письма с горы» (1764) – антиклерикальная книга Ж. Ж. Руссо.

Это – на льду олеандры... – В. Я. Брюсов «Мертвецы, освещенные газом!..» (Русские символисты. М., 1895. Вып. 3. С. 14). Это стихотворение (под псевдонимом В. Даров) приводится в статье Розанова «Декаденты» (см. том «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» в наст. Собр. соч.).

«Курс положительной философии» – название русского перевода (1899–1900. Т. 1–2) «Курса позитивной философии» (1830–1842) французского философа О. Конта.

Уевелл Уильям (1794–1866) – английский философ и историк науки, автор «Истории индуктивных наук от древности до настоящего времени» (1837).

Но не хочу, о, други, умирать... – А. С. Пушкин. Элегия («Безумных лет угасшее веселье...», 1830). У Пушкина далее: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать».

«И увидела Рахиль...» – Быт. 30, 1–3.

Навзикая – в греческой мифологии дочь царя феаков Алкиноя, которая помогла выброшенному бурей Одиссею возвратиться домой.

Анастасия Романовна – первая жена царя Ивана IV Грозного. Венчалась в 1547 г., умерла в 1560 г.

«История Амадиса Галльского» – испанский рыцарский роман, опубликованный в 1508 г., вызвал много подражаний, любимое чтение Дон Кихота в романе Сервантеса.

«Размышления о французской революции» (1790) – книга английского публициста и политического деятеля Эдмунда Бёрка (1729–1797), враждебно встретившего Французскую революцию.

Царствование Георга III – британский король Георг III царствовал с 1760 по 1820 г.; в 1811 г. в связи с его умопомешательством было назначено регентство принца Уэльского (с 1820 г. – Георг IV).

«Замечания о политике союзников» (1793), *«Письмо к благородному лорду»* (1796), *«Письма о царевубийственном мире»* (1796–1797) – памфлеты Э. Бёрка, направленные против революционной Франции и политики палаты лордов.

...«апофегматы», которые так тонко отметил Пушкин у Карамзина – В статье 1830 г. об «Истории русского народа» Н. Полевого Пушкин писал: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике».

«Система логики» (1843, рус. пер. 1914) – основной труд английского философа-позитивиста Джона Стюарта Милля (1806–1873).

«О, Ромео мой...» – отрывок из второй сцены второго акта «Ромео и Джульетты» У. Шекспира в переводе А. Л. Соколовского.

«Социология» (1873) – книга английского философа Герберта Спенсера. Позднее Розанов писал о бесперспективности социализма «по Спенсеру и Марксу»: «Социализм – всемирная удушенность... А Маркс со Спенсером – Люциферы удушенности» (*Розанов В.В. Последние листья*. М., 2000. С. 219).

«Об уме и познании» (1870) – книга французского философа и историка Ипполита Адольфа Тэна (1828–1893). Розанов рецензировал переводы двух томов его «Путешествия по Италии» (1866) – в книге Розанова «Среди художников» и в иллюстрированном приложении к газете «Новое Время» 6 февраля 1916 г.

Как уст румяных без улыбки... – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. III, 28.

«Небесная механика» (1798–1825. Т. 1–5) – сочинение французского астронома Пьера Симона Лапласа (1749–1827).

...«мани, факел, фарес» (исчислено, взвешено, разделено) – согласно Библии (кн. Даниила, V, 25–28), эти слова проступили на стене чертога, где пировал вавилонский царь Валтасар и предвещали близкую гибель царя и раздел его царства.

...«идея волоса» – см.: Платон. Диалог «Парменид» (Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 350).

Отрок нежный, отрок милый... – А. С. Пушкин. Подражание арабскому (1835).

Любим Торцов – герой комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853), промотавшийся брат богатого купца.

Фигнер Николай Николаевич (1857–1918) – солист Мариинского театра в Петербурге (1887–1907), Ленский в опере Чайковского «Евгений Онегин».

«*Свои люди сочтемся*» (1850, постановка 1861) – пьеса А. Н. Островского.

Риголетто – герой оперы Джузеппе Верди «Риголетто» (1851) по драме В. Гюго «Король забавляется» (1832).

«*Неделя*» – еженедельная газета, выходила в Петербурге в 1866–1901 гг.

Стонет сизый голубочек... – одноименное стихотворение (1792) И. И. Дмитриева.

...*да ну их, говорит...* – В. С. Курочкин. «Как яблочко румян...» (1856), перевод стихотворения П. Беранже.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Заметки об истории (с. 241)

Розанов В. В. Природа и история. Сборник статей. СПб., 1900. С. 164–192. Впервые в статье «Теория исторического прогресса и упадка» (Русский Вестник. 1892. № 2. С. 9–31; № 3. С. 310–324).

...*Его беседы с Самарянкой и с Никодимом* – Ин. 4, 7–29; Ин. 3, 1–21.

Теодолина – героиня сборника польского агнографа Иакова Борагинского (ум. 1298) «Золотая легенда».

«*Великая хартия вольностей*» – государственный акт 1215 г., подписанный английским королем Иоанном Безземельным под давлением феодалов и ограничивающий королевскую власть.

«*Habeas corpus*» – закон о неприкосновенности личности, принятый английским парламентом в 1679 г.

«*Билль о правах*» – принят английским парламентом в 1689 г., определил основы английской конституционной монархии.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ 1904–1905 годов

1904 год

Печатание ситцев (с. 269)

Летописец. 1904. № 1/2. Янв. – февр. С. 5–7.

Царевич Алексей (с. 271)

НВ. 1904. 5 янв. № 9999.

«*Петр и Алексей*» – роман Д. С. Мережковского, печатался в «Новом Пути» в 1904 г. с № 1 по № 12 (с перерывом в № 6–8).

В училищном доме императора Александра II (с. 275)
НВ. 1904. 7 янв. № 10001.

Не напрасные ли волнения? (с. 277)
НВ. 1904. 16 янв. № 10010.

...подвиг педагога... Н. И. Ильминского. – Николай Иванович Ильминский (1822–1891), русский ориенталист, с 1872 г. посвятил себя распространению просвещения среди народов Поволжья. В 1900 г. в Казани вышли воспоминания А. Рождествина «Н. И. Ильминский и его система инородческого образования в Казанском крае».

Инородческие и вероисповедные вопросы (с. 280)
НВ. 1904. 19 янв. № 10013.

...с речью и приемами покойного Н. П. Гилярова-Платонова. – Розанов высоко ценил религиозного мыслителя Николая Петровича Гилярова-Платонова (1824–1887) и написал рецензию на первый том его сочинений (НВ. Прилож. 1899. 9 июня). Статью «Университетский вопрос в освещении Н. П. Гилярова-Платонова» (НВ. 1903. 9 сент.) Розанов посвятил сборнику его статей о высшем образовании в России.

Стефан Пермский просвещал зырян... – Церковный писатель и первый пермский епископ Стефан (1340–1396) создал особый алфавит для зырян (коми), перевел на зырянский язык богослужение.

Семьи отъезжающих на Дальний Восток (с. 284)
НВ. 1904. 10 февр. № 10034.

Нации технические и нации поэтические (с. 286)
НВ. 1904. 16 февр. № 10040.

В очерках Японии и японской жизни... – Польский этнограф и писатель Вацлав Серошевский (1858–1945) в 1902–1903 гг. участвовал в экспедиции Русского географического общества по изучению Дальнего Востока и печатал в 1904 г. в «Русских Ведомостях» очерки о Корее и Японии под названием «Ключ Дальнего Востока».

...в завещании его слова о жене. – В завещании У. Шекспира, подписанном 25 марта 1616 г., за месяц до смерти, главной наследницей назначена старшая дочь Сьюзен; жене же он оставил «вторую по качеству кровать».

Восстание тайпингов (1850–1864) – крестьянская война в Китае.

Гарун-аль-Рашид (763–809) – арабский халиф из династии Аббасидов, идеализирован в сказках «Тысяча и одна ночь».

...погубило русских на Калке, на Сити – поражение русских от татар в 1223 г. на реке Калке, впадающей в Азовское море, и в 1236 г. на реке Сить, впадающей в верховья Волги.

Поучительное в войне (с. 289)

НВ. 1904. 18 февр. № 10042.

Тьмы низких истин нам дороже... – А. С. Пушкин. Герой (1830).

Симоносекский мир – договор между Японией и Китаем 17 апреля 1895 г. в результате поражения Китая в японо-китайской войне 1894–1895 гг.

Чемульпо (Инчхон в Южной Корее) – место героической гибели 27 января 1904 г. русского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».

Семейное призрение раненых (с. 294)

НВ. 1904. 28 февр. № 10052.

Перед трудными минутами (с. 297)

Новый Путь. 1904. № 3. С. 193–196.

Записки из Мертвого дома (1862) – книга очерков Ф. М. Достоевского.

В мире отверженных. Записки бывшего каторжника (1896) – книга П. Ф. Якубовича, вышедшая под псевдонимом Л. Мельшин.

...в очерках *Сахалина г. Дорошевича...* – Журналист В. М. Дорошевич в 1897 г. отправился на Сахалин из Одессы на пароходе с партией каторжников, не получив разрешения властей. Его очерки о Сахалине публиковались в 1897–1898 гг. в «Одесском Листке», где печатался в то время и Розанов. Отдельное издание его книги «Сахалин» вышло в Москве в 1903 г.

Февральские потери (с. 300)

НВ. 1904. 3 марта. № 10056.

Герье Владимир Иванович (1837–1919) – историк, учитель Розанова в Московском университете, о котором он неоднократно писал. Его книга «Идея народовластия и Французская революция 1789 г.» вышла в 1904 г. в Москве.

Злое легкомыслие (с. 307)

НВ. 1904. 24 марта. № 10077.

...«нужно писать, как говоришь, и говорить, как пишешь» – Н. М. Карамзин. Что нужно автору? (альманах «Аглая». 1794. Ч. 1).

Стародум Николай Яковлевич (настоящая фамилия Стечкин, 1856–1906) – журналист, резко критиковал Розанова в журнале «Русский Вестник». В статье «Новые религиозно-философские ереси, излагаемые в журнале «Новый Путь» он называет книгу Розанова «В мире неясного и нерешенного» – «Из мира неясного и нерешенного» (Русский Вестник. 1904. № 4. С. 744).

Мир мусульманства – название рецензии Розанова на книгу историка В. П. Череванского «Мир ислама и его пробуждение» (СПб., 1901. Ч. 1–2), опубликованной в «Историческом Вестнике» (1901. № 3), см. в наст. Собр. соч. том «Во дворе язычников» (М., 1999).

Амвросий Медиоланский (ок. 340–397) – епископ Миланский. Значительная часть его сочинений переведена на русский язык, в том числе «Творения по вопросу о браке и девстве» (Казань, 1901) под редакцией профессора Казанской духовной академии Л. Писарева.

...«если не станете таковыми – не войдете в Царство Небесное» – Мф. 18, 3.

Кто мы такие? (с. 316)

Русская Правда. М.; 1904. 4 апр. № 1. Б.п.

Салическая правда – сборник законов франков, записанный по распоряжению короля Хлодвика в начале VI в.

19 февраля 1861 г. – освобождение крестьян от крепостной зависимости в России.

<О новом министре народного просвещения> (с. 319)

НВ. 1904. 13 апр. № 10097. Б.п.

После убийства в 1901 г. Н. П. Боголепова министром народного просвещения по 1902 г. стал П. С. Ванновский, в 1902–1904 гг. – Г. Э. Зенгер (1853–1919), а с 10 апреля 1904 г. по 31 октября 1905 – В. Г. Глазов (1848–1920).

Судьба русского ученого (с. 320)

НВ. 1904. 14 апр. № 10098. Заглавие Розанова: «Злая татарщина».

Шенрок Владимир Иванович (1853–1910) – русский литературовед, издавал и изучал Н. В. Гоголя. Написал биографический очерк русского философа Н. Я. Грота (1852–1899) в книге: *Грот Н. Я. Философия и ее общие задачи* (СПб., 1914).

Отчего плохо правописание в гимназиях? (с. 326)

НВ. 1904. 21 апр. № 10105. Б.п.

«Громвал» (опубл. 1804) – богатырская поэма Гавриила Петровича Каменева (1772–1803). В статье «Литературные олеографии» (НВ. 1913. 13 авг.; см. том «Признаки времени» в наст. Собр. соч.) Розанов рассказал, как в детстве переписал эту романтическую поэму.

К положению учебного дела (с. 330)

НВ. 1904. 1, 15, 23 мая, 1, 10 июня. № 10115, 10129, 10137, 10146, 10155. Продолжение снято с набора.

«Встаньте, господа, правительство возвращается» – общая идея статей М. Н. Каткова в «Московских Ведомостях» после убийства Александра II, в частности в № 118 за 1881 г., по поводу Высочайшего манифеста 29 апреля 1881 г., в 40-й день кончины императора.

Наль и Дамаянти – герои эпоса народов Индии «Махабхарата» (2 тыс. до н.э.).

«Одиссея» – эпическая поэма Гомера была переведена В. А. Жуковским в 1842–1849 гг.

Ляпунов Прокопий Петрович (ум. 1611) – русский политический деятель, организатор первого Земского ополчения для освобождения Москвы от поляков. Имеется в виду изображение его в «Истории государства Российского» (1816–1829) Н. М. Карамзина и в «Истории России с древнейших времен» (1857–1873) С. М. Соловьёва.

...отроческие упражнения С. Т. Аксакова. – Имеются в виду «Детские годы Багрова-внука» (1858) и «Воспоминания» (1856) С. Т. Аксакова.

Один из добрых наших наставников (с. 343)

НВ. 1904. 5 мая. № 10119.

Смайльс Сэмюел (1812–1904) – английский писатель, известный своими книгами по вопросам этики: «Самодетельность» (1859, переведена на 17 языков), «Характер» (1871).

Грот Джордж (1794–1871) – английский банкир, ставший известным своей «Историей Греции» (1846–1856) в 8 томах.

«Русская армия спасения на русский лад» – статья Розанова называется «Армия спасения» на русский лад» (НВ. 1903. 5 нояб.).

«О происхождении религии». – Имеется в виду «Философия религии» (СПб., 1903, пер. В. Базарова и И. Степанова) Гаральда Гефдинга (1843–1931).

Кречинский – герой комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1854).

«Долгий парламент» (1640–1653) – во время Английской революции вел борьбу с абсолютизмом.

«Дней Александровых прекрасное начало» – А. С. Пушкин. Послание цензору (1822).

Минные западни (с. 349)

Новый Путь. 1904. № 6. С. 232–235. Подпись: В. Р.

«Петропавловск» – флагманский корабль русской Тихоокеанской эскадры, во время Русско-японской войны, 31 мая 1904 г., подорвался на японских минах в двух милях от Порт-Артура. Среди погибших были адмирал С. О. Макаров и художник В. В. Верещагин.

...во время войны с Далмациею. – В 1420–1797 гг. большая часть Далмации находилась под властью Венеции, воевавшей с турками.

В чайниках «движения воды» (с. 351)

Новый Путь. 1904. № 6. С. 247–262.

...«движение воды» – Ин. 5, 3.

Сказанное... Соловьёвым по случаю смерти... (проф. В. В. Болотова). – Василий Васильевич Болотов (1853–1900) – церковный историк. Памяти его посвящена статья В. С. Соловьёва в «Вестнике Европы» (1900. № 7).

«*Похвала глупости*» (1509) – философская сатира Эразма Роттердамского (1469–1536).

«*Православно-Русское Слово*» – журнал, выходил в Петербурге в 1902–1905 гг.

«*Православный Путеводитель*» – журнал, выходил в Петербурге в 1903–1907 гг.

«*Сколько горьких слез украдкой*» – М. Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1840).

«*Одни я в мире подсмотрел...*» – Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны...» (1856).

«*Стара, мать Остана и Андрея...*» – Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (1835), I.

«*Душеполезное чтение*» – журнал, выходил в Петербурге в 1860–1917 гг.

Стародума... за статью об «Юдаизме». – Критике статей Розанова «Юдаизм» (Новый Путь. 1903. № 7–12) посвящены два «Журнальных обзора» Н. Я. Стародума (Стечкина) в октябрьском и ноябрьском номерах «Русского Вестника» за 1903 г.

Новое из прошлого гр. Л. Н. Толстого (с. 362)

НВ. 1904. 3 и 4 июня. № 10148 и 10149. Подпись: W. W.

<О «Новом Пути»> (с. 366)

НВ. 1904. 18 июня. № 10163. Б. п.

Литературные новинки <Е. Милицына> (с. 368)

НВ. 1904. 23 июня. № 10168.

Милицына Елизавета Митрофановна (урожд. Разуваева, 1869–1930) – прозаик.

«*О сущности христианства*» (1900) – книга немецкого теолога Адольфа фон Гарнака (1851–1930). Основное сочинение: «Учебник догматической истории» (1885–1889. Т. 1–3).

И жарка свеча поселянина... – А. В. Кольцов. Урожай (1835).

О расширении прав брака (с. 376)

НВ. 1904. 26 июня. № 10171. Б. п.

Новый важный закон (с. 377)

НВ. 1904. 29 июня. № 10174.

«*Одна овечка была – и ту отняли*» – 2 Цар. 12.

...до *Аренсбурга, где я проводил прошлое лето...* – Летом 1903 г. Розанов жил с семьей в курортном городе Аренсбург на острове Эзель (Эстония).

Герсон (Гершон) (ум. 1040) – раввин и духовный поэт, жил в Лотарингии; придал обычаю моногамии евреев санкцию закона.

Агарь – египтянка, рабыня Сарры, жены патриарха Авраама. Бездетная Сарра дала Агарь в наложницы Аврааму, чтобы усыновить потомство. Агарь родила Измаила. Позднее Сарра изгнала Агарь из дома Авраама (Быт. 16).

Литературные новинки <М. Лемке> (с. 383)

НВ. 1904. 7 июля. № 10182.

Лемке Михаил Константинович (1872–1923) – историк, публицист. На выход Полного собрания сочинений Н. А. Добролюбова под редакцией Лемке Розанов откликнулся рецензией (НВ. 1911. 26 нояб; см. в наст. Собр. соч. том «О писательстве и писателях»).

Брамбеус – писатель О. И. Сенковский (1800–1858), был редактором журнала «Библиотека для чтения», в котором печатался под псевдонимом Барон Брамбеус.

...*подчинен министр народного просвещения*. – С 1833 по 1849 г. министром был С. С. Уваров, а с 20 октября 1849 г. – П. А. Ширинский-Шихматов.

«*Великое переселение народов*» – этническое перемещение в Европе IV–VII вв., вторжение варварских племен, живших на периферии Римской империи.

«*Рижские письма*» – «Письма из Риги» философа Ю. Ф. Самарина (1819–1876), распространялись в 1849 г. в списках. За критику в них правительственной политики в Прибалтике Самарин был заключен в Петропавловскую крепость, но освобожден благодаря личному вмешательству Николая I.

Плененная Греция пленила (музами) Рим – Гораций. Послания. Кн. 2. 1, 156.

Все еще неулаженный вопрос (с. 391)

НВ. 1904. 8 июля. № 10183.

Устав женского медицинского института (с. 392)

НВ. 1904. 22 июля. № 10197. Б.п.

Суслова Надежда Прокофьевна (1843–1918) – первая русская женщина, получившая диплом доктора медицины (Цюрих, 1867). Младшая сестра первой жены Розанова А. П. Сусловой. В начале XX в. жила в Крыму близ Алушты.

Полезные указания (с. 394)

НВ. 1904. 22 июля. № 10197.

К истории нового закона (с. 396)

НВ. 1904. 23 июля. № 10198.

Бегство из духовного сословия (с. 399)

Новый Путь. 1904. № 8. С. 249–251.

Милость народу (с. 401)

НВ. 1904. 12 авг. № 10218. Б. п.

Кому и когда воспитывать? (с. 402)

НВ. 1904. 14 авг. № 10220.

Пороки школы и поведение учеников (с. 405)
НВ. 1904. 25 авг. № 10231.

Курсы обиходных знаний (с. 408)
НВ. 1904. 29 авг. № 10235. Подпись: Р.

Несчастья под конками (с. 409)
НВ. 1904. 6 сент. № 10243. Подпись: В. Р–новъ.

Дружные усилия (с. 410)
НВ. 1904. 13 сент. № 10250.

Училище для детей павших воинов (с. 413)
НВ. 1904. 20 сент. № 10257.

Речь министра народного просвещения (с. 414)
НВ. 1904. 23 сент. № 10260. Б. п.

Правила добродетели и условия добродетели (с. 415)
НВ. 1904. 30 сент. № 10267.

...спора Достоевского... с Градовским – см. «Дневник писателя» (1880. Август. Гл. 3) Ф. М. Достоевского. Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) – историк права, публицист, автор статьи в газете «Голос» (1880. 25 июня), на которую отвечал Достоевский.

«Вот все вокруг...» – Ф. М. Достоевский. Бесы. Ч. 1. Гл. 2. § 3.

«Шепот, робкое дыханье...» – одноименное стихотворение А. А. Фета (1850).

Мальва – героиня рассказа М. Горького «Мальва» (1897).

Кукшина Авдотья Никитишна – эмансипированная помещица, псевдонимистка в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (гл. 17).

Парализованный закон (с. 424)
НВ. 1904. 8 окт. № 10275.

Не судите, да не судимы будете – Мф. 7, 1.

А если законом – оправдание, то Христос напрасно умер – Гал. 2, 21.

Учитель и ученики, гений и простые смертные (с. 427)
НВ. 1904. 13 окт. № 10280.

...провоз гроба на Смоленском кладбище. – Первая дочь Розанова Надя (род. 6 ноября 1892– ум. 25 сентября 1893), похоронена на Смоленском кладбище Петербурга, вблизи могилы св. Ксении.

Улучшилось ли учебное дело? (с. 435)
НВ. 1904. 21 окт. № 10288. Подпись: В. Р–новъ.

Кто друг семьи? (с. 438)

Летописец. 1904. № 11. Ноябрь. С. 359–369.

Редактор журнала И. Ф. Романов (Рцы) снабдил статью Розанова своими примечаниями.

Обыкновенно ищут в сочинении книгу... – Б. Паскаль. Мысли. I, 29.

Русские идеалы (с. 444)

НВ. 1904. 11 нояб. № 10309.

Кусков Платон Александрович (1834–1909) – поэт, переводчик, критик. В некрологе Кускова (НВ. 1909. 22 авг.; см. в наст. Собр. соч. том «Старая и молодая Россия». М., 2004) Розанов дал характеристику Кускова как мыслителя.

Удрученный ношей крестной... – Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья...» (1855).

Русский бунт ужасен... (русский бунт, бессмысленный и беспощадный) – А. С. Пушкин. Капитанская дочка (1836). Гл. XIII.

Из прошлого нашей общественной мысли (с. 451)

НВ. 1904. 25 нояб. № 10323.

«Меблированная пыль» на сцене Малого театра.

Письмо из Петербурга (с. 459)

Весы. 1904. № 12. С. 57–58.

«Меблированная пыль» – пьеса Н. Никольского (псевдоним драматурга Н. Н. Франка).

Перед рассветом (с. 460)

Слово. 1904. 6 дек. № 6. Подпись: Орион.

Птичка Божия не знает – А. С. Пушкин. Цыганы (1824).

«Чем люди живы» (1881) – статья Л. Н. Толстого.

Бывало мерный звук твоих могучих слов... – М. Ю. Лермонтов. Поэт (1838).

Но меркнет день, настала ночь... – Ф. И. Тютчев. Ночь и день (1839).

Чтение о Григория Петрова в зале общественного собрания 5 декабря (с. 467)

Слово. 9 дек. № 9. Подпись: Зритель.

Одно из полезных полузабытых учреждений (с. 468)

НВ. 1904. 13 дек. № 10341.

1905 год

Где же «соборяне»? (с. 471)

Слово. 1905. 21 янв. № 43.

... «*Маленькое письмо*» А. С. Суворина в № 10368 «*Нов. Вр.*». – Статья из цикла А. С. Суворина «*Маленькое письмо*» опубликована в газете 16 января 1905 г.; переиздано в кн.: *Суворин А.* Русско-японская война и русская революция. М., 2005. С. 216–220.

...*во время Севастополя* – героическая оборона Севастополя как главной базы Черноморского флота Российской империи во время Крымской войны 1853–1855 гг.

...*турецкой и теперешней войны* – Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; Русско-японская война 1904–1905 гг.

О проекте частного Технологического института (с. 472)

НВ. 1905. 25 янв. № 10377. Б.п.

...*новые клиники Московского университета, воздвигнутые на Новодевичьем поле.* – Речь идет о городке клиник Московского университета, созданном в 1892 г. по проекту архитектора К. М. Быковского.

...*Медицинский женский институт в Петербурге* – был основан в 1897 г. как первое учебное заведение, дававшее женщинам высшее медицинское образование.

Катков организовал лицей, а Леонтьев руководил им. – Речь идет о созданном М. Н. Катковым Лицее памяти Цесаревича Николая Александровича (более известном как Катковский лицей), элитарном учебном учреждении с правами университета; руководство учебным процессом было возложено на П. М. Леонтьева. Лицей просуществовал с 1867 до 1917 г.

...*Н. И. Пирогова, который не «ужился» на должности попечителя киевского учебного округа.* – 18 июля 1858 г. Пирогов был назначен попечителем Киевского учебного округа, 13 марта 1861 г. он вынужден был подать в отставку за поддержку выступлений студентов Киевского университета.

К вопросу о старообрядцах (с. 474)

НВ. 1905. 27 янв. № 10379. Б.п.

...*первоприсутствующего члена Святейшего Синода.* – Святейший правительственный Синод – один из высших государственных органов России, организованный в 1721 г. взамен патриаршества. Обер-прокурором Св. Синода в 1880–1905 гг. был К. П. Победоносцев, которого сменил 20 октября 1905 г. князь А. Д. Оболенский.

...«*Запечатленный ангел*» – повесть Н. С. Лескова, опубликована в журнале «Русский Вестник» (1873. № 1).

...«*Церковные Ведомости*» – еженедельное издание при Святейшем правительственном Синоде, выходили с 1888 по 1917 г.; в период с 1901 по 1906 г. редактором был протоиерей П. А. Смирнов.

...помещаемую сегодня корреспонденцию с Урала. – Речь идет о статье «Старообрядцы на Урале (Корреспонденция «Нового Времени)», опубликованной без подписи.

... местный синодальный миссионер – о. Ксенофонт (Крюков).

Наука и литература в уставе о печати (с. 476)
НВ. 1905. 30 янв. № 10382. Б.п.

Императорская Публичная библиотека – основана в 1795 г., открыта как Публичная 14 октября 1810 г. по распоряжению Императора Александра I; в настоящее время Российская национальная библиотека.

...полное издание «Путешествия от Москвы до Петербурга» Радищева все еще ожидает своего часа. – Первое переиздание книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» было осуществлено в 1905 г.

...ожидают своего часа сочинения Герцена и Чернышевского. – Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем: В 22 т. /Под ред. М. К. Лемке. Пг., 1919–1925; Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб.: изд. М. Г. Чернышевского, 1905–1906.

Нельзя «объять необъятное» – интерпретация афоризма К. Прутков: «Никто не обнимет необъятного» (Плоды раздумий; 1854).

О массовых правоограничениях (По поводу старообрядцев) (с. 477)
НВ. 1905. 3 февр. № 10383.

...Соломонов суд над спорящими об одном ребенке двумя женщинами – 3 Цар. 3, 16–28.

...формулу Пандект. – Пандекты – сочинения древнеримских юристов по вопросам законов и других нормативных актов.

...барон в «На дне» Горького – герой из пьесы М. Горького, впервые поставленной на сцене Московского Художественного театра 18 декабря 1902 г.; первое издание пьесы, вышедшее в том же году в Мюнхене, озаглавлено «На дне жизни».

...прочел в «Корреспонденции с Урала», недавно у нас напечатанной. – Статья «Старообрядцы на Урале (Корреспонденция «Нового Времени)» опубликована в «Новом Времени» (1905. 27 янв.).

...«хочу с кашей ем, хочу с щами хлебаю», как угрожает купец у Островского своей жене – вариативное изменение цитаты «хоть со щами хлебай, хоть с кашей ешь» из «Недоконченных бесед» (1873–1885) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Убийство великого князя Сергея Александровича (с. 480)
НВ. 1905. 5 февр. № 10388. Б.п.

4 февраля 1905 г. в Кремле генерал-губернатор Москвы (1891–1904) великий князь Сергей Александрович был убит эсером И. А. Каляевым.

Чудов монастырь – кафедральный необшежительный мужской монастырь, основан в 1365 г. святителем Алексеем в Москве. Снесен в 1929 г.

Здание судебных установлений – построено в Кремле М. Ф. Казаковым в 1776–1786 гг.

О старoverии и старoverах (с. 482)

НВ. 1905. 10 февр. № 10393. Б.п.

...на *Московский собор из Греции*. – Речь идет о соборе 1666 г., на который прибыли александрийский патриарх Паисий и антиохийский патриарх Макарий.

...*васнецовская живопись в Киевском соборе* – см. статью Розанова «Киев и киевляне» в наст. Собр. соч.: Террор против русского национализма (М., 2005. С. 229–247).

Суздальские сидельцы (с. 484)

НВ. 1905. 15 и 23 февр. № 10398 и 10406.

Смертная казнь, может, была бы отменена. – Смертная казнь в России была отменена за все виды преступлений, кроме государственных; за период с 1866 по 1900 г. было казнено 94 политических преступника.

...у *Майкова в прелестном «Констанцском соборе»*. – Речь идет о стихотворении А. Н. Майкова «Приговор» (1859).

Соловецкий монастырь – Соловецкий Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь Архангельской епархии, основан в 1429 г. прпп. Германом и Савватием.

«Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством» – книга А. С. Пругавина, вышла в Москве в 1905 г.

«Дух Господень на Мне...» – Лк. 4, 18–19.

Троице-Сергиевская лавра – общежительная обитель, основанная Сергием Радонежским в сер. XIV в. в 71 км от Москвы; статус лавры Свято-Троице Сергиев монастырь получил в 1744 г.

«Тайная канцелярия» – орган политического сыска в России в 1731–1762 гг.; полное название – Тайная розыскных дел канцелярия.

«Приказ розыскных дел» – создан в 1684 г. и ведал следствием и судом по делу Ф. Л. Шакловитого и его сообщников, возглавлялся боярином Т. Н. Стрешневым; прекратил свою деятельность в 1694 г.

«Слово и дело» – точнее: «Слово и дело государево», условное выражение, применяемое в системе политического сыска в России конца XVI–XVIII вв.

Московское психологическое общество – учреждено в 1885 г. заведующим кафедрой философии Московского университета М. М. Троицким; первое заседание общества прошло 24 января 1885 г. в Психологическом институте. Общество издавало журнал «Вопросы Философии и Психологии».

...«*милосердый самарянин*» – Лк. 10, 33–35.

«Ода на вольность» – А. С. Пушкин. Вольность (1817).

...А. П. *Щапов за служение панихиды по Петрове*. – 16 апреля 1861 г. А. П. Щапов произнес речь на панихиде по жертвам бездненского выступле-

ния, организованной студентами Казанского университета и Казанской духовной академии. За свое выступление был арестован, отстранен от службы и определен чиновником по сектантским делам при Министерстве внутренних дел. Крестьянин Антон Петров, зачинщик выступления крестьян с. Бездны Спасского уезда Казанской губернии (6–12 апреля 1861), был предан военному суду и 19 апреля 1861 г. расстрелян.

...служили местом ссылки и заключения... – подробнее см.: *Зверинский В. В.* Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи: В 3 т. СПб., 1890–1897.

Один малозаметный закон (К вопросу о староверии)
(с. 495)

НВ. 1905. 17 февр. № 10400. Б.п.

Синайский кодекс (VI в.) – был найден в 1841 г. в монастыре Св. Екатерины на горе Синай; приобретен в 1869 г. для Публичной библиотеки.

...труд профессора Лейпцигского университета Иоганна Геринга: «Раскол и секты русской церкви» – вышел на немецком языке в 1898 г. в Лейпциге.

...на Невском, Морской и Конюшенных улицах католических, лютеранских и реформатских храмов. – На Невском проспекте построен костел Святой Екатерины в 1762–1783 гг. по проекту Ж.-Б. Вален-Дела-Мота и А. Ринальди (в глубине участка между домами № 32 и 34); на берегу р. Мойки была построена немецкая реформаторская церковь в 1865 г. по проекту Г. А. Боссе; на Малой Конюшенной улице (д. 1) построена шведская лютеранская церковь в 1767–1769 гг. по проекту Ю. М. Фельтмана;

...дожить до 3 мая 1883 года. – 3 мая 1883 г. Александром III был принят Закон о старообрядцах.

18 февраля (с. 498)

НВ. 1905. 19 февр. № 10402.

Рескрипт Государя Императора на имя министра внутренних дел. – Речь идет о рескрипте Императора на имя министра внутренних дел А. Г. Булыгина о создании законодательного совещательного представительного органа, изданном 18 февраля 1905 г.

Содержание и пространство заповеди:
«Не прелюбодействуй» (По поводу замечаний
П.В. Тихомирова) (с. 499)

Богословский Вестник. 1905. 10 февр. № 10393. С. 2–3.
Б.п.

...благодарен профессору П. В. Тихомирову за труд ответа на мои сомнения. – Речь идет о статье П. В. Тихомирова «К истолкованию Исх. 20, 14 (Против г. В. В. Розанова)», опубликованной в «Богословском Вестнике» (1904. Т. 3. Дек. Пар. 2. С. 759–780).

...слова проф. Заозерского, высказанные в «Богосл. Вестнике» в критике книги моей «В мире неясного и нерешенного». – Заозерский Н. А. Странный ревнитель святых семейного очага (Розанов В.В. В мире неясного и нерешенного...) // Богословский Вестник. 1901. Т. 3. Ноябрь. Паг. 2. С. 446–469.

«Плодитесь, множитесь, наполните землю» – ср. Быт. 1, 28.

...«не пожелай жены ближнего твоего» – ср. Исх. 20, 17.

И жизнь торопимся, и чувствовать спешим – измененная цитата из стихотворения П. А. Вяземского «Первый снег» (1822), взятая А. С. Пушкиным эпиграфом к 1-й главе романа «Евгений Онегин».

«В дому Отца нашего – обителей много» – ср. Ин. 14, 2.

...труды его в декабрьской и двух предшественных книжках «Богословского Вестника». – Речь идет о статье Н.А. Заозерского «О средствах усиления власти нашего высшего церковного управления», опубликованной в «Богословском Вестнике» (1903. Т. 1. Апрель. Паг. 2. С. 687–715; Т. 3. Сент. Паг. 2. С. 1–18; Т. 4. Ноябрь. Паг. 2. С. 371–393).

...профессорами Глаголевым и Муретовым. – Александр Александрович Глаголев (1872–1929) и Митрофан Дмитриевич Муретов (1850–1917) были членами Комиссии по научному изданию Библии.

...статью «Среди обманутого и обманувшихся». – Розанов опубликовал статью в журнале «Новый Путь» (1904. № 4, 5, 7, 8); см. в наст. Собр. соч.: Семейный вопрос в России (М., 2004. С. 718–792).

...плач Толстого, в «Крейцеровой сонате». – «Крейцера соната» написана Л. Н. Толстым в 1889 г., запрещена цензурой, но опубликована в 1891 г., после обращения С. А. Толстой к Александру III. Розанов посвятил повести Толстого статью «Семья как религия» (1898), включив ее потом в книгу «В мире неясного и нерешенного».

Г-н Л. И. в статье «О христианском браке», напечатанной лет пять назад в одной из книжек «Богословского Вестника». – Л. И. [Архимандрит Евдоким] О христианском браке (По поводу современных толков в печати о браке и безбрачии) // Богословский Вестник. 1900. Т. 1. Февр. С. 299–348.

Блаженный Августин – Бл. Августин. О граде Божием (412–426).

...Ерма в «Пастыре». – Книга Ерма «Пастырь» (около 96–101 гг.) читалась в церкви при богослужении наравне с каноническими книгами Нового Завета; в ее состав включаются 4 видения, 10 подобий и 12 заповедей.

...«Устав дух. консистории» – излагает основные законы деятельности консистории, предметы и пределы консисторской власти, основные положения об епархиальном суде, о личном составе консистории и о порядке ведения ею дел; первое издание Устава состоялось в 1841 г., 2-е, исправленное, – в 1883 г.

«Свод законов» – собрание действующих законодательных актов, расположенных в тематическом порядке и состоящих из 15 т., 1-е изд. вышло в 1832 г., 2-е – 1842 г., 3-е – 1857 г.

...грех как бы подобный Онанову – см. Быт. 38, 7–10.

...вспомним Руфь – Руфь. 1, 1–22; 2, 1–22; 3, 1–18; 4, 1–22.

...вспомним жезл Аарона, проросший в Скинии! – ср. Чис. 17, 8; Евр. 9, 4.

...вспомним Рахиль – Быт. 29, 9–31; 30, 1–8, 22–25; 31, 4–43; 33, 1–2; 35, 16–20.

...*Иаков находил от четырех своих (фактических) жен* – Быт. 30, 21–25; 30: 31, 3–5, 9–10.

...*Адам восхищается Евою* – ср. Быт. 3, 20; 4, 1.

...*рассказанный у г. Поселянина в «Русских подвижниках XIX века»* – см. статью Розанова «Е. Поселянин. Русская церковь и русские подвижники 18-го века» в наст. томе.

...*«никто не постиг тайны жизни»* – ср. Еф. 5, 32.

...*ни «птиц небесных, ни полевых лилий»* – ср. Мф. 6, 26–29.

...*с Гракхами в их борьбе за бедных пролетариев Рима.* – Братья Гракхи Тиберий и Гай пытались проведением демократических земельных реформ приостановить разорение крестьянства; погибли в борьбе с сенатской знатью за осуществление своих реформ.

Птомаины – термин, обозначающий трупный яд, устарел и вышел из употребления.

...*как Иоанн Креститель проповедал перед Израилем его грехи* – Мф. 3, 1–10.

...*из древнего «Требника».* – Имеется в виду Синайский Евхологий (XI в.), который хранится в библиотеке Синайского монастыря Св. Екатерины, содержит переводы специальных молитв и служб на разные случаи, а также перевод так называемых Заповедей святых отцов.

В «Судебной гинекологии» – Мержеевский В. О. Судебная гинекология: Руководство для врачей и юристов. СПб., 1878.

Колесница (т.е. видение Иезекииля) – Иез. 23, 24.

Мальстрем – водоворот между норвежскими островами Москонсэ и Вёрё, описанный в рассказе Э. По «Низвержение в Мальстрем» (1841).

...*случай между Аммоном, братом Авессалома, и Фамарью* – 2 Цар. 1-15.

...*один из знаменитейших наших поэтов второй половины XIX века.* – Речь идет о А. К. Толстом.

Жена Константина Великого знала строгость мужа, уже повелевшие казнить родного сына. – Сын Константина Великого Крисп убит по приказанию отца в 326 г. (по официальной версии – подозрение в заговоре).

«*Фаларисов бык*». – Речь идет о медном быке, сооруженном по заказу акрагантского правителя Фалариса (VI в.); он был полым внутри, с дверкой на спине, через которую палачи бросали приговоренного к смерти внутрь, затем разводили под брюхом огонь, и жертва погибала, зажаренная заживо, при этом ноздри быка были устроены таким образом, что вопли казнимого походили на бычье мычание.

В министерстве народного просвещения (с. 514)

НВ. 1905. 10 марта. № 10422. Б.п.

...*в желтом здании у Чернышева моста.* – В здании у Чернышева моста через Фонтанку находилось Министерство народного просвещения.

...*не то младенцев Ниневии.* – Ниневитяне – жители месопотамского города Ниневии. В Священном Писании этот город упоминается как место про-

поведи пророка Ионы, обличавшего грехи и беззакония ее жителей и возвестившего им скорую гибель и разрушение города. Ниневитяне принесли искреннее и чистое покаяние и за это были помилованы; см. Иона. 1, 1–15; 2, 1–11; 3, 1–10; 4, 1–11.

«Они – такие, что не различают еще правой руки от левой» – ср. Иона. 4, 11.

...«Суета сует» и «все – томление духа» – Эккл. 1, 2, 14.

...аресты книжек Добролюбова, Писарева или Некрасова. – Речь идет о запрещении в период с 1865 по 1901 г. к обращению в публичных библиотеках 205 книг согласно Временным правилам о цензуре и печати, принятым 6 апреля 1865 г. Среди запрещенных изданий были сочинения Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и др.

Старые имена (с. 516)

НВ. 1905. 11 марта. № 10423. Б.п.

...бывший министр народного просвещения статс-секретарь Сабуров. – А. А. Сабуров управлял Министерством народного просвещения с апреля 1880 по март 1881 г.; при нем подготавливались проекты смягчения правительственной политики по отношению к студентам.

...генерал-адъютанта Ванновского. – П. С. Ванновский управлял Министерством народного просвещения с марта 1901 по апрель 1902 г.; при нем были разрешены сходки студентов, выборность курсового старосты, устройство научных, литературных и иных кружков, подготавливалась университетская реформа; см. о нем статью Розанова «Февральские потери» в наст. томе.

Древнее «печалование» (с. 518)

НВ. 1905. 15 марта. № 10426. Б.п.

...письмо римского папы к нашему Государю. – Папой Римским в период с 1903 по 1914 г. был Пий X.

В статье «Из периодической печати» профессор Московской духовной академии г. Мыщицын. – Речь идет о статье, опубликованной в «Богословском Вестнике» (1905. № 1).

...по случаю созыва Гаагской конференции. – Гаагская конференция была созвана в 1907 г. и проходила с 2(15).06 по 5(18).10.1907 г.; в работе приняли участие представители 44 государств.

Куно Фишер. История новой философии (с. 520)

НВ. 1905. 16 марта. № 10427. Прилож. С. 11.

Даже Ницше и его «сверх-человек». – Речь идет о концепции «сверхчеловека», которая наиболее ярко проявилась в сочинениях Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883–1884) и «Воля к власти» (посмертно 1901).

К возрождению духовенства (с. 521)

НВ. 1905. 17 марта. № 10428.

Рассказ «Красный смех» – Л. Н. Андреев «Красный смех» (1904).

...любят читать «Ниву» – иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни, выходил в Петербурге с 1870 по 1917 г.; редактор с 1904 по 1910 г. В. Я. Светлов.

...приложения романов к «Свету». – «Свет» – газета политическая, экономическая и литературная, выходила в СПб. в 1882–1917 гг.; редактор-издатель В. В. Комаров. В качестве ежемесячного приложения к газете выпускался журнал «Свет», сборник романов и повестей (СПб., 1882–1917).

...«Требник» Петра Могилы – богослужебная книга, составленная киевским митрополитом Петром Могилою с целью очистить церковную обрядность от погрешностей и заблуждений, вкравшихся в службы малороссийских церквей с Запада, и изданная им в 1646 г.

...по правилу Лаодикийского собора. – Лаодикийский собор состоялся в 365 г. в Малой Азии, на нем были составлены правила касательно порядка Богослужения.

...поступить, как с Толстым за его еретичество. – Определение Св. Синода об «отпадении» Л. Н. Толстого от церкви от 20–22 февраля 1901 г. было опубликовано в «Церковных Ведомостях» (1901. 24 февр.), чему Розанов посвятил статью «Об отлучении гр. Л. Толстого от Церкви» (см. наст. Собр. соч.: Около церковных стен (М., 1995. С. 478–479).

...«хулою на Духа Святого», о чем предупреждал Спаситель с грозою всех людей – Мк. 3, 29.

«Богословский Вестник» – журнал, выходил в Сергиев-Посаде с 1892 по 1918 г.; издатель – Московская духовная академия, редактор с 1903 по 1906 г. – И. В. Попов.

«Церковный Вестник» – еженедельный журнал с ежемесячными книжками-приложениями, выходил в Петербурге с 1875 по 1917 г.; издатель – С.-Петербургская духовная академия, редактор с 1903 по 1906 г. – А. П. Рождественский.

«Вера и Разум» – богословско-философский журнал, выходил в Харькове с 1884 по 1917 г.; издатель – Харьковская духовная семинария, редакторы – И. П. Знаменский и К. Е. Истомин.

...Максим Грек <...> был посажен в тюрьму. – Прибывший в 1518 г. в Русское государство для перевода церковных книг Максим Грек на соборе 1525 г. был осужден и сослан в Иосифо-Волоколамский монастырь; на соборе 1531 г. был вторично осужден и сослан в Тверской Отрочь монастырь.

«О царстве Божием» – Светлов П. Я. Идея Царства Божия. Сергиев-Посад, 1905.

...католического celibата – обязательное безбрачие католического духовенства.

...книги Благовидова «История обер-прокуроров Св. Синода». – Рецензию на книгу Ф. В. Благовидова «Обер-прокуроры Св. Синода в XVIII и в первой половине XIX столетия» Розанов опубликовал в «Новом Времени» (1901. 28 янв.); см. наст. Собр. соч.: Около церковных стен (М., 1995. С. 146–148).

...«Духовного регламента» Петра Великого. – Речь идет о законодательном акте для Священного Синода «Духовный регламент» (1721).

...не читать, положим, Фаррара, Ренана. – Речь идет о книгах: Ф. В. Фаррар. «Соломон, его жизнь и время» (СПб., 1900); Ж. Э. Ренан, автор трудов «История происхождения христианства» (Т. 1–8. 1863–1883; рус. пер.: Т. 1–7. 1864–1907), «История израильского народа» (Т. 1–5. 1887–1893; рус. пер.: Т. 1–2. 1908–1912).

...Тюбингенцы. – Тюбенгенская школа – направление в немецкой протестантской теологии, развивавшееся в университете в г. Тюбинген в конце XVIII в. В 1830 г. возникла новая Тюбенгенская школа, основанная гегельянцем Ф. К. Бауром. Работы представителей школы Д. Ф. Штрауса («Жизнь Иисуса, критически переработанная» в 2-х т. (1835–1836) и «Старая и новая вера» (1872) и Б. Бауэра оказали влияние на Ж. Ренана.

...от духовных «Гуаков» и «Франциль Венецианов». – Речь идет о героях средневековых книг: Гуак, или Непреоборимая верность: Рыцарская повесть: В 2 ч. (М., 1871);

...судьбу богословских трудов Хомякова, печатавшихся долгое время только в Праге. – Хомяков А. С. Соч.: В 4 т. /Под ред. и с предисл. Ю. Самарина (Прага, 1861–1873); из которых второй том богословских сочинений был разрешен к обращению в Российской империи постановлением Св. Синода в 1879 г.

«Россия и Вселенская Церковь» – книга Соловьёва вышла в Париже в 1889 г.; в русском переводе – в Москве в 1911 г.

«Религиозно-философские собрания» – см. Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). М., 2005.

Чиновники в духовном ведомстве (с. 530)

НВ. 1905. 19 марта. № 10430. Б.п.

«Русская церковь с Петра Великого в параличе лежит» – см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 27. С. 49.

Была эпоха Протасова; вон – эпоха Голицына; наступила эпоха Толстого. – Генерал от кавалерии Н. А. Протасов с февраля 1836 по 1855 г. исполнял обязанности обер-прокурора Св. Синода, получил известность своими преобразованиями духовных училищ и высшего духовного управления. В период с 1803 по 1817 г. князь А. Н. Голицын исполнял обязанности обер-прокурора; проводил политику преследования религиозного скептицизма и вольномыслия, внедрял подчинение науки религии, а также усилил требования цензуры. В период с 1866 по 1880 г., когда министром народного просвещения был Д. А. Толстой, была проведена гимназическая реформа (1871), обеспечившая преобладание классического образования в процессе обучения (т.е. обязательное изучение греческого и латинского языков).

«Русский Труд» – ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1897–1899 г.; редактор – С. Ф. Ша-рапов.

Тревожный «слух» (с. 533)
НВ. 1905. 20 марта. № 10431.

...прошло без всяких отражений известие от 17 марта. – Речь идет о подготовительных работах, предшествовавших Манифесту от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении основ веротерпимости», который сохранял привилегии Православной церкви в области миссионерства, и одновременно облегчал старообрядцам и иным сектантам отправвление их культа.

...приглашение приехать на замышляемый последним собор. – Приглашение на Ватиканский собор 1869–1870 гг. было отклонено константинопольским патриархом Григорием VI (1867–1871); по этому поводу Св. Синод направил патриарху благодарственное приветствие.

...митрополит и епископы русские, вернувшись с Флорентинского собора, принесли в Россию «соединение церквей». – Ферраро-Флорентийский собор – Вселенский собор католической церкви, созываемый папой Евгением IV в 1438 г. в Ферраре, в 1439 г. во Флоренции и в 1443 г. в Риме. Главной целью собора было преодоление догматических разногласий между Западной и Восточной церквями и заключение унии между ними. Флорентийская уния была заключена в июле 1439 г., от Восточной церкви унию подписал митрополит Исидор, который насильственно принудил подписаться бывшего с ним епископа Суздальского Авраамия. По возвращении в Россию Исидору угрожали казнь, от которой он спасся бегством; уния же не вошла в силу ни в Византии, ни в Русском государстве.

«И Сына» – догмат римско-католической церкви, признающей исхождение Святого Духа не только от Бога Отца, но и Сына.

...Так думный дьяк, в приказах поседель... – слова Григория из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре».

Управление и самоуправление в духовном мире (с. 535)
НВ. 1905. 21 марта. № 10432. Б.п.

...положением ап. Павла, «прикованного к руке римского центуриона» – ср. Деян. 22, 33.

Строй церкви, строй ее управления до «разделения церкви» был общим, одинаковым на Востоке и Западе. – В 1054 г. произошел раскол на западную (римско-католическую) и восточную (греко-православную) церкви. Дальнейшая деятельность римско-католической церкви сформировала ряд особенностей этого христианского направления, которые ярче всего проявляются в догматике и культе церковной организации (см.: Лебедев А. П. История разделения церквей в IX, X и XI веках. 2-е изд. СПб., 1905.).

<О духовных делах> (с. 537)
НВ. 1905. 22 марта. № 10433. Б.п.

Проф. Заозерский в последних своих работах по истории брачного нашего законодательства. – Заозерский Н. А. Юридическое и каноническое значение религиозного элемента в раскольничьих браках // Богословский Вестник. 1896. Т. 1. С. 125–137; Т. 2. С. 336–349.

...в «Богословском Вестнике» за октябрь и ноябрь 1904 г. проф. Н. А. Заозерским. – Речь идет о статье Н. А. Заозерского «К тревожному вопросу о браке и девстве», опубликованной в журнале «Душеполезное Чтение» (1904. Ч. 1. Февр.. С. 361–368; Ч. 2. Март С. 522–533).

К преобразованию духовного ведомства (с. 539)

НВ. 1905. 25 марта. № 10436. Б.п.

К характеристике духовной цензуры (с. 541)

НВ. 1905. 26 марта. № 10437.

...перевод Нового Завета Жуковского. – В 1845–1850 гг. В. А. Жуковский перевел со «славянского текста» весь Новый Завет.

Разница имен или разница вещей (с. 543)

НВ. 1905. 27 марта. № 10438. Б.п.

По поводу статьи проф. Н. К. Никольского (с. 545)

НВ. 1905. 28 марта. № 10439.

Тридцать два священника, как нам известно, подали заявление вполне самостоятельно. – Речь идет о созданном в начале 1905 г. группой либерально настроенного духовенства (А. Д. Введенный, Г. С. Петров, П. В. Раевский и др.) кружке «тридцати двух священников», сторонников церковного обновления.

Протопресвитер И. Л. Янышев. – Речь идет о книге протопресвитера И. Л. Янышева «Новые официальные и другие данные для суждения о вере старокаатоликов» (СПб., 1902).

...Иоанн, епископ смоленский, написал целую книгу «О монашестве епископов». – Еп. Иоанн (Соколов). О монашестве епископов: В 2 ч. [М.], 1863.

Поменьше археологии! (с. 547)

НВ. 1905. 29 марта. № 10440. Б.п.

«*Всешутейший собор*» – созданный в 1690 г. Петром I Всешутейший, сумасброднейший и всепьянейший собор, главой которого стал Никита Зотов – всешутейший отец Иоанникит, Пресбургский, Кокуйский и Всеузуский патриарх.

Сие несчастье случилось с московским патриархом. – Речь идет о шестом патриархе Никоне.

...константинопольский патриарх, придравшись к «новшествах» в способе печения просфор в итальянских городах. – Опресноки - хлеб из пресного неквашеного теста; употребление католиками опресноков при причащении послужило одним из поводов к спору между патриархом и папой около 867 г.

«*По этому одному узнают, что вы Мои ученики*» – Ин. 13, 35.

Центр вопроса в реформах церковного управления
(с. 549)
НВ. 1905. 30 марта. № 10441.

Высочайшее повеление Св. Синоду (с. 550)
НВ. 1905. 3 апр. № 10445. Б.п.

Высочайшая резолюция, <...> положенная 31 марта и ныне опубликованная. – Церковный Вестник. 1905. № 45. С. 1885–1897.

...ждет вестей о нашей эскадре. – Речь идет о второй Тихоокеанской эскадре под командованием вице-адмирал З. П. Рожественского, которая совершила переход из Балтийского моря на Дальний Восток.

Письмо в редакцию <О статье В. Я. Колачёва> (с. 552)
НВ. 1905. 6 апр. № 10448. Б.п.

«Келейное» и национальное решение дел (с. 553)
НВ. 1905. 7 апр. № 10449. Б.п.

IV Вселенский собор – проходил в Халкидоне в октябре 451 г.; выработал 30 правил, которыми определен круг судебной и административной деятельности константинопольского патриарха и др.

VII Вселенский собор. – Речь идет о Пято-Шестом, или Трулльском соборе, проходившем в Константинополе в 691–692 гг. Свое название получил от названия места, где проводились заседания: большая «купольная» зала трулла (ковш) внутри царского дворца. Собор выработал 102 правила; утвердил равноправие константинопольской и римской патриарших кафедр, а также иерархический порядок патриарших кафедр восточной церкви.

Кормчая – сборник церковных правил и государственных постановлений о церкви, действовавших на Руси с XIII в. .

...на всякого мудреца довольно простоты – название пьесы А. Н. Островского (1868).

О литературной этике (с. 555)
НВ. 1905. 8 апр. № 10450. Подпись: Х.

На страницах «Моск. Вед.» и «Русских Ведомостей» разыгралась полемика. – Речь идет об обмене статьями в газетах: «Письмо преосвященного Исидора, епископа Балахнинского», опубликованное в «Русских Ведомостях» (1905. № 92. 3 апр.), и ответ на него Л. Тихомирова: «По поводу письма епископа Исидора», опубликованный в «Московских ведомостях» (1905. № 95. 6 апр.).

Призрение детей в монастырях (с. 556)
НВ. 1905. 10 апр. № 10452.

Государство и церковь во взаимной автономии (с. 557)
НВ. 1905. 11 апр. № 10453.

«Всякий человек властям предержажим да повинуется» – ср. Рим. 13, 1–5.

«несть власть аще не от Бога» – ср. Рим. 13, 1.

Государство наше много брало у церкви, напр. при Екатерине Великой церковные имущества. – Речь идет о проведенной секуляризации церковных земель в 1764 г., переданных в Коллегию экономии.

Каждому свое – Цицерон. Об обязанностях (1, 5, 14).

Белое христианство (с. 559)
НВ. 1905. 17 апр. № 10459.

Сегодня все в белых платьях. – Пасха в 1905 г. праздновалась 16 апреля.

«христианин должен всегда радоваться» – ср. 1 Пет. 1, 7–8.

Страстная пятница – или Великая пятница посвящена воспоминанию крестных страданий Спасителя, Его смерти и погребения.

«О, остановись! Не уходи!» – реминисценция из второй части трагедии Гёте «Фауст» (1808–1832): «Остановись мгновение! Ты прекрасно!» (заключительные слова Фауста).

Великий пост – является самым древним из многодневных постов: он напоминает о сорокадневном посте Спасителя в пустыне.

...суть дроби «умершего Бога» или «воскресшего Бога» – ср. Кол. 2, 12–13.

Все знают слезу, вытекущую из глаза самого святого нашего образа, Богоматери – см. канон Логофета «Стояние у Креста и плач Богородицы» (в книге: Жизнь Пресвятой Девы Богородицы по книгам Четьи-Минеи. /Сост. А. Глинка. М., 1904).

...она верно улыбнулась, отыскав 12-летнего Сына Своего, вернувшегося, никому не сказав, в Иерусалим – см. Лк. 2, 40–52.

...если бы в 988 году – в год крещения Руси князем Владимиром.

Фомина неделя – вторая неделя по Пасхе в честь апостола Фомы.

Снятие «вероисповедных недоимок» (с. 562)
НВ. 1905. 20 апр. № 10462. Б.п.

«Храм Спасителя» – храм Христа Спасителя, был построен в Москве по проекту архитектора К. А. Тона в 1837–1883 гг., в память и честь победы русского народа в войне 1812 г.; разрушен в 1931 г., восстановлен в 2000 г.

...во всем каноническом Евангелии нет рассказа о введении Пресвятой Богородицы во храм – см. об этом Четьи-Минеи. 21 ноября.

...ни Нагорная проповедь – см. Мф. 5, 1–48, 6, 1–34, 7, 1–29; Лк. 6, 17–49.

...ни притча о мытаре и фарисее – см. Лк. 18, 10–14.

...о сеятеле и зернах – см. Мф. 13, 3–23.

«Параскева-Пятница» – великомученица Параскева, именуемая Пятница; дочь богатых родителей по обвинению в христианстве во время гонения

Диоклетиана была приведена на суд к правителю области, который предложил ей за отречение от Христа взять ее в супруги. Она отказалась, после чего ей была отсечена голова.

Предполагаемые «перемещения» в духовном ведомстве (с. 564)

НВ. 1905. 25 апр. № 10467.

«поражу пастыря, и рассеются овцы» – Мф. 26, 31.

Оконченная «трилогия» г. Мережковского (с. 566)

НВ. 1905. 28 апр. № 10470.

Первая часть этой трилогии называлась «Смерть богов. Юлиан Отступник». – Мережковский Д. С. Смерть богов. (Юлиан-Отступник). СПб., 1896. В журнальной публикации роман назывался «Отверженный» (Северный Вестник. 1895. № 1–6).

«Воскресшие боги. Леонардо да-Винчи» – вторая часть романа Мережковского «Воскресшие бог (Леонардо да Винчи)» впервые была опубликована в журнале «Мир Божий» (1900. № 1–12); отд. изд. книга вышла в 1901 г. (СПб.).

... третья, печатавшаяся два последние года в «Новом Пути» и в «Вопросах Жизни». – Третья часть романа Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей» впервые была опубликована в журналах: «Новый Путь» (1904. № 1–5, 9–12), «Вопросы Жизни» (1905. № 1–3); отдельным изданием под названием «Антихрист» книга вышла в 1905 г. (СПб.).

... в трех синоптических Евангелиях. – Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка и Евангелие от Иоанна.

«В тумане утреннем неверными шагами» – одноименное стихотворение Вл. С. Соловьёва (1884).

... Влад. Соловьёв (кроме «Трех разговоров», содержащих и «Повесть об Антихристе»). – Соловьёв В. С. Три разговора: О войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе и с прил. СПб., 1904. 4-е изд.

... «убежавшей в пустыню... блудницы» – ср. Откр. 12, 6.

«Жена, облеченная в Солнце ...» – ср. Откр. 12, 1–2.

В главном храме католичества, Св. Петра в Риме. – Собор Св. Петра в Риме, один из самых больших христианских храмов, строился на протяжении столетий (освящение собора состоялось 18 ноября 1626 г.) с участием Д. Браманте, Рафаэля, Микеланджело и др.

Разбойник покаялся – Лк. 23, 40–43.

Иеромонах Михаил, на памятной лекции в Соляном городке – см. статью Розанова «По поводу доклада о. Михаила о браке» (наст. Собр. соч.: В темных религиозных лучах. (М., 1994).

«Пусть все рождают» – ср. Быт. 1, 28.

... вот «жена кричала в муках рождения; вокруг нее – солнце, около головы ее – диадема из 12 звезд» – ср. Откр. 12, 1–2.

«суею и томлением духа» – ср. Эккл. 1, 14.

...«*Древа жизни, приносящего плоды двенадцать раз в год*» – ср. Откр. 22, 2.
...*вообще нет «шума городского»*. – Ф. Н. Глинка. Песнь узника (1826).
Первая строфа стихотворения повергалась в русской поэзии многочисленными вариациям, вплоть до поэмы А.А. Блока «Двенадцать».
...«*святые перед Престолом Небесным*» – Откр. 14, 3.
...«*песнь раба Божия, Моисея*» – ср. Исх. 14, 31; Втор. 32, 44.
«*Лазарь в ранах*» – ср. Лк. 16, 20–21.
Сарра «смеялась» в присутствии Божиим – ср. Быт. 18, 12–15.
...*как у Жюль Верна люди, которыми (в ядре) выстрелили в луну*. – Ж. Верн. С земли на луну (1865).

Н. Л. Кладо (Прибой). Современная морская война. – Морские заметки о русско-японской войне (с. 575)
НВ. 1905. 4 мая. № 10476. Прилож. С. 11. Подпись: Р-ов.

Уже пятнадцать месяцев длится кровопролитная война на Дальнем Востоке. – В ночь на 27 января 1904 г. без объявления войны японский флот атаковал русскую эскадру в Порт-Артуре.

...*осенняя агония и гибель порт-артурской эскадры*. – 13(26) ноября 1904 г. японцы предприняли четвертый штурм крепости Порт-Артура, в ходе боев которого погиб генерал Р. И. Кондратенко. После его смерти крепость была сдана комендантом генерал-лейтенантом А. М. Стесселем, вопреки мнению военного совета. Капитуляция крепости Порт-Артура была подписана 20 декабря 1904 г.

...*статей из Морского Устава*. – Морской Устав определяет организационные принципы русского регулярного флота; разработан на опыте Северной войны 1700–1721 гг. при непосредственном участии Петра I и именовался «Книга Устав морской о всем, что касается доброму управлению в бытности флота на море».

Первые плоды веротерпимости (с. 576)
НВ. 1905. 5 мая. № 10477. Б.п.

...*около 18 000 федосеевцев*. – Речь идет о старообрядческом согласии в беспоповшине, основанном на рубеже XVII–XVIII вв. дьяком Феодосием Васильевым и проповедовавшем непримиримое отношение к государству и официальной православной церкви, строгий аскетизм и безбрачие. В 1899 г. Розанов написал о них статью «Федосеевцы в Риге» (Новое Время. 1899. 7 августа); см. наст. Собр. соч.: Около церковных стен (М., 1995).

...*еще в эпоху стрелецких бунтов*. – Речь идет о стрелецких восстаниях 1682 г. (15 мая–17 сентября), 1687 и 1689 гг. (октябрь).

Эльпе. Душа животных и растений (с. 578)
НВ. 1905. 11 мая. № 10483. Прилож. С. 11. Подпись: Р-ов.

Лукавая фразеология (с. 579)
НВ. 1905. 12 мая. № 10484. Б.п.

Образцовая средняя школа (с. 580)
НВ. 1905. 12 и 25 мая. № 10484 и 10497.

...воспитательное учреждение 2-жи Левицкой в Царском Селе. – В гимназии Е. С. Левицкой учились дочери Розанова Татьяна и Варвара.

Клермонский собор (1095) – созван папой Урбаном II во французском городе Клермон, где 26 ноября был провозглашен Крестовый поход против мусульман, суливший его участникам отпущение грехов, освобождение от долгов.

«В доме Отца Небесного обителей много...» – ср. Ин. 14, 2.

На «Исторической выставке портретов» – см. статью Розанова «Русские исторические портреты на выставке в Таврическом дворце» в наст. Собр. соч.: Когда начальство ушло... (М., 1997. С. 44–45).

Между 1870 и 1893-м, когда я исключительно проводил все время на «уроках», сперва как ученик и затем как учитель. – Гимназические годы от первого до четвертого класса Розанов учился в Костроме и Симбирске; от четвертого до восьмого класса – в Нижегородской гимназии (1874–1878); далее был учителем в трех гимназиях: в Брянске (1882–1887), Ельце (1887–1891) и Белом (1891–1893).

...в бытность министром Толстого. – Министром народного просвещения граф Д. А. Толстой был в период с 1866 по 1880 г.

Один юридический вопрос (с. 595)
НВ. 1905. 13 мая. № 10485.

...на «Всероссийском съезде делегатов равноправности женщин» – Образованный в апреле 1905 г. Всероссийский союз равноправия женщин провел в начале мая 1905 г. Первый всероссийский съезд, на котором присутствовало 70 делегатов.

...на господине министре юстиции – В 1905 г. обязанности министра юстиции исполнял действительный тайный советник С. С. Манухин.

Поспешная полемика (с. 598)
НВ. 1905. 17 мая. № 10489.

Расплюев – герой «Свадьбы Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина.

Е. Поселянин. Русская церковь и русские подвижники XVIII века (с. 600)
НВ. Прилож. 1905. 18 мая. № 10490. С. 11.

На почве старой унии (с. 602)
НВ. 1905. 1 июня. № 10504. Б.п.; 154 строки, остальные – А. С. Суворина.

Варфоломеевская ночь – массовая резня гугенотов католиками в Париже в ночь на 24 августа 1572 г. (день св. Варфоломея).

«Самосуд» и темнота народная (с. 604)
НВ. 1905. 2 июня. № 10505. С. 3.

**И. И. Чарномская. К вопросу о помощи
увечным воинам** (с. 606)
НВ. 1905. 20 июля. № 10553. Прилож. С. 10–11.

К толкам об амнистии (с. 607)
НВ. 1905. 21 авг. № 10585. Б.п.

Государственная Дума – законосовещательное представительное учреждение Российской империи в период с 1906 по 1917 г.; учреждена манифестом 17 октября 1905 г. Первый созыв Государственной думы провел свою работу с 27 апреля по 8 июля 1906 г. (см.: наст. Собр. соч.: Русская государственность и общество. (М., 2003).

«Программа рабочих» Лассалья – Ф. Лассаль. Программа работников. Женева. 1902.

**Старообрядчество, предание мертвое
и предание живое** (с. 609)
НВ. 1905. 23 авг. № 10587.

«Не можем!» – ср. Деян. 4, 20.

...единоверия, осуществившегося при митрополите Платоне. – Митрополит Платон (Левшин; 1737–1812) в 1775 г. был переведен на архиепископскую кафедру в Москву, где занялся управлением епархии, среди многих проблем главной считал упразднение класса так называемых «крестцовых попов».

«Растите все, возрастайте, трудитесь, совершеняйтесь» – ср. 2 Кор. 13, 11.

Стоглавый собор – церковный собор, созванный в Москве в январе–феврале 1551 г. по инициативе царя Ивана IV и митрополита Макария по вопросам правовых норм жизни русского духовенства и его взаимоотношений со светской властью. На соборе были зачитаны царские вопросы, ответы на них составили сто глав решений собора (отсюда и его название).

«Для гостей чертога брачного отменяется пост», – сказал Он – ср. Мф. 9, 15.

...в неделю Ваий – шестая неделя Святой Четыредесятницы (т.е. Великого Поста), по названию ветвей, с которыми Церковь вспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим.

«Епископ должен быть единые жены муж» – 1 Тим. 3, 2.

...после Никейского собора собирався Халкедонский, после Халкедонского Трулльский. – I Вселенский собор в Никее состоялся в 325 г.; IV Вселенский собор в Халкидоне – в 451 г.; Пято-Шестой Вселенский собор (Трулльский) – в Константинополе в 691 г.

...к Аввакуму, «житие» которого издано покойным Н. С. Тихонравовым. – Литературовед Н. С. Тихонравов (1832–1893), учитель Розанова в Московском университете, опубликовал «Житие протопопа Аввакума» в «Летописи Русской Литературы и Древностей» (М., 1861. Т. 3. Отд. 2. С. 117–173).

Университетская реформа (с. 615)

НВ. 1905. 27 авг. № 10591.

**Русское сектантство как три колорита
русской церковности** (с. 617)

НВ. 1905. 30 авг. № 10594.

«Жизнь и труды Погодина» г. Барсукова – незаконченное исследование Н. П. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» (1888–1910).

...очерк жизни покойного о. Федора Бухарева. – Погодин М. П. Воспоминания об Александре Матвеевиче Бухарева (Архимандрит Феодор) //Московские Ведомости. 1874. 7 апр. № 84.

«С мытарями ем и пью» – ср. Мф. 11, 19; Лк. 7, 34.

...на улице в Киеве по поводу приезда «любимого батюшки». – Речь идет об Иоанне Кронштадтском.

Университетская реформа (с. 623)

НВ. 1905. 4 сент. № 10599.

К университетской реформе (с. 625)

НВ. 1905. 7 сент. № 10602.

1200 отказов в женском медицинском институте
(с. 628)

НВ. 1905. 8 сент. № 10603.

К вопросу о приходе (с. 630)

НВ. 1905. 15 сент. № 10610.

Влас – герой стихотворения Н.А. Некрасова «Влас» (1854).

Тревоги и надежды университета (с. 632)

НВ. 1905. 18 сент. № 10613.

Законные пожелания «единоверцев» (с. 634)

НВ. 1905. 22 сент. № 10617. Б.п.

Т. Н. Грановский. (К 50-летию его кончины) (с. 637)

НВ. 1905. 7 окт. № 10630. С. 3–4.

А он, мятежный, ищет бури... – М. Ю. Лермонов. Парус (1832).

...Карамзиным с его «Бедною Лизою» и «Письмами русского путешественника». – Н. М. Карамзин. Бедная Лиза (1791), Письма русского путешественника (1794–1795).

...на литературном рынке появлялись то «Войнаровский», то «Нос», то «Пиковая дама». – К. Ф. Рылеев. Войнаровский (1823–1824), Н. В. Гоголь. Нос (1835), А. С. Пушкин. Пиковая дама (1833).

Его монография об аббате Сугерие. – Осенью 1849 г. Т. Н. Грановский защитил докторскую диссертацию по теме «Аббат Сугерий», посвященную настоятелю (с 1122 г.) аббатства Сен-Дени; монография отдельным изданием вышла в этом же году (СПб.).

«Русская Беседа» – ежемесячный журнал, орган славянофилов, выходил в Москве с 1856 по 1869 г.; редактор-издатель – А. И. Кошелев.

«Полярная Звезда» – альманах, издавался А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в 1855–1866 гг. сначала в Лондоне, затем в Женеве.

Ее преемственно занимали Кудрявцев, Ешевский, в настоящее время В. И. Герье. – Кафедра всеобщей истории в Московском университете была создана в 1839 г., и первым ее руководителем был Т. Н. Грановский; после смерти Грановского Московский университет выбрал С. В. Ешевского в его преемники, но министерство не отпустило его из Казани. В 1850 г. в университете был создан историко-филологический факультет, где лекции читали: П. Н. Кудрявцев – по истории Древнего Востока, Греции и Рима, С. В. Ешевский – по всеобщей истории; В. И. Герье – по истории Средних веков.

...кроме «руководств» г. Иловайского. – Учебники И. Д. Иловайского по русской и всеобщей истории, следовавшие официальным гимназическим программам, были широко распространены; Розанов не раз выступал с их критикой.

...историю-диссертацию... проф. Лучицкого. – Лучицкий И. В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции. Диссертация на степень магистра всеобщей истории. Киев, 1871.

Самозащищающиеся корпорации (с. 647)

НВ. 1905. 8 окт. № 10631. Б.п.

София Благодушная. Как он пошел в народ (с. 649)

НВ. 1905. 8 окт. № 10631. Прилож. С. 11.

Частные училища в Литве и Польше (с. 650)

НВ. 1905. 11 окт. № 10634. Б.п.

К возобновлению занятий в средних учебных заведениях (с. 652)

НВ. 1905. 25 окт. № 10641. Б.п.

Призыв церкви к умиротворению (с. 653)

НВ. 1905. 25 окт. № 10641. Б.п.

...сказавшего: «Возлюбите ненавидящих вас, благословляйте клянущих вас» – ср. Мф. 5, 44.

...при тихой забастовке. – Всероссийская политическая стачка проходила в октябре 1905 г.

Перемена в обер-прокуратуре Св. Синода (с. 655)
НВ. 1905. 27 окт. № 10643. Б.п.

Отставка обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева – была принята после издания манифеста 17 октября 1905 г.

...его товарища кн. *Ширинского-Шихматова*. – Князь А. А. Ширинский-Шихматов занимал должность товарища обер-прокурора Св. Синода с мая по октябрь 1905 г.

«Московский Сборник» – составленный К. П. Победоносцевым в 1896 г. сборник переводов произведений Р. Спенсера, Т. Карлейля, М. Нордау и др. (5-е изд. 1901).

Назначение обер-прокурором Св. Синода кн. Оболенского. – Князь А. Д. Оболенский занимал с октября 1905 по апрель 1906 г. в правительстве гр. Ю. С. Витте пост обер-прокурора; именно при нем разрабатывался вопрос о созыве церковного собора и учреждено было предсоборное присутствие.

...в церковном журнале *«Вера и Разум»* в длинном ряде статей, появившихся после его смерти. – Речь идет о статьях А. А. Никольского «Русский Ориген XIX в. Владимир Соловьёв. (Его философия и общественно-исторические произведения, их критика и опыт выяснения общего характера и значения его философии)» (1902. № 10–19, 23–24); И. А. [псевд. не раскрыт] «В.С. Соловьёв как защитник папства по книге: «Россия и Вселенская церковь»» (1904. № 12, 13) и др.

...его православная кончина. – Католические симпатии Соловьёва завершились переходом в Римскую церковь 18 февраля 1896 г., хотя он сам не считал свой поступок переходом из одной церкви в другую. Факт перехода был оглашен «греко-восточным» священником Н. А. Толстым в 1927 г.

...книгу *«Оправдание добра»*. – *Соловьёв В. С.* Оправдание добра: Нравственная философия. СПб., 1897.

**Депутация Московской духовной академии
в Петербурге (с. 656)**

НВ. 1905. 2 нояб. № 10649. Б.п.

...это ее альфа и омега – ср. Откр. 1, 8.

Похороним Голубинского. – Похороны протоиерея Федора Голубинского состоялись в 1854 г.

Парижский университет – один из крупнейших учебных и научных центров Франции, основан в 1215 г., свое название получил от имени основателя университета – Р. де Сорбона.

Объединение народных училищ (с. 658)

НВ. 1905. 17 нояб. № 10659. Б.п.

...*Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского*. – Митрополит Ростовский Димитрий в 1684 г. начал многолетний труд по составлению Четьи-Миней, работа над которым продолжалась до его смерти в 1709 г.

Школа церковно-приходская. – Церковно-приходская школа находилась в подчинении Св. Синода с 1883 г.; в 1905 г. решался вопрос о передаче церковно-приходских школы под управление Министерства народного просвещения.

«Помни о смерти» – форма приветствия, принята в монашеском ордена траппистов (1148–1636).

Обойденные в правах (с. 660)

НВ. 1905. 17 нояб. № 10659.

Авгиевы конюшни – в греческой мифологии это обширные конюшни царя Авгия, которые в продолжение многих лет не убирались; очищены были в один день героем Гераклом (Геркулесом). Выражение применяется для обозначения сильной запущенности, беспорядка в делах; крылатым оно стало еще в древности, когда Сенека употребил его в своей «Сатире на смерть императора Клавдия».

Перед созывом церковного собора (с. 662)

НВ. 1905. 20, 22, 27 нояб., 4 дек. № 10662, 10664, 10667, 10676.

В последней книжке «Богословского Вестника» профессор Московской духовной академии В. Н. Мышцын рассказывает – статья «Из периодической печати» (1905. Т. 2. Ноябрь).

...в силу сделанного из Св. Синода запроса. – 27 июля 1905 г. были разосланы всем епархиальным преосвященным «вопросные пункты», составленные обер-прокурором К. П. Победоносцевым, для предстоящего Собора, созываемого по вопросу восстановления патриаршества на Руси.

...епископом волынским *Антонием* составлена объемистая записка. – Речь идет о «Докладной Записке Св. Синоду о патриаршестве», составленной епископом Антонием (Храповицким); впервые издана в книге епископа Никона (Рыклицкого) «Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого» (Нью-Йорк. 1957. Т. 3).

«*Ныне вы уже не служители, а други Мои*» – ср. Ин. 15, 15.

«*Истинно, истинно говорю вам...*» – ср. Мф. 5, 22.

...будучи ректором *Московской духовной академии.* – В 1889/90 учебном году 26-летний архимандрит Антоний с должности ректора Петербургской духовной академии был переведен на должность ректора Московской духовной академии, обязанности которого он исполнял до 1895 г.

...«*переведен на другое место службы.*» – В 1895 г. Антоний был переведен на пост ректора Казанской духовной академии, где служил до 1900 г.

...по *проискам знаменитого архимандрита Никона.* – На самом деле инициатором перевода архимандрита Антония в Казань был митрополит Сергий (Ляпидевский).

«*Чаша св. Граля.*» – Святой Грааль – священный сосуд, упоминавшийся в легендах Западной Европы, ради которого совершались рыцарские подвиги.

Впервые мотив Грааля обретает контуры сказания в стихотворном романе Р. де Борона «Роман об истории Грааля» (конец XII в.).

...*второй вселенский собор* – состоялся в Константинополе в 381 г.

Есть упоение в бою... – А. С. Пушкин. Пир во время чумы. (1830, 1832).

...*зрелище московской Боярской Думы в описании ее Котошихиным*. – Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича ([М.], 1840).

«История русской церкви» – Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 1880. Т. 1; 2-е изд. – М., 1901–1911. Т. 1–2.

...*«претерпевший до конца спасен будет»* – Мф. 10, 22–24.

...*Гринякин на страницах «Миссионерского Обозрения»* – Гринякин Н.

Перед распутием (По поводу суждений в периодической печати о свободе исповеданий) // Миссионерское Обозрение. 1905. Март. I. Кн. 4. С. 675–684.

Дарование автономии духовным академиям (с. 679)

НВ. 1905. 8 дек. № 10680. Б.п.

Отчего молчит духовенство? (с. 681)

Русское Слов. 1905. 21 дек. № 326. Подпись: В. Елецкий.

...*Мильтон писал «Потерянный рай» и пламенную «Защиту английского народа»*. – Дж. Милтон. Потерянный рай (1667), памфлеты «Защита английского народа» (1650 и 1654).

...*Мор мечтал о своей «Утопии»*. – Т. Мор. Утопия (1516, рус. пер. 1789).

Об учебных ревизиях (с. 685)

НВ. 1905. 30 дек. № 10702.

О. В. Быстрова

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аарон*, в Ветхом Завете первосвященник и брат Моисея – 500, 507, 718
- Аввакум Петрович* (1620 или 1621–1682), идеолог старообрядчества, протопоп, писатель – 613, 614, 619, 620
- Авгий*, в греческой мифологии элидский царь, владетель несколькими тысячами голов скота, хлев которого не очищался десятки лет. Геракл очистил Авгиевы конюшни за один день, перегородив плотиной р. Алфей и направив ее воды на скотный двор – 734
- Август* (63 до н. э. – 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) – 84, 160, 192
- Августин Блаженный* Аврелий (354–430), христианский теолог и церковный деятель – 312, 313, 315, 505, 718
- Авель*, в Ветхом Завете второй сын Адама и Евы, убитый своим братом Каином – 445, 547
- Авессалом*, в Ветхом Завете третий сын царя Давида, убивший своего брата Амнона за обесчещение сестры Фамарии и пытавшийся завладеть престолом отца – 510, 719
- Авраам*, в Ветхом Завете старший из патриархов, прародитель еврейского народа – 189, 379, 502
- Авраамий*, епископ Суздальский (15 в.) – 723
- Агарь*, в Ветхом Завете рабыня и наложница патриарха Авраама – 371, 710
- Агассис* Жан Луи Родольф (1807–1873), швейцарский естествоиспытатель, ученик и последователь Кювье – 33, 43, 228, 701
- Адам*, в Ветхом Завете прародитель человечества – 313, 344, 456, 458, 507, 719
- Аддингтон* Генри – см. Сидмут
- Адриан* Публий Элий (76–138), римский император (с 117) из династии Антонинов – 478
- Айхенвальд* Юлий Исаевич (1872–1928), литературный критик – 699
- Аксаков* Иван Сергеевич (1823–1886), публицист и общественный деятель, один из идеологов славянофильства – 411, 453, 530, 536, 540, 642, 643, 676
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817–1860), публицист, историк, лингвист и поэт, один из идеологов славянофильства – 411, 453–456, 676
- Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель – 342, 346, 709
- Аксаковы* – 643
- Александр*, архимандрит, иеромонах – 486
- Александр II* (1818–1881), российский император (с 1855) – 139, 275, 362, 364, 393, 454, 456, 463, 680
- Александр* (1823–1888), принц Гессенский и прирейнский, австрийский генерал от кавалерии, любитель искусств и наук – 363
- Александр Македонский* (356–323 до н. э.), царь Македонии (с 336), полководец – 93, 328, 344
- Александр Невский* (1220–1263), князь Новгородский (1236–1251), великий князь Владимирский (с 1252), полководец – 262
- Александр I* (1777–1825), российский император (с 1801) – 88, 420, 463, 538, 715
- Александр III* (1845–1884), российский император (с 1881) – 303, 444, 497, 630, 702, 717, 718
- Алексей* (Алексий) *Божий человек* (5 в.), сын знатного римлянина, ставший на путь христианского служения – 620, 622
- Алексей*, епископ Можайский – 397
- Алексей* (Алексий) (между 1293–1298–1378), митрополит, святой, чудотворец – 262, 472, 479, 611, 716
- Алексей Михайлович* (1629–1676), русский царь (с 1645) – 258, 262, 531, 619
- Алексей Николаевич* (1904–1918), великий князь, наследник-цесаревич, сын императора Николая II и императрицы Александры Федоровны – 402

- Алексей Петрович* (1690–1718), русский царевич, сын Петра I – 271–274, 705
- Алиппий*, епископ (19 в.) – 490
- Альберт Великий* (Альберт фон Больштедт) (ок. 1193–1280), немецкий философ и теолог – 142
- Альмединген* Алексей Николаевич (1855–1908), офицер, редактор-издатель педагогических журналов – 469
- Альфред Великий* (ок. 849 – ок. 900), король англосаксонского королевства Уэссекс (с 871) – 249, 250, 463
- Амвросий Медиоланский* (ок. 340–397), епископ Миланский – 313, 708
- Амвросий* (А. М. Гренков) (1812–1891), иеросхимонах, старец Введенской Оптиной Пустыни – 620
- Аммон* – см. Авессалом
- Анаксагор* из Клазомен в Малой Азии (ок. 500 – 428 до н. э.), древнегреческий философ – 142, 254
- Анастасия Романовна*, первая жена царя Ивана IV Грозного – 182, 704
- Апатолий*, архимандрит, настоятель церкви при русской миссии в Афинах – 397
- Андрей Боголюбский* (ок. 1111–1174), великий князь Владимиро-Суздальский (с 1157), сын Юрия Долгорукого – 190, 191, 257, 258, 262, 263
- Андрей*, кучер – 481
- Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919), писатель – 522, 698, 721
- Анна*, в Новом Завете пророчица, встретившая вместе со старцем Симеоном Богоприимцем младенца Иисуса Христа в храме – 361, 362
- Антоний* (Александр Васильевич Вадковский) (1846–1912), митрополит Петербургский и Ладожский (с 1898) – 382, 474, 534, 535, 556, 565, 566, 657
- Антоний* (Алексей Петрович Храповицкий) (1863–1936), митрополит Киевский и Галицкий – 663–670, 672–679, 734
- Антоний Марк* (ок. 83 – 30 до н. э.), римский полководец, сторонник Цезаря – 192
- Антошин* (Александр Андреевич Грановский) (1865–1927), богослов, епископ Нарвский – 543, 566
- Аполлон*, в греческой мифологии бог-целитель, прорицатель, покровитель искусств – 385
- Аполлоний Пергский* (Памфлия) (ок. 260 – ок. 170 до н. э.), древнегреческий математик и астроном – 124
- Апулей* (ок. 125 – ок. 180 до н. э.), древнегреческий писатель – 35
- Аракчеев* Алексей Андреевич (1769–1834), граф, государственный деятель, всеисильный временщик царя Александра I – 88, 346
- Арий* (? – 336), священник, создатель еретического течения в христианстве арианства – 664, 669, 677
- Аристотель* (384 – 322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый – 93, 101, 103, 119, 120, 130, 139, 141, 144–146, 160, 169, 219, 226, 254, 255, 310, 311, 613, 702
- Аркадий*, архиепископ – 490
- Архимед* (ок. 287 – 212 до н. э.), древнегреческий ученый – 124, 307
- Аскоченский* Виктор Ипатьевич (1813–1879), прозаик, журналист, историк – 521, 541
- Асташиевы* – 577
- Атилла* (Аттила) (?–453), предводитель гуннов (с 434), возглавивший опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию, Северную Италию – 387
- Атлас* (Атлант), в греческой мифологии титан в наказание за участие в борьбе титанов против богов должен был держать на западной окраине земли небо – 438
- Афанасий Александрийский* (ок. 295 – 373), церковный деятель и богослов, борец с арианством – 669, 670
- Афанасьев* Александр Николаевич (1826–1871), литературовед, представитель мифологической школы в фольклористике – 329
- Афродита*, в греческой мифологии богиня любви и красоты, возникшая из морской пены – 244, 312, 570, 574
- Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт-романтик – 35, 39, 41, 389, 590, 681
- Базаров* Владимир Александрович (1874–1839), философ и экономист – 709
- Бакушин* Михаил Александрович (1814–1876), теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества – 644
- Баллю* (Балью) Ж., французский анатом, патолог – 209
- Баратынский* (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844), поэт – 408

- Барбарусса* (Фридрих I Барбаросса) (ок. 1125–1190), германский король (с 1152), император «Священной Римской империи» (с 1155) – 10
- Барков* Иван Семенович (ок. 1732–1768), поэт, переводчик – 309, 314, 315
- Барсов* Тимофей Васильевич (?–1904), доктор церковного (канонического) права, профессор Петербургской духовной академии – 397
- Барсуков* Николай Платонович (1838–1906), историк литературы и общественной мысли, археолог, библиограф, издатель – 619, 731
- Бауер* (Бауэр) Бруно (1809–1882), немецкий философ-младогегельянец, критик христианства – 612, 722
- Бахи*, семья немецких музыкантов, выдвинувшая в 17–18 вв. выдающихся деятелей искусства, в том числе И. С. Баха и его четырех сыновей – 93
- Бабель* Август (1840–1913), один из основателей (1869) и руководителей Германской социал-демократической партии и II Интернационала – 608
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик, публицист, философ – 360, 388–390, 638, 642, 645, 693
- Бельский* С. – 598–600
- Бенкендорф* Александр Христофорович (1783–1844), государственный деятель, шеф жандармов и главный начальник III отделения – 385
- Беньян* Джон (1628–1688), английский писатель-пуританин – 703
- Берамже* Пьер Жан (1780–1857), французский поэт – 705
- Бердников* (Бердников) Илья Степанович (1841–1915), богослов, профессор Казанской духовной академии – 397
- Бетховен* Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор – 93, 159, 216
- Бехер* Иоганн-Иоаким (1635–1682), немецкий химик и политэконом – 230
- Биркбек*, английский доктор – 156
- Битти* Джеймс (1735–1803), шотландский философ и поэт – 199
- Биша* Мари Франсуа Ксавье (1771–1802), французский врач, один из основоположников патологической анатомии и гистологии – 215, 217
- Благовидов* Федор Васильевич (1865–?), историк церкви – 529, 721
- Блок* Александр Александрович (1880–1921), поэт – 728
- Блэк* (Блек) Джозеф (1728–1799), английский химик и физик – 218, 219
- Блонччи* (Блуницци) Иоганн Каспар (1808–1881), швейцарский политический деятель, юрист – 301
- Богданович* Ипполит Федорович (1743/1744–1803), поэт – 326
- Боголепов* Николай Павлович (1846–1901), министр народного просвещения (с 1898) – 658, 708
- Бодэн* (Боден) Жан (1530–1596), французский политический деятель, мыслитель, правовед – 189
- Боккаччо* (Боккачо) Джованни (1313–1375), итальянский писатель – 191
- Бокль* Генри Томас (1821–1862), английский историк и социолог – 140, 143, 144, 153, 155–166, 168–173, 176–194, 196, 199, 203–207, 210–212, 214–217, 226, 227, 229–240, 302, 693, 695, 696, 703
- Бокль* Томас Генри, отец Г.Т. Бокля – 156, 161
- Болотов* Василий Васильевич (1854–1900), церковный историк, религиозный мыслитель – 353, 354, 368, 676, 709
- Бопл* Франц (1791–1867), немецкий языковед – 145, 172, 173
- Борис Годунов* (ок. 1552–1605), русский царь (с 1598) – 264, 284, 548
- Борис Константинович*, великий князь Суздальский и Нижегородский, основатель Евфимиева монастыря в Суздале (1352) – 487
- Борк* (Бёрк) Эдмунд (1729–1797), английский политический деятель – 160, 167, 194–205, 214–216, 236, 681, 704
- Борис* (Бёрнс) Роберт (1759–1796), шотландский поэт – 220, 226, 227
- Бородин* Анатолий, гимназист I класса – 409
- Борон* (конец 12 в.), поэт – 735
- Борягинский* Иаков (?–1298), польский агрограф – 705
- Боссе* Гаральд Андреевич (Гарольд Эрнестович, Гарольд Юлиус) (1812–1894), архитектор и рисовальщик. Из прибалтийских немцев – 717
- Боткин* Сергей Петрович (1832–1889) терапевт, основатель школы русских клиницистов – 296
- Ботлер*, основатель частного училища, в котором учился Г. Т. Бокль – 34–36, 42

- Браманте* Донато (1444–1514), итальянский архитектор – 727
- Брамбеус* (Барон Брамбеус), псевд. Сенковского Осипа (Юлиана) Ивановича (1800–1858), писатель, журналист, востоковед – 384, 711
- Брандес* Георг (1842–1927), датский литературный критик – 154
- Брешковская* (Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна) (1844–1934), один из организаторов и лидеров партии эсеров – 685
- Бруно* Джордано (1548–1600), итальянский философ-пантеист и поэт – 493
- Брут* Марк Юний (85–42 до н. э.), в Древнем Риме глава (вместе с Кассием) заговора (44 г.) против Цезаря – 192, 695
- Брюсов* Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт, основоположник русского символизма – 703
- Брянчанинов* Игнатий (1807–1867), богослов, епископ – 426
- Бугров* Алексей, священник – 312, 313
- Будда*, имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623–544 до н. э.) – 230, 420, 427, 572
- Буйницкий А. И.*, переводчик – 155
- Булгарин* Фаддей Бенедиктович (1789–1859), журналист, писатель – 384
- Булыгин* Александр Григорьевич (1851–1919), министр внутренних дел (1905) статс-секретарь (1913) – 717
- Буняковский* Виктор Яковлевич (1804–1889), математик – 160
- Бургаве* Герман (1668–1738), нидерландский врач, ботаник, химик – 105, 702
- Бурдах* Карл Фридрих (1776–1847), немецкий анатом и физиолог – 172
- Буслаев* Федор Иванович (1818–1897), филолог, искусствовед – 329, 385, 500, 644
- Бутурлин* Дмитрий Петрович (1790–1849), военный историк – 385, 387–390
- Бухарев* Александр Матвеевич (архимандрит Феодор) (1824–1871), богослов, религиозный писатель – 521, 522, 541, 620, 731
- Быковский* Константин Михайлович (1841–1906), архитектор – 714
- Бэйль* (Бейль) Пьер (1647–1706), французский публицист и философ – 172
- Бэкон* Роджер (ок. 1214–1292), английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец – 142, 449
- Бэкон* Фрэнсис (1561–1626), английский философ – 41, 93, 94, 118, 130, 132, 150, 163, 169, 218, 701, 702
- Бэнтам* (Бентам) Иеремия (1748–1832), английский философ, социолог, юрист – 157
- Бэр* Карл Максим (Карл Эрнст) (1792–1876), естествоиспытатель, основоположник эмбриологии, один из учредителей Русского географического общества – 33, 43, 110, 146, 228, 229, 701
- Валла*, в Ветхом Завете служанка Рахили – 182, 359
- Вален-Деламот* Жан Батист Мишель (1729–1800), французский архитектор. Работал в России в 1759–1775 гг. – 717
- Валтасар*, сын последнего царя Вавилонии Набонида. Погиб в 539 до н. э. при взятии Вавилона персами – 704
- Ванновский* Петр Семенович (1822–1904), государственный деятель, генерал от инфантерии, в 1901–1902 министр народного просвещения – 300, 302–305, 319, 320, 411, 518, 658, 708, 720
- Варлаам* (Алексей), (1156–1192) преподобный Новгородский (Хутынский), чудотворец – 519
- Варфоломей*, один из 12 апостолов Иисуса Христа – 729
- Василий Блаженный* (1469–1557), московский юродивый – 262
- Василий Великий* (Василий Кесарийский) (ок. 330–379), церковный деятель, теолог, философ-платоник – 360
- Васильев* Афанасий Васильевич (1851–1929), публицист славянофильского направления – 453
- Васильев* Феодосий, дьяк, основал в конце XVII в. одно из радикальных течений в беспоповщине (старообрядчестве) феодосеевский толк – 728
- Васильчиков* Борис Александрович (1863–1930 или 1931) князь, шталмейстер, главноуправляющий земледелия и землеустройства (1906–1908). Во время Русско-японской войны главноуполномоченный Красного Креста – 453
- Васнецов* Виктор Михайлович (1848–1926), живописец, график, археолог – 318, 478, 483
- Вашингтон* Джордж (1732–1799), первый президент США (1789–1797) – 201

- Введенский* Алексей Иванович (1861–1913), богослов, публицист, профессор Московской духовной академии – 366, 367, 528
- Вебер* Георг (1808–1888), немецкий историк – 325
- Вейнберг* Я. П., окружной инспектор – 330, 331
- Венглер*, офицер – 311, 312, 314
- Венера*, в римской мифологии богиня любви и красоты – 570, 574
- Верди* Джузеппе (1813–1901), итальянский композитор – 705
- Верещагин* Василий Васильевич (1842–1904), живописец – 709
- Верн* Жюль (1828–1905), французский писатель, один из создателей жанра научно-фантастического романа – 574, 728
- Вернадский* Владимир Иванович (1863–1945), ученый, основатель геохимии, биогеохимии, академик – 694
- Веспасиан* (9–79), римский император (с 69), основатель династии Флавиев – 246
- Виклеф* (Виклиф) Джон (1330–1384), английский религиозный реформатор – 449
- Вико* Джамбаттиста (1668–1744), итальянский философ – 141, 176
- Виктория* (1819–1901), королева Великобритании (с 1837) – 192
- Вильгельм II Гогенцоллерн* (1859–1941), германский император и прусский король в 1888–1918 – 368
- Вильямс*, английский врач, автор книги «Основы медицины» (XVIII в.?) – 173
- Вишельман* Иоганн Иохим (1717–1768), немецкий историк искусства – 145, 173, 176, 184
- Вишеградов*, околоточный надзиратель – 481
- Виргилий* (Вергилий Марон Публий) (70–19 до н. э.), римский поэт – 53, 154, 313
- Вирсавия*, в Ветхом Завете одна из жен царя Давида, мать Соломона – 378
- Витте* Сергей Юльевич (1849–1915), государственный деятель, автор Манифеста 17 октября 1905 г., мемуарист – 556
- Владимир I* (?–1015), святой, князь Новгородский и Киевский. В 988–989 ввел в качестве государственной религии христианство – 257, 264, 610
- Владимир* (Василий Никифорович Боголюбленский) (1847/1848–1918), митрополит Московский, Киевский и Галицкий – 657, 665
- Властов* Георгий Константинович (1827–1899), археолог, автор светских и духовных произведений, административный деятель – 359
- Вольтер* (наст. имя Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778), французский писатель и философ – 40, 220, 236, 451
- Вольф* Каспар Фридрих (1734–1794), один из основоположников эмбриологии, по национальности немец, в России (с 1766) – 146
- Вольф* Христиан (1679–1754), немецкий философ – 121, 702
- Вордсворт*, Уордсуорт Уильям (1770–1850), английский поэт-романтик – 41
- Воронков*, крестьянин из г. Клина – 604, 605
- Вунд* (Вундт) Вильгельм (1832–1920), немецкий психолог, физиолог, философ – 325
- Вышнеградский* Николай Алексеевич (1821–1872), педагог – 559
- Вяземский* Петр Андреевич (1792–1878), князь, поэт, литературный критик – 718
- Гагарин* Иван Сергеевич (1814–1882), князь, дипломат, писатель, в 1843 г. уехал из России, перешел в католичество и вступил в орден иезуитов – 603
- Галилей* Галилео (1564–1642), итальянский ученый – 137, 189, 307, 377, 493, 552
- Ганчев* Евфимий, крестьянин, узник Спасо-Евфимиева монастыря – 486
- Гапон* Георгий Аполлонович (1870–1906), священник, инициатор шествия к Зимнему дворцу (9 января 1905) – 664
- Гармодий* (514 до н. э.), сообщник тираноубийцы Аристогитона, выходец из знатного афинского рода – 695
- Гарнак* Адольф (1851–1930), немецкий теолог, историк христианства – 368–373, 375, 376, 710
- Гартман* Эдуард фон (1842–1906), немецкий философ – 126, 134, 135, 521, 702
- Гарун-аль-Рашид* (Харун ар-Рашид) (763 или 766–809), халиф из династии Аббасидов – 287, 706
- Гаршин* Всеволод Михайлович (1855–1888), писатель – 522

- Гаюи* Рене Жюст (1743–1822), французский кристаллограф и минеролог – 217
- Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ – 65, 121, 137, 145, 146, 152, 641, 642
- Гейлигкс* Арнольд (1624–1669), голландский философ – 142
- Гейне* Генрих (1797–1856), немецкий поэт и публицист – 226
- Гейнце* Николай Эдуардович (1852–1913), писатель, публицист – 360
- Гельвеций* Клод Адриан (1715–1771) французский философ – 172
- Гельмгольц* Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894), немецкий ученый – 133, 141
- Геннадий* (Григорий Беляев), старообрядческий епископ – 490, 491
- Геирих I* *Птицелов* (10 в.), германский император – 250
- Генслоу* Джон Стивен (1796–1861), английский ботаник и геолог – 38
- Гейтнер* Джон (1728–1793), английский патолог и физиолог – 219
- Георг III* (1738–1820), английский король (с 1760) из Ганноверской династии – 194, 197–199, 214, 704
- Георг IV* (1762–1830), английский король (с 1820) из Ганноверской династии – 704
- Гераклит* Эфесский (кон. 6 – нач. 5 в. до н. э.), древнегреческий философ – 65
- Гердер* Иоганн Готфрид (1744–1803) немецкий философ, критик, эстетик – 141
- Геринг* Иоганн, немецкий историк церкви, профессор Лейпцигского университета – 496, 717
- Геркулес* (Геракл), в греческой мифологии, герой, совершивший множество подвигов – 438, 660, 734
- Герман* (? – ок. 1353), преподобный Валаамский, чудотворец – 716
- Геродот* (между 490 и 480 – ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк – 189, 243
- Герострат*, грек из г. Эфес (Малая Азия), сжег в 356 до н. э. храм Артемиды Эфесской (один из 7 чудес света), чтобы обессмертить свое имя – 329
- Герсон* (Гершон) (?–1040), раввин и поэт – 379, 710
- Герцен* Александр Иванович (1812–1870), писатель, философ – 476, 638, 642, 644, 645, 715, 732
- Гершель* Уильям (Фридрих Вильгельм) (1738–1822), английский астроном, основоположник звездной астрономии – 132
- Герье* Владимир Иванович (1837–1919), историк – 301, 645, 693, 707, 732
- Гёте* Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель – 94, 100, 368, 375, 376, 411, 701, 703, 726
- Гёттон* Джеймс (1726–1797), шотландский геолог – 218, 219
- Гёттесон* Френсис (1694–1747), шотландский философ – 217
- Гёффдинг* (Хёффдинг) Харольд (1843–1931), датский ученый, историк философии – 345, 709
- Гибсон*, спутник Г. Т. Бокля в его путешествии в Дамаск – 166
- Гизо* Франсуа (1787–1874), французский историк, (с 1848) глава правительства, свергнутого революцией 1848 г. – 141, 160, 167, 180, 216, 229, 638
- Гиляров-Платонов* Никита Петрович (1824–1887), философ, историк религии, публицист, издатель – 283, 489, 521, 522, 541, 546, 657, 676, 707
- Гиппий*, сын и наследник тиранической власти Писистрата в Афинах (528–510 до н. э.) – 245
- Глаголев* Александр Александрович (1872–1929), богослов, историк церкви – 656, 718
- Глаголев* Сергей Сергеевич (1865–?), историк религии, профессор Московской духовной академии – 501, 528
- Гладстон* Уильям Юарт (1809–1898), премьер-министр Великобритании – 681
- Глазов* Владимир Гаврилович (1848–1920), министр народного просвещения в 1904–1905 гг. – 708
- Глинка* Авдотья Павловна (1795–1863), составительница книги «Жизнь Пресвятой Девы Богородицы по книгам Четьи Миней» (1840) – 726
- Глинка* Федор Николаевич (1786–1880), поэт – 728
- Глиссон* Френсис (1597–1677), английский врач, профессор – 53, 209
- Глубоковский* Николай Никифорович (1863–1937), богослов, историк религии, академик Петербургской АН (1909) – 368, 676
- Гоголь* Николай Васильевич (1809–1852), писатель – 10, 116, 236, 262, 390, 411,

- 416–420, 427–431, 459, 462, 463, 466–488, 530, 639, 645, 684, 702, 710, 731
- Голицын Александр Николаевич* (1773–1844), князь, государственный деятель, обер-прокурор Св. Синода (с 1810 – 1817) – 420, 530, 538, 539, 667, 722
- Голицыны* – 619
- Голл Джеймс* (1761–1832), шотландский геолог и физик – 219
- Голубинский Евгений Евстигнеевич* (1834–1912), историк русской православной церкви, академик Петербургской АН (1903) – 369, 676, 736
- Голубинский Федор Александрович* (1797–1854), религиозный философ, профессор Московской духовной академии – 657, 733
- Гомер*, древнегреческий поэт – 35, 194, 451, 452, 572, 709
- Гончаров Иван Александрович* (1818–1891), писатель – 406
- Гоп*, английский химик – 36
- Гораций* (полное имя Квинт Гораций Флакк) (65 – 8 до н. э.), римский поэт – 387, 478, 711
- Горький Максим* (1868–1836), писатель, литературный критик, публицист – 460, 462, 463, 467–479, 484, 712, 715
- Градовский Александр Дмитриевич* (1841–1889), историк права, публицист – 417, 453, 712
- Грачки*, братья: римские народные трибуны, Тиберий (162–133 до н. э.) и Кай (Гай) (153–121 до н. э.). Погибли в борьбе с сенатской знатью, выступившей против реформ – 93, 254, 508, 710, 719
- Грановский Тимофей Николаевич* (1813–1855), историк – 385, 388–390, 634, 637–647, 731, 732
- Грегориус Фердинанд* (1821–1891), немецкий историк – 641
- Грей*, знакомая Г. Т. Бокля – 165
- Грей Томас* (1716–1771), английский поэт – 41
- Григорий VI*, Константинопольский патриарх (1867–1871) – 723
- Григорович Дмитрий Васильевич* (1822–1899), писатель – 406
- Григорьев Аполлон Александрович* (1822–1864), литературный и театральный критик, поэт – 146, 643
- Гримальди Франческо* (1618–1663), итальянский физик и астроном – 184
- Гримм*, братья: Якоб (1785–1863), и Вильгельм (1786–1859), немецкие филологи – 145, 172, 184, 500
- Грингмут Владимир Андреевич* (1851–1907), публицист, педагог, критик, редактор-издатель газеты «Московские Ведомости» – 465
- Гришякин Н.*, публицист, сотрудник журнала «Миссионерское Обозрение» – 676, 735
- Громогласов Илья Михайлович* (1861–?), историк церкви, профессор Московской духовной академии – 656
- Грот Джордж* (1794–1871), английский банкир, известный своей «Историей Греции» в 8 т. – 344
- Грот Константин Яковлевич* (1853–1934), историк, филолог-славист – 325
- Грот Николай Яковлевич* (1852–1899), философ, брат К. Я. Грота – 320–326, 329, 708
- Гудович Андрей*, генерал-адъютант, фаворит Петра III – 601
- Гумбольдт (Гумбольдт) Александр* (1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник – 172, 368, 369
- Гумбольдт Вильгельм* (1767–1835), немецкий филолог, философ, языковед, дипломат – 145, 172
- Гурий* (Григорий Руготин) (ок. 1500–1561), святой, первый архиепископ Казанский – 279
- Гус Иоанн (Ян)* (1371–1415), национальный герой чешского народа, идеолог чешской Реформации – 449, 488
- Гусев Александр Федорович* (1842–1904) богослов и религиозный писатель, профессор Казанской духовной академии – 352, 360
- Гуттенберг (Гутенберг) Иоганн* (между 1394/1399–1468), немецкий изобретатель книгопечатания – 169, 269, 460
- Гого Виктор Мари* (1802–1885), французский писатель-романтик – 705
- Гойгенс Христиан* (1629–1695), нидерландский ученый – 137
- Давид*, царь Израильско-иудейского государства (кон. 11 в. – ок. 950 до н. э.) – 500, 502
- Даль Владимир Иванович* (1801–1872), писатель, лексикограф – 370, 449, 454
- Даниил Романович* (1201–1264), князь Галицкий и Волынский, сын Романа Мстиславича – 264

- Данилевский* Николай Яковлевич (1822–1885), публицист, социолог, философ, естествоиспытатель – 12, 63, 140, 228, 465, 691, 700
- Данте* Алигьери (1265–1321), итальянский поэт – 287, 411
- Дарвин* Чарлз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель – 12–16, 33–38, 40, 42, 43, 45–48, 50, 58, 60, 63, 140, 146, 158, 159, 161, 164, 222, 223, 226, 227, 239, 240, 384, 691–693, 695, 701, 702
- Даров* В., псевд Брюсова В. Я.
- Дауль* Р., слушатель Казанской духовной академии – 279, 284
- Дебольский* Николай Григорьевич (1842–1918), философ, переводчик – 579, 580
- Деворра* (Девора), в Ветхом Завете пророчица и судья – 362
- Дегай* Павел Иванович (1792–1849), государственный деятель – 385
- Деделов* Владимир Людвигович (1856–1908), прозаик, публицист, литературный критик – 440
- Декарт* Рене (1596–1650), французский философ, математик, физик и физиолог – 41, 93, 94, 118, 123, 131, 132, 141, 142, 144, 146, 150, 154, 163, 169, 520, 521, 701, 702
- Де-Лиль* (Делиль) Жозеф Никола (Осип Николаевич) (1688–1768), французский астроном. В 1725–1747 гг. работал в России, академик и первый директор астрономической обсерватории – 217
- Деянов* Иван Давидович (1818–1897), граф, государственный деятель, с 1882 министр народного просвещения – 658
- Демьянов* Михаил Николаевич, педагог, профессор – 698
- Денисовы*, братья: Андрей (1664–1730) и Семен (1682–1747), предводители беспоповщинского поморского старообрядчества – 614, 620
- Державин* Гаврила Романович (1743–1816), поэт – 284
- Дернов* Александр Александрович (1857–?), публицист, протоиерей Петропавловского собора в Петербурге – 355, 360
- де-Сад* (Сад Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де) (1740–1814), французский писатель – 309, 314–316
- Де-Фоз* (Дефо) Даниэль (ок. 1660–1731), английский писатель, политический деятель – 344
- Джемсон* Роберт (1744–1854), шотландский геолог – 36
- Джессия*, дядя Г.Т. Бокля – 37, 40, 42,
- Дидро* Дени (1713–1784), французский философ, писатель – 226
- Диккенс* Чарлз (1812–1870), английский писатель – 343
- Димитрий* I (Дмитрий) Иванович (1582–1591), князь Углицкий, царевич Московский, сын Ивана IV и Марии Нагой – 454
- Димитрий Ростовский* (Даниил Саввич Туптало) (1651–1707), митрополит Ростовский, писатель, составил новую редакцию «Четий Миней» – 659, 733
- Димитрий* (Сеченов) (1709–1767), митрополит Новгородский, проповедник, вместе с Екатериной II занимался изъятием монастырских земель – 548
- Дмитрий Донской* (1350–1389), великий князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362) – 375
- Дмитриев* Иван Иванович (1760–1837), поэт – 705
- Дионисий* I Старший (ок. 432–367 до н. э.), тиран Сиракуз (с 406) – 249
- Добролюбов* Николай Александрович (1836–1861), литературный критик, публицист – 465, 515, 516, 559, 693, 711, 720
- Донкан* (Данкан) Эндрю, занимал в Эдинбурге в 1821–1832 кафедру лекарственных растений – 36, 43
- Доробец* Николай Константинович, приват-доцент Московского университета – 110, 111, 113
- Дорошевич* Влас Михайлович (1864–1922), журналист, театральный критик – 299, 309, 707
- Досифей*, затворница Ивановского Московского монастыря – 601
- Достоевский* Федор Михайлович (1821–1881), писатель и мыслитель – 139, 234, 236, 238, 351, 406, 411, 416–418, 420, 421, 427–429, 446, 451–453, 455, 456, 458, 466, 530, 558, 604, 676, 681, 689, 703, 707, 712, 722
- Дубельт* Леонтий Васильевич (1792–1862) генерал, с 1835 начальник штаба Отдельного корпуса жандармов, в 1839–1856 одновременно управляющий III-м отделением – 385

- Дунс-Скот* (Иоанн Дунс Скот) (ок. 1266–1308), философ, представитель францисканской схоластики – 142
- Дурново* Петр Николаевич (1845–1915), государственный деятель. В 1884–1893 директор департамента полиции, в 1905–1906 министр внутренних дел – 474, 475, 547
- Дю-Буа-Реймон* (Дюбуа-Реймон) Эмиль Генрих (1819–1896), немецкий физиолог, философ – 103, 701
- Дюмурье* Шарль Франсуа (1739–1823), французский генерал – 294
- Ева*, в Ветхом Завете жена Адама – 313, 357, 507
- Евгений IV*, римский папа, избран в 1431 – 723
- Евдоким* (Василий Иванович Мещерский) (1871–1935), ректор Московской духовной академии, епископ Каширский, викарий Тульской епархии – 665
- Евфимий* (1316–1404), преподобный, основал Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале – 487
- Екатерина*, святая великомученица, пострадавшая при римском императоре Максимилиане за проповедь христианства – 717, 719
- Екатерина II* (1729–1796), российская императрица (с 1762) – 398, 487, 548, 557, 559, 579, 601, 726
- Елизавета I* Тюдор (1533–1603), английская королева (с 1558) – 156
- Елизавета Петровна* (1709–1761/1762, российская императрица (с 1741), дочь Петра I – 601
- Елисавета Федоровна* (Елизавета Федоровна) (1864–1918), великая княгиня, супруга великого князя Сергея Александровича, основательница и настоятельница Марфо-Мариинской обители в Москве – 480
- Эмпедокл* (Эмпедокл) из Акраганта (ок. 495–435 до н. э.), древнегреческий философ – 142
- Ерма*, раб, в Риме получил откровение и написал книгу «Пастырь» (96–101) – 505, 718
- Ермак Тимофеевич* (? – 1585), казачий атаман, начал освоение Сибири – 454
- Ешевский* Степан Васильевич (1829–1865), историк – 645, 732
- Жанна Д'Арк* (1412–1431), народная героиня Франции – 489
- Жубер* Жозеф (1754–1824), французский врач – 209
- Жуковский* Василий Андреевич (1783–1852), поэт, литературный критик – 237, 284, 328, 342, 364, 459, 463, 541, 709, 724
- Жуковский* Дмитрий Евгеньевич (1868–1943), издатель, переводчик философской литературы – 520
- Забелин* Иван Егорович (1820–1908/1909), историк, археолог – 489
- Заозерский* Николай Александрович (1851–1919), богослов, писатель, публицист, профессор Московской духовной академии – 357, 358, 360, 397, 399, 499, 501, 538, 539, 718, 723, 724
- Захарьин* (Якунин) Иван Николаевич (1837 или 1839–1906), очеркист, драматург, поэт – 362, 363, 365
- Зверинский* Василий Васильевич (?–1893), старший редактор центрального статистического комитета – 717
- Зелфа*, в Ветхом Завете служанка Лии и наложница Иакова – 359
- Зенгер* Григорий Эдуардович (1853–1919), министр народного просвещения (1902–1904) – 658, 708
- Знаменский* Иоанн Павлович, редактор харьковского журнала «Вера и Разум» в 1884–1906 – 721
- Зола* (Золя) Эмиль (1840–1902), французский писатель – 316, 377
- Зоратустра* (Заратустра) (X–VI вв. до н. э.) пророк и реформатор древнеиранской религии – 287, 466, 720
- Зотов* Никита Моисеевич, глава созданного в 1690 г. Петром I «Всешутейшего собора», думный дяк – 724
- Иаков* – в Ветхом Завете патриарх, младший сын Исаака и Ревекки, называемый иначе Израиль – 182, 183, 190, 359, 502, 507, 546, 719
- Иванов-Платонов* Александр Михайлович (1835–1894), протоиерей, профессор истории Московской духовной академии – 368
- Иезекииль*, в Ветхом Завете пророк – 510, 719
- Иеремия*, в Ветхом Завете пророк – 231, 232

- Иероним Пражский* (ок. 1380–1416), чешский реформатор, ученый, сподвижник Я. Гуса – 449, 488, 591, 613
- Иисус Христос* – 190, 192, 247, 248, 313, 314, 330, 347, 362, 371–373, 376, 378–380, 382, 383, 417, 418, 424–426, 450, 485, 487, 490, 491, 494, 523, 526, 527, 538, 542, 548, 549, 558, 560–562, 564, 567–569, 571–574, 601, 610–614, 620–623, 637, 646, 654, 664, 669, 727, 730
- Икар*, в греческой мифологии сын Дедала, поднявшийся в небо вместе с отцом – 287
- Илия*, в Ветхом Завете пророк – 564
- Иловайский Дмитрий Иванович* (1832–1920), историк, публицист – 646, 732
- Ильминский Николай Иванович* (1822–1891), востоковед – 277–280, 282, 707
- Иоанн (Иван) III* (1440–1505), великий князь Московский (с 1462), сын Василия II – 258
- Иоанн (Иван) IV Грозный* (1530–1584), первый русский царь (с 1547) – 93, 258, 520, 557, 558, 730
- Иоанн Безземельный* (1167–1216), английский король (с 1199) из династии Плантагенетов – 705
- Иоанн Богослов* (? – ок. 105–106), в Новом Завете апостол и евангелист – 356, 463, 567, 571
- Иоанн Дамаскин* (ок. 675 – до 753), византийский богослов, философ и поэт – 265
- Иоанн Златоуст* (между 344 и 354–407), византийский церковный деятель, епископ Константинополя (с 398), представитель греческого красноречия – 265, 643
- Иоанн Креститель*, в Новом Завете пророк, крестил Христа в р. Иордан – 508, 719
- Иоанн Кронштадтский* (Иоанн Ильич Сергиев) (1829–1908), протонерей, проповедник и писатель, настоятель собора Андрея Первозванного в Кронштадте – 622, 731
- Иоанн (Владимир Сергеевич Соколов)* (1818–1869), епископ Смоленский, богослов – 546, 724
- Иоанникий* (Руднев) (1826–1900), митрополит Киевский и Галицкий – 621
- Иов*, в Ветхом Завете благочестивый старец из страны Уц – 373
- Иона*, в Ветхом Завете пророк. Книга пророка Ионы содержит в себе историю его путешествия в Ниневию с целью проповеди покаяния – 720
- Иона* (?–1461), митрополит Московский, со времени Ионы начался период фактической независимости московских митрополитов от греческих патриархов – 478, 479, 519
- Иосаф* (Скрипицын) (?–1555), митрополит Московский (1539–1542) – 519
- Иосиф*, в Новом Завете обручник Девы Марии, сын Иакова из рода Давидова – 190
- Иосиф Флавий* (37 – после 100), древнееврейский историк – 418
- Исаак*, в Ветхом Завете сын Авраама и Сарры – 447
- Исаакий*, монах, узник Соловецкого монастыря – 489
- Исаев Андрей Алексеевич* (1851–1924), экономист, статистик, социолог, публицист – 110
- Исайя*, в Ветхом Завете пророк – 356
- Исидор*, епископ Балахнинский, vicарий Нижегородский – 555, 725
- Исидор* (?–1463), митрополит Московский (с 1436) – 723
- Истошин Константин Евстафьевич*, редактор харьковского журнала «Вера и Разум» с 1906 – 721
- Иуда*, в Новом Завете апостол, предавший Христа – 311
- Иуда*, раввин – 502, 503
- Каблиц Иосиф (Осип) Иванович* (1848–1893), публицист – 238
- Кавелин Константин Дмитриевич* (1818–1885), историк, общественный деятель – 125, 126, 389, 642, 643, 645
- Кавендиш Генри* (1731–1810), английский физик и химик – 219
- Казаков Матвей Федорович* (1738–1812), архитектор – 716
- Казанова Джованни Джакомо* (1725–1798) итальянский писатель и мемуарист, прожил бурную и авантюрную жизнь – 309, 314–316
- Каин*, старший сын Адама и Евы – 190, 311, 356, 445, 433, 547
- Калечин Алексей*, крестьянин, узник Спасо-Евфимиева монастыря – 486
- Кальвин Жан* (1509–1564), деятель Реформации, основатель кальвинизма – 173, 208, 698
- Каляев Иван Платонович* (1877–1905), эсер, убил бомбой московского гене-

- рал-губернатора великого князя Сергея Александровича – 715
- Каменев* Гавриил Петрович (1772–1803) поэт, прозаик, переводчик – 328, 708
- Капкин* Евгений Францевич (1774–1845), граф, государственный деятель. В 1823–1844 министр финансов – 387, 389
- Кашинг* Джордж (1770–1827), премьер-министр Великобритании (1827) – 681
- Каит* Иммануил (1724–1804), немецкий философ – 93, 121, 123, 141, 145, 172, 187, 230, 322
- Каптерев* Петр Федорович (1849–1922), педагог и психолог – 469
- Карамзин* Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк – 9, 10, 195, 206, 307, 342, 411, 478, 639, 700, 704, 707, 709, 731
- Кареев* Николай Иванович (1850–1931), историк – 110, 111, 154
- Карл Великий* (742–814), франкский король (с 766), император (с 800) из династии Каролингов – 93, 241, 249
- Карл XII* (1682–1718), король Швеции (с 1697), полководец – 274
- Карл V Мудрый* (1338–1380), французский король (с 1364) из династии Валуа – 256
- Карлейль* Томас (1795–1881), английский публицист, историк и философ – 229, 733
- Карно* Мари Франсуа Сади (1837–1894), французский политический деятель, президент республики с 1887 – 294
- Карцов* (Карцев) Николай Сергеевич (1856–?), педагог – 470
- Катков* Михаил Никифорович (1818–1887), публицист, издатель журнала «Русский Вестник», газеты «Московские Ведомости» – 330, 384, 406, 415, 465, 473, 556, 708, 714
- Кедворт* Ралф (1617–1688), английский религиозный философ – 218
- Келен* Уильям (1710–1790) шотландский ученый, физиолог и патолог – 208, 209, 219
- Кёлликер* Альберт (1817–1905), немецкий биолог – 33, 43, 228, 701
- Кеплер* Иоганн (1571–1630), немецкий астроном – 93, 141, 182, 185
- Кетле* Ламбер Адольф Жак (1796–1874), бельгийский ученый, социолог-позитивист – 185–187
- Кир II Великий* (?–530 до н. э.), первый царь (с 558) государства Ахеменидов – 241
- Киреевский* Иван Васильевич (1806–1856), религиозный философ, литературный критик и публицист, один из основоположников славянофильства – 643, 676
- Киреевский* Петр Васильевич (1808–1856), фольклорист, археограф, публицист – 643
- Киреевские* – 343, 643, 676
- Кирхман* Юлий фон (1802–1884), немецкий философ – 325
- Клавдий* (10 до н. э. – 54 н. э.), римский император (с 41) из династии Юлиев-Клавдиев – 246
- Кладо* (*Прибой*) Николай Лаврович (1862–1919), военный историк – 575, 576
- Клочевский* Василий Осипович (1841–1911), историк – 489
- Кобеко* Дмитрий Фомич (1837–1912), директор Публичной библиотеки (1902), председатель Комиссии по составлению нового закона о печати (1905) – 476
- Ковалев* Федор, мещанин, узник Спасо-Евфимиева монастыря – 486
- Ковалевский* Максим Максимович (1851–1916), юрист, историк, социолог, общественный деятель – 110
- Кожевников* Владимир Александрович (1852–1917), историк культуры и публицист, был близок к Н. Ф. Федорову – 110–113
- Козлов* Алексей Александрович (1831–1901), философ, представитель персонализма в России – 321
- Козлов* Иван Иванович (1779–1840), поэт, переводчик – 10
- Коло ди Риези* (Кола ди Риенцо) (1313–1354), вождь антифеодалного восстания пололанов в Риме (1347) и глава Римской республики – 144
- Колумб* Христофор (1451–1506), мореплаватель, открывший Америку (1492) – 164, 307, 449, 567
- Колычев* З. Я., священник – 552, 553
- Кольдридж*, судья – 166
- Кольдридж* (Колдридж) Самюэл Тейлор (1772–1834), английский поэт, критик и философ – 41
- Кольцов* Алексей Васильевич (1809–1842), поэт – 411, 710

- Комаров* Виссарион Виссарионович (1838–1907/1908), публицист, издатель – 300, 721
- Комнины* (Комнины), династия византийских императоров в 1081–1185, основанная Алексеем I – 523, 525
- Кондильяк* Этьен Бонно де (1715–1780), французский философ – 172
- Кондорсе* (Кондорсе) Жан Антуан Никола (1743–1794), маркиз, французский философ, математик, социолог, политический деятель – 172, 201, 205
- Кондратенко* Роман Исидорович (1857–1904) генерал-лейтенант. В Русско-японскую войну успешно руководил сухопутной обороной Порт-Артура – 728
- Копон*, старообрядческий епископ – 490
- Константин I Великий* (ок. 285–337), римский император (с 306). В 324–330 основал новую столицу Константинополь на месте г. Византия – 256, 265, 511, 512, 558, 669, 719
- Конт* Огюст (1798–1857), французский философ, один из основоположников позитивизма – 127, 132–134, 141, 143, 144, 154, 164, 177, 180, 181, 183, 227, 321, 520, 568, 703
- Конфуций* (Кун-цзы) (ок. 551–479 до н. э.), древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства – 70, 287
- Коперник* Николай (1473–1543), польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира – 93, 552
- Кориолан* Гней Марций, по древнеримской легенде, патриций и полководец 5 в. до н. э., перебежавший на сторону врагов Рима – вольсков – 478, 479
- Корнилов* Александр Александрович (1862–1925), историк, публицист, общественный деятель – 295–297
- Королин* Михаил Сергеевич (1855–1899), историк – 323
- Корф* Модест Андреевич (1800–1876), барон, управляющий делами Комитета министров, историк – 385, 643
- Котошихин* Григорий Карпович (ок. 1630–1667), подьячий Посольского приказа. В 1664 бежал в Литву, затем в Швецию – 672, 735
- Кошелев* Александр Иванович (1806–1883), общественный деятель, славянофил – 643, 732
- Краснодубровский*, инспектор народных училищ в Мамадышском уезде Казанской губернии – 278–280, 282, 283
- Красовский* Александр Иванович (1780–1857), цензор Петербургского комитета (1821–1828), председатель Комитета иностранной цензуры – 237
- Краешенников* Степан Петрович (1711–1855), путешественник, исследователь Камчатки – 639
- Кромвель* Оливер (1599–1658), деятель Английской революции 17 в., содействовал казни короля и провозглашению республики, в 1653 установил режим единоличной диктатуры – 349
- Кропоткин* Петр Алексеевич (1842–1921), князь, революционер, теоретик анархизма, географ и геолог – 456
- Крылов* Иван Андреевич (1769–1844), писатель, баснописец – 345, 401
- Ксения Блаженная*, святая Ксения Петербургская (наст. имя и фам. Ксения Григорьевна Петрова) (ок. 1731 – ок. 1803), жительница Петербурга, прославившаяся благочестивой жизнью и аскетическими подвигами – 423, 712
- Ксенофан* Колофонский (ок. 570 – после 478 до н. э.), древнегреческий философ – 142
- Ксенофонт* (Крюков), синодальный миссионер – 715
- Кудряцев* Петр Павлович (1868–?), религиозный писатель, профессор Киевской духовной академии – 316, 385, 645, 732
- Куно-Фишер* – см. Фишер Куно
- Курбский* Андрей Михайлович (1528–1583) князь, боярин, писатель, в 1564 бежал в Литву – 259
- Куропаткин* Алексей Николаевич (1848–1925), генерал от инфантерии. В Русско-японскую войну командовал войсками в Манчжурии, потерпел поражение под Ляояном и Мукденом – 519
- Курочкин* Василий Степанович (1831–1875), поэт – 705
- Курц* Иоганн фон, немецкий общественный деятель – 606
- Кусков* Платон Александрович (1834–1909), поэт, критик, переводчик – 444, 450, 713
- Кювье* Жорж (1769–1832), французский зоолог – 12

- Л. И.*, псевд. архимандрита Евдокима, публициста – 718
- Ла-Брюйер* (Лабрюйер) Жан де (1645–1696), французский писатель, мастер афористичной публицистики – 156
- Лавуазье* Антуан Лоран (1743–1794), французский химик – 214, 230
- Лазарь*, в Новом Завете брат Марии и Марфы, воскресенный Христом – 564, 572, 611
- Ламарк* Жан Батист (1744–1829), французский писатель, предшественник Ч. Дарвина – 42
- Ламе* Габриэль (1795–1870), французский математик и инженер. В 1820–1832 работал в России – 176
- Ланге* Фридрих Альберт (1828–1875), немецкий философ и экономист – 125, 126, 702
- Ланглас* Пьер Симон (1749–1827), французский астроном, математик – 107, 228, 704
- Лассаль* Фердинанд (1825–1864), немецкий социалист – 608, 730
- Латухин*, штабс-капитан – 490, 491
- Лафайетт* (Лафайет) Мари Жозеф (1757–1834), маркиз, французский политический деятель – 201
- Ляхотский* (Ляхостский) Павел Николаевич, протоиерей, публицист – 355, 360
- Лацарус* Мориц (1824–1903), немецкий философ – 326
- Лебедев* Алексей Петрович (?–1910), историк церкви, профессор Московской духовной академии – 368, 723
- Левицкая* (урожд. Полева) Елена Сергеевна (?–1915), основательница и директор частной гимназии в Царском Селе – 581, 583, 586, 588, 589, 592–595, 598–600, 729
- Ледерле* Михаил Михайлович, писатель – 239
- Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ, математик, физик, языковед – 93, 121, 123, 131, 137, 139, 150, 154, 172, 520, 521
- Лейтон* У., английский ботаник – 34
- Лемке* Михаил Константинович (1872–1923), историк, публицист – 383–388, 390, 711, 715
- Леонардо да-Винчи* (Леонардо да Винчи) (1452–1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер – 642
- Леонтий* (Иван Алексеевич Лебединский) митрополит Московский, писатель – 666
- Леонтьев*, городской – 481
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831–1891), писатель, публицист, литературный критик, дипломат – 238, 263, 415, 676
- Леонтьев* Павел Михайлович (1822–1874), филолог, журналист, соратник М. Н. Каткова – 473, 714
- Леонтьев* Петр, крестьянин – 486
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт – 10, 237, 327, 459, 462, 463, 638 641, 699, 700, 710, 713, 731
- Лесаже* Ален Рене (1668–1747), французский писатель – 19
- Лесевич* Владимир Викторович (1837–1905), философ – 233, 238
- Лесков* Николай Семенович (1831–1895), писатель – 406, 474, 714
- Лесли* Джон (1766–1832), английский физик, математик – 218
- Лессинг* Готхольд Эфраим (1729–1781), драматург, теоретик искусства и литературный критик – 145, 411
- Либих* Юстус (1803–1873), немецкий химик, основатель научной школы, один из создателей агрохимии – 213
- Ливий* Тит (59 до н. э. – 17 н. э.), римский историк – 307
- Линней* Карл (1707–1778), шведский естествоиспытатель – 214
- Литтре* Эмиль (1801–1881), французский философ – 125, 126, 702
- Лия*, в Ветхом Завете первая жена Иакова – 182
- Локатиоши*, пристав – 481
- Локк* Джон (1632–1704), английский философ – 142
- Ломброзо* Чезаре (1835–1909), итальянский судебный психиатр и криминалист – 299
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711–1765), ученый, поэт, художник, историк – 327, 676
- Лопатин* Лев Михайлович (1855–1920), философ и психолог – 321
- Лопухина* Евдокия Федоровна, в монашестве Елена, царица, первая жена Петра I – 274
- Лоренцо Валла* (1405 или 1407–1457), итальянский гуманист – 144
- Лосский* Николай Онуфриевич (1870–1865), философ – 520

- Лошкарев* (Лашкарев) Петр Александрович (1833–1899), юрист, профессор Киевской духовной академии – 397
- Лука*, в Новом Завете евангелист – 356
- Лукреция Борджа* (1480–1519), дочь папы Александра VI и сестра Чезаре Борджа – 182, 192
- Луцицкий Иван Васильевич* (1845–1918), историк и политический деятель – 646, 732
- Любимов Николай Алексеевич* (1830–1897), профессор кафедры физики и физической географии Московского университета, публицист, сотрудник изданий М. Н. Каткова – 131
- Любишев Александр Александрович* (1890–1972), биолог – 691
- Людвик IX Святой* (1214–1270), французский король (с 1226) из династии Валуа – 250
- Людвик XIV* (1638–1715), французский король (с 1643) из династии Бурбонов – 209, 215, 217, 249, 250, 683
- Лютер Мартин* (1483–1546), деятель Реформации в Германии, основатель лютеранства – 193, 220, 230, 287, 611, 612
- Ляпунов Прокопий Петрович* (?–1611), думный дворянин. В 1611 г. организатор первого земского ополчения – 342, 709
- М А.*, автор книги «Советы матери перед вступлением в брак дочерей, как сохранить любовь и верность мужу» – 394
- Магомет* (Мухаммед) (ок. 570–632), пророк, основатель ислама – 572
- Мазинг Карл Карлович*, педагог, основатель и директор двух московских училищ – реального и коммерческого – 472, 473
- Майков Аполлон Николаевич* (1821–1897), поэт – 486, 716
- Макарий* (1481 или 1482–1563), митрополит Всероссийский (1543), венчал на царство (1547) Ивана IV – 730
- Макаров Степан Осипович* (1848/1849–1904), флотоводец, океанограф – 709
- Македоний*, епископ Константинополя, полуарианец, в 360 был низложен – 669
- Макиттош Джеймс* (1765–1832), публицист, историк, представитель шотландской философской школы – 39
- Маккавей*, в Ветхом Завете под этим именем известна семья Маттафия Маккавея, доблестно защищавшая отечественную веру во время гонений Антиоха Епифана – 356
- Маколей* (Маколей) Томас Бабингтон (1800–1859), английский историк, публицист и политический деятель – 157, 160, 177, 180, 249, 639
- Максим Грек* (Михаил Триволис) (ок. 1475–1555), богослов, публицист, философ, переводчик – 426, 721
- Малебранш* (Мальбранш) Никола (1638–1715), французский философ – 142
- Мальтус Томас Роберт* (1766–1834), английский экономист, основоположник мальтузианства – 324, 699
- Мальцев Алексей Петрович* (1855–1915), протоиерей, настоятель посольской церкви в Берлине – 280, 281, 528
- Мамонов М. А.*, профессор Казанской духовной академии – 270
- Манухин Сергей Сергеевич* (1856–1922), министр юстиции (1904), сенатор, член Государственного совета – 729
- Мария*, в Новом Завете Богоматерь, мать Иисуса Христа – 183
- Мария*, в Новом Завете жительница Вифании, сестра Лазаря – 611
- Мария Александровна* (1824–1880), императрица, супруга Александра II – 362, 364, 456
- Мария Николаевна* (1819–1876), великая княгиня, дочь Николая I – 365
- Марков Иван*, старообрядец поморского согласия – 577
- Маркс Карл* (1818–1883), немецкий мыслитель, основатель коммунистической теории, названной его именем – 704
- Мартенс Фридрих Фромгольд* (Федор Федорович) (1845–1909), русский дипломат и юрист – 154, 703
- Матвеев Артамон Сергеевич* (1625–1682), боярин, приближенный царя Алексея Михайловича – 263
- Матфан*, в Ветхом Завете жрец Ваалова храма в Иерусалиме – 190
- Матфей*, в Новом Завете евангелист – 190
- Машиков Василий Александрович* (1834–1902), петербургский аристократ. В 1866 вместе с бароном М. М. Корфом основал «Общество поощрения духовно-нравственного чтения». По указу Александра III в 1884 он был выслан за границу – 612

- Медея*, в греческой мифологии дочь царя Колхиды Ээта, наделенная даром волшебства – 156
- Меланхтон* Филипп (1497–1560), немецкий богослов и педагог, сподвижник М. Лютера – 205
- Мельшиш Л.* (наст. фам. Якубович Петр Филиппович) (1860–1911), поэт, революционер-народовец – 299, 707
- Менделеев* Дмитрий Иванович (1834–1907), химик, педагог, общественный деятель – 318
- Меншиков* Александр Данилович (1673–1729), сподвижник Петра I, при Екатерине I фактический правитель государства – 263
- Меншиков* Александр Сергеевич (1787–1869), адмирал, начальник Главного морского штаба, председатель негласного цензурного комитета – 387
- Меншуткин* Николай Александрович (1842–1907), химик – 105
- Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1866–1941), писатель – 271–274, 357, 367, 566–574, 705, 727
- Мержеевский* Иван Павлович (1838–1908), психиатр, профессор Военно-Морской академии – 509, 719
- Мерклер*, немецкий философ – 325, 326
- Меркушев Т.*, владелец типографии – 699
- Меровинги*, первая королевская династия во Франкском государстве (кон. 5 в. – 751) – 638
- Методий* (Великанов Михаил Матвеевич) (1852–1914), архимандрит, публицист, цензор – 355, 357, 360, 543
- Мечников* Илья Ильич (1845–1916), биолог и патолог, создатель научной школы – 107
- Мещанинов*, товарищ министра народного просвещения (1880–1881) Сабурова А. А. – 518
- Мещерский* Владимир Петрович (1839–1914), князь, публицист, редактор-издатель журнала «Гражданин» – 293, 305, 465
- Мидельтон*, мать Г. Т. Бокля – 156
- Микель Анджело* (Микеланджело) Буонаротти (1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт – 642, 727
- Милицина* Елизавета Митрофановна (урожд. Разуваева) (1869–1930), прозаик – 368, 710
- Миллер* Герард Фридрих (1705–1783), историк, по национальности немец. В 1733–1743 в экспедиции по изучению Сибири – 639
- Мильт* Джон Стюарт (1806–1873), английский философ, экономист и общественный деятель – 125, 126, 132, 164, 166, 221, 227, 324, 704
- Мильтон* Джон (1608–1674), английский поэт, политический деятель – 41, 166, 681, 735
- Милотин* Дмитрий Алексеевич (1816–1912), граф, генерал-фельдмаршал. В 1861–1881 военный министр – 303, 393, 464
- Мишин* Кузьма (?–1616), организатор национально-освободительной борьбы русского народа против польских интервентов – 291
- М-ский* – см. Минский Н. М.
- Минский* (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1885–1937), писатель – 233, 358, 367
- Мирабо* Оноре Габриель Рикети (1749–1891), граф, деятель Великой французской революции – 254
- Мисаил*, епископ Смоленский (1445–1474) и митрополит Киевский – 664
- Михаил*, архимандрит, узник Соловецкого монастыря – 489
- Михаил* (Павел Васильевич Семенов) (1874 – после 1916), богослов, религиозный писатель – 571, 727
- Михаил Федорович* (1596–1645), первый царь (с 1613) из рода Романовых – 454
- Михайловский* Николай Константинович (1842–1904), социолог, публицист, литературный критик, народник – 154, 229–234, 236, 237, 239, 293, 300, 322
- Михлевич* Иосиф Григорьевич (1809–1885), философ, профессор одесского Ришельевского лицея – 386
- Мицкевич* Адам (1798–1855), польский поэт – 651
- Мишле* Жюль (1798–1874), французский историк – 249, 325
- Могила* Петр Симеонович (1596/1597–1647), церковный писатель, митрополит Киевский и Галицкий (с 1632) – 522, 676, 711
- Моисей*, в Ветхом Завете предводитель израильских племен, пророк – 183, 193, 247, 359, 500, 502, 511, 512, 572
- Моль* Роберт (1799–1875), немецкий юрист, политический деятель – 301

- Молмзеи* Теодор (1817–1903), немецкий историк – 189, 368
- Мономах*, здесь: Владимир II Мономах (1053–1125), великий князь Киевский (с 1113) – 190, 257
- Моир* Александр (1773–1859), профессор анатомии человека в Эдинбургском университете – 36
- Монтескье* Шарль Луи (1689–1755), французский просветитель, правовед, философ – 189
- Мопассан* Ги де (1850–1893), писатель – 316
- Мор* Томас (1478–1535), английский государственный деятель, писатель, один из основоположников утопического социализма – 681, 735
- Морозов* Борис Иванович (1590–1661), боярин, воспитатель царя Алексея Михайловича, фактический глава правительства в 1645–1648 – 262
- Моцарт* Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор – 94, 159, 216, 226, 227
- Мошков* Кузьма, крестьянин, узник Спасо-Евфимиева монастыря – 486
- Мстислав Мстиславич Удалой* (?–1228), князь, (с 1193) княжил в Триполье, Торческе, Новгороде, Галиче, воевал против немецких рыцарей – 264
- Мстислав Ростиславич Храбрый* (11 в.), сын Мстислава Мстиславича Удалого – 264
- Муретов* Митрофан Дмитриевич (1850–1917), богослов, профессор Московской духовной академии, член комиссии по научному изданию Библии – 501, 528, 718
- Мурильо* Бартоломе Эстебан (1618–1682), испанский живописец – 101
- Мурчисон* (Мёрчисон) Родерик Импи (1792–1871), английский геолог – 173
- Муций Сцевола*, древнеримский легендарный герой раннего периода римской истории – 274, 478, 479
- Мышцын* Василий Никанорович (1866–?), профессор Московской духовной академии, писатель – 519, 662, 720, 734
- Мюллер* Фриц (1821–1897), немецкий зоолог – 47
- Набоков* Владимир Владимирович (1899–1977), поэт, прозаик, критик – 696
- Навзикая* (Навсикая), в греческой мифологии дочь царя феаков Алкиноя, которая оказывала помощь попавшему в беду Одиссею – 182, 704
- Наполеон I* (Наполеон Бонапарт) (1769–1821), французский император в 1804–1814 и в марте–июне 1815 – 292, 294, 441
- Наполеон III* (Луи Бонапарт) (1808–1873), французский император, племянник Наполеона I – 171
- Нарышкина* Наталия Кирилловна (1651–1694), мать Петра I – 190, 273
- Нафан*, в Ветхом Завете пророк – 378
- Некрасов* Николай Алексеевич (1821–1877/1878), поэт – 237, 292, 293, 337, 356, 384, 411, 515, 710, 731
- Нерон* (37–68), римский император (с 54) из династии Юлиев-Клавдиев – 246
- Нибул* Бартольд Георг (1776–1831), немецкий историк – 171, 172, 176, 184, 639
- Нибул* Карстен (1733–1815), путешественник, отец Б. Г. Нибура – 173, 174, 176
- Никанор* (Александр Бровкович) (1827–1890), архиепископ Херсонский, богослов, историк церкви – 321, 322
- Никита Пустосвят* (Никита Константинович Добрынин) (?–1682), идеолог старообрядчества, писатель – 349
- Никодим*, в Новом Завете фарисей, по преданию, позже принял прощение от апостолов – 247, 417
- Никодим* (Никита Иванович Казанцев) (1803–1874), епископ Чебоксарский и Красноярский, богослов, публицист – 443
- Николай Александрович* (1843–1865), великий князь, старший сын Александра II – 714
- Николай I* (1796–1855), российский император (с 1825) – 88, 212, 364, 441, 471, 619
- Николай* чудотворец, Николай Мирликийский, святой (1-я пол. 4 в.) – 432, 479, 564, 611, 677
- Никольский* Александр Александрович (1866–1915), историк русской философии – 733
- Никольский* Николай Константинович (1863–1936), богослов, историк церкви – 545, 546, 724
- Никольский* Николай, псевд., драматурга Н. Н. Франка (?–1917) – 545, 546, 552, 553, 713

- Никон* (Никита Минов) (1605–1681), патриарх (с1652), провел церковные реформы, вызвавшие раскол – 284, 482, 483, 531, 540, 610, 636, 724
- Никон* (Николай Иванович Рождественский) (1851–1918), архимандрит, епископ, член Св. Синода, писатель, издатель «Троицких Листков» – 665, 666, 673
- Николас* (Рклицкий) (1892–1976), епископ – 734
- Ницше* (Ницше) Фридрих (1844–1900), немецкий философ – 10, 358, 466, 521, 700
- Новиков* Николай Иванович (1744–1816), писатель, журналист, издатель – 153, 459, 463, 464
- Нокс* Джон (1505 или ок. 1514–1572), идеолог и вождь шотландской Реформации, основатель шотландской пресвитерианской церкви – 349
- Нордау* Макс (1849–1925), немецкий критик и публицист – 733
- Норов* Авраам Сергеевич (1795–1869), писатель, языковед, министр народного просвещения (1853–1856) – 388, 389
- Нумитор*, в римской мифологии царь Альбы Лонги, отец Реи Сильвии – 190
- Ньютон* Исаак (1643–1727), английский математик, механик, астроном и физик – 19, 93, 94, 100, 103, 132, 137, 141, 142, 163, 182, 185, 323, 345, 684
- Оболенский* Алексей Дмитриевич (1855–1933), князь, обер-прокурор Св. Синода (1905–1906) – 238, 656, 714
- Овидий* (Публий Овидий Назон) (43 до н. э. – ок. 18 н. э.), римский поэт – 387, 702
- Огарев* Николай Платонович (1813–1877), поэт, публицист, друг и соратник А. И. Герцена – 384, 732
- Олег Святославич* (?–1115), князь Киевский – 264
- Ом* Георг Симон (1784–1854), немецкий физик – 184
- Омар I* (ок. 591 или 581–644), второй халиф (с 634) в Арабском халифате. Один из ближайших сподвижников Мухаммеда – 155
- Онаи*, в Ветхом Завете сын Иуды, отказавшийся иметь ребенка от Фамари и был наказан Богом смертью – 503, 506, 718
- Ориген* (ок. 185–253), христианский теолог, философ, филолог – 733
- Остерман* Андрей Иванович (1686–1747), государственный деятель, дипломат – 263
- Островский* Александр Николаевич (1823–1886), драматург – 390, 406, 454, 479, 661, 705, 725
- Оуэн*, помещик, Дарвины были близкими друзьями Оуэнов – 37
- Оффенбах* Жак (1819–1880), французский композитор – 246
- П.*, псевд. священника, одного из авторов журнала «Новый Путь» – 367
- Павел* (?–65), в Новом Завете апостол. Сначала носил еврейское имя Савл, а после принятия христианства стал называться Павлом – 194, 309, 373, 378, 424, 491, 511, 535, 537, 574, 612, 614
- Павел Александрович* (1860–1919), великий князь, сын императора Александра II – 364
- Павленков* Флорентий Федорович (1839–1900), книгоиздатель – 153, 156, 229, 230, 239, 240, 696, 703
- Павлов* Алексей Степанович (1832–1898), профессор Московского университета, канонист – 397–399
- Паисий*, патриарх Александрии (1663–1665, 1668–1676) – 716
- Палей* Уильям (1743–1805), английский философ – 38–40, 42, 701
- Палеологи*, династия византийских императоров в 1261–1453 – 523, 525
- Палисси* Бернар (ок. 1510–1589 или 1590), французский художник-керамист и естествоиспытатель – 344
- Паллас* Петр Симон (1741–1811), русский естествоиспытатель – 639
- Параскева-Пятница* (3 в.), святая великомученица. Ее родители особо почитали день страданий Иисуса Христа – пятницу, поэтому родившуюся в этот день дочь называли Параскевой (погречески – Пятницей) – 564, 726
- Паре* Амбруаз (1517, по другим источникам, 1509, 1510–1590), французский хирург – 209
- Парменид* из Элеи (р. ок. 540 или ок. 520 до н. э.), древнегреческий философ, основатель элейской школы – 142
- Паскаль* Блез (1623–1662), французский математик, религиозный философ – 438, 684, 713

- Пастер* Луи (1822–1895), французский ученый, основоположник микробиологии и иммунологии – 345, 520, 522
- Паули*, рабочий – 166
- Пахомий* Симанский, тамбовский архиепископ – 601
- Педен* Александр (1626–1686), шотландский проповедник, защитник пуритан от кальвинизма – 208
- Пелагея* (19 в.), юродивая – 508
- Перепелкина* Зинаида Денисовна, председатель попечительского совета и директор частной женской гимназии в Москве – 473
- Перикл* (ок. 490–429 до н. э.), афинский стратег (главнокомандующий) в 444/443–429 до н. э. – 84, 249, 534
- Перовский* Василий Алексеевич (1795–1857), генерал от кавалерии, оренбургский военный губернатор и командир отдельного Оренбургского корпуса – 364, 365
- Персон* (Пирсон) (1613–1686), английский теолог – 38
- Перцов* Петр Петрович (1868–1947), литературный критик, публицист, поэт, издатель и соредaktor журнала «Новый Путь» – 7, 8, 699, 702
- Петр*, в Новом Завете апостол – 546, 570
- Петр* (?–1328), митрополит всея Руси (1308–1326) – 262, 478, 479
- Петр I Великий* (1672–1725), русский царь (с 1721 первый российский император) – 88, 93, 155, 190, 257–259, 263, 271–274, 317, 454, 503, 529, 530, 533, 539, 540, 544, 547, 557, 570, 574, 589, 601, 618, 619, 642, 645, 727, 728
- Петрарка* Франческо (1304–1374), итальянский поэт – 191
- Петров* Антон, крестьянин села Бездна Спасского уезда Казанской губернии, зачинщик выступления крестьян в ответ на реформу 19 февраля 1861 – 492, 717
- Петров* Григорий Спиридонович (1867–1925), священник, публицист, проповедник, в 1908 был лишен сана из-за участия в «Союзе церковного обновления» – 467, 468, 713, 724
- Петрыши*, старообрядец, наставник поморского согласия – 577
- Печерский Андрей*, псевд. Мельникова Павла Ивановича (1818–1883), писатель – 406
- Пизистрат* (Писистрат) (ок. 600–528 до н. э.), афинский тиран – 249
- Пикулин* Павел Лукич (1822–1885), адъюнкт терапевтического отделения госпитальной клиники при Московском университете – 644
- Пинэль* (Пинель) Филипп (1745–1826), французский врач, один из основоположников научной психиатрии – 217
- Пирогов* Николай Иванович (1810–1881), хирург и анатом, педагог, общественный деятель, основоположник военно-полевой хирургии – 296, 345, 473, 714
- Пирожков* Михаил Васильевич (1867–1927), издатель – 566
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840–1868), публицист и литературный критик – 153, 229, 230, 387, 388, 515, 516, 684, 693, 703, 720
- Писарев Л. И.*, профессор Казанской духовной академии по кафедре патрологии – 315, 316, 708
- Писемский* Алексей Феофилактович (1821–1881), писатель – 406
- Питтты*: *Питт* Уильям Старший граф Чатам (1708–1778), премьер-министр Великобритании (1766–1768), министр иностранных дел (1756–1761); *Питт* Уильям Младший (1759–1806), премьер-министр Великобритании, сын Питта Старшего – 160, 167, 681
- Пифагор* (6 в. до н. э.), древнегреческий философ, математик – 465
- Плаут* Тит Макций (сер. 3 в. – ок. 184 до н. э.), римский комедиограф – 189
- Платон* (428 или 427 – 348 или 347 до н. э.), древнегреческий философ, ученик Сократа – 10, 65, 93, 119, 120, 141, 152, 154, 169, 221, 228, 236, 243, 312, 313, 511, 641, 700, 705
- Платон* (Левшин) (1737–1812), митрополит Московский – 530, 536, 537, 609, 730
- Плеве* Вячеслав Константинович (1846–1904), министр внутренних дел, шеф отдельного корпуса жандармов – 608
- Плиний* Старший (23 или 24–79), римский государственный деятель, историк, писатель – 638
- Плутарх* (ок. 45–ок. 127), древнегреческий писатель и историк – 176
- По* Эдгар Аллан (1809–1849), американский писатель-романтик, критик – 719
- Победоносцев* Константин Петрович (1827–1907), государственный деятель, юрист, в 1880–1905 обер-про-

- курор Св. Синода – 278, 486, 541, 543, 655, 656, 658, 666–668, 670, 714, 733, 734
- Погодин* Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель – 643, 676, 731
- Подоллинский* Андрей Иванович (1806–1886), поэт, мемуарист – 10
- Полевой* Николай Алексеевич (1796–1846), писатель, журналист, историк – 704
- Полилов Н. Н.*, переводчик – 520
- Помпей* Секст (ок. 75–35 до н. э.), римский полководец – 246
- Поитий Пилат*, римский всадник, с 26 г. н. э. наместник Иудеи, отстранен от должности в 36–37 гг. – 316, 567, 621, 622
- Попов* Иван Васильевич, профессор Московской духовной академии по кафедре патрологии, редактор «Богословского Вестника» в 1903–1906 гг. – 656, 721
- Поселянин* (наст. имя и фам. Погожев) Евгений Николаевич (1870–1931), духовный писатель, публицист – 508, 600, 709
- Потехин* Павел Анатольевич, председатель училищной комиссии при Петербургской городской думе – 275
- Преображенский* Василий Петрович (1864–1900), философ, редактор журнала «Вопросы Философии и Психологии» – 700
- Прескотт* Уильям Хиклинг (1796–1859), американский историк и литературовед – 172–177, 184
- Прометей*, в греческой мифологии титан, похитивший у богов с Олимпа огонь и передавший его людям – 287
- Протасов* Николай Александрович (1799–1855), генерал от кавалерии, обер-прокурор Св. Синода (1836–1855) – 530, 620, 722
- Протопопов* Александр Дмитриевич (1866–1917), министр внутренних дел – 233
- Пругавин* Александр Степанович (1850–1920), исследователь старообрядчества и сектанства, революционер – 486, 487, 489, 490, 492, 493, 495, 716
- Прудон* Пьер Жозеф (1809–1865), французский социалист, теоретик анархизма – 154
- Прутков* Козьма, коллективный псевд., под которым в журналах «Современник» и «Искра» выступали в 1850–1860-е гг. поэты А. К. Толстой и братья Жемчужниковы – 715
- Пухта* Георг Фридрих (1798–1846), немецкий юрист – 173
- Пушкин* Адриан, купец из крестьян – 447, 448
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799–1837), поэт, прозаик – 10, 35, 146, 206, 229, 237, 293, 318, 327–329, 384, 387, 389, 390, 406, 411, 441, 449, 456, 463, 464, 492, 493, 516, 530, 558, 559, 610, 641, 700, 701, 703–705, 707, 709, 713, 714, 718, 723, 731, 735
- Пыпин* Александр Николаевич (1833–1904), литературовед – 154
- Пэке* (Пеке) Жан (1622–1724), французский анатом – 209
- Рагозина*, историк – 627
- Радеи* Эдита Федоровна, баронесса, фрейлина княгини Елены Павловны – 629
- Радищев* Александр Николаевич (1749–1802), революционный мыслитель, писатель – 476, 715
- Раевский* Павел Васильевич (1878–1940), в 1905–1906 гг. входил в группу петербургских священников, настаивавших на обновлении церкви и создавших «Союз церковного обновления». Организационно направление, представленное «группой 32-х», возродилось лишь после Февральской революции – 724
- Разумовский* Алексей Григорьевич (1709–1771), граф. С 1742 морганатический супруг Елизаветы Петровны – 601
- Ранке* Леопольд фон (1795–1886), немецкий историк – 639
- Рафаэль Санти* (1483–1520), итальянский живописец и архитектор – 93, 94, 101, 154, 191, 226, 227, 287, 727
- Рахиль*, в Ветхом Завете младшая дочь Лавана и вторая жена патриарха Иакова – 182, 183, 188, 507, 704
- Рачинский* Сергей Александрович (1833–1902), ботаник, деятель народного просвещения – 140, 630, 632, 676, 702
- Ренаи* Жозеф Эрнст (1823–1892), французский писатель – 121, 234, 529, 722
- Рея Сильвия*, или Илия, согласно римской легенде, прародительница римлян, дочь царя Альбы Лонги Нумитора, мать Ромула и Рема – 190, 191

- Рид* Томас (1710–1796), английский философ – 218
- Рид* Томас Майн (1816–1883), английский писатель – 587
- Риккардо* Давид (1772–1823), английский экономист – 349
- Ринальди* Антонио (ок. 1710–1794), архитектор, итальянец по происхождению – 717
- Риолан* (?–1657), французский анатом – 209
- Ришелье* Арман Жан дю Плесси (1585–1642), кардинал, глава Королевского совета, фактический правитель Франции – 215
- Рождественский* Александр Петрович (1864–?), богослов, профессор Петербургской духовной академии – 527
- Рождественский* П. А., священник – 566
- Рождествен* Александр Сергеевич (1862–1907), богослов, публицист – 706
- Рождественский* Зиновий Петрович (1848–1909), вице-адмирал, в Русско-японскую войну командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой – 580, 725
- Розанов* Василий Васильевич (1856–1919) – 231–234, 307–309, 314, 315, 357, 358, 367, 442, 443, 501, 504, 618, 689–700, 702–705, 707, 709–712, 716–721, 727–729
- Розанова* Надя (1892–1893), первая дочь В. В. Розанова – 712
- Рокитанский* Карл (1804–1878), австрийский патолог, один из основателей и руководителей венской школы – 172
- Роман Мстиславич* (?–1205), князь Новгородский, Владимир-Вольнский и Галицкий, сын Мстислава Изяславича – 264
- Романов* (псевд. Рцы) Иван Федорович (1861–1913), писатель, публицист, друг Розанова – 690, 713
- Ромул*, легендарный основатель Рима и первый царь (8 в. до н. э.) – 190, 191, 265
- Рудометкин* Максим (?–1877), казак, глава и основатель секты кавказских прыгунов – 494
- Руссо* Жан Жак (1712–1778), французский писатель и философ – 40, 166, 217, 226, 236, 451, 703
- Руфь*, в Ветхом Завете благочестивая мавритянка – 507
- Рылеев* Кондратий Федорович (1795–1826), поэт-декабрист – 731
- Рюриковичи*, династия русских князей, в т. ч. всех князей киевских, владимирских, московских и русских царей (кон. 9–16 в.) – 257, 456, 457
- С-и А.* – 307, 308
- С-ов* Фирс, священник – 361
- Саблер* Владимир Карлович (1845–1923), обер-прокурор Св. Синода (1911–1915), в 1915 принял фамилию Десятовский – 474
- Сабуров* Андрей Александрович (1837–1916), министр народного просвещения в 1880–1881 гг. – 518, 720
- Саватий* (?–1435), преподобный, основатель Соловецкого монастыря – 716
- Савонарола* Джироламо (1452–1498), итальянский проповедник, религиозный и политический реформатор, монах-доминиканец – 488, 666
- Савиньи* Фридрих Карл (1779–1861), немецкий юрист, глава исторической школы права – 173, 176, 184
- Сайдергам* (Сиденгам) Томас (1624–1689), английский врач, противник Парацельса, реформатор практической медицины – 209
- Салтыков* Ивашка, узник Соловецкого монастыря – 79
- Салтыков* (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (1826–1889), писатель-сатирик, публицист – 237, 293, 384, 715
- Салюсбери* (Солсбери) Роберт Артур Толбот (1830–1903), маркиз, английский политический деятель, неоднократно премьер-министр – 302
- Самарин* Юрий Федорович (1819–1876), философ, историк, общественный деятель – 126, 390, 453, 676, 722
- Самуил*, в Ветхом Завете пророк и судья – 379
- Санд* Жорж (1804–1870), французская писательница – 684
- Сарра*, в Ветхом Завете жена Авраама – 379
- Сведомский* Павел Александрович (1849–1904), живописец – 569, 570
- Светлов* В. Я., редактор журнала «Нива» с 1904 – 721
- Светлов Павел Яковлевич* (1861–1941), протоиерей, богослов, религиозный писатель – 328, 351, 674, 675, 721
- С.-Бев* (Сент-Бёв) Шарль Огюстен (1804–1869), французский критик – 154

- Свида*, искаженное название самого крупного греческого лексикона, ошибочно принимавшегося до 20 в. за имя его создателя Суда. Возник лексикон ок. 1000 н. э. – 154
- Селивановы*, последователи секты скопцов, основанной в конце 18 в. Кондрачем Селивановым – 614
- Семенов Ф.*, священник – 490
- Сенека* Луций Анней (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.), римский политический деятель, философ и писатель – 144, 193
- Сен-Симон* Клод Анри де Рувруа (1760–1825), граф, французский социалист-утопист – 340
- Серафим Саровский* (Прохор Исидорович Мошнин) (1760–1833), преподобный, подвижник, основатель Серафимо-Саровской обители – 620
- Сервантес* Сааведра Мигель де (1547–1616), испанский писатель – 87
- Сервий Тулий*, шестой царь Древнего Рима в 578–534/533 до н. э. – 463, 464
- Сергий Александрович* (1757–1905), великий князь, генерал-губернатор Москвы, сын Александра II – 384, 480, 715
- Сергий Радонежский* (Варфоломей) (ок. 1321–1392), святой, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря – 262, 478, 479, 611
- Сергий* (Иван Николаевич Страгородский) (1867–1944), ректор Петербургской духовной академии, патриарх Московский и всея Руси (с 1943) – 527, 530
- Серовский* Вацлав (1858–1945), польский этнограф и писатель – 286, 706
- Сеченов* Иван Михайлович (1829–1905), создатель русской физиологической школы – 126
- Сивиллы* (Сабиллы), легендарные пророчицы; насчитывалось до 12 Сивилл. Наиболее известная Кумская Сивилла, которой приписываются «Сивиллины книги» – сборник изречений и предсказаний – 169
- Сидмут*, виконт (Генри Аддингтон) (1757–1844), английский государственный деятель, с 1789 спикер, глава кабинета – 199
- Силин* (1834–?) Петр Иоаннович, протонерей, писатель – 630
- Сиязгин* Дмитрий Сергеевич (1853–1902), министр внутренних дел (с 1900) – 608
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838–1910), литературный критик, историк литературы – 153, 154, 233, 237, 238, 388
- Скальковский* Константин Апполонович (1843–1906), горный инженер, писатель – 558
- Скотт* Вальтер (1771–1832), английский писатель, поэт – 39
- Слонимский* Людвиг Зиновьевич (1850–1918), публицист – 238
- Смайльс* Самуил (Сэмюел) (1812–1904), английский писатель – 343–349, 709
- Смарагд* (Александр Крыжановский) (?–1863), архиепископ Рязанский и Зарайский – 397
- Смирзгин*, священник – 380
- Смирнов П. А.*, протонерей, редактор «Церковного Вестника» – 714
- Смит* Адам (1723–1790), шотландский экономист и философ – 195, 210, 217, 218, 349
- Смит* Виллиам (Уильям) (1769–1839), английский инженер, геолог – 218
- Соколовский* А. Л., переводчик – 704
- Сократ* (ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий философ – 142, 144, 187, 228, 254, 418, 450, 508, 700
- Соловьёв* Владимир Сергеевич (1853–1900), религиозный философ, поэт, публицист – 10, 43, 45, 46, 48, 50, 57, 58, 134, 152, 238, 321, 352–354, 488, 489, 521, 524, 530, 536, 569, 656, 676, 698, 700, 701, 709, 722, 727, 733
- Соловьёв* Евгений Андреевич (1863–1905), писатель – 155–157, 161, 162, 167, 168, 172, 229, 239, 240, 703
- Соловьёв* Сергей Михайлович (1820–1879), историк – 189, 301, 342, 385, 389, 399, 478, 489, 524, 540, 644, 709
- Соломон*, в Ветхом Завете сын царя Давида, третий царь Израильский – 356, 359–361, 418, 478, 502, 507
- Соломония*, мать братьев-мучеников Макавеев – 356
- Солон* (между 640 и 635 – ок. 559 до н. э.), афинский архонт (594), поэт – 463
- Сорбон* Роббер де, духовник Людовика IX, основал в 1253 богословскую школу и приют для бедных студентов; позже – теологический факультет Парижского университета, с 17 в. рас-

- пространилось второе название университета – Сорбонна – 733
- Софокл* (ок. 496–406 до н. э.), древнегреческий драматург – 189
- Спартак* (?–71 до н. э.), вождь крупнейшего восстания рабов в Древнем Риме – 233, 238
- Спенсер* Герберт (1820–1903), английский философ и социолог – 126, 164, 226, 227, 302, 704, 733
- Сперанский* Михаил Михайлович (1772–1839), граф, государственный деятель. С 1808 ближайший советник Александра I, автор плана либеральных преобразований – 559
- Спиноза* Бенедикт (Барух) (1632–1677), нидерландский философ – 93, 172, 520, 521
- Сталь* Огюст Луи (1700–1827), барон, французский писатель – 230
- Сташкевич* Николай Владимирович (1813–1840), философ, поэт – 343, 642
- Стасюлевич* Михаил Матвеевич (1826–1911), историк, журналист и общественный деятель – 293, 542
- Стародум* Николай Яковлевич (1854–1906), журналист, критик – 308, 360, 707, 710
- Стахович* Михаил Александрович (1861–1923), общественный деятель, публицист – 293
- Степанов И.*, переводчик – 709
- Стессель* Анатолий Михайлович (1848–1915), генерал-лейтенант, в Русско-японскую войну сдал Порт-Артур противнику – 728
- Стефан Пермский* (1340–1396), епископ Пермский, писатель – 283, 706
- Стефенс*, английский издатель – 40
- Стивенс* Джеймс Френсис (1792–1859), английский естествоиспытатель – 701
- Страхов* Николай Николаевич (1828–1896), философ, публицист, литературный критик – 7, 12, 134, 139, 140, 146, 148, 152, 234, 695, 700
- Стрешнев* Тихон Никитич (1644–1719), боярин, управлял приказом военных дел при Петре I, сенатор – 716
- Строганов* Сергей Григорьевич (1794–1882), граф, государственный деятель, в 1835–1847 попечитель Московского учебного округа, в 1859–1860 Московский генерал-губернатор, археолог – 385, 389, 390
- Суворин* Алексей Сергеевич (1834–1912), журналист и издатель – 471, 578, 714
- Суворов* Николай Семенович (1848–?), профессор Московского университета, автор работ по церковному праву – 397–399
- Сугерие* (ок. 1081–1152), аббат, богослов, историк церкви, государственный деятель – 641
- Сулла* (138–78 до н. э.), римский полководец, диктатор – 93, 246
- Сусанин* Иван Осипович (?–1613), герой освободительной борьбы русского народа начала 17 в., крестьянин Костромского уезда – 286, 293
- Суслова* Аполлинария Прокофьевна (1839–1918), первая жена Розанова – 711
- Суслова* Надежда Прокофьевна (1843–1918), доктор медицины – 393, 711
- Сцевола* – см. Муций Сцевола
- Сципион Африканский Старший* Публий Корнелий (ок. 235 – ок. 183 до н. э.), римский полководец – 187
- Сэдэвик* (Седжвик) Адам (1785–1873), английский геолог – 38
- Тараканова* Елизавета (ок. 1745–1775), выдавала себя в Париже за дочь Елизаветы Петровны, объявила себя претенденткой на русский престол – 601, 665
- Тареев* Михаил Михайлович (Максим Матвеевич) (1866–1934), религиозный философ, богослов – 528
- Тацит* (ок. 58 – ок. 117), римский историк – 246
- Тезей* (Тесей), легендарный афинский царь – 699
- Теодолинде* (Теодолинда) (?–628), лангобордская королева, жена короля Автариса – 249
- Теренциан* Мавр (1-я половина 4 в.), римский грамматик и знаток метрики – 703
- Тертуллиан* Квинт Септилий Флорес (ок. 160 – после 220), христианский теолог и писатель – 129
- Тиверий* (Тиберий) (42–37 до н. э.), римский император (с 14) из династии Юлиев-Клавдиев – 91, 241, 249, 254
- Тимирязев* Климент Аркадьевич (1843–1920), естествоиспытатель, дарвинист – 691
- Тимофей*, в Новом Завете один из 70 апостолов, спутников и учеников апостола Павла – 357

- Тимур* (Тамерлан) (1336–1405), среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир (с 1370) – 71, 296
- Тихомиров Лев Александрович* (1852–1923), революционер-народник, публицист, позже отошел от революционной деятельности – 555, 556, 725
- Тихомиров Павел Васильевич* (1868–?), богослов, историк, профессор Московской духовной академии по кафедре истории философии – 499, 501, 503–505, 509, 511, 513, 514, 678, 717
- Тихонравов Николай Савич* (1832–1893), литературовед, археолог – 613, 644, 730
- Тициан* (Тициано Вечеллио) (ок. 1476/1477 или 1489/1490–1576), итальянский живописец – 191
- Толстая Александра Андреевна* (1817–1904), двоюродная тетка Л. Н. Толстого – 362–366
- Толстая Софья Андреевна* (1844–1919), жена Л. Н. Толстого – 718
- Толстой Алексей Константинович* (1817–1875), граф, писатель – 719
- Толстой Дмитрий Андреевич* (1823–1889), государственный деятель. В 1865–1880 обер-прокурор Св. Синода, в 1866–1880 министр народного просвещения. Насаждал классицизм в гимназиях – 278, 530, 587, 722
- Толстой Лев Николаевич* (1828–1910), граф, писатель – 8, 114, 229, 234, 237–240, 344–346, 362–366, 406, 411, 415–421, 427–431, 435, 460–463, 489, 502, 522, 525, 579, 677, 700, 710, 713, 718, 721
- Толстой Николай Алексеевич*, католический священник восточного обряда, знакомый В. С. Соловьёва – 733
- Томсон Джеймс* (1700–1748), английский поэт – 701
- Томсон Чарлз Уайвилл* (1830–1882), шотландский океанограф и биолог – 39
- Тон Константин Андреевич* (1794–1881), архитектор – 726
- Трачевский Александр Семенович* (1838–1906), историк, публицист – 110, 111
- Тредиаковский Василий Кириллович* (1703–1768), поэт, филолог – 327
- Троицкий Матвей Михайлович* (1835–1899), психолог и философ – 716
- Трубецкой Сергей Николаевич* (1862–1905), князь, религиозный философ, публицист, общественный деятель – 10, 700
- Тузов И. Л.*, книготорговец – 559
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818–1883), писатель – 237, 293, 477
- Тьерри Огюстен* (1795–1856), французский историк – 177, 180, 639
- Тэн Ипполит Адольф* (1828–1893), французский литературовед, философ, историк – 121, 226, 301
- Тютчев Федор Иванович* (1803–1873), поэт – 467, 713
- Уатт Джеймс* (1736–1819), английский изобретатель, создатель универсального теплового двигателя – 219
- Уваров Сергей Семенович* (1786–1855), граф, государственный деятель, президент Петербургской АН, министр народного просвещения (1833–1849) – 385, 390, 711
- Уоллес Дональд Макензи* (1841–1919), английский писатель – 155, 703
- Урбан II* (1042–1099), римский папа. В 1095 провозгласил 1-й крестовый поход – 729
- Урбаны* – имя восьми пап – 355
- Урий*, в Ветхом Завете сын Хура – 378
- Урусовы* – княжеский род, восходящий к Едигею Мангити, игравшему затем большую роль в Золотой Орде. Во 2-й пол. 14 в. и в нач. 15 в. отпрыском потомства Едигея в 6 колене был Урус-хан, который и считается основателем рода Урусовых. Многие из детей его приняли православие и получили фамилию и звание князей Урусовых – 643
- Успенский Глеб Иванович* (1843–1902), писатель – 237
- Уэвелл* (Юэлл) Уильям (1794–1866), английский философ и историк науки – 177, 178, 704
- Фабий Максим Кунктатор Квинт* (275–203 до н. э.) римский полководец – 93
- Фаларис*, тиран из сицилийского г. Агранжем, правивший в 6 в. до н. э. – 719
- Фамарь* – см. Авессалом
- Фарадей Майкл* (1791–1867), английский физик, основоположник учения об электрическом поле – 101
- Фаррар Фредерик-Уильям* (1831–1903), английский писатель и теолог – 529, 722

- Фаррет**, певица – 158
- Федор Годунов** (Федор Борисович) (1589–1605), царевич, сын Бориса Годунова – 454
- Федосеев** Ермолай, крестьянин – 486
- Фельтен** Юрий Матвеевич (1730 или 1732–1801), архитектор, представитель раннего классицизма – 717
- Феофан Прокопович** (1681–1736), государственный и церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I – 536, 539, 540, 600, 618–620
- Фернэль** (Фернель) Жан (1497–1558), французский математик, астроном и врач – 209
- Фет** (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт – 384, 387, 712
- Фехнер** Густав Теодор (1801–1887), немецкий физик, психолог, философ и сатирик – 325
- Фигнер** Вера Николаевна (1852–1942), деятель российского революционного движения, писательница – 685
- Фигнер** Николай Николаевич (1857–1918), певец (лирико-драматический тенор) – 232, 705
- Фидий** (нач. 5 в. до н. э.) древнегреческий скульптор – 93
- Филарет** (Василий Михайлович Дроздов) (1782–1867), митрополит Московский, участник Манифеста 19 февраля 1861 об отмене крепостного права – 521, 522, 530, 536, 537, 540, 546, 558, 559, 565, 619–621, 623, 657
- Филипп** (Федор Степанович Колычев) (1507–1569), митрополит (с 1566). Публично выступил против опричных казней Ивана IV – 478, 479, 519, 611
- Филипп II** (1527–1598), испанский король (с 1556) из династии Габсбургов – 87, 256
- Филиппов** Михаил Михайлович (1858–1903), ученый, писатель, журналист – 33
- Филиппов** Третий Иванович (1825–1899), государственный контролер, сенатор, член Государственного совета, литератор – 547, 643
- Филон** Александрийский (1 в. н. э.), иудейско-эллинистический философ – 418
- Фихте** Иоганн Готтлиб (1762–1814), немецкий философ – 121, 135, 322
- Фиц-Рой** (Фицрой) Роберт (1805–1865), английский гидрограф и метеоролог, вице-адмирал, руководитель кругосветных экспедиций на военно-парусном корвете «Бигль» (1831–1836) – 40, 701
- Фишер** Куно (1825–1907), немецкий историк философии, последователь Гегеля – 520, 720
- Фишер** Софья Николаевна (1836–?), основательница и директриса частной московской гимназии – 590
- Флери** Виктор Иванович (1800–1856), сурдопедагог – 176
- Фокс** Льюк (1586–1635), английский мореплаватель – 167, 197, 200
- Фома**, в Новом Завете один из 12 апостолов – 726
- Фома Кемтский** (Томас Хамеркен) (ок. 1380–1471), голландский религиозный мыслитель, монах, предполагаемый автор книги «О подражании Христу» – 418, 419, 422, 485, 486
- фон-Визин** (Фонвизин) Денис Иванович (1744/1745–1792), писатель, просветитель – 463
- Фотий** (ок. 810 или ок. 820–890), патриарх Константинополя (858–867, 877–888). Способствовал распространению влияния византийской церкви в славянских землях – 154, 522, 537
- Фогт** (Фогт) Карл (1817–1895), немецкий философ и естествоиспытатель – 240, 693
- Франциск Ассизский** (1181/1182–1226), итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев – 622
- Фредерикс**, немецкий философ, член Берлинского философского общества – 325
- Фукидид** (ок. 460–400 до н. э.), древнегреческий историк – 247, 638
- Фурье** Шарль (1772–1837), французский социалист-утопист – 322, 346
- Фюстель де Куланж** Нюма Дени (1830–1889), французский историк – 541
- Хлодвиг I** (ок. 466–511), король салических франков (с. 481) из рода Меровингов – 250, 708
- Хомяков** Алексей Степанович (1804–1860), религиозный философ, писатель, поэт, публицист, один из основателей славянофильства – 390, 530, 534, 536, 540, 569, 590, 603, 676, 698, 722

- Цезарь Борджия* (Чезаре Борджа) (ок. 1476–1507), правитель Романьи (Италия) с 1499 – 309
- Цезарь Гай Юлий* (102 или 100–44 до н. э.), римский диктатор, полководец – 93, 249, 428
- Цицерон* Марк Туллий (106–43 до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель – 35, 144, 726
- Чаадаев* Петр Яковлевич (1794–1856), мыслитель и публицист – 456
- Чарномская* Н. Н. (Изабелла Ипполитовна) (1858–?), публицист – 606, 607, 730
- Чатам* – см. Питт Уильям Старший
- Череванский* Владимир Павлович (1836–1914), историк, писатель – 311, 707
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1628–1889), писатель, литературный критик, публицист – 465, 476, 696, 715
- Чехов* Антон Павлович (1860–1904), писатель – 698
- Чингис-хан* (Чингисхан) (Тэмуджин, Темучин) (ок. 1153–1227), основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206) – 71, 297
- Чичерин* Борис Николаевич (1828–1904), юрист, историк, философ – 300–302
- Шарапов* Сергей Федорович (1855–1911), публицист, писатель, издатель-редактор газет «Русское Дело», «Русский Труд» – 453, 532, 690, 722
- Шарапова* Зинаида Федоровна, московская издательница-редактор ежемесячного журнала для детей «Мирок», с приложениями (1902–1917) – 469
- Шакловитый* Федор Леонтьевич (?–1689), окольничий, фаворит царевны Софьи Алексеевны, руководитель заговора против Петра I – 716
- Шасслер* (Шаслер) Макс-Александр Фридрих (1819–?), немецкий писатель – 325
- Шекспир* Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт – 39, 41, 157, 189, 228, 287, 290, 411, 451, 455, 462, 681, 704, 706
- Шелгунов* Николай Васильевич (1824–1891), публицист, литературный критик – 153, 154
- Шелли* Пери Биш (1792–1822), английский поэт-романтик – 41
- Шеллинг* Фридрих Вильгельм (1775–1854), немецкий философ – 121, 135, 322, 375, 376, 386–388, 390, 520, 521, 641
- Шенрок* Владимир Иванович (1853–1910), литературовед – 320, 323, 708
- Шереметевы*, бояре и графы (с 18 в.) – 619
- Шестаков* Дмитрий Петрович (1869–1937), поэт, переводчик – 699
- Шестов* Лев (1866–1938), философ – 699
- Шиллер* Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства Просвещения – 451, 641
- Ширинский-Шахматов* Алексей Александрович (1862–1930), князь, обер-прокурор Св. Синода (1906) – 655, 733
- Ширинский-Шахматов* Платон Александрович (1790–1853), поэт и переводчик, министр народного просвещения (с 1849) – 711
- Шлоссер* Фридрих Кристофер (1766–1861), немецкий историк – 639
- Шопенгауэр* Артур (1788–1860), немецкий философ – 10, 126, 134, 135, 358, 521
- Шперк* Федор (Фридрих) Эдуардович (1872–1897), философ, поэт, критик, друг Розанова – 149, 151, 152, 695, 701
- Штраус* Давид Фридрих (1808–1874), немецкий теолог и философ – 612, 722
- Шубин*, крестьянин-старообрядец – 489
- Шубинский* Сергей Николаевич (1834–1913), журналист, историк, редактор журнала «Древняя и Новая Россия» (1875–1881) – 542
- Шушина* Настасия Кузьминична (в монашестве Мария), основательница Ракковского монастыря в Самарской губернии (1886) – 495
- Шуйский* Василий (Василий IV Шуйский) (1552–1612), русский царь (1606–1610) – 454
- Щапов* Афанасий Прокофьевич (1831–1876), историк – 492, 493, 716, 717
- Щеглов* А. Н., редактор книги Н. Л. Кладо (Прибой) «Современная морская война. Морские заметки о русско-японской войне». СПб., 1905 – 575
- Эвклид* (Евклид), древнегреческий математик. Работал в Александрии в 3 в. до н. э. – 38–40, 42, 124, 691, 692

- Эдип*, в греческой мифологии сын царя Фив Лая – 699
- Эдисон* Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель – 231
- Эзон*, древнегреческий баснописец (6 в. до н. э.) – 318
- Эккерман* Иоганн Петер (1792–1854), личный секретарь И. В. Гёте, мемуарист – 701
- Эльпе*, псевд. Лазаря Константиновича Попова (1851–1917), журналист – 578, 579
- Энгельс* Фридрих (1820–1895), немецкий мыслитель и политический деятель, друг К. Маркса – 608
- Эпиктет* (ок. 50 – ок. 140), римский философ-стоик – 446
- Эразм Роттердамский*, Дезидерий (1469–1536), филолог, писатель – 354, 710
- Юм* Дэвид (1771–1776), английский философ, историк, экономист – 172, 218
- Юпитер*, в римской мифологии верховный бог – 678
- Юрий Долгорукий* (90-е 11 в. – 1157), князь Суздальский и великий князь Киевский, сын Владимира Мономаха – 190, 191
- Юстиниан I* (482/483 – 565), византийский император (с 527) – 398, 443, 683
- Юшкевич* Семен Соломонович (1868–1927), писатель – 698
- Ягайло* Владислав (ок. 1350–1434), великий князь литовский (1377–1392), король польский (с 1386), основатель династии Ягеллов – 651
- Ядвига*, польская королева, дочь венгерского короля Людовика Великого (1372–1399), жена литовского князя Ягайло – 651
- Языков* Николай Михайлович (1803–1846/1847), поэт – 229
- Якубович* – см. Л. Мельшин
- Якишич* Дмитрий Николаевич, священник, настоятель русской церкви в Дрездене – 316
- Яльшиев* Иоаким Леонтьевич (1826–1910), протосвитер придворного духовенства, богослов, писатель, проповедник, церковный деятель – 529, 546, 724
- Ярослав Мудрый* (ок. 978–1054), великий князь Киевский (1019), сын Владимира I. При нем составлена «Русская правда» – свод древнерусского права – 257, 317, 662
- Grant R.* – 173
- Grieve* – 173
- Grot R.* – 173
- Maineton* – 173
- Owen R.* – 216
- Simon J.* – 216

Составитель В. П. Гаршин

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИРОДА И ИСТОРИЯ

Предисловие к первому изданию	7
Предисловие ко второму изданию	9
Вопрос о происхождении организмов	12
Теория Чарльза Дарвина, объясняемая из личности ее автора	33
Красота в природе и ее смысл	43
Часть и целое	103
О чудесном в мире	110
Что иногда значит «научно объяснить» явление?	114
Философские влияния в русском обществе	119
Смена мировоззрений	139
Две философии (критическая заметка)	149
Книга особенно замечательной судьбы	153
<i>Приложение. Заметки об истории</i>	241
1. О государстве в древнем и новом мире	241
2. Об эпохах русской истории	257

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ 1904–1905 годов

1904 год

Печатание ситцев	269
Царевич Алексей	271
В училищном доме императора Александра II	275
Не напрасные ли волнения?	277
Инородческие и вероисповедные вопросы	280
Семьи отъезжающих на Дальний Восток	284
Нации технические и нации поэтические	286
Поучительное в войне	289
Семейное призрение раненых	294
Перед трудными минутами	297
Февральские потери	300
Злое легкомыслие	307
Кто мы такие?	316
<О новом министре народного просвещения>	319

Судьба русского ученого	320
Отчего плохо правописание в гимназиях?	326
К положению учебного дела	330
Один из добрых наших наставников	343
Минные западни	349
В чаяниях «движения воды»	351
Новое из прошлого гр. Л. Н. Толстого	362
<О «Новом Пути»>	366
Литературные новинки <Е. Милицына>	368
О расширении прав брака	376
Новый важный закон	377
Литературные новинки <М. Лемке>	383
Все еще неулаженный вопрос	391
Устав женского медицинского института	392
Полезные указания	394
К истории нового закона	396
Бегство из духовного сословия	399
Милость народу	401
Кому и когда воспитывать?	402
Пороки школы и поведение учеников	405
Курсы обиходных знаний	408
Несчастья под конками	409
Дружные усилия	410
Училище для детей павших воинов	413
Речь министра народного просвещения	414
Правила добродетели и условия добродетели	415
Парализованный закон	424
Учитель и ученики, гений и простые смертные	427
Улучшилось ли учебное дело?	435
Кто друг семьи?	438
Русские идеалы	444
Из прошлого нашей общественной мысли	451
«Меблированная пыль» на сцене Малого театра. Письмо из Петербурга	459
Перед рассветом	460
Чтение о Григория Петрова в зале офицерского собрания 5 декабря	467
Одно из полезных полузабытых учреждений	468

1905 год

Где же «соборяне»?	471
О проекте частного Технологического института	472
К вопросу о старообрядцах	474
Наука и литература в уставе о печати	476
О массовых правоограничениях (По поводу старообрядцев)	477

Убийство великого князя Сергия Александровича	480
О староверии и староверах	482
Суздальские сидельцы	484
Один малозаметный закон (К вопросу о староверии)	495
18 февраля	498
Содержание и пространство заповеди: «Не прелюбодействуй» (По поводу замечаний П.В. Тихомирова)	499
В министерстве народного просвещения	514
Старые имена	516
Древнее «печалование»	518
Куно-Фишер. История новой философии	520
К возрождению духовенства	521
Чиновники в духовном ведомстве	530
Тревожный «слух»	533
Управление и самоуправление в духовном мире	535
<О духовных делах>	537
К преобразованию духовного ведомства	539
К характеристике духовной цензуры	541
Разница имен или разница вещей	543
По поводу статьи проф. Н. К. Никольского	545
Поменьше археологии!	547
Центр вопроса о реформе церковного управления	549
Высочайшее повеление Св. Синоду	550
Письмо в редакцию <О статье В. Я. Колачёва>	552
«Келейное» и национальное решение дел	553
О литературной этике	556
Призрение детей в монастырях	555
Государство и церковь во взаимной автономии	557
Белое христианство	559
Снятие «вероисповедных недоимок»	562
Предполагаемые «перемещения» в духовном ведомстве	564
Оконченная «трилогия» г. Мережковского	566
Н.Л. Кладо (Прибой). Современная морская война. – Морские заметки о русско-японской войне	575
Первые плоды веротерпимости	576
Эльпе. Душа животных и растений	578
Лукавая фразеология	579
Образцовая средняя школа	580
Один юридический вопрос	595
Поспешная полемика	598
Е. Поселянин. Русская церковь и русские подвижники XVIII века	600
На почве старой унии	602
«Самосуд» и темнота народная	604
И.И. Чарномская. К вопросу о помощи увечным воинам	606

К толкам об амнистии	607
Старообрядчество, предание мертвое и предание живое	609
Университетская реформа <Правительственное сообщение от 26 августа>	615
Русское сектантство как три колорита русской церковности	617
Университетская реформа <Высочайший указ 27 августа>	623
К университетской реформе	625
1200 отказов в женском медицинском институте	628
К вопросу о приходе	630
Тревоги и надежды университета	632
Законные пожелания «единоверцев»	634
Т. Н. Грановский (К 50-летию его кончины)	637
Самозащищающиеся корпорации	647
София Благодушная. Как он пошел в народ	649
Частные училища в Литве и Польше	650
К возобновлению занятий в средних учебных заведениях	652
Призыв церкви к умиротворению	653
Перемена в обер-прокуратуре Св. Синода	655
Депутация Московской духовной академии в Петербурге	656
Объединение народных училищ	658
Обойденные в правах	660
Перед созывом церковного собора	662
Дарование автономии духовным академиям	679
Отчего молчит духовенство?	681
Об учебных ревизиях	685
<i>С. Р. Федякин. О книге «Природа и история» Василия Розанова</i>	<i>689</i>
КОММЕНТАРИИ	698
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	736

Научное издание

Василий
Васильевич
Розанов

Собрание сочинений

ПРИРОДА И ИСТОРИЯ

Статьи и очерки 1904–1905 гг.

На контртитule портрет В. В. Розанова
работы И. К. Пархоменко

Ведущий редактор *П. П. Апрышко*
Технический редактор *Т. А. Новикова*
Корректор *Е. Н. Горбунова*

Подписано в печать 13.05.08.
Формат 60×84¹/₁₆.
Бумага офсетная
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 46,0. Уч.-изд. л. 62,2.
Тираж 2000 экз. Заказ № 3239

Оригинал-макет
подготовлен в издательстве «Республика».
ГП Издательство «Республика».
Ул. Пилота Нестерова, 5/7, Москва. А-167,
ГСП-3 125167.

Издательство «Росток»
E-mail: rostok_publish@front.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: (812) 323-54-70

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»
И ИЗДАТЕЛЬСТВО «РОСТОК»

Выпускают
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В. В. РОЗАНОВА

в 30 томах

В 1994—2008 гг.
вышли следующие тома:

- Т. 1 — Среди художников (1994)
- Т. 2 — Мимолетное (1994)
- Т. 3 — В темных религиозных лучах (1994)
- Т. 4 — О писательстве и писателях (1995)
- Т. 5 — Около церковных стен (1995)
- Т. 6 — В мире неясного и нерешенного (1995)
- Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996)
- Т. 8 — Когда начальство ушло... (1997, 2005)
- Т. 9 — Сахарна (1998, 2001)
- Т. 10 — Во дворе язычников (1999)
- Т. 11 — Последние листья (2000)
- Т. 12 — Апокалипсис нашего времени (2000)
- Т. 13 — Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев (2001)
- Т. 14 — Возрождающийся Египет (2002)
- Т. 15 — Русская государственность и общество
(Статьи 1906–1907 гг.) (2003)
- Т. 16 — Около народной души (Статьи 1906–1908 гг.) (2003)
- Т. 17 — В нашей смуте (Статьи 1908 г.) (2004)
- Т. 18 — Семейный вопрос в России (2004)
- Т. 19 — Старая и молодая Россия (Статьи и очерки 1909 г.) (2004)
- Т. 20 — Загадки русской провокации (Статьи и очерки 1910 г.) (2005)
- Т. 21 — Террор против русского национализма (Статьи и очерки 1911 г.)
(2005)

- T. 22 — **Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.) (2006)**
T. 23 — **На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913–1915 гг.) (2007)**
T. 24 — **В чадю войны (Статьи и очерки 1916–1918 гг.) (2008)**
T. 25 — **Природа и история. – Статьи и очерки 1904–1905 гг. (2008)**

Подготовлены к выпуску
следующие тома:

- T. 26 — **Религия и культура. – Статьи и очерки 1902–1903 гг.**
T. 27 — **Юдаизм. – Статьи и очерки 1898–1901 гг. – Сумерки просвещения**
T. 28 — **Эстетическое понимание истории (Статьи и очерки 1889–1897 гг.**
T. 29 — **Литературные изгнанники. Книга вторая**
T. 30 — **Листва. – Указатели к Собранию сочинений**





